

Готфрид Келлер Зеленый Генрих

*Перевод с немецкого Ю. Афонькина, Г. Снимциковой, Д. Горфинкеля, Н. Бутовой.
Вступительная статья Е. Брандиса.
Примечания Е. Брандиса и Б. Замарина.*



Е. Брандис. Швейцарская позиция Готфрида Келлера и его «Зеленый Генрих»

В «Библиотеке всемирной литературы» закономерно представлено крупнейшее произведение крупнейшего швейцарского писателя — роман «Зеленый Генрих» Готфрида

Келлера (1819–1890). Но прежде чем говорить о романе и его авторе, нужно коснуться своеобразия исторических условий, в которых складывалась и достигла расцвета национальная литература Швейцарии, выдвинувшая такого замечательного художника, как Келлер.

На протяжении многих столетий Швейцария оставалась по-средневековому отсталой, консервативной страной, состоявшей из двадцати двух самостоятельных и независимых друг от друга кантонов. Временами кантоны заключали между собой военные союзы и выступали совместно перед лицом внешней опасности. Но в обычное время их объединению препятствовали многочисленные противоречия: между деревенскими (лесными) кантонами и кантонами-городами во главе с гильдейскими корпорациями; антагонизм между городским и сельским населением, католиками и протестантами, исконными швейцарскими землями и позднее присоединенными областями, находившимися под управлением наместников (ландфогтов), и т. д.

Так называемая швейцарская демократия феодальных времен была в действительности правлением патрицианской, аристократической верхушки. Крестьяне и небогатые бюргеры были полностью устранены от участия в общественных делах.

Французская революция нанесла первый удар по средневековому партикуляризму в Швейцарии. Между 1789 и 1830 годами там происходили кантональные революции, в ходе которых крестьянство освобождалось от феодальной зависимости, а ремесленное и торговое население — от патрицианского ига. Но только поражение Зондербунда — союза семи католических кантонов, отстаивавших политическую раздробленность — ускорило осуществление демократических преобразований и принятие в 1848 году федеральной конституции. Таким образом Швейцария превратилась из непрочного союза государств в единое союзное государство, что позволило ей достичь, по словам Энгельса, «...наивысшего пункта того политического развития, на какое она как независимое государство вообще способна»¹.

В результате победы радикалов в Швейцарской республике с середины XIX века установились демократические порядки, выгодно отличавшие ее в политическом отношении от других европейских стран и, в первую очередь, от монархической Германии, где в тот же период восторжествовала контрреволюция.

Приверженность швейцарцев к своим национальным традициям, выросшим еще на дрожжах кантонального общинного свободолюбия, восхищала европейских демократов. Об этом, например, писал Герцен в «Былом и думах»:

«Горы, республика и федерализм воспитали, сохранили в Швейцарии сильный, мощный кряж людей, так же резко разграниченный, как их почва, горами и так же соединенный ими, как она.

Надобно видеть, как где-нибудь на федеральном тире собираются стрелки разных кантонов, с своими знаменами, в своих костюмах и с карабинами за плечами. Гордые своей особенностью и своим единством, они, сходя с родных гор, братскими кликами приветствуют друг друга и федеральный стяг (остающийся в том городе, где был последний тир), нисколько не смешиваясь.

В этих празднествах вольного народа, в его военной забаве, без оскорбительного *etalage*² монархии, без пышной обстановки золотом шитой аристократии, пестрой гвардии, есть что-то торжественное и могучее»³.

Конституция 1848 года, провозгласившая равноправие всех языковых зон Швейцарии,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 9, стр. 94.

² Показной стороны (*франц.*).

³ А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 10, М. 1956, стр. 96–97.

способствовала не только их сближению, но и развитию национальной литературы на четырех языках: немецком, французском, итальянском и ретороманском. При этом следует учитывать, что каждый языковой регион (за исключением ретороманских кантонов) издавна тяготел к родственной культуре одной из трех больших стран, и потому в разные исторические периоды, в зависимости от внутренней обстановки и внешнеполитических условий, в Швейцарии преобладали то центробежные, то центростремительные силы.

Нельзя говорить о своеобразии швейцарской литературы, игнорируя диалектические противоречия развития частей и целого. Признание ее самобытности пришло сравнительно поздно, а порою и сейчас отрицается даже в самой Швейцарии. Никогда не подвергалась сомнению лишь самостоятельность литературы на ретороманском языке, но она — как, в общем, и литература итальянских кантонов — не выдвинула ни одного сколько-нибудь значительного писателя. Особое внимание, естественно, привлекает литература немецко-швейцарская и романдская (франкоязычные кантоны называют романдской Швейцарией), причем наиболее богатой и интересной является первая.

Швейцарская литература, долгое время развивавшаяся по образцам пасторальной и рыцарско-галантной поэзии, а позже — по канонам ограниченно бюргерского просветительства, отличалась узкопровинциальным характером. Заметным шагом вперед было творчество непосредственного предшественника Келлера, первого немецко-швейцарского реалиста Иеремии Готгельфа, которого, однако, при всем его самобытном таланте, сковывала приверженность к патриархально-консервативным устоям. Только с приходом Готфрида Келлера и вслед за ним — тончайшего лирика и мастера психологической исторической новеллы Конрада Фердинанда Мейера (1825–1896) немецко-швейцарская литература, сохранив свою национальную специфику, стала выходить на широкий простор общеевропейского литературного развития.

Творчество Келлера было органически связано с объединительным движением и отражает с наибольшей полнотой кратковременный подъем швейцарской буржуазной демократии, относящийся к середине XIX века.

Как гражданин и патриот Швейцарской республики, Келлер подходил с особым критерием к национальной культуре и литературе. Он решительно протестовал против искусственного насаждения местного «литературного кустарничества», против парникового выращивания провинциальных «гениев». Он справедливо полагал, что швейцарская национальная специфика не может помешать каждой из трех областей быть тесно связанной с общекультурным развитием страны, родственной ей по языку.

Противопоставление республиканской Швейцарии ее реакционным соседям побуждало его вновь и вновь говорить о швейцарском национальном характере, выработанном своеобразными условиями швейцарской жизни. Этой теме Келлер еще в 1844 году посвятил цикл сонетов «Швейцарская национальность», полемически заостренный против тех, кто, ссылаясь на многоязычность Швейцарии, отрицал наличие особой швейцарской национальности.

Сохраняя и после 1848 года преданность идеям периода расцвета буржуазно-демократической мысли, Келлер утверждал в своих произведениях образ положительного героя, способного уберечь республиканские завоевания от натиска реакционных сил извне и внутреннего морального разложения. Патриотическими общественно-политическими позициями Келлера в значительной мере и определяется его своеобразие как швейцарского писателя.

Отсюда же вытекает и его требование к литераторам творить не для узкого круга ценителей и знатоков, а для всего народа. Только большая простота и ясность, утверждал Келлер, могут сделать произведение классическим. Он решительно отрицал нарочитое оригинальничанье и псевдоноваторство. Не в том смысл новаторства, чтобы отказываться от лучших классических традиций или изобретать новые сюжеты. «Новое в хорошем смысле — это то, что вытекает из диалектики развития культуры». «Народ всегда продуктивен и богат идеями, если он находится на правильном пути: все идеи коренятся в его лоне». Художник

должен учиться у народа и сам учить народ, должен помогать ему найти правильный путь. «Я считаю обязанностью поэта, — писал Келлер, — освещать не только прошлое, но и настоящее и настолько укреплять и прихорашивать заключенные в нем ростки будущего, чтобы люди могли поверить: да, так оно и есть, и так это действительно происходит».

В своих собственных произведениях Келлер по возможности старался осуществить эти высокие требования. Все его творчество неразрывно связано с швейцарской народной жизнью. Богатый и тонкий юмор, глубокая человечность, нравственная чистота, здоровый и трезвый ум, превосходное мастерство рассказчика — все это делает Келлера одним из самых привлекательных авторов в западноевропейской литературе XIX века.

Свое писательское мастерство Келлер вырабатывал под благотворным влиянием классической немецкой литературы, и в первую очередь творчества Гете. Литературная деятельность Келлера развивалась в русле и швейцарской и немецкой литературы, его книги одинаково горячо обсуждались швейцарской и немецкой печатью. Поэтому у него были все основания считать себя *швейцарско-немецким* писателем. Вместе с тем он ни на йоту не отступал от своей «швейцарской позиции», которая чувствуется во всем его творчестве и определяет в конечном счете не только идейные, но и эстетические принципы писателя.

Такое произведение, как «Зеленый Генрих», было бы невозможно понять, не учитывая самостоятельности и национальной специфики швейцарской литературы. Но в равной мере оно принадлежит и литературе немецкой. Больше того, в нем с удивительной искренностью запечатлены духовные искания европейской художественной интеллигенции целой исторической эпохи — переломной эпохи, ознаменованной революционными событиями 1848 года. Будь этот монументальный роман всего лишь «знаменем времени», ничего не говорящим уму и сердцу последующих поколений читателей, вряд ли бы он издавался на других языках и породил за свою долгую жизнь столь обширную критическую литературу, что сплошной ее перечень составил бы отдельную книгу.

Но в дореволюционной России «Зеленый Генрих» не был переведен ни в первом, ни во втором варианте. Демократические взгляды швейцарского писателя настораживали чиновников, призванных поддерживать «спокойствие в умах». В списках книг, запрещенных в 1854 году Комитетом цензуры иностранной для ввоза в Российскую империю, значатся «Новые стихи» и «Зеленый Генрих» Готфрида Келлера, как произведения, отличающиеся «политическим вольнодумством»⁴. Но это не значит, что Келлера у нас вовсе не знали. В старых русских журналах изредка печатались некоторые из его новелл и даже статья о его творчестве. Писал о нем в «Современнике» революционный поэт М. Михайлов, в «Библиотеке для чтения» — виднейший педагог В. Водовозов. Переводил его на украинский язык Иван Франко, заявивший в предисловии к переводу двух рассказов из сборника «Семь легенд», что Келлер, «без сомнения, является крупнейшим поэтом и прозаиком, какого только знала Швейцария»⁵. Высоко отзывался о нем А. В. Луначарский.

Однако до массовых библиотек Келлер дошел у нас с опозданием — не раньше 1934 года, когда С. Адрианов выпустил в издательстве «Academia» первый на русском языке сборник его избранных новелл. Даже прореженная ткань далеко не совершенного перевода не притушила богатейшей палитры, о которой с восторгом писал современник великого швейцарца Отто Людвиг: «Такими глубокими пламенными красками обладали лишь Джорджоне или Тициан; они всегда производят на меня такое же впечатление, как готический собор с расписными витражами, сквозь которые пробивается свет августовского солнца... Чудесным образом, именно как у венецианцев, у Келлера колорит создает рисунок и композицию собственными своими средствами, то есть средствами колорита...»

Первое русское издание «Зеленого Генриха» (1958) и новые сборники избранных

⁴ ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 6, ед. хр. 150522, л. 285, 620 и др.

⁵ Ив. Франко, Твори, т. XXIX, Вид. «Рух», кн. 2, стр. 101.

новелл (1952, 1969), воссозданные мастерами перевода, раскрыли если и не во всем блеске, то все же вполне впечатляюще могучий талант Келлера-прозаика. Швейцарские ремесленники, среди которых вырос герой его романа Генрих Лее, зачитывались на досуге драмами Шиллера и «так непосредственно переживали ход действия каждой драмы, словно сами были ее участниками». Искусство большого художника заставляет поверить в мир образов, созданный его воображением. Келлер уводит нас в минувшую эпоху, в чуждую и непривычную нам среду, но обладает таким острым взглядом и так точно воспроизводит малейшие оттенки чувств и настроений, что читатель невольно становится участником жизненной драмы Генриха и всех перипетий, комических или трагедийных, которые разворачиваются на страницах новелл.

Томас Манн в панегирическом «Слове о Готфриде Келлере» относит швейцарского писателя к вершинным явлениям немецкой культуры в целом. В этом контексте особенно глубокий смысл приобретает блистательная оценка творческого наследия Келлера:

«Вот оно — мастерство в том смысле, какой вкладываем в это слово мы, немцы, — а оно всегда звучит для нас отголоском самой славной и наиболее национальной эпохи нашей истории, неизменно будит в нас чувства и воспоминания, связанные с расцветом искусства в наших средневековых городах, — в лице Келлера к нам вновь пришел один из таких мастеров с их благочестием и лукавством, с их простодушием и взыскательностью. Вот он — художник, сумевший создать внутри нашей культуры свою особую, индивидуальную культуру со всеми неповторимо обаятельными приметами, отличающими явление подлинно самобытное, создать целый поэтический космос, в котором все человеческое отразилось без прикрас, но стало светлее, одухотвореннее, радостнее: вот она — магия стиля (нет в подлунном мире тайны, влекущей к себе более властно), — здесь она явлена с той всепроникающей и всепокоряющей силой, которую испытал на себе не один юный подражатель, так навсегда и оставшийся в плену волшебных чар»⁶.

2

Биография Келлера, бедная внешними событиями, но внутренне чрезвычайно содержательная и типичная для прогрессивно мыслящего интеллигента того времени, во многом совпадает с жизнеописанием его героя — Зеленого Генриха. Однако было бы неправильно считать этот роман обыкновенным мемуарным произведением и полностью отождествлять образ заглавного героя с личностью автора.

Келлер заставляет Зеленого Генриха испытать, выстрадать и передумать почти то же, что было пережито им самим. Но он не ставит перед своим творческим воображением никаких искусственных преград. Обобщенная правда художественного вымысла писателю-реалисту была дороже эмпирической правды факта. Когда реальные биографические события противоречили концепции автора и могли снизить, по его мнению, социальную типичность образа Зеленого Генриха, — вступал в силу художественный вымысел. Тем не менее история жизни писателя в данном случае является тем первоисточником, без которого трудно понять и правильно оценить его произведение.

Келлер родился 19 июля 1819 года в Цюрихе, старинном городе с десяти тысячным населением, разделенным по сословным и корпоративным признакам. Узкие, кривые улицы, готические здания, башни с бойницами и крепостные стены придавали Цюриху вид типичного средневекового города, каким он и оставался на протяжении многих столетий, будучи в то же время важнейшим политическим и культурным центром немецкой Швейцарии. К середине XIX века он становится одним из оплотов буржуазно-демократического объединительного движения. В эти годы здесь живут многие швейцарские писатели и художники, а также политические эмигранты из Германии и других стран

⁶ Т. Манн, Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, М. 1960, стр. 478–479.

(Энгельс, Вейтлинг, Фрейлиграт, Бакунин и другие).

Отец Келлера, одаренный и образованный ремесленник, проявивший себя горячим сторонником государственного единства Швейцарии, умер от чахотки, когда будущему писателю едва минуло пять лет. Вдова осталась с двумя детьми без всяких средств к существованию.

Своеобразная противоречивая натура проявилась у Келлера уже в раннем детстве. Замкнутый, угрюмый мальчик изумлял окружающих резкой сменой настроений. Его прирожденный юмор и беззлобная насмешливость обычно воспринимались как проявление своеволия и грубости, а неистощимая фантазия служила источником постоянных недоразумений и неприятностей. Вечно озабоченная мать больше всего пеклась о религиозном воспитании сына и обильно уснащала свои поучения цитатами из Священного писания. Но фактически ребенок был предоставлен самому себе и привык самостоятельно находить ответы на мучившие его вопросы.

Все особенности своего трудного и сложного характера, не исключая и пристрастия к беспощадному критическому самоанализу, Келлер впоследствии перенес на Зеленого Генриха, избавив его только от портретного сходства с самим собой и, следовательно, от душевной травмы, вызванной физическим недостатком: массивная голова и непропорционально короткое, приземистое туловище делали его самого похожим на гнома.

Готфрид Келлер обучался в школе для бедных, затем — в реальном училище, откуда был исключен за участие в обструкции одному нелюбимому учителю. Директор предпочел избавиться от неимущего ученика, чтобы выгородить сынков богатых родителей. «Благодаря этому раз и навсегда прервалось мое школьное обучение, так как у моей матери не хватало средств отдать меня в частный институт», — писал Келлер в «Автобиографических заметках» (1876). Он никогда не мог забыть этой незаслуженной обиды и, возложив на школу и государство ответственность за свое «исковерканное» образование, заявил устами Зеленого Генриха, также исключенного из школы: «...отнять у ребенка возможность учиться, как учатся его сверстники, перестать его воспитывать, — разве это не значит морально казнить его, убить в нем все зародыши духовного развития?»

В результате этого первого столкновения с окружающим миром пятнадцатилетний подросток был поставлен перед необходимостью выбрать, не откладывая, жизненную дорогу.

В школьные годы Келлер больше всего любил литературу, но теперь неожиданно почувствовал тяготение к живописи. Летние месяцы, проведенные у родственников в деревне Глатфельден, среди дивной швейцарской природы, ускорили окончательное, как ему казалось, решение: своей будущей профессией он избрал ландшафтную живопись. Первые наброски начинающего художника произвели на родственников столь благоприятное впечатление, что они посоветовали матери Готфрида определить его «по художественной части». В ограниченной бюргерской среде, возраставшей Келлера, живопись считалась разновидностью обыкновенного ремесла, требующей, как и всякое другое ремесло, только соответствующей выучки и прилежания. Усиленный спрос туристов на «швейцарские виды» успел к тому времени породить новую отрасль кустарного промысла. Серийным изготовлением и бойким сбытом аляповатых швейцарских «пейзажей» в Цюрихе занимался некто Петер Штейгер (прототип Хаберзаата в «Зеленом Генрихе»), к которому Келлер и был отдан в обучение. Восприняв у незадачливого живописца лишь некоторые ремесленные навыки, он, к большому огорчению матери, уже через несколько месяцев покинул эту «художественную мастерскую». Вслед за тем ему посчастливилось обрести покровителя и наставника в лице искусного акварелиста Рудольфа Мейера (в романе он назван Ремером). Но после весьма недолгих регулярных занятий с Келлером он неожиданно очутился в больнице для душевнобольных.

Вновь предоставленный самому себе, юноша заполнял вынужденный досуг беспорядочным чтением. Гомер и Ариосто, Жан-Жак Руссо и Жан-Поль Рихтер, Шиллер и немецкие романтики, Гете и Виктор Гюго открыли перед ним новый мир, куда более яркий и

заманчивый, чем окружающая его жизнь. Все чаще в своих записных книжках и альбомах ландшафтные сюжеты он закрепляет словами, а не штрихами; словесные зарисовки постепенно разрастаются в лирические этюды и размышления об искусстве. Собираясь стать «настоящим художником», он делит теперь время между живописью и поэзией, мучительно раздумывая над тем, какой из этих двух видов искусства является его истинным призванием.

Отсутствие квалифицированных руководителей и неопределенность положения заставляли Келлера серьезно тревожиться о будущем. «Мне уже полных двадцать лет, а я еще ничего не умею и стою на том же месте, тогда как другие в этом возрасте уже начали свое поприще», — писал он в 1839 году своему другу.

Решив во что бы то ни стало закончить художественное образование и найти наконец «правильный путь», он с большим трудом достал небольшую сумму и летом 1840 года, преисполненный радужных надежд, отправился в Мюнхен (в первом варианте романа он обозначен как *Kunststadt* — Город Искусств).

Под покровительством «короля-мецената» Людвига I Баварского в Мюнхене процветала холодная, академическая живопись. В Королевской академии художеств задавали тон эпигоны классицизма и романтизма. Академия широко открывала двери каждому дилетанту и вместе с тем строго ограничивала доступ в число «ординарных» учеников. Недостаток в средствах лишил Келлера не только возможности попасть в Академию на правах ученика, но и работать под руководством опытных мастеров. Вместо того чтобы писать пейзажи с натуры, он, по примеру преуспевающих «академистов», занялся сочинением причудливых романтических ландшафтов с хаотическим нагромождением диких скал, экзотической растительностью, лесными озерами, мрачными готическими замками и средневековыми городами, покрытыми тенью наступающих сумерек. За два с половиной года Келлер создал в Мюнхене немало подобных «композиций» и среди них — громадный декоративный картон, который ему, как и его герою, пришлось в трудную минуту разрезать на куски и продать за бесценок старьевщику.

Развитие Келлера как художника-пейзажиста тормозили и его постоянные колебания между живописью и поэзией. От мюнхенских лет сохранилось несколько незаконченных новелл, публицистических набросков и статья «Разрозненные мысли о Швейцарии», которая была напечатана в 1841 году в «Швейцарском иллюстрированном еженедельнике». Юношеские литературные опыты характеризуют Келлера как робкого ученика немецких романтиков и пылкого почитателя сентименталиста Жан-Поля. В поэзии, как и в живописи, он не нашел еще своего творческого лица. Некоторый интерес представляет лишь упомянутая статья, порожденная горделивым чувством швейцарского патриота, убежденного в преимуществах республиканского строя перед монархическим, ратующего за национальную независимость и государственное единство Швейцарии.

Но если говорить о всем этом периоде в целом, то пребывание Келлера в Мюнхене было сплошной цепью злоключений и неудач. Дойдя до последней степени бедности и отчаявшись добиться признания на чужбине, в ноябре 1842 года он вернулся на родину. После провала на цюрихской художественной выставке его главного произведения — «Оссиановского ландшафта», с которым молодой художник связывал все свои надежды и материальные расчеты, он окончательно убедился, что ошибся в выборе призвания.

Приведенные подробности из жизни Келлера составляют сюжетную основу его автобиографического романа, но с тем, однако, существенным различием, что Келлер постарался оградить своего героя от колебаний между живописью и поэзией и от дальнейших творческих исканий, которые самого автора вывели на новую дорогу.

К тому времени был уже задуман «небольшой печальный роман» о трагическом крушении карьеры молодого художника.

увлечение гражданской лирикой Гейне, Фрейлиграта, Гервега, Грюна — все это ускорило превращение Келлера в поэта и активного участника борьбы радикалов с реакционными силами в кантонах. Решительный перелом произошел в его жизни зимой 1842/43 года. «Это было как раз время первых боев с Зондербундом, — вспоминал он в «Автобиографических заметках», — пафос партийных страстей был основной жилой моего стихотворства, и у меня действительно билось сердце, когда я скандировал гневные строки. Первым произведением, которое напечатали в одной газете, была песня о иезуитах, за ней последовали другие вещи того же рода, победные гимны по случаю выигранных избирательных кампаний, жалобы на неблагоприятные события, призывы к народным собраниям, инвективы против враждебных партий и т. д... Именно зовы времени пробудили меня и решили направление моего жизненного пути».

Не останавливаясь на достигнутом, Келлер пошел дальше. Он пробовал силы в разных поэтических жанрах и с таким успехом, что еще до выхода в свет первого большого сборника стихотворений ⁷ рецензент цюрихской газеты «Моргенблатт», в номере от 1 февраля 1845 года, назвал его «самым выдающимся лирическим талантом, когда-либо родившимся в Швейцарии». В этом отзыве не было большого преувеличения. Молодого поэта заметили и в Германии. Даже такой тонкий ценитель литературы, как Фарнгаген фон Энзе, писал о «подлинной поэзии Келлера», доставляющей истинную радость. Но самого Келлера неудержимо тянуло к прозе. К середине сороковых годов относятся первые наброски романа, а в 1847 году появилось заглавие — «Зеленый Генрих».

Европейские революционные события повлияли на личную судьбу Келлера и существенным образом отразились на содержании задуманного романа. Верный своим республиканским чувствам, швейцарский поэт встретил революцию с величайшим энтузиазмом.

В марте 1848 года он писал одному из друзей: «Грандиозно все происходящее: Вена, Берлин, Париж — позади и впереди; не хватает только Петербурга. Но как все несоизмеримо! Насколько обдуманно и спокойно, насколько объективно можем мы, бедные маленькие швейцарцы, созерцать этот спектакль с наших гор! Какой деликатной и политически утонченной была наша война с иезуитами во всех ее фазах и проявлениях по сравнению с этими действительно колоссальными потрясениями!»

В октябре того же года, получив стипендию от демократического правительства кантона Цюрих, Келлер едет учиться в Гейдельберг. Здесь он становится свидетелем Баденской революции (май 1849 г.) и ее жестокого подавления прусскими войсками, продолжает работать над романом и слушает публичные лекции Фейербаха «О сущности религии», заставившие его переоценить свои прежние взгляды и стать убежденным сторонником фейербаховского материализма и атеизма.

В домарксовский период развития общественной мысли философия Людвиг Фейербаха, способствовавшая ликвидации в Германии господства идеализма, играла авангардистскую, в известном смысле даже революционную роль. Отказ Фейербаха от религии сопровождался гуманистическим требованием всестороннего развития личности и особой «этики любви», заменяющей веру в бога. Вместе с тем, как «материалист снизу, идеалист сверху» (Энгельс), Фейербах не сумел распространить свои материалистические взгляды на область истории и общественных отношений, и потому его материализм оставался «недостроенным», созерцательным, пассивным. Но при всей своей непоследовательности Фейербах, поднявший в условиях полуфеодальной Германии сороковых годов XIX века знамя философского материализма и атеизма, совершил исторический подвиг.

«Сам Фейербах, — писал Плеханов, — редко и лишь мимоходом касался искусства. Но его философия не осталась без весьма значительного влияния на литературу и на эстетику.

⁷ Gedichte, Heidelberg, 1846. 340 S.

Во-первых, его трезвое, чуждое всякого мистицизма, мирозерцание, в связи с его радикализмом, содействовало освобождению передовых немецких художников «домартовской», то есть дореволюционной, эпохи от некоторых романтических представлений... В немецкой Швейцарии его учеником выступил знаменитый теперь Готфрид Келлер»⁸.

Сравнительно быстрое усвоение Келлером материалистической философии и атеизма облегчалось тем, что христианский бог давно уже был для него не «всемирным монархом», а «своего рода президентом или первым консулом, не имеющим большого значения». Вместе с остатками веры в бога он теряет также веру в бессмертие души. Опасение, что жизнь от этого станет «прозаичной и низменной», сменяется уверенностью в том, что «отныне ни один художник не имеет будущности, если не захочет быть весь и полностью смертным человеком», ибо «для искусства и поэзии нет отныне спасения без полной духовной свободы и целостного пламенного восприятия природы, лишённого каких бы то ни было побочных и задних мыслей».

Окончательно осознав себя сторонником «определённого и энергичного мировоззрения», он формулирует в письме к швейцарскому композитору Баумгартнеру (от 27 мая 1871 г.) этические задачи, стоящие, по его мнению, перед человеком, для которого не существует веры в бога и бессмертия:

«Каким тривиальным кажется мне теперь мнение, будто с устранением так называемых религиозных идей из мира исчезает всякая поэзия, всякое возвышенное настроение! Наоборот! Мир стал для меня бесконечно прекраснее и глубже, жизнь — дороже и интенсивнее, смерть — серьезнее, многозначительнее, и только теперь требует от меня со всей властью, чтобы я выполнил свою задачу, очистил и умиротворил свое сознание, так как у меня нет перспективы возместить упущенное в каком-либо ином уголке мироздания».

Своеобразно понятая фейербаховская этика позднее наложит отпечаток на все творчество Келлера, подобно своему учителю не ставшего последовательным материалистом и атеистом. Атеизм Келлера не был проникнут боевым наступательным духом. Материалистическая философия была для него не столько орудием переделки мира, сколько новым «вероисповеданием». Но если Фейербах хотел заменить монотеистическую религию «этикой любви», то для Келлера наиболее возвышенной формой новой «веры» был непреложный «нравственный долг», этические обязанности человека.

В Гейдельберге формируются и эстетические взгляды писателя. В основе их лежит убеждение, что политический и духовный гнет несовместим с высоким развитием интеллектуальных сил нации, с подлинным расцветом культуры и искусства. Он считает, что все выдающиеся произведения искусства порождены общественными событиями и так или иначе с ними связаны. Он не разделяет ходячего мнения снобов: «Когда грохочут пушки, молчат музы». Напротив, в 1848–1849 годах он надеется, что революционный подъем и победа демократической революции принесут с собой расцвет нового реалистического искусства, близкого и доступного народным массам. «Из столкновения разнородных тенденций, — пишет он, — возникла уже бездна сюжетов... Новая баллада, драма, исторический роман, новелла найдут то, что им нужна Баденская революция показала мне, как много можно найти непосредственно в жизни» (статья «Романтика и действительность», 1849).

В той же статье Келлер оправдывает существование романтизма тем, что в период его расцвета не было возможности к «прямодействию». Так как «сегодня весь мир стремится к новому бытию и к новому оформлению», то и литература должна отказаться от романтических, «нежизненных устремлений и брать сюжеты, в изобилии встречающиеся в самой действительности».

⁸ Г. В. Плеханов, От идеализма к материализму. — В кн.: «Избранные философские произведения», т. III. М. 1957, стр. 685.

Так вместе с материалистическими взглядами к Келлеру приходит убеждение в необходимости создавать реалистическое искусство, которое должно прийти на смену изжившему себя романтизму.

Новые идейные принципы сразу же отразились и в литературном творчестве Келлера. В чудесных лирических стихотворениях этого периода он стремится передать радость бытия, удовлетворение полнотой и целесообразностью земной жизни. Вместе с тем он тяготеет теперь к «спокойной, ясной и объективной» форме повествования. В гейдельбергских набросках к «Зеленому Генриху» намечается уже сюжетная линия и весь комплекс моральных, религиозных, философских, эстетических и политических проблем, которые получают затем свое развитие на страницах романа. Из подготовительных набросков видно, что окончательный замысел сложился в 1849 году, под непосредственным влиянием пережитых революционных событий и «Лекций о сущности религии» Фейербаха.

Весной 1850 года Келлер переехал в Берлин и оставался там до конца 1855 года. За это время он не только достиг творческой зрелости, но и создал свои лучшие произведения. Почти все, что он написал впоследствии на родине, было обработкой берлинских замыслов. Итог этих неполных шести лет писательской деятельности поистине изумителен.

Келлер выпустил двумя изданиями обширный сборник «Новые стихи» (1851–1854), написал сатирическую поэму «Аптекарь из Шамуни», подготовил к печати первую книгу своих лучших новелл «Люди из Зельдвилы» и набросал еще несколько новелл для других сборников. Мечтая положить начало репертуару швейцарского народного театра, он перерабатывал для сцены деревенские рассказы Иеремии Готгельфа и писал литературно-критические статьи о его творчестве, которые в совокупности составляют целую книгу. Кроме того, он пробовал сочинять для театра оригинальные пьесы и усиленно занимался историей и теорией драмы. Все это делалось параллельно с работой над «Зеленым Генрихом», который, вопреки ожиданиям автора, разросся до четырех томов.

В письмах из Берлина Келлер постоянно говорит о своей ненависти к реакционному прусскому режиму, о «невиданном оскудении искусства» к реакционному прусскому режиму, о «невиданном оскудении искусства» и «всеобщем эпигонстве», царящем в литературе послемартовской Германии. Жизнь в прусской столице напоминает ему «одиночную камеру пенсильванской тюрьмы», где самый воздух сперт и душен. Тоска по родине, стремление снова «вырваться на волю» овладевает им в первые же месяцы берлинской жизни.

Между тем цюрихское правительство, не видя никакой продукции от своего стипендиата, отказало ему в материальной поддержке. Но, несмотря на голод и нищету, каких он не испытывал даже в мюнхенские годы, Келлер решил во что бы то ни стало осуществить свои творческие планы и «вернуться домой с репутацией серьезного писателя, а не начинающего самоучки». Не будучи больше в силах тешить мать несбыточными надеждами и назначать новые сроки своего триумфального возвращения в Цюрих, он прервал на два года всякую связь с домом. А тем временем его Зеленого Генриха, образ которого постепенно облекался в плоть и кровь, терзали угрызения совести и преследовала мысль, что самый близкий человек терпит по его вине лишения.

Больше всего Келлера мучила затянувшаяся на пять лет работа над «несчастливым романом», тяготевшим над ним, «как кошмар». Трудности усугублялись еще тем, что ему стали ясны многочисленные ошибки и промахи, когда невозможно уже было вносить исправления. Издатель выпустил в свет три тома «Зеленого Генриха» (декабрь 1853 г.), не дождавшись рукописи четвертого, который тогда еще был в чернильнице и вышел с полуторагодовичным интервалом — лишь в середине 1855 года.

Главным недостатком произведения Келлер считал нарушение композиционного единства. И действительно, книга распадалась на две самостоятельные, почти не связанные одна с другой части: «автобиографию героя» и «роман в собственном смысле слова», где о дальнейшей судьбе Зеленого Генриха повествовалось от третьего лица. Но самый существенный дефект — неоправданно трагическая развязка — автору был тогда еще

неясен. Следуя замыслу, намеченному в гейдельбергских набросках, Келлер делал в тот период из фейербаховской «этики любви» такие догматические и далеко идущие выводы, что «нравственный долг» приобретал в его толковании неумолимость античного рока.

Недостаточно мотивированный финал первого варианта «Зеленого Генриха» вызвал разноречивые суждения критиков, которые все, однако, сошлись на том, что концовка не вытекает из предшествующего действия и в таком виде, как она дана, не соответствует значительности всего произведения в целом.

Так или иначе, гибель героя объективно означала его неспособность найти дорогу к плодотворной практической деятельности и отражала еще не закончившиеся идейные брожения самого автора.

4

В начале 1856 года Келлер вернулся в Цюрих признанным писателем. В том же году выходит из печати первый сборник зельдвильских новелл, создавший ему репутацию «живого классика» еще до того, как читатели всех стран, где говорят и пишут на немецком языке, получили переработанного «Зеленого Генриха». Присущий Готфриду Келлеру, по удачному определению Р. Роллана, «острый вкус родной земли» давал ему силу с непримиримой суровостью бичевать людей, лишенных патриотических чувств. Объектом критики писателя становятся не только средневековые пережитки, но и пороки, вызванные в Швейцарии развитием буржуазных отношений. Художник-реалист с чертами историка и социолога, Келлер продемонстрировал в новеллах зельдвильского цикла новые возможности своего многогранного таланта. Однако требования жизни заставили его на целых шестнадцать лет пренебречь литературной деятельностью. Его следующая книга — сборник новелл «Семь легенд», — основанная на переосмыслении в жизнерадостно-атеистическом духе апокрифических сказаний о подвигах святых, чудесах богородицы, обращении язычников в христианство и т. д. — появилась только в 1872 году.

Длительная пауза в творческой работе Келлера была вызвана избранием его на должность первого секретаря Цюрихского кантона. Рассматривая службу как практическую деятельность, посвященную служению народу, он не просто добросовестно выполнял свои государственные обязанности, но считал их более необходимыми с точки зрения общественной пользы, чем литературное творчество.

Свой поэтический талант он отдавал в тот период главным образом народным празднествам, в которых видел действенное средство духовного единения и сплочения швейцарского народа. Недаром яркие описания швейцарских народных празднеств занимают так много места на страницах «Зеленого Генриха». Сохранилось несколько праздничных и застольных песен, сценариев и прологов Келлера. Лучший из его прологов был написан к празднованию в Берне столетия со дня рождения Шиллера (1859). Прославляя немецкого поэта как «певца свободы», Келлер хотел придать всему празднеству политическую окраску.

Только в 1874 году он издал второй том «Людей из Зельдвилы» и затем, чтобы «не упустить уходящие годы», в июле 1876 года оставил службу и целиком посвятил себя художественному творчеству. В 1878 году после выхода в свет сборника «Цюрихских новелл», великолепно воспроизводящих вместе с историческими эпизодами из жизни города колорит места и времени, Келлеру было присвоено звание почетного гражданина Цюриха. В том же году он взялся за переработку «Зеленого Генриха». Во втором варианте роман увидел свет в 1880 году и с тех пор получил широкую известность.

На исходе семидесятых годов Келлер опубликовал несколько циклов лирических стихов и в 1883 году «Собрание стихотворений», включив в него со строжайшим отбором лучшее из написанного за четыре десятилетия. В этот итоговый сборник не вошли сотни стихотворений главным образом «на злобу дня», по тем или иным соображениям не удовлетворявшие взыскательного автора. Достаточно сказать, что в полном собрании сочинений Келлера его поэтическое наследие занимает пять томов.

Старость застала маститого писателя в зените славы. В 1881 году он выпустил последний сборник новелл «Изречение» («Sinngedicht»), поражающий мастерством композиции, и в 1886 году — роман из жизни Швейцарии тех лет «Мартин Заландер», проникнутый горьким разочарованием. Швейцарская республика, вопреки его ожиданиям, не избежала пути, общего для всех капиталистических государств. Наконец, в 1889 году было издано десятитомное Собрание сочинений, закрепившее за Келлером прижизненное признание его как классика швейцарской и немецкой литературы.

15 июля 1890 года Готфрида Келлера не стало.

5

К роману своей молодости писатель подошел как к своего рода историческому документу, который должен был воскресить в сознании современников трагедию молодого человека минувшей поры.

Юношеские борения духа и романтические иллюзии для Келлера окончательно отошли в прошлое. «Люди сороковых годов» с их душевной неустроенностью давно уже сошли со сцены. Новое время выдвинуло новые художественные задачи. Во всем том, что когда-то казалось Келлеру индивидуально неповторимым, он старался усмотреть типическое, субъективным мыслям и чувствам хотел придать объективную окраску, лирическим порывам — более спокойный и сдержанный тон, а всему повествованию — эпическую завершенность.

Вторая редакция романа почти во всех отношениях, и прежде всего по художественным достоинствам, значительно превосходит первую. Второй «Зеленый Генрих» — произведение зрелого мастера, достигшего вершины творческого развития. Почти тридцатилетний промежуток, отделявший Келлера от первого издания книги, позволил ему спокойно осмыслить и трезво оценить заблуждения Зеленого Генриха и собственный пройденный путь. Задача, которую художник поставил перед собой в молодые годы, — создать эпическое полотно и запечатлеть в нем «полноту жизни», — была им решена только в старости.

По содержанию и стилю «Зеленый Генрих» резко отличается от распространенного в последней четверти XIX века психологического или социального романа модернистского толка. Автобиографическая повествовательная форма, дающая подробное жизнеописание героя с самого детства, бесхитростно-хронологическое построение фабулы, пространственные философские отступления, свободная связь отдельных глав и эпизодов с целым, вставные новеллы и лирические стихи — все это придавало роману Келлера некоторую «старомодность», можно даже сказать — «архаичность».

Вызвано это тем, что Келлер-романист следовал прежде всего традициям немецкой просветительской прозы, а именно — «романа воспитания», представленного в наилучшем варианте «Вильгельмом Мейстером» Гете.

В Германии, где буржуазная революция вызревала медленно и мучительно, «роман воспитания» служил своего рода теоретической школой для будущей практической деятельности бюргера в утопически-идеальных условиях. Гете в своем знаменитом романе стремился показать осуществление гуманистического идеала гармонической личности, способной сочетать индивидуальное совершенство с обязанностями гражданина, не пренебрегающего интересами ближних. Понимая, что современная ему феодальная Германия не в состоянии была создать благоприятные условия для осуществления этих высоких идеалов, Гете искал возможности их воплощения на «ничейных» американских землях, среди небольшой группы деятельных гуманистов. Так или иначе, проблема общественно-полезной практической деятельности решалась в немецком романе первой половины XIX века главным образом умозрительно и философски.

Для Келлера же проблема воспитания деятельной личности имела не только теоретическое значение. Решая ее с фейербаховских позиций, он попытался перенести

гуманистический идеал из царства утопии на реальную почву республиканской Швейцарии и, как достойный преемник Гете, создал единственный в немецкой и швейцарской литературе второй половины века по-настоящему реалистический воспитательный роман. Правда, и «Зеленый Генрих» не свободен от своеобразного утопизма, но утопизма иного рода, связанного с не до конца изжитыми швейцарскими иллюзиями Келлера.

В основу своего реалистического художественного метода он кладет материалистическое понимание взаимодействия среды и личности. Описание детства, отрочества и юности Генриха Лее (до отъезда в Германию) занимает значительную часть романа. Постепенно накапливаются все новые впечатления и обогащается его жизненный опыт, формируется характер, вырабатывается собственный, расходящийся с общепринятыми представлениями, взгляд на вещи. Каждое столкновение с уродливыми сторонами жизни вкладывает в душу одаренного мальчика новые зерна сомнений. Прозвище «Зеленый», которое Генрих получил из-за цвета своего костюма, сшитого из отцовского мундира, приобретает в контексте символический смысл: ему суждено быть «зеленым» до тех пор, пока он не достигнет духовной зрелости.

По мере того как у мальчика расширяется кругозор, в повествование вводятся десятки эпизодических персонажей. Сначала его мирок ограничивается соседями по дому и заманчивым видом из окна мансарды на широко раскинувшееся озеро и четкие очертания гор, затем в него входят учителя и товарищи по школе, книги и театр, деревенские родственники и т. д. Из разрозненных эпизодов создается целостная картина неторопливой, спокойной жизни, освященной вековыми устоями патриархального бюргерского быта. Затхлый дух средневековья, приверженность к старине лишь слегка поколеблены новыми веяниями, привнесенными в Швейцарию Французской революцией и наполеоновскими войнами. Церкви еще удается удерживать почти безграничную власть над умами и душами. Еще живы старики, которые помнят последние процессы над «ведьмами». Духовную пищу любителей чтения все еще составляют жития и апокрифы, сонники и гадальные книги, рыцарские и пасторальные романы. Но уже появились и действуют новые люди, вроде отца Зеленого Генриха, которые посвятили себя «служению возвышенным идеалам просвещения и прав человека» и для которых «борьба за свободу всегда была общим делом всего человечества».

Еще ребенком Генрих убеждается, что в мире есть необъяснимые противоречия и жизнь не так проста и безоблачна, как представлялось вначале его наивному детскому сознанию. Старозаветный уклад и нравы разъедаются скопидомством и стяжательством, охватившими от мала до велика чуть ли не всех, с кем ему приходится общаться. В школе для бедных процветает система полицейского сыска и учиняются жестокие расправы над провинившимися учениками. В реальном училище, как и во всем кантоне, царит дух кастовой замкнутости и высокомерия, отгораживающий Генриха от большинства учителей и сверстников.

Больше всего привлекает в этой книге пафос неприкрашенной правды. Когда читаешь роман Келлера, невольно приходит на память «Исповедь» Руссо. И это не случайно. Швейцарский писатель сознательно следовал творческому примеру своего великого соотечественника. «Изображение детства и даже анекдотическое в нем, — писал он о своем романе в «Автобиографических заметках», — в своих последних оттенках навеяно стремлением подражать исповеднической откровенности Руссо, хотя и не в такой уж сильной степени».

Зеленый Генрих — правдолюбец. Во всем он хочет докопаться до истины. Это определяет его духовные искания и заставляет критически оценивать каждый свой поступок. Рассказ о формировании его личности тесно переплетается с религиозными и нравственными вопросами.

Первый осознанный конфликт Генриха с окружающей средой связан с изучением «закона божьего» и затем с подготовкой к конфирмации. Способы и приемы, с помощью которых церковь и школа стараются «побыстрее пропустить юное поколение через некий

обезличивающий пресс для моральной обработки», способны внушить только отвращение к религии. В любом проявлении христианства мальчик «не находил для себя ничего, кроме серых и непривлекательных абстракций». Силу красноречия и аргументации Келлера, доказывающего вред церковного догматизма и насильственного навязывания отживших представлений, можно сравнивать с лучшими страницами Фейербаха и с разящими антирелигиозными памфлетами французских просветителей.

Еще задолго до отъезда в Германию Генрих был подготовлен к тому, чтобы стать атеистом, но не в силах был вовсе отказаться от религии и не знал, «как... быть без бога». Изгнанный из среды своих сверстников, он бродил в одиночестве по лесам и долинам. Восхищение красотой и могуществом природы порождает в нем своеобразные пантеистические представления, внушенные также любимыми писателями — сентименталистами и романтиками, чьи сочинения заменили ему катехизис.

Немецкие романтики и кумир Зеленого Генриха Жан-Поль Рихтер нередко использовали мотив одновременной любви героя к двум, во всем противоположным друг другу женщинам. Борения платонической и чувственной любви, души и тела, духа и материи обычно завершаются в таких романах победой первого начала над вторым. Нечто подобное мы видим и в одновременной любви Генриха к Анне и Юдифи, но только с той разницей, что в конце концов Келлер развенчивает его романтические заблуждения.

Хрупкая, болезненная Анна очерчена как бы полутонами. Ее образ овеян дымкой неопределенности. Особо подобранными эпитетами подчеркивается нежизненность, нереальность этой девушки-грезы («прозрачная», «мертвенно-бледная», «печальная», «нежная», «кроткая» и т. д.). Генрих чувствует между собой и Анной «таинственную душевную связь». Подходя к реальной действительности с книжными мерками, свою любовь к Анне он превращает в имитацию сентиментального романа. Во время болезни Анны он заранее представляет себя на ее похоронах в качестве фигуры, олицетворяющей безутешную скорбь, а когда возлюбленная на самом деле умирает, безуспешно старается выдавить из себя слезинку.

Юдифь, в отличие от Анны, естественна, как сама природа. Генрих всегда застаёт ее жизнерадостной, деятельной, веселой, озаренной всеми красками солнечного лета. Юдифь «привораживала к себе чувственную половину его существа». Воплощенное в ней биологическое начало облагораживается нравственной чистотой ее образа. Насмешливая и доброжелательная, человеколюбивая и прямодушная, ласковая и строгая, она становится мудрой наставницей и воспитательницей Генриха. Эта женщина из народа — едва ли не лучшие из всех женских образов, созданных Келлером.

Любовь к Анне и Юдифи, обогатившая внутренний мир Генриха, оказалась такой же необходимой для развития в нем положительной человеческой индивидуальности, как и увлечение искусством. Но и здесь здоровое восприятие природы, свойственное его неиспорченной натуре, сплетается с книжными влияниями и подражанием сентиментальным образцам. Его занятия живописью из дилетантских упражнений самоучки превращаются в естественную потребность выразить свое восхищение природой и обрести прочное жизненное поприще, которое помогло бы ему избавиться от горького сознания своей ненужности и никчемности. Но Генрих идет по ложному пути: чтобы угодить вкусу ремесленника Хаберзаата, он сочиняет причудливые стилизованные ландшафты, выдавая их за изображение природы. Встреча с Ремером, правда, помогает ему укрепить художественные навыки, но своя дорога в искусстве Генриху заказана: копируя итальянские пейзажи Ремера, он смотрит на природу чужими глазами.

Несмотря на свой индивидуализм и ложно-романтическое позерство, Генрих вырастает как человек общественный. Живая связь с народом, участие в национальных празднествах укрепляют в нем гражданские и патриотические чувства. Неиссякаемая вера Келлера в потенциальные возможности швейцарской демократии, хотя он замечал и ее теневые стороны, заставила писателя вложить в уста героя пламенные панегирики свободе и размышления об обязанностях человека и гражданина. Поэтому горечь разочарований всегда

смягчается для Генриха той теплой человеческой атмосферой, которая окружает его на всем протяжении жизненного пути.

Итак, пока продолжается формирование его личности, Зеленый Генрих везде и во всем оказывается дуалистом. Он сам признается Юдифи, что чувствует свое существо раздвоенным. Практический атеизм совмещается в его сознании с остатками религиозности, гражданственность — с болезненным индивидуализмом, живые, естественные чувства — с сентиментальной, книжной романтикой, реалистическое восприятие искусства — с шаблонно романтическим подходом к нему и т. п. В этой двойственности Зеленого Генриха Киллер видит характерную черту «поколения сороковых годов».

Внутренние противоречия героя показаны в развитии и преодолении. Начиная с 10-й главы третьей части темп повествования замедляется, упор переносится с изображения внешних событий на раскрытие духовного мира Генриха. Рассказчик видит теперь себя как бы сквозь дымку времени. Жизнь его на чужбине и возвращение на родину описываются уже не юношей, а пожилым человеком, перебирающим в памяти далекое прошлое.

Мы застаем Зеленого Генриха в одном из столичных городов Германии после того, как в течение полутора лет он безуспешно пытался раскрыть свои творческие возможности. Описание масленичного карнавального шествия (кстати сказать, сильно затянутое) перемежается эпизодами, рисующими взаимоотношения Генриха с его друзьями, художниками Эриксоном и Люсом.

Эриксон, достигший известного мастерства в изготовлении «Эриксонов» — миниатюрных пейзажей-безделушек, занимался живописью только ради заработка и не поднялся выше ремесленничества. Богач Люс, «знаток и ценитель красоты», превратил свою жизнь в сплошной праздник, а искусство — в самоцель. Генрих, вынужденный вариться в собственном соку, дает полную свободу необузданной фантазии, которая уводит его все дальше и дальше от реальной действительности. Сам того не желая, он превращается в «спиритуалиста, человека, создающего мир из ничего». Его творческие искания заканчиваются полным провалом. Последний из его картонов, испещренный сетью замысловатых щрихов и переплетающихся узоров, не выражает уже никакой мысли, и, таким образом, подобно герою «Неведомого шедевра» Бальзака, Зеленый Генрих уперся в тупик абстрактной, беспредметной живописи. Келлер прозорливо предвидел возможность такой деградации искусства. В современной ему живописи уже проявлялись нездоровые, формалистические тенденции. Недаром размышления о художественных школах и судьбах искусства занимают в романе так много места.

Каждый из трех художников по-своему переживает трагедию эпигонства, которую Келлер объясняет не просто недостатком одаренности, но прежде всего историческими условиями, неблагоприятными для оригинального творчества. «Все мы не более как дуалистические глупцы, с какой бы стороны мы ни подступали к нашей задаче», — говорит Люс. В первом варианте романа эта мысль выражена еще яснее, когда Люс называет свое поколение «переходным слоем».

Следующий этап в жизни Генриха определяется его постепенным освобождением от ложно-романтических устремлений. Замешавшись в толпу студентов, он слушает в университете лекции по антропологии, истории и юриспруденции».

Учение о развитии органов чувств и возникновении человеческого сознания заставляет его переоценить свои прежние идеалистические представления о «свободе воли», которую, как ему кажется, он всегда «применял на деле». Теперь он понимает, что свобода воли отдельного человека зависит от «тысячи взаимодействующих условий» и связана с общим состоянием нравственности и ходом прогресса. Впрочем, ограниченность свободы воли ему вскоре приходится познать на собственном горьком опыте: запутавшись в долгах, испытав нужду и голод, Генрих вынужден поступиться гордостью республиканца и ради куска хлеба взяться за раскраску флажштоков к празднеству по случаю приезда невесты кронпринца.

Решение Генриха вернуться на родину означает для него прощание с идеалами юности, а случайная задержка в графском замке оказывает решающее влияние на его дальнейшую

судьбу. Новая любовь — к приемной дочери графа Дортхен Шенфунд, воплощающей в себе возвышенный идеал гармонической личности, — довершает «воспитание чувств» Генриха, а беседа с графом-фейербахянцем — формирование его мировоззрения. Эти главы, логически подводящие к жизнеутверждающему финалу, для самого Келлера имеют принципиальное значение. Здесь он излагает свое кредо, обнаруживая вместе с тем явное желание сделать учение Фейербаха достоянием «посвященных» — высоко нравственных избранных натур, которые не станут злоупотреблять атеизмом.

«Аристократы духа» — граф-фейербахянец и Дортхен Шенфунд — безуспешно стараются убедить Генриха в том, что материалистическое мировосприятие, исключаящее веру в бога и бессмертие, делает жизнь по-настоящему поэтичной. «Глядя на все глазами Дортхен, я видел жизнь в ее бренности и невозвратимости, — говорит Генрих, — и теперь мир сверкал более яркими и лучезарными красками». Но постигается эта истина лишь людьми возвышенными, одаренными счастливой способностью воспринимать мир самостоятельно, без предвзятости. Важно только, чтобы человек не твердил бессознательно заученных догматических формул, а мыслил и действовал в полном согласии со своей внутренней природой. По мнению Келлера, незачем пропагандировать материалистическую философию, потому что лучшие люди придут к ней самостоятельно — по велению сердца.

Келлер подчеркивает эту мысль одиозной комической фигурой странствующего «апостола атеизма», вульгаризатора учения Фейербаха Петера Гильгуса, который осмелился навязывать безбожие пашущим крестьянам и был за это изгнан из графских владений.

Таким образом, Келлер полагает, что полнота и цельность мировосприятия зависят не столько от системы взглядов, сколько от этической зрелости человека. Поэтому ничтожный пенкосниматель Петер Гильгус, пытающийся превратить материалистическую философию в новую схоластическую догму, не имеет с Фейербахом ничего общего, и, напротив, немецкий мистик и теософ XVII века Ангелус Силезиус, религиозные стихи которого проникнуты пантеистическим ощущением величия природы, по мнению графа (и, по-видимому, Келлера), может считаться, несмотря на свой идеализм, одним из предшественников Фейербаха.

Нельзя не обратить внимания на то, что во всех этих рассуждениях Келлер отходит от фейербаховского материализма, игнорируя высший вопрос философии — об отношении мышления к бытию, сознания к природе.

Но как бы то ни было, материалистическая философия Фейербаха, при всей ограниченности ее толкования, помогает Генриху Лее осознать свое назначение и утвердиться в качестве деятельной гражданской личности. Он покидает гостеприимный замок, твердо решив «посвятить себя труду на пользу общества».

Действительно, в Швейцарии для Генриха открывалось широкое поле деятельности. После нескольких лет отсутствия он «попал в самый водоворот политических событий, завершавших превращение пятисотлетней федерации кантонов в единое союзное государство».

Однако благополучный исход всех духовных и жизненных блужданий Зеленого Генриха задерживается обрушившимся на него несчастьем. После смерти матери он живет с отягченной совестью и считает себя не вправе критиковать чужие недостатки и вести борьбу с людьми, злоупотребляющими «властью большинства». Поэтому на государственной службе он становится не активным деятелем, а всего лишь «меланхоличным и немногословным чиновником». Свою позицию стороннего наблюдателя он оправдывает тем, что не сумел удержаться на высоте священных нравственных обязанностей человека и гражданина: «Я уничтожил непосредственный жизненный источник, который связывал меня с народом, и потому потерял право трудиться вместе с этим народом, согласно истине: «Кто хочет исправить мир, пусть сначала подметет мусор у своего дома». Трагическое сознание вины мешает Генриху «быть зеркалом своего народа» и работать на его благо в полную меру сил и способностей.

Независимо от своеобразного понимания Келлером этического долга, апология

созерцательности, пассивного отношения к жизни, вытекает из «недостроенного» фейербаховского материализма; его философская система, в отличие от диалектического материализма Маркса и Энгельса, не предreshала обязательных практических действий, направленных на переустройство общества, и не стала знаменем определенной политической программы.

Этим в конечном счете и объясняется, почему Генрих, даже после того как Юдифь освобождает его от душевных мук и возвращает к деятельной жизни, не становится борцом за свои выстраданные убеждения.

Возвращение Юдифи придает финалу романа необходимое оптимистическое звучание. Она предстает перед Генрихом как живое олицетворение умиротворяющей природы. «Счастье молодости, родина, покой, все, казалось, вернулось ко мне вместе с Юдифью». «Стоило мне только услышать ее голос, и я сразу находил успокоение, словно я слышал голос самой природы». Юдифь помогает Генриху обрести душевное равновесие, гармоническое единство и с самим собой, и с окружающим миром. Он снова чувствует себя «частью целого», ощущает свое единство с народом. Правда, это «единство с народом» сводится в конце концов к тому, что мятущийся Генрих, пройдя через все этапы своего духовного созревания и перестав быть «зеленым», довольствуется скромной должностью кантонального чиновника. Но как бы то ни было, теперь он уже больше не «лишний». Он находит свое место в жизни, отдает свои силы и знания служению обществу.

И все же апофеоза не получилось. Такое воплощение гуманистического идеала выглядит по меньшей мере искусственным.

Когда Келлер в конце семидесятых годов заново писал заключительные главы романа, он уже не видел у себя на родине того «единства в свободе», которое считал отличительной особенностью швейцарской демократии. Вместе с разложением «почвенных» устоев в Швейцарии, как и в любой другой капиталистической стране, настолько углубились социальные контрасты и классовые противоречия, что Келлер вынужден был с горечью признать: «У нас — как везде, везде — как у нас» (роман «Мартин Заландер»).

Горечь разочарования наложила тени на жизнеутверждающий финал романа. Хотя Юдифь, пренебрегая церемонией брака, и остается до конца дней своих возле Генриха, но она «слишком много видела и пережила на этом свете, чтобы поверить полному и неомраченному счастью». А сам Генрих, с таким энтузиазмом встретивший начало борьбы за демократические преобразования, с течением времени убеждается, что она не привела к желаемым результатам, и его «идиллическое представление о политическом большинстве» тускнеет. Следовательно, практическая деятельность в такой узкой, непосредственной форме не может ему дать полного удовлетворения.

«Конечный вывод мудрости земной» сводится для фейербахианца Генриха Лее к радости самого бытия. В наслаждении жизнью и природой он видит высший смысл существования. Таков итог всех его испытаний и раздумий.

Несмотря на то, что заключительные главы и во втором варианте романа не соответствуют значительности всего замысла, «Зеленый Генрих» Готфрида Келлера — одно из тех блестящих произведений мировой литературы, которые всегда будут привлекать читателей богатством гуманистических идей, жизненных наблюдений и немеркнущих художественных образов.

Евг. БРАНДИС

ЗЕЛЕНЫЙ ГЕНРИХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Перевод с немецкого Ю. Афонькина.

Глава первая

ПОХВАЛА ПРЕДКАМ

Мой дед был крестьянином, и отец мой родился в старинном селе, получившем свое название от имени того аллемана, который во времена раздела пашни воткнул в землю свое копьё и выстроил здесь первый двор. Прошли века, и когда угас род, давший селу его название, какой-то феодал сделал это название своим титулом и выстроил замок, о котором никто не знает теперь, где он стоял; неизвестно также, когда умер последний отпрыск этой благородной фамилии. Само же село стоит и по сей день и стало даже еще многочисленнее и оживленнее, чем прежде; несколько десятков одних и тех же родовых имен, бывших в ходу еще у далеких прадедов, неизменно переходят из поколения в поколение и служат все более многочисленным внукам и правнукам. Маленькое кладбище, раскинувшееся вокруг древней, но всегда нарядно побеленной церкви, за все время ни разу не расширилось, и теперь его земля состоит буквально из одних только истлевших костей ушедших поколений; навряд ли найдется хоть один комочек на глубине до десяти футов, который не был бы в свое время плотью человека, быть может, плотью одного из тех пахарей, что век за веком вспахивали окружающие село поля.

Впрочем, я несколько увлекся и совсем забыл о тех четырех еловых досках, что каждый раз опускаются в землю вместе с покойником и ведут свой род от столь же древних, как и само село, зеленых великанов, растущих на окрестных горах; я забыл далее упомянуть о грубом, но добротном полотне, что идет на саван; Впрочем, и оно выросло на тех же родимых полях, здесь его и ткали и белили, а потому оно в той же мере предмет семейного обихода, как и еловые доски, и не мешает земле нашего кладбища быть столь же прохладной и черной, как и всякая земля. Она сплошь покрыта самой сочной зеленой травой, а розы и жасмин разрослись здесь так буйно и в такой дикой прелести, что свежую могилу не надо украшать отдельными кустиками, — ее просто прорубают в цветущей чаще, и один только могильщик сможет найти в этих зарослях место, которое можно перекапывать заново.

Село не насчитывает и двух тысяч жителей; большие группы односельчан, по несколько сот душ каждая, носят одинаковые фамилии, но всего лишь двадцать — тридцать человек из них считают друг друга родственниками, ибо редко кто помнит родство дальше прадеда. Попав из непостижимой тьмы небытия на яркий свет солнца, эти люди греются его теплом и стараются взять от жизни что могут, что-то делают, за что-то борются и снова уходят в могильную сень, когда настает их черед. Поразительное сходство их носов достаточно красноречиво говорит о том, что у них непременно должно быть не менее тридцати двух общих предков, образующих непрерывную родословную линию, но, убедившись в этом, они отнюдь не стараются выяснить, в каком порядке их предки следовали один за другим, а предпочитают позаботиться о том, чтобы эта живая цепь не оборвалась на них самих. Поэтому-то они знают всевозможные местные предания и диковинные истории и могут рассказать их во всех подробностях, но зато не знают, как и почему их дед женился именно на их бабке. Каждый считает, что он сам себе обязан всеми своими добродетелями или, по крайней мере, теми качествами, которые — в соответствии с его образом жизни — представляются ему добродетелями; что же касается пороков, то у крестьянина не меньше причин желать, чтобы пороки его отцов были преданы забвению, чем у господина, ибо, несмотря на свое высокомерие, последний порою такой же грешный человек, как и все мы.

Село окружают со всех сторон обширные полевые и лесные угодья, составляющие богатый, неисчерпаемый источник достатка для его обитателей. Размеры этих владений издавна колебались примерно в одних и тех же пределах; правда, время от времени какая-нибудь выданная на сторону девушка уносит с собой часть богатств, зато сельские женихи нередко уходят добывать себе невест миль за восемь в округе, стремясь не только полностью возместить утраченное, но и способствовать тому, чтобы население деревни сохраняло должное разнообразие характеров и черт лица, и проявляют при этом более глубокую и мудрую заботу о здоровом продолжении рода, чем патриции или купцы иных богатых

городов или монархи Европы.

И все же распределение собственности претерпевает из года в год некоторые изменения, а за каждые полвека меняется до неузнаваемости. Дети тех, кто вчера был нищим, сегодня — деревенские богачи, а назавтра их потомки с трудом стараются удержаться в пределах среднего достатка, чтобы затем либо обеднеть окончательно, либо снова вознестись.

Мой отец умер очень рано, и мне не довелось услышать от него, что представлял собой мой дед; поэтому я знаю об этом человеке только то, что в те времена и для нашей семьи наступил черед впасть в честную бедность. Мне не хотелось бы обвинять в этом моего прадеда, о котором я уж и вовсе ничего не знаю, и я далек от мысли, что он был какой-нибудь вертопрах, скорей всего причина в том, что его состояние оказалось раздробленным между многочисленными наследниками; и в самом деле, у меня есть множество троюродных и четвероюродных братьев, в которых я сам с трудом разбираюсь; цепкие, как муравьи, они теперь уже выкарабкались из нужды и собираются вновь завладеть большей частью своих наследственных земель, неоднократно изрезанных межами. Некоторые из них, те, что постарше, успели за это время разбогатеть, а их дети — снова впасть в нищету.

В ту пору Швейцария уже отнюдь не была похожа на ту страну, которую секретарь посольства Вертер⁹ нашел в свое время такой жалкой, и если весенние всходы французских идей скрылись под нескончаемым снегопадом австрийских, русских и даже французских ордеров на постой, то наполеоновская конституция принесла с собой мягкое позднее лето¹⁰

⁹ *...секретарь посольства Вертер.* — Речь идет о заглавном герое романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). Эпизоды из жизни Вертера в Швейцарии составляют содержание самостоятельного отрывка, включенного Гете в качестве первой части в другую книгу — «Письма из Швейцарии» (1808). Келлер имеет в виду следующие слова Вертера: «Как? Швейцарцы свободны? Свободны эти зажиточные граждане в запертых городах? Свободны эти жалкие бедняги, ютящиеся по отвесам и скалам? На чем только человека не проведешь! Особливо на такой старой, заспиртованной басне. Они однажды освободились от тирании и на мгновение могли возмнить себя свободными, но вот солнышко создало им из падали поработителя путем странного перерождения целый рой маленьких тиранов: а они все рассказывают старую басню, и до изнеможения слушаешь все одно и то же: они, мол, некогда отвоевали себе свободу и остались свободными» (Гете, Собр. соч., т. VI. М.-Л. 1934, стр. 149–150).

¹⁰ *...если весенние всходы французских идей скрылись под нескончаемый снегопадом... ордеров на постой, то наполеоновская конституция принесла с собой мягкое позднее лето...* — Старинный союз «тринадцати земель», в основном состоявший из независимых патрицианских республик, был уничтожен в 1798 г., когда в Швейцарию вторглись французские войска Директории. Учредив централизованную Гельветическую республику, Наполеон ввел новую конституцию, скопированную с французской конституции III года (1795 г.). Согласно этой конституции, все кантоны уравнивались в правах и подчинялись центральной власти; отменялась личная крепостная зависимость крестьян и феодальная цеховая регламентация. В то же время Гельветическая республика попала под французское владычество и стала ареной борьбы австрийско-русской коалиции против Франции. Страну разоряли все возрастающие контрибуции и бесконечные военные постой. В 1802 г. почти во всех кантонах начались восстания. За годы существования Гельветической республики в Швейцарии произошло пять государственных переворотов, сменилось шесть правительств и шесть конституций.

В 1803 г. Наполеон вынужден был ликвидировать Гельветическую республику и предоставить Швейцарии формальную независимость. Так называемым «Актом о посредничестве» было восстановлено с некоторыми изменениями прежнее государственное устройство, и Швейцария стала союзом девятнадцати автономных кантонов. Зависимость Швейцарии от Франции сохранялась до низложения Наполеона в 1814 г.

Союзный договор, вновь превративший Швейцарию в содружество слабо связанных между собой карликовых государств, был одобрен в 1815 г. Венским конгрессом, признавшим также «постоянный нейтралитет» Швейцарии, что имело для всей ее последующей истории исключительно большое значение. Тогда же Швейцарскому союзу были возвращены отторгнутые Наполеоном земли (Женева, Базель и др.), и число кантонов увеличилось до двадцати двух. После свержения Наполеона в отдельных кантонах были частично реставрированы ранее существовавшие феодальные порядки.

Под влиянием революционных событий 1830 г. во Франции в наиболее передовых швейцарских кантонах (Цюрих, Берн и др.) развернулось движение за окончательную ликвидацию феодальных отношений, за демократизацию и централизацию страны. Это привело в 1847 г. к гражданской войне, которая закончилась

и не помешала моему отцу, который пас тогда коров, в один прекрасный день расстаться с ними и отправиться в город, чтобы выучиться там честному ремеслу. С тех пор односельчане надолго потеряли его из виду, ибо, с честью завершив нелегкие годы ученья и став искусным каменотесом, он отдался смелым мечтаниям молодости, все более властно звавшим его в неизведанные дали, и, пустившись в странствия, повидал немало чужих краев. Тем временем битва под Ватерлоо уже отшумела, и под тихий шелест сделанных из бумаги бурбонских лилий в Европе забрезжила голубоватым мерцанием церковных свечей заря новой эпохи,¹¹ постепенно осветившая своим тусклым светом также и все уголки Швейцарии.

Деревня, где родился мой отец, не избежала общей участи: еще так недавно, в девяностых годах, ее жители вдруг обнаружили, что с незапамятных времен они тоже живут в республике, а теперь к ним торжественно въехала почтенная мадам Реставрация со всеми своими коробками и картонками и устроилась в этом гнездышке как нельзя более удобно. Тенистые леса, горы и долины, очаровательные уголки, как бы созданные для увеселений, прозрачные воды богатой рыбой реки, а вокруг — привольные просторы, где прелести этого живописного ландшафта повторяются еще и еще раз и где до сих пор еще красуется несколько обитаемых замков, — все это привлекало толпы гостей, наезжавших из города в дома местных господ, чтобы поохотиться, половить рыбу, попеть, потанцевать, покушать и попить вина. Дамы не были теперь стеснены в своих движениях, так как благоразумно решили не вспоминать больше о тех модах, которые революция сдала в архив, и вместо кринолинов и париков стали носить, — правда, в тех местах с некоторым опозданием, — греческие одеяния времен Империи¹². Крестьяне с удивлением смотрели на своих знатных соотечественниц, облаченных в белые прозрачные хитоны богинь, на их диковинные шляпы и не менее странные талии, начинавшиеся сразу же под мышками. Эти аристократические порядки процветали в особенности в доме пастора. Сельские священники реформированной швейцарской церкви¹³ нимало не походили на тех робких и жалких бедняков, какими были их собратья по сану на протестантском Севере. В Швейцарии, где все доходные церковные

поражением феодально-клерикальных сил и принятием буржуазно-демократической конституции 1848 г.

¹¹ *...битва под Ватерлоо уже отшумела, и под тихий шелест... бурбонских лилий в Европе забрезжила... заря новой эпохи ...* — Вторичное господство Наполеона («Сто дней») завершилось историческим сражением под Ватерлоо (в окрестностях Брюсселя). Потерпев 18 июня 1815 г. сокрушительное поражение от англо-голландских и прусских войск Веллингтона и Блюхера, Наполеон был взят в плен и сослан на остров Св. Елены. Во Францию вновь вернулись Бурбоны (белые лилии были изображены на их дворянском гербе). Реакционный режим Реставрации (1814, 1815–1830 гг.), во время которого заметно усилилось влияние церкви, не мог полностью ликвидировать новые буржуазные отношения, укоренившиеся во Франции и завоеванных ею странах в период владычества Наполеона. Бурбоны оказались не в состоянии реставрировать во всех областях общественной жизни дореволюционные феодальные порядки.

¹² *...греческие одеяния времен Империи.* — В годы наполеоновской империи в западноевропейской живописи, архитектуре и прикладном искусстве господствовал стиль ампир (франц. *empire* — империя). Для этого стиля было характерно тяготение к монументальности и использование мотивов античного искусства. В женских одеждах и прическах получили распространение фасоны, имитирующие древнегреческие и римские образцы.

¹³ *Реформированная швейцарская церковь.* — Протестантская церковь, целиком подчиненная городским властям и отвечавшая интересам бюргерства, была создана в Швейцарии Ульрихом Цвингли (1484–1531). После гибели Цвингли во второй каппельской войне, окончившейся победой католиков, союз протестантских городов был расторгнут, и Швейцария распалась на католическую и реформатскую (протестантскую). Под флагом защиты религиозных интересов феодальные католические кантоны в течение нескольких столетий упорно сопротивлялись новым буржуазным веяниям, исходившим из наиболее продвинутых в экономическом отношении протестантских кантонов. Цюрих, родина Келлера, в XVI в. был главным центром реформационного цвинглианского движения, в XVIII в. — швейцарского буржуазного просветительства и в первой половине XIX в. — буржуазно-демократических объединительных устремлений.

должности занимали почти исключительно жители наиболее крупных городов, сан священника был почетным и входил в иерархию власть имущих, дополняя светские чины, и пасторы, братья которых держали в своих руках меч и весы, тоже были причастны к их славе и могуществу и рука об руку со всеми прочими властями и в полном согласии с ними энергично правили в своей сфере или же предавались радостям привольной и беспечной жизни. Многие сельские пасторы были выходцами из богатых семей, и их дома напоминали крупные господские поместья; нередко священник был по происхождению дворянин, и тогда крестьянам приходилось величать своего пастыря «баринном». Правда, в моей родной деревне пастор не принадлежал к их числу; он был отнюдь не богат, но родился в почтенной семье старых горожан, так что он сам и весь его домашний уклад отражали совокупность черт, свойственных патриархальной городской среде: гордость, кастовый дух и умение повеселиться. Считая себя аристократом, он немало гордился этим и весьма естественно сочетал приличествующее духовному лицу достоинство с грубоватым обликом офицера-помещика; ибо в те времена люди не только не знали еще, что такое современные консерваторы, кропающие трактаты, но даже и слов таких не слыхивали. В доме у него всегда бывало шумно и весело; дети пастора, ведавшие его обширными полями и тучными стадами, радушно потчевали приезжих чем бог послал, да и сами гости усердно добывали себе в лесу зайцев, вальдшнепов и куропаток, а вместо того, чтобы охотиться с собаками, что в тех местах было не принято, полюбовно сговаривались с крестьянами и устраивали с их помощью большие рыболовные походы, которые каждый раз превращались в настоящее празднество, так что в пасторском доме никогда не стихало веселое оживление. Друзья и знакомые то и дело навещали друг друга, и семейство пастора тоже непрестанно ездило к кому-нибудь в гости и само принимало у себя соседей со всей округи; при этом устраивались танцы под шатрами, или же над чистым горным ручьем растягивалась палатка, и, скинув свои греческие одеяния, дамы купались под ней; несметные толпы гостей совершали набег на какую-нибудь мельницу в уединенном прохладном уголке или же выезжали в переполненных челнах на озеро или на реку, причем сам пастор обычно ехал впереди, с ружьем за спиной или с огромной тростью в руках.

Духовные запросы этого круга были весьма скромны. Из светских книг в библиотеке пастора, которая сохранилась еще до моего времени, имелось несколько старофранцузских пастушеских романов, идиллии Геснера¹⁴, комедии Геллерта¹⁵ и сильно зачитанный «Мюнхгаузен»¹⁶. Два или три разрозненных тома Виланда¹⁷ были, по-видимому, когда-то

¹⁴ *Геснер* Соломон (1730–1788) — немецко-швейцарский поэт, художник и искусствовед, автор «Идиллий», которые он иллюстрировал собственными гравюрами, трактата «Письма о пейзажной живописи» (1772) и др. В литературе Геснер был представителем анакреонтической и пасторальной поэзии, в изобразительном искусстве — сентиментальной ландшафтной живописи, о которой он писал в своих искусствоведческих трудах. Маркс считал Геснера одним из тех писателей, которые «исторической испорченности противопоставляют идиллию неподвижного состояния» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Об искусстве, т. 1. М. 1957, стр. 413).

¹⁵ *Геллерт* Христиан Фюрхтегот (1715–1769) — немецкий писатель и философ-моралист эпохи Просвещения. В его произведениях сентиментальное благочестие соединяется с рассудочностью и рационализмом. Писал в разных жанрах. Особенно известны были его назидательные «Басни и рассказы», сентиментально-психологический роман «Жизнь шведской графини фон Г.», «Духовные песни» и образцовый для своего времени письмовник. Геллерт первый в Германии попытался создать буржуазную «слезную комедию» («Лотерейный билет», «Нежные сестры», «Мнимобольная жена»). К началу XIX в. все его произведения были уже безнадежно устаревшими.

¹⁶ «*Мюнхгаузен*», точнее «Приключения барона Мюнхгаузена» — классическое произведение, мировой сатирической литературы. Автором первоначального текста был немецкий литератор и ученый Рудольф Эрих Распе (1737–1794), эмигрировавший в Англию и в 1785 г. издавший в Лондоне на английском языке сборник анекдотических рассказов о похождениях лжеца и хвастуна Мюнхгаузена. Дальнейшую обработку сюжета взял на себя немецкий поэт-демократ Готфрид Август Бюргер (1747–1794), издавший в 1786 г. на немецком языке «Удивительные путешествия барона фон Мюнхгаузена». В обработке Бюргера, усилившего обличительный и комический элемент рассказов, книга получила мировую известность.

взяты в городе, да так и не возвращены владельцу. В доме певали песни Хёльти¹⁸, и только кого-нибудь из молодежи можно было иногда увидеть с Матиссоном¹⁹ в руках. Что касается самого пастора, то каждый раз, когда в течение последних тридцати лет речь заходила о подобных предметах, он неизменно спрашивал собеседника; «Читали ли вы «Мессиаду» Клопштока²⁰?»²¹ — и, получив, как правило, утвердительный ответ, осторожно умолкал. Впрочем, и его гости тоже не принадлежали к числу тех утонченных людей, которые стремятся своей благородной образованностью и интенсивной умственной деятельностью расширить и обогатить господствующую в их среде культуру; они относились скорее к тому потребительскому классу, который не любит утруждать себя долгими размышлениями, а ограничивается тем, что вкушает плоды трудов своих и веселится, пока молод душой.

Но все это великолепие уже таило в себе червоточину, предвещавшую его конец. У пастора были сын и дочка, и наклонности их сильно отличались от наклонностей их сверстников. Сын, который тоже был священником и должен был унаследовать от отца его приход, завел деловые знакомства с крестьянскими парнями, целыми днями пропадал с ними где-то в поле или ездил на ярмарки, где продавался скот, и с видом знатока ощупывал телят. Дочь, которая была рада любому случаю расстаться со своими греческими одеяниями и удалиться на кухню или в сад, охотно брала на себя заботу о том, чтобы беспокойная толпа голодных гостей, возвратясь с очередной прогулки, смогла бы вкусно пообедать. И в самом деле, кухня в доме пастора была едва ли не самой сильной приманкой для городских гурманов, а большой и тщательно возделанный сад, содержащийся в образцовом порядке, свидетельствовал о том, что его хозяйка ухаживала за ним с любовью и с терпеливым усердием.

Увлечения пасторского сына закончились тем, что он женился на здоровой сельской девушке из зажиточной семьи, переехал жить к ней и стал возделывать ее поля и ухаживать за ее коровами, отдавая этим занятиям шесть дней в неделю. Памятуя о том, что ему уготован более высокий жребий, он учился сеять божественные семена добра, расчетливо разбрасывая по бороздам зерно из лукошка, и искоренял зло, выпалывая плевелы на своем

¹⁷ *Виланд* Кристоф Мартин (1733–1813) — немецкий писатель просветительского направления. Галантно-эротические темы и шутивно-изящный стиль создали ему славу как основателю немецкого рококо. В многочисленных произведениях Виланда сатирические и критические тенденции ограничиваются высмеиванием мелких недостатков и проповедью просвещенного абсолютизма. Более всего известны его романы «Абдеритяне», «Музарион» и «Агатон», сказочная эпопея в стихах «Оберон» и переводы драм Шекспира.

¹⁸ *Хёльти* Людвиг Кристоф Генрих (1748–1776) — немецкий поэт-сентименталист, примыкавший к движению «Бури и натиска», участник геттингенского литературного кружка «Союз рощи». Благочестивомеланхолическая лирика Хёльти пользовалась широкой популярностью. Многие его песни были положены на музыку и стали известными романсами.

¹⁹ *Матиссон* Фридрих (1761–1831) — второстепенный немецкий поэт-лирик сентиментально-романтического направления.

²⁰ *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт, предшественник движения «Бури и натиска», автор религиозно-сентиментальной эпопеи в гекзаметрах «Мессиада» (1748–1773). Перу Клопштока принадлежат также трагедии на библейские сюжеты, оратории (так называемые «бардиты») на национально-патриотические темы, лирические стихи и оды.

²¹ *Духовные запросы этого круга... «Мессиаду» Клопштока ...* — Здесь перечислены книги и авторы, наиболее популярные в немецкой Швейцарии начала XIX в. В то время как в других странах литературные вкусы читателей определялись произведениями романтиков, в Швейцарии были еще в ходу рыцарские и пастушеские романы XVI–XVII вв. и считались чуть ли не новинками книги немецких и швейцарских писателей XVIII в.

собственном поле. Такой оборот дела вызвал немалый переполох среди домочадцев пастора, и все они особенно негодовали при мысли о том, что молодая крестьянка когда-нибудь войдет в дом полновластной хозяйкой и что в нем будет распоряжаться женщина, которая не только не умеет с подобающей грацией нежиться на лужайке, но даже не знает, как надо зажарить зайца и подать его на стол согласно сословным традициям. Поэтому всем хотелось, чтобы дочь пастора, первая молодость которой тем временем как-то незаметно отцвела, привела бы в дом молодого священника, верного обычаям своего сословия, или же осталась надолго, хотя бы и незамужней, в доме отца как опора рушившейся семьи. Но и этим надеждам не суждено было сбыться.

Глава вторая **ОТЕЦ И МАТЬ**

Дело в том, что в один прекрасный день все село было взволновано приездом какого-то незнакомца, стройного и красивого молодого человека, одетого в зеленый сюртук тонкого сукна, сшитый по последней моде, белые панталоны в обтяжку и лакированные сапоги с желтыми отворотами, какие нашивали в свое время офицеры Суворова. В пасмурную погоду он носил с собой красный шелковый зонтик, а массивные золотые часы тонкой работы придавали ему еще больше важности в глазах крестьян. Молодой человек не спеша и с достоинством прогуливался по улицам села, учтиво раскланиваясь, заходил в скромные домики крестьян и приветливо заводил беседу с деревенскими стариками и старухами. Это был не кто иной, как мастер Лее, проделавший славный путь от скромного подмастерья до искусного каменотеса и возвращавшийся теперь на родину после долгих странствий в чужих краях. Да и как не назвать славным путь человека, который двенадцать лет назад ушел из родного села четырнадцатилетним мальчишкой, голодным и босым, и, отработав у мастера несколько долгих лет, чтобы расплатиться с ним за обучение, отправился на чужбину, имея за душой всего лишь котомку с жалкими пожитками и немного денег, а теперь возвращался домой настоящим баринком, как его называли земляки. Еще бы, ведь он привез с собой в скромный домик своих родственников два огромных сундука, один из которых был доверху наполнен платьем и тонким бельем, а другой — образцами его искусства, чертежами и книгами. Ему было тогда двадцать шесть лет, и во всем его облике чувствовался молодой задор; глаза его то и дело загорались теплым блеском, выдававшим доброе и восторженное сердце, говорил он всегда на изысканном немецком языке и умел найти прекрасное даже в явлениях самых повседневных и незначительных. Он объездил всю Германию, побывав и на Юге и на Севере, и успел поработать во всех ее больших городах; годы его странствий полностью совпали с эпохой освободительных войн,²² и он воспринял идеи и самый дух того времени, насколько они ему были понятны и доступны; больше всего ему пришлись по сердцу убеждения тех людей среднего достатка, которые открыто и простоудушно мечтали о новых, лучших временах, всегда оставаясь в своих чаяниях на трезвой почве действительности; что же касается до болезненного увлечения сверхъестественным²³ и тех

²² ... годы его странствий полностью совпали с эпохой освободительных войн. — Освободительные войны немецкого народа против французского владычества (1813–1815 гг.) начались после победы России над Наполеоном в Отечественной войне. «Уничтожение огромной наполеоновской армии при отступлении из Москвы, — писал Энгельс, — послужило сигналом к всеобщему восстанию против французского владычества на Западе. В Пруссии поднялся весь народ, принудивший трусливого короля Фридриха-Вильгельма III к войне против Наполеона» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 22, стр. 30). Однако освободительная борьба в Германии носила двойственный характер, так как немецкие юнкеры и князья, захватив в свои руки руководство подлинно освободительной народной войной, использовали ее в реакционно-националистических и династических целях.

²³ ... что же касается до болезненного увлечения сверхъестественным.. . — В начале XIX в. (особенно в период наполеоновских войн, когда ломались и рушились феодальные отношения) в Германии и других

утонченных умствований, которым предавались тогда некоторые круги высшего общества, то они были ему совершенно чужды.

Такие люди, как он сам и его единомышленники, в ту пору были еще редким явлением в среде ремесленников; их идеалы представляли собой первый скрытый зародыш того благородного стремления к самоусовершенствованию и просвещению, которое двадцать лет спустя охватило все сословие странствующих подмастерьев. Они считали честью для себя быть лучшими мастерами своего дела и гордились тем, что их искусство ценилось высоко, а так как трудились они усердно и были к тому же умеренны и бережливы, то все это позволяло им заниматься и своим образованием, так что уже в годы ученичества они стали во всех отношениях зрелыми и почтенными людьми. Кроме того, у каменотеса Лее была еще и своя путеводная звезда, которую он обрел, изучая великие произведения старонемецкого зодчества, и она светила ему еще ярче в его исканиях, пробуждая в его душе радостное предчувствие, что он рожден художником, так что он видел теперь, что не ошибся, последовав в свое время необъяснимому зову судьбы и променяв зеленые пастбища на творческую жизнь горожанина. С железным упорством учился он рисовать, проводил целые ночи и праздничные дни за перерисовкой разного рода образцов и моделей; научившись высекать своим резцом самые затейливые фигуры и украшения и достигнув совершенства в своем мастерстве, он и на этом не успокоился, а стал овладевать теорией резьбы по камню и даже изучать науки, относящиеся к другим отраслям строительного искусства. Повсюду он старался попасть на постройку больших государственных зданий, где было на что посмотреть и чему научиться, и так внимательно подмечал все, что вскоре архитекторы стали все чаще отзывать его с лесов в свой кабинет, чтобы дать ему работу за чертежным или за письменным столом. Разумеется, он и там не тратил времени попусту и не раз отказывался от обеда, чтобы успеть перечертить какой-нибудь чертеж или переписать для себя какой-нибудь расчет, который попадался ему в руки. И хотя ему не довелось получить всестороннее художественное образование, он все же сумел стать настолько дельным строителем, что, приняв смелое решение попытаться счастья в столице своей родины, он мог с полным правом рассчитывать на успех. Заявив об этом намерении перед всей деревней, он поверг свою родню в немалое удивление, но все изумились еще больше, когда, надев нарядную рубашку с манжетами и изъясняясь на чистейшем немецком языке, он вошел в общество греко-французских красавиц в доме пастора и стал свататься к его дочке. Быть может, брат невесты с его склонностью к сельской жизни сыграл здесь роль посредника или, во всяком случае, ободряюще подействовал на сестру своим собственным примером; так или иначе, девушка вскоре отдала свое сердце молодому красавцу, а семейные неурядицы, которыми было чревато ее решение, отпали сами собой, так как родители лишь ненадолго пережили помолвку дочери и умерли один вскоре после другого.

Свадьба была невеселая, и молодожены сразу же переселились в город, ничуть не сожалея о блестящем прошлом покинутого ими дома, куда вскоре въехал молодой пастор с целым обозом подвод, доверху нагруженных серпами, косами, цепями, граблями и вилами, с кроватью под огромным пологом, с прялками и веретенами и с бойкой на язык молодой женой, которая своим копченым салом и грубыми клецками скоро вытеснила из дома и сада все муслиновые платица, веера и зонтики. И лишь одна из комнат со стеной, сплошь увешанной охотничьими ружьями, из которых умел стрелять и молодой хозяин, привлекала еще кое-кого из охотников, наезжавших осенью в деревню, и до некоторой степени отличала

европейских странах процветали религиозно-мистические учения, оккультизм, теософия, магия и даже алхимия. В аристократических кругах, в первую очередь связанных с масонством, распространились мистические теории «познания божества и тайных сил» и вера в возможность общения избранных утонченных натур с потусторонними силами, вошли в моду «магические опыты», «вызывание духов» и т. п. В это время пользовались большим успехом и были переведены на разные языки сочинения немецкого мистика Эккартшаузена (1752—1803), стяжавшего известность своими шарлатанскими «опытами». В более утонченной философской форме мистические идеи прокламировались в те же годы и немецкими романтиками.

жилище пастора от крестьянского дома.

Приехав в город, молодой архитектор работал с утра до вечера; он начал с того, что нанял нескольких рабочих и стал брать разного рода мелкие заказы, причем выказал себя таким умелым и добросовестным мастером, что не прошло и года, как его предприятие расширилось и завоевало прочную репутацию. Он был неистощим на выдумку, обходителен с заказчиками, умел вникать в их желания и всегда имел наготове дельный совет, так что многие горожане охотно спрашивали его мнение насчет того, как им произвести ту или иную перестройку в своем доме или выстроить что-нибудь заново, и наперебой стремились отдать заказ в его мастерскую. К тому же он всегда старался сочетать полезное с приятным и бывал особенно доволен, когда заказчик предоставлял ему свободу действий; такому клиенту он преподносил в придачу какой-нибудь лепной наличник или карниз, выполненные со вкусом и выдержанные в благородных пропорциях, и не требовал за это никакой дополнительной платы.

Жена его с поистине фанатичным рвением вела свое домашнее хозяйство, которое вскоре расширилось за счет столовавшихся у нее рабочих и слуг. С неистощимой энергией и знанием дела она распоряжалась целым отрядом огромных корзин для провизии, опорожнявшихся у нее на кухне и вновь наполнявшихся на рынке, где она была грозой торговков; но истинным наказанием божьим она была для мясников, которым приходилось с боем отстаивать свое древнее право вместе с куском мяса класть на чашку весов хотя бы одну косточку. У мастера Лее не было почти никаких личных прихотей, и среди его житейских правил на первом месте стояла бережливость, но это не мешало ему быть человеком бескорыстным и великодушным, и деньги имели для него ценность лишь постольку, поскольку на них можно было что-нибудь предпринять для себя или для других или оказать кому-нибудь услугу; только благодаря жене, не тратившей ни одного пфеннига попусту и всегда гордившейся своим умением никого ни на волос не обидеть, но и не заплатить никому ни гроша лишку, мастеру удалось уже через два-три года сделать кое-какие сбережения. Теперь он мог распоряжаться ими так же свободно, как и предоставленным ему в то время кредитом, и более щедро вкладывать деньги в проекты, роившиеся в его предприимчивой голове. Он скупал за свой счет старые здания, сносил их и возводил на их месте добротные жилые дома для горожан, применяя при этом разного рода новшества по части удобств, иногда собственного изобретения. Эти дома он продавал более или менее выгодно и сразу же брался за новые предприятия; что бы он ни строил, все его здания отличало богатство мысли и забота о разнообразии форм. Если ученые знатоки архитектуры иной раз терялись, не зная, к какому стилю отнести те или иные частности, и по праву упрекали автора в том, что отдельные его идеи неясны, а общий замысел нестроен, они все же вынуждены были признать, что этот замысел сам по себе интересен, и расточали хвалы благородному стремлению к красоте, которое выгодно отличало создания мастера от тех плоских и нищих духом произведений, какими была полна тогдашняя архитектура, далекая от истинного искусства.

Кипучая и деятельная жизнь, которой жил этот неутомимый человек, столкнула его, на почве общих деловых интересов, со многими горожанами, и, встретив среди них единомышленников, людей чутких и отзывчивых, он сумел увлечь этот более тесный дружеский круг своим неутомимым стремлением к добру и красоте. Это было примерно в середине двадцатых годов, когда и сами господствующие классы Швейцарии тоже выдвинули из своей среды целую плеяду славных деятелей, людей образованных и гуманных, выступавших как преемники и продолжатели идей великой революции в их новой, смягченной и облагороженной форме, деятелей, которые подготавливали благодатную почву для июльских дней²⁴ и посвятили себя служению возвышенным идеалам просвещения

²⁴ ...подготавливали благодатную почву для июльских дней.. . — Речь идет об июльской революции 1830 г. во Франции, уничтожившей режим Реставрации и давшей толчок для развития объединительного буржуазно-демократического движения в Швейцарии.

и прав человека. Мастер Лее и его друзья были их достойными последователями среди трудящегося среднего сословия, издавна связанного глубокими корнями с народом, с отдаленными деревнями и местечками, откуда в него вливался приток свежих сил. И если просветители, люди знатные и ученые, спорили о новых формах государства, о проблемах философских и правовых и вообще ставили своей задачей усовершенствование рода человеческого, то ремесленники с их живым и практическим складом ума действовали тем временем в более узком кругу своего сословия и дальше в низах, стараясь прежде всего на деле улучшить свое положение. Они основали целый ряд союзов, нередко первых в своем роде, целью которых чаще всего являлись те или иные материальные выгоды для членов такого союза и их семей. Они собирали общественные средства и открывали школы, чтобы простой труженик мог получше воспитать своих детей; короче говоря, у этих славных людей было множество дел такого рода, и все эти разнообразные обязанности, тогда еще новые и почетные, доставляли им немало хлопот, но в то же время помогали им духовно развиваться и подняться выше; ведь теперь им приходилось созывать собрания, разрабатывать, обсуждать и принимать различные уставы, выбирать председателей и разъяснять членам этих союзов их права, а также их обязанности по отношению друг к другу и к обществу.

Ко всему тому, что их занимало и увлекало, присоединилась еще и освободительная борьба в Греции²⁵, завладевшая тогда всеми их помыслами; весть о ней дошла и сюда, пробудив наконец, как и повсюду, так долго прозябавшие в бездействии умы и вновь напомнив людям, что борьба за свободу всегда была общим делом всего человечества. Участие в помощи патриотам Эллады еще больше воодушевило этих простых мастеровых, людей, зачастую весьма далеких от филологии, но зато умевших увлекаться, и придало их благородному образу мыслей всемирный размах, окончательно очистив их деятельность от налета филистерства и провинциальной ограниченности. Мастер Лее во всяком деле был первым среди своих товарищей; он был надежным и преданным другом, и все уважали его и даже преклонялись перед ним за его открытый, честный характер и возвышенный образ мыслей. Его можно было назвать счастливым во всех отношениях, так как при всех своих достоинствах он был к тому же нимало не тщеславен и очень скромнен; как раз в то время он понял, что знает еще очень мало, и начал учиться заново, решив наверстать упущенное. Друзей своих он тоже убеждал следовать его примеру, и вскоре среди них не было ни одного, кто не собрал бы библиотечки из трудов по естественным наукам и исторических сочинений. Почти все они получили в молодости весьма убогое образование, но теперь, когда им довелось приобщиться к знаниям, и, в частности, поближе познакомиться с историей, перед их пытливой мыслью раскрывались новые необъятные просторы, и не было для них большей радости, чем проникать все глубже и глубже в эту неизведанную область. По воскресеньям они уже с утра собирались у кого-нибудь в доме, так что в комнатах бывало тесно, спорили и делились возникшими у них за неделю новыми мыслями, вроде того, что сходные причины всегда вызывают сходные следствия; такого рода открытия они делали нередко. Высоты философских сочинений Шиллера были для них недоступны, но зато они зачитывались его историческими трудами; что же касается его драматургии, то и она тоже говорила больше их сердцу, чем рассудку: они так непосредственно переживали ход действия каждой драмы, словно сами были ее участниками, и наслаждались от души, хотя и не могли проникнуть в замысел великого поэта и постичь эстетическую задачу, которую он

²⁵ ...освободительная борьба в Греции. .. — Освободительная борьба греческого народа против турецкого ига длилась восемь лет (1821—1829 гг.) и завершилась, после победы русской армии в русско-турецкой войне, признанием независимости Греции. На стороне греков были все передовые люди Европы, так называемые филэллы, видевшие в борьбе греческого народа вдохновляющий пример, которому рано или поздно должны будут последовать и другие народы, еще не освободившиеся от гнета своих и чужеземных деспотов. Движение филэллинов нанесло заметный ущерб реакционной политике «Священного союза» европейских монархов и содействовало развязыванию освободительной борьбы в разных странах.

всегда ставил перед собой. Они восхищались его героями и ставили их выше всех литературных образов, созданных другими писателями. Его пламенная, но всегда ясная мысль, его чистый и прозрачный язык как-то лучше гармонировали со скромными делами этих простых людей, чем с крикливыми претензиями иных поклонников Шиллера из нынешнего ученого мира. Но они были практики и привыкли действовать, а потому не могли довольствоваться тем, чтобы читать великого драматурга на сон грядущий, облачившись в шлафрок, — им нужно было видеть эти величественные события воочию, во всей их жизненной полноте и красочности, и так как в те времена в городах Швейцарии никто еще в глаза не видывал постоянного театра, то, не долго думая, они решились испытать свои силы на подмостках, причем душой этого дела был опять-таки мастер Лее. Правда, постройка и оборудование сцены отняли у них гораздо меньше времени и показались им куда легче, чем разучивание ролей, и многие из них, побаиваясь грандиозности задачи, утешали себя тем, что с двойным усердием забивали гвозди или распиливали доски; но все же следует признать, что они весьма и весьма многим обязаны этим сценическим занятиям: последние главным образом и привили нашим любителям умение правильно и живо излагать свои мысли и с достоинством держать себя в обществе, до сих пор свойственное большинству из них. С годами они мало-помалу оставили эти увлечения, но навсегда сохранили вкус к назидательному и прекрасному во всех его проявлениях. Наш современник спросит, пожалуй, как же они находили время на все это, не забрасывая при этом своей работы и своего дома; ему можно было бы ответить, что, во-первых, они были бесхитростные люди, здоровые и телом и духом, не чета тем умникам, что не могут сделать ни одного дела, тем более дела необычного, не убив на это уймы драгоценного времени: ведь эти тугодумы подобны немощному старцу, который не может съесть ни кусочка, пока не размельчит его хорошенько да не размажет по тарелке; во-вторых, три часа, с семи до десяти вечера ежедневно, — да еще если их употребить с толком, — составляют вовсе не так мало времени, как это кажется нынешнему обывателю, привыкшему проводить эти часы в бесплодных размышлениях, сидя за стаканом вина в облаках табачного дыма. В то время люди не платили еще дани целой шайке трактирщиков, а сами собирали осенью сок благородных лоз, предпочитая иметь собственный погреб, и среди сотоварищей мастера Лее не было ни одного, будь он богат или беден, кто не сгорел бы со стыда, если бы не смог угостить собравшихся у него вечерком друзей стаканом крепкого столового вина или если бы ему пришлось посылать за ним в трактир. Друзья встречались по вечерам; если же изредка кому-нибудь из них и случалось заглянуть на минутку в чужую мастерскую среди дня, то он делал это тайком, а принесенную им книгу или свернутую в трубку тетрадь с переписанной в ней ролью отдавал приятелю из-под полы, чтобы не заметили подмастерья, и оба они выглядели тогда как школяры, передающие друг другу под партами план какой-нибудь славной военной кампании.

Но, живя этой беспокойной жизнью, мастер Лее накликал на себя нежданную беду. Заваленный заказами, он работал много и напряженно; как-то раз он сильно вспотел, но, увлеченный своим делом, не обратил на это внимания и простудился; с того времени его тайно подтачивала опасная болезнь. Теперь ему надо было поберечь себя и по возможности щадить свои силы, но он и слушать об этом не хотел: как и прежде, он вечно был чем-то занят и старался сам вникнуть в каждую мелочь и поспеть везде, где была нужна его помощь. Дела его предприятия были теперь настолько разнообразны и сложны, что одни только они уже требовали от него напряжения всех сил, и он считал себя не вправе как-то вдруг ослабить свою энергию. Он занимался подсчетами и выкладками, заключал сделки, ездил делать закупки по всей округе, успевал побывать в одну и ту же минуту вверху, на лесах, и внизу, под сводами погреба; брал лопату из рук землекопа и делал ею несколько полновесных бросков, нетерпеливо хватался за рычаг, помогая ворочать какую-нибудь увесистую каменную плиту, подходил к какой-нибудь лежащей на земле балке, и если ему казалось, что люди мешкают поднять ее, сам брал эту балку на плечо и, тяжело дыша, относил на место; а когда наступал вечер, он спешил, не давая себе передышки, на собрание

какого-нибудь общества, чтобы выступить там с горячей речью, или же поднимался, взволнованный и преображенный, на подмости и оставался там до поздней ночи, стараясь одолеть непривычный для него язык высоких идеалов, и это борение страстей стоило ему, быть может, больших усилий, чем трудовой день. Все это кончилось тем, что смерть настигла его внезапно, и он умер в расцвете сил, в том возрасте, когда другие только еще готовятся свершить дело своей жизни, умер, полный неосуществленных замыслов и надежд, так и не увидев начала нового времени, которого он и его друзья ожидали с такой уверенностью. Жена его осталась одна с их единственным сыном, мальчиком пяти лет, и этим мальчиком был я.

Если человек в чем-то обделен судьбой, недостающее кажется ему вдвое дороже того, чем он на самом деле обладает; так было и со мной, когда, слушая долгие рассказы матери об отце, я начинал все больше и больше тосковать по нему, хотя я его так мало знал. Мое самое отчетливое воспоминание о нем относится почему-то ко времени за целый год до его смерти и связано всего лишь с одним коротким, но прекрасным мгновением, с одной воскресной прогулкой, когда мы шли, уже под вечер, по полям, и он взял меня на руки и, выдернув из земли картофельный кустик, стал мне показывать набухающие клубни, стремясь уже тогда внушить мне понятие о творце всевышнем и пробудить чувство благодарности к нему. Я вижу, как сейчас, его зеленый сюртук, светлые металлические пуговицы у самой моей щеки и его сияющие глаза: помню, что я с удивлением заглядывал в них, совсем позабыв про зеленый стебелек, который он высоко держал в вытянутой руке. Впоследствии мать часто вспоминала эту сцену и с гордостью за мужа рассказывала мне, как прочувствованно и прекрасно он тогда говорил и какое глубокое впечатление произвели его слова на нее и на сопровождавшую нас служанку. Образ отца запечатлелся в моей памяти и в более раннюю пору: однажды утром, отправляясь на несколько дней на учения, он неожиданно предстал передо мной в зеленом мундире стрелка, при полном походном снаряжении, немало удивив меня своим странным и непривычным видом; так и на этот раз его облик слился в моем воображении с милым моему сердцу зеленым цветом и с веселым блеском металла. О последнем времени его жизни у меня сохранились только очень смутные воспоминания, а черты его лица и вовсе стерлись в моей памяти.

Порой я задумываюсь над тем, как горяча и неизменна любовь отца и матери, которые навсегда сохраняют привязанность даже к своим заблудшим детям и не могут изгнать их из своего сердца, — и какой же противоестественно жестокой кажется мне тогда мораль так называемых честных и порядочных людей, способных позабыть тех, кто произвел их на свет, отречься от них, оправдываясь тем, что их родители — дурные люди, опозорившие свое имя, и тогда мне хочется восславить любовь сына, который не отвергнет и не покинет отца, даже если тот одет в рубище и все его презирают, и мне понятна благородная скорбь дочери, которая из сострадания готова взойти на эшафот вместе со своей преступной матерью. Поэтому я никогда не мог понять, отчего право гордиться своим происхождением непременно должно быть уделом только людей знатных? Что касается меня, то, не будучи аристократом, я все же чувствую себя счастливым вдвойне: ведь я могу любить и уважать своих родителей не только как сын, но и за то, что они были честными и весьма уважаемыми людьми, и не стыжусь того, что щеки мои рдели от радостного смущения, когда уже взрослым человеком, — а я вступил в гражданские права в трудное и тревожное время, — я не раз встречал на собраниях людей намного старше меня, и то один из них, то другой спешил подойти ко мне, чтобы пожать мне руку и сказать, что он был когда-то другом моего отца и очень рад видеть теперь на этом месте его сына; помню, как ко мне подходили еще многие и многие другие, и каждый из них неизменно говорил: «Как же, и я знавал его», — и желал мне с честью носить его имя. Хотя я прекрасно понимаю, как нелепо строить воздушные замки, но порой я все же невольно отдаюсь мечтам и пытаюсь представить себе, как сложилась бы моя судьба, если бы отец был еще жив: вот он знакомит меня с силами природы, и весь окружающий мир раскрывается передо мной уже в отроческие годы; как мудрый наставник он шаг за шагом выводит меня на жизненный путь и сам переживает со

мною свою вторую молодость. Дружба между растущими вместе братьями, которой мне не удалось изведать, внушает мне зависть, и я не могу понять, почему во многих семьях они чуждаются друг друга и ищут друзей на стороне; так и отношения между отцом и взрослым сыном тоже кажутся мне, хотя я и наблюдаю их ежедневно, чем-то новым и непостижимым, каким-то высшим блаженством, и, не испытав этого чувства, я лишь с трудом могу нарисовать его в своем воображении.

Теперь, когда я вступаю в пору зрелости, когда мой жизненный путь определился, я все реже мечтаю об отце и все чаще ограничиваюсь тем, что подвожу итог пережитому и лишь порой, где-то в глубине души, задаю себе вопрос: как поступил бы *он*, будь он сейчас на моем месте? что сказал бы *он* о моих поступках, будь *он* сейчас в живых? Едва достигнув полдня своей жизни, он ушел назад, в таинственную бездну вечности, оставив в моих слабых руках воспринятую им золотую нить жизни, начало которой скрыто от всех, и мне остается только с честью продолжить ее, связав ее с темным для меня будущим, а быть может, навсегда ее оборвать — когда и я умру. Уже через много, много лет после его смерти матушка часто видела один и тот же сон — будто отец вдруг вернулся из дальних странствий по чужим краям и снова принес с собой радость и счастье; она всегда рассказывала этот сон по утрам и затем погружалась в глубокое раздумье и в воспоминания, а я, охваченный священным трепетом, пытался представить себе во всех подробностях, как взглянул бы на меня отец, если бы в один прекрасный день он и в самом деле появился среди нас; и как мы стали бы тогда жить дальше.

Если о его внешнем облике я сохранил лишь очень смутное воспоминание, то образ его чистой и светлой души давно уже отчетливо предстал передо мной, и этот благородный образ стал для меня частицей великого, бесконечного мира природы, к которой в конечном счете ведут меня все мои размышления, и я верю, что она защищает меня на моем жизненном пути.

Глава третья
ДЕТСТВО.—
ПЕРВЫЕ УРОКИ БОГОСЛОВИЯ.—
ШКОЛА

Первые месяцы после смерти отца были для его вдовы тяжелым временем скорби и забот. Он оставил ей множество незавершенных дел, и, чтобы привести их в порядок, нужны были долгие и сложные переговоры. Работы по поступившим заказам приостановились, заключенные договоры не могли быть выполнены, текущие счета сплошь и рядом не были закрыты, и по ним надо было уплатить или получить крупные суммы; запасы строительных материалов приходилось продавать с убытком, и тогдашнее состояние дел внушало сомнение, останется ли у несчастной, подавленной горем женщины хоть один пфенниг на пропитание. Судейские чиновники приходили накладывать печати, а потом снова снимали их; друзья покойного и его многочисленные знакомые из делового мира то и дело навещали нас, чтобы помочь уладить дела; в конторе шла проверка книг, подбивались итоги, и часть имущества продавалась с торгов. Покупатели старались сбить цены, кредиторы, к которым переходила предприятия отца, норовили урвать больше, чем им причиталось, в доме вечно стоял шум, и не было ни минуты покоя, так что матушка, все время бдительно следившая за ходом дел, в конце концов растерялась и не знала, что ей делать. Но вот суতোлка улеглась, со всеми делами было мало-помалу покончено, кредиторы были удовлетворены, а должники признали свои обязательства, и тогда выяснилось, что от всего нашего состояния остался только дом, в котором мы жили в последнее время. Этот дом представлял собой высокое старое здание со множеством комнат, населенное снизу доверху, как улей. Отец купил его, намереваясь построить на его месте новый дом; но так как это была старинная постройка, которая сохранила на дверных рамах и наличниках окон остатки искусной резьбы, имевшей большую ценность, то отец все не решался снести дом и продолжал жить в нем, сдавая

большую часть комнат жильцам. Правда, у прежнего владельца были некоторые долговые обязательства, которые отцу пришлось взять на себя; но отец оказался более оборотистым хозяином и так быстро привел дом в порядок и сдал его внаем, что очень скоро расплатился с долгами, и оставленная им семья могла скромно прожить на ежегодный доход от жильцов.

Матушка начала с того, что решительно ограничила или совсем отменила всякую излишнюю роскошь и в первую очередь отказалась от каких бы то ни было чужих услуг. В лоне этой тихой вдовьей обители я впервые ясно осознал себя как мыслящее существо и стал испытывать свои силы, карабкаясь вверх и вниз по внутренним лестницам дома. В нижних этажах было темно, так как улица, куда выходили окна жилых комнат, была очень узка, а на лестницах и в передних окон вовсе не было. Коридоры с боковыми разветвлениями и нишами придавали этим этажам сходство с каким-то мрачным лабиринтом и скрывали немало еще не открытых мною тайн; но чем выше поднимаешься, тем светлее и приветливее становится помещение, потому что верхний этаж, где жили мы сами, возвышается над соседними зданиями. Через высокое окно потоком льются солнечные лучи, ярко освещая витые лестнички со множеством площадок и причудливые деревянные галереи просторной и светлой мансарды, представляющей резкий контраст с прохладным сумраком в глубинах нижних этажей. Из окон нашей комнаты видно было множество маленьких двориков, какие часто встречаются внутри замкнутых кварталов; они живут своей обособленной, скрытой от глаз прохожих жизнью, и в них не смолкает какой-то особый, свойственный обжитому дому, негромкий и приятный шум, какого никогда не услышишь на улице. Я целыми часами наблюдал за внутренней жизнью этих двориков; зеленые садики, разбитые в них, казались мне маленькими райскими кущами, особенно после полудня, когда в них появлялось солнце, а развешанные там белоснежные простыни тихо развевались под легким ветерком; и когда жильцы и соседи, которых я привык видеть всегда где-то далеко внизу, заходили к нам, чтобы поболтать с матушкой, в них было что-то странно чужое, и хотя я узнавал их, но все же не мог понять, как эти люди вдруг очутились в нашей комнате. У нас тоже был свой дворик, зажатый между высокими каменными стенами, с крошечной лужайкой, на которой росли две маленькие рябины; неумолчно лепечущая струйка родника падала в позеленевшую от времени чашу из песчаника, и в этом тесном уголке всегда было прохладно и даже немного жутко, если не считать летних месяцев, когда по несколько часов в день он был весь залит солнцем. Если в эти часы открыть входную дверь, то сквозь полумрак сеней его потаенная краса станет заметна с улицы, и тогда его светлая зелень так нарядно выглядит в этой темной раме, что даже случайного прохожего так и тянет зайти туда. Осенью солнце все реже навевывается во дворик, и взгляд его становится мягче и нежнее, а когда листва на деревьях пожелтеет, а ягоды станут ярко-алыми, когда старые стены печально оденутся в скупую позолоту, а родничок добавит к ней серебра, — тогда этот уединенный уголок приобретает свою неповторимую прелесть, которая настраивает на меланхолический лад и говорит нашему сердцу не меньше, чем самый величественный ландшафт. Однако к вечеру, когда солнце садилось, мое внимание все больше начинали привлекать стены домов, и взгляд мой перебежал по ним с этажа на этаж и устремлялся все выше, в поднебесье, так как море крыш, далеко раскинувшееся под моим окном, разгоралось в это время алым пламенем и оживлялось чудесной игрой красок. За этими крышами мой мир пока что и кончался, ибо воздушное полукружье снежных гор, едва видимое над коньками последних крыш, всегда казалось мне как бы парящим в небесах и не связанным с землей, и я долгое время считал, что это просто облака. Впоследствии, когда я в первый раз забрался на огромную крутую крышу нашего дома и, усевшись верхом на самом высоком ее гребне, окинул взглядом всю великолепную панораму широко раскинувшегося озера, над которым вставали такие четкие очертания гор с их зелеными подножиями, — тогда-то я, конечно, уже знал, что это такое, потому что в то время я подолгу бродил за городом; но это было намного позже, а пока что матушке приходилось долго объяснять мне, что это горы и что, создав этих могучих великанов, господь бог оставил нам лучшее доказательство своего всемогущества, — я слушал ее, но так и не умел отличать их от облаков. Вскоре облака всецело завладели моим

воображением: любимейшим моим занятием было теперь наблюдать за тем, как они плывут по вечернему небу, причудливо меняя свои очертания, хотя само слово «облако» было для меня таким же пустым звуком, как и слово «гора». Далекие снежные вершины представляли передо мной каждый раз в новом обличье, то подернутые дымкой, то немного светлее или темнее, то белые, то алые, поэтому они казались мне какими-то живыми, чудесными и могучими существами, как и облака, и я нередко называл облаком или горой также и все то, что внушало мне уважение или любопытство. Так, например, одну девушку из семьи соседей, первую женщину, которая мне понравилась, я назвал, — мне часто рассказывали об этом впоследствии, да и сам я до сих пор еще смутно слышу это слово, — белым облачком, по первому впечатлению, которое она произвела на меня в своем белом платье. Длинную и высокую крышу церкви я выделял из всех прочих крыш и любил называть ее горой, на что у меня было, пожалуй, больше оснований, так как она и в самом деле резко возвышалась над всеми зданиями. Я любил подолгу смотреть на нее, особенно в те часы, когда над городом уже опускались сумерки, а огромная наклонная плоскость ее обращенного к западу ската все еще пылала в красных закатных лучах и казалась мне чем-то вроде блаженных полей праведников, как их рисует себе наше воображение. Над этой крышей высилась стройная, тонкая, как игла, башенка, внутри которой висел небольшой колокол, а на ее шпиле вертелся флюгер в виде сверкающего золотого петуха. Перед заходом солнца, когда колокол звонил, мать говорила со мной о боге и учила меня молиться; я спрашивал: «Кто такой бог? Он человек?» — а она отвечала: «Нет, бог — это дух!» Церковная крыша мало-помалу погружалась в серую тень, свет взбирался все выше по башенке, и, наконец, один только золотой петух искрился в последнем луче, так что однажды вечером я твердо уверовал в то, что этот петух и есть бог. Он играл какую-то неопределенную роль и в моих коротких детских молитвах, которые я знал наизусть и читал с величайшим удовольствием, во всяком случае, он в них как-то незаметно присутствовал. Но однажды мне подарили книгу с картинками, в которой был изображен великолепной расцветки тигр, сидящий в весьма внушительной позе, и постепенно он вытеснил все другие мои представления о боге; правда, я никогда никому не говорил об этом, так же, впрочем, как и о петухе. Я верил в это бессознательно, где-то в глубине души, и образ сверкающей птицы, а позже — красавца тигра вставлял в моем воображении только тогда, когда я слышал слово «бог». Правда, со временем я стал мысленно связывать с богом если не более ясный образ, то, во всяком случае, более возвышенное понятие. Я очень легко заучил «Отче наш», запомнив сначала отдельные части, а потом соединив их вместе, после чего повторение было для меня лишь приятным упражнением памяти, и я читал это со своеобразной виртуозностью и на разные лады: повторял какую-нибудь часть дважды или трижды или, сказав одно предложение тихой скороговоркой, выделял следующее, произнося его протяжно и с ударением, а потом начинал читать молитву с конца, завершая ее начальными словами: «наш отче». Эта молитва внушила мне смутную догадку о том, что бог должен быть существом разумным, во всяком случае, с ним-то уж наверно можно разговаривать обычным человеческим языком, не то что с мертвыми изображениями зверей.

Так я и жил в невинной и задушевной дружбе со всевышним, не требовал от него ничего и не испытывал чувства благодарности к нему, не ведал, что праведно и что грешно, и тотчас же забывал о нем, как только что-нибудь отвлекало от него мое внимание.

Однако вскоре обстоятельства побудили меня более ясно осознать мое отношение к богу и в первый раз обратиться к нему с просьбой защитить мои человеческие права. Это произошло на седьмом году моей жизни, когда в одно прекрасное утро я очутился в большой скучной комнате, в которой обучалось примерно пятьдесят — шестьдесят маленьких мальчиков и девочек. Семь учеников стояли полукругом перед доской, на которой красовались огромные буквы, и я тихонько стоял с ними, внимательно слушая и ожидая, что будет дальше. Так как все мы были новичками, то учитель, пожилой человек с большой неуклюжей головой, пожелал сам направить наши начальные шаги и теперь давал нам первый урок, заставляя называть вразбивку замысловатые фигуры на доске. Еще очень давно

я услышал слово «пумперникель», и оно мне почему-то очень понравилось, только я никак не мог подыскать для него какой-нибудь зрительный образ, и никто не мог мне сказать, как выглядит предмет, носящий это название: ведь у нас его нет, а родина его находится за несколько сотен миль. И вот совершенно неожиданно на мою долю досталось заглавное готическое «П», которое показалось мне особенно диковинным и каждой своей черточкой напоминало что-то забавное; тут я прозрел и изрек весьма решительно: «А это пумперникель!» В тот момент я нимало не сомневался, что жизнь прекрасна, что сам я — молодец и что пумперникель есть пумперникель, и на душе у меня было радостно и легко, но именно мой серьезный и самодовольный вид и внушил учителю мысль, что я — испорченный мальчишка, вздумавший дерзко подшутить над ним. Вознамерившись тотчас же переломить мой дурной нрав, он набросился на меня и с минуту таскал меня за волосы с таким остервенением, что я свету божьего неувидел. Став жертвой столь внезапного нападения, я вначале никак не мог опомниться; мне казалось, будто все это какой-то дурной сон, я потерял дар речи и даже не заплакал, а только все смотрел в каком-то странном оцепенении на моего мучителя. Я всю жизнь терпеть не мог тех детей, что как огня боятся наказания и, напраказив или рассердив старших, не дают даже прикоснуться к себе; а иной раз стоит только подойти к ним поближе, как они уже начинают кричать, словно их режут, так что ушам больно слушать; и если такие дети зачастую навлекают на себя наказание именно своим криком (причем им достается еще больше, чем другим), то я страдал иной крайностью: всякий раз, когда мне приходилось держать ответ перед взрослыми за какую-нибудь проделку, я портил себе дело тем, что не мог проронить перед ними ни одной слезинки. Так было и на этот раз; заметив, что я не плачу, а только удивленно держусь за голову, учитель истолковал это как упрямство и снова взялся за меня, чтобы раз и навсегда сломить во мне строптивый дух. Теперь мне и в самом деле было больно, но я и тут не расплакался, а только испуганно и жалобно воскликнул: «И избави нас от лукавого!» Эту мольбу я воссылал к богу, о котором так часто слышал, что он защищает гонимых, как любящий отец. Но тут мой мудрый наставник решил, что это уж чересчур; дело приняло слишком серьезный оборот, поэтому он сразу же отпустил меня, искренне недоумевая и предаваясь размышлениям о том, как ему следует обращаться со мною. Нас отпустили на обед, и он сам отвел меня домой. Лишь теперь я дал волю слезам и поплакал украдкой: отвернувшись, я стоял у окна, стирая со лба прилипшие к нему вырванные волосы, и прислушивался к словам учителя. Этот человек, показавшийся мне еще более чужим и ненавистным здесь, у нашего домашнего очага, который он словно осквернял своим присутствием, вел серьезную беседу с матерью, стараясь убедить ее в том, что ее сын, как видно, уже от природы испорченный ребенок. Выслушав его, она была удивлена не меньше моего и сказала, что до сих пор я вел себя смирно, что я все время рос у нее на глазах и она не знает за мной никаких серьезных проступков. Правда, порой у меня бывают странные фантазии, но сердце у меня доброе; видно, я еще не понял, что такое школа, и мне просто надо немного привыкнуть к ней. Учитель согласился для виду с этим объяснением, но все же покачал головой, и впоследствии я не раз имел случай убедиться, что в глубине души он оставался при своем мнении и по-прежнему подозревал во мне опасные склонности. Прощаясь с нами, он весьма многозначительно сказал, что в тихом омуте обычно водятся черти. С тех пор мне нередко приходилось слышать в моей жизни эти слова, и это всегда меня обижало, потому что вряд ли найдется на свете человек, который так любил бы поболтать в минуту откровенности, как я. Впрочем, я не раз замечал, что краснобаи, задающие тон в компании, никогда не могут понять, почему молчат люди, которым сами же они слова не дают сказать. Вдоволь насладившись своим красноречием и увидев, что разговор все-таки не клеится, эти говоруны поспешно составляют себе нелестное суждение о своих собеседниках. Если же их молчаливые слушатели вдруг заговорят, то это кажется им еще более подозрительным. А если таким людям приходится иметь дело с тихими, несловоохотливыми детьми, то это уж подлинное несчастье, потому что эти взрослые болтуны не находят ничего лучшего, чем отделаться от них пошлой фразой: «В тихом омуте

черти водятся».

После обеда мать снова послала меня в школу, и я с большим недоверием вступил под своды этого опасного дома, в котором я чувствовал себя словно в каком-то тяжелом и страшном сне. Но грозного наставника не было видно; он находился в маленькой каморке за дощатой перегородкой, служившей ему чем-то вроде потайного кабинета, куда он время от времени удалялся, чтобы немного подкрепиться. На двери каморки было круглое окошечко, через которое этот школьный тиран высовывался каждый раз, когда в классной комнате становилось шумно.

В окошечке давно уже не было стекла, так что, просунув голову через пустую раму, он мог прекрасно видеть все, что делалось в классе. Случилось так, что именно в тот злополучный день школьное начальство распорядилось вставить стекло, и как раз когда я проходил мимо окошечка, боязливо скосив на него глаза, стекло с веселым дребезгом разлетелось, и в отверстии показалась неуклюжая голова моего недруга. Первым чувством, которое я испытал в тот момент, было чувство радостного ликования, но потом я заметил, что он не на шутку порезался и что по лицу его течет кровь; тогда я смутился, и в третий раз мне открылась истина, и я понял, что значат слова: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим!» Таким образом, в этот первый школьный день я многому научился; правда, я так и не узнал, что такое пумперникель, но зато понял, что в беде надо обращаться к богу, что бог справедлив, но в то же время учит нас не думать о ненависти и мщении. Выполняя заповедь, требующую прощать наших обидчиков, мы тем самым приобретаем и внутреннюю силу, нужную для того, чтобы возлюбить наших врагов; ибо нам бывает нелегко перебороть себя, и нам хочется, чтобы наши усилия были вознаграждены, а те добрые чувства, которые мы питаем к врагу, — ведь он все равно не может нам быть безразличен, — как раз и являются для нас лучшей наградой. Добрые чувства возвышают человека, а любовь облагораживает любящего, особенно когда человек питает эти добрые чувства к тому, кого мы называем врагом, и когда он любит недруга своего. К этому догмату, одному из самых своеобразных в христианском вероучении, я оказался особенно восприимчивым, так как я был обидчив и мог легко вспылить, но так же быстро отходил и был готов все забыть и простить; впоследствии, когда я начал сомневаться в учении о божественном откровении, меня стал живо интересовать вопрос о том, не является ли этот догмат в какой-то мере лишь отражением потребности, заложенной в самой природе человека и затем познанной им; ибо я замечал, что далеко не все придерживаются этой заповеди из чистых и бескорыстных побуждений; по-настоящему, от всего сердца, ее выполняет только тот, кто уже от природы незлобив и склонен прощать. Что же касается людей, которые действительно ненавидят своих обидчиков, но, переборов себя, все же воздерживаются от мщения, то они, на мой взгляд, обретают при этом такое преимущество над врагом, которое никак не вяжется с идеей подлинного самоотречения; в самом деле, ведь тот, кто прощает обиду, доказывает этим свое благоразумие и мудрость, в то время как продолжающий упорствовать противник безрассудно тратит свои силы и лишь губит себя в своей слепой и бесплодной злобе. Так и в великих исторических битвах умение позабыть вражду подтверждает превосходство победителя, разрешившего свой спор с неприятелем в долгой и тяжелой борьбе, и свидетельствует о том, что и в моральном отношении он стоит выше побежденного. Таким образом, великодушный победитель, шадящий повергнутого во прах противника и помогающий ему подняться, тоже руководствуется обычной житейской мудростью; что же касается подлинной любви к своему врагу, то есть любви к врагу непобежденному, находящемуся в расцвете сил и еще способному причинить нам зло, — то такой любви я никогда не встречал.

Глава четвертая
ПОХВАЛА ВСЕВЫШНЕМУ.—
ПОХВАЛА МАТУШКЕ.—
О МОЛИТВАХ

В течение первых школьных лет мне все чаще приходилось вступать в общение с богом, так как жизнь моя стала теперь богаче разными детскими переживаниями. Подчинившись необходимости, я вскоре приноровился к новой обстановке и, как все мои сверстники, делал то, что мне хотелось, и не делал того, что мне не нравилось. Таким образом я познал превратности судьбы: иной раз день протекал мирно, иной раз мне случалось попасть в беду, — смотря по тому, вел ли я себя благопристойно или же, забросив свои школьные обязанности, предавался разного рода ребяческим проказам. Когда дела мои были плохи и над моей головой собиралась гроза, я всякий раз призывал на помощь бога, мысленно обращаясь к нему с немногословной молитвой, в которой просил его разрешить дело в мою пользу и выручить меня из беды, и, к стыду моему, приходится признаться, что мои просьбы всегда были либо невыполнимы, либо незаконны. Нередко бывало и так, что мои грехи сходили мне с рук, и тогда я щедро возносил богу тут же сочиненные мною благодарственные молитвы и радовался от всей души, так как в то время я еще не понимал, что мои проступки заслуживают наказания, и научился сознавать свою вину лишь намного позже. Поэтому я обращался к богу по самым разным поводам и с самыми разнообразными просьбами: иной раз я просил, чтобы решенная мной трудная арифметическая задача сошлась с ответом или чтобы клякса в моей тетради оказалась невидимой для учителя; иной раз, опаздывая в школу, я молил, как некогда Иисус Навин²⁶, чтобы солнце остановилось на небе, а иногда, увидев у товарища какой-нибудь вкусный пирожок, просил, чтобы он достался мне. Однажды, когда я уже лежал в постели, но еще не спал, к нам пришла та самая девушка, которую я когда-то назвал белым облачком; услышав, что она надолго уезжает куда-то и зашла проститься с матушкой, я стал горячо молиться отцу небесному, умоляя его сделать так, чтобы она не позабыла заглянуть под мой полог и еще раз крепко поцеловать меня. Повторяя слова моей краткой молитвы, я незаметно уснул и до сих пор не знаю, была ли она услышана.

Однажды я был за что-то наказан; меня непустили на обед и заперли в школе, так что мне удалось поесть только к вечеру. В тот день я впервые узнал, что такое голод, и кстати уразумел поучения матушки, которая восхваляла бога прежде всего за то, что он печется о каждой своей твари и заботится об ее пропитании, и внушала мне, что это он создал вкусный домашний хлеб, вняв нашей просьбе; «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!» Вообще у меня пробудился интерес к вещам съедобным, и я даже научился разбираться в их свойствах, так как меня окружали почти исключительно женщины, а главным предметом их разговоров была закупка провизии и обсуждение ее качеств. Бродя по дому, я постепенно все глубже вникал в секреты домашнего хозяйства наших жильцов, которые нередко угощали меня за своим столом, и я был столь неблагодарным сыном, что все чужие кушанья казались мне вкуснее, чем матушкины обеды. Всякая хозяйка варит по-своему, — даже если она готовит по тем же рецептам, что и все другие, — и этот особый способ приготовления придает ее стряпне своеобразный вкус, соответствующий ее характеру. Даже самое умеренное предпочтение, отдаваемое той или иной приправе, каким-нибудь корешкам и специям, пристрастие к блюдам чуть-чуть пожирнее или попостнее, поразваристее или пожестче — все это накладывает на ее кушанья определенный отпечаток, красноречиво говорящий о том, что она собой представляет: любит ли она полакомиться или воздержанна в еде, обладает ли нравом мягким или крутым, вспыльчивым или холодным, расточительна она или скупа; таким образом, уже по тем немногим излюбленным блюдам, какие бывают в ходу у горожан, всегда можно безошибочно определить характер хозяйки дома; во всяком случае, я сам очень рано стал таким знатоком и научился инстинктивно узнавать по одному только бульону, как мне следует вести себя с той женщиной, которая его

²⁶ *Иисус Навин* — легендарный иудейский военачальник. По библейскому преданию, бог внял его молитве и остановил солнце, чтобы не дать вражескому войску под покровом ночной тьмы уйти от преследования.

сварила. Что же касается моей матери, то ее кушанья были, так сказать, лишены какого бы то ни было своеобразия. Ее супы были не жирные, но и не постные, кофе не крепок, но и не слаб, она не клала ни одной лишней крупинки соли, но и ни одной меньше, чем надо; она варила попросту, без затей, без манерничанья, как говорят художники, в самых чистых пропорциях; ее кушанья можно было потреблять в больших количествах, не рискуя испортить себе желудок. Ее руки обладали мудрым чувством меры, и, стоя у кухонного очага, она, казалось, повседневно воплощала изречение: «Человек не для того живет, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить!» Никогда и ни в чем она не знала излишества и в равной мере не допускала ни в чем недостатка. Эта привычка держаться золотой середины порой начинала мне надоедать, тем более что время от времени я ублажал себя более лакомыми блюдами на стороне, и тогда я был не прочь довольно резко покритиковать ее стряпню, — правда, уже после того, как последняя ложка бывала съедена и я был сыт. Мы всегда садились за стол одни, и чтобы за едой не было скучно, матушка сама любила поговорить со мной, пренебрегая ради этого всеми правилами воспитания; поэтому она никогда не наказывала меня за мои капризы, а вместо того, чтобы строго одернуть меня, предпочитала терпеливо опровергать мои придирки, красноречиво доказывая мне, что человек никогда не может сказать, как сложится его судьба; как знать, быть может, настанет день, когда мне очень захочется сесть за наш стол и покушать вместе с ней, да только тогда ее уж не будет на свете. Хотя в то время мне не верилось, что нечто подобное и в самом деле может когда-нибудь случиться, однако каждый раз, когда матушка говорила это, я испытывал жалость к ней и тайный страх за себя и сразу же признавал себя побежденным. Иногда она не ограничивалась этим и внушала мне, что быть разборчивым в еде — значит платить неблагодарностью за те чудесные дары, которые посылает нам создатель, — и тогда меня охватывал священный трепет перед всемогущим даятелем, и, опасаясь оскорбить его моими речами, я умолкал и погружался в размышления о его чудесной силе и величии.

Время шло, и мое представление о боге постепенно становилось более отчетливым, а общение с ним все более необходимым и благотворным для меня, но как раз в то время я начал стыдливо скрывать от людей свое отношение к нему, а когда мои молитвы стали более осмысленными, в душу мою все чаще закрадывалась какая-то робость, и я никак не мог заставить себя молиться вслух. Матушка была женщина бесхитростная и здравомыслящая; отнюдь не относясь к числу тех, о ком говорят, что они верят горячо, она была попросту человеком верующим. Она считала, что бог существует не для того, чтобы удовлетворять смутное томление человеческого сердца и суетные желания людей; его назначение казалось ей простым и ясным: он был мудрый и заботливый отец всех живых существ, само провидение. Она любила повторять пословицу: «Кто бога забывает, того и бог забудет», — но я никогда не слышал, чтобы она говорила о горячей любви к богу. Тем более ревностно придерживалась она своей веры; мы были одиноки, и, думая об отдаленном будущем, пока еще темном и неясном для нас, матушка почитала немаловажным своим долгом позаботиться о том, чтобы я никогда не расставался с мыслью о господе, кормильце и заступнике нашем, и своими неустанными попечениями она привила мне животворное чувство упования на бога.

Движимая этой трогательной заботой обо мне, а отчасти поддавшись уговорам одной пустой и лицемерной женщины, она задумала ввести обычай молиться перед обедом, что в нашем доме раньше не было принято, и в один из воскресных дней, когда мы только что сели за стол, она прочла для начала краткую старинную молитву в простонародном духе, велев мне повторять эту молитву следом за ней и впредь читать ее ежедневно перед едой. Каково же было ее удивление, когда, равнодушно проговорив несколько первых фраз, я вдруг замолчал и больше не мог вымолвить ни слова!

Обед стыл на столе, в комнате было тихо, матушка выжидала, но я не издавал ни звука. Она повторила свое приказание, но безуспешно; я по-прежнему молчал с сокрушенным и подавленным видом, и она решила на этот раз отступить, сочтя мое поведение за обычный детский каприз. На следующий день вся эта сцена разыгралась еще раз, и тогда матушка не

на шутку огорчилась и спросила меня: «Почему ты не хочешь молиться? Ты, кажется, стыдишься чего-то?» Так оно и было на самом деле, но я был не в силах признаться в этом, зная, что такое признание все равно было бы только полуправдой, так как матушка явно имела в виду не тот стыд, который я тогда испытывал. Накрытый стол казался мне каким-то жертвенником, и я не мог заставить себя сложить руки, как в церкви, и торжественно читать молитву перед вкусно пахнущими блюдами, ибо сразу же почувствовал непреодолимое отвращение ко всей этой церемонии. Это был не тот стыд, который духовные лица обычно называют стыдом пред суетным мнением света. Да и кого мне было стыдиться? Ведь в комнате была только матушка, от которой я привык ничего не скрывать, так как знал ее доброту. То был стыд перед самим собой; мне просто был неприятен звук своего собственного голоса, да и впоследствии я так и не научился молиться вслух, даже в полном одиночестве и тишине.

— Я не дам тебе есть, пока ты не прочтешь молитву! — сказала матушка, и я встал из-за стола и пошел в угол; мне стало очень грустно, хотя в этой грусти была и некая доля упрямства. Матушка осталась за столом и сделала вид, будто собирается кушать, но ей не шел кусок в горло, и тогда между нами мрачной тенью пробежала какая-то неприязнь друг к другу; я никогда еще не испытывал этого чувства, и оно было таким тягостным и мучительным, что у меня защемило сердце. Матушка молча ходила по комнате, убирая со стола; однако через некоторое время, вспомнив, что мне пора возвращаться в школу, она снова принесла мой обед и сказала, вытирая глаза, словно в них что-то попало: «На, покушай, упрямый мальчишка!» Тут я тоже расплакался и, усевшись за стол, долго еще всхлипывал и глотал слезы, но, как только мое волнение немного улеглось, съел все с завидным аппетитом. По пути в школу я с облегчением вздохнул, и этот вздох был знаком благодарности за благополучное избавление от всех напастей и за счастливое примирение с матушкой.

Много лет спустя этот случай снова ожил в моей памяти, когда, захав погостить в родное село, я услышал там одно предание, сильно поразившее мое воображение, — историю ребенка, жившего в тех местах более ста лет тому назад. В одном из углов кладбищенской стены я нашел небольшую каменную плиту без всякой надписи; на ней виднелся только полустершийся герб и дата: 1713 год. Люди называли это место могилой маленькой ведьмы и рассказывали о ней всевозможные странные и неправдоподобные истории: говорили, будто бы эта девочка, родившаяся в семье знатных горожан, еще в младенческом возрасте проявила необъяснимую склонность к неверию и спознала с нечистой силой, так что родителям пришлось отвезти ее в наше село и отдать под надзор здешнего пастора, известного своей строгостью и твердостью в делах веры, с тем чтобы он излечил ее от наваждения. Однако пастору так и не удалось ничего добиться: девочка отказывалась произнести самое имя божье, а о святой троице и слушать ничего не хотела; она продолжала упорствовать в своем безбожии и умерла жалкой смертью. Мне рассказывали, что она была на редкость умна и хороша собой, но, несмотря на свой нежный возраст, — ей было всего лишь семь лет, — это была самая злокозненная ведьма. Особенно ловко она оболещала взрослых мужчин; она умела приворожить их одним взглядом, так что они до смерти влюблялись в прекрасное дитя и не раз затевали из-за нее споры и драки. Кроме того, она насылала порчу на домашнюю птицу, особенно на голубей, которых она приманивала со всей деревни в пасторский дом, и околдовала даже самого пастора, так что этот благочестивый человек частенько не возвращал голубей хозяевам, а жарил и поедал их, в ущерб своей бессмертной душе. Я слышал также, будто сила ее чар простиралась даже на водяных тварей и будто бы она целыми днями сиживала на речке и заговаривала форелей, так что эти старые, умные рыбы собирались стайкой у берега и весело резвились у ее ног, сверкая чешуей на солнце. Деревенские старухи любили стращать этими рассказами непослушных ребят и присочинили к этой истории еще много удивительных и фантастических подробностей. Но как бы то ни было, в доме пастора действительно висела старая потемневшая картина, представлявшая собой портрет этого странного ребенка. Это

была девочка необычайно хрупкого телосложения, в бледно-зеленом шелковом платье с таким пышным кринолином, что не было видно даже кончиков ее туфель. Ее стройный и нежный стан обвивала золотая цепь, свисавшая спереди до самой земли. На голове у нее был убор в виде короны из блестящих золотых и серебряных пластинок, переплетенных шелковыми шнурами и нитями жемчуга. В руках она держала детский череп и белую розу. Я никогда не видел более прекрасного, милого и умного детского лица, чем бледное личико этой девочки; оно было не круглое, а несколько удлинненное, в нем была разлита глубокая грусть, блестящие темные глаза смотрели печально и словно молили о помощи, а на сомкнутых устах играла еле заметная улыбка, выражавшая не то лукавство, не то горькую обиду. В этом лице были черты какой-то ранней зрелости и женственности, словно тяжкие страдания оставили на нем свою печать, и всякому, кто на нее глядел, невольно приходило желание встретиться с этой девочкой, чтобы приласкать и приголубить ее. Да и жители старого села вспоминали о ней с безотчетной теплотой и любовью, и в их рассказах суеверный страх переплетался с невольным участием к бедному ребенку.

Достоверным в этой истории было то, что эта маленькая девочка, происходившая из родовитой, гордой своими предками и строго религиозной семьи, питала упорное отвращение ко всему, что связано с религией и богослужениями, рвала молитвенники, которые ей давали, прятала голову под одеяло, когда ей читали молитву на сон грядущий, а когда ее приводили в мрачную и холодную церковь, она начинала жалобно кричать и уверяла, будто она боится черного человека на кафедре. Она родилась от первого, несчастливого брака своего отца и, наверно, была помехой для его новой семьи. И вот, когда все попытки отучить ее от необъяснимого упрямства кончились неудачно, решено было испробовать последнее средство и отдать ее на воспитание нашему пастору, славившемуся своим суровым благочестием. Если даже сами родители девочки рассматривали все происшедшее с ней как нежданную беду и бесчестье для семьи, то пастор, человек бесчувственный и сухой, увидел в этом не больше не меньше как пагубные козни сатаны и счел своим долгом дать им самый решительный отпор. В этом духе он начал действовать, и старый пожелтевший дневник, написанный его рукой и сохранившийся в пасторском доме, содержит его заметки, которые проливают достаточно яркий свет как на его воспитательную методику, так и на дальнейшую судьбу несчастной девочки. Отдельные места показались мне примечательными; я списал их и намереваюсь включить эти отрывки в нижеследующие страницы моих воспоминаний и сохранить таким образом память об этом ребенке, чтобы она не исчезла навсегда.

Глава пятая **ДЕВОЧКА МЕРЕТ²⁷**

«Сегодня пришло письмо от ее высокоблагородия благочестивой г-жи фон М., которая шлет мне, согласно нашему уговору, деньги на содержание дочери; теперь за первые три месяца все получено сполна. Тотчас же отослал расписку и кстати уведомил о том, какие меры мною взяты. Потом занялся маленькой Мерет (Эмеренцией), коей каждую неделю делаю телесное внушение, причем на сей раз решил быть с ней построже и, положив ее на скамью, поучил свежей лозой, горестно вздыхая и моля всевышнего помочь мне завершить

²⁷ Глава пятая. Девочка Мерет . — Трагическая история девочки-безбожницы выдержана в стиле старинного хроникального повествования. Автор имитирует архаическую речь ограниченного и жестокого пастора, считающего своим долгом во что бы то ни стало освободить несчастного ребенка от «дьявольского наваждения». Швейцарский писатель Адольф Фрей рассказывает в своих «Воспоминаниях о Готфриде Келлере», что «для создания удивительного образа девочки Мерет у него не было перед глазами ничего реального, кроме детского портрета, который он увидел как-то в Цюрихе, да душевнобольной дочери одного из горожан, отправленной родными, ввиду ее состояния, в деревню Глатфельден, где она пыталась завязать любовные интрижки с деревенскими парнями».

сей скорбный труд на благо воспитуемой. Маленькая негодница прежалостно кричала, горько плакала и смиренно просила прощения, однако же упрямства своего все еще не оставила и заданные мною псалмы учить не пожелала. Поэтому, дав ей немного отдышаться, отправил ее в карцер — в темную кладовку, где она долго рыдала и сетовала на свою судьбу; потом притихла и вдруг возликовала, аки три святых мученика в печи огненной, и радостно запела, и, приложив ухо к замочной скважине, я услышал, что поет она те самые псалмы, что давеча отказывалась учить, но поет непристойно, на суетный мирской лад, словно бы это были не благолепные стихи, а нескладные песенки, какими глупые и бестолковые няньки тешат младенцев; из чего я вынужден заключить, что все это не что иное, как новые плутни вселившегося в нее сатаны».

«Получил послание от г-жи фон М., исполненное самыми горькими сетованиями. Я все более убеждаюсь, что мадам — прекрасной души человек и истинная христианка. В упомянутом письме, коего страницы хранят следы ее слез, она сообщает, что ее достопочтенный супруг также весьма озабочен поведением маленькой Мерет, которая упорно не хочет исправляться. Все это воистину прискорбно, и я много думал о том, как могло подобное несчастье постигнуть семейство столь высокородное и достославное, и при всем моем к оному почтении все же склонен полагать, что бедняжка многое унаследовала от своего деда с отцовской стороны, человека буйного и безнравственного, к тому же безбожника, коего грехи над нею тяготеют. От телесных внушений толку мало, и хочу теперь испробовать, не поможет ли ей строгий пост. Кроме того, велел жене сшить для нее рубашечку из сурового холста, вместо власяницы, и других нарядов одевать ей не разрешаю, ибо сие одеяние кающейся грешницы ей носить всего более пристойно. Упрямства не убавилось ни на волос».

«Сегодня пришлось отдалить барышню от деревенских детей, настрого запретив ей играть и даже разговаривать с ними, так как она убежала с оными в лес, купалась там в пруду, и, сняв власяницу, кою ей велено было носить, повесила ее на сук древесный, и прыгала и плясала перед ней совсем нагая, и спутников своих на дерзкие насмешки и непотребство подстрекала. Произведено изрядное телесное внушение».

«Нынче была в моем доме пренеприятнейшая сцена. Приходил мельников сын Ганс, здоровенный детина, и пристал ко мне насчет Мерет, — говорил, будто бы он каждый день слышит ее крики и плач, и он-де этого так не оставит; пока я с ним спорил, является молоденький учитель, этот простофиля грозился донести на меня властям, а увидев сквернавку Мерет, весь растаял и давай ее ласкать да целовать. Учителя велел немедленно задержать и отправить к ландфогту. До Мельникова сына я тоже еще доберусь, хотя последний очень богат, никого не боится и, чуть что, сразу лезет в драку. Теперь я и сам был бы готов поверить тому, что говорят на селе, а именно, будто бы сие дитя есть ведьма, если бы суждение это не было противно доводам разума. Впрочем, я уверен, что в ней сидит сам сатана, и взял я на себя обязанность многотрудную».

«Всю прошлую неделю пришлось кормить за своим столом живописца, коего прислала мадам М., чтоб он написал портрет с барышни. В удручении своем родители не намерены брать сие жалкое чадо господне к себе в дом и желают сохранить лишь ее изображение, дабы созерцать его, предаваясь печальным воспоминаниям и покаянным размышлениям, а также хочется им запечатлеть ее удивительную красоту. Особенно настаивает на этом его высокоблагородие. Жена моя ежедневно изводит на живописца два кувшина вина, но этого ему, как видно, мало, потому что он каждый вечер сидит у «Красного льва» и играет там в карты с нашим костоправом. Живописец держится весьма надменно и важно, а посему я почел за лучшее уболагодворять его, и жена подает ему на стол то бекаса, то отварную шуку, что надо будет неукоснительно поставить в мой ежемесячный счет мадам М. Выказал себя настоящим селадоном²⁸ и пустился было любезничать с Мерет, да и она тотчас к нему

²⁸ *Селадон* — имя влюбленного пастушка из пасторального романа французского писателя Оноре д'Юрфе «Астрея» (1619); стало нарицательным и приобрело двойной смысл: верный воздыхатель или ветреный

привязалась, но потом я ему объявил, чтоб он в мое воспитание не вмешивался. Как увидела Мерет свои старые туалеты (они хранились у меня в шкафу) да как приодели ее в нарядное платьице с шапочкой и пояском, то пришла в радость неопишную и даже в пляс пустилась. Однако радость ее вскоре была омрачена, ибо мадам пожелала, чтобы Мерет изобразили с черепом в руке, каковой череп (новый, мужской, 1 шт.) я и распорядился принести и дал Мерет, хотя она ни за что не хотела его брать, да и потом все время дрожала и плакала, словно бы держала раскаленное железо. Живописец пустился в уверения, что он якобы может нарисовать череп по памяти, зане сей предмет составляет одну из первых статей его искусства, однако я того не допустил, так как помнил, что писала мне мадам М.: «Все страдания и муки, кои терпит дитя наше, суть наши собственные муки и страдания, и, посылая их Мерет, всевышний дает и нам случай искупить грехи наши и тем помочь ей; а посему прошу ваше преподобие не делать никаких послаблений и не оставлять ваших забот об ее воспитании. Если небу будет угодно ниспослать нашей дочурке просветление и спасти ее для нашего брэнного мира или для мира лучшего, — на что я, памятуя о милосердии всемогущего, неустанно уповаю, — как отрадно будет ей тогда знать, что она искупила бóльшую часть своих грехов, и искупила ее именно благодаря своему упорному неверию, в которое она впала по воле того, чьи пути неисповедимы!» Имея перед глазами сей пример душевного мужества, явленный слабой женщиной, я понял, что не должен упускать удобного случая наложить на маленькую Мерет еще одну суровую епитимью²⁹, вложив в ее младенческие персты сей страшный предмет. Впрочем, ей дали совсем легкий детский череп, так как живописец пожаловался, что большой череп мужчины слишком нескладно выглядит в ее маленьких ручках, что несогласно с законами его искусства, и держала она его потом уже куда охотнее; к тому же он дал ей в другую руку белую розочку, на что я изъявил свое согласие, ибо сие может быть истолковано как благой символ».

«Сегодня г-жа фон М. неожиданно отменила свое распоряжение насчет портрета, и велено мне оный портрет в город не посылать, а оставить здесь. Жалко все-таки, как подумаешь, сколько труда положил на него живописец, каковой был в немалом восхищении от ее миловидных черт. Кабы знать мне об этом раньше, так, право же, он мог бы за те же деньги запечатлеть для потомства мой облик, а то вон сколько всякого добра на него извели, да еще жалованье заплатили, и все понапрасну».

«Получил новый приказ; все светские занятия отныне прекратить, особенно уроки французского, затем что все это признано теперь излишним, равно как и жене моей предписано игре на клавикордах более не обучать, чем девочка, как видно, весьма опечалена. И велено мне впредь содержать ее запросто, как приемыша, и только присматривать, чтоб не было от нее какого-нибудь неудобства или соблазна для посторонних».

«Третьего дня маленькая Мерет пустилась в бега, и большого мы за нее страху натерпелись, но сегодня в полдень ее наконец выследили в Бухенло, на самой вершине холма, где она на власянице своей нагая сидела и на солнце грелась. Волосы распущены, на голове веночек из буковых листьев, а через плечо из таких же листьев перевязь, и лежало перед ней не меньше фунта крупной земляники, коей она уже успела насытиться. Завидев нас, она хотела было ускользнуть, но, видно, наготы своей устыдилась и стала одевать свою власяницу, за каковым занятием мы ее без лишних хлопот изловили. Сейчас она больна, лежит в постели и словно бы не в себе, потому что людей не узнает и говорит бессвязно».

«Отроковице Мерет теперь полегчало, однако она сильно изменилась, все время молчит и как будто совсем ума рехнулась. Призванный нами медик объявил свое заключение, кое сводится к тому, что она и в самом деле может лишиться рассудка и нужно

волокита.

²⁹ *Епитимья* — духовная кара, налагаемая церковью с целью искупления греха (усиленный пост, покаяние, молитвы и т. п.).

содержать ее под неусыпным присмотром лекаря; он сам вызвался пользоваться ее и обещал поставить на ноги, если больная будет помещена в его доме. Однако я тут смекнул, что сего почтенного эскулапа наипаче всего прельщает хорошее вознаграждение да презенты от мадам, а посему и описал ей все дело так, как я сам его мыслю, а думаю я, что премудрый замысел творца близок к завершению, и коль скоро пожелал он принять дитя в свое лоно, то мы, смертные, волю его изменить не в силах, что было бы к тому же и грешно. Словом, описал все так, как оно и есть на самом деле».

Здесь в дневнике пропуск, и лишь через пять-шесть месяцев следуют дальнейшие записи:

«Несмотря на свое слабоумие, дитя пребывает, как кажется, в полном здравии и нагуляло себе пресвежие розовые щечки. Целыми днями сидит в горохе, где ее не видно и не слышно, и пустили ее гулять на волю, так как никакого беспокойства от нее нет».

«Давеча услышал любопытную новость: Мерет устроила себе посреди горохового поля гостиную в шалаше, где принимала, как важная дама, визиты деревенских ребят, и понаносили они ей фруктов и всякой снеди, кои она преисправно в землю зарыла и про запас держала. Там же найден зарытым тот самый череп, что пропал еще в бытность здесь художника, почему я и не мог возвратить его кистеру³⁰. А также приманила она к себе воробьев и других птиц и приручила их, отчего был моему полю немалый вред, а стрелять по ним из ружья я не мог, так как боялся попасть в греховодницу. В довершение всего подружилась с ядовитой змеей, которая заползла откуда-то из кустов и угнездилась в ее обиталище; одним словом, пришлось снова взять ее к себе в дом и держать взаперти».

«Мерет снова спала с лица, побледнела, и лекарь объявил, что она не жилец на этом свете. Известил родителей».

«Сегодня бедняжка Мерет выбралась из своей постельки, убежала в горох и там скончалась; должно быть, еще до рассвета, так как мы хватились ее утром, когда же нашли ее на поле, она уже лежала бездыханной в небольшой ямке, ею самой вырытой, и кажется, словно хотела она перед смертью в земле укрыться. Была она вся в пыли, волосы и рубашечка мокрые и тяжелые от росы, щечки еще совсем румяные, и на них тоже капли росы, такие крупные и чистые, ни дать ни взять яблоневый цвет ранним утром. И были мы все в страхе немалом, я же, грешный, сегодня весь день в смятении и места себе не нахожу, ибо из города изволили прибыть г-жа М. с супругом, а жена моя, как нарочно, уехала в К., чтобы купить чего-нибудь поделикатнее к столу и на десерт, потому как мы хотели получше попотчевать их превосходительства. От хлопот голова идет кругом, в доме суматоха и беготня, служанки не знают, то ли обряжать покойницу, то ли приготавливать закуски. В конце концов велел зажарить окорок, который жена неделю назад положила в уксус, — он был уже с душиком, — да Якоб поймал в реке три форели, видно, из тех, что приручила блаженной (!?) памяти Мерет: они нет-нет да и подплывут к самому берегу, хотя я давно уже не подпускал ее к воде. К счастью, кажется, не осрамился, и кушала мадам эти блюда с удовольствием. Были все мы в большом горе и два часа с лишком провели в молитвах и размышлениях о смерти, а также в меланхолической беседе о злосчастном недуге покойной, — ибо мы утешаем себя тем, что ее неверие было не что иное, как недуг, коего причины таятся в роковой предрасположенности ее телесной природы, в крови и в мозгу. Говорили также и о больших дарованиях, каковыми оделил ее господь, вспомнили все ее милые причуды и экспромты, порой весьма остроумные, и не мог суетный рассудок наш в слепоте своей сии крайности между собой согласовать. Завтра поутру дитя будет погребено по обряду христианскому, и присутствие высокородных родителей в сем случае весьма кстати, ибо, не будь их здесь, крестьяне могли бы воспротивиться».

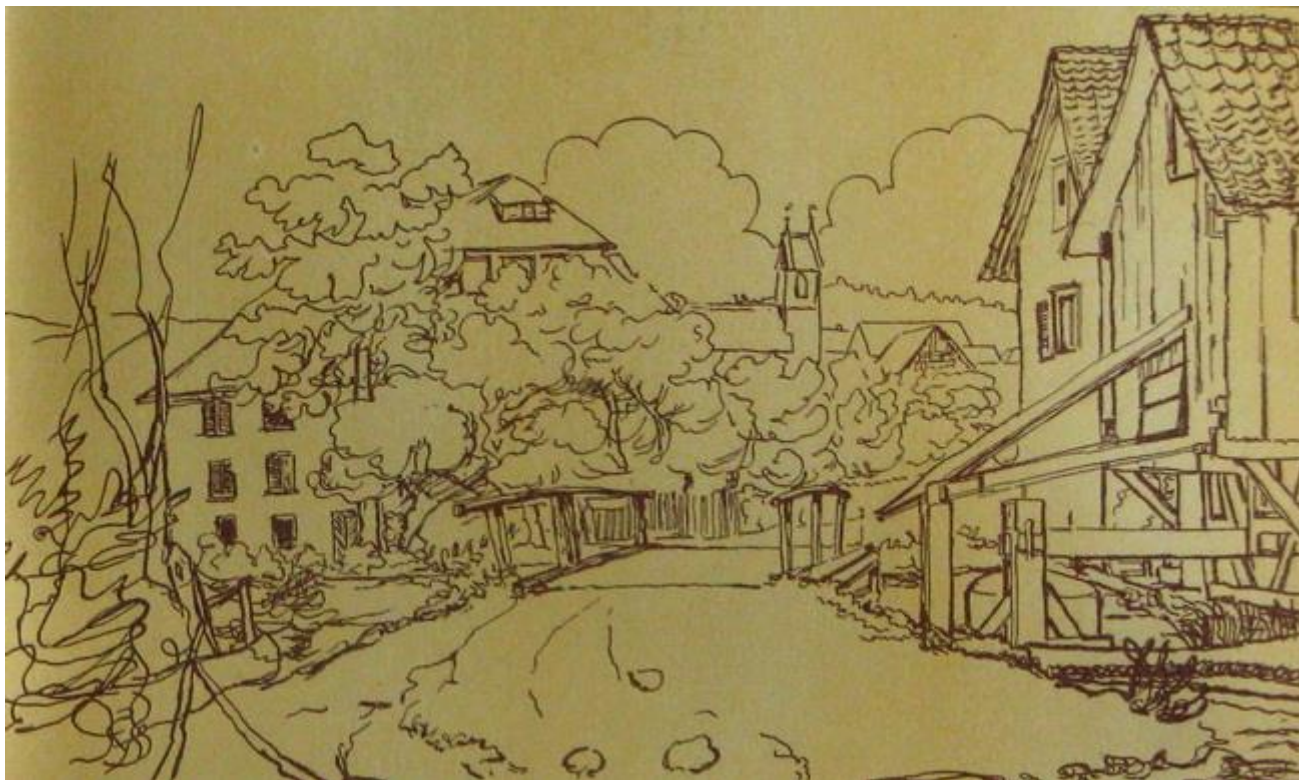
«Сей день есть воистину удивительнейший и наипугающий из всех, кои мне пережить довелось, и не токмо с тех пор, как связался я, себе на погибель, с этим жалким

³⁰ *Кистер* — причетник, церковный служитель.

созданием божьим, но и за всю мою жизнь, доселе столь мирно протекавшую. В урочный час, как только пробило десять, мы тронулись в путь и пошли за маленьким гробиком на кладбище; звонарю велено было звонить в малый колокол, однако делал он это довольно нерадиво, так что временами слушать было тошно; к тому же звон относил к поднявшимся в ту пору сильным ветром, который свистел пресердито. И небо было все в тяжелых тучах, и на кладбище ни души, только наша маленькая процессия; зато из-за кладбищенской стены виднелись головы крестьян, коих привлекло сюда праздное любопытство. Как только стали гробик в могилу опускать, вдруг слышим оттуда странный крик, так что всех объял страх и ужас, а могильщик веревки бросил и был таков. Тут наш лекарь, который прибежал на крик, поспешно гвозди вытащил и крышку поднял, и покойница ожила, села, из могилы своей проворно выбралась и на нас поглядела. А как в то самое мгновение Фебовы лучи сквозь облака пробилась и ярко заиграли, то была она в своей желтой парче и с блестящей диадемой в волосах точь-в-точь фея или маленькая эльфа. Г-жа фон М. тотчас упала в сильном обмороке, а г-н фон М. с рыданиями рухнул как подкошенный на землю. Сам я от изумления и страха с места не мог сдвинуться и в то мгновение окончательно уверился в том, что все сие есть ведовство. Отроковица вскоре воспряла и обратилась в бегство через кладбище в сторону деревни, да так проворно, словно кошка, так что люди в ужасе разбегались по домам и запирали двери на засов. Как раз в ту пору в школе кончилось ученье, школяры кучей высыпали на улицу, и как увидела детвора бегущую Мерет, так тут уж их ничем сдержать было невозможно: все толпой бросились вдогонку за усопшей, а за ними и сам учитель со своей тростью. Однако она все время мчалась шагов на двадцать впереди всех и не остановилась до тех пор, пока не добежала до Бухенло, где и упала замертво, а подросшие дети долго еще суетились вокруг нее, и ласкали, и гладили, и целовали, но все вотще. Об этом узнали мы уже задним числом, так как были тогда в большом смятении и, обретя себе убежище в пасторском доме, сидели там в скорбном молчании, пока тело усопшей не было вновь принесено к нам. Его положили на тюфяк, а безутешные супруги вскоре уехали, оставив небольшую каменную плиту, на коей высечен лишь их фамильный герб и надпись «Anno Domini MDCCXIII»³¹. Теперь лежит она недвижимо, ровно бы мертвая, и никто в доме за всю ночь глаз не сомкнул со страху. Впрочем, лекарь сидит возле нее и сказал, что теперь она почилла сном вечным».

«Сегодня лекарь долго делал всевозможные эксперименты и наконец объявил, что девочка точно умерла; сегодня же ее и погребли, потихоньку, чтоб не было шума, и пока больше ничего не приключилось».

³¹ «1713 год от рождества Христова» (лат.).



Уголок Глатфельдена.
Карандаш. 1834 г.

Глава шестая
ЕЩЕ РАЗ О БОГЕ.—
ГОСПОЖА МАРГРЕТ И ЕЕ ЛЮБИМЦЫ

С некоторых пор у меня окончательно сложилось отчетливое, но зато несколько отвлеченное и рассудочное представление о боге как о нашем кормильце и заступнике, и я не сказал бы, что этот новый бог пробудил в моей душе более тонкие чувства или более глубокие и радостные раздумья, — ведь теперь он утратил тот сияющий ореол из закатных облаков, каким я мысленно окружал его раньше, и лишь через много лет он снова предстал перед моим внутренним взором именно в этом образе. Говоря со мной о боге и о божественных предметах, матушка подолгу задерживалась на Ветхом завете, предпочитая такие темы, как скитания детей израильских в пустыне, история Иосифа и его братьев, лепта вдовицы и тому подобное, или в виде исключения рассказывала мне притчу из Нового завета о том, как Христос накормил одним хлебом пять тысяч человек. Все эти события чрезвычайно нравились ей самой, и она живописала их с теплым чувством и очень красноречиво, но когда она переходила к волнующей, кровавой драме страстей Христовых, ее красочные рассказы сменялись более сдержанным и как бы по обязанности благочестивым повествованием. И хотя я почитал господа бога и всегда помнил о нем, мой ум и мое воображение подолгу были ничем не заняты, до тех пор, пока я опять не получал пищи для размышлений, прибавляя что-нибудь новое к моим прежним познаниям; и если ничто не побуждало меня обратиться к богу по делу, чтобы изложить ему какую-нибудь очередную просьбу, он был для меня просто бесцветным и скучным существом, которое наводило меня на разного рода праздные и вздорные фантазии, тем более что я часто оставался наедине с самим собой и поэтому никак не мог прогнать эти мысли из головы.

Так, в течение некоторого времени я немало страдал от того, что у меня появилось болезненное желание давать богу грубые прозвища и даже ругать его бранными словами,

вроде тех, какие я слышал на улице. Обычно все начиналось с того, что меня охватывало какое-то приятное зазорное чувство отчаянной смелости; после долгой борьбы я наконец поддавался искушению и, отчетливо сознавая, что совершаю богохульство, одним духом произносил какое-нибудь из тех запретных слов, после чего сразу же принимался умолять бога, чтобы он не принимал этого всерьез, и просил у него прощения; но меня так и подмывало рискнуть еще разок, и я проделывал все сначала и снова сокрушенно каялся в содеянном, — до тех пор, пока не проходило мое странное возбуждение. Чаще всего это мучительное состояние наступало перед сном; впрочем, после этого я не испытывал беспокойства или недовольства собой. Впоследствии я размышлял над этим и пришел к выводу, что, видимо, это был своего рода эксперимент, бессознательное желание проверить, вездесущ ли бог или нет; дело в том, что это его свойство очень занимало меня в то время, и, очевидно, именно тогда у меня впервые шевельнулась смутная догадка: если бог в самом деле является живым существом, каким мы его считаем, то ни одно мгновение нашей внутренней жизни не может быть сокрыто от него, так что он может наказать нас даже за наши мысли.

Но вскоре я завел новое знакомство, которое избавило меня от бесплодных мучений и помогло моей беспокойной фантазии обрести ту пищу, какой ей не хватало в доме моей матери с ее простым и трезвым взглядом на жизнь; эта дружба заменила мне словоохотливых бабушек и нянек, чьи рассказы обычно питают ненасытное воображение детей.

В доме напротив нас было просторное полутемное помещение, выходившее прямо на улицу и целиком заполненное подержанными вещами. Его стены были увешаны старомодными шелковыми платьями, всевозможными тканями и коврами. Входные двери и вся наружная стена дома по обе стороны от них были сплошь увешаны заржавленным оружием, инструментами, приборами и почерневшими от времени картинами с рваным холстом; в лавке стояло несколько столов и сундуков старинной работы, на которых громоздилась диковинная стеклянная и фарфоровая посуда вперемежку с глиняными и деревянными статуэтками. В глубине этого странного склада возвышались горы сложенных друг на друга кроватей и другой мебели, а на плоских вершинах и уступах этого хребта, иногда на самом краю какого-нибудь грозно нависшего одинокого утеса, там и сям виднелись то затейливые часы, то распятие, то восковой ангел, то еще что-нибудь в этом роде. И, наконец, в самом дальнем углу комнаты, где царил мрачная полутьма, неизменно сидела толстая, преклонного возраста женщина в старинном крестьянском наряде, наблюдавшая за тем, как тщедушный седой человек еще более преклонных лет, имевший под своим началом нескольких подчиненных, суетливо хлопотал, встречая посетителей, которые то и дело заходили в лавку. Эта женщина и была душой заведения, и все приказы и распоряжения исходили от нее, несмотря на то, что она совсем почти не двигалась со своего места, а на улицу и вовсе никогда не выходила. Руки у нее всегда были голые, так как она носила платье с короткими рукавами и с белоснежными, искусно взбитыми буфами, какие были в моде лет сто назад, при наших бабушках, и каких я больше ни на ком не видывал. Это была в высшей степени оригинальная женщина. Сорок лет назад, темная и нищая, она приехала со своим мужем в город, чтобы заработать себе на кусок хлеба. После долгих лет тяжелой и неблагодарной поденной работы ей все же удалось выбиться из нужды; тогда она начала торговать старьем и благодаря своей удачливости и умелому ведению дел составила себе со временем недурное состояние, которым распорядилась весьма своеобразно. Она с трудом разбирала печатные буквы, совсем не умела писать и не знала счета с помощью арабских цифр, которые ей никак не давались; все ее познания в арифметике ограничивались римской единицей, пятеркой, десяткой и сотней. В той отдаленной и глухой местности, где она провела свою раннюю молодость, люди издавна умели обходиться только этими четырьмя цифрами, и, переняв еще тогда эти своеобразные, освященные тысячелетней традицией приемы счета, она до сих пор пользовалась ими с поразительной сноровкой. Она не вела никаких книг и не делала никаких записей, но могла в любое время воссоздать

полную картину оборотов своего заведения, которые часто выражались в тысячах и складывались из множества отдельных мелких статей; для этого она брала кусочек мела, всегда хранившийся про запас в ее кармане, и начинала быстро писать на столе, покрывая его поверхность внушительными колонками из своих четырех цифр. Написав на такой манер все отдельные статьи, которые она помнила наизусть, она достигала своей цели просто-напросто тем, что слюнула палец и принималась так же проворно стирать один столбик за другим, подсчитывая при этом стираемые знаки и записывая в сторонке полученные результаты. Так возникали новые, уже меньшие, группы цифр, значения и названия которых не знал никто, кроме нее самой, потому что это были все те же самые четыре цифры, казавшиеся непосвященным какими-то волшебными языческими письменами. К тому же она была решительно не в состоянии произвести эти действия на бумаге, пером или карандашом, или хотя бы грифелем на ученической доске, так как, во-первых, ей нужен был, по крайней мере, целый стол, чтобы было где развернуться, а во-вторых, она умела набрасывать свои размашистые каракули только с помощью мягкого мела. Она часто жаловалась на то, что ее непрочные записи нельзя хранить, но именно этому обстоятельству она и была обязана своей необыкновенной памятью, таившей все эти несметные полчища чисел, которые так внезапно оживали под ее рукой, наполняясь значением и смыслом, а затем так же быстро исчезали. О соотношении прихода и расхода она не особенно беспокоилась, ведь все затраты на домашние и прочие нужды она все равно покрывала из той же кошницы, из которой брался и основной капитал для ее оборотов, и когда набегала лишняя сумма, она тотчас же обменивала эти деньги на золото и клала их на сохранение в ларец со своими сокровищами, где они и оставались лежать навсегда, если часть из них не вынималась оттуда снова и не шла на какое-нибудь особое предприятие или на то, чтобы предоставить кому-нибудь ссуду, — впрочем, последнее делалось лишь в виде исключения, так как обычно она не одалживала деньги под проценты. Ее постоянными клиентами были главным образом крестьяне со всех окрестностей, покупавшие у нее разные вещи для своих домашних нужд, и любому из них она уступала свои товары в долг, часто с немалой выгодой, но нередко и с убытком для себя. Таким образом она поддерживала связи со множеством людей, так или иначе зависимых от нее; одни были ей признательны, а другие находились с ней во враждебных отношениях, так что ее непрестанно осаждали должники, просившие повременить или приходившие расплатиться, и все они, — кто в виде предварительного поощрения, кто в знак благодарности за уже оказанную услугу, — подносили ей самые разнообразные дары, словцо наместнику или настоятельнице какого-нибудь монастыря. Всевозможные овощи и фрукты, молоко, мед, виноград, ветчина и колбасы — все это доставлялось ей целыми корзинами и составляло прочную основу того достатка и изобилия в ее хозяйстве, которые позволяли ей жить в свое удовольствие. Эта приятная домашняя жизнь вступала в свои права по вечерам, когда шум под сводами лавки стихал, двери запирались и обитатели дома переходили на жилую половину, выглядевшую еще более странно и необычно, чем сама лавка.

Здесь г-жа Маргрет собрала все те предметы, которые в свое время попали в ее руки и особенно понравились ей; она никогда не стесняла себя в этом отношении, и если какая-нибудь вещь казалась ей интересной, она сохраняла ее на память и украшала ею свое жилище. На стенах висели старинные образы на золотом фоне, а в окна были вставлены витражи, и всем этим произведениям искусства она приписывала какое-нибудь необыкновенное прошлое или даже тайную чудодейственную силу, так что в ее глазах они были святыней и она не решалась расстаться с ними, хотя знатоки действительно признавали за некоторыми из них художественную ценность и всячески пытались выманить эти вещи у их невежественной обладательницы. В ларце из черного дерева у нее хранились золотые медали, редкие монеты, филигранные украшения и другие драгоценные безделушки; к ним она питала особое пристрастие и продавала их только тогда, когда это сулило ей особенно большую выгоду. И, наконец, на полках у стены были сложены целые груды огромных, толстенных фолиантов, которые она уже давно усердно собирала. Тут были всевозможные

Библии, старинные космографии с бесчисленными гравюрами на дереве, описания путешествий, полные разных чудес и диковинок, курьезнейшие книги по мифологии, какие были в ходу в прошлом веке, с огромными, сложенными в несколько раз цветными гравюрами, уже успевшими основательно порастрепаться; эти наивно написанные книги она попросту называла языческими житиями. Кроме того, у нее была целая библиотека простонародных лубков, из которых можно было узнать о пятом евангелисте, о молодых годах Иисуса, о его приключениях в пустыне, до сих пор еще не известных, о том, что его тело будто бы сохранилось и впоследствии было найдено вместе с какими-то грамотами; о страшных признаниях одного вольнодумца, явившегося с того света, чтобы рассказать о своих мучениях в аду; это собрание дополняли несколько летописей, сонников и книг с описаниями целебных трав. Всякое печатное слово, — о чем бы ни шла речь, — всегда содержало в глазах г-жи Маргрет долю правды, точно так же, как и любое изустное предание, ходившее в народе; и мир божий, отраженный во всех этих книгах и легендах, далекое и близкое, и даже своя собственная жизнь, — все казалось ей в равной мере чудесным и исполненным глубокого смысла; в ней все еще жила стародавняя, простодушная вера в чудеса, не похожая на утонченное суеверие современных образованных людей. Все напечатанное в книгах и услышанное от людей давало обильную пищу ее неумной фантазии, и, с живым любопытством впитывая все эти новые впечатления, она принимала их на веру и тотчас же облакала их в те свойственные мышлению народа чувственноосязаемые формы, которые, подобно старым бронзовым сосудам, тем ярче блестят, чем дольше они были в употреблении. Все боги и божества древних и современных языческих народов, легенды о них и их изображения в книгах очень занимали ее, тем более что она верила в реальность их существования и думала, что истинный бог борется с ними, стараясь сжить их со света; эта нечисть, еще не вполне подвластная господу богу и не отказавшаяся от своих козней, возбуждала у нее жгучий интерес к себе, смешанный с суеверным страхом, точно так же как и безбожники, чье поведение она могла объяснить себе только тем, что, отрицая существование бога, эти ужасные люди действуют не по своему внутреннему убеждению, а вопреки ему, просто из упрямства. Огромные обезьяны и другие чудища, обитающие в лесах полуденных стран, о которых писано было в ее старинных книгах, сказочные водяные и русалки — все они были в ее глазах не что иное, как целые народы, погрязшие в неверии и опустившиеся до животного состояния, или просто наказанные богохульниками; теперь они то каются, то злобствуют, и их жалкая участь — живое свидетельство всесокрушающего гнева господня, хотя порой они не прочь зло подшутить над человеком.

Итак по вечерам, когда огонь в очаге г-жи Маргрет весело потрескивал, из горшков поднимался пар, на столе появлялись сытные деревенские яства, а сама хозяйка восседала в своем покойном, украшенном инкрустациями кресле, — в ее комнату начинали сходить гости, отнюдь не похожие на тех людей, которых можно было увидеть под сводами ее лавки в дневное время. Все эти друзья и знакомые были бедняки, которых привлекал сюда и аппетитный запах кушаний, приготовленных гостеприимной хозяйкой, и возможность побеседовать о высших материях; они искали отдохновения после дневных трудов и забот и находили его в тех оживленных разговорах, которые здесь велись. За исключением немногих лицемеров, приходивших только ради дарового угощения, все они действительно ощущали потребность в таких задушевных беседах и с искренним увлечением толковали о вещах, выходящих за пределы повседневного, особенно о религии и о таинственных, загадочных сторонах жизни; а так как в ответ на такого рода запросы тогдашнее общество могло предложить им лишь весьма пресную пищу, то они пытались сами отыскать разгадки этих жгучих тайн. Внутренняя неудовлетворенность, неутоленная жажда познания истины, общность судьбы этих людей, все то, что они пережили, стремясь удовлетворить эти свои порывы в суетном мире страстей, — вот что приводило их сюда, а также побуждало вступать в разного рода странные секты, о внутренней жизни которых г-жа Маргрет постоянно разузнавала через своих друзей, ибо она не любила утруждать себя и вообще была слишком мирским человеком, чтобы заниматься такими делами самой. Более того, она резко

отчитывала малодушных и зло высмеивала тех, кто склонен был чересчур вдаваться в мистику. Правда, она и сама жить не могла без таинственного и чудесного, но ее увлекали тайны реального, чувственного мира, самой жизни в ее многообразных внешних проявлениях и загадочные судьбы отдельных людей; о таких вещах, как чудесное душевное прозрение, ниспослание благодати, избранничество и тому подобное, она и слушать не хотела, и если кто-нибудь из ее гостей заводил речь об этом, она давала ему хорошую отповедь. Бога она почитала прежде всего за то, что он был мудрым и искусным творцом всего чудесного, что есть на этом свете, но, кроме того, он обладал в ее глазах еще одним свойством, вызывавшим у нее особое удивление и восхищение: она считала его покровителем всех тех, кто энергичен и смел, кто сам кузнец своего счастья и, не имея гроша ломаного за душой, своим умом прокладывает себе дорогу и выходит в люди. Поэтому ничто не радовало ее так, как успехи молодых людей, рожденных бедными и неизвестными, но сумевших благодаря своим способностям, бережливости и уму выбиться из нужды, занять известное положение в обществе, да еще и приобрести уважение и доверие высокопоставленных лиц. С живейшим участием, словно дело касалось ее самой, следила она за тем, как преуспевали ее любимцы, а когда их благосостояние возрастало настолько, что они уже могли со спокойной совестью позволить себе кое-какую роскошь, — она щедро одаряла их еще и от себя и разделяла с ними их торжество. Великодушная по натуре, она охотно помогала ближним, причем не столько тем, кто век свой терпел нужду, — им она давала не меньше и не больше чем было принято, — сколько тем, кто начинал обзаводиться кое-каким имуществом, — их она поистине осыпала своими щедротами, хотя подобная расточительность была ей не по средствам. Обычно такие выскочки располагали более солидными связями на стороне, но по своей природной расчетливости старались не терять расположения также и этой странной женщины и поддерживали с ней хорошие отношения, пока наконец их не вытесняло новое поколение фаворитов; таким образом, среди гостей г-жи Маргрет нередко можно было встретить какого-нибудь хорошо одетого господина, стеснявшего этих бедняков своим присутствием и наводившего на них робость своей степенной манерой держаться. А когда такой гость уходил, благочестивые друзья хозяйки упрекали ее в приверженности к суеде мирской и к земным благам, что всегда вызывало расхождение во мнениях и жаркие споры.

Люди деятельные и работающие, умевшие вести свои дела успешно и с выгодой, всегда были ей по душе, и, вероятно, именно поэтому в ее дом были вхожи также и некоторые евреи-перекупщики. Неистощимая энергия и неизменная вежливость этих людей, которые частенько заезжали к ней, оставляли у нее тяжелые тюки с товаром, вытаскивали из-под своих затрапезных кафтанов туго набитые кошельки и, ни слова не говоря, не требуя даже расписки, вручали их ей на сохранение, их неназойливое любопытство и добродушная покладистость (впрочем, нисколько не мешавшая им быть непокладистыми и изворотливыми, когда дело шло о торговле), их религиозные обряды, которые они так строго выполняли, их происхождение, связанное с библейскими преданиями, и даже их враждебное отношение к христианам и тяжкая вина, лежащая на их праотцах, — все это вызывало живейший интерес славной г-жи Маргрет, и она охотно принимала у себя этих многострадальных и всеми презираемых скитальцев, когда они появлялись на ее вечерних собраниях, и позволяла им варить кофе или жарить рыбу на ее очаге. Иногда благочестивые христианки были не прочь беззлобно подшутить над ними и упрекали их в том, что вот ведь еще совсем недавно их предки были отъявленными злодеями, что они-де похищали и убивали христианских младенцев и отравляли колодцы, а г-жа Маргрет уверяла, будто вечный жид Агасфер³² лет двенадцать тому назад ночевал в «Черном медведе» и она два

³² *Вечный жид Агасфер* — персонаж старинной легенды. По преданию, Агасфер оскорбил Иисуса Христа, шедшего на крестные муки, и за это был осужден богом на вечное скитание по земле. Легенда об Агасфере легла в основу сюжета многих произведений мировой литературы и нашла свое отражение в творчестве Гете, Шелли, Беранже, Андерсена, Жуковского, Сю, Ленау, Гамерлинга и других писателей.

часа подкарауливала у дверей, чтобы увидеть его отъезд, да только понапрасну потеряла время, так как он отправился в дальнейший путь еще до рассвета; в ответ на это евреи только улыбались добродушно и лукаво и по-прежнему пребывали в самом хорошем расположении духа.

Но как бы то ни было, они тоже по-своему чтили бога и придерживались определенных, ясно выраженных религиозных убеждений, а следовательно, имели гораздо больше прав принадлежать к этому кружку верующих, чем два других его завсегдатая, чье присутствие было бы уместно где угодно, но только не здесь; все удивлялись, встречая их в этом доме, и все-таки собиравшееся здесь пестрое и странное общество, как видно, не могло обойтись без них, как нельзя обойтись без соли, придающей всему свою остроту.

Глава седьмая **ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА О ГОСПОЖЕ МАРГРЕТ**

То были два отъявленных безбожника. Один из них, гробовщик, изготовивший и собственноручно заколотивший на своем веку уже не одну сотню гробов, был простой и славный, хотя и молчаливый человек, время от времени спокойно и немногословно заявлявший, что не верит ни в вечную жизнь, ни в бога, о котором, по его мнению, мы просто ничего не можем знать. Впрочем, он никогда не насмеялся над верующими, и никто не слышал от него каких-нибудь дерзких речей; даже когда набожные кумушки нападали на него, пытаясь обратить его на путь истинный, он только невозмутимо покуривал свою трубочку и покорно выслушивал их красноречивые проповеди.

Другой безбожник был портной, человек уже не первой молодости, с сединой в волосах, но обладавший вздорным, несносным характером и, как видно, способный при случае устроить своему ближнему какую-нибудь пакость. Если гробовщик вел себя скромно, терпеливо сносил все нападки и лишь изредка и довольно робко высказывал свое суровое кредо, то портной постоянно готов был сам перейти в наступление и находил какое-то удовольствие в том, чтобы задевать чувства верующих грубой шуткой и крепким словом, заставлял их содрогаться от ужаса, безжалостно подвергая сомнению, отрицая и опошляя все то, что было для них свято, передразнивал, как настоящий Уленшпигель,³³ каждое слово этих простодушных бедняг и вызывал у них своим балаганным юмором греховное желание посмеяться над тем, что не смешно. У него не было ни глубоких мыслей, ни уважения к чему бы то ни было, даже к природе, а единственной его потребностью было отрицать существование бога, вернее сетовать, зачем он все-таки существует, в то время как гробовщик считал, что это для него не так уж важно; зато последний был человек бывалый, еще подмастерьем, странствуя по городам, привык смотреть на мир божий широко открытыми глазами, да и впоследствии продолжал просвещать свой ум и, если был в ударе, любил потолковать о разных диковинках. Портному же нравились только сплетни, да скандалы, да шумные перебранки со словоохотливыми богомолками; его отношение к евреям тоже выдавало его вздорный характер. Если гробовщик, считавший их такими же

³³ ...передразнивал, как настоящий Уленшпигель ... — Тиль Уленшпигель (правильнее Эйленшпигель) — лицо историческое. Он родился в 1350 г. в Кнейтлингене (Брауншвейг), вел жизнь бродяги и стяжал известность остроумными шутовскими проделками. Постепенно биография Эйленшпигеля обросла легендами и эпизодами, почерпнутыми из фольклора и книжных источников (средневековые шванки о попе Амисе, попе Каленберге и др.). В конце XV в. в Германии появилась первая книга анекдотических рассказов о походе Эйлешпигеля, причем его образ становится уже собирательным и используется в сатирических целях: плут и насмешник Эйленшпигель оставляет в дураках хозяев, у которых служит, и всех, с кем ему приходится сталкиваться. Особенно широкое распространение (в оригинале, и переводах) получила немецкая «народная книга» о походе Тилия Эйленшпигеля (1519), которая, в свою очередь, послужила источником для многих литературных произведений и в том числе для знаменитого романа бельгийского писателя Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» (1867).

людьми, как и он сам, относился к ним доброжелательно и был приветлив с ними, то портной всячески дразнил и мучил их и издевался над ними с поистине христианским высокомерием, пуская в ход все известные ему избитые шутки, какими дразнят евреев, так что порой бедняги и в самом деле обижались и в сердцах уходили из комнаты. Обычно дело кончалось тем, что у г-жи Маргрет лопалось терпение и она прогоняла этого злого демона из своего дома; но вскоре он снова появлялся там, некоторое время держал себя немного поосторожнее, говорил тихо и вкрадливо, и все терпели его, хотя и знали, что все это ненадолго и что вскоре он опять примется за старое. Видимо, все эти люди, так любившие поговорить и поспорить, нуждались в нем как в живой иллюстрации их собственных представлений о том, каким должен быть безбожник; впрочем, его атеизм и на самом деле весьма точно соответствовал этим представлениям; в конце концов всем стало совершенно ясно, что он гонит от себя мысли о боге и о бессмертии главным образом потому, что они мешают ему предаваться пустой и праздной житейской суете, а впоследствии, когда ему пришла пора умирать, он так ныл и причитал, дрожал всем телом и скрежетал зубами и так жаждал облегчить свою душу покаянной молитвой, что добрые христиане могли теперь торжествовать свою полную победу, что же касается гробовщика, то он перед смертью успел еще сам изготовить себе гроб, причем обстругал его с таким же невозмутимым спокойствием, как и тот, с которого он некогда начал свою работу.

Вот что представляло собой это общество, так часто — особенно зимой — собиравшееся на вечерние беседы в доме г-жи Маргрет, и не помню уж, как все это началось, но только с некоторых пор я стал все чаще коротать свои дни в ее удивительном заведении, среди озабоченно снующих покупателей и продавцов, а по вечерам сидел у ног самой хозяйки, которая очень благоволила ко мне. Ее благосклонность я заслужил тем, что слушал разговоры взрослых с неизменным вниманием, о каких бы странных и диковинных вещах ни шла речь. Правда, их изысканий в области теологии и морали, — хотя они нередко были весьма и весьма наивными, — я тогда еще не понимал, но так как и сами собеседники не любили подолгу задерживаться на этих материях и обычно сразу же переходили к тому, что они действительно видели и пережили, то беседа сворачивала тем самым в другое русло, в область натурфилософии³⁴, где и я кое-что смыслил. Спорщиков занимали прежде всего явления духовной жизни, такие, как сны, предчувствия и тому подобное, для которых они старались найти объяснение в повседневной жизни, но их любознательный ум пытался проникнуть также и в таинственные сферы звездного неба, в глубины моря и в недра огнедышащих гор, о которых им доводилось слышать, — и все это они сводили так или иначе к религиозным воззрениям. Они читали откровения ясновидцев, описания удивительных путешествий на различные отдаленные светила и другие поучительные книжки в этом роде, приобретенные г-жой Маргрет по их совету, а затем спорили о них, высказывая при этом самые смелые догадки, возникшие в их распаленном воображении. Порой кто-нибудь из них подкреплял свои доводы кое-какими научными сведениями, случайно почерпнутыми им где-нибудь, например, в беседе со слугой одного звездочета, утверждавшим, будто через подзорную трубу его господина видны какие-то живые существа на Луне и что-то вроде горящих кораблей на Солнце. Но самым живым воображением обладала г-жа Маргрет, у которой всякий вымысел приобретал плоть и кровь. У нее была привычка по нескольку раз в ночь вставать с постели и подходить к окну, чтобы посмотреть,

³⁴ *Натурфилософия* (буквально: философия природы) — философское учение о развитии природы, распространившееся в XVII—XVIII вв., когда опытное естествознание не могло дать научного объяснения многих природных явлений. Натурфилософами предпринимались попытки объяснить закономерности и связь различных явлений природы с помощью логических построений, нередко претендовавших на универсальность и законченность. В отдельных случаях натурфилософы высказывали гениальные догадки, но в целом недостаточное знание фактов они подменяли фантастическими схемами. В начале XIX в. натурфилософия получила свое завершение в концепциях немецких философов-идеалистов Шеллинга и Гегеля. С развитием научного естествознания ее дальнейшее развитие прекратилось.

что происходит в мире под покровом мрака и ночной тишины, причем каждый раз она действительно что-нибудь замечала: то какую-то подозрительную звезду, выглядевшую не так, как всегда, то комету, то какой-нибудь красноватый отблеск в небе, и для всех этих явлений она тотчас же находила особое название. Все окружающие предметы жили в ее глазах своей жизнью, исполненной глубокого смысла; когда солнечный луч попадал в стакан с водой и, пройдя через него, падал на гладко отполированную поверхность стола, весело игравшая радуга с ее семью цветами казалась ей непосредственным отражением того великолепия, которое бывает только на небесах, в самом раю. «Смотрите, смотрите, — говаривала она, — разве вы не видите, какие там чудесные деревья и цветы? а зеленые крылечки и красные шелковые платки? а эти золотые колокольчики и серебристые фонтаны?» — и каждый раз, когда солнце заглядывало в ее комнату, она проделывала этот опыт, «чтобы хоть одним глазком заглянуть на небеса». Муж называл ее за это старой сумасбродкой и вместе с портным беспощадно высмеивал ее. Зато когда речь заходила о привидениях, она чувствовала куда более твердую почву под ногами, ибо уж по этой части она, несомненно, обладала немалым опытом, который дался ей нелегко; да и у всех других было что порассказать на этот счет. Правда, с тех пор как она перестала выходить из дому, с ней не случалось больше ничего особенного, если не считать того, что она частенько слышала возню и стук в старой кладовке да иногда, стоя в полночь или под утро на своем обычном наблюдательном посту у окна, видела, как во мраке ночи по улице бродит черная овца. А иной раз у входной двери стоял карлик, и пока она пристально разглядывала его, желая убедиться, что это не сон, он вдруг начинал расти на ее глазах, все выше и выше, и уже почти доставал до подоконника, так что она едва успевала захлопнуть окно и спрятаться под одеяло. Но все это не шло в сравнение с тем, что ей пришлось пережить в молодости, особенно в те годы, когда она еще жила в деревне и ей доводилось во всякое время суток ходить и полем и через лес. Бывало, ее преследовали какие-то безголовые люди, которые целыми часами шагали рядом с ней по дороге и не отставали, как бы усердно она ни молилась; души умерших крестьян, не нашедшие себе покоя и приходившие по ночам на свое поле, с мольбой протягивали к ней руки; удавленники срывались с высоких елок и с диким завыванием бежали вслед за ней, чтобы облегчить свои страдания, побыв вблизи доброй христианки; мороз пробегал по коже, когда она описывала свое тогдашнее безвыходное положение: ее так и тянуло взглянуть хоть одним глазком на эти жуткие фигуры, а в то же время она отлично знала, как вредно и опасно смотреть на них. Иной раз у нее даже распухал весь бок, левый или правый, смотря по тому, с какой стороны шли за ней мертвецы, и ей приходилось посылать за доктором. Она рассказывала также о колдовстве и чернокнижии и уверяла, что еще в конце прошлого века, в годы ее юности, в деревне сплошь и рядом занимались подобными вещами. Так, например, в ее родных краях у некоторых богатых крестьян, живших большими семьями, были старые языческие книги, с помощью которых они творили самые неслыханные дела. Они подносили пламя к стогу и прожигали в нем дыру, причем сам стог оставался целым, умели заговаривать воду и управлять дымом, заставляя его подниматься из трубы в любом направлении и образовывать разные смешные фигуры, но все это были еще невинные шутки. Гораздо страшнее было попасть в число их недругов, которых они безжалостно сживали со света, — для этого они вбивали в ствол ивы три гвоздя, что-то шептали над ними, и человек начинал медленно чахнуть (отец Маргрет долго мучился по их милости какой-то хворью, но их козни были вовремя раскрыты, и его спасли капуцины), или же насылали порчу на поля своих врагов, так что зерно в колосьях перегорало, а потом сами же издевались над несчастными, когда те голодали и терпели нужду. Правда, люди утешали себя тем, что когда кто-нибудь из этих колдунов созрел для ада, за ним являлся черт и после нелегкой борьбы уносил с собой его душу; однако все это опять-таки нагоняло страх на добрых христиан, и самой рассказчице доводилось видеть окровавленный снег и клочья волос на месте происшествия, что вряд ли можно назвать

приятным зрелищем. У таких крестьян всегда было много денег, и когда случалась свадьба или похороны, они отмеряли их четвериками³⁵ и переносили в больших ушатах. Свадьбы в то время играли с большой пышностью, как в старину. Она еще помнила одну такую свадьбу, на которую собралось человек сто гостей, и все они, мужчины и женщины, приехали верхом. На женщинах были короны из сусального золота, шелковые платья и ожерелья из скатанных в трубку дукатов в три, а то и в четыре ряда; но и тут дело не обошлось без черта: он незаметно прискакал со всеми гостями, и после ужина там творилось такое, что и сказать неловко. В семидесятых годах, когда случился большой неурожай и был голод, эти крестьяне забавлялись тем, что широко открывали двери своих амбаров и молотили в двенадцать цепов, да еще приглашали какого-нибудь слепого скрипача, чтобы он подыгрывал работающим, причем сидеть он должен был на большом караве, а затем, когда перед амбаром собиралась целая толпа голодных нищих, спускали на беззащитных людей злых собак. Любопытно, что народ считал всех этих сельских богачей, которые тиранили крестьян, опростившимися потомками древних феодалов, прежних владельцев многочисленных замков и крепостей, разбросанных по всей стране.

Неиссякаемым источником для рассказней и небылиц был также католицизм; вокруг нашего города было немало пустующих и покинутых обителей, а некоторые местности по соседству вообще остались католическими, и в тамошних монастырях еще жили монахи. О духовенстве этих монастырей распространялись удивительные легенды, особенно о капуцинах, которые до сих пор действуют рука об руку с палачами, преследуя нечистую силу и занимаясь знахарством среди суеверных крестьян-протестантов. В некоторых отдаленных местностях страны протестантизм пришел в то время в упадок, и люди исповедовали его как-то бессознательно; вместо того чтобы смотреть на католиков сверху вниз, как на темных, одураченных людей, верящих в разные бредни, крестьяне сами разделяли все их предрассудки, хотя и считали, что все это грешно и предосудительно, и не смеялись над католицизмом, а скорее боялись его, видя в нем какую-то страшную языческую ересь. И если они никак не могли представить себе, что вольнодумец — это такой человек, который в глубине души действительно ни во что не верит, то не менее непонятными казались им и те люди, которые верят даже больше, чем надо; сами же они держались середины, то есть веровали лишь в то, что, по их мнению, представляло доброе, а не злое начало.

Муж г-жи Маргрет, которого все звали дедушкой Якобом, а сама Маргрет попросту батюшкой, был старше ее на пятнадцать лет и уже доживал свой седьмой десяток. По части выдумки и фантазии он мало в чем уступал своей супруге, а его воспоминания уходили еще дальше в глубь полного чудесных преданий прошлого, однако в каждом событии он прежде всего видел его смешную сторону, так как весь век свой только и делал, что шутки шутил, и вообще был человек довольно никчемный; если его жена любила потолковать о вещах серьезных и предпочитала рассказывать о страшном, то он знал множество презабавных историй о проделках нечистой силы, а также немало подлинных происшествий, случившихся со знакомыми ему людьми, которые он, однако, тоже безбожно перевирал. В ранней молодости ему довелось увидеть последние ведовские процессы³⁶, и его исполненные

³⁵ У таких крестьян всегда было много денег, и... они отмеряли их четвериками ... — Четверик (четверть ведра) — старинная мера объема, соответствует полутора-двум литрам.

³⁶ ...последние ведовские процессы... — С ведома и одобрения церкви преследование «ведьм» продолжалось на протяжении всего средневековья. В Швейцарии суды над «ведьмами» учинялись в отдельных кантонах почти до середины XVIII в. Преследования «ведьм» в Швейцарии и других странах Западной Европы приняли массовый характер в XV—XVI вв. Так, например, в Женеве по обвинению в сношениях с нечистой силой в 1515 г. было казнено пятьсот человек. Среди них были и дети. Испытание водой считалось наиболее верным способом распознать «ведьму». Если женщина, брошенная в воду со связанными крест-накрест руками и ногами, тонула сразу, ее считали невиновной и посмертно оправдывали, если же она всплывала, ее признавали ведьмой и сжигали на костре. О разных видах средневекового изуверства и ведовских процессах Келлер

юмора рассказы о шабашах и пирушках ведьм, почерпнутые им из устных преданий, живо напоминали описания таких процессов с их пространственными обвинительными заключениями и вынужденными признаниями подсудимых, какие можно прочесть в старинных документах. Это был его конек, и он клялся и божился, что некоторые знакомые ему женщины, известные своими странностями, превосходно умеют ездить на метле, и не раз обещал, что на днях раздобудет у одного знакомого колдуна ту мазь, которой ведьмы смазывают ручку метлы, и непременно попробует, пока он еще жив, устроить выезд из печной трубы. Его слова вызывали у меня бурный восторг, тем более что он собирался взять с собой и меня, — если будет хорошая погода, — и рисовал передо мной самые заманчивые картины этой веселой поездки, во время которой я буду сидеть на ручке метлы перед ним, а он будет крепко держать меня. Он даже наметил места, где можно сделать привал, и называл мне то холм, где, по его сведениям, росло прекрасное вишневое деревцо, то отличную сливу, где мы сможем славно полакомиться, то какую-нибудь лесную поляну с самой сладкой земляникой, где мы устроим целый пир, предварительно привязав метлу к какой-нибудь елке. Решено было, что мы наведаемся также и на соседние ярмарки, — ведь в любой балаган мы могли попасть бесплатно, прямо через крышу. Мы собирались заехать даже к одному сельскому священнику, другу дедушки Якоба, чтобы отведать его знаменитых домашних колбас, но для этого нам пришлось бы, конечно, заблаговременно спрятать метлу где-нибудь в кустах и сделать вид, будто мы давно уж хотели навестить господина пастора, да вот наконец и собрались, а пришли-де мы пешком, благо погода чудесная; зато в дом одной богатой ведьмы-трактирщицы, жившей в другой деревне, мы решили смело въехать прямо через трубу, рассчитывая на то, что она сдуру примет нас за начинающих, но уже подающих надежды колдунов и на славу угостит своими вкусными лепешками с салом и свежим медом из своих ульев. А по пути надо было непременно посмотреть, как живут те редкие птицы, что вьют свои гнезда на высоких деревьях и скалах, и отобрать самых лучших птенцов, — это было уж дело решенное. Как сделать это без всякого вреда для себя, на это у него был свой секрет, он знал заклинание, с помощью которого можно было повеселиться в свое удовольствие, а в заключение оставить черта в дураках.

По части призраков и привидений он тоже был большой знаток, но и тут у него все оборачивалось своей смешной стороной. Если история, о которой он рассказывал, была страшной, то и в ней все равно было что-то в высшей степени комическое, а еще чаще дело кончалось тем, что ему удавалось провести мучившую его нечистую силу и сыграть с ней какую-нибудь веселую шутку.

Словом, он превосходно дополнял свою жену, тоже увлекавшуюся разными фантазиями, и таким образом мне довелось почерпнуть из самого первоисточника все то, что дети образованных родителей обычно узнают из нарочно для них обработанных книжек со сказками. Пусть духовная пища, которую я там находил, была не такой безобидной, как в этих книжках, и не всегда рассчитана на нравственные понятия невинного ребенка, — зато в ней неизменно заключалась какая-нибудь мораль, какая-нибудь глубоко человеческая истина, а собранные г-жой Маргрет старинные вещи были для меня настоящей сокровищницей в смысле богатства зрительных ощущений. Вполне понятно, что под влиянием всего этого мое воображение несколько преждевременно созрело и стало более восприимчивым к сильным впечатлениям, подобно тому как дети из простонародья рано привыкают к крепким напиткам, которые пьют взрослые. Дело в том, что в доме г-жи Маргрет я слышал не только разговоры о чудесах сверхчувственного мира; нередко ее гости вели в моем присутствии жаркие споры о делах житейских, о жизни человеческой вообще и о своей собственной доле, и особенно интересно было послушать самое хозяйку дома и ее мужа, ибо на своем долгом веку они повидали так много печального и смешного, так много заслуженно вознесенных судьбою и незаслуженно обиженных ею людей и сами испытали

повествует в новелле «Дитеген» (см. в кн.: Г. Келлер, Избранные новеллы, Гослитиздат, Л. 1952).

так много опасностей, лишений и трудностей, из которых они все же выпутывались, что их опыт был как бы собранием примеров на все случаи жизни; они пережили все — и голод, и войну, и мятежи; однако любопытнее всего было их отношение друг к другу, в котором чувствовался элемент драматизма, и порой прорывались наружу некие глубоко спрятанные первобытные, демонические силы, так что, глядя на эту бурную игру страстей человеческих, я по-детски удивлялся, и в душе моей откладывались глубокие впечатления.

Ибо если г-жа Маргрет была живой душой и опорой дома, если она заложила самую основу нынешнего благосостояния семьи и всегда держала бразды правления в своих руках, то муж ее был из тех людей, которые никак не могут найти себе занятие по душе и ничего не умеют делать и которым не остается ничего, как стать мальчиком на побегушках у жены (если такому достанется в жены женщина энергичная) и влачить под сенью ее власти праздное и бесславное существование. Если г-жа Маргрет, сумевшая, — особенно в первые годы замужества, — смело использовать благоприятные обстоятельства того времени, благодаря своей поразительной оборотистости в буквальном смысле слова загребала деньги кучами, то муж ее играл скромную роль услужливого домового, помогавшего ей по хозяйству, был от души рад тому, что ему перепадало от жены, и смешил всех своими забавными проделками. Зная его непосредственность и какую-то отнюдь не мужскую беспомощность и на опыте убедившись в том, что в трудные минуты она не находит в нем надежной опоры, г-жа Маргрет не замечала других его положительных качеств, а потому, не долго думая, решила не подпускать его к заветному ларцу и стала распоряжаться деньгами единовластно. Долгое время ни один из них не видел в этом какого-нибудь ущерба для себя, но потом некоторые кляузники, в том числе и интриган-портной, раскрыли мужу глаза на то, как унижительно его положение, и стали подбивать его, чтобы он наконец потребовал раздела имущества и полного признания своего права распоряжаться им.

Бедняга тотчас же страшно распетушился и, подстрекаемый своими непрошеными советчиками, стал угрожать растерявшейся жене судом, если она не выдаст его долю «совместно нажитого состояния». Она прекрасно понимала, что все это скорее насилие и грабеж, чем честная тяжба, что единственной опорой дома была и всегда будет только она сама, и противилась его требованиям изо всех сил. Однако законы были не на ее стороне, так как суд не смог бы разобраться, какой вклад внес каждый из супругов, а кроме того, муж выдвигал против нее целый ряд облыжных обвинений и заявлял, что после раздела имущества намерен развестись с ней. Сбитая с толку обрушившимся на нее ударом и став предметом сплетен, она чуть не заболела от огорчения и, уже не понимая, что делает, отдала ему половину состояния. Став обладателем всей этой сверкающей груды золота, он тотчас же зашил его в длинные, похожие на колбасы мешочки разной толщины, смотря по размеру монет, сложил эти колбаски в свой сундук, прибил его к полу, прочно уселся на нем и славно одурачил своих доброхотных помощников, надеявшихся, что и им удастся урвать хоть малую толику его богатства. Жить он остался в доме жены, да так век свой и прожил возле нее и за ее счет, и вспоминал о своем сокровище только тогда, когда хотел удовлетворить какую-нибудь прихоть. Между тем она оправилась от удара и вновь пополнила оставшуюся ей часть, а со временем даже удвоила ее; но со дня раздела она думала только о том, как бы вновь завладеть похищенным у нее добром, а это можно было сделать только после смерти мужа. Поэтому каждая разменная им монета была для нее как нож в сердце, и она не могла дождаться, когда же он наконец умрет. Муж, в свою очередь, столь же нетерпеливо ждал ее смерти, чтобы стать безраздельным обладателем всего состояния и пожить на склоне лет в полной независимости. Правда, на первый взгляд никому бы и в голову не пришло, что на их отношениях лежит такая мрачная тень, потому что они жили, как живут любящие старички-супруги, и называли друг друга не иначе как «батюшка» и «матушка». Это было особенно заметно у Маргрет, которая относилась к мужу в общем с той же теплотой и великодушием, как и ко всем людям, и не только терпеливо сносила все его шутовские замашки, но, наверно, не смогла бы прожить и дня без этого человека, бывшего ее спутником в течение вот уже сорока лет; да и он сам тоже чувствовал, что ему не так уж плохо живется с ней, а иногда

даже брал на себя хозяйственные заботы и с комически деловым видом возился на кухне, пока его жена в кругу своих восторженных единомышленников уносилась вдаль на крыльях фантазии.

Но через каждые три-четыре месяца; с наступлением одного из четырех времен года, когда сама природа, так резко меняющаяся в это время, напоминала старикам, как недолговечна жизнь человеческая, а их телесные недуги чаще давали знать о себе, — их старая вражда вновь просыпалась, и между ними вспыхивал отчаянный спор. Обычно это случалось темной ночью, когда их мучила бессонница, — и тогда, сидя в своей старинной широкой кровати под *общим* пестро раскрашенным пологом, они до самого рассвета, не обращая внимания на открытые окна, бросали друг другу в лицо тяжкие обвинения и оскорбительные бранные слова, так что сонные улицы просыпались от их криков. Они упрекали друг друга в прегрешениях давно ушедшей молодости, прожитой в чувственных утехах, и будили тишину ночи, громко споря о делах минувших, о том, что произошло еще до наступления нашего века, далеко в горах и долинах, где успели с тех пор вырасти или, наоборот, исчезнуть целые густые леса, и поминая участников этих событий, которые давным-давно истлели в своих могилах.

Потом муж требовал у жены, чтобы она объяснила, почему она, собственно, надеется пережить его, или жена требовала того же от мужа, и между ними начинался пренеприятный спор о том, кто же из них все-таки будет иметь удовольствие похоронить другого.

Эти отвратительные сцены продолжались и на следующий день, на глазах у всех, кто приходил в их дом, будь то знакомые или чужие, так что бедная женщина в конце концов выбивалась из сил и начинала плакать и молиться; что же касается ее мужа, то он держался как будто даже бодрее, чем обычно: весело насвистывал или же принимался печь себе олады, непрестанно бормоча что-то под нос. Отпустив какую-нибудь шпильку, он мог целое утро твердить одно и то же, так что от него только и слышно было: «Пятьдесят один! Пятьдесят один! Пятьдесят один!» — или же добавлял для разнообразия: «Не знаю, не знаю, сдается мне, что старая хрычовка из дома напротив опять отправилась сегодня спозаранку на прогулку! Недаром она купила вчера новую метлу! То-то я видел, как в воздухе что-то такое мелькнуло... верно, ее красная исподница; странно! гм! Пятьдесят один!» — и так далее. При этом в сердце у него все так и кипело от злости, и он норовил побольнее уязвить жену, зная, что своими шутками он причиняет ей еще большие страдания: ведь ее запас злости быстро иссякал, и у нее не было больше сил продолжать эту утомительную перебранку. Зато и она и он располагали другим средством, чтобы насолить друг другу: это средство заключалось в том, что после каждой такой ссоры оба становились до расточительности щедрыми и осыпали подарками всех, кто попадался под руку, словно каждый из них хотел прожить на глазах у другого свое состояние, которого тот домогался.

Муж Маргрет был не то чтобы неверующий, но так как и в бога и в рай он верил весьма своеобразно, то есть так же, как в духов и ведьм, то бог у него был как-то сам по себе, а жизнь сама по себе, и ему дела не было до тех нравственных принципов, которые неизбежно вытекают из веры в бога; он только и знал, что ел да пил, смеялся и сквернословил, балагурил и чудачил, даже и не помышляя о том, чтобы согласовать свой легкомысленный образ жизни со строгими требованиями морали. Впрочем, и его жене тоже ни разу не пришлось в голову, что ее земные страсти как-то не к лицу человеку верующему, а потому она никогда не насильствовала себя и прямо высказывала все, что ее волновало, выгодно отличаясь в этом отношении от своих лицемерных нахлебников. Она любила и ненавидела, благословляла и проклинала, ни в чем не стесняя себя и ни от кого не скрывая своих душевных порывов, никогда не думала о том, что и сама она далеко не безгрешна, и, не ведая сомнений, всегда смело ссылалась на бога и его всемогущество.

У каждого из супругов было множество полунищих родственников, живших во всех уголках округи. Все они в равной мере тешили себя надеждой получить известную часть солидного наследства, тем более что г-жа Маргрет, питавшая непреодолимую неприязнь к тем, кто безнадежно погряз в нищете, уделяла им от своих щедрот лишь весьма скудные

подачки и угощала их за своим столом только по праздникам. В эти дни в ее доме появлялись двоюродные братья и сестры, старые тетки и дядя с мужниной и с ее стороны, со своими отощавшими длинноносими дочерьми и чахоточными сыновьями, и все эти бедняки несли мешочки и корзинки с жалкими подношениями, рассчитывая приобрести таким образом расположение капризных стариков и унести домой более щедрые ответные подарки. Эта обширная родня резко распадалась на два лагеря, каждый из которых примыкал к одной из враждовавших сторон и разделял с ней надежды на то, что ее недруг умрет раньше и наследство со временем увеличится. Они ненавидели друг друга так же страстно и враждовали так же непримиримо, как и сама Маргрет и ее муж, служившие им примером, и когда, насытившись и отогревшись за непривычно обильной трапезой, все это робкое вначале сборище смелело и начинало чувствовать себя свободнее, тогда между обеими партиями каждый раз разгоралась жаркая перебранка. Мужчины, подбиравшие со стола недоеденные окорока, били ими друг друга по головам, прежде чем спрятать их в свой мешок, а их жены осыпали друг друга бранью, поднося кулак прямо к бледному, заостренному носу соперницы, и отправлялись восвояси с приятным ощущением в желудке, но зато со злобой и завистью в сердце. Взяв под мышку туго набитые узелки, они неторопливыми шагами выходили из городских ворот, чтобы пуститься в дальний путь к своим лачугам, а когда они — все еще в сердцах — расставались где-нибудь на перепутье, глаза их метали колючие взгляды из-под воскресных чепцов, украшенных жалкими лентами.

Все это длилось долгие годы, пока наконец старуха Маргрет не решила подать пример своему мужу, сама отправившись в царство духов и привидений, столь занимавшее некогда ее мечты. Оставленное ею завещание оказалось полной неожиданностью для всех, так как в нем она отказала все свое состояние одному человеку: этим единственным наследником был последний и самый молодой из числа ее фаворитов, так радовавший ее сердце своей ловкостью и преуспеванием в делах, и она умерла в твердой уверенности, что ее денежки не достанутся простофилям, а славно послужат людям дельным, в чьих руках они станут силой. На ее похороны сошлась вся родня супругов, и, увидев, как они обмануты в своих надеждах, все подняли страшный крик и плач. Они единодушно возненавидели счастливого наследника, который преспокойно сложил свое добро на большую повозку, отобрав все то, из чего еще можно было извлечь какую-нибудь пользу. Он оставил несчастным беднякам только наличный запас провизии да собранные покойной книги и старинные вещи, за исключением тех, которые были из золота или серебра или же представляли собой хоть какую-нибудь ценность. Толпа горько сетовавших родственников покойницы не покидала ее дома трое суток, пока не была раздроблена последняя косточка и добытый из нее мозг не был подъеден с помощью последней корочки хлеба. После этого они начали постепенно расходиться, причем каждый успел прихватить на память еще какой-нибудь трофей. Один уносил на плече стопку «языческих книг», связанных толстой веревкой и прижатых для прочности поленом, а под мышкой — узелок с сушеными сливами; у другого за спиной висела на посохе икона богоматери, а на голове покачивался резной сундучок затейливой работы, во всех ящичках которого были ловко уложены картофелины. Тощие долговязые девицы несли изящные старомодные корзины из ивовых прутьев и пестро раскрашенные коробки, заполненные искусственными цветами и поблекшей мишурой; дети тащили восковых ангелочков или какую-нибудь китайскую вазу; и все это очень смахивало на толпу иконоборцев, только что вышедшую из разграбленной церкви. И все же каждый из них припомнил в конце концов, сколько добра сделала ему усопшая, и, решив сохранить свою добычу как память о ней, возвращался домой с грустью в сердце; главный же наследник недолго шагал за своей подводой, — он вдруг остановился, постоял в нерешительности, а затем свернул к первому попавшемуся старьевщику и сбыв ему все свое добро до последнего гвоздя. Затем он отправился к ювелиру, продал медали, чаши и цепи и, не оглядываясь, бодрым шагом вышел из города, захватив с собой только свой разбухший кошель да посох. У него был довольный вид, как у человека, покончившего наконец с неприятным и хлопотным делом.

Теперь в доме остался один только осиротевший старик, живший на остатки тех денег, что достались ему от прежнего раздела и уже успели с тех пор сильно подтаять. Он прожил еще три года и умер в тот самый день, когда ему предстояло разменять свою последнюю монету. Все эти годы он коротал время тем, что старался представить себе во всех подробностях, как он встретится на том свете с женой, с которой он собирался серьезно поговорить, — если она и там «носится со своими сумасбродными выдумками», — и как ловко он высмеет ее, на потеху всем старикашкам — апостолам и пророкам. Он вспоминал и многих других уже умерших приятелей и радовался, предвкушая встречу с ними, когда они тряхнут стариной и припомнят свои былые проказы. Я не слышал, чтобы он говорил о загробной жизни иначе, как в этом веселом тоне. Но скоро ему должно было стукнуть девяносто, он ослеп, все чаще начинал грустить и сетовать на свои горести и на докучавшие ему недуги и старческую немощь, теперь ему было не до шуток, и он только горестно восклицал, что людей надо просто убивать, пока они не успели стать такой жалкой старой развалиной.

Наконец он угас, как гаснет лампада, когда в ней иссякнет последняя капля масла; люди забыли его еще при жизни, и я, тогда уже подросток, был, пожалуй, единственным из его прежних знакомых, пожелавшим проводить до могилы этот жалкий комочек праха.

Глава восьмая **ПЕРВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ**

С самого раннего отрочества я внимательно следил за всеми событиями в жизни этого дома и, подобно хору в трагедиях древних, был не только свидетелем, но нередко и вмешивался в действие. Я то расхаживал по комнате, то усаживался где-нибудь в уголке, а когда при мне разыгрывалась какая-нибудь шумная сцена, я всегда стоял в самой гуще действующих лиц. Я доставал книги с полок и требовал, чтобы мне объяснили какую-нибудь заинтересовавшую меня диковинку, или же играл с безделушками г-жи Маргрет. Среди множества людей, бывавших в этом доме, не было ни одного, кто не знал бы меня, и все они были приветливы со мной, потому что это нравилось моей покровительнице. Что касается меня самого, то я старался поменьше говорить, но зато получше прислушиваться и присматриваться к тому, что на моих глазах происходило, чтобы не упустить ни одной подробности. Переполненный всеми этими впечатлениями, я брел через улицу домой, и там, в нашей тихой комнате, начинал ткать бесконечную причудливую ткань мечты, а мое возбужденное воображение сновало по ней, как челнок, расцветивая ее все новыми и новыми узорами. Эти фантастические образы переплетались в моей голове с подлинной жизнью, так что я с трудом отличал одно от другого.

Пожалуй, только этим последним обстоятельством и можно объяснить некоторые мои тогдашние поступки, в том числе одну совершенно непонятную проделку, которую я выкинул в возрасте около семи лет, — ибо даже я сам не мог бы подыскать для нее какое-нибудь другое объяснение. Однажды я сидел за столом, увлеченный какой-то игрой, и произносил вполголоса непристойные бранные слова, не отдавая себе отчета в том, что они означают; должно быть, я услышал их где-нибудь на улице. Соседка, сидевшая в это время тут же, в комнате, и болтавшая с матушкой, была поражена этими словами и обратила ее внимание на то, что я говорю. Лицо матушки приняло строгое выражение, и она спросила, кто меня этому научил, а соседка стала расспрашивать меня еще настойчивее; я был удивлен всем этим, на минуту призадумался и назвал мальчика, которого я часто видел в школе. К его фамилии я тотчас же добавил еще две или три, причем все это были подростки лет по двенадцать — тринадцать, с которыми я до сих пор даже и не заговаривал. К моему удивлению, через несколько дней учитель велел мне остаться после уроков, оставив в классе также и четырех названных мною мальчиков, показавшихся мне чуть ли не взрослыми мужчинами: все они были намного старше, чем я, и выше меня почти на целую голову. Потом появился священник, один из попечителей школы, обычно преподававший нам закон

божий; он сел за стол, где сидел учитель, а мне велел сесть рядом с собой. Мальчиков же заставили встать в ряд перед столом, и они ждали, что будет дальше. Затем священник торжественно задал им вопрос, правда ли, что они произносили в моем присутствии некие бранные слова; они очень удивились и не знали, что им отвечать. Тогда священник спросил меня: «Где ты слышал от них все это?» Тут меня снова понесло, и, не долго думая, я ответил с лаконичной определенностью: «В Братцевой рощице!» Так называлась роща в часе ходьбы от города, в которой я отроду не бывал, я только слышал, что ее часто упоминают в разговоре. «Как же все это произошло и как вы туда попали?» — гласил следующий вопрос. Я стал рассказывать, будто бы мальчики уговорили меня пойти с ними в лес, и подробно описал все то, что обычно происходит, когда дети постарше затевают какую-нибудь проделку, уходят далеко от дому и берут с собой совсем маленького мальчика. Обвиняемые были возмущены и со слезами на глазах стали уверять, одни — что они были там очень уж давно, а другие — что они и вовсе никогда там не бывали, тем более со мной! При этом они смотрели на меня с боязливой ненавистью, словно на какого-то злобного змееныша, и принялись было осыпать меня упреками и осаждать вопросами, но им велели помолчать, а мне предложили описать дорогу, по которой мы туда шли. Я тотчас же живо вообразил себе эту дорогу, будто увидел ее своими глазами, а так как мальчики не желали признавать мою выдумку, в которую я теперь сам уверовал, (ведь если ничего этого не было, нас не стали бы вызывать на допрос), то их возражения только раззадорили меня, и я подробно описал дорогу, ведущую к роще. Я знал те места только понаслышке и никогда не обращал особенного внимания на то, что о них говорилось, но в тот момент все услышанное слово за слово всплыло в моей памяти, и описание получилось как-то само собой. Потом я рассказал, будто по пути мы сшибали с кустов орехи, развели костер и жарили на нем краденую картошку, а затем основательно поколотили деревенского мальчишку, пытавшегося нас остановить. Придя в лес, мои спутники влезли на высокие ели и подняли там наверху страшный галдеж, награждая при этом священника и учителя разными прозвищами. Размышляя над внешностью наших наставников, я давно уже сам придумал для них эти прозвища, но до сих пор держал их при себе; теперь, когда мне представился такой удобный случай, я ввернул их кстати в мой рассказ, чем и вызвал сильнейшее негодование этих почтенных людей и немалое изумление ни в чем не повинных мальчиков. Я уверял, что, спустившись с деревьев, они нарезали длинных прутьев и потребовали, чтобы я тоже забрался на маленькую елку и громко прокричал оттуда все эти клички. Когда же я отказался, они привязали меня к стволу и до тех пор хлестали меня прутьями, пока я не согласился сказать все, что они требовали, даже те неприличные слова. Пока я выкрикивал эти ругательства, они успели улизнуть у меня за спиной, и в ту же минуту ко мне подошел какой-то крестьянин; он услышал мои бесстыдные речи и стал драть меня за уши. «Ну подождите же, дрянные мальчишки, — воскликнул он, — одного-то я поймал!» — и дал мне несколько затрецин. Потом он тоже ушел, оставив меня стоять под деревом, и в это время уже начало смеркаться. С большим трудом вырвавшись из пут, я стал искать в темном лесу дорогу домой. Но тут я заблудился, свалился в какую-то глубокую речку и, продвигаясь вдоль нее наполовину вплавь, наполовину вброд, выбрался таким образом из лесу и, претерпев немало опасностей, наконец-таки нашел дорогу. В довершение всего на меня напал огромный козел, но я отбил его, проворно выломав кол из плетня, и обратил его в бегство.

Никто в школе еще ни разу не замечал за мной такого красноречия, какое я проявил, рассказывая эту историю. Никому даже в голову не пришло расспросить у моей матери, был ли когда-нибудь такой случай, чтобы я вернулся домой весь промокший, да к тому же в ночное время. Зато когда удалось доказать, что кое-кто из мальчиков прогулял уроки, притом, как нарочно, примерно в указанные мною дни, — в этом увидели несомненную связь с моими приключениями. Мне поверили, как верят словам невинного младенца; мой рассказ, прозвучавший весьма естественно, был для всех как гром с ясного неба, так как до сих пор я был известен своей молчаливостью. Обвиняемые были невинно осуждены, как

молодые, но уже закоренелые злодеи, ибо их дружное запирательство, их справедливое негодование и даже их отчаяние были истолкованы как обстоятельства, лишь усугубляющие их вину; в школе их подвергли самым строгим наказаниям и посадили на позорную скамью, а сверх того им досталось еще и от родителей: их высекли и долго не выпускали гулять.

Судя по моим смутным воспоминаниям о том времени, мне было не только безразлично, что я натворил столько бед, но я даже испытывал какое-то удовольствие от того, что мой вымысел нашел столь реальное воплощение в казавшемся вполне справедливым приговоре наших судей; я гордился тем, что в мире произошло нечто из ряда вон выходящее, что люди что-то делают и от чего-то страдают, — и всему этому причиной магическая сила моего слова. Я никак не мог понять, на что, собственно, жалуются высеченные мальчишки и за что они так сердятся на меня, — ведь весь ход событий в моем рассказе был настолько достоверен, что развязка была ясна с самого начала, и тут уж я ничего не мог поделать, точно так же, как боги древних не в силах были изменить веления рока.

Пострадавшие принадлежали к числу тех детей, каких уже в отроческие годы можно назвать честными людьми, — все они были тихие, степенные мальчишки, за которыми никто до сих пор не замечал ничего предосудительного, и стали впоследствии работающими молодыми людьми и почтенными членами общества. Тем глубже затаили они воспоминание о моей сатанинской жестокости и о перенесенной ими обиде, так что много лет спустя мне все еще приходилось выслушивать их упреки, и всякий раз, когда мне вспоминалась эта забытая история, каждое слово моего рассказа вновь оживало в моей памяти. Лишь тогда все происшедшее начало мучить меня, но зато теперь я страдал вдвойне, испытывая по отношению к самому себе яростное, подолгу не проходившее чувство негодования; стоило мне подумать об этом, как кровь бросалась мне в голову, и мне хотелось свалить всю тяжесть вины на легковерных инквизиторов и даже обвинить во всем ту болтливую соседку, которая первой расслышала запретные слова и не отступилась до тех пор, пока не было точно доказано, из какого источника я их почерпнул. Трое из моих бывших школьных товарищей простили меня и только смеялись, видя, что все это еще до сих пор меня беспокоит; они с удовольствием слушали меня, когда я по их просьбе рассказывал эту историю, которую я помнил до мельчайших подробностей. И только четвертый, чья жизнь складывалась нелегко, так и не смог увидеть разницы между детством и зрелым возрастом и злопамятно не прощал пережитую им обиду, словно я нанес ее совсем недавно, будучи уже взрослым, взвешивающим свои поступки человеком. Он питал ко мне сильнейшую ненависть, и когда, встречаясь со мной, он бросал на меня оскорбительные, полные презрения взгляды, я был не в силах ответить ему тем же, ибо несправедливость, содеянная мною в раннем детстве, все еще тяготела надо мной, и я понимал, что такие обиды не забываются.

Глава девятая **СУМЕРКИ ШКОЛЫ**

Теперь я совсем освоился в школе, и мне было там хорошо, потому что на первых порах уроки быстро летели один за другим и каждый день был шагом вперед. Да и в самих школьных порядках было много занятного; я посещал школу усердно и с охотой и чувствовал, что там я нахожусь в обществе, — словом, она играла в моей жизни примерно ту же роль, какую в жизни древних играли их публичные судилища и театральные представления. Эта школа была не казенная, она была основана одним из обществ взаимопомощи; и так как хороших народных школ в то время не хватало, ее назначение как раз и заключалось в том, что она помогала детям неимущих родителей получить приличное образование, а потому ее называли школой для бедняков. В ней обучали по системе

Песталоцци-Ланкастера³⁷, причем эта система применялась рьяно и с таким усердием, на какое обычно бывают способны только страстно увлеченные своим делом учителя частных школ. Мой покойный отец, который иногда навещался в эту школу и присматривался к ней, был в свое время восторженным поклонником царивших в ней порядков, ожидал от них хороших результатов и не раз высказывал свое твердое намерение отдать меня в это заведение, где я должен был провести мои первые школьные годы; он полагал, что если с самого раннего детства я буду находиться в обществе беднейших детей города, то это будет только полезно для моего воспитания и убьет уже в зародыше дух кастовой замкнутости и высокомерия. Матушка сочла своей священной обязанностью выполнить волю отца, и это облегчило ей выбор первой школы, где мне предстояло учиться. В одном большом зале занималось около ста детей в возрасте от пяти до двенадцати лет, среди которых одну половину составляли мальчики, а другую — девочки. В середине стояло шесть длинных скамеек, занятых представителями одного пола, причем каждая из них была предназначена для детей одного возраста и вверена ученику постарше, лет одиннадцати — двенадцати, который стоял перед скамейкой и обучал всех сидевших на ней, в то время как представители другого пола занимались, стоя полукругом у одного из шести пюпитров, расположенных по стенам. В каждой группе тоже был ученик или ученица, выполнявшие обязанности учителя и сидевшие на стульчике в середине полукруга. Старший учитель восседал за кафедрой на возвышении и наблюдал за всем классом, в чем ему содействовали два помощника, ходившие дозором по всему довольно мрачному залу; там и сям они вмешивались в ход урока, подправляли юных преподавателей, а иногда и сами разъясняли нам какой-нибудь мудреный вопрос. Через каждые полчаса один предмет изучения сменялся другим; старший учитель подавал сигнал колокольчиком, и тогда класс начинал выполнять великолепно слаженный маневр, по ходу которого все сто детей, строго придерживаясь предписанных правил и действуя все время по звонку, вставали, делали поворот кругом, заходили правым или левым плечом вперед и, совершив точно рассчитанный переход, длившийся всего одну минуту, меняли свои позиции, так что ранее стоявшие пятьдесят

37 ...обучали по системе Песталоцци-Ланкастера... — Речь идет о методике обучения в начальной школе, объединяющей дидактические принципы выдающегося швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци (1746—1827) и известного английского педагога Джозефа Ланкастера (1778—1838).

Песталоцци видел цель воспитания в развитии природных способностей человека и формировании его нравственного облика. К элементам начального знания, кроме чтения, письма и счета, он относил также пробуждение способности мыслить, которой отдавал предпочтение перед накоплением знаний. Существенными принципами обучения Песталоцци считал наглядность и привитие учащимся трудовых навыков. Свою педагогическую теорию, подкрепленную многолетним практическим опытом, Песталоцци старался сделать доступной для каждой грамотной матери. Педагогические взгляды он излагал в живой и доходчивой форме («Лингард и Гертруда», «Как Гертруда учит своих детей», «Книга для матерей» и др.). В XIX в. педагогические принципы Песталоцци широко применялись в начальных школах.

Ланкастер разработал особую систему взаимного обучения, при которой старшие учащиеся начальных школ под наблюдением учителя обучали младших чтению, письму и счету. Ланкастерские школы возникли в Англии в начале XIX в., после чего система взаимного обучения стала применяться и в других странах, в том числе и в России.

В 1819 г. образовалось «Санкт-петербургское общество учреждения училищ по методу взаимного обучения». Организованные в России ланкастерские школы были на подозрении в правительственных и полицейских кругах, как рассадники вольномыслия. Это нашло свое отражение в известной реплике старухи Хлестовой из комедии Грибоедова «Горе от ума»:

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от Ланкарточных взаимных обучений.

Если Песталоцци своей просветительской деятельностью и педагогическими трудами оставил неизгладимый след в истории прогрессивной педагогики, то ланкастерская система взаимного обучения оказалась практически неудобной и дорогостоящей и не выдержала испытания временем.

человек занимали теперь сидячие места и наоборот. Нам чрезвычайно нравились эти паузы, и мы были счастливы, когда, заложив по школьному уставу руки за спину, одна половина класса строем проходила мимо другой и мальчики кичились своим по-солдатски четким шагом перед семенившими, как куры, девочками.

Не помню, чем объяснить то, что в школу разрешалось приносить цветы и даже держать их в руках во время урока: то ли этот трогательный обычай был просто поблажкой, то ли он был введен с каким-то намерением, но, во всяком случае, я не встречал этой милой маленькой вольности ни в одной другой школе; помню только, как приятно было смотреть на детей, когда они весело шагали по залу и почти каждая девочка несла розу или гвоздику, держа ее между пальцами сложенных за спиной рук, в то время как мальчики держали свой цветок в зубах, как трубку, или же молодцевато закладывали его за ухо. Все они были дети дровосеков, поденщиков, бедных портных, сапожников и людей, живших на средства общественного призрения. Ремесленники побогаче, в звании мастера, располагавшие кое-какими средствами, не имели права отдавать своих детей в эту школу. Поэтому я был одет лучше и опрятнее, чем все мои товарищи, и считался среди них чуть ли не аристократом, что, впрочем, не помешало мне довольно быстро сойтись с несчастными мальчуганами, щеголявшими в пестрых заплатах, и усвоить их нравы и привычки, по крайней мере, те, которые не казались мне слишком странными и неприятными. Ибо у детей бедняков, — хотя они вовсе не хуже и не испорченней, а скорее наоборот, чище и незлобивее сердцем, чем дети людей богатых или вообще обеспеченных, — все же иногда бывает какая-то внешняя грубость, и некоторые из моих однокашников отталкивали меня своими нарочито вызывающими замашками.

В то время я ходил во всем зеленом, потому что оба новых костюмчика, подаренных мне матушкой, один воскресный и один на каждый день, были перешиты из военной формы отца. Почти все оставшееся от него партикулярное платье тоже было зеленого цвета; а так как матушка очень внимательно и строго следила за тем, чтобы я берег одежду и содержал ее в порядке и чистоте, и перекроенных из его наследства курток и сюртучков мне хватило до двадцатилетнего возраста, то за мои неизменно одноцветные наряды меня еще в раннем детстве прозвали «Зеленым Генрихом», и с тех пор никто в нашем городе не называл меня иначе. Именно под этим красочным прозвищем я вскоре стал известной личностью в школе и на улице и воспользовался своей популярностью для того, чтобы продолжать мои наблюдения и принимать участие во всех происходивших вокруг меня событиях на манер античного хора. Я знал почти всех детей и стал таким образом вхож и в дома их родителей; все радушно принимали меня, потому что я прослыл за тихого, добропорядочного мальчика, однако, присмотревшись к домашнему укладу и привычкам этих бедняков, я более уже не появлялся у них, а удалялся в свою штаб-квартиру у г-жи Маргрет, так как самые любопытные вещи можно было увидеть, пожалуй, все-таки там. Она радовалась тому, что вскоре я не только научился бегло читать вслух по-немецки, но и мог объяснить ей латинские буквы, так часто встречавшиеся в ее книгах, и учил ее арабским цифрам, которых она никак не могла уразуметь. Кроме того, я составлял для нее различные памятки, записывая их готическими буквами на отдельных листках, которые она могла сохранять и при случае легко прочесть, и стал таким образом чем-то вроде секретаря при ее особе. Считая меня гениальной головой, она уже тогда видела во мне одного из тех преуспевающих умников, какие всегда были ее любимцами, предсказывала мне блестящее будущее и заранее радовалась за меня. И в самом деле, ученье не только давалось мне без труда, но даже доставляло удовольствие, и как-то незаметно для самого себя я настолько преуспел в науках, что удостоился почетного права обучать моих младших сверстников. Это стало для меня источником новых радостей, главным образом потому, что теперь я был облечен властью карать и награждать и, следовательно, мог по своему произволу распоряжаться судьбами вверенных мне маленьких подданных и одним своим словом вызывать их улыбку и слезы, дружбу и вражду. Даже первые проблески любви к женщине пробегали иногда, словно легкие предрассветные облачка, над всеми этими чувствами. Когда я сидел на своем стуле,

окруженный стайкой из девяти-десяти маленьких девочек, место рядом со мной оказывалось то первым, самым почетным, то последним местом, — в зависимости от того, в какой части огромного зала мы занимались. Это и решало судьбу приглянувшихся мне девочек, которых я либо постоянно держал наверху, в светлом сонме славных и добродетельных, либо надолго изгонял в мрачные низы, где прозябали грешники и отверженные, стараясь и в том и в другом случае приблизить их к моему деспотическому сердцу. Однако и на его долю тоже доставалось немало волнений, ибо иная не по заслугам вознесенная красавица часто не считала нужным хотя бы улыбнуться мне в знак благодарности, принимала незаслуженное отличие как должное и, нисколько не считаясь с моими планами, начинала так отчаянно проказничать, что я не мог поддерживать ее и впредь на скользкой вершине славы, если не хотел совершать явной несправедливости.

И только две вещи в этой школе были мне тягостны и постылы и оставили по себе недобрые воспоминания. Во-первых, это была мрачная, напоминавшая полицейский сыск манера творить суд над провинившимися учениками. Это объяснялось отчасти тем, что мы жили в переходное время, когда еще давал себя знать дух уходящей старины, отчасти личной склонностью наших наставников, и все это как-то не вязалось с тем в общем здоровым духом, который царил в школе. К детям столь нежного возраста применялись изощренно суровые и позорящие наказания, и почти ни один месяц не проходил без того, чтобы какой-нибудь бедный грешник не был подвергнут торжественно обставленной экзекуции. Правда, чаще всего доставалось тем, кто и в самом деле совершил что-нибудь дурное; и все-таки в этих наказаниях было что-то извращенное, так как они сызмальства приучали детей подвергать пострадавших опале; странно и непонятно здесь уже то, что дети, даже если они чувствуют за собой ту же вину, но избежали кары, презирают и преследуют наказанного и отмеченного позорным клеймом товарища и казнят его своими насмешками до тех пор, пока не смолкнут последние отзвуки происшедшего или его гонители сами не попадут в тенета. Пока не наступил золотой век, мальчишек надо сечь; но как отвратительно было смотреть, когда незадачливого грешника отводили, прочитав ему предварительно соответствующую проповедь, в отдельную комнату, где его раздевали, клали на скамью и задавали ему порку; или когда одну довольно большую девочку заставили однажды просидеть весь день на высоком шкафу, повесив ей на шею дощечку с позорящей надписью. Мне было жаль ее до глубины души, хотя, кажется, она и в самом деле совершила какой-то очень тяжкий проступок. Впрочем, может быть, ее и невинно осудили! Через несколько лет эта самая девочка утопилась незадолго до конфирмации³⁸, не помню уж из-за чего, помню только скорбное чувство сострадания к умершей, охватившее меня на похоронах, когда я увидел целую толпу одетых в белое девочек от пятнадцати до шестнадцати лет, шедших за гробом с цветами в руках. Несмотря на то, что она умерла греховной, недостойной христианки смертью, в знак снисхождения к ее юности ей все же не отказали в скромных последних почестях, желая тем самым несколько заглушить и умерить шум, вызванный этим громким делом.

Другое неприятное воспоминание, оставшееся у меня от тех далеких школьных лет, — это катехизис³⁹ и уроки, на которых мы занимались этим предметом. Он был изложен в небольшой книжке, заполненной сухими, мертвыми вопросами и ответами, оторванными от живых, полнокровных образов Священного писания и способными заинтересовать разве

³⁸ *Конфирмация* — проверка знаний церковных догматов и последующий торжественный обряд приобщения подростков к протестантской церкви. У католиков — обряд миропомазания, приобщающий детей к церкви.

³⁹ *Катехизис* — краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов. Католический и протестантский катехизисы были составлены еще в XVI в. и служили главным пособием на уроках закона божьего. Катехизис в обязательном порядке заучивался наизусть. Зубрежка катехизиса до сих пор продолжается во многих школах буржуазных государств.

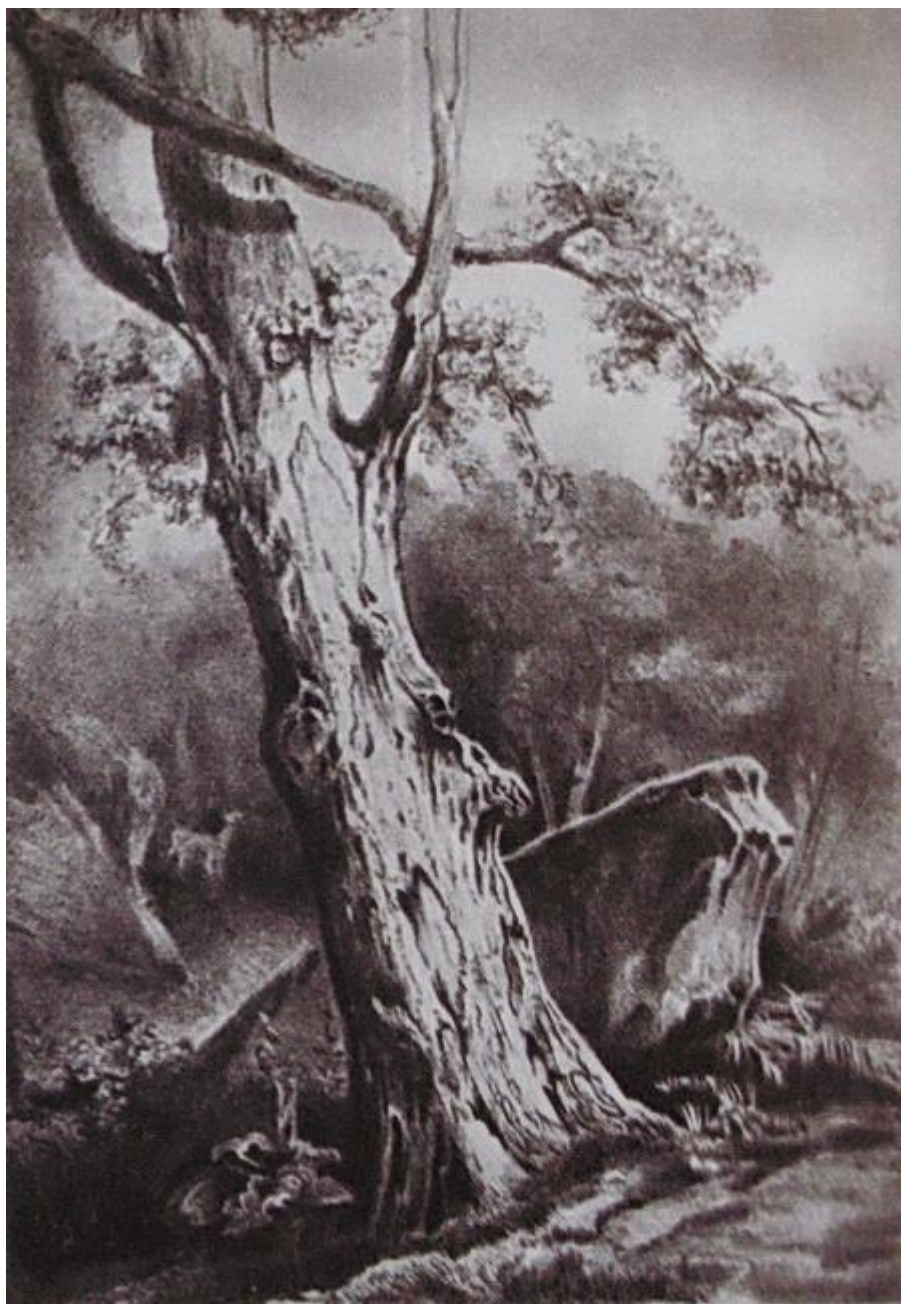
только пожилых, очерстневших людей с их холодным рассудком, и в течение многих лет, — которые кажутся в юности такими долгими, — мы только и делали, что вечно жевали и пережевывали эту книжку, заучивали ее слово в слово и пересказывали все эти диалоги наизусть, без всякого понимания. Грозные окрики и суровые кары просвещали нас в нашем неведении, а гнетущий страх, как бы не забыть хоть одно из всех этих темных слов, подстегивал наше усердие, и к этому сводилась наша религиозная жизнь. Отдельные стихотворные отрывки и строфы, столь же бессвязно выхваченные из псалмов и духовных песнопений, а потому не желавшие укладываться в голову, как укладывается целое связное стихотворение, которое учишь легко и с охотой, не помогали развивать память, а только отягощали ее. От этих неуклюжепрямых, унылых заповедей, призванных искоренять закоснелое неверие вполне сложившихся, взрослых грешников, и от сверхчувственных и непостижимых догматов, стоявших в одном ряду с ними, веяло не кротким духом уважения к человеческой личности и ее развитию, а смрадным дыханием дикого и косного варварства, видящего цель воспитания лишь в том, чтобы побыстрее пропустить юное поколение через некий обезличивающий пресс для моральной обработки и как можно раньше возложить на него ответственность за все его мысли и поступки в настоящем и даже в будущем. Время от времени уроки катехизиса становились для меня настоящей пыткой; это случалось по несколько раз в год, когда наступала моя очередь прислуживать пастору во время воскресной службы и вести с ним тот же нелепый диалог, но уже в присутствии всего прихода, причем священник стоял на кафедре на большом расстоянии от меня, так что мне приходилось говорить громким, внятным голосом; а малейшая оговорка или хоть одно забытое слово считалось чуть ли не осквернением церкви. Правда, некоторым бойким на язык мальчикам нравился этот обряд, так как именно он давал им повод щегольнуть своим искусством, ответив на все вопросы с елейным благолепием, но в то же время с какой-то отчаянной лихостью, и каждый из таких воскресных дней был для них радостным днем их торжества. Однако как раз такие дети всегда доказывали своей дальнейшей жизнью, что все заученные ими слова так и остались для них пустым звуком. Некоторые люди бывают бунтарями от рождения, и к их числу я, пожалуй, отнес бы и самого себя, не потому, что мне было чуждо религиозное чувство вообще, нет, мне только претило посещение церкви, и виной тому была, — хотя я этого и не сознавал, — та последняя тоненькая струйка дыма от ушедших в прошлое костров средневековья, которая незримо плыла под гулками сводами храма каждый раз, когда там монотонно раздавались авторитарные вопросы и ответы. Я отнюдь не собираюсь сказать, что я был каким-то сверхъестественно умным ребенком, а мое отвращение — сознательным протестом; просто во мне говорило своего рода врожденное чувство.

Таким образом, мне поневоле приходилось ограничиваться своим личным общением с богом, и я по-прежнему упорно придерживался привычки молиться в одиночку и самостоятельно обращаться к нему по разным делам, притом лишь тогда, когда я испытывал потребность в этом. Один только «Отче наш» я читал регулярно, утром и вечером, да и то не вслух, а про себя.

Более того, господь бог совсем исчез не только из моей внутренней, духовной жизни, но и из жизни внешней, из моих детских игр и развлечений, и, несмотря на все усилия матушки и г-жи Маргрет, я никак не мог найти места для него. На долгие годы самая мысль о боге стала для меня чем-то прозаичным, в том смысле, какой вкладывают в это слово плохие поэты, считающие прозаичной подлинную жизнь, в отличие от выдумки и сказки. Моим сказочным поэтическим миром была, как это ни странно, сама жизнь и окружающая меня природа, и именно там я искал радостей, в то время как бог стал для меня неизбежной, но серой и скучной, как прописная истина, действительностью, от которой я старался поскорее отделаться, вспоминая о ней лишь поневоле, как вдоволь нарезвившийся и проголодавшийся ребенок вспоминает об ожидающем его дома будничном супе. Все это было следствием той методы, которая насильно приобщает детей к религии и которую я испытал на себе. Во всяком случае, я не могу припомнить, — хотя и вижу ясно, как в

зеркале, ту далекую пору моей жизни, когда во мне еще не пробудилось зрелое мышление, — чтобы мне хоть раз довелось испытать благочестивый молитвенный трепет, пусть даже в той наивной форме, в какой его испытывают дети.

Эта пора раннего, но почти полного неверия, совпавшая как раз с тем возрастом, когда душа ребенка так податлива и восприимчива, и длившаяся лет семь-восемь, представляется мне теперь безотрадным и унылым безвременьем, и я обвиняю в этом всецело катехизис и его проповедников. Ибо пристальнее вглядываясь в сумерки, в которых дремала моя душа, я все больше убеждаюсь, что не любил бога моих детских лет, а только прибегал к нему в нужде. Лишь теперь я понял до конца, что в те далекие годы я жил словно под каким-то мрачным и холодным покровом, который скрывал от меня добрую половину окружающего мира, отуплял мой ум и делал меня робким и боязливым, так что я не понимал людей и не умел выразить того, что я сам думал и чувствовал, а мои наставники видели во мне загадку и, не зная, как к ней подступиться, твердили: «Странная овощь растет в нашем огороде, — не знаешь, что с ней и делать!»



Этюд дерева с оленем.

Тушь. 1834 г.

Глава десятая **ДЕТСКИЕ ИГРЫ**

Тем охотнее я проводил время наедине с самим собой, в своем тайном детском мире, который я поневоле вынужден был сам для себя создать. Матушка очень редко покупала мне игрушки, помышляя лишь о том, как бы приберечь каждый лишний грош на будущее, когда я вырасту, и считала ненужным всякий расход, если только он не предназначался на самое необходимое. Вместо этого она старалась развлечь меня долгими беседами, рассказывая мне всевозможные истории из своей жизни и из жизни других людей, а так как жили мы уединенно, эта привычка полюбилась и ей самой. Однако ни беседы с матушкой, ни часы, проводимые в удивительном доме нашей соседки, все-таки не могли заполнить моего досуга; я испытывал потребность в каком-то более живом деле, хотел чем-то занять свои руки, но все это опять-таки зависело от моего умения мастерить. Вскоре я понял, что не могу рассчитывать на помощь со стороны, и стал сам изготавливать себе игрушки. Бумага и дерево, неизменные помощники в подобных случаях, скоро надоели мне, тем более что у меня не было ментора, который научил бы меня приемам этого искусства. Тогда безмолвная природа сама дала мне то, что я тщетно искал у людей. Присматриваясь издали к моим сверстникам, я заметил, что некоторые мальчики являются обладателями небольшой коллекции, состоявшей главным образом из минералов и бабочек, и что, гуляя за городом, они сами пополняют свои собрания по указаниям учителя или отца. Подражая им, я занялся коллекционированием по собственному разумению и предпринял ряд рискованных экспедиций на ручей и вдоль реки, где сверкали под солнцем наносы из пестрой прибрежной гальки. Вскоре я собрал порядочную коллекцию разноцветных минералов — блестящих кусочков слюды и кварца и еще каких-то камешков, привлечших мое внимание своей необычной формой. Куски шлака, выброшенные в реку где-нибудь на горном заводе, я тоже принимал за образцы редких пород, слитки стекла — за драгоценные камни, а перепадавший мне от г-жи Маргрет старый хлам, вроде осколков полированного мрамора и завитушек из просвечивающего алебаstra, был в моих глазах чем-то необычайно древним и редкостным, словно он был найден в раскопках. Я наготовил ящиков и коробок на всю коллекцию и снабдил каждый предмет ярлычком с витиеватой надписью. Когда в нашем двореке появлялось солнце, я сносил все мои сокровища вниз, перемывал камешек за камешком в струе родника, после чего раскладывал их на солнце, чтобы они просохли, и долго любовался их блеском. Затем я укладывал их в прежнем порядке по коробочкам, а самые ценные экземпляры тщательно обертывал кусочком хлопка, понадерганного из огромных тюков на пристани или у торгового склада. Этого занятия мне хватило надолго; однако меня занимала только внешняя сторона дела, и когда я заметил, что другие мальчики знают название каждого камня, что в их коллекциях есть немало диковинок, совершенно для меня недоступных, вроде кристаллов и образцов различных руд, когда мне стало ясно, что все они уже кое-что смыслят в этих вещах, в то время как я ничего в них не понимаю, — тогда у меня пропал всякий интерес к игре, и я только огорчился, глядя на мои камешки. Зброшенные игрушки были для меня в то время каким-то мертвым грузом, и я не мог спокойно смотреть на них; если вещь становилась мне ненужной, я спешил ее сжечь или спрятать куда-нибудь подальше, и вот в один прекрасный день я нагрузил на себя все свои камни, с немалым трудом стащил их к реке, бросил в волны и, грустный и опечаленный, побрел домой.

Теперь я решил взяться за жуков и бабочек. Матушка сделала мне сачок и часто сама ходила со мной в луга; она одобряла мою новую затею, так как она явно не требовала ни сложных приспособлений, ни каких-либо затрат. Я ловил все, что только попадалось мне на глаза, и вскоре бесчисленное множество гусениц томилось у меня в неволе. Но я не знал, чем

их кормить, да и вообще не умел с ними обращаться, и ни один из моих питомцев не превратился в бабочку. Кроме того, я ловил и живых бабочек, и блестящих жуков, которых надо было умерщвлять и сохранять в их естественном виде, и это тоже доставляло мне немало хлопот и огорчений, ибо, попав в мои безжалостные руки, эти хрупкие божьи твари упорно цеплялись за свою жизнь. Когда же они наконец умирали, от их окраски и естественной прелести не оставалось и следа, и на моих булавах красовалось сборище внушавших жалость, растерзанных мучеников. Да и сама процедура умерщвления утомляла и возбуждала меня, так как я не мог спокойно смотреть на мучения этих изящных маленьких существ. Нельзя сказать, что то была какая-то несвойственная ребенку чувствительность; неприятных или безразличных мне животных я способен был мучить, как это делают все дети; просто я был несправедливо пристрастен к этим пестрым созданиям и жалел их скорее потому, что они красивее других. Их бранные останки неизменно настраивали меня на меланхолический лад, тем более что с каждым из несчастных страдальцев у меня было связано воспоминание о счастливом дне, проведенном на лоне природы, или о каком-нибудь приключении. Каждый из них с того часа, как стал моим узником, и до мученической смерти испил свою чашу страданий, к которым был причастен и я, и их безмолвный прах был для меня красноречивым упреком.

Однако и это увлечение было забыто, когда я впервые увидел большой зверинец. Я тотчас же вознамерился завести у себя такой же и понастроил множество клеток и клетушек. С большим усердием я приспособливал под них ящики и коробки, изготовляя их из картона и дерева и приделывая к ним решетки из проволоки и ниток, смотря по силе зверя, для которого предназначалась клетка. Первым обитателем зверинца была мышь, попавшаяся в мышеловку, откуда я перевел ее в заранее изготовленную камеру, действуя при этом столь медленно и осмотрительно, будто мне предстояло водворить за решетку по меньшей мере медведя. За ней последовал молоденький кролик; несколько воробьев, довольно большой уж, медяница и еще несколько ящериц разной величины и расцветки; вскоре появился огромный жук-рогач, томившийся вместе с другими жуками в аккуратно поставленных друг на друга коробочках. Несколько крупных пауков с успехом заменяли мне свирепых тигров, потому что, по правде сказать, я ужасно их боялся и изловил их в свое время с большими предосторожностями. Теперь они были в моей власти, и я испытывал жутко-приятное чувство, наблюдая за ними, пока в один прекрасный день один из них не вырвался из клетки и, неистово перебирая лапками, забегал у меня по руке и по одежде. Я очень испугался, но это только усилило мой интерес к зверинцу, и я кормил своих зверюшек весьма регулярно и даже зазывал к себе других детей, с важным видом давая им объяснения по поводу каждой твари. Птенца коршуна, которого мне удалось приобрести, я выдавал за королевского орла, ящериц — за крокодилов, а ужей осторожно вынимал из кучи тряпок, где они лежали, и обвивал их кольцами вокруг тела куклы. Иной раз я целыми часами сидел один возле затосковавших в неволе зверей и наблюдал за их движениями. Мышь давно уже прогрызла дырку и улизнула, у медяницы был сломан хребет, хвосты всех крокодилов тоже были отломаны, кролик до того отошал, что походил на скелет, и все же не умещался в своей клетке, все остальные твари дохли одна за другой, и это наводило меня на грустные размышления, так что я решил убить и похоронить всех подряд. Я взял тонкий и длинный железный прут, раскалил один конец и, просовывая его дрожащей рукой то в одну, то в другую клетку, чуть было не устроил страшное кровопролитие. Однако мои зверьки успели уже мне полюбиться, и, увидев содрогания разрушаемого живого тела, я перепугался и не смог довести дело до конца. Я побежал во двор, вырыл под рябинами яму, побросал туда как попало всех моих питомцев, мертвых, полумертвых и живых, и торопливо закопал их вместе с клетками. Увидев меня за этим занятием, матушка сказала, что я мог бы просто отнести зверей подальше от дому и выпустить их на волю, — может быть, там они отошли бы. Я понял, что она права, и раскаивался в содеянном; лужок под рябинами долго еще внушал мне ужас, и я так никогда и не осмелился поддаться тому детскому любопытству, которое всегда побуждает детей снова вырывать то, что они однажды закопали, чтобы посмотреть, что

получилось.

В доме г-жи Маргрет я нашел себе новую забаву. Обнаружив среди ее книг на редкость несуразное руководство по теософии, которое содержало снабженные иллюстрациями описания разного рода наивных экспериментов, я вычитал там между прочим наставление по устройству опыта, позволяющего наглядно показать все четыре стихии. Следуя этим указаниям, я взял большую колбу и наполнил ее на четверть песком, на четверть водой, затем маслом, а последнюю четверть оставил пустой, то есть наполненной воздухом. Вещества отделились друг от друга и разместились в колбе согласно своей тяжести, так что я мог воочию видеть четыре стихии, замкнутые в ограниченном пространстве: землю, воду, огонь (горючее масло) и воздух. Хорошенько взболтав содержимое колбы, я перемешивал вещества, в результате чего возникал хаос, затем он неизменно прояснялся, и это высокоученое занятие доставляло мне немалое удовольствие.

Потом я брал листы бумаги и рисовал на них по образцу, взятому из той же книги, огромные сферы, исчерченные вдоль и поперек кругами и линиями, окаймленные цветными полосами и испещренные цифрами и латинскими буквами. Четыре страны света, зоны и полюсы, звезды и туманности, стихии, темпераменты, добродетели и пороки, люди и духи, земля, преисподняя, чистилище, семь небесных сфер — все это было беспорядочно, но все же в некоторой последовательности навалено в одну кучу, так что разбираться в этой премудрости было делом головоломным, но увлекательным. Все сферы были населены человеческими душами, делившимися на разряды, каждый из которых мог процветать только в определенной сфере. Я обозначал их звездочками, а звездочкам давал имена: высшее блаженство вкушал мой отец, душа которого обитала внутри треугольника, изображавшего око господне, у самого зрачка; через это всевидящее око она, казалось, смотрела на матушку и на меня, гулявших в самых красивых местностях, какие только есть на земле. Зато мои недруги все до одного изнывали в преисподней, в обществе нечистого, которого я изобразил с предлинным хвостом. Смотря по тому, как вели себя отдельные люди, я менял их местопребывание, переселял их в виде поощрения в те сферы, где жила публика почище, или изгонял их туда, где стоит плач и скрежет зубовой. Иных я подвергал испытанию, и они витали у меня между небом и землей; иногда я даже сводил вместе души двух людей, которые при жизни терпеть друг друга не могли, и обрекал их на совместное заточение в какой-нибудь отдаленной сфере или, наоборот, разлучал двух любящих, насылал на них много разных невзгод, а потом устраивал им радостную встречу в ином, блаженном мире. Таким образом я держал под наблюдением всех известных мне людей, старых и молодых, и в полной тайне от них распоряжался их судьбами.

Далее в теософии рекомендовалось заняться выливанием расплавленного воска в воду, — не помню уж, что именно призван был продемонстрировать этот эксперимент. Наполнив водой несколько аптечных склянок, я стал забавляться, разглядывая причудливые формы, которые принимал застывавший воск, а затем закупорил склянки и пополнил ими мои научные коллекции. Эти манипуляции со склянками пришлись мне по вкусу, а когда я набрел на анатомический музей при больнице и, замирая от страха, наскоро пробежал по его залам, у меня возникла новая идея на этот счет. Дело в том, что те сосуды с эмбрионами и уродцами, которые я все-таки успел разглядеть, вызвали у меня живейший интерес, и, увидев в них великолепные образцы для моей коллекции, я решил вылепить нечто в этом роде. В одном из шкафов у матушки хранились куски сурового, а также и отбеленного полотна, натканного ею в часы досуга, и в том же шкафу было припрятано, а потом позабыто несколько плиток чистого воска, свидетельствовавших о том, что много лет назад хозяйка дома усердно занималась пчеловодством. Отламывая от этих плиток все более крупные куски, я стал лепить курьезных большеголовых человечков, точь-в-точь таких, как в музее, только поменьше, и стремился всячески разнообразить их и без того фантастический облик. Я старался раздобыть как можно больше склянок всевозможной формы и величины и подгонял под них мои фигурки. В высоких и узких флаконах из-под одеколona, у которых я отбивал горлышко, болтались на ниточке долговязые и тощие субъекты, в плоских и

широких банках из-под мази ютились раздувшиеся, как пузырь, карлики. Вместо спирта я наполнял сосуды водой и давал каждому из их обитателей какое-нибудь забавное прозвище, так как лепка фигурок оказалась превеселым занятием, и мой первоначально строго научный интерес незаметно сменился интересом к юмористической стороне дела. Когда у меня набралось десятка три таких красавцев и воск был на исходе, я решил окрестить всю честную компанию и снабдил мои творения кличками вроде Птичий Нос, Кривоножка, Портняжка, Круглопузик, Ганс Пупок, Воскоглот, Восковик, Медовый Чертик и другими именами в том же роде. Я тут же сочинил для каждого из них краткое жизнеописание и долго еще с увлечением придумывал подробности их прошлой жизни, которую они провели в той горе, откуда, по рассказам наших нянюшек, берутся маленькие дети. Я даже изготовил для каждого особую таблицу со сферами, где отмечал все его добродетельные или дурные поступки, и если кто-нибудь из них навлекал на себя мое недовольство, я поступал с ним точно так же, как с живым человеком, и отправлял его на жительство в какую-нибудь местность похуже. Все это я проделывал в одной отдаленной комнатке, где стоял мой любимый потемневший от времени стол с несколькими выдвигаемыми ящичками. Однажды вечером, когда уже смеркалось, я расставил на нем все мои склянки, так что образовался круг, в середине которого красовались четыре стихии, и, разложив ярко раскрашенные таблицы, освещаемые восковыми человечками, державшими в руках зажженные фитили, погрузился в изучение созвездий на картах, вызывая из строя и подвергая освидетельствованию поочередно то Восковика, то Кривоножку, то Птичий Нос, смотря по тому, чей гороскоп я составлял. Вдруг я нечаянно толкнул стол, так что склянки звякнули, а восковые человечки закачались и задергались. Это мне понравилось, и я стал ритмично постукивать по столу, а вся компания заплясала в такт ударам; тогда я запел и забарабанил по столу еще громче и неистовей, так что склянки отчаянно задребезжали, стучаясь друг о друга. Как вдруг за моей спиной кто-то фыркнул, и в углу сверкнули два ярких глаза. Это была какая-то чужая, очень крупная кошка, которая оказалась запертой в комнатке, до сих пор сидела тихонько, а теперь испугалась шума. Я хотел прогнать ее, но она угрожающе изогнула спину, ошетибилась и с громким урчанием уставилась на меня; струхнув, я отворил окно и бросил в нее склянку; кошка попыталась вскочить на подоконник, но сорвалась и снова перешла в наступление. Тут я принялся швырять в нее одну фигурку за другой; сначала она забилась в страшных судорогах, потом сжалась в комок, готовясь к прыжку, а когда я наконец метнул ей прямо в голову все четыре стихии, она очутилась у меня на груди и запустила когти в мою шею. Я свалился под стол, свечи потухли, и, очутившись в темноте, я стал кричать и звать на помощь, хотя кошка уже убежала. Матушка, вошедшая в комнату как раз в тот момент, когда кошка выбиралась на волю, застала меня лежащим на полу почти без сознания, а вокруг меня ручьями текла вода и повсюду валялись осколки стекла и страшные уродцы. Она никогда не обращала внимания на мою возню в каморке, радуясь тому, что я веду себя тихо и не скучаю, и теперь с недоумением слушала мой сбивчивый рассказ о происшедшем. Попутно она обнаружила, что ее запас воска сильно подтаял, и уже с некоторыми признаками гнева стала рассматривать руины моего погибшего мира.

Это происшествие наделало немало шума. Г-жа Маргрет попросила рассказать, как было дело, пожелала лично осмотреть раскрашенные карты и прочие следы происшедшего и пришла к выводу, что тут явно что-то неладно. Она побаивалась, что, читая ее книги, я мог, чего доброго, понабраться каких-нибудь опасных секретов, оставшихся недоступными для нее самой из-за ее неумения читать как следует, и торжественно, как бы давая понять, что считает дело весьма серьезным, заперла наиболее подозрительные книги в шкаф. В то же время она втайне испытывала известное удовлетворение, — ведь она давно уже говорила, что все это вовсе не такие безобидные вещи, как думают иные, и, как видно, оказалась права. Она была твердо убеждена в том, что благодаря ее книгам я чуть-чуть было не стал начинающим волшебником.

Глава одиннадцатая

**ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.—
ГРЕТХЕН И МАРТЫШКА**

После всех этих неудач мое затворничество и тихие игры наедине с самим собой опостытели мне, и я сошелся с компанией мальчишек, которые весело проводили время, устраивая театральные представления в большой старой бочке. Они повесили перед бочкой занавес, и те немногие счастливицы, которым они милостиво разрешали быть зрителями, вынуждены были почтительно ожидать, пока актеры закончат свои таинственные приготовления. Затем завеса перед святилищем искусства открывалась, несколько рыцарей в бумажных доспехах наскоро обменивались довольно крепкими бранными речами, а покончив с этим, сразу же принимались дубасить друг друга и падали замертво в тот момент, когда опускался дырявый занавес, сделанный из старого ковра. Увидев, что я смысленный малый, они вскоре открыли мне доступ в бочку, и с моим приходом репертуар сразу же принял несколько более определенный характер, так как я стал подбирать короткие сценки из Священного писания или из народных книг⁴⁰, списывая слово в слово встречавшиеся там диалоги и вставляя между ними несколько связующих реплик от себя. Кроме того, я высказал пожелание, чтобы у актеров был отдельный вход, что позволило бы им не показываться публике до начала представления. С этой целью мы долго пилили, рубили и буравили днище бочки, пока не получилась дыра, через которую с грехом пополам мог пролезть воин в полном вооружении, и нельзя было без смеха смотреть, как он начинает исполнять свой эффектный монолог с трагическими завываниями, еще не успев выползти из дыры и встать во весь рост. Затем мы натаскали зеленых веток, чтобы превратить внутренность бочки в лес; я утыкал ими все стенки, оставив свободным только имевшееся сверху отверстие для затычки, откуда должны были раздаваться голоса небожителей. Один из мальчиков принес порядочный кулек сценической пудры, что весьма оживило наши представления и придало им известный блеск.

Однажды мы разыгрывали историю о Давиде и Голиафе⁴¹. В начале пьесы на сцене показались филистимляне⁴², которые вели себя как настоящие язычники; потолкавшись в бочке, они вышли наружу, на просцениум. Затем начали выползать дети израильские; они были в большом унынии и, горько сетуя, встали по другую сторону бочки, и тут появился Голиаф, долговязый мальчишка постарше, вызвавший своими уморительными ужимками дружный смех обеих враждующих сторон и всей публики; он долго еще куражился, как вдруг Давид, тщедушный, но зловерный мальчуган, решил положить конец его бахвальству и, взяв свою пращу — оружие, которым он владел в совершенстве, — метнул в него крупный каштан и угодил прямо в лоб. Не желая оставаться в долгу, обозленный Голиаф изо всей

⁴⁰ ...сценки... из народных книг ... — В XV–XVIII вв. в Германии, также и в Швейцарии, были широко распространены так называемые народные книги — анонимные лубочные издания для «простонародья», по своей идейной направленности и содержанию отличавшиеся большой пестротой: сборники шуточных анекдотических рассказов, облеченные в форму непритязательного авантюрного повествования, плутовские и рыцарские романы, сказочные сюжеты, произведения средневекового героического эпоса, исторические воспоминания и т. п. Наряду с грубейшими суевериями, пропагандой смирения, покорности и пассивного страдания в народных книгах встречаются элементы антифеодальной сатиры. Наиболее самобытными и значительными памятниками немецкой повествовательной прозы XV–XVI вв. (в это время были созданы самые известные «народные книги») являются произведения обличительно-комического содержания («Эйленшпигель», «Семь швабов», «Шильдбюргеры» и др.), по своему происхождению связанные в первую очередь с фольклором и реальным бытом.

⁴¹ ...разыгрывали историю о Давиде и Голиафе . — Речь идет о библейской легенде, в которой рассказывается, как юноша Давид убил непобедимого великана Голиафа.

⁴² *Филистимляне* — древний народ, населявший восточное побережье Средиземного моря к югу от Финикии.

силы с тукнул Давида по голове, и тут герои вцепились друг в друга и затеяли отчаянную потасовку. Зрители и оба бездействующих войска громкими аплодисментами выражали свои симпатии тому или иному из противников; я же сидел верхом на бочке с огарком свечи в одной руке и с набитой канифолью глиняной трубкой в другой и изображал Зевса, меча через дырку огромные молнии, так что в зеленых ветвях непрестанно извивались языки пламени, а серебряная бумага на шлеме Голиафа таинственно мерцала в их трепетном свете. Время от времени я на минутку заглядывал в бочку, а затем снова принимался рассыпать молнии, чтобы еще больше раззадорить доблестных бойцов, и простосердечно мнил себя властителем мира, как вдруг мое царство закачалось, перевернулось, и я слетел с моего заоблачного трона, ибо в конце концов Голиаф одолел-таки Давида и с силой швырнул его о стенку. Тут поднялся страшный крик, на место происшествия подоспел владелец бочки, и, обнаружив самовольно произведенные нами переделки, объявил наш импровизированный театр закрытым, причем дело не обошлось без брани и подзатыльников.

Впрочем, мы не очень-то горевали о нашем потерянном рае, так как вскоре после этого в город приехала труппа немецких актеров, чтобы с разрешения начальства воздвигнуть перед его жителями храм страстей человеческих, гораздо более совершенный, чем все то, что до сих пор создали наши любители, взрослые и дети. Странствующие артисты обосновались в одной из городских гостиниц, превратив ее просторный танцевальный зал в театральное помещение, и сняли сверх того еще и все свободные комнаты и углы поскромнее, заполнив их своими чадами и домочадцами. Один только директор труппы жил на широкую ногу и имел в своем распоряжении более импозантное жилище.

Преобразившаяся гостиница с ее шумной жизнью манила нас не только по вечерам, когда давались представления, — в дневное время там тоже было на что посмотреть, и мы простаивали перед ней целыми часами, чтобы поближе разглядеть героев дня — королей и принцесс, то и дело появлявшихся у подъезда и вызывавших наше восхищение смелостью и изяществом своих нарядов и манер, — и, кстати, не пропустить ни одного из рабочих, переносивших то принадлежности для устройства сцены, то корзины с алыми плащами, шпагами и прочим реквизитом. Но чаще всего мы проводили время у пристроенного сзади открытого навеса, где работал художник; окруженный батареей ведер с красками, небрежно засунув одну руку в карман, он творил настоящие чудеса над разложенными перед ним полотнищами и полосами картона, преображавшимися с каждым взмахом его бесконечно длинной кисти. Я отчетливо помню, какое глубокое впечатление произвели на меня легкие и уверенные движения его руки, когда он расписывал комнату с красными обоями и по обеим сторонам окна, как по волшебству, появились легкие, почти прозрачные белые гардины; увидев эти умело нанесенные штрихи и крапинки, белые на красном фоне, я словно прозрел: ведь я всегда смотрел на подобные вещи как на чудо, не понимая, в чем тут секрет, тем более что до сих пор мне приходилось видеть их только в вечернем освещении. В тот момент у меня зародилось первое смутное понятие о том, что составляет сущность живописи; густые краски, свободно наносимые на прозрачную материю и плотно покрывающие ее, разъяснили мне многое; после этого я стал внимательно рассматривать каждую попадавшуюся мне на глаза картину, стараясь определить, где проходит граница, разделяющая эти две сферы, и сделанные мною открытия помогли мне встать выше наивного представления об искусстве как о чем-то сверхъестественном, чему я сам так никогда и не научусь, встать выше предрассудка, перед которым иные люди беспомощны.

По вечерам, перед спектаклем, мы были неизменно на своем месте, все, как один, и шныряли вокруг здания, как кот возле кладовой. Зная бережливость матушки, я и думать не смел о том, чтобы попасть в храм искусства законным путем, и чувствовал себя как нельзя лучше в компании моих приятелей из школы бедняков, которые вынуждены были проникать туда так же, как и я, то есть оказывая мелкие услуги или же пускаясь на разные отчаянные хитрости. Мне самому уже не раз удавалось с замиранием сердца проскользнуть в переполненный зал; когда занавес поднимался, я сначала с удовольствием останавливался глазами на декорациях, затем на костюмах исполнителей, и только пропустив изрядную

часть действия, погружался в изучение фабулы. Вскоре я возомнил себя большим знатоком театра и вел долгие споры с друзьями, стараясь при этом казаться равнодушным. Эта раздвоенность — напускное безразличие знатока и восторженное удивление любой, даже самой посредственной пьесой — уже начинала раздражать меня, и я страстно мечтал сделать что-то такое, что сразу же открыло бы мне доступ за кулисы, чтобы поближе увидеть обольстительное зрелище и его участников и понять, какими средствами они этого достигают; мне думалось, что это самое лучшее место на земле и нигде не живет так хорошо, как там, где люди — высшие существа, не знающие суетных земных страстей. Я вовсе не надеялся, что мое желание когда-либо исполнится, как вдруг мне помог неожиданный счастливый случай.

Однажды, — в тот вечер как раз давали «Фауста», — мы стояли у бокового входа и совсем было отчаялись попасть в зал. Мы знали, что сегодня в театре покажут достославного доктора Фауста, с которым мы успели довольно хорошо познакомиться, а также сатану во всей его красе, но все наши обычные лазейки были на этот раз закрыты и вставшие на нашем пути препятствия казались непреодолимыми. Огорченные, мы слушали звуки увертюры, которую исполняли любители из числа почтенных горожан, и ломали голову над тем, нельзя ли все же как-нибудь пробраться в зал. Был темный осенний вечер, холодный дождь моросил не переставая. Я продрог и уже подумывал, не пойти ли мне домой, тем более, что матушка не раз бранила меня за мои вечерние прогулки, как вдруг в потемках отворилась дверь, и выскочивший оттуда добрый дух в лице капельдинера крикнул: «Эй вы, сорванцы! Пожалуйте сюда! Трое или четверо из вас будут сегодня играть на сцене!» Услышав эти слова, прозвучавшие как некое волшебное заклинание, мы тотчас же ринулись в дверь, и самые сильные протиснулись вперед, — ведь в таких случаях каждый вправе думать только о самом себе. Однако капельдинер прогнал их, заявив, что они слишком рослые и толстые, осмотрел задние ряды, где стояли малыши, не очень-то надеявшиеся на успех, подозвал меня и сказал: «Вот этот подойдет, из него получится прекрасная мартышка!» Затем он выхватил еще двух других таких же худосочных мальчуганов, запер за нами дверь и повел нас за собой в небольшой зал, служивший костюмерной. Мы даже не успели разглядеть лежавшие там груды костюмов, доспехов и оружия, так как нас быстро раздели и зашили в диковинные шкуры, скрывшие все тело с ног до головы. Маска с обезьяньей мордочкой, откидывавшаяся, как капюшон, и длинные хвосты, которые мы держали в руках, совсем преобразили нас, и лишь теперь, увидев себя в этом новом обличье, мы поняли, как нам повезло, просияли от восторга и принялись поздравлять друг друга.

Потом нас провели на сцену, где нас радушно встретили две большие «мартышки», наскоро объяснившие нам, в чем будут заключаться наши обязанности. Мы быстро сообразили, что от нас требуется, и успешно доказали свое умение ходить колесом и прыгать, как обезьяны, а также грациозно катать шар, после чего нас отпустили до начала нашего выступления. Мы разгуливали с важным видом среди пестрого сборища людей, беспорядочно толпившихся в узком проходе между настоящими и нарисованными стенами; я смотрел не отрывая глаз то на сцену, то за кулисы и с упоением наблюдал за тем, как из безликого, глухо и беспокойно гудевшего хаоса бесшумно и незаметно возникали стройные живые картины и отдельные фигуры, которые внезапно появлялись в просторной, ярко освещенной раме и размеренно двигались там, словно в каком-то потустороннем мире, а затем так же загадочно снова исчезали в темноте. Артисты смеялись и шутили, мило болтали и ссорились друг с другом: но вот кто-нибудь из них неожиданно покидает своих собеседников; одно мгновение — и он уже стоит в торжественной позе один на один с пленительными чудесами волшебного царства, и его лицо, обращенное к морю невидимых для меня зрителей, выражает такое смирение, словно перед ним собрался совет богов. Не успею я оглянуться, как он снова появляется среди нас и как ни в чем не бывало продолжает прерванный разговор и опять любезничает или бранится с кем-нибудь, а в это время от толпы артистов уже отделился кто-то другой, чтобы снова проделать то же самое. У этих людей было две жизни, и одна из них, наверно, только грезилась им; однако я никак не мог

понять, которая из двух сторон этой двойной жизни была для них сном и которая — самой действительностью. И в той и в другой были, как видно, свои радости и горести, смешанные друг с другом поровну, но та часть сцены, которая была видна публике, представлялась мне светлым царством разума и человеческих доблестей, где вечно светит солнце, и, пока не опускался занавес, это царство жило полной, настоящей жизнью; как только он падал, все снова расплывалось в смутный, призрачный хаос. Некоторые обитатели этого сумрачного, похожего на запутанный сон мира производили на меня впечатление людей порывистых и страстных, и мне казалось, что там, в лучшей половине их жизни, они были самыми благородными и незабываемыми героями; что же касается тех, кто вблизи выглядел спокойным, равнодушным и миролюбивым, то там, на фоне всего этого великолепия, их роль была довольно жалкой. Текст пьесы был как бы музыкой, одушевлявшей все, что происходило на сцене. Как только она смолкала, действие приостанавливалось, как часы, когда в них кончается завод. Стих «Фауста», который вызывает трепет у каждого немца, как только он слышит хоть одну строчку, этот поразительно верно схваченный сочный народный язык лился непрерывно, как прекрасная песня, и я радовался и изумлялся вместе со всеми его красоте, хотя смысл всего услышанного доходил до меня с таким трудом, как будто я и в самом деле был мартышкой.

Вдруг я почувствовал, что меня схватили за хвост и тащат спиной вперед на сцену, превращенную в кухню ведьмы, где уже весело скакали все остальные мартышки. Из партера смутно белело и поблескивало бесчисленное множество лиц и глаз. Увлеченный моими наблюдениями, я и не заметил, как на сцене появились декорации, изображавшие кухню ведьмы, и упустил так много любопытного, что теперь не знал, на что мне и смотреть: то ли на окружавшую меня фантастическую обстановку, на страшные рожи и призраки, то ли на проделки Мефистофеля, ведьмы и моих товарищей-мартышек. Совсем забыв, что и сам я тоже мартышка и должен играть свою роль, забыв разученные ужимки и прыжки и все на свете, я преспокойно принялся наблюдать за тем, что делали другие. В это время Фауст с восхищением глядел в волшебное зеркало, и меня разбирало любопытство, что же такое там можно увидеть. Подражая ему, я посмотрел в ту же сторону; мельком скользнув по пустому, нарисованному зеркалу, мой взгляд устремился дальше, и там, в суতোлке закулисной жизни, передо мной предстало то видение, о котором говорил Фауст. Гретхен как раз готовилась к выходу; видимо, она была чем-то глубоко взволнована, так как долго и тщательно утирала лицо белым платком, словно желая скрыть следы слез, а затем стала накладывать последние мазки грима, время от времени оборачиваясь, чтобы бросить отрывистую фразу кому-то, кто стоял позади нее. Она была очень хороша собой, и я весь вечер глаз с нее не сводил, несмотря на то, что мои усердные собратья-мартышки вполголоса бранили меня и даже старались незаметно дать мне тумака. И вот, очутившись наконец в тех высших сферах, куда я еще недавно так мечтал попасть, я страстно желал теперь одного: поскорее вернуться туда, где виднелась дородная фигура моей красавицы.

Наконец срок нашего пребывания на сцене истек, и я бесславно сошел, или, вернее, в нетерпении прыгнул с подмостков, сделав тем самым мой первый и последний удачный прыжок, и постарался встать так, чтобы быть как можно ближе к прекрасному видению. Но тут подоспел выход Гретхен, и через минуту она была на сцене, наедине с публикой, так что и на этот раз я мог видеть ее только издали.

Она была, как видно, чем-то сильно раздосадована, а поэтому ее игра представляла собой странную смесь грации и явного гнева. Это сочетание плохо вязалось с образом Гретхен, но зато оно придавало исполнительнице своеобразную прелесть, я от всей души сочувствовал ей, ненавидел ее врагов, неизвестных мне, и, догадываясь, что она здесь главная героиня, тут же сочинил о ней целую романтическую историю. Однако дальнейшая судьба Гретхен складывалась трагично, и вскоре мимолетное порождение моей фантазии стало расплываться и незаметно для меня слилось с действием самой пьесы. Сцену в темнице, когда Гретхен лежит на соломе и говорит как в бреду, актриса играла с таким совершенством, что меня в дрожь бросало от страха, и все-таки, весь пылая от волнения, я

жадно упивался прекрасными чертами этой бесконечно несчастной женщины; ведь я думал, что она и в самом деле несчастна, и был потрясен и в то же время глубоко удовлетворен этой сценой, сильнее которой я до сих пор ничего не видал и не слышал.

Занавес опустился, и за кулисами началась суетливая, беспорядочная беготня, а я шнырял у всех под ногами в поисках листков бумаги, которые я еще раньше заметил в руках директора труппы и у актеров; наконец я нашел их в уголке за одной из бутафорских стен. Мне не терпелось заглянуть в эти исписанные листки, таившие в себе такую огромную силу воздействия, и вскоре я весь ушел в чтение ролей. Но хотя я уже постиг и прочувствовал внешнюю, телесную оболочку трагедии в лице ее героев, написанные на бумаге слова, этот язык знаков, которым великий поэт выражал свою зрелую, мужественно-суровую мысль, были совершенно недоступны неразвитому рассудку ребенка; самонадеянный юнец, дерзнувший проникнуть в высшие сферы, смирился, вновь увидев себя перед запертой дверью, и вскоре я крепко уснул над моими учеными занятиями.

Когда я проснулся, в театре было тихо и безлюдно, огни были погашены, и полная луна лила свой свет через кулисы на сцену, где царил причудливый беспорядок. Я не мог сообразить, что со мной и где я нахожусь; однако когда я осознал свое положение, меня обуял страх, и я стал искать выход, но дверь, через которую я вошел, оказалась запертой. Тогда я примирился со своей судьбой и решил еще раз осмотреть помещение и все находившиеся в нем диковинки. Я трогал все это шуршавшее под руками бумажное великолепие и, заметив коротенький плащ и шпагу Мефистофеля, лежавшие на стуле, надел их поверх моей обезьяньей шкуры. Нарядившись таким образом, я стал расхаживать взад и вперед в ярком свете луны, время от времени обнажая шпагу и делая выпады. Затем я обнаружил блоки, на которых был подвешен занавес, и мне удалось поднять его. Передо мной открылся темный, черный зрительный зал, глядевший на меня, как глаз слепого; я спустился в оркестр, где в беспорядке лежали инструменты; только скрипки были заботливо уложены в свои футляры. На литаврах лежали изящные точеные палочки; я взял их в руки и нерешительно ударил по туго натянутой коже, которая издала приглушенный рокочущий звук. Тогда я осмелел и ударил посильнее, потом еще сильнее, так что в конце концов разразилась целая буря звуков, разогнавших ночное безмолвие пустого зала. По моему капризу грохот то нарастал, то замирал, а жуткие, полные ожидания паузы, когда он стихал совсем, нравились мне еще больше. Я барабанил до тех пор, пока сам не испугался; тогда я бросил палочки, вылез из оркестра и, не осмеливаясь поднять голову, пробежал по стоявшим в партере скамейкам и забился в самый дальний уголок. В пустом зале было холодно и страшно, и мне захотелось домой. В этом конце зала окна были плотно закрыты, так что таинственный свет луны озарял только сцену, где все еще стояли декорации темницы. Дверка на заднем плане так и осталась открытой, и бледный луч месяца падал на постланную возле нее солому, где было ложе Маргариты; мне вспомнилась красавица Гретхен и грозящая ей казнь, и, глядя на безмолвную, залитую волшебным сиянием темницу, я испытывал еще большее благоговение, чем Фауст, когда он впервые вошел в спальню Гретхен. Подперев щеки обеими руками, я стал с тихой грустью смотреть на сцену, особенно часто останавливаясь взглядом на полуосвещенной нише, где лежала солома. Как вдруг в темноте что-то зашевелилось; затаив дыхание, я посмотрел в ту сторону, — в нише стояла белая фигура; это была Гретхен, точь-в-точь такая, какой я видел ее в последний раз. Холодная дрожь пробежала по моему телу, зубы у меня застучали, но в то же время сердце сильно сжалось от неожиданной радости, и на душе стало тепло. Да, это была Гретхен или, может быть, ее призрак, хотя издали я и не мог разглядеть черты ее лица, отчего она казалась мне еще более похожей на привидение. Она напряженно вглядывалась в темноту, как будто искала кого-то в зале. Я встал и с громко бьющимся сердцем направился к сцене; перешагивая через скамейки, я то и дело останавливался, но затем снова шел дальше, словно какая-то невидимая рука властно толкала меня вперед. Мех, в который я был зашит, делал мои шаги неслышными, так что она заметила меня лишь тогда, когда, вылезая из суфлерской будки на сцену, я попал в полосу лунного света и предстал перед ней в моем странном

наряде. Я заметил, как она в ужасе обратила на меня свои ярко блестящие глаза, а затем отшатнулась, хотя и не издала ни звука. Я тихонько приблизился на шаг и снова остановился; глаза мои были широко раскрыты, руки, которые я протягивал к ней, дрожали, но захлестывавшая меня горячая волна радости подогрела мое мужество, и я смело пошел прямо навстречу призраку. Но тут она воскликнула: «Стой! Откуда ты такой взялся?» — и в ее голосе и в угрожающе вытянутой руке было так много властной силы, что я тотчас же остановился, как замороженный. Мы пристально смотрели друг на друга; теперь я хорошо узнавал ее черты; на ней был белый пеньюар, шея и плечи были обнажены и мягко светились, как снег в зимнюю ночь. Я сразу же почувствовал, что передо мной живой человек, и показная храбрость, которую я напустил на себя, думая, что имею дело с привидением, превратилась в естественную робость, в смущение мальчика, невзначай увидевшего так близко женское тело. Что же касается ее самой, то она все еще не решила, следует ли приписать мое появление нечистой силе, и на всякий случай спросила еще раз:

— Кто ты, мальчик?

Я смиренно ответил:

— Меня зовут Генрих Лее, я играл у вас мартышку, и меня здесь заперли!

Тогда она подошла ко мне, откинула мою маску, взяла мое лицо в свои ладони и сказала с громким смехом:

— Ах ты господи боже мой! Да это та самая мартышка, что целый вечер глаз с меня не спускала! Ах ты, проказник! Так вот кто наделал здесь такого шума! А я-то подумала, что это гром гремит!

— Да! — ответил я, не сводя глаз с выреза ее рубашки, где белелась ее грудь, и душу мою вновь охватило радостное молитвенное настроение, какого я не знал уже давно, с того времени, когда я смотрел в раззолоченные закатом небесные дали и мне казалось, что я вижу там самого господа бога.

Я долго еще спокойно и неторопливо разглядывал ее красивое лицо, с наивной откровенностью залюбовавшись прелестными, дышавшими негой линиями ее губ. Некоторое время она молча и серьезно смотрела на меня, затем промолвила:

— А ты, как видно, славный мальчуган, да только вот вырастешь и станешь таким же негодяем, как и все.

С этими словами она привлекла меня к себе и несколько раз поцеловала в губы, так что они замерли и только в промежутках между ее поцелуями тихо шевелились, шепча молитву, которую я тайно воссылал к богу, от всей души благодаря его за сказочное приключение, выпавшее на мою долю.

Потом она сказала:

— А теперь оставайся-ка ты у меня, пока не рассветет, это будет самое разумное: ведь сейчас уже далеко за полночь! — и, взяв меня за руку, провела в отдаленную комнату; после окончания спектакля она устроилась здесь на ночлег и спала, пока ее не разбудил поднятый мною ночной переполох. Она перестлала свою постель, оставив местечко в ногах для меня, и, выждав, пока я там устроюсь, плотно закуталась в бархатную королевскую мантию и улеглась так, что ступни ее маленьких ног легко опирались на мою грудь, отчего мое сердце радостно забилося. Так мы и уснули, точь-в-точь в той же позе, как те каменные фигуры на старинных надгробных памятниках, где изображен вытянувшийся во весь рост рыцарь, спящий со своим верным псом в ногах.

Глава двенадцатая
ЛЮБИТЕЛИ ЧТЕНИЯ. —
ЛОЖЬ

Не явившись домой к ночи, я причинил матушке столько беспокойства и хлопот, что она строго-настрого запретила мне гулять по вечерам и посещать театр; да и в дневное время она присматривала за мной более тщательно, чем раньше, и не разрешала мне водиться с

детьми бедняков, которых почему-то было принято считать дурными и распущенными мальчишками. И вот приезжие актеры закончили свои гастроли в нашем городе, а я так и не повидал свою новую знакомую, окончательно завладевшую теперь моим сердцем. Услыхав, что труппа уехала, я сильно загрустил и довольно долго был безутешен. Чем меньше я знал о той стране, куда они держали путь, тем более желанным представлялся мне мир, лежавший по ту сторону гор, — заветный край туманных грез и смутной тоски.

Примерно в это время я близко сошелся с одним мальчиком, сестры которого, уже взрослые девицы, были большие любительницы чтения и собрали у себя дома великое множество плохих романов. Зачитанные томы из платных библиотек, жалкий хлам, доставшийся в подарок от подруг из знатных семей или приобретенный у старьевщика, — все эти довольно грязные на вид книги валялись у них на подоконниках, скамьях и столах; по воскресеньям все семейство предавалось чтению, причем за этим занятием можно было застать не только девушек и их кавалеров, но и отца и мать, всех других обитателей дома и даже случайных гостей. Старики родители были люди пустые и видели в чтении забаву, дававшую им повод попустословить, а молодежь подогревала этими пошлыми, безвкусными книжонками свое воображение или, вернее, искала в них какой-то иной, прекрасный мир, не похожий на окружающую их действительность.

В доме были книги двух сортов. Одни носили на себе печать развращенных нравов прошлого столетия: переписка влюбленных, амурные похождения; другие представляли собой грубоватые рыцарские романы. Для девиц главный интерес составляли романы любовные, которые они читали со своими обожателями, на каждом слове разрешая им то пожать себе ручку, то поцеловать себя; мы же, мальчишки, к счастью, были еще совершенно равнодушны к этим книгам, полным откровенно чувственных сцен самого дурного толка, которые ничего не говорили нашему воображению и казались нам скучными; зато, стащив ту или иную книжку о похождениях рыцарей, мы были очень довольны своей добычей и тотчас же удалялись в какой-нибудь укромный уголок. Эти вульгарные сочинения, где все мечты и желания героев были так определены и столь легко сбывались, пришлись мне очень кстати, так как там говорилось о любви, и я нашел в них название для моих неясных порывов, которые я до сих пор сам не сумел бы определить. Самые занятные истории мы вскоре запомнили слово в слово и долго, с неослабевающим интересом разыгрывали их в лицах; мы давали наши представления повсюду — то на каменных плитах дворов, то в лесу, то в горах, — а состав исполнителей пополнялся прямо по ходу действия, за счет покладистых малышей, которым мы в двух словах объясняли, что им надо делать. В ходе этой игры мы мало-помалу присочинили от себя так много новых эпизодов и приключений, что от первоначального сюжета не осталось и следа, — теперь рыцарями были уже мы сами, и один с самым серьезным видом рассказывал другому длинную, бесконечно продолжавшуюся историю своей любви и совершенных им подвигов; в конце концов мы сами безнадежно запутались в сплетенной нами чудовищной сети лжи: ведь повествуя о своих вымышленных похождениях, каждый из нас делал вид, будто он рассчитывает на полное доверие слушателя, а тот в своих же интересах притворялся, будто и в самом деле верит рассказчику. Мне было нетрудно поддерживать эту видимость правдоподобия, так как главную роль в наших рассказах непременно играла какая-нибудь блестящая красавица из числа самых знатных дам нашего города, и вскоре я и в самом деле стал искренним поклонником и обожателем моей избранницы — той дамы, которую я сделал героиней моего вымышленного романа. Были у нас и могущественные враги, и опасные соперники, — так мы называли между собой важных, по-рыцарски галантных офицеров, которых мы нередко видели на улицах гордо гарцующими на своих конях. В тайниках у нас лежали огромные богатства, мы полновластно распоряжались ими, строили великолепные замки в отдаленных уголках страны, и то один, то другой с важным и озабоченным видом заявлял, что уезжает осматривать свои владения. Однако помыслы моего приятеля были направлены скорее на обогащение и свое личное благополучие, и его воображение было занято разного рода хитроумными планами на этот счет, на которые он был необыкновенно изобретателен, в то

время как я сосредоточил всю силу фантазии на своей даме сердца; что же касается тех мелочных забот о денежных делах, которые он непрестанно выдумывал, то я решил перешеголять его и разделался с ними раз и навсегда, пустив в ход еще одну грандиозную ложь — будто бы я нашел клад с несметными сокровищами. По-видимому, это его раздражало, во всяком случае, если я был доволен порожденным моей фантазией мирком и не очень-то беспокоился о том, насколько достоверны его хвастливые рассказы, то он уже начал сомневаться в достоверности того, что рассказывал я, и приставал ко мне, требуя доказательств. Однажды, когда я вскользь заметил, будто у нас в погребе стоит целый сундук, набитый золотом и серебром, ему загорелось сей же час увидеть его, и он долго настаивал на этом. Я велел ему прийти в определенный, удобный для меня день и час, он явился точно в назначенное время, и лишь тогда, в самую последнюю минуту, я вдруг сообразил, в какое щекотливое положение он меня поставил. Не растерявшись, я сразу же попросил его подождать у дверей, а сам побежал в ту комнату, где у матушки была спрятана в письменном столе деревянная шкатулка со скромными драгоценностями в виде старинных и современных серебряных монет и нескольких золотых дукатов. Эта сокровищница состояла наполовину из сувениров, подаренных некогда матушке ее крестными, наполовину из подарков моих крестных, и ее полноправным владельцем считался я. Лучшим украшением коллекции была массивная, составлявшая значительную ценность золотая медаль величиной с талер; ее преподнесла мне в припадке щедрости г-жа Маргрет, наказав отдать ее на сохранение матушке и не забывать мою благодетельницу, когда я вырасту и когда ее уж, наверно, не будет на свете. Пользуясь данным мне правом в любое время самому открывать эту шкатулку, я частенько любовался ярким блеском моих сокровищ и не раз уже показывал их другим обитателям нашего дома. Теперь я взял их с собой, снес шкатулку в погреб и положил ее в пустой ящик, где лежала только солома. Затем я впустил моего скептика, с таинственным видом приподнял крышку ящика и вынул шкатулку.

Я открыл ее, и перед ним ярко засверкали блестящие серебряные монеты; а когда я стал показывать ему золотые дукаты и вынул наконец большую медаль, засиявшую в полумраке странным переливчатым светом, так что можно было разглядеть выбитого на ней древнего швейцарца со знаменем в руке и обрамлявший его венок из геральдических щитов с гербами, — тогда он вытарашил глаза и протянул руку, собираясь схватить пригоршню монет. Но я сразу же захлопнул шкатулку и сказал, пряча ее в ящик: «Ну что, видал? Весь ящик наполнен такими штучками!» С этими словами я выпроводил его из погреба и запер дверь на ключ. Теперь-то ему пришлось сдаться: он, правда, отлично знал, что все наши рассказы — сплошной вымысел, но тон взаимного доверия, которого мы до сих пор придерживались, не позволял ему пускаться в дальнейшие расспросы, — ведь и на этот раз житейский такт и вежливость требовали от него, чтобы он не опровергал так ловко и умело преподнесенное ему вранье. Но если сейчас он великодушно принял мои слова на веру, то это было сделано только для того, чтобы придирчиво требовать от меня в дальнейшем все новых и новых доказательств и заставить меня еще больше запутаться во лжи.

Вскоре после этого, — в то время как раз была ярмарка, — мы встретились, слоняясь по берегу озера, где выстроились целые улицы мелочных лавчонок, и, как макбетовские ведьмы, приветствовали друг друга вопросом⁴³: «Что сделано с тех пор, как не видались?» Мы остановились перед лавкой итальянца, разложившего в окне своего заведения лакомства южных стран вместе с блестящими ювелирными вещами и безделушками. Инжир, миндаль и финики, ящики с белоснежными макаронами и в особенности целые горы огромных колбас вызвали у моего приятеля безудержную игру воображения, а я рассматривал тем временем изящные дамские гребешки, флакончики с душистыми маслами и черные свечки для окуривания, размышляя о том, как должно быть хорошо там, где люди

⁴³ ...макбетовские ведьмы приветствовали друг друга вопросом... — В третьей сцене первого акта трагедии Шекспира «Макбет» три ведьмы рассказывают друг другу при встрече, где они были и что делали.

пользуются этими вещами.

— Я только что купил такую вот колбасу, — заговорил мой партнер по части вранья, — я ведь скоро устраиваю банкет, так вот хотел попробовать, не закупить ли мне целый ящик. Прескверная колбаса — я только откусил кусочек, и сразу же выбросил ее в озеро; она там, наверно, еще плавает, я ее только что видел.

Мы оба посмотрели на сверкающую водную гладь, где тихо покачивались ярмарочные барки, а между ними там и сям плавали то яблоко, то салатный лист; однако колбасы что-то не было видно.

— Да ну ее, должно быть, ее щука проглотила! — добродушно заметил я.

Он согласился с этим предположением и спросил меня, не собираюсь ли я что-нибудь приобрести.

— А как же! Я, пожалуй, куплю вот это ожерелье для моей возлюбленной, — ответил я, показывая ему на ожерелье из фальшивых камней в яркой позолоченной оправе.

Теперь он поймал меня на слове и, опутав целой сетью лести и угроз, вынудил немедленно исполнить мое намерение; а любопытство, — на самом ли деле я могу свободно распоряжаться моим таинственным кладом, — подогревало его красноречие. Мне пришлось сбегать домой и обратиться за помощью к моей копилке, ибо другого выхода у меня не было. Через несколько минут я снова вышел из дому и, крепко зажав в кулаке несколько блестящих серебряных монет, с громко бьющимся сердцем подошел к рынку, где меня подстерегал мой злой демон. Мы собрались было поторговаться, но все-таки уплатили за ожерелье столько, сколько запросил итальянец; кроме того, я выбрал еще браслет с агатовыми пластинками и кольцо с красной печаткой; торговец с удивлением глядел то на меня, то на мои новенькие гульдены, но тем не менее принял их; не успел я расплатиться, как мой приятель уже потащил меня по направлению к той улице, где жила моя дама сердца. В уединенном тупичке стояло пять или шесть особняков, владельцы которых, потомки знатных семейств, вели успешную торговлю шелковыми тканями, что позволяло им сохранять образ жизни, достойный их славных предков. Ни трактиров, ни каких-либо торговых заведений не было видно в этом опрятном квартале, как бы дремавшем в тишине и одиночестве; мостовая выглядела чище и ровнее, чем на других улицах, и была отделена от тротуара затейливыми чугунными перильцами. В самом большом и солидном доме жила героиня выдуманных мною небылиц, одна из тех юных, прелестных дам, которые пленяют решительно всем — и своей стройной, изящной фигурой, и розовыми щечками, и большими смеющимися глазами, и очаровательными устами, и пышными локонами, и своей легкой, воздушной вуалью, и облегающими их стан шелками, покоряя неопытных юнцов, разглаживая суровые складки на челе старца и являя собой самое красоту в ее, так сказать, чистом виде. Мы уже подошли к великолепному подъезду, и мой спутник, долго уговаривавший меня передать подарки владычице моего сердца, — я должен был сделать это сейчас же или никогда, — в конце концов дерзко взялся за ярко начищенную ручку звонка и потянул за нее. Однако, несмотря на его плебейскую наглость, — как сказал бы в этом случае аристократ, — у него все же не хватило решительности дать длинный и энергичный звонок; раздался только робкий, еле слышный звук, сразу же замерший в глубине огромного дома. Через несколько минут одна створка дверей чуть заметно приоткрылась, мой спутник втолкнул меня внутрь, и я безмолвно поддался ему, так как больше всего боялся наделать шуму. И вот я стоял в неопишемом смятении перед широкой каменной лестницей, уходившей высоко вверх и терявшейся там среди просторных галерей. Браслет и кольцо я зажал в руке, а ожерелье не помещалось в ней и выглядывало между пальцами. Наверху послышались шаги, отдавшиеся гулким эхом со всех сторон, и чей-то голос громко спросил: «Кто там?» Но я не откликнулся, сверху меня не было видно, и человек, задавший вопрос, снова удалился, захлопывая за собой двери. Тогда я стал медленно подниматься по лестнице, осторожно оглядываясь по сторонам; по всем стенам висели картины — огромные полотна с причудливыми ландшафтами и аляповатыми натюрмортами; белые потолки лепной работы были местами украшены фресками, а справа и слева от меня, на равных расстояниях друг от друга,

виднелись высокие двери из темного, гладко отполированного орехового дерева, обрамленные одинаковыми колоннами и фронтонами из того же материала. Каждый мой шаг будил отзвук под сводами здания, я шёл, с трудом преодолевая страх, и так и не знал, что мне сказать, если меня здесь застанут. Перед всеми дверьми лежали простые соломенные половички, и только перед одной из них был постлан особенно дорогой, изящно сплетенный коврик из разноцветной соломы; тут же стоял старинный золоченый столик, а на нем корзинка, в которой лежало вязанье, несколько яблок и красивый серебряный ножичек; она стояла у самого края, как будто ее только что сюда поставили. Я догадался, что барышня, должно быть, находится за этой дверью, и, помышляя в ту минуту лишь о ней, оставил мои драгоценности прямо на коврике, только кольцо я спрятал на самое дно корзинки, положив его на тонкую маленькую перчатку. После этого я сразу же ринулся вниз по лестнице и выбежал на улицу, где меня с нетерпением поджидал мой учитель.

— Ну как, отдал? — крикнул он мне навстречу.

— Конечно, — ответил я, чувствуя, как на душе у меня становится легче.

— Неправда, — снова заговорил он, — она все время сидела вон у того окна и даже с места не вставала.

И в самом деле, взглянув на сверкающие на солнце окна, я увидел в одном из них мою красавицу, причем окно было расположено как раз в той части дома, где я только что побывал. Я сильно перепугался, но все же храбро солгал:

— Клянусь тебе, я положил ожерелье и браслет к ее ногам, а кольцо надел ей на палец!

— Побожись!

— Клянусь богом! — воскликнул я.

— А теперь пошли ей воздушный поцелуй, если струсил, — значит, ты дал ложную клятву; смотри, смотри, она как раз выглянула из окна!

Он был прав: она действительно перевела взгляд, и ее ясные глаза были устремлены прямо на нас; однако выдуманное моим приятелем испытание оказалось дьявольски жестоким, ибо я скорее согласился бы плюнуть в лицо самому сатане, чем исполнить это совершенно непосильное для меня требование. Но другого выхода у меня не было: ведь своей лицемерной клятвой я сам же отрезал себе последние пути к отступлению. Я быстро поцеловал свою руку и помахал ею перед окном красавицы. Девушка, все время внимательно наблюдавшая за нами, звонко расхохоталась и приветливо закивала нам; но я уже пустился бежать со всех ног. Чаша моего терпения переполнилась, и когда я выбежал на соседнюю улицу и мой товарищ нагнал меня, я подошел к нему вплотную и сказал:

— Ну, что ты теперь скажешь о твоей колбасе? Или ты думаешь, что мы квиты? Ведь твоя жалкая история с колбасой и в сравнение не идет с моей, с тем, что я тебе доказал! — С этими словами я, сам того не ожидая, вдруг повалил его на землю и стал бить кулаком по лицу, пока случайный прохожий не рознял нас, воскликнув:

— Эти бесенята мальчишки только и знают, что дерутся!

За все мои детские годы не было еще случая, чтобы я ударил кого-либо из моих сверстников в школе или на улице, этот приятель был первым, и с тех пор я не мог на него спокойно смотреть, а кстати раз и навсегда излечился от лжи.

Меж тем груды дрянных романов в доме моего приятеля вырастали все выше, а вместе с ними росло и безрассудство заядлых любителей чтения. Как это ни странно, но старики как будто радовались, глядя на своих бедных дочерей, которые все больше впадали в какое-то наивное распутство, непрестанно меняли любовников и все-таки никак не могли выйти замуж, да так и остались сидеть дома, окруженные целой библиотекой засаленных, дурно пахнущих книжонок и оравой младенцев, игравших с этими книжками и немилосердно рвавших их и без того растрепанные страницы. Тем не менее все в доме по-прежнему читали как одержимые, и даже с еще большим рвением, чем прежде, — ведь теперь это занятие помогало им забыть вечные ссоры, нужду и заботы, так что первое, что бросалось в глаза в их жилище, были книги, развешанные повсюду пеленки да всевозможные сувениры, оставшиеся на память от галантных, но неверных поклонников; рисуночки с гирляндой из

цветов, обрамлявшей какое-нибудь изречение, альбомы с любовными стишками и храмами дружбы, деревянные пасхальные яички, в которых был спрятан амурчик, и прочая дребедень. Эта злополучная страсть, а также и другая крайность — увлечение разного рода религиозными теориями и фанатические споры о толковании Библии, которые вели собравшиеся в доме г-жи Маргрет бедняки, — все это было, как мне кажется, лишь отголоском все тех же смутных порывов сердца, поисками иной, лучшей жизни.

Что же касается моего приятеля, младшего отпрыска этой семьи, то его с детства изощренное воображение с годами стало проявляться уже совсем по-другому, толкая его на все более рискованный путь. Он искал в жизни только удовольствий; едва начав обучаться ремеслу приказчика, уже стал усердно навещать трактиры, где целыми днями сидел за картами, и не пропускал ни одного из городских празднеств и увеселений. Для этого ему нужно было много денег, и, чтобы раздобыть их, он пускался на самые невероятные выдумки, мелкое надувательство и плутни, в которых он сам не видел ничего плохого, считая их просто продолжением своего прежнего романтического фантазерства. Сначала он ограничивался лишь сравнительно невинными проделками, но это продолжалось недолго, и вскоре, словно поняв, что ему на роду написано стать вором, он принялся хватать все, что ему попадалось под руку. Ведь он был одним из тех людей, которые нимало не склонны умерять свою неумную алчность и столь низки душой, что готовы взять хитростью или силой все то, с чем их ближний не хочет расстаться добровольно. Этот низменный образ мыслей порождает целый ряд жизненных явлений, на первый взгляд совсем друг с другом не схожих. Он питает упрямство нелюбимого властителя, который давно уже стал бременем для каждого подданного своей страны, но все еще не желает уступить свое место другому и, отбросив гордость и стыд, живет потом и кровью народа, хотя сам же презирает и ненавидит его; он разжигает угрюмый пыл влюбленного, который получил недвусмысленный отказ, но не хочет смириться с тем, что его любовь отвергнута, и долго еще омрачает чужую жизнь своей грубой навязчивостью; как и во всех этих темных страстях, мы находим его, наконец, и в черством эгоизме разного рода обманщиков и воров, больших и маленьких; и в каком бы виде этот низменный образ мыслей ни выступал, суть его всегда одна; это то же бесстыдное стремление завладеть чужим, которому отдался мой бывший приятель. Мало-помалу я совсем потерял его из виду и знал только, что он успел уже несколько раз побывать за решеткой; однажды, когда я и думать о нем забыл, мне случайно повстречался на улице оборванный бродяга в сопровождении двух стражников, которые вели его в тюрьму. Это был мой старый знакомый, и позже я узнал, что он умер как раз в этой тюрьме.

Глава тринадцатая
ВЕСЕННИЕ МАНЕВРЫ.—
ЮНЫЙ ПРЕСТУПНИК

Мне уже исполнилось двенадцать лет, и матушке пришлось призадуматься над тем, где мне учиться дальше. Планам отца, мечтавшего, что я буду обучаться в основанных обществами взаимопомощи и дополнявших друг друга частных школах, но суждено было осуществиться, так как открытые в то время хорошо оборудованные государственные школы сделали эти заведения ненужными; правительство вновь воссоединенной Швейцарии с самого начала уделяло этому вопросу большое внимание. Старый состав профессоров и учителей городских школ сильно пополнился за счет преподавателей, выписанных из Германии, и был распределен по новым учебным заведениям, учрежденным в большинстве кантонов и делившимся на гимназии и реальные училища. После долгих хождений по присутственным местам и совещаний со знакомыми матушка определила меня в реальное училище, и успехи, достигнутые мною в моей скромной школе для бедняков, которую я покинул с грустным и в то же время радостным чувством, оказались настолько удовлетворительными, что я выдержал вступительный экзамен ничуть не хуже воспитанников старых, пользовавшихся доброй славой городских школ. Ведь, согласно

новым порядкам, и эти сыновья зажиточных горожан тоже должны были учиться на общих основаниях. Таким образом, я попал в совсем новую для меня среду. Если раньше я был одет лучше всех моих сверстников и считался первым среди этих бедняков, то теперь, наряженный в мои вечные зеленые курточки, которые я вынужден был донашивать до дыр, я оказался одним из самых скромных и незаметных учеников в классе, — причем не только по части одежды, но и по моему поведению. Большинство мальчиков принадлежало к старинным семействам потомственного бюргерства; некоторые выглядели холеными барчуками и были детьми знатных родителей, некоторые — сыновьями сельских богачей; но все они вели себя одинаково самоуверенно, отличались развязными манерами, а в играх и разговорах друг с другом пользовались каким-то прочно сложившимся жаргоном, приводившим меня в полное недоумение и растерянность. Повздорив, они сразу же пускали в ход руки, награждая друг друга звонкими пощечинами, так что мне было куда легче усваивать новые знания, чем осваиваться с этими новыми нравами, — а незнакомство с ними грозило мне всяческими невзгодами и злоключениями. Лишь тогда я понял, насколько сердечнее были мои отношения с тихими и кроткими детьми бедняков, и я долго еще тайком наведывался в компанию моих прежних друзей, с завистью и в то же время с сочувствием слушавших мои рассказы о новой школе и тамошних порядках.

И в самом деле, каждый день вносил все новые перемены в мой прежний образ жизни. Уже издавна городскую молодежь учили владеть оружием, начиная обучение с десяти лет и заканчивая его почти что в том возрасте, когда юноши уходят на действительную службу; однако до сих пор эти занятия были делом скорее добровольным, и если кто-нибудь не хотел, чтобы его дети их посещали, никто его к этому не принуждал. Теперь же военное обучение было по закону вменено в обязанность всей учащейся молодежи, так что каждая кантональная школа одновременно представляла собой воинскую часть. В связи с этими воинственными упражнениями нас заставляли также заниматься гимнастикой, один вечер был посвящен разучиванию ружейных приемов и маршировке, а другой — прыжкам, лазанью и плаванью. До сих пор я рос, как трава в поле, склоняясь и пригибаясь только по воле капризного ветерка моих желаний и настроений; никто не говорил мне, чтобы я держался прямо, не было у меня ни брата, ни отца, чтобы свести меня на реку или на озеро и дать мне там побарахтаться; лишь порой, возбужденный чем-нибудь, я прыгал и скакал от радости, но никогда не сумел бы повторить эти прыжки в спокойную минуту. Да меня и не тянуло заниматься подобными вещами, так как, в отличие от других мальчиков, росших, как и я, без отца, я не придавал им никакого значения и уже по своему темпераменту был слишком склонен к созерцательности. Зато все мои новые однокашники, вплоть до самых маленьких, прыгали, лазали по деревьям, плавали, как рыбы, проводили целые часы на озере, и главной причиной, заставившей меня приобрести известную выправку и кое-какие навыки в гимнастике, были, пожалуй, их насмешки, — если бы не они, мое рвение остыло бы очень скоро.

Но мне суждено было пережить еще более глубокие перемены в моей жизни. В кругу моих новых приятелей не было ни одного, кто не получал бы дома карманных денег, как правило довольно значительных, — одним родителям это позволял их достаток, другие просто держались издавна заведенного обычая и легкомысленно делали это напоказ. А повод к тому, чтобы тратить деньги, находился всегда, так как даже во время наших обычных учений и игр, происходивших где-нибудь на площади в другой части города, принято было покупать фрукты и пирожки, — не говоря уже о больших загородных прогулках и военных походах с музыкой и барабанным боем, когда мы останавливались на отдых в какой-нибудь отдаленной деревне и каждый считал своим долгом сесть за стол и выпить стакан вина, как то подобает настоящему мужчине. Кроме того, у нас были и другие расходы — на перочинные ножички, пеналы и прочие мелочи, которые мы то и дело обновляли, ссылаясь на то, что они якобы нужны для занятий (хотя на самом деле все эти безделушки были просто очередным модным увлечением); каждый из нас старался не пропустить ни одной экскурсии в соседние города, где мы осматривали всевозможные достопримечательности, и

тот, кто не мог себе этого позволить и все время держался в стороне, рисковал оказаться в невыносимом одиночестве и навсегда прослыть самым жалким бедняком. Матушка добросовестно покрывала все чрезвычайные расходы на учебники, письменные принадлежности и прочие нужды, и в этом отношении готова была удовлетворить даже мои прихоти. На уроках черчения я пользовался циркулями из великолепной готовальни отца, прокалывая ими самую добротную бумагу, какой не было ни у кого в классе; при каждом удобном случае я заводил новую тетрадь, а мои книги всегда были облечены в прочные переплеты. Что же касается всего того, без чего можно было хотя бы с грехом пополам обойтись, то матушка упрямо настаивала на своем принципе не тратить ни одного пфеннига попусту и старалась, чтобы и я как можно раньше взял себе это за правило. Исключение она делала лишь в редких случаях, когда затевались какие-нибудь особенно интересные поездки и прогулки, зная, что отказаться от них было бы для меня слишком большим огорчением, и выдавала мне скупой отсчитанную сумму, которая всегда иссякала уже к середине этого радостного дня. К тому же со своим женским незнанием жизни она не удерживала меня в нашем тесном домашнем мирке — чего можно было бы ожидать при ее строгой бережливости, — а предпочитала, чтобы я проводил все свое время в компании товарищей, наивно полагая, что общение с благовоспитанными мальчиками, да еще под присмотром целого штата почтенных наставников, пойдет мне только на пользу; между тем именно это постоянное общение со сверстниками неизбежно заставляло меня во всем тянуться за ними и вело к невыгодным для меня сравнениям, так что я на каждом шагу попадал в самое неловкое и даже фальшивое положение. Пройдя прямой и ясный жизненный путь и сохранив при этом детскую чистоту и простодушие, она и понятия не имела о том ядовитом злаке, что зовется ложным стыдом и распускается уже на заре нашей жизни, тем более что иные старые люди по своей глупости заботливо лелеют этот сорняк, вместо того чтобы его выпалывать. Среди тысяч педагогов, именующих себя друзьями юношества и состоящих в обществах памяти Песталоцци, вряд ли найдется хотя бы десяток людей, которые помнили бы по собственному опыту, что составляет азы психологии ребенка, и представляли бы себе, к каким роковым последствиям может привести их незнание; мало того, даже указать им на это было бы большой неосторожностью, — а то они, чего доброго, набросятся на эту мысль и тотчас же выведут из нее какую-нибудь новую прописную истину.

Как-то раз нам было объявлено, что в троицын день мы отправимся в дальний поход; весь наш небольшой гарнизон, несколько сот школьников, должен был в строю и с музыкой выступить из города и, проделав марш через горы и долины, навестить юных ратников соседнего городка, где намечалось устроить совместные ученья и парады. Эта весть взбудоражила всех нас, а радость ожидания и веселые хлопоты и приготовления волновали нас еще больше. Мы снаряжали по всем требованиям устава наши маленькие походные ранцы, набивали патроны, причем наготовили их намного больше положенного числа, украшали гирляндами цветов наши двухфунтовые пушки и древки знамен, а тут еще стали ходить слухи о том, что наши соседи не только славятся своей солдатской выучкой и выправкой, но сверх того бойки на язык, любят весело покутить и горой стоят друг за друга, так что каждый из нас должен не только прифрантиться и держать себя как можно более молодежато, но и прихватить с собой побольше карманных денег, чтобы ни в чем не спастись перед хваленными соседями. К тому же мы знали, что в торжествах будут участвовать также и представительницы прекрасного пола, что они будут встречать нас в праздничных нарядах и венках при нашем вступлении в город и что после обеда будут устроены танцы. По этой части мы тоже не были склонны уступить своим соперникам; решено было, что каждый раздобудет себе белые перчатки, чтобы появиться на балу галантным и в то же время по-военному подтянутым кавалером; все эти важные вопросы обсуждались за спиной у наших воспитателей, и притом с такой серьезностью, что меня мучил страх, сумею ли я достать все то, что от меня требовалось. Правда, перчатками я смог похвастаться один из первых, так как матушка вняла моим жалобам и, порывшись в своих потаенных запасах, нашла там среди забытых вещей, свидетелей ее далекой молодости, пару

длинных дамских перчаток из тонкой белой кожи, у которых она, не долго думая, отрезала верхнюю часть, после чего они оказались мне как раз впору. Зато по части денег я не ожидал ничего хорошего и с грустью думал о том, что мне предстоит сыграть унижительную роль человека, вынужденного воздерживаться от всех удовольствий. Накануне радостного дня я сидел в уголке, предаваясь этим невеселым размышлениям, как вдруг у меня мелькнула новая мысль. Я дождался, пока матушка вышла из дому, а затем быстро подошел к заветному столику, где стояла моя копилка. Я приоткрыл крышку и, не глядя, вынул лежавшую сверху монету; при этом я задел и все остальные, так что они издали тихий серебристый звон, и хотя этот звук был чист и мелодичен, мне все же послышалась в нем некая властная сила, от которой меня бросило в дрожь. Я поспешил припрятать свою добычу, но мною тут же овладело какое-то странное чувство; теперь я испытывал робость перед матушкой и почти совсем перестал разговаривать с ней. Ведь если в первый раз я посягнул на шкатулку под давлением извне, лишь на миг подчинившись чужой воле, и не чувствовал после этого укоров совести, то мой теперешний отчаянный поступок был совершен по собственному побуждению и преднамеренно; я совершил его, зная, что матушка никогда не допустила бы этого; к тому же и сама монета, такая красивая и новенькая, казалось, всем своим видом говорила, что разменять ее было бы святотатством. И все-таки я не чувствовал себя вором в полном смысле этого слова: мою вину смягчало то обстоятельство, что я обокрал только самого себя, да и то лишь в силу крайней необходимости, желая самого же себя выручить из критического положения. Мои ощущения можно было бы скорее сравнить с тем смутным чувством, которое, наверно, бессознательно испытывал блудный сын в тот день, когда он покидал отчий дом, забрав свою долю наследства, чтобы самому истратить ее.

В троицын день я уже с самого утра был на ногах. Наши барабанщики, самые маленькие, а потому и самые бойкие мальчуганы, давно уже встали и, составив внушительный отряд, проходили по улицам, собирая вокруг себя толпы школьников постарше, с нетерпением ожидавших выступления, и мне тоже не терпелось примкнуть к ним. Но матушка все еще хлопотала вокруг меня; она уложила в ранец припасы на дорогу, повесила мне через плечо походную фляжку, наполненную вином, то и дело совала мне еще что-то в карманы и давала материнские наставления, как мне следует вести себя. Я давно уже взял ружье на плечо, пристегнул патронташ, в котором среди патронов был спрятан мой большой талер, и хотел было ускользнуть из ее рук, но тут она удивленно сказала, что мне, наверно, хочется взять с собой хоть немного денег. С этими словами она достала заранее отсчитанные деньги и стала наказывать, как мне ими лучше распорядиться. Их было, правда, не так уж много, но все же вполне достаточно, — это была приличная сумма, рассчитанная не только на самое необходимое, но даже на непредвиденные расходы. Кроме того, в особой бумажке была завернута еще одна монета, — ее я должен был дать на чай прислуге в том гостеприимном доме, где я останюсь на ночлег. Хорошенько поразмыслив, я понял, в чем здесь дело: ведь это был, в сущности, первый случай в моей жизни, когда такая щедрая выдача оказалась и в самом деле необходимой, и вот матушка сделала все, что от нее зависело. И все-таки это было для меня неожиданностью; я был очень смущен и взволнован, а когда я спускался по лестнице, из глаз моих брызнули слезы, чего со мной давненько уже не случалось. Мне пришлось задержаться перед дверью, чтобы утереть их, и лишь после этого я вышел на улицу и примкнул к веселой толпе товарищей. Владевшее всеми радостное возбуждение нашло бы горячий отклик в моей душе, согретой трогательными заботами матушки, если бы не спрятанный в патронташе талер, камнем лежавший у меня на совести. Но вот весь отряд был в сборе, раздались слова команды, мы построились и тронулись в путь, и тогда мои мрачные мысли поневоле начали рассеиваться. Меня назначили в авангард, и мы самыми первыми вошли в горы, а внизу, у наших ног, колыхались пестрые ряды далеко растянувшейся колонны, с песней и с развевающимся знаменем шагавшей вслед за нами; здесь, на вольных просторах гор, под ясным утренним небом, я окончательно забыл обо всем на свете, безраздельно отдавшись впечатлениям настоящего, дарившего мне одно прекрасное мгновение за другим, и нетерпеливо ожидая, какая новая жемчужина соскользнет сейчас с

золотой нити времени. Наш передовой отряд жил веселой походной жизнью; старый вояка, поседевший на службе в чужих краях, а теперь приставленный к нам, желторотым птенцам, чтобы обучать нас своему ремеслу, сам был не прочь попроказничать с нами, благосклонно внимал нашим неотступным просьбам сделать глоток из чьей-нибудь фляжки и беспрестанно прикладывался то к одной то к другой, осуждая, впрочем, их содержимое. Гордые тем, что с нами нет никого из воспитателей, — они сопровождали основной отряд, — мы с благоговением слушали рассказы старого солдата о походах и боях, в которых он побывал.

В полдень отряд остановился на привал в залитой солнцем безлюдной котловине; в этом диком уголке росли дубы, стоявшие на некотором расстоянии друг от друга, и наше юное воинство расположилось под ними. Что же касается нас, солдат передового отряда, то мы стояли на одной из вершин и с удовольствием поглядывали вниз, на весело шумевший лагерь. Мы притихли и упивались тишиной и ярким блеском чудесного весеннего дня; старик фельдфебель с наслаждением растянулся на земле и, прищурившись, вглядывался в мирные, дышавшие покоем дали, край горных потоков и голубых озер. Хотя мы еще не умели судить о красотах ландшафта (а некоторые, быть может, так никогда и не научились этому), в ту минуту каждый из нас всей душой ощущал прелесть природы, тем более что наше радостное шествие весьма удачно оживляло и разнообразило развернувшийся перед нами пейзаж; мы сами выступали как живые, действующие персонажи этой картины и были, таким образом, избавлены от восторженной чувствительности, свойственной людям, которые любят природу лишь в качестве бездеятельных наблюдателей. Тогда я еще не чувствовал этой разницы, но впоследствии на собственном опыте убедился в том, что праздное любованье могущественной природой один на один с ней изнеживает душу человека и расслабляет ее, не насыщая; мощь и красота природы укрепляют и питают наши духовные силы, только если мы сами — хотя бы внешне — играем в ней какую-то деятельную, осмысленную роль. И даже тогда ее величавое безмолвие все еще подавляет нас; там, где человек не слышит плеска волн, не видит даже бега облаков, ему хочется развести огонь, чтобы заставить ее стряхнуть свой сон и хоть на минуту снова услышать ее живое дыхание. Так мы и поступили: собрав немного хворосту, мы разожгли костер; алые угольки так тихо и приятно потрескивали, что даже наш седовласый суровый командир с удовольствием смотрел в огонь, а голубой столб дыма служил для расположившегося в долине войска сигналом о том, что наш бивак находится здесь; несмотря на горячие лучи полуденного солнца, мы с удовольствием грелись у жаркого пламени костра, и когда мы трогались в путь, нам не хотелось тушить его. С каким наслаждением нарушили бы мы окружающую тишину несколькими выстрелами в воздух, если бы это не было строжайшим образом запрещено! Один из мальчиков уже зарядил свое ружье, однако его сразу же заставили снова извлечь заряд из патронника, что он и сделал по всем правилам искусства, но с таким же неудовольствием, с каким словоохотливый человек превозмогает себя, чтобы не выболтать доверенный ему секрет.

Но вот вечерняя заря позолотила небо, и тогда перед нами предстал наконец дружественный город; из его старинных ворот, украшенных цветами и зелеными ветками, уже двигался нам навстречу отряд мальчиков, вооруженных точно так же, как и мы, и сопровождаемых своими братьями, сестрами и родителями; некоторые присоединились к встречавшим из любопытства, другие — по долгу гостеприимства. Их артиллерия отдала в нашу честь салют из нескольких залпов, и мы придиричиво разглядывали стоявших у жерла пушек маленьких канониров, которые с тем же грациозным вывертом откидывались назад, когда заряжающий прикладывал фитиль к запалу, а после каждого выстрела так же лихо салютовали банником, дергаясь, как деревянные паяцы, то есть проделывали все то же, что было в ходу и у нас. Но еще более веской причиной для зависти были новенькие курковые карабины, которыми были вооружены наши друзья, — ведь у нас имелись только старые кремневые ружья, время от времени разрешавшие себе давать осечку. Правительство этого кантона было известно тем, что в своем стремлении как можно быстрее перенять все самые хорошие и полезные новшества оно нередко тратило больше, чем может себе позволить

осмотрительный и бережливый хозяин, и, верное этой привычке, закупило для учеников своих школ новейшие образцы огнестрельного оружия, — хотя даже большие, развитые в военном отношении государства в то время только еще начинали вводить их у себя. И вот пока наши друзья со снисходительной любезностью объясняли нам, что команда «порох на полку» у них больше не отдается и зарядание происходит теперь гораздо быстрее, мы услышали, как сопровождавшие нас взрослые вполголоса выражали свое неодобрение по поводу столь неразумной расточительности. В конце концов мы почувствовали усталость и с удовольствием приняли приглашения родителей, так рьяно споривших друг с другом за право приютить нас у себя и так радушно раскрывавших нам свои объятия, что весь наш отряд тотчас же исчез в их толпе, как мимолетный ливень, мгновенно впитанный горячей, жаждущей влаги землей. Затем они повели нас поодиночке в свои дома, где мы были торжественно приняты и обогреты теплом домашнего уюта, и за все это гостеприимство мы отплатили тем, что каждый из нас, отправляясь в спальню, брал с собой свое ружьецо, — словно он находился в стане врагов, — ставил его у изголовья приготовленной для него кровати и лишь после этого начинал взбираться на нее, для чего ему приходилось пускать в ход все свои гимнастические навыки, так как кровати в домах наших хозяев были необыкновенно высоки.

Начавшиеся на следующий день празднества оправдали самые смелые ожидания. Подстегиваемые духом соревнования, обе состязавшиеся партии закончили учения на плацу с одинаково хорошим результатом; зато против курковых карабинов наших соперников у нас был запасен другой козырь. Если их артиллерия была обучена только холостой стрельбе и совсем не умела обращаться с ядрами, то наша так искусно была по цели, что слова, которые принято говорить в подобных случаях: «А право же, мальчишки знают свое дело лучше взрослых!» — на этот раз не были лишены основания, и наши соседи действительно с удивлением смотрели на то, с какой серьезной сосредоточенностью мы наводим свои орудия.

Большой праздничный обед, в котором приняло участие несколько тысяч человек, молодых и стариков, был устроен на зеленом лугу. Популярными среди местной молодежи граждане города произносили застольные речи и сумели взять в них верный тон; не поощряя нашего глупого мальчишеского стремления казаться взрослыми, они стали безобидно подшучивать над нами, что сразу же придало беседе непринужденный характер, сами позабыли о своих годах, но и не впали при этом в ребячество и таким образом показали нам наглядный пример того, как можно веселиться, не теряя головы. Затем из городских ворот пара за парой стали появляться нарядно одетые девочки, с пением проходившие мимо нас, приглашая последовать за ними на ровную, чисто скошенную лужайку, чтобы начать игры и танцы. Все они были в белых платьицах с красной отделкой и являли собой очаровательное зрелище всех оттенков цветущей юности — от кудрявой маленькой девчурки до подростка с первыми чертами взрослой девушки; теперь они стояли широким полукругом, из-за которого там и сям виднелась гордо поднятая голова зрелой красавицы, счастливой матери, пришедшей сюда, чтобы присмотреть за своими нежными отпрысками, а кстате и самой покружиться в легком танце и, пользуясь счастливым случаем, хоть ненадолго почувствовать себя свободнее и моложе, чем в обычные дни. Ведь и мужчины тоже не упустили этого удобного случая и, заявив, что они не могут стоять в стороне, когда их дети веселятся, уже успели скрепить свою дружбу с нами бутылкой-другой доброго вина. Наш доблестный отряд приближался к хороводу шептавшихся друг с другом красавиц сомкнутым строем, никто не изъявлял особого желания идти на приступ первым; мы так старались казаться холодными и равнодушными, что глядели на них мрачно, почти враждебно; и только мелькание и блеск наших белых перчаток, которые мы стали надевать почти одновременно, придали нашей шеренге несколько более праздничный вид. Однако вскоре вам стало ясно, что добрая половина нашего отряда вполне смогла бы обойтись и без перчаток. Дело в том, что мы сразу же резко разделились на две совершенно разные группы, а именно, на тех, у кого дома были старшие сестры, и тех, кто не обладал этим приятным преимуществом. Если первые все до

одного оказались ловкими танцорами и вскоре привлекли к себе внимание дам, которые хотели танцевать только с ними, то последние топтались на лужайке неуклюже, как медведи, и после нескольких безуспешных попыток завязать знакомство потихоньку удрали с площадки и собрались за уставленным бутылками столом. Там мы затаили удалую песню и отдались разгульной солдатской жизни, воображая себя суровыми вояками и женоненавистниками и стараясь убедить друг друга в том, что наше молодечество все же производит впечатление на девочек и что они частенько посматривают украдкой в нашу сторону. Мы кутили довольно робко и скромно, скорее из стремления подражать старшим, и не могли преодолеть столь естественного в нашем возрасте отвращения к излишеству; и все-таки этой пирушки было вполне достаточно для того, чтобы в нас заговорили наши ребяческие страсти. Виноделие в той местности было более развито, и тамошние вина были лучше наших; поэтому наши юные соседи совсем иначе представляли себе праздничное веселье и действительно могли выпить больше, чем мы, что полностью подтверждало их репутацию. Тут-то мне и представился случай отличиться, и я очертя голову отдался этому желанию; я был при деньгах, и это давало мне необходимую в таких делах смелость и уверенность в себе, так что вскоре мои сотрапезники почувствовали ко мне известное уважение. Взяв друг друга под руки, мы пошли бродить по городу и его окрестностям, заглядывая во все увеселительные заведения; чудесная погода, праздничное оживление и выпитое вино вскружили мне голову, сделав меня болтливым и задорным, дерзким и находчивым; если раньше я был тихоней, привыкшим стоять в стороне и помалкивать, то теперь я вдруг заговорил громче всех и как-то сразу стал задавать тон, подшучивая над собеседниками и непрестанно упражняясь в остроумии, так что даже самые завзятые острословы, до сих пор едва замечавшие меня, тотчас же оценили по достоинству мою находчивость и стали со мной необыкновенно милы. Сознание того, что я нахожусь в чужом городе и на меня смотрят незнакомые люди, только придавало мне духу. Трудно сказать, что здесь было самое главное: то ли упоение собственным красноречием, то ли пьянящая радость жизни, то ли проснувшееся во мне тщеславие; так или иначе, я утопал в еще не изведенном мною блаженстве, которое охватило меня, пожалуй, с еще большей силой на третий день, когда мы тронулись в обратный путь. Все мы были как нельзя более довольны празднеством, чувствовали себя гораздо свободнее, так как на этот раз шли не в строю, и, прежде чем добраться до дому, пережили еще немало веселых приключений.

С заходом солнца я снова вступил под кров родительского дома. Темное от пыли и загара лицо, еловая веточка, засунутая для красоты за ремешок фуражки, следы пороха, нарочно оставленные мною на дуле моего ружья и даже, для пущей важности, на губах, — все это ясно подтверждало, что я уже не тот, каким вышел отсюда несколько дней назад. Теперь я был совсем другой человек: я вращался среди самых отъявленных сорванцов, властителей нашего мальчишеского мирка, вел с ними переговоры, и мы согласились на том, что нам следует и впредь продолжать в том же духе. Прежде всего нельзя было допускать, чтобы наши галантные танцоры, или, как мы их называли, неженки, затмили нас в глазах местных красавиц; поэтому было решено, что их изящным манерам мы противопоставим наши суровые солдатские нравы, всевозможные дерзкие набеги, смелые проделки и другие подвиги, чем и стяжем себе славу отчаянных и опасных людей. Полный этих новых замыслов и все еще опьяненный пережитой радостью, которая не успела утомить меня и которой я не успел насытиться, я чувствовал себя на седьмом небе и долго еще расхаживал по всему дому, с грубоватой развязностью разглагольствуя о своих похождениях, пока матушка не бросила в разбушевавшийся поток красноречия несколько крупниц юмора, сразу же оказавших свое магическое действие, так что я очень скоро успокоился и отправился спать.

Глава четырнадцатая
ЮНЫЕ ХВАСТУНЫ, СТЯЖАТЕЛИ И ФИЛИСТЕРЫ

Мои новые друзья не дали мне одуматься и понять мои заблуждения, теперь я приобрел немалый вес в кругу мальчишек, известных всему городу как первые озорники, и уже следующий день живо напомнил мне все недавние события; воспользовавшись тем, что шумное праздничное веселье все еще не стихало, я решил пустить в ход остатки своего наличного капитала и в обмен на них приобрести новые лавры. Мы уговорились устроить в одно из ближайших воскресений большую загородную прогулку, которая должна была стать новой демонстрацией против возомнивших о себе шаркунов. В своем легкомыслии я даже не дал себе труда подумать, откуда возьму нужные для этого деньги, и не имел, таким образом, никаких определенных планов на этот счет; но когда подошло воскресенье, я в последнюю минуту снова запустил руку в шкатулку, не испытывая при этом ничего, кроме чувства тягостной необходимости и не очень твердого намерения больше никогда этого не делать.

Так я прожил быстро промелькнувшее лето. Наш первоначальный порыв давно уже остыл, и мы снова подчинились повседневному ходу вещей; да и во мне, вероятно, снова победило бы чувство меры и приличия, если бы из моих походов не выросла новая страсть — безудержное стремление к расточительству, мотовство ради самого мотовства. Мне нравилось, что я могу в любое время покупать те маленькие сокровища, которыми так жаждут обладать дети в моем возрасте, и я постоянно держал руку в кармане, готовый вынуть очередную монету. Все то, что другие мальчики приобретали, выменивая друг у друга, я покупал только за наличные; я раздавал мелочь малышам и нищим, а также делал подарки приятелям, составлявшим мою свиту и старавшимся использовать мое ослепление, пока я еще не одумался. А я и в самом деле действовал в каком-то ослеплении. Я как-то совсем не думал о том, что рано или поздно деньги все-таки должны кончиться; теперь я уже никогда не открывал шкатулку до конца и не смотрел на монеты, а только просовывал руку под крышку, чтобы вынуть одну из них, и никогда не подсчитывал, сколько же я успел растратить. Даже мысль о том, что недостача будет обнаружена, не внушала мне страха; мои школьные дела и работы, заданные на дом, шли не хуже, а скорее лучше, чем раньше, потому что теперь у меня не было неисполненных желаний и ничто не побуждало меня предаваться мечтательной праздности, а ощущение полной свободы действий, возникавшее у меня, когда я тратил деньги, породило привычку делать и все остальные дела как-то более быстро и решительно. Кроме того, я чувствовал, что на меня незримо надвигается беда, и испытывал смутную потребность хоть в какой-то мере уравновесить тяжесть моей вины безупречным выполнением всех своих прочих обязанностей.

Тем не менее в то лето я все время пребывал в тягостном и мучительном душевном состоянии, которое всегда связывается в моей памяти с другими картинками: с голубым небом и с ярким светом солнца, с тихими, утопающими в зелени харчевнями далеко в лесу, где мы тайком собирались на наши пирушки, так что все эти воспоминания до сих пор пробуждают во мне странные, двойственные чувства. Мои приятели, конечно, давно уже заметили, что история с моими деньгами — дело нечистое, но всячески избегали выражать подозрения или задавать какие бы то ни было вопросы, наоборот, они притворялись, будто считают все это в порядке вещей, молча, не пускаясь в лишние рассуждения, помогали мне разменивать новенькие, бросавшиеся в глаза серебряные монеты, а когда мои несметные богатства пришли к концу, холодно и безучастно отвернулись от меня. Они вели себя точь-в-точь как иные взрослые, что считаются порядочными деловыми людьми и преспокойно присваивают себе чужое добро, даже если оно нажито нечестным путем, не допытываясь, откуда оно взялось. Все это нетрудно было предвидеть заранее, и все же их поведение удручало меня, особенно после того, как я заметил, что они относятся ко мне со странной сдержанностью, становятся немного приветливей лишь тогда, когда я снова приношу из дому деньги, но в то же время, по-видимому, ведут разговоры обо мне где-то у меня за спиной. Но если это трусливо-осторожное, а в общем довольно обычное поведение большинства моих товарищей не повело к резкому и болезненному разрыву с ними, то безмерное, не знающее преград себялюбие одного из них и вспыхнувшая между нами ненависть навлекли на меня такие горести и страдания, какие не часто выпадают на долю

детей. Это был небольшого роста мальчуган с мелкими, но правильными и приятными чертами лица, сплошь усеянного веснушками. Он был не по годам рассудителен, учился усердно и очень исправно, в разговоре со старшими, особенно с женщинами, старался выражаться степенно и не по-детски умно и поэтому слыл за добропорядочного, весьма способного мальчика. Благодаря своей внимательности и терпению он приобрел сноровку почти во всем, что от нас требовалось в школе, и за какую бы работу он ни брался, все у него получалось как-то ловко и ладно. Мейерлейн, — так звали моего приятеля, — не обладал, однако, какими-либо более серьезными способностями; во всех его многочисленных увлечениях и разнообразных затеях никогда не было ничего нового, ничего своего; у него только то и выходило хорошо, что можно было перенять у товарищей, и им двигало неотступное желание научиться решительно всему, что умели делать другие. Поэтому он мог с одинаковым успехом выполнить какую-нибудь сложную и требующую аккуратности переплетную работу или перепрыгнуть через канаву, далеко забросить мяч или попасть камешком в нарисованный на стене кружок, и все это ценою долгих настойчивых упражнений; в его тетрадях никогда не было ошибок, и они содержались в образцовом порядке, почерк у него был мелкий и красивый, и особенно приятно выглядели ровненькие ряды изящных округлых цифр, которые он выводил с необыкновенной тщательностью. Но самым главным его талантом была особая способность рассудительно толковать обо всем, запутывая самое простое дело и усложняя его мудреными соображениями, и с многозначительным видом высказывать свои догадки и выводы, слишком сложные для нашего возраста. Тем не менее все старались заполучить его в свою компанию, так как с ним не было скучно, он был услужлив, никогда не подводил товарищей и редко ввязывался в наши споры, но зато уж, повздорив с кем-нибудь, с удивительным упорством стоял на своем и доводил дело до конца; все уважали его за это, тем более что он всегда благоразумно вставал на сторону того, кто был действительно прав или же, по крайней мере, умел доказать свою правоту и выйти победителем.

Он был на полтора года старше меня, однако сошелся со мной ближе, чем все остальные, так что у нас с ним завязалась особенно тесная дружба, и каждую свободную минуту мы проводили вместе. Он превосходно дополнял мой характер и поэтому очень мне нравился. Мои выдумки и затеи всегда били на внешний эффект, и в них было много необычного и фантастического, в то время как он, такой тщательный и точный во всяком деле, вносил во все мои мимолетные порывы и неопределенные замыслы целесообразность и порядок. Мейерлейн оберегал мою тайну так же тщательно, как и остальные мои приятели, хотя благодаря своей сообразительности и умению все подмечать он разгадал ее раньше, чем другие. Однако, в отличие от остальных, он и виду не подавал, что ему что-то известно, наоборот, он старался удерживать меня от явно безрассудных трат и всегда советовал мне употреблять мои деньги на вещи не только приятные, но и полезные, так что его советы казались мне весьма разумными, и я гордился своим знакомством с человеком столь положительным. Но о собственной выгоде он заботился с еще большим рвением, чем все другие, и, не довольствуясь моими щедрыми подачками, весьма предусмотрительно сделал меня еще и своим должником. Он по-хозяйски приберегал каждый полученный от меня грош, пока у него не скопилась небольшая сумма, и, пользуясь удобным моментом, когда я не мог подобраться к своей шкатулке, выдавал мне из этой кассы скупой отсчитанные ссуды, которые мы тут же вместе и тратили, после чего он вносил мой долг в красиво переплетенную книжечку с внушительными заголовками «дебет» и «кредит» на каждой странице. Сверх того, он ловко сбывал мне разные безделушки, бывшие в ходу среди мальчишек, и, продав какую-нибудь вещь, немедленно вписывал ее стоимость в свою книжечку. Свою ловкость и разнообразные навыки он тоже умел обратить себе на пользу; как некий услужливый дух, он умел делать все и исполнял все мои желания, но отмечал оказанные им услуги в реестре моих долгов, оценивая каждую из них по особой таксе и требуя за нее какую-нибудь мелкую монету. Гуляя со мной, он постоянно подзадоривал меня, предлагая испытать его ловкость. «Хочешь, возьму вот этот камешек и попаду им вон в

тот желтый листок?» — спрашивал он, а я отвечал: «А вот не сможешь!» — «Если попаду, будешь мне должен грош, согласен?» — «Ладно!» — соглашался я, и он сбивал листок, а затем проделывал это за ту же плату иногда до трех раз подряд, с каждым разом усложняя свою задачу, и не было случая, чтобы он промахнулся.

После этого он аккуратно заносил сумму моего долга в свою книжечку, и мне так нравилось смотреть, как он любовно выводит свои ровненькие цифирки, что я раздражался громким смехом. Тогда он становился серьезен и говорил мне, что смеяться тут нечего, пусть я лучше подумаю о том, что рано или поздно мне придется расплатиться за все, — ведь его книжечка является документом, обладающим законной силой в глазах делового человека! И он снова и снова предлагал мне биться об заклад по самым различным поводам, например, о том, на какой из двух столбов сядет птица, насколько низко пригнется в следующий раз верхушка качающегося от ветра дерева, или же о том, какая по счету волна прибоя на озере будет самой высокой. Иногда по счастливой случайности я выигрывал такое пари, и тогда в его книжке, на странице с заголовком «кредит» появлялась скромная цифра, так странно выглядевшая в своем полном одиночестве, что меня опять смех разбирал, а он видел в этом повод к тому, чтобы сделать какое-нибудь серьезное замечание. Мейерлейн всячески старался внушить мне мысль о том, что уплата долгов является важнейшей обязанностью и делом чести для каждого порядочного человека, и в один прекрасный день, когда лето уже подходило к концу, он преподнес мне неожиданный сюрприз, заявив, что теперь он подбил «окончательный итог», и предъявив мне счет на кругленькую сумму около десяти гульденов, не считая еще нескольких крейцеров и пфеннигов. Он добавил, что мне пора подумать о том, как бы поскорее вручить ему эту сумму; сейчас ему как раз нужны деньги, так как он намеревается купить на свои сбережения одну интересную книгу. Однако в течение ближайших двух недель он больше не напоминал мне об этом и завел тем временем новый счет, причем на этот раз он подошел к делу еще серьезнее, а в его поведении появилось что-то странное. Нельзя сказать, что он стал со мной неприветлив, но теперь мне было уже не так весело с ним, и от нашей былой близости друг к другу не осталось и следа. Я не на шутку приуныл, но это, как видно, ничуть его не трогало; да и сам он впал в какое-то элегическое настроение, вроде того, в каком, должно быть, находился Авраам, когда вел своего сына Исаака на заклание⁴⁴ и думал, что расстанется с ним навсегда. Через некоторое время он вторично напомнил мне о долге, на этот раз весьма решительно, но без всякой неприязни ко мне, а скорее даже с известной грустью в голосе и отечески озабоченным тоном. Теперь я уже испугался и, дав ему обещание уладить дело, почувствовал страшную тяжесть на душе. Но я никак не мог собраться с духом и взять из шкапулки такую большую сумму, у меня даже не хватало смелости продолжать свои прежние мелкие хищения. Лишь сейчас мне стал вполне ясен весь ужас моего положения: целыми днями я в унынии слонялся из угла в угол, не осмеливаясь даже и подумать о том, что теперь со мной будет. Я испытывал тревожное чувство зависимости от моего приятеля: его присутствие было мне тягостно, но и без него мне было тоже не по себе, — меня все время тянуло к нему: мне не хотелось оставаться одному, а кроме того, я надеялся, что, может быть, мне представится случай сознаться ему во всем и что, воззвав к его благоразумию и снисходительности, я встречу доброжелательное отношение к себе и получу от него дружеский совет и поддержку. Однако он остерегался предоставить мне такую возможность, разговаривал со мной все более сухо и, наконец, стал меня чуждаться, навещая только для того, чтобы немногословно подтвердить свое требование, звучавшее теперь почти враждебно. Он, как видно, догадывался, что я стою накануне кризиса, и поэтому опасался, удастся ли ему вовремя пожать плоды своих долгих трудов и забот, пока их не унесла буря, собирающаяся над моей головой. И он был прав.

⁴⁴ ...Авраам... вел своего сына Исаака на заклание ... — Согласно библейской легенде, бог потребовал у патриарха Авраама добровольного заклания сына и затем послал ангела остановить занесенный над Исааком нож.

Примерно в это время, вняв запоздалому совету одного из знакомых, матушка стала внимательнее присматриваться к моему поведению вне дома и в конце концов узнала, чем я до сих пор занимался. Главным источником ее сведений были, по-видимому, мои бывшие приятели, отвернувшиеся от меня еще до того, как я впал в мое тогдашнее уныние.

Однажды, когда я стоял у окна и глядел то на освещенные солнцем крыши, то на горы, то на небо, пытаясь хоть на минуту обрести душевное спокойствие и не смотреть на стены комнаты, полные безмолвного упрека, матушка каким-то странно изменившимся голосом окликнула меня по имени; я обернулся, — она стояла у стола, склонившись над раскрытой шкатулкой, на дне которой лежали две или три серебряных монеты.

Она строго и печально посмотрела на меня, потом сказала:

— Погляди-ка сюда!

С трудом подняв глаза, я нехотя взглянул в ту сторону и впервые за долгое время вновь увидел дно так хорошо знакомой мне шкатулки. Она зияла пустотой и глядела на меня с укором.

— Так, значит, это правда? — заговорила матушка. — Видно, все, что я о тебе услышала, подтверждается? А я-то верила, что мой сын честный и добрый мальчик и я могу быть спокойна за него! Как я была слепа и как жестоко обманулась!

Не в силах вымолвить ни слова, я отвернулся и смотрел в угол; чувство горя, раздавленности жгло меня с такой силой, какую не всякому доводится испытать даже за долгую и сложную жизнь; но в этой густой мгле уже мерцала искорка надежды на близкое примирение с матушкой и избавление от всех невзгод. Теперь матушка ясно видела, в какое положение я попал, и под ее открытым взглядом угнетавший меня кошмар стал постепенно рассеиваться; этот строгий взгляд был для меня чудодейственным, благотворным лекарством, исцелявшим меня от мучений, и в ту минуту я был полон несказанной любви к ней, любви, яркими лучами пронизывавшей мрак моего отчаяния и превращавшей его в светлое, блаженное чувство, близкое к победному ликованию, — хотя глаза матушки глядели на меня все с той же глубокой скорбью и непреклонной суровостью. Ведь я совершил проступок, поразивший ее в самое сердце, задевший, как говорится, ее самую чувствительную струну: с одной стороны, по-детски слепую доверчивость этой праведницы, с другой стороны, ее столь же фанатическую бережливость, вызванную неумолимым вопросом о пропитании. Она была не из тех, кого радует самый вид денег, и без лишней надобности никогда не проверяла и не пересчитывала свою наличность; зато каждый гульден, который она вынимала из кошелька, чтобы обменять его на хлеб насущный, был в ее глазах чем-то священным, так как олицетворял для нее судьбу. Вот почему мой проступок пробудил в ее сердце более тяжкие заботы и опасения, чем если бы я натворил что-нибудь другое. Слово пытаясь во что бы то ни стало разуверить себя в том, что все это действительно случилось, она неторопливо перечислила по порядку все мои прегрешения, а затем спросила меня еще раз:

— Так что же, все это и в самом деле правда? Отвечай!

Я с трудом выдал коротенькое «да» и дал волю своим слезам; впрочем, это были тихие слезы радости: у меня словно гора с плеч свалилась, и в ту минуту я был почти счастлив.

В глубоком волнении она ходила по комнате и наконец сказала:

— Просто представить себе не могу, что будет с нами, если ты не исправишься! Ты должен твердо обещать мне, что это никогда не повторится! — С этими словами она убрала шкатулку в письменный стол, а ключ от нее положила на обычное место.

— Вот видишь, — продолжала она, — я не уверена, что, разменяв свою последнюю монету, ты не стал бы брать деньги и у меня, хотя ты знаешь, как бережно я их расходую; очень может быть, что ты решился бы на это; но я все равно не могу и не стану запира́ть их от тебя. Поэтому я оставляю ключ там, где он лежал всегда; мне просто придется положиться на тебя, и все будет зависеть от того, захочешь ли ты исправиться; ведь если ты сам не поймешь, что поступил дурно, то тут уж ничто тебе не поможет, и тогда было бы все равно,

когда ты сделаешь нас обоих несчастными — чуть попозже или чуть пораньше!

Как раз в то время нас распустили на каникулы; всю эту неделю я по собственному желанию провел в родительском доме, заглядывая во все его уголки, где я вновь находил мирную тишину и душевный покой прежних дней. Я ходил притихший и грустный и целыми днями молчал, тем более что и матушка была все еще серьезна и строга, время от времени уходила из дому и больше не говорила со мной в прежнем дружеском тоне. Особенно грустно бывало за обедом, когда мы сидели вдвоем за нашим столиком; я не решался заговорить с ней или же сам не хотел нарушить грустного молчания, так как чувствовал, что так надо, и мне даже нравилось, что я грущу, а матушка была погружена в размышления и иногда с трудом сдерживала вырывающийся у нее тяжелый вздох.

Глава пятнадцатая
В ТИХОЙ ПРИСТАНИ.—
МОЙ ПЕРВЫЙ НЕДРУГ И ЕГО ГИБЕЛЬ

Итак, я безвыходно сидел дома и не испытывал ни малейшего желания выйти погулять и встретиться с приятелями. Лишь изредка я подходил к окну, чтобы взглянуть, что делается на улице, но тотчас же спешил уйти, словно испугавшись тягостных воспоминаний о недавнем прошлом. Среди обломков моего рухнувшего благосостояния имелся большой ящик с красками, причем это были не те твердые камешки, которые обычно дают детям, а настоящие, добротные краски в виде плиток. Еще раньше я узнал от Мейерлейна, что когда пользуются этими плитками, то краски не набирают прямо на кисточку, а сначала растирают их в чашечке с водой. Растворяясь, они давали насыщенные, сочные цвета; я стал проделывать с ними различные опыты и вскоре научился их перемешивать. Прежде всего я заметил, что из желтого и синего цветов получаются самые разнообразные оттенки зеленого, и очень обрадовался этому открытию; затем мне удалось получить различные тона фиолетового и коричневого цвета. Я давно уже с удивлением разглядывал висевшую в нашей комнате старинную картину, писанную масляными красками; это был вечерний пейзаж; закатное небо, в особенности неуловимый переход от желтого к голубому, такой мягкий и постепенный, а также пышные кроны деревьев, которые я находил просто бесподобными, — все это производило на меня сильнейшее впечатление. Пейзаж был написан более чем посредственно, но я считал его удивительным, недостижимым образцом искусства, — меня поражало, что художник избрал своим предметом хорошо знакомую мне природу и к тому же изобразил ее так мастерски. Взобравшись на стул, я целыми часами простаивал перед этой картиной, пристально, как замороженный вглядываясь в бескрайнюю, лишенную резких линий равнину неба и в огромную, колеблющуюся сеть листвы на деревьях, и в один прекрасный день мне взбрело на ум срисовать ее с помощью моих акварельных красок, — что, конечно, отнюдь не говорило о моей способности трезво оценивать свои силы. Я поставил картину на стол, приколот к доске большой лист бумаги и расставил вокруг себя старые блюдца и тарелки, — так как черепков у нас в доме никогда не бывало. Много дней бился я над этой нелегкой задачей, но был счастлив, что взялся за такое сложное и кропотливое дело; я сидел за работой с раннего утра до темноты и отрывался от нее только для того, чтобы наскоро перекусить. Мирный покой, которым веяло от этой незатейливой, но с чувством написанной картины, снизошел и на мою душу и, отражаясь у меня на лице, постепенно передался матушке, сидевшей у окна за своим шитьем. Я не замечал, насколько далек от природы уже сам оригинал, а бездонная пропасть, лежавшая между ним и моей копией, смущала меня и того меньше. То было сплошное нагромождение бесформенных, мохнатых клякс, в котором полное незнание основ рисунка соединилось с неумением владеть красками; однако отойдя подальше и сравнив мой труд с картиной, послужившей мне образцом, никто даже и сейчас не мог бы отрицать, что мне удалось в какой-то мере передать общее впечатление от этого пейзажа. Короче говоря, моя затея нравилась мне, и, увлеченный своим делом, я порой даже начинал вполголоса напевать, как бывало раньше, но, словно

испугавшись чего-то, сразу же умолкал. Впрочем, вскоре я стал забываться все чаще и теперь уже подолгу мурлыкал себе под нос; сердце матушки смягчилось, и, как подснежники весной, сквозь ледяную кору ее молчания стали пробиваться первые слова ласки и приветия, а когда картина была готова, я почувствовал, что матушка восстановила меня во всех прежних правах и вновь возвратила мне свое доверие. Как раз в ту минуту, когда я снимал рисунок с доски, в нашу дверь кто-то постучался, и в комнату торжественно вошел Мейерлейн. Он положил шапку на стул, вынул свою книжечку, откашлялся и, обратившись к матушке, произнес целую речь, в которой излагал свою жалобу на меня и вежливо, но настойчиво просил г-жу Лее, чтобы она сама выполнила мои обязательства; ведь он был бы так огорчен, если бы дело окончилось для нас неприятностями! Затем этот молокосос протянул опостылевшую мне книжку матушке и спросил ее, не угодно ли ей будет ознакомиться с этим документом. Матушка в изумлении посмотрела на него, потом на меня, потом в книжицу и сказала:

— Это что еще такое? Так, значит, ты наделал еще и долгов? Час от часу не легче! Я вижу, вы оба поставили дело на широкую ногу! — продолжала она, пробегая глазами аккуратные колонки цифр, в Мейерлейн непрерывно восклицал:

— Не извольте беспокоиться, госпожа Лее! Здесь все совершенно точно! Так и быть, эту дополнительную сумму, что стоит внизу, я готов уступить, — уплатите мне только по основному счету!

Она рассмеялась горьким смехом и воскликнула:

— Так, так... Так вот ты каков! Об этом деле мы еще поговорим с твоими родителями, господин заимодавец! Откуда же взялся такой изрядный долг, хотела бы я знать!

В ответ на это негодный мальчишка гордо выпятил грудь и заявил:

— Я не потерплю сомнений в моей честности! Прошу вас убедиться, что деньги принадлежат мне на законном основании!

Увидев, что я совсем обескуражен и подавленно молчу, матушка строго спросила меня:

— Ты действительно задолжал ему эти деньги? И как это все получилось? Отвечай!

Смущенно пролепетав «да», я стал объяснять, каким образом я попал к нему в должники. Тут у матушки лопнуло терпение, и она велела Мейерлейну убираться восвояси вместе со своей книжечкой. Он раскланялся с наглой развязностью и, уходя, еще раз угрожающе посмотрел на меня. Тогда матушка принялась расспрашивать, как было дело, и, узнав все подробности, сильно разгневалась; ведь Мейерлейн всегда казался ей таким благонаправленным мальчиком, что она просто не подозревала, на какие неблагоприятные поступки он меня подбивал. Воспользовавшись этим случаем, она подробно разобрала все происшедшее и сделала мне серьезное внушение, но на этот раз говорила со мной уже не тоном строгого, карающего судьи, а как-то особенно проникновенно, как друг и любящая мать, сумевшая понять заблуждения своего сына и уже простившая их. И теперь все было хорошо.

Но нет, оказалось, что не все. Придя в первый раз после каникул в школу, я заметил, что вокруг Мейерлейна собралось много мальчиков, которые о чем-то шушукуются и с насмешливой улыбкой поглядывают в мою сторону. Я предчувствовал, что это не к добру, и не обманулся: как только кончился первый урок, который давал сам директор школы, мой кредитор вышел вперед, почтительно обратился к нему и, держа в руках свою книжечку, без запинки изложил свою жалобу на меня. Весь класс замер и обратился в слух, а я сидел как на углях. Директор в недоумении повертел книжечку в руках, просмотрел ее и приступил к разбирательству, которое Мейерлейн сразу же попытался направить по выгодному для него пути. Однако директор приказал ему помолчать и пожелал выслушать, что скажу я. Мне не хотелось особенно распространяться об этом деле, и я пробормотал нечто маловразумительное; но тут наш наставник вскричал:

— Довольно! Вы оба хороши и будете наказаны! — Затем он подошел к кафедре, где лежали классные журналы, и поставил против наших фамилий по жирной единице за поведение.

— Господин директор, но я ведь... — растерянно начал Мейерлейн.

— Молчать! — крикнул тот, отнял у него наделавшую столько бед книжку и разорвал ее на мелкие кусочки. — Если ты сию же минуту не замолчишь или попадешься мне еще раз, — продолжал он, — я запроу вас обоих в карцер и накажу как неисправимых негодяев! Убирайся!

На одном из следующих уроков я написал моему недругу записку с обещанием: начиная с сегодняшнего дня отдавать ему каждый крейцер, который мне удастся сэкономить, и таким образом постепенно погасить весь свой долг. Свернув записку трубочкой, я переправил ее под партами к нему и получил ответ: «Или немедленно все, или ничего!» После уроков, как только ушел учитель, мой злобный демон уже поджидал меня в дверях, окруженный толпой мальчишек, предвкушавших занятное зрелище, и когда я хотел выйти из класса, он загородил мне дорогу и громко сказал:

— Смотрите, вот он, мошенник! Все лето он крал у своей матери деньги, а у меня зажилил пять гульденов и тридцать крейцеров! Пусть все знают, что он за птица! Поглядите на него!

Со всех сторон раздались крики:

— Э, да он, оказывается, порядочный плут, наш Зеленый Генрих!

Сгорая от стыда, я крикнул:

— Ты сам мошенник и плут!

Однако мне не удалось перекричать толпу, пять-шесть отчаянных забияк, вечно искавших, над кем бы поиздеваться, примкнули к Мейерлейну, увязались за мной и до самого дома осыпали меня бранными кличками. С тех пор подобные сцены стали повторяться почти каждый день; наwerbовав себе союзников, Мейерлейн устроил против меня целый заговор, и где бы я ни появлялся, меня преследовали злобные выкрики. Теперь от моего бахвальства не осталось и следа, и я снова стал неповоротливым и робким, что еще больше разжигало задор моих обидчиков, вызывая у них желание потешаться надо мной, пока это им наконец не наскучило. Все эти юнцы и сами были народ отпетый, у одних рыльце уже было в пушку, другие только ждали случая чего-нибудь натворить. Удивительно, что, несмотря на свою рассудительность и прилежание, Мейерлейн не выбирал себе друзей среди родственных ему натур, а всегда водился с самыми легкомысленными и озорными мальчишками или же с ротозеями вроде меня. Однако среди моих сверстников нашлись и другие, более порядочные и склонные к миролюбию мальчики, которые не одобряли поведение моих безжалостных гонителей, да и вообще не разделяли их презрения и неприязни ко мне и даже не раз защищали меня от их нападков, так что многих я от души полюбил. Таким образом, я приобрел себе немало друзей как раз среди тех, кого я до сих пор совсем не замечал. В конце концов Мейерлейн оказался чуть ли не в полном одиночестве со своей злобой ко мне, которая стала от этого только еще более страстной и неистовой; да и я тоже окончательно похоронил надежду, что мы когда-нибудь сможем помириться. Встречаясь с ним, я старался не глядеть на него и молча проходил мимо, а он бросал мне в лицо какое-нибудь полное смертельного яда бранное слово; если мы встречались один на один или вокруг были только люди незнакомые, он выкрикивал свои ругательства громко, во весь голос, если же мы были не одни, он бормотал их себе под нос, так что их мог слышать только я. Моя ненависть к нему была теперь столь же жгучей, как и его ненависть ко мне; тем не менее я старался избегать столкновений с ним и боялся думать о том дне, когда мы наконец сведем друг с другом счеты. Так прошел целый год, и снова наступила осень, пора больших учений, обычно завершавших наши ежегодные военные занятия. Мы всегда ожидали их с радостным нетерпением, зная, что в эти дни нам удастся вдоволь пострелять. Но я оставался равнодушным ко всем этим радостям: их омрачало присутствие моего врага, который тоже участвовал в учениях и теперь еще чаще попадался мне на глаза. На этот раз наш отряд был разбит на два, один из которых занимал крутую лесистую вершину невысокой горы, а другой должен был переправиться через реку, обойти эту гору и взять ее штурмом. Я входил в отряд нападающих, мой недруг — в отряд обороняющихся. Уже всю

прошлую неделю мы строили небольшое предместное укрепление, заготавливая колы для палисадов и забивая их в землю, а в это время несколько плотников навели мост через мелкую речушку. Затем, действуя по заранее согласованному с высшим командованием плану, наш отряд с приданной ему пушкой овладел переправой и стал настойчиво теснить противника, вынуждая его отходить вверх по склону горы. Наши основные силы двигались по поднимавшейся спиралью мощеной тропе, а сильно растянувшаяся цепь стрелков очищала кустарник от вражеских солдат и наступала напролом, не разбирая дороги. Сражаться в стрелковой цепи было самым увлекательным, но зато и самым волнующим и опасным делом: противник, которому по диспозиции полагалось отступать, ни за что не хотел сдаваться без боя, а с некоторыми приходилось даже драться врукопашную; мы стреляли почти в упор, рискуя опалить друг другу лицо, в пылу сражения иной боец, вбивая заряд, забывал вынуть шомпол, так что он со свистом летел над кустами, и только по воле благосклонной к нашей юности судьбы никто из нас не получил в тот день серьезного увечья; старик фельдфебель, приставленный для наблюдения стрелками, клял нас на чем свет стоит и даже вынужден был пустить в ход свой костыль, чтобы как-нибудь поддержать пошатнувшуюся дисциплину. Я тоже находился в этой цепи, на самом ее краю, но радостное возбуждение, охватившее моих товарищей, не затронуло меня, и я неторопливо брел все дальше и дальше, ни о чем не думая и только время от времени рассеянно стреляя в воздух и снова заряжая свое ружье. Вскоре я отстал от отряда и очутился в каком-то незнакомом месте, на спуске в глубокую, густо поросшую старым ельником ложину, на дне которой журчал ручей. Темные тучи заволокли небо, от всего окружающего повеяло какой-то мягкой грустью; доносившаяся издали стрельба и барабанный бой делали еще более ощутимым глубокое безмолвие, царившее вокруг меня; я остановился, чтобы передохнуть, и, опершись на ружье, долго стоял в этой позе, испытывая то странное состояние, когда хочется не то заплакать, не то совершить что-то смелое, дерзкое, — то состояние, которое часто овладевало мной перед лицом величавой природы и так хорошо знакомо всем, кто познал гонения судьбы и вопрошал ее, будет ли он еще когда-нибудь счастлив. Тут рядом со мной раздались шаги, и в этом безлюдном, уединенном уголке я вдруг увидел моего врага, шедшего прямо на меня по узкой каменистой тропке; у меня сильно забилося сердце, он бросил на меня недобрый, пронизывающий взгляд и сразу же выстрелил, почти в упор, так что несколько горячих крупинок пороха попало мне в лицо. Я не трогался с места и пристально глядел на него; он поспешно перезарядил свое ружье, — я и тут не отвел глаз; мой открытый взгляд смущал и в то же время злил его; он, всегда такой рассудительный и умный, был так раздражен моим мнимым добродушием и глупостью, что в своем ослеплении готов был выстрелить мне прямо в лицо; он подошел ко мне почти вплотную и стал было целиться, но тут я сам напал на него и, отбросив свое ружье, обезоружил его голыми руками. Мы вмиг схватились и целые четверть часа боролись друг с другом, боролись молча и ожесточенно, причем сначала ни один не мог одолеть другого. Он был увертлив, как кошка, пускал в ход множество уловок, чтобы сбить меня с ног: ставил подножки, надавливал большим пальцем за ухом, пытался ударить в висок, кусал мою руку, и я, наверно, давно уже был бы побежден, если бы не овладевшая мною тихая ярость, которая помогла мне устоять. С убийственным спокойствием вцепившись в него, я время от времени наносил ему удары кулаком в лицо; в глазах у меня стояли слезы, и я испытывал нестерпимую душевную боль, какой мне, наверно, никогда не придется больше испытать, если даже я проживу еще столько, сколько прожил, и судьба пошлет мне самые тяжкие испытания. В конце концов мы свалились на землю, поскользнувшись на покрывавшей ее гладкой хвое, причем он оказался подо мной и так сильно ударился затылком о корень, что на миг потерял сознание и руки его разжались. Я невольно поспешил вскочить на ноги, он сделал то же, не глядя друг на друга, мы подобрали наши ружья и разошлись в разные стороны, подальше от этого злополучного места. Я ощущал страшную усталость во всем теле, и оно казалось мне оскверненным этой унижительной схваткой с врагом, который еще так недавно был моим другом.

С тех пор мы с ним никогда больше не встречались один на один; вероятно, он почувствовал в тот раз мою отчаянную решимость, понял, что не на того напал, и теперь избегал столкновений со мной. Но наш спор так и остался неразрешенным, и наша вражда продолжалась; более того, с годами она становилась все более острой и непримиримой, хотя мы видели друг друга лишь изредка. Однако стоило нам только встретиться, как остывшая ненависть просыпалась в нас с новой силой. Самый облик его был для меня непереносим, даже независимо от причины нашего раздора, мне хотелось навсегда стереть его образ из моей памяти; в моем сердце не было теперь и следа той тихой грусти, которая обычно смягчает неприязнь к врагу, еще недавно бывшему нашим другом, так что нам и больно и досадно глядеть на него; у меня осталось одно только отвращение к нему, и я предчувствовал, что, возненавидев меня с детства, он навсегда останется моим врагом, точно так же, как друзья юности на всю жизнь сохраняют привязанность друг к другу. Подобные же чувства, вероятно, испытывал и он при виде меня, тем более что уже сама причина нашей вражды — злополучная история с реестром моих долгов, все еще никак не могла выйти у него из головы и, как видно, сильно раздражала его. Тем временем он поступил на службу в торговую контору, где он наконец в полном блеске развернул свои оригинальные способности, зарекомендовал себя весьма дельным служащим и снискал благосклонность своего принципала, ловкого и оборотистого коммерсанта, считавшего, что его помощник далеко пойдет; короче говоря, он был счастлив и с уверенностью смотрел в будущее, надеясь со временем открыть собственное заведение. Поэтому я очень хорошо понимаю, что то жестокое разочарование, которое ему принесла его ребяческая попытка заключить выгодную сделку, должно было оставить в его душе такой же глубокий и болезненный след, какой оставляют в душе ребенка с поэтическими или художественными склонностями насмешки сверстников и взрослых, отвергающих его первые наивно-простодушные опыты.

Мы оба уже прошли конфирмацию, ему было примерно восемнадцать, мне шестнадцать лет; теперь мы чувствовали себя более самостоятельными и постепенно постигали жизнь и взаимоотношения людей. Встречаясь на людях, мы старались не глядеть друг на друга — и только; однако ни он, ни я не скрывали нашей взаимной ненависти от своих друзей; порой она грозила прорваться наружу, а так как каждый из нас дружил с молодыми людьми своего склада, близкими ему по склонностям и характеру, то она была еще более опасной: достаточно было одной искры, чтобы пожар вражды запылал с новой силой, охватив на этот раз и наших приятелей. Поэтому я с тревогой думал о том, что же будет дальше, если мы так и останемся врагами на всю жизнь, да еще в таком небольшом городе, как наш. Но эти опасения оказались напрасными, так как вскоре одно печальное происшествие положило конец нашей вражде. Отец моего недруга купил старый дом, причудливой архитектуры здание с большой башней, некогда принадлежавшее знатному дворянину, который жил в нем только во время своих наездов в город. Теперь это здание предназначалось под жилой дом, для чего его надо было сверху донизу перестроить. Для Мейерлейна наступила счастливая пора, — ведь сама покупка дома была выгодной коммерческой операцией, совсем в его духе, а кроме того, ему представлялся случай пустить в ход все свои разнообразные способности и таланты. Как только у него выдавалась свободная минутка, он тотчас же спешил на леса, где помогал мастерам, а чтобы не платить им лишних денег, взял некоторые работы целиком на себя. По пути на службу мне каждый день приходилось проходить мимо этого дома, и между двенадцатью и часом дня, когда все рабочие отдыхали, а также вечером, после их ухода, я неизменно видел его на лесах или где-нибудь в окне с ведерком краски или с молотком в руке. За последние несколько лет он совсем почти не вырос и, усердно работая в своей утлой подвесной люльке, казался еще меньше ростом на фоне уродливых стен; сначала это странное зрелище вызывало у меня невольный смех, потом его энергия и трудолюбие начали мне нравиться, и очень возможно, что мое отношение к нему стало бы еще более дружелюбным, если бы в один прекрасный день, воспользовавшись удобным случаем, он не стряхнул на меня со своей кисти изрядную порцию известкового раствора.

Однажды, когда я уже подошел довольно близко к дому Мейерлейна, моя счастливая звезда повела меня другой дорогой, и я свернул в переулок; через несколько минут, когда я снова вышел на ту же улицу, я увидел, что у его дома собралась толпа и что идущие оттуда люди чем-то перепуганы, возбужденно переговариваются друг с другом, а иные громко плачут. Рабочие, которым было поручено снять с башни старый заржавелый флюгер, заявили, что для этого придется соорудить леса и потребуются довольно много времени и материалов. Не желая входить в расходы, Мейерлейн, самонадеянно бравшийся за любое дело, решил, что и на этот раз он все сделает сам; в полдень, когда рабочие обедали, бедняга забрался, не сказав никому ни слова, на высокую крутую крышу, сорвался с нее, и теперь его изуродованное тело недвижно лежало на мостовой.

Услыхав эту весть, я поспешно пошел дальше, глубоко взволнованный случившимся и содрогаясь от ужаса; однако я был потрясен именно самим трагическим происшествием, и сколько бы я ни рылся в своих воспоминаниях, я до сих пор не могу припомнить, чтобы в моей душе шевельнулось тогда хоть что-нибудь похожее на жалость или раскаяние. В голове моей долго еще мелькали невеселые, мрачные мысли, но где-то в тайниках сердца, не подвластных рассудку, все смеялось и ликовало. Если бы он разбился на моих глазах, если бы мне довелось увидеть его предсмертные муки или хотя бы его труп, тогда это зрелище непременно вызвало бы у меня и жалость и раскаяние — я твердо уверен в этом. Но все это произошло без меня, я только услышал незримые, бесплотные слова и понял, что раз и навсегда избавился от моего врага. Теперь я до некоторой степени примирился с ним, но в этом примирении не было места ни скорби, ни любви, в нем была лишь удовлетворенная жажда мести. Правда, одумавшись, я наскоро сочинил неискреннюю, надуманную и сбивчивую молитву, в которой просил бога, чтобы он научил меня милосердию и помог мне забыть вражду и простить покойного; в глубине души я сам смеялся над этой молитвой, и хотя с тех пор прошло уже много долгих лет, меня и поныне пугает мысль о том, что моя запоздалая попытка выказать сочувствие к судьбе несчастного была плодом скорее трезвых размышлений, чем веления сердца, — слишком уж глубоко пустила в нем свои корни ненависть!

Глава шестнадцатая **НЕУМЕЛЫЕ НАСТАВНИКИ, ЗЛЫЕ УЧЕНИКИ**

Возвращаясь к повествованию о последних годах ученья в школе, я вижу, что их отнюдь нельзя назвать светлой и счастливой порой моей юности. Круг преподаваемых нам знаний расширился, с нас стали больше и строже спрашивать, у меня было смутное чувство, что в моей жизни происходит что-то важное, что меня учат чему-то хорошему, и я стремился поступать так, как мне подсказывало это чувство. Но мне всегда было неясно, где кончается одна ступень познания и где начинается другая, а зачастую эти переходы и вовсе ускользали от меня. Вся беда была в том, что сама школа переживала в то время крутой перелом; старое поколение учителей, то есть главным образом священники господствовавшей в стране протестантской церкви, ученые богословы, которые не имели своего прихода и брались — кто от нечего делать, кто по нужде — за преподавание самых разнообразных предметов, уживалось в ее стенах с молодыми, получившими специальное образование педагогами; у тех и у других были свои, часто весьма противоречивые взгляды на обучение, и они действовали вразброд. Если учителя из духовного звания преподавали по старинке, как бог на душу положит, сплошь и рядом позволяли себе отклоняться от темы урока и подходили ко всему скорее как дилетанты, то у светских педагогов-профессионалов тоже были свои причуды: они применяли самые разнообразные приемы и методы, опять-таки еще не проверенные на практике. Отсюда же проистекало и главное зло: неумелый и зачастую несправедливый подход к отдельным воспитанникам, приводивший к самым невероятным казам и трагическим недоразумениям, жертвой которых становился то наставник, то ученик.

Был в нашей школе учитель, человек честный и искренне желавший добра своим питомцам, но, на свою беду, крайне неопытный в обхождении с детьми и обладавший к тому же странной, болезненной внешностью. В свое время он мужественно принял участие в той борьбе, результатом которой был ряд важных административных преобразований, в частности коренная реформа всех школ, и стяжал себе среди консервативно настроенных горожан репутацию завзятого либерала. Мы, мальчишки, все, как один, причисляли себя к аристократам, — за исключением тех, чьи родители жили в деревне. Даже я, хотя я сам был, в сущности, крестьянин по происхождению и только родился в городе, тем не менее усердно пел с чужого голоса и, вообразив, что я тоже городской патриций⁴⁵, по своей ребяческой наивности считал это за великую честь для себя. Матушка никогда не говорила со мной о политике, а так как, кроме нее, у меня не было никого из близких, чье мнение было бы для меня авторитетом, то мои суждения о подобных вещах были довольно поверхностны и незрелы. Я знал только, что новое правительство радикалов распорядилось снести несколько старых башен и заделать проемы и ниши в городской стене, которые были самым излюбленным местом наших игр, и что оно состояло из ненавистных нам выскочек и проходимцев, понаехавших из деревни. Если бы мой отец, которого тоже считали одним из таких выскочек, не умер так рано, я, несомненно, стал бы уже с пеленок самым убежденным либералом.

Вскоре после того, как открылись новые школы и незадачливый учитель, полный самых радужных надежд, приступил к исполнению своих обязанностей, один из учеников, сын знатного горожанина, фанатически ненавидевшего все эти новшества, с самым серьезным видом рассказал нам, будто бы наш учитель поклялся держать всех нас, детей аристократов, в ежовых рукавицах. Будто бы он был у кого-то в гостях и его предупредили, что среди его воспитанников есть дети старой городской аристократии и что ему придется нелегко с этими заносчивыми юнцами, избалованными своим знатным происхождением, на что он якобы, ответил, что он-де сумеет с нами управиться. В таком примерно изложении этот слух, — вероятно, не без содействия взрослых, — стал распространяться по всей школе и, подобно искре, зароненной в сено, немедленно распалил наши безрассудные головы. Мы приняли брошенный нам вызов; те, кто был посмелее, оказали дружный отпор и вступили в легкую перестрелку с противником, донимая его своими проказами. Это сразу же сбило его с толку, и, вместо того чтобы спокойно, решительно отразить наши наскоки умной и язвительной насмешкой, он поспешил двинуть против нас свои главные силы и открыл по нам огонь из своего самого тяжелого орудия, в слепой ярости карая за каждую мелкую шалость, даже за каждый непреднамеренный проступок, и опрометчиво подвергая виновных самым суровым и устрашающим наказаниям, какие только были в его власти и обычно применялись лишь в редких случаях. Тем самым его действия утратили в наших глазах всякую законную силу, так как мы были весьма искушены в оценке соотношения между тяжестью проступка и мерой наказания. Теперь мы уже несколько не боялись навлечь на себя его гнев, а под конец это стало для нас даже делом чести, своего рода мученичеством. Мы не стеснялись громко разговаривать в его присутствии, на уроке стоял страшный шум, во всех других классах, где он преподавал, его встречали тем же, так что несчастный чувствовал себя совсем затравленным. Тогда он сделал еще один промах: вместо того чтобы терпеливо выждать, пока всеобщее возбуждение уляжется само собой, он стал выгонять из класса всех, кто проявлял хотя бы малейшее непослушание. Стоило только задать ему самый невинный вопрос или уронить что-нибудь на пол, — все равно, нарочно или нечаянно, — как он тотчас же выставлял виновного за дверь. Мы быстро смекнули, что нам теперь надо делать, и с тех пор он, как правило, давал свой урок двум-трем благонаправленным, а все остальные толпой стояли под дверьми и потешались на его счет. Если бы в это дело

⁴⁵ ...городской патриций ... — В большинстве швейцарских кантонов до середины XIX в. власть принадлежала патрициям — городской (купеческой) аристократии.

вмешалось высшее начальство или если бы он сам проявил энергию и решительность и, несмотря на запрещение бить учеников, хоть один-единственный раз взял бы кое-кого из нас за вихор да задал бы хорошую трепку, то этого наверняка оказалось бы достаточно, чтобы восстановить порядок и спокойствие. Но у него не хватило мужества решиться на этот шаг; не такой он был человек; к тому же начальники, которым он был непосредственно подчинен, в том числе попечитель школы, недолюбливали его и долгое время делали вид, что ничего не замечают. У себя дома ученики с гордостью рассказывали о своих славных подвигах и всячески чернили беднягу, изображая его каким-то бездушным чучелом. Слушая их рассказы, почтенные бюргеры с удовольствием вспоминали свои школьные годы, когда они сами были такими же сорванцами; воспитанные на взглядах и понятиях доброго старого времени, они смотрели на школу как на некое тихое пристанище, где их достойное чадо, не утруждая себя излишними заботами, может спокойно дожидаться, пока привилегии отцов принесут ему какое-нибудь тепленькое местечко в древней цеховой иерархии родного города; добродушно посмеиваясь, они давали понять, что отнюдь не осуждают поведения своих сынков, а иные даже подзадоривали их. История с учителем давно уже наделала шуму в городе, но высшему начальству дело всегда преподносилось так, будто он сам во всем виноват; раз или два на его урок приходил какой-то важный господин, как видно пожелавший самолично проверить слухи: однако в его присутствии никто не осмеливался безобразничать, да и на уроках других учителей мы старались сидеть как можно тише. Несчастному приходилось испытывать на себе все те дурные наклонности, которые воспитала в нас школа. Так он протянул почти целый год, пока ему не объявили, что он временно отстраняется от должности. Он охотно ушел бы совсем, так как огорчения последних месяцев повредили его здоровью и он сильно исхудал; но дома у него было много голодных ртов, и он не мог бросить службу. В конце концов он снова вступил на свой тернистый путь, изо всех сил стараясь держаться потише и не ссориться с нами; но напрасно он рассчитывал пробудить сострадание к себе; торжествуя свою победу, ученики встретили его злорадными выкриками, снова начали бесчинствовать на его уроках, и через несколько дней ему пришлось навсегда покинуть школу.

Сам я долгое время вел себя скромно, не принимал участия ни в одной из этих многочисленных стычек и только преспокойно наблюдал за ними со стороны. Учителю я ни разу не сделал ничего плохого, так как мне претило дерзить человеку намного старше меня. И только когда он начал выгонять из класса чуть ли не всех подряд, я решил не отставать от товарищей, для чего разрешал себе какую-нибудь невинную шутку или же просто-напросто норовил шмыгнуть в дверь вместе с остальными; ведь, во-первых, в коридоре было очень весело, а во-вторых, я ни за что на свете не согласился бы примкнуть к тем немногим праведникам, которые предпочитали оставаться в классе и которых все единодушно презирали. Зато уж, вырвавшись на волю, шумел чуть ли не больше всех, помогая строить планы наших дальнейших действий, и, вновь воспрянув духом после долгих месяцев, в течение которых я сторонился приятелей, предавался самой необузданной радости; когда начинался следующий урок и мы снова сидели за партами, сердце мое все еще бешено колотилось в груди и кровь стучала в висках. Я хорошо помню, что радовался просто так, потому что мне было радостно, и у меня не было ничего худого на уме, более того, я втайне испытывал сострадание к бедняге учителю, только избегал говорить об этом открыто, опасаясь показаться смешным. Однажды я повстречался с ним за городом, на проселочной дороге; он, как видно, решил отдохнуть и гулял здесь в полном одиночестве; увидев его, я невольно сразу же снял шапку и почтительно поклонился; это так его обрадовало, что он вежливо поблагодарил меня, и в его взгляде было столько муки, словно он просил сжалиться над ним. Я был тронут и сказал себе, что дальше так продолжаться не может. Решив действовать напрямик, я на следующий же день подошел к компании самых отчаянных озорников нашего класса, чтобы попытаться пробудить в них сострадание к несчастному и заставить их призадуматься над тем, что они делают; у меня было верное предчувствие, что рано или поздно мои слова непременно возымеют свое действие и привлекут на мою сторону

непостоянные симпатии большинства. Мальчишки как раз говорили об учителе и только что придумали для него новое прозвище, такое забавное, что все были в полном восторге и громко расхохотались; с языка моего сорвались совсем не те слова, какие я собирался сказать, и, вместо того чтобы выполнить мой долг перед учителем, я позорно предал и его, и свои собственные благородные побуждения, описав вчерашнюю встречу в таком топе, что мой рассказ еще более развеселил и без того разошедшуюся компанию.

После его ухода мы угомонились; те, кто больше всех шумел и безобразничал, слонялись теперь как неприкаянные из угла в угол, жили воспоминаниями о прошлом и не знали, куда себя девать. Однажды под вечер, когда кончились уроки, я мирно возвращался из школы и был уже недалеко от дома, как вдруг меня окликнули: «Зеленый Генрих! Иди к нам!» Я оглянулся и увидел на соседней улице целую толпу школяров, суетившихся, как муравьи, и, как видно, что-то затевавших. Я подбежал к ним, они сказали мне, что собираются всей честной компанией навеститься к уволенному учителю, чтобы на прощание еще раз как следует позабавиться, и предложили мне пойти вместе с ними. Эта затея была мне не по душе, я решительно отказался и пошел домой. Однако любопытство заставило меня вернуться, и я потихоньку побрел за остальными, чтобы хоть издали посмотреть, чем кончится дело. Ватага шла все дальше и дальше, на ходу вербуя в свои ряды учеников других школ, высыпавших в это время на улицу, так что вскоре по городу двигалось внушительное шествие — человек сто мальчишек самого разного возраста. Обыватели стояли в дверях, с удивлением поглядывая на валом валившую толпу, и я услышал, как кто-то сказал: «Ишь, бесенята! Видать, опять что-то затеяли! А ведь они, ей-богу, такие же озорники, какими и мы были в свое время!» Эти слова прозвучали в моих ушах как боевая труба, ноги сами понесли меня, я мигом нагнал товарищей и шел теперь вплотную за последними. Все испытывали какое-то неизъяснимое удовольствие оттого, что так быстро и дружно собрались, и притом не по чужому приказу, а совершенно самостоятельно, по собственной воле и желанию. Я все больше входил во вкус, протиснулся вперед и неожиданно очутился в самых первых рядах, где шли главные забияки, приветствовавшие меня радостными возгласами.

— Смотрите-ка, Зеленый Генрих все-таки пришел! — прокатилось в толпе, и это известие было встречено гулом одобрения и новым приступом безудержной шаловливой веселости. Перед моими глазами сразу же замелькали сцены из прочитанных мною книг о народных восстаниях и революциях.

— Мы идем вразброд, — сказал я, обращаясь к коноводам, — нам надо построиться в ряды, держаться посерьезнее и спеть патриотическую песню!

Это предложение понравилось всем и было немедленно приведено в исполнение; мы строем проходили одну улицу за другой, люди в изумлении глядели нам вслед; я предложил пойти в обход, чтобы как можно дольше продлить удовольствие. На это все тоже с готовностью согласились; однако в конце концов мы все же добрались до дома учителя.

— Что бы нам такое сделать теперь? — спросил я. — Знаете что? Давайте споем еще раз песню, прокричим «ура» и уйдем!

— Нет, нет, давайте войдем в дом! — раздалось мне в ответ. — Мы хотим сказать благодарственную речь и отметить все его заслуги!

— Тогда — один за всех и все за одного, и чур не удирать, а если нам нагорит, то пусть попадет всем поровну! — воскликнул я, и вся орава хлынула в узкие двери маленького домика и с шумом устремила вверх по лестнице.

Я остался охранять дверь, на случай если кто-нибудь из соучастников вздумал бы улизнуть раньше времени. Изнутри доносился страшный гвалт, упоенные своей собственной смелостью, мальчишки были до крайности возбуждены; тот, кого они искали, лежал больной в запертой на ключ комнате; перепуганные домочадцы пытались запереть остальные двери и выглядывали из окон, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Однако они стеснялись крикнуть громко; соседи не понимали, что все это значит, и в недоумении смотрели на происходившее; я оставался на своем посту, и мелькавшие у меня мысли были отнюдь не из

приятных. Буйная толпа заполнила весь дом сверху донизу; одни высовывались из чердачных окошек и бросали оттуда какие-то старые корзины, другие даже забрались на крышу и кричали на весь квартал. Наконец какая-то старуха набралась храбрости, выскочила из чулана, где она до сих пор пряталась, и, вооружившись метлой выгнала всю ораву из дома.

Это дерзкое нападение вызвало в городе так много толков, что вышестоящие лица не могли уже делать вид, будто они ничего не заметили. Они потребовали, чтобы дело было расследовано со всей строгостью. Нам велели собраться в зале, а затем стали поодиночке вызывать в соседнюю комнату, где мы должны были предстать перед заседавшим там трибуналом. Допрос продолжался уже несколько часов, возвращавшиеся оттуда ученики тотчас же шли домой, не рассказывая товарищам, о чем их спрашивали; две трети собравшихся уже успели уйти, а меня все еще не вызывали; более того, под конец я с беспокойством заметил, что, прежде чем покинуть зал, все выходящие из той комнаты почему-то смотрят на меня. Наконец велено было войти всем оставшимся, — кроме Зеленого Генриха.

Но вот подошла и моя очередь; те, кого допрашивали последними, снова показались в дверях и сказали мне, чтобы я входил. Я начал было расспрашивать, что там происходит, но не получил ответа; как видно, они были напуганы и спешили поскорее убраться отсюда. Тогда я переступил порог загадочной комнаты, влекомый любопытством и в то же время удерживаемый тем стесняющим сердце страхом, который испытываешь в детстве перед иными взрослыми, видя в них каких-то высших, мудрых и всемогущих существ. Я увидел длинный стол, на другом конце которого сидели два важных господина; перед ними лежали листы бумаги и перья и стояла чернильница. Один из них был попечитель нашей школы, сам преподавал в ней и хорошо знал меня, другой — какой-то большой начальник, который сидел с ученым видом и почти все время молчал. С попечителем у меня были весьма своеобразные отношения: он был добродушный ворчун, любивший прихвастнуть своим красноречием и радовавшийся, когда кто-нибудь из учеников позволял себе слегка поспорить с ним, что давало ему возможность пуститься в пространные объяснения по поводу затронутого предмета. Сначала он благоволил ко мне, так как на его уроках я вел себя как раз довольно благонаравно; но потом моя привычка хранить упорное молчание, когда меня за что-нибудь бранили или наказывали, навлекла на меня его нерасположение. Я решительно не умел боязливо отрицать свою вину, бойко врать, чтобы уйти от наказания, или настойчиво вымаливать прощение; если я считал, что меня наказывают за дело, я молча покорялся своей участи; если же наказание казалось мне несправедливым, я тоже молчал, но не из упрямства, — я просто весело смеялся в душе над этим приговором и говорил себе, что мои наставники тоже не всегда отличаются большим умом. Вот почему попечитель считал меня непутевым мальчишкой с весьма опасными наклонностями; как только я вошел, он с грозным видом прикрикнул на меня:

— Ты тоже принимал участие в этом бесчинстве? Молчи! Не отпирайся, это не поможет!

Я чуть слышно сказал «да» и ждал, что будет дальше. Наверно, я сильно повредил себе в его глазах столь быстрым признанием, — ведь он так любил, когда с ним пререкались, и только дух противоречия мог привести его в хорошее настроение, — и вот, словно вознамерившись спасти меня, он сделал вид, будто ему послышалось, что я сказал «нет», и он закричал:

— Что? Что ты сказал? Говори все начистоту!

— Да, — повторил я чуть погромче.

— Ну ладно же, — сказал он, — дай срок, и на тебя управа найдется; ты еще встретишь тот камень, о который ты расшибешь свой упрямый лоб!

Мне было больно и обидно слышать эти слова; ведь я почувствовал в них не только полнейшее непонимание моих добрых намерений, но и неуместную попытку предсказать мое будущее, оскорбительную насмешку над моей личностью.

— Правда ли, — продолжал он, — что по пути туда ты предложил построиться в ряды и запеть песню, как в воинском строю?

Услыхав этот вопрос, я оторопел; так, значит, мои товарищи предали меня и наверняка уже успели снять с себя вину; я подумал было, не лучше ли будет, если я не признаюсь, но у меня опять вырвалось «да».

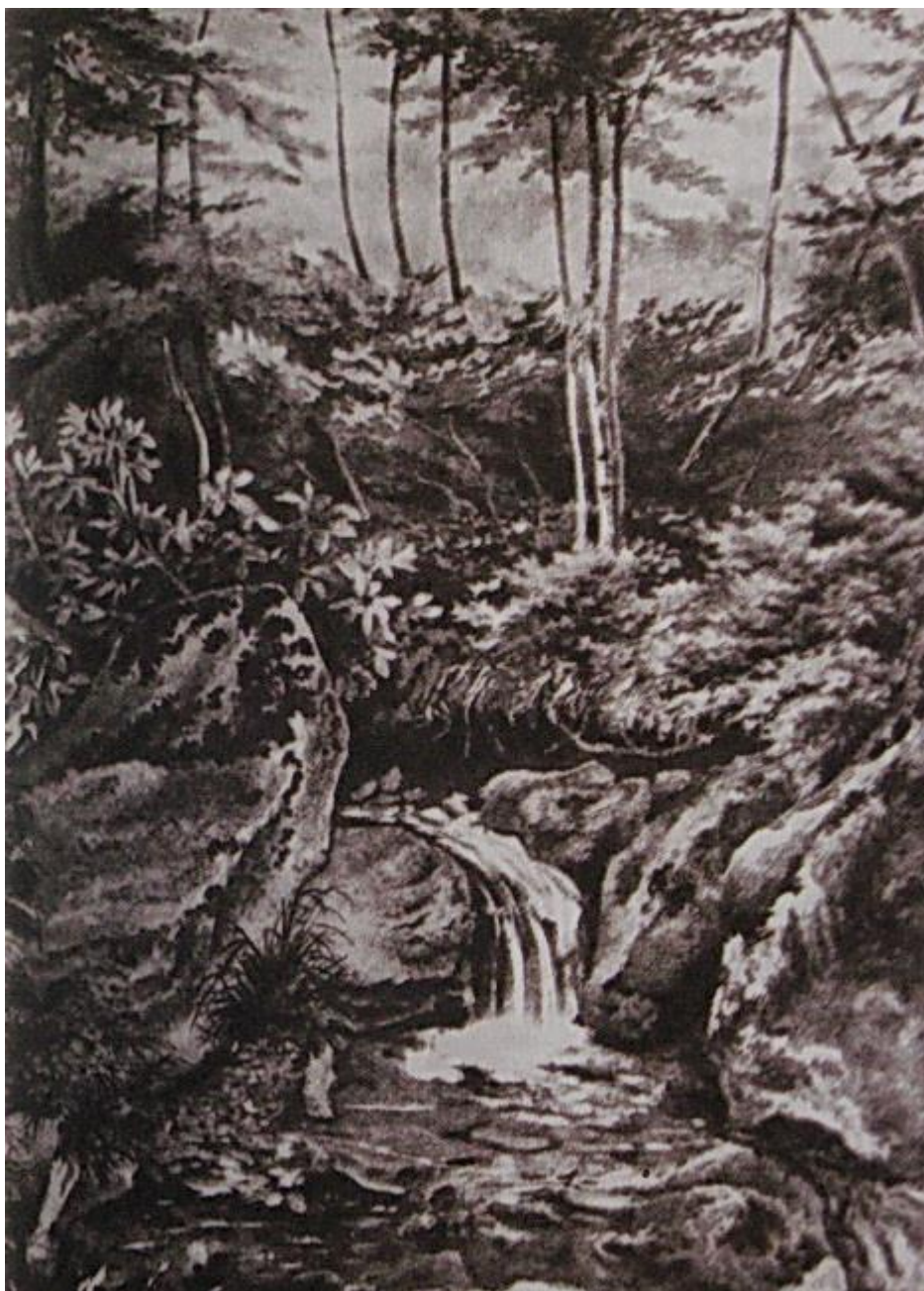
— Правда ли, что, подойдя к дому, ты призывал всех не расходиться поодиночке, и не только призывал, но и встал в дверях, чтобы никого не выпускать?

Не долго думая, я подтвердил и это, потому что не видел в таком поступке ничего зорного и предосудительного. Эти два обстоятельства, всплывшие уже из первых показаний моих сообщников, внушили попечителю мысль о том, что я-то и являюсь главным зачинщиком; к тому же они были, пожалуй, единственными фактами, которые ему удалось установить в этом запутанном деле, они сразу же бросились в глаза, и весь дальнейший допрос он свел исключительно к тому, чтобы доказать мою виновность. Каждый, кому он задавал этот вопрос, отвечал на него утвердительно, радуясь, что ему не надо говорить о самом себе.

Затем меня отпустили, и я побрел домой, несколько встревоженный, но все же не ожидая большой беды; вся процедура допроса показалась мне какой-то несерьезной. Я глубоко раскаивался и чувствовал, что я не прав, но не прав только по отношению к несчастному учителю, которого мы так жестоко оскорбили. Придя домой, я рассказал матушке обо всем случившемся, и она уже собиралась как следует отчитать меня, как вдруг в дверях показался рассыльный с большим конвертом в руках. В письме матушку уведомили, что с сегодняшнего дня я исключен из школы, без права поступить в нее вновь. На моем лице сразу же изобразилось такое неподдельное чувство негодования и обиды за совершаемую надо мной несправедливость, что матушка ни одним словом не напомнила мне больше о моей вине, а отдалась своим собственным невеселым думам; да и как не призадуматься, когда всемогущая государственная власть выгоняет на улицу единственное дитя беспомощной вдовы, равнодушно сказав на прощание: «Из него все равно не будет толку!»

Если вокруг вопроса о законности применения смертной казни давно уже ведутся страстные и непримиримые споры, то почему бы не поспорить кстати и о том, вправе ли государство исключать из своей воспитательной системы ребенка или молодого человека, — конечно, если только он не является опасным для окружающих сумасшедшим. Ведь если в будущем я еще раз окажусь замешанным в подобную неприятную историю и мою судьбу будут решать такие же судьи, а существующие порядки не изменятся, то, исходя из того, как со мной поступили в тот раз, мне, пожалуй, и впрямь могут голову отрубить; ибо отнять у ребенка возможность учиться, как учатся его сверстники, перестать его воспитывать, — разве это не значит морально казнить его, убить в нем все зародыши духовного развития? Что же касается взрослых, то им и в самом деле нередко приходится платить головой за участие в так называемых беспорядках, которые подчас, право же, мало чем отличаются от безобидных ребяческих сборищ, вроде устроенного нами уличного шествия.

Государству незачем знать, есть ли у исключенного средства на то, чтобы продолжить свое образование частным образом, отвергнет ли сама жизнь отвергнутого им питомца или, может быть, еще сделает из него что-нибудь путное, — все это не касается государства, от него требуется только, чтобы оно всегда помнило о своем долге — следить за воспитанием каждого своего юного гражданина и доводить это воспитание до конца. В конечном счете здесь важна не столько судьба самих исключенных, сколько нечто другое: ведь эти порядки свидетельствуют о том, что является большим местом даже лучших учебных заведений, а именно о косности и душевной лени ведающих этими делами людей — людей, которые тем не менее выдают себя за воспитателей.



У Волчьего ручья. Цюрих.
Акварель. 1837 г.

Глава семнадцатая
БЕГСТВО НА ЛОНО ПРИРОДЫ

Впрочем, сам я не очень-то унывал и печалился о том, что со мной произошло. Мне надо было отдать несколько книг нашему учителю французского языка, который благосклонно ссужал меня томиками французских классиков в добротных кожаных переплетах. Кроме того, он несколько раз водил меня в одну из больших библиотек, благоговейно сообщая мне первоначальные сведения о необъятном мире книг. Когда я пришел к нему, он выразил мне свое сожаление по поводу случившегося и дал понять, что мне не стоит принимать это так близко к сердцу, так как, насколько ему известно, большинство учителей, точно так же как и он сам, отнюдь не считают меня дурным учеником. Затем он сказал, что всегда рад меня видеть и готов помочь мне советом, если мне

вздумается продолжить мои занятия французским. С тех пор я больше не видел его, — так сложились обстоятельства; однако его слова доставили мне известное удовольствие, и теперь я чувствовал себя вольной птицей, тем более что я не мог предвидеть, какой важной вехой в моей жизни станет это событие.

Зато матушка была совершенно подавлена; она прекрасно понимала, что мое образование наверняка не закончилось бы так рано, будь сейчас в живых мой отец; однако ее ограниченные средства не позволяли ей нанять для меня домашних учителей или послать меня учиться в другой город, и в то же время она никак не могла придумать, за какое дело мне лучше всего взяться; сам же я тоже не мог еще разумно и самостоятельно решить вопрос о выборе профессии, так как для этого мне не хватало того более широкого взгляда на жизнь, который я смог бы приобрести именно в старших классах, если бы путь туда не был для меня закрыт. В последнее время мои домашние занятия заключались главным образом в том, что я рисовал, карандашом или красками, и в этой области мои взаимоотношения со школой были тоже весьма своеобразными. В школе меня отнюдь не считали способным к рисованию. Целыми месяцами с моей чертежной доски не сходил все один и тот же лист: работа с карандашом казалась мне скучным занятием; срисовывая какую-нибудь огромных размеров голову или орнамент, я подолгу мучился и досадовал на себя; мне приходилось стирать по десять линий, чтобы найти одну правильную, измазанная и протертая до дыр бумага свидетельствовала о том, с какой неохотой трудился над ней ленивый ученик. Но стоило мне только прийти домой, как я сразу же забывал об этих неудачных школьных художествах и с жаром брался за мое домашнее искусство. После той первой попытки скопировать ландшафт я продолжал изготавливать подобного рода акварели; но так как у меня не было больше готовых образцов, то мне самому приходилось изобретать сюжеты, и я долгое время усердно занимался этим. На расписных изразцах стоявшей в нашей комнате печки я обнаружил множество пейзажных мотивов: замок, мост, колоннаду на берегу озера и прочее в этом роде; девичий альбом моей матушки, а также небольшое собрание старомодных альманахов времен ее юности таили богатейшие запасы сентиментальных пейзажей, которые вполне гармонировали с помещенными под ними стихами; здесь были храмы, алтари, лебеди на пруду, влюбленные пары в лодке и темные дубравы, где каждое дерево казалось мне несравненным образцом граверного искусства. Все эти до крайности наивные и, как говорится, доморощенные красоты составляли целый поэтический мирок, в котором я черпал мои замыслы и проводил счастливые часы, усердно трудясь над их выполнением. Я стал выдумывать пейзажи самостоятельно, нагромождая в них чуть ли не все понравившиеся мне поэтические мотивы сразу, а затем перешел к ландшафтам другого рода, где преобладала какая-нибудь отдельная тема, но в каждом из них неизменно присутствовала одна и та же фигура одинокого странника, в котором я полубессознательно изображал самого себя. После непрерывных неудач, которыми оканчивались все мои попытки общения с окружающим миром, у меня стала развиваться дурная привычка к самовлюбленному созерцанию своего собственного «я»; сердце мое грустно сжималось от жалости к самому себе, и мне нравилось переносить символическое изображение своей особы в эффектную обстановку придуманных мною пейзажей. Романтически задрапированный в зеленый плащ, с дорожной котомкой за спиной, этот странник то задумчиво глядел на небо, где догорала вечерняя заря или сияла радуга, то тихо брел по кладбищу или по лесу, а иногда разгуливал даже в райских кущах, среди цветов и пестрых птиц. У меня уже накопилась порядочная коллекция таких картинок, но все они по-прежнему представляли собой жалкую мазню и свидетельствовали о крайней неопытности их автора и полном отсутствии необходимых знаний; лишь известная бойкость и сноровка в наложении отдельных ярких мазков, приобретенная мною путем непрерывных упражнений, да смелый размах моих замыслов несколько отличали мои художества от обычного Детского баловства с карандашом и красками, и это-то, вероятно, и побудило меня заявить матушке, что я хотел бы стать художником. Однако матушка не стала обсуждать эти планы, а решила отправить меня в деревню, к своему брату пастору; ей думалось, что на новом месте я лучше всего смогу оправиться от свалившейся на меня беды, и я должен был

прогостить там несколько ближайших месяцев, пока матушка не подыщет для меня какого-нибудь дельного занятия на будущее.

Деревня, где родились отец и мать, находилась в одном из самых отдаленных уголков страны; я никогда в ней не бывал, матушка тоже много лет не навещала родные места, а жившие там родственники, за исключением лишь очень немногих, никогда не показывались в городе. Только дядюшка пастор приезжал раз в год верхом на своей лошадке, чтобы принять участие в съезде духовенства, и, отправляясь в обратный путь, каждый раз горячо убеждал нас выбрать время и в конце концов навеститься к нему. У него было полдюжины сыновей и дочерей, которых я знал так же мало, как и их мать, мою энергичную тетюшку — пасторшу, так и оставшуюся на всю жизнь крестьянкой. Кроме того, там жила многочисленная родня отца, прежде всего его мать, женщина преклонного возраста, уже много лет назад вышедшая замуж во второй раз за богатого крестьянина, угрюмого, безжалостно тиранившего ее человека, в доме которого она жила настоящей затворницей, и лишь порой, стосковавшись по людям, передавала издали поклоны и приветы осиротевшей семье безвременно умершего сына. Деревенский люд влачил все такое же безрадостное существование, как и два-три века тому назад, когда даже близкие родственники, особенно женщины, жившие в соседних деревнях, разделенных расстоянием в какой-нибудь десяток миль, подчас навсегда теряли друг друга из виду или же встречались очень редко, только в особо важных случаях, и когда свидевшиеся родичи плакали от полноты чувств и от нахлынувших воспоминаний; в таких встречах было что-то от древнего эпоса. Мужчины же хотя и не все время сидели на одном месте, но, будучи людьми положительными и деловыми, переступали порог дома своих полузабытых родственников лишь тогда, когда те просили в чем-нибудь помочь или же когда они сами нуждались в их совете. Теперь крестьянин снова стал легче на подъем, более совершенные средства передвижения, вновь пробудившаяся общественная жизнь, многочисленные народные празднества — все это не дает ему засиживаться дома; он радостно пускается в путь, чтобы снова почувствовать себя молодым и обогатить себя новыми впечатлениями, и только очень недалекие люди все еще осуждают его за это, с жаром доказывая, что его дело ходить за плугом, а не бродить по дорогам да отплясывать на праздниках, подавая дурной пример своим детям.

Моя мать наказала мне как можно чаще навещать бабушку, — ведь она так одинока и уже доживает свой век, поэтому я должен быть с нею особенно почтителен и ласков. Когда она заведет со мной разговор о моем отце, ее любимом сыне, я не должен уходить, пока она сама меня не отпустит.

И вот однажды утром, поднявшись еще перед восходом, я вышел на дорогу, чтобы совершить самое большое из всех путешествий, какие мне до сих пор доводилось предпринимать. Я в первый раз любовался рассветом над просторами полей и смотрел, как из-за сизых от утреннего тумана зубцов леса поднимается солнце. Весь день я был на ногах, однако вовсе не чувствовал усталости; я то проходил через деревни и села, то снова целыми часами шел совсем один по бесконечно длинным лесным дорогам или по раскаленным от солнца холмам, не раз сбивался с пути, но не жалел о потерянном времени, так как тишина и одиночество располагали к размышлениям, и я всю дорогу усердно предавался им, впервые серьезно призадумавшись над своей судьбой и неясным пока будущим. Синие васильки и красные маки, пестрые шляпки грибов на опушке леса сопровождали меня на протяжении всего пути: изумительно красивые облака непрерывно складывались в причудливые фигуры и тихо плыли в бездонной синеве неба; я шел все дальше и дальше, и чувство жалости к самому себе, внушенное мне соболезнованиями сердобольных соседей и знакомых, снова стало одолевать меня, так что в конце концов я не выдержал и, несмотря на мою обычную сдержанность, заплакал горькими слезами. Я был безутешен в своем горе, никак не мог совладать с собой и, усевшись в тенистом месте у родника, долго еще рыдал и всхлипывал; потом устыдился своих слез, встал, умыл лицо и, рассердившись на себя, быстро прошел остаток пути. Наконец я увидел деревню; утопая среди яркой зелени, она лежала у моих ног в глубокой долине, изрезанной прихотливыми изгибами ярко блестящей речки и

окруженной лесистыми склонами гор. Воздух в долине был согрет еще теплыми лучами вечернего солнца, трубы приветливо дымились, из-за реки доносились чьи-то голоса. Вскоре я подошел к первым домам деревни и узнал у хозяев, где живет пастор; заметив во мне черты семейного сходства, люди спрашивали меня, не прихожусь ли я сыном покойному мастеру Лее.

Так я добрался до жилища дядюшки, которое прилепилось прямо к самому берегу громко журчавшей речки; его со всех сторон обступали плотные заросли орешника, а среди них возвышалось несколько огромных ясеней; окна дома поблескивали в густой листве виноградных лоз и абрикосов; в одном из них стоял дядюшка, толстяк, одетый в зеленую куртку, он зажал в зубах серебряный мундштук в виде охотничьего рога, в котором курилась сигара, а в руках у него была двустволка. Стая голубей встревоженно летала над домом и жалась к дверце голубятни; дядюшка увидел меня и тотчас же закричал:

— Эге, да это наш племянничек идет! Рад тебя видеть!

А ну-ка, иди скорей ко мне!

Тут он вдруг взглянул на небо, выстрелил в воздух, и красавец коршун, который кружил над голубятней, высматривая добычу, замертво упал к моим ногам. Я поднял птицу и, приятно взволнованный этим необычным приветствием, стал подниматься на крыльцо, чтобы отдать ее дядюшке.

Он был один в комнате и стоял у длинного стола, накрытого на много приборов.

— А ты пришел как раз кстати! — сказал дядюшка. — У нас сегодня праздник урожая, сейчас все наши придут сюда!

Затем он позвал жену, она вошла с двумя огромными кувшинами вина, поставила их на стол и воскликнула:

— Ай-ай-ай, что ж ты такой бледненький, в лице ни кровинки! Ну погоди же, мы тебя не отпустим, пока ты у нас не станешь таким же краснощеким, каким был когда-то твой покойный отец! Как поживает матушка, почему она не приехала вместе с тобой?

Не теряя времени, она тут же освободила местечко на столе и собрала мне перекусить на скорую руку, в ожидании ужина, а увидев, что я стесняюсь, ни слова не говоря, усадила меня на стул и велела сию же минуту приниматься за еду. Между тем на улице послышался скрип колес и говор приближавшейся к дому толпы; покачиваясь и задевая за нижние ветки деревьев, во двор въехал высоко нагруженный снопами воз, а за ним шли с песнями и с веселым смехом дядюшкины сыновья и дочери вместе с другими жнецами и жницами. Дядюшка, чистивший у окна свое ружье, крикнул им, что приехал гость, и вскоре вокруг меня поднялась радостная суматоха. Я добрался до постели лишь поздно ночью и лег спать под открытым окном; внизу, у самой стены дома плескалась вода, из-за речки доносился стук мельницы, над долиной величественно прошла гроза, дождь мелодично выстукивал по крыше, а ветер, шумевший в лесах на склонах окрестных гор, подпевал ему, и, вдыхая прохладный, освежающий воздух, я уснул на груди всемогущей матери-природы.

Глава восемнадцатая **РОДНЯ**

Рано утром, как только солнце пробилось сквозь густую листву и заиграло на стенах комнаты, я проснулся, разбуженный какими-то странными прикосновениями. Маленькая куница с шелковистой шерсткой сидела у меня на груди и обнюхивала мой нос своей заостренной холодной мордочкой, тихо переводя дыхание и часто подрагивая ноздрями. Когда я открыл глаза, она шмыгнула под одеяло, несколько раз выглянула из-под него и спряталась снова. Я никак не мог сообразить, что все это значит, но тут мои маленькие двоюродные братья, все время следившие за мной из своей спальни, с хохотом выскочили оттуда, поймали проворного зверька и, оглашая комнату шумным весельем, стали играть с ним, а грациозная куничка выделывала презабавные прыжки. Привлеченная их возней, в комнату вбежала целая свора красивых охотничьих собак, к дверям с любопытством

подошла ручная козуля, за ней появилась великолепная серая кошка и стала ловко пробираться между затеявшими игривую грызню собаками, с презрением пофыркивая на них и не подпуская их к себе; на подоконнике сидели голуби, и все эти веселые звери и еще полуголые дети носились друг за другом по комнате. Но хитрее всех оказалась ученая куница; она никому не давалась в руки, и получалось так, будто это она играет с нами, а не мы с ней. Тут подошел и дядюшка; покуривая из своего маленького охотничьего рога, он глядел на нас, отнюдь не осуждая, а скорее одобряя наше поведение, и даже подзадоривал нас на новые дурачества. Его цветущие румяные дочери вошли вслед за ним, чтобы посмотреть, с чего это мы так расшумелись, и призвать нас к порядку, а кстати и к завтраку, но вскоре им пришлось вступить с нами в отчаянную борьбу, так как вся наша честная компания дружно ополчилась на них, не давая им проходу своими шутками и поддразниваниями, в чем приняли участие даже собаки, которые давно уже почувствовали, что в это утро беситься никому не возбраняется, и, поспешив воспользоваться этим правом, храбро вцепились в накрахмаленные подола бранившихся девушек. Я сидел у открытого окна и вдыхал целительно свежий утренний воздух; сверкающие волны быстрой речки отражались на белом потолке, и их отблески пробегали по висевшему на стене старинному портрету той самой странной девочки по имени Мерет, о судьбе которой я уже рассказывал. Освещенное трепетными серебристыми бликами, ее лицо казалось живым и усиливало то впечатление, которое производила на меня вся окружающая обстановка. Под самым окном толпилось пригнанное на водопой стадо; коровы, быки, телята, лошади и козы пили задумчиво, медленными глотками и, резво подпрыгивая, снова выходили на берег; вся дышавшая свежестью долина жила полной жизнью, и доносившиеся оттуда звуки сливались со взрывами смеха в моей комнате; я чувствовал себя таким счастливым, каким никогда не был ни один юный монарх, в опочивальне которого собрались знатнейшие вельможи, чтобы присутствовать при туалете его величества. Наконец пришла тетушка и строго-настрого приказала нам сию же минуту идти завтракать.

Я снова сидел за длинным столом, у которого собралось все обширное семейство вместе со своими нахлебниками и поденщиками. Поденщики вышли в поле еще за несколько часов до завтрака и теперь отдыхали, стараясь стряхнуть легкую усталость, приходящую после первых часов работы, когда солнышко шлет труженикам свой привет и начинает припекать сильнее. Все ели сытную овсяную кашу, на которую тетушка не пожалела молока; лишь на одном конце стола, где сидели хозяин, хозяйка и их старшие дочери, красовались большие чашки с кофе, и я, причисленный на правах гостя к этому кружку избранных, с завистью поглядывал в ту сторону, где люди с аппетитом поедали вкусную кашу и обменивались веселыми шутками. Но вскоре все вышли из-за стола и разошлись по работам, кто на далекие знойные поля, кто в амбары и на скотный двор. Выдвижные доски стола были вставлены на свое место, и теперь это тяжеловесное сооружение из полированного орехового дерева выглядело как-то праздно в опустевшей комнате; но тут хлопотливая хозяйка высыпала на него огромную корзину зеленых стручков, чтобы налущить на обед гороху, а дядюшка, с трудом отыскав себе местечко на уголке, занялся своими хозяйственными книгами; он вписывал в них сведения о собранном в нынешнем году урожае, сравнивая его с урожаем прошлых лет и подсчитывая даже, сколько уродилось на каждом отдельном засеянном клине. Его младший сын, мальчик моего возраста, стоял за его стулом и докладывал отцу о выполнении какого-то поручения, а закончив свои обязанности, предложил мне прогуляться с ним в поле и посмотреть, как идут работы; может быть, мы поработаем и сами, где нам больше понравится, а главное, попадем на полдник: в середине дня все закусывают прямо на поле, и там бывает очень весело. Но в это время подоспел гонец от бабушки, которая уже узнала, что я здесь, и приглашала меня тотчас же прийти к ней. Мой двоюродный брат вызвался проводить меня, я не без кокетства нарядился каким-то театральным селянином, и мы вышли на дорогу, которая вскоре привела нас к расположенному на невысоком холме кладбищу. Здесь все было напоено ароматом цветов и пронизано ярким светом солнца, в воздухе было пестро от мириад жучков, бабочек, пчел и

еще каких-то безвестных мошек с блестящими крылышками, с жужжанием вившихся над могилами. То была удивительная группа певцов и танцоров, дававшая концерт в ярко освещенном зале; их шумный рой неумоимо сновал взад и вперед, хор голосов то смолкал почти совсем, так что слышалось лишь негромкое пение какого-нибудь отдельного насекомого, то снова радостно и задорно подхватывал мелодию и звучал в полную силу; потом он удалялся в таинственный полумрак, царивший в укромных уголках у крестов и памятников, осененных кустами жасмина и бузины, пока из темноты не вылетал какой-нибудь гудящий шмель, который снова выводил за собой на свет весь веселый хоровод; чашечки цветов размеренно колыхались, встречая и провожая непрерывно садившихся на них и снова взлетающих музыкантов. И весь этот шумный и суевликий мирок жил и двигался над вечным покоем могил, над безмолвием веков, протекших с тех далеких времен, когда наши предки — ветвь племени аллеманов — впервые осели в этих местах и вырыли здесь первую могилу. Остатки их законов и обычаев все еще живут в народе, их речь и по сей день звучит на приволье наших зеленых долин, в хижинах горцев, в седых от древности каменных городках, раскинувшихся где-нибудь над рекой или на пологом склоне горы. Седовласая старуха, с которой мне предстояло встретиться, внушала мне какую-то робость, ведь раньше я ее никогда не видал, и она была в моем представлении скорее одним из давно умерших предков, чем живой женщиной, да еще приходившейся мне бабушкой. Мы долго шагали по узким тропкам, под тяжелыми от плодов ветвями яблонь, обходя безлюдные крестьянские дворы, и подошли наконец к ее дому, приютившемуся в темнозеленой тени безмолвных деревьев. Она стояла на пороге, прикрывая глаза ладонью, и, как видно, высматривала, не иду ли я. Ласково поздоровавшись со мной, она тотчас же провела меня в комнату, подошла к блестящему оловянному умывальнику, висевшему в нише из полированного дуба над тяжелым оловянным тазом, открыла кран и подставила свои маленькие загорелые руки под струю чистой ключевой воды. Затем она поставила на стол хлеб и вино, встала возле меня, с улыбкой наблюдая, как я ем и пью, и не садилась до тех пор, пока я не кончил; тогда она под села почти вплотную ко мне — она была слаба глазами — и стала пристально разглядывать меня, задавая вопросы о матушке и о том, как мы с ней поживаем, но мне показалось, что мысли ее были в это время далеко в прошлом. Я тоже внимательно и с почтением смотрел на нее, стараясь отвечать покороче и не утомлять ее подробностями, которые казались мне неуместными. Несмотря на свой преклонный возраст, она сохранила красивую осанку, живость в движениях и умение внимательно слушать собеседника; она была не крестьянка и не горожанка, а просто славная, благожелательная женщина; каждое ее слово выдавало благородство и доброту, смирение и незлобивость, ясную, свободную от накипи мелочных страстей душу, речь ее лилась плавно и звучала проникновенно. То была женщина, каких теперь не часто встретишь, а встретив, начинаешь понимать, почему древние германцы требовали выкуп, равный выкупу за двух воинов, если кто-нибудь убивал женщину или наносил ей обиду.

В комнату вошел ее муж, обходительный и степенный крестьянин; поклонившись мне с любезным безразличием и увидев с первого взгляда, что я точно такой же «сумасброд», как и мой отец, а значит, не стану докучать ему просьбами и беспокойства в доме от меня не будет, он решил не портить своей жене удовольствия и даже великодушно дал ей понять, что она может угощать меня сколько душе угодно, после чего покинул нас и отправился по своим делам.

Я пробыл у нее несколько часов, но говорили мы мало; она сидела возле меня, молча радуясь каким-то своим мыслям, и наконец уснула с улыбкой на устах. Ее сомкнутые веки тихо вздрагивали, как колышется занавес, за которым что-то происходит, а по чуть заметным движениям улыбающихся губ можно было догадаться, что перед ее внутренним взором витают милые сердцу образы, озаренные мягким солнечным светом ушедших лет. Я решил уйти, но как только я встал и, осторожно ступая, пошел к двери, она тотчас же проснулась, окликнула меня и как-то отчужденно посмотрела мне в лицо; ведь если она была в моих глазах живым и осязательным воплощением далекого прошлого, всего того, что было до

меня, то я должен был казаться ей как бы продолжением ее собственной жизни, ее будущим, и я был для нее непонятен, загадочен, потому что мой наряд и моя манера говорить были совершенно не похожи на то, к чему она привыкла за свою долгую жизнь. В глубоком раздумье она прошла в соседнюю комнатку, где у нее хранился в большом шкафу целый запас лент, кружев, гребешков и других модных мелочей, которые она то и дело покупала у странствующих разносчиков и при случае раздаривала молодежи. Вместо отложенного для меня огромного носового платка она по близорукости вынула маленькую косынку из красного шелка, какие носят сельские девушки, и вручила ее мне вместе с бумагой, в которую она была завернута. Она взяла с меня слово навещать ее каждый день и в ближайшее время прийти к ней на обед.

Мой брат давно уже ушел, и я, положив красную косыночку в карман, стал сам отыскивать дорогу домой. Проходя мимо одного дома, я заметил стайку загорелых, краснощеких малышей; увидев меня, они стремглав побежали во двор и загалдели там, как галчата. Вышедшая из ворот женщина догнала меня, назвалась моей теткой и спросила, неужели же я никогда не слыхал о ней и ее семье. Мне пришлось сказать, что я ее действительно не знаю, в чем и приношу свои извинения. Тут она повела меня в дом, где пахло свежеспеченным хлебом, а длинная лестница была сверху донизу уставлена большими четырехугольными и круглыми пирогами, на каждой ступеньке по штуке; их вынесли сюда, чтобы дать им остыть. Пока эта новоявленная тетушка, крепкая и, как видно, любившая поработать женщина в полном цвете сил, быстрыми движениями убирала волосы под платок и повязывала передник, дети забрались в угол за горячей печкой и выглядывали оттуда довольно робко, хотя время от времени среди них слышался смехок. Затем моя новая покровительница заявила, что я пришел как раз вовремя: сегодня она напекла пирогов. Тут она взяла большой пирог, разрешила его на четыре части, принесла вина, а потом стала накрывать стол к обеду. В ее доме не видно было того оттенка патриархальности, какой чувствовался в доме бабушки; мебель была не ореховая, а из ели, доски на стенах были еще свежие, черепица на крыше ярко-красного цвета, видные снаружи торцы балок тоже еще не успели потемнеть, и перед домом почти совсем не было тени. Горячее солнце заливало просторный огород, и затерявшийся в нем скромный цветничок свидетельствовал о том, что молодые хозяева только еще закладывают основу своего будущего благополучия и пока что вынуждены думать лишь о прозаической пользе. Между тем с поля пришел сам хозяин со своим старшим сыном. Услыхав, что в доме у него гость, он тем не менее сначала пошел задать корму скотине, не спеша умыл руки у колодца и лишь потом, все так же неторопливо и спокойно, вошел в комнату, поздоровался со мной и тотчас же проверил, достойно ли меня потчует его жена. Предлагая мне отведать чего-нибудь, хозяева делали это без всякого манерничанья и не пытались извиняться передо мной за свой скромный стол; да и кому же, как не крестьянину, гордиться *своим* домашним хлебом и считать его лучшим из угощений, которое никому не стыдно предложить. Никакое лакомство не сравнится для него с первыми плодами, которые приносят ему каждый год его поле и сад; ничто не кажется ему вкуснее, чем молодая картошка, первые груши, вишни и сливы, выращенные своими руками, и он так привык ценить эти незатейливые дары природы, что, сорвав мимоходом несколько яблок с чужого дерева, видит в этом немалое приобретение для себя, в то время как разнообразные яства, выставленные в окнах городских лавок, нисколько не прельщают его, и он равнодушно проходит мимо них. Потчужа гостя, он твердо убежден в том, что предлагает ему самую вкусную и здоровую пищу, так что эта убежденность передается и самому гостю, пробуждая в нем аппетит, и он ест за двоих и нисколько не жалеет об этом, встав из-за стола. Вот почему я снова оказался за столом и бесстрашно приналег на еду, хотя в тот день я уже съел больше чем достаточно. Мои сердобольные родичи, считавшие, что всякий горожанин, — если только он не помещик, живущий на оброк, — непременно должен жить впроголодь, как видно, решили откормить своего щедрого племянничка и усердно подкладывали мне все новые и новые куски. За столом шел оживленный разговор о судьбе нашей семьи, все расспрашивали меня, как нам с матушкой живется, и интересовались

мельчайшими подробностями.

Осмотрев напоследок конюшню и скотный двор и подбросив каждой корове по охапке клевера, я стал прощаться с хозяевами, однако тетушка заявила, что она непременно должна пойти со мной, чтобы сегодня же представить меня еще одной родственнице, которая живет здесь неподалеку; для первого раза мы задержимся у нее ненадолго.

Нас встретила почтенных лет женщина с приятной, располагающей внешностью; она, правда, не обладала той благородной осанкой и тонкостью в обращении, которыми отличалась бабушка, но ей было присуще то же достоинство и доброжелательность. Кроме нее, в доме жила только ее дочь, которая уехала в свое время в город, по примеру многих сельских девушек, прослужила там два года горничной, вышла после этого замуж за богатого крестьянина, рано овдовела и с тех пор больше не расставалась с матерью. Ей было около двадцати двух лет; высокого роста и крепкого телосложения, она представляла собой ярко выраженный тип нашей породы, смягченный и облагороженный необыкновенной красотой ее лица; особенно хороши были большие карие глаза и мягкие, округлые линии рта и подбородка, поражавшие с первого взгляда. Кроме того, ее очень красили темные волосы, такие густые и длинные, что она с трудом справлялась с ними. Ее почему-то называли Лорелеей⁴⁶, хотя настоящее ее имя было Юдифь, и никто не мог сказать о ней ничего предосудительного, так как ее вообще мало знали. Я увидел ее, когда она шла из сада и, слегка откинувшись назад под тяжестью своей ноши, придерживала края передника, в котором лежали только что снятые с дерева яблоки, прикрытые сверху грудой цветов. Она вошла в дом, прекрасная, как Помона⁴⁷, и рассыпала свои дары по столу, так что его блестящая поверхность отразила причудливое сочетание форм и красок, а воздух наполнился целой гаммой ароматов. Затем Юдифь поздоровалась со мной, произнося слова на городской манер и с любопытством поглядывая на меня из-под широких полей соломенной шляпы. Она сказала, что ей хочется пить, принесла кувшин с молоком, налила большую чашку и протянула ее мне; я хотел было отказаться, так как только что плотно поел, но она улыбнулась и, промолвив: «Ну, пейте же!» — хотела сама поднести молоко к моим губам. Тогда я взял у нее чашку и выпил мраморнобелый прохладный напиток залпом, не переводя дыхания и испытывая острое, невыразимое наслаждение. При этом я спокойно глядел в лицо Юдифи и не отступил, таким образом, перед ее гордым спокойствием. Будь она девушка моего возраста, я, наверно, смутился бы от ее взгляда. Но все это продолжалось лишь одно мгновение, и когда я стал перебирать лежавшие передо мной цветы, она тотчас же составила огромный, едва вмещавшийся в руках букет из роз, гвоздик и каких-то пахучих трав и сунула его мне, как дают милостыню; старушка наполнила мои карманы яблоками, так что я уже не пытался отнекиваться и смиренно отправился домой, осыпанный всеми этими дарами и напутствуемый наказами обеих тетушек и Юдифи почаще наведываться к ним, а также побывать и у других родственников.

Глава девятнадцатая **НОВАЯ ЖИЗНЬ**

Когда я наконец добрался до дома дядюшки, день уже клонился к вечеру; дверь была на замке, так как все ушли в поле, но я знал, что дом сообщается с хлевом, а хлев с сараем и,

⁴⁶ *Ее почему-то называли Лорелеей.* . — Немецкое сказание о прекрасной волшебнице Лорелее связано с рейнским пейзажем. В сумеречный час, при свете луны, говорится в сказании, на скале Лур-Лей показывалась девушка и пленяла своим чарующим пением всех, кто слушал ее. Корабельщики переставали следить за ходом судна и разбивались о скалы. Немецкие романтики использовали этот сюжет в поэтических произведениях. Мировой известностью пользуется стихотворение о Лорелее Генриха Гейне, вошедшее в его «Книгу песен» (цикл «Опять на родине», № 2).

⁴⁷ *Помона* — в римской мифологии богиня древесных плодов.

пробравшись в него, я смогу таким образом попасть в комнаты. В сарае я увидел козулю, которая резво выбежала мне навстречу и сразу же увязалась за мной; в хлеву коровы поглядывали мне вслед, а один молодой бычок подошел ко мне довольно близко и совсем было собрался по-дружески боднуть меня, так что я в испуге обратился в бегство и спасся от него в соседней кладовке, доверху заваленной боронами, сохами, оглоблями и другими деревянными орудиями. Из темневшей в углу кучи старого хлама с довольным урчанием выскочила куница, как видно соскучившаяся в одиночестве, и, мигом взобравшись мне на голову, принялась на радостях обмахивать мои щеки хвостом и вытворять такие забавные штуки, что я громко рассмеялся. Вместе со своими спутниками я выбрался наконец из полутемного хлева на светлую жилую половину и вошел в зал, где сложил на стол цветы и яблоки, избавившись таким образом от своей ноши, а к стати и от назойливых зверей. На столе было написано мелом, где мне искать еду, если я проголодаюсь, а под этим посланием мои юные братцы и сестрицы сделали еще несколько шуточных приписок; но есть мне не хотелось, и я предпочел воспользоваться случаем и не спеша осмотреть дом, в котором родилась моя мать.

Дядюшка уже несколько лет тому назад отказался от пасторской должности, чтобы безраздельно отдаться своим любимым занятиям. В то время прихожане и без того собирались построить для пастора новое жилище, и дядюшка смог откупить у прихода старый дом, тем более что этот дом, собственно говоря, и не предназначался под пасторскую квартиру, а был некогда загородной дачей одного знатного дворянина и поэтому представлял собой просторное здание со множеством комнат и комнатушек, с каменными лестницами и чугунными перилами, с лепными потолками, с большой гостиной, где стоял камин, и с бесчисленными потемневшими почти до черноты картинами, развешанными по всем стенам. Бок о бок со всем этим великолепием, под той же самой крышей, дядюшка умудрился разместить свое хозяйство, для чего он снес часть наружной стены и слил воедино два разных жизненных уклада, господский и крестьянский, соединив их дверьми и переходами, расположенными в самых неожиданных местах. Так, например, в одной из комнат, украшенной сценами охоты и шкафами со старинными богословскими книгами, имелась скрытая обоями дверь, через которую изумленный гость вдруг попадал прямо на сеновал. На чердаке я обнаружил маленькую мансарду, стены которой были увешаны старомодными кортиками, изящно разукрашенными шпагами и давно уже не стрелявшими ружьями и пистолетами; самым великолепным экземпляром этой коллекции был длинный испанский клинок со стальным эфесом тонкой работы, вероятно, кое-что повидавший на своем веку. В углу пылилось несколько толстенных книг, посредине стояло кожаное кресло с рваной обивкой, так что для полноты картины не хватало только Дон-Кихота. Я уселся в кресло, устроился поудобней, и мне вспомнился этот славный герой, чьи похождения, изложенные мосье Флорианом⁴⁸, я переводил в свое время с французского. За стеной слышались странные звуки, воркованье и царпанье, я откинул деревянную дверцу, просунул в нее голову, и навстречу мне пахнуло горячим воздухом; это была голубятня, обитатели которой подняли при моем появлении такой переполох, что мне пришлось поспешно удалиться. Затем я набрел на спальни моих сестриц, тихие келейки, где на окнах красовались целые цветники, а в окна заглядывали зеленые кроны деревьев, охранявших, как верные стражи, девический сон. На стенах еще кое-где виднелись отдельные полосы пестрых обоев и зеркала в стиле рококо, уцелевшие остатки обстановки господского дома, нашедшие себе здесь достойное пристанище на старости лет. Оттуда я прошел в большую комнату пасторских сыновей, которая хранила следы не слишком усердных занятий науками и была

⁴⁸ *Флориан Жан-Пьер* (1755–1794) — французский писатель, автор пасторальных и псевдоисторических романов, прозаических и стихотворных новелл и басен. Его вольный перевод «Дон-Кихота» Сервантеса выдержал много изданий и надолго вытеснил из обращения подлинного «Дон-Кихота». Флориановская перделка знаменитого романа была переведена на русский язык В. А. Жуковским.

увешана рыболовными снастями и силками для птиц, — свидетельство того, что мои братцы охотно предавались на досуге сельским забавам и развлечениям.

Из обращенных на восток окон открывался вид на село — целое море беспорядочно рассыпанных крыш и фруктовых деревьев, над которым возвышалось лежавшее на пригорке кладбище с белой церковью, похожей на замок какого-нибудь духовного феодала; высокие окна гостиной, занимавшие почти всю западную сторону дома, смотрели на ярко-зеленые луга долины, по которой причудливо змеилась речка с ее бесчисленными рукавами и извилинами, почти совсем серебряная, так как глубина ее не превышала двух футов, и ее быстрые, весело бежавшие по белым камешкам волны были прозрачны, как родник. По ту сторону лугов полого поднимались холмы, покрытые шумным зеленым шатром из самых разнообразных лиственных пород, сквозь который кое-где проглядывали серые стены скал и их голые округлые вершины. Однако местами холмы расступались, открывая вид на синюю цепь дальних гор, так что садившееся в той стороне солнце перед самым заходом еще раз заглядывало в долину, заливая ее багровым заревом и бросая алые отсветы на окна гостиной, а когда ее двери были открыты, лучи заката проникали во внутренние комнаты и коридоры и золотили их стены. Сады и огороды, пустующие, невозделанные промежутки между ними, заросли бузины, каменные чаши колодцев и повсюду развесистые, бросавшие густую тень деревья — весь этот полный дикой прелести ландшафт раскинулся далеко кругом, захватывая и часть противоположного берега, куда можно было пройти по небольшому мосту. Выше по течению стояла мельница, но ее не было видно; об ее присутствии напоминал лишь шум колес да стоявшее над ней радужное облако водяной пыли, которое ярко сверкало между деревьями. В целом жилище дядюшки представляло собой нечто среднее между тихой обителью священника, крестьянским двором, загородной виллой и охотничьим привалом, и чем ближе я знакомился с этим удивительным домом и со всеми обитавшими в нем пернатыми и четвероногими тварями, тем больше мне здесь нравилось, так что сердце у меня пело и ликовало. Здесь все светилося и играло красками, было полно движения и жизни, дышало свободой, довольством и счастьем, счастьем без конца и без края, здесь повсюду слышались шутки и смех, а люди были так добры. Все пробуждало жажду отдаться вольной, ничем не стесненной деятельности. Я поспешил в свою комнату, тоже выходящую окнами на запад, и стал распаковывать свои вещи, доставленные сюда за время моего отсутствия, вынимая и раскладывая учебники и неоконченные тетради, которыми я еще думал при случае заняться, а прежде всего внушительный запас бумаги всех сортов, перьев, карандашей и красок, с помощью которых я собирался писать, рисовать, раскрашивать, — бог знает, чего только я не собирался делать. В эти минуты я как-то совсем по-другому взглянул на свои опыты, которые до сих пор были для меня лишь развлечением, и впервые испытал желание серьезно трудиться и творить, создавать что-то новое и прекрасное. Один этот день, казалось бы ничем не примечательный, но в то же время такой богатый новыми впечатлениями, сделал то, чего не могли сделать все невзгоды последнего времени: передо мной блеснул первый луч той душевной ясности, которая предвещает светлое утро юношески-зрелой поры нашей жизни. Разложив на широкой кровати все сделанные мною до сих пор наброски и рисунки, так что она совсем скрылась под этим диковинным пестрым покрывалом, я вдруг понял, что давно уже перерос все это и мне надо идти дальше; я чувствовал, что дело только за мной самим, и испытывал твердую решимость в ближайшее время добиться новых успехов.

В это время дядюшка вернулся домой после обхода своих владений, зашел ко мне в комнату и был немало удивлен, увидев устроенную мною выставку. Ребячески хвастливая щеголеватость, с которой были выписаны мои бьющие на эффект картинки, их яркие, кричащие краски — все это произвело известное впечатление на его неискушенный глаз, и он воскликнул:

— Ай да племянничек! Да ты у нас заправский художник! Молодец! Я вижу, ты основательно запасся бумагой и красками. Дельно! Давай-ка посмотрим, что ты там такое изобразил? Откуда все это срисовано?

Я сказал, что все это выдуманно мною самим.

— Я тебе дам другой заказ, — продолжал он, — ты будешь нашим придворным художником! Завтра же принимайся за дело: попробуй-ка нарисовать наш дом, и сад, и деревья, только чтоб все было в точности! А потом я покажу тебе красивые места в нашей округе, — а их у нас немало, — ты найдешь там неплохие пейзажи и, наверно, захочешь срисовать их. Это будет для тебя хорошим упражнением и пойдет тебе на пользу. Жаль, что сам я никогда не занимался этим делом. Постой, у меня есть для тебя кое-что интересное: сейчас я покажу тебе чудесные рисунки, они остались мне на память от одного знакомого, который часто жил у нас в доме, еще давным-давно, когда у нас каждый день бывали гости из города. Рисовал он для собственного удовольствия, но очень хорошо, умел писать и маслом и акварелью и делать гравюры на меди, да и вообще был дельный человек, даром что художник!

Он принес старую, растрепанную папку, перевязанную толстым шнуром, развернул ее и сказал:

— Давненько я не смотрел эти картинки, поди, уж все перезабыл; теперь я и сам с удовольствием взгляну на них еще разок! Наш славный Феликс был дворянских кровей; его давно уж нет в живых, а похоронен он в Риме; он был старый холостяк, в начале десятых годов все еще носил пудренный парик и косичку; целыми днями он сидел со своими рисунками и гравюрами и отрывался от них только осенью, когда ездил с нами на охоту. В то время, в начале десятых годов, заехало к нам как-то несколько молодых людей, только что вернувшихся из Италии, и среди них один художник, которого они величали гением. Эти юнцы вечно спорили, так что в доме крик стоял, и утверждали, будто все старое искусство давно уже пришло в упадок и возрождается только сейчас, будто бы в Риме живут какие-то молодые немцы и они-де призваны его возродить. Все созданное в конце прошлого века — дрянь, болтовня так называемого «великого» Гете о Гаккерте⁴⁹, Тишбейне⁵⁰ и прочих — сплошной вздор,⁵¹ теперь наступила новая эпоха. Эти речи вконец смутили нашего бедного Феликса, жившего до сих пор мирной, спокойной жизнью; его старые друзья-художники, с которыми он выкурил не один ящик табаку, напрасно уговаривали его успокоиться и не слушать этих юных наглецов, — ведь как бы они ни кричали, мир все равно забудет их, как забудет когда-нибудь и нас! Но куда там! Он и слушать ничего не хотел! В один прекрасный день он повесил замок на свое холостяцкое жилище, закрыл свой храм искусств, побежал как полоумный в сторону Сен-Готарда, и с тех пор мы его больше не видели. В Риме эти шалопаи устроили попойку и с пьяных глаз отрезали ему косу, после чего он окончательно потерял душевное равновесие, позабыл на старости лет все приличия и умер отнюдь не от старческих недугов, — его доконали римские вина и римские красоты. Эту папку он случайно оставил у нас.

⁴⁹ *Гаккерт* Якоб Филипп (1737—1307) — немецкий художник классического направления; писал преимущественно «героические» пейзажи с изображением руин, храмов и водопадов, отличающиеся холодной рассудочностью и нарочитой декоративностью, а также перспективно-видовые пейзажи и батальи. В 1771—1772 гг. по заказу Екатерины II выполнил для Большого Петергофского дворца двенадцать полотен, прославляющих победу русского флота над турецким в Чесменской морской битве.

⁵⁰ *Тишбейн* Иоганн Генрих Вильгельм (1751—1829) — немецкий пейзажист и искусный гравер, писал также картины на исторические темы; был связан с Гете многолетней дружбой со времени их встречи в Риме в 1786 г. Среди портретов, выполненных Тишбейном, один из самых удачных — «Гете в Кампанье» (1787).

⁵¹ ...болтовня так называемого «великого» Гете о Гаккерте, Тишбейне и прочих — сплошной вздор.. . — В этих словах отражены нигилистические тенденции, которые были свойственны некоторым немецким живописцам-романтикам. Гете высоко ценил Гаккерта и Тишбейна и посвятил их творчеству специальные статьи: «Два пейзажа Филиппа Гаккерта» (1804), «Якоб Филипп Гаккерт» (1807), «Идиллии Вильгельма Тишбейна» (1821). Разбор рисунков Тишбейна Гете сопровождал многочисленными стихами, своего рода поэтическими иллюстрациями.

Мы стали разглядывать пожелтевшие листы; в папке оказалось около десятка этюдов углем и пастелью, изображавших группы деревьев и нарисованных не очень пластично и несколько неуверенно, но со всей тщательностью, на какую способен усердный дилетант; кроме того, там было несколько выцветших акварелей и большой этюд масляными красками, на котором был изображен развесистый дуб.

— Все это он называл листовными этюдами, — заговорил дядюшка, — и ужасно носился с ними. Секрет этих этюдов он узнал в тысяча семьсот восьмидесятом году в Дрездене, у своего учителя, которого он очень уважал, его фамилия была Цинк или что-то в этом роде. «Все деревья, — говаривал Феликс, — можно подразделить на два основных класса: у одних листья закругленные, у других — зубчатые. В соответствии с этим есть два способа писать листву; под дуб — в зубчатой манере, и под липу — в округлой манере». Пытаясь объяснить нашим барышням, как лучше овладеть этими двумя манерами, он обычно советовал им с самого начала приучить себя к какому-нибудь определенному ритму; так, например, рисуя листья того или иного сорта, надо считать: *раз*, два, три — *раз*, два, три. «Да это же вальс!» — кричали ему девушки и начинали кружиться вокруг него, так что в конце концов он в бешенстве вскакивал со своего стула, а его косичка прыгала по плечам.

Итак, я впервые познакомился с искусством несколько необычным способом, — человек, сам к искусству непричастный, оказался хранителем оригинальной традиции, передал ее мне, и это дало мне толчок к дальнейшим поискам и размышлениям. Я притих и разглядывал рисунки очень внимательно, а потом упросил дядюшку оставить папку мне, чтобы я мог пользоваться ею по своему усмотрению. Кроме этюдов, в этой папке оказалось еще довольно много гравюр с ландшафтами, несколько вещей Ватерлоо⁵² и несколько идиллических роций Геснера с очень красивыми деревьями, поразивших меня своей поэтичностью и сразу же полюбившихся мне, кроме того, мне попала гравюра Рейнхарта⁵³, и в этом неказистом, затерявшемся среди других листке с обрезанными полями, пожелтевшем и измазанном, было столько притягательной силы и свежести, столько смелого, блестящего мастерства, что он произвел на меня огромное, неизгладимое впечатление. Я долго еще держал гравюру в руках, удивляясь ей, как чуду, — ведь до сих пор я еще не видел ни одного настоящего произведения искусства, — но тут дядюшка снова вошел в комнату и сказал:

— Не хочешь ли пройтись со мной, господин художник? Осень уже не за горами и нам пора полюбопытствовать, что поделявают зайчата, лисички, куропатки и прочая тварь! Вечер чудесный, пойдем-ка посмотрим дичь, а кстати я покажу тебе красивые пейзажи; ружей пока что брать с собой не будем.

Он выбрал из лежавшей в углу кучи старых камышовых тростей палку покрепче, подыскал другую для меня, извлек остатки сигары из своего мундштука в виде охотничьего рога, закурил снова и, подойдя к окну, оглушительно засвистел на все лады; на этот свист со всех концов деревни мигом сбежались собаки, и, сопровождаемые их веселым лаем, мы направились к склону горы, где виднелся освещенный закатным солнцем лес.

Вскоре собаки забежали далеко вперед и скрылись в кустарнике; но как только мы стали подниматься в гору, они забрехали где-то над нашими головами, а затем пронеслись мимо нас во весь опор по крутому склону, так что в оврагах пошло гулять эхо. У дядюшки сердце выиграло; он тянул меня за собой, уверяя, что мы сейчас увидим зверя, нам надо

⁵² *Ватерлоо* Антони (1598–1670) — голландский живописец и гравер. Его работы отличаются совершенством отделки деталей и хорошо выдержанной перспективой. В своих пейзажах Ватерлоо лучше всего передавал воздух и даль.

⁵³ *Рейнхарт* Иоганн Христиан (1761–1847) — немецкий художник-пейзажист и гравер, один из представителей позднего классицизма в живописи. Известны его пейзажи на исторические и мифологические темы, а также виды Италии.

только поскорее выйти на одну полянку; однако на полпути он вдруг остановился, прислушался и пошел в другую сторону, приговаривая:

— Ей-ей, это лисица! Теперь нам надо идти туда! Скорей! Те!

Едва мы дошли до узкой тропки, проходившей вдоль высохшего русла лесного ручейка, между его поросших кустами берегов, как он вдруг остановил меня и молча указал рукой вперед; какое-то рыжеватое пятнышко промелькнуло перед нами, пересекло тропинку и русло ручья, метнулось вверх, потом вниз, и через мгновение все шесть собак с заливистым лаем бросились за ним.

— Видал? — спросил дядюшка с таким довольным видом, будто назавтра предстояла его свадьба. — Теперь она ушла от них, — продолжал он, — но на той просеке они, наверно, поднимут зайца! Давай-ка взберемся выше, вон туда!

Мы вышли на небольшую ровную площадку, озаренную лучами заходящего солнца, и увидели засеянное овсом поле, по краям которого тихо рдели стволы сосен. Здесь мы остановились и долго молча стояли на краю поля недалеко от заросшей травой дороги, уходившей куда-то в темноту, наслаждаясь невозмутимой тишиной. Так мы простояли, наверно, около четверти часа, как вдруг совсем близко от нас снова послышался лай, и дядюшка толкнул меня в бок. Тут в овсе что-то зашевелилось, дядюшка пробормотал вполголоса: «Что за черт, кто это там такой?» — и прямо на нас вышла большущая домашняя кошка; она посмотрела на нас и пустилась наутек. Мой кроткий дядюшка-пастор не на шутку разгневался.

— Тебе что здесь надо, гнусная тварь? Теперь-то я знаю, кто губит молодых зайчат! Ну подожди же, я не дам тебе здесь разбойничать! — воскликнул он и швырнул ей вслед увесистый камень.

Она шмыгнула в овес; в это время собаки снова вихрем промчались мимо нас, и разгневанный дядюшка сокрушенно промолвил:

— Ну вот, зайца-то мы так и не увидели!.. Хватит на сегодня. А теперь пройдем еще немного вперед, оттуда ты увидишь настоящие горы; сейчас мы подошли к ним немного поближе.

С другого конца поля, где сосны стояли реже, открывалась величественная панорама поднимающихся ступенями горных хребтов, сначала зеленых, потом, дальше к югу, все более синих, а за ними, широко раскинувшись на всем протяжении от Аппенцелля⁵⁴ на востоке до Берна на западе, смутно виднелись Альпы, такие далекие, что в них было что-то сказочное.

Налюбовавшись этим видом, я стал внимательно присматриваться также и к характеру окружавшей меня местности. Она походила скорее на тот ландшафт, который, как я себе представляю, часто встречается в горах Германии: здесь было много зелени, живописных скал и повсюду виднелись возделанные поля. Бесчисленные долины и овраги, прорезанные речками и ручьями, были как будто нарочно созданы, чтобы служить местом отдохновения после долгих прогулок; к тому же, местность была по преимуществу лесистая.

Мы возвращались домой другой дорогой, и передо мной долго еще сменялись чудесные картины природы, пока их не скрыли сгущавшиеся сумерки; когда мы вошли в село, на небе светилась полная луна, и ее яркий свет, озарявший мельницу и пасторский дом и трепетно дрожавший в волнах реки, был последним впечатлением, которое мне подарил этот удивительный день. Сыновья пастора затеяли возню и, бегая по берегу в тени ясеней, норовили столкнуть друг друга в воду; мои сестрицы сидели в саду и что-то напевали, а тетушка крикнула мне из окна, что я просто бродяга — за целый день ни разу на глаза не показался.

Глава двадцатая **ПРИЗВАНИЕ**

⁵⁴ *Аппенцель* — город в одноименном кантоне, расположенный в северо-восточной части Швейцарии.

Здороваясь со мной на следующий день, все называли меня не иначе как художником. Со всех сторон то и дело слышалось: «С добрым утром, художник! Как изволили почивать, господин художник? Художник, завтракать пора!» Молодежь добродушно поддразнивала меня, как она это обычно делает, когда наконец находит удачное прозвище для человека, нового в компании, о котором до сих пор еще не было определенного мнения. Впрочем, я ничего не имел против этого лестного звания, оно мне даже нравилось, и я решил про себя никогда от него не отказываться. После завтрака я вынул учебники, чтобы заняться своим образованием, и, повинаясь чувству долга, просидел над ними около часу. Однако их серые шершавые страницы, такие же унылые, как и изложенная на них премудрость, напоминали мне недавнее прошлое с его тоскливыми и тягостными школьными буднями; лес по ту сторону долины был подернут легкой серебристо-серой дымкой; уступы холма, покрытые пышными шапками листвы, заметно приподнимались друг над другом, и их плавные, округлые очертания, озаренные неяркими лучами утреннего солнца, были нежно-зелеными; группы высоких деревьев четко и красиво вырисовывались на фоне разлитой дымки и казались какими-то игрушечными, словно нарочно созданными для того, чтобы писать с них пейзаж, — а между тем мой урок все никак не кончался, хотя, по правде сказать, я давно уже читал невнимательно.

Я встал, неторопливо прошелся с учебником физики в руке по своей каморке, затем заглянул в соседние комнаты и обнаружил в одной из них небольшую полочку с книгами светских авторов; все они умещались под широкими полями висевшей над полкой старой соломенной шляпы, какие носят сельские девушки во время полевых работ. Сняв шляпу с гвоздя, я увидел около десятка томиков в добротных кожаных переплетах с позолоченными корешками. Я достал с полки томик *in quarto*⁵⁵, сдул с него толстый слой пыли и стал его перелистывать. Это были сочинения Геснера; книга была отпечатана на плотной веленовой бумаге и украшена множеством виньеток и рисунков. Какую бы страницу я ни открыл, повсюду речь шла о природе, о пейзажах, о лесах и полях; гравюры, любовно выполненные вдохновенной рукой самого Геснера, весьма удачно иллюстрировали его рассуждения; одним словом, я встретил здесь все то, к чему я давно уже питал склонность, и впервые узнал, что об этих вещах, оказывается, уже написана такая объемистая книга, такой большой и прекрасный труд. Неожиданно мне попалось на глаза письмо о пейзажной живописи, в котором автор дает советы юному художнику, и я с увлечением прочел его от начала до конца. Изложенная в простодушном тоне, эта статья была вполне доступна для меня; особенно понравилось мне то место, где Геснер рекомендует приносить домой осколки валунов и речные камни, изучать их изломы и писать с них этюды скал; этот мудрый, но в то же время такой простой и ясный совет вполне отвечал моим еще во многом мальчишеским наклонностям, и я хорошо усвоил его. Я сразу же полюбил этого человека и мысленно назвал его своим учителем и наставником. Затем я стал перебирать книги, в надежде найти еще какое-нибудь сочинение того же автора, но вместо этого мне попала небольшая книжечка с его биографией. Я прочел и ее, не отрываясь, от корки до корки. В школе он тоже не подавал больших надежд, но уже учеником пытался писать и страстно увлекался искусством.

В книжке много говорилось о гениальности, о смелом желании идти своим путем и тому подобных вещах, о безрассудстве, гонениях судьбы, о душевном прозрении, пришедшем в конце концов к этому человеку, о славе и счастье. Перевернув последнюю страницу, я бережно закрыл книжку и задумался; и хотя особенно глубоких мыслей у меня не было, но чтение все же сделало свое дело: где-то в глубине души, быть может, еще бессознательно, я решил вступить в славный цех художников.

Как ни следи за воспитанием молодых людей, в их жизни рано или поздно наступает чреватый опасными последствиями момент, когда подобные тщеславные мечты незаметно

⁵⁵ В четвертую долю листа (*лат.*).

для окружающих начинают волновать их горячие, восприимчивые головы, и как счастливы те немногие, кто впервые слышит злосчастное слово «гений» в том возрасте, когда он уже успел прожить часть своей жизни, прожить просто и естественно, без мудрствований, и имеет за своими плечами годы ученья, труда и успехов! Да и вообще я сильно сомневаюсь в том, что, избрав себе какой-нибудь род деятельности и желая достичь в ней хотя бы скромных успехов, мы непременно должны подводить под свои начинания массивный фундамент далеко идущих замыслов и планов, как то делают люди, претендующие на гениальность. Ведь разница между талантом истинным и мнимым, пожалуй, в том лишь и заключается, что подлинный талант не показывает тех приспособлений, которыми он пользовался во время работы, и заблаговременно сжигает их, тогда как талант ложный всячески старается выставить их напоказ, и они остаются стоять, как неубранные, постепенно разрушающиеся леса на недостроенном храме.

Что же касается меня, то мне довелось почерпнуть привороживший меня напиток не из богато изукрашенного волшебного кубка, а из скромной, но прелестной пастушеской чаши, ибо все, что я прочел у Геснера и все, что я узнал о нем, носило в общем, несмотря на отдельные громкие фразы, довольно невинный и безобидный характер и звало меня туда же, куда я и без того стремился, — под зеленые своды деревьев и к тихим лесным ручьям, с той только разницей, что мои сведения о природе и о живописи теперь несколько расширились.

Читая биографию Геснера, я познакомился также и со старым Зульцером⁵⁶, который был покровителем Геснера в юности, во время пребывания последнего в Берлине. Поэтому, заметив среди книг несколько томов Зульцера «Трактата об изящных искусствах», я решил заняться им, так как он явно относился ко вновь открытой мною области. Очевидно, эта книга получила в свое время широкое распространение, потому что она стоит почти в любом старом книжном шкафу и неизменно красуется на всех аукционах, где ее можно довольно недорого купить. Как котенок, заблудившийся в густой траве, я беспомощно плутал в дебрях этого давно уже устаревшего, составленного с энциклопедической обстоятельностью и монументальностью сочинения, принимая все прочитанное на веру и поспешно хватаясь то за одну, то за другую плохо понятую, а часто и вообще спорную мысль, и когда подошло время идти на обед, голова моя была переполнена ученостью; я и сам чувствовал, какой важный и горделивый вид придают мне мои сосредоточенно поджатые губы и широко раскрытые, устремленные вдаль глаза. Собрав все изученные мною труды об искусстве, я снес их в мою комнату и присовокупил к папке с гравюрами покойного Феликса.

После обеда я с трудом заставил себя на минутку заглянуть к бабушке и, рассеянно сунув в карман приготовленный ею подарок, миниатюрную Библию с золотым обрезом и серебряными застежками, тотчас же распрощался с нею и поспешно ушел. Напряженно щуря свои близорукие глаза, бабушка долго еще смотрела мне вслед, и в ее взгляде была сдержанная грусть, — ведь этот благочестивый дар был знаком ее искренней любви, и ей хотелось вручить его мне с подобающей торжественностью. Но очень скоро ее глаза перестали различать меня вдали, ибо, проникнув в тайны искусства, я горел теперь одним желанием: как можно скорее испробовать приобретенные мною познания на деле или, точнее говоря, на деревьях.

И вот, вооруженный папкой и принадлежностями для рисования, я уже шагал под зелеными сводами леса и разглядывал каждое дерево; однако выбрать подходящую натуру оказалось не так-то просто: горделивые лесные великаны стояли плечо к плечу, тесно сплетаясь ветвями, и не хотели выдавать мне своих братьев поодиночке; камни и кусты, цветы и травы, бугорки и кочки — все стремилось укрыться от меня и прильнуть к деревьям,

⁵⁶ *Зульцер* Иоганн Георг (1720–1779) — немецкий эстетик, автор «Всеобщей теории изящных искусств», представляющей собой обширный свод статей, расположенных в словарном порядке. Несмотря на то, что эстетика Зульцера отличается эклектизмом и пытается примирить воззрения немецких, французских и английских мыслителей разных направлений, его «Всеобщая теория искусств» долгое время пользовалась популярностью.

как бы ища у них защиты, все вокруг было слито в одно стройное целое и глядело мне вслед, словно посмеиваясь над моей растерянностью. Наконец могучий бук со стройным стволом, в великолепной зеленой мантии и увенчанный царственной короной, отважно выступил из сомкнутых рядов, словно древний король, вызывающий врага на поединок. Этот богатырь был так статен, каждая его ветвь и каждая купа его листвы были так соразмерны с целым и весь он дышал такой полной радостью бытия, что я был ослеплен удивительной четкостью и определенностью его очертаний, и мне показалось, что я без труда совладаю с ним. И вот я уже сидел перед ним, и моя державшая карандаш рука уже лежала на чистом листе; однако, прежде чем я решился провести первую линию, прошло еще немало времени: чем ближе я присматривался к этому великану, тем более неуловимым казалось мне именно то место, на которое я смотрел, и моя уверенность улетучивалась с каждой минутой. Наконец я отважился наметить несколько линий и, начав с корней, попытался схватить прекрасные формы нижней части несокрушимого ствола; но мой рисунок получался каким-то безжизненным и нескладным; проникавшие сквозь листву солнечные лучи играли на стволе, то освещая его мощные контуры, то снова оставляя их в тени; в полумраке его ветвей вдруг вспыхивало и начинало весело трепетать то серебристо-серое пятно на коре, то изумрудно-зеленая полоска мха; порой на свет показывался дрожащий молодой побег, проросший прямо из корня, порой в самой густой тени проступала совершенно новая, еще не замеченная мною линия, какой-нибудь выступ или углубление, покрытое лишайником; затем все это снова исчезало, сменяясь новыми причудливыми эффектами, хотя сам бук стоял все так же величаво-спокойно и в его раскидистой кроне слышался таинственный шепот. А я все рисовал, рисовал торопливо, наугад, обманывая самого себя, делая один набросок прямо поверх другого, боязливо ограничиваясь той только частью дерева, которую я срисовывал в ту минуту, и был решительно не в состоянии как-то связать ее с целым, не говоря уже о том, что отдельные линии были вообще ни на что не похожи. Мой рисунок разросся до чудовищных размеров и особенно раздался в ширину, поэтому, когда я добрался до кроны, места для нее уже не осталось, и я с трудом нахлобучил ее, широкую и низкую, как лоб негодяя, на бесформенный толстый обрубок, изображавший ствол, так что макушка дерева упиралась в верхний край листа, а его корни болтались в пустоте. Когда я наконец поднял голову и окинул весь рисунок в целом, на меня, ухмыляясь, глядел жалкий уродец, словно карлик в кривом зеркале, а красавец бук еще с минуту сиял всеми красками, еще более величественный, чем прежде, как будто насмехаясь над моим бессилием; затем вечернее солнце ушло за гору, и он скрылся в тени своих собратьев. Мои глаза ничего больше не могли разглядеть, кроме одной сплошной зеленой массы да лежавшей у меня на коленях карикатуры. Я разорвал ее, и если, придя в лес, я был чрезмерно самоуверен и строил самые смелые планы, то теперь я присмирел и спеси у меня поубавилось. Я чувствовал себя отверженным и изгнанным из храма моих юношеских надежд; тешившая меня мечта о цели и смысле жизни, которые я мнил найти в живописи, снова ускользала от меня, и теперь мне казалось, что я и в самом деле бездарность и что из меня никогда не выйдет толку. Понурился и чуть не плача, я в унынии побрел дальше, в надежде, что лес сжалится надо мной и я найду для себя что-нибудь полегче. Однако в лесу становилось все темнее, все краски сливались в одну, и равнодушная природа не хотела бросить мне свою милость; в моем тягостном унынии я припомнил пословицу: «Лиха беда начало», — и тогда мне пришло в голову, что ведь я еще только начинаю, а первые попытки заняться чем-нибудь всерьез тем и отличаются от детской забавы, что с ними неизбежно связаны неудачи и огорчения. Но от этого на душе у меня стало еще тоскливее, так как до сих пор я жил, не ведая забот и не зная, что значит упорный труд. Прислушиваясь к величавому шуму леса и размышляя о своем воображаемом несчастье, я вспомнил наконец о боге, к которому уже не раз обращался в беде, и снова прибегнул к его покровительству, умоляя его помочь мне, — хотя бы ради моей матушки, — ибо в ту минуту мне живо представилось, как она сейчас одинока и как удручена заботами.

Вдруг я набрел на молодой ясень, который рос посреди лесной прогалины на

невысоком холмике, вспоенный просочившимся здесь родником. Его гибкий ствол имел всего каких-нибудь два дюйма в толщину, а удивительно простые и ясные линии его прелестной маленькой кроны с очень правильно и симметрично расположенными листьями, которых было еще так немного, что их можно было пересчитать, вырисовывались на ясном, золотистом фоне вечернего неба так же четко и строго, как и сам ствол. Свет падал на деревцо сзади, так что мне видны были только резкие линии его силуэта; все это было словно нарочно создано для того, чтобы начинающий художник мог испробовать свои силы.

Я снова сел на землю и решительно принялся за дело, думая, что мне удастся схватить очертания нежного молодого ствола с помощью всего лишь двух параллельных линий; однако природа и на этот раз жестоко посмеялась надо мной: лишь только я принялся зарисовывать это простенькое деревцо и внимательнее присматриваться к нему, как его строгие, бесконечно изящные линии начали словно ускользать от меня. Одна из линий контура так точно повторяла все еле уловимые изгибы другой, эти две линии так незаметно сходились наверху, а молоденькие веточки вырастали из ствола так плавно, под таким строго определенным углом, что малейший неверный штрих мог исказить весь стройный и прекрасный облик деревца. Но я все же взял себя в руки и, внимательно следуя за каждым изгибом избранной мною натуры, опасаясь отступить от нее хотя бы на йоту, довел-таки дело до конца; правда, в моем наброске не было ни уверенности, ни изящества, но у меня все-таки получилась довольно точная, хотя и робкая копия. Почувствовав себя в ударе, я благоговейно пририсовал стебельки травы и землю у подножия дерева и увидел на моем рисунке одну из тех жиденьких библейских пальм, какие встречаются в картинах благочестивых церковных художников и их нынешних эпигонов и оживляют своей наивной прелестью плоскую линию горизонта. Я остался доволен своим скромным опытом и долго рассматривал его, время от времени переводя глаза на стройный ясень, который тихо покачивался под свежим вечерним ветерком и казался мне посланцем благосклонных небес. Радостный и довольный, словно мне удалось невесть что совершить, я отправился в деревню, где меня сразу же окружили родственники, горевшие любопытством увидеть плоды моего паломничества, на которое я возлагал такие большие надежды. Однако когда я вынул из папки свое деревцо, на котором было всего каких-нибудь четыре десятка листочков, на лицах собравшихся, как видно, ожидавших чего-то большего, показались улыбки, а кое-кто довольно беззастенчиво рассмеялся; только дядюшка похвалил мои труды, сказав, что на рисунке тотчас же можно узнать молодой ясень; он ободрял меня, советуя настойчиво продолжать занятия и хорошенько изучить породы деревьев в здешних лесах, в чем он, как лесничий, обещал мне помочь. Он еще хорошо помнил то время, когда жил в городе, так что подобные увлечения не казались ему смешными; к тому же такие заядлые охотники, как он, обычно любят живопись, — вероятно, потому, что она изображает, между прочим, и те дорогие их сердцу места, где они предаются своим радостям и совершают свои подвиги. Поэтому сразу же после ужина он начал читать мне целый курс лекций о свойствах и особенностях различных деревьев и рассказал, в каких местах можно встретить наиболее поучительные экземпляры каждой породы. Но прежде всего он посоветовал мне срисовать этюды его старого друга Феликса, и я с большим усердием занимался этим в течение нескольких следующих дней. В тихие, теплые вечера мы еще несколько раз ходили высматривать места для предстоящего охотничьего сезона, обошли немало чудесных уголков, и повсюду, в долинах и на горных склонах, нас окружал богатый и многообразный мир деревьев.

В этих приятных занятиях прошла первая неделя моего пребывания у дядюшки. К тому времени я уже научился различать кое-какие деревья, и меня радовало, что теперь я могу называть своих зеленых друзей по имени; и только глядя на пестрый ковер всевозможных трав, покрывавших и сухую почву в лесу, и влажную землю в долине, я еще раз серьезно пожалел о том, что мои школьные занятия ботаникой были прерваны в самом начале; я хорошо понимал, что те немногие и к тому же слишком общие сведения, которыми я располагал, совершенно недостаточны для того, чтобы поближе познакомиться с этим

крошечным, но бесконечно многообразным мирком, а в то же время мне очень хотелось знать названия и свойства всех тех безымянных стебельков и былинки, что росли и цвели у меня под ногами.

Глава двадцать первая
ВОСКРЕСНАЯ ИДИЛЛИЯ.—
УЧИТЕЛЬ И ЕГО ДОЧЬ

Еще в первые дни моего пребывания в доме дядюшки вся молодежь сговорилась, что в ближайшее же воскресенье мы отправимся в гости. За лесом, в небольшой, уединенно расположенной усадьбе жил брат пасторши со своей дочкой, которую связывали с моими двоюродными сестрами тесные узы девической дружбы. Отец ее был когда-то сельским учителем, но после смерти жены удалился в свою живописную усадьбу, так как он обладал некоторым состоянием, а по характеру представлял собой полную противоположность моему дядюшке. Последний, родом горожанин, готовился уже в юности стать священником и изучал богословие, но потом забросил и позабыл все это, чтобы безраздельно отдаться усердному труду на пашне и буйным утехам охоты; учитель же, несмотря на крестьянское происхождение и весьма скромное образование, был склонен к жизни тихой и благолепной, жизни мудреца и праведника, и, предаваясь размышлениям на теологические и философские темы, изучал книги о жизни природы. Он очень радовался, когда ему представлялась возможность завязать с кем-нибудь умный разговор, и был чрезвычайно любезен с собеседником. Дочь его, которой было лет четырнадцать, росла задумчивой и томной барышней и, в соответствии с желаниями своего отца, напоминала скорее изнеженную пасторскую дочку, чем сельскую девушку, в то время как загорелые и обветренные лица юных наследниц моего дядюшки говорили о том, что они привыкли не бояться никакой работы; впрочем, этот отпечаток свежести не только не безобразил, а скорее даже красил их и очень шел к их задорно блестящим глазам.

В воскресенье, как только кончился обед, три моих сестрицы, которым было двадцать, шестнадцать и четырнадцать лет и которые носили офранцузенные на городской манер имена Марго, Лизетт и Катон, удалились на свою половину и долго совещались там, то и дело перебегая из одной комнаты в другую и старательно запирая за собой двери. Мы, мальчишки, давно уже успели нарядиться и с нетерпением ждали, когда же наконец выйдут наши дамы; однако, заглядывая в щелки и замочные скважины, мы убедились, что это будет еще не так скоро: все шкафы были широко распахнуты, а девушки стояли перед ними с серьезными лицами и держали совет, что им надеть. Чтобы скоротать время, мы принялись поддразнивать сосредоточенно размышлявших девушек; в конце концов мы проникли к ним в спальню, напали на них, выскочив всей оравой из-за огромного шкафа, и, увидев вокруг бесчисленное множество картонок, коробочек, ларчиков и прочих девичьих секретов, не преминули полюбопытствовать, что там лежит. Но они, сопротивляясь с мужеством разъяренных львиц, у которых хотят отнять детенышей, вышвырнули нас за дверь, и все наши попытки вновь взять ее штурмом оказались тщетными. С минуту за дверью все было тихо, затем она неожиданно отворилась, и перед нами предстали, смущаясь, все еще негодую и в то же время заранее предвкушая свой успех, все три сестрицы в великолепных, но несколько пестрых туалетах; бедняжки, одетые, как одевались их бабушки, несли в руках допотопные зонтики и затейливые ридикюли: один в виде звезды, другой наподобие полумесяца, третий представлял собой нечто среднее между гусарской ташкой⁵⁷ и лирой.

Все это поразило бы хоть кого, особенно если принять во внимание, что в вопросах моды мои славные сестрицы были самоучками и, всецело предоставленные самим себе, наряжались без чьей бы то ни было помощи, исключительно по собственному разумению; их

⁵⁷ *Гусарская ташка* — подвесной кожаный карман, прикреплявшийся к портупее.

маменька питала отвращение к городским нарядам и, приходя домой из церкви, куда она, как пасторша, ходила в кружевном чепце, каждый раз спешила поскорее сбросить его. Других дам в деревне не было, если не считать жены и дочерей нового пастора, но последние так важничали, что к ним было не подступиться; к тому же они ничего не шили сами, а заказывали свои туалеты в городе. Таким образом, мои кузины могли рассчитывать только на свои силы, на скромную сельскую портниху да на кое-какие семейные традиции, которые им удалось возродить путем неустанных поисков в комодах и сундуках, хранивших следы давно забытого прошлого. Поэтому никто не мог бы отрицать, что они достигли в этом деле немалых успехов, и если в тот день мы приветствовали их появление насмешливым: «Ах!» — то это было только притворство, за которым скрывалось самое искреннее восхищение.

Впрочем, и наши костюмы по смелости и пестроте не уступали нарядам наших девиц. Мои братья были одеты в куртки довольно грубого сукна, но их покрой, выдуманный деревенским портным, был более чем оригинален, и в нем было даже что-то вызывающее. На куртках было нашито бесконечное множество блестящих медных пуговиц с выбитыми на них скачущими оленями, медведями на задних лапах и другими дикими зверями; дядюшка приобрел эти пуговицы по случаю, оптом, так что их должно было хватить на всех его внуков и правнуков. Бывало, что братья теряли свои украшения, — тогда деревенские мальчишки их подбирали и играли на них, как на деньги; постепенно они стали на селе чем-то вроде разменной монеты, причем каждая штука шла за шесть костяных или оловянных пуговиц. На мне был мой зеленый мундирчик с красными шнурами и белые панталоны в обтяжку; жилетки я не надел, чтобы лучше была видна моя щегольская рубашка, но зато небрежно повязал вокруг шеи подаренную бабушкой шелковую косынку, а доставшиеся мне в наследство от отца золотые часы, с которыми я так и не научился обращаться, висели на голубой ленте с вышитыми цветами, найденной мною в одной из матушкиных картонок. С фуражки я давно уже спорол козырек, который казался мне филистерским предрассудком, и этот кургузый головной убор, оставивший мой лоб незакрытым, окончательно дополнял мое сходство с балаганным шутом. Я полагаю, что для человека мыслящего и стремящегося к красоте внутренней все эти внешние украшения должны казаться смешными, причем люди думают о них тем меньше, чем лучше они познали свой идеал прекрасного и чем больше подошли к нему в своей деятельности, и наоборот: чем дальше человек от того, что представляется ему истинно прекрасным, тем больше он привержен к разного рода мишуре. К сожалению, именно это пристрастие к внешней красивости нередко задерживает нравственное развитие молодого человека, — особенно если у него нет отца, — ибо кто же, как не отец, может своей добродушной насмешкой исцелить сына от его заблуждений и твердой мужской рукой направить его помыслы к высокому и истинно прекрасному.

К жилищу старого учителя вели две дороги: выбрав более близкую, мы должны были подняться на гору, возвышавшуюся за деревней, и, пройдя по ее длинному гребню, спуститься по противоположному склону в другую долину, которая отчасти напоминала нашу, но была несколько меньше и имела более округлую форму; здесь, на берегу глубокого синего озера, занимавшего почти всю долину, стоял, отражаясь в воде, гостеприимный дом, где жили учитель и его дочка; другой, более длинный, но легкий путь пролегал по дну нашей долины, вдоль речки, которая впадала в это же озеро, так что, спустившись вниз по течению и пробравшись сквозь густые заросли по ее берегам, мы могли попасть к цели нашего путешествия, обойдя гору.

В тот конец мы предпочли отправиться вдоль приветливых берегов веселой речки; через гору, более трудным путем, мы решили идти вечером, когда станет прохладнее. Вскоре наша красочная, издалека бросавшаяся в глаза процессия вступила в зеленую долину и долго шла по ней, пока мы не очутились в очаровательном уголке, полном дикой прелести, где лес спускался к воде с обеих сторон, осеняя ее своим темным, прохладным шатром, так что нам приходилось отгибать низко нависшие ветви. Порой он окружал ее сплошными непроницаемыми стенами листвы, порой снова расступался, обнажая прогретую солнцем песчаную полосу берега, на которой росла дружная семья светлых стройных елей; местами

на берегу и в воде лежали скатившиеся сверху обломки скал, и речка низвергалась через них водопадом, а сквозь росший на обрыве кустарник там и сям проглядывали полуразрушенные утесы, с которых сорвались эти глыбы; от шедшей у самой воды дорожки то и дело ответвлялись боковые тропки, манившие в темную таинственную глубь леса. Платья девушек — красное, синее и белое — яркими пятнами выделялись на фоне темно-зеленой листвы, а пуговицы моих кузенов, прыгавших с камня на камень, вспыхивали золотом, своим блеском соперничая с серебряными зайчиками волн. Нередко нам попадалась на глаза какая-нибудь лесная или водная тварь: сначала мы нашли перья дикого голубя, как видно растерзанного коршуном, потом из воды показалась змея, стрелой промелькнувшая на гладкой прибрежной гальке, а в мелкой лужице, отделенной от реки полоской суши, билась, сверкая чешуей и боязливо тыкаясь носом в окружавшие ее со всех сторон камни, забравшаяся туда форель; однако как только мы приблизились, она одним прыжком очутилась в бурлящем потоке и скрылась в родной стихии.

Мы не заметили, как обошли всю гору кругом; приветливая зеленая чаща расступилась, и перед нами внезапно открылся вид на темно-синее, осыпанное блестками серебра озеро, которое мирно спало в своих живописных берегах, озаренное мягким светом и убаюканное невозмутимой тишиной воскресного дня. Озеро окаймляла узенькая полоска возделанной земли, а вокруг стеною стоял лес, за которым прятались и другие поля, — над густой чащей там и сям виднелась то красная крыша, то голубая струйка дыма. И только на освещенном солнцем склоне расстился большой виноградник, а под ним, у самой воды, стоял дом учителя; верхний ряд державших лозы кольев вырисовывался на чистой небесной синеве; ее отблеск лежал на всей зеркальной глади озера, и только по краям, у берегов, в воде стояли опрокинутые, но необыкновенно четкие отражения желтых нив, засеянных клевером полей и поднимавшегося за ними леса. Стены дома были чисто выбелены, балки и стропила выкрашены в красный цвет, а ставни разрисованы узорами в виде огромных раковин; на окнах развевались белые занавески. У входной двери было маленькое крылечко с затейливыми перильцами, и с него уже спускалась, чтобы встретить нас, наша юная родственница, нежная и стройная, как лилия; у нее были золотисто-каштановые волосы, голубые глазки, нахмуренный, несколько своенравный лоб и милая улыбка на губах. На ее тонком лице то и дело вспыхивал и исчезал легкий румянец, а ее голосок, тонкий, как колокольчик, звучал еле слышно и то и дело умолкал совсем. Расцеловав моих сестриц так нежно и с такой торжественностью, словно они не видались лет десять, Анна провела нас через садик с душистыми розами и гвоздиками, а затем пригласила в дом, дышавший какой-то необыкновенной чистотой и порядком и казавшийся поэтому особенно светлым и веселым. Навстречу нам вышел ее отец, старик в опрятном сером сюртуке, белом галстуке и вышитых домашних туфлях, который радушно приветствовал нас. Он провел этот тихий воскресный день за книгами, — они еще лежали на его столе, — и был, наверно, очень рад, увидев перед собой сразу столько слушателей, перед которыми он мог щегольнуть своим красноречием. Когда же ему представили меня, он, как видно, обрадовался еще больше, так как решил, что я только что явился из какого-нибудь университетского города, рассадника знаний, где пышным цветом цветут науки, и что он найдет во мне собеседника, способного по достоинству оценить его тонкое обхождение и его ученые речи. Впрочем, он оказался совершенно прав, возложив свои надежды главным образом на меня; мои братцы улизнули из комнаты еще прежде, чем он успел избрать предмет для беседы, и, посмотрев в окно, я увидел, что они лежат на берегу и чуть ли не с головой залезли в рыбный садок, так что мне были видны только их спины да три пары ног. Они внимательно разглядывали рыб, которых разводил дядюшка, в то время как их сестры отправились вслед за маленькой хозяйкой дома и старой служанкой на кухню и в сад.

Вскоре учитель заметил, что я охотно слушаю его рассуждения, стараюсь по мере сил вникать в задаваемые мне вопросы и отвечаю на них довольно толково. Он обстоятельно расспросил меня о последних нововведениях в школе и затем сказал:

— И все-таки они там немного пересаливают! Вот недавно прочел я в газете, что в

нашей кантональной школе тоже были беспорядки и что покончили с ними очень просто: удалили сразу и негодного к должности учителя, и самого нерадивого ученика, — в газете пишут, будто это был настоящий маленький революционер и с его уходом в школе сразу же восстановились порядок и спокойствие. Ну ладно, пусть уволили учителя, это, как мне кажется, мера разумная, — конечно, если ему не забыли подыскать другое место; но зачем же выгонять ученика — вот чего я никак в толк не возьму! Ведь это, думается мне, все равно что изгнать человека из общества и объявить ему: мы с тобой дела иметь не желаем, живи как знаешь! Это не по-христиански; всевышний не покарал бы его, он направил бы заблудшую овцу на путь истинный. А вы, племянничек, были ли вы знакомы с этим изгнанным мальчиком?

Этот вопрос пробудил во мне тягостные воспоминания, а сочувственный тон, в котором говорил учитель, вновь разбередил мою душевную рану, и, опустив глаза, я признался, что этот ученик — я сам.

В крайнем изумлении он сделал шаг назад и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; он был смущен, увидев так близко перед собой юного злодея со столь обманчивой невинной внешностью. Но я уже успел расположить его к себе, а мое скромное поведение, вероятно, убедило его в том, что, проявив теплое сочувствие к пострадавшему, он оказался не так уж неправ.

— Я сразу же подумал, — воскликнул он, — что в этом деле что-то неладно! Я теперь и сам вижу, что мой племянник — рассудительный молодой человек, с которым можно поговорить серьезно! Ну-ка, расскажите мне всю эту печальную историю, уж больно любопытно узнать, где тут ваша вина и где людская несправедливость!

Я чистосердечно и обстоятельно рассказал приветливому старику, как было дело, и под конец даже немного разволновался, так как с тех пор мне еще ни разу не представился случай излить кому-нибудь душу; выслушав меня, он задумался, помолчал, сказал: «Гм!» — потом пробормотал: «Так, так!» — и, наконец, заговорил снова:

— Ваша судьба поистине удивительна! Прежде всего вы не должны высокомерно презирать тех, кто причинил вам страдания, и таить против них злобу, ибо эта опасная гордыня была бы вам только во вред и могла бы сделать вас несчастным на всю жизнь! Вспомните, что вы ведь тоже были соучастником злой проделки ваших товарищей, поступивших так несправедливо, и радуйтесь тому, что, подвергнув вас нелегкой каре, господь бог дал вам столь поучительный урок уже в ранней юности. Ведь вы пострадали не от земного неправосудия, а по воле вседержителя, который сам вмешался в вашу судьбу и тем отличил вас в столь раннем возрасте, в знак того, что с вас он намерен взыскивать строже, чем с других, и хочет повести вас своими неисповедимыми путями. Примите же это мнимое несчастье с благодарностью и раскаянием, стерпите и забудьте то, в чем вы видите несправедливость, и постарайтесь доказать всей своей дальнейшей жизнью, что посланное вам испытание не прошло для вас бесследно; помните всегда, что за всякое уклонение со стези добродетели господь покарает вас более сурово, чем других, ибо он хочет, чтобы вы стремились к истине и к добру тверже и настойчивее, чем все те, кто не прошел подобного искуса. Лишь тогда все пережитое вами послужит вам во благо; в противном случае все это будет вам казаться просто нелепой и досадной случайностью, нежданно омрачившей вашу юность, хотя на самом деле замысел всеблагого творца заключается вовсе не в этом. Однако на первое время самое важное — это выбрать себе какое-нибудь занятие, и кто знает, быть может, именно благодаря этой нежданной беде вам суждено сделать выбор раньше, чем если бы ее не было! Вы, верно, уже почувствовали призвание к какому-нибудь делу; чему же хотелось бы вам себя посвятить?

Его слова пришлись мне по душе; правда, я не вполне уразумел их глубокое нравственное значение, но зато очень живо усвоил мысль о моем небесном наставнике и предназначенном мне высоком жребии; проникнувшись сознанием того, что моим склонностям покровительствует сам господь бог, я почувствовал себя счастливецом, в душе моей взошла светлая путеводная звезда, и я заявил без обиняков:

— Да, конечно, — я хотел бы стать художником!

Эти слова озадачили моего нового покровителя, пожалуй еще больше, чем мое прежнее признание, так как, живя в уединении, вдаль от света, он меньше всего ожидал услышать такой ответ. Однако вскоре он собрался с мыслями и промолвил:

— Художником? Вот странная мысль! Однако давайте подумаем! Конечно, было время, когда на свете жили настоящие художники; наделенные божественным даром, они утоляли духовную жажду народов благодатным напитком своего искусства, заменявшего людям непонятное для них живое слово Священного писания, которое теперь, к счастью, всем доступно. Но если это искусство и тогда уже очень скоро стало ненужной мишурой, которой тщеславно украшала себя надменная римская церковь, то в наши дни оно, как мне кажется, и вовсе утратило всякий внутренний смысл и служит лишь суетным прихотям людей и их смешной страсти к роскоши. Я, правда, весьма мало осведомлен о том, кто и как занимается нынче подобными художествами в свете, но все равно не могу себе представить, как можно при этом оставаться дельным и мыслящим человеком! Неужто уж вам пришла такая охота малевать всякие дрянные картинки или еще, чего доброго, писать портреты на заказ? Да и владеете ли вы необходимыми навыками?

— Мне хотелось бы стать пейзажистом, — ответил я, — я чувствую большую склонность к такого рода деятельности и твердо верю, что господь бог поможет мне овладеть тайнами этого искусства!

— Пейзажистом? Это значит, вы будете рисовать заморские города, причудливые скалы и горные цепи? Гм! Ну что ж, я думаю, это не так уж плохо, по крайней мере, вы побываете в дальних краях и узнаете свет, увидите чужие страны и моря, да и с людьми разными познакомитесь! Однако для этого, думается мне, нужны большое мужество и особая удача, и пока человек еще молод, ему, на мой взгляд, следует прежде всего подумать о том, как бы найти честное ремесло у себя на родине, чтобы стать полезным членом общества и опорой для своих престарелых родителей!

— Ландшафтная живопись, которой я задумал себя посвятить, это вовсе не то, что вы, любезный дядюшка, под этим словом подразумеваете, а нечто совсем другое!

— Вот как? А что же?

— Это искусство заключается не в том, чтобы разъезжать по прославленным местностям и зарисовывать разные диковинки; пейзажист созерцает спокойное величие природы и старается передать ее красоту; иногда он изображает целый пейзаж, вроде вот этого озера, окруженного лесами и горами, иногда — одно-единственное дерево или даже просто волны и кусок неба над ними!

Так как учитель ничего на это не ответил и, казалось, ждал, не скажу ли я еще что-нибудь, то я решил дополнить мое разъяснение, причем на этот раз говорил с большим жаром и не менее красноречиво, чем он. За окнами простиралось величавое озеро, наполовину озаренное ярким солнцем, наполовину укрытое зеленой тенью леса; стройные дубы, росшие на далеком гребне холма, казалось, кивали мне своими вершинами, высоко уходившими в синее, по-праздничному ясное небо, — кивали тихо, чуть заметно, но настойчиво, словно хотели переслать мне издали свой привет; я все глядел и глядел на них, как на какие-то высшие существа, и продолжал свою речь:

— Если художник видит свое призвание в том, чтобы всю жизнь созерцать чудесные творения господя, которые и по сей день сохранили свою первозданную чистоту и прелесть, познавать их, и преклоняться перед ними, и славить того, кто их создал, стараясь запечатлеть их безмолвную красоту, — разве нельзя назвать его стремления благородными и прекрасными? Пусть он изобразит хотя бы просто кустик — он и тогда будет удивляться каждой его веточке, ибо увидит, что, повинаясь мудрым законам творца, она выросла не так, как другие; если же он может написать лес или широкое поле, осененное ясным небом, наконец если он умеет создавать такие картины силой своего свободного воображения, не имея перед глазами образца — роц, гор и долин или хотя бы тихих, неприметных уголков, если он творит что-то свое, новое, небывалое и в то же время так верно и точно подмеченное,

словно все это на самом деле где-то существует, — тогда это искусство кажется мне поистине прекрасным, не менее радостным и чудесным, чем деяния творца небесного. Стоит только живописцу захотеть — и по его воле вырастают могучие дубы, уходящие кронами под самый небосвод, а над ними несутся легкие, причудливые облака, и все это отражается в зеркале вод! Он говорит: «Да будет свет!» — и рассыпает солнечные лучи по своей прихоти, освещая ими травы и камин и заставляя их гаснуть в густой тени деревьев. Он простирает руку — и вот в небе ревет гроза, и земля дрожит от страха, а вечером солнце садится в темном багрянце! К тому же он один, ему не приходится ладить с разными дурными людьми, и он может жить так, как подсказывает ему его совесть!

— Что же, значит, это целая отрасль искусства, и люди признают ее и ценят? — спросил вконец озадаченный учитель.

— О да, — ответил я, — в городах знатные люди украшают свои жилища огромными полотнами в золоченых рамах, и все эти картины по большей части изображают лесную глушь, тихие зеленые уголки, исполненные такой прелести и написанные с таким совершенством, что перед тобою словно вольный мир божий; горожане, которые сидят взаперти в своих каменных колодцах, радуются, глядя на дышащие жизнью полотна, и щедро вознаграждают их создателей!

Учитель подошел к окну и поглядел в него с некоторым недоумением.

— Так, значит, вот это, например, маленькое озеро, этот милый моему сердцу уединенный уголок, тоже достойно кисти живописца, и люди стали бы любоваться им, даже не зная, как оно называется, только потому, что господь явил в нем частицу своей щедрости и всемогущества?

— Ну конечно! И я надеюсь, что я еще когда-нибудь напишу для вас это озеро, и вон тот темный берег, и этот закат, так что вы обрадуетесь, узнав на моей картине сегодняшней вечер, и тогда вы сами скажете, что все это достойно высокого искусства, — разумеется, если я выучусь и стану настоящим художником!

— Вот опять довелось мне на старости лет узнать нечто новое, — сказал растроганный учитель, — право же, удивительно, как многообразно проявляется разум человеческий. Мне кажется, что вы избрали путь славный и благочестивый, и если вам удастся написать такую картину, то это будет труд, пожалуй, не менее похвальный, чем хорошая духовная песнь, гимн в честь весны или урожая... Эй, мальчики, — крикнул он юным любителям рыбоводства, которые все еще возились у садка, — возьмите-ка ушат да наберите побольше рыбы на ужин, угрей, форелей или щук, пусть наши хозяйки их пожарят!

Между тем девушки вернулись в комнату и еще успели услышать конец нашей беседы, так что словоохотливому хозяину нетрудно было перевести разговор на другие предметы и вовлечь в него всех присутствующих. Впрочем, сам я вскоре умолк и держался довольно застенчиво, так как миловидная Анна незаметно оказалась совсем близко от меня и шепталась о чем-то с одной из сестер. Старик говорил с девушками о видах на урожай, о своем винограднике и плодовых деревьях, но и тут каждое его слово звучало как-то необыкновенно благолепно и прочувствованно; догадываясь, что многое в их разговоре мне непонятно, он время от времени разъяснял мне, о чем идет речь. Я же не промолвил более ни слова, — у меня было так светло и радостно на душе, оттого что я нахожусь рядом с этой прелестной девочкой, хотя я и не поднимал на нее глаз, а только испытывал приятное волнение, когда слышал ее голосок.

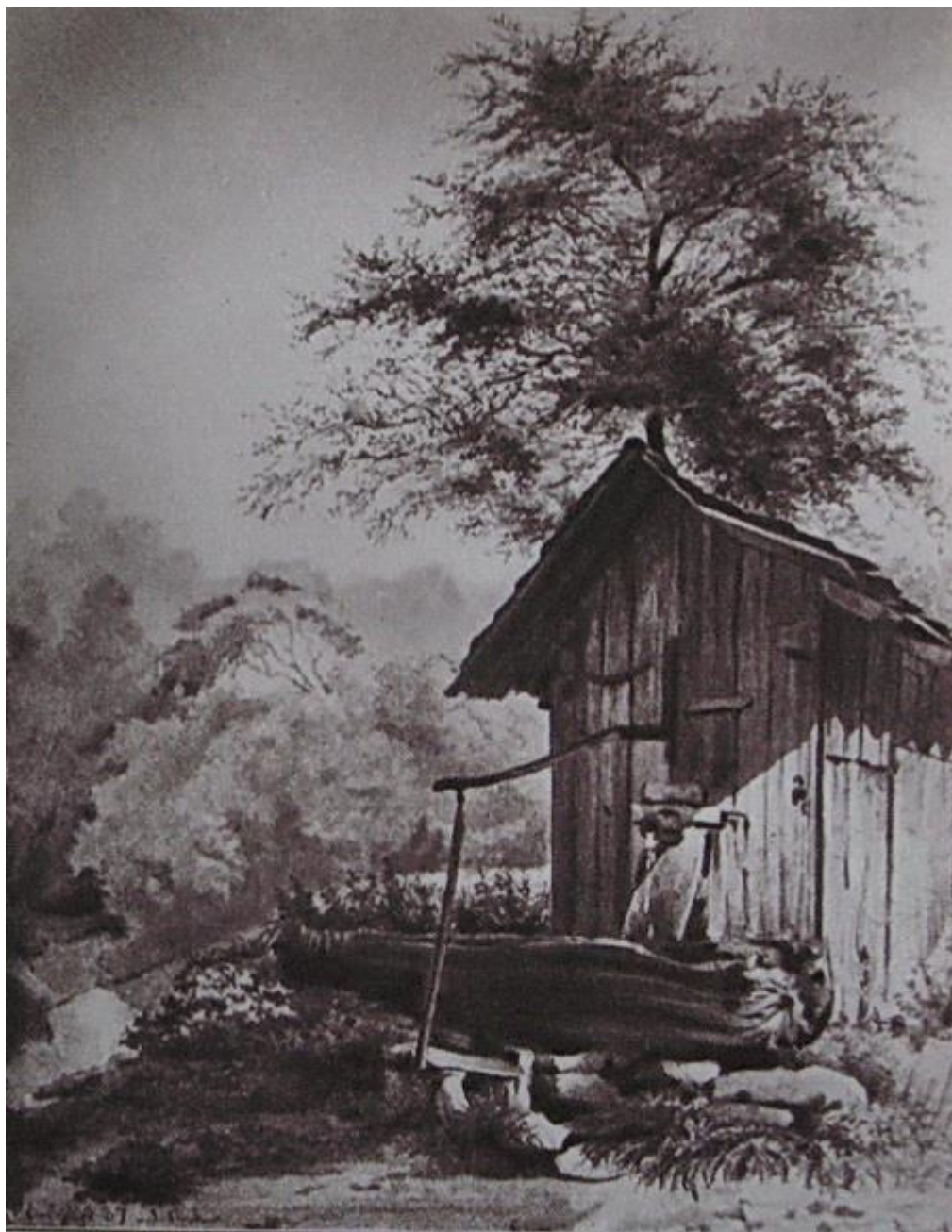
В комнату проник вкусный запах жареной рыбы, он привлек мальчиков, вскоре старая кухарка дала хозяину знак, и учитель пригласил нас подняться во второй этаж. Мы вошли в небольшую, светлую и прохладную комнату с белеными стенами, в которой стояли только продолговатый стол, несколько стульев и старый домашний орган. Стол был уже накрыт, мы уселись и, оживленно беседуя, принялись за ужин, состоявший из самых разнообразных рыбных блюд, так как мои братцы не постеснялись отобрать самых нежных форелей и угрей. Десерт из фруктов и деревенских пряников и легкое светлое вино из того винограда, что рос на холме за домом, дополнили простую, но в то же время обильную и даже по-своему

изысканную трапезу; старик учитель приправлял ее своими глубокомысленными замечаниями, девушки и их братья шутили и задавали друг другу немудреные загадки и головоломки, а в общем тоне беседы было что-то приподнятое, праздничное, так что мы чувствовали себя не совсем как дома, но и не совсем так, как чувствует себя гость в простой крестьянской семье. Когда, подкрепив свои силы, мы встали из-за стола, учитель подошел к органу и открыл его, так что стали видны все его ярко блестящие трубы и нарисованный на внутренней стороне створок райский сад с цветами и зверями, в котором гуляли Адам и Ева. Учитель сел за клавиатуру; мы стали за его спиной полукругом, Анна раздала нам старинные книжечки с нотами и текстом, ее отец сыграл короткое вступление, и мы спели с его голоса и под его аккомпанемент несколько красивых духовных песен, а потом затейливый канон. Мы пели в каком-то радостном упоении, полным голосом, стройно и с чувством меры. Все были так благодарны судьбе, подарившей нам эти прекрасные мгновения, что слух у нас как-то обострился, и наш хор звучал красивее и увереннее, чем на уроке самого строгого школьного регента; я тоже был счастлив и изливал переполнявшие меня чувства, смело и свободно присоединяя свой голос к общему хору, — ведь этот день опять принес мне так много нового и казался прекраснее всех других. Каждый раз, когда мы заканчивали очередную строфу, со стороны озера, из леса, где возвышались стены скал, доносилось отраженное ими гармонично затихавшее эхо, сливавшее аккорды органа и голоса певцов в какой-то необыкновенный волшебный звук, и его последние слабые отголоски все еще дрожали в воздухе, когда мы начинали петь следующую строфу. То здесь, то там, вверху и внизу слышались ликующие человеческие голоса и их радостная песнь вольно лилась в тихом вечернем небе, как будто вся долина пела вместе с нами наш заключительный канон.

Но нам пора было идти домой, так как солнце уже стало спускаться за гору; довольный нашим пением, учитель неохотно расстался с нами, а прощаясь со мной, проявил самые лестные знаки своей благосклонности. Он взял с меня слово как можно чаще навещать его долину во время моих прогулок и просил меня без стеснения останавливаться в его доме, словно бы это был дом моего дядюшки. Анна захотела проводить нас до вершины горы, и мы отправились в обратный путь еще более возбужденные и веселые, чем по пути сюда. На девушек вдруг как-то сразу, как будто без всякой причины, может быть, просто от ощущения полной свободы, нашла безудержная веселость и безобидный шаловливый задор, глаза у них так и светились, и они всю дорогу пели, на этот раз веселые народные песни, а мы подтягивали. Потом разговор перешел на сердечные дела моих сестриц, и в порыве откровенности все трое отделились невинному желанию поболтать и посекретничать, как это водится между девушками, вступившими в полную надежд пору юности, — вскоре между ними разгорелась шутивная перебранка: одна поддразнивала другую, осыпая ее лестными для ее самолюбия намеками, а та сопротивлялась только для виду и отпускала в ответ какую-нибудь лукаво-добродушную колкость. Только Анна, казалось, не боялась подвергаться нападению и лишь время от времени робко вставляла какое-нибудь шутивное замечание; я же слушал их болтовню молча, так как сердце мое было полно пережитым за день. Мы уже дошли до вершины горы, сиявшей в зареве заката; шедшая передо мной Анна была вся какая-то светлая, воздушная, словно неземная, и мне казалось, что рядом с ней стоит и улыбается сам господь бог — друг и покровитель всех пейзажистов, каким он предстал передо мной в разговоре с учителем. Уже попрощавшись со всеми, она напоследок протянула руку и мне, и ее лицо, алое в лучах заката, покраснело при этом еще сильнее. Мы застенчиво пожалы руки, вернее, только кончики пальцев, и вежливо назвали друг друга на *вы*; но братья захохотали, а сестры совершенно серьезно потребовали, чтобы мы говорили друг другу *ты*, — в здешних краях сельская молодежь не признавала другого обращения.

Каждого из нас заставили сказать другому *ты* и назвать его по имени, что мы и сделали довольно робко и церемонно; произнесенное устами Анны, мое имя прозвучало у меня в ушах, как нежные переливы флейты; затем она проворно и боязливо убежала, исчезнув в густых сумерках, окутавших ее родную долину, а мы стали спускаться по другому склону, и тогда я понял, что этот день был для меня вдвойне счастливым: я

приобрел могущественного покровителя, незримо витавшего надо мной в вечерней мгле, и уносил в своем сердце нежный девичий образ, который дерзко поспешил назвать своим кумиром.



Колодец.
Акварель. 1837

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Перевод с немецкого Г. Снимщиковой.

*Глава первая
ВЫБОР ПРОФЕССИИ.—
МАТУШКА И ЕЕ СОВЕТЧИКИ*

Я не мог долее выносить состояние неопределенности и извлек из моих пожитков листок тонкой бумаги, на котором принялся писать первое в моей жизни письмо к матери. Когда вверху страницы, на самом ее краю я вывел: «Дорогая матушка!» — образ матери внезапно предстал моему воображению; я почувствовал, как шагнула вперед моя жизнь, почувствовал всю ее серьезность, так что вдруг словно бы разучился писать, и мне с трудом удалось сочинить несколько фраз. Но затем повествование о моем путешествии и о прочих переживаниях помогло мне выбраться на простор, и из-под пера моего полился хвастливый рассказ, представлявший меня в изрядно приукрашенном виде. Я находил большое удовольствие в том, чтобы выставляться на такой манер, мной овладело это впоследствии не раз повторявшееся желание производить на матушку особое впечатление рассказами о моих удачах, о различных моих подвигах и приключениях, — какая-то особая страсть развлекать ее столь удивительным образом и при этом набивать себе цену. Затем я перешел к цели моего письма и заявил без дальнейших околичностей, что мне следует стать живописцем; поэтому я просил матушку, предварительно обдумав мой замысел, посоветоваться с наиболее опытными людьми из числа наших знакомых. Письмо заканчивалось семейными новостями и приветами, а также некоторыми настоятельными просьбами по части житейских мелочей; я несколько раз аккуратно сложил его и запечатал своей личной печатью — «якорем надежды», который давно было запрятал на дно своего сундучка и теперь впервые извлек на свет.

Получив мое письмо, матушка надела то незатейливое темное платье, в котором совершала официальные визиты, и, сжимая в руке чистый платок, начала торжественный обход знакомых, пользовавшихся в ее кругу особым авторитетом.

Сначала она зашла к одному уважаемому всеми столяру, который нередко бывал в солидных домах и обладал поэтому светскими познаниями. Как друг моего покойного отца, он поддерживал дружбу с нами и к тому же усердно содействовал стремлениям людей своего круга к образованию. С полной серьезностью выслушав речь моей матушки, он решительно отверг мои намерения, которые, по его словам, привели бы только к тому, что ребенок был бы обречен на нищенское и беспросветное существование. Однако столяр вызвался оказать помощь в том случае, если мальчик обязательно захочет взяться за художественное ремесло. Некий юноша — его двоюродный брат — выучился в одном отдаленном городе гравировать географические карты, теперь он немало зарабатывал, так что пользовался доброй славой в глазах всей своей родни. Советчик вызвался, в знак особого дружеского расположения к матушке, отрекомендовать меня этому человеку, с тем чтобы я, если у меня в самом деле имеются способности, правильно используя время для приобретения необходимых знаний, мог научиться не только гравировать карты, но впоследствии и самостоятельно вычерчивать их. Вот это была бы профессия, славная, почтенная, да к тому же полезная и подходящая для солидной жизни.

Полная тревог и сомнений пришла матушка к другому покровителю, который был также другом ее мужа. Он владел фабрикой, изготавливавшей пестрые набивные ткани, и постепенно сумел так расширить свое незначительное предприятие, что теперь пожинал плоды растущего благосостояния. Фабрикант следующим образом отозвался на сообщение моей матушки:

— То обстоятельство, что юный Генрих, сын нашего незабвенного друга, хочет избрать карьеру художника, как и ваше сообщение о том, что он уже давненько охотнее всего занимается карандашом и красками, самым что ни на есть лучшим образом соответствует одной мысли, которую я с недавних пор лелею относительно мальчика. Что же, склонности его устремлены к деятельности более изящной, для которой потребны таланты и высшие влечения, и это вполне в духе его славного отца; однако склонности эти должны быть направлены по верному и разумному пути. Вы, милостивая государыня, мой давний друг, и вам известен характер моего немаловажного предприятия: я изготавливаю пестрые ткани, и если мне удастся получить некоторый доход, то главным образом вследствие того, что я с

величайшим вниманием и быстротой стараюсь применить новейшие и оригинальнейшие рисунки и, больше того, ищу возможностей опередить господствующие вкусы предложением рисунков все более новых и более оригинальных. Для этой цели на фабрике есть свои рисовальщики, которым поручено изыскивать новые образцы; сидя в уютной комнате, они, согласно своему вкусу, разбрасывают по ткани цветы, звезды, завитушки, мазки и линии. В моем заведении трое таких рисовальщиков; я вынужден платить им изрядные деньги, и, сверх того, мне приходится еще окружать их почетом. Хотя они довольно ловко постигают и исполняют свои обязанности, все же им случайно пришлось заняться этим ремеслом, и у них нет к нему никакого душевного влечения. Может ли быть для меня кто-либо желаннее, чем юноша, который с таким жаром отдается бумаге и краскам, который в столь юном возрасте целые дни напролет, не понуждаемый никем, рисует деревья и цветы! Мы ему вдосталь раздобудем цветов, и пусть он себе неумоимо, всякий раз по-новому изощряя свою фантазию, стройными рядами наносит их на ткани; пусть извлечет он из богатой природы самые причудливые, самые волшебные узоры, которые приведут в отчаяние моих конкурентов! Короче говоря, отдайте вашего сына в мой дом! Он у меня быстро догонит других, а через несколько лет мы пошлем его в Париж, где это дело поставлено на широкую ногу и где отличные рисовальщики из разных областей промышленности живут по-княжески, а предприниматели прямо-таки носят их на руках. Когда он там пройдет необходимое обучение и достаточно расширит свои познания, он уже будет сложившимся человеком и сможет сам определить свою участь. Захочет он снова связаться со мной — что же это принесет мне и радость и прибыль; обретет он свое счастье в другом месте — даже и в этом случае я испытаю не меньшее удовлетворение. Обдумайте мои слова, — сдастся мне, что я не ошибаюсь!

Вслед за этим он повел матушку осматривать предприятие и показал ей все свои многоцветные чудеса, все свои резанные по дереву образцы и то, чем он более всего гордился, — изобретательные и смелые узоры своих рисовальщиков. Все это пришлось матушке весьма по душе и внушило ей радостную надежду. Ее пленяло, что такой умелый делец предлагает для меня верное и доходное ремесло, а мысль о том, что искусство это служит украшению женщин, что оно такое чистое и мирное, несла ей уверенность, что сын ее найдет себе здесь надежное пристанище. К тому же она, быть может, испытывала и вполне объяснимое тщеславное волнение, когда воображала себя в платье из недорогой материи, расписанной по моему рисунку. Эти приятные мысли целиком овладели ею, и она на сей раз прервала свои визиты, чтобы отдаться пленительным мечтам.

Однако на следующий день мать, охваченная новыми заботами и сомнениями, пустилась в новый путь, выполняя тот долг, который возложен природою на отца. Она прибыла к третьему другу ее покойного мужа, сапожнику, который пользовался репутацией глубокого мыслителя и пронизательного политика. После смерти моего отца он под влиянием событий стал приверженцем более последовательного демократического направления. Выслушав без всякого сочувствия рассказ матушки об успехе, увенчавшем ее вчерашние усилия, он разразился гневной речью:

— Живописец, канцелярская крыса, изготовитель географических карт, рисовальщик цветочков, хозяйский холуй! Прихвостень денежного мешка, пособник роскоши и разврата, а в качестве рисовальщика географических карт прямой пособник зверских военных нападений! Ремесло, честный и тяжелый физический труд — вот что нам нужно, добрая женщина! Был бы жив ваш муж, он бы, конечно, научил своего сына трудиться и сделал бы его человеком, — это уж как пить дать! К тому же мальчик стал хилым, он избалован вашим бабьим воспитанием; сделайте из него каменщика или каменотеса или, еще лучше, отдайте его мне! У меня он обретет истинную скромность и вместе с тем настоящую гордость человека из народа; еще даже не научившись сшить пару порядочных башмаков, он уже поймет, что такое гражданин. И тогда он будет достойным наследником своего отца, которого так недостает нам, мастерам и ремесленникам. Одумайтесь, госпожа Лее! Мужчина должен пробиться к жизни собственным трудом, иначе он не станет мужчиной!

Скажите, не жмут ли вам те новые башмаки, которые я вам на днях послал?

Но госпожа Лее ушла без особого воодушевления и по дороге бормотала про себя: «Сиди со своим голенищем, останешься голым и нищим, господин сапожник, этаким ты неотесанный мужлан! Латай свой грязный башмак, мой сын не такой дурак, чтобы разделить с тобой компанию! Клянешься ты не богом, а дратвой, но меня не прельстишь такой клятвой. Известное дело: кто к смоле прикасается, тот и марается!» И, произнося все эти желчные афоризмы, которые она вспоминала потом всякий раз, как речь заходила об ее беседе с сапожником, матушка моя взялась за ручку звонка у входной двери высокого и красивого дома, который некогда мой отец построил для одного знатного господина. Этот надменный и изысканно учтивый человек был чиновником, состоявшим на государственной службе, и хотя он не был словоохотлив, однако, обнаруживая известное расположение к нашей семье, он уже не раз помогал нам своими советами. Узнав от матери, о чем идет речь, он ответил ей вежливым, но решительным отказом:

— Мне очень жаль, что именно в этих обстоятельствах я ничем не могу вам служить! Я ровно ничего не понимаю в искусстве! Я только твердо знаю, что даже выдающийся талант не может обойтись без долголетнего обучения, а для этого нужны значительные средства. Правда, встречались гении, которые пробивались к славе, преодолевая препятствия; однако для того, чтобы определить, подает ли ваш сын хоть малейшие надежды, в нашем городе нет ни одного достаточно авторитетного судьи! Все те, кого здесь именуют художниками, весьма далеки от моих представлений об истинном искусстве, и я никогда не стал бы никому советовать идти таким ложным путем. — Затем он задумался и, сделав паузу, продолжал: — И вы, и сын ваш должны понять, что все это детские мечты; вот если он решит прибегнуть к моей помощи, чтобы поступить на службу в одну из наших канцелярий, я готов предложить ему свою поддержку и впредь не терять его из виду. Мне приходилось слышать, что он не лишен способностей, особенно в письменных работах. Если б он сумел хорошо себя зарекомендовать, со временем он мог бы дослужиться до управляющего, подобно многим честным труженикам, которые также начинали свой путь снизу, поступив в канцелярию простыми переписчиками. Впрочем, последнее замечание я сделал отнюдь не для того, чтобы внушить вам какие-то необыкновенные надежды, но только желая показать вам, что мальчика и на этом пути совсем не обязательно ожидает горестная и убогая участь.

Эта речь, открывшая перед моей матерью совершенно новую перспективу, вновь повергла ее в полную нерешительность, и она стала думать, не заставить ли меня самым серьезным образом отказаться от моих намерений. Ведь слова этого уважаемого и уверенного в своих суждениях человека, который не только ясно разбирался в условиях жизни, но и зачастую определял их, который, несомненно, мог оказать помощь тому, кто доверится его совету, — его слова сулили еще большие гарантии, чем обещания фабриканта.

На этом она завершила свой тягостный поход и описала мне в просторном письме его итоги, особенно выделяя предложения фабриканта и государственного чиновника и прося меня — раньше чем я напишу ей о своем окончательном решении — подумать о том, как я мог бы соединить свои естественные влечения с пребыванием на родине, с обеспечением честного пропитания, с тем, наконец, чтобы я неизменно оставался для нее утешением и опорой в старости. Конечно, писала она, не может быть речи о том, чтобы пытаться силой навязать мне жизненное призвание; она отлично знает взгляды, которых придерживался по этому поводу отец, и ее единственная задача — поступить в том духе, в каком поступил бы он.

Письмо начиналось словами «Мой дорогой сын!» — и слово «сын», которое я впервые услышал от нее, тронуло и взволновало меня до глубины души; я оказался поэтому настолько восприимчивым к содержанию письма, что начал сомневаться в самом себе и предался колебаниям. Здесь, среди моих зеленых деревьев, я почувствовал себя совсем одиноким, совсем не защищенным от сурового холода жизни и ее распорядителей. Но в то время как я уже начал было свыкаться с мыслью о том, что мне предстоит навсегда расстаться с моим любимым лесом, я еще более горячо и взволнованно отдался всеми

чувствами природе и целый день провел в горах; угроза расставания заставила меня быстрее разобраться в новых для меня понятиях и ощущениях. Я уже несколько раз скопировал наброски Феликса, покрыв тушью и карандашом белые листы альбома, причем добился даже некоторой выразительности.

Глава вторая **ЮДИФЬ И АННА**

Часто поднимался я в утренние или вечерние часы на гору и смотрел вниз, — смотрел на синеву озера и на расположенный у самого берега дом, где проживали школьный учитель и его дочка; а иногда я целыми днями сидел на склоне горы, пристроившись под сенью бука или дуба, и видел домик, который был то залит солнцем, то покрыт тенью; но чем дальше я мешкал, тем меньше мог заставить себя спуститься вниз; все мои мысли были прикованы к этой девочке, и поэтому мне казалось, что стоит мне только появиться, как всем тотчас станет ясно, ради кого я пришел. Мое воображение было настолько захвачено пленительным образом Анны, что я мгновенно утратил всякую естественность в обращении с ней и самонадеянно полагал, что и она испытывает такие же чувства ко мне. Хотя я и стремился всей душой к новой встрече с нею, ожидание и моя собственная нерешительность не были для меня мучительны; напротив, в этом состоянии раздумья и томительной надежды я даже нравился самому себе, а возможность второго свидания порождала во мне, пожалуй, даже смутную тревогу. Когда мои сестрицы заводили о ней речь, я притворялся рассеянным, делал вид, что не слышу, но не выходил из комнаты до конца разговора, а когда они прямо обращались ко мне и спрашивали, не кажется ли она мне прелестной, я отзывался сухо и коротко: «Да, конечно!»

Мои пути часто вели мимо дома прекрасной Юдифи. При виде этой красивой женщины меня охватывало чувство какой-то стесненности, а она — словно угадывая мое состояние — зазывала меня и удерживала у себя. Ее мать, как большинство самоотверженных и неутомимых старух, привычных к тяжкому труду, почти всегда в жаркие дни работала в поле, тогда как дочь, полная сил женщина, избрав себе благую часть, хозяйничала в прохладе — дома или в саду. Поэтому в погожие дни она всегда оставалась дома одна и была рада, когда к ней заходил побеседовать кто-нибудь из знакомых, кто был ей по душе. Узнав о моих занятиях живописью, она тут же велела мне нарисовать для нее букетик цветов; рисунок ей понравился, и она положила его в свой молитвенник. У нее был маленький альбом с золотым обрезом — два-три исписанных листка и множество чистых страниц; всякий раз, как я приходил, я должен был нарисовать в нем цветок или венок (краски и кисть я оставлял у нее, и она их тщательно хранила). Все эти картинки, которые я исполнял за несколько минут, она закладывала в молитвенник. Но еще до этого я подписывал под рисунками стишки или остроумные изречения, которые черпал из пачки украшенных прописями конфетных оберток — этих хранившихся Юдифью свидетельств об истребленных сладостях. Благодаря частому общению с Юдифью я стал для нее своим человеком. Постоянно думая о юной Анне, я охотно проводил время с прекрасной Юдифью, ибо в ту пору моей жизни меня бессознательно тянуло к любой женщине, и я ни в малой мере не предполагал, что нарушаю верность, когда при виде этого пышного женского цветения мечтаю о нераспустившемся цветке с восхищением еще большим, чем в присутствии самой Анны. Иногда я заставал Юдифь утром, когда она расчесывала свои непокорные волосы, падавшие до пояса. Я принимался играть с этим потоком шелковистых локонов, и Юдифь, сложив руки на коленях, отдавала во власть моих пальцев свою прекрасную голову и, улыбаясь, принимала ласки, в которые быстро переходила шаловливая игра. Томительное чувство счастья, которое я испытывал, не задумываясь над тем, как оно возникает и куда может повести, стало для меня настолько непобедимой привычкой и потребностью, что уже скоро я не мог пройти мимо этого дома, чтобы каждый день не завернуть в него хоть на полчаса, не выпить там чашку молока и не распустить волосы у его смеющейся хозяйки, даже если они были

старательно заплетены и уложены. Но я решался на это, только когда она была совершенно одна и когда никто не мог нас потревожить, да и она только при таких обстоятельствах подпускала меня к себе, и таинственность нашего молчаливого согласия придавала этим встречам сладостную прелесть.

Однажды вечером я пришел к ней, спустившись с горы; она сидела в глубине двора у маленького водоема, только что кончив перебирать груды зеленого салата. Я взял ее руки и, поднеся к прозрачной струе, принялся мыть и тереть их, как моют руки ребенку; при этом я расшалился и стал брызгать ей холодными каплями на затылок и в лицо. Так я забавлялся, пока она не схватила мою голову и, уткнув себе в колени, стала так тереть, что кровь прилила у меня к ушам. И хотя я отчасти заслужил такое наказание, оно показалось мне слишком обидным. Я вырвался и, горя жаждой мести, тоже схватил мою противницу за голову. Но она, не вставая, оказала мне столь сильное сопротивление, что вскоре мы оба, разгоряченные, тяжело дыша, прекратили борьбу, и я переводил дыхание, обхватив обеими руками ее белую шею и прижавшись к ней; грудь ее вздымалась и опускалась, руки бессильно легли на колени, а взор устремился куда-то вперед. Следя за ее взглядом, я тоже погрузился в созерцание вечерней зари, торжественная тишина которой нас окружала. Юдифь сидела погруженная в глубокое раздумье и, сдерживая кипение разгоряченной крови, старалась замкнуть в своей груди внезапно вспыхнувшие желания и порывы, между тем как я, не сознавая того, у какой бездны страстей я покоился, самым невинным образом утопал в тихом блаженстве, и перед моим мысленным взором из прозрачности пылающих облаков выплывал нежный и стройный образ Анны. Ибо только о ней думал я в этот миг; я смутно ощущал ток любви, и мне казалось, что я должен сейчас, именно сейчас увидеть прелестную девочку. Резким движением вырвался я от Юдифи и поспешил домой, а навстречу мне звучал визгливый голос сельской скрипки. В просторном зале собрались все девушки и юноши деревни, — они проводили свободные часы этого прохладного вечера, обучая друг друга танцам под пиликанье местного скрипача, ибо старшие решили подготовить молодежь к предстоящим осенним праздникам, доставив тем самым и себе некоторое развлечение. Когда я вошел в зал, меня тотчас пригласили принять участие в танцах; я согласился и, вступив в веселую толпу пляшущих, внезапно увидел Анну, которая, покраснев, спряталась за рядами. Это очень польстило мне; в глубине души я был счастлив, но, несмотря на то, что со времени нашей первой встречи прошло уже несколько недель, я ничем не обнаружил своей радости и отошел от девушки, отвесив поклон; когда же мои сестрицы потребовали, чтобы я пригласил Анну, которая, как и я, только начинала учиться танцам, я попытался незаметно отделаться от этого под тысячью разных предлогов. Ничто не помогло: против нашей воли мы наконец уступили настояниям и, не глядя друг на друга, почти не касаясь друг друга, с явной неловкостью и смущением, танцуя, пересекли зал. И хотя мне казалось, что я веду за руку ангела и что я внезапно перенесся в рай, тем не менее мы, окончив свой тур, расстались так быстро, что в то же мгновение оказались в противоположных углах. Я, еще так недавно игриво и без тени смущения сжимавший ладонями щеки взрослой, цветущей Юдифи, дрожал, обнимая за талию тонкую, почти воздушную фигурку этого ребенка, и, едва прикоснувшись, отдернул руку, словно дотронулся до раскаленного металла. Теперь и она снова пряталась позади смеющихся девушек, — ее, как и меня, ничем не удавалось завлечь в ряды танцующих; однако когда я говорил, я как бы обращался сразу ко всем присутствующим, чтобы мои слова были услышаны Анной; я воображал, что и те немногие слова, которые она произносила, были предназначены для меня.

Она, как и дочери моего дяди, увлекалась голубями и пришла сюда с корзиной, полной маленьких голубков, предназначенных для обмена; именно по этому случаю и был приглашен проходивший мимо скрипач. Теперь все сговорились, что подобные вечера танцев состоятся еще несколько раз. Но сегодня было уже темно, Анну следовало проводить домой, и выбор пал на меня. Хотя эта весть и прозвучала для меня как сладостная музыка, я сразу стушевался, во мне пробудилась какая-то гордость, не позволявшая мне проявлять любезность и дружелюбие по отношению к девочке; чем больше сердце мое переполнялось

любовью к ней, тем более неприветливым и угрюмым я становился. Анна, однако, оставалась ровной, спокойной, скромной и милой; она ловко завязала ленты своей широкополой соломенной шляпы, украшенной яркой розой. Чтобы уберечь ее от ночной прохлады, тетушка принесла роскошную старинную шаль, усыпанную по белому полю астрами и розами, и накинула ее на голубое, по-деревенски незатейливое платье девочки, которая теперь, с ее золотистыми волосами и тонкими чертами лица, походила на юную англичанку девятидесятых годов. Сохраняя, по всей видимости, полное самообладание, она приготовилась уходить и, хотя знала, кому поручено провожать ее, не проявляла никаких признаков смущения. Слушая шуточные замечания моих двоюродных сестер, она, не глядя в мою сторону, посмеивалась над моей неловкостью и увеличивала этим мое стеснение; я стоял один против сплоченной группы девушек и, казалось, был уже готов остаться в этом зале. Но тут старшая кузина сжалилась надо мной и решительно меня окликнула, так что я мог теперь без всякого ущерба для моей чести присоединиться к шествию, которое двинулось от дома. Все вместе шли мы до края деревни, — там начиналась гора, через которую лежал путь Анны. Все стали прощаться с ней, я стоял позади, видел, как она набросила на себя шаль, слышал, как она сказала:

— Кто же хочет пойти со мной дальше?

Девушки, смеясь, сказали:

— Раз господин художник такой невежа, то тебя должен проводить кто-нибудь другой!

А один из братьев крикнул:

— Эх, раз уж это необходимо, пойду я, хотя художник совершенно прав, что отказывается от роли женского угодника, которая вам так нравится.

Но тут я вышел вперед и заявил суровым тоном:

— Я вовсе не говорил, что не хочу проводить Анну, и если она не возражает, я ее, конечно, провожу.

— Почему бы мне возражать? — сказала Анна, и мы вместе стали подниматься в гору.

Тут все закричали, что раз уж мы с ней такие благовоспитанные горожане, мне непременно следует вести ее под руку; подчинившись этим требованиям, я схватил ее за руку. Анна быстро выдернула ее, мягким, но решительным движением взяла меня под руку и, посмеиваясь, оглянувшись на хохочущую толпу; поняв свою ошибку, я был так сконфужен, что, не произнеся ни слова, помчался вверх по склону, — бедняжка с трудом поспевала за мной. Но Анна и виду не показала, что ей нелегко идти со мной в ногу, она мужественно шагала рядом, а когда мы оказались одни, принялась бойко и уверенно рассказывать о дорогах, которые она мне хотела показать, о полях, о лесе, о том, кому принадлежит тот или иной участок земли, и о том, как эта местность выглядела всего несколько лет назад. Мне нечего было сказать в ответ, и я слушал ее с величайшим вниманием, глотая каждое ее слово, как каплю сладкого муската. Я уже больше не торопился, мы добрались до вершины горы и медленно шагали по ровной дороге. Сверкающий звездами небосвод ширился над землей, но на горе было темно, и эта темнота все больше и больше сближала нас, так как мы, едва различая наши лица, тесно прижимались друг к другу, чтобы лучше друг друга слышать. Где-то в далекой долине ласково журчала вода, внизу то здесь, то там мерцали тусклые огоньки, неровная поверхность земли резко отделялась от неба, которое окружало ее бледным поясом зари. Я созерцал все это, я ловил слова моей спутницы и наслаждался радостью и гордостью, — ведь я вел под руку любимую, такой я считал ее на веки вечные. Мы говорили оживленно и весело о тысяче вещей, о каких-то незначущих мелочах, потом снова с большой важностью о наших общих родственниках и их взаимоотношениях, — мы говорили, совсем как пожилые, умудренные опытом собеседники. Чем ближе подходили мы к ее дому, окно которого уже сверкало на равнине, как светлячок, тем увереннее и громче становился голос Анны; он звенел непрерывно и нежно, наподобие далекого колокольчика, сзывающего к вечерне. В ответ на ее разумные речи я старался высказать мои самые сокровенные думы, и все же за весь вечер мы ни разу не обратились друг к другу с полной непосредственностью, и слово *ты* ни разу более не прозвучало между нами. Мы берегли это

слово, — по крайней мере, я берег его в своем сердце, подобно золотому пфеннигу на дне копилки, который нет надобности расходовать; оно сияло перед нами, как звезда, к которой влеклись все наши разговоры и помыслы, чтобы слиться там, у этой звезды, подобно тому, как две линии тянутся, не соприкасаясь, и наконец соединяются в одной точке. Только когда мы вошли в дом и приветствовали отца, ожидавшего ее, когда она, весело рассказывая о происшествиях этого вечера, с большой естественностью назвала мое имя, только тогда, под защитой отчего крова, где она чувствовала себя как голубка в гнезде, Анна так беззаботно бросила это словечко *ты*, что мне осталось только принять его и так же весело ей воздать. Учитель упрекнул меня за долгое отсутствие и заставил пообещать, что я приду к ним завтра рано утром и весь день проведу у них на озере. Анна отдала мне шаль, я должен был отнести ее обратно. Она осветила мне фонарем дорогу у дома и сказала «до свидания» приветливым тоном, который после молчаливо заключенного дружеского союза показался мне совсем иным, чем прежде. Едва выйдя за усадьбу, я накинул мягкий цветной платок на голову и плечи и, воображая, что закутался в небесное облако, принялся как безумный плясать, взбираясь на темную гору. Когда я достиг вершины, отплясывая под звездами, часы внизу пробили полночь; повсюду господствовала тишина, такая глубокая, что порою казалось, будто она переходит в какой-то таинственный грохот, и только если заставить себя прислушаться, можно было отделаться от этого наваждения и различить мерный шум реки, которая внизу, под горой, катила свои воды. На мгновение я остановился как замороженный, и мне вдруг показалось, что нечто сладостное и жуткое трепещет вокруг меня, приближаясь к горе все суживающимися кругами, проникая мне прямо в сердце. Я благоговейно снял с себя нелепое покрывало и, погруженный в мечты, спустился по склону, после чего, не глядя на дорогу, добрался до дома.

Глава третья **БОБЫ И ЛИРИКА**

Наутро, захватив с собой свои орудия производства, я двинулся по той же дороге. Теперь она искрилась и сверкала от росы и солнца. Вскоре я увидел озеро, еще затянутое утренней дымкой. Дом и сад были словно позолочены солнцем и отражались в хрустально чистой, светлой воде; между грядами двигалась голубая фигурка; издалека она казалась крохотной, словно игрушка, изготовленная нюрнбергскими мастерами; картина исчезла за деревьями, но вскоре выступила в еще больших размерах, приблизилась и, наконец, приняла меня в свои пределы. Учитель и его дочь ждали меня к завтраку; в пути я проголодался и потому с немалой радостью принял их приглашение, между тем как Анна с необыкновенной прелестью исполняла обязанности гостеприимной хозяйки, а затем, усевшись подле меня, так изящно и такими маленькими глоточками пила свое молоко, словно она была эльфом, лишенным каких бы то ни было земных потребностей. Впрочем, не прошло и часа, как я увидел ее с двумя изрядными ломтями хлеба в руках: один она принесла мне, а другой ела сама, деловито кусая его своими белыми зубками, — и то, с каким аппетитом она ела на ходу и за разговором, было ей не меньше к лицу, чем прежде, за завтраком, ее скромная умеренность.

После завтрака отец вместе со старой служанкой поднялся к винограднику и принялся обламывать листья, заслонявшие доступ солнечных лучей к зреющим ягодам. Он вел тихую, созерцательную жизнь, и уход за виноградником, колка дров да заготовка лучинок составляли его главную деятельность. Я же, осмотревшись, нашел для себя другое занятие. Анна должна была очистить от хвостиков груды зеленых бобов, наполнявшую огромный чан, чтобы нанизать их затем на длинные нити, приготовив, таким образом, к сушке. Чтобы остаться близ Анны, я сказал, что мне для разнообразия хочется нарисовать с натуры цветы и что я прошу ее нарвать мне небольшой букет. Озабоченный тем, как он будет составлен, я проводил Анну в сад, и там за полчаса мы набрали цветов, сделали красивый букет и поставили его в старинную хрустальную вазу, которую водрузили на стол в виноградной

беседке за домом. Анна насыпала возле себя груды бобов, и мы, усевшись друг против друга, до полудня работали и беседовали о жизни каждого из нас. Совсем разомлев, я чувствовал себя как дома и вскоре принялся завоевывать уважение моей прелестной маленькой собеседницы разными вескими суждениями, а также искусно вкрапленными в разговор замечаниями и поучениями, которые я произносил тоном превосходства, свойственным старшему брату. В то же время я наносил яркими красками изображения цветов на бумагу, и она, перегнувшись через стол, со связкой бобов в одной руке и с маленьким перочинным ножичком в другой, удивленно и восторженно следила за моей работой. Я рисовал букет в натуральную величину и был вполне уверен, что подарю хозяевам дома на память совершенную драгоценность. Тем временем с виноградника вернулась служанка и позвала мою подругу помочь ей приготовить обед. Это короткое расставание, затем встреча за столом, час отдыха после обеда, похвала моему рисунку, высказанная учителем и одобренная мудрыми изречениями, и, наконец, перспектива нового свидания в беседке до самого вечера — все это сопровождалось радостной суетой и рождало приятные надежды. Анна, казалось, была охвачена теми же чувствами, что и я, судя по тому, как она высыпала на стол гору бобов, которой ей вполне могло хватить до позднего вечера. Но тут внезапно появилась домоправительница и заявила, что Анна должна идти с ней на гору, на виноградник, чтобы еще сегодня закончить работу и не оставлять ее на завтра. Это заявление очень огорчило меня, и я разозлился на старуху; Анна, напротив, охотно пошла за ней и не проявила ни радости, ни обиды по поводу такого изменения ее планов. Старуха, видя, что я остаюсь один, спросила, не пойду ли я с ними, — ведь одному здесь скучно, говорила она, а на винограднике очень красиво и хорошо. Но я был слишком глубоко огорчен, слишком раздосадован и заявил, что должен довести до конца свой рисунок. Так я остался сидеть в одиночестве и, наслаждаясь тишиной летнего дня, снова почувствовал себя счастливым. К тому же уединение принесло пользу и моей работе, ибо теперь я больше старался передать краски стоявших передо мной живых цветов, тогда как в первой половине дня я писал как попало, в моей прежней, детской манере. Теперь я точнее смешивал краски, более чисто и тщательно воспроизводил формы и оттенки, и благодаря этому возникла картина, которая, пожалуй, могла послужить украшением дома неискушенных сельских жителей.

За работой время прошло быстро и легко, и пока я старательно совершенствовал рисунок, то исправляя листок или веточку, то сгущая тени, наступил вечер. Мое расположение к этой девочке научило меня такой добросовестности и тщательности в труде, которая до сих пор была мне неведома. И вот, когда я убедился, что делать мне с рисунком больше нечего, я написал в углу листка. «Генрих Лее fecit⁵⁸», а под самым букетом начертил готическим шрифтом имя будущей владелицы картины.

Между тем работы на винограднике оказалось, по-видимому, немало, — солнце уже садилось за лес, отбрасывая на темнеющие воды озера огненно-красную полосу, а моих гостеприимных хозяев все еще не было дома. Я присел на ступеньки перед домом; солнце зашло, бездонное небо, пылавшее багрянцем и золотом, бросало на все вокруг алые отблески; картина, лежавшая у меня на коленях, была тоже озарена волшебным светом и потому казалась настоящим произведением искусства. Так как я в этот день очень рано поднялся, да и к тому же мне нечем было заняться, я постепенно начал засыпать, а когда пробудился, то увидел, что хозяева вернулись и стоят подле меня в наступивших сумерках, а на темно-синем небосводе сияют звезды. Мою живопись осмотрели в комнате при свете лампы; служанка всплеснула руками над головой, она уверяла, что еще никогда ничего подобного не видела; учитель тоже одобрил мою работу, к тому же он похвалил мою учтивость в отношении его дочери и высказал свою радость по этому поводу в витиеватых выражениях. Анна благодарно улыбнулась, она не решалась дотронуться до подарка, оставила его на столе и поглядывала на него из-за отцовской спины. Мы поужинали, и я уже хотел отправиться

⁵⁸ Рисовал (буквально: сделал) (лат.).

домой, но учитель воспротивился этому: он сказал, что в темноте я неминуемо собьюсь с дороги на горе, и распорядился, чтобы мне приготовили постель. Я заметил было, что прошлой ночью уже проделал путь через гору, однако легко поддался на уговоры остаться, чтобы не обидеть гостеприимных хозяев, после чего мы пошли в зал, где стоял орган. Учитель сыграл на органе, мы с Анной спели несколько вечерних песен, затем по просьбе служанки — псалом, причем она запевала звучным и чистым голосом. Потом старик ушел спать. И вот тут-то в хозяйские права вступила старая Катарина; она навалила в комнате внизу гору бобов и теперь требовала, чтобы все это было обработано за ночь. Катарина страдала бессоницей, поэтому она упорно настаивала на деревенском обычае, согласно которому такую работу нельзя откладывать, хотя бы она затянулась до утра. До часу сидели мы вокруг зеленой бобовой горы, которая таяла по мере того, как каждый выкапывал на ее склоне глубокую пещеру, а тем временем старуха веселила нас неистощимым запасом легенд и забавных историй. Анна, сидевшая напротив меня, с большим искусством прорывала тоннель в бобовой горе и, извлекая один боб за другим, незаметно вырыла такую подземную штольню, что рука ее вдруг появилась в моей пещере, подобно сказочному горному человечку, и уволокла в мрачную темноту несколько моих бобов. Катарина сказала, что, по обычаю, Анна обязана меня поцеловать, если мне удастся поймать ее пальцы так, чтобы гора при этом не обрушилась, и я поэтому стал их подкарауливать. Теперь Анна рыла тоннели в различных направлениях и принялась дразнить меня самым хитроумным образом. Запрятав руку в недрах бобовой горы, она смотрела на меня поверх нее дразнящим взглядом своих голубых глаз и одновременно то высовывала кончик пальца где-то возле меня, то, подобно невидимому кроту, начинала шевелить бобы и вдруг просовывала вперед руку, — но рука тотчас же исчезала, как мышонок в норке, и мне ни разу не удавалось ее поймать. При этом она так наловчилась, что, продолжая смотреть мне прямо в глаза, внезапно выхватила стручок, к которому я было потянулся, и унесла его настолько быстро, что я даже не мог догадаться, куда он подевался. Катарина перегнулась через стол и шепнула мне на ухо:

— Пусть ее! Как только гора от всех ее проделок рухнет, она обязательно должна будет вас поцеловать!

Но Анна тотчас догадалась о том, что мне сказала старуха; она вскочила и, танцуя, трижды повернулась на месте, потом захлопала в ладоши и пропела:

— Не рухнет! Не рухнет! Не рухнет! — При третьем возгласе Катарина быстро толкнула ногой стол, и прорытая со всех сторон гора обрушилась. — Это не в счет, это не в счет! — громко закричала Анна и лихо запрыгала по комнате. Никак нельзя было ожидать от нее такой прыти. — Вы толкнули стол, я отлично видела!

— Неправда! — протестовала Катарина. — Ты должна поцеловать Генриха, плутовка ты такая!

— Ай, постыдилась бы так лгать, Катарина, — говорила смущенная девочка, но неумолимая служанка возразила:

— Пусть будет по справедливости, гора упала раньше, чем ты три раза обернулась, и теперь за тобой поцелуй — ты должна его господину Генриху!

— Он и останется за мной! — смеясь, воскликнула Анна, а я, тоже довольный тем, что избежал торжественной церемонии, и все же стремясь не упустить своей выгоды, сказал:

— Ладно, но только обещай мне, что ты всегда и в любое время отдашь мне этот поцелуй!

— Я согласна! — воскликнула она и, размахнувшись, с легкомысленным простодушием ударила ладонью по моей протянутой руке. Она вообще стала теперь такой оживленной, такой шумной и как ртуть подвижной, что выглядела совсем другим существом, чем утром. Казалось, именно после полуночи она совершенно изменилась: личико ее раскраснелось, в глазах сияла радость. Она плясала вокруг неуклюжей Катаринины, дразня ее; та пустилась ее догонять, и началась игра, в которую я тоже оказался вовлечен. Старая Катарина потеряла туфлю и отступила, чтобы отдышаться, но Анна убежала от меня все более стремительно, увертывалась все более ловко. Наконец я поймал ее и держал

крепко, а она без всякого смущения обхватила мою шею руками, приблизила свои губы к моим и прошептала прерывисто, тяжело дыша:

Жил беленький мышонок
Высоко на горе,
Но чуть не завалило
Бедняжку там в норе.

Я тотчас же ответил ей в тон:

Он убежал из норки,
И вот его поймали
И красненькую ленточку
На лапку привязали.

В том же ритме, плавно покачиваясь из стороны в сторону заговорили мы одновременно:

Мышонок отбивался:
«Ах, дайте мне вздохнуть!»
Но золотой стрелою
Ему пронзили грудь.

И когда мы окончили песенку, оказалось, что наши губы тесно приблизились друг к другу; мы не поцеловались и даже не подумали о поцелуе, только дыхание наше слилось воедино, между нами возникла новая, еще неведомая нам связь, а на сердце была спокойная радость.

Утром Анна снова была тихой и приветливой, как обычно; учитель пожелал рассмотреть мой рисунок при дневном свете, но тут выяснилось, что Анна уже запрятала его где-то в самом укромном уголке своей комнаты. Ей пришлось извлечь картину, и она сделала это весьма неохотно; отец ее снял со стены рамку, в которой помещалось выгоревшее, пожелтевшее объявление 1817 года о повышении цен,⁵⁹ извлек его из рамки и заложил под стекло свежую, пеструю акварель.

— Пора, — сказал он, — пора наконец убрать со стены этот печальный документ, тем более что он и сам не выдерживает натиска времени. Приобщим же его к другим, ушедшим в прошлое и канувшим в забвение памятникам минувших лет и повесим на его место эту цветущую картину жизни, которую создал для нас наш юный друг. Он оказал тебе честь, милая Аннхен, написав под этими цветами твое имя, так пусть же эта картина будет для тебя почетной памяткой, и пусть она служит для всех нас примером жизни — той радостной, нарядной и невинной жизни, какой живут эти пленительные и достолавные создания божьи!

После завтрака я наконец собрался в обратный путь, но тут Анна вспомнила, что сегодня снова состоится урок танцев, и испросила разрешение отправиться сразу же вместе со мной. При этом она предупредила отца, что заночует у своих родственников, иначе пришлось бы, как и в тот раз, ночью подниматься в гору. Мы решили идти вдоль самого ручья по тенистой и прохладной дороге; узкая и сырая тропинка вилась между водорослями и буйным кустарником, и Анна подоткнула свое светло-зеленое в красных горошинках

⁵⁹ ...объявление 1817 года о повышении цен. . — В 1817 г., вследствие неурожая и введения французским правительством высоких пошлин на хлеб, во всей Швейцарии разразился голод, от которого особенно сильно пострадало население восточной части страны и кантона Цюрих. По словам швейцарского историка С. Цурлиндена, «страна была полна нищими; на улицах, в полях и лесах находили умирающих от голода».

платье. Сняв соломенную шляпу, чтобы не задевать ею низко нависавших ветвей, она шагала рядом со мной в густой тени, пронизанной солнечными бликами, — их отбрасывал прозрачный ручей, струившийся по розоватым, белым и голубым камешкам. Ее золотистые косы ниспадали на спину, лицо ее утопало в белом, ею самой придуманном сборчатом воротнике, прикрывавшем узкие девичьи плечи. Она мало говорила и, казалось, стыдилась минувшей ночи; в густой траве, там, где я не мог разглядеть ничего интересного, она замечала поздние цветы и нарвала такой большой букет, что еле держала его обеими руками. Когда мы добрались до места, где ручей расширяется, образуя небольшое озеро, она бросила наземь свою ношу и сказала:

— Здесь мы отдохнем!

Мы сели на берегу озера; Анна сплела венок из маленьких, благородных лесных цветов и надела его на голову. Теперь она была похожа на сказочную принцессу; из воды глядело на меня ее отражение; улыбающееся, румяное лицо ее в зеркале воды казалось темнее, словно я глядел на него сквозь дымчатое стекло. На другом берегу озера, шагах в двадцати от нас, высилась почти отвесная скала, покрытая редким кустарником. Крутизна ее говорила о том, что здесь, у самого берега, было очень глубоко, а по высоте она не уступала церкви. В середине скалы виднелось углубление, к которому не было никаких зримых подходов. Оно напоминало широкое окно в башне. Анна поведала мне, что местные жители называют эту пещеру «Пристанищем язычников».

— Когда в этот край проникло христианство, — сказала она, — язычникам, не желавшим креститься, приходилось скрываться. И вот целое семейство с множеством детей укрылось в этой дыре там, наверху, каким-то чудом туда пробравшись. К ним нельзя было подступиться, но и сами они уже не нашли оттуда пути. Они жили там, варили себе еду, и один младенец за другим падал со стены в воду и тонул. Последними остались отец с матерью, у них больше не было ни еды, ни питья; когда они появились у входа в пещеру, то походили на два жалких скелета; неподвижным взором глядели они на могилу своих детей; от слабости они уже не могли держаться на ногах и, наконец, тоже упали. Теперь вся семья лежит здесь, в бездонной пучине, где скала так же глубоко уходит под воду, как высоко она вздымается над ее уровнем.

Сидя в тени, мы смотрели вверх; солнечные лучи сверкали на вершине серого утеса, причудливо освещая углубление. И вдруг мы увидели, как из «Пристанища язычников» выбился голубой блестящий дымок, поднимающийся к небу вдоль утеса. С удивлением всматриваясь в него, мы заметили, что в облаке дыма стоит необыкновенная женская фигура, длинная и тощая; женщина посмотрела вниз пустыми глазами и тотчас исчезла. Словно онемев, следили мы за видением; Анна тесно прижалась ко мне, а я обхватил ее рукой; мы были испуганы, но все-таки счастливы. Видение расплылось и исчезло перед нашими глазами, а когда туманное облако рассеялось, мы увидели, что там, на краю, стоят мужчина и женщина и смотрят на нас. Орава полуголых или совершенно голых мальчиков и девочек сидела в этой дыре, свесив ноги с утеса. Множество взглядов было устремлено на нас, люди горестно улыбались и протягивали к нам руки, словно о чем-то нас умоляя. Нам стало страшно, мы поспешно встали, Анна шептала, проливая крупные слезы:

— Бедные, бедные язычники!

Она была твердо убеждена, что перед нею духи язычников — ведь все кругом уверяли, что к этой пещере в скале нет никаких путей.

— Пожертвуем им что-нибудь, — тихо проговорила девочка, — пусть до них дойдет наше сочувствие!

Она извлекла монету из своего кошелька, я последовал ее примеру, и мы положили нашу лепту на камень у самой воды. Еще раз взглянули мы наверх — таинственные призраки, все время следившие за нами, теперь благодарно смотрели нам вслед.

Когда мы добрались до села, нам рассказали, что в нашей местности появилась группа бродяг и что в ближайшие дни их собираются поймать и переправить через границу. Теперь Анна и я поняли, чем было наше видение; значит, все-таки существовал тайный путь к

пещере, путь, известный только бедному люду, искавшему подобные убежища. Оставшись наедине, мы дали друг другу торжественную клятву — не выдавать местонахождения этих несчастных; отныне нас с Анной связывала важная тайна.

Глава четвертая **ПЛЯСКА СМЕРТИ**

Так и жили мы, простодушно и счастливо, день за днем; то я отправлялся через гору, то Анна приходила к нам, и теперь наша дружба никого уже не могла удивить, никто в ней не видел ничего дурного, и один только я втайне называл ее любовью, потому что все происходившее с нами казалось мне событиями из романа.

Тем временем заболела моя бабушка; болезнь ее становилась все серьезнее, и через несколько недель уже не оставалось сомнений в том, что она скоро умрет. Она долго жила и устала от жизни; пока она еще была в ясном сознании, ей доставляло удовольствие, если я час-другой проводил возле ее постели, и я охотно выполнял свой долг, хотя вид ее страданий и пребывание в комнате больной были для меня непривычны и мучительны. Когда же наступила агония, длившаяся несколько дней, эта обязанность превратилась в серьезное и суровое испытание. Я никогда еще не видел, как умирают люди, и теперь на моих глазах эта старая женщина, лежавшая без сознания — так, по крайней мере, мне казалось, — день за днем, хрипя и стона, боролась со смертью, и я наблюдал, как упорно продолжает теплиться в ней огонек жизни. Обычай требовал, чтобы в комнате умирающей постоянно находилось не менее трех человек, которые попеременно читали бы молитву или принимали посетителей и давали им сведения о состоянии больной. Но стояли погожие осенние дни, у всех было много работы, а так как я ничем не был занят и достаточно бегло читал, мне приходилось большую часть суток проводить у смертного одра бабушки. Я должен был сидеть на скамеечке и, держа книгу на коленях, с выражением читать псалмы и успокоительные молитвы; хотя своей выдержкой я и стяжал расположение женщин, зато чудесный божий свет мне доводилось видеть только издали, а вблизи я постоянно наблюдал зрелище смерти.

Я никак не мог теперь навестить Анну, образ которой был для меня самым сладостным утешением при моем аскетическом бытии; но однажды она сама неожиданно появилась на пороге, — она пришла проведать бабушку, приходившуюся ей очень дальней родственницей. Крестьянки любили и уважали Анну и потому приняли ее радушно, а когда она, постояв некоторое время молча, предложила сменить меня и почитать молитвы, они охотно согласились; она осталась подле меня у одра умирающей и вместе со мной видела, как пламя жизни, упорно вспыхивавшее все вновь и вновь, постепенно угасло. Мы мало говорили с Анной, — только передавая друг другу молитвенники, успевали мы прошептать несколько слов, или в минуты короткой передышки, когда мы мирно сидели рядом, молодость брала свое, и мы тихонько поддразнивали друг друга. Но вот наступила смерть, женщины громко зарыдали, и Анна, которой эта смерть касалась меньше, чем меня, залилась слезами; она никак не могла успокоиться, тогда как я, внук усопшей, стоял с сухими глазами, суровый и сосредоточенный. Я тревожился за бедную девочку, плакавшую все сильнее, и чувствовал себя подавленным и разбитым. Я отвел ее в сад, гладил по щекам, умолял не плакать так горько. И тут лицо ее просветлело, словно солнце глянуло сквозь сетку дождя, она осушила глаза и с неожиданной улыбкой посмотрела на меня.

Для нас снова наступили свободные дни. Я проводил Анну домой, чтобы она отдохнула до дня похорон. Все это время я был очень серьезен, — события последних дней потрясли меня, да и к бабушке, хоть и знал я ее сравнительно недолго, я привык относиться с любовью и глубоким почтением. Такое мое расположение духа огорчало Анну, и она всевозможными хитростями пыталась развлечь меня; в этом отношении она не отличалась от остальных женщин, которые уже болтали и сплетничали, как прежде, собираясь перед своими домами.

Муж покойной бабушки, который в душе вовсе не был огорчен печальным исходом, делал теперь вид, что понес невозместимую утрату и что при жизни своей жены высоко

ценил ее. Он заказал пышные похороны, в которых должны были участвовать свыше шестидесяти человек, и следил за тем, чтобы при отправлении старинного обряда ничто не было забыто.

В назначенный день мы с учителем и Анной отправились в путь; он был в парадном черном фраке с очень широкими фалдами и белом галстукe с вышивкой, Анна — в черном, для церкви, платье со своим особенным сборчатым воротником, делавшим ее похожей на послушницу. Соломенную шляпу она оставила дома и как-то особенно искусно заплела волосы; сегодня ею владело глубокое чувство смирения и набожности, она была тиха, и все ее движения были полны благородства; все это заставило меня увидеть ее в ореоле нового бесконечного очарования. К моему печально-торжественному расположению духа примешалось чувство сладостной гордости от сознания того, что я — близкий друг этого необыкновенного и пленительного создания, а к этой гордости прибавилось чувство глубокого уважения, благодаря которому я также соразмерял и сдерживал свои движения и, шагая с ней рядом, старался поддержать ее там, где она, как мне казалось, могла споткнуться.

Сначала мы сделали остановку в доме моего дяди, — вся его семья уже собралась в путь и по звуку похоронного колокола присоединилась к нам. Но в доме усопшей мне пришлось расстаться с моими спутниками, ибо, как внук, я должен был находиться в кругу родных; я был самым молодым из близких родственников покойной, и поэтому мне, облаченному в неизменную зеленую куртку, пришлось стоять впереди всех собравшихся и первым принять на себя тяжесть бесконечного и томительного погребального обряда. Ближайшая родня собралась в большой комнате, откуда была убрана мебель, и все ждали деревенских женщин, которые должны были прийти и выразить нам свое соболезнование. После того как мы довольно долго простояли вдоль стен неподвижно и безмолвно, в комнату стали входить одна за другой многочисленные пожилые крестьянки в черных платьях; каждая из них сначала подходила ко мне и, пожимая мне руку, произносила приличествующие случаю слова, а потом переходила к другим и все это повторяла. Большинство из них, сгорбленные и дрожащие старухи, произносили свои речи с глубоким чувством, были старыми приятельницами усопшей, и они вдвойне ощущали близость смерти. Многозначительно смотрели они мне прямо в глаза, и я должен был благодарить каждую из них и каждой смотреть в глаза, — так бы я все равно поступил, даже когда бы этого не требовал обряд. Если среди них и была какая-нибудь одна высокая и полная сил старуха, которая твердой походкой подходила ко мне и спокойно на меня смотрела, то следом за ней уже снова шла согбенная старушка, — казалось, что по опыту собственных страданий она могла без труда понять страдания покойницы. Однако женщины становились все моложе, и чем моложе они становились, тем больше их было; теперь комната совсем заполнилась фигурами в темных одеждах; то были женщины и сорока и тридцати лет, живые, любопытные, и одинаковые траурные платья едва скрадывали особенности характера и темперамента каждой из них. Они шли бесконечной вереницей; пришли не только все женщины нашего села, но и многие из окрестных деревень, — покойница пользовалась доброй славой, которая, хотя и ушла уже в прошлое, сегодня снова выступила во всем блеске. Наконец руки, которые я пожимал, стали глаже и мягче, — это потянулось юное поколение; я был уже совсем измучен, когда подошли мои кузины, ободрили меня и дружески пожали мне руку, а сразу же вслед за ними вошла прелестная Анна, показавшаяся мне посланцем небес; бледная, взволнованная, она, проходя мимо, подала мне свою маленькую руку, уронив на нее несколько блеснувших слез. Я почему-то совершенно не думал о ней и не надеялся ее увидеть, и оттого ее появление показалось мне еще более чарующе удивительным.

В конце концов поток женщин все же прекратился, мы вышли из дома и снова выстроились в ряд. Множество крестьян, стоявших также в торжественном молчании, ожидало нас, чтобы совершить тот же обряд. Правда, они действовали значительно быстрее, чем их жены, дочери и сестры, но их шершавые, жесткие руки стискивали мои пальцы,

словно кузнечные клещи или щипцы, так что я порой и не надеялся извлечь свою руку целой из железных кулаков некоторых загорелых землепашцев.

Наконец гроб, покачиваясь, поплыл перед нами; женщины рыдали, а мужчины сосредоточенно и смущенно смотрели на дорогу. Появился и приступил к своим обязанностям священник, и я, сам не зная, как это произошло, оказался во главе длинной процессии на кладбище, а затем и в прохладном помещении церкви, которую быстро заполнили прихожане. Удивленно и внимательно слушал я теперь, как с церковной кафедры произносилась девичья фамилия бабушки, как говорилось об ее происхождении, возрасте, жизненном пути, как была провозглашена хвала бабушке; от всего сердца я присоединился к хору, спевшему в конце церемонии заупокойную молитву. Но, услышав, как за дверью церкви гремят лопаты, я вырвался наружу, чтобы посмотреть в могилу. Простой некрашенный гроб уже был опущен в глубокую яму, вокруг стояло много людей, и все плакали, комья земли со стуком падали на крышку гроба и постепенно покрыли его; я удивленно смотрел на могилу, мне казалось, что я стал чужой самому себе, и покойница, зарытая в землю, тоже казалась мне чужой, и у меня не было слез. Только когда я вдруг осознал, что это была родная мать моего отца, и когда я подумал о своей матери и о том, что ее тоже однажды так вот положат в землю, я вновь ощутил мою связь с этой могилкой и все значение слов: «И преходит род, и возникает новый!»

Та часть собравшихся, которая была приглашена на поминки, опять отправилась к дому усопшей, в комнатах которого шла оживленная подготовка к трапезе. Согласно обычаю, я и за столом должен был оставаться возле мрачного вдовца, и мне пришлось высидеть, не произнеся ни слова, целых два часа, пока длилась первая часть традиционной трапезы со всеми ее неизбежными блюдами. Я оглядел весь длинный стол, разыскивая глазами учителя и его дочь, которые должны были быть среди присутствующих. Но я их не нашел, — по видимому, они находились в соседней комнате.

Сначала говорили мало и рассудительно, ели с большой степенностью. Крестьяне, которые сидели прямо, прислонившись к спинке стула или к стене, на порядочном расстоянии от стола, накалывали куски мяса, торжественно вытянув руку и держа вилку за самый кончик. Так самым длинным путем доставляли они в рот свою добычу и пили вино маленькими, короткими, но частыми глотками. Служанки вносили широкие оловянные блюда, держа их вытянутыми руками на уровне глаз, шагая размеренно и чинно и покачивая крутыми бедрами. Там, где они ставили блюдо на стол, двое ближайших соседей незамедлительно вступали в соревнование: каждый из них, предлагая свой бокал вина, должен был шепнуть служанке на ухо, по крайней мере, две скабрзные шутки; ей удавалось примирить соперников только после того, как она отпивала по глотку из каждого бокала, после чего удалялась, более или менее удовлетворенная исполнением этого этикета.

По истечении двух долгих часов самые неотесанные из гостей начинали все ближе придвигаться к столу, налегая на него локтями, и только теперь по-настоящему принимались за еду, сопровождая ее обильными возлияниями. Те, кто был поумереннее в еде, позволяли себе вести более оживленную беседу; они все теснее сдвигали стулья, и разговор их постепенно принимал сдержанно веселый характер. Это веселье, разумеется, отличалось от обычного, в нем таился символический смысл, который выражал беспечальную покорность року и торжество жизни над смертью.

Наконец-то возле меня образовалось свободное пространство, я покинул свое место и прошел в соседнюю комнату. Там за небольшим столом Анна сидела подле своего отца, который в кругу других почтенных и благочестивых сотрапезников предавался мудрому и светлому примирению с неотвратимой судьбой. Он ухаживал за несколькими женщинами почтенного возраста и для каждой из них еще умел найти те слова, которые так радовали их слух лет тридцать назад. В ответ они на все лады превозносили маленькую Анну, расхваливали ее манеры, а старика называли счастливым отцом. Я подсел к этой компании и вместе с Анной стал слушать рассудительные речи старшего поколения. При этом мы оба, впервые развеселившись, поели немного из одной тарелки и вместе выпили бокал вина.

Внезапно где-то над нашими головами раздалось гудение и свист. Это настраивались скрипка, контрабас и кларнет, а валторна издавала глухие, протяжные звуки. Когда те, что были помоложе, стали подниматься из-за стола и потянулись наверх, на просторный чердак, учитель сказал:

— Неужели все-таки будут танцы? Я полагал, что этот обычай наконец отменен, и, без сомнения, только здесь, в нашем селе, он еще иногда соблюдается! Я почитаю старину, но ведь отнюдь не все, что зовется стариною, достойно почитания и подражания. И все же, дети, сходите посмотрите, как танцуют, что-бы потом вы могли рассказать об этом обычае, ибо, надо надеяться, пляскам на поминках все же когда-нибудь да придет конец! Мы тотчас же выскользнули из комнаты; в сенях и на лестнице гости строились парами, потому что подниматься в одиночку было запрещено. Взяв за руку Анну, я стал с ней в ряд, и вскоре по сигналу, данному музыкантами, все двинулись наверх. Оркестр нестройно сыграл траурный марш, в такт музыке все трижды обошли чердачное помещение, превращенное в танцевальный зал, и образовали большой круг. Затем на середину вышли семь пар, и, сопровождаемые оглушительными ударами в ладоши, они начали исполнять тяжеловесный старинный танец из семи фигур с замысловатыми прыжками, коленопреклонением и переходами. После того как это зрелище отняло положенное ему время, появился хозяин; он прошелся по рядам и поблагодарил гостей за участие; на ухо, но так, чтобы слышали все, он шепнул нескольким молодым парням, что не следует слишком близко принимать к сердцу его несчастье, и пусть, мол, оставив его одиноко горевать, они вновь отдадутся всем радостям жизни. Вслед за тем хозяин, низко опустив голову, сошел по лестнице с таким видом, будто лестница эта вела прямо в преисподнюю. Музыка внезапно перешла в развеселый вальс, старики отошли к стенке, а молодежь, ликуя и топоча, понеслась вприпрыжку по ходящему ходуном полу. Анна и я, держа друг друга за руки, в изумлении стояли у окна и наблюдали эту сатанинскую пляску. Мы видели, как остальная деревенская молодежь собиралась перед домом, привлеченная звуками скрипки. Девушки толпились у дверей, юноши зазывали их наверх, и, сделав один круг танца, они получали право, подойдя к окошку, пригласить парней, ожидавших внизу. Было принесено вино, молодежь распивала его в темных закоулках под крышей, — и вскоре все было захвачено шумным вихрем веселья, казавшегося особенно удивительным оттого, что был обычный трудовой день и вокруг на полях кипела повсюду неумолимая, безмолвная работа.

После того как мы долгое время наблюдали за танцами, уходили с чердака и опять вернулись, Анна сказала, краснея, что ей хотелось бы попробовать, может ли она танцевать в этой большой толпе. Это меня очень обрадовало, и в тот же миг мы понеслись в туре вальса. Так началось, а потом мы долго без перерыва и без усталости плясали, забыв обо всем на свете, в том числе и о себе самих. Когда музыканты делали паузу, мы не останавливались, а продолжали быстрыми шагами двигаться в толпе и вновь начинали плясать при первом звуке музыки, где бы она нас ни заставала.

Но едва раздался гул церковного колокола, звонившего к вечерне, как оркестр умолк, не доиграв до конца вальс, танцующие остановились и опустили руки, девушки отступили от своих кавалеров, и все, церемонно прощаясь, заспешили вниз по лестнице, уселись еще раз за стол, чтобы отведать кофе с пирогами и затем чинно разойтись по домам. Анна стояла с горящим лицом, задержавшись в моих объятиях, а я недоуменно смотрел на окружающих. Она тихо рассмеялась и повела меня вниз; отца ее в доме уже не было, и мы отправились за ним к моему дяде. На дворе смеркалось, наступила дивная осенняя ночь. Придя на кладбище, мы увидели свежую могилу, озаренную светом всходящей золотой луны; теперь здесь было безлюдье и тишина; обнявшись, мы постояли над темным холмиком; две ночные бабочки пролетели между кустами; Анна глубоко и прерывисто дышала. Мы побрели между могилами, чтобы собрать букет на могилу бабушки, и, путаясь в высокой траве, остановились в причудливой тени разросшихся кладбищенских кустарников.

В темноте то там, то тут сверкали поблекшей позолотой надписи на могилах или отсвечивали грани камней. И вот, когда мы стояли среди ночи, Анна вдруг шепнула мне, что

хочет мне что-то сказать, но я должен ей обещать, что не буду смеяться над ней и сохраню ее слова в тайне. «Что же это?» — спросил я ее, и она сказала, что хочет сейчас отдать мне поцелуй, который остался за ней с того вечера. А я уже склонился к ней, и мы поцеловались столь же торжественно, сколь и неумело.



На берегу Зили.
Акварель. 1837 г.

Глава пятая
НАЧАЛО РАБОТЫ.—
ХАБЕРЗААТ И ЕГО ШКОЛА

Когда Анна, отправляясь спать, просталась с отцом, меня не было в комнате, и она потому не могла пожелать мне покойной ночи. Мне было больно от сознания, что я не застал ее, и все же счастье, окрылявшее мою юную душу, заслонило все прочие переживания; в

отведенной мне комнате я лежал у окна еще целый час и следил за ходом далеких звезд, а внизу, под окном, волны на светлых спинках своих уносили в долину серебристые блики, торопясь и лукаво посмеиваясь, будто украли их у луны; то тут, то там они бросали на берег сверкающие серебряные брызги, словно им невольно было нести их дальше, и при этом пели несмолкаемую свою песенку, веселую песенку странствий.

Губы мои хранили воспоминание о чем-то сладостном и теплом, но в то же время свежем и прохладном, как роса.

Всю ночь, в часы сна и в часы бодрствования, которые часто и резко сменяли друг друга, вокруг меня витал рой туманных призраков, сновидение сменялось сновидением, и они были то многоцветные и яркие, то темные и душные, а потом внезапно темно-синий мрак снова рассеивался, и его сменяла светлая голубизна, которая переливалась пестрыми лепестками цветов; ни разу мне не снилась Анна, но я целовал листья деревьев, цветы и прозрачный воздух, и отовсюду получал ответные поцелуи; какие-то незнакомые женщины шли по кладбищу и переходили вброд ручей, и ноги их отливали серебристым блеском; на одной из них было черное платье Анны, на другой — синее, на третьей — зеленое с красными горошинками, на четвертой — сборчатый воротничок, и когда я в испуге бежал за ними следом и затем сразу же просыпался, мне казалось, что живая Анна только что ускользнула с моего ложа, и я вскакивал в оцепенении и растерянности и громко звал ее по имени, пока безмолвная ночь, сиявшая звездами над долиной, не приводила меня в чувство и не сбрасала меня в объятия новых снов.

Так продолжалось до самого утра, и, проснувшись, я чувствовал себя так, словно был напоен и опьянен горячей влагой блаженства.

Все еще хмельной от счастья и погруженный в мечты, я явился к моим родственникам, где застал соседа-мельника, чья бричка поджидала меня, чтобы ехать в город. Дело в том, что мое возвращение уже давно было приурочено к тому дню, когда мельник поедет в город по своим делам, и он был согласен захватить меня с собой. Это была удачная оказия, но я остался к ней равнодушен, а так как мельник к тому же явился неожиданно и раньше срока, мой дядя и вся его семья стали уговаривать меня отпустить мельника и остаться. Сердце мое рвалось к Анне и к тихому озеру, но тем не менее я заверял всех с полной серьезностью, что обстоятельства обязывают меня воспользоваться этим случаем; торопливо позавтракав, я сложил вещи, простился с родственниками и уселся вместе с мельником в повозку, которая без остановки промчалась через село и вскоре выехала на дорогу. Все это я сделал в состоянии душевного смятения, отчасти опасаясь, что все сразу же догадаются о моей любви к Анне и о том, что я остался из-за нее, а отчасти под влиянием необъяснимой прихоти.

Едва мы отъехали шагов сто от села, как я начал раскаиваться в своем отъезде; меня так и подмывало выскочить из повозки, я поминутно оборачивался и смотрел на холмы, окружавшие озеро, видел, как они становились все меньше и синее и как над большими глубокими озерами вырастали цепи высоких гор.

В первые дни после моего возвращения я с трудом приходил в себя. Глядя на величественные вершины, окружавшие город, я уносился мыслями к покинутой мной местности, которая казалась мне раем, и только теперь я понял всю ее прелесть, такую безыскусственную и простую, спокойную и милую. Когда с самой большой горы, возвышавшейся над нашим городом, я смотрел на окрестные просторы, тонувшая в голубой дали еле заметная полоска, с которой я связывал мое представление о селе, находящемся неподалеку озере и доме учителя, казалась мне самой живописной частью окружавшего меня пейзажа; оттуда веяло чистой, блаженной прохладой; казалось, будто Анна, невидимо пребывающая в этой голубоватой мгле, одушевляет таинственной силой все разделяющее нас пространство, и даже когда я стоял внизу, в долине, и не видел на далеком горизонте этого счастливого края, я знал, я чувствовал, в какой стороне он находится, и с глубокой грустью, словно тоскуя по родине, смотрел на ближние горы, скрывавшие от меня этот кусочек неба.

Тем временем вопрос о выборе профессии становился с каждым днем острее, — никто

не хотел больше мириться с тем, что у меня нет никакого дела и никаких твердых намерений. Однажды я прошел мимо ворот фабричного здания, принадлежавшего одному из моих благожелателей. Отвратительный запах кислоты ударил мне в нос, я увидел бледных ребятишек, которые там трудились и, смеясь, строили мерзкие рожи. Я отверг надежды, которые мне здесь сулили; такому жалкому ремеслу, лишь отдаленно связанному с искусством, я готов был предпочесть должность переписчика и уже начал смиренно свыкаться с этой мыслью. Ибо никаких видов на то, что мне удастся поступить в учение к настоящему художнику, у меня не было.

И вот в один прекрасный день мне довелось увидеть, как многие образованные граждане нашего города входили в подъезд одного общественного здания и выходили из него. Я осведомился, что их сюда привлекает, и узнал, что в этом помещении открыта передвижная художественная выставка. Я видел, что туда заходят только хорошо одетые люди, а потому побежал домой, нарядился так, словно собирался в церковь, и только тогда решился войти в этот таинственный дом. Я вступил в светлый зал, где со всех стен и стендов сияли яркие краски и золотые рамы. Первое впечатление было таково, точно я вижу прекрасный сон; со всех сторон теснились, сливаясь в единую волшебную картину, напоенные воздухом пейзажи; перед моими глазами поплыли полные очарования облака и цветущие ветви; пылали закаты, мелькали то там, то тут детские головки и прелестные этюды; и все это вытеснялось каждым новым творением, так что я не раз останавливался и, озираясь, искал глазами пропавшие великолепные липовые рощи или же грандиозные горные хребты, которые я только что видел. К тому же свежий лак на этих картинах издавал праздничный аромат, казавшийся мне намного благоуханнее, чем ладан в католическом храме.

С большим трудом я заставил себя наконец остановиться перед одной картиной, а остановившись, забыл обо всем на свете и не мог сдвинуться с места. Украшением выставки было несколько больших полотен женеvской школы,⁶⁰ изображавших с непостижимым для меня блеском могучие деревья и великолепные облака; между ними висели легкие, игривые жанровые сценки и акварели; публика толпилась также у нескольких картин с историческими сюжетами и с изображением святых, окруженных сиянием нимбов. Но я все снова и снова возвращался к огромным пейзажам, следил за солнечными лучами, которые пробивались сквозь листву и сверкали в траве, и старался запечатлеть в памяти те чудесные, причудливые облака, которые, казалось, создали, шутя и играя, истинные счастливицы.

Весь день до закрытия выставки я, блаженствуя, провел в этом зале, где все казалось тонким и благородным, где люди с учтивостью приветствовали друг друга и, стоя перед блестящими рамами, вели беседу в самых изысканных выражениях. Придя домой, я уселся в раздумье и стал горько сетовать на то, что мне пришлось отказаться от живописи; мое уныние тронуло сердце матушки, и она снова отправилась искать совета, решив во что бы то ни стало помочь исполнению моих желаний.

Наконец она набрела на старика, который жил в пригороде, в здании старинного женского монастыря, и там в безвестности создавал удивительные произведения искусства. Он был в одном лице и художником, и гравером, и литографом, и печатником; в старомодной манере рисовал он популярные швейцарские пейзажи, гравировал их на меди и сам же делал оттиски, которые давал раскрашивать нескольким молодым людям. Гравюры свои он рассылал по всему свету и вел таким образом успешную торговлю. При этом он охотно делал все, что приходилось: изготовлял метрические свидетельства с гербами и списком свидетелей, могильные надписи с плачущими ивами и плачущими гениями... Приди

⁶⁰ Украшением выставки было несколько больших полотен женеvской школы — Речь идет о так называемой «героической» ландшафтной живописи в Швейцарии первой половины XIX в., представленной прежде всего такими художниками, как Александр Калам (1810—1864) и Франсуа Дидей (1802—1877). Для творчества художников женеvской школы характерны романтическое восприятие швейцарской природы, тщательная отделка деталей, декоративность композиции.

к нему какой-нибудь невежда и скажи: «Можете ли вы написать мне картину, которая шла бы среди знатоков за десять тысяч талеров? Я хочу иметь такую картину!» — он, не задумываясь, принял бы подобный заказ и, получив вперед половину стоимости, немедленно взялся бы за работу.

В трудах своих он пользовался помощью небольшой, но отважной горстки верных, а местом действия им служила бывшая трапезная набожных монахинь. В обеих продольных стенах этого помещения было по шесть высоких окон, и в их узорных переплетах красовалось множество круглых стекол с волнистой поверхностью; они хотя и пропускали в мастерскую дневной свет, но не давали бросить взгляд наружу, что весьма благотворно сказывалось на трудолюбии расположившейся здесь художественной школы. У каждого из этих окон сидел один из учеников, глядя в затылок сидевшему впереди него собрату, между тем как ему самому в затылок смотрел ученик, сидевший сзади. Главный отряд этой армии составляли пять-шесть молодых людей, среди которых были и совсем мальчишки; они раскрашивали в яркие цвета швейцарские ландшафты; позади них сидел чахоточный, замученный кашлем парень, который намазывал смолой и кислотой медные дощечки, вытравляя на них причудливые узоры, а также работал гравировальной иглой, — он именовался гравером на меди. Затем сидел литограф, человек веселого и открытого нрава, который, будучи ближайшим помощником самого мастера, имел наиболее широкий круг обязанностей, — он должен был постоянно пребывать наготове, чтобы мелом или пером, иглой или тушью нанести на камень портрет государственного деятеля, прейскурант вин, чертеж веялки или титульный лист назидательной книги, обращенной к юным девам. В глубине трапезной работали, размахивая руками, двое чернявых подмастерьев — печатники на меди и камне, которые изготовляли на влажной бумаге оттиски произведений названных выше художников. Наконец, позади всех своих подчиненных, взирая на ход их работы, восседал за своим столом сам мастер, художник и торговец художественными изделиями, Хаберзаат, владелец печатни на меди и камне, всегда готовый к приему любых заказов; он исполнял самые тонкие и самые сложные работы или, что бывало всего чаще, читал книгу, писал письма, а то и упаковывал готовые изделия.

У каждого, кто работал здесь, в трапезной, были свои особые надежды и притязания. Гравер и литограф, вполне сформировавшиеся люди, имевшие свой самостоятельный взгляд на вещи, ежедневно отрабатывали у мастера Хаберзаата положенные им восемь часов и получали за это свой гульден; в остальном же дела хозяина их нисколько не интересовали, да и никаких более далеко идущих планов и намерений у них не было. Совсем иначе обстояло дело с юными разрисовщиками. Эти ветреные парни работали настоящими легкими и прозрачными красками, они искусно накладывали синие, красные и желтые мазки, и делали это тем беззаботнее, чем меньше им приходилось думать о рисунке или его композиции, — ведь вся их задача состояла только в том, чтобы нанести легкий слой жидкой акварели поверх контуров, созданных черной магией гравера. Собственно говоря, они-то и были здесь настоящими живописцами; у них вся жизнь была впереди, и каждый из них еще надеялся стать когда-нибудь великим художником, вырвавшись из этого чистилища. Все поколения рисовальщиков, прошедшие через трапезную мастера Хаберзаата, были уверены, что они унаследовали высокие художественные традиции живописцев, носивших бархатную куртку и берет, однако лишь единицам удавалось достичь своей цели; большинство же, обессилев, опускало крылья и после службы у Хаберзаата принималось за изучение какого-нибудь доброго ремесла. Как правило, они были сыновьями бедняков, мечтавшими о прибежище, и предприимчивому мастеру удавалось их завлечь в свою трапезную, посулив им заманчивую будущность свободных художников, которые не только могут прокормиться, но и занимаются делом более благородным, чем ремесло портного или сапожника. Так как у них обычно никаких денег не было, то им приходилось брать на себя обязательство отработать плату за обучение «художественному мастерству» и в течение четырех лет работать на Хаберзаата. С первых дней, не считаясь с полным отсутствием способностей у своих учеников, он сажал их за раскрашивание пейзажей и строгой требовательностью добивался

того, что вскоре они аккуратно и точно исполняли свою работу, копируя традиционные образцы. Попутно им разрешалось, если они желали усовершенствоваться в своем ремесле, в праздничные дни делать копии с какого-нибудь ненужного или испорченного рисунка, и тогда они обычно выбирали себе такие образцы, которые не приносили им никакой пользы, но казались наиболее эффектными; мастер исправлял их работы, если только не был слишком занят. Но при этом он безо всякого удовольствия взирал на чрезмерное усердие в учении, ибо не раз уже ему приходилось сталкиваться с тем, что ученики, которым нравились такие занятия и которые обнаруживали в себе художественные способности, начинали недобросовестно и небрежно относиться к раскраске его изделий. Он со всею строгостью заставлял их работать без отдыха и срока, и поэтому всякое свободное мгновение они тратили на шалости и анекдоты; на четвертом году, когда оказывалось, что лучшие годы для изучения чего-либо более полезного уже миновали, они были пришиблены и забиты и, изнемогая от упреков родителей, хлеб которых они по-прежнему ели, начинали, все еще водя кисточкой по бумаге, задумываться о том, как бы ухватить что-нибудь подходящее, пока не поздно. Хаберзаату удалось погубить таким образом не менее трех десятков мальчиков и юношей, заставив их убить годы юности на малевание празднично-голубых небес и изумрудно-зеленых деревьев; чахоточный гравер, который своей ядовитой кислотой вытравливал контурный рисунок, был в этом аду ближайшим подручным мастера, а унылые печатники, прикованные к скрипучему колесу, изображали своего рода угнетенных чертей низшего разряда, неутомимых демонов, которые непрерывно извлекали из-под валиков своих машин неисчерпаемый поток подлежащих разрисовке листов. Так Хаберзаат полностью постиг сущность современной промышленности, изделия которой представляются покупателям тем более ценными и желанными, чем больше на них потребовалось детских жизней, ловко похищенных хозяином. Хаберзаат весьма успешно обделывал свои дела и слыл поэтому за человека, у которого при желании было чему поучиться.

Какие-то добрые люди дали моей матери совет побеседовать с ним и осмотреть его предприятие: оно могло бы оказаться для меня хотя бы на первое время прибежищем, сулившим возможность дальнейшего развития, в особенности если с ним удастся договориться, что он не будет использовать меня в своих целях, но за сходную мзду обучит в полную меру своих знаний. Он охотно дал свое согласие и, выражая удовлетворение возможностью воспитать хоть одного истинного художника, всячески превозносил матушку за ее решение не поскупились на сумму, необходимую для достижения этой цели, ибо матушка была уверена, что именно теперь наступил момент пожертвовать плодами ее неутомимой бережливости и возложить их на алтарь моего призвания. Итак, был заключен договор на два года, которые я, внося регулярные квартальные взносы, должен был провести в трапезной за полезными упражнениями. После того как договор был скреплен подписями обеих сторон, я отправился в понедельник утром к старинному монастырю, неся с собой все мои этюды и рисунки, дабы предъявить их мастеру, если он пожелает познакомиться с ними. Пустив по рукам мои затейливые произведения, он похвалил мое усердие и мои намерения, а затем представил меня своим подчиненным, которые встали с мест и рассматривали меня с любопытством; мастер Хаберзаат заявил им, что видит во мне юношу, обуреваемого истинною любовью к искусству, как это и должно быть со всяким неофитом, вступающим в сей храм. Затем он заметил, что ему доставит высокое удовлетворение возможность воспитать хоть одного ученика в духе настоящей школы, и торжественно высказал свои надежды на мое трудолюбие и терпеливость.

Одному из разрисовщиков пришлось очистить свое место у окна и сесть рядом с другим, а меня водворили на его место; и вот, пока я в ожидании стоял перед пустым столом, господин Хаберзаат извлек из папки лист с силуэтом несложного пейзажного мотива из литографированной серии рисунков, которую я не раз видел в школах. Для начала я должен был внимательно и точно скопировать этот лист. Но прежде чем я сел за работу, мастер послал меня за бумагой и карандашом, о которых я не позаботился, поскольку не имел

никакого представления относительно того, с чего мне предстояло начать. Он перечислил мне все необходимые предметы, и так как у меня не было с собой денег, мне пришлось сначала проделать длинный путь до дому, затем пойти в лавку, где я все приобрел, а когда я вернулся к мастеру, оставалось уже полчаса до обеда. И то, что мне для начала не дали даже листа бумаги и карандаша, а отослали меня все это купить, и то, что мне пришлось шататься по улицам и требовать денег у матери, и, наконец, то, что я смог приступить к работе только перед самым перерывом на обед, — все это показалось мне настолько непоэтичным и мелочным, настолько противоречащим творческому духу, который, как я смутно себе представлял, царит в обители художников, что у меня защемило сердце.

Впрочем, я скоро отвлекся от всех этих впечатлений, ибо несложные на первый взгляд задачи, поставленные передо мной, потребовали от меня больших усилий, чем я ожидал. Хаберзаат прежде всего хотел, чтобы каждый сделанный мною штрих по своей длине в точности соответствовал оригиналу и чтобы весь рисунок был не больше и не меньше образца. Между тем мои копии упорно получались больше оригинала, хотя и в правильных по отношению к нему пропорциях, и мастер использовал эти отклонения, чтобы проявлять и по отношению ко мне свойственные ему дотошность и строгость; он пускался в рассуждения о трудностях на пути художника и всячески старался дать мне понять, что все не так просто, как мне, вероятно, первоначально казалось.

И все же я был счастлив, работая за своим столом (хотя и огорчался отсутствием мольбертов, которые представлялись мне особым украшением всякой мастерской), и смело пробивался сквозь эти начальные трудности. Я честно срисовывал разные сельские свинарники да деревянные сараи, из которых в сочетании с тощими кустарниками состояли мои образцы, становившиеся для меня тем более трудными, чем больше я испытывал презрения к самим предметам. Ибо с первых же дней работы у Хаберзаата мой свободный и строптивый дух, скованный чувством долга и послушанием, не мог преодолеть ощущения ничтожности и пустоты всего этого. Станным представлялось мне и то, что весь день надо было сидеть, склонясь над бумагой и не двигаясь, что нельзя было ходить по комнате или заговорить раньше, чем к тебе обратится мастер. Только гравер и литограф могли шепотом переговариваться между собой или с печатниками и даже, когда им хотелось поболтать, обращаться к самому мастеру. А этот последний, если находился в добром расположении духа, рассказывал всяческие истории и популярные художественные предания, сообщал всевозможные юмористические случаи из прошлой своей жизни и эпизоды из жизни великих живописцев. Стоило ему, однако, заметить, что кто-то слишком усердно слушает и при этом забывает о работе, как он тотчас же обрывал рассказ и соблюдал некоторое время мудрую сдержанность.

Через некоторое время мне было предоставлено право самому выбирать себе образцы и рыться в хозяйских богатствах. Они состояли из большой массы отовсюду и случайно собранных предметов, из посредственных старых гравюр, отдельных никчемных обрывков и листков, накопившихся за долгие годы, рисунков, сделанных понаторевшей рукой, но лишенных естественного правдоподобия, и прочего хлама. Рисунков с натуры, которые имели бы самостоятельное художественное значение и были бы напоены солнцем и воздухом, здесь не было вовсе, ибо мастер приобрел свое искусство и свои навыки в четырех стенах и покидал дом только для того, чтобы с возможной быстротой набросать подходящий пейзаж. Единственным богатством, которым располагал мой учитель, была ловкая, хотя и ложная техника, и в своем преподавании он настаивал только на ней.

Одно время он старался держать меня в узде, так как заметил, что я интересуюсь общими признаками формы и характера, не понимая толком разницы между легким контурным штрихом и жирной линией. Но наконец, благодаря непрерывным упражнениям, я проник в его тайну и стал быстро, лист за листом, изготавливать массу стандартных рисунков тушью. Я теперь уже следил только за количеством сделанных работ и радовался лишь тому, как разбухала моя папка. При выборе образцов я был едва ли не безразличен даже к их выразительности и эффектности. Еще не окончилась первая зима, а я уже почти что исчерпал

запас образцов, которыми располагал мой учитель, причем мои копии были сделаны примерно так, как сделал бы их он сам. Ибо, усвоив приемы тщательного и чистого выполнения, я вскоре приобрел ту ремесленную сноровку, которой в совершенстве владел сам мастер, — приобрел тем скорее, что нимало не вникал в истинную сущность искусства. Уже после первого полугодия Хаберзаат стал испытывать некоторую тревогу относительно того, чему учить меня дальше; боясь соперничества, он вовсе не хотел посвящать меня во все тайны своего ремесла; в запасе у него оставалось еще только владение акварельными красками, да и оно, как он его понимал, не представляло собою непостижимого колдовства. Поскольку здесь, в трапезной, никто не стремился к творческой самостоятельности и добросовестности, искусство это сводилось к ряду внешних и пустых приемов, усвоить которые было нетрудно. Но я сам нашел выход, заявив, что хочу скопировать в туши небольшую серию гравюр. Хаберзаат обладал шестью листами большого формата,⁶¹ гравированными по Клоду Лоррену⁶², двумя большими пейзажами со скалами и разбойниками по Сальватору Роза⁶³ и отдельными гравюрами по Рейсдалю⁶⁴ и Эвердингену⁶⁵. Все эти вещи я скопировал в беззастенчивой ремесленной манере. Копии с Лоррена и Розы получились не так уж плохо, ибо и сами картины написаны были в символической и размашистой манере, и гравюры с них носили несколько традиционный характер, но тонких и естественных голландцев я обработал самым чудовищным образом, и никто даже не понял этого.

Все же именно последняя работа помогла воспитанию моего художественного вкуса: совершенные, гармоничные формы, которые я внимательно рассматривал, как бы образовали благодетельный противовес ко всей прочей ремесленной пачкотне и не дали заглухнуть во мне стремлению к истинно прекрасному. Однако это достижение имело и свою оборотную сторону: во мне зашевелилась прежняя тяга к чересчур поспешному изобретательству, и, увлеченный одними лишь размерами классических образцов, я стал набрасывать похожие пейзажи, сначала дома, а затем и в рабочее время, у мастера, выполняя эффектные большие листы с заученной ловкостью. Господин Хаберзаат не только не препятствовал мне в этом занятии, но даже взирал на него с благосклонностью, ибо оно освобождало его от необходимости разыскивать для меня учебные образцы. Глядя на уродливые порождения моей незрелой кисти, он пускался в глубокомысленные рассуждения о композиции, об историческом колорите и тому подобном, — все это вносило в его мастерскую элемент учености, а я скоро прослыл здесь лихим парнем и уже принимал как должное, когда мне льстиво предрекали, что впереди меня ждет поездка в Италию, Рим, живопись маслом, картоны... Однако все это не заставило меня возгордиться, я веселился и дурачился с товарищами по мастерской и радовался, когда после нескончаемого сидения за столом мог размяться и помочь им ублажить их второго тирана, хозяйку, помогая снести наверх охапку дров. Эта хозяйка, языкастая и скандальная дама, нередко врывается в трапезную со всем

⁶¹ Хаберзаат обладал шестью листами большого формата. . — Далее перечислены крупнейшие художники и граверы XVII в.

⁶² Лоррен (настоящее имя — Желле) Клод (1600–1682) — знаменитый французский живописец-пейзажист, представитель классицизма в изобразительном искусстве.

⁶³ Роза Сальватор (1615—1673) — итальянский живописец, поэт и музыкант. Его пейзажи славились яркостью колорита и оригинальностью живописной манеры.

⁶⁴ Рейсдал ь Якоб (1628 или 1629—1682) — выдающийся голландский живописец и офортист, один из основоположников реалистического пейзажа.

⁶⁵ Эвердинген Алларт (1621–1675) — знаменитый голландский живописец-маринист; прославился талантливым изображением водопадов.

своим хозяйством и семейными историями, с детьми и прислугой, и тогда мастерская превращалась в арену жарких боев, в которых обычно принимало участие все наше воинство. Муж становился во главе преданной ему группы и шел грудью против жены, которая с огромным шумом вставала впереди своих приверженцев и отступала не ранее того, как все сопротивлявшиеся были сражены насмерть залпами ее красноречия. Порою хозяйская чета выступала сплоченно против всех подчиненных, иногда гравер и литограф глухо волновались, вассалы грозили подняться против своих сюзеренов, а восстания рабов-разрисовщиков всегда кончались тем, что бывали подавлены превосходящими силами противника. Мне также доводилось не раз попадать в опасное положение; бурные сцены веселили меня, и я это неосторожно обнаруживал; так, однажды я вместе с юными разрисовщиками устроил в разрушенной монастырской галерее пародийный спектакль. Хотя я и был в ту пору весьма чувствителен и обладал склонностью к благородной и чистой жизни (эти побуждения возникли в моей душе за время пребывания в деревне), но я был лишен необходимой среды, а грубая обстановка трапезной заставляла меня живо и деятельно участвовать во всем, что отвечало ее нравам; я нуждался в общении с товарищами, и ничто не было мне более чуждо, чем уклончивая и рассудительная сдержанность.

Итак, мне пришлось, живя с волками, по-волчьи выть, и тем, что это не принесло мне ущерба, я обязан, как мне кажется, моей счастливой звезде — Анне, звезде, всегда загоравшейся в моей душе, как только я оказывался в одиночестве — в доме матушки или на пустынной дороге. С ней связывал я все, что выходило за пределы дневной сутолоки, и она была для меня тем тихим светом, который каждый вечер после захода солнца сиял во мгле печальному сердцу; тогда я чувствовал в моей просветленной груди и нашего доброго друга, господя бога, который в эти часы с особой ясностью предъявлял и на меня свои вечные права.

В поисках книг я набрел на один из романов Жан-Поля⁶⁶. Когда я читал его, мне казалось, словно все, чего я до сих пор жаждал и искал или что я ощущал беспокойно и смутно, — все это я внезапно обрел, испытал утешение и душевное удовлетворение. Это было блаженство, от которого захватывало дух, это казалось мне высшей истиной и правдой! И посреди закатов и радуг, лесов из лилий и звездных россыпей, посреди бушующих и сверкающих гроз, посреди всего огненного хаоса, в небесной тверди и безднах, посреди и во всем этом Он, бесконечный, закутанный в бескрайний блистающий плащ вселенной, великий, но исполненный любви, священный, но в то же время — бог улыбки и веселья, грозный в своем могуществе, но обитающий в детской груди, выглядывающий из детских глаз, как пасхальный зайчик из цветов! Да, это был иной господь и покровитель, не чета тому многоглаголящему благодетелю из катехизиса.

Прежде мне только снилось нечто подобное, что-то похожее звучало в моих ушах, а теперь словно восходящее солнце рассеяло мглу тех долгих зимних ночей, на протяжении которых читал я трижды двенадцать томов пророка. А когда наступила весна и ночи стали короче, я снова и снова перечитывал его в сладостные утренние часы; так я привык долго не вставать с постели и, положив под голову возлюбленную книгу, спать при ясном дне сном праведника. Когда же я просыпался и наконец брался за работу, меня охватывало такое ощущение безграничных возможностей и полной внутренней свободы, какое было опаснее моих прежних бунтарских порывов.

Глава шестая

⁶⁶ *Жан-Поль* — Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (1763—1825) — немецкий писатель-сентименталист, ученик и последователь Жан-Жака Руссо, подписывавший произведения именем, переделанным на французский лад. Автор многочисленных романов и повестей, а также сочинений на педагогические и эстетические темы. Жан-Поль считается одним из самых значительных юмористов в немецкой литературе. Его произведения оказали заметное воздействие на раннее творчество Келлера. В первой редакции романа панегирик Жан-Полю занимал еще больше места.

СУМАСБРОД

Когда наступила весна, которой я ожидал с нетерпением, я в первые же теплые дни двинулся за город, чтобы, вооружившись приобретенными навыками, писать с натуры, а не с бумажных образцов. Вся трапезная с уважением и скрытой завистью следила за моими сборами; еще никогда не бывало, чтобы кто-нибудь из воспитанников Хаберзаата залетал так высоко, а понятие писать «с натуры» казалось здесь до сих пор каким-то мифом. Я теперь смотрел на округлые, материальные, озаренные солнцем создания природы уже не с той самонадеянной, но наивной доверительностью, которая была мне свойственна прошлым летом, — мой взгляд был ограничен куда более опасным самодовольством. Ибо все, что было мне неясно или казалось слишком трудным, я, обманывая самого себя, превращал в некий хаос и старался прикрыть техникой, беззастенчиво орудя кистью, вместо того чтобы сначала скромно поработать карандашом; я вышел «на природу» с привычными мне пузырьками туши, акварелью и кистями и стремился сразу заполнить целый большой лист так, чтобы он был похож на настоящую картину. Я старался схватить целые пейзажи с озерами и скалами или находил в лесу, следуя за горными ручейками, маленькие и живописные водопады, которые выглядели очень красиво на листе, если нарисовать вокруг тонкую рамку. Я восхищался живым и нежным кипением падающей воды, которая пенилась и стремительно уносилась вдаль, ее прозрачностью и игрой ее бесчисленных струящихся граней, но я сковывал ее плоскими приемами ремесленной виртуозности, жизнь и блеск тотчас же погибали, ибо средств моих не хватало на то, чтобы передать эту стихию вечного движения. Если бы мое художественное сознание не было так затемнено, я бы, разумеется, понял, что мне легче написать многообразные камни и осколки прибрежных утесов, которые в живописном беспорядке были нагромождены друг на друга. Правда, я порой начинал смутно различать это предостерегающее чувство, когда, вместо того чтобы воспроизводить реальную форму, обходил трудности перспективы и искажал ракурсы камней, хотя видел и понимал их; я пытался оправдывать себя в собственных глазах тем, что в поверхности того или иного единичного предмета изменчивая природа могла выглядеть и так, как я ее изображаю. Однако весь характер моей работы приучил меня не считаться с укорами совести, а мастер, когда я показывал ему свои изделия, ни разу не указал мне на отсутствие жизненной правды, пропавшей с теми самыми деталями, которыми я пренебрег; он обо всем и всегда судил с точки зрения своего комнатного искусства.

Господин Хаберзаат, высоко ценивший аккуратное и чисто плотное выполнение, питал еще одно-единственное пристрастие, которое считал необходимым передать мне, а именно — пристрастие к изображению необыкновенного и болезненного, в которых он усматривал истинную живописность. Он побуждал меня отыскивать ободранные ветлы, оголенные ветром деревья и фантастические, причудливого профиля скалы, призывал меня любоваться яркими красками гниения и распада, расхваливая все это, как наиболее интересные объекты. Советы его пришлись мне по вкусу, возбуждая мое воображение, и я с жаром пустился на поиски подобных явлений. Но природа лишь очень скупое предоставляла мне эти сюжеты, она радовалась собственному могучему здоровью, а уродливые растения, которые я кое-где обнаруживал, вскоре начали представляться моему пресыщенному взору плоским и бессмысленным предметом изображения, — так бывает с пьяницей, стремящимся ко все более крепкому вину. Поэтому цветущая жизнь гор и лесов перестала привлекать меня, я оставался равнодушным к ее проявлениям и с утра до вечера бродил по окрестностям. Все глубже пробирался я в не виданные мною дотоле уголки природы; если мне удавалось набрести на заброшенное и таинственное место, я останавливался и быстро изготовлял рисунок собственного изобретения, чтобы принести домой хоть какой-нибудь плод своего труда. В этом рисунке я соединял самые необыкновенные явления, какие порождала моя фантазия, и приобретенные мною искусные навыки помогали мне сливать воедино различные черты природы, наблюдаемые мною в разное время; так я создавал пейзажи, которые представлял господину Хаберзаату в качестве правдивого изображения натуры и в

которых мастер не мог разобраться. Он поздравлял меня с моими открытиями, ибо ему казалось, что они подтверждают его заявления относительно моего усердия и моего таланта; по его словам, эти работы доказывали, что я совершенно неоспоримо владею острым взглядом первооткрывателя, точным чувством живописности и умением находить вещи, мимо которых проходят тысячи других. Мой незлобивый обман возбудил во мне дурное намерение продолжать обманывать беднягу в том же духе. Сидя где-нибудь в темной чаще леса, я придумывал все более и более дикие и странные очертания деревьев и скал, наперед радуясь тому, что мой учитель поверит — такое действительно существует где-то в ближайших окрестностях! Но пусть мне при этом послужит некоторым оправданием, что на старинных гравюрах, например Сванefeldта⁶⁷, я видел самые причудливые изображения, которые преподносились нам в качестве образцовых произведений искусства, и сам я под влиянием этих вещей приходил к мысли, что именно таков верный путь, дающий к тому же отличные возможности для упражнения. В моей неустойчивой юношеской фантазии благородные и здоровые формы Клода Лоррена все более отступали на задний план.

Зимними вечерами в трапезной немного занимались и рисованием человеческих фигур; копируя множество гравюр, на которых для оживления их были изображены люди в одежде, я приобрел некоторый поверхностный навык в этой области. Теперь вместе с причудливыми пейзажами я стал выдумывать еще более причудливых людей, разных оборванцев, которых я демонстрировал в трапезной, вызывая взрывы хохота. Это были какие-то странные бродяги и безумцы, и мое удивительное племя образовывало как бы единый мир с той необычайной средой, в которую я его помещал, — мир, существовавший только в моем воображении и вызвавший под конец подозрения мастера. Но он мало что высказал по этому поводу и по-прежнему предоставил мне идти своим путем, ибо, с одной стороны, ему не доставало свежести восприятия, чтобы обнаружить меру моего отклонения от действительности и на этом поймать меня, а с другой стороны, не было должного превосходства в познаниях. В сущности, эти два момента составляют тайну всякого воспитания: неистраченная юношеская живость, доступная только молодости, и безусловное превосходство личности воспитателя во всех случаях жизни. В крайнем случае одно можно возместить другим, но если отсутствует и то и другое, ученик становится в руках учителя закрытой раковиной; для того чтобы открыть ее, он должен ее сломать. Однако оба качества имеют один источник: безукоризненно честное, чистое и непредвзятое отношение к жизни.

Лето было в разгаре, когда я уступил наконец моему тайному влечению ко второй моей отчизне, к далекому селу, и, взяв котомку, отправился в путь. Матушка отвергла все предложения закрыть дом на замок и уехать в родные места, где протекала ее юность, и снова осталась в томительном одиночестве. Я же захватил с собой обильные плоды моей художественной деятельности, надеясь снискать ими благосклонное к себе внимание.

И в самом деле, в доме моего дяди эти многочисленные, основательно заштрихованные листы вызвали известное удивление, и в целом на всю мою работу смотрели с некоторым почтением, но когда дядя стал рассматривать рисунки, которые, по моим словам, были сделаны с натуры (подобно своего рода Мюнхгаузену, я сам готов был верить этому: они же ведь и в самом деле возникли под открытым небом!), он только раздумчиво покачал головой и с изумлением спросил, где же у меня были глаза. Он был крестьянин, лесничий, трезво смотрел на вещи и потому, несмотря на отсутствие познаний в вопросах искусства, легко и быстро обнаружил мою ошибку.

— Эти деревья, — сказал он, — все похожи друг на друга, и вместе с тем ни одно не похоже на настоящее дерево! Эти скалы не могли бы и мига так простоять — они бы тотчас же рухнули! Вот этот водопад, — судя по массе воды, он бы должен быть огромным, но вся эта масса падает с небольших речных камней, как если бы целый полк солдат споткнулся об

⁶⁷ *Сванefeldт* Герман (1600–1655) — голландский живописец и гравер; писал итальянские пейзажи в духе Клода Лоррена.

одну щепку; такой водопад должен низвергаться с мощного скалистого отвеса; с другой стороны, меня разбирает любопытство: где же это, черт возьми, ты нашел вблизи от города такой водопад? Затем мне бы хотелось знать, что тут достойного изображения, в этих засохших ветлах? По-моему, куда лучше было бы нарисовать здоровый и красивый дуб или бук... — и так далее.

Женщины же не одобрили моих разбойников, бродяг и уродов, — они не могли понять, почему бы среди поля не нарисовать, например, хорошенькой поселянки или почтенного пахаря за работой, вместо того чтобы изображать всякую нечисть; дядины сыновья смеялись над моими чудовищными горными пещерами, над невероятными и смехотворными мостами, над человекообразными каменными глыбами и изуродованными деревьями и давали всем этим моим вымыслам смешные названия, которые не могли не обижать меня. Я был совершенно посрамлен; я чувствовал, что они видят во мне человека, полного дурацкого тщеславия, и вся привитая мне искусственная болезненность отступила перед здоровой простотой этого дома и перед свежестью сельского воздуха.

На другой же день после моего прибытия дядя, надеясь вернуть меня на истинный путь, предложил мне спокойно и подробно нарисовать дом, сад и деревья и дать верное изображение всей его усадьбы. При этом он обратил мое внимание на все особенности, а также и на то, что хотел выделить, и хотя его указания соответствовали более потребностям богатого собственника, нежели отвечали вкусам и запросам знатока искусств, тем не менее он поставил меня перед необходимостью еще раз внимательно рассмотреть все предметы и проследить за своеобразием их форм. Над изображением самых простых деталей дома, даже черепицы на крыше, мне теперь пришлось потрудиться гораздо больше, чем я когда-либо мог себе представить; поэтому я отнесся добросовестнее также к изображению деревьев и сада. Я снова познал честную работу и настоящие усилия; и когда у меня получился рисунок, лишенный всякой вычурности и удовлетворивший меня не в пример более, чем эффектные изделия недавней поры, я ценою тяжкого труда постиг смысл скромного и неприметного, но правдивого.

Между тем я радовался, находя здесь все, что покинул год назад, наблюдал за происшедшими переменами и молча ждал того мгновения, когда вновь увижу Анну или, по крайней мере, сперва услышу ее имя. Но вот прошло уже несколько дней, никто не упоминал о ней, и чем дольше это длилось, тем меньше я решался спросить про нее. Казалось, что она всеми совершенно забыта, точно ее никогда здесь и не было, при этом никто, — это в глубине души казалось мне оскорбительным, — никто, казалось, даже и не подозревал, что я мог иметь какие-то права или желание узнать про нее. Я отправлялся было в ее сторону, проходил полдороги в гору или шел тенистым путем по реке, но каждый раз внезапно поворачивал обратно из необъяснимого страха перед возможной встречей с Анной. Я уходил на кладбище и долго стоял у могилы бабушки. Вот уже год, как она покоилась в земле; но в воздухе не было ни единого дуновения, которое напоминало бы мне об Анне, травы молчали, словно ничего не знали о ней, цветы не шептали мне ее имени, горы и равнины его не произносили; только из моей груди вырывалось это имя, нарушая безучастную тишину.

Наконец меня спросили, почему я не навещаю учителя; и тут случайно выяснилось, что Анна уже полгода, как покинула село, — никто и не сомневался, что я знаю об этом. Ее отец, всегда стремившийся к образованности и духовной тонкости, был обеспокоен тем, что его дочь, слишком нежная, чтобы стать крестьянкой, могла после его смерти захиреть в грубом сельском окружении; поэтому он вдруг решил отвезти ее в учебное заведение во французской Швейцарии, где она могла получить лучшие знания и большую духовную самостоятельность. Его не смущало ни то, что Анна высказала ему свое нежелание уезжать, ни ее слезы, и, увлеченный своей идеей, он отправился сопровождать свою дочь в дальний путь, до того самого дома достопочтенного, набожного воспитателя, где ей предстояло пробыть по меньшей мере год. Это известие поразило меня, как гром среди ясного неба.

Отныне я ежедневно приходил к ее отцу, сопровождал его повсюду и слушал, как он говорит об Анне; иногда я оставался на несколько дней и жил тогда в ее комнатке, не

осмеливаясь, однако, ни к чему прикоснуться и рассматривая немногочисленные скромные предметы ее обстановки с каким-то священным трепетом. Комнатка была маленькая и тесная; вечернее солнце и лунный свет заливали ее целиком, так что в ней не оставалось ни одного темного уголка, и тогда она казалась то пурпурно-золотой, то серебряной шкатулкой для драгоценных камней, — и я всегда представлял себе ту жемчужину, которой здесь так не доставало.

В поисках живописных сюжетов я чаще всего направлялся к тем местам, которые посещал вместе с Анной; так я написал таинственную скалу, поднимающуюся из воды, где мы, отдыхая, внезапно увидели призраки; я не мог удержаться, чтобы не обвести карандашом квадратик на белоснежной стене ее комнаты и не вписать в него со всем тщанием изображение пещеры язычников. Это должно было быть моим безмолвным приветом и доказательством того, как неустанно я думал о ней.

Постоянные воспоминания об Анне и вместе с тем ее отсутствие сделали меня как-то смелее, а образ ее — более доступным для меня; я стал писать ей длинные любовные письма, которые поначалу сжигал, а затем стал сберегать, и, наконец, так увлекся стремлением излить на бумагу все мои чувства к Анне, что задумал написать письмо в самых горячих выражениях, начертать ее полное имя, поставить свою подпись и пустить это письмо по воде, с детской наивностью полагая, что течение на глазах у всех понесет его навстречу Рейну и морю. Долго я боролся с этим намерением, но наконец подчинился ему, ибо его осуществление облегчало мне душу; письмо было исповедью моей тайны, причем я, разумеется, был уверен, что никто в ближайшем будущем его не найдет. Я наблюдал за тем, как оно скользило с волны на волну, как его задержала свесившаяся в воду ветка, как оно надолго прилепилось к какому-то цветку и наконец, словно после некоторого раздумья, вырвалось вперед, подхваченное быстрым течением, и исчезло из поля зрения. Но, по-видимому, письмо еще где-то задержалось в пути, потому что только поздней ночью оно доплыло до скалы с пещерой язычников и коснулось груди купальщицы, которая была не кем иным, как Юдифью; она его поймала, прочитала и спрятала.

Об этом я узнал позже, — во время нынешнего пребывания в селе я ни разу не ходил к ней в дом и старался обходить его стороной. За этот год я стал старше и теперь, со стыдом вспоминая о нежных отношениях с Юдифью, испытывал непреодолимую робость при мысли об ее пышущей здоровьем горделивой фигуре; когда она однажды прошла мимо дядиного дома, я, не поклонившись ей, быстро спрятался и все же с любопытством издали наблюдал, как она широким шагом проходила по саду и мимо пшеничного поля.

Глава седьмая **ПРОДОЛЖЕНИЕ**

На этот раз я раньше возвратился в город, охваченный глубокой тоской, которая приобрела наконец полную определенность и распространялась на все, чего мне не доставало, но что — я теперь не сомневался в этом — существовало в мире.

Мой наставник возвел меня на высшие ступени своего искусства — он обучил меня обращению с акварельными красками и строго внушал мне, что работать ими следует аккуратно и быстро. По-прежнему никто не настаивал на том, чтобы мои работы соответствовали природе, и поэтому я вскоре научился делать раскрашенные рисунки, вполне отвечавшие требованиям мастера; второй год моего обучения еще не истек, а я уже видел, что больше мне нечему здесь учиться, хотя толком я ничего делать не умел. Мне было скучно в старом монастыре, и я неделями сидел дома, где читал или принимался за работы, которые скрывал от мастера. Хаберзаат посетил матушку, высказал неудовольствие по поводу моей рассеянности, превознес мои успехи и предложил мне вступить с ним в иные отношения, — работая в его мастерской со всем тщанием и усердием, я теперь должен был получать за это вознаграждение. То была бы новая ступень, говорил он, когда, продолжая совершенствоваться как ученик, я должен был бы постепенно приучаться к работе и в то же

время имел бы возможность делать необходимые накопления, чтобы через несколько лет начать самостоятельную жизнь, — это время еще не наступило. Он уверял, что среди знаменитых художников отнюдь не последними были те, которые вознеслись на вершины искусства лишь после многих лет непритязательной работы, и что своей усердной и скромной деятельностью такого рода они создавали себе порой более основательную почву для независимого существования, нежели те, кому состоятельные родители дали изысканное художественное образование. Ему, говорил он, приходилось встречать талантливых юношей из богатых семей, которые погубили свои способности лишь оттого, что обстоятельства не обязывали их к самостоятельному заработку, и это привело их к изнеженности, ложной гордости и пустому самомнению.

Слова мастера были убедительны, хотя он и исходил из собственной выгоды; но у меня они не вызвали никакого отклика. Я с отвращением относился к самой мысли о поденном заработке и ремесленничестве и мечтал идти к цели прямым путем.

С каждым днем я все острее ощущал, что трапезная становилась неодолимым препятствием на моем пути, что она ограничивает мои возможности; я стремился создать себе дома собственную скромную мастерскую и по мере сил работать самостоятельно; и вот однажды утром я распрощался с господином Хаберзаатом еще до окончания срока обучения и заявил матушке что отныне буду работать дома и что, если она ждет от меня заработков, я смогу добиться их и без мастера, учиться же мне у него больше нечему.

Счастливым и полным надежд, я устроил себе рабочее место в каморке под крышей. Из окна, выходящего на север, открывался обширный вид на город; рано утром и под вечер сюда заглядывали первые и последние лучи солнца. Создать здесь свой собственный мир — это была для меня столь же важная сколь и приятная задача, и несколько дней я провел за устройством моей мастерской. Я тщательно вымыл круглые оконные стекла и перед окном в широком цветочном ящике устроил целый сад. Я побелил стены, повсюду развесил гравюры и такие рисунки, которые казались мне особенно эффектными, нарисовал углем причудливые маски и там, где оставалось место, написал свои любимые изречения и выразительные стихотворные строчки, которые мне запомнились. Со всего дома я перенес к себе самую старинную и мрачную мебель, перетащил все книги и разбросал их на почерневших от времени столах и полках; постепенно я нагромоздил здесь самые разнородные предметы и это усиливало впечатление живописного беспорядка; на самой середине комнаты я водрузил мольберт — предмет моих долгих мечтаний. Отныне я был предоставлен самому себе, был совершенно независим и свободен от каких бы то ни было указаний или предписаний. Я завязал общение с молодыми людьми, к которым меня влекли общность мыслей или дружеское взаимопонимание, — то были главным образом бывшие школьные товарищи, продолжавшие учение и здесь, в моей келье, обстоятельно повествовавшие мне о своих успехах и обо всем, что происходило в школах. Во время этих встреч я подбирал какие-то случайные крупинки знаний и частенько думал при этом с болью, какие великие богатства давало молодым людям образование и сколь многого я лишился.⁶⁸ И все же друзья помогли мне познакомиться с разными книгами, набрести на мысли, которые я затем развивал уже самостоятельно, и, соединяя случайно обретенные знания с причудливыми творениями моей фантазии, расцветавшей в одиночестве, я погружался в несколько смешные, но в общем вполне невинные ученые труды, которые все умножались и разрастались благодаря систематическим моим занятиям. Ранним утром или поздно ночью я сочинял выпретенные трактаты, пламенные описания и излияния и особенно гордился глубокомысленными афоризмами, которые заносил в свой дневник, украшая их рисунками и

⁶⁸ ...думал... с болью, какие великие богатства давало молодым людям образование и сколь многого я лишился. — Это место целиком основано на личных переживаниях автора. О том, как его огорчала невозможность получить систематическое образование, Келлер писал в юношеских дневниках, в стихотворении «Ночь» и в «Автобиографических заметках».

всякими завитушками. Моя келья уподобилась уголку алхимика, где на жаровне кипела, созревая, новая человеческая жизнь. Здоровое и привлекательное, необыкновенное и уродливое, мера и произвол кипели и клокотали вместе, смешиваясь или отъединяясь друг от друга.

И все же, несмотря на то, что я жил внешне спокойной и тихой жизнью, меня тревожили, а порою страстно волновали некоторые ранние огорчения.

В то время у меня был друг, живой и увлекающийся юноша, который более всех моих знакомых разделял мои склонности, вместе со мною рисовал и предавался поэтическим грезам и, так как он посещал различные школы, приносил в мою каморку много новых мыслей. К тому же он был жизнерадостен, нередко в обществе удачных приятелей проводил ночи в трактирах и рассказывал мне затем о своих веселых и шумных пиршествах. В большинстве случаев я уныло сидел дома, так как моя мать в этом отношении держала меня весьма строго и не видела ни малейшей необходимости тратить на подобные увеселения. Поэтому я смотрел на моего весело развлекавшегося друга, как пленная птица смотрит из клетки на жаворонка, летающего в поднебесье, мечтал о сверкающем свободном будущем и воображал себя душой пирующей компании. В то же время я уподобился той лисице, которая уверяла себя, что виноград зелен, и, частенько неодобрительно отзываясь о похождениях моего друга, пытался еще больше привязать его к моему тихому жилищу. Это стало вызывать между нами раздоры, так что в душе я даже обрадовался, когда он сообщил мне о предстоящем своем отъезде в дальние края, тем более что расставание давало нам возможность обмениваться пламенными письмами. Наши отношения возвысились до идеальной дружбы, которая уже не омрачалась встречами, и теперь мы в бесчисленных и регулярных письмах дали волю всей нашей юношеской воодушевленности. Не без самодовольства старался я придать своим эпистолярным произведениям возможно более пышную и высокопарную форму, и многих усилий стоило мне выразить мои незрелые философские мысли в более или менее связном виде. Оказалось легче облечь часть писем в плащ безграничной фантазии и выдержать их в юмористическом духе, в котором я подражал моему любимому Жан-Полю; но сколько я ни старался, как ни лез вон из кожи, ответы друга всякий раз превосходили все мои писания зрелостью самостоятельной мысли и подлинным юмором, который только подчеркивал крикливый и беспокойный характер моих излияний. Я восхищался моим другом, гордился им и, участь на его письмах, брался за новые с удвоенной энергией, стараясь создать достойные адресата послания. Но чем выше я старался подняться, тем недостижимее становился он, уподобляясь сверкающему миру, который я тщетно пытался ухватить. К тому же мысли его играли всеми красками, подобно вечному морю, они были очаровательно прихотливы и неожиданны и богаты источниками, которые одновременно бьют из глубин и низвергаются с гор и небес; я дивился далекому другу, как таинственному и грандиозному явлению природы; его стремительное развитие обещало все более прекрасные плоды, и я, робея, пытался не отставать от него.

Но тут однажды мне в руки попала книга Циммермана⁶⁹ «Об одиночестве», о которой я уже много слышал и которая поэтому возбудила во мне удвоенное любопытство; я жадно читал ее, пока не дошел до места, начинавшегося словами: «О юноша, мне хотелось бы, чтобы ты хранил преданность науке!» С каждым словом текст становился мне все более знакомым, и вскоре я обнаружил, что одно из первых писем моего друга слово в слово списано с этой книги. Вскоре я обнаружил источник другого его письма в обстоятельных рассуждениях Дидро о живописи⁷⁰, — эту книгу я приобрел у антиквара и нашел в ней

⁶⁹ Циммерман Иоганн Георг (1728—1795) — немецкий писатель-моралист, автор четырехтомного труда «Об одиночестве» (1784—1785). Цитируемые далее слова Циммермана взяты из десятой главы этой книги («Преимущества одиночества для развития духа»).

⁷⁰ ...в обстоятельных рассуждениях Дидро о живописи ... — Великий французский просветитель-энциклопедист Дени Дидро (1713—1784) на протяжении многих лет писал статьи, посвященные теории

источник той остроты и ясности мысли, которые меня так взволновали. Как бывает с теми событиями и совпадениями, которые подспудно накапливаются и потом вдруг обнаруживаются все разом — так и теперь одно открытие быстро следовало за другим и разоблачало эту странную мистификацию. Я обнаружил совпадения с Руссо и «Вертером», со Стерном, Гиппелем⁷¹ и Лессингом, обнаружил переложенные на эпистолярную прозу блестящие стихи Байрона и Гейне и даже изречения глубокомысленных философов, которые прежде были мне непонятны и поэтому внушали трепетное уважение к моему другу.

И с такими светилами я в бессилии своем пытался соперничать! Я был глубоко потрясен, мысленно видел, как друг смеется надо мною, и мог объяснить себе его действия только собственной моей ничтожностью. Однако я все же чувствовал горечь и боль обиды и после некоторой паузы написал ему язвительное письмо, посредством которого хотел сбросить с себя узурпированное им духовное господство и, не порывая нашей дружбы, надеялся вернуть его к истине. Но оскорбленное честолюбие заставило меня прибегнуть к слишком энергичным и колким выражениям; мой партнер и не собирался насмеяться надо мной, он просто хотел, не тратя больших усилий, создать достойный противовес плодам моего рвения, — впоследствии он прибегал к таким приемам и в более серьезных делах, хотя обладал всеми способностями, необходимыми для высоких устремлений, и, следовательно, чувством собственного достоинства. Поэтому-то, желая скрыть свое смущение, он, рассерженный поднятым мною восстанием, ответил мне еще раздраженнее и обиженнее, чем я ему написал. Поднялась целая буря гнева; мы осыпали друг друга жестокой бранью, и чем сильнее была прежде наша взаимная привязанность, тем более трагические выражения изыскивали мы для того, чтобы объявить друг другу о прекращении нашей дружбы, причем каждый из нас стремился быть первым, кто изгонит другого из своей памяти.

Однако сердце мое разрывали не только его суровые слова, но и мои собственные; я горевал несколько дней, продолжая одновременно уважать, любить и ненавидеть его. Теперь я вторично, и уже в более зрелом возрасте, переживал боль, вызванную разрывом дружбы, переживал ее тем болезненнее, чем благороднее были наши отношения. А то, что это было своего рода расплатой за злую шутку, которую я сыграл с моим наставником Хаберзаатом, представляя ему фальшивые этюды с натуры, такая мысль мне, разумеется, и в голову не приходила.

Глава восьмая **СНОВА ВЕСНА**

Пришла весна; белые примулы и фиалки исчезли в окрепшей траве, и никто не замечал их крохотных плодов. Зато разрастались анемоны, сияли, подобно голубым звездам, барвинки и наливались соками стволы молодых берез, редко стоявших на опушке леса; обширные пространства между деревьями пронизывались весенним солнцем, потому что в природе все было еще так чисто прибрано, как в доме ученого, который уехал в путешествие и подруга которого, воспользовавшись его отсутствием, привела дом в порядок и начистила все до блеска; но вот он скоро вернется, и всюду будет снова царить прежний сумасшедший хаос. Скромно и размеренно входила в мир нежная молодая листва, и, глядя на нее, нельзя было даже заподозрить, какие бурные силы накапливались в ней. Все листочки держались на ветвях симметрично и грациозно, поодиночке и несколько чопорно, словно они только что вышли от модистки, все рубчики и складочки были еще необыкновенно аккуратными и

изобразительного искусства и критике произведений французских живописцев. В собрании сочинений Дидро «Салоны» — статьи и письма о живописи — занимают несколько томов.

⁷¹ *Гиппель* Теодор Готлиб (1741–1796) — немецкий писатель, автор юмористических романов, выдержанных в манере знаменитого английского сентименталиста Лоренса Стерна (1713–1768), трактата «О браке», защищающего равноправие женщин, и других сочинений.

чистыми, точно врезанными или впечатанными в бумагу, стебельки и веточки, казалось, были покрыты розовым лаком, все было нарядное и новое, словно с иголки. Веяли веселые ветры, в небе курчавились сияющие облака, на пастбищах — молодая трава, на спинах барашков — шерсть; все было в движении, неспешном и резвом; курчавились непокорные локоны на шее девушки, — их трепал весенний ветер; все клубилось в моем сердце. Я поднимался на все холмы и долгие часы проводил в уединенных живописных местах, играя на большой флейте. Год назад я купил ее у соседа-музыканта и научился у него самым начальным приемам, но о более совершенном изучении флейты нечего было и думать, а упражнения, некогда игранные в школе, давно погрузились в пучину забвения. Но я все же играл, играл без конца, и у меня выработалась какая-то инстинктивная сноровка, помогавшая мне рассыпать причудливейшие трели, рулады и каденции. Я ловко выдувал на своей флейте те же мелодии, которые насвистывал или напевал по памяти, но только на высоких нотах; низкие я чувствовал и даже владел ими, однако при этом должен был играть медленно и осторожно, так что они звучали у меня довольно меланхолично и, диссонировав, сливались со всем прочим шумом, который я производил. Люди, сведущие в музыке, слыша издали мою игру, одобряли ее; они меня хвалили и приглашали участвовать в их любительских концертах. Когда же я являлся с моей коричневой трубкой с клапанами и смущенно взирал на инструменты из черного дерева, украшенные бесчисленными серебряными ключиками, и на нотные листы, покрытые тучей черных значков, то сразу же выяснялось, что я совершенно не годюсь для участия в оркестре, и соседи в изумлении покачивали головами. Тем старательнее тревожил я вольный воздух звуками своей флейты, напоминая звонко-переливчатую и все же однообразную песню какой-то большой птицы, и, сидя на опушке безмолвного леса, всей душой переживал пасторальные радости давно минувшего века.

В те дни я услышал краем уха, будто Анна возвратилась на родину. Прошло уже два года, как мы с ней не виделись, и нам обоим скоро должно было исполниться шестнадцать лет. Сразу же стал я собираться в село и в ближайшую субботу бодро двинулся в путь, о котором так мечтал. Голос мой ломался, но я, не считаясь с этим, пел, без усталости шагая по гулкому лесу. Я прислушивался к низкому тембру собственного голоса и, вспоминая голос Анны, старался вообразить себе его нынешнее звучание. Затем, подумав, как быстро я сам вырос за время нашей разлуки, стал гадать, каков же теперь рост Анны, и не мог подавить в себе легкой дрожи, вспоминая фигуры шестнадцатилетних девушек нашего города. В моих мыслях все время возникал образ девушки-ребенка, какой она была тогда — возле озера и у могилы бабушки: я видел перед собой ее головку, сборчатый воротничок, золотистые косы, ее невинный ласковый взгляд. Этот образ помогал преодолеть робость, которая пробуждалась во мне, я уверенно шагнул дальше и так пришел к дому моего дяди, где застал все в прежнем виде и всех здоровыми и веселыми.

И все же совсем не изменилось только старшее поколение; молодые и беседовали и шутили чуть иначе, чем прежде. Когда после ужина родители ушли спать и вместо них появилось несколько деревенских девушек и юношей, началась новая беседа; я заметил, что все разговоры вращаются вокруг темы любви и имеют насмешливый оттенок, причем юноши несколько иронической галантностью стараются прикрыть видимость глубоких переживаний, а девушкам нравится изображать неприступность, презрение к мужчинам и девическое самодовольство; а по тому, как эти стремительные шутки и взаимные уколы то сердили, то обижали собеседников, нетрудно было заметить, что здесь исподволь происходила кристаллизация каких-то новых чувств.

Я поначалу сидел молча и старался разобраться в этих словесных схватках, не слишком богатых содержанием; девушки смотрели на меня как на нейтрального наблюдателя и, по видимому, рассчитывали обрести в моем лице скромного влюбленного пажа. Но неожиданно я, приняв всерьез эту мнимую баталию, взял сторону своего пола. Наигранная скромность и горделивое самообожание прелестниц показали мне и опасными и оскорбительными, вообще они нисколько не соответствовали моим чувствам. Но при этом, на беду свою, я,

вместо того чтобы воспользоваться проверенным и излюбленным оружием моих товарищей, пустил в ход против девушек их собственные приемы ведения войны и сделал это в мальчишеской, лишенной всякой галантности форме. Упрямый стоицизм, выдвинутый мною против девичьего самодовольства, привел меня тем быстрее к полной и опасной изоляции, так что, по наивности своей, я в эти мгновения сам верил в свои слова, да и говорил я с пылом и серьезностью. Тотчас все стрелы остроумия с величайшим единодушием обрушились на мою голову, ибо я оказался мятежником, подлежащим уничтожению; мужская часть сражающихся оставила меня без поддержки; некоторые лицемерно подогревали мой гнев, дабы тем самым еще больше поднять свой успех в глазах разгневанных девушек, что вызвало во мне раздражение и ревность, я страшно сердился, замечая, как в разгаре баталии все чаще мелькали нежные взгляды и как прелестные противницы все чаще и охотнее позволяли парням пожимать им руки. Короче говоря, когда все общество разошлось и я отправился наверх по лестнице, три мои кузины, неся в руках ночники, принялись высмеивать меня как известного женоненавистника, провожая до самого порога отведенной мне комнаты. Я обернулся к ним и воскликнул:

— Ступайте с вашими ночниками, глупые девицы! Хотя каждая из вас стремится как можно скорее обрести земного жениха, боюсь, что у вашего терпения не хватит масла даже на этот краткий срок; погасите ваши светильники и предайтесь стыду во мраке, так вы, по крайней мере, сумеете сберечь хоть ту каплю масла, которая еще есть в ваших лампах, влюбленные негодницы!

Как раз в это время служанка внесла таз с водой; они, окунув пальцы в воду, стали брызгать мне водой в лицо, одновременно подпаливая мне ночниками волосы и тесня меня к стенке.

— Огнем и водой, — промолвили они, — благословляем тебя на вечное женоненавистничество! Да не пожелает никогда ни одна женщина, чтобы в душе твоей исчезла эта ненависть, да погаснет навсегда в тебе огонь любви! Спи спокойно, суровый господин Лее, и да не приснится вам девушка!

Тут они задули свечу в моей комнате, рассыпались в разные стороны, так что их ночники исчезли в темном доме, и я остался один во мраке. Ощупью двигался я по комнате, натываясь на различные предметы и в раздражении разбрасывая по полу мою одежду. Наконец, отыскав изголовье кровати, я нырнул под одеяло, но ушибся, уткнувшись ногами в какой-то дурацкий ком, и мне пришлось лежать скорчившись. Простыни были — таковы уж нравы сельских шутников — так хитроумно сплетены друг с другом, что, как я ни злился, как ни дергал их, как ни старался их распутать, мне это не удалось, и я должен был остаться в самой что ни на есть неудобной и нелепой позе. Несмотря на усталость, я не мог заснуть; чувство раздражения и стыда оттого, что я оказался в таком глупом положении, тревога о том, как ко всему этому отнесется Анна, и, наконец, мое заколдованное ложе — все это привело к тому, что я лишь на краткие мгновения впадал в забытие, и тогда меня преследовали мучительные сновидения. Ночь в долине была беспокойной и шумной, — то была ночь с субботы на воскресенье, когда холостые парни до самого утра бродят в поисках любовных утех.

С песнями и криками прошла за окном группа таких парней, и голоса их слышались снова и снова с самых разных сторон. Другие, крадучись, поодиночке ходили вокруг домов, и до меня доносились их сдавленные голоса, произносившие имена девушек, я слышал, как они приставляли лестницы к стенам или кидали камешки в ставни. Я встал и распахнул окно; благоухающий майский воздух струей ворвался в комнату, звезды, подобно влюбленным, ласково смотрели на землю; я увидел кошку, которая юркнула за угол, а с другой стороны дома из-за угла показалась тень стройного юноши — он прислонил высокую лестницу к третьему или четвертому окну слева от меня. Затем, ловко взбежав по ступеням, он вполголоса назвал имя моей старшей кузины, — в ответ тихо открылось окно, и я услышал нежный шепот, прерываемый звуком, весьма похожим на страстные поцелуи. «Ну и ну! — подумал я. — Они не теряют времени!» Размышляя так, я увидел, как от окна моей средней

кузины, спавшей этажом ниже, отделилась еще одна тень, которая, скользнув на сук ближнего дерева, легко и плавно опустилась на землю; когда этот молодой человек отошел шагов на пятьдесят, он, отвечая на доносившийся издали призыв товарищей, гуляющих под покровом темноты, разразился пронзительным ликующим воплем, эхо которого прокатилось далеко по округе.

Охваченный неведомыми мне дотоле ощущениями, я осторожно закрыл окно, полез в лабиринт своих простынь и попытался забыть все — девушек, любовь, майскую ночь и досадные неприятности.

Но утром, когда я обдумывал свои ночные впечатления, меня охватили еще более противоречивые чувства. Сперва воспоминание о кузинах и их поклонниках вызвало во мне досаду и негодование. Я чувствовал себя как отверженный, стоящий у наглухо запертой ограды, за которой свершалось нечто таинственное.

Между тем, когда настал час спускаться в общую комнату и нужно было определить свою линию поведения, я решил ничем не обнаруживать своей осведомленности в ночных происшествиях, и это решение показалось мне таким великодушным, что я сам восхитился им и вообразил, что девицы тут же на месте, едва только я войду в комнату, воздадут должное моему душевному благородству. Никто, однако, и внимания не обратил на мое появление; зато у одного из окон я увидел стройную девушку, окруженную тремя моими кузинами. По неповторимым чертам ее лица, по изменившемуся, но милому, как и прежде, голосу я сразу узнал в ней Анну; она была так изящна, так прелестна, что я замер на месте от неожиданности и смущения. Задумчиво и скромно стояла она, глядя в окно, а кузины говорили с ней тем нежно-доверительным шепотом, каким говорят женщины, когда к ним приходит гость, украшающий дом своим присутствием. Девушки обращались друг с другом с такой нежной и церемонной почтительностью, что можно было подумать, будто эти четыре красавицы только что вышли из монастырского училища, а кузины мои, казалось, не хранили даже и малейшего воспоминания о своем вчерашнем поведении. Увидев меня, они как ни в чем не бывало поздоровались со мной и представили меня Анне. Мы подали друг другу руки, — вернее, мы, глядя в пол, едва коснулись друг друга пальцами, и Анна, как мне показалось, сделала при этом едва заметный вежливый книксен. От смущения я едва мог проговорить:

— Итак, вы возвратились?

— Да, — ответила она, и голос ее дрогнул и оборвался, словно звук колокола, в который ударили не то к обеду, не то к вечеру.

Между тем девушки продолжали беседовать друг с другом; я неожиданно опять оказался в одиночестве и, словно забыв о них, отвернулся и стал играть с кошкой, но украдкой посматривал на Анну. Она обрела совершенно новый облик — черное шелковое платье ниспадало красивыми складками, золотистые волосы были убраны с той благородной скромностью, которой отличается изысканная прическа, а ведь прежде ее прелестные выющиеся волосы постоянно выбивались из кос. Черты лица ее, не утратив своей неповторимой прелести, сделались строже и спокойнее, а в милых, прекрасных синих глазах не было прежнего лукавства, — они словно подчинялись законам светских приличий. Все эти частности я тогда не сразу уловил, но весь облик Анны произвел на меня такое впечатление, что, когда за завтраком меня усадили с нею рядом, я почувствовал испуг. Перед тем как мы пошли к столу, мой дядя, памятуя, что Анна прибыла с Запада, собрал остатки познаний во французском языке, приобретенных в ту пору, когда он получал изящное воспитание в доме священника, и обратился ко мне со следующими словами:

— Eh bien! monsieur le neveu! prenez place auprès de Mademoiselle votre cousine, s'il vous plaît, parbleu! est-ce que vous n'avez pas bien dormi? Paraît que vous faites la triste figure!⁷²

⁷² Ну что же, любезный племянник, сядьте близ вашей кузины, прошу вас, черт возьми! Может быть, вы не выспались? Что-то у вас очень печальный вид! (франц.)

Затем, комически расшаркиваясь перед Анной, он в ее честь сыграл туш на валторне и сказал:

— Veuillez accepter les services de ce pauvre jeune homme de la triste figure, Mademoiselle! souffrez, s'il vous plaît, qu'il fasse votre galant, pour que notre maison illustre revise les beaux jours d'autrefois! allons parler français toute la compagnie!⁷³

И тут началась забавная беседа при помощи обрывков французских фраз; хозяева не стеснялись обнаруживать невежество во французском языке, потому что их шутки должны были дать Анне возможность показать приобретенные ею знания. Анна скромно, но уверенно вступила в эту необычную беседу и повела свою речь с превосходным выговором, изящно пользуясь оборотами светского разговора вроде: «Eh vérité! tenez! voyez!»⁷⁴ и т. д., а дядюшка, забывая о духовном звании, время от времени вставлял свои «diables!»⁷⁵. Я совершенно не владел изысканными формами французской речи, — строя фразу, я не мог выйти за пределы убогого и дословного перевода, да и произношение мое оставляло желать лучшего. Поэтому я только изредка произносил «oui»⁷⁶ и «non»⁷⁷ или «je ne sais pas!»⁷⁸. Единственным оборотом речи, которым я владел, было: «Que voulez-vous que je fasse!»⁷⁹ — и я несколько раз вставлял его кстати и некстати. Моя неловкость вызывала смех, и я все больше впадал в тоску и уныние, ибо с той минуты, как я увидел Анну в таком нарядном шелковом платье, я все больше страшился мысли, что могу показаться ей совершенно никчемным и ничтожным человеком, — а ведь до сих пор я был вполне убежден, что умею ценить все прекрасное, что стремлюсь к возвышенному идеалу и что самое это стремление составляет немалое духовное богатство. В своих мыслях я уже давно завоевал весь мир и заслужил право владеть сердцем Анны. Но теперь, как только место теории заступила практика, мною овладело робкое смирение, которое я попытался выразить следующей решительной и вымученной тирадой:

— Moi, j'aime assez la bonne et vénérable langue de mon pays, qui est heureusement la langue allemande, pour ne pas plaindre mon ignorance du français. Mais Mademoiselle ma cousine ayant le goût français et comme elle doit fréquenter l'église de notre village, c'est beaucoup à plaindre qu'elle n'y trouvera point de ses orateurs vaudois qui sont si élevés, savants et dévots. Aussi, que son déplaisir ne soit trop grand, je vous propose, Monsieur mon oncle, de remonter en chaire, nous ferons un petit auditoire et vous nous ferez de beaux sermons français. Que voulez-vous que je fasse!⁸⁰ — добавил я смущенно, когда закончил эту речь, которую произнес как

⁷³ Сударыня, благоволиите принять услуги сего молодого человека, рыцаря печального образа. Прошу вас, разрешите ему поухаживать за вами, чтобы наш славный дом снова пережил чудесные дни минувших времен! Давайте всем обществом беседовать по-французски! (франц.)

⁷⁴ В самом деле! Неужели! Вот как! (франц.)

⁷⁵ Черт возьми! (франц.)

⁷⁶ Да (франц.).

⁷⁷ Нет (франц.).

⁷⁸ Не знаю! (франц.).

⁷⁹ Что же я могу поделать! (франц.).

⁸⁰ Что касается меня, то я достаточно люблю добрый и достославный язык моей страны, каковым, к счастью, является немецкий язык, чтобы не огорчаться из-за своего невежества в языке французском. Но учитывая, что моя кузина имеет пристрастие к французской речи и что ей придется посещать нашу сельскую церковь, то достойно великого сожаления, что она не услышит здесь своих ораторов из кантона Во, которые столь

мог быстро и складно.

Общество было очень удивлено длинной фразой, выпаленной мною без единой запинки, — все решили, что я мастак во французском языке; впрочем, из-за быстроты, с какой я все это произнес, никто ни слова не разобрал, кроме дядюшки, который удовлетворенно посмеивался. Разумеется, мои собеседники не догадывались о том, что я, пока молчал, придумал и выучил наизусть эту речь и никак не мог бы продолжать с подобной беглостью. Анна одна поняла все; она ничего не ответила и, казалось, была в глубине души оскорблена; я увидел, как она покраснела и смущенно опустила глаза. Она не могла спокойно отнестись к шуткам над священниками из Кантона Во⁸¹, ибо вместе с французским языком она под их влиянием усвоила и некоторую ортодоксальность их взглядов. Заметив, что нелепая форма, которой я хотел прикрыть свою неуверенность и робость, произвела на нее дурное впечатление, я как можно быстрее постарался сбежать из-за стола. Когда донесся последний удар колокола, призывавший к молитве, вся семья поднялась и отправилась в храм. Анна натянула блестящие перчатки из светлой кожи, и все три мои кузины, которые, хотя и одевались на городской манер, всегда ходили в церковь без перчаток, извлекли свои перчатки из шелковой или бумажной ткани и надели их. Когда Анна отправлялась в церковь, лицо ее выражало благоговейную строгость; сосредоточенно глядя на дорогу, она хранила молчание. Мои кузины, которые всегда по пути в церковь резвились и хохотали, теперь тоже напустили на себя такое торжественное выражение, что я совсем уж растерялся и не знал, как себя вести. Я был так смущен, что стал к печке, хотя сад был залит лучами юного летнего солнца. Мои родичи спросили меня, собираюсь ли я идти с ними, но я, чтобы снова хоть как-нибудь вернуть свое утраченное достоинство, ответил с большой важностью:

— Нет, мне некогда, я должен писать!

В церковь отправилась вся семья — надо полагать, что это делалось в честь Анны; я один остался дома. В окно я видел, как они шли лужайками и по аллее, потом они исчезли и опять появились на высоком холме, где находилось кладбище, а затем вошли в церковные двери. Вскоре эти двери закрылись, звон колоколов затих, и до меня стало отчетливо доноситься мелодичное пение. Затем затихло и пение, и над селом воцарилась тишина, время от времени прерываемая громкими возгласами проповедника, — так иногда крики чаек нарушают безмолвие озера. И листва, и миллионы трав и былинки притаились в мертвой тишине, но, покачиваясь из стороны в сторону, продолжали буйствовать втихомолку, совсем как озорные ребятишки во время какого-нибудь высокоторжественного акта. Отрывистые звуки проповеди, вырывавшиеся из-за приоткрытой оконной рамы, рождали в воздухе причудливое эхо: то слышался окрик, то веселый возглас, то визгливая фистула, то глухое рокотание, то нечто вроде испуганного ночного крика: «Пожар!» — то снова что-то похожее на смех хохотуньи. Я представлял себе, как Анна, погруженная в раздумье, сидит в церкви и внимательно слушает проповедь священника; я взял перо и бумагу и в самых пламенных выражениях излил свои чувства. Я напомнил ей о нашей нежной встрече подле могилы моей бабушки, называл ее по имени и возможно чаще употреблял слово *ты*, некогда принятое между нами. Совершенно упоенный сочинением этого письма, я иногда останавливался в раздумье и затем продолжал в еще более пылких выражениях.

Все, что дало мне мое случайное и несистематическое образование, изливалось теперь на бумагу вместе с чувствами, порожденными нынешними переживаниями. Мое послание

благовоспитанны, учены и набожны. Поэтому, чтобы огорчение ее не было чрезмерным, я предлагаю вам, дядюшка, снова ранять ваше место на кафедре, мы составим для вас узкий круг слушателей, а вы будете произносить перед нами красноречивые французские проповеди. Что же я могу поделать! (*франц.*)

⁸¹ *Кантон Во* (Ваадт) — расположен в юго-западной части Швейцарии, у Женевского озера. Главный город — Лозанна. Родной язык большей части населения — французский. В женевских и лозаннских пансионах было принято обучать девушек из состоятельных семейств немецкой Швейцарии.

было проникнуто глубокой печалью, и, окончив писать, я перечитал его несколько раз вслух, словно стараясь направить каждое слово прямо в сердце Анны. Потом мне захотелось уйти в сад, оставить письмо на столе, положить его раскрытым, чтобы небо, люди, все равно кто, — могли его прочесть через раскрытое окно, впрочем, только полная уверенность в том, что поблизости нет ни одной живой души, придала мне ту отвагу, с которой я расхаживал взад и вперед между грядками, поглядывая на окно, у которого лежало мое пылкое объяснение в любви. Я был уверен, что, написав письмо, поступил правильно; я испытывал чувство удовлетворения и внутреннего освобождения, но не был вполне уверен в безопасности и вернулся в комнату в тот самый момент, когда письмо мое, уносимое сквозняком, вылетело в окно. Ветер занес его на яблоню; я кинулся в сад; и тут я увидел, что ветер снова поднял мой листок и сильным порывом унес его в сторону гудящего пчелиного улья, в который он и угодил. Я приблизился к улью, но пчелы вели себя так, точно их, ввиду быстротечности летней поры, обязали специальным полицейским предписанием работать, не считаясь с воскресным днем; они так гудели и летали во всех направлениях, что нечего было и думать о том, чтобы подобраться к улью. Я остановился в нерешительности и испуге; но весьма болезненный укус в щеку дал мне понять, что мое объяснение в любви — под надежной охраной вооруженных сил пчелиного государства. Несколько месяцев оно, конечно, спокойно пролежит в улье, но когда начнут вынимать мед, без сомнения, будет найдено, а тогда... Я начал рассматривать это происшествие как знамение судьбы и отчасти был даже рад тому, что теперь объяснение в любви уже вышло из-под власти его автора и волею случая могло быть обнаружено. Потирая укушенную щеку, я покинул пчел, не забыв, впрочем, внимательно осмотреть улей — не выглядывает ли откуда-нибудь уголок белой бумаги. В церкви вновь зазвучало пение, опять стали звонить колокола, и наше общество, рассыпавшись на группки, потянулось к дому. Я снова стал у окна и глядел, как, постепенно приближаясь, выступала из зелени девичья фигурка. Сняв свою белую шляпу, Анна задумчиво остановилась перед пчелиным ульем и, казалось, с восхищением наблюдала за трудолюбивыми тварями; а я с еще большим восхищением смотрел на нее, я видел, как она стоит рядом с моей надежно укрытой тайной, и вообразил, что какое-то предчувствие заставило ее задержаться возле этого прелестного цветущего уголка. Когда она вернулась в дом, все существо ее дышало тем радостным удовлетворением, которое испытывают набожные люди после посещения церкви, — она стала оживленной и проще. Однако за обедом, оказавшись опять с нею рядом, я испытал те же горькие и сладостные переживания. В воскресенье и праздничные дни стол моего дядюшки уподоблялся во всем его дому и повторял все свойственные этой семье неожиданные и живописные сочетания. Три четверти стола, за которым располагалась молодежь и слуги, были заставлены большими деревенскими блюдами с огромными кусками мяса и гигантскими окороками. Молодое вино наливалось из большого кувшина в простые, зеленоватого стекла стаканы, вилки и ножи были самые простые и дешевые, ложки — оловянные. Во главе же стола, где восседал сам дядюшка с гостями, все выглядело совсем по-иному. Наряду с другими великолепными яствами там были расставлены плоды дядюшкиной охоты и рыбной ловли, разделенные на маленькие порции; поскольку тетушка не обладала необходимыми навыками в приготовлении подобных вещей, она старалась нарезать дичь и рыбу с почти аптекарской тщательностью, как деревенский кузнец собирал бы часы. То тут, то там на пестрых старинного фарфора тарелках были разложены жареная птица, рыба, вареные раки, изысканные салаты. Старое крепкое вино было налито в графинчики, которые стояли в окружении древних бокалов разнообразной формы. Ложки были серебряные, и вообще все приборы представляли собою осколки былой роскоши, — то это был нож с ручкой из слоновой кости, то вилка с короткими зубцами и эмалевой ручкой. Среди всей этой пестроты изысканных блюд и посуды высился, как гора, огромный хлеб, — он казался грандиозным отрогом расположенного на другом конце горного хребта окороков, «жители» которого, критикуя самым резким образом рассеявшихся во главе стола привилегированных гурманов, неумело обращавшихся с едой, мстили им таким образом за свое унижение. Тем, кто не умел

быстро и аккуратно расправляться с рыбой или извлекать тонкие косточки из дичи, нечего было рассчитывать на снисхождение, — они подвергались осмеянию. Приученный в материнском доме к самому невзыскательному столу, я не умел обращаться с рыбой и дичью, и поэтому большинство острот сотрапезников пало на мою голову. Так, одни из батраков подал мне окорок и попросил разделить ему это голубиное крылышко, — ведь всем, мол, известно, как я ловок в этом деле; другой заявил, что именно я наиболее приспособлен для того, чтобы сгрызть корочку жареной колбасы. К тому же я еще должен был изображать из себя галантного кавалера и ухаживать за моей дамой, что мне было совершенно не по душе, ибо мне не только казалось смехотворным подносить ей блюдо, стоявшее у нее перед носом, и я не только готов был скорее служить ей своим сердцем, чем руками, но у меня просто не хватало необходимых светских познаний — я невпопад предлагал ей хвост рыбы, когда следовало подать голову, или наоборот. Вскоре я перестал заботиться об угощении и только беззаботно радовался ее близости. Но мой дядюшка пробудил меня от сладостных мечтаний, предложив мне разобрать для Анны щучью голову и показать ей расположенную там крестообразную косточку — этот символ господних страданий. Однако я по недомыслию успел уже съесть щучью голову, хотя слышал ранее слова об ее особых свойствах, и таким образом предстал перед всеми в качестве невежественного язычника; разозленный своей неловкостью, я схватил рукой обглоданную кость от окорока, поднес ее к лицу Анны и сказал, что это — священный гвоздь с того креста, на котором был распят Христос. Так я быстро восстановил свой престиж перед острословами, но Анна совершенно не заслужила подобной грубости, — она не насмеялась надо мной, а тихо сидела рядом, не произнося ни слова. Она густо залилась краской, я тотчас же почувствовал всю грубость своего поступка и готов был в знак раскаяния проглотить эту кость. Но тут вмешался мой дядя, сделавший мне замечание и попросивший меня в будущем избавить общество от подобных сообщений. Наступила моя очередь краснеть, и я уже не произнес больше ни слова на протяжении всей трапезы. Я спрятался в своей комнате, сидел там в горьком раздумье и не показался бы больше оттуда, если бы меня не разыскали кухни и не пригласили пойти вместе с ними и их братьями проводить Анну, а заодно навестить учителя. Видя, как мне неловко и стыдно, они хотели помочь мне и обращались со мной как можно дружелюбнее; они отлично знали, что, по понятиям нашего возраста, мне не следовало идти с ними, раз Анна обижена, но они стремились замять происшедшую неловкость.

Итак, мы двинулись в путь и пошли лесом, вдоль речки. Я молчал, и когда тропинка стала такой узкой, что по ней можно было идти только гуськом, я оказался последним, — впереди меня была Анна, но я по-прежнему шагал, погруженный в безмолвие. Мой взор с благоговением и любовью был прикован к ее фигурке; я готов был, однако, отвести глаза в случае, если она оглянется назад. Но Анна ни разу не обернулась; я мысленно уверял себя, что она так легко и ловко преодолевает трудные участки дороги, испытывая тайное желание понравиться мне. Несколько раз я делал робкие попытки помочь ей, но она всегда опережала мои движения. И вдруг на одной из возвышенностей нашего пути я увидел красавицу Юдифь, стоящую под темными ветвями ели, ствол которой высился, подобно колонне из серого мрамора. Я давно не видел Юдифи: мне показалось, что за это время она стала еще красивее. Она стояла, скрестив руки, и губы ее играли зажатым во рту маленьким бутонем розы. Она поздоровалась со всеми нами по очереди, не вступая в беседу, и когда, наконец, очередь дошла до меня, слегка кивнула мне с едва заметной иронической усмешкой.

Учитель радостно приветствовал нас, и в особенности дочь, которую страстно ждал. Ведь она теперь стала живым воплощением его идеала — красивая, нежная, образованная, душевно благочестивая и благородная; и скромное шуршание ее шелкового платья ему открыло — в самом высоком смысле этих слов — новый, прекрасный мир. Его прежнее состояние приумножилось солидным наследством, и он использовал эти средства на то, чтобы окружить себя всевозможными удобствами, без всякой излишней роскоши. Он тотчас же раздобывал все, что только могла пожелать его дочь, в соответствии с ее новыми, приобретенными на чужбине потребностями, и для самого себя купил множество хороших

книг. Свой старый серый фрак он сменил на изящный черный, служивший для выходов, а дома носил смахивавший на мантию шлафрок, чтобы еще более походить на достойного ученого патриарха, удалившегося в частную жизнь. Он очень любил вышивки, и потому они были всюду — на одежде и на мебели, разнообразные, многоцветные; об этом заботилась Анна. В малом зале с органом стоял теперь великолепный диван, покрытый пестрыми подушками, а перед ним лежал большой ковер с крупными цветами, вытканый руками Анны. Эта роскошь богатых красок, собранных в одном углу зала, являла своеобразный и очень красивый контраст с простыми белыми стенами. Комнату украшали еще только блестящие трубы органа и его расписные дверцы. Появилась Анна, на которой теперь было белое платье, и села к органу. В пансионе она училась играть на фортепьяно, но когда отец предложил тотчас же приобрести для нее рояль, она отказалась; она была слишком умна и горда, чтобы, как другие, брэнчать по клавишам, не имея настоящего призвания. Она использовала полученные ею знания, чтобы научиться исполнять на органе простые песни. Она аккомпанировала нашему пению, и учитель, примкнув к нам, тоже запел. Он не отрываясь смотрел на дочь, и я также, потому что мы оба стояли у нее за спиной; она и в самом деле была похожа на святую Цецилию, а белые ее пальчики, бегавшие по клавишам, казались совсем детскими. Насладившись музыкой, мы вышли в сад, и я тотчас заметил, что и здесь многое переменялось. У крыльца росли гранатовые деревца и олеандры, садик не был усеян, как раньше, одними розами и желтофиолями, он теперь больше отвечал новому облику Анны, — здесь были экзотические растения, среди которых стоял зеленый стол, окруженный садовыми стульями. Поужинав за этим столом, мы пошли к берегу, где была привязана новая лодка; учитель заказал ее для Анны, которая на Женевском озере научилась грести, — так впервые здесь на озере появилась лодка. Все, кроме учителя, уселись в нее и поплыли, разрезая ровную сияющую поверхность воды; я, как прибрежный житель, хорошо знающий, что такое озеро и желающий показать свое искусство, уселся у руля; девушки сидели, тесно прижавшись друг к другу, юноши вели себя шумливо, вызывая девушек на шутки и спор. Вскоре им удалось возобновить вчерашнюю перепалку, тем более что моим сестрам надоело чинное поведение и впервые за долгое время они почувствовали себя свободно. Им уже наскучило изображать по примеру Анны строгих и тонных девиц и давно не терпелось пожать плоды той зловещей шутки, которую они позволили себе сыграть с моей постелью. Поэтому я вскоре оказался главным предметом беседы. Марго, старшая из сестер, сообщила Анне, что я высказываю убеждения сурового женоненавистника и вряд ли когда-нибудь снизойду до сердца, жаждущего взаимности; она сказала, что считает своим долгом предупредить Анну, чтобы та не вздумала когда-нибудь влюбиться в меня, так как в остальном я, по ее словам, был вполне милым юношей. Лизетта заметила по этому поводу, что не следует доверяться видимости; более того, она уверена, что в душе я сгораю от любви, только к кому — этого она не знает; но верным признаком влюбленности является мой беспокойный сон: утром моя постель была обнаружена в самом невообразимом виде, простыни были так спутаны, что можно предположить, будто я всю ночь вертелся вокруг своей оси, как веретено. С притворной озабоченностью Марго спросила меня, действительно ли я плохо спал. Если это так, заявила она, то она не знает, что и подумать обо мне. Однако ей хочется верить, что, выдавая себя за женоненавистника, я отнюдь не лицемерю, но на самом деле питаю вражду к слабому полу! К тому же я ведь еще слишком юн для таких мыслей. Лизетта возразила ей: вся беда именно в том, что такой молокосос, как я, уже настолько влюблен, что не находит себе сна и покоя. Эта последняя реплика окончательно взорвала меня, и я воскликнул:

— Если я и не мог спать, то только из-за вас, из-за ваших любовных шашней, из-за того, что вы мне всю ночь мешали. По крайней мере, не один я не спал!

— О, конечно же, и мы влюблены — влюблены по уши! — ответили они с некоторым смущением, но тут же собрались с духом, и старшая продолжала:

— Знаешь что, милый кузен, давай заключим с тобой союз. Доверь нам свои страдания, и в благодарность за это ты сделаешься нашим поверенным и ангелом-хранителем всех

наших любовных мук!

— Сдается мне, тебе вовсе не нужен ангел-хранитель, — отвечал я, — у твоего окошка ангелы и так весело бегают по лестнице вверх и вниз!

— Послушайте, он уже начал заговариваться, — боюсь я, что голова его не в порядке! — воскликнула Марго, краснея, а Лизетта, которая еще надеялась своевременно уйти из-под удара, прибавила:

— Ах, оставьте в покое бедного мальчика, он такой славный, мне его так жалко!

— А ты замолчи! — крикнул я, раздражаясь все больше. — К тебе в комнату поклонники прямо так и падают с деревьев!

Парни радостно захлопали в ладоши и закричали:

— А, вот оно как! Художник, конечно, что-то видел, еще бы, еще бы, еще бы! Все это мы давно заметили! — И тут они стали перечислять имена волокит, пользующихся особым расположением обеих барышень, которые, повернувшись к нам спиной, заявили:

— Пустозвоны! Все вы лгуны и мошенники, а художник — злока и самый главный враль!

Посмеиваясь, они принялись перешептываться с обеими своими подругами, которые так и не знали, кому из нас верить, и ни одна из них не удостоила нас больше взглядом. Так я еще до захода солнца выболтал ту самую тайну, которую утром поклялся себе великодушно сохранить. С этого началась война между мной и красавицами, и внезапно я оказался бесконечно далек от цели всех моих мечтаний и надежд, ибо мне казалось, что все девушки составляют сплоченный союз, что все они — как бы единое существо и что необходимо склонить на свою сторону целое, если хочешь завоевать частицу.



Чертов мост возле Бюлаха.
Тушь. 1840 г.

Глава девятая
ВОЙНА ФИЛОСОФОВ И ДЕВИЦ

Как раз в это время второго учителя на селе перевели в другую деревню, и на его место прибыл молоденький учитель лет семнадцати, который вскоре привлек к себе всеобщее внимание. Это был удивительно красивый юноша, краснощекий, с хорошеньким ротиком, курносенький, голубоглазый, со светлыми вьющимися волосами. Он сам себя именовал философом, и все стали так его называть, потому что и характер его и поведение во всем отличались своеобразием. Одаренный превосходной памятью, он в семинарии быстро овладел всеми относящимися к его профессии знаниями и смог отдалиться изучению различных философских теорий, которые он, по его словам, выучил наизусть; он твердо верил, что настоящим учителем народной школы может быть только человек, который стоит

на вершине человеческих познаний, объемля своим взглядом все явления мира, который обогащает свое сознание всеми идеями на свете и в то же время, оставаясь скромным и простодушным и не утратив детской непосредственности, общается с детьми, к тому же по возможности с самыми маленькими. Он и жил в соответствии с этими взглядами. Но благодаря его крайней молодости жизнь его казалась какой-то комедией с переодеваниями, прелестным миниатюрным трагедии. Он, как попугай, затвердил все системы от Фалеса⁸² до наших дней, но понимал он их всегда совершенно буквально и конкретно, причем особенно нелепо и комично было его восприятие уподоблений и образов, коими пользуются мыслители. Когда он говорил о Спинозе⁸³, ему представлялась не отвлеченная идея стула вообще, как сгустка организованной материи, но отдельный стул, тот самый, который в данный момент стоял перед ним; стул этот казался ему реальным воплощением божественной субстанции и потому достойным поклонения. Когда он касался Лейбница⁸⁴, то не мир разлетался пылью бесчисленных монад, а кофейник, избранный им в качестве примера; сосуд этот грозил развалиться на части, и содержимое его, не принятое в расчет при уподоблении, вылилось бы на стол, если бы философ не поспешил постулировать гармонию и тем сохранить в целостности хрупкий кофейник, а также сберечь целительный напиток. Кантовский божественный постулат⁸⁵ звучал в его устах так живо и изящно, как звуки почтового рожка, в которые вложена вся глубина душевного волнения; у Фихте⁸⁶ тоже все реальное исчезало, подобно вину в погребке Ауэрбаха⁸⁷, исчезало так бесследно, что даже наши носы, которые мы ощупывали собственными руками, превращались в нечто нематериальное; если Фейербах⁸⁸ сказал: «Бог есть не что иное, как то, что человек извлек из собственного существа и из собственных желаний и что он превратил в бога, — следовательно, он, этот бог, есть не что иное, как сам человек», — то наш философ немедленно окружал свое чело неким мистическим нимбом и взирал на самого себя с молитвенным почитанием; таким образом, хотя он и сохранял религиозное содержание этой истины, но превращал в нелепое богохульство то, что у Фейербаха выражает суровый

⁸² *Фалес* (ок. 624–547 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, основатель милетской школы философов, проявивших себя как стихийные материалисты и наивные диалектики. Милетские философы считали одухотворенными все формы материи.

⁸³ *Спиноза* Барух (1632–1677) — великий голландский философ-материалист и атеист. Отвергая бога как творца природы, Спиноза считал, что природа сама по себе является причиной и сущностью всех вещей.

⁸⁴ *Лейбниц* Готфрид-Вильгельм (1646–1716) — один из крупнейших немецких философов-идеалистов; пытался примирить религию и науку; развивал учение о монадах как нематериальных первоначальных элементах вселенной, наделенных духовной сущностью.

⁸⁵ *Кантовский божественный постулат...* — Крупнейший немецкий философ-идеалист Иммануил Кант (1724–1804) считал зависимость мира от божественного разума постулатом, то есть истиной, принимаемой без доказательств.

⁸⁶ *Фихте* Иоганн Готлиб (1762–1814) — немецкий философ, один из представителей субъективного идеализма, объявивший весь мир порождением абсолютного «я».

⁸⁷ *..в се реальное исчезало, подобно вину в погребке Ауэрбаха...* — Имеется в виду сцена «Погребок Ауэрбаха в Лейпциге» из первой части гетевского «Фауста». Используя народную легенду, Гете изображает здесь, как Мефистофель, дурача пьяных гуляк, «добывает» из отверстия в деревянном столе вино, которое затем неожиданно исчезает.

⁸⁸ *Фейербах* Людвиг (1804–1872) — крупнейший немецкий философ-материалист домарковского периода. См. о нем во вступительной статье.

аскетизм и самоограничение. Однако комичнее всего он воспринимал учения древних философских школ, жизненные правила которых пытался объединить, следуя им в своем поведении. Подчиняясь требованиям киников⁸⁹, он срезал лишние пуговицы со своего костюма, выбросил ремни от башмаков, сорвал ленту со своей шляпы; он ходил с громадной дубиной, которая так не шла к нежным чертам его девичьего лица, а спать ложился прямо на пол. То его красивые золотистые волосы рассыпались длинными вьющимися локонами, и при этом он уверял, что ножницы — предмет совершенно ненужный, то вдруг он сбрасывал кудри, объявляя их суетной роскошью, и тогда его голый розовый череп, на котором даже самыми тонкими щипчиками нельзя было бы ухватить ни единого волоска, придавал ему особенно смешной вид. В еде же он был эпикурейцем⁹⁰ и, отвергая обычную деревенскую пищу, тушил для себя на медленном огне беличье мясо, жарил какую-нибудь рыбешку или перепелку, пойманную собственноручно, поедая незрелые бобы, молодую травку и тому подобное, запивая все это стаканчиком старого вина. С другой стороны, будучи последователем стоиков⁹¹, он позволял себе различные шутки, которыми выводил людей из себя, чтобы затем проявить холодное равнодушие к обрушившимся на него оскорблениям и сохранить полное спокойствие; решительно заявлял он о своем презрении к женскому полу и вел с женщинами неумолимую войну, утверждая, что они своими греховными прелестями и присущей им суетностью тщатся лишит мужчин их добродетелей и серьезности. В качестве киника он смущал женщин и девушек непристойными замечаниями, в качестве эпикурейца преследовал их эротическими шутками, в качестве стоика выкладывал им прямые грубости; впрочем, стоило собраться вместе трем девушкам, как он неизменно оказывался рядом. Они защищались от него с шумным отчаянием, так что всюду, где он появлялся, разыгрывались веселые схватки; тем не менее он всегда был желанен в женском кругу. Мужчины не обращали на него внимания, а дети его очень любили; в их обществе он внезапно становился кротким, как ягненок, и сразу находил с ними общий язык. Ему поручено было учить самых маленьких, и это он делал превосходно, — до него на селе и не бывало таких благовоспитанных ребятишек. Поэтому взрослые смотрели сквозь пальцы на все, что он учинял, приписывая его странности тому, что он еще молод и не перебесился; и даже старание выдать себя за атеиста не могло лишить его приязни женской части населения.

Он бывал в доме моего дяди, чьи дочери и сыновья, а также многочисленные гости проявляли живой интерес к его выходкам. Я пристроился к этому философу: меня привлекали как его разглагольствования, так и его воинственное женоненавистничество, которое пришлось мне по вкусу вследствие осложнений, возникших у меня с девицами. Мы подолгу прогуливались с ним, и он излагал мне по очереди все философские системы так, как сам их понимал и как они могли быть доступны моему пониманию. Все это представлялось мне в высшей степени важным, и очень скоро я вслед за ним проникся уважением ко всем теориям, и ко всем мыслителям, независимо от того, одобряли мы их или

⁸⁹ *Киник и* — древнегреческая философская школа, основанная афинским философом Антисфеном (ок. 435—370 гг. до н. э.). Сторонники этой школы провозглашали основой счастья возвращение к «естественному состоянию», ограничение потребностей, отказ от каких бы то ни было излишеств и полную независимость от общественных условностей.

⁹⁰ *Эпикуреец* — приверженец древнегреческого философа-материалиста Эпикура (342–270 гг. до н. э.). Целью философии Эпикур считал счастье, которое достижимо только в том случае, если свободный от предрассудков человек будет наслаждаться спокойным и радостным состоянием духа. Радость бытия Эпикур и его последователи считали высшим благом. Слово «эпикуреец» приобрело позднее нарицательный смысл — оно обозначает человека, видящего смысл и цель бытия в удовольствиях, наслаждениях.

⁹¹ *Стоики* — сторонники греческого философского направления, возникшего около III в. до н. э. и просуществовавшего до VI в. н. э. В отличие от эпикурейцев, стоики проповедовали покорность судьбе, бесстрашие, отречение от радостей жизни во имя высших нравственных принципов.

нет. В вопросе о христианстве мы вскоре достигли полного единодушия и наперебой поносили попов и всякого рода священнослужителей; однако когда дело дошло до того, что мне нужно было отказаться от господ бога и от бессмертия и мой философ потребовал этого, приведя мне ряд весьма беззастенчивых доводов, я столь же беззастенчиво рассмеялся ему в лицо, и мне даже не пришло в голову, что необходимо основательно продумать его утверждения. Я сказал, что в конечном счете в основе каждой философской системы, как бы убийственно логична она ни была, лежит столь же великая и столь же пугающая мистика, как учение о троиственности божества, и добавил, что не хочу знать ничего иного, кроме своих личных прирожденных убеждений, и что ни один человек на свете не заставит меня отказаться от них. К тому же я сказал, что не знал бы, как мне вообще быть без бога, и что божье провидение весьма и весьма понадобится мне в жизни, — к этим убеждениям меня приводило и некое художественное чутье. Все, что создают люди, приобретает смысл и значение лишь благодаря тому, что у них была цель, что их создание — дело человеческого разума и свободной воли, а потому и природа, к которой я обращаюсь, может лишь тогда иметь в моих глазах ценность, если я буду рассматривать ее как создание существа, одинаково со мной воспринимающего и творящего в предвидении цели. Эти пронизанные солнцем буковые деревья лишь тогда становятся для меня предметом восхищения, когда я представляю себе, что они созданы чувством радости и красоты, которое подобно моему.

— Взгляните на этот цветок, — сказал я философу, — разве можно себе представить, что эта удивительная симметрия, эти с такой точностью распределенные точки и зубчики, эти белые и красные полосы, этот крохотный золотой венчик здесь посередине — все это не было заранее обдуманно? И как он хорош, как очарователен, этот цветок, — ведь это поэма, это произведение искусства, это улыбка небес, их многоцветная благоухающая шутка! Нет, такое не создается само собой!

— Во всяком случае, цветок красив, — заметил философ, — создан он кем-нибудь или нет! Но спросите его, и он ничего вам не ответит, у него даже и времени нет для этого, он должен цвести, и ему нет дела до ваших сомнений! Ибо все это только сомнения, все эти ваши выкладки, сомнения относительно бога и праздные сомнения относительно природы. А мне становится тошно, как только до ушей моих доносятся сомнения, да еще сомнения чувствительного юноши!

Этот козырь он присвоил себе у старших, слушая их споры, и, так же как другие позаимствованные им фехтовальные приемы, использовал его против меня с такой ловкостью, что в конце концов я был побит. В заключение спора он неизменно заявлял, что я еще не понимаю сути вещей и еще не умею правильно мыслить. Эти заявления бесили меня, и иногда наши прогулки кончались свирепой перебранкой. Но мы всегда снова вступали в союз, когда встречались с девицами, и нам, атакуемым со всех сторон, предстояло выдержать совместную борьбу. Сначала мы победоносно отбивали наших противниц саркастическими замечаниями; а когда они, уже обессилев, приходили в еще большую ярость, словесный поединок сменялся военными действиями; какая-нибудь девица начинала с того, что нечаянно выливая одному из нас на голову стакан воды; вслед за этим мы начинали гоняться друг за другом по саду и по всему дому. К нам быстро присоединялись другие парни — разве они могли упустить такую возможность и не повоевать с пятью или шестью разгневанными девушками? Мы кидались фруктами, стегали друг друга вырванными из земли стеблями крапивы, дрались врукопашную, стараясь столкнуть друг друга в воду, — и я немало дивился тому, как отчаянно сопротивляются сумасбродные девицы. Когда я изо всей силы удерживал такую дикарку обеими руками, крепко обхватив ее, чтобы она не могла меня ударить, то я честно и храбро дрался, не ища побочных выгод от своего положения и не задумываясь о том, что сжимаю в объятиях девушку. Наши схватки всегда происходили в отсутствие Анны; но однажды спор разгорелся при ней, он возник неожиданно, и Анна попыталась сразу же скрыться, но я, пустившись изо всех сил догонять одну из девушек, чтобы наказать ее за злобное коварство, внезапно по ошибке схватил в свои объятия Анну и сразу же в испуге опустил руки.

Чем воинственнее я был, когда рядом со мной стоял философ, тем более робок становился, оказавшись наедине с девушками; мне оставалось только одно — покорно склоняться перед судьбой. Философ не страшился этого крещения огнем; иногда он бесстрашно отбивался от натиска чуть ли не дюжины молодых и пожилых чертовок; они свирепо отщипывали его кулаками и языками, а он бросал им в лицо изречения из Библии и разного рода светские доводы, поносящие женский пол, — вот когда он ощущал истинное упоение победой. Я вел себя не так: я сразу же отступал с поля битвы, если видел, что дело принимает дурной оборот, или прикидывался готовым не только выслушать их, но и позволить обратить себя в другую веру. А когда я оставался с глазу на глаз с девушкой, тотчас же заключалось перемирие, и я чувствовал, что вот-вот изменю нашему делу и сдамся на милость противника. Ведя себя скромно и дружелюбно, я рассчитывал постепенно прийти к тому, чтобы поговорить с глазу на глаз и с Анной; по глупости своей я думал, что всего лучше добьюсь цели сложным, обходным путем, беседуя с другими девушками, вместо того чтобы просто взять Анну за руку и заговорить с нею. Но последнее казалось мне совершенно недостижимым, казалось невозможной, несбыточной мечтой; я, пожалуй, скорее поцеловал бы дракона, чем так легкомысленно перешагнул бы через рубеж, а между тем дело, быть может, было именно в том, чтобы поцеловать дракона, то есть произнести первое слово, которое бы рассеяло колдовские чары и освободило прекрасную деву — Доверчивость.

Но кто же мог это знать! И не лучше ли синица в руках, чем журавль в небе? Не лучше ли сохранить возможность этих молчаливых встреч, чем, оскорбив ее самолюбие, навеки расстаться с нею? Я все больше робел и в конце концов был совершенно неспособен, обратившись к Анне, сказать ей хотя бы самые малозначительные слова; а так как и она никогда не заговаривала со мной, случилось, что после одной такой долгой и безмолвной встречи мы как бы перестали существовать друг для друга, хотя и не избегали встреч. Она приходила к нам так же часто, как прежде, и иногда заставляла меня дома, а я по-прежнему навещал ее отца и, глядя на нее, думал, что она весело занимается домашними делами, не замечая меня. И все же мне казалось удивительным, что никто не примечает странностей нашего поведения, хотя всем уже должно было броситься в глаза, что мы не разговариваем друг с другом. В это лето моя старшая кузина, Марго, стала невестой молодого мельника, стяжавшего себе славу лихого кавалериста; средняя, Лизетта, открыто принимала ухаживания одного богатого крестьянского сына, а младшую — девчонку шестнадцати лет, которая в наших стычках была всегда яростнее и непримиримее всех, мы после одной из самых жарких баталий застигли в беседке, где она целовалась с философом; все это привело к тому, что облака вражды рассеялись, установился всеобщий мир, и только между мной и Анной, никогда не воевавшими друг с другом, не было мира или, вернее, мир был, но слишком уж тихий; наши отношения не изменились. Анна сбросила с себя изысканные манеры, которые ей привили за границей, и снова стала веселее и непринужденнее, но она оставалась нежным и хрупким ребенком, неразговорчивым и раздражительным, от обиды она часто краснела, и в особенности за последнее время я стал замечать, что она горда и упряма. Но тем влюбленнее становился я с каждым днем, и мысли мои были заняты только ею. Оставаясь один, я чувствовал себя несчастным и сумрачно бродил по лесам и горам; а так как мне к тому же казалось, что только мне одному и нужно скрывать свои мысли, то я предпочитал бродить в одиночестве, довольствуясь своим собственным обществом.

Глава десятая **СУД В БЕСЕДКЕ**

Вооружившись этюдником, я целые дни проводил в лесной чаще; однако с натуры я писал мало; найдя в лесу укромное местечко, где никто не мог меня настичь, я извлекал из папки лист отличной английской бумаги и по памяти писал акварелью портрет Анны. Сидя с рисунком на коленях у зеркально гладкого озерка, под сенью густой листвы, я испытывал истинное блаженство. Рисовал я дурно, поэтому рисунок получался несколько причудливым,

однако благодаря известной сноровке автора и ярости накладываемых им красок все в целом невольно привлекало взгляд. Каждый день, украдкой или открыто, я всматривался в Анну и потом исправлял свою картину, пока наконец не добился сходства. Я писал ее во весь рост — она стояла посреди клумбы с цветами, и высокие стебли и головки цветов тянулись к синему небу вслед за высоко поднятой головой Анны; верхний край рисунка был округлен и увит вьющимися растениями, а на ветках сидели яркие птицы и бабочки, краски которых я еще усилил золотистыми бликами. Для того чтобы тщательно выписать все это, а также одеяние Анны, которое я украсил множеством причудливых узоров, пришлось потрудиться немало дней; я провел их в лесу, наслаждаясь своей работой, и лишь изредка прерывал ее, чтобы поиграть на флейте, которую всегда носил с собой. Вечерами после захода солнца я тоже часто выходил на прогулку с моей флейтой, поднимался высоко в гору, откуда видно было расположенное в низине озеро и подле него — домик учителя, и тогда в ночной тишине, под сияющей луной, раздавались мои импровизированные напевы или печальный любовный романс.

Так прошли летние месяцы; я тщательно спрятал свою картину и собирался долго еще укрывать ее от посторонних взоров, ибо каждый, кто взглянул бы на нее, сразу бы увидел в ней весьма бесспорное свидетельство моей любви. Однажды вечером, в сентябре, когда мягкое осеннее солнце озаряло сад, рождая в душе поэтические мечты, я собрался было на прогулку, как вдруг какой-то маленький мальчик принес записку, приглашавшую меня в беседку. Я знал, что там собирались девушки, которые шили приданое для Марго, и что им помогала Анна; сердце мое забилося, я смутно предчувствовал все, что ожидало меня; но я пошел туда, лишь выждав некоторое время, храня на лице полное равнодушие. Девушки полукругом сидели у белого полотна под зеленой крышей из дикого винограда; все они показались мне цветущими красавицами.

Когда я вошел и спросил, зачем они меня позвали, девицы стали смущенно улыбаться и хихикать, так что я уже собирался повернуться и уйти от них. Но тут Марго крикнула:

— Да ты не спеши, мы тебя не съедим! — И затем, откашлявшись, продолжала: — Вот что, милый братец, на твое поведение накопилось множество разных жалоб, и мы здесь собрались, чтобы подвергнуть тебя суду и допросить. От тебя мы требуем, чтобы ты честно, правдиво и смиренно отвечал нам на все наши вопросы! Прежде всего мы желаем знать... да, что мы хотели у него спросить для начала, Катон?

— Любит ли он абрикосы, — ответила та, а Лизетта закричала:

— Нет, сперва надо спросить, сколько ему лет и как его зовут!

— Знаете что, — сказал я, — бросьте дурачиться и приступайте к делу!

Но Марго ответила:

— В общем, ты должен нам сказать, что ты имеешь против Анны и почему ты так с ней обращаешься?

— Что это значит — так? — ответил я в замешательстве, а Анна густо покраснела и уставилась на полотно.

Между тем Марго продолжала:

— Что значит — так? Я и сама не знаю, по какой причине ты, с тех пор как прибыл к нам, не разговариваешь с Анной и ведешь себя, словно ее и на свете нет? Это оскорбительно не только для нее, но и для всех нас, — как хочешь, но такое поведение надо прекратить, хотя бы для благопристойности. Если Анна невольно обидела тебя — скажи, чтобы она могла смиренно покаяться перед тобой. Впрочем, не вздумай гордиться, никто не добивается твоего драгоценного внимания! Мы собрались судить тебя, чтобы соблюсти необходимые приличия и восстановить справедливость.

Я ответил, что изложу причины моей неучтивости по отношению к Анне, как только она сообщит мне причины своего странного обхождения со мной, — и добавил, что также не могу похвастать хотя бы одним ее словечком, обращенным ко мне. На эту мою речь мне заявили: женщина может поступать, как ей заблагорассудится; во всяком случае, именно я должен сделать первый шаг, после чего Анна обязуется обходиться со мной, как со всеми, то

есть поддерживать дружественные и благожелательные отношения.

Не без удовольствия слушал я эти слова; они вполне отвечали моему представлению о женщинах как о некоем тайном обществе заговорщиц; они звучали отрядным доказательством того, как бывает хорошо, когда женщины настроены благожелательно. Их высокопарные выражения не смутили меня, и я тотчас вообразил, что они очень во мне нуждаются. Я с улыбкой ответил, что готов подчиниться разумным требованиям и что я и сам ничего иного не желаю, как жить со всеми в мире и дружбе. Я стоял перед ними, не глядя более на Анну, и только заметил, что она старательно вышивает. Лизетта обратилась ко мне и сказала:

— Чтобы положить начало, подай Анне руку и обещаю ей: всякий раз, когда ты ее увидишь, ты будешь здороваться с ней, называть ее по имени и спрашивать, как она поживает. Нужно условиться и о том, что каждый день, где бы вы ни встречались, вы будете обмениваться рукопожатием, как принято у добрых христиан!

Я приблизился к Анне, протянул ей руку и, смущаясь, произнес какую-то путаную речь; не глядя на меня, она подала мне руку и при этом наморщила нос и чуть улыбнулась.

Я уж хотел было покинуть беседку, как Марго снова заговорила:

— Терпение, сударь! Приступаем ко второму пункту, в котором надо разобраться. — Она распахнула платки, которыми был накрыт стол, и я увидел написанный мною портрет Анны.

— Мы не собираемся, — продолжала Марго, — давать подробное объяснение по поводу того, как мы добрались до этого таинственного произведения. Оно обнаружено, и теперь мы желаем знать, по какому праву и с какой целью ни в чем не повинных девушек рисуют даже без их ведома?

Анна бросила беглый взгляд на пеструю картину; она была в такой же степени смущена и встревожена, в какой я чувствовал себя посрамленным и раздосадованным. Я заявил, что этот рисунок — моя собственность и что никому на свете я не обязан давать объяснений по этому поводу, независимо от того, извлечено ли это произведение на свет божий или спрятано у меня, как и другие мои вещи, к которым я прошу в будущем относиться с меньшей бесцеремонностью. Произнеся эти слова, я хотел было взять рисунок, но девушки быстро накрыли его полотном и набросали сверху все приданое.

Они заявили, что им далеко не безразлично, если кто-то тайком и для неизвестных целей изготавливает их портреты, и потому потребовали, чтобы я недвусмысленно объяснил, для кого изготовлено сие произведение и что я намерен с ним делать; судя по всему моему поведению, нельзя же предположить, что я намерен сохранить его для себя; да это и вообще было бы недопустимо!

— Дело обстоит очень просто, — заявил я после небольшого раздумья, — я хотел сделать учителю, отцу Анны, подарок к именинам и подумал, что самое большое удовольствие ему доставит портрет его дочери. Если я почему-либо поступил дурно, то могу только пожалеть об этом и никогда больше так не поступать! Может быть, мне следовало нарисовать что-нибудь другое, скажем, его дом или сад на берегу озера, — мне это, в конце концов, все равно!

Правда, прибегнув к такому объяснению, я лишился рисунка, в который вложил много труда и который был мне дорог также и по этой причине; зато оно позволило мне разом оборвать столь неприятный для меня разговор — девушкам совершенно нечего было мне возразить на это; мало того, им еще пришлось похвалить меня за внимание к учителю. Все же они решили сохранить мой рисунок у себя до того дня, когда мы совместно отправимся к учителю и торжественно вручим ему подарок.

Так я утратил свое сокровище, но постарался скрыть огорчение. Между тем маленькая Катон, недовольная происшедшим, снова принялась за меня:

— Ему все равно! Так он сказал? Все равно — рисовать дом или Анну! Что это значит?

И Марго ответила ей:

— А это значит: он — надутый гордец, и ему одинаково безразлично — что дом, что

красивая девушка! И прежде всего он хотел этим сказать вот что: не подумайте только, будто я испытывал хотя бы малейший интерес к этому личику, когда его рисовал! Таким образом, он еще раз оскорбил бедную Анну, и теперь она должна получить за это полное удовлетворение.

Марго извлекла из-за корсажа сложенный листок, развернула его и попросила Лизетту прочесть его громко и торжественно. Я насторожился, — что это могло быть? Анна тоже ничего не понимала и в удивлении слегка приподняла голову. Но едва были прочитаны первые слова, как мне все стало ясно: то было мое любовное послание, извлеченное из пчелиного улья. Пока Лизетта читала, меня бросало то в жар, то в холод; как я ни был взволнован, я все же заметил, что Анна лишь постепенно начинала понимать, в чем дело. Остальные девушки, которые сначала лукаво пересмеивались, во время чтения вдруг притихли, пораженные и посрамленные той честной прямоотой и силой, с какой было написано письмо; они краснели одна за другой, словно каждая из них принимала эти излияния в свой адрес. Тем временем страх, непобедимый страх перед тем, что скоро прозвучит последнее слово письма, внушил мне новую хитрость. Когда Лизетта умолкла, испытывая немалое смущение, я произнес самым безразличным тоном:

— Черт возьми! Что-то очень знакомое! А ну-ка покажи! Верно! Это моя бумага, и почерк мой! Да, это я писал!

— Ну, а дальше что же? — сказала Марго, несколько озадаченная тем, какой оборот принимает разговор.

— Где же вы это нашли? — продолжал я. — Это ведь перевод с французского, я делал его здесь в доме года два назад. Вся эта история изложена в пасторальном романе с золотым обрезом, который валяется на чердаке вместе со старыми шпагами и всякими древними фолиантами. Я еще тогда шутки ради заменил имя Мелинда на Анна. Принеси-ка его сюда, крошка Катон! Я прочитаю вам этот отрывок по-французски.

— Сам принеси, крошка Генрих, — обиженно отвечала младшая, — мы ведь с тобой ровесники!

У всех девушек были разочарованные лица, — мое измышление выглядело вполне естественным и правдоподобным. Только одна Анна должна была догадаться, что послание адресовано ей, ибо только она по упоминанию бабушкиной могилы могла понять, что письмо написано недавно. Она сидела молча и неподвижно. Итак, содержание летучего листка дошло наконец по назначению без моего личного участия и без того, чтобы девушки могли торжествовать победу. Я стал так самоуверен и дерзок, что взял письмо из рук Катон, сложил его, протянул Анне и, отвесив ей иронический поклон, сказал:

— Поскольку сему упражнению в стилистике было приписано более высокое назначение, соблаговолите, досточтимая барышня, оказать покровительственный приют этому странствующему листку и принять его от меня как память о нынешнем замечательном дне!

Она не сразу отозвалась на мои слова и не хотела брать бумагу; и только когда я уже собрался сделать поворот налево, она быстро выхватила у меня листок и бросила его подле себя на стол.

Между тем остроумие мое было исчерпано, и я искал путей, чтобы подобру-поздорову покинуть беседку. Отвесив еще один шуточный поклон, я попрощался. Девушки отпустили меня, провожая иронически вежливыми приседаниями. Ирония была вызвана уязвленностью их женского самолюбия, потому что им не удалось укротить и подчинить меня, а вежливость — тем уважением, которое им внушили мои ответы, ибо, хотя рисунок, равно как и исписанный мною листок, ясно свидетельствовали об особом моем расположении к Анне, я, невзирая на общественный характер наших переговоров, сумел так сберечь свою тайну, что под личиной веселой шутки сохранил на будущее полную свободу действий не только для себя, но и для Анны.

В высшей степени удовлетворенный, я отправился в свою комнату под крышей и провел там целый час в состоянии блаженной мечтательности. Анна казалась мне более

восхитительной, более достойной любви, чем когда бы то ни было. Все мои помыслы были поглощены ею, я словно отрешился от самого себя, она казалась мне такой хрупкой, что вызывала во мне чувство нежного сострадания. Я не смог долго усидеть на месте; сентябрьское солнце уже заходило, мне хотелось проводить Анну до дому в первый раз после чудесных времен детства. Но она уже ушла, отправившись через гору одна; кузины собирались домой и, укладывая вышивание, смотрели на меня с равнодушным спокойствием; а я взглянул на опустевший стол, но, поостерегшись справиться, взяла ли Анна с собой мою бумагу, пошел уныло бродить по долине в сторону леса.

В следующие дни Анна не появлялась у нас, а я не решался идти к учителю. Теперь у нее было мое письменное признание, и мне казалось, что отныне мы оба утратили свободу и что это положило конец простоте и непосредственности наших отношений, — я слишком хорошо чувствовал, что признание было вырвано у меня насильно. Так шли день за днем, и уже снова начала исчезать моя внезапно обретенная уверенность, тем более что о происшествии в беседке никто не упоминал и никаких последствий оно не имело. Я уже снова едва было не закрыл наглухо свое сердце, как вдруг наступил день именин учителя, который я в трудную минуту призвал себе на помощь. Кузины заявили, что под вечер мы все вместе отправимся поздравить его. Вот когда я наконец снова увидел мою картину, — она была вставлена в изящную рамку. Эта изящная рамка, которой было, пожалуй, лет семьдесят и которую девушки сняли с какой-то испорченной гравюры, была сделана из узких планок, оклеенных ракушками, наполовину прикрывавшими одна другую. По внутреннему краю рамки была пущена тонкая цепочка с квадратными звеньями, по наружному краю — нитка с бусинками. Сельский стекольщик, который был на все руки мастер и особенно умело наводил новый лак на старинные шкатулки, придал ракушкам розоватый глянец, позолотил цепочку, побелил бусинки, вставил в рамку новое стекло, — и я с удивлением увидел мой рисунок во всем этом блестящем оформлении. Портрет вызвал восхищение всех деревенских его зрителей, которых особенно поразили мои цветы и птицы, а также золотые пряжки и драгоценные камни, украшавшие Анну и ее одежду. Все удивляло их, — и то, с какой тщательностью написаны ее волосы, и ее белый сборчатый воротничок, и ее голубые глаза, и розовые щеки, и пунцовый рот; все это вполне отвечало буйному воображению зрителей, их взоры радовались многообразию всех этих черт. Лицо было написано почти без теней, одной светлой краской, что особенно понравилось им, хотя единственной причиной этого мнимого достоинства была моя беспомощность.

Когда мы пустились в дорогу, мне пришлось самому нести свое произведение, и когда лучи солнца падали на блестящую поверхность стекла, они освещали каждую черточку моего рисунка. Оглядываясь на меня, девушки отпускали ядовитые шутки; в самом деле, я старался не повредить рамку и так заботливо прижимал к себе свою ношу, что казалось, будто я несу не картину, а икону. Однако радость, которую проявил учитель, с лихвой вознаградила меня за все, в том числе и за утрату картины, — я уже твердо решил написать для себя новую и гораздо лучшую. Я был поистине героем дня. Мою картину долго рассматривали, а затем водрузили ее над софой в зале с органом, где в полумраке она была похожа на изображение некоей легендарной святой.

Глава одиннадцатая **ДУХОВНЫЕ БЛУЖДЕНИЯ**

Но все это только затруднило мое сближение с Анной; использовать новые обстоятельства, чтобы сдружиться с ней, было невозможно; я понимал, что именно теперь она должна вести себя в высшей степени сдержанно и что, если юноша с такой определенностью выказывает девушке свою склонность, это уже не шутки. Тем теснее я сошелся с учителем, с которым у нас часто теперь возникали дискуссии. Круг его знаний охватывал главным образом область христианской морали, которую он толковал отчасти в просвещенном духе, отчасти же в духе мистической набожности, причем во главу угла он

ставил принцип долготерпения и любви, основанный на самопознании и на изучении бога и вселенной. Поэтому учитель был хорошо осведомлен о трудах и сочинениях религиозных мыслителей разных наций, он владел уникальными книгами, знаменитыми трудами этого рода, и они отлично удовлетворяли его духовные потребности. В этих книгах было много прекрасных и поучительных мыслей, и я скромно и увлеченно слушал его рассуждения, ибо стремление к правде и добру казалось мне всего важнее. Я возражал только против того, что учитель рассматривает христианскую религиозность как единственный источник добра на земле. Это вызвало у меня мучительный внутренний разлад. Самого Христа я любил, хотя и считал, что совершенство этой личности представляет собой плод легенды, но я испытывал враждебность ко всему, что именуется христианством, даже не зная как следует — почему, и испытывал удовлетворение, сознавая эту свою враждебность; ибо всюду, где я видел проявления христианства, я не находил для себя ничего, кроме серых и непривлекательных абстракций. Вот уже два года, как я почти не бывал в церкви, и религиозные наставления ходил слушать редко, хотя и обязан был это делать. Летом это мне сходило легко, потому что я большей частью жил в деревне. Зимой же я бывал на этих лекциях не более двух-трех раз, и окружающие делали вид, что ничего не замечают; они вообще не слишком донимали меня, ведь меня звали Зеленым Генрихом, потому что я был существом обособленным и на других не похожим. К тому же в церкви у меня бывал столь угрюмый вид, что святые отцы не слишком стремились меня удерживать. Так я достиг полной свободы и, как мне казалось, обрел ее потому, что, несмотря на молодость, сам решительно присвоил ее себе; в этом отношении я не склонен был на уступки. Впрочем, раз или два в году мне приходилось расплачиваться за эту свободу, — до меня доходила очередь выступать с церковного амвона, то есть излагать несколько заранее подготовленных ответов на заранее заученные вопросы. Это всегда было для меня мучением, теперь же стало просто невыносимым, и все-таки я должен был подчиниться обычаю, ибо, поступи я иначе, я не только огорчил бы матушку, но испортил бы свои отношения с церковью, а значит, и затруднил бы себе законное освобождение от своих религиозных обязательств. На следующее рождество меня ожидала конфирмация, и все же, как ни пленяла меня предстоявшая полная свобода, я был чрезвычайно этим озабочен. Поэтому теперь, в беседах с учителем, я критиковал христианство более резко, чем когда-либо, но делал это в совершенно иной форме, нежели в разговорах с философом. Я должен был вести себя почтительно; передо мной был не только отец Анны, но и вообще престарелый собеседник; его терпеливость и дружелюбие сами по себе обязывали меня соблюдать меру и скромность в выражениях и даже признаваться перед ним, что я юн и еще многому должен поучиться. А учитель не только не сердился по поводу того, что я высказывал мнения, отличные от его идей, но скорее радовался этому, — он таким образом получал возможность мыслить и рассуждать вслух, и это стало причиной его растущей привязанности ко мне. Он говорил, что считает меня человеком которого христианство явится итогом жизни, а не плодом церковных поучений, что я еще стану хорошим христианином когда пройду жизненную школу. Учитель находился в разногласиях с церковью и полагал, что ее нынешние слуги суть люди невежественные и грубые. Но я подозреваю, что эта его неприязнь к церковникам вызвана была лишь их познаниями в древнееврейском и греческом, тогда как для него сия премудрость оставалась книгой за семью печатями.

Тем временем дни жатвы давно прошли, и мне пора было готовиться к отъезду. На этот раз дядюшка сам пожелал отвезти меня в город и захватить заодно дочерей; обе младшие никогда еще не выезжали из села. Он приказал запрячь старую коляску, и мы двинулись в путь; дочери при этом так нарядились, что вызывали удивление во всех деревнях, которые попадались нам по пути. Дядя в тот же день уехал с Марго обратно, а Лизетта и Катон остались погостить у нас на неделю; теперь была их очередь разыгрывать роль застенчивых скромниц, а я, с важным видом показывая достопримечательности города, вел себя так, точно все это сам изобрел.

Вскоре после их отъезда к нашему дому подкатила легкая повозка, из которой вышли

учитель и его юная дочь, — на плачах у нее лежал зеленый шарф, предохранявший ее от осенней прохлады. Я не мог представить себе более приятного сюрприза, а моя мать сердечно обрадовалась милой девушке. Учитель думал осмотреться и выяснить, нет ли в городе подходящей квартиры на зиму, ему хотелось мало-помалу ввести дочь в общество, чтобы способствовать всестороннему развитию ее способностей. Однако он не нашел ничего, что его удовлетворило бы, и решил, что лучше в будущем году приобрести домик близ города, в который можно было бы перебраться навсегда. Эта перспектива наполнила мое сердце радостью, но в то же время я мечтал сохранить драгоценный образ Анны в окружении тех дальних зеленых долин, которые так полюбились мне. С несказанной радостью следил я за тем, как росла дружба между моей матерью и Анной, проявлявшей к матушке не только глубокое почтение, но и живую приязнь. Между нами возникло настоящее соревнование: я старался всячески выказать свое уважение учителю, она — моей матери, и, поглощенные этим приятным занятием, мы уже не находили времени для общения между собой, — вернее, общение наше целиком выразилось в этом соревновании. Так и уехали они от нас прежде, чем я успел обменяться с ней хотя бы одним-единственным многозначительным взглядом.

Между тем надвигалась зима, а вместе с ней приближались рождественские праздники. Три раза в неделю в пять часов утра я отправлялся в дом помощника пастора, где в длинной, узкой, как гроб, комнате сорок молодых людей готовились к предстоящей конфирмации. Мы — юноши, как нас теперь величали, представляли здесь самые различные сословия. Во главе стола, освещенного скудным светом нескольких свечей, сидели дворяне и студенты, далее располагались простодушные и смешливые сынки среднего сословия и, наконец, в полной тьме — неотесанные и робкие сапожные подмастерья, слуги и фабричные рабочие, среди которых время от времени возникал какой-то шум, вызванный напряженным вниманием, тогда как остальные слушатели сидели с подчеркнутым достоинством на лицах и в то же время с видом снисходительной рассеянности. Такое разделение не было нам предписано, оно образовалось само собой. Мы расположились по поведению и по степени настойчивости и усердия. Мальчики из благородных семей были воспитаны дома в духе строгого почтения к церкви и обладали наибольшей уверенностью в речах, а чем ниже по общественной лестнице, тем все больше снижалось и то и другое; конечно, встречались исключения из правила, но такие мальчики не хотели расставаться со своими и смешиваться с другими сословиями.

Необходимость вставать рано утром по строго определенным дням, брести в холодной зимней мгле, а затем сидеть на одном и том же месте — все это было мне невыносимо, со школьных лет я не вел уже подобного образа жизни. Не то чтобы я вообще не был способен покоряться дисциплине, когда видел в ней разумную цель, — двумя годами позже я был призван к выполнению воинской обязанности и в качестве рекрута должен был в определенные дни с точностью до минуты являться на сборный пункт, чтобы по воле престарелого фельдфебеля шесть часов подряд вертеться на каблуках, и я исполнял все это с величайшим рвением, трепетно надеясь на одобрение старого вояки. Но там дело шло о том, чтобы подготовить себя к защите отечества и его свободы; земля моей родины была физически ощутимой, я стоял на ней и питался ее плодами. А тут мне приходилось совершать над собой насилие, прогонять сладостный сон и ночные грезы, чтобы сидеть в мрачной комнате в длинном ряду таких же заспанных юношей и вести какую-то совершенно нереальную, похожую на сновидение жизнь под монотонные завывания духовного пастыря, с которым ничто в жизни меня не связывало.

То, что тысячелетия назад под далекими восточными пальмами сбылось или, быть может, пригрезилось святым мечтателям, а затем было записано ими и стало книгой преданий, — все это здесь изучалось, каждое слово этой книги рассматривалось как высшее и святейшее правило бытия, как первое требование, которому должен отвечать гражданин, и вера во все это регулировалась до тонкостей. Мы должны были верить в самые причудливые создания человеческой фантазии — то веселые и очаровательные, то мрачные, огненные и

кровавые, то неизменно овеванные ароматом далекой старины, — должны были принимать их за самую прочную основу нашего современного бытия; нам всерьез растолковывали и комментировали их, чтобы с помощью этих фантазий мы могли наилучшим и самым правильным образом испить несколько капель вина и съесть толику хлеба; если кто-либо из нас не пожелал бы с убеждением или без такового подчиниться этому чуждому и диковинному требованию, он оказался бы вне закона и даже не имел бы права избрать себе жену. И так совершалось из века в век, а различные толкования этого символического представления стоили уже моря крови. Нынешняя территория и состав нашего государства в значительной мере представляли собой следствие этих боев, так что для нас мир сказочных сновидений оказывался теснейшим образом связан с современной и вполне осязаемой действительностью. Когда я видел, с какой непререкаемой серьезностью, с какой важностью излагались сказочные сюжеты, мне казалось, что старые люди играют в детскую игру с цветочками, условившись, что каждый, кто ошибется или позволит себе улыбнуться, будет наказан смертной казнью.

Первое, что наш наставник преподнес нам как требование христианства и на чем он построил целую науку, было познание и признание греховности. Честность перед самим собой, знание своих проступков и пороков не были мне чужды, воспоминания о детских выходках и школьных проделках еще не остыли в моей памяти, и где-то на дне моего сознания возник довольно четкий образ юного грешника, который вызывал во мне благочестивое раскаяние. И все же мне не нравились его слова, не нравилось самое слово «грешник». Оно отдавало чем-то ремесленным, и от него несло отвратительным техническим духом, как от переплетной. Я тогда еще не мог как следует понять, что божественный трюк с грехопадением нашел свое продолжение в повседневном бытии человека, — чтобы постигнуть это, нам недоставало знания необходимых тонкостей из области теологии. Не будучи склонен к гордыне, я просто доверился своему чувству, которое подсказывало мне, что передо мной трудный случай и что мне следует остерегаться, как бы не выпасть из круга добропорядочных и честных людей. Впрочем, иногда мне начинало казаться, что даже праведники не избавлены от прегрешений, каждое из которых мерится своей особой мерой.

Тотчас же вслед за учением о грехе шло учение о вере, как искуплении всего греховного; это, в сущности, и было главной темой всех занятий; несмотря на все рассуждения о том, что человек должен совершать добрые дела, рефрен всегда оставался один и тот же: одна лишь вера дарит блаженство! И вот, чтобы доказать это нам, близким к совершеннолетию юнцам, духовный отец применял все возможное красноречие, исполненное притягательной силы и видимой разумности. Если я поднимусь на самую высокую гору и примусь считать на небосводе звезду за звездой с точностью, с какой люди подсчитывают свое жалованье, это не будет заслугой веры, и если я стану на голову и снизу буду рассматривать чашечку ландыша, я не смогу открыть ничего похвального в вере. Тот, кто во что-то верит, может быть хорошим человеком, но и тот, кто не верит, также может оказаться не менее хорошим. Если я сомневаюсь в том, что дважды два — четыре, то от этого в соотношении данных чисел ничего не меняется, а если я верю, что дважды два — четыре, то мне нечего особенно этим гордиться, и никто не станет меня за это превозносить. Если бы бог создал землю и населил ее мыслящими существами, а сам после этого закутался в непроницаемое покрывало, предоставив созданной им породе погрязать в нищете и грехах, а затем открылся бы отдельным существам в невероятной и чудесной форме и ниспослал людям при непостижимых разумом обстоятельствах избавителя, поставив, однако, спасение и блаженство всех земных тварей в зависимость от веры в эти таинственные обстоятельства, и если бы он все это сделал только для того, чтобы в него верили, — он, который и без того мог бы чувствовать себя уверенным в себе самом, — если бы все это было действительно так, то сия история была бы всего-навсего искусно разыгранной комедией, которая заставила бы меня относиться к бытию бога, мира и себя самого безо всякой радости и удовольствия. Вера! О, каким невыразимо глупым кажется мне это слово! Так названо самое нелепое изобретение, которое сделано человеческим разумом в миг самой тупой бараньей

смирности! Если я нуждаюсь в бытии и провидении господнем, если я уверен в нем, как же далеко мое чувство от того, что зовется верой! Я твердо знаю, что провидение сияет надо мной подобно звезде, которая свершает свой путь независимо от того, вижу я ее или не вижу. Бог ведает, ибо он всеведущий, каждую мысль, которая рождается во мне, он знает ту, которая ей предшествовала, он видит и ту, в которую она перейдет. Он предначертал путь всем моим мыслям, и путь этот так же неизменен, как путь, совершаемый звездами и кровью. Значит, я могу сказать: хочу сделать это и не делать того, хочу быть добрым или обойтись без доброты, — и все это я могу исполнить, если буду верен своему решению и упорен в его осуществлении. Но я не могу сказать: хочу верить или хочу не верить; хочу остаться слепым и глухим к этой истине или хочу принять ее в свою душу! Я не могу даже молить о вере, ибо то, во что я не верю, не может быть для меня желанным, — ведь даже несчастье, осознанное мною, оставляет мне возможность дышать и бороться, тогда как блаженство, которого я бы не понимал, отнимало бы у души моей последние силы и последние капли воздуха.

И все же в словах «одна лишь вера дарит блаженство» содержится нечто глубокое и правдивое, поскольку оно выражает чувство невинного и наивного удовлетворения, объемяющего людей, которые охотно и легко верят в добро, красоту и чудеса, в отличие от тех, кто из злобы, жесточенности или себялюбия берет под сомнение и отрицает все, что ему преподносится как доброе, прекрасное и чудесное. Тех, кого легко подчиняет себе религиозная вера и кто обладает этим милым и добродушным легковерием, можно по праву назвать блаженными, тогда как неверие, проистекающее из противоположных источников, может быть с полным основанием названо враждебным блаженству. Однако с собственно догматическим учением о вере и то и другое не имеют *ничего* общего. Ибо точно так, как встречаются верующие христиане, которые во всех делах, кроме религиозных, оказываются нуднейшими нытиками и скептиками, так попадают и нехристиане и даже атеисты, которые с открытой душой готовы принять все, что сулит им надежду и радость; над последними любят насмехаться их религиозные противники, иронически обвиняя их в том, что они принимают, дескать, всякую обманчивую видимость за чистую монету и питают иллюзии, не желая верить лишь в великое и единое. Так перед нашими глазами разыгрывается комическое зрелище: люди, целиком поглощенные абстрактнейшими теориями, упрекают каждого, кто верит в некую реально достижимую Красоту и в реально достижимое Добро, в том, что он — абстрактный теоретик. Если хочешь познать значение подлинной веры, надо искать ее не у правоверных церковников, которые все стригут под одну гребенку и отвергают поэтому всякое своеобразие, а у тех никому не подчиненных дикарей веры, которые, объединяясь в сектах или держась поодиночке, бродят за пределами церковных стен. Ибо именно здесь проявляются подлинные движущие пружины и самая сущность судеб и характеров, помогающие охватить разросшееся и укрепившееся создание исторических сил.

В нашем городе жил некий приезжий по фамилии Вурмлиндер, любивший рассказывать доверчивым собеседникам небылицы и всяческий вздор, чтобы потом поиздеваться над легковерием слушателей, раскрыв свой обман. Какую бы историю ни рассказывали ему, он отрицал ее, но при этом самым коварным образом выставлял на смех прямодушные собеседника, как осмеивал и прямодушные тех, кто верил ему. Человек этот не съел и хлебной крошки, которая не далась ему ложью; ибо он предпочел бы умереть голодной смертью, чем вкушать от честно заработанного хлеба. Он любил утверждать, что хлеб лишь тогда хорош, когда плох, и неизменно плох, когда хорош. Вообще все стремления его были направлены на то, чтобы казаться не тем, чем он на самом деле был, а это требовало непрерывного совершенствования приемов, и так получалось, что он, который, в сущности, никогда ничего не делал и никакой пользы не приносил, был постоянно занят какими-то сложнейшими комбинациями. Ходил он крадучись и подслушивая, отчасти для того, чтобы уловить подходящий момент для своих чудачеств, отчасти — чтобы обнаружить слабые стороны в людях, ибо одним из его любимых занятий было уличать весь мир во лжи и обмане. Трудно было представить себе зрелище более смешное, чем когда он, отойдя на

цыпочках от двери, под которой подслушивал, вдруг выпрямлялся, вытягивался по швам, тарачил глаза и в напыщенных выражениях прославлял собственную откровенность, честность и беззлобную прямогу. Отлично сознавая, что всем кругом все удавалось лучше, чем ему, он постоянно испытывал жестокое чувство зависти, пожиравшей неугасимым огнем его душу и проявлявшейся в том, что каждым третьим его словом было «зависть». Ему казалось, что он составляет центр вселенной, и поэтому в каждом листочке, который шелестел не так, как ему этого хотелось, он усматривал завистливого врага; ему казалось, что весь мир — это колеблемый завистью темный лес. Если ему возражали, он приписывал это зависти; если собеседник молчал во время его словоизвержений, он впадал в ярость и, с трудом дождавшись, пока тот уйдет, обвинял его в зависти, — так что вся его речь, пересыпанная словом «зависть», превращалась, в сущности, в песнь самой зависти. Итак, он был личным заклятым врагом правды и свободно дышал только в ее отсутствие; так мыши в отсутствие кошки пускаются в веселый пляс по столу. Но правда отомстила ему самым простым образом. Главное зло состояло в том, что он еще во чреве матери пожелал быть разумнее ее, — вследствие этого он мог легко жить только тогда, когда ему не нужно было верить словам других людей и в то же время когда другие люди верили ему. Разумеется, он мог делать вид, что дело обстоит именно так; так он и поступал, и уже это представляло собой сплетение множества мелких выдумок и главную его ложь; однако доказательство истинного соотношения вещей слишком явно проявлялось в смехе окружающих. Поэтому он нашел себе опору в том учении, знаменем которого является безусловная вера. Уже одно то, что передовое направление времени отвернулось от веры и большинство мыслящих людей, даже и не высказываясь прямо против нее, отказалось от религии в пользу изучения и познания, — уже одно это явилось для него достаточным основанием, чтобы решительно противопоставить себя этому направлению и заявить при этом, что все живые силы современности делают ставку на обновленную веру; ибо он не мог ни при каких обстоятельствах обойтись без лжи. Те, кто действительно веровал, нагоняли на него скуку, ему до них не было никакого дела, и поэтому его нельзя было никогда встретить ни в церкви, ни на молитвенных собраниях. И более всего он общался с неверующими. Разумеется, его тревожило не их душевное исцеление, хотя он занимался ими с явным торопливым беспокойством. Страшило его вот что: раз он однажды заявил, что верует, то все неверующие должны быть, с его точки зрения, ослами; если же люди не примут эти его слова на веру, тогда его самого могут счесть за осла. И в самом деле, весь злосчастный религиозный спор можно было бы назвать «ослиным спором», ибо из тысячи фанатиков, шагавших по коленам в крови во имя своих религиозных представлений, девятьсот девяносто девять нарушали мир и возжигали костры только потому, что им в упорстве преследуемых слышалось звучание слова «осел», которое словно бы произносилось по их адресу. Вурмлингер ни к чему не питал такой ненависти, как к добросовестному, честному научному исследованию и к научным открытиям; когда доходили известия о результатах подобных изысканий, он отбивался от них руками и ногами и пытался их осмеять, а когда слухи оказывались правильными и научное открытие становилось зримым для всех, когда его можно было потрогать везде и повсюду, — тогда он приходил в безудержное бешенство и, вопреки всякой очевидности, называл его ложью. Таблицу умножения и химическую реторту он ненавидел и страшился их, как черт — молитвы и купели; однако и природа, посмеиваясь, мстила ему. Ибо, выражая недоверие к нашим пяти чувствам, он пытался увеличить их число и тем самым в новом свете объяснить мир христианских чудес. Когда же ему доказывали, что этим он входит в противоречие с духом христианского вероучения, и ссылались на Новый завет, он заявлял, что плюет на Новый завет, что у него есть собственная голова на плечах, — и все это он говорил через мгновение после того, как называл тот же Новый завет великой книгой жизни. Несмотря на все это, он веровал искренне (ибо каждый человек должен же склониться в какую-то сторону), он веровал тем искреннее, что предмет веры был неисповедим, непостижим и потусторонен, а к тому же, видя, что разум его обанкротился, он постепенно становился беспомощным и слезливым.

Однажды шел он с веселой компанией по каменистому берегу озера. От рождения он был весьма строен. Но то, что он постоянно кривил душой, отразилось и на его внешности: он как-то весь скособочился и стал похож на башенного петуха. Тем не менее он любил поговорить о статности своей фигуры и был готов в любой момент раздеться, чтобы похвастать ею, тогда как во всех людях он видел различные физические недостатки, — одному приписывал горб, другому — кривые ноги. Итак, он шагал впереди своих спутников, испытывая некоторое раздражение, ибо уже подвергся с их стороны нападкам, как вдруг один из них, который впервые внимательно присмотрелся к нему, крикнул: «Эй, послушайте, господин Вурмлиндер! Да ведь вы же кривобоки!» В полном изумлении обернулся он и сказал: «Вы бредите? Или изволите шутить?» Но тот обратился к обществу и призвал всех внимательно посмотреть на Вурмлиндера. Ему предложили сделать несколько шагов вперед. Он подчинился, и все подтвердили: «Да, он кривобок!» Объятый гневом, кинулся он к обидчику и стал возле него, желая доказать, что именно тот — урод и недоросток. Но тот был строен как пальма, и все общество принялось хохотать. Тогда Вурмлиндер, не говоря ни слова, поспешно разделся и стал нагишом расхаживать перед остальными. Его правое плечо было выше левого от непрерывного иронического подергивания; оттого, что он вечно ходил с надутым, презрительным видом, локти его были вывернуты вперед, а бедра сдвинуты; к тому же от стремления казаться стройным он выглядел еще более кривобоким; он шагал самым уморительным образом, выбрасывая ноги по-петушиному и время от времени с испугом озираясь и убеждаясь в том, что публика еще не смотрит на него с достойным почтением и восхищением. Когда же спутники разразились неудержимым хохотом, он пришел в ярость и, чтобы вырвать признание своих физических достоинств, принялся делать какие-то невероятные прыжки и скачки, демонстрируя силу и ловкость своего тела. Но смех становился все громче, все держались за животы. Когда он, выделявая нагишом самые диковинные па, увидел, что люди от хохота уже не держатся на ногах и садятся наземь, его объял приступ несказанного бешенства, и, желая изобразить нечто «чудодейственное», он внезапно прыгнул с края высокой скалы в озеро. К его счастью, он упал прямо в расставленные сети, и рыбаки, которые сидели в двух лодках и как раз вытаскивали сети, выловили его и спасли, причем он барахтался и бился, как рыба. Весь трясясь, голый и мокрый, должен был он после этого бежать вдоль берега, пока не нашел прибежища в каком-то доме, куда ему принесли одежду. Сразу после этого он исчез из нашего города.

Третий догмат, который священник преподносил нам в качестве христианского, был догмат любви. Не буду много рассуждать об этом. Я еще никогда не проявил на деле своего понимания любви, и все же я чувствую, что она живет в груди моей, но что я не в состоянии любить по приказу и в соответствии с теорией. Уже самая необходимость вспоминать о господе боге, когда во мне пробивается естественное чувство любви, кажется мне в известной степени помехой и неловкостью. У меня был случай, когда я на улице отказал бедняку в подаении, ибо в тот момент, когда я собирался положить ему на ладонь монету, я думал о божьем благоволении и не хотел давать милостыню корысти ради. Потом я пожалел нищего и побежал назад. Однако по пути моя жалость показалась мне наигранной, и я снова повернул, пока меня не осенила разумная мысль: будь что будет, но бедняга должен быть сыт, это всего важнее! Иногда эта мысль приходит слишком поздно, и милостыня остается лишь благим помыслом. Вот почему я всегда радуюсь, когда случается, что я исполняю свой долг бессознательно и только уже потом понимаю, что совершил нечто достойное. И тогда я радостно посылаю щелчок в небеса и восклицаю: «Эй, смотри-ка, папаша! А я все-таки ускользнул от тебя!» Но наивысшее удовольствие доставляет мне мысль о том, каким смешным я должен ему казаться в эти минуты; раз боженька все понимает, он должен понимать и шутки, хотя о нем можно сказать, — и не без основания, — господь бог шуток не терпит!

Самым веселым и интересным казалось мне учение о вечном и всепроникающем духе. Правда, я боюсь, что не совсем точно понял это учение и был увлечен отнюдь не его духовностью. Господь бог казался мне не духовным, а, наоборот, мирским духом, ибо он

есть весь мир, и весь мир — в нем; бог излучает мирское сияние.

Так или иначе, я все же полагаю, что имел право существовать среди людей, живших в мире христианских духовных представлений, и когда я уступал эту сферу отцу Анны, учителю, последний, вольнодумно отбрасывая область чудесного и вопросы веры, призывал меня признать христианство, по крайней мере, в его духовном значении и надеяться, что оно еще будет сиять в своей чистоте и оправдает со временем свое имя; тем более что, по его словам, ничего лучшего нет и, видимо, не будет. На это я, однако, возражал: дух может быть в той или иной мере выражен через человека, но не может быть вымыслен и создан человеком, ибо он вечен и бесконечен, а посему обозначение истины именем человека подобно хищению из бесконечного общего достояния, хищению в пользу разного рода авторитетов. В республике, утверждал я, от каждого гражданина требуют всего лучшего и высшего, и его не награждают падением республики, возвышением его имени и превращением его в государя. Так же, как на республику, смотрю я на мир идей, над которым бог возвышается лишь как покровитель, свято соблюдающий в полной свободе данный им закон; эта свобода — да будет она и нашей, а наша — его свободой! И если я в каждом вечернем облаке вижу знамя бессмертия, то да будет для меня и каждое утреннее облако золотым знаменем мировой республики! «В которой каждый может стать знаменосцем!» — добродушно посмеиваясь, добавлял учитель. Я же твердил, что нравственное значение этого духа независимости кажется мне исключительно важным, более важным, чем мы, быть может, способны себе представить.

Глава двенадцатая **ПРАЗДНИК КОНФИРМАЦИИ**

Уроки священника шли к концу; теперь мы должны были заботиться об одежде, чтобы в достойном виде появиться во время торжества. Так уж повелось из рода в род, что в эти дни молодые люди заказывали себе свой первый фрак, надевали стоячие воротнички, повязывали тугой галстук, впервые надевали цилиндр. Те, кто до того носил длинные волосы, теперь стриглись коротко, на английский манер. Все это внушало мне ужас и отвращение, и я поклялся никогда им не подражать. Зеленый цвет полюбился мне, и я даже не хотел отказываться от прозвища, которое все еще неизменно употребляли, говоря обо мне. Мне без труда удалось уговорить мою мать приобрести зеленое сукно и заказать мне вместо фрака куртку со шнурками, а вместо ужасавшего меня цилиндра — черный бархатный берет; ведь цилиндр и фрак, сказал я, носят редко, а я еще буду расти, и, таким образом, тратиться на эти предметы совершенно излишне. Она согласилась со мной еще и потому, что бедные ученики и дети поденщиков тоже являлись к празднику не в черных фраках, а в обычных своих воскресных костюмах; я же заявил, что мне совершенно безразлично, отнесут ли меня к детям досточтимых бюргеров или нет. Я расстегнул воротник и откинул его назад возможно шире, лихо зачесал за уши мои длинные волосы и с беретом в руках появился в комнате священника, где в сочельник должна была состояться еще одна репетиция в домашней обстановке. Когда я встал в ряды торжественно разряженных юношей, на меня стали коситься с заметным удивлением, ибо я был одет, как настоящий протестант. Но я держался без вызова и старался стушеваться, и внимание ко мне вскоре остыло. Речь священника весьма понравилась мне; ее главная мысль заключалась в том, что отныне начинается для нас новая жизнь, что все наши прошлые провинности должны быть прощены и забыты, а будущие будут, напротив, измеряться новой, более строгой мерой. Я и сам чувствовал, что такой переход необходим и что время для него наступило. Поэтому я мысленно присоединился к священнику, когда он призвал нас никогда не терять надежду на лучшее в нас самих. Из его дома мы отправились в церковь, где происходило самое празднество. Там священник вдруг сделался совсем другим. Он выступил с грозной и высокопарной проповедью, почерпнув все свое красноречие из церковного арсенала, и в громоподобных словах рисовал перед нами картины ада и рая. Речь его была искусно

построена; он говорил с нарастающим напряжением, а в момент, которым должен был особенно потрясти общину, нам, стоящим вокруг него, надлежало хором произнести громкое и торжественное «да». Я не вслушивался в смысл его слов и вслед за другими шепотом произнес свое «да», не разобравшись в обращенном к нам вопросе; и все же меня почему-то охватил такой ужас, что я задрожал мелкой дрожью и не сразу сумел ее подавить. Это было следствием и того, что я безотчетно поддался общему порыву, и глубокого испуга, вызванного мыслью, что я, столь юный и неопытный, крохотная частичка этой огромной общины, отделился от нее самой и от ее древнейших верований.

Рождественским утром нам надлежало снова процессией шагать к церкви, чтобы принять там причастие. Мне с самого утра было весело; еще несколько часов, и я освобожусь от всего этого духовного гнета и буду свободен, как птица! Я был в кротком, примиренном расположении духа и отправился в церковь, испытывая то чувство, с каким отправляешься в гости к людям, с которыми не имеешь ничего общего и прощание с которыми проходит поэтому очень весело. Придя в церковь, мы могли смешаться с толпой взрослых и сидеть там, где каждому из нас хотелось. В первый и последний раз я занял мужское место, принадлежавшее нашей семье, номер которого матушка повторяла мне до тех пор, пока я его не запомнил.

Со смерти отца — иначе говоря, уже много лет — это место пустовало; вернее, к нему прилепился какой-то бедняк, не имевший своих владений. Когда он подошел и увидел меня, то с чисто церковной благожелательностью попросил освободить «его место» и добавил поучительным тоном, что в этих рядах расположены только собственные места. Я, как зеленый юнец, мог бы, конечно, уступить место пожилому человеку, но дух собственности и своекорыстия, проявленный им здесь, в самом сердце христианской церкви, рассердил меня; кроме того, мне хотелось наказать смиренного прихожанина за его простодушную ложь, и, наконец, я знал, что изгнанный очень скоро и притом навсегда вновь займет свое привычное место, — эта мысль доставляла мне особое удовольствие. Я, со своей стороны, прочел ему наставление и затем, наблюдая, как он, смущенный и грустный, пошел искать отдаленное место среди неимущих, решил завтра же объяснить ему, что в дальнейшем он может всегда пользоваться моей скамьей, — мне она совершенно не нужна. Но один раз я решил посидеть и постоять на этом месте, как то делал мой отец, который не пропускал ни одного праздника, чтобы не пойти в церковь, ибо высокие торжества наполняли его светлой радостью и бодрой стойкостью, и здесь, в храме, он особенно глубоко чувствовал и почитал то великое и доброе божество, которое видел воплощенным во всем мире и во всей природе. Рождество, пасха, вознесенье и троица были для него чудеснейшими днями веселья и радости, которые он проводил в созерцании, в посещении церкви и веселых прогулках по зеленым горам. Я унаследовал эту страсть к праздникам, так что, когда утром в троицу я стою на горе, вдыхая чистый и прозрачный горный воздух, нет для меня лучше и красивее музыки, чем колокольный звон, доносящийся из далекой равнины; вот почему я уже нередко размышлял над тем, каким образом, упразднив церковь, можно сохранить прекрасную музыку колоколов. Но я не мог придумать ничего, что не было бы глупо и искусственно, и в конце концов неизменно приходил к выводу, что печальная прелесть колокольного звона именно в том и состоит, что он, летя к нам из голубой долины, приносит весть о народе, собравшемся там во имя древних религиозных верований. Свободный духом, я не мог не уважать этих верований, как воспоминаний детства, — и именно потому, что я ушел от них, колокола, звонившие столько веков в старинной и прекрасной стране, глубоко волновали душу мою. Я чувствовал, что «сделать» ничего нельзя, что непостоянство и вечный круговорот всего земного сами рождают печальное чувство поэтической прелести.

Свободомыслие моего отца в религиозных вопросах было преимущественно направлено против нелепостей ультрамонтанства⁹², нетерпимости и окостенелости

⁹² *Ультрамонтанство* — реакционнейшее направление в католической церкви, возникшее в XV в. Ультрамонтаны стремились сосредоточить в руках папы не только духовную, но и светскую власть.

ортодоксальных реформаторов⁹³, сознательного оглупления и всякого рода ханжества, — поэтому он довольно часто произносил слово «поп». Но достойных священников он уважал и охотно проявлял к ним почтительность, даже если это был самый архикатолический, но достославный священник, он с особым удовольствием склонялся перед ним, — в лоне цвинглианской церкви он всегда чувствовал себя в полной безопасности. Образ гуманного и вольного реформатора, павшего на поле битвы, был для отца моего опорой и надеждой. Я же теперь стоял на иной почве и чувствовал, что, при всем моем уважении к реформатору и герою, не могу быть той же веры, что и мой отец, но при этом был совершенно уверен, что он проявил бы полную терпимость и уважение к независимости моих убеждений. Это мирное размежевание между отцом и сыном в религиозных убеждениях я обдумывал, сидя в церкви, представляя себе отца живым и ведя с ним мысленную беседу. А когда вся община затянула его любимую рождественскую песню: «Господь сказал: «Да будет свет!» — я тоже запел вместо отца моего, запел громко и радостно, хотя мне и нелегко было попадать в тон; дело в том, что справа от меня стоял кузнец, а слева немощный литейщик, которые все время какими-то причудливыми трелями пытались сбить меня, и делали это тем более громко и дерзко, чем упорнее я держался своего. Потом я стал внимательно слушать проповедь, критически оценивая ее, и нашел ее весьма недурной; чем ближе был конец церемонии, чем ближе была моя свобода, тем отменнее я находил проповедь и мысленно соглашался со славным добряком пастором.

Мне было все веселее на душе; наконец началось причастие. Я внимательно следил за обрядом, стараясь запомнить все в точности, ибо надеялся никогда больше не присутствовать при этой церемонии. Хлеб — это белые ломтики размером и толщиной с игральную карту, похожие на блестящую бумагу. Их выпекает причетник, а дети покупают у него обрезки, — они любят это невинное лакомство, и я сам не раз покупал у него полную шапку, а потом удивлялся, как мало еды оказывалось там на поверку. Многочисленные церковные служки идут по рядам и раздают хлеб, молящиеся отламывают от него уголок и передают ломтик дальше, между тем как другие служки раздают деревянные чаши с вином. Многие люди, в особенности женщины и девушки, сохраняют тоненький, как листочек, ломтик хлеба, чтобы заложить его в молитвенник. На одном таком листочке, обнаруженном мною в молитвеннике моей кухни, я однажды нарисовал пасхального агнца и едущего на нем верхом амура, за что был подвергнут допросу и получил суровый выговор. Держа теперь в руках несколько таких листочков, я вспомнил об этой истории и не мог не улыбнуться. Я даже испытал минутное искушение сохранить листовидный ломтик, чтобы изобразить на нем что-нибудь веселое на память о моем расставании с церковью. Но я вспомнил, что нахожусь на отцовском месте, и передал хлеб дальше, сунув в рот маленький кусочек — последнее воспоминание о детстве и детском лакомстве, которое я когда-то покупал у причетника.

Когда чаша оказалась в моих руках, я, прежде чем выпить, внимательно посмотрел на вино; но вид его не произвел на меня никакого впечатления, я отпил глоток и передал дальше. Пока я глотал вино, мои мысли были уже по пути к дому, я нетерпеливо мял бархатный берет и едва дождался конца службы, потому что от долгого стояния у меня начали сильно мерзнуть ноги.

Когда наконец распахнулись церковные двери, я быстро и ловко протеснился сквозь толпу. Не показывая окружающим радости от обретенной свободы и никого не толкая, я все же, несмотря на свою сдержанность, первым оказался на изрядном расстоянии от церкви. Здесь я стал ждать матушку, которая вскоре появилась в толпе и вышла мне навстречу в своем смиренном черном облачении; я отправился с ней домой, ничуть не беспокоясь о

⁹³ *Ортодоксальные реформаторы* — сторонники протестантского вероучения в Швейцарии, ратовавшие за сохранение его в том виде, как оно было первоначально изложено Ульрихом Цвингли (см. прим. 13).

своих товарищах по изучению духовных наук. Среди них не было ни одного, с которым бы я сблизился, многих из них я с тех пор так ни разу и не встречал. Придя в нашу теплую комнату, я с удовольствием бросил молитвенник в сторону, а матушка пошла взглянуть на еду, которую с утра поставила в печь. Сегодня обед должен был быть таким обильным и праздничным, какого наш стол не видывал со смерти отца; матушка пригласила одну бедную вдову, которая оказывала ей множество мелких услуг, и та явилась к обеду без опоздания. На рождество к столу всегда подается первая кислая капуста, и вот она была водружена вместе с вкусной свиной грудинкой. Обсуждение последней предоставило женщинам отличную тему для разговора. Вдова была столь же добродушного, сколь и шумливого нрава; когда на стол было поставлено маленькое блюдо с паштетом, она всплеснула руками, заявляя, что не прикоснется к нему, что порушить его было слишком жалко. И, наконец, из печи появился жареный заяц — дар моего дяди, присланный из деревни. О зайце вдова заявила, что его следует сохранить в неприкосновенности до второго дня праздника, — и без него у нас уже всего более чем достаточно. Тем не менее мы ели, и от всего отведали, и долго сидели за столом, слушая вдовушку. Она разнообразила застольную беседу рассказами о своей судьбе и широко распахнула перед нами шлюзы своего сердца. Много лет назад она была всего лишь год замужем за совершенно никчемным человеком; он покинул ее, оставив сына, которого она с превеликими трудностями вырастила; теперь он стал подручным у деревенского портного, тогда как мать сама зарабатывала себе на хлеб, таская воду и стирая белье. Она так описывала своего мужа, которого называла шелудивым псом, что мы смеялись до колик; но еще смешнее оказался рассказ об ее отношениях с сыном. Хотя она презрительно и называла его ублюдком шелудивого пса, тем не менее сын был единственным предметом ее любви и заботы, — и поэтому она в разговоре постоянно возвращалась к нему. Она отдавала ему все, что могла, и именно скудость этих даров, которые она с таким трудом добывала, не могла не тронуть нас, и в то же время мы не могли не смеяться, когда она с благодушной хвастливостью перечисляла «жертвы», которые приносила сыну. В минувшую пасху, рассказывала она, сын получил от нее красно-желтый ситцевый шейный платок, на троицу — пару башмаков, а к Новому году она приготовила пару шерстяных чулок и меховую шапку, и все это ему — паршивому мальчишке, балбесу, молокососу! За три года он постепенно выудил у нее целых два луидора, этот чистюля, этот жалкий травоед. Но на все это он должен прислать ей расписки, потому что, провалиться ей на этом месте, ее мужу, этому беглому мошеннику, если только он хотя бы раз покажется, придется возместить ей каждый лиар⁹⁴. А расписки сына, этой дубины, о, они выглядят отлично, он ведь пишет лучше государственного канцлера! А на кларнете он играет, как соловей, — так играет, что хочется плакать, когда его слушаешь. И все-таки он жалкое ничтожество, у него ничего не выходит, а какую уйму шпига с картошкой он жрет, когда со своим хозяином уходит к мужикам, и ничего-то ему не помогает, он все равно такой же тощий, зеленый и бледный, как огурец. А тут еще ему вдруг втемяшилась в голову мысль жениться, ведь ему уже тридцать лет. Но она в это время как раз связала для него пару носков — так вот она взяла их, прихватила еще и колбасу и помчалась в деревню, чтобы выбить из него дурь. Он еще и колбасы не доел, как одумался и покорился. А потом как красиво он играл на кларнете! Он здорово шьет и кроит, да ведь и отец его не какой-нибудь там остолоп... А какие он умеет выделывать коленца! Но в этих парнях сидит сатана; такого юнца, щеголя пустоголового, надо держать в узде, и с женьитьбой — поосторожнее. Она непрерывно и на все лады в самых неумеренных выражениях расхваливала обед и только сожалела, что не может ничем попотчевать своего висельника, хотя он ничего такого и не заслужил. В промежутках она рассказала о трех или четырех портновских семьях, в которых служил сын, о невинных домашних разладах, о веселых приключениях в селах, где портняжили мастер с подмастерьем, — так что наш обед был приправлен судьбами

⁹⁴ *Ли ар* — мелкая монета (соответствует примерно одной четвертой части су).

огромного количества людей, которые и не догадывались об этом. После обеда вдова, развеселясь от нескольких стаканов вина, взяла мою флейту и пыталась дуть, но потом отдала ее мне и попросила сыграть какой-нибудь танец. Я выполнил ее просьбу, и она, приподняв пальцами углы своего воскресного передника, стала кокетливо кружиться по комнате. Мы хохотали без умолку и были все очень довольны. Она сказала, что танцует впервые со дня своей свадьбы. То был все же лучший день ее жизни, хотя жених и оказался шелудивым псом. И в заключение она должна с благодарностью признать, что господь бог был всегда к ней милостив, заботился о куске хлеба для нее и даже иногда уделял ей часок-другой для веселья. Ведь вот вчера еще она никак не могла вообразить, что так приятно проведет рождество. Это дало повод обеим женщинам перейти к более серьезным рассуждениям, а я при этом стал обдумывать жизнь бедной вдовы, которая мечтает сделать из своего сына настоящего мужчину и умеет только вязать ему носки. Я должен был признаться себе и в том, что мои жизненные обстоятельства, которые часто казались мне бедными и жалкими, представляли собой волшебную сказку в сравнении с той убогой заброшенностью и разобщенностью, в которых пребывали вдова и ее несчастный тощий сын.



Пейзаж в окрестностях Цюриха.
Масло. 1840 г.

Глава тринадцатая
МАСЛЕНИЦА

Через несколько недель после Нового года, как раз в ту пору, когда я мечтал о наступлении весны, мне написали из села, что несколько селений в нашей округе объединились, желая отметить масленицу грандиозным театральным представлением. Былые католические карнавалы сохранились у нас в виде общего праздника весны, и с годами грубоватый народный маскарад постепенно превратился в национальные празднества на открытом воздухе, в которых поначалу участвовала только молодежь, а затем и жизнерадостные люди постарше; они представляли то битву швейцарцев, то какие-нибудь события из жизни знаменитых героев, — и, соответственно уровню образования и благосостояния в той или иной округе, спектакли готовились и игрались с большей или меньшей основательностью и размахом. Одни села уже завоевали таким образом известность, другие еще только боролись за нее. Мое родное село вместе с несколькими другими селами было приглашено одним соседним местечком принять участие в большом представлении о Вильгельме Телле⁹⁵; поэтому мои родичи попросили меня участвовать в приготовлениях, ибо от меня как художника ожидали известного опыта и умения, а на себя надеялись мало, — ведь наше село было расположено далеко от города, и жители подобных вещей не знали. Временем своим я располагал вполне, и к тому же такого рода занятие было настолько в духе моего отца, что матушка не стала против него возражать; я не заставил просить себя дважды и каждую неделю на несколько дней стал уходить из города, — тем более что в это время года путешествие по покрытым снегом полям и лесам доставляло мне большую радость. Теперь я увидел деревню зимой, увидел зимний труд и зимние радости крестьян и как они встречают пробуждающуюся весну.

В основу представления был взят «Вильгельм Телль» Шиллера; у нас было много экземпляров этой драмы в издании для народных школ, где была пропущена только любовная сцена между Бертой фон Брунек и Ульрихом фон Руденцом⁹⁶. Пьеса эта легко доступна простому народу, ибо она чудесным образом выражает его думы и все то, что народ считает правдой. Трудно представить себе смертного, который стал бы возражать против того, чтобы его чуть-чуть или даже довольно основательно идеализировали поэтическими средствами.

Большая часть играющей толпы должна была изображать пастухов, крестьян, рыбаков, охотников, словом — народ; им предстояло переходить с одного места действия на другое, группируясь вокруг тех, кто считал себя призванным для более смелого выступления. В народных сценах выступали и юные девушки, которые проявляли свои дарования, в лучшем случае участвуя в общем хоре, тогда как ведущие женские роли были отданы юношам. Места действия были распределены между всеми селами и деревнями в соответствии с их природными условиями, и это вело к тому, что взад и вперед по дорогам двигались толпы в театральных костюмах, а также множество зрителей.

Я оказался полезным при подготовительных работах и выполнял в городе множество разных поручений. Я перерыл все склады, где могли найтись мишура и маски, я советовал, что выбирать, тем более что прочие уполномоченные были склонны хвататься за все яркое и броское. Мне пришлось даже столкнуться с правительственными чиновниками, и при этом я

⁹⁵ ...принять участие в большом представлении о Вильгельме Телле.. — Вильгельм Телль — легендарный борец за национальное освобождение швейцарцев от австрийского гнета (XIV в.) и за создание швейцарских кантонов; герой одноименной драмы Фридриха Шиллера, которая широко используется в Швейцарии в дни национальных празднеств.

⁹⁶ *Берта фон Брунек и Ульрих фон Руденц* — персонажи драмы Шиллера «Вильгельм Телль» — наследница богатых австрийских владений в лесных кантонах и молодой швейцарский дворянин, примкнувшие к освободительному движению швейцарского народа.

проявил себя как мужественный представитель своей общины; мне было поручено отобрать и принять старинное оружие, которое власти передали нам на условиях самого бережного с ним обращения. На этот раз подобные торжества готовились в нескольких округах, и поэтому чиновникам пришлось раздать почти все запасы; остались только самые ценные трофеи, с которыми были связаны исторические воспоминания. Кроме того, уполномоченные общин спорили из-за оружия. Всем хотелось иметь одно и то же, хотя одно и то же им вовсе не было нужно. Я отобрал множество мечей и палиц для приносящих клятву на Рютли⁹⁷, но один из моих конкурентов стремился отнять их, хотя я и пытался втолковать ему, что в эпоху, которую будут представлять его односельчане, было совершенно иное оружие. Чтобы решить наш спор, пришлось обратиться к хранителю цейхгауза, который меня поддержал, и стоявший позади меня богатый трактирщик, приехавший в качестве возницы за оружием, с торжеством пожал мне руку. Но теперь мои противники считали меня опасным парнем, который выхватывает все самое лучшее у них из-под носа, и они неотступно следовали за мной по старинному цейхгаузу, выбирая то, на что падал мой взгляд; так что мне ценою большого упорства удалось нагрузить еще одну подводку железными шлемами и бородами из пакли для рослых стражников тирана⁹⁸. Когда мы вместе со зрителями составляли список полученных вещей, я казался самому себе очень важным лицом, хотя, в сущности, доверенным в этом деле был не я, а упомянутый трактирщик, который и поставил под документом свою подпись.

Затем у меня снова оказалась пропасть работы на селе; с несколькими пакетами краски и огромными кистями отправился я за город, чтобы расписать фасад одного нового крестьянского дома и с помощью пестрой росписи и изречений превратить его в жилище Штауффахера⁹⁹; здесь не только должна была произойти сцена разговора между Штауффахером и его женой, — сюда должен был прискакать сам деспот, чтобы произнести свою злобную тираду.

В доме дядюшки, где мне, по существу, пришлось всем управлять, я всячески стремился придать костюмам сыновей верный исторический колорит и удержать дочерей от желания наряжаться на современный лад. За исключением невесты, все дети моего дяди хотели участвовать в спектакле и уговаривали Анну, которую к тому же приглашали организаторы представления. Однако она долго не соглашалась, как мне кажется, не только из робости, но и из гордости, — пока учитель, которого давно уже вдохновляла мысль о необходимости облагородить старинные грубые игры, решительно не призвал ее внести в это дело и свою лепту. Но тут-то и возникал главный вопрос — кого ей было играть? Ее изящество и образование могли только украсить наше празднество, но ведь все крупные женские роли уже были отданы юношам. Я, однако, уже давно кое-что для нее придумал и без труда доказал правильность своего предложения кузинам и учителю. Хотя роль Берты фон Брунек полностью выпадала из спектакля, Берта все же могла, как немое лицо, украсить собой свиту Геслера. Народное воображение обычно рисовало свиту сборищем дикарей, а самого тирана награждало устрашающей и смешной физиономией. Я добивался, чтобы на этот раз было не так, чтобы появление тирана было блистательным и грандиозным зрелищем, ибо победа над жалким противником не могла принести славы. Сам я взял на себя

⁹⁷ *Рютли* (расчищенный от леса участок) — место в кантоне Ури, где тайно собирались жители лесных кантонов Швейцарии, ведшие борьбу за освобождение родины от австрийского владычества. По легенде, в ночь с 7 на 8 ноября 1307 г. швейцарцы, собравшиеся на Рютли, дали торжественную клятву освободить свою родину от габсбургских фогтов (наместников). Клятва на Рютли — один из центральных эпизодов в драме Шиллера «Вильгельм Телль».

⁹⁸ *Тиран, деспот.* — Имеется в виду Геслер — имперский фогт в кантонах Швиц и Ури.

⁹⁹ *Штауффахер* — крестьянин из кантона Швиц, участник освободительной борьбы.

роль Руденца. Его взаимоотношения с Аттинггаузен¹⁰⁰ тоже выпали из пьесы, и только в конце ему надлежало перейти на сторону народа, так что эта роль предоставляла мне много свободы, время для помощи другим и возможность мало говорить. Один из моих двоюродных братьев играл Рудольфа Гарраса¹⁰¹, и, таким образом, Анна могла находиться под охраной двух родственников. В нашем доме не знали Шиллера в полном издании, и даже учитель не читал этого поэта, ибо образованию его было дано другое направление. Так что ни одна душа не подозревала о тех отношениях, которые я имел в виду, предлагая Анне роль Берты фон Брунек, и Анна беззаботно попала в расставленную мною западню. Труднее всего было научить ее ездить верхом. В конюшне моего дяди стоял смиренный и гладкий белый жеребец, никогда не обидевший даже мухи; на нем мой дядя торжественно объезжал свои владения. Там же в конюшне лежало старинное дамское седло. Его обтянули красным плюшем, снятым с какого-то почтенного кресла; когда Анна впервые села на коня, она быстро с ним освоилась, особенно благодаря советам опытного кавалериста, соседа-мельника; под конец Анна по-настоящему пристрастилась к дядиному скакуну. Огромная светло-зеленая гардина, некогда окружавшая кровать с балдахином, была разрезана и превращена в амазонку. Кроме того, у учителя была филигранная серебряная корона, доставшаяся ему по наследству, — такие короны в старину носили невесты. Блестящие золотистые волосы Анны были изящно заплетены только у висков, ниже они были свободно распущены; затем на нее возложили корону, надели массивное золотое ожерелье и, по моему совету, на ее пальцы поверх белых перчаток надели несколько перстней, — и вот, когда Анна впервые примерила свой костюм, оказалось, что она похожа не только на девушку рыцарских времен, но и на королеву фей, и все в доме столпились вокруг нее и не могли насмотреться. Но сама себе она показалась чужой в этом облачении и теперь снова начала было отказываться от участия в спектакле; ее уговаривала вся деревня, все самые уважаемые семьи, и только это заставило ее согласиться. Тем временем и я не сидел без дела; вместе с кузенком мы занялись седельным ремеслом — мы обтянули не слишком-то опрятные дядюшкины уздечки красным шелком, который по дешевке купили в лавке у еврея, — не мог же я допустить, чтобы Анна прикасалась своими руками к старой и грязной коже.

Для себя самого я давно уже приготовил костюм, то была зеленая охотничья куртка, простая и недорогая, она была мне вполне по средствам. Большое коричневое одеяло, которое я, нисколько не повредив, превратил в плащ, ниспадающий широкими складками, отлично скрывало некоторые несовершенства моего костюма. За спиной у меня был арбалет, а на голове красовалась шляпа из серого фетра. Но так как у каждого человека есть свои слабости, я вооружился длинной толедской шпагой, висевшей в моей каморке под крышей; всем другим я советовал строго держаться исторического правдоподобия, сам раздобыл для них уйму старинного оружия из цейхгауза, а себе — до сих пор не могу объяснить почему — выбрал этот испанский вертел.

Значительный и долгожданный день начался чудесным утром; на сияющем голубом небе не было ни облачка; февраль в том году выдался такой теплый, что деревья уже покрывались первыми почками, а лужайки начали зеленеть. С восходом солнца, когда наш скакун уже стоял у сверкавшего ручейка, где его мыли, раздались звуки альпийских рожков и звон бесчисленных колокольчиков, и более сотни отборных коров с венками на рогах и звоночками на шее двинулось через долину к другим деревням, — их сопровождала многочисленная толпа парней и девушек, изображавших путешествие по горам. Чтобы приобрести праздничный и живописный облик, людям пришлось только надеть свою традиционную воскресную одежду, отбросив все вторгшиеся со временем новинки и добавив

¹⁰⁰ *Аттинггаузен* — швейцарский барон.

¹⁰¹ *Рудольф Гаррас* — конюший Геслера. Все четверо являются персонажами драмы Шиллера «Вильгельм Телль».

некоторые драгоценности, унаследованные от отцов и дедов; анахронизмом были при этом трубки, которые парни с бесшабашным видом держали в зубах. Красные жилеты юношей, цветные корсажи девушек, светлые рукава рубашек виднелись издали и радовали глаз своей пестротой. Когда оживленная толпа остановилась возле нашего дома и соседней мельницы и под деревьями возникла многоцветная суতোлка, сопровождаемая пением, возгласами и смехом, когда гости, громко приветствуя нас, стали требовать утреннюю чарку, мы весело сорвались с мест, оставив обильный завтрак, за которым все, кроме Анны, сидели уже переодетые в соответствующие костюмы, и сами удивились той необузданной радости, которая теперь охватила нас и превзошла все наши ожидания. Быстро вышли мы к толпе с заготовленными заранее графинами вина и множеством стаканов, а дядя и жена его несли большие корзины с деревенскими пирогами. В этом утреннем ликовании еще не было, разумеется, и тени утомления, и оно было лишь верным предвестником долгого дня, сулившего веселье, да и многое другое. Тетя осматривала и расхваливала добрую скотину, гладила и кормила с ладони прославленных коров, которых хорошо знала раньше, и весело шутила с молодежью; дядя все наливал и наливал вино, а его дочери разносили стаканы и уговаривали девушек выпить, отлично зная, что их благоразумное сословие не пьет по утрам вина. Зато тем охотнее пастушки ели вкусные пироги и раздавали их детям, которые вместе с козами сопровождали шествие. В толпе мы обнаружили сподвижников юного мельника, которые под его водительством с другой стороны напали на противника. Мельник ехал на коне, звеня латами и предоставляя всем благоговейно щупать его старинные доспехи. Вдруг появилась Анна, скромная и смущенная, но ее робость тотчас же исчезла перед лицом всеобщего ликования, и в одно мгновение она преобразилась. На лице ее засияла уверенная и веселая улыбка, серебряная корона сверкала на солнце, пушистые волосы развевались на утреннем ветре, и она так изящно и твердо шагала, придерживая пальчиками, унизанными перстнями, полы своей амазонки, как будто никогда ничего другого и не носила. Все ее подзывали, все приветствовали с изумлением и восхищением. Наконец шествие двинулось дальше, и в эту минуту молодежь нашего дома разделилась. Две младшие кузины и двое их братьев примкнули к шествию, невеста Марго и учитель сели в пролетку, чтобы ехать дальше в качестве зрителей и впоследствии встретиться с нами; к тому же они собирались посадить к себе Анну, если она утомится. Дядя с женой остались дома, принимали гостей и, сменяя друг друга, выбегали время от времени к калитке, чтобы насладиться зрелищем. А Анна, Рудольф Гаррас и я сели на коней и поскакали, сопровождаемые воинственным мельником. Последний разыскал для меня среди своих коней смирную гнедую лошадку и для верности прикрутил поперек седла овчину. Но я нисколько не заботился об искусстве верховой езды и, увидев, что об этом не думает никто, просто вскочил на коня и погнал его смело вперед. В деревне любой человек ездит верхом, в том числе и тот, кто в городе непременно свалился бы с хорошо обьеженной лошади. Так скакали мы по селу, являя собой живописное зрелище для оставшихся дома крестьян, вызывая восторг оравы ребятишек, которые бежали за нами, пока другая группа не привлекла их внимания.

На краю села все пестрело и сверкало, со всех сторон сюда стекались люди; проехав верхом минут пятнадцать, мы оказались возле трактира на перекрестке, где сидели шестеро монахов — братьев милосердия, которым предстояло унести тело Геслера. Это были самые веселые парни во всей округе. Подвязав подушки под рясы, они сделали себе огромные животы, к тому же прилепили страшные бороды из пакли и вымазали носы красной краской. Весь день они собирались провести по своему вкусу, а пока что шумно играли в карты. При этом они показывали фокусы: извлекали из своих ряс запасные карты и, изображая святых чудотворцев, дарили их зрителям. Они везли с собой мешки с провиантом и, казалось, уже изрядно захмелели, так что у нас возникла даже некоторая тревога относительно того, проведут ли они с должной торжественностью сцену смерти Геслера.

В следующей деревне мы видели, как спокойно и деловито Арнольд Мельхталь¹⁰²

¹⁰² Арнольд Мельхталь — персонаж драмы Шиллера «Вильгельм Телль»; крестьянин из кантона

продавал быка городскому мяснику, уже облачившись для этой цели в старинные одежды. Потом мимо нас прошло шествие с барабанами и трубами и пронесли на шесте шляпу, чтобы возвестить по всей округе издевательский приказ тирана¹⁰³. И было особенно хорошо, что действие не придерживалось театральными ограничениями, что у устроителей представления никакого расчета на неожиданность не было; все вокруг развивалось свободно и естественно, как бы вырастая из самой жизни; обстоятельства как бы заставляли людей встречаться в тех местностях, где разыгрывалось действие. По дороге возникали сотни маленьких спектаклей, и всюду было на что посмотреть и над чем посмеяться, тогда как во время важных событий, центральных сцен представления зрители собирались в торжественном и сосредоточенном молчании.

Уже процессия наша заметно выросла; к ней присоединялись всадники и пешеходы — все, кто относился к шествию рыцарей; и вот мы прибыли к новому мосту через широкую реку. На другом берегу приближалась большая группа путешественников по горам, чтобы отвести скот домой и затем опять явиться сюда в виде народной толпы. На мосту стоял какой-то несговорчивый сборщик податей, сквалыга, который во что бы то ни стало требовал налог за коров и лошадей, в соответствии с законом, поскольку скот, по его словам, перегонялся с места на место; он опустил шлагбаум и не желал слушать никаких увещаний, как ни доказывали ему, что сейчас все заняты другим и никто не расположен заниматься соблюдением всяких формальностей. Образовалась давка, но никто не решался пробиваться силой.

Глава четырнадцатая **ТЕЛЛЬ**

И вот нежданно появился Телль, который со своим сыном одиноко шагал по дороге. Это был дородный трактирщик, искусный стрелок, уважаемый и положительный человек лет сорока, стихийно и единогласно избранный исполнителем этой роли. Он был одет в тот костюм, в котором народ неизменно представляет себе швейцарцев в старину, — красно-белая куртка со множеством петлиц, красные и белые перья на остроконечной красно-белой шапочке. Кроме того, он надел на грудь шелковую перевязь, и, хотя костюм этот ни в какой мере не подходил простому охотнику Теллю, все-таки даже по серьезному выражению лица крестьянина было видно, что богатством одежды он отдавал должное образу героя, который сложился в его представлении; ибо, согласно этому представлению, Телль был не только скромным охотником, но и политическим заступником и святым патроном, которого можно было представить себе лишь в национальных цветах страны, в бархате и шелках, с развевающимися перьями. Однако наш Телль в простоте и наивности своей не догадался о том, сколько иронии заключает в себе его костюм. Он степенно вступил на мост со своим мальчиком, разодетым как ангелочек, и спросил о причине смятения. Когда ему ответили, он растолковал сборщику податей, что тот не имеет права взимать налог, потому что вся эта скотина вовсе не перегонялась из дальних краев, а просто, как обычно, возвращалась с пастбища. Но сборщик, предвидевший от столь многочисленной толпы недурной сбор, упорствовал и не без хитроумия доказывал, что скотина была просто выгнана хозяевами на дорогу, что она вовсе не возвращается с пастбищ и что поэтому он имеет все основания

Унтервальден, участник освободительной борьбы.

¹⁰³ ...пронесли на шесте шляпу, чтобы возвестить по всей округе издевательский приказ тирана. — Согласно воспроизводимой Шиллером легенде, Геслер велел повесить в Альторфе, главном городе кантона Ури, на шесте свою шляпу, которой швейцарцы должны были кланяться в знак почтения к власти наместника императора. Вильгельма Телля, арестованного за невыполнение этого приказа, Геслер подверг тяжелому испытанию: Телль должен был сбить стрелой яблоко с головы своего сына (см. «Вильгельм Телль» Шиллера, III, 3).

взимать налог. В ответ на это храбрый Телль подошел к шлагбауму, поднял его, как перышко, и, приняв на себя всю ответственность, пропустил всех, животных и людей. Крестьян он призвал вернуться вовремя, чтобы стать свидетелями его подвигов, нас же, рыцарей, приветствовал холодно и горделиво, и нам казалось, что он, преисполненный сознания своего достоинства, смотрел на нас, всадников, так, словно мы и в самом деле были челядью тирана.

Наконец мы прибыли в местечко, которое служило нам сегодня Альторфом. Вступив через старые ворота в этот маленький город, где была всего лишь одна порядочная площадь, мы увидели большое оживление; всюду гремела музыка и развевались знамена, все дома были украшены хвоей. Только что прискакал из города господин Геслер, чтобы в окрестностях совершить несколько преступлений, и захватил с собою мельника и Гарраса; я спешил с Анной возле ратуши, где собирались остальные господа, и проводил ее в зал — там ее восхищенно приветствовали члены комитета и жены общинных советников. Меня почти никто здесь не знал, и я грелся в лучах того сияния, которое исходило от Анны. Наконец прибыл и учитель со своей спутницей. Пристроив свой экипаж, они присоединились к нам и рассказали, что видели в пути, как у молодого Мельхталя выпрягли быков из плуга и отняли их, как он спасся бегством, а его отец был схвачен насильниками. Рассказали они и о том, как тираны чинили свои зверства и как перед домом Штауффахера в присутствии многочисленных зрителей разыгрались необычайные сцены. Зрители вскоре ворвались в ворота. И хотя не все стремились обязательно увидеть все, большинство хотело стать свидетелями достославных и наиболее значительных событий, и прежде всего выстрела Телля. Вот уже и мы из окон ратуши увидели стражников Геслера с ненавистной жердью, которую они водрузили посередине площади, возвестив под барабанный бой приказ деспота. Площадь быстро очистили, весь народ — и в театральных костюмах, и в обычной одежде — был оттеснен в сторону; толпа кишела повсюду — у окон, на лестницах, в галереях и на крышах. Возле шеста расхаживали взад и вперед двое стражников. И вот по площади, бурно приветствуемый толпой, прошел Телль со своим сыном. Он не разговаривал с мальчиком, и вскоре был вовлечен в опасную беседу с солдатами, за которой народ следил с напряженным вниманием. Между тем мы с Анной, наряду с прочей челядью тирана, вышли в заднюю дверь и сели на коней, — было время скакать навстречу охотничьей кавалькаде Геслера, которая уже приближалась к воротам города. Под трубные звуки въехали мы на площадь и застали действие в полном разгаре: Телль был погружен в горестное раздумье, народ охвачен волнением и готов в любой момент вырвать героя из лап притеснителей. Но когда Геслер начал свою речь, наступила тишина. Монологи произносились без театральной напыщенности и безо всякой жестикуляции, их исполнение напоминало скорее произнесение речей в парламенте, — это были стихи, и читали их громко, монотонно и несколько певуче. Слова были слышны на всей площади, и если кто-либо, оробев, говорил слишком тихо, публика кричала: «Громче, громче!» — и с удовольствием слушала всю сцену заново, отчего нисколько не страдала театральная иллюзия.

Именно так произошло и со мной, когда мне пришлось кое-что сказать; но, к счастью, мою речь прервало комическое происшествие. Дело в том, что вокруг все время слонялись человек десять парней в старинных карнавальных костюмах, — этакие прощелыги, натянувшие поверх потрепанных одежд белые рубахи с пестрыми заплатами. На головы они нахлобучили высокие остроконечные колпаки, расписанные страшными харями, а лица прикрыли тряпицами с прорезями для глаз. Такой костюм был когда-то общепринятым во время масленичного карнавала; в нем обычно проделывали всевозможные штуки; к тому же бедняки не любили наших новых игр, — в таком наряде они, по старинному обычаю, собирали немалое подаяние и потому стояли за его сохранение. Парни эти, представлявшие отсталую и нищую часть наших крестьян, плясали с самыми дикими ужимками, размахивая палками и метлами. Двое из них особенно мешали спектаклю, и как раз в тот момент, когда я должен был произносить свой монолог, они стали таскать друг друга за подолы рубах,

вымазанных сзади горчицей. У обоих было в левой руке по колбасе, и прежде чем откусить, каждый из них тер ее о рубаху другого; так они вертелись по кругу вроде двух собак, пытающихся ухватить друг друга за хвост. Кружась, они прошли между Геслером и Теллем и, наверно, по невежеству своему, думали, что откололи удачную шутку. И в самом деле, в толпе раздался громкий хохот, потому что в первый момент народ не мог устоять против привычного балаганного шутовства. Но зрители вскоре образумились и начали выпихивать их из круга рукоятками мечей и алебардами. Шутники, испугавшись, попытались скрыться в толпе, но не тут-то было: везде их отталкивали со смехом, так что они не могли найти прибежища в рядах хохочущих зрителей и в страхе метались туда и обратно, придерживая разодранные шапки и прижимая маски к лицу, чтобы их не узнали. Пожалев их, Анна попросила Рудольфа Гарраса и меня проложить дорогу несчастным ряженым, и я таким образом лишился своего монолога. Впрочем, это нисколько не помешало представлению, так как никто не придерживался шиллеровского текста и наши актеры нередко сдабривали классические ямбы импровизированными крепкими выражениями, потребность в которых возникала по ходу действия. К концу спектакля народный юмор все же проявился, — на этот раз, однако, не выходя за пределы пьесы.

Со стародавних времен здесь была в обычае такая шутка: пока взрослые вели свой разговор, мальчик снимал с головы яблоко и с аппетитом съедал его, к великому восторгу публики. Этот трюк и на сей раз был включен в программу праздника. Когда Геслер, свирепо набросившись на мальчика, спросил, что это значит, тот дерзко ответил: «Господин, мой отец настолько хороший стрелок, что он постыдился бы стрелять в такое большое яблоко! Положите мне на голову другое, и пусть оно будет не больше вашего милосердия. Отец попадет в него еще лучше!»

Телль выстрелил, и, казалось, он чуть ли не сожалеет, что в его руках нет настоящего ружья и что ему приходится посылать условный театральный выстрел. И все же, когда он накладывал стрелу на самострел, вполне естественная и непроизвольная дрожь охватила его — так сильно переживал он честь представлять эту священную роль. А когда он показывал тирану вторую стрелу, рука его задрожала снова, он пронзил Геслера своим гневным взглядом, и на мгновение в голосе его зазвенела такая сила страсти, что Геслер побледнел и всех зрителей охватил ужас. Затем в толпе послышался вздох облегчения, люди стали шептаться, трясти друг другу руки и говорить, что вот — настоящий человек и что, пока у нас есть такие люди, нам не о чем тревожиться!

Но отважного Телля тем временем уже схватили стражники, и толпа потекла через ворота в разных направлениях, чтобы посмотреть на другие сцены или просто побродить без определенной цели. Многие остались в городке — поплясать под звуки скрипок, слышавшиеся тут и там.

К полудню все было готово, чтобы начать сцену клятвы на Рютли, причем мы вычеркнули из шиллеровского текста все строки, в которых содержится указание на то, что она разыгрывается в ночное время. Местом действия была избрана живописная поляна на берегу широкой реки, окруженная лесистыми горами; река вообще должна была по ходу пьесы заменить нам озеро, и по ней плавали лодки рыбаков и суда. Анна села с отцом в коляску, я поехал рядом на своем скакуне, и мы отправились в путь, чтобы теперь, превратившись в зрителей, отдохнуть и насладиться представлением. На Рютли царил торжественная тишина. Пока публика собиралась и усаживалась на склонах под деревьями, внизу, у реки, собирались товарищи по клятве. Это были воинственные бородатые мужи с большими мечами, могучие юноши с палицами, а посередине стояли трое вожаков. Нам открывалось очень красивое зрелище — широкая река медленно катила сверкающие воды, и актеры играли очень старательно. Учитель был недоволен только тем, что в этой торжественной сцене и старые и молодые почти не выпускали изо рта трубок, а священник Рёссельман¹⁰⁴ непрерывно нюхал табак.

¹⁰⁴ Священник Рёссельман — персонаж драмы Шиллера «Вильгельм Телль»; участник освободительной

Когда союз швейцарцев был скреплен клятвой, встреченной гулом всеобщего одобрения, вся толпа, зрители и актеры, пришла в движение. Шествие, напоминавшее переселение народов, направилось в сторону городка, где почти в каждом доме был накрыт стол: всюду для друзей и знакомых была приготовлена незатейливая трапеза, а за небольшое вознаграждение угощали и чужих. Мы свободно обходились с шиллеровскими сценами и потому сочли возможным сделать перерыв для обеда и отдыха, чтобы затем с еще большим подъемом представить величественные события, завершающие пьесу. Благодаря необычно теплой погоде хозяева преобразили центр городка в большую столовую; длинными рядами были расставлены столы, за которые уселись не только ряженные, но и прочие почетные гости, пожелавшие разделить общую трапезу. Остальные обедали в домах и за бесчисленными столиками, установленными перед домами. Казалось, что в городке собралась одна большая семья; отделившиеся группы из всех окон смотрели на большой главный стол, а столики перед домами казались ответвлением общего стола. Темой оживленных бесед всюду был наш спектакль, все вдруг стали критиками, и сами актеры сочиняли устные статьи о театральном искусстве. Новоявленные критики занимались не столько содержанием драмы или исполнением ролей, сколько романтической внешностью героев и сравнением ее с обычным обликом исполнителей. Возникло множество шуточных намеков и насмешливых предположений, причем щадили одного только Вильгельма Телля, ибо он казался неприкосновенным. Зато тиран Геслер угодил под такой перекрестный огонь, что в разгаре баталии слегка захмелел и теперь мог самым естественным образом изображать слепую ярость. Но все это не очень меня развлекало, так как у меня было достаточно забот с Анной. Она сидела на почетном месте между своим отцом и штатгальтером, напротив Телля и его действительной законной супруги. Уже утром Анна привлекла к себе всеобщее внимание, появившись перед толпой с таким очаровательным благородством, теперь же она пользовалась еще большим успехом благодаря почтенной репутации ее отца, хорошему воспитанию, а также, разумеется, и своему основательному приданому. Я был встревожен, видя, что вокруг ее места вьются разные парни и что степенному учителю наперебой стараются понравиться представители всех четырех факультетов — молодой сельский врач, судебный писарь, викарий и агроном, которые под конец вручили Анне свои визитные карточки, заказанные ими по окончании университета. Все они были статными, цветущими молодыми людьми с многообещающим будущим, в то время как я выбрал такую профессию, которая, по всеобщему представлению, не обещала ничего, кроме вечной нужды. Впервые обнаружил я с ужасом, какой сплоченной силе я противостоял, и, располагаясь за стулом Анны, впал в такое уныние, что мне захотелось уйти отсюда.

Но внезапно Анна повернулась ко мне и попросила сохранить для нее эти карточки. Улыбаясь, она заметила, что просит меня не потерять их; когда я положил в бумажник визитные карточки, мне показалось, что я сразу упрятал в свой карман всех четырех героев.

Глава пятнадцатая **ЗАСТОЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ**

В то время как повсюду люди выходили из-за стола, на том углу, где сидели штатгальтер, Вильгельм Телль, хозяин и прочие люди с весом и положением, завязалась рассудительная беседа. Речь шла о том, в каком направлении прокладывать новую шоссейную дорогу, которая должна была пройти через эту местность и соединить главный город Швейцарии с границей. Два различных плана противостояли друг другу, оба сулили немалые преимущества, но и немалые трудности. Одно направление предполагалось через обширную возвышенность и почти совпадало со старой, разбитой дорогой, но здесь новый путь должен был идти зигзагообразно, и это сильно его удорожало. Другой путь, по низине

борьбы крестьян кантона Ури.

через реку, был более прямым, но земельные участки здесь были дороже, и к тому же надо было строить мост, — таким образом, расходы оказывались равными, да и условия передвижения в итоге были бы почти одинаковы. Однако на старой дороге, идущей через возвышенность, стоял трактир, принадлежавший нашему Теллю, из которого открывался чудесный вид; в этом трактире останавливались многочисленные торговцы и возчики. Если бы новая дорога пошла по низине, движение тотчас перенеслось бы туда, и старая популярная харчевня оказалась бы заброшенной и всеми забытой. Поэтому храбрый Телль во главе целой группы жителей возвышенности энергично ратовал за необходимость строить новую дорогу возле старой. А в низине жил богатый лесоторговец, который использовал реку для сплава леса, выстроил огромные склады и теперь заботился о создании хороших подъездных путей по суше. Этот человек уже много лет был членом Большого совета¹⁰⁵; он не принадлежал к тем людям, которые обогащают деятельность законодательной власти новыми идеями; однако своей деловитостью и умением ладить со всеми партиями он сумел добиться устойчивого положения в совете. Он был радикалом и в политических вопросах держался принципов прогресса, но не входил в подробности и предпочитал дела словам. Он принимал участие в дебатах только в тех случаях, когда вопрос касался его капитала, и тогда прибегал к самым сложным выкладкам и оговоркам; ибо самое свободомыслие он рассматривал с точки зрения деловых интересов и предпочитал сэкономить на шести предприятиях, чтобы создать седьмое. Он стремился к тому, чтобы дело свободы и просвещения развивалось в интересах умного фабриканта, который отнюдь не захочет вложить огромные средства в постройку одного великолепного здания, где можно занять всех рабочих, но предпочтет соорудить несколько невзрачных зданий, нагромоздив друг на друга мастерские и склады и преследуя только одну цель — выгоду; иногда он будет возводить временные, иногда — основательные постройки, с каждым годом ход строительства будет ускоряться, все вокруг будет кипеть и дымиться, повсюду будет раздаваться стук и грохот, и в этом веселом хаосе каждый рабочий будет твердо знать свое место. Из тех же соображений он неизменно противился сооружению больших и богатых школьных зданий, а также повышению окладов для учителей и т. п., ибо он утверждал, что культура может по-настоящему процветать только в стране, усеянной множеством скромных школьных помещений, которые оборудованы лишь самым необходимым и расположены повсюду, где живет хотя бы несколько ребятишек; дети должны учиться везде, в любом углу страны, учиться усердно и добросовестно, во все это должно быть организовано скромно и незаметно. Всякая хвастливая пышность, как утверждал лесоторговец, только препятствует деловитости, мешает прогрессу. Нам, говорил он, нужен не золотой меч, рукоять которого, усыпанная драгоценными камнями, только утомляет руку, но легкий, острый топор с деревянным топорщиком, отполированным трудовыми ладонями; такой топор нужен и для самозащиты, и для работы, а блеск его топорщика неизмеримо прекраснее, чем золото и камни на рукоятке ненужного меча. Народ, строящий дворцы, сооружает себе изящные надгробные памятники. Превратностям судьбы и истории можно наилучшим образом противостоять, если стремительно и легко двигаться вперед вместе с временем под знаменем этого же времени. Только народ, который это понял, который всегда вооружен и готов к маршу без лишнего скарба, но с полной воинской кассой, — народ, который объединяет храм, дворец, крепость и жилище в единой, легкой и все же вечной походной палатке своего духовного опыта и нравственных принципов, — только такой народ может питать надежду на долгую жизнь и на неизблемость своих географических границ. Швейцарцы поступают особенно глупо, стремясь облепить свои горы нарядными зданиями. Самое большее, что можно было бы терпеть, — это несколько богатых городов у самого входа в страну, в остальном же надо предоставить все самой природе, — пусть она сама оказывает гостям почести. Так будет не только всего дешевле, но и всего умнее. Из искусств он ценил только

¹⁰⁵ *Большой совет* — законодательный орган кантона.

риторику и пение, так как они более всего соответствуют его «походной палатке» — ничего не стоят и занимают мало места. Его собственные владения вполне отвечали его принципам. Большие запасы дров, строевого леса, угля, железа и камня хранились в огромных складах. Между ними зеленели большие и малые огороды, ибо если только к лету где и оставалось свободное место, его немедленно засеивали овощами. Там и сям стояли мельницы или кузницы, окруженные высокими елями, которые он еще не спилил. Его обиталище походило скорее на лачугу рабочего, чем на господский дом, и женщинам приходилось с боем отвоевывать от его посягательств клочок земли под палисадник с цветником, который они постоянно переносили с места на место, устраивая его то перед домом, то справа или слева от него. О том, чтобы установить изгородь или красивую решетку, они не смели и мечтать. Поместье лесоторговца было весьма богатым, но ежедневно меняло свой облик: даже крыши домов и те продавал он иногда, если подвертывался подходящий случай. Но владения свои у реки он продавать не собирался, а спорная дорога сулила ему, по его мнению, огромные выгоды. Ведь хорошая дорога, рассуждал он, это лучшая вещь на свете, нужно только не заводить на ней дорогостоящих верстовых столбов или кустов акации и прочей чепухи. Сам он почти все время проводил на дорогах, в легком, простом, но крепком экипаже, тогда как сарай, построенный для этого экипажа, тоже постоянно переезжал с места на место и поэтому легко разбирался на доски. Лесоторговец считал, что хозяин трактира должен прикрыть свое заведение и построить другое возле новой дороги, у будущего моста, — там следовало ожидать оживленного движения, поскольку к путешествующим по суше должны были прибавиться еще и команды судов. Однако хозяин трактира держался противоположного мнения. Он жил в доме своих предков, который испокон веков был трактиром. Со своей солнечной возвышенности он обозревал обширные просторы родной страны, дом свой он украсил росписью на темы из истории и быта Швейцарии. Он и слушать не хотел всех этих рассуждений о самозащите посредством старого топора, считая, что топор может пригодиться разве что для того, чтобы зарубить неожиданно напавшего хищника. Для всех остальных случаев ему нужно было отличное нарезное ружье, — охота была его любимым занятием. Он полагал, что свободный гражданин должен работать для того, чтобы создать себе длительное независимое существование, но во в большей степени, чем это сугубо необходимо. А когда дело налажено, человеку приличествуют довольство и покой, разумная беседа за стаканом вина, размышления о прошлом страны и о ее будущем. Он занимался также виноторговлей, — впрочем, больше от случая к случаю, — и в доме его все шло своим чередом, без того, чтобы хозяин утруждал себя и суетился. Он тоже был мужем разума и действия, но больше в нравственной области, а в политических вопросах пользовался влиянием и уважением, хотя и не был членом Большого совета. Во время выборов многие прислушивались к его мнению. Поэтому власти не хотели вызывать его раздражения, равно как и недовольства лесоторговца. Штатгальтер¹⁰⁶ решил воспользоваться обстоятельствами и попытаться примирить обоих деятелей, споривших насчет будущей дороги. Это был любезный, дородный человек с красивым лицом и благородной сединой, напоминавшей пудренный парик; он носил дорогое белье, сюртук из тонкого сукна, золотые перстни на белых пальцах и любил посмеяться. Он всегда отличался сдержанностью, дела вел твердо, не прибегая к насилию и не чванясь своим положением представителя власти; к тому же он обладал немалыми познаниями в политике и праве и обнаруживал их только тогда, когда это было сугубо необходимо, и так, будто сам только сейчас случайно узнал о том, что теперь рассказывает крестьянам, которые, разумеется, могли бы знать все это не хуже, чем он, если бы им подвернулся случай. В своем сюртуке тонкого сукна и манжетах он ходил повсюду, куда ходили крестьяне, не боясь запачкаться, и при этом в самом деле всегда был безукоризненно чист. К людям он относился не так, как фохт к подчиненным или офицер к солдатам, но и не как отец к своим детям или патриарх к

¹⁰⁶ Штатгальтер — в данном случае глава исполнительной власти в кантоне.

пастве, — он подходил к ним просто и естественно, как человек, которому надлежит договориться с другим человеком о деле, вместе с другим выполнить свой долг. Он не был ни снисходителен, ни высокомерен и меньше всего пытался изображать из себя слугу народа, состоящего на жалованье. Его твердость покоилась не на чувстве чести, свойственном корпорации чиновников, но на чувстве долга. Однако, не стремясь подняться выше всякого другого человека, он не желал опускаться и ниже его.

И все же он не был независимым человеком. Отпрыск богатой, но промотавшей все состояние семьи, в юности сам изрядный кутила, он, облагоразившись, вернулся из чужих краев как раз в то самое время, когда отцовский дом стоял на грани полного разорения. Таким образом, молодой человек оказался вынужден сразу же искать себе службу и со временем, пройдя немало суровых испытаний и перемен, стал одним из тех, кто без службы оказывается нищим, иначе говоря — профессиональным правительственным чиновником. Вместе с тем он по праву слыл спасителем чести той опозорившей себя среды, к которой принадлежал. Первый шаг в направлении к чиновной карьере он сделал в молодости, побуждаемый нуждою, а когда потом уже не мог изменить своей судьбы, он, по крайней мере, вел свои дела с достоинством и незаурядным умом. Учитель, отзываясь о нем, обычно говорил, что он принадлежит к тем редким людям, которые, управляя другими, приобретают мудрость.

Однако вся его мудрость не могла привести к взаимопониманию лесоторговца и трактирщика, а это было ему необходимо, чтобы сообщить властям одинаково удовлетворяющее всех решение о том, где строить новую дорогу. Каждый из них упрямо отстаивал свою выгоду. Лесоторговец ссылаясь на доводы рассудка, говорил, что в наше время не может быть двух мнений при выборе между прямой линией, идущей по низине, и зигзагообразной, идущей в горах; так он видимостью здравого смысла прикрывал свою выгоду, замечая при этом, что, как представитель выборной власти, поможет инстанциям разобраться в этом деле. Трактирщик заявил прямо, что он имеет заслуги перед государством и что он хотел бы видеть, как это дом его предков сровняют с землей! Спуститься с возвышенности в сырую долину, поселиться у самой воды, как выдра, — нет, лучше пусть его не уговаривают! Наверху сухо и солнечно; там он родился, там и останется! На это его противник возразил, улыбаясь: пусть делает что хочет, ему никто не мешает, — пусть живет и мечтает о свободе, будучи рабом своих предрассудков. Другие, сказал он, предпочитают в самом деле быть свободными и гулять там, где им вздумается.

Сдержанность уже начала было покидать спорящих, и с обеих сторон послышались слова вроде: «Упрямяство! Корысть!» — но тут за Теллем явилась веселая толпа, — теперь ему предстояло прыгнуть с корабля на скалу и застрелить Геслера. Еще не остыв от раздражения, поднялся он со своего места, другие вышли за ним следом, и только Анна с отцом да я остались за столом. Вся эта беседа произвела на меня мучительное впечатление. Особенно огорчил меня трактирщик своей столь откровенной защитой личной выгоды, — и это в такой день и в costume народного героя! Подобные личные интересы в общественном деле, за которые яростно боролись всеми уважаемые люди, выставя свои заслуги и достоинства, — все это совершенно противоречило тому представлению о беспристрастности государства, которое жило во мне и которое я себе составил, читая о жизни великих государственных деятелей. Свое мнение я горячо высказал отцу Анны и добавил притом, что я, кажется, скоро соглашусь с упреками в мелочности, своекорыстии и бездушии, которые порою бросают швейцарцам. Учитель несколько смягчил мою хулу и призвал меня проявлять терпимость к человеческим слабостям, бросающим тень и на этих, вполне в общем добропорядочных людей. Однако, заметил он, нельзя отрицать, что наше свободолюбие еще зачастую не более чем жалкий недоносек, что мужам прогресса у нас недостает истинной религиозности, которая вносит в сложную политическую жизнь бодрую, благочестивую, любвеобильную живость ума, порождаемую душевным доверием к богу и воспитывающую в людях истинную жертвенность, которая единственно делает возможной полную свободу и живость тела и души. Если бы наши трудолюбивые мужи хоть раз

осознали, что в Евангелии проповедуется не в пример более прекрасная свобода, чем та, за которую ратовал лесоторговец, то занятие политикой приобрело бы действительно немалое значение и принесло наконец зрелые плоды. Только я собрался со всей решительностью возразить учителю, как кто-то похлопал меня по плечу, — я обернулся и увидел стоящего позади нас штатгальтера, который ласково сказал мне:

— Хотя я и не считаю, что в порядочной республике следует уделять много внимания мнению молодежи, пока старики еще не утратили остроты мысли и не впали в детство, тем не менее я хочу попробовать, молодой человек, облегчить вашу скорбь, дабы то, что вы узнали и что так огорчило вас, не омрачало в ваших глазах этот прекрасный день. К тому же вы даже еще не достигли того юношеского возраста, который я, собственно, разумею, а так как вы уже умеете так деятельно порицать, то вы, конечно, умеете так же деятельно учиться. Прежде всего я радуюсь возможности вновь поднять ваше уважение к обоим мужам, которые только что покинули нас. Разумеется, не все люди одинаковы в нашем швейцарском отечестве. Но в отношении господина кантонального советника, как и в отношении господина хозяина трактира, вы можете быть уверены: они не только отдали бы все свое имущество в случае опасности для страны, но каждый из них пожертвовал бы свое имущество другому, если бы тот попал в беду, — и это, поверьте мне, было бы сделано так же решительно и без колебаний, как каждый из них защищал свой проект строительства дороги. И заметьте себе на будущее: кто не умеет твердой рукой добывать и оберегать свою выгоду, тот никогда не будет в состоянии помочь своему ближнему в отстаивании его интересов! Ибо заметьте (и тут штатгальтер обратился уже не столько ко мне, сколько к учителю): имеется огромная разница между тем, когда вы добровольно поднесете либо отдадите приобретенное и заработанное вами добро и когда вы лениво упустите из рук то, что вам никогда не принадлежало, или то, что вы по глупости не сумели защитить. В первом случае вы разумно используете благоприобретенную собственность, во втором — проматываете унаследованное или найденное богатство. Человек, который всегда полон самоотвержения, всегда мягкосердечен, может слыть хорошим, безобидным существом, но к нему никто и никогда не будет испытывать благодарности, никто никогда не скажет о нем: «Этот принес мне выгоду!» Ибо выгоду, как уже сказано, может принести только тот, кто ее умеет извлекать и защищать. Там, где за выгоду борются люди, бодрые духом, лишённые ханжества, там, думается мне, господствует здоровье, а в нашем случае ожесточенный спор из-за выгоды — это, на мой взгляд, признак здоровья. Там, где люди не хотят свободно постоять за свою пользу и за свою собственность, — там мне нечего делать; ибо там нечем подкрепиться, кроме тощей нищенской похлебки из притворства, душевной благодати и романтической испорченности. Там все проявляют самоотверженность, ибо там виноград для всех слишком зелен, а лисьи хвосты с кисло-сладким виляньем бьются о тощие бока. Что же касается мнения иноземцев (тут он снова обратился больше ко мне, чем к учителю), то ваши будущие путешествия научат вас меньше обращать на него внимания.

После этой речи штатгальтер пожал нам руки и удалился. Меня между тем отнюдь не переубедила его тирада, а учителю совсем не понравился оборот, который принял разговор. В одном мы сошлись мнениями, что штатгальтер — любезный и умный человек; я был польщен его обращением ко мне и потому, бросая ему вслед благожелательные взгляды, всячески расхваливал его учителю, как достойного, уважаемого и потому, разумеется, счастливого человека. Учитель, однако, покачивал головой и утверждал, что не все то золото, что блестит. С недавних пор он стал говорить мне *ты* и потому продолжал так:

— Ты у нас вдумчивый юноша, тебе подобает глубже всматриваться в жизнь людей. Я убежден, что знание многочисленных жизненных обстоятельств и отношений приносит молодым людям гораздо больше пользы, чем все нравственные теории. Последние приходят к человеку только с опытом, в известной мере как компенсация за то, чего уже нельзя изменить. Штатгальтер потому так деятельно ратует против людей, которых он называет самоотверженными, что сам он проявил известного рода самоотверженность, пожертвовав тем видом деятельности, которая могла сделать его счастливым и соответствовала бы

свойствам его натуры. Хотя такое его самоотрицание и представляет в моем мнении доблесть и нынешняя его деятельность кажется всем такой необходимой и полезной для общества, тем не менее в глубине души он этим не удовлетворен, и у него нередко бывают такие мрачные часы раздумий, о существовании которых трудно догадаться, если судить по его веселому и любезному нраву. Дело в том, что по складу своей природы он настолько же одарен пылким темпераментом, как большим и ясным умом, а поэтому он в большей степени предназначен для того, чтобы в борьбе идей и принципов быть храбрым вождем и управлять движениями масс, нежели управлять делами на одной и той же чиновничьей должности. Но у него не хватает мужества остаться без хлеба хотя бы на один только день. Он не имеет ни малейшего представления о том, как обходятся без постоянного оклада птицы или полевые лилии, а поэтому он и отстаивает свои суждения. Уже не раз, когда благодаря борьбе партий у нас происходила смена правительств и победившие пытались путем незаконных мер грабить побежденных, — он, как человек чести, восставал против этого. Но он не сделал при этом того, что наибольшим образом соответствует его темпераменту, — он не швырнул своей должности под ноги властям, не встал во главе движения, чтобы, используя свой ум и энергию, направить движение против захватчиков и прогнать их туда, откуда они пришли. Этого он не сделал, — и вот отказ от борьбы стоит ему неизмеримо больших душевных сил, чем вся его неутомимая деятельность на посту чиновника. Для того чтобы сохранять к себе уважение сограждан, он должен продолжать жить так, как живет. Но перед властями и в столице ему надо прибегать к почтительным улыбкам, а там, где он охотно сказал бы: «Сударь! Вы большой дурак!» или: «Милостивый государь! Мне кажется, вы — мошенник!» — там он вынужден прибегать к лести, пусть иногда и наивной. Ибо, как сказано, его ужасает то, что называется нищетой.

— Но, черт возьми, — воскликнул я, — разве наши господа правители не часть народа и разве мы живем не в республике?

— Разумеется, сын мой! — ответил учитель. — Однако это факт, и факт удивительный, который особенно распространен именно в наши дни: некая часть народа, благодаря простому процессу выборов став представительным органом, вдруг изменяется и становится чем-то совершенно иным; с одной стороны, она все еще народ, а с другой — нечто прямо ему противоположное и даже враждебное. Это совсем как с кислотой, химический состав которой изменяется только оттого, что в нее опускают какую-то палочку, или даже просто оттого, что она долго стоит. Иногда начинает даже казаться, что старые патрицианские правительства умели лучше понимать и выражать характер народа. Но только не дай себя обмануть и убедить в том, что наша представительная демократия не является самым лучшим общественным порядком. То, о чем мы говорим, служит у здоровой нации лишь к возбуждению ее сил, и народ, не утрачивая душевного равновесия, нередко доставляет себе удовольствие встряхнуть эту дивным образом изменившуюся жидкость или подержать колбу на свет и внимательно посмотреть, не помутнела ли кислота, а в конце концов все-таки употребляет ее себе на пользу.

Я перебил учителя и спросил его, не мог ли штатгальтер, человек больших знаний и ума, лучше прокормить себя частной деятельностью, нежели государственной службой? На это он ответил:

— То, что он этого не мог или полагал, что не может, и есть, вероятно, тайна его жизни! Мысль о том, что можно жить на вольный заработок, многим людям приходит на ум очень поздно, а иным и совсем не приходит. Для одних такой заработок нечто очень простое, что достигается с легкостью, мановением руки или волею случая, но для других это медленно постигаемое искусство. Кто в юности не сумел научиться этому у окружающих или у собственных родителей или как-нибудь иначе, тот иногда вынужден слоняться до сорока или пятидесяти лет как нищий, и часто такие люди умирают оборванцами. Многие заметные в государстве люди, которые всю жизнь были исправными чиновниками, не имеют никакого понятия о такого рода заработке. Ибо все эти должностные лица образуют своего

рода фаланстер¹⁰⁷, распределяют работу между собой, и каждый извлекает из государственного дохода нужную ему сумму, не задумываясь о том, что делается на свете — дождь или вёдро, неурожай, война или мир, удача или неудача. Они представляют собой некий совершенно особый мир и как таковой противостоят нации, общественным устройством которой управляют. Этот мир имеет для тех, кто в нем жительствоует, свои преимущества, — он сохраняет им нервы. Они знают свою работу, знают, что такое добросовестность и экономия, но не знают, как, пройдя сквозь ветры и бури конкуренции, образовалась та кругленькая сумма, которую они получают в качестве вознаграждения. Иные из них целую жизнь усердно трудились в качестве судей или эзекуторов и занимались денежными делами, но при этом так и не научились выписывать или своевременно погашать векселя. Кто хочет есть, должен работать. Но будет ли заработанное вознаграждение верным, дающимся без всяких тревог и забот, или за него людям придется платить не только работой, но и страхами и тревожностями, и заработок превратится в случайный выигрыш, — об этом я не смею судить, может быть, этот вопрос разрешит будущее. Но в наших обстоятельствах мы встречаемся и с тем и с другим, и поэтому мы так часто наблюдаем странную смесь зависимости и свободы и самые различные воззрения. Штатгальтер считает себя зависимым и во время каждого кризиса держится замкнуто, стараясь не выдавать своего мнения, но при этом он даже не подозревает, как много людей за его спиной пытается угадать его сокровенные мысли, чтобы действовать в соответствии с ними.

Я испытывал большую симпатию к штатгальтеру и чувствовал к нему уважение, хотя и не мог понять — почему; ведь я отнюдь не одобрял его страха перед бедностью, и только много позже мне стало ясно, что он взял на себя самую трудную задачу: он справлялся с вынужденной работой так, как если бы он был для нее рожден, не сделавшись при этом ни ворчливым, ни подлым. Однако речи учителя о зареботке вызвали во мне глубокое огорчение. Я начал сомневаться в том, буду ли я способен заработать свой хлеб, ибо уже научился понимать, что для всего этого здорового и сильного народа свобода только тогда становится благом, когда он уверен в хлебе насущном, и, глядя на длинные ряды опустевших столов, я подумал, что даже этот праздник на голодный желудок и при пустом кармане представлял бы собой чрезвычайно унылое зрелище.

Я был рад, что мы наконец поднялись. Учитель предложил Анне и мне сесть к нему в коляску, и мы все вместе поехали вслед за артистами. Но Анне захотелось покататься верхом на белом коне, который уже отдохнул, — потом, сказала она, у нее уже не будет такой возможности. Учитель согласился и заявил, что поедет вместе с нами, пока не найдет какого-нибудь пожилого человека, которому бы он помог добраться домой, раз уж молодежь его покинула. Я же радостно побежал в дом, где стояли наши кони, вывел их на улицу и, помогая Анне подняться в седло, вдруг почувствовал, как учащенно забились от радости мое сердце и как оно вдруг замерло от сладостного ужаса, — я знал, что скоро поскачу вдвоем с нею по горам, лесам и долинам.

Глава шестнадцатая
ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ.—
БЕРТА ФОН БРУНЕК

Так оно и случилось, хотя все сложилось иначе, чем я надеялся. Мы только успели отъехать от ворот, как гостеприимный учитель усадил в свою коляску трех стариков и поехал вперед, по дороге к ложбине. Мы с Анной ехали медленно, направо и налево кланяясь улыбающимся прохожим, пока не подъехали наконец к волнующейся и гудящей

¹⁰⁷ *Фаланстер*. — Так по проекту французского социалиста-утописта Шарля Фурье (1772–1837) назывался большой дворец, в котором должны были жить фаланги — производственно-потребительские ассоциации в идеальном обществе. Келлер употребляет это слово в ироническом смысле.

толпе. Первый, кого мы здесь увидели, был философ, чье красивое лицо пылало от воодушевления; было сразу видно, что он уже порядком повеселился. Он был в обычном своем платье и нес в руках книгу, так как вместе с еще одним учителем взял на себя обязанность суфлера и должен был всегда оказываться там, где кого-нибудь из героев подводила память. Но, по его словам, никто не хотел его слушать, и действие развивалось вполне стихийно, само собой; поэтому, сказал он, теперь у него достаточно досуга, чтобы суфлировать для нас сцену охоты, — ведь мы, несомненно, выехали вдвоем для того, чтобы ее разыграть. Сейчас самая пора, и мы, не откладывая, должны взяться за дело!

Я покраснел и начал погонять лошадей, но философ схватил их под уздцы. Анна спросила, что это за сцена охоты, и на это он с хохотом ответил: не станет же он нам рассказывать того, над чем потешается весь свет, а мы, без сомнения, будем смеяться больше всех! Анна тоже покраснела и настойчиво потребовала, чтобы он сказал, о чем идет речь. Тогда философ протянул ей раскрытую книгу, и пока наши кони добродушно обнюхивали друг друга, а я сидел как на углях, она положила книгу на правое колено и с большим вниманием прочитала от начала до конца ту сцену, в которой Руденц и Берта заключают свой союз. По мере чтения Анна все больше краснела: теперь она с ясностью увидела ту безобидную ловушку, которую я ей расставил. Философ между тем готовился к дальнейшим шуткам, но внезапно Анна, дочитав сцену до конца, захлопнула книгу и решительно заявила, что хочет домой. Она сразу же повернула коня и поскакала по узенькой тропинке к полю, в сторону нашего села. Смущенно и нерешительно смотрел я ей вслед, но затем скрепя сердце рысью поехал за ней, — не мог же я оставить ее без провожатого. Пока я нагонял Анну, мне слышался голос философа, который пел нам вслед какую-то развязную песню, но вскоре голос его пропал, и до нас из ложбины доносились уже только веселые, хотя и далекие звуки свадебной музыки и крики радости или восторга. Но благодаря этим звукам тишина, окружавшая нас, казалась еще более глубокой; поля и леса были залиты лучами вечернего солнца, сверкавшими на листьях и траве, как чистое золото. Теперь мы скакали по гребню возвышенности, я держался позади и не смел сказать ей ни слова. Вдруг Анна стегнула коня прутом и пустила его в галоп, — я тотчас же последовал ее примеру. Вольный ветер веял нам навстречу, и когда я внезапно увидел, что Анна, разгоряченная и раскрасневшаяся, глубоко вдыхает упоительный воздух и весело улыбается, высоко подняв голову в сверкающей короне, между тем как волосы ее вьются по ветру, я погнал вперед своего коня, который теперь плотно прижимался к ее коню, и так скакали мы минут пять по безлюдной возвышенности. Дорога была чуть влажной и не пылила. Справа внизу река несла свои сверкающие воды, и за рекой поднимался отвесный берег с темным дремучим лесом, а еще дальше, за горными грядками, на северо-востоке вырисовывались швабские горы, одинокие пирамиды, которые высились в бесконечной и неподвижной дали. На юго-западе тянулись Альпы, еще почти сплошь покрытые снегом, а над ними плыло облако, огромное, словно горный хребет, которое сверканием, светом и тенями совершенно повторяло горы; это было море светящейся белизны и густой синевы, и оно клубилось бесчисленными формами, громоздившимися друг на друга. Казалось, нас обступает со всех сторон, уходя ввысь пирамидами гор, ослепительно прекрасная первобытная природа, могущественно и глубоко проникающая в душу и в то же время такая беззвучная, неподвижная и далекая. Мы все это сразу охватывали взглядом, хотя ничего не старались рассматривать; казалось, что бескрайняя земля вращается вокруг нас, как бесконечный венок, пока она вдруг не сузилась, когда мы рысью спустились с горы к реке. Все было как во сне, как будто во сне нам приснился прекрасный сон; мы ехали через реку на пароме, и прозрачные зеленые волны разбивались с шумом о борта и исчезали где-то под нами, а мы все еще сидели на конях и, двигаясь дугообразным путем, пересекали поток воды. И теперь нам казалось, что мы из одного сна перенеслись в другой, — на противоположном берегу медленно карабкались мы вверх по темному ущелью, где лежал таявший снег. Здесь было холодно, сыро и жутко. С темных кустов капала холодная влага, падали бесчисленные снежные комья, мы двигались в густом темно-коричневом мраке, на дне которого печально поблескивал зернистый снег, и

только над нашими головами сверкало золотое небо. Мы уже думали, что сбились с пути, не знали, где мы, как вдруг под ногами коней стало сухо и зазеленела трава. Мы оказались на большой высоте, в густом еловом лесу, стволы которого стояли в трех-четыре шагах друг от друга, земля была покрыта сухим мохом, ветви деревьев переплетались над нами и образовали темно-зеленую крышу, сквозь которую почти не видно было неба. Теплым дыханием встретил нас лес; золотистый свет падал то тут, то там на мох и на стволы деревьев, поступь коней сделалась неслышной, мы ехали между елями, то расходясь, то снова встречаясь и проезжая вместе между двумя колоннами, словно в небесных вратах. Но вот мы подъехали к вратам, которые оказались закрыты: паук заткал их своей паутиной. Под лучом, падавшим на него сквозь ветви елей, паук поблескивал всеми цветами — синим, зеленым, красным, подобно грани алмаза. В едином порыве мы нагнулись под паутиной, и в это мгновение наши лица были так близко друг к другу, что мы внезапно поцеловались. В ущелье мы уже начали разговаривать и некоторое время весело беседовали, пока вдруг не вспомнили, что поцеловались, и, посмотрев друг на друга, оба покраснели. Тогда мы снова затихли. Солнце спряталось, и лес погрузился в тень. Из глубины нам блеснула вода, мы совсем близко увидели горный склон, на котором скалы и сосны были залиты ярким солнечным сиянием и бросали отсвет на темные стволы елей, между которыми мы теперь двигались вперед в таинственном полумраке. Дальше дорога стала настолько крутой, что нам пришлось спешиться. Когда я помогал Анне сойти с коня, мы снова поцеловались, но она тотчас же отскочила в сторону и быстро пошла впереди по мягкому зеленому ковру, а я следовал за ней, ведя под уздцы обеих коней. Я глядел на ее пленительную, почти сказочную фигурку, и мне снова показалось, что все это сон; я чуть было не выпустил коней, когда, желая убедиться в том, что я не сплю, бросился за ней и заключил ее в свои объятия. Так добрались мы до реки и тут поняли, что находимся в хорошо знакомом нам месте, близ пещеры язычников. Здесь было еще тише и еще более жутко, чем в лесу среди елей; скала, озаренная солнцем, отражалась в прозрачной воде, три ястреба кружились над нею, беспрестанно встречаясь в воздухе, и каждый раз, как они взмахивали крыльями и покачивались в лучах солнца, сверкала белизна их боков и отливало ярким блеском коричневое оперение их крыльев. Мы же сидели в тени. Счастливый, смотрел я на все вокруг нас, а потом, вспомнив, что надо напоить коней, освободил их от узды. Анна увидела беленький цветочек, не знаю даже, какой; она сорвала его и подошла ко мне, чтобы прикрепить его к моей шляпе. Я уже больше ничего не видел и не слышал, когда мы поцеловались в третий раз. Обняв Анну, я с силой прижал ее к себе и стал осыпать поцелуями. Сначала она, дрожа, прильнула ко мне, потом обвила мою шею руками и тоже поцеловала меня. После пятого или шестого поцелуя она вдруг мертвенно побледнела и стала вырываться из моих объятий. И меня охватило какое-то странное чувство; поцелуи словно угасли сами собой, — мне казалось, будто я обнимаю бесконечно далекий и безжизненный предмет. Мы отчужденно и испуганно взглянули друг другу в лицо, руки мои все еще нерешительно обнимали Анну, и я не мог ни выпустить ее, ни крепче прижать к себе. Мне казалось, что если я ее отпущу, то она рухнет в бездонную глубину, и что я ее убью, если буду удерживать силой. Безотчетный страх и печаль осенили наши детские сердца. Наконец руки мои бессильно опустились, и мы оба, посрамленные и пришибленные, горестно уставились в землю. Анна села на камень у самой воды, чистой и глубокой, и принялась горько плакать. Только увидев это, я нашел в себе силы снова подумать о ней — до того я был полностью погружен в свое отчаяние, скован тем ледяным холодом, который вдруг напал на нас. Я приблизился к ней, попытался взять ее за руку и дрожащим голосом окликнул ее по имени. Но девушка спрятала лицо в складках своего длинного зеленого платья и еще пуще залилась слезами. Потом она немного пришла в себя и просто сказала:

— О! Как хорошо нам было до сих пор!

Мне казалось, что я ее понял, — я переживал нечто похожее, хотя и не так глубоко, как она. Поэтому я ничего не ответил, а только тихонько сел неподалеку от нее, и мы оба в мрачном молчании принялись смотреть на реку. В воде сияло ее отражение, лицо ее,

увенчанное серебряной короной, смотрело на меня из волн, словно из другого мира, словно лицо водяной феи, которая вот-вот скроется в пучине, покидая обманувшего ее доверие возлюбленного.

В то время как я так упоенно привлек ее к своей груди и целовал, а она в смятении чувств отвечала мне тем же, мы слишком низко наклонили фиал безгрешного блаженства. Влага его обдала нас внезапным холодом, и мгновенное отчуждение вернуло нас из мира заоблачных чувств. Такие последствия невинного порыва нежности у двух молодых людей, которые недавно еще были детьми и тогда поступали точно так же, не испытывая, однако, душевных мук, многим покажутся смешными и глупыми. Нам же все это представлялось совсем не шуточным, и в глубокой скорби мы сидели у воды, которая, как она ни была прозрачна, была не чище, чем душа Анны. Истинной причины этого ужасного происшествия я в то время неспособен был постигнуть. Я не знал, что в этом возрасте алая кровь наша мудрее нашего разума и сдерживает себя сама, когда она вскипает волнами слишком ранней страсти. Анна же упрекала себя за то, что согласилась участвовать в празднестве, — теперь, казалось ей, она была грубо и жестоко наказана за это.

Могучий шум листвы вывел нас из состояния задумчивой грусти, которое было, в сущности, тоже своеобразным переживанием счастья. И мне эти минуты, пока нас не пробудил сильный порыв южного ветра, не менее милы и драгоценны, чем воспоминание о поездке по возвышенности и сквозь еловый лес. Анна тоже, казалось, почувствовала себя ожившей. Мы встали с места, и я заметил, что она улыбается, следя за тем, как с водной поверхности исчезает мое отражение. Но ее решительные движения как бы говорили: «Не смей больше прикасаться ко мне!»

Кони уже давно перестали пить и удивленно стояли на узкой, заросшей кустарником полоске между камнем и водой, где было так тесно, что они не могли пошевелиться. Я надел на них уздечки, помог Анне сесть на коня и повел его под уздцы по узкой тропке, которую кое-где заливала река, в то время как мой конь терпеливо следовал за нами. Так мы добрались до лугов и наконец подошли к высоким деревьям, окружавшим старый пасторский дом. В доме мы не застали ни души, даже дядюшка и его жена ушли на вечернюю прогулку, и в комнатах царила немая тишина. Анна поспешила в дом, я отвел ее коня в стойло, расседлал его и задал ему сена. Затем я пошел наверх, чтобы добыть хлеба для моей лошади, потому что собирался еще поехать верхом досматривать спектакль. И Анна, когда я зашел в комнату, сразу же сказала мне, чтобы я ехал туда. Она уже переделалась и поспешно заплетала косы. Смутившись оттого, что я застал ее за этим занятием, она снова покраснела.

Я спустился вниз; пока я отрезал один кусок хлеба за другим и кормил коня, Анна появилась в окне и, укладывая косы, внимательно смотрела на меня. Медленные движения наших рук в окружающей тишине наполнили нас глубоким чувством счастливого покоя, и нам казалось, что мы могли бы так провести целые годы. Время от времени я сам откусывал от куска хлеба, которым кормил коня, и, видя это, Анна тоже достала из шкафа хлеб и, стоя у окна, стала его есть. Мы не могли не посмеяться над этим. И точно так же, как после нашего торжественного и шумного обеда простой кусок сухого хлеба показался нам таким вкусным, так и эта новая форма наших отношений показалась нам теперь тихой гаванью, в которую после пережитой нами маленькой бури вошло наше судно и в которой мы должны были бросить якорь. Я видел, что и Анну это радует, — она не отошла от окна, пока я не скрылся из виду.



Вид с Зузенберга на Лимматталь. Цюрих.
Масло. 1842 г.

Глава семнадцатая **БРАТЬЯ МИЛОСЕРДИЯ**

У самого села мне встретился учитель, который вез домой дядю и его жену; я сообщил им, что Анна уже дома. А немногим дальше встретился мне работник мельника, ведший под уздцы его коня в направлении к дому. Узнав от него, что все уже собрались подле крепости «Цвингури»¹⁰⁸ и что там большое оживление, а добираться туда недолго, я отдал работнику своего коня и решил дойти пешком. Крепостью «Цвингури» служили нам развалины старого замка, расположенные на вершине холма, с которой открывался далекий вид на скалистые горные массивы. Вокруг развалин было сооружено нечто вроде строительных лесов, и казалось, будто это не руины, а строящаяся крепость; повсюду висели гирлянды цветов, как бы в честь торжествующего тирана. Солнце садилось, когда я подошел сюда и увидел, как

¹⁰⁸ Крепость «Цвингури» была возведена по приказу австрийских властей в Ури и должна была служить оплотом в борьбе против попыток жителей этого кантона сбросить иго иноземцев. Отсюда ее название: Zwing Uri (нем. — покоряй Ури). (См. «Вильгельм Телль» Шиллера, I, 3).

народ разносит в щепы всю постройку, бросает доски, бревна и гирлянды в огромный костер и зажигает его с разных концов. Чествование Телля тоже было устроено здесь, а не перед его домом, да и вообще оно производилось уже не по Шиллеру, а в соответствии с теми народными чувствами, которые одновременно вспыхнули в тысячах сердец, и окончание представления стихийно перешло в шумное народное торжество. Изгнанные народом деспоты и их свита пробрались в толпу и разгуливали здесь наподобие неких веселых призраков, — они представляли собой самых безвредных реакционеров, каких только можно вообразить. Теперь на всех горах и холмах зажглись масленичные костры, а наш огонь продолжал пылать, разгораясь все больше и больше. Сотни людей образовали возле него широкий круг, и прославленный стрелок Телль проявлял все новые таланты. Он показал себя как певец, более того — как пророк: он спел грозную народную песню о битве при Земпахе¹⁰⁹, и слушатели хором подпевали рефрен. Вино лилось рекой; певцы разбились на несколько хоров; были хоры одноголосые, певшие старинные песни, мужской хор, распевавший на четыре голоса песни современные, смешанные хоры девушек и юношей, хор детей; пела вся эта огромная бурлящая толпа, теснившаяся на горном склоне и озаренная красным светом костра. С гор все сильнее дул теплый южный ветер, он гнал по небу длинные гряды облаков. Чем темнее становилось кругом, тем более бурным делалось веселье. Сперва веселились у развалин старого замка и вокруг костра, потом группами и поодиночке стали спускаться по склону, уходя из широкой полосы красноватого сияния в темную ночь, и из тьмы раздавались звонкие выкрики. Весельем гудели темные нивы, а на горизонте оно сверкало пламенем бесчисленных костров. Древний могучий весенний ветер, который мог принести немало опасностей и бед, пробуждал в людях извечное радостное чувство природы; и когда ветер этот дул прямо в лицо и колыхал яркое пламя, в сознании людей, глядевших на этот костер — символ их политической свободы, пробуждались образы других костров — тех, которые жгли христиане средневековья, и тех, которые жгли язычники в честь весны; может быть, они горели в такой же час и на этом самом месте. Казалось, что в темных громадах облаков плывут полчища исчезнувших поколений, что они порою останавливаются над поющей и ликующей ночной толпой, готовые спуститься вниз и смешаться с людьми, забывшими здесь, у костра, в каком столетии они живут. Но как чудесна была эта возвышенность! Бурая земля, покрытая пробивающейся зеленой травой, казалась нам более мягкой и упругой, чем шелковая подушка, — еще до франков она была в точности такой же для жителей этих краев.

С наступлением ночи громче звучали женские голоса. Пожилые люди разошлись по домам, женатые мужчины собрались вместе и разбрелись по своим привычным трактирам, — и тут девушки стали все смелее устанавливать свое господство. Сначала они хохотали, собираясь в кружки, потом все пошло своим чередом — толпа разбилась на парочки, и каждая из них вела себя на свой манер, прячась или показываясь открыто. Когда же, догорая, рухнули костры, толпа начала рассыпаться, народ большими и мелкими группами двинулся в сторону городка, где в ратуше и нескольких трактирах его встречали звуки труб и скрипок. Я долго слонялся в толпе и наконец уселся у догорающего костра, вокруг которого лихо отплясывало несколько мальчишек, а с ними те самые субъекты, которые днем плясали в масках на площади и теперь решили воспользоваться бесплатным удовольствием. В развевающихся по ветру рубахах и высоких бумажных шапках они казались привидениями, вылетевшими из развалин старого замка. Некоторые из них подсчитывали монетки, которые им удалось собрать, другие пытались вытащить из огня обуглившееся полено, а одного из них, выделявавшего самые невероятные прыжки, я

¹⁰⁹ ...он спел грозную народную песню о битве при Земпахе ... — В битве при Земпахе (1386 г.) швейцарцы одержали победу над имперскими войсками, окончательно освободившись от австрийского владычества. Успешный исход этой битвы приписывался отваге и находчивости швейцарского воина Арнольда Винкельрида, подвиги которого увековечены в народной песне под названием «Sempacher Lied» («Песня о Земпахе»).

принял было за молодого вертопраха, но он, сняв маску, оказался белым как лунь старичком, который суетливыми движениями стал извлекать из остатков костра дымящееся сосновое бревно.

Наконец я насытился этим зрелищем и медленно пошел прочь, раздумывая над тем, вернуться ли домой или отправиться в городок. Плащ, шпага и арбалет давно уже тяготили меня, я взял все это под мышку и быстро спустился с возвышенности. Когда я бежал вниз, то вдруг ощутил себя таким же бодрым и жизнерадостным, каким был рано утром, и чем дальше я шел, тем сильнее испытывал дерзкое желание хоть разок прокутить всю ночь напролет, и одновременно меня мучила мысль о том, что я так легко отпустил Анну. Мне казалось, что я уже достаточно взрослый мужчина, чтобы провести с возлюбленной целую ночь под звуки танца, звон бокалов и веселый смех. Я упрекал себя за то, что, оказавшись таким неловким и слабодушным, упустил представившуюся мне возможность, и тешил себя тщеславной мыслью, что Анна переживает те же чувства, не может уснуть (был уже десятый час) и томится по мне.

Так я незаметно добрался до местечка, где всюду гремела музыка, и когда я зашел в какой-то переполненный зал, где весело кружились юные пары, сердце мое билось учащенно, а кровь неистово клокотала. Я не думал о том, что мы, наверно, единственные шестнадцатилетние подростки, которые участвовали в сегодняшнем празднестве, и еще менее думал я о том, что наши с Анной сегодняшние переживания были бесконечно прекраснее всего, чем наслаждалась здесь эта галдящая молодежь, и что одних только воспоминаний об этом дне было вполне достаточно для того, чтобы я чувствовал себя богатым и счастливым. Я жадно наблюдал за тем, как веселились совершеннолетние, обрученные и женатые молодые люди, мне хотелось им подражать, и при этом я даже не задумывался над тем, что если бы Анна действительно оказалась подле меня, моя хвастливая кровь тотчас же была бы укрощена. Мне, разумеется, не делает чести, что только ее физическое присутствие возвращало мои чувства и мысли к скромности и благородству. Впрочем, у меня было немного времени для раздумий. Мои двоюродные братья и знакомые, считавшие, что я где-то заблудился, приветствовали меня самым радушным образом; я быстро втянулся в водоворот веселья, забыл и самого себя, и свои огорчения и принялся отплясывать со всеми моими тремя кузинами подряд. Я все больше возбуждался, но настоящей радости не испытывал. Это веселье, сопровождавшееся таким шумом и так восхищавшее всех, казалось мне недостаточным. Все молодые люди вокруг меня сияли от восторга, но мне происходящее представлялось бледным мерцанием по сравнению с тем блеском, которого жаждало мое воображение. Я беспокойно расхаживал по комнатам вокруг танцевального зала, пока в одной из них меня не остановила компания парней — они пили пурпурно-красное вино и пели песни. «Вот здесь, — подумалось мне, — я найду свое блаженство». Я пил прохладное вино, цвет которого так ласкал мой взгляд, и принялся самозабвенно петь. Едва окончив одну песню, я уже запевал другую, задыхаясь от быстрого темпа и напрягая голос в наиболее выразительных местах, так что он перекрывал голоса всех окружающих. Удивленные тем, что городской тихоня может пить больше их и орать песни, парни решили не отставать. Мы вступили в соревнование; я все пел и пел, да так увлекся, что только во время какой-то хороводной, когда мне на мгновение пришлось умолкнуть, заметил, как мои кузины, заглядывая в приоткрытую дверь, с изумлением наблюдают за мной во всем моем блеске. Они смеялись, укоризненно покачивали головами, потому что я покинул их общество, и звали меня снова танцевать. Но здесь, с моими собутыльниками, я чувствовал себя настоящим взрослым мужчиной, — совсем как в детстве, когда я мальчишкой разыгрывал из себя забияку. Когда же кое-кто из них снова стал поглядывать на девушек, я вместе с двумя буянами выбежал на улицу, и втроем мы пустились расхаживать по городку. Взявшись под руки, мы мчались по улицам, — я и двое здоровенных крестьянских парней. Мы выкрикивали задиристые слова, кричали, пели, испытывая ту бесшабашную радость, которая возникает, когда в одну веселящуюся компанию объединяются совершенно разные люди.

Однако в первом же танцевальном заведении, куда мы завернули по пути, я потерял своих спутников, нашедших, по-видимому, здесь то, что искали; теперь я был один, но продолжал неумолимо бегать из комнаты в комнату. Я посматривал по сторонам, быстро парировал различные остроты, сыпавшиеся на меня, пока не забрел в небольшой зал, где за круглым столом восседали четверо братьев милосердия. Двое уже отделились от остальных и куда-то исчезли. За сегодняшний день эти четыре брата напивались уже в третий раз и находились в том вялом состоянии, когда закоренелым пьяницам уже все на свете безразлично, когда они отпускают сомнительные шутки и допивают свое вино с видом полного к нему равнодушия — пусть, дескать, льется, — а все-таки не дадут и капле пролиться даром.

За тем же столом, но на некотором расстоянии от них сидела Юдифь, которой братья милосердия в соответствии с обычаем предложили бокал вина. Она, видимо, провела в одиночестве весь праздничный день и теперь развлекалась тем, что ловко возвращала этим господам их шутки и двусмысленные остроты, держа их на почтительном расстоянии, для чего требовались немалая находчивость и сила. Она сидела в ленивой позе, откинувшись на спинку стула, и, повернувшись вполоборота, равнодушно бросала в сторону братьев милосердия злые и меткие замечания. Монахи отклеили свои фальшивые бороды и смыли краску с носов. Только старший, обладающий внушительной лысиной и пылающим носом, не мог смыть с лица этот природный красный цвет. Он был самый большой бездельник из них всех и, когда я хотел пройти мимо, крикнул мне:

— Эй, молокосос! Куда идешь?

Я остановился и заметил:

— Милый друг, вы забыли стереть киноварь с вашего носа, по примеру прочих братьев! Спешу обратить на это ваше внимание, чтобы вы случайно не измазали красным вашей подушки.

Веселый смех остальных сразу же открыл мне дорогу к их столу. Я присел и выпил стакан вина, после чего они сказали:

— А знаете, этот субъект все-таки нашел нужным сегодня подкрасить себе нос для спектакля!

— Это, право, столь же нелепо, как подкрашивать розу! — ответил я братьям.

— Еще того хуже, — заметил один из них, — ведь подкрашивать розу — значит улучшать божье создание. Но бог милостив, он простит! А вот красить красный нос это значит издеваться над чертом, а черт не прощает!

И разговор пошел дальше в том же духе. Они принялись обмениваться шутками насчет его плечи, но здесь я от них далеко отстал, — они отпустили по этому поводу не менее двадцати различных острот, возбуждавших в воображении самые дикие картины, — каждый из братьев стремился перещеголять другого в неожиданности и смелости образов и выражений. Юдифь смеялась, слушая, как эти шалопаи теперь поносят друг друга, но тем временем лысый брат решил спастись из-под огня острот и попытался перенести его на Юдифь. Она была в скромном коричневом платье, и на груди ее соединялись концы белого платочка; над ними поднималась красивая шея, которую обвивала тоненькая золотая цепочка. Других украшений на ней не было, если не считать пышной кроны каштановых волос. Плешивый брат милосердия подмигнул и запел, уставившись на нее:

На шее твоей белоснежной
Червонного золота цепь.
Но золото так же фальшиво,
Как лживое сердце твое.

Юдифь быстро отозвалась:

— Чтобы вы оставили в покое мою белоснежную шею, я вам тоже спою песню о чем-то белом.

Но она не запела, а проговорила своим мелодичным голосом:

Какие нынче времена!
Была когда-то скромницей Луна,
А ныне, днем, блестя с голов плешивых,
Она смущает взор девиц красивых,
Стыдись, Луна!

А ночью из окна
Я посмотрела — где моя Луна?
Она опять белела у крыльца!
Я вылила воды на наглеца.
Стыдись, Луна!

Мать Юдифи недавно умерла, а сама она только что выиграла на какой-то иностранный лотерейный билет несколько тысяч гульденов, — от скуки она занималась такими вещами. Теперь Юдифь больше чем когда-либо представляла собой лакомый кусочек для разных мошенников, и плешивый брат, которому она со смехом уже несколько раз давала займы разные суммы, вообразил было штурмом взять ее сердце. Ему не повезло, она с таким же точно смехом отказала ему. Но песенка Юдифи намекала, по-видимому, на некоторые особые обстоятельства, сопровождавшие его неудачное сватовство. У остальных трех братьев, как видно посвященных в эти обстоятельства, заблестели глаза, и они принялись гудеть на низких нотах, с трудом удерживаясь от смеха:

Гм! Гм! — Гм! Гм!
Гм! Гм! Гм! — Гм! Гм! Гм!

Ритм этого гудения был настолько заразителен, что я присоединился к ним, счастливый тем, что могу подпевать насмешникам: «Гм! Гм! — Гм! Гм! Гм!» В нашем едва освещенном маленьком зале стало тихо и торжественно, и мы с комической торжественностью, доставлявшей нам немало удовольствия, продолжали выводить этот странный напев. Юдифь громко расхохоталась.

— Эх вы, сорванцы! — воскликнула она.

И в ответ мы тоже разразились хохотом.

Но плешивый брат внимательно осмотрелся, как бы невзначай вытащил из рясы самого громогласного насмешника какой-то листок и торжественно прочитал вслух его заглавие: «Христианский еженедельник — консервативный листок для народа». Теперь остроты посыпались на насмешника, для которого консерватизм был большим местом, — он не умел ни объяснить, ни защитить его. Это слово только с недавних пор получило распространение, но под его знамена уже стекались некоторые люди, которые еще недавно жили как в тумане. Лысый обратился к «консерватору», чтобы тот наконец объяснил, что, собственно, он понимает под консерватизмом. Тот хотел было сделать вид, что принимает вопрос всерьез, и с напускной важностью заявил, что сейчас не время заниматься политическими разговорами. Но тут другой брат милосердия крикнул:

— Объяснения надо искать в раю! Еще когда Адам давал животным клички, среди них было одно, которое задумчиво мотало ушами и говорило, что оно держится консервативных взглядов, но не могло объяснить почему. И тогда Адам сказал: «Ты будешь называться ослом!»

Раздраженный «консерватор» стал выкладывать свои политические убеждения, представлявшие собой его навязчивую идею, и принялся поносить радикализм и радикалов, повинных, по его мнению, в том, что вино у нас стало кислое и тем не менее подорожало. Если, заявил он, ты хочешь выпить стакан сладкого и дешевого вина, то добыть его можно

только в отдаленных хозяйствах, где сохраняются старые добрые нравы и куда забралась наша славная старики, спасаясь от суетного света.

— Хлещите, — кричал он, — радикальное пойло у ваших знаменитых трактирщиков-политиканов! А я буду держаться старины!

Так как в его упреках содержалась известная доля истины, то трое других пришли в совершенное негодование, назвали «консерватора» клеветником и стали ему доказывать, что, не будь радикалов, он сидел бы вовсе без вина, как хорошего, так и плохого, что он сам, как прислужник консерваторов, никому не нужен, а «славные старики» прогнали бы его пинками в зад, вместо того чтобы угощать его выдержанным вином в награду за прозелитизм. Это заявление повлекло за собой яростную битву, во время которой спорящие стороны развенчивали принципы, поступки и партийных вождей, и друг друга в таких своеобразных выражениях, сравнениях и оборотах речи каких не мог бы придумать и самый опытный драматург, сочиняющий народные сцены. Трудно было даже записать за ними их речи и реплики, настолько легко, быстро, молниеносно рождались остроты, утверждения и возражения — то справедливые то злостно измышленные, но всегда основанные на оценках определенных обстоятельств и лиц. Из этого словесного поединка, разумеется, нельзя было почерпнуть передовую статью для газеты или полемическую речь, но, следя за этим турниром, можно было убедиться в том, на какую решительную и дельную критику способен народ и как ошибаются те, кто, в сомнительных целях взывая с трибуны к «честному, доброму народу», прибегает к ложному пафосу и наигранной наивности. Даже внешние свойства, привычки и физические недостатки выдающихся деятелей были поставлены в нерасторжимую связь с их словами и поступками, так что эти деятели превращались как бы в неизбежное следствие своего внешнего облика, а наши спорщики, не проходившие никаких наук, но одаренные незаурядным воображением, могли показаться завзятыми физиономистами. Многие высокочтимые мужи были превращены в смешные и нелепые пугала, и сделано это было как картинно, что если бы после этого кто-нибудь взял их под защиту, он бы только еще больше их унизил.

Здесь был совсем другой мир, чем тот, в котором я пребывал у учителя. Но и здесь я чувствовал себя как дома и жадно вбирал в свою память крепкие слова и грубые обороты речи, иронические реплики и дикие выкрики, запоминая все это столь же благоговейно, как и тщательно продуманные, спокойные слова учителя. Мне казалось, что там я — один человек, а здесь — совсем иной и все-таки тот же самый. Я радовался тому, что жизнь открывала передо мной одну страницу за другой, и я гордился тем, что эти веселые люди считают меня, как мне казалось, вполне достойным своего общества и не сдерживают передо мной своих шуток. С удовольствием думал я о моих будущих спорах с отцом Анны, о том, как серьезно и пристойно я буду с ним дискутировать, располагая, однако, и другими приемами полемики, ибо я считал для себя очень важным быть допущенным во все слои общества, со всеми познакомиться и все узнать.

Глава восемнадцатая **ЮДИФЬ**

Братья милосердия совсем протрезвились за своими политическими спорами и, хотя время уже давно перевалило за полночь, велели снова наполнить бутылки вином. Но тут внезапно поднялась Юдифь и заявила:

— Женщинам и юнцам пора домой! Не хотите ли пойти со мной, кузен, ведь мы с вами попутчики?

Я согласился, но сказал, что должен сначала разыскать моих родичей, которые, вероятно, также пойдут с нами.

— Они давно ушли, — заметила Юдифь, — время уже позднее. Если бы я не думала, что мы пойдем вместе, я давно была бы дома.

— Ого! — закричали бражники. — Точно нас тут нет! Мы все пойдем вас провожать!

Пусть никто не посмеет сказать, что у Юдифи нет на выбор любых молодцов в провожатые!

Они поднялись, но прежде решили еще распить вновь принесенное вино, а Юдифь тем временем поманила меня и в дверях сказала:

— Мы этим героям натянем нос!

На улице я убедился, что зал, где танцевали мои двоюродные братья и сестры, погрузился в темноту, и встречные подтвердили, что они уже дома. Итак, я должен был следовать за Юдифью; она вывела меня через темный переулок в поле, а затем полевыми тропинками на дорогу; четверо братьев сильно отстали от нас, и мы слышали, как они что-то кричали нам издалека. Мы шли быстро, причем я следовал в нескольких шагах за ней и хотя с деланным равнодушием отставал, тем не менее старался не упустить отзвуков ее твердых и все же легких шагов и жадно прислушивался к еле заметному шуршанию ее платья. Ночь была темная, но от очертаний ее фигуры исходила такая женственность, столько уверенности и силы было в ее движениях, что я брел за ней, словно опьяненный, и поминутно косился на нее, подобно оробевшему путнику, рядом с которым шагает по дороге полевой призрак. И подобно тому как путник в приступе страха призывает всю силу своей христианской веры на защиту от пугающей его тени, так и я во время этого полного искушений пути призывал себе на помощь всю гордость своего целомудрия и безгрешности. Юдифь говорила о братьях милосердия, смеялась над ними, без всякого смущения рассказывала о глупостях, которые делал один из них, пытаясь ее преследовать, и спросила меня, верно ли, что именем Луны древние называли богиню ночного светила. По крайней мере, ей так казалось, когда она прочитала эту песенку в книге. А песня ведь, сказала она, попала наглицу не в бровь, а в глаз, — не правда ли? Потом она вдруг спросила, с чего это я так загордился, почему столько времени не смотрел в ее сторону и не заходил к ней. Я попытался было оправдаться тем, что она не поддерживает отношений с домом моего дяди, а поэтому и у меня не было повода встречаться с ней.

— Да что там! — сказала она. — Вы ведь по праву родственника можете ко мне заходить, если вам хочется! В те времена, когда вы были совсем мальчиком, вы меня очень любили, и я с тех пор немножко вас люблю. Но теперь у вас появилась подружка, в которую вы влюблены, и вы думаете, что вам нельзя уже и взглянуть на другую женщину?

— У меня — подружка? — спросил я, а когда Юдифь повторила свое утверждение и назвала Анну, я стал это решительно отрицать.

Тем временем мы вошли в село, на улицах которого еще гуляли молодые люди и слышались громкие голоса, Юдифь хотела избежать встречи с ними, и хотя отсюда я мог свернуть домой, я сразу же подчинился ей, как только она взяла меня за руку и повела между изгородями и заборами к своему дому. Недавно она продала свое поле и сохранила только чудесный сад возле дома, в котором жила теперь совсем одна. Волнение в крови, вызванное вином, все росло, особенно когда мы стали пробираться по узким дорожкам. А когда мы подошли к дому и Юдифь сказала: «Заходите, я сварю кофе!» — и мы вошли, и Юдифь закрыла за собой дверь на засов, сердце мое забилося от бессознательного страха, хотя в то же время я радовался всему этому приключению и думал о том, как выйти из него с честью, не ударив лицом в грязь. Об Анне я совсем не вспоминал, кровь моя бушевала и затмила ее образ; единственное, что еще светилось во мраке, это звезда моего тщеславия. Ибо, если верно разобраться в моих чувствах, я думал только о самом себе и хотел испытать свою стойкость. Должен, однако, признаться, что мною владело какое-то своеобразное романтическое чувство долга, заставлявшее смело идти навстречу каждому необыкновенному испытанию. И вот, как только Юдифь зажгла свет и ярким огнем разгорелась печь, я почувствовал, что от моего волнения и сладостного ужаса не осталось и следа. Я уселся у печи, весело болтая с женщиной, и, глядя на ее лицо, освещенное огнем очага, гордо думал, что с этой угрозой можно безопасно играть. Я мечтал оказаться в том же положении, в котором был два года назад, когда расплетал и заплетал ее волосы. Кофейник со свистом закипел, и Юдифь вышла в спальню, чтобы снять платок и воскресное платье. Она вернулась в белом халатике — белоснежное полотно обнажало ее руки и ослепительно

прекрасные плечи. Я сразу же снова ощутил замешательство, у меня рябило в глазах, и лишь постепенно мой лихорадочный взгляд стал привыкать к красоте и спокойствию ее движений. Еще мальчиком я один или два раза наблюдал ее в таком виде, — тогда она, одеваясь, не обращала на меня никакого внимания и хотя я теперь смотрел на нее совсем иначе, эта снежная белизна казалась такой же беспорочно чистой; к тому же Юдифь двигалась так уверенно и свободно, что уверенность эта передалась и мне. Она принесла кофе, села подле меня и, раскрыв молитвенник, сказала:

— Посмотрите, у меня сохранились все картинки, которые вы мне нарисовали!

Мы рассматривали эти детские упражнения одно за другим, и теперь робкие линии казались мне чем-то странным, какими-то забытыми знаками невозвратно ушедшего времени. Я изумился тому, как глубока бездна забвения, разделяющая годы юности, и в задумчивости рассматривал эти листки. Почерк, которым были здесь написаны разные изречения, тоже был совсем другим, чем нынешний, и напоминал о моей школьной поре. Неуверенные буквы печально смотрели на меня; Юдифь внимательно глядела на тот же рисунок, что и я, потом она внезапно посмотрела мне в глаза, обняла меня за шею и сказала:

— Ты все тот же, что и тогда! О чем ты думаешь?

— Не знаю, — ответил я.

— А ведь я, — продолжала она, — готова съесть тебя заживо, когда ты так сидишь и смотришь в пространство. — И она еще крепче прижала меня к себе.

— Почему же? — спросил я.

— Я сама хорошо не понимаю, но мне так скучно среди людей, что радуешься, когда можно подумать о чем-то другом. Меня влечет к чему-то неизвестному, но я так мало знаю и думаю все об одном и том же. Когда я вижу тебя таким задумчивым, мне начинает казаться, что ты размышляешь именно о том, о чем и мне бы очень хотелось думать. Мне всегда кажется, что можно быть очень счастливым, если жить на свете с такими тайными мыслями, как у тебя!

Ничего подобного мне еще никогда не приходилось слышать. Хотя я отлично понимал, как заблуждается Юдифь, столь высоко оценивая мои тайные мысли, и так густо покраснел от неловкости, что мне казалось — я обожгу ее белое плечо своей пылающей щекой, я все же упивался каждым словом этой сладостной лести; глаза мои были устремлены на ее грудь, чистые и строгие линии которой вырисовывались под тонким полотном, — она была так близко от меня и, казалось, сияла вечным обещанием счастья. Юдифь и не догадывалась, насколько покойно и уютно, чуть грустно и в то же время радостно было мне подле нее. Я чувствовал себя вне времени.

В это мгновение мы были оба равно зрелыми или равно юными, и сердце мое охватило такое чувство, точно я в ту минуту вкушал этот покой в награду за все горе и все мучительные усилия, которые мне еще предстояли в жизни. Это мгновение было настолько прекрасно, что меня даже не испугало, когда Юдифь, листая свой песенник, извлекла из него сложенный вчетверо листок, развернула его и показала мне, а я долго вспоминал и наконец узнал в нем то самое любовное письмо Анне, которое я некогда доверил волнам.

— Будешь еще отрицать, что эта милая девушка — твоя подружка? — спросила она, и я вторично стал решительно все отрицать, заявляя, что этот листок не что иное, как забытая детская шалость.

В эту минуту за окном послышались голоса, — четыре брата милосердия добрались до дома Юдифи. Она тотчас же задула огонь, и мы очутились во мраке. Но братья не ушли, они стали требовать, чтобы их впустили.

— Откройте, красавица Юдифь, — кричали они, — угостите нас чашкой горячего кофе! Мы будем вести себя пристойно и еще кое о чем побеседуем! Откройте же, в награду за то, что вы нас обманули! Сегодня масленица, — по этому случаю вы можете без опаски приютить четырех знаменитых собутыльников!

Мы сидели молча и не шевелясь; крупные капли дождя барабанили по стеклам, вспыхивали зарницы, и вдалеке громыал гром, словно в мае или июне. Чтобы

ублаготворить Юдифь, четверо пьяниц с насмешливой старательностью принялись на четыре голоса петь песню, а во хмелю голоса их и в самом деле как бы вибрировали от волнения. Когда и это не помогло, они принялись свирепо ругаться, а один из них потянулся к окну, чтобы заглянуть в темную комнату. Мы сразу же заметили остроконечный капюшон, появившийся у окна. В этот момент ударила молния, осветившая комнату и лазутчик тотчас же обнаружил Юдифь благодаря ее белой одежде.

— Проклятая ведьма не спит и нагло сидит за столом! — крикнул он приглушенным голосом своим товарищам. И снизу послышался голос:

— Дай-ка и мне посмотреть!

Но пока они сменялись и в комнате снова наступила темнота, Юдифь быстро метнулась к постели, схватила с нее белое покрывало и бросила его на стул, после чего бесшумно привлекла меня к кровати, которой из окна не было видно. Когда новая, еще более сильная молния снова осветила комнату один из братьев, уставивший на стул глаза, вроде как дуло двустовлки, крикнул вниз:

Да ведь это не она, это какое-то белое покрывало. Посуда из-под кофе стоит на столе, и молитвенник лежит рядом. Ведьма, оказывается, набожна — кто бы мог подумать!

Между тем Юдифь шептала мне на ухо:

— Этот мошенник обязательно бы тебя заметил, если бы мы остались сидеть у стола!

Но молния, гром и потоки дождя обрушились с новой силой и заставили соглядатаев уйти от окна. Мы слышали, как они стряхивали воду с капюшонов и разбежались по сторонам, чтобы искать прибежища в деревне, — все они жили далеко отсюда. Их голоса уже смолкли, а мы все еще сидели на кровати и прислушивались к шуму грозы, от которой весь дом дрожал так, что я никак не мог понять, продолжает ли меня самого бить дрожь. Только для того, чтобы подавить эту удручающую меня дрожь, я обнял Юдифь и поцеловал ее в губы. Она ответила на мой поцелуй крепким и горячим поцелуем. Но затем сразу же высвободилась из моих объятий и, отстраняясь, сказала:

Счастье бывает только одно, оно нераздельно! Я не позволю тебе дольше оставаться здесь, если ты не признаешь, что вы с дочкой учителя любите друг друга! Ты же знаешь — ложь губит все на свете!

Тогда я стал без утайки рассказывать ей от начала до конца всю историю моих отношений с Анной, соединяя спокойный рассказ об Анне с описанием своих чувств к ней. Я рассказал Юдифи в подробностях также и историю минувшего дня и пожаловался ей на робость и нерешительность, которые всегда вставали между мной и Анной. После того как я долго рассказывал и жаловался ей, она ничего мне не ответила, но спросила:

— А как ты смотришь на то, что сидишь здесь у меня?

Смущенный и посрамленный, я стал искать слова, чтобы ответить. Наконец я сказал, робея:

— Да ведь ты привела меня сюда!

— Это верно, — ответила Юдифь, — но пошел бы ты с любой другой красивой женщиной, которая бы тебя поманила? Подумай об этом!

Я и в самом деле подумал, а потом решительным тоном сказал:

— Нет, ни с кем больше!

— Значит, ты меня тоже немножко любишь? — продолжала Юдифь.

Теперь я совсем растерялся: сказать «да» значило совершить первую настоящую измену, я это чувствовал очень отчетливо, — и все же, когда я попробовал честно подумать, я понял, что мне еще труднее сказать «нет». После некоторых колебаний я проговорил:

— Да... но не так, как Анну!..

— А как же?

Я порывисто обнял ее и, глядя ее волосы и лаская, продолжал:

— Видишь ли... Для Анны я готов на все, я готов подчиниться каждому ее знаку! Я хочу быть для нее достойным и верным мужем, во всем таким чистым и ясным, чтобы она могла видеть меня насквозь, как кристалл! Я хочу, чтобы мысль о ней сопровождала все мои

поступки, чтобы она, даже если я ее больше никогда не увижу, на веки вечные жила в моей душе! Всего этого я не мог бы сделать ради тебя! И все же я всем сердцем тебя люблю, и если бы ты в доказательство этого потребовала, чтобы я распахнул свою грудь и дал тебе вонзить в нее нож, я бы не задумался ни на мгновение, и пусть бы моя кровь капля за каплей стекала на твои колени!

Я сам испугался этих слов, но тотчас же понял, что в них нет преувеличения, что они вполне отвечают тем чувствам, которые я издавна бессознательно питал к Юдифи.

Прекратив внезапно свои ласки, я задержал руку на ее щеке и заметил, что по ней тихо стекает слеза. Тяжело вздохнув, она сказала:

— На что же мне твоя кровь!.. Нет, никогда еще ни один мужчина не говорил мне, что он хочет быть передо мной верным, чистым и ясным, а ведь я люблю правду, как самое себя!

— Но я все же не мог бы быть всерьез твоим любовником или даже мужем! — сказал я с тоской в голосе.

— О, это я хорошо знаю, это мне и в голову не приходит! — возразила Юдифь. — Я хочу, чтобы ты правильно меня понимал. Я заманила тебя сюда, во-первых, потому, что мне хотелось целоваться, я сейчас это и буду делать, — ты мне для этого очень подходишь! Во-вторых, я хотела немножко заняться воспитанием такого зазнавшегося мальчишки, как ты. И, в-третьих, мне доставляет удовольствие, за неимением другого, любить в тебе того мужчину, который еще не вышел на белый свет, но которого я угадала в тебе еще с детских лет.

Она схватила меня и принялась целовать, и меня объял такой жар, что я, стремясь остудить его, целовал, удерживал и снова целовал ее влажные губы. Целуя Анну, я испытал такое чувство, точно прикоснулся губами к свежей розе. Теперь же, когда я целовал горячий, упругий рот Юдифи, какое-то таинственное, благоуханное дыхание исходило от этой красивой и сильной женщины и вливалось в меня живыми токами. Это различие было так ощутимо, что в разгаре самых знойных поцелуев, когда Юдифь шепнула почти про себя: «Думаешь ли ты теперь о своей подружке?» — я вдруг почувствовал, как надо мною взошла тихая звезда Анны.

— Да, — ответил я, — да! А теперь я ухожу!

Я попытался высвободиться из ее объятий.

— Ну, раз так, ступай! — сказала она и улыбнулась чуть заметной улыбкой.

Она разомкнула свои обнаженные белые руки, но сделала это так странно, так бессильно, что у меня перехватило дыхание, и я почувствовал, как мучительно больно мне расставаться с Юдифью. Я двинулся к ней и снова хотел упасть в ее объятия, но она стремительно встала, еще раз поцеловала меня и, вдруг оттолкнув от себя, тихо сказала:

— Ну, собирайся, самое время идти домой!

Вконец посрамленный, я стал искать свою шляпу и так поспешно собрался, что Юдифь, громко смеясь, еле поспежала за мной, чтобы открыть мне дверь.

— Стой, — шепнула она мне в дверях, — выйди из сада через заднюю калитку и обойди деревню задками!

И она прошла со мной по саду, невзирая на дождь и ветер, который дул со страшной силой. У калитки она остановилась и сказала:

— Послушай-ка, вот еще что! В моем доме не бывает мужчин, и ты первый, кого я целовала за долгое время! Я хочу остаться верной тебе, не спрашивай — почему. Я задалась целью испытать себя, — так мне хочется. За это я требую, чтобы ты приходил ко мне всегда, когда живешь на селе, — приходил по ночам и тайно. Днем, на людях, мы будем вести себя так, как будто мы не хотим и смотреть друг на друга. Я обещаю тебе, что ты никогда не будешь испытывать укоров совести. В жизни все пойдет совсем не так, как ты себе представляешь, и, может быть, с Анной тоже все будет по-иному. Ты в этом сам убедишься. Я только хочу тебе сказать, что потом ты будешь радоваться тому, что приходишь ко мне!

— Никогда не приду я больше! — крикнул я с сердцем.

— Тише! Не так громко! — сказала Юдифь, потом она пристально взглянула мне в

глаза, так что сквозь мрак и непогоду я уловил горячий блеск ее глаз, и продолжала: — Если ты мне не поклянешься честью и всеми святыми, что явишься снова, я сейчас же заберу тебя с собой, уложу к себе в кровать, и ты будешь спать у меня! Клянусь самым господом богом, это будет так!

Мне даже не пришло в голову рассмеяться и презреть эту угрозу. С возможной быстротой я пролепетал обещание прийти снова и поспешил прочь.

Я бежал, не зная куда. Потоки дождя освежали меня. Вскоре я выбрался из деревни и очутился на возвышенности, по которой пошел дальше. Светало, слабый утренний свет пробивался сквозь бушующую непогоду. Я терзал себя горькими упреками, я чувствовал себя совсем раздавленным. И когда я вдруг увидел под ногами маленькое озеро и домик учителя, который можно было лишь с трудом разглядеть под серым покровом дождя и предрассветного сумрака, — я пал, обессиленный, на землю и разрыдался.

Дождь лил на меня не переставая, ветер порывами свистел над головой и уныло завывал в деревьях, — я лежал и плакал, как ребенок. Никого не упрекал я, кроме самого себя, и даже не помышлял о том, чтобы приписать Юдифи какую-то вину. Я чувствовал, что все мое существо разрывается на две части, я хотел укрыться у Анны от Юдифи и у Юдифи от Анны. Но я дал себе обет никогда больше не ходить к Юдифи и нарушить тем самым свою клятву, ибо испытывал чувство безграничного сострадания к Анне, которая спала мирным сном там, внизу, в этой серой и мокрой низине. Наконец я собрался с силами и пошел вниз, по направлению к деревне. Я взглянул на дым, валивший из труб и рваными облачками расплывшийся под дождем. Несколько успокоившись, я стал думать о том, как в доме моего дяди объяснить мое исчезновение на целую ночь, и решил сказать, что сбился с пути и проблуждал до утра. Со времен детства впервые мне пришлось прибегнуть ко лжи во имя определенной цели; вот уже несколько лет, как я не знал, что значит лгать, и мысль об этом заставила меня почувствовать себя так, словно меня изгнали из волшебного сада, в котором я был некоторое время желанным гостем.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Перевод с немецкого Д. Горфинкеля.

Глава первая ТРУД И СОЗЕРЦАНИЕ

Спал я до полудня — крепко и без сновидений. Когда я очнулся, все еще дул теплый южный ветер и дождь не прекращался. Выглянув в окно, я увидел, как выше и ниже по долине сотни людей трудились у воды, восстанавливая плотины и запруды, — в горах должно было растаять много снега, и следовало ожидать большого паводка. Речонка уже сильно расшумелась и стала иссера-желтой. Нашему дому ничто не угрожало: он стоял на отгороженном надежной дамбой речном рукаве, который гнал мельницу. Все мужчины ушли на работу — спасти луга, и за столом со мною сидели одни женщины. Позже вышел и я и смотрел, как эти люди предаются своему делу с такой же бодрой энергией, с какой вчера предавались удовольствию. Они возились с землей, деревом и камнями, стояли по колено в воде и тине, взмахивали топорами, перетаскивали фашины и балки, и когда человек восемь шли, подпирая плечом тяжелое, длинное бревно, можно было подумать, что они затеяли новое шествие; все отличие от вчерашнего состояло в том, что не видно было дымящихся трубок. Я мог тут мало чем помочь и только путался у людей под ногами. Поэтому, пройдя немного по берегу, я вернулся верхом через деревню и во время этой прогулки везде наблюдал обычную кипучую деятельность. Кто не был занят у воды, уехал в лес, чтобы и там быстро покончить с работой, а на одной из крестьянских полос я заметил человека, который пахал так спокойно и сосредоточенно, словно он не провел праздничной ночи и

словно местам этим не грозила никакая опасность. Я стыдился того, что один брожу так праздно и бесцельно, и только для того, чтобы покончить с этим, решил немедленно возвратиться в город. Правда, я там ничего особенного не терял, и моя никем не направляемая, бестолковая работа не представлялась мне в этот миг заманчивым прибежищем, мало того — она казалась ничтожной и пустой; но так как день уже клонился к вечеру и мне предстояло шагать по грязи и под дождем до темноты, я, поддавшись аскетическому порыву, стал рассматривать это путешествие как благо и, несмотря на все увещания родственников, тотчас собрался в путь.

Как ни бушевала непогода и как ни был тяжел этот довольно долгий путь, я прошел его словно по солнечной аллее. Во мне проснулись самые разнообразные мысли. Они, не переставая, играли загадкой жизни, как золотым шаром, и я был немало удивлен, когда вдруг очутился в городе. Подойдя к нашему дому, я увидел темные окна и понял, что матушка уже спит. Вместе с возвращавшимся откуда-то соседом я проскользнул в дом, пробрался в свою комнатку, и утром мать широко раскрыла глаза, когда неожиданно узрела меня перед собой.

Я сейчас же заметил, что в нашей комнате произошло небольшое изменение. У стены стоял диванчик, по дешевке проданный матери одним знакомым, который не знал, куда его девать. Диванчик был самый простой и легкий, крытый лишь соломенной плетенкой, белой с зеленым. Все же это была очень милая вещь. И вот на нем лежала большая связка книг, все в одинаковых переплетах, с красными ярлычками и золотыми заглавиями на корешках, томиков пятьдесят, которые были несколько раз туго перехвачены прочной бечевкой. Это было полное собрание сочинений Гете; бродячий торговец, соблазнявший меня старыми изданиями и пожелтелыми гравюрами и преждевременно вводивший меня в небольшие долги, принес, сюда эти книги, чтобы я посмотрел их и купил. За несколько лет до того немец, столярный подмастерье, чинивший что-то у нас в комнате, случайно проронил: «Скончался великий Гете», — и эти слова потом неотступно звучали во мне. Усопший, который был мне неведом, проходил почти через все мои дела и помышления, и казалось, что к ним ко всем привязаны нити, концы которых исчезали в его незримой руке. Теперь уже все эти нити словно собрались для меня в неуклюжем узле бечевки, обвивавшей книги. Я набросился на него и торопливо принялся распутывать; когда же узел наконец поддался, золотые плоды славной восьмидесятилетней жизни пышно рассыпались по всему дивану, попадали через край на пол, и я, обхватив их раскинутыми руками, едва удерживал все это богатство. С этого часа я больше от дивана не отходил и читал сорок дней подряд. За это время ударили еще раз морозы, а потом опять пришла весна. Но белый снег промелькнул мимо меня, как сон, и я лишь смутно, краем глаза видел его блеск. Прежде всего я ухватился за те томики, в которых, перелистав их, можно было сразу узнать драматические произведения, потом я почитал стихи, потом взялся за романы, потом за «Итальянское путешествие», когда же поток свернул на прозаические нивы повседневного прилежания, я решил не идти дальше, начал опять сначала и на этот раз смог охватить взглядом целые созвездия, а также увидеть, как гармонично они располагаются, и между ними я рассмотрел отдельные звезды, сверкавшие дивным блеском, вроде «Рейнеке-лиса» или «Бенвенуто Челлини». Так я еще раз проблуждал по этому небу, многое перечел и открыл под конец еще одну совсем новую яркую звезду: «Поэзия и правда». Не успел я дочитать этот том, как пришел торговец и осведомился, оставляю ли я книги себе, так как появился другой покупатель. При таких обстоятельствах сокровище нужно было оплатить наличными, что сейчас было свыше моих сил. Мать хорошо видела, что эти книги для меня почему-то очень важны, но то, что я сорок дней только лежал и читал, смутило ее, она колебалась, а торговец тем временем снова взял свою бечевку, связал книги вместе, взвалил их на спину и откланялся.

Будто рой блистающих и поющих духов покинул комнату, и она сразу показалась тихой и пустой; я вскочил, озираясь, и мог бы вообразить себя в могиле, если бы не уютный шорох, производимый вязальными спицами матери. Я вышел на воздух. Старинный город, скалы, лес, река и озеро, многообразная в своих формах горная цепь были озарены мягким

сиянием мартовского солнца, и в то время как мой взор стремился охватить все это, я испытывал чистое и безмятежное наслаждение, прежде неведомое мне. То была самозабвенная любовь ко всему возникшему и сущему; она чтит право и смысл всякого явления, ощущает внутреннюю связь и глубину мира. Любовь эта выше, чем корыстное выкрадывание художниками отдельных подробностей, которое в конечном счете всегда приводит к мелочности и непостоянству; и она выше, чем восприятие и отбор, вызванные прихотью или романтическими пристрастиями; только она одна способна зажечь в человеке ровное и неостывающее пламя. Все представлялось мне теперь новым, прекрасным и волшебным, и я стал видеть и любить не только форму, но и содержание, сущность и историю вещей. Нельзя сказать, чтобы на меня так сразу и снизошло прозрение то, что постепенно пробуждалось во мне, несомненно, шло от тех сорока дней; их воздействие на меня и явилось главной причиной следовавших событий.

Только покой, составляющий ритм движения, держит вселенную и определяет настоящего человека; мир внутренне спокоен, гармоничен и безмолвен, и таким должен быть человек если хочет его понимать и, будучи сам действенной частицей мира, отражать его в образах. Покой притягивает жизнь, беспокойство отпугивает ее; господь бог сидит, не подавая признаков жизни, потому мир и движется вокруг него. К человеку искусства это приложимо в том смысле, что он должен быть скорее бездейтельно-созерцательным и пропускать явления мира перед своим взором, чем гнаться за ними; ибо тот, кто участвует в праздничном шествии, не может описать его так, как тот, кто стоит у дороги. Бездействие наблюдателя отнюдь не делает последнего лишним или праздным, ибо только в восприятии такого наблюдателя зримое обретает полную жизнь, и если он действительно зрячий, то настанет миг, когда он присоединится к шествию со своим золотым зеркалом, подобно восьмому королю в «Макбете»¹¹⁰, показывавшему в зеркале своем еще многих других королей. Да и само созерцание у спокойного наблюдателя не обходится без *внешних* действий и усилий, как и зрителю праздничного шествия стоит немало труда завоевать или удержать хорошее место. В этом залог свободы и верности нашего взгляда.

В моих взглядах на поэзию также совершался переворот. Не знаю, как и когда, но я привык все, что находил в искусстве полезным, добрым и красивым, называть поэтичным, и даже объекты избранной мною профессии, цвета и формы, я называл не живописными, а поэтичными, равно как и все события из жизни людей, если эти события возбуждали мое воображение. Это было, мне кажется, правильно, ибо один и тот же закон делает различные вещи поэтичными, или достойными отражения; но кое в чем, что до сих пор я называл поэтичным мне пришлось разочароваться, — теперь я узнал, что непонятное и невозможное, вычурное и чрезмерное не поэтично и что если в движении мира царят покой и тишина, то здесь должны царить простота и скромность посреди блеска и образов; толь ко так можно создать нечто поэтическое или, что то же самое, нечто жизненное и разумное; одним словом, так называемую бесцельность искусства нельзя смешивать с беспочвенностью. Впрочем, эта старая история, так как уже на примере Аристотеля мы можем видеть, что его веские рассуждения о политическом красноречии в прозаической форме одновременно могут служить самыми лучшими рецептами и для поэта.¹¹¹

¹¹⁰ ...подобно восьмому королю в «Макбете». — Когда Макбет, совесть которого обременена преступлениями, попадает в пещеру ведьм, пред ним проходят разные призраки и среди них восемь королей вместе с тенью убитого Банко. Призрак восьмого короля держит в руке зеркало, и Макбет видит в нем «цепь корон» (В. Шекспир, Макбет, IV, 1).

¹¹¹ ...на примере Аристотеля мы можем видеть, что его веские рассуждения о политическом красноречии в прозаической форме одновременно могут служить самыми лучшими рецептами и для поэта. — Аристотель (384–322 гг. до н. э.), один из величайших ученых-философов Древней Греции, охватил в своих многочисленных сочинениях все современные ему области знания. Рассуждения Аристотеля о политическом, торжественном и судебном красноречии содержатся в его знаменитой «Риторике», которая наряду с «Поэтикой» оказала впоследствии большое влияние на выработку нормативных требований к стилю и

Ибо, как мне представляется, истинные стремления художника неизменно направлены на то, чтобы упростить объединять все, что кажется разделенным и различным на то чтобы привести все явления к единому жизненному основанию. Отдаваться этому стремлению, изображать необходимое и простое с наивозможной силой и полнотой, постоянно и во всем видя суть вещей, — это и есть искусство. Поэтому художники только тем и отличаются от прочих людей, что они сразу видят существенное и умеют представить его с исчерпывающей полнотой, тогда как другие должны узнавать его, а узнав, этому дивиться; и поэтому же нельзя назвать великими мастерами тех художников, для понимания которых надобен особый вкус или художественное образование.

Мне не приходилось иметь дело ни с человеческим словом, ни с обликом человека, и я чувствовал, как счастлив уже благодаря тому, что могу ступить ногой пусть в самую скромную область, на земную почву, по которой ходит человек, и тем самым сделаться в поэтическом мире хотя бы «хранителем ковров». Гете много и с любовью говорил о красоте пейзажа, и я без всякой излишней самонадеянности верил, что этот мостик хоть как-нибудь свяжет меня с его миром.

Я хотел сразу взяться за дело, подходя теперь к видимым предметам с любовью и вниманием, хотел полностью придерживаться природы, не допускать ничего лишнего или бесполезного и наносить каждый штрих с ясным пониманием цели. Мысленно я уже видел перед собой великое множество рисунков — все они были красивы, благородны и содержательны, выполнены нежными и мощными штрихами, из коих ни один не был лишен значения. Я отправился за город, чтобы начать первый лист этого превосходного собрания; но тут оказалось, что я должен начать с того самого места, где в последний раз остановился, и что я вовсе не в состоянии вдруг создать что-то новое, ибо для этого мне сначала нужно было бы увидеть новое. Но так как в моем распоряжении не было ни одного рисунка подлинного мастера, а роскошные плоды моей фантазии превращались в ничто при первом прикосновении карандаша к бумаге, я состряпал какую-то мазню, пытаюсь выбраться из своей прежней манеры, которую презирал, а теперь еще и испортил. Так и промучился я несколько дней, — в мечтах своих я видел прекрасные, полные жизненной правды рисунки, но рука моя была беспомощна. Мне стало страшно, мне казалось, что если дело не пойдет на лад, я должен буду сразу же отбросить всякую надежду, и, вздыхая, я просил бога помочь мне в моей нужде. Я молился теми же детскими словами, что и десять лет назад, без конца повторяя одно и то же, и сам заметил это, вполголоса бормоча молитву. В раздумье приостановил свою судорожную работу и, уйдя в свои мысли, рассеянно смотрел на бумагу.

Глава вторая **ЧУДО И ПОДЛИННЫЙ МАСТЕР**

Внезапно на белый лист, лежавший у меня на коленях и ярко освещенный солнцем, упала тень; я испуганно оглянулся и увидел за собой благообразного, не по-нашему одетого человека; от него и падала эта тень. Он был высок и строен; на лице его, значительном и серьезном, выделялся нос с сильной горбинкой, усы были старательно закручены. Белье его было очень тонкого полотна.

— Можно взглянуть на вашу работу, молодой человек? — заговорил он со мной на правильном немецком языке.

Обрадованный и смущенный, я протянул ему свой набросок, и незнакомец несколько мгновений внимательно рассматривал его; потом он спросил, нет ли у меня с собой в папке других рисунков и хочу ли я стать настоящим художником. Когда я писал с натуры, у меня всегда было при себе несколько рисунков, сделанных за последнее время: мне просто было бы неприятно в неудачливый день возвращаться с пустой папкой. И теперь, вытаскивая одну

за другой эти работы, я подробно и доверчиво рассказывал о своих художественных опытах незнакомцу, ибо по тому, как он рассматривает мои рисунки, было видно, что он разбирается в живописи, а может быть, и сам художник.

Это подтвердилось, когда он указал мне на мои главные ошибки, сравнил набросок, над которым я работал, с натурой и так хорошо объяснил мне, какие особенности ландшафта следует считать существенными, что я и сам это увидел. Я был безмерно счастлив и притих, как человек, радостно принимающий оказываемое ему благодеяние, а он тем временем сравнивал купы деревьев на моей бумаге с натурой, толковал о светотени и форме и на краешке листа, легко набросав несколько мастерских штрихов, создавал то, что я тщетно искал.

Не менее получаса беседовал он со мною, потом сказал:

— Вы вот упомянули о милейшем Хаберзаате. А знаете ли вы, что семнадцать лет назад и я был одним из духов, пленённых в его заколдованном монастыре? Но я вовремя унес оттуда ноги и с тех пор постоянно жил в Италии и во Франций. Я пейзажист, зовут меня Ремер, и я намерен некоторое время пробыть на родине. Мне было бы приятно помочь вам. У меня с собою несколько моих работ, загляните ко мне в ближайшие дни, а то, если хотите, пойдем сразу!

Я поспешно сложил свои принадлежности и последовал за художником, исполненный торжественной гордости. Мне часто приходилось слышать о нем, так как он был героем настоящих легенд в «трапезной», и мастер Хаберзаат бывал весьма горд, когда слышал, что его бывший ученик Ремер стал в Риме знаменитым акварелистом и продает свои работы только владетельным особам и англичанам. Дорогой, пока мы еще находились под открытым небом, Ремер обращал мое внимание на многое из того, что следует подмечать в природе. Полон воодушевления, я пристально смотрел туда, куда он указывал легкими взмахами руки; я был поражен, когда обнаружил, что раньше, собственно, не видел почти ничего там, где, мне казалось, я вижу все, и еще более я дивился тому, что теперь находил важное и поучительное большей частью в таких явлениях, которых раньше не замечал или не считал существенными. Все же меня радовало, что я более или менее понимаю моего спутника, говорил ли он о густой и все же прозрачной тени, о мягком тоне или об изящном изгибе дерева. Позже, после нескольких прогулок с художником, я привык рассматривать и оценивать профессионально всю панораму ландшафта не как нечто замкнутое в себе, а лишь как галерею картин и этюдов, то есть как нечто, видимое только с надлежащей точки зрения.

Когда мы добрались до квартиры Ремера, состоявшей из нескольких нарядных комнат в богатом особняке, художник тотчас же поставил на стул перед диваном свои папки, усадил меня рядом с собой и начал переворачивать и устанавливать один за другим самые замечательные и ценные из своих этюдов. Все это были большие итальянские зарисовки на толстой, грубозернистой бумаге, сделанные акварелью, но совершенно новым для меня способом, неизвестными мне смелыми и остроумными средствами. В этих рисунках было столько же гармонии и аромата, сколько ясности и силы, а главное — каждый мазок доказывал, что они написаны с натуры. Я не знал, что доставляет мне больше радости — блестящее и увлекательное мастерство трактовки или сами изображенные предметы, ибо от мощных, темных групп кипарисов вокруг римских вилл, от прекрасных Сабинских гор до развалин Пестума, до сверкающего Неаполитанского залива и берегов Сицилии с их волшебно тающими контурами передо мной вставала картина за картиной со всеми драгоценными признаками времени, места и солнца, под которым они возникли. Живописные монастыри и замки блистали в лучах этого солнца на горных склонах, небо и море покоились в глубокой синеве или в веселом серебристом сиянии, и тем же серебристым сиянием был залит роскошный и благородный растительный мир с его классически простыми и все же совершенными формами. И тут же пели и звенели итальянские имена, когда Ремер называл предметы и высказывал замечания об их характере и положении. Время от времени, поднимая глаза от листов и оглядываясь по сторонам, я замечал в комнате различные предметы — красную шапочку неаполитанского рыбака, римский складной нож,

нитку кораллов или серебряную шпильку для прически; потом я внимательно и восхищенно присматривался к моему новому покровителю, к его белому жилету, к его манжетам; и лишь когда он переворачивал лист, мой взор возвращался к рисунку, чтобы еще раз бегло оглядеть его, прежде чем появится следующий.

Когда мы покончили с этой папкой, Ремер позволял мне наскоро заглянуть и в другие; одна из них содержала множество исполненных в красках деталей к картинам, другая — несколько карандашных набросков, третья — только то, что имело отношение к морю, судоходству и рыболовству, четвертая, наконец, — различные явления природы и чудеса расцветки, как Голубой грот, необычные конфигурации облаков, извержения Везувия, пылающие каскады лавы и так далее. Затем, проведя меня в другую комнату, он показал мне то, над чем работал теперь, — довольно большую картину, изображавшую сады вокруг виллы д'Эсте¹¹². Гигантские темные кипарисы высились над трепетными виноградными лозами и лавровыми кустами, над мраморными фонтанами и тонушей в цветах балюстрадой, к которой приникла одинокая фигура — Ариосто¹¹³ в черном рыцарском одеянии и со шпагой. Дальше видны были дома и деревья Тиволи, овеванные благоуханием, а за ними открывался широкий простор полей, залитых вечерним пурпуром, в котором на самом горизонте плавал купол св. Петра.

— На сегодня довольно! — сказал Ремер. — Приходите почаще хоть каждый день, если будет охота. Приносите свои работы, может быть, я дам вам скопировать кое-что. Тогда вы усвоите более легкую и целесообразную технику.

С величайшей благодарностью и почтительностью я простился с ним и вприпрыжку отправился домой. Там я самыми красноречивыми словами рассказал матери о своем удивительном и счастливом приключении и не преминул изобразить незнакомого важного господина и художника во всем блеске, на какой я был способен; я был рад, что наконец могу указать ей на пример ослепительного успеха, который утешил бы ее в неопределенности моего собственного будущего, тем более что и Ремер вышел из убогого питомника Хаберзаата. Однако семнадцать лет, которые Ремер должен был провести на чужбине, чтобы добиться подобных достижений, не вызывали у матушки никакого восторга; кроме того, она считала благосостояние незнакомца далеко не доказанным, если он вернулся на родину такой одинокий и никому не ведомый. Но у меня было иное, тайное доказательство того, что надежды мои обоснованы: ведь Ремер появился сейчас же после того, как я сотворил молитву, а я, несмотря на мое бунтарство против церкви, все еще был изрядным мистиком, когда дело касалось моего личного благополучия.

Матери я об этом ничего не сказал. Прежде всего между нами не было принято слишком распространяться на такие темы; а затем, хотя мать и твердо уповала на помощь божью, ей не понравилось бы, если бы я стал расписывать такое необычайное и эффектное происшествие. Она была довольна и тем, что мы, по божьей воле, не оставались без куска хлеба и что в трудную минуту в горести своей она всегда могла воззвать к помощи свыше; поэтому она, вероятно, не без насмешки осадил бы меня; это тем более побудило меня весь вечер раздумывать над происшествием, и я должен сознаться, что ощущение у меня было двойственное. Я не мог отделаться от представления о какой-то длинной проволоке, за которую незнакомец якобы был притянут по моей мольбе, но случайность, как нечто противоположное этому нелепому представлению, была мне еще менее по вкусу, ибо теперь

¹¹² *Вилла д'Эсте* (архитектор Лигорио) — была построена около 1500—1580 гг. для кардинала Ипполита д'Эсте. Эсте — итальянский княжеский род, владевший герцогством Феррара (XIII XVI вв.).

¹¹³ *Ариосто* Лодовико (1474—1533) — один из крупнейших итальянских поэтов эпохи Возрождения. Его главным произведением является поэма «Неистовый Роланд» (1502—1532), построенная на мотивах средневекового рыцарского романа и античной поэзии. Ариосто долгов время жил в Ферраре при дворе герцогов д'Эсте, выполняя различные дипломатические поручения.

я не мог даже подумать о том, что все это могло и не произойти. С тех пор я привык запоминать такие счастливые события (а также и печальные, когда я склонен был видеть в них наказание за совершенное мной прегрешение) как непреложные факты и благодарить за них господа, не воображая, однако, что все свершилось именно ради меня. Но каждый раз, когда я не вижу выхода из затруднения, я не могу удержаться от того, чтобы не искать решения в молитве, чтобы не усматривать причину ударов судьбы в моих проступках и чтобы не давать обета исправления.

Горя нетерпением, я выждал один день, а на следующий пошел к Ремеру с целым грузом моих прежних работ. Он принял меня с любезной предупредительностью, внимательно и сочувственно рассмотрел мои рисунки. При этом он не скупился на ценные советы, а когда мы кончили, сказал, что прежде всего я должен отделаться от своей старой беспомощной манеры, потому что так я не сделаю ничего путного. Я должен прилежно рисовать с натуры мягким карандашом и начать с того, чтобы усвоить его, Ремера, манеру, в чем он мне охотно поможет. Он отыскал в своих папках несколько простых этюдов в карандаше и в красках, которые я должен был скопировать на пробу, и когда после этого я хотел откланяться, он сказал:

— Да вы посидите здесь еще часок! За утро вы все равно уже ничего не сделаете. Последите за моей работой, и мы поболтаем!

Я охотно согласился, прислушивался к тем замечаниям, которые он делал по поводу своей работы, и в первый раз наблюдал, как просто, свободно и уверенно работает мастер. Предо мной засиял новый свет, и когда я представлял себе, как я работал в моей прежней манере, мне начинало казаться, что до этого дня я только вязал чулки или делал что-то в этом роде.

Быстро скопировал я полученные от Ремера листы, трудясь так весело и удачливо, как это бывает с первого разбега. А когда я принес их ему, он сказал:

— Ну что ж, дело идет отлично! Очень хорошо!

Погода в этот день была прекрасная, и он пригласил меня на прогулку, во время которой связывал то, чему я уже научился в его доме, с живой природой, а в промежутках поверял мне свои думы о других вещах, людях и событиях — то строго-критически, то шутивно, и я увидел, что сразу приобрел надежного учителя и занимательного, обходительного друга.

У меня возникла потребность неизменно быть возле него, и я все чаще пользовался разрешением его посещать. И вот однажды, основательно и уже несколько строже просмотрев мою работу, он сказал мне:

— Вам было бы полезно еще некоторое время находиться полностью под руководством преподавателя; да и мне доставило бы удовольствие и развлекло меня, если бы я мог предложить вам свои услуги. Но мои обстоятельства, к сожалению, не таковы, чтобы я мог учить вас без всякого вознаграждения — разве только у вас совсем нет для этого средств. Посоветуйтесь с вашей матушкой, не согласится ли она тратить кое-что ежемесячно на это дело. Я еще некоторое время пробуду здесь и надеюсь за полгода настолько продвинуть вас вперед, чтобы впоследствии вы оказались более подготовленным и сами были в состоянии найти себе заработок, когда отправитесь путешествовать. Вы бы приходили каждое утро в восемь часов и весь день работали у меня.

Я не мог желать ничего лучшего и во всю прыть пустился домой сообщить матери об этом предложении. Однако она не ухватила за него, как я, и, так как дело шло о затратах немалых средств, а значительную часть суммы, уплаченной Хаберзаату, я и сам считал выброшенной на ветер, она сперва пошла просить совета у того видного господина, у которого уже некогда побывала. Матушка рассчитывала, что этот человек, во всяком случае, будет знать, действительно ли Ремер такой почитаемый и знаменитый художник, за какого я его усердно выдаю. Советчик пожал плечами и, правда, признал, что Ремер как художник талантлив и восхваляется за границей, но о его личности отозвался туманно: о нем не говорят хорошего, но подробнее ничего не известно, нам, мол, лучше быть с ним настороже.

Во всяком случае, он предъявляет слишком большие требования, наш город ведь не Рим и не Париж, и вообще было бы целесообразнее сберечь эти средства для моих странствий; а в путь мне нужно отправиться возможно скорее, чтобы самому все увидеть и овладеть тем, чем владеет Ремер.

Слово «странствия» звучало уже не в первый раз, и его было достаточно, чтобы укрепить мать в решимости откладывать каждый свободный грош на мое снаряжение. Поэтому она сообщила мне о высказанных ей сомнениях, правда, не придавая слишком большого значения тому, что относилось к личности художника. Намеки на его прошлое я отверг с негодованием, так как заранее был против этого вооружен, зная по некоторым загадочным высказываниям Ремера, что он не в ладах с миром и претерпел много несправедливости. Между нами даже выработался для этой темы особый язык: я выслушивал его жалобы с почтительным участием и отвечал на них так, словно сам уже перенес горькие обиды или, по крайней мере, должен был их опасаться, словно я готов был их стойко встретить и отомстить разом и за себя и за него. Если Ремер затем сдерживал меня и напоминал, что я не могу знать людей лучше, чем он, мне приходилось мириться с этим, и он с важным видом поучал меня, с чего нужно начинать, чтобы поставить себя должным образом, но я при этом все-таки плохо понимал, о чем, собственно, идет речь и в чем состоят его обиды.

Я быстро принял решение и сказал матушке, что хочу принести в жертву искусству то золото, которое еще оставалось в моей когда-то разграбленной копилке. На это она ничего не могла возразить. Итак, я взял медаль и несколько сохранившихся дукатов и снес все это золотых дел мастеру. Тот уплатил мне серебром, и я, придя с деньгами к Ремеру, сказал ему что могу затратить лишь эту сумму и хотел бы за ее счет пользоваться не менее четырех месяцев его преподаванием. Он предупредительно ответил, что его пожелания не нужно понимать так уж буквально. Раз я делаю что могу, как и подобает ученику художника, за ним дело не станет — он тоже, пока живет здесь, будет делать все, что в его силах, и я могу прийти и начать с завтрашнего же утра.

Так я с величайшим удовлетворением обосновался у него. В первый и во второй день занятия шли довольно приятно и спокойно, но уже с третьего дня Ремер запел совсем на другой лад: настроившись вдруг чрезвычайно критически и строго, он начал безжалостно хулить мою работу и доказывал мне, что я не только ничего еще не умею, но что я к тому же небрежен и невнимателен. Это показалось мне чрезвычайно странным; я немного подтянулся, но похвалы за это не дождался. Напротив, Ремер становился все строже и насмешливее и порицание свое облекал далеко не в самые вежливые выражения. Тогда я серьезнее взял себя в руки, но и упреки стали более серьезными, они угнетали меня, и, наконец, совсем подавленный и униженный, я принялся при каждом штрихе хорошенько осматривать место, куда он должен был лечь, и то клал его нежно и осторожно, то после короткого колебания бросал на счастье, как игральную кость, и старался при этом делать все в точности так, как требовал Ремер. Так я все же понемногу вышел в более свободный фарватер и тихонько поплыл к своей цели сносно выполненному рисунку. Но хитрец заметил мое намерение и неожиданно усложнил мои задачи. Мои бедствия начались сызнова, и критика маэстро расцвела пышнее прежнего. И опять я ценою больших усилий начал приближаться к относительной безупречности и вновь был отброшен назад еще

более трудным заданием, вместо того чтобы, как я надеялся, хоть некоторое время почивать на лаврах достигнутого. Так Ремер несколько месяцев держал меня в подчинении, но таинственные разговоры о нанесенных ему обидах и о других подобных вещах продолжались, — окончив дневной труд или отравляясь на прогулку, мы общались, как прежде. Так создались довольно странные отношения. Иногда посреди содержательной дружеской беседы Ремер внезапно обрушивался на меня:

— Что это вы наделали? Что это такое? Господи Иисусе! Вам копать в глаза попала?

Я сразу смолкал и, полный ярости и гнева на него и на себя самого, с мучительно напряженным вниманием снова брался за работу.

Так я наконец познал настоящий тяжелый труд, и он не стал для меня бременем, ибо ведь он в самом себе несет награду — новый отдых и вечное обновление. Я оказался теперь в состоянии взяться за большой этюд Ремера, который скорее можно было бы назвать картиной, и сделать с него такую копию, что мой учитель остался удовлетворен.

— Довольно работать в этом направлении, — сказал он, — иначе вы перерисуете все мои папки. Они составляют мое единственное достояние, и, при всей дружбе к вам, я не хочу, чтобы в чужих руках были хорошие дубликаты.

Благодаря этим занятиям я, как это ни удивительно, стал чувствовать себя в южных краях гораздо более дома, чем у себя на родине. Образцы, по которым я работал, все возникли под открытым небом и были превосходно исполнены; к тому же мою работу все время сопровождали рассказы и замечания Ремера, и я с такой отчетливостью видел и южное солнце, и небо, и море, как если бы сам побывал в Италии.

Особое очарование представляли для меня встречавшиеся там и сям остатки греческого зодчества. Поэтическое волнение овладевало мною, когда мне приходилось выделять на фоне синего неба залитые солнцем мраморные портики дорического храма. Горизонтальные линии фриза, архитрава и венчающего карниза, а также каннелюры колонн нужно было проводить с деликатнейшей точностью, с истинным благоговением, медленно и все же уверенно и изящно. Тени, падавшие на этот благородный золотистый камень, были чисто-голубые, и если я долго смотрел на эту голубизну, мне начинало казаться, что передо мною подлинный храм. Каждый просвет между стропилами, сквозь который проглядывало небо, каждая зазубрина на каннелюрах были для меня священны, и я запечатлевал их точно, без малейших отступлений.

В вещах моего отца оказался труд по архитектуре, содержащий историю древних стилей с пояснениями и хорошими подробными изображениями. Теперь я вытащил его и стал жадно изучать, чтобы лучше понять античные руины и до конца познать их великую ценность. Я вспоминал также прочитанное мною «Итальянское путешествие» Гете. Ремер много рассказывал мне о людях и обычаях, о прошлом Италии. Он почти ничего не читал, кроме Гомера в немецком переводе и Ариосто на итальянском языке. Он и мне предложил читать Гомера, и я не заставил просить себя дважды. Сначала дело шло не особенно хорошо; правда, я все находил прекрасным но простота и титаничность были мне еще слишком непривычны, и я подолгу не выдерживал. Но Ремер обратил мое внимание на то, как Гомер для каждого действия и положения применяет единственно уместное и необходимое слово, как любой сосуд, любое одеяние, которые он описывает, полны тончайшего вкуса и как, наконец, каждая ситуация и каждый нравственный конфликт, при всей их почти детской простоте, проникнуты самой высокой поэзией.

— В наши дни люди все больше требуют изысканного, занимательного, пикантного, не подозревая в тупости своей, что не может быть на свете ничего более изысканного, пикантного и вечно нового, чем любая гомеровская выдумка, бессмертная в своей классической простоте! Я не желаю вам, милый Лее, когда-либо на своем опыте прочувствовать изысканную, пикантную истину в положении Одиссея, когда он, голый и вымазанный в тине, явился перед Навсикаей и ее подругами!¹¹⁴ Хотите вы знать, как это бывает? Остановимся на этом примере! Если вам когда-нибудь придется, вдали от родины и

¹¹⁴ ...в положении Одиссея, когда он, голый и вымазанный в тине, явился перед Навсикаей и ее подругами! — Согласно греческой мифологии, Навсикая, дочь феакийского царя Алкиноя, нашла вместе со своими прислужницами потерпевшего кораблекрушение Одиссея на берегу моря и предоставила ему приют. Ремер имеет в виду следующее место из «Одиссеи» Гомера:

Вышел так Одиссей из кустарника. Голым решился
Девушкам он густокосым явиться: нужда заставляла.
Был он ужасен, покрытый морскою засохшею тиною.

(Песнь VI, ст. 135—137, перев. В. Вересаева.)

всего, что вам дорого, скитаться на чужбине, где вы многое видели и многое узнали, где вас гнетут горе и заботы, где вы к тому же чахнете в нищете и одиночестве, — вам непременно приснится ночью, что вы приближаетесь к родине; она сверкает и блещет перед вашим взором самыми пышными красками; вы видите перед собой нежные, милые, любимые лица; и вдруг вы замечаете, что на вас грязные лохмотья, сквозь которые виднеется голое тело... Невыразимый стыд и ужас охватывают вас, вы пытаетесь прикрыться, спрятаться — и просыпаетесь в холодном поту. Таков испокон века сон горемычного бродяги, и значит, Гомер взял это положение из глубоких и вечных недр человеческого бытия!

Между тем хорошо было, что интересы Ремера в отношении моих копий с его этюдов совпали с моими интересами. Когда я теперь, подчинившись его требованию, снова очутился лицом к лицу с природой, стало ясно, что вся моя сноровка в копировании и все мое знание Италии могут оказаться не более чем пустым самообманом. Мне стоило величавшей настойчивости и труда достигнуть в моих зарисовках хотя бы одной десятой доли того, что мне удалось в копиях; первые попытки окончились почти полной неудачей, и Ремер злорадно сказал:

— Нет, дружок, не так все это скоро! Я был уверен, что иначе случиться не может. Пора вам теперь стать на собственные ноги, или, вернее, начать видеть собственными глазами! Сделать сносную копию с хорошего этюда, это еще мало чего стоит. Вы думаете, что это так просто, что можно доставать луну с неба чужими руками?

И еще многое говорил он в том же роде. И снова вспыхнула война — его порицание опять обрушивалось на мою старательность, пытаюсь опередить ее и подставить ей ножку. Ремер отправлялся за город вместе со мной и сам писал этюды, так что я все время был у него на виду. Тут уж не годилось пускать в ход ухищрения и увертки, которые я позволял себе у Хаберзаата; Ремер, казалось, проникал взором сквозь камни и деревья и видел, насколько добросовестен каждый штрих. Едва взглянув на какую-нибудь ветку, изображенную мной, он уже знал, что она слишком толста или слишком тонка; когда же я замечал, что в конце концов могла ведь она вырасти и такой, он говорил:

— Бросьте это! Природа разумна, и ей должно верить. А кроме того, мы хорошо знаем такие штучки. Видали мы таких фокусников! Не вы первый пытаетесь втереть очки природе и своему учителю.

Глава третья *АННА*

Мне нужно было до конца использовать недолгое пребывание Ремера в нашем городе, а поэтому я и думать не мог о том, чтобы побывать в деревне, хотя уже не раз мне передавали оттуда приветы и вести. Но тем больше мечтал я об Анне, когда работал и вокруг меня шумели зеленые деревья. Мое ученье радовало меня, — ведь оно касалось и ее; чувствуя себя намного богаче опытом по сравнению с прошлым годом я надеялся приобрести теперь некоторое основание для надежд, которые сам позволил себе питать.

Настала осень, и когда я однажды в полдень пришел домой поесть, в нашей комнате на плетеном диване лежала черная шелковая накидка. Радостно удивленный, я подошел ближе, поднял легкую, приятную на ощупь ткань и рассмотрел ее со всех сторон. Затем поспешил на кухню, — там матушка готовила обед, и не такой, как обычно. Она сообщила мне о приезде учителя и его дочери, но тут же озабоченно добавила, что, к сожалению, они прибыли сюда не для своего удовольствия, а чтобы побывать у знаменитого врача. Перейдя в комнату и накрывая на стол, она в нескольких словах объяснила мне, что у Анны появились странные и тревожные признаки какой-то болезни, что учитель очень удручен, да и она, моя мать, — не меньше: судя по всему виду бедной девочки, можно было полагать, что это хрупкое создание долго не протянет.

Я сидел на диване, крепко держа в руках накидку и с недоумением слушая эти слова, — они звучали для меня так неожиданно и чуждо, что я был более удивлен ими, чем испуган. В

этот миг отворилась дверь, и вошли наши гости, столь же любимые нами, сколь и искренне почитаемые. Застигнутый врасплох, я встал, пошел им навстречу, и только собираясь подать Анне руку, заметил, что все еще держу ее накидку. Она покраснела и рассмеялась, а я смущенно стоял перед ней; учитель упрекнул меня в том, что я за все лето ни разу у них не показался; пока мы обменивались любезностями, я забыл о том, что мне рассказала матушка, к тому же ничто не бросалось мне в глаза и не напоминало об этом. И лишь когда мы уже сидели за столом, какая-то повышенная ласковость и внимательность матушки к Анне заставила меня насторожиться, и теперь я как будто начал замечать, что девушка чуть-чуть выросла, но в то же время стала более нежной и хрупкой. Цвет ее лица был прозрачным, а вокруг глаз, как-то по-особому блестящих то огоньком прежних дней, то глубокой мечтательной задумчивостью, легла тень страданий. Она была оживленна и много говорила, я же молчал, слушал и смотрел на нее; учитель тоже был оживлен и вообще держал себя, как обычно; ибо когда на долю близких нам людей выпадают невзгоды и страдания, мы не ударяемся в плаксивость, а почти с первого мгновения ведем себя с таким же самообладанием и предаемся такой же смене надежд, страхов и иллюзий, как и сами жертвы. Однако он все же попросил дочь не слишком много говорить, а у меня осведомился, знаю ли я уже о причине их маленького путешествия, и добавил:

— Да, милый Генрих! Моя Анна, по-видимому, намерена расхвораться! Но не будем падать духом! Врач сказал, что пока еще ничего определить и предпринять нельзя. Сделав нам кое-какие указания, он велел спокойно возвращаться к себе и жить там, а не переезжать сюда, — тамошний воздух для Анны благоприятнее. Этот врач даст нам письмо к нашему доктору и будет время от времени наезжать сам, чтобы наблюдать за больной.

Я не знал, что мне сказать и как выразить свое участие; но я густо покраснел, мне было стыдно, что я тоже не болен. Анна при словах отца с улыбкой посмотрела на меня, словно ей было жаль меня за то, что мне приходится выслушивать такие неприятные вещи.

После обеда учитель попросил показать ему что-нибудь из моих работ, я принес толстую папку и принялся рассказывать о моем маэстро. Но у гостя было мало времени, и он вскоре ушел по разным делам и за покупками. Матушка ушла с ним, и я остался наедине с Анной. Сидя на плетеном диване, она продолжала внимательно рассматривать мои работы, а я раскладывал перед нею рисунки и объяснял их. В то время как она смотрела на мои пейзажи, я поглядывал на нее, — иногда мне приходилось наклоняться к ней, иногда мы подолгу держали вместе какой-нибудь лист, но никаких иных проявлений нежности между нами не было; ибо в то время, как я видел в ней некое новое существо и даже издали боялся обидеть ее, она дарила свое внимание и свою радость только моим работам, не желая расставаться с ними, на меня же посматривала лишь мельком.

Вдруг она сказала:

— Тетушка велела тебе передать, чтобы ты сейчас же приехал вместе с нами, не то она рассердится! Поедешь?

— Да, теперь я уже могу! — ответил я и добавил: — Что, собственно, с тобой?

— Ах, я и сама не знаю! Я всегда устаю, иногда мне бывает не по себе. Другие встревожены этим больше, чем я сама!

Матушка и учитель вернулись; помимо неприятных пакетов из аптеки, которые отец Анны с затаенным вздохом положил на стол, он принес ей подарки: тонких тканей на платья, большую теплую шаль и золотые часики, — как будто этими ценными, рассчитанными на продолжительное пользование вещами он хотел вынудить счастливый оборот судьбы. Анна испугалась при виде таких дорогих вещей, но учитель сказал, что она давно заслужила их, а горсточка денег не имеет для него никакой цены, если он не может истратить их, чтобы доставить своей дочке маленькую радость.

По-видимому, он был доволен, что я поеду с ними; матушка тоже смотрела на это одобрительно и приготовила мне нужные вещи, пока я ходил в гостиницу за тележкой, которая была там оставлена. Анна была прелестна, когда, тепло укутанная и под вуалью, села рядом с учителем. Я занял переднее место и взял вожжи, чтобы править упитанной

лошадкой, нетерпеливо рывшей копытом землю. Матушка долго еще не отходила от тележки, все снова и снова предлагая учителю всяческую помощь и выражая готовность, если понадобятся, приехать и ухаживать за Анной. Соседи выглядывали из окон, отчего безмерно росло мое тщеславие; наконец я тронул лошадь и покатыл по узкой улице с моими милыми спутниками.

Осенний день, уже клонившийся к вечеру, заливал все кругом солнечным блеском. Мы ехали деревнями, полями, видели рощи и пригорки, тонувшие в трепетной дымке, слышали вдали звуки охотничьих рогов, встречали везде вереницы возов, нагруженных плодами осени. Тут люди готовили корзины для сбора винограда и сколачивали большие чаны; там рядами стояли на полях, выкапывая из земли клубни. В других местах они перепахивали свои полоски, и вокруг пахаря собиралась вся семья, привлеченная осенним солнцем. Все было полно жизни и бодрого движения. Погода стояла такая теплая, что Анна откинула зеленую вуаль и показала милое свое лицо. Мы все трое забыли, почему, собственно, едем по этим дорогам, учитель был разговорчив и рассказывал всякие истории о местах, которые мы проезжали, показывал нам дома, где жили известные люди, чьи опрятные, богатые усадьбы свидетельствовали о мудрой хозяйственности их владельцев. У некоторых из них тоже были хорошенькие дочери; проносясь мимо, мы старались увидеть их, и, если это удавалось, Анна кланялась им со скромным достоинством девушки, которая сама прелестнейший цветок своей страны.

Сумерки сгустились значительно раньше, чем мы добрались до цели, и в темноте я вдруг вспомнил, что дал Юдифи обещание навещать ее всякий раз, как мне случится быть в деревне. Анна снова закуталась и опустила вуаль, и я теперь сидел подле нее, так как учитель, лучше знавший дорогу, взял у меня вожжи. Темнота сделала нас молчаливее, и у меня было время подумать, как мне быть.

Чем более невозможным казалось мне сдержать обещание чем менее я был способен хотя бы в мыслях оскорбить то создание, которое находилось подле меня и теперь легко ко мне прильнуло, тем настойчивее складывалось убеждение, что я все-таки не могу нарушить слово, ибо, только поверив ему, Юдифь отпустила меня в ту ночь. И я не замедлил внушить себе, что подобное вероломство обидит ее и причинит ей боль. Ни за что на свете я именно перед ней не хотел бы явиться в роли, недостойной мужчины, в роли человека, который из страха дает обещание, а потом из страха же его нарушает. Тут я нашел очень, как мне казалось, разумный исход, — он должен был, по крайней мере, оправдать меня перед самим собой. Стоило мне поселиться у учителя, и я уже не жил в деревне; а приходя туда днем, я не был обязан видеться с Юдифью, которая поставила мне условием лишь ночные и тайные посещения во время моего пребывания в деревне.

Поэтому, когда мы доехали до дома учителя и застали там мою тетушку с двумя дочерьми и сыном, поджидавшими нас, чтобы сразу же увезти меня с собой в той же тележке, я неожиданно объявил, что хочу остаться здесь, и старая Катарина поспешно вышла готовить мне помещение. Анна же была сильно утомлена, у нее начался приступ кашля, и ей надо было немедленно лечь в постель. Она подвела меня к изящному столику, на котором размещены были ее книги и рабочие принадлежности, а также бумага и письменный прибор, поставила тут лампу и сказала с улыбкой:

— Отец весь вечер остается со мной, пока я не засну, и читает мне иногда вслух. А ты пока, если хочешь, развлекайся здесь. Посмотри, я готовлю тебе подарок!

И она показала мне вышивку для небольшого бювара, изображавшую цветы по тому рисунку, который я несколько лет назад сделал в беседке и преподнес ей. Наивная картинка висела над ее столиком. Потом она дала мне руку и произнесла с тихой скорбью и в то же время приветливо:

— Доброй ночи!

— Доброй ночи! — так же тихо ответил я.

Несколько мгновений спустя вошел учитель, и когда он снова удалился, чтобы пойти в комнату к Анне, я увидел, что он захватил с собой маленький молитвенник в нарядном

переплете. А я разглядывал все лежавшие на столе безделушки, поиграл ножницами Анны и не мог серьезно представить себе, что ей грозит какая-либо опасность.



Вид берега с соснами.
Тушь. 1840–1842 гг.

Глава четвертая **ЮДИФЬ**

Я был гостем в доме моей возлюбленной и потому проснулся утром очень рано, когда все еще крепко спали. Открыв окно, я долго смотрел на озеро, чьи высокие лесистые берега блистали в лучах утренней зари, в то время как поздний месяц еще стоял на небосклоне, ярко отражаясь в темной воде. Я следил за тем, как он мало-помалу бледнел перед солнцем, которое теперь позолотило желтые кроны деревьев и бросало нежное сияние на посиневшее озеро. Но вот воздух опять потускнел, легкий туман сперва лег серебристым покрывалом на все предметы, а затем стал гасить одну сверкающую картину за другой, отчего кругом начался хоровод мгновенных вспышек; и вдруг мгла так сгустилась, что я мог видеть только садик перед домом; потом туман окутал и его, проникнув сырым дыханием в комнату. Я закрыл окно, вышел на кухню и застал там старую Катарину у пылавшего ярким пламенем уютного очага.

Мы с ней долго болтали, и я слушал ее тихие жалобы по поводу тревожного состояния Анны; она сообщила мне, с какого времени все началось, но при этом прибегала к столь темным и таинственным намекам, что сущность болезни так и осталась неясной для меня.

Затем старуха начала с трогательным красноречием провозглашать хвалу Анне и вспоминать ее жизнь с детских лет. Ясно увидел я перед собой трехлетнего ангелочка; он весело прыгал передо мной, и на нем было платьице, которое Катарина описала с большой точностью; но, увы, я увидел также раннее страдальческое ложе, на котором маленькое создание томилось целые годы, — теперь мне уже рисовался белый как мел, вытянувшийся на постели живой трупик с терпеливым, умным и всегда улыбающимся лицом. Однако хилая тростинка оправилась, удивительное выражение выстраданной ранней мудрости исчезло, и чистое сердцем дитя вновь расцвело, как будто ничего не случилось, и пошло навстречу тем годам, когда я его впервые увидел.

Наконец показался учитель; теперь его дочь должна была утром оставаться в постели и спала позднее обычного, поэтому раннее вставание больше не доставляло ему радости, и он, распределяя свое время, всецело сообразовался с больной девушкой. Затем появилась и Анна; она села за свой завтрак, составленный по особому предписанию, в то время как мы пили обычный утренний кофе. От этого за столом распространилось грустное настроение которое постепенно сменилось серьезно-созерцательным, когда мы трое остались на своих местах и продолжали беседу. Учитель достал книгу «О подражании Христу» Фомы Кемпийского¹¹⁵ и прочел из нее несколько страниц, Анна взялась за вышиванье. Потом ее отец завел разговор о прочитанном, стараясь привлечь к нему и меня, чтобы испытать, как между нами повелось, силу моего суждения, смягчить эту силу и, для общего назидания, направить к поучительной объединяющей идее. Но я за последнее лето почти совсем утратил вкус к подобным отвлеченным спорам, мой взор был направлен на чувственные явления и образы, и даже малопонятные разговоры о жизненном опыте, которые возникали у нас с Ремером, велись в чисто мирском духе. Кроме того, я чувствовал, что должен при каждом своем слове особенно считаться с Анной, и когда я заметил, что ей даже приятно видеть меня здесь пленником, обращаемым в истинную веру, я начал воздерживаться от возражений, высказывал искреннее одобрение тем местам, которые либо содержали правдивую мысль, либо были выражены красиво и сильно, а то предавался пленительному безделью в обществе Анны, разглядывая красивые цвета ее шелковых клубочков.

Она хорошо отдохнула, казалась вполне бодрой, и позже, среди дня, трудно было заметить в ней большое отличие от прежней Анны. Это очень обрадовало меня, и я собрался в путь, чтобы засветло добраться до пасторского дома и вернуться оттуда, не опасаясь Юдифи.

Войдя в густой туман, я был весел и не мог не посмеяться над придуманной мною своеобразной хитростью, тем более что я брел под непроницаемым серым покровом, как тать в ночи. Перевалив через гору, я вскоре достиг деревни, но здесь из-за тумана потерял направление и оказался среди сети узких садовых и луговых тропинок, которые то приводили меня к какому-нибудь отдаленному дому, то совсем выводили из деревни. Не было видно ни зги. Я все время слышал голоса, не различая людей, но, по случайности, никого не встретил. Наконец я дошел до открытой калитки и решил, войдя в нее, пересечь по прямой все дворы, чтобы выбраться вновь на большую дорогу. Я попал в большой, великолепный фруктовый сад, все деревья которого были отягощены роскошными спелыми плодами. Но вполне отчетливо я мог в каждый миг разглядеть лишь одно дерево; следующие обступали его, полузадернутые дымкой, а за ними опять смыкалась белая стена тумана. И вдруг я увидел шедшую мне навстречу Юдифь. Обеими руками она держала перед собой большую корзину с яблоками, слегка потрескивавшую от тяжелого груза. Сбор плодов был, пожалуй, единственной работой которой она предавалась с любовью и жаром. Шагая по сырой траве, она слегка подобрала и подоткнула платье, так что были видны ее красивые

¹¹⁵ Фома Кемпийский (1380—1471) — средневековый богослов и мистик. Упомянутая Келлером книга «О подражании Христу» является наиболее известным сочинением Фомы Кемпийского, проповедующего аскетизм и смирение. Книга была одобрена церковью и получила широкое распространение во всех странах Европы.

босые ноги. Волосы ее отяжелели от влаги, а щеки разрумянились на осеннем ветру. Так она приближалась, глядя на свою корзину, потом увидела меня. Она побледнела и, быстро поставив корзину наземь, подбежала, сияя самой сердечной и искренней радостью, бросилась мне на шею и начала страстно целовать меня в губы. Трудно было не отвечать на это, и не сразу мне удалось оторваться от ее груди.

— Ах, какой же ты умница! — с радостным смехом произнесла она. — Сегодня приехал и сразу же воспользовался туманом, чтобы навестить меня еще до ночи! Не думала я, что ты на это способен!

— Нет, — ответил я, глядя в землю, — я приехал вчера и живу у учителя, потому что Анна больна. При таких обстоятельствах я совсем не могу бывать у вас!

Юдифь молчала, скрестив руки, и смотрела на меня таким пронизательным взглядом, что и я невольно поднял глаза и встретился с ее глазами.

— Значит, ты ведешь себя еще умнее, чем я полагала, — заметила она наконец. — Только это тебе мало поможет! Но раз наша бедняжка больна, я буду справедлива и изменю наше соглашение. Туман будет стоять еще, по крайней мере, неделю — каждый день он будет держаться по нескольку часов. Если ты ежедневно будешь приходить ко мне, я освобожу тебя от твоей ночной обязанности и одновременно обещаю никогда тебя не ласкать и даже останавливать, если ты сам проявишь такие намерения. Но только ты должен каждый раз отвечать мне одним-единственным словечком на один и тот же вопрос и не лгать при этом!

— На какой же вопрос? — спросил я.

— Это ты увидишь! — отозвалась она. — Пойдем, у меня чудесные яблоки!

Она прошла вперед к одной из яблонь, ветви и листья которой, казалось, имели более благородное строение, чем у других деревьев, поднялась по лесенке и сорвала несколько плодов красивой формы и окраски. Одно из яблок, еще дышавшее влажным ароматом, она раскусила своими белыми зубами, дала одну половинку мне и начала есть другую. Я тоже принялся за свою половинку и быстро справился с нею; она отличалась на редкость свежим и пряным вкусом, и я едва дождался, чтобы Юдифь распорядилась так же вторым яблоком. Когда мы угостились тремя яблоками, во рту у меня было так сладко и свежо, что я должен был сдерживать себя, чтобы не расцеловать Юдифь и не прибавить таким образом к сладости яблока еще и сладость ее уст. Она заметила это, рассмеялась и сказала:

— Ну, ответь, я тебе нравлюсь?

При этом она смотрела на меня в упор, и я, хотя и думал теперь настойчиво об Анне, не мог ничего с собой поделать и ответил: «Да!»

— Вот это ты и будешь говорить мне каждый день! — с удовлетворением произнесла Юдифь.

Затем она начала непринужденно болтать и спросила:

— Ты, собственно, имеешь понятие о том, что с бедной крошкой?

И когда я ответил, что не могу разобраться в этом, она продолжала:

— Говорят, что несчастную девочку с некоторого времени посещают странные сны и предчувствия, что она уже раз или два предсказала вещи, которые потом действительно сбылись, что иной раз во сне, а то и наяву, ей вдруг представляется, чем сейчас заняты или как себя чувствуют вдали от нее люди, к которым она расположена, что она теперь очень набожна и, наконец, что она хворает грудью! Я не верю таким рассказам, но она, несомненно, больна, и я искренне желаю ей всякого добра, — я тоже люблю ее, ради тебя. Но всем нам приходится терпеть то, что нам суждено! — задумчиво добавила она.

Хотя я недоверчиво качал головой, все же меня пронизал легкий трепет, и странная пелена отчужденности окутала образ Анны, витавший перед моим мысленным взором. И почти в тот же миг мне почудилось, что она сейчас должна видеть меня наедине с Юдифью. Это меня испугало, и я оглянулся вокруг. Туман рассеивался, сквозь его серебристую вуаль уже проглядывало лазурное небо, отдельные солнечные лучи, мерцая, ложились на влажные ветки и зажигали искрами падавшие с них капли. Уже проскользнула мимо голубая тень

какого-то прохожего, и наконец прозрачный свет прорвался везде, окружил нас и отбросил наши тени на матово сияющую в лучах солнца траву.

Я поторопился уйти и в доме дяди услышал подтверждение того, что мне сообщила Юдифь. Я сидел в уютном, полном жизни доме и, успокоенный дружеской беседой, снова недоверчиво улыбался. Меня радовало, что мои двоюродные братья тоже не придавали значения подобным слухам. И все же у меня осталось какое-то смешанное ощущение, ибо даже склонность к подобным явлениям, притязание на них казались мне самонадеянностью, которую я, правда, никак не мог приписать моей милой Анне, но зато приписывал тому чуждому и нежеланному мне существу, которое как бы проникло в нее и ее опутало. Поэтому вечером, возвратись домой, я подошел к ней с некоторой робостью, которая, впрочем, быстро рассеялась в ее присутствии; и когда теперь она сама при отце тихонько заговорила о каком-то сне, виденном ею несколько дней назад, и я, таким образом, заметил, что она расположена поделиться со мной мнимой своей тайной, я сейчас же поверил милой девушке; она еще более возвысилась в моем мнении, и я нашел ее тем более прелестной, чем более упорно прежде в этом сомневался.

Оставшись один, я опять стал задумываться над этим; мне вспомнились некоторые статьи,¹¹⁶ в которых не предполагалось ничего чудесного и сверхъестественного и только указывалось на еще не исследованные области и свойства человеческой природы; да и сам я по зрелом размышлении должен был признать возможность скрытых связей и законов, если не желал поставить в смешное положение мою величайшую «возможность», милого боженьку, и изгнать его в пустыню одиночества.

Когда я уже лежал в постели, эти мысли приобретали ясность, и я подумал о невинности и честности Анны, — этих ее качеств тоже нельзя было не принять во внимание. И едва это сознание овладело мною, я смиренно вытянулся, изящно скрестил руки на груди и принял, таким образом, весьма искусственное идеальное положение, чтобы явиться с честью, если взор духовидицы Анны невзначай упадет на меня. Однако, засыпая, я незаметно для себя вскоре изменил эту необычную позу и утром, к своей досаде, увидел, что свернулся самым удобным и прозаическим образом.

Я встрепенулся и, подобно тому как утром моют лицо и руки, словно умыл лицо и руки своей души; теперь я держал себя собранно и осторожно, стремясь владеть своими мыслями и быть в любой миг честным и чистым. Таким я предстал перед Анной, и подле нее подобное очищенное и праздничное бытие было мне легко, так как в ее присутствии никакое другое, собственно, и не было возможно. Утренние часы пошли своим чередом, как вчера, туман плотной стеной стоял за окнами и, казалось, звал меня из дома. И если теперь мною овладело беспокойное желание увидеть Юдифь, это не было безграничным непостоянством и слабостью, а скорее проистекало из безобидной благодарности, побуждавшей меня оказать пленительной женщине внимание за ее расположение ко мне. После той ничем не подготовленной и нескрываемой радости, которую она вчера проявила, когда неожиданно увидела меня перед собою, я действительно мог вообразить сердечную склонность с ее стороны ко мне. И я считал, что могу без особых колебаний говорить ей, что она мне нравится, ибо, как ни странно, я не замечал при этом никакого ущерба для моих чувств к Анне и не сознавал, что заверение это было вызвано лишь желанием сжать в своих объятиях Юдифь. Кроме того, я рассматривал свое посещение как хороший случай проявить самообладание и в самой опасной обстановке вести себя так, чтобы не бояться, что предательский сон покажет меня Анне.

Подкрепляя себя такими софизмами, я вышел, предварительно бросив боязливый

¹¹⁶ ...мне вспомнились некоторые статьи... — Здесь Келлер, по-видимому, имеет в виду мистические рассуждения немецкого поэта-романтика Юстинуса Кернера (1786–1862) о проникновении мира духов в реальную земную жизнь, содержащиеся в его сочинении «Явление из потусторонней области природы» («Eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete der Natur», 1836).

взгляд на Анну, но не заметив у нее и тени сомнения. За дверью дома я снова помедлил, но затем безошибочно нашел дорогу к саду Юдифи. Хозяйку же мне пришлось некоторое время искать, так как, завидя меня у входа, она спряталась, начала перебегать в клубах тумана с места на место и сама заблудилась настолько, что, наконец, остановилась и начала тихонько меня окликать, пока я не нашел ее. Мы оба сделали невольное движение, чтобы обняться, но удержались и только подали друг другу руки. Она все еще была занята сбором яблок, но только лучших сортов — тех, что росли на небольших деревьях. Остальные она продавала, предоставляя самим покупателям снимать их с веток. Я помог ей нарвать полную корзину и влезал на те деревья, где ей было не дотянуться. Из шалости я взобрался так высоко в самую крону высокой яблони, что исчез в тумане. Юдифь снизу спросила, нравится ли она мне, и я, как из облаков, бросил свое «да».

— О, это славная песенка, — лъстиво воскликнула Юдифь. — Она мне по душе! Спускайся же, птенец, поющий так мило!

Так мы ежедневно проводили часок-другой, прежде чем я шел к дяде. Мы беседовали о том, о сем, и я много рассказывал об Анне. Юдифи приходилось все это выслушивать, и она проявляла большое терпение, лишь бы я оставался у нее. Ибо если я любил в Анне лучшую и более одухотворенную часть своего «я», Юдифь тоже искала в моей юности что-то лучшее, чем ей до сих пор предлагал мир. И все-таки она хорошо видела, что привлекает лишь мою чувственность. Но если даже она догадывалась, что мое сердце затронуто в большей мере, чем знал я сам, она весьма остерегалась дать мне это заметить и предоставляла мне отвечать на ее ежедневный вопрос со спокойной уверенностью, что подобные чувства мало значат.

Часто я настаивал, чтобы Юдифь рассказала мне о своей жизни и объяснила, почему она так одинока. Она исполнила мое желание, и я жадно слушал ее. За своего мужа, ныне покойного, она вышла молоденькой девушкой, потому что он казался ей красивым и сильным. Выяснилось, однако, что он глуп, мелочен и склонен к сплетням; он был из тех нелепых людей, что всюду суют свой нос. Прежде все эти свойства скрывались за застенчивой молчаливостью жениха. Юдифь, не смущаясь, говорила, что его смерть была для нее большим счастьем. После этого к ней сватались только люди, которые метили на ее состояние и быстро обращались в другую сторону, если чуяли там на несколько сот гульденов больше. Она видела, как цветущие, умные и добродетельные мужчины женились на кособоких и бледных женщинах с острыми носами и большими деньгами, что давало ей повод высмеивать их и бранить последними словами: «Я сама должна искупать свою ошибку, — добавляла она, — раз уж взяла в мужья красивого осла!»

Глава пятая **БЕЗУМИЕ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА**

Через неделю я вернулся в город и возобновил занятия у Ремера. Но пора для рисования на лоне природы прошла, да и копировать больше было нечего, и потому Ремер предложил мне сделать попытку самостоятельной работы, чтобы посмотреть, могу ли я теперь создать нечто цельное на основе приобретенных знаний. Я должен был выбрать среди своих набросков какой-нибудь мотив и, развив его, превратить в небольшую картину.

— У нас здесь нет других пособий, — сказал он, — кроме моих папок, и за зиму вы бы перемалевали все, что в них есть, если бы я только на это согласился; поэтому лучше всего будет сделать так; правда, вы для этого слишком молоды, и вам еще придется, пока вы не наберетесь опыта, неоднократно начинать сначала. Но все-таки давайте-ка попытаемся так заполнить этот белый лист, чтобы в случае нужды вы могли продать свое произведение!

С первой пробой дело пошло недурно, так же — со второй и третьей. Благодаря моему живому интересу к работе, простоте темы, уверенности и навыку Ремера, передний и задний планы сочетались как бы сами собой, освещение распределялось без труда, и повсюду, в каждой части картины светотень ложилась так верно и ясно, что не осталось ни одного пустого или искаженного места. Большое удовольствие доставляло мне, когда приходилось

один или несколько предметов, этюды с которых писались при ярком свете, переводить в тень или обратно; при этом путем размышлений и расчета нужно было создать нечто новое и все же единственно необходимое, в зависимости от окраски этих предметов, от времени суток, от того, покрыто ли небо тучами или оно безоблачно, от окружающих предметов, которые поглощают больше или меньше света и в той или иной мере влияют на цвет. Если мне удавалось найти верный тон, который при таких условиях был бы разлит в самой природе, — а его сразу можно было узнать, ибо он всегда вносит в картину особое очарование, — тогда в мою душу закрадывалось гордое чувство, в котором собственный жизненный опыт и жизнь творящей природы казались мне чем-то единым.

Однако черпать из усилий радость стало труднее, когда были предприняты более сложные и содержательные работы и когда этой деятельностью вновь была пробуждена моя страсть к изобретательству, которая сразу же буйно разрослась. Гордое слово «композиция» хвастливо гудело в моих ушах, и, делая теперь настоящие рабочие наброски, предназначенные для дальнейшего воплощения в картине, я отпускал поводья. Я пытался всюду расположить поэтические местечки и уголки, добываясь оригинальных сочетаний и выискивая в них особый смысл, но все это вступало в противоречие с требованиями простоты и покоя. Ремер не возражал против моей работы над такими эскизами; когда же моя стряпня не нравилась мне самому, хотя я и не знал — отчего, он с торжеством указывал мне, что технически хорошо выписанные детали и правдивые кусочки природы из-за претенциозной и вычурной композиции не производят впечатления и не могут стать единой, целостной правдой. Они висят на моем бьющем в глаза рисунке, как пестрая мишура на скелете. Но даже и в этих хорошо выполненных деталях не будет никакой настоящей жизненной правды и свежести восприятия, ибо перед лицом преобладающего вымысла или, как он выражался, самоуверенного спиритуализма природная свежесть, робея, как бы отступает из кончика кисти в ее стебель.

— Существует, впрочем, — говорил Ремер, — направление, которое особый вес придает вымыслу за счет непосредственного восприятия правды. Однако такие картины больше похожи на стихи, чем на настоящие картины, как бывают и стихотворения, производящие скорее впечатление живописи, нежели одухотворенно звучащего слова. Если бы вы жили сейчас в Риме, где вы могли бы смотреть на работы старого Коха¹¹⁷ или Рейнхарта¹¹⁸, то, судя по вашим склонностям, вы, вероятно, с восхищением присоединились бы к этим старым фантазерам. Но вы не живете там, и это хорошо, ибо для молодого художника это дело опасное. Только глубокое, скорее научное, чем художественное, образование, только строгий, уверенный и тонкий рисунок, основанный в большей степени на изучении человеческой фигуры, чем на изучении деревьев и кустов, одним словом, только большой живописный стиль, опирающийся на богатый опыт, способен заставить художника забыть о соблазне банальной верности природе. При всем том такой мастер обречен на вечное положение чудака, на нищету, и это справедливо — подобная манера неоправданна и неразумна.

Однако я не внял этим речам, так как уже заметил, что как раз в вымысле Ремер не силен. Уже не раз, поправляя мою композицию, он просто не замечал моих любимых деталей в изображении горных хребтов или лесных чащ; мне они казались значительными, а он безжалостно заштриховывал их жирным карандашом и превращал в темный, ничего не

¹¹⁷ *Кох* Иозеф Антон (1768–1839) — немецкий живописец и график. Писал главным образом идеализированные пейзажи, однако лучшие его произведения созданы в реалистической манере. В творческом наследии Коха немало гравюр, литографий, художественных иллюстраций.

¹¹⁸ *Рейнхарт* Иоганн Христиан (1761–1847) — немецкий художник-пейзажист и гравер, один из представителей позднего классицизма в живописи. Известны его пейзажи на исторические и мифологические темы, а также виды Италии.

говорящий фон. Детали эти, может быть, и были нежелательны, но он, по моему мнению, должен был хотя бы заметить их, понять меня и что-нибудь об этом сказать.

Поэтому я осмеливался возражать, сваливая вину на акварель, не дающую возможности свободно и сильно воплотить мой замысел, и высказывал свою мечту о добром холсте и масляных красках, при которых все само собою приобретает пластичность и достойный вид. Но этим я уязвлял своего учителя в самое сердце, ибо он верил и утверждал, что полноценное мастерство можно в достаточной мере проявить и отлично доказать с помощью куска белой бумаги и нескольких таблеток английских красок. Его путь уже был завершён, и он не рассчитывал создать ничего существенно нового в сравнении с тем, что создавал теперь; поэтому его оскорбляло, когда я давал ему понять, что считаю воспринятое от него всего лишь ступенью и уже чувствую себя призванным перешагнуть через нее к чему-то высшему. Он стал особенно обидчив, когда я начал часто и упрямо спорить с ним на эту тему: однако я не отрекался от своих надежд и уже не только не соглашался безоговорочно с его взглядами, когда они приобретали общий характер, но и бесстрашно ему возражал. Главной причиной было то обстоятельство, что его речи и утверждения становились все более странными и дикими; они подрывали мое уважение к силе его разума. Кое-что здесь совпадало с ходившими про него темными слухами, и я некоторое время находился в состоянии мучительного недоумения, видя, как на месте глубоко чтимого и маститого учителя передо мной возникает самая необыкновенная и загадочная фигура.

Уже довольно давно его высказывания о людях и событиях звучали все более жестко и решительно, причем они касались почти исключительно политических вопросов. Едва ли не каждый вечер он отправлялся в одну из городских читален, просматривал там французские и английские газеты и делал по ним заметки. У себя дома он тоже возился с таинственными бумажными вырезками, и я часто застаивал его погруженным в составление каких-то важных писем, Особенно много внимания он посвящал «*Journal des Débats*»¹¹⁹. Наше правительство он называл компанией неумелых провинциалов, Большой совет — презренным сбродом, а внутренние дела нашего государства — чепухой. Это ставило меня в тупик, и я воздерживался от того, чтобы соглашаться с ним, или даже защищал наши порядки, считая, что его недовольство вызвано продолжительным пребыванием в больших зарубежных городах, которое возбудило в нем презрение к своей маленькой родине. Он часто говорил о Луи-Филиппе¹²⁰ и порицал его деятельность, словно был недоволен тем, что тот недостаточно точно выполняет какое-то тайное предписание. Однажды он пришел домой совсем сердитый и стал жаловаться на речь, произнесенную министром Тьером¹²¹.

— С этим несносным коротышкой просто сладу нет! — воскликнул он, сминая в руке какую-то газетную вырезку. — Не ожидал я от него такого глупого самоуправства! А я еще считал его одним из самых способных своих учеников!

— Неужели господин Тьер еще и ландшафты рисует? — спросил я, и Ремер, многозначительно потирая руки, ответил:

— Ну, это — нет! Не будем об этом говорить!

Вскоре он дал мне понять, что все нити европейской политики сходятся в его руках и

¹¹⁹ «*Journal des Débats*» — одна из старейших парижских газет; была основана в 1789 г. решением Национального конвента.

¹²⁰ *Луи-Филипп* (1773–1850) — король Франции (с 1830 г.), не останавливавшийся перед самыми жестокими расправами над участниками рабочего и демократического движения. В дни революции 1848 г. был свергнут с престола и бежал в Англию.

¹²¹ *Тьер* Адольф (1797–1877) — французский государственный деятель и историк. Активно содействовал установлению Июльской монархии. При Луи-Филиппе занимал различные министерские посты, а в 1836 и 1840 гг. являлся главой правительства. Впоследствии стяжал себе позорную славу как палач Парижской коммуны.

что стоит ему на день, на час ослабить напряженную работу своего ума, грозящую изнурить его организм, как сейчас же начнется путаница в государственных делах; смущенный и робкий тон «Journal des Débats» каждый раз указывает на то, что он, Ремер, чувствовал себя плохо или был измучен и редакция не получила его совета. Я пристально посмотрел на своего учителя. У него было непринужденное и серьезное выражение лица, на котором, как всегда, выделялись нос с горбинкой и холеные усы, а по глазам не пробегало и легкой тени неуверенности.

Я еще не пришел в себя от изумления по этому поводу, как узнал от Ремера и то, что он, будучи тайным руководителем правительственной власти всех государств, одновременно оказался жертвой неслыханной тирании и жестокого обращения. Он, который по праву, по всем законным нормам, должен был на глазах у всего света занимать самый могущественный трон Европы, содержался по чьей-то таинственной воле, подобно низринутому демону, в безвестности и нищете, причем он и шевельнуться не мог без разрешения своих притеснителей, они же каждый день высасывали из него столько гения, сколько им нужно было для их мелочного хозяйничанья в мире. Конечно, стоит ему вернуть себе свои права и свободу, как эта мышьяная возня прекратится и взойдет заря свободного, светлого и счастливого века. Однако крошечные частицы его духа, используемые теперь лишь по капле, медленно стекаются в бескрайнее море, ибо они таковы, что ни одна из них не может пропасть или быть уничтожена, и в этом бесконечно могучем море его духовное существо снова обретет свои права и спасет мир, ради чего он охотно даст изнурить свое телесное «я».

— Вы слышите, как кричит этот проклятый петух? — воскликнул он. — Это лишь одно из средств, пускаемых ими в ход, чтобы мучить меня, а таких средств тысячи. Враги знают, что петушиный крик расшатывает мою нервную систему и делает меня негодным ко всякому мышлению. Поэтому они повсюду держат близ меня петухов и заставляют их кукарекать, как только получают от меня необходимые депеши. Этим они останавливают механизм моего разума до следующего дня! Поверите ли вы, что по всему этому дому проведены скрытые трубы, чтобы слышать каждое слово, которое мы произносим, и видеть все, что мы делаем?

Я огляделся вокруг и попытался высказать свои возражения, но он выразительными, таинственными и многозначительными взглядами и словами заставил меня умолкнуть. Пока я разговаривал с ним, я находился в каком-то странном состоянии: так мальчик слушает сказку из уст взрослого человека, дорогого ему и пользующегося его уважением, слушает, не испытывая полного доверия; но когда я остался один, я не мог скрыть от себя, что лучшее, чему я до сих пор научился, я принял из рук безумца. Эта мысль возмущала меня, и я не понимал, как может человек быть безумным. Какая-то безжалостность овладела мною, я собирался одним ясным словом развеять всю эту нелепую тучу. Но, находясь лицом к лицу с безумием, я не мог сразу же не почувствовать его силу и непроницаемость, и я пытался найти слова, которые, поддерживая блуждающие мысли Ремера, могли принести страждущему хоть некоторое облегчение. Ибо в том, что он в самом деле несчастлив и страдает и что он действительно переживает все воображаемые им муки, я сомневаться не мог.

Я долго скрывал безумие Ремера от всех, даже от своей матери, полагая, что будет задета и моя честь, если такой замечательный учитель и художник окажется сумасшедшим, а кроме того, мне претило подтверждать ходившие о нем дурные слухи. Все же одно очень уж смешное происшествие развязало мне язык. После того как Ремер частенько многозначительно распространялся то о Бурбонах, то о потомках Наполеона, то о Габсбургах, случилось, что в наш город на несколько дней прибыла из какой-то монархической страны вдовствующая королева, старуха с множеством слуг и сундуков. Ремер сейчас же пришел в большое возбуждение, стал направлять наши прогулки мимо гостиницы, где расположилась приезжая, входил в дом, словно для важных совещаний с этой дамой, о которой говорил, что она очень коварна и прибыла ради него, а меня заставлял долго ждать внизу. Однако по тому аромату, который он потом приносил с собой, я

догадывался, что он не ходил дальше кучерской, где ел чесночную колбасу, запивая ее стаканом вина. Эти шутовские проделки человека с благородной и солидной внешностью возмущали меня тем более, что были сопряжены с такими нелепыми хитростями. Поэтому я начал и дома и в других местах заводить разговоры о нем и тут с удивлением узнал, что странное поведение Ремера хорошо известно, но не только не возбуждает сострадания и участливого желания помочь ему, а рассматривается как злостный порок, как сознательное притворство, рассчитанное на то, чтобы обманывать людей и за их счет вести фальшивую игру. По-видимому, начало болезни совпало с тем, что где-то в дальних краях он допустил какую-то нескромность, или оскорбил добрые нравы, или не мог оплатить долговое обязательство, однако до подлинной сути никому докопаться не удалось. Пострадавшее лицо, которое тайным образом распространяло и время от времени повторяло сообщения о провинности Ремера, все же не хотело выступать в роли злопамятного преследователя и сумело так изолировать больного, что об этом деле почти не говорили, и сам Ремер не имел понятия о том, что происходит у него за спиной. Но в то время как гораздо менее значительные художники успешно пробивались вперед, в отношении Ремера люди делали вид, будто его совсем нет на свете, и его безупречное трудолюбие, не изменявшее ему, как бы ни был помрачен его ум, не встречало доброжелательства, признания или даже просто слова приветия. Только впоследствии я узнал, что в период нашего общения Ремер голодал и тратил свои скудные средства почти целиком на поддержание опрятной внешности.

И хотя я не принимал доходившие до меня сведения за чистую монету и восставал против обидных для Ремера слухов, все же они подрывали мое доверие к учителю и юношески восторженное преклонение перед ним; таким образом, я как бы тоже оказался в числе его противников, с той лишь разницей, что по-прежнему высоко ценил в нем художника.

Поработав четыре месяца под его руководством, я хотел уйти, считая, что сумма, внесенная за мое обучение, уже покрыта. Но он повторял, что не следует быть столь щепетильным и что нет надобности прерывать из-за этого занятия; напротив, он, по его словам, испытывал приятную потребность продолжать наше общение. Перестав работать у него дома, я поэтому иногда посещал его и выслушивал его советы. Так прошло еще четыре месяца, и за это время, теснимый нуждой, он как-то спросил меня, словно мимоходом, не может ли моя мать выручить его на короткое время небольшой ссудой. Он назвал приблизительно такую же сумму, как уже полученная, и я в тот же день принес деньги. Весной ему наконец с трудом удалось продать одну из своих работ, благодаря чему он теперь стал располагать несколько большими средствами. Поэтому он решил отправиться в Париж, ибо у нас фортуна явно не благоволила к нему, а кроме того, его, как и раньше, толкала обманчивая надежда — переменой места улучшить свою участь. Несмотря на острый инстинкт умалишенных и горемык, он был далек от подозрения, что его истинная судьба была куда плачевнее, нежели воображаемые страдания, и что мир сговорился выместить на его бедных прекрасных рисунках и картинах то, что приписывал его мнимой порочности.

Я застал его в то время, как он укладывал вещи и расплачивался по нескольким счетам. Он объявил мне о своем отъезде, назначенном на следующий день, и тут же дружески простился со мной, добавив несколько таинственных намеков относительно цели своего путешествия. Когда я сообщил матери эту новость, она сейчас же спросила, сказал ли он что-нибудь об одолженных ему деньгах.

Я сделал у Ремера несомненные успехи, расширил свои возможности и свой горизонт; все это нельзя было не учитывать, и трудно было даже представить себе, что без такого учителя было бы со мной. Поэтому нам следовало бы рассматривать эти деньги как истраченные с пользой на мое ученье, тем более что Ремер и в последнее время продолжал давать мне советы. Однако в случившемся мы видели только подтверждение слухов, да и не знали еще, какую он вел жалкую жизнь; мы считали его человеком со средствами, так как бедность свою он тщательно скрывал. Матушка настаивала на возвращении долга и была

разгневана тем, что кто-то бесцеремонно посягает на долю маленького денежного запаса, предназначенного для ее сыночка. А тех знаний, которые я приобрел благодаря Ремеру, она во внимание не принимала, ибо считала обязанностью всего света сообщать мне всякие сведения, которые мне могли пригодиться.

Я же, — потому ли, что за последнее время тоже был настроен против Ремера и считал его своего рода обманщиком, потому ли, что раньше уговорил мать выдать эту сумму, наконец, может быть, просто из неразумия и ослепления, — ничего не нашел возразить и почувствовал даже удовлетворение, что буду отомщен за все несправедливости. Матушка написала ему записку, но я понимал: если он решил оставить эти деньги себе, то не захочет и заметить напоминания женщины, которая в его глазах была так незначительна. К тому же и матушку смущало, что она пишет столь важному, да и незнакомому человеку. Поэтому я отверг письмо, написанное ею, и набросал новое послание, которое, со стыдом должен в этом признаться, было написано в весьма настойчивом тоне. Я вежливо перечислял принципы Ремера, его гордость и чувство чести, и хотя скромное послание стало бы горьким упреком только в том случае, если бы оно было оставлено без внимания, все-таки, если бы Ремер даже захотел над всем этим посмеяться, оно в конечном счете заставило бы его задуматься, ему было бы не до смеха, ибо он увидел бы себя разгаданным. Между тем таких сильных средств вовсе и не было нужно: едва мы отправили это пакостное письмо, как посланный немедленно вернулся с деньгами. Я был несколько пристыжен; но мы теперь говорили о художнике только хорошее: он-де совсем не такой плохой человек и тому подобное, — и все это только потому, что он возвратил нам жалкую кучку серебра.

Думаю, что если бы Ремер вообразил себя гиппопотамом или буфетом, я не проявил бы такой жесткости и неблагодарности к нему. Но оттого, что он выдавал себя за великого пророка, я чувствовал себя задетым в своем собственном тщеславии и вооружил себя поверхностными, ложными доводами.

Через месяц я получил от Ремера из Парижа следующее письмо:

«Дорогой юный друг!

Должен послать вам весточку о себе, ибо склонен полагать, что и в дальнейшем могу рассчитывать на ваше участие и дружбу. Ведь вам я обязан моим окончательным освобождением и обретенной властью. Благодаря вашему посредству, когда вы потребовали у меня обратно деньги (о них я не забыл, но хотел вернуть их при более благоприятных для меня обстоятельствах), я наконец въехал во дворец моих отцов и могу предаться моему истинному назначению! Впрочем, это далось не легко. Ту сумму, о которой идет речь, я намерен был использовать для моего первоначального пребывания здесь. Но после того как вы потребовали ее назад, у меня, за вычетом дорожных расходов, остался всего один франк, с которым я и вышел из конторы почтовых дилижансов. Лил сильный дождь, и потому я истратил упомянутый франк на поездку в ломбард, где заложил свои чемоданы. Вскоре я был вынужден продать мои коллекции старьевщику за понюшку табаку, и лишь тогда наконец, когда я счастливо освободился от маски художника, от всей мишуры искусства и когда я, голодный, рыскал по улицам без крова, без одежды, но ликуя от сознания свободы, меня нашли верные слуги моего августейшего дома и торжественно увели в мое жилище! Все же за мной еще иногда следят, и я пользуюсь представившимся случаем, чтобы послать вам эти строки. Вы стали мне дороги, и я задумал кое-что для вас небезынтересное! Пока же примите мою благодарность за вызванный вами благоприятный оборот в моей судьбе! Да войдут вам в душу все несчастья земли, юный герой! Пусть голод, подозрения и недоверие ласкают вас, и пусть неудача делит с вами стол и постель. В качестве внимательных пажей шлю вам свои вечные проклятия, а покамест честь имею быть расположенным к вам другом.

Пишу наскоро, я слишком занят!»

Лишь впоследствии я узнал, что Ремер попал во Францию в дом для умалишенных, и больше о нем не было слышно. Как это случилось, более или менее ясно из приведенного

выше письма. На мою мать, от которой я это скрыл, не могло пасть никакой вины, — всякая женщина из заботы о своих близких становится бездушной и беспощадной ко всему остальному миру. Но ведь я как раз в это время считал себя хорошим и исполненным высших стремлений! Теперь лишь я понял, какую дьявольскую штуку проделал. Я не лгал, не клеветал, не надувал и не крал, как, бывало, в детстве, но под видимостью внешней правоты был неблагодарен, несправедлив и жестокосерд. Я мог без конца твердить себе, что наше требование было всего лишь простой просьбой о возврате займа, что об этом хлопочет всякий и что ни мать, ни я силой ничего не отбирали; я мог без конца уверять себя, что на ошибках учатся и что подобную несправедливость, которую люди чаще и легче всего совершают, лучше всего можно понять на собственном опыте, чтобы потом избегать; я мог также уговаривать себя, что мое поведение было вызвано характером и судьбою Ремера и что без этого происшествия конец был бы для него точно таким же, — все это не избавляло меня от самых горьких упреков совести и от чувства стыда, которые удручали меня всякий раз, как образ Ремера вставал передо мной. Хотя я и проклинал мир, считающий такие действия разумными и правильными (ибо самые порядочные люди поздравляли нас с получением наших денег), тем не менее вся вина ложилась на меня одного, — я понимал это, когда думал о той записке, которую настроил без всякого труда, словно это было для меня самым пустым делом. Мне скоро должно было исполниться восемнадцать, и я лишь теперь заметил, как спокойно и вольно жил целых шесть лет со времен своих мальчишеских грехов и испытаний! И вдруг такой мерзкий поступок! Когда я при этом еще вспоминал, что некогда в неожиданном появлении Ремера усматривал вышнюю волю, я не знал, следует ли мне смеяться или плакать по поводу той благодарности, которой я за это отплатил. Зловещее письмо Ремера я не отваживался сжечь, но боялся и хранить и то прятал его далеко под всяким хламом, то вновь вытаскивал и клал к самым дорогим для меня бумагам; даже теперь, когда оно попадает на глаза, я перекладываю его с места на место; так это письмо все еще продолжает свои скитания.

Глава шестая **БОЛЬ И БЫТИЕ**

Я переживал этот проступок тем сильнее, что, желая являться в снах и наитиях Анны чистым и хорошим, всю зиму вел пуританский образ жизни и тщательно следил не только за своим поведением, но и за своими мыслями и стремился быть как стеклышко, которое в любой миг, когда ни посмотришь в него, прозрачно и ясно. Сколько сюда примешивалось рисовки и самодовольства, стало мне ясно лишь теперь, при этой тяжелой встряске, и мои самообвинения стали еще горше от сознания моей глупости и тщеславия.

В течение зимы Анне ни разу не разрешили выйти из дому, а весной она совсем слегла. Бедный учитель приехал в город за моей матерью. Входя к нам в комнату, он плакал. Мы сейчас же заперли нашу квартиру и поехали с ним в деревню, где матушку приняли с восторгом и почетом, словно какое-то живое чудо. Впрочем, она воздержалась от посещения дорогих для нее мест, от встреч со своими постаревшими знакомыми и поспешила устроиться возле больной. Лишь мало-помалу она начала пользоваться кратковременными передышками, и прошли месяцы, прежде чем она повидалась со всеми друзьями своей молодости, хотя большинство из них жило вблизи.

Я поселился у дяди и каждый день ходил через гору к озеру. Утром и вечером Анна очень страдала, но особенно тяжело ей было ночью; днем же она дремала или молча лежала в постели, а я сидел подле нее и чаще всего не знал, что сказать. Наши личные отношения, казалось, отступали перед тяжким страданием и печалью, которые лишь отчасти скрывали от взора будущее. Когда случалось, что я совсем один сидел четверть часа возле больной, я держал ее руку, она же то серьезно, то с улыбкой смотрела на меня, а если и обращалась ко мне, то разве лишь для того, чтобы я подал ей стакан или лекарство. Часто она просила принести ей на кровать ее шкатулочки и безделушки, рассыпала и рассматривала их, пока не

уставала, и тогда просила меня уложить все на место. В такие минуты наши души были полны тихого счастья, и потом, уходя, я не мог понять, как, почему оставляю Анну в ожидании мучительных страданий.

Весна цвела теперь во всем великолепии; но бедняжку редко можно было даже устроить возле окна. Поэтому мы наполнили цветами комнату, где стояла ее белая кровать, и перед окном соорудили широкую жардиньерку, чтобы создать из больших цветочных горшков подобие сада. Когда у Анны в солнечный день, ближе к вечеру, выдавался хороший часок, мы открывали окно теплему майскому солнцу, и, глядя на серебристую поверхность озера, поблескивавшую за розами и олеандрами, на Анну, лежавшую в белом одеянии больной, можно было подумать, что здесь какой-то храм смерти, в котором отправляют тихий и скорбный культ.

Но иногда в такие часы Анна приободрялась и делалась разговорчивой; тогда мы усаживались вокруг ее постели и вели неторопливую беседу о людях и событиях, которая текла то веселее, то сдержаннее, и Анна, таким образом, узнавала обо всем, чем жил наш маленький мирок. Однажды, когда матушка ушла проведать родных, речь зашла обо мне; учитель и его дочь с такой благожелательной настойчивостью поддерживали эту тему, что я почувствовал себя крайне польщенным и из благодарности был чрезвычайно откровенен. Я воспользовался этим случаем, чтобы рассказать о своих отношениях с несчастным Ремером, о котором я со времени его письма ни с кем не говорил, и разразился самыми горькими жалобами по поводу того, что случилось, а также по поводу собственного моего поведения. Но учитель плохо понял меня; он пытался меня успокоить и представить это дело не в таком уж дурном свете. Если я и допустил здесь ошибку, полагал он, она должна просто напоминать мне, что все мы грешники и нуждаемся в милосердии Спасителя. Однако слово «грешник» давно стало мне ненавистным и смешным, равно как и «милосердие». Нет, я хотел самым немилосердным образом решить этот спор с собой и осудить себя житейским, мирским судом, а вовсе не на духовный лад.

Анна до сих пор лежала спокойно, но она была взволнована моим рассказом и возбужденным видом, и внезапно у нее начался сильный приступ судорог и болей; впервые я увидел бедное нежное создание в полной власти ее ужасных мук. Крупные слезы страдания и страха катились по ее белым щекам, и она не могла удержать их. Боль, переходившая с одного места на другое, поглотила все ее существо, и она вскоре уже совсем не могла сдерживаться и владеть собой; лишь изредка она на миг останавливала на мне блуждающий взгляд, словно глядя на меня из иного мира — мира терзаний. В эти мгновения ее, видимо, мучила девичья стыдливость, сознание того, что ей приходится терпеть такую безмерную пытку в моем присутствии. И я должен признаться, что мое смущение сильного и здорового человека, стоящего перед этим святилищем муки, было почти равно моему состраданию. Убеденный, что от этого она почувствует себя хоть немного свободнее, я оставил ее на руках отца и поспешил, растерянный и пристыженный, к матушке.

Захватив с собой одну из племянниц, матушка ушла опять к больной, а я провел остаток дня в доме дяди, осыпая себя упреками за свою неуклюжесть. Не только моя несправедливость по отношению к Ремеру, но даже это сегодняшнее признание и его последствия — все вело к тому, что я начинал ненавидеть самого себя; в душе моей поднималось то чувство угрюмой безнадежности, которое охватывает человека, когда он начинает сомневаться, действительно ли он добр и предназначен для счастья, и когда он воображает, что ему свойственна не столько порочность сердца и характера, сколько порочность разума, управляющего его поступками; от этого он бывает еще более несчастлив, чем от врожденной низости. Потребность высказаться не давала мне заснуть; как длительное молчание, так и неудавшаяся откровенность одинаково усиливали мое смятение. После полуночи я встал, оделся и тихонько выбрался из дома, чтобы пойти к Юдифь. Никем не замеченный, я пробрался сквозь сады и изгороди, но нашел ее дом темным и запертым. Постояв некоторое время в нерешительности, я все же наконец влез по шпалерам и робко постучал в окно: я боялся испугнуть эту красивую и умную женщину из таинственного

ночного забытья. Она услышала и, сейчас же узнав меня, встала, наскоро оделась и впустила меня в окно. Затем она зажгла свечи, предполагая, что я пришел с намерением сорвать несколько поцелуев. Она была очень удивлена, когда я начал рассказывать свои истории: сперва о беде, которую я накликал нарушением покоя в комнате больной, а затем — о своем злополучном столкновении с Ремером, которое описал ей во всей последовательности. После того как я изложил содержание моего хитроумного письма с напоминанием о долге, а также его парижского письма (по содержанию которого мы могли догадаться о судьбе Ремера, предположив, впрочем, вместо дома умалишенных тюрьму), Юдифь воскликнула:

— До чего же это мерзко! Неужели тебе не стыдно, мальчишка?

Гневно расхаживая взад и вперед, она убедительно изображала, как Ремер, может быть, оправился бы, если бы его не лишили средств, а значит, и возможности наладить свое пребывание в Париже; как инстинкт самосохранения, вероятно, и даже несомненно, на некоторое время поддержал бы в нем ясность рассудка и как это могло бы привести к тому или иному благоприятному обороту.

— О, если бы я могла поухаживать за этим несчастным человеком! — воскликнула она. — Я, наверно, вылечила бы его. Я вышучивала бы его и льстила ему, пока его ум не прояснился бы вновь.

Потом она остановилась, посмотрела на меня и проговорила:

— Знаешь ли ты, Генрих, что на твоей зеленой совести лежит уже человеческая жизнь?

Эта мысль еще никогда не приходила мне в голову с такой ясностью, и, потрясенный ею, я сказал:

— Ты преувеличиваешь! На худой конец, это был несчастный случай, который я никак не мог предвидеть!

— Да, — тихо ответила она, — если бы ты ему предъявил простое, даже грубое требование! Но своим дьявольски хитрым принуждением ты форменным образом приставил ему кинжал к груди, и это вполне в духе нашего времени, когда убивают друг друга словами и записочками! Ах, бедняга! Он был так трудолюбив, так старался выплыть на поверхность, и вот, когда наконец он заработал горсточку денег, их у него отнимают! Так естественно истратить плату за свой труд на пропитание, но тут тебе говорят: «Сначала верни то, что занял, а потом подымай с голоду!»

Мы посидели еще некоторое время в мрачной задумчивости, затем я сказал:

— Тут уж ничем не поможешь! Что было, того не изменить. История эта послужит мне предостережением. Но я не могу вечно таскать ее с собой, и раз я свой проступок вижу и в нем раскаиваюсь, ты должна наконец простить меня и дать мне уверенность, что я не стал из-за этого омерзительным и гадом!

Только теперь я понял, что за этим и пришел сюда, что я хотел рассказом облегчить душу, которую терзало гнетущее чувство, и услышать от другого человека слова утешения или прощения, хотя я и восставал против христианского снисхождения, проповедуемого отцом Анны.

Но Юдифь возразила:

— Нет, этого не будет! Упреки твоей совести очень здоровая пища для тебя, и ты будешь жевать этот хлеб всю жизнь, но я не стану мазать на него масло прощения! Да я и не могла бы, потому что того, чего нельзя изменить, нельзя и забыть; мне кажется, я достаточно хорошо узнала это на своем опыте! А в общем я, к сожалению, не чувствую, чтобы ты стал мне сколько-нибудь противен. На что были бы мы годны, если бы не любили людей такими, каковы они есть?

Это странное заявление Юдифи глубоко поразило меня и послужило для меня предметом долгого раздумья. Чем больше я думал, тем яснее мне становилось, что Юдифь рассудила верно, и я пришел к выводу, ставшему также решением: никогда не забывать о совершенной мною несправедливости, вечно носить в душе своей немеркнущее воспоминание о ней, — в этом я видел единственное возможное для меня искупление.

Удивительно, как люди воображают, что им не забыть только сделанных ими больших

глупостей; вспоминая о них, они хватаются за голову и прямо обо всем говорят в знак того, что теперь поумнели. Но, совершив несправедливость, они начинают доказывать себе, что могут постепенно забыть о ней; в действительности это не так хотя бы уже потому, что несправедливость и глупость — близкие родственницы и природа их схожа. Да, думал я, глупости мои непростительны, но равным образом я никогда не прощу себе и допущенной мною несправедливости! Того, как я обошелся с Ремером, мне теперь не забыть никогда, и если я бессмертен, я унесу с собой память об этом поступке в бессмертие, ибо он связан с моей личностью, с моей историей, с моим существом, иначе его бы и не было! Моей единственной заботой будет делать столько хорошего, чтобы мое существование оставалось сносным!

Я вскочил и поделился с Юдифью этим рассуждением и выводом, сделанным мною из ее простых слов: дать себе зарок никогда не забывать о дурных поступках — это казалось мне очень важным. Юдифь заставила меня нагнуться, притянув к себе, и шепнула мне на ухо:

— Да, так и будет! Ты теперь взрослый и в этой истории уже потерял свою моральную девственность! Возьми себя в руки, мальчонка, чтобы таких историй больше не было! — И употребленное ею смешное выражение показало мне это дело еще в новом и неприятно ярком свете, отчего во мне вспыхнула большая досада, и я начал обзывать себя набитым дураком, болваном и самонадеянным чучелом, так слепо попавшим впросак.

Юдифь рассмеялась и воскликнула:

— Подумать только: когда считаешь себя особенно умным, тут-то и вылезают ослиные уши!

— Нечего смеяться! — раздраженно отозвался я. — Только что, идя сюда, я обидел и тебя: я боялся, что могу застать у тебя мужчину.

Она тотчас же отвесила мне оплеуху, но, как мне показалось, больше от удовольствия, чем от ярости, и сказала:

— Бесстыдник! Видимо, ты воображаешь, что стоит тебе признаться в своих грязных мыслях, как получишь от меня отпущение! Правда, только ограниченные и скрытные люди никогда и ни в чем не хотят признаваться. Но и прочим не так-то все сразу прощается! В наказание убирайся сейчас же вон и ступай домой! Завтра ночью можешь заглянуть опять!

Теперь, когда это бывало возможно, я по ночам отправлялся к ней. День она обычно проводила в одиночестве, в то время как я предпринимал дальние походы, чтобы рисовать, или же сидел в доме учителя, где должен был держать себя тихо и чинно, как в некоей школе страдания. Таким образом, в эти ночи мы могли болтать вволю и нередко часами сидели у открытого окна, созерцая блеск ночного неба, простершегося над летним миром. Или же мы закрывали окно, задвигали ставни и читали, сидя вместе за столом. Еще осенью Юдифь просила у меня какую-нибудь книжку, и я оставил ей немецкий перевод «Неистового Роланда», который сам еще не успел прочесть. Зимой Юдифь нередко почитывала эту книгу и теперь хвалила ее, как прекраснейшую на свете. Юдифь больше не сомневалась в скорой смерти Анны и откровенно говорила мне об этом, но я не мог согласиться с ней; эта тема и мои сообщения о больной настраивали нас уныло и мрачно, каждого на свой лад; когда же мы читали Ариосто, то забывали свои горести и погружались в новый, сверкающий мир. Юдифь сначала воспринимала эту книгу по-простонародному, лишь как нечто печатное, не задумываясь над ее происхождением и значением. Но теперь, когда мы стали читать ее вместе, Юдифь задавала много вопросов, и я должен был, по мере сил, дать ей понятие об истории возникновения, о значении этой старинной поэмы, о стремлениях и целях поэта и рассказывал, что знал, про Ариосто. Юдифь обрадовалась еще больше, называла автора умным и даже мудрым человеком и теперь читала каждую песнь этой поэмы с удвоенным удовольствием, ибо знала, что в основе этих то забавных, то глубокомысленных историй лежал веселый замысел, а кроме того, в них чувствовалась такая творческая сила, такая пронизательность и такое знание жизни, что все это, будучи ей совершенно внове, сверкало перед ее взором, как звезда в темной ночи. Когда герои поэмы в ослепительной красоте

проносились перед нами, переходя от заблуждения к заблуждению, и, неустанно преследуя и ловя один другого, каждый раз ускользали и вдруг сменялись третьим или когда они, наказанные и печальные, краткое мгновение отдыхали от своей страсти, чтобы затем еще полнее забыться у ясных вод, под сенью роскошных деревьев, Юдифь восклицала:

— Какой это умный писатель! Да, так это и бывает, таковы люди и их жизнь, таковы мы сами, глупцы!

Да я и себя самого начинал считать героем такой шуточной поэмы — я сидел подле женщины, которая, подобно этим сказочным созданиям, казалось, достигла полного развития силы и красоты и была предназначена для того, чтобы непрестанно возбуждать страсть героев. Каждая черта ее облика была внушительной, скульптурно-четкой, а складки ее простого платья всегда так нарядны и горделивы, что сквозь них в минуту волнения чудились золотые пряжки или даже мерцающее оружие. Но когда пышная поэма совлекала со своих героинь их украшения и одежды и обнажала их соблазнительную красоту, тогда я, лишь тонкой нитью отделенный от ярко цветущей действительности, и вовсе чувствовал себя глупым героем вымысла, игрушкой расшалившегося поэта. Платоническая верность нежному существу на одре страданий, окруженном христианскими молитвами равно как и страх, что болезненные сны Анны выдадут меня, сковывали мои алчущие чувства; Юдифь сдерживали отношения между Анной и мною, а также стремление побыть еще некоторое время в светлой платонической атмосфере юности. Иной раз руки одного из нас невольно тянулись к плечам или талии другого, чтобы лечь вокруг них, но повисали на полпути в воздухе и кончали робким поглаживанием щеки; мы были похожи на глупых котят, которые замахиваются друг на друга лапкой, дрожат мелкой дрожью и сами не знают, хотят ли они поиграть или растеребить друг друга.

Глава седьмая **СМЕРТЬ И ПОГРЕБЕНИЕ АННЫ**

К этим столь противоположным впечатлениям дня и ночи присоединились летом еще и сцены сельской семейной жизни, которые, при всей их простоте, ясно свидетельствовали о больших переменах, совершавшихся в жизни на ее неудержимом пути. Хозяйство молодого мельника разрасталось, больше уже нельзя было откладывать его женитьбу, и поэтому была отпразднована растянувшаяся на три дня свадьба, причем скудные остатки городских обычаев, принесенные невестой из своего дома, померкли и спасовали перед деревенским шиком. Трое суток не умолкали скрипки; я приходил несколько раз и заставал Юдифь празднично разодетой среди общей сутолоки. Раз или два я скромно потанцевал с ней, как чужой; она тоже сторонилась меня, хотя в эти шумные ночи мы достаточно часто имели возможность незаметно видеться и быть вместе.

Сейчас же после свадьбы тетка моя, которой не было ещё и пятидесяти, заболела и через три недели скончалась. Она была крепкая женщина, поэтому ее смертельная болезнь протекала бурно, и умирала она тяжело. Она сильно страдала, металась и затихла лишь в последние два дня. И только по тому ужасу, который распространился в доме, можно было понять, чем была она для всех близких. Но, как на поле боя, когда солдат падет смертью храбрых, быстро заполняется брешь, образованная его гибелью, и бой продолжает кипеть, так и здесь честная жизнь и смерть этой достойной женщины лучше всего сказались в том, как быстро, без стонов и причитаний сомкнулись ряды. Дети поделили между собой труд и заботы и отложили внешние проявления скорби до поры отдыха, когда заметнее выступают межевые камни жизни. Только дядя вначале горько сетовал вслух, но и у него вскоре все жалобы как бы нашли выражение в словах «моя покойная жена», которые он теперь повторял при всяком случае. На погребении я среди других женщин увидел Юдифь. Она была в черном городском платье, наглухо застегнутом, смиренно смотрела в землю и все же шла гордой походкой.

Так в короткий срок изменился облик дядиного дома, и после случившегося все стали

как-то старше и серьезнее. Бедная Анна с одра болезни следила за этими переменами, но уже как существо, не только внешне отделенное от событий. Состояние ее давно было неизменно, и все близкие надеялись, что она выживет. Но вот однажды осенним утром, когда этого меньше всего ожидали, к нам явился учитель, одетый в черное, спросил дядю, который сам еще носил траур, и сообщил о ее смерти.

В один миг не только дом, но и близлежащая мельница огласились горестными сетованиями, а прохожие распространили печальное известие по всей деревне. Мысль о предстоявшей смерти Анны зрела уже целый год, и люди, казалось, исподволь готовились к пышной тризне, сберегая слезы и стенания. Ибо гибель этого прелестного, невинного и всеми чтимого создания более заслуживала всеобщей скорби, чем собственные утраты.

Я держался молча в тени. Если при радостных событиях я был шумлив и невольно оказывался на виду, то в дни печали я, напротив, вовсе не теснился вперед и все более смущался, боясь, что меня могут счесть безучастным и черствым, тем более что с тех пор, как я себя помню, слезы навертывались у меня только от сознания собственной вины или несправедливости, от внутреннего соприкосновения с людьми, но не от самого несчастья или смерти.

А теперь я был поражен этой ранней кончиной, тем более что бедная девушка была моей любимой. Я погрузился в глубокие размышления, не испытывая ужаса или сильного горя, хотя мысленно и рассмотрел это событие со всех сторон. Даже воспоминание о Юдифи не вызывало во мне беспокойства. После того как учитель сделал необходимые распоряжения, я должен был наконец выйти из тени, — отец Анны пожелал, чтобы я пошел с ним и некоторое время пожил у него. Мы собрались в путь; остальные родственники, особенно дочери моего дяди, которые еще жили в доме отца, обещали сейчас же последовать за нами.

Дорогою учитель дал волю своему горю, еще раз описав последнюю ночь Анны и ее кончину под утро. Я слушал его внимательно и безмолвно; ночь была полна страхов и мук но смерть подошла тихо, почти незаметно.

Моя мать и старая Катарина уже обрядили тело и положили его в спальне. Мертвая Анна лежала, по желанию учителя, на том красивом ковре с цветами, который она когда-то вышила для отца, — теперь он был разостлан на ее узкой кровати; бедный старик решил, после того как коврик сослужит эту службу, не расставаться с ним до самой смерти. Над кроватью Катарина, которая уже совсем поседела и теперь то громко причитала, то нежно что-то шептала, повесила написанный мною когда-то портрет Анны, а напротив все еще виднелся ландшафт с пещерой язычников, который я несколько лет назад нарисовал на белой стене. Двустворчатые дверцы шкафа были раскрыты, можно было видеть все скромное имущество Анны, и это создавало в тихой обители смерти успокаивающую видимость жизни. Учитель присоединился к обеим женщинам, стоявшим перед шкафом, — он помогал им вынимать и рассматривать изящные, дорогие по воспоминаниям вещицы, которые покойная собирала с самого детства. Это слегка рассеивало его внимание, не отвлекая от предмета его горя. Кое-что он приносил и из своего хранилища, например небольшую пачку писем Анны, которые она писала ему из французской Швейцарии. Он положил их вместе с ответами, которые теперь нашлись в шкафу, на столик Анны, где находились еще другие вещи: ее любимые книги, законченные и только начатые вышивки, кое-какие драгоценности и уже знакомая нам серебряная корона невесты. Некоторые вещи даже были положены рядом с ней на ковер, так что здесь, совершенно бессознательно и в отступление от обычаев этих простых людей, был исполнен ритуал некоторых древних народов. При этом все трое говорили между собою так, как если бы покойная еще могла их слышать, и никто из них не хотел уходить из комнаты.

Тем временем я спокойно стоял возле ее тела и смотрел на него, не отрывая глаз. Однако непосредственное созерцание смерти не разъясняло мне ее тайны, вернее, не усиливало моего волнения. Анна лежала предо мною почти такая же, какой я видел ее в последний раз, и только глаза ее были закрыты, а белое, как цветок, лицо, казалось, вот-вот

слегка порозовеет. Ее волосы мерцали чистым, золотистым блеском, а тонкие белые руки были сложены на белом платье с белой розой. Я хорошо рассмотрел все это и испытывал что-то близкое к гордости, думая о том, что нахожусь в столь печальном положении и вижу перед собой такую поэтически-прекрасную мертвую возлюбленную моей юности.

Матушка и учитель, по-видимому, молча признавали за мной особое право на усопшую, так как, сговариваясь о том чтобы кто-нибудь все время оставался возле тела, предоставили первое дежурство мне, с тем чтобы прочие могли удалиться и пока немного отдохнуть, — все были очень утомлены.

Но я недолго оставался наедине с Анной, — вскоре пришли из деревни мои двоюродные сестры, а за ними еще другие девушки и женщины, для которых такое трогательное событие — смерть всем здесь известной молодой особы — послужило достаточным основанием, чтобы бросить самые неотложные работы и благоговейно исполнить обряд преклонения перед человеческой судьбой. Комната наполнилась женщинами, которые сначала беседовали торжественным шепотом, но потом начали болтать довольно свободно. Они теснились вокруг недвижимой Анны, молодые — чинно опустив сложенные руки, пожилые — скрестив руки на груди. Дверь оставалась открытой для уходивших и приходивших, и я воспользовался случаем, чтобы выйти и побродить на воздухе. Дорожки, ведущие в деревню, были в это время необычайно оживленны.

Лишь после полуночи до меня снова дошла очередь дежурства подле покойной, которое мы, неизвестно почему, учредили. Теперь я оставался в комнате до утра, но эти часы промелькнули для меня как одно мгновение, и я не могу сказать, что, собственно, я думал и чувствовал. Стояла такая тишина, что, казалось, слышно было шуршание вечности. Белая мертвая девушка час за часом недвижно лежала предо мной, но яркие цветы ковра как будто росли в тусклом свете. Вот взошла утренняя звезда и отразилась в озере; в ее честь я потушил лампу, чтобы звезда эта была единственной лампадой для Анны, и теперь я сидел впотьмах в своем углу, наблюдая, как постепенно светлеет комната. В сумраке, сменившемся прозрачной и ясной золотистой зарей, комната, казалось, оживала и наполнялась невидимым движением вокруг тихой фигуры, постепенно выступавшей в свете нового дня. Я поднялся и подошел к ложу, и в то время как черты Анны представляли взору все яснее, я называл ее имя — без звука, одним дыханием; стояла мертвая тишина, а когда я робко коснулся руки покойной, то в ужасе отдернул свою, как от раскаленного железа: рука ее была холоднее куска глины.

Когда это отталкивающее холодное ощущение пронизало все мое тело, внезапно и лицо трупа показалось мне таким бездушным и чуждым, что я чуть не крикнул в испуге: «Что мне за дело до тебя?» И в тот же миг из зала донеслись мягкие, но мощные звуки органа. Они лишь временами горестно трепетали, но затем снова нарастали с гармонической мужественной силой. Это учитель в такой ранний час пытался смягчить свою боль и тоску мелодией старой песни в хвалу бессмертия. Я прислушивался к музыке, она победила мой телесный ужас, ее таинственные звуки раскрыли предо мною мир бессмертных духов, и мне чудилось, что я новым обетом еще вернее приобщусь к этому миру вместе с усопшей. Это опять показалось мне значительным и торжественным событием.

Но в то же время пребывание в комнате мертвой стало меня томить, и я был рад с мыслью о бессмертии выйти наружу, в живой зеленый мир. В этот день пришел из деревни молодой столяр, чтобы сколотить гроб. Учитель уже много лет назад собственноручно срубил стройную сосну и предназначил ее для своего гроба. Распиленная на доски, она лежала за домом и была защищена навесом. Часто она служила скамьей, сидя на которой учитель читал, а дочь его в детстве играла. Теперь выяснилось, что из верхней, более тонкой половины ствола мог выйти гробик для Анны и еще остались бы доски для гроба ее отца. Хорошо просохшие доски были разобраны и одна за другой разрезаны пополам. Но учитель не мог выдержать этого зрелища, да и женщины в доме жаловались на визг пилы. Поэтому мы со столяром перенесли доски и инструменты в легкий челнок и поплыли к отдаленной части берега, где из зарослей вытекала речонка, впадавшая в озеро. Молодые буки

образовали там у воды подобие светлой беседки. Прикрепив несколько досок струбцинами к тонким стволам, столяр устроил удобный верстак, над которым, подобно куполу, возвышались кроны буков. Сначала нужно было пригнать друг к другу доски и склеить дно гроба. Из первых стружек и охапки хвороста я разжег костер и поставил на него клеянку, куда налил воды, горстью зачерпнув ее из ручья, в то время как столяр усердно пилил и строгал. Пока витые стружки смешивались с падавшей листвой, а доски становились все глаже, я ближе познакомился с молодым парнем.

Это был немец-северянин, уроженец далекого балтийского побережья, рослый и стройный, со смелыми, словно точеными чертами лица, голубыми, но огненными глазами; у него были густые белокурые волосы, и, глядя на него, казалось, что они должны быть стянуты на затылке в узел, — настолько он походил на древнего германца. В его движениях, когда он работал, было истинное изящество, а во всем его облике сквозило что-то детское. Мы скоро разговорились; он рассказывал мне о своей родине, о старинных северных городах, о море и о могущественной Ганзе. Он многое знал и о прошлом, о нравах и обычаях тех приморских местностей, откуда был родом. Передо мной прошла долгая и упорная борьба городов с морскими разбойниками, я видел, как жители Гамбурга обезглавили Клауса Штюренбехера со многими его товарищами;¹²² потом я видел, как первого мая самый молодой член муниципалитета, с блестящей свитой из молодежи, гордясь своим сверкающим оружием, выезжал из ворот Штральзунда и направлялся в густой буковый лес, где его короновали зеленой короной из листьев в «майские графы» и где он вечером танцевал с красивой «майской графиней». Описывал он также жилища и наряды северных крестьян, от жителей Восточной Померании до дюжих фризов, у которых еще можно найти следы мужественного свободолюбия. Я видел в мыслях их свадьбы и погребения, и, наконец, молодой человек заговорил о свободе немецкой нации и о том, что немцы скоро учредят у себя отличную республику.

Тем временем я по его указаниям нарезал кучку деревянных гвоздей. А он уже делал последние взмахи двойным рубанком. Тонкие стружки, подобно нежным, блестящим шелковым лентам, отделялись от досок с высоким певучим звуком, который здесь, под деревьями, казался какой-то странной песней. Теплые, мягкие лучи осеннего солнца сверкали на воде и терялись в синей дымке, висевшей над лесом, на опушке которого мы обосновались. Теперь мы соединили гладкие белые доски. Удары молотков с такой силой отдавались в лесу, что ошеломленные птицы, взлетали и в испуге носились над озером. Вскоре готовый гроб стоял перед нами, прямой и ровный, с красиво возвышавшейся крышкой. Столяр несколькими взмахами вынул по краям изящные узкие галтели, и я с удивлением смотрел, как легко получались в мягком дереве эти канавки. Затем он достал два куса пемзы, потер их друг о друга над гробом и разогнал белый порошок по всей поверхности. Я невольно улыбнулся, видя, что он орудует точно так же, как моя мать, когда трет два куса сахара над сдобным печеньем. Отшлифованный пемзой гроб стал белоснежным, и только еле заметный красноватый налет соснового дерева просвечивал насквозь, как в цветке яблони. Так он был гораздо красивее и благороднее, чем если бы его покрасили, позолотили или снабдили бронзовыми украшениями.

В головах столяр, согласно обычаю, проделал отверстие с задвижным щитком, через которое можно было видеть лицо покойной до минуты опускания гроба. Теперь нужно было еще вставить стекло, о котором забыли, и поэтому я поехал за ним домой. Я знал, что на одном из шкафов лежит старая рамка от давно исчезнувшей картины. Я взял стекло, осторожно положил его в челнок и поплыл назад. Столяр бродил по перелеску в поисках

¹²² ...жители Гамбурга обезглавили Клауса Штюренбехера со многими его товарищами... — Клаус Штёртебекер (а не Штюренбехер, как его ошибочно именует Келлер) был главарем морских разбойников, совершавших в конце XIV в. смелые набеги на северные области Германии. Основанная им на острове Гельголанде вольница привлекла крестьян, бежавших от феодального гнета. В 1401 г. Штёртебекер был казнен в Гамбурге.

орехов. Меж тем я примерил стекло, убедился, что оно подходит к отверстию, и, так как оно было запылено и сильно потускнело, тщательно вымыл его в прозрачном ручье, стараясь при этом не разбить его о камни. После этого я его поднял, чтобы сбежала вода, и, держа сверкающее стерло высоко против солнца, внезапно увидел самое прелестное чудо, какое мне когда-либо встречалось в жизни. Я увидел трех ангелочков: один из них пел, держа в руках ноты, а слева и справа от него двое других играли на старомодных скрипках, и все трое радостно и восторженно смотрели вверх. Это видение было так воздушно, так нежно и прозрачно, что я не знал, витает ли оно в солнечных лучах, в стекле или только в моей фантазии. Когда я двигал стекло, ангелочки на мгновение исчезали, но при другом повороте я снова видел их. Позже я узнал, что застекленные рисунки, к которым долго никто не прикасается, в темные ночи мало-помалу переводятся на стекло и оставляют на нем как бы свое зеркальное изображение. Я и тогда заподозрил нечто подобное, разглядев в этом видении следы старой гравировки на меди и узнав ангелочков в манере Ван-Эйка¹²³. Надписи не было видно, и поэтому гравюра могла быть редким пробным оттиском. Теперь драгоценное стекло было для меня лучшим даром, который я мог положить в гроб, я я сам укрепил его в крышке, никому не сказав об этой тайне. Немец подошел снова. Мы набрали самых тонких стружек, к которым примешались красные листья, и ровным слоем положили их в гроб как последнюю постель. Потом мы закрыли гроб, снесли его в лодку и поплыли с этим длинным белым предметом по тихому, мерцавшему озеру, а учитель, увидев, что мы подплываем и высаживаемся на берег, разразился громким рыданием.

На следующий день бедняжку положили в гроб и окружили всеми цветами, какие в это время года цвели в доме и в саду. А на высокой крышке поместили тяжелый венок из миртовых веток и белых роз, принесенный девушками церковного прихода, и, кроме того, еще столько букетов бледных осенних цветов всякого рода, что ими была покрыта вся поверхность гроба и оставалось свободным только стекло, сквозь которое видно было нежное белое лицо умершей.

Вынос тела предполагался из дома моего дяди, и для этого Анну сначала нужно было доставить туда через гору. С этой целью явились из деревни юноши, которые поочередно несли гроб на плечах, а мы, небольшая кучка ее близких, замыкали шествие. На залитой солнцем вершине горы сделали короткий роздых и поставили носилки на землю. Здесь, наверху, было так красиво! Взор блуждал по окружающим долинам до синих гор, земля расстилалась вокруг в сверкающей роскоши красок. Четверо сильных молодых людей, которые последними шли с носилками, отдыхали, присев на выступавшие рукоятки, и, подперев ладонью голову, молча смотрели перед собой. Высоко в голубом небе скользили светящиеся облака. Казалось, они на миг останавливались над покрытым цветами гробом и с любопытством заглядывали в окошко, которое чуть поблескивало среди миртов и роз, отражая небесную высь. Если бы Анна могла теперь открыть глаза, она, несомненно, увидела бы ангелочков и подумала, что они парят высоко в небе. Мы сидели вокруг, и теперь меня охватила глубокая печаль, из глаз моих покатались слезы, когда я подумал о том, что Анна мертва и что она совершает свой последний путь через эту живописную гору.

Мы спустились в деревню, и тут впервые зазвучал погребальный колокол. Дети кучками провожали нас до дома, где гроб был поставлен под деревьями у входа. Родственники покойной оказывали скорбное гостеприимство всем собравшимся; а ведь всего лишь полтора года прошло с тех пор, как веселое праздничное шествие пастухов двигалось под этими же деревьями и восхищенными кликами приветствовало появление

¹²³ *Ван-Эйк* Губерт (ум. в 1426 г.) и Ян (ум. в 1441 г.) — братья, знаменитые нидерландские живописцы. Особенно большая роль в разработке реалистической манеры в живописи принадлежит Яну Ван-Эйку, который сумел воплотить в своих творениях наиболее прогрессивные идеи того времени. Его произведения отличаются тонкой психологической характеристикой изображаемых лиц, правильным пространственным построением и искусной передачей трехмерного пространства. Ему принадлежат значительные заслуги в усовершенствовании техники масляной живописи.

Анны. Вскоре полянка заполнилась людьми, которые теснились, чтобы в последний раз взглянуть в лицо покойной.

Когда похоронное шествие тронулось в путь, оно оказалось очень многочисленным. Учитель, шедший вплотную за гробом, непрерывно всхлипывал, как ребенок. Теперь мне было неприятно, что у меня нет хозяйственной черной одежды, ибо я шел среди одетых в траур двоюродных братьев в своей зеленой куртке, точно какой-то чужак-язычник. После обычной панихиды и завершившего ее хорала все собрались вокруг могилы, где молодежь, понизив голос, исполнила — что было совсем неожиданно — тщательно разученную похоронную песню. Гроб опустили в могилу. Могильщик подал наверх венок и цветы, чтобы сохранить их, и бедный гроб стоял теперь обнаженный в сырой глубине. Пение продолжалось, но все женщины рыдали. Последний солнечный луч озарил бледное лицо, видневшееся за стеклом; мною овладело такое странное чувство, что я не могу описать его иначе, как чуждым и холодным словом «объективность», выдуманным учеными. Может быть, виною было стекло, но я, — правда, в приподнятом и торжественном настроении, однако с полным спокойствием, — смотрел, как погребают закрытую этим стеклом драгоценность, словно за ним в рамке лежала часть моего опыта, часть моей жизни. Я и сегодня не знаю, было ли это проявлением моей силы или слабости, что я скорее наслаждался трагическим и торжественным событием, нежели страдал от него, и почти что радовался приближавшейся серьезной перемене в моей жизни.

Щиток над стеклом задвинули. Могильщик и его помощник выбрались наверх, и вскоре над могилою вырос невысокий бурый холмик.



Деревья на скале.
Масло. 1840–1842 гг.

Глава восьмая
ЮДИФЬ ТОЖЕ УХОДИТ

На другой день, когда учитель дал понять, что теперь он хочет бороться с горем в одиночестве, лицом к лицу со своим богом, мы с матушкой стали готовиться к возвращению в город. Перед этим я навестил Юдифь. Опять подошла пора сбора, и она осматривала фруктовые деревья. В этот день впервые выпал осенний туман и уже заволок сад серебряной тканью. Увидя меня, Юдифь нахмурилась и смутилась, потому что не знала, как ей держать себя перед лицом печального события.

Но я серьезным тоном сказал ей, что пришел проститься, и притом навсегда, потому что отныне я никогда больше не смогу видиться с ней. Она испугалась и с улыбкой воскликнула, что едва ли это столь уж твердо и непреложно. При этом она так побледнела,

но в то же время была так ласкова, что ее очарование чуть не вывернуло мне душу наизнанку, как выворачивают перчатку. Но я овладел собой и настаивал на том, что так продолжаться не может, что Анна с детства нравилась мне, что она до самой смерти искренне любила меня и была уверена в моей верности. А верность и вера, сказал я, должны быть на свете, — нужно же держаться чего-то надежного, и я смотрю на это не только как на свой долг, но и как на особое счастье, если в память покойной и ради нашего общего бессмертия сохраню на всю жизнь такую ясную и милую звезду, которая будет направлять все мои действия.

Услышав такие речи, Юдифь испугалась еще больше и в то же время почувствовала себя задетой. Эти слова опять удивили ее: она утверждала, что никто и никогда не говорил ей ничего подобного. Она принялась быстро ходить под деревьями взад и вперед, потом сказала:

— А я думала, что ты и меня немножко любишь!

— Именно потому, что я чувствую, как меня влечет к тебе, этому надо положить конец!

— Нет, именно поэтому ты теперь должен начать любить меня по-настоящему!

— Хорошее дело! — воскликнул я. — А что же тогда будет с Анной?

— Анна мертва!

— Нет! Она не мертва, я свижусь с ней, и не могу же я готовить целый гарем женщин для вечности!

С горьким смехом Юдифь остановилась передо мной и сказала:

— В самом деле, это было бы смешно! Но что мы знаем о вечности? Может быть, ее и нет.

— Так или иначе, — возразил я, — вечность есть, хотя бы вечность мысли и правды! И даже если девушка умерла, навсегда ушла в пустоту и совершенно растворилась в ней, если ее пережило только ее имя, тем больше оснований соблюдать верность и преданность ушедшей! Я дал себе клятву, и ничто не поколеблет меня в моем намерении!

— Ничто! — воскликнула Юдифь. — Ох, глупый мальчик! В монастырь ты пойдешь, что ли? Похоже на то! Но не будем больше спорить по этому щекотливому вопросу. Я не хотела, чтобы ты пришел ко мне сразу после этого печального события, и я не ждала тебя. Отправляйся в город и веди себя полгода тихо и скромно. Тогда ты увидишь, что будет дальше!

— Я и теперь уже все знаю, — сказал я. — Никогда больше ты не увидишь меня и не будешь говорить со мной. Клянусь богом и всем, что свято, лучшей частью самого себя и...

— Стой! — испуганно крикнула Юдифь и зажала мне рот рукой. — Ты, без сомнения, еще пожалеешь, если сам наложишь на себя такую жестокую петлю! Что за чертовщина сидит у людей в головах! И при этом они еще утверждают и доказывают себе, что действуют по велению сердца! Разве ты не чувствуешь, что сердце может находить свою истинную честь лишь в том, чтобы любить, когда любится, когда оно на это способно? Твое — способно, и оно делает это втайне, и поэтому все, пожалуй, в порядке! Когда я стану тебе противна, когда годы разделят нас и ты совсем, навсегда оставишь меня и забудешь, я приму, я вынесу это. А теперь покинь меня, но не принуждай себя от меня отрекаться: это одно причиняет мне боль. И я была бы вдвойне несчастна, если бы лишь по собственной нашей глупости не могла быть счастлива еще год или два.

— Эти два года, — сказал я, — должны пройти и пройдут без этого. И тогда мы оба будем счастливее, если теперь расстанемся. Сейчас как раз последний срок сделать это, чтобы потом не раскаиваться. И если нужно сказать тебе это прямо, так знай, что и память о тебе, — которая для меня всегда будет памятью о заблуждении, — я постараюсь спасти и сохранить возможно более чистой, а для этого нужно, чтобы мы тотчас же расстались. Ты говоришь, ты жалуешься, что тебе никогда не приходилось изведать любовь с ее более благородной и высокой стороны! Разве представится тебе лучший случай, чем теперь, когда ты, благодаря своей любви, можешь помочь мне неизменно вспоминать о тебе с уважением и любовью и в то же время оставаться верным покойной? Разве этим ты не согласишься к

тому, более глубокому виду любви?

— Ах, все это пустые слова! — воскликнула Юдифь. — Я ничего не говорила. Считай, что я ничего не говорила. Мне не нужно твое уважение, мне нужен ты сам, и я хочу, чтобы ты был моим, пока это возможно.

Она ловила мои руки, схватила их, и в то время, как я пытался отнять их у нее, она, умоляюще глядя мне в глаза, продолжала со страстным жаром:

— О дорогой Генрих! Уезжай в город, но обещай мне не связывать и не принуждать себя такими ужасными клятвами! Пусть...

Я хотел прервать ее, но она, не дав мне ничего сказать, опередила меня:

— Пусть все идет своим путем, говорю я тебе! Не связывай себя даже со мной, ты должен быть свободен как ветер! Если тебе захочется...

Но я не дал ей договорить, вырвался от нее и крикнул:

— Никогда больше я не увижу тебя, это так же верно, как то, что я надеюсь остаться честным! Юдифь, прощай!

Я поспешил прочь, но, словно повинувшись могучей силе, еще раз оглянулся и увидел ее, застывшую на полуслове, пораженную, горестную и оскорбленную. Ее руки еще были протянуты мне вслед, и она безмолвно смотрела на меня, пока пронизанный солнцем туман не скрыл от меня ее образ.

Часом позже мы с матерью уже сидели в тележке, и один из моих двоюродных братьев отвез нас в город. Всю зиму я оставался один, без всякого общения с людьми. На свои папки и рабочие принадлежности я и смотреть не мог, — они напоминали мне о несчастном Ремере, и мне казалось, что у меня нет права углублять и применять то, чему он меня научил. Иногда я делал попытку изобрести свою особую манеру, но при этом сейчас же выяснялось, что всеми моими суждениями, да и всеми средствами, которыми мне приходилось пользоваться, я обязан Ремеру. Зато я много читал, читал с утра до вечера и до глубокой ночи. Я читал только немецкие книги, и притом весьма странным образом. Каждый вечер я принимал решение, что утром отброшу книги в сторону и сяду за работу. Каждое утро я решал сделать это в обед. Подобные сроки я назначал даже с часу на час. Но часы ускользали один за другим, а я продолжал перелистывать страницы, ни о чем не помня. Дни, недели и месяцы проходили так незаметно и так коварно, что казалось, они беззвучно теснятся, отрываются друг от друга и, непрестанно будя во мне чувство тревоги, исчезают со смехом.

Однако непобедимая весна принесла истинное избавление от этого мучительного состояния. Я перешагнул уже восемнадцатый год своей жизни, подлежал воинской повинности и должен был в назначенный день явиться в казарму для изучения маленьких тайн защиты отечества. Здесь меня встретили гул и суетня сотен молодых людей из всех слоев населения. Но вскоре несколько грозных военных заставили их притихнуть, разделили на группы и много часов подряд бросали туда и сюда, как бесформенный сырой материал, пока не внесли в эту среду какой-то порядок. Когда затем начались занятия и роты в первый раз собрались под командой начальников, бывалых солдафонов, меня, который ни о чем заранее не подумал, под общий смех остригли наголо, безжалостно сняв мои длинные волосы. Но я с величайшим удовольствием возложил их на алтарь отечества, и мне было только приятно, когда свежий воздух обвевал мне голову. Затем нам еще пришлось вытягивать руки, и начальство проверяло, вымыты ли они и обрезаны ли как следует ногти. Тут уж не одному бравому ремесленнику пришлось выслушать громогласное поучение. Затем каждому из нас дали книжечку, первую из целой серии, где в виде четко отпечатанных и занумерованных мудреных вопросов и ответов были изложены обязанности и правила поведения новобранца. К каждому правилу было добавлено краткое обоснование. И если иной раз обоснование вклинивалось в правило, а правило — в обоснование, мы все же благоговейно вызубрили каждое слово и считали для себя делом чести отвечать весь текст без запинки. В первый день нашей службы мы учились еще по-новому стоять и шагать и достигли этого лишь ценою больших усилий, испытывая попеременно приливы гордости и отчаяния.

Теперь все сводилось к тому, чтобы подчинить себя железному порядку и быть точным во всем до мелочей. И хотя это лишало меня моей полной свободы и самостоятельности, все же я испытывал настоящую жажду предаться этой строгой муштре, как ни мелки и смешны были иногда ее непосредственные цели, и каждый раз, когда мне угрожало наказание, меня охватывало чувство настоящего стыда перед товарищами, которые, впрочем, переживали приблизительно то же самое.

Когда мы подучились настолько, что могли прилично маршировать по улице, нас каждый день стали водить на учебный плац, который находился за городом и пересекался проезжей дорогой. Однажды, когда я в шеренге, примерно из пятнадцати человек, под командой фельдфебеля, который неумоимо пятился перед нами, крича и отбивая ладонями такт, уже часами мерил по всем направлениям широкий плац, мы вдруг остановились почти у самой дороги, повернувшись фронтом к ней. Наш командир, находившийся за нами, продержал нас немного в неподвижности, чтобы выправить у некоторых из нас положение рук и ног. Пока он шумел и ругался у нас за спиной, используя до предела права, предоставленные ему законом и обычаем, а мы слушали его, стоя лицом к дороге, приблизилась большая, запряженная четырьмя лошадьми фура, в каких странствуют переселенцы, направляющиеся к морским портам. Эта фура была доверху нагружена всяким добром и, по-видимому, служила средством передвижения нескольким семьям, отправлявшимся в Америку. Мужчины могучего телосложения шли рядом с лошадьми, а наверху, под удобно устроенным пологом, сидело четверо или пятеро женщин с ребятишками и даже один глубокий старик. И с ними была Юдифь. Случайно подняв глаза, я увидел ее, высокую и красивую, среди прочих женщин. На ней было дорожное платье. Я не на шутку испугался, и сердце у меня заколотилось, — между тем мне нельзя было даже шелохнуться. Юдифь, которая, казалось мне, проезжая мимо, мрачным взглядом скользила по шеренге солдат, заметила меня среди них и сейчас же протянула руки в мою сторону. Но в тот же миг наш тиран скомандовал: «Кругом марш!» — и, как одержимый, погнал нас беглым шагом на противоположный конец плаца. Я бежал вместе с другими, прижав, как полагалось по уставу, руки к телу, «большой палец наружу», и ничем не выдавал охватившего меня волнения, хотя в эту минуту мне казалось, что сердце вот-вот перевернется у меня в груди. Когда, послушные зигзагам мысли нашего предводителя, мы наконец опять повернулись лицом к дороге, повозка уже исчезала вдали.

К счастью, после этого все тотчас разошлись, и я поспешил удалиться, в поисках уединения, с чувством, что теперь окончилась первая часть моей жизни и начинается другая.

Глава девятая **КУСОЧЕК ПЕРГАМЕНТА**

Сколько времени утекло с тех пор, как я написал рассказанное выше! Я теперь другой человек, мой почерк давно изменился, и все же я чувствую себя так, словно продолжаю рассказ, прерванный лишь вчера. Для человека, всегда остающегося созерцателем, счастливые и несчастные повороты судьбы равно занимательны, и он платит за свое меняющееся место в жизни сколько придется, отдает за него дни и годы, пока эта его сыпучая монета не иссякнет.

Поворотная точка, которая незаметно надвинулась с уходом моей ранней юности и Юдифи, определилась сама собой: необходимо было привести мои художественные занятия к какому-то завершению. Надо было вступить на тот путь в широкий мир, на который ежедневно выходят тысячи юношей, далеко не всегда приходящих: обратно. Это естественный порядок вещей. Но что касается меня, то я еще некоторое время мог посвятить учению без заботы о куске хлеба, с тем чтобы все же в известный срок стать на ноги.

Небольшая сумма, уже много лет назад унаследованная мною от отца, согласно предписаниям закона, находилась в ведении дяди, который был назначен моим опекуном, но вмешивался в мои дела редко. Однако, так как эти деньги должны были дать мне

возможность учиться в художественной школе (а я по-прежнему мечтал об этом), понадобилось заседание опекунского суда, чтобы выдать эти деньги и предоставить мне право их тратить. В наших местах такого случая еще не бывало, и никто не помнил, чтобы скромные поселяне, члены сиротской опеки, вынуждены были заседать и решать, может ли юный питомец, завязав все состояние в узелок, уехать со своей родины, чтобы в буквальном смысле проесть эти средства. С другой стороны, они с некоторого времени имели в своей среде живой пример человека, осуществившего такое дело без их участия и носившего прозвище «пожирателя змей». Выросший в далеких местах под надзором легкомысленных и невежественных родителей, он, подобно мне, хотел стать художником; он отпустил волосы до плеч и болтался в разных академиях, щеголяя в бархатной куртке, панталонах и сапогах со шпорами. Это продолжалось до тех пор, пока не исчезли и деньги и родители. Потом, как говорили, он несколько лет перебивался, бродя с гитарой за спиной, но не научился толком владеть и этим инструментом. А недавно — уже пожилым человеком — он был доставлен в деревню и помещен в местную богадельню, где ютилось несколько старух, идиотов и никчемных прощелыг, которые иной раз так орали и шумели, точно сидели в чистилище. Прошлое этого человека было точно темное предание. Никто достоверно не знал, обладал ли он когда-нибудь талантом, умел ли делать что-нибудь путное, и он сам, по-видимому, не сохранил об этом никакого воспоминания. Ни одно его слово или поступок не показывали, чтобы он когда-нибудь вращался среди образованных людей и посвятил себя искусству, и только сам он при случае похвалялся, что, дескать, было время, когда и он был хорошо одет. Единственное, в чем он был очень ловок, это в искусстве любым способом раздобыть себе глоток вина, а также в ловле змей, которых он поджаривал, как угрей, и пожирал. На зиму он заготовил себе полный горшок меданок, словно это были миноги, и перетаскивал его из угла в угол, чтобы предохранить это сокровище от покушений своих собратий по богадельне, которые в своекорыстии отнюдь не уступали тем искусникам пожить на чужой счет, что принадлежат к более высоким слоям общества.

Одного такого выроodka бывает достаточно, чтобы ожесточить целую местность и настроить все сердца против муз и всего с ними связанного. Не в добрый для меня час оказался этот «пожиратель змей» в деревне, когда я пришел туда ради упомянутого разбирательства. Да и мне самому он представился каким-то злым духом, когда я однажды, сидя у дороги, зарисовывал в свой альбом большой прошлогодний чертополох, иссохший и бесцветный, а этот субъект шел мимо и нес на палке за плечом двух мертвых змей; на миг он остановился, посмотрел, как я работаю, ослабил и пошел дальше, покачав головой, словно в памяти у него мелькнуло что-то забавное. На нем был длинный, застегнутый доверху дырявый сюртук ржаво-бурого цвета, на голых ногах — туфли, расшитые поблекшими розами, а на голове — австрийская солдатская фуражка; я и сейчас еще ясно вижу, как он, крадучись, удаляется от меня.

Этот призрак, несомненно, маячил в головах трех или четырех общинных старост, заседавших за столом в качестве членов сиротского суда и с осторожным любопытством бегло оглядевших меня. Надо сказать, что дядя нашел полезным ввести меня и представить, чтобы, в случае надобности, я мог дополнить его доклад и лучше осветить положение. Но мне казалось, что я вижу на лицах членов суда такое выражение, словно они давно знают о предстоящем им неприятном деле и теперь говорят: «Ну вот, пожалуйста!» Возможно, что они с удивлением наблюдали, как я уже несколько лет в теплое время бродил по полям и лесам, то там, то сям раскрывая свой белый полотняный зонт, и убеждались, что округ их от этого не прославился и заморские туристы не едут смотреть на эту диковинную страну. Вопрос о том, зарабатываю ли я себе этим веселым ремеслом кусок хлеба, они до сих оставляли в стороне, так как от них никто ничего не требовал. Теперь настал час заняться мною.

Сначала, пока дядя излагал и разъяснял суть дела, они вели себя очень сдержанно. Никто не хотел проявить недостаток ума и рассудительности или выказать нескромное презрение к тому, с чем он не был знаком. Тем не менее все они отлично усвоили, что

кругленькая сумма, лежащая теперь в ящике так спокойно, как Элеазар в лоне Авраамовом, через определенное время должна будет исчезнуть. Каждый, сообразно своему общественному положению и характеру, быстро представил себе, на что можно было бы с пользой истратить такие деньги. Один купил бы луг, который потом переходил бы от отца к сыну, из поколения в поколение и кормил бы несколько голов скота. Другой давно приглядел отличный участок земли под виноградник, где, безусловно, можно было бы производить неплохое вино. Третий мысленно выкупал у соседа право дороги, которая прорезала принадлежавшее ему поле. Наконец, четвертый приходил к заключению, что он просто оставил бы себе документ, представлявший собой кусочек старого пергамента, как надежную процентную бумагу, с которой не следовало расставаться. Однако в то время как они мерили на свою мерку то невидимое, за что я готов был отдать и луг, и виноградник, и право дороги, и кусочек пергамента, каждый начинал различать это нечто все явственнее, но лишь как пустой туман, как неосязаемый пар, и старейший, собравшись с духом, изящно выразил свои сомнения сухим покашливанием. К нему присоединились, один за другим, и остальные.

Они находили неразумным менять единственное и малое, что у нас есть и что мы крепко держим в руках, на нечто неизвестное, так как никто не поручится, что я достигну своей цели и в самом деле научусь тому, что меня так влечет. На случай неудачи, быть может, умнее представить себе, что этих денег у меня уже нет, и как-нибудь обойтись без них. Тогда в дни болезни, какой-нибудь беды или разорения они вдруг появятся, на радость нам, и их можно будет осторожно пустить в ход.

Они также слыхали, что видные ученые и художники, в самом раннем возрасте вступив в жизнь, бывали вынуждены содержать себя прилежным трудом, одновременно изучая и доводя до совершенства свое искусство. Приобретенные таким путем привычка к неослабной деятельности и трудолюбие всю жизнь были полезны подобным людям и помогали им создавать великое. Эту песенку я слышал за свою короткую жизнь уже во второй раз и не скажу, чтобы она понравилась мне теперь.

Люди, произносившие эти слова, сидели за круглым столом, и перед каждым стоял стакан жидкого кисловатого вина. Я же, как предмет обсуждения, сидел один за длинным столом, противоположный конец которого терялся в полумраке у двери. Там в сумраке притаился «пожиратель змей», незаметно пробравшийся сюда, я же находился в более светлой части комнаты, и предо мной красовалась небольшая бутылка доброго темно-красного вина. Это было, конечно, большой тактической ошибкой, но меня сбила с толку буфетчица общины: она поставила вино на стол, а я не сообразил от него отказаться. Дядя, сидевший вместе со старостами, пил такое же вино и объяснил это участникам совещания тем, что слегка страдал желудком.

Один из крестьян, обращавшийся со своим ломтиком булки, как с марципаном, и так тщательно подбиравший кусочком мякиша упавшие на стол крошки, будто это был золотой песок, теперь продолжал свою речь. Он, мол, в этом деле ничего не понимает, но только ему кажется, что лучше бы молодой человек не полагался на маленькое наследство, а за те годы, что он жил у матери, научился зарабатывать и потихоньку скопил ту сумму, которая ему теперь нужна. Этим он обеспечил бы себя и на будущее. Ибо тот, кто спозаранку привык думать о завтрашнем дне и не берется за работу, если не знает, какая от нее будет польза, потом уже не отстанет от этой привычки и везде сумеет себе помочь, как солдат в походе. Это тоже хорошее искусство, и чем скорее его изучишь, тем лучше. Поэтому он настойчиво советует, чтобы я бодро отправлялся в путь со скромным запасом дорожных денег и твердым решением уже теперь начать пробиваться в жизни. За все эти годы я, наверно, научился что-нибудь делать, или это не так?

Услышав вопрос, поставленный в такой же мере правильно, как и неправильно, все повернулись и уставились на меня. «Пожиратель змей» из своего сумрака мало-помалу подобрался ко мне и внимательно следил одновременно за ходом заседания и моим вином. Таким образом, мы трое — красное вино, «Пожиратель змей» и я — оказались в поле зрения

заседавших, и когда воцарилась многозначительная тишина, я почувствовал, что становлюсь таким же красным, как вино. Славный напиток свидетельствовал против моей скромности и бережливости, мой сосед — против моих жизненных планов, и притом так красноречиво, что никто не считал нужным добавить хоть слово.

Не удивительно, что после того как проныра был удален, еще некоторое время длилось молчание, пока не взял слово дядя, чтобы сдвинуть с места севшее на мель суденышко. На это дело нельзя смотреть так, как смотрят господа старосты, начал он. Это было бы похоже на то, как если бы крестьянин взял меру зерна и не посеял ее, а пожелал сберечь на случай голода, сам же пока пошел к другим людям в батраки. Время, как известно, тоже деньги, и неразумно было бы заставить молодого человека годами мучительно бороться, чтобы изучить то, что он может узнать в более короткое время, ценой затраты небольшого наследства. Эта мысль возникла не случайно. С самого начала предполагалось в надлежащий срок воспользоваться этими средствами. А впрочем, следует выслушать самого племянника; пусть он скажет, что найдет нужным для уяснения дела.

После этого председатель предоставил мне слово, которым я воспользовался, чтобы произнести робким и в то же время возмущенным тоном несколько хвастливых фраз. Давно, сказал я, прошли те времена, когда искусство было связано с ремеслом и юноша, изучающий искусство, странствовал из города в город, как всякий мастеровой. Теперь нет более такого постепенного подъема со ступеньки на ступеньку, — начинающий должен сразу, дав лишь одно хорошо подготовленное первое произведение, прочно стать на ноги. Но это осуществимо лишь в местах сосредоточения искусства. Там можно найти не только необходимые образцы для всех видов художественных упражнений, но также и поучительное соперничество других стремящихся к той же цели и, наконец, признание достигнутого, рынок для созданных работ и дверь к благополучию в будущем. У этой двери падает и гибнет тот, кто не призван, кто не носит в себе священного пламени гения, как, например, бедный «пожиратель змей», которого только что здесь видели. Но другие смело проходят в эту дверь и быстро добиваются благосостояния и почетного положения, так что и у самых скромных продажная цена одного-единственного произведения, возмещающая понесенные затраты, достигает стоимости луга, виноградника или поля!

Такова уж судьба добрых деревенских жителей, что они в простоте своей всегда поддаются воздействию громких слов самоуверенных краснобаев. Вот и сейчас эти люди поколебались, а может быть, им просто все это надоело. Снова настала небольшая пауза, во время которой сказанное получило лаконическую оценку в виде нового покашливания, после чего председатель неожиданно заявил, что он хотел бы знать, настаивает ли дядя, как опекун, на своем ходатайстве. Ибо в конце концов это входит в его полномочия, и он как раз такой человек, который мог бы сказать решающее слово. Дядя опять подтвердил свое мнение: мне, племяннику его, надо уезжать, это необходимо. Однако обстоятельства сложились так, что я, как он полагает, непригоден к странствию без необходимых средств и не могу начинать с поисков куска хлеба. Если бы средств не было, а я был круглым сиротой, лишенным друзей, тогда — настолько он верит в меня — я не упал бы духом и подчинился своей судьбе. Но без нужды нельзя подвергать неподготовленного юношу такому испытанию.

Когда председатель стал опрашивать других членов собрания, старосты заявили, что они уже высказались по своему разумению, но не видят необходимости особенно противиться ходатайству, тем более что они склонны верить в дарование, трудолюбие и добродетельное поведение подопечного, которому, впрочем, если он надеется обрести благосостояние, следует сразу же отбросить привычку пить дорогое вино везде, где ему случится присесть.

Я проглотил этот намек, и вскоре постановление о выдаче маленького наследства было составлено, внесено в протокол и подписано, в числе других, моим дядей.

Ящик, в котором хранились ценные бумаги лиц, состоявших под опекой, в связи с другими делами был уже принесен в зал, и собрание решило, что лучше сразу же извлечь нужный документ. Тогда, можно надеяться, с этим делом навсегда будет покончено.

Деревянный ящик, снабженный тремя замками, был поставлен на стол и открыт, для чего председатель, казначей и писец достали из кармана по ключу, вставили их в соответствующие отверстия и торжественно повернули. Крышка откинулась, и нашим глазам предстало состояние вдов и сирот, которое, подобно маленькому овечьему стаду, сбилось в уголок от переноски и встряхивания ящика.

— Много судеб прошло через этот ящик! — сказал писец, приступая к чтению надписей на разных пакетах.

Не все эти пакеты имели отношение к женщинам, и несовершеннолетним. Тут же было имущество заключенных, расточителей и душевнобольных. Наконец он наткнулся на нужный пакет и, прочитав: «Лее, Генрих, сын покойного Рудольфа», — подал его председателю. Тот вынул из обложки потемневший старый пергамент, к которому была подвешена наполовину раскрошившаяся печать серого воска. Он надел очки на медном обруче и развернул почтенный документ, держа его далеко перед собой.

— У того сельского писаря, который выправлял это обязательство, тоже зубы уже не болят! — заметил он. — Здесь стоит дата: «тысяча пятьсот тридцать девятый год, день святого Мартина». Добрая старая грамота!

При этом он устремил на меня строгий взгляд, но так как очки были пригодны только для чтения, я должен был показаться ему весьма туманной фигурой.

— Уже триста лет, — продолжал он, — это почтенное письмо переходит от поколения к поколению и все это время приносит пять процентов дохода!

— Если бы мы только имели их! — со смехом вставил дядя, чтобы отвлечь от меня внимание, которое снова сосредоточилось на мне. — Мои племянник владеет этим письмецом всего лишь около десяти лет, а неполных сорок лет назад оно еще принадлежало монастырю, настоятель которого продал его приблизительно во время революции. Вообще нельзя так вести счет. Это так же неверно, как если говорят, что таким-то трем старикам вместе двести семьдесят лет или двум супругам вместе — сто шестьдесят. Нет, каждому из стариков — по девяносто лет, а мужу и жене — по восемьдесят, так как ими прожиты одни и те же годы. Поэтому и наш молодой художник, продав письмецо, истратит не проценты трех столетий, а лишь основную сумму!

Это присутствующие хорошо знали. Но поскольку у каждого из них над усадьбой тяготели такие же древние бессрочные долговые обязательства и каждый смотрел на себя как на плательщика вечных процентов, они считали берущую руку меняющихся кредиторов также чем-то бессмертным и придавали данному финансовому орудию таинственное и преувеличенное значение. Таким образом, сознание важности всего дела в конце концов передалось и мне и подействовало на меня угнетающе. Я чувствовал себя так, словно сижу на скамье подсудимых и слышу обращенную ко мне укоризненную речь; чувствовал себя одновременно пострадавшим и виновным, хотя, по моему мнению, ничего дурного не совершил и не собирался совершить. Тем сильнее горел я желанием освободиться от этой стеснявшей меня зависимости. «Черта им знать, что такое свобода!» — поет студент о филистерах, не замечая, что он сам лишь вступил на путь к познанию свободы.

Глава десятая **ЧЕРЕП**

Старый пергамент был с некоторой выгодой продан собирателю подобных документов, и мой отъезд теперь в самом деле был уже близок. В последний день апреля, выпавший на субботу, я уложил нужные мне вещи, — стены нашей комнаты еще не видели такого зрелища, и оно глубоко взволновало матушку. Большая папка с сомнительными плодами моей прежней деятельности, завернутая в клеенку, была прислонена к стене и имела, к некоторому утешению, значительный вес. А посреди комнаты стоял раскрытый сундучок, небольшой ковчег из елового дерева. В нижнем ряду я уже разложил те книги, которые намеревался взять с собой. Из книг я также выложил нечто вроде тайничка для черепа,

получившего надежное место на самом дне. Этот череп некоторое время служил для украшения моей рабочей комнаты, а также для изучения основ анатомии, которое, правда, оборвалось на нижней челюсти, так что пока я умел назвать только некоторые кости черепной коробки. Я нашел его когда-то под кладбищенской стеной, куда, может быть, он был положен могильщиком, потому что хорошо сохранился. То был череп молодого человека, как видно было по тому, что все зубы уцелели. Поблизости лежала снятая с могилы старая каменная плита, изготовленная лет восемьдесят назад; на ней была выбита надпись с именем умершего в то время Альбертуса Цвихана¹²⁴. Хотя отнюдь не было доказано, что череп принадлежал именно Цвихану, я все же принял это за факт, так как, согласно рукописной хронике одного из соседских домов, с этим именем была связана удивительная история.

Речь шла, насколько в этом можно было разобраться, о побочном сыне некоего Цвихана, который долгие годы жил в Азии и там скончался. У голландки, родившей этого ребенка, был от какого-то пропавшего без вести любовника еще один внебрачный сын, по имени Иеронимус, которого она любила больше другого. Из любви к ней и уступая ее уговорам, Цвихан законным образом усыновил этого второго мальчика, но упустил возможность узаконить свой брак с этой женщиной и тем обеспечить общественное положение своего собственного сына. Усыновленный мальчик, когда подрос, покинул дом и бесследно пропал, как и его отец, а когда в конце концов старый Цвихан и следом за ним его подруга перешли в мир иной, обойденный сын Альбертус очутился один при доме и имуществе без хозяина. Он не стал колебаться и так ловко повел свои дела, что занял место того приемного сына, который один только имел права на наследство. Затем собрал все, что можно было, из состояния, приобретенного покойным отцом, и поспешно отплыл из азиатской колонии, чтобы вернуться на его родину.

После того как ему однажды приснилось, что его единоутробный брат погиб в море, — а в сны он твердо верил, — он действовал с чистой совестью, но все-таки был настолько хитер, что в родном городе отца, где его никогда не видали, умолчал о собственном существовании и, на основании привезенных с собою бумаг, выдал себя за своего брата. Он приобрел просторный дом с тихим, тенистым садом, где и прогуливался самым степенным образом. Соседи с любопытством наблюдали за ним, но он этого не замечал, и лишь когда он уже как следует обосновался, они стали выказывать заметное оживление, подобно тому, как на острове, куда буря выбрасывает путешественников, лишь понемногу начинают показываться туземцы. Через торговых людей пошел слух, что вновь прибывший располагает значительными доходами и вкладывает в дела капиталы, указывающие на солидное положение. На улице его начали дружелюбно приветствовать; стоило ему показаться у окна, чтобы взглянуть, какая на дворе погода, как в окнах домов по другую сторону переулочка, то здесь, то там появлялись соседи. На узком закрытом балконе целыми днями сидела за прялкой, спиной к окну, молодая женщина. Она никогда не оглядывалась, и Альберту су никак не удавалось увидеть ее в лицо. Дитя страсти, он обладал влюбчивой натурой и увлекся грациозной спиной пряжи и милым наклоном ее головки; и вот однажды, когда он размышлял об этом, прогуливаясь в саду позади своего дома, он вдруг услышал женский голос, звавший Корнелию, и откликнувшийся другой голос в соседнем саду. В ближайшие дни это повторилось несколько раз, и тогда Альбертус Цвихан забыл спину пряжи и влюбился в красивое имя невидимой Корнелии. А ее по-прежнему скрывала от взоров стена жасминовых кустов. Каково же было его удивление, когда они вдруг раздвинулись и во владения Цвихана вступила женская фигура, пройдя через калитку,

¹²⁴ ...с именем умершего в то время Альбертуса Цвихана. — Излагаемая далее история Цвихана и его черепа толкуется Келлером в письме к Теодору Шторму от 11 апреля 1881 г. как прозрачная аллегория потери своего «я», личности, призвания. Из нескольких строк, содержащихся в первой редакции романа, этот сюжет вырос во вставную новеллу.

которой он до сих пор не замечал. Дело было в том, что дом, к которому прилегал смежный сад, выходил не на ту же улицу, а на противоположную сторону квартала, и между обоими домами издавна установилось взаимное право прохода через сады, дворы и сени для определенных целей и в определенные часы дня.

Соседку, оказавшуюся девицей высокого роста, нельзя было назвать красивой, но в смеющихся глазах ее было что-то привлекательное; она остановилась перед пораженным Цвиханом и, заметив его недоуменный взгляд, осведомила его о старинном этом соглашении. У него тоже должен быть ключ к калиточке, сказала она. Альбертус сейчас же притащил ящик со всякими старыми ключами и среди них, с ее помощью, нашел тот, что подходил к замку. Пока она орудовала своими проворными, белыми пальцами, он не без удовольствия рассматривал статную фигуру, — в плотно облегающем платье она казалась полной, и в то же время гибкой. Но теперь она приветствовала его по имени и назвала свое, которое и оказалось благозвучным именем Корнелии, а затем высказала свою просьбу. Ссылаясь на существовавшее соглашение, она вежливо попросила у него позволения проложить от обильного колодца в его дворе временный водопровод к своей прачечной, для того чтобы получить главное, что было необходимо для предстоявшей большой полугодовой стирки. Когда Альбертус, в ответ на это, так же вежливо предложил ей устраиваться, как она найдет удобным, сейчас же, по знаку Корнелии, появились прачки с деревянными и жестяными желобами и трубами в руках, соединили эти части и, соорудив подвесной акведук, снова исчезли в кустах, из-за которых появились. Корнелия, поклонившись молодому человеку, также ускользнула вслед за ними, и вот Альбертус Цвихан стоял опять в одиночестве над лужицей своей прекрасной колодезной воды и жалел, что не может вместе с ней отправиться в соседний сад.

На следующий день прачки явились опять, разобрали водопровод и расступились перед высокой, тяжеловесной женщиной, протиснувшейся сквозь калитку. Ее особа была живым и утешительным свидетельством того, чем понемногу могут сделаться статные девушки при хорошем питании. Ибо она отрекомендовалась матерью упомянутой Корнелии, которая не решается снова беспокоить просьбой уважаемого соседа. Вся суть в том, что едва ли солнце будет светить весь день, и поэтому желательно сразу же высушить белье, что опять-таки возможно только при разрешении повесить часть его у Цвихана в саду и во дворе. Так делали уже в прошлые годы, хотя это и не было предметом соглашения, подобно праву отводить воду, и потому дама сочла необходимым прийти самой и просить о такой любезности.

Альбертус Цвихан с большим удовольствием немедленно откликнулся на это обращение, после чего соседка удалилась с выражением благодарности, а вместо нее из кустов жасмина показалась, во главе нескольких бельевых корзин, ее дочь, которая собственноручно несла намотанную на палку веревку. Однако для того, чтобы привязать ее к столбам, крюкам и стволам деревьев, роста девушки не везде хватало, как она ни тянулась на цыпочки, и так вышло само собой, что Цвихан стал помогать ей, зигзагообразно протягивая веревку и укрепляя ее; Корнелия же несла следом моток веревки, спуская ее с палки. При этом она двигалась с прелестной грацией, а молодой человек от этого так засуетился и разгорячился, что нечаянно растоптал несколько левкоев и гвоздик. Когда же дошло до развешивания белья, он поступил недостойным мужчины образом: остался в саду и опять помогал при перетаскивании корзин и других работах. Девушка любезно заметила, что принесла сюда свои личные и лучшие вещи, а старый хлам оставила на той стороне, чтобы не показаться слишком бесцеремонной в чужих владениях. Вскоре сад и двор наполнились ее сорочками, чулками, косынками и ночными чепцами, а когда поднялся свежий ветерок, белоснежные, как лепестки цветов, предметы дамского туалета шаловливо затрепыхались, запорхали, и Цвихану вместе со всеми остальными пришлось принять участие в обуздании озорных парусов.

После работы Альбертус Цвихан в большом волнении удалился в свою комнату, откуда он, глядя в окна, неотступно следил за своим садом, который теперь жил такой содержательной жизнью. Там уже никого не было и все затихло; только оживленные

демонами воздушной стихии женские одежды покачивались, шелестя, взад и вперед, пока их вдруг не взвихрил порыв ветра, и тогда длинные белые чулки начали лягаться, как призрачные ноги, а какой-то чепчик, сорвавшись, перелетел через крышу, подобно маленькому воздушному шару. Тогда Альбертус Цвихан, озабоченный, опять побежал вниз спасать то, что ему теперь уже казалось дороже собственной жизни. Он храбро сражался с ветром. Но чулки били его по щекам, сорочки летали над головой, закрывая ему глаза, и он не мог справиться со взбунтовавшимся полотном, пока с хохотом не подоспели женщины и не собрали белье.

Несколько дней спустя Цвихан по всей форме получил от соседок приглашение на чашку кофе, — они хотели выказать ему благодарность за оказанную любезность. Впервые вступил он в сад на той стороне; стол был накрыт в небольшой беседке, спрятанной за стеной жасмина. Обе дамы, старая и молодая, самым приветливым образом хлопотали вокруг гостя, а затем они заставили его еще подняться в комнаты и разделить с ними легкий ужин. Само собой разумеется, что он не остался в долгу и, в свою очередь, пригласил соседок к себе, чтобы предложить им угощение, какое могла приготовить его старая кухарка; короче говоря, между домами завязалось оживленное сообщение, ввиду чего как барышня, так и Альбертус Цвихан постоянно носили ключ от калитки при себе. Вскоре мать начала оставлять дочь с новым знакомым наедине, и они погружались в бесконечные дружеские разговоры. Корнелия расспрашивала Альбертуса обо всем, что ему довелось пережить, обо всех его делах. И он, польщенный и счастливый таким интересом и участием, желая ответить на дружбу девушки и открыть перед ней свою душу, доверил ей всю свою историю и без утайки поведал о своем происхождении, о своем имущественном положении и даже поделился с ней своей сокровенной тайной, с одним лишь отступлением от истины: он сказал ей, будто его сводный брат в самом деле утонул, умолчав о том, что это произошло лишь в его сновидении.

Новая дружба, конечно, получила огласку, и на нее стали смотреть как на состоявшееся или, по крайней мере, предстоящее обручение. Это доказывали влюбленному несколько полученных им одно за другим анонимных писем; в них его предостерегали от союза, который он собирался заключить.

Обе женщины, говорилось в этих посланиях, лишь по видимости пользуются обеспеченным положением; в действительности же у них ничего или почти ничего нет, если не считать умения занимать деньги. В этом искусстве они упражняются прилежно и владеют им в высокой мере. Правда, они всегда устраивают так, чтобы об этом не говорили, выискивая себе жертвы среди людей благородного образа мыслей и молчаливых. В случае необходимости, они кое-что выплачивают за счет третьих лиц. Тем не менее все это — секрет полишинеля, и трудно без тревоги смотреть на то, как такой уважаемый гражданин, перед которым могли бы открыться двери лучших домов, слепо идет навстречу гибели. Ибо там, где гнездится один порок, близки второй и третий, а безденежье — источник всех зол и грехов. Этим авторы пожелали ограничиться.

Когда Альбертус читал эти письма, они не смущали и не сердили его; напротив, его сердце наполнялось радостью, так как он видел в них излияния зависти и знак того, что ему достаточно протянуть руку, чтобы получить желаемое, раз уж общественное мнение считает его свадьбу такой вероятной и даже близкой. Движимый нежным состраданием, он даже хотел бы, чтобы нужда обеих женщин подтвердилась: тогда бы он, как избавитель, наверняка мог рассчитывать на то, чтобы обрести надежное счастье в объятиях благодарной возлюбленной. Он даже сразу начал строить планы, как увеличить свои средства на тот случай, если женщинам потребуется довольно много денег. Он и без того имел намерение использовать свое знание коммерции в странах Востока и, не спеша, со всяческой осторожностью, основать фирму, чтобы начать соответствующую его еще молодым годам деятельность. Поглощенный такими мыслями, он возбужденно шагал из угла в угол, обдумывая в равной мере свои торговые замыслы и блестящую картину своего будущего, причем в душе его все ярче разгоралось представление о себе как о влиятельном покровителе

и благодетеле, дарующем счастье и созидающем жизнь. Желая на миг отдохнуть на волнах этих мечтаний, он остановился у окна и случайно увидел, как пряха, о которой он совсем забыл, вышла на балкон и, не успев сесть за свое колесо, так же случайно заметила его. Вот уже она, как обычно, повернулась к нему столь хорошо ему знакомой спиной, но оглянулась и, устремив на него долгий взор, спокойно обратила к нему свое таинственное лицо — прежде он его видел не больше, чем можно видеть молнию, которая вспыхивает и мгновенно гаснет. Это лицо, почти сердцевидной формы, оканчивалось изящным маленьким подбородком и казалось скорее миниатюрой, написанной на белой слоновой кости, чем лицом из плоти и крови; только рот алел, как закрытый бутон розы и, казалось, был меньше глаз ее, больших и темных; и вокруг этой головки реяло непостижимо легкое облако батиста. Наконец молодая женщина отвернулась и пустила в ход прялку. Но, словно почувствовав, что глаза соседа не отрываются от нее, она поднялась и отошла в сумрачную глубину комнаты. Там она открыла дверь и направилась по освещенному вечерним солнцем коридору, пока не исчезла, как дух, в царившей дальше полутьме.

Так рассыпались прахом все прежние планы и воздушные замки Альбертуса, и в этот миг он так безнадежно забыл о них, как если бы протекли не минуты, а целые века. Он стоял, неподвижно глядя через улицу; вдали тихо гасло вечернее сияние, сумерки наполняли комнату с балконом, и постепенно там стало так же темно, как и в той комнате, где находился он сам. Только взгляд загадочных глаз еще сверкал в его сознании, и это продолжалось ночью во сне, пока утренняя звезда не заблестала в небе и не коснулась лучами его век — он увидел ее свет сразу, как только очнулся. Ему только что снилось, будто он укомно сидит в беседке Корнелии между нею и незнакомой пряхой, и обе они — его венчанные жены, обе ласкают его, а он обнимает их обеих. Такое положение вещей казалось ему вполне приемлемым и похвальным; он был недвижим и тих, как воздух в саду и как жасминовые кусты, но вдруг незнакомка поднялась невыразимо милым взглядом дала ему знак следовать за нею. Однако Корнелия обхватила его так крепко, что он не мог шелохнуться и вынужден был смотреть, как другая удалялась по бесконечно длинной аллее, неся в руке яркий свет, который озарял одно дерево за другим, а затем погружал их во мрак. Наконец она исчезла в голубой ночи, и остался только повисший в небе светоч — то была утренняя звезда, или Люцифер, и эту звезду он, проснувшись, увидел в небе. Терзаемый неодолимым влечением и тоской, он едва мог дожидаться удобного момента, чтобы наконец подробнее осведомиться о незнакомке и найти доступ к ней. Как это ни странно, он первым делом взял ключ от калитки, проскользнул в нее и нанес дамам утренний визит.

Он застал их за укладкой чемоданов, — они на неделю-другую собирались уехать на небольшой соседний курорт и поджидали наемную коляску, каждый год отвозившую их туда. Едва Цвихан начал задавать свои вопросы о соседке-пряхе, как Корнелия на мгновение приостановила свою работу и, стоя коленями на чемодане, с недоумением уставилась в лицо вопрошавшему.

— Это, наверно, Афра Цигония Майлюфт! — произнесла она, удивленная или, вернее, застигнутая врасплох. Ибо она и раньше находила непонятным, что он, по-видимому, еще не слышал об этой странной красавице. Но, заметив, как у него заблестели глаза, когда он повторил за ней услышанное имя, она прервала его внезапным приглашением сопровождать ее и мать на воды. Если эта особа его интересует, добавила она, покраснев, они в дороге расскажут ему о ней подробнее, а кроме того, насколько им известно, она на днях тоже приедет на курорт, чтобы встретиться там с друзьями. Тогда у него будет полная возможность видеть красивую соседку и познакомиться с ней. Альбертус тотчас же помчался к себе домой, чтобы собрать кое-какой багаж. Часом позже он уже сидел с обеими женщинами в дорожной коляске и теперь узнал, что девица Афра Цигония Майлюфт, собственно, родилась не в их городе; она лишь с недавнего времени живет в том доме на положении родственницы-сироты, а вообще предана вере, считается святой и даже, как

говорят, уже почти вступила в евангелическое братство так называемых гернгутеров¹²⁵.

Корнелия и ее мать пристально наблюдали за господином Цвиханом, в надежде, что их сообщение отпугнет его. Но он еще мечтательнее смотрел перед собой, весь уйдя в сладостные мысли. Ему казалось, что все это лишь открывает для него заманчивую перспективу приобщиться к какому-то неведомому блаженству. Поэтому его приятельницы, желая его рассеять, по приезде на воды сейчас же вовлекли его в круг веселых курортных гостей, обособленно от которых держалась небольшая группа просто одетых мужчин и женщин, занятых укреплением своего здоровья. Альбертуса всегда водили не по тем дорожкам, по которым прогуливались, спокойно беседуя, эти тихие люди, и так вышло, что когда однажды вечером действительно прибыла та, кого называли Афрой Цигонией, он обнаружил ее лишь на другое утро. В обществе двух других религиозных особ она садилась в дорожную карету, и он успел только заметить ту сдержанную, но искреннюю приветливость, с какой оставшиеся окружили и проводили одетую по-дорожному молодую девушку. Вот карета уже тронулась и вскоре исчезла из виду, а провожавшие прошли мимо Альбертуса с благочестивым и удовлетворенным видом людей, хорошо исполнивших желанное и важное для них дело.

— Теперь это милое дитя в надежных руках! — услышал он их слова. — Теперь она пойдет навстречу своему спасению и вскоре пребудет в вертограде господнем!

Когда Альбертус это услышал, его мысленному взору представилась картина, показавшаяся ему бесконечно страшной, и с тяжелым сердцем поспешил он к своим доброжелательницам, чтобы осведомиться о значении виденной им сцены. С улыбкой они сообщили ему, что эта новость как раз везде обсуждается: говорят, что Афра уехала в Саксонию, чтобы быть принятой в гернгутское братство и остаться там на всю жизнь. «Это мой сон! — сказал он себе. — Она шествует со светочем во мраке навстречу утренней звезде, но я не дам этой Корнелии удержать меня и на сей раз последую за Афрой Цигонией!» Внешне ничем не проявляя своего волнения, он оставался еще дня два на водах. Но затем, не простившись, рано утром уехал домой, передал свои имущественные дела нотариусу, дом — кухарке, запасся деньгами и исчез из города в погоне за своим видением. Он был плохо знаком с географией западного мира и, кроме того, никому не желал открывать цель своего путешествия, а потому некоторое время блуждал, пока не очутился в окрестностях Гернгута. Здесь он кружил, все более приближаясь к этой колонии блаженных, наконец проник туда и стал добиваться принятия в их среду. Но так как ни по внешности, ни по языку, ни по выражению глаз, ни по своим манерам он не выказывал никакого духовного родства или даже просто знакомства с тем, к чему он якобы стремился, и вообще представлялся в делах религии темным варваром, с ним обошлись холодно и подозрительно и после нескольких вопросов отпустили, отказав в его просьбе. Он стоял огорченный и растерянный, и даже слезы навернулись у него на глаза, когда он подумал о своем напрасном путешествии, как вдруг мимо него прошли женщины, составлявшие хор девственниц, и последней была Афра Цигония. Увидев Альбертуса, она, казалось, узнала его или вспомнила, потому что приостановилась, внимательно присматриваясь к нему. Он немедленно воспользовался этим, чтобы с почтительным поклоном приблизиться к ней и пробормотать признание, что он из пылкой любви последовал за ней, но его просьба о принятии в число братьев была отклонена. Ее взор со смущением, но, как казалось ему, также с состраданием и любовью, покоился на нем и сиял каким-то мягким внутренним светом. Потом она тихим, но благозвучным голосом сказала, что ему нужнее любовь к господу и Спасителю, нежели земная любовь, но что его не оттолкнут, и пусть он день или два подождет в гостинице.

¹²⁵ ...она... почти вступила в евангелическое братство так называемых гернгутеров . — Упомянутая евангелическая община была основана в XVIII в. в саксонском городке Гернгут (откуда она и ведет свое название) выходцами из Чехии и Моравии. Впоследствии общины гернгутеров появились и в других частях света.

Кротко и серьезно поклонившись ему, она ушла вслед за своими сестрами.

Уже на другое утро Альбертуса посетил один из старших братьев, который еще раз выслушал и расспросил его. Придала ли Альбертусу вновь охватившая его мечтательно-сладостная надежда более благочестивый вид или девица Майлюфт пользовалась здесь весьма большим влиянием, но только он был допущен к испытанию РІ зачислен в самый низший класс новичков, причем предполагалось, что по прошествии некоторого времени он должен будет тянуть жребий, который и решит вопрос о его окончательном приеме. Как известно, этот способ применялся и в более важных делах, чтобы оставить место для непосредственного проявления божьей воли.

Теперь молодому человеку нужно было научиться надлежащим образом читать, молиться и петь, быть скромным, тихим и трудолюбивым, а главное — размышлять о своей греховной и низменной жизни; но в душе он ничего такого не чувствовал, он думал только о той, которая, как ему казалось, была им любима — об Афре, а потому все его новые обязанности оказались очень трудными, и он ежедневно выдавал себя отнюдь не благочестивыми взорами и словами. Любимую он видел лишь издали, во время богослужбных собраний, где она сидела в рядах девственниц, тогда как он вздыхал в хоре холостых мужчин. Но, казалось, она каждый раз ищет его глазами и одно мгновение смотрит на него, словно проверяя, здесь ли он еще. И это всегда был тот открытый детский взгляд, который в первый раз так внезапно растрогал его. И тогда он снова обретал мужество и продолжал свои труды по превращению в святого. Но это дело подвигалось у него так малоуспешно, что несколько месяцев спустя решено было, прежде чем тратить на него дальнейшие усилия, обратиться к божеству иному оракулу. В торжественном собрании, где предстояло решить несколько схожих дел, при таинственном сиянии свечей, Альбертус отдельно от других преклонял колени, в то время как весь зал был наполнен звуками молитв и песнопений. Потом его подвели к урне, и он среди глубокого молчания вытянул свой жребий. Этот жребий был ему благоприятен и определил его вступление в несколько более высокий испытательный класс. Сидя вновь в рядах своих собратьев, он был так потрясен, что не мог присоединиться к пению и молитве, которые тем временем возобновились, так как пользовавшийся большим уважением и много путешествовавший миссионер опустился на колени в том месте, которое только что занимал Альбертус Цвихан. Предстояло решить вопрос, должен ли этот миссионер взять на себя одну африканскую факторию с чрезвычайно нездоровым климатом, как он того настойчиво желал, или же ему придется довольствоваться более здоровым воздухом, как требовала община, ввиду того, что силы его были подорваны. Оракул удовлетворил его желание, после чего он возвратился на старое место и опять стал на колени. Вновь зазвучало пение, и Альбертус Цвихан, успевший немного прийти в себя, воспользовался нараставшим общим воодушевлением, чтобы отыскать прекрасную Афру Цигонию Майлюфт, которой он еще не видел. Он нашел ее не на обычном месте, — она смиренно преклоняла колени рядом с посланцем божьим, где блуждающий взор Альбертуса неожиданно и обнаружил ее. Ибо что касалось Афры, то вопрос шел о том, соответствует ли воле провидения, чтобы она, в качестве жены миссионера, последовала за ним в суровую жаркую пустыню, или же ее здоровье слишком нежно и хрупко, а она сама слишком сосредоточена в себе и утонченна для такой жизни. Но когда ее подвели к урне, жребий удовлетворил и ее желание. Теперь она рука об руку со своим избранником вышла вперед, чтобы их тут же обручили, и ее всегда такие спокойные глаза светились, пожалуй, чуточку теплее и ярче, чем подобало для такого земного дела.

Раскрыв рот, Альбертус сидел бледный, как мертвец, и только оттого, что он не был способен ни вздохнуть, ни издать стон, никто не обратил на него внимания. Когда все окончилось, он бесшумно пробрался к своему ложу и провел ужасную ночь. Его наивное и близорукое себялюбие терзало ему сердце, как извивающаяся змея. В промежутках между приступами боли он вновь и вновь видел Афру об руку с миссионером, плавно уносящихся вдаль. Так вот какой свет несла она в том обманчивом сне! Утром Альбертус показался на людях и был измучен, удручен, и казалось, он вот-вот свалится с ног. Чтобы подбодрить его

движением и деятельностью, его назначили хозяйственным помощником другого миссионера, который собирался в дорогу, — ему было поручено объехать Гренландию, Лабрадор и страну калмыков. Без всякого сопротивления Альбертус дал подготовить себя к путешествию и отбыл со своим духовным руководителем, так больше и не повидав Афри. Но на память о себе она послала ему красиво переплетенную толстую книжку, содержащую на каждый день года изречение или стих, а кроме того, к ней была прикреплена палочка слоновой кости для пророческого прокалывания страниц. С этой книжкой в руках он сидел как-то, несколько месяцев спустя, в Гренландии, на морском берегу вблизи Сент-Яна. Бледное солнце освещало воды, и то тут, то там над поверхностью моря всплывали тюлени. Альбертус наугад сонно ткнул палочкой в книгу; он был утомлен работой на складе и в канцелярии и предавался вялым мечтам, как вдруг прочел удивительную строфу песни:

В саду, излюбленном тобой,
В раю сердец, где ты бродил,
Журчит фонтан, и дух святой
Свершает омовенье крыл.
Цветет божественный жасмин,
А воздух благостен и тих.
И там у грядки георгин
Целует девушку жених.

От последних строк он сперва наполовину, а потом и совсем приободрился. Он вдруг увидел сад за своим домом и стройную соседку Корнелию, проскальзывающую сквозь жасминовые кусты, и хотя книжка, которую он держал в руке, была отпечатана за несколько лет до того, все же он тотчас усмотрел в прочитанной строфе откровение свыше или, скорее, чудесно переданный через Афри призыв к возвращению на родину и женитьбе на Корнелии, которая с каждым мгновением, когда он теперь о ней думал, казалась ему все более желанной. Но и к Афри Цигонии он впервые с того дня, как ему пришлось тянуть жребий, почувствовал признательное благоволение, убежденный, что она мудрее его и в конце концов направила его на тот путь, которого он никогда не должен был покидать. В этом он видел смысл ее ухода во сне и того света, что она зажгла для него. Ночью он сложил свои пожитки, скрылся от своего начальства и на китобойном судне уплыл на юг. Он неудержимо стремился на родину и однажды вечером позвонил у своего дома, — как раз к этому времени у него иссякли все наличные деньги: ведь он отсутствовал уже десятый месяц. Пока он обдумывал, стоит ли пройти сегодня же за садовую калитку, несмотря на уже опускавшиеся сумерки, чтобы обрадовать покинутую подругу, дверь дома вдруг отворилась, и показался какой-то незнакомец; то был изрытый оспой, желто-коричневый мужчина с кривым носом, большими усами и выпуклыми глазами, обутый по-домашнему в турецкие туфли; с головы его свисал длинный красный колпак, какие бывают у жителей Средиземноморского побережья, а также у моряков. Увидев у двери человека, он спросил, зачем тот звонил и что ему нужно.

— Как зачем? — с изумлением ответил тот. — Я хочу войти в свой дом! Я Иеронимус Цвихан.

— Иеронимус Цвихан — это я! — грубо ответил стоявший на пороге и захлопнул дверь.

Альбертус простоял несколько минут, прежде чем ему пришло в голову отправиться к нотариусу, — он-то ведь должен был знать, что за жилец обосновался в его доме. Однако нотариус, ужину которого Альбертус помешал, посмотрел на него с удивлением и спросил, как же это он наконец появился, после того как о нем так долго ничего не было слышно (ведь в те времена еще не было теперешних разнообразных способов оповещения, чтобы разыскивать пропавших без вести). Дом занимает не кто иной, как приемный сын и единственный наследник покойного Цвихана, или, по крайней мере, человек, который,

подобно Альбертусу, выдает себя за такового и располагает одинаковыми с ним документами. Мадемуазель Корнелия имярек, которую считали невестой Альбертуса, показала на суде, будто сам Альбертус доверительно открыл ей тайну, что он не Иеронимус, а у него был носивший это имя единоутробный брат, который утонул, он же сам — родной, хотя и внебрачный сын старого Цвихана. На основании этого свидетельства неожиданно появившемуся Иеронимусу пока разрешили пребывание в доме. И если дело обстоит так, то, по здешнему праву, законным наследником признают не настоящего, хотя и внебрачного сына Альбертуса, а приемного сына; Альбертус же может отправляться куда желает, если только его не посадят за решетку по обвинению в подлоге при установлении семейного положения.

— Что вы на это скажете? — закончил нотариус.

У Альбертуса теперь было мало оснований полагаться на свои сны; однако жестокая необходимость заставляла его все еще считать Иеронимуса утонувшим. Растерянный и взволнованный, он пробормотал, запинаясь, что все это неправда, что так не может быть и что все это легко разъяснится. Однако нотариус пожал плечами, и его с трудом удалось убедить, чтобы он выдал из доверенного ему состояния малую толику, без чего несчастный не мог бы даже найти себе ночлег.

Действительно, пропадавший без вести брат вскоре после отъезда Альбертуса вдруг объявился в Ост-Индии и по следам своего брата отправился в Швейцарию. Где он пропал все эти годы, было не вполне ясно, но втихомолку рассказывали, будто он яхшался с пиратами и привез с собой туго набитый мешок дукатов.

Дело дошло до судебного разбирательства, и нужно было решить, кто из двух сводных братьев и внебрачных детей был приемным сыном легкомысленного покойного отца. Каждый нанял адвоката, настойчиво сражавшегося за желанную добычу, и на некоторое время, из-за отдаленности первоначального места действия и недостатка свидетелей, борьба приостановилась, пока, по наущению Корнелии, адвокат Иеронимуса не разыскал нескольких стариков, знавших старого Цвихана в его молодые годы, до переселения на Восток. Они показали, что Альбертус должен быть родным сыном старика, так как они того хорошо помнят, а молодой человек похож на него, как одна капля воды на другую. Это решило тяжбу в пользу настоящего Иеронимуса, и он был введен во владение всем имуществом, привезенным Альбертусом, последний же, за свои обманные утверждения, правда с учетом смягчающих обстоятельств, был посажен на год в тюрьму. Так Альбертус Цвихан лишился своих природных прав и увидел, как по вине его матери отпрыск неведомого авантюриста и сам авантюрист стал хозяином всего добытого отцом Альбертуса состояния, тогда как сам Альбертус сделался нищим. Корнелия же, чье благозвучное имя когда-то так прельстило простодушного молодого человека, незамедлительно обвенчалась с пиратом, пренебрегая его невоспитанностью и грубым нравом. Чтобы мучить злополучного Альбертуса и после отбытия им наказания, она уговорила мужа взять его из милости в дом, что и было сделано. Теперь ему предстояло исполнять обязанности слуги, или, вернее, служанки. Будь у него деньги, он мог бы уехать или открыть какое-нибудь дело, но у него не было ни гроша, и это заставляло его подчиниться всему, что от него требовали. Полоть сорную траву, промывать салат, таскать воду — все это досаждало ему меньше, чем сборка все того же водопровода и развешивание белья, к чему мадам Корнелия Цвихан, злорадно усмехаясь, его регулярно принуждала. Некоторое разнообразие доставляло ему списывание фамильной хроники, находившейся во владении одной старушки из рода Цвиханов и временно предоставленной в распоряжение Иеронимуса. Тот был теперь последним законным продолжателем когда-то довольно значительного рода и хотел закрепить за собой предков, списав хронику, — упрямая старуха не соглашалась продать этот документ. Сам Иеронимус по-немецки писать не умел, а Корнелия, предавшаяся приятному безделью, отказалась изготовить копию.

Списывая хронику, Альбертус впервые познакомился с почетным положением и достоинством семьи, из которой он происходил и теперь был извергнут. Он не мог доказать

даже свое положение незаконного потомка, так как об этом не сохранилось никакого документа. Сокрытием своего истинного происхождения бедный глупец, сам лишил себя родины, а то сходство с отцом, которого было достаточно, чтобы лишить его наследства, было недостаточным доводом для признания за ним отцовского имени и нрав гражданства, так как на этот предмет не было никаких постановлений и бумаг.

Для того чтобы оставить хотя бы след своего существования, он тайно вписал свою историю в оригинал хроники, для чего было довольно места на чистых листах, и по окончании работы тотчас же отнес книгу ее владелице. Старушка прочла вписанное с большим участием, тем более что терпеть не могла нового главу рода, и когда вскоре после этого Альбертус Цвихан — от горя из-за утраты материального благополучия, а также своей личности и даже всякой возможности ее удостоверить — заболел и умер, она распорядилась соорудить ему надгробную плиту и записала в хронику, что с ним угас последний настоящий Цвихан, а если в будущем кто-нибудь и появится под этим именем, то это будет потомство безродного бродяги и морского разбойника.

Стояла теплая летняя ночь, когда я, перемахнув через кладбищенскую стену, забрал череп, который заметил уже давно, время каких-то похорон. Он лежал в высокой зеленой траве, и рядом с ним — нижняя челюсть. При этом он был освещен изнутри слабым голубоватым сиянием, еле проникавшим через глазные впадины, как будто пустой черепной домик Альбертуса Цвихана, — если только это был в самом деле его череп, — все еще был обитаем призраками его снов. Сияние объяснялось тем, что внутри сидели два светлячка, может быть, занятые брачными делами. Но я решил, что это души Корнелии и Афры, и сунул их дома в пузырек со спиртом, чтобы наконец прикончить. Ибо я твердо верил, что и благочестивая Афра нарочно спиной своей приманивала и вводила в заблуждение слабого, неустойчивого Альбертуса.

После того как нижний ярус дорожного сундучка с замурованным в нем черепом был заполнен описанным выше образом, подошла матушка, чтобы бережно уложить новое белье и дать мне наставление об аккуратности, необходимой в таких делах. Все, что я видел у нее в руках, она сама выпряла и дала выткать: несколько более тонких рубашек были сшиты ею еще в молодые годы. Наша семья перестала расти так рано, что плоды прилежания моей матушки в значительной доле сохранились, а я взял из этого опять-таки лишь часть, остальное же она спрятала для обновления моего запаса после скорого, как она надеялась, возвращения сына.

Далее следовал праздничный костюм, впервые — приличного, черного цвета. Нельзя же было допустить, чтобы из-за нарушения обычаев меня оттеснили от источников успеха и благополучия! Кроме того, матушка была убеждена, что, обладая воскресным платьем, я скорее буду жить в гармонии с божественным мировым порядком, и не могла себе представить, чтобы я в чужих странах мог появляться по воскресным и будничным дням в одном и том же виде. Поэтому, укладывая, она повторяла не раз уже слышанные мною наставления о том, что одежду нужно беречь. От одной допущенной небрежности, говорила она, от неаккуратного обращения в самое короткое время может произойти порча и ранняя гибель вещи, — ведь зазорно из бедности снова надевать изношенный, вышедший из употребления сюртук, вместо того чтобы с самого начала щадить его и возможно дольше сохранять в приличном состоянии. Последнее дает судьбе достаточно времени для того, чтобы совершился тот или иной удачный поворот; а в том случае, если одежда гибнет слишком скоро, так ничего важного и не успеет произойти до того, как она износится и продырявится.

Когда все остальные предметы одежды были разложены, а между ними засунуты всякие мелочи и скудные принадлежности обихода, мы закрыли сундук, и нанятый нами человек доставил этот маленький ковчег на почту, откуда я утром должен был уехать. Матушка присела на стул и с ужасом смотрела на пустое место в углу, где весь день простоял сундук. Папки тоже были уже унесены, и, таким образом, из всего связанного со

мною у нее оставался еще только я сам, да и то лишь на одну-единственную ночь. Но матушка долго не предавалась скорби о предстоящем одиночестве и, так как была суббота, взяла себя в руки, принялась обычными решительными движениями убирать комнату и не передохнула, пока все не было сделано; теперь в тишине и чистоте можно было ждать воскресного утра.

И вот наступило это солнечное майское утро; при первых проблесках дня я уже проснулся и вышел из города на ближайший пригорок только для того, чтобы в своем нетерпении скоротать время и бросить последний взгляд на родные места. Я стоял на опушке леса. За ним еще слабой зарей алел восток. Но уже зарделись с восточной стороны самые высокие вершины, гребни и склоны горной цепи на юге. Освещение придавало им весьма причудливые формы, каких я прежде никогда не наблюдал. Понемногу становились видны обрывы и ущелья, горные пастбища и селенья, о которых я не имел никакого представления; а когда, наконец, через какую-то впадину меж гор были озарены с востока и старые церкви лежавшего у моих ног города, когда безоблачный эфир разлился над землей, а вокруг меня зазвучало пение птиц, родина показалась мне такой новой и незнакомой, словно я не готовился покинуть ее, а только теперь начинал изучать. Нередко бывает, что давно привычное и близкое лишь в тот миг, когда мы уходим от него, являет нам какую-то неизведанную прелесть и ценность, вызывая горестное сознание мимолетности и ограниченности нашего бытия. Достаточно было того, что я — в самом буквальном смысле — увидел окружающее в новом свете, чтобы расставание стало для меня мучительно трудным, в душе моей родились раскаяние и неуверенность, и я даже принял одно из самых бесплодных решений: впредь рано вставать и пользоваться каждым часом своего времени, как если бы я был земледельцем, охотником или солдатом, которые спозаранку начинают свой труд. В подтверждение своей клятвы и для большей верности долгу я поднял с земли полосатое бело-голубое перышко лесной сороки и воткнул его в свою бархатную шапочку, — ведь это были наши республиканские цвета. Затем я поспешил обратно в город, где в улочках уже играло солнце и гудели первые церковные колокола. Пока матушка готовила мне последний завтрак, я обошел дом, чтобы проститься с нашими жильцами в разных этажах.

В самом низу жил жестянщик, человек, обрабатывавший тот материал, который сам по себе почти ничего не стоит, приобретает значение лишь после бесконечного обрезывания, обколачивания и пайки и никогда не может быть использован во второй раз. Следовательно, все основано на приданной ему форме, которая служит для окружения тысячи полых пространств, а так как, ввиду грубости и недолговечности этого материала, никто не хочет тратить на подобные вещи много денег, нужен упорный труд с утра и допоздна, чтобы количеством изделий обеспечить требуемый для скудной жизни доход. От этого, а также от постоянного напряжения внимания, необходимого при опасной для жизни прибавке кровельных желобов, мастер сделался угрюмым человеком, строгим со своими подмастерьями и неприветливым даже с женою и детьми. Подозрительный и лишенный предприимчивости, он не отваживался открыть лавку и тем расширить свое дело, а ограничивался тем, что в темной своей мастерской, расположенной в отдаленном переулке, трудился с самого утра до поздней ночи, даже в те часы, когда его подручные уже лежали в постели или сидели в харчевне. Квартирную плату он всегда уплачивал точно в срок и с моей матерью вел себя вежливо и почтительно. Но на меня он смотрел искоса и обращался со мной сдержанно и сухо, ибо, как я давно заметил, не одобрял моей до сих пор такой свободной и беззаботной жизни, моей профессии и всех моих поступков вообще. Тем более я был удивлен, когда он теперь принял меня очень весело и дружелюбно; его радостное расположение духа подчеркивалось тем, как гладко он был выбрит и как хорошо был отутюжен его воскресный костюм, что, впрочем, не помешало ему наградить пощечиной мальчугана, который, сидя за завтраком, захотел еще молока и, получив затрещину, громко заревел. Вслед за тем начала заглушенно всхлипывать и девочка, которую отец вдруг дернул за косу: она провинилась в том, что уронила на пол свой кусок хлеба. После того как жена,

поймав суровый взгляд мужа, удалилась с детьми на кухню, он оживленно заговорил о моем путешествии, о городах, которые я увижу, об их достопримечательностях, которые мне следует осмотреть, и начал припоминать, как принято у бывалых людей, рассказывающих о своих странствиях, тут — каменного истукана, там — падающую башню, а еще где-нибудь — деревянную обезьяну на ратуше. Потом он свернул разговор на еду и напитки, на лакомые национальные блюда, которых он никогда не забудет и которые мне доведется отведать в разных местах. Здесь он советовал мне ничего не упускать.

Затем он неторопливо подошел к письменному столу, достал из него бумажку с завернутым в нее брабантским талером и вручил мне его как скромный подарок на дорогу, который он просил меня истратить на здоровье, по моему усмотрению. Обычай не позволял мне отказаться, и я, вежливо поблагодарив, зажал монету в руке и поднялся на следующий этаж. Лишь впоследствии я узнал, чем была вызвана его любезность. Его радостный тон и кажущаяся благожелательность объяснялись его убеждением в том, что я теперь познаю тяжесть борьбы и труда и что в той школе жизни, куда я так простодушно направляюсь, меня хорошенько вымуштруют. Национальные лакомства, которые он якобы вкушал во время своих странствий, были не так уж заманчивы, ибо он терпел голод и жажду и всякую нужду, притом не по своей вине, а по неудачливости. Таким образом, его жизнерадостное прощание было своего рода пожеланием бедствий, которое он давал мне на дорогу, правда, как он считал, к моей же пользе.

На следующем этаже, куда я поднялся, жил механик, торговавший всякими точными приборами, необходимыми в быту, — весами, мерами, циркулями, а также кофейными мельницами, вафельницами, машинками для очистки яблок; если требовалось, он также чинил подобные вещи, пользуясь помощью старика рабочего. Одновременно он занимал должность районного смотрителя мер и весов, производил их проверку и вытравлял, выбивал или вырезал на них соответствующие знаки. Особенно ожесточенную и упорную войну он вел с содержателями кабаков, которые всяческими плутнями и частой сменой стеклянной посуды пытались обойти закон. Страсть надзирать не только за правильной калибровкой посуды, но и за тем, чтобы она должным образом наполнялась, заставляла его ходить из трактира в трактир и следить, чтобы там, пользуясь мирным настроением посетителей, не наливали ниже черты. Тут он сам терял меру и выпивал такое множество полустопок, что уже ничего не мог разобрать, хотя строго и пристально рассматривал каждую из них, прежде чем отправить в рот. Сейчас, одетый по-будничному и еще не бритый, он поджидал свой утренний кофе, который молча готовила жена; она была женщина умная и потому откладывала свои колкие речи до тех пор, пока не выветрится последний остаток винного угара, из которого муж еще мог черпать силу для сопротивления, и не останется одна лишь слабость, пользуясь которой она каждый день без всякого толку хлестала его словами. Смотритель налил немного вишневки в цилиндрический стаканчик, служивший для тарирования и отвешивания небольших проб. Ничего более подходящего у него не было, так как жена из зависти или злобы разбила его последнюю рюмку.

Это метрическое угощение он поставил передо мной, себе же плеснул добрый глоток в большой стакан, стремясь хоть немного продлить свою способность к самозащите. Почесав в спутанных волосах, он, моргая, посмотрел на меня воспаленным взором, вздохнул и посетовал на скверный обычай поздно засиживаться в субботний вечер и тем самым портить себе воскресное утро. Потом он сказал:

— Я задолжал вашей матушке, господин Лее, последний взнос за квартиру. Поэтому неудобно мне было бы предлагать вам, по случаю вашего отъезда, хотя бы и самый скромный подарок. Зато я дам вам на дорогу добрый совет, который будет вам полезен, если вы захотите его придерживаться. Дорожите всегда хорошей компанией и бодростью духа. Вы можете быть богаты или бедны, заняты или праздны, искусны или неискусны, — но никогда не ходите в трактир днем, а дожидайтесь вечера! Вот правило всех степенных и благоразумных людей. Я к ним, увы, уже не принадлежу! Да и вечером ходите лучше поздно, чем рано. Нет ничего почтеннее и приятнее появления последнего посетителя, если

только он не пришел из другого питейного заведения. Впрочем, не могут все добиваться этой чести, так как кто-нибудь должен быть и первым, другие должны быть средними, и так далее. Придя, решительно выпейте свою скромную меру и так же решительно уходите или, по крайней мере, не оставайтесь надолго ради скучных пересудов за пустым стаканом. Дайте лучше еще раз вам его наполнить, вместо того чтобы подлым образом красть у хозяина ночь, как лодыри крадут у господ бога день! А теперь на прощание я еще хочу вас откалибровать, для того чтобы вы во всем соблюдали меру!

Он принес длинный футляр, вынул из него свою служебную мерную линейку, изящно изготовленную из блестящего металла, приложил ее концом к моей шее и сказал:

— До сих пор и не дальше могут доходить счастье и несчастье, радость и горе, веселье и уныние! Пусть они кипят и бурлят в груди, пусть сжимают горло. Голова должна быть выше — до самой смерти!

Гладкий металл охлаждал мне шею, и потому у меня было такое ощущение, будто я в самом деле испытал какое-то властное воздействие, и я не знал, глупость или мудрость говорит устами этого человека. К тому же смотритель, как и я, рассмеялся, после чего он наконец сел за свой завтрак, а я собрался уходить от него.

Теперь я подошел к запертой двери, что, собственно, для меня и не было неожиданностью. Здесь жил мелкий чиновник-холостяк, который каждое воскресенье, если только позволяла погода, рано уходил и весь день пропадал, лишь бы его не вызвали для исполнения какой-нибудь непредвиденной работы. Да и в будние дни, как только било шесть часов, он откладывал перо и покидал помещение, какое бы спешное дело ни было у него на руках. Свою должность он непрестанно проклинал, хотя годами ее добивался и чуть ли не на коленях вымаливал. Он называл себя жертвой «разочарованных принципов» и посещал только такое общество, где поносили его начальников. В таких случаях он рассказывал, будто его лишь потому не переводят на лучшие места, что он не умеет гнуть спину. Действительно же причина его неудач заключалась в неумении исполнять сколько-нибудь ответственную работу; moreover, и постоянные цветистые его речи о «разочарованных принципах» доказывали, что он даже не владеет как следует языком. Несмотря на все свое недовольство, он цеплялся за свою должность как репей, и его нельзя было бы оторвать от нее пожарными крюками, ибо она обеспечивала ему если и не блестящее, то все же верное и спокойное существование. А поскольку его лень была злонамеренной и степень ее зависела от его воли, он был осторожен и никогда не преступал того предела, за которым ему грозило бы увольнение; постоянные же замечания и понукания тревожили его весьма мало. Этого жильца я недолюбливал, тем более что он, при всех своих далеко не образцовых качествах, иной раз служил мне безмолвным укором, ибо матушка, видя его беззаботную и размеренную жизнь, уже не раз робко заговаривала о том, не лучше ли было бы нам в конце концов последовать совету того члена магистрата, который рекомендовал для меня подобную карьеру. Ведь вот жилец, такой глупый человек, чувствует себя на этом пути отлично, а я должен пуститься в широкий мир, не ведая, что это мне принесет. Но я ограничивался тем, что указывал, какую жалкую фигуру представляет собой этот субъект, не знающий никаких высших стремлений и ничего в жизни не испытавший. Стоя теперь у двери перед изящной медной табличкой с его именем и обозначением его ничтожной должности, я слышал, как за этой дверью медленно и мирно качался взад и вперед маятник степных часов. В комнате царили такая глубокая тишина и такой покой, что казалось, будто даже маятник радуется отсутствию вечно недовольного хозяина. Прислонившись к косяку двери я с минуту прислушивался к однотонной и многозначительной песенке измерителя времени, никогда не отмечающего дважды одно мгновение. Я кое-что уловил в этих звуках, но, по молодости лет, не то, что нужно, и наконец побежал наверх, в нашу квартиру.

Там ждала матушка, приготовившая в последний раз маленькую совместную трапезу; обедать ей уже предстояло в одиночестве. Утреннее солнце наполняло комнату своим светом, и, пока мы сидели за столом, обмениваясь односложными замечаниями, будто отчужденные тишиной, я рассматривал простые белые занавески, старые панели стен,

домашнюю утварь так, словно больше не надеялся их увидеть. Завтрак был несколько обильнее обычного, главным образом чтобы я не проголодался в ближайшие же часы и не должен был тратить деньги, а кроме того, матушка собиралась питаться излишками завтрака весь остальной день, — сегодня она не хотела стряпать еще и для себя. Когда она мимоходом упомянула об этом, я очень смутился и хотел возразить, что она не должна так делать, чтобы мне не увозить с собой столь грустное впечатление. Но я не произнес ни слова, так как не привык к подобным высказываниям, а мать в это время подыскивала слова, чтобы обратиться ко мне с теми последними увещаниями, которые обычно лежат на обязанности отца. Но, не зная ни более отдаленного мира, ни деятельности и образа жизни, ожидавших меня, а в то же время хорошо чувствуя, что с моими переживаниями и надеждами что-то неладно, — хотя ей трудно было это доказать, — она в конце концов ограничилась краткой просьбой, чтобы я не забывал бога. Это общее пожелание, которое, правда, охватывало и выражало все, что она могла сказать мне, носившему в себе нетронутую веру и набожное чувство, я принял с молчанием, которое само по себе уже знак согласия. Тут как раз в быстром чередовании зазвучали церковные колокола, и потому это осталось последним, что было сказано между нами; ибо настал миг, когда мне пора было уходить. Я вскочил, взял плащ и сумку и на прощание подал матери руку. Выходя из дверей и видя, что матушка хочет пойти меня провожать, я мягко отеснил ее назад, притянул дверь и поспешил один на почтовую станцию. Через несколько минут я уже сидел в тяжелом, запряженном пятью лошадьми скором дилижансе, который каждое утро с грохотом катился по плохо вымощенным улицам горного города.

Часов пять спустя мы проезжали по длинному деревянному мосту. Высунувшись из дверцы, я увидел струившуюся внизу мощную реку. Ее светло-зеленая вода, отражая покрывавшую береговые склоны молодую листву буков и глубокую синеву майского неба, блистала такими удивительными сине-зелеными бликами, что все это показалось мне каким-то чудом, и лишь после того, как волшебное зрелище вскоре исчезло и соседи сказали: «Это был Рейн!» — сердце забилось у меня сильными толчками. Ведь я находился на немецкой земле и отныне мог и даже обязан был говорить на языке тех книг, которые направляли мое юношеское образование и вдохновляли мои любимейшие мечты. Хотя весь ход истории и заставлял забыть об этом, но, в сущности, я лишь перешел из одной области древней Alemании в другую, из одной части старой Швабии в другую часть старой Швабии, и поэтому восхитительное сверкание сине-зеленого пламени рейнских вод казалось призрачным приветом таинственного волшебного царства, в которое я вступал.

Впрочем, мне было суждено неожиданным образом пробудиться от грез, а моей дальнейшей поездке — превратиться в пренеприятное странствие. У первой же подставы на земле соседнего государства находилась и таможня с княжеским гербом и короной, и, хотя багаж прочих путешественников был едва вскрыт и проверен весьма поверхностно, мой нескладный сундук привлек особое внимание чиновников. То, что мы накануне так тщательно упаковывали, было безжалостно выкинуто наружу, вплоть до книг, лежавших на самом дне, которые таможенники перелистывали с удвоенным старанием. Так появился на свет и череп бедного Цвихана, тоже возбудивший любопытство, но уже иного рода. И вот все содержимое сундука было раскидано по чужой земле. С холодной усмешкой воинственные стражи границы наблюдали потом, как я торопливо и огорченно кидал свои пожитки обратно и уминал их, чтобы кое-как уместить вновь, в то время как остальные пассажиры уже сидели в новой почтовой карете, а кучер стоял у меня над душой. Все же он помог мне прижать и закрыть крышку, но когда тяжелый сундук наконец унесли, на пустом месте забелел череп, о котором забыли, — он не был виден за сундуком. Впрочем, для него и не нашлось бы места. Поэтому я взял его под мышку, снес в дилижанс и всю оставшуюся часть пути держал на коленях, завернув в шарф, взятый с собой на случай ночной мороза. Какое-то природное чувство приличия или боязнь укоров совести не позволили мне просто выбросить или где-нибудь оставить этот неудобный предмет, после того как я легкомысленно похитил его с кладбища, подобно тому как даже отпетый негодяй все-таки

находит еще случай проявить, хотя бы и самым странным образом, какую-то долю человечности.

На исходе второго дня я достиг цели своего путешествия, огромного столичного города¹²⁶, раскинувшего свои каменные массивы и сады по широкой равнине. Неся в руке череп, закутанный в шарф, я вскоре отыскал гостиницу, адрес которой у меня был записан; в поисках ее я прошел значительный путь по городу. В последних вечерних лучах алели греческие фронтоны и готические башни. Ряды колонн еще купали свои украшенные главы в розовом блеске, новехонькие статуи из светлой бронзы мерцали в полумраке, как будто еще испуская теплые дневные лучи, между тем как расписные открытые галереи уже освещались фонарями и в них гуляло множество нарядных людей. Каменные изваяния длинными рядами устремлялись с высоких стен в темно-синее небо; дворцы, театры, церкви, новые и пышные, создавали большие ансамбли всевозможных стилей, чередуясь с темными массами куполов и крыш общественных зданий и жилых домов. Из церквей и гигантских пивных неслись музыка и колокольный звон. Звуки органа и арфы долетали до слуха. Из часовен, двери которых были расписаны всевозможной религиозной символикой, проникали на улицу ароматы курений. Мимо меня кучками проходили художники — красивые или уродливые, попадались студенты в узких куртках и затканых серебром шапочках, всадники в латах неспешно и гордо выезжали в ночную стражу, тогда как куртизанки с обнаженными плечами направлялись в залитые светом танцевальные залы, откуда гремели литавры и трубы. Толстые старухи кланялись тощим черным священникам, коих множество бродило по улицам. На открытых верандах домов за блюдами жареных гусей и огромными кружками восседали упитанные бюргеры. Мимо меня катились экипажи с неграми и егерями на запятках... Короче говоря, куда я ни шел, мне приходилось видеть столько, что я устал и был рад, когда наконец уже мог положить в отведенном мне номере гостиницы и плащ и череп.

¹²⁶ ...я достиг цели своего путешествия, огромного столичного города ... — Из описания города, данного в романе, можно заключить, что Келлер имел в виду столицу Баварии Мюнхен в годы правления «короля-мечената» Людвига I (1825–1848) (см. также вступительную статью).



Ландшафт в духе Оссиана.
Масло. 1842 г.

Глава одиннадцатая **ХУДОЖНИКИ**

Восстанавливая в памяти мое тогдашнее бытие, я вижу, что оно приобретает некоторую определенность лишь после того, как я около полутора лет прожил, более или менее инкогнито, в городе муз. Я так мало знал и мой жизненный опыт был так скуден, что за краткий срок я не мог рассчитывать на сколько-нибудь осязаемые результаты.

Вглядываясь в сумрак этого переходного времени, взор мой останавливается на одном светлом вечере; я скоблю палитру и мою кисти — с их помощью я пытался одолеть живопись маслом, о которой знал лишь понаслышке. Вижу еще, как беру простую широкополую шляпу, которую уже давно носил вместо сентиментального бархатного берета, и собираюсь к новому знакомому, чтобы застать его еще за работой и немного последить за ней, прежде чем отправиться в условленную прогулку за город. Приехав без всяких рекомендаций, а также без средств, чтобы сговориться об учении у какого-нибудь преуспевающего мастера, я был обречен стоять в преддверии храма и лишь украдкой заглядывать туда сквозь завесы, что было сопряжено с трудностями. Дело в том, что от большинства учеников перенимать было нечего, а как только молодые люди, продав маленькую картину, начинали смотреть на себя как на мастеров, они становились замкнутыми и немногословными, едва разговор заходил о тайнах их искусства. Меня уже раз крепко осадил, когда я откликнулся на любезное приглашение и робко явился навестить такого молодого художника; он остановил меня в дверях, высокомерно заявив, что не может

меня принять, так как у него сейчас совещание с его художественным критиком и он объясняет этому «писাকে», как тот должен отозваться о его картине. Да, в идеальном мире искусства перец и соль тоже встречаются чаще амброзии, и если бы люди знали, как зауряден и убог духовный мир кое-кого из художников, поэтов и музыкантов, они отказались бы от некоторых предвзятых мнений, которые только вредят этой публике.

Однако мой новый друг Оскар Эриксон был натурой прямой и простой. Высокий и широкоплечий, с густыми золотистыми волосами, на которых играл падавший сверху свет, он сидел перед крошечной картинкой, которую писал. Кроме нее и нескольких альбомов для эскизов, в просторной комнате не было ничего интересного, если не считать двух охотничьих ружей на стене, валявшихся на полу болотных сапог да пороховниц и мешка с дробью на столе рядом с кучкой книг. Когда я вошел, гигант стонал и ерзал на стуле, посасывая короткую охотничью трубку и выталкивал из себя мощные клубы дыма; он встал и снова сел, отшвырнул трубку, так что тлеющий табак рассыпался по полу, потом прицелился кистью и начал отрывисто причитать:

— Ах ты, чертова перечница! Какой дьявол мне нашептал стать художником! Проклятая ветка! Я посадил на нее слишком много листвы, теперь мне в жизни не разделить ее как следует! Какая муха меня укусила, что я взялся за такой сложный кустарник! О, боже, боже! Лучше бы мне быть у черта на рогах! Вот уж сел в лужу: хоть бы только выбраться!

И вдруг он с отчаянием громовым голосом запел:

Хочу я плавать по морям
И руль сжимать рукою!

Это, видимо, помогло ему преодолеть затруднение. Кисть касалась теперь нужного места и неторопливо работала несколько минут. Эриксон повторял прерванную мелодию все спокойнее и глуше, наконец совсем умолк и продолжал писать. Но, очевидно, для того чтобы не слишком долго искушать господа бога, он неожиданно вскочил, отступил на шаг и стал разглядывать свое произведение, насвистывая с полным удовлетворением старый «Дессауский марш». Затем он перевел исполняемый мотив в слова и, снова налаживая свой курительный снаряд, пропел: «Так мы живем, так мы живем, так наши дни мелькают!» — и наконец заметил мое присутствие.

— Видите, как я должен мучиться! — непринужденно воскликнул он, трясая мне руку. — Будьте рады, что вы такой ученый мастер композиции и пишете из головы. Вам ничего не надо уметь! А вот наш брат, несчастный ремесленник, никогда не знает, где ему взять тысячу необходимых полутонов и мелких светотеней, чтобы не слишком бессовестно замазать свои сорок квадратных дюймов!

Это было сказано отнюдь не иронически. Он еще раз недоверчивым взглядом окинул свою работу и опять присел попытать счастья, а я напряженно следил за тем, как он с боязливой осторожностью отбирал на большой палитре чистые и верные краски, смешивал их и наносил вышеописанным образом. Позже, когда наша дружба стала теснее, Эриксон утверждал о себе, что он не то чтобы плохой художник (для таких признаний он был слишком умен), а, по сути дела, и вовсе не художник. Дитя северных вод, происходивший из пограничной области между землями, населенными немцами и скандинавами, сын состоятельного судовладельца, Эриксон уже в первые юношеские годы недурно умел набрасывать карандашом все, что попадалось ему на глаза, и в особенности для ежегодных школьных экзаменов готовил удачные работы углем. Под влиянием одного из тех захудалых учителей рисования, что неиссякаемым воодушевлением стремятся прикрывать пли улучшать свое скудное существование и всегда готовы пагубно подзадоривать молодежь, счастливая семья, отличавшаяся широким образом мыслей, направила не вполне еще зрелого юношу на путь изучения искусства, и наставник при этом не отказывался от сытных обедов и щедрой платы за советы, на которые он не скупился. Такой необычный путь, казалось, более отвечал жизнерадостности и необузданному росту сил молодого человека, чем корпение в

отцовской конторе.

И вот он, в соперничестве со столь многими юношами, находившимися в подобном же положении, с благословения полных надежды родных, был хорошо снаряжен, снабжен рекомендациями и отпущен в путешествие, которое привело его в знаменитейшие художественные школы. Там он встретил радушный прием у лучших мастеров, содержавших открытые студии. Вначале его совершенствование шло успешно и непрерывно, тем более что молодой человек, хотя и не был образцом усердия и любил повеселиться, все же не позволял себе подолгу бездельничать. Благодаря своей великолепной фигуре, общительности и в то же время серьезности он был украшением тех студий, где учился. Однако успехи развивались лишь до известного предела, а затем бесповоротно прекратились. Это было непонятно, так как все, следившие за его развитием, питали наилучшие надежды, и в поведении ровного и по-взрослому солидного молодого человека не произошло никакого изменения.

Эриксон сам первый заметил это обстоятельство, но думал, что сможет бороться с ним, преодолеть и устранить его. Он переменил место обучения, пробовал себя во всех жанрах, переходил от одного маэстро к другому, но все было напрасно: он чувствовал, что ему не хватает сил изобретать новое, добиваться законченности картины, а внутреннее зрение в известный, ясно ощутимый момент покидает его или же проявляется случайно, подобно удачному броску игральных костей. Он уже решил было отказаться от безуспешной борьбы и вернуться на родину, как вдруг его настигло известие о крахе отцовского торгового дома. Все погубило окончательно и безнадежно, по крайней мере, в ближайшие годы надеяться было не на что. На возвращение сына родные смотрели как на отягощение бедствия и высказывали ясное пожелание, чтобы он сам позаботился о себе, использовав плоды своего столь похвального прилежания.

После этого он быстро изменил свое решение. Как неподкупный и вдумчивый критик, он рассмотрел все на что был способен, и по зрелом размышлении пришел к выводу, что может писать очень простые пейзажи в самом мелком масштабе, оживляя их осторожно размещенными фигурами, и что такие картины не будут лишены известной прелести. Не колеблясь, принялся он за это дело и трудился честно и добросовестно. Вместо того чтобы с легкостью стряпать фальшивые эффекты и выпускать жеманную модную мазню, которая, так сказать, сама ложится на холст, он, как истый джентльмен, оставался верен правилам основательной подготовки и тщательного выполнения, и поэтому каждая новая картинка требовала от него немалого труда. К счастью, дело двинулось. Первое же выставленное им произведение было вскоре продано, и прошло немного времени, а коллекционеры, считавшиеся тонкими знатоками, начали уже искать случая приобрести так называемые «эриксоны» по хорошей цене.

Такой «эриксон» содержал примерно следующее: на переднем плане — светлый песчаный берег, несколько столбов ограды, увитых ползучими растениями, на среднем плане — тощая березка, а дальше — широкий плоский горизонт, скупые линии которого были умно рассчитаны и, в сочетании с простой передачей воздуха, создавали то общее приятное впечатление, которое производила подобная маленькая вещица.

Но, хотя Эриксона признавали, таким образом, настоящим художником, это не порождало в нем ни самомнения, ни алчности. Как только его материальные потребности бывали удовлетворены, он бросал кисти и палитру и отправлялся в горы, где так близко сошелся с любителями охоты, что его даже приглашали, когда собирались идти на медведя. Так, вдали от города, он и проводил большую часть года.

Этот славный малый, который сам не считал себя мастером, вполне в духе своих обычаев и характера, не препятствовал мне, прислушиваясь к его речам, улавливать кое-какие маленькие тайны ремесла.

— Ну, хватит! — внезапно воскликнул Эриксон. — Так мы далеко не уедем! Давайте, кстати, захватим с собой по дороге одного коллегу, у которого вы увидите кое-что получше, конечно, если нам повезет! Знаете вы голландца Люса?

— Слышал о нем, — ответил я. — Это, кажется, тот чудак, о работе которого ничего не

известно? Который никого не пускает к себе в мастерскую?

— Меня-то он пускает, потому что я ведь не художник! Вас пустит, может быть, тоже, потому что вы еще ничего не умеете и вообще неизвестно, выйдет ли из вас художник. Ну, ну, не петушитесь: что-нибудь из вас выйдет, и даже уже вышло! А у Люса, слава богу, нет нужды работать: он богат и может делать все, что пожелает. Но желания у него мало — он почти ничего не делает. В конце концов, он тоже не художник, ведь нельзя же так называть человека, который на самом деле не пишет. Ему надо бы давать себе разрядку, подобно Леонардо, который швырял монеты в купол собора!

Я помог ему быстро помыть кисти, которые он всегда содержал в таком образцовом порядке, что и теперь проверил, достаточно ли тщательно я отнесся к делу.

— Нельзя писать навозом, если хочешь дать чистый тон! — сказал он. — Тот, у кого орудия работы загажены и кто смешивает несоединимое, похож на повара, который держит крысиный яд между пряностями. Впрочем, кисти чисты, благослови вас небо! С этой точки зрения вас можно назвать безупречным! У вас хорошая мать... Или, может быть, ее уже нет в живых?

Пройдя несколько улиц, мы вступили в резиденцию таинственного голландца, выбранную таким образом, что окна просторного, им одним обитаемого этажа смотрели на свободный горизонт и открытое небо, самого же города совсем не было видно, не считая двух-трех зданий благородной архитектуры и больших групп деревьев. Если стоять в этой части города просто на земле, глазу представлялась лишь не оконченная застройкой окраина с дощатыми стенами, старыми бараками и грудями строительных материалов. Поэтому окна господина Люса, откуда были видны только прекрасные здания и сады, купающиеся в золотом свете, казалось, были выисканы строгим вкусом. Во всяком случае, впечатление от блестящей перспективы за большими окнами удваивалось намеренной простотой и гармоничностью в убранстве комнат.

К моему удивлению, Люс, любезно встретивший нас, вовсе не соответствовал обычному представлению о голландцах. У этого стройного темноволосого и черноглазого человека лет двадцати восьми был грустный, чуть ли не меланхолический взгляд, и красивые губы его складывались в печальную улыбку. Еще больше удивило меня, что в комнате, где мы находились, ничто не говорило о занятиях ее хозяина искусством; она скорее напоминала кабинет ученого или политического деятеля. На больших занавешенных полках стояла целая коллекция книг, среди которых, как я позже узнал, было немало библиографических редкостей и первых изданий. По стенам висели не картины или этюды, а географические карты, на столе лежала стопка журналов на разных языках, а за широким письменным столом Люс, по-видимому, только что работал.

— Мне нужно еще выпить обычный послеобеденный кофе, — сказал он, когда мы сели. — Вы составите мне компанию?

— Конечно, и мы уверены, что кофе будет неплох! — ответил за нас обоих Эрикссон, и Люс позвонил молодому человеку, который ему прислуживал.

Тем временем я все еще озирался в комнате, так как имел слабое представление о хорошем тоне.

— Юноша дивится, — воскликнул Эрикссон, — где же в этом храме искусства мольберты и картины! Терпение, юный ревнитель художеств! Наш друг покажет их нам, если мы хорошенько попросим! Но что правда, то правда, любезный Люс: ваша комната похожа на кабинет популярного журналиста или министра!

С несколько мрачной улыбкой наш хозяин ответил, что сегодня он не расположен смотреть свои работы. Уже в третий раз его слуге приходится вечером убирать палитры в нетронутым виде, и при таких обстоятельствах его, наверно, простят, если ему не хочется идти в мастерскую ни одному, ни с посетителями. И действительно, когда вошел слуга с подносом, он дал ему соответствующее распоряжение. Поднос и посуда, за исключением китайских чашек, сверкали тяжелым серебром и были в скромном новогреческом стиле прошлых десятилетий, свидетельствуя о том, что родители голландца и члены его семьи

исчезли с лица земли и он, единственный оставшийся в живых, увез эти вещи, чтобы иметь возле себя хоть последний отблеск родительского дома. Впоследствии Эриксон по какому-то поводу рассказал мне, что Люс хранит в письменном столе молитвенник своей матери с золотыми застежками.

Коричневый напиток был вкуснее всего, что мне, выросшему в сельской простоте, до сих пор случалось отведать. Однако при виде такого драгоценного семейного сервиза в повседневном употреблении у странствующего художника я слегка оробел; Люс, снова заметив мои блуждающие взоры, обратился ко мне:

— Ну что, господин Леман, вы все еще не можете примириться с тем, что моя квартира не похожа на жилище художника?

То, что он забыл мое имя или небрежно произносил его, а также отказался показать свои работы, — все это подстрекнуло меня к небольшому выпадку. Характер его обстановки, ответил я, быть может, связан с другим явлением, наблюдаемым мною с недавнего времени, а именно, с той странной манерой, согласно которой различные искусства и отрасли знания заимствуют друг у друга технические способы выражения. Так, я недавно читал критику одной симфонии, где речь шла только о теплоте колорита, о распределении света, о густой падающей тени басов, о расплывчатом горизонте аккомпанирующих голосов, о прозрачной светотени средних партий, о смелых контурах заключительной фразы и так далее, так что казалось, будто читаешь рецензию на картину. Сейчас же вслед за этим я слышал красноречивый доклад естествоиспытателя, который описывал процесс пищеварения у животных и сравнивал его с могучей симфонией и даже с песнью «Божественной комедии», тогда как за другим столом общественного зала несколько художников обсуждали новую историческую композицию знаменитого живописца и директора академии, распространяясь о логическом расположении, о метком языке этой работы, о диалектическом противопоставлении абстрактных различий, о полемической технике при все же гармоническом разрешении скепсиса в утвердительной тенденции общего тона. Короче говоря, по-видимому, ни одни цех больше не чувствует себя уютно в своей шкуре, и каждый хочет щеголять в обличье другого. Вероятно, дело идет об изыскании и установлении нового содержания для всех наук и искусств, причем всем нужно спешить, чтобы не опоздать.

— Ну, я вижу, — со смехом воскликнул Люс, — нам все-таки придется пройти в мастерскую — вы должны убедиться, что мы, по крайней мере, еще пишем красками!

Он пошел вперед, открыл дверь, и мы проследовали через ряд комнат, где стояло лишь по одной картине из тех, над которыми он работал, благодаря чему каждая картина могла быть наилучшим образом освещена и взгляд ничем другим не отвлекался и не рассеивался. Клонившееся к закату солнце, озаряя за окнами облака, широкий ландшафт, похожие на храмы здания, бросало отблески на сиявшие и без того картины, еще более просветляя их, и они в тишине и безмолвии пустынного помещения производили удивительно торжественное впечатление. На первой был изображен царь Соломон с царицей Савской, человек странной красоты, — такой мог и сочинить «Песнь песней», и написать: «Все суета сует и всяческая суета!» Царица по красоте не уступала ему. Оба они, в богатых одеждах, сидели друг против друга и, казалось, впивались друг в друга пылающими глазами, горячо, почти враждебно перебрасываясь словами и будто пытаясь выманить друг у друга тайну чужой души, мудрости и счастья. Замечательно при этом было то, что в чертах лица красивого царя были утонченно и идеализированно воспроизведены черты самого Люса. В комнате больше ничего не было, кроме плоского, начищенного до блеска медного блюда старинной работы с несколькими апельсинами, стоявшего, быть может, случайно, на столике, в углу. Фигуры на картине были в половину натуральной величины.

Холст в следующей комнате представлял датчанина Гамлета, но не в одной из сцен трагедии, — это был написанный добросовестным мастером портрет облаченного в парадную одежду, очень молодого, цветущего принца, вокруг лба, глаз и губ которого уже витали, однако, тени его грядущей судьбы. Этот Гамлет тоже напоминал самого художника, но сходство было завуалировано с таким искусством, что нельзя было понять, в чем оно

заклучалось. В углу комнаты был прислонен к стене меч с красивым стальным эфесом, отделанным серебром, — он, очевидно, послужил или еще продолжал служить моделью. Этот единственный предмет еще усиливал впечатление одиночества и мягкой печали, которую излучала спокойная картина. Поколенный портрет Гамлета был в натуральную величину.

Из этой комнаты мы перешли, наконец, в последнюю, которую можно было назвать и залом. Здесь стояла уже заделанная, как и прочие картины, в тяжелую пышную раму самая крупная композиция, поводом для которой послужили слова из Библии: «Блажен муж, который не идет в собрание нечестивых!» На полукруглой каменной скамье в саду римской виллы под сводом виноградных лоз сидели четверо или пятеро мужчин в одежде восемнадцатого века. Перед ними был мраморный стол, и в высоких венецианских бокалах искрилось шампанское. Возле стола, спиной к зрителю, отдельно от других, сидела по-праздничному одетая молодая девушка, настраивавшая лютню, и, хотя у нее были заняты обе руки, она в то же время пила из бокала, который подносил к ее губам ближайший сосед ее, юноша лет девятнадцати. Небрежно держа бокал, он смотрел не на девушку, а прямо на зрителя, при этом слегка откинувшись на плечо седовласого старика с красноватым лицом. Старик тоже смотрел на зрителя, причем пальцы одной руки он сложил для веселого, насмешливого щелчка, другой рукой упираясь в стол. Он хитро и дружелюбно подмигивал, и в лице его мелькало озорное выражение девятнадцатилетнего юнца, тогда как юноша (у него были красивые упрямые губы, тускло блестевшие черные глаза и буйные волосы, глубокая чернота которых проглядывала сквозь стершуюся пудру), казалось, носил в себе житейский опыт старца. На середине скамьи, — ее высокая спинка, покрытая тонкой резьбой, виднелась в промежутках между фигурами, — расположился несомненный бездельник и шут, который с явной издевкой, морща нос, выглядывал из картины, причем насмешка его казалась тем язвительнее, что он, прикрывая рот розой, напускал на себя невинный и благодушный вид. За ним сидел статный мужчина в военном мундире; у него был спокойный, почти тоскующий взгляд, но все же в нем таилась снисходительная усмешка. И, наконец, полукруг заканчивал сидевший напротив юноши аббат в шелковой сутане, который устремлял на зрителя испытующий и колющий взгляд — словно его только что окликнули. Аббат подносил к ноздрям щепотку табаку и будто приостановился — так, казалось, поразила его смехотворность, глупость или наглость зрителя, вызывавшая его на ядовитые шутки. И так, взоры всех, кроме девушки, были обращены к тому, кто становился перед картиной, и, казалось, они с неотвратимой проникновенностью выуживали из него всякий самообман, всякую половинчатость, сумасбродство, скрытую слабость, всякое сознательное или бессознательное лицемерие. Правда, на лбу у каждого из них самих и в уголках губ лежала несомненная печать безнадежности. Но, несмотря на бледность, покрывавшую все лица, кроме лица розового старичка, они были здоровы, как рыбы в воде, и зритель, если он не был уверен в себе, чувствовал себя под этими взорами так скверно, что ему хотелось воскликнуть: «Горе тому, кто стоит перед скамьей насмешников!»

Но если замысел и идея картины были проникнуты духом отрицания, то ее выполнение было пропитано самой теплой жизненностью. В чертах лица каждого персонажа чувствовалась содержательная, настоящая личность, каждое лицо само по себе представляло целый трагический мир или комедию, оно было отлично освещено и написано, равно как и тонкие руки, не знавшие тяжелого труда. Златотканые камзолы странных мужчин, древнеримское одеяние женщины, ослепительный цвет ее кожи, нитка кораллов на шее, ее черные косы и локоны, скульптурная отделка старого мраморного стола, даже сверкающий песок, в который вдавливалась нога девушки, ее щиколотка над алой шелковой туфелькой, — все это было написано смело, уверенно, без всякой манерности и нескромности, но от души; так что контраст между радостным блеском и критическим духом картины производил необычайное впечатление. Люс называл эту картину своей «верховой комиссией», собранием знатоков, перед которыми он сам иногда стоял с бьющимся сердцем. А случалось, что он ставил перед этим полотном какого-нибудь бедного грешника, чей разум

и призвание едва ли были освящены небом, и наблюдал, какие смущенные гримасы тот строил.

Мы по несколько раз переходили от одной картины к другой, а в промежутках я иногда медлил перед той или иной из них и не мог вставить ни слова в разговор, а только молча отдавался тому впечатлению, которое подобная несомненная сила производит на изумленного созерцателя. Эрикссон же, возделывавший свою узкую и скромную ниву, перепробовал и перевидал столько, что мог высказываться с легкостью и пониманием. Часто он говаривал, что смыслит в искусстве ровно столько, чтобы стать приличным любителем или коллекционером, если фортуна обогатит его, и за эту цену он готов немедленно повесить палитру на гвоздь. Действительно, он хорошо судил о старой и новой живописи и ценил ту и другую, в отличие от многих художников, ненавидящих, презирающих или просто не понимающих всего, что не соответствует их направлению. Впрочем, подобная воинственная ограниченность многим необходима, если они хотят удержаться на том месте, которое они единственно способны занимать, так как притязания и призвание сочетаются редко. На подобные слова Люс иногда возражал, что и в самом деле время от времени тот или иной художник должен отходить от практической работы, чтобы, перейдя в круг знатоков, тем способствовать его обновлению. Профессиональные критики, конечно, полезны для логического и хронологического, графического и биографического подхода, для литературного фиксирования того, что уже приобрело незыблемые формы; перед лицом современного, поскольку оно выступает как новое или неожиданное, они обычно бесплодны и беспомощны; первые оценки всегда должны исходить из круга художников, и потому они большей частью пристрастны. А критики, преодолев первую растерянность, развивают пристрастность дальше, пока предмет споров не отойдет в прошлое; тогда его можно будет с несомненностью отнести к той или иной категории. Досадное дело! Он знал художников, которые блаженной памяти Рафаэля называли «неприятным малым» и при этом невероятно гордились своим свирепым критическим зудом. Встречались ему и такие профессора, что читали курсы лекций, но не умели отличить на старинных картинах настоящую металлическую позолоту от нарисованного золота и вообще в техническом отношении стояли на уровне детей или дикарей, которые тень от носа на портрете принимают за черное пятно.

Я и сам уже заметил прежде, что Люс прошел своеобразную школу у великих итальянцев, не пытаясь, однако, подражать им в невозможном, теперь же я узнал, что раньше он учился искусству строгого немецкого рисунка, причем в уверенном владении карандашом и углем он почти сравнился со знаменитым своим учителем¹²⁷, а краску считал более или менее неизбежным злом. Но после многолетнего пребывания в Италии он вернулся совершенно преображенным и на свою прежнюю манеру смотрел свысока. Когда об этом зашла речь и Эрикссон высказал сожаление, что Люс пренебрегает благородным немецким рисунком, который в своем роде составляет незаменимое достояние и особенность нации, тот заметил:

— Ну вот еще! Кто хорошо пишет красками, тот уж наверняка умеет рисовать и осилит любой сюжет! Кстати, я иногда работаю и в этом стиле, но лишь для собственного развлечения.

Он принес довольно большой альбом из отличной бумаги, переплетенный в кожу и снабженный стальным замком. Он отпер его ключиком, висевшим на цепочке от часов, и нам открылся, лист за листом, целый мир красоты и в то же время издевки над нею; такие противоположности редко уживаются вместе. То была история нескольких любовных

¹²⁷ ...почти сравнился со знаменитым своим учителем ... — Автор подразумевает здесь немецкого художника XIX в. Петера Корнелиуса (1783–1867), известного главным образом благодаря работам в области монументальной и фресковой живописи. Корнелиус писал преимущественно на религиозные и мифологические темы.

увлечений, пережитых Люсом и зарисованных им в альбом тончайшим карандашом и в самом солидном немецком стиле. Можно было представить себе, будто Дюрер¹²⁸ и Гольбейн¹²⁹, Овербек¹³⁰ или Корнелиус иллюстрировали «Декамерон»¹³¹ и сразу же подготовили рисунки для резца гравера. Каждый эпизод, в зависимости от того, сколько он длился, занимал большее или меньшее число листов. Каждый начинался изображением женской головки и несколькими его вариантами в различной трактовке. Затем следовала вся фигура красавицы, которую художник впервые увидел где-нибудь на рынке, в церкви или в общественном саду. Далее развивались знакомство и отношение к герою, неизменно — к самому Люсу, любовь торжествовала победу, а после начинался спад — в сценах ссор, эпизодах односторонней или обоюдной измены, до неизбежного разрыва, который сопровождался либо внезапным изгнанием якобы совершенно подавленного героя, либо комическим равнодушием обеих сторон. Отдельные фигуры надувших губки или плачущих красоток казались поистине крохотными памятниками изящного и строгого стиля. Выбившаяся прядь волос, складки на платье, соскользнувшем с плеча, неизменно усиливали впечатление взволнованности, подобно тому как надорванный, полощущийся парус судна свидетельствует о перенесенной буре. Трудно было понять, изображала ли эти трагические эпизоды бережная, сочувственная рука или же в создании их участвовала затаенная ирония. Зато некоторые другие героини сияли добродетельно, и на вершине своего триумфа они казались прекрасными, как мифологические богини.

Люс так непринужденно переворачивал лист за листом, как если бы показывал коллекцию бабочек, и лишь иногда называл имена красавиц:

— Это Тереза, это Мариетта. Это было во Фраскати, это — во Флоренции, это — в Венеции!

Измученные и безмолвные, следили мы за страницами, на которых мелькало столько красоты и таланта, и только Эриксон иногда клал руку на лист, чтобы на миг задержать его.

— Должен признаться, — сказал он наконец, — мне не совсем понятно, как можно подавлять в себе столько гения или, в лучшем случае, тратить его на такие тайные шалости! Сколько радости вы могли бы доставить людям, если бы всю эту силу направили к серьезной цели!

Люс пожал плечами.

— Гений! Где же он? В этом весь вопрос! Даже самый дикий представитель этой породы должен быть смиренен и простодушен, как дитя, когда он один и работает. Мне, может быть, не хватает смиренности или смиренности. Я никогда не бываю один: вокруг меня все псы, которыми меня травят!

Мы не вполне поняли эти слова, противоречившие к тому же его прежним

¹²⁸ *Дюрер* Альбрехт (1471–1528) — великий немецкий живописец, рисовальщик и гравер, крупнейший представитель искусства Возрождения в Германии. Произведения Дюрера, запечатлевшие в сильных образах борьбу новых гуманистических идей с религиозным мировоззрением, отличаются большой правдивостью и богатством художественной фантазии.

¹²⁹ *Гольбейн* Ганс (1497–1543) — один из крупнейших немецких художников эпохи Возрождения. С 1526 г. был живописцем в Англии. Кроме знаменитых портретов, выполненных Гольбейном, известны также его рисунки из серии «Образы смерти» и гравюры на дереве.

¹³⁰ *Овербек* Фридрих (1789–1869) — немецкий живописец. Основные работы его посвящены религиозным темам. В молодые годы, выступая как противник консервативного академизма в живописи, Овербек создал свои наиболее интересные портреты и рисунки. Во многих его произведениях заметно подражание итальянскому искусству Возрождения.

¹³¹ «*Декамерон*» — знаменитый сборник новелл великого итальянского писателя Джованни Боккаччо (1313–1375), одного из первых итальянских гуманистов эпохи Возрождения.

высказываниям о том, что «можно сделать все», и я уж теперь совсем не знал, как на все это смотреть. Меня влекло к этому благообразному, спокойному и даже серьезному человеку, хотя содержание альбома говорило о какой-то беспринципности, которую мы, пожалуй, еще можем простить себе, но не любим в ценимом друге. Здесь было нечто от того ужасного взгляда на природу, согласно которому оба пола противостоят друг другу как враждебные силы: нужно быть молотом или наковальней, уничтожить или оказаться уничтоженным. Говоря проще, кто не защищается, того сожрут волки.

Тем временем мы добрались до последнего рисунка, за которым шло еще несколько пустых листов, и Люс собирался было захлопнуть альбом. Но Эриксон удержал его — ему хотелось подробнее рассмотреть этот рисунок, так как все ранее изображенные женщины были итальянского происхождения, эта же — явно немецкого. Головка эта не была нарисована отдельным этюдом, как на других листах; в данном случае художник не мог дать голову изолированно, зрителю являлась сразу, во весь рост, фигура стройной девушки, чьи волосы, заплетенные в большие косы, были так пышны, что, казалось, головка покачивается, как цветок гвоздики на высоком стебле, хотя нежно-округлая линия чуть склоненной шеи лишь являла природную грацию. Если не считать удивленного взгляда больших, ярких, как звезды, глаз, лицо казалось почти лишенным выражения, и его нежные черты были лишь намечены серебряным штифтом, который избрал художник. Тем более уверенно и твердо, хотя тоже с нежной легкостью, были воспроизведены очертания девичьей фигуры, проступавшие сквозь классически строгие складки одежды, и здесь ни один штрих не был лишним и ни один не был забыт.

— Ну и девушка! — воскликнул Эриксон. — Где растет этот цветок?

— Здесь, в городе! — ответил Люс. — При случае вы сможете его увидеть, если будете хорошо себя вести!

Я же, тронутый глубокой невинностью этого создания, неожиданно для самого себя воскликнул с мольбой в голосе:

— Но вы не сделаете ей ничего дурного?

— Ого! — рассмеялся Люс, похлопав меня по плечу. — Что же я могу ей сделать дурного?

Эриксон тоже рассмеялся, и мы, в сопровождении голландца, отправились на нашу вечернюю прогулку. Когда мы проходили по комнатам, перед нами снова сверкнули три прекрасные картины, для меня — в последний раз, ибо позднее мне еще довелось увидеть их, но лишь в предрассветной полумгле и при таких обстоятельствах, когда я едва ли мог обратить на них внимание. Куда они делись с тех пор, не знаю; никогда они не выставлялись на общественный суд, а сам Люс впоследствии, под влиянием своего изменчивого характера, отошел от искусства. Если, как говорят, астрономам приходилось наблюдать мгновенное, но очень явное колебание некоторых звезд, почему же слабому человеку не отклониться от своего пути?

Итак, мы втроем направились из северной части города на его западный конец, чтобы не спеша подыскать себе на берегу реки, текущей с юга, место отдыха. По дороге мы прошли мимо дома, в котором я жил.

— Стоп! — крикнул Эриксон, когда мы, голландец и я, собирались пройти мимо. — Давайте зайдём и к нему, посмотрим, что он пишет! Заходящее солнце как раз глядит в его окошко, не очень-то удачно расположенное; солнце выручит и мы хоть увидим цвет!

Не без колебаний и все же довольно охотно я пошел вперед, чтобы отпереть комнату. В самом деле, в лучах вечерней зари мои чудовищные фантазмагии были так похожи на пылающий город, что мы все трое громко расхохотались. Тут были два больших картона¹³²:

¹³² Тут были два больших картона ... — Описывая эти и некоторые другие картины, Келлер использует воспоминания о своей собственной деятельности как художника. Однако в романе сняты отдельные чересчур близкие совпадения в творческих исканиях героя и автора. В письме к Вильгельму Петерсену от 21 апреля 1881 г. Келлер делился по этому поводу своими соображениями: «Пейзажная живопись — не что иное, как

древнегерманская охота на зубра в обширной горной долине, где красовались живописные группы деревьев, и германский дубовый лес с каменными столбами, могилами героев и жертвенными алтарями. Оба эти сюжета я нарисовал большим тростниковым пером на огромных просторах бумаги и сочно заштриховал. Крупные массы теней я проложил серой акварельной краской, затем покрыл картоны клеевой водой и уже на этом фоне начал бойко хозяйничать масляными красками, так что в прозрачных частях светотени везде проглядывал рисунок пером. Ни одного этюда с натуры не использовал я для этой цели и, в своем неукротимом стремлении к творчеству, придумал все от первого до последнего штриха. А так как подобная работа шла столь же легко, как и весело, эти цветные картоны как будто сушили что-то путное, хотя говорить о них было трудно: едва ли они позволяли решить, действительно ли я способен выполнить такие картины. Человеческие фигуры высотой в восемь дюймов по моей просьбе нарисовал мне молодой земляк, учившийся в академии и уже делавший смелые наброски. Но эти фигуры еще не были окрашены и пока белыми привидениями бродили по лесам.

За этими широкими листами, один из которых, наподобие кулисы, частью прятался за другой лист, у стены стоял, возвышаясь над ними, третий, начатый таким же способом, но еще не в красках. Окруженный могучими развесистыми липами, по кособоку лепился, проглядывая между стволами и верхушками деревьев, городок. Он представлял собой тесное скопище многочисленных башен, домов с крутыми фронтонами, готических шпилей, зубцов и балконов. Взор проникал в узкие, кривые, соединенные между собой лестницами улочки, на маленькие площади с фонтанами и сквозь звонницы монастыря, за которыми тянулись светлые летние облака; они виднелись также и позади выделявшихся на фоне неба открытых питейных беседок, где веселились человечки, — многих из них я нарисовал сам. Этот удивительный город был построен мною при помощи одного архитектурного альбома, и я нагромоздил формы романского и готического стилей, создав необыкновенную и едва ли правдоподобную пестроту; при этом я отметил хронологию возникновения зданий, придав замку и нижней части церкви вид наиболее глубокой старины. Высоко поднятый горизонт простирался над липами и замыкал широкое пространство с мызами, мельницами, рощами и — в мрачном затененном углу — местом казней. Впереди из открытых ворот должна была выезжать через подъемный мост средневековая свадьба, которой надлежало встретиться с въезжающим отрядом вооруженной городской стражи. Эту сутолоку человеческих фигур я добавил в устных объяснениях, так как пока для него было лишь приготовлено место.

— Превосходно! — сказал Люс. — Выдумать набор аксессуаров — это самое легкое дело! К тому же ваш город пылает в мерзком малиновом сиропе этой зари, как горящая Троя! А впрочем, вот что: пусть все эти стены будут из розового песчаника. На фоне ваших гигантских деревьев и в сочетании со сверкающими белыми облаками это даст своеобразный эффект! Ну, а это что такое?

Он подразумевал прислоненный к стене меньший картон, исполненный в мрачных тонах и изображавший мою родину в эпоху переселения народов. По знакомым рельефам местности тянулись на разной высоте девственные леса; вдали, между оврагами, двигался отряд воинов, а на одной из горных вершин дымилась римская сторожевая башня. Но Люс уже повернул к себе другой набросок, представлявший, если можно так выразиться, геологический ландшафт. Сквозь более новые формации, которые можно было различить, как описано в учебниках, прорываются коронообразные первобытные горы, стремящиеся слиться с более молодыми и образовать общую живописную линию. Ни одно дерево или куст не оживляет жесткой, унылой пустыни. Только дневной свет вносит некоторую жизнь, борясь с мрачной тенью грозовой тучи, залегшей на самой высокой вершине. Среди камней трудится Моисей, изготовляя, по велению бога, скрижали для десяти заповедей, которые

вопрос стиля. Генрих становится на сторону рассудочных художников в области пейзажа, влияние которых в те времена было еще заметно».

нужно было начертать вторично, после того как первые скрижали были разбиты.

За гигантским мужем, в глубокой сосредоточенности склонившим колени перед скрижалями, незримо для него стоит на гранитной глыбе дитя Иисус, без одежды, и так же сосредоточенно следит за могучим каменотесом. Поскольку это был лишь первый набросок, я создал эти фигуры сам, в меру своих сил, что еще более приблизило их к эпохе земных катаклизмов. Заметив рогообразные лучи, которыми был наделен Моисей, и нимб вокруг головки ребенка, Люс, к моему удивлению, сразу же разгадал тему, но тут же воскликнул:

— Вот где ключ! Итак, мы имеем перед собой спиритуалиста, человека, создающего мир из ничего! Вы, вероятно, веруете в бога?

— Конечно! — ответил я, желая узнать, куда он клонит. Но Эриксон прервал нас, обратившись к Люсу:

— Дорогой друг! Зачем так утруждать себя? Зачем при каждом случае выкорчевывать господу бога? Право же, вам это доставляет не меньше хлопот, чем самому заядлому фанатику — насаждение религии.

— Тише, индифферентист! — остановил его Люс и продолжал: — Теперь все ясно! Вы хотите полагаться не на природу, а только на дух, ибо дух творит чудеса и не работает! Спиритуализм — это боязнь труда, проистекающая от недостаточно глубокого понимания явлений и устоявшегося опыта. Он хочет заменить прилежание настоящей жизни чудотворством и делать из камней хлеб, вместо того, чтобы пахать, сеять, ждать роста колосьев, жать, молотить, молоть и печь. Вымучивание мнимого, искусственного, аллегорического мира, рождаемого одной лишь силой воображения, в обход матери-природы, и есть не что иное, как боязнь труда. И если романтики и аллегористы всякого рода целый день пишут, сочиняют, рисуют и бряцают, то все это только лень по сравнению с той деятельностью, которая посвящена необходимому и закономерному выращиванию плодов. Всякое творчество на основе необходимого — это жизнь и труд, которые сами себя поглощают, подобно тому, как в цветении уже таится гибель; такое цветение — истинный труд и истинное усердие; даже простая роза должна с утра до вечера бодро этому предаваться всем своим существом, и награда ей — увядание. Зато она была настоящей розой!

Я понял его лишь наполовину, ибо был уверен, что все же работал, и так ему и сказал:

— Дело вот в чем, — ответил он. — Геогностического¹³³ ландшафта, который вы хотите изобразить, вы никогда не видели и, бьюсь об заклад, никогда не увидите. Вы сажаете в него две фигуры, при помощи которых вы, с одной стороны, славите историю мироздания и творца, с другой — выражаете свою иронию. Это хорошая эпиграмма, но не живопись. И, наконец, это можно без труда заметить, вы сами даже не в состоянии выполнить эти фигуры, по крайней мере, теперь, и, следовательно, вы не в состоянии придать им то значение, которое вы остроумно измыслили. Таким образом, вся ваша затея висит в воздухе! Это игра, а не труд! Однако довольно об этом, и позвольте сказать вам, что свою проповедь я обращаю не против всего течения. Если рассматривать ваши вещи сами по себе, то они даже доставляют мне удовольствие, как контраст к моим. Все мы не более как дуалистические глупцы, с какой бы стороны мы ни подступали к нашей задаче. Что тут у вас за череп? Он не препарирован. Вы что же, выкопали его из могилы?

Люс указал на череп Альбертуса Цвихана, лежавший в углу комнаты.

— Он тоже принадлежал дуалисту в некотором смысле, — ответил я и, когда мы вышли, в нескольких словах рассказал историю о двух женщинах и о том, как бедный Альбертус метался от одной к другой.

— Вот я и говорю, — рассмеялся Люс, — будем глядеть в оба, чтобы нам не

¹³³ *Геогностический* — термин, введенный в 1780 г. немецким ученым Г. Вернером. То же, что «геологический». В настоящее время это слово не употребляется.

провалиться между двумя стульями!

Мы бродили втроем до глубокой ночи и простились, решив часто встречаться. Это намерение осуществилось; вскоре мы стали близкими друзьями и везде показывались вместе.

Глава двенадцатая **ЧУЖИЕ ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ**

То, что наши родные земли, примыкавшие к северной, западной и южной границам прежней империи были отдалены друг от друга, скорее связывало, чем разъединяло нас. Мы были проникнуты внутренним сознанием общности происхождения, но, очутившись у большого центрального очага семьи народов, попадали в положение дальних родственников, которых в сутолоке гостеприимного дома никто не замечает; усевшись в кружок, они начинают доверительно судить о том, что им понравилось, а что — нет. Правда, у каждого из нас, безо всякой на то вины, были уже те или иные предвзятые мнения. В то время Германией настолько глупо и неумело управляли ее тридцать или сорок хозяев, что по другую сторону ее границ скитались толпы изгнанников и прямо-таки обучали иностранцев хулить и поносить свое немецкое отчество. Они пускали в обращение насмешливые словечки, которые до этого не были известны соседям и могли родиться только внутри поносимой страны. А так как иронию над самими собою (ведь, в сущности, это явление сводилось именно к преувеличению такой иронии) вне Германии мало понимают и ценят, иностранец понемногу начинал принимать дрянные шутки за чистую монету и научался самостоятельно употреблять их и злоупотреблять ими, тем более что таким путем можно было вкратце в доверие несчастных, которые, в своем незнании мира, ожидали от новых друзей помощи и поддержки. Каждый из нас слышал такие вещи и запоминал их. Однако со временем дружеские беседы привели нас к выводу, что эмигранты и те, кто остался дома, всегда люди разные и что для настоящего знакомства с характером народа нужно посетить его у его собственного очага. Народ терпеливее, потому и лучше отщепенцев, и стоит он не ниже, а выше их, несмотря на то, что производит противоположное впечатление, которое в конце концов всегда умеет рассеять.

Если мы теперь успокоились на этот счет, то взамен нас стала мучить другая беда, а именно, различие между Югом и Севером. Семейства народов и братства по языку, которые вместе должны составлять одно целое, счастливы, если у них есть чем язвить и колоть друг друга, ибо здесь, как всюду в природе, различие и многообразие создают прочные связи, и все то, что неравно, но родственно, оказывается теснее объединенным. Однако же упреки, которыми мы, северяне и южане, осыпали друг друга, были грубо оскорбительны; южане отрицали у северян сердце и мягкость чувств, а северяне у южан — одухотворенность и ум, и как ни была необоснованна эта традиционная неприязнь, в обеих половинах страны встречалось мало толковых людей, которые сумели бы подняться выше нее, и, во всяком случае, лишь у немногих хватало мужества пресекать в своей среде подобные избитые речи. Чтобы создать хотя бы для себя то идеальное состояние, которого не было в действительности, мы дали друг другу слово каждый раз, когда представится случай, выступать в роли людей беспристрастных, все равно — присутствовал ли при споре один из нас или вся компания, и твердо защищать ту сторону, которую мы считали обиженной. Иногда нам удавалось поставить противников в тупик или даже вызвать благожелательный поворот. А бывало — нас самих относили к той или иной категории и, в зависимости от происхождения, называли честными простачками и тьюфяками или же придирами и высокоумными голодранцами. Но так как это отнюдь не приводило нас в уныние и даже пробуждало в нас веселье, то, по крайней мере, резкий тон беседы смягчался, и достигалось относительное примирение.

Впрочем, наша посредническая миссия в один прекрасный день стала излишней и в то же время увенчалась отличной наградой, — это случилось, когда весь разнообразный мир

художников объединился для празднования приближавшейся масленицы. Было задумано большое парадное шествие, которое дало бы картину великолепия угасшей эпохи, но не при помощи, холста, кисти и резца, а живых людей. Предполагалось воссоздать старый Нюрнберг, насколько его можно было изобразить при посредстве движущихся человеческих фигур, воссоздать его таким, каким он был во время «Последнего рыцаря», императора Максимилиана Первого¹³⁴, который давал здесь празднества и награждал почестями и дворянским гербом своего лучшего сына Альбрехта Дюрера. Идея эта возникла в голове одного человека, и ее тотчас подхватили восемьсот юных и старых служителей искусства всех рангов. Ее, как ценное сырье, обработали с таким тщанием, будто речь шла о создании произведения для потомства; в ходе деловитой и всесторонней подготовки сложилась атмосфера веселья и общительности. Правда, ее затмила радость самого праздника, и все же она сохранилась в нашей памяти во всей своей живой прелести.

Парадное шествие распалось на три главные колонны. В первой из них были нюрнбергские бюргеры, представители искусства и ремесел, во второй — император с князьями, имперскими рыцарями и воинами, а в третьей — старинный маскарад, устроенный богатым имперским юродом в месть венценосного гостя. В этой последней части, которую справедливо можно было бы назвать «сном во сне», мы трое и выбрали места для себя, чтобы вдвойне фантастическими фигурами двигаться вместе с другими тенями прошлого.

Серьезность и торжественная пышность, отличавшие с самого начала эту затею, не исключали участия женского пола: жены, дочери, невесты художников и их подруги из других слоев общества готовились к праздничному маскараду, а для мужчин было далеко не самым малым удовольствием распорядиться этим важным делом и, руководствуясь книгами с изображением старинных костюмов, следить за тем, чтобы бархатные и золотые ткани, тяжелая парча и легчайший тюль были должным образом скроены и сшиты по стройным фигурам, чтобы волосы были как следует заплетены или рассыпаны, чтобы шляпы с перьями, береты, чепцы и чепчики приобрели изящную форму и необходимый стиль и хорошо сидели. В числе этих счастливцев были и мои друзья Эриксон и Люс, каждый из них шел по своей дорожке любви.

Для ежегодной лотереи, устроенной по поводу выставки картин, Эриксон продал один из своих маленьких ландшафтов, и его выиграла вдова крупного пивовара; она, собственно, не считалась покровительницей искусств и принимала участие в подобных вещах лишь в силу общественного долга, который, по ее мнению, лежал на состоятельных людях. Выигранные таким способом предметы, часто сбывались потом за бесценок назойливым торговцам, и в подобных случаях художники старались заполучить обратно свои произведения, чтобы самим заработать на этом деле. Эриксон тоже предпринял такую попытку и надеялся приобрести картину по умеренной цене, чтобы вторично продать ее и тем самым избавиться на этот раз от мук творчества, связанных с замыслом и созданием нового маленького произведения. Ибо художник был скромен и не считал, что существование мира зависит от его прилежания. Поэтому он немедленно посетил даму, выигравшую картину. И вот он очутился в вестибюле особняка, солидная красота которого подтверждала слухи о богатстве покойного пивовара. Старая служанка, которой ему пришлось объяснить цель своего посещения, сразу же вернулась с ответом, что хозяйка охотно уступает ему картину, но что он должен прийти за нею в другой раз. Будучи не слишком чувствительным к подобному пренебрежению, Эриксон явился во второй и третий раз. Он несколько обиделся и даже рассердился лишь тогда, когда служанка наконец сообщила ему, что неторопливая дама продаст картину за четверть обозначенной цены и

¹³⁴ ...во времена «Последнего рыцаря», императора Максимилиана Первого... — Максимилиан I (1459–1519) — император «Священной Римской империи германской нации», расширивший владения дома Габсбургов в Европе и обеспечивший ряд европейских престолов за своими наследниками. «Последний рыцарь» было прозвище императора, данное ему современниками.

намерена истратить эту сумму на бедных. Господин художник, сообщила она, чтобы больше не утруждать себя, может завтра же явиться, захватив с собой деньги. Мой друг утешился перспективой теперь, по крайней мере, на три месяца освободиться от необходимости писать и, присматриваясь к погоде, которая, как он надеялся, позволит ему отправиться на охоту, в четвертый раз двинулся в путь.

Старая служанка, миновать которую было невозможно, ввела его в небольшое служебное помещение и просила постоять там, пока она сходит за картиной. Но ее нигде не могли найти. Слуги во все возрастающем количестве — кухарка, горничная, дворник, кучер — бегали по дому и искали на кухне, в погребе, в кладовых и каретном сарае. Наконец шум этот привлек вдову. Судя по маленькой картине, она ожидала увидеть такого же маленького и убогого автора; когда же перед ней предстал могучий Эриксон, чьи золотистые волосы, сверкая, падали на широкие плечи, она пришла в величайшее смущение, тем более что он сначала спокойно улыбнулся, а затем стал смотреть на нее твердым, открытым взглядом, как на прекрасное видение. Она и в самом деле заслуживала долгого созерцания. Лет двадцати четырех, не более, она цвела здоровьем и свежестью, обладала превосходным, гармоническим сложением, шелковистыми каштановыми волосами и смеющимися карими глазами, — по всей справедливости ее можно было сравнить с Афродитой, о чем хорошо знала сама обладательница этой красоты должным образом следившая за своей внешностью.

Дама покраснела, но тотчас вновь овладела собой, и, чтобы покончить с обоюдным удивлением и смущением, она пригласила художника в комнату, где Эриксон тотчас обнаружил маленький ящик с картиной, стоявший вместо скамеечки для ног под рабочим столиком вдовы, не замеченный или забытый там ею.

— Вот же он! — сказал Эриксон и вытащил ящик. Его явно даже не открывали — крышка еще сидела на нем, слегка прихваченная винтами. Эриксон снял ее без большого труда, и маленькая картина, вставленная в раму, которая была сделана по богатому старинному образцу, при свете дня засверкала во всей своей яркости. Тем временем молодая женщина старалась быстро разобраться в положении и прежде всего хотела избежать срама, который могло навлечь на нее такое небрежное обращение с предметом искусства. Снова покраснев, она сказала, что действительно не представляла себе, о чем шла речь. Но теперь ей, хотя она и не знаток, картинка кажется очень хорошей, и она боится оскорбить ее автора, не потребовав за нее хотя бы половину покупной стоимости. Опасаясь, как бы она вновь не повысила цены, Эриксон поспешил достать кошелек и отсчитать золотые монеты, между тем как дама все внимательнее рассматривала бесхитростный пейзаж, — красивые глаза ее скользили по изображенному солнечному полю, словно перед нею были берег и воды Неаполитанского залива. Потом она, словно оробев, подняла взор на богатыря и начала снова: чем больше она смотрит на картину, тем больше та нравится ей, и теперь она не может не потребовать за нее полной суммы!

Со вздохом предложил он ей три четверти, чтобы хоть что-нибудь выгадать. Однако она продолжала упорствовать в своем вероломстве и объявила, что предпочитает сохранить картину, чем уступить ниже ее цены.

— В таком случае, — возразил Эриксон, — с моей стороны было бы жестоко лишать мое маленькое произведение такого хорошего пристанища! К тому же у меня нет причины настаивать на сделке, не приносящей мне никакой выгоды!

С этими словами он собрал деньги со стола и приготовился уходить. Но красавица, не отрывая взгляда от картины, несколько нерешительно попросила его еще минутку помедлить. Лишь теперь она предложила ему сесть, желая выиграть время и полностью вкусить удовлетворение, которое ей доставляло торжество над таким человеком. Наконец ей пришел в голову наиболее приличный выход из положения, и она в вежливых выражениях спросила Эриксона, не может ли она заказать к этой картине парную вещь, которая так же ласкала и успокаивала бы взор. Тогда она будет получать умиротворение как бы для каждого глаза, сидя за письменным столом, над которым она намерена повесить картинку. Эта оптическая нелепость внутренне развеселила художника, и хотя он пришел в расчете

уменьшить, а не увеличить предстоящую ему работу, он, разумеется, любезно дал согласие, после чего, однако, вдова сразу же прервала разговор и с рассеянным видом отпустила посетителя.

О ходе событий до этого момента Эриксон вечером того же дня сам рассказал нам как о забавном приключении. В дальнейшем он, однако, больше не возвращался к этому предмету и хранил о нем упорное молчание. Тем не менее мы по одному признаку отгадали, как обстоят дела: говоря об уже готовой второй картине, он вынужден был упомянуть о заказчице и неосторожно назвал ее по имени — Розалией. Мы с Люсом молча переглянулись. Как искренние друзья, расположенные к Эриксону в соответствии с его заслугами, мы не хотели мешать ему в его действиях.

Дочь богатого пивовара, она, по старинному обычаю, была просватана за человека той же профессии, что и ее отец, ибо классический национальный напиток сам по себе имел общественное значение и требовал поддержания подобных традиций. Но после того как здоровенный пивовар был неожиданно унесен злокачественной лихорадкой, вдова внезапно обрела неограниченную свободу и самостоятельность. К этому времени она уже стала вполне зрелым человеком. Она была одарена той необычайной красотой, которая встречается редко, но зато бывает совершенной, и в то же время ее одушевляла внутренняя потребность в гармоничном существовании; поэтому она прежде всего ограничила свою жизнь необременительными и все же прочными рамками, отказавшись от всяких устремлений, можно даже сказать — отрешившись от всяческой суеты. Так она могла избежать поспешных решений, всегда чреватых раскаянием, и все же сохраняла возможность решающего выбора, когда настанет для этого час.

С появлением Эриксона час этот нежданно настал. Распознав это, или, быть может, уже подготовленная предчувствием, Розалия не упустила случая и действовала неторопливо и осмотрительно. Она стала время от времени обращаться к Эриксону за советами, приглашая его для таких бесед к себе. Это получалось совершенно естественно, так как она и в самом деле намеревалась изменить случайную и пеструю обстановку своего дома, сделав ее и проще, и в то же время богаче, и улучшить устройство всей усадьбы. С тайной радостью замечала она спокойную уверенность в сведениях и советах Эриксона. При этом он казался ей вполне на своем месте, когда целесообразно распоряжался средствами и помещениями. От нее не укрылось, что он из хорошей семьи и получил хорошее воспитание: Розалия судила об этом на основании общения с ним, и шаг за шагом укреплялось ее намерение поймать медведя, которым она сама уже была поймана.

Она стала привлекать больше гостей, чтобы иметь возможность чаще приглашать его и видеть за своим столом. Кроме того, она побудила его представить ей своих друзей. Таким образом, и я два раза бывал у нее в доме, причем мне весьма пригодились то, что я, по желанию матери, сберег в хорошем состоянии свой воскресный костюм. Но нашего голландского друга Эриксон не привел ни разу — из-за альбома с замком, как он по секрету сказал мне. И я одобрил это с серьезной миной. Мне даже кажется, что я питал какое-то фарисейское тщеславие по поводу оказанного мне предпочтения и считал своей заслугой то, что ни богатство, ни свобода, ни знание света, ни какие-нибудь свойства природы не ставили меня в такое положение, когда бы я мог доказать мою добродетель. Прежних похощений с Юдифью я совсем не принимал в расчет. В своей жизни я достиг той стадии, когда люди на продолжительное время забывают свои так называемые детские шалости и с самоуверенной жестокостью осуждают то, чего еще не испытали.

Теперь, когда подготавливалось празднество художников, отношения между Розалией и Эриксоном сложились так, что она, пожалуй, могла согласиться принять в нем участие в качестве его доброй знакомой, подобно тому как принимают приглашение на бал.

По иному пути шел Люс, чтобы добыть и себе партнершу для торжества. В старинной части внутреннего города, на одной из маленьких боковых площадей стоял узкий дом, возведенный из почернелого кирпича. Дом был всего в три этажа, каждый — шириной в одно-единственное, правда, довольно большое, окно. Окна были не только украшены

красивыми наличниками, но и по высоте связаны между собой орнаментом, который обрамлял потемневшие фрески. Таким образом, это здание представляло собой небольшую башню или, скорее, стройный памятник, какие охотно воздвигали самим себе зодчие прошлых столетий. Над входной дверью на золоченом полумесяце стояла фигура девы Марии из черного мрамора, достигавшая второго этажа, а у входа был прикреплен старинный дверной молоток в виде смело изогнувшейся наяды. На нижней фреске над первым окном Персей освобождал Андромеду от дракона¹³⁵, над вторым окном святой Георгий спасал дочь ливийского царя от власти другого дракона, а на поле островерхого фронтона был написан архангел Михаил, который, во имя пречистой девы, возвышавшейся над дверью, поражал копьем какое-то чудовище. Много лет назад, когда люди с издевкой разрушали или замазывали свежей краской памятники, подобные этому прелестному домику, некий скромный архитектор приобрел его за небольшие деньги, потом заботливо поддерживал и оставил сыну, посредственному портретисту, который, будучи видным мужчиной, состоял запасным в королевской гвардии. Теперь в этом старом доме жила вдова конногвардейского живописца с дочерью; кроме маленькой пенсии, она получала ежегодно известную сумму за то, что без разрешения не продавала дома, ничего не разрушала и не меняла на фасаде.

Дочь, по имени Агнеса, и была прообразом последнего рисунка в альбоме Люса, ценителя красоты, который сначала осматривал дом снаружи, а затем, обходя внутренние помещения, открыл драгоценность, заключенную в этом ларце. Мать была хранительницей не только красоты своего детища и дома, но также и своей собственной, каковая блистала на большом, в натуральную величину портрете, написанном ее покойным супругом и повелителем. Увенчанная высоким гребнем, с тремя локонами, падавшими на щеки, сияя в подвенечном наряде, она царила в небольшой комнате, где перед портретом стояли две розовые восковые свечи, ни разу еще не зажигавшиеся. Несмотря на плоскую и слабую живопись, былая красота заявляла о себе; впрочем, прекрасное лицо казалось не слишком одухотворенным, что могло либо быть следствием неумения художника, либо верно отражало характер этой женщины. Тем не менее благодаря портрету она все еще властвовала над домом, и стоило ей мимоходом бросить взгляд на свое изображение, как она отвергала мысль о том, что дочь превосходит ее красотой. Эти взгляды повторялись в течение дня с такой же регулярностью, как макание пальцев в сосуд со святой водой, стоявший у дверей комнаты. Что же касается души, которая постепенно покидала стареющую женщину, то она вновь проявилась в дочери, правда смутно, тихо и неопределенно, что вполне соответствовало телесной оболочке, в которой она обитала.

Когда Люс, благодаря своему такту и приятным манерам, сделался в этом доме настолько своим, что мог нарисовать девушку, — сперва не на странице известного нам альбома, а в увеличенном масштабе, на особом листе для этюдов, — он не нашел в себе мужества, чтобы пройти весь привычный цикл, и дело ограничилось единственной зарисовкой в альбоме, которую он любовно и тщательно перенес с этюда. Иногда он проводил в этом доме вечер, случалось — приглашал мать и дочь в театр или увеселительный сад, и где бы они ни появлялись, редкая внешность Агнесы привлекала к ней такое всеобщее и благожелательное внимание, что потом не слышно было никаких пересудов или кривотолков. Все ее спокойные движения были просты, естественны и потому полны грации. Когда с ней заговаривали о чем-либо приятном для нее, взгляд ее блестел и в нем светилась та искренность и доверчивость, какая бывает в глазах юной серны, не испытавшей жестокого обращения. И так вышло, что Люс, вместо того чтобы завязать одну из своих прежних любовных интрижек, невольно вступил с этой семьей в почтенные и более серьезные отношения, постепенно ставшие для него неведомой раньше потребностью. Его

¹³⁵ ...Персей освобождал Андромеду от дракона... — Герой древнегреческого мифа Персей, сын Зевса и Данаи, победив чудовище, подобное исполинской рыбе, спас от него прекрасную Андромеду, дочь царя Кефея.

замешательство усиливалось, когда мать, в намерении превознести честность своей дочери, начинала в отсутствие Агнесы рассказывать о том, что та никогда не была способна, хотя бы в шутку, даже на малейшую ложь; с самых малых лет она сама сообщала о своих проступках, притом с таким спокойствием и даже любопытством относительно последствий, что наказание представлялось невозможным или излишним. В таких случаях мать, чтобы самой не показаться неумной, не могла, по своему характеру, обойтись без намека, что ее дочь, быть может, не отличается особым глубокомыслием, зато прямодушна и всегда искренна. Но Люс уже знал, что Агнеса умнее матери, хотя сама она этого еще не осознала. Превосходила она мать и во многом другом. Он заметил, что Агнеса справляет домашние дела быстро, бесшумно, никогда ничего не ломая, тогда как мать без конца бегаёт взад и вперед и ее суэта сопровождается немалым шумом, частенько заканчиваясь звоном разбитой посуды. В таких случаях дочь обычно произносила несколько слов — либо в оправдание матери, либо в утешение ей, причем это замечание, высказанное как изящная шутка, в то же время звучало глубокой серьезностью. Однако духовные качества и сущность этого создания оставались Люсу неизвестными, и когда его поздравляли по поводу сделанной им находки и заявляли, что из Агнесы выйдет самая чудесная жена для художника, какую только можно найти, тихая, гармоничная, являющая собою неистощимый источник совершенной пластики, он качал головой и говорил, что не может же он жениться на игре природы!

Тем не менее он продолжал свои посещения прелестного домика, где жило прелестное создание, и только остерегался поступков и слов, которые выдали бы его влюбленность. Глаза девушки представлялись ему тихими водами, что кажутся безмятежными, но небезопасными даже для хорошего пловца, ибо никому не ведомо, какие водоросли или живые существа таятся в глубине. Ему постоянно мерещились какие-то смутные опасности, он стал непривычно угрюм и время от времени вздыхал, сам того не замечая. Но эти вздохи раздули в яркое пламя тайный жар, уже давно зажженный в сердце семнадцатилетней девушки. Каждый мог видеть этот светлый огонь, и мы, друзья, тоже видели его, когда Люс иной раз устраивал у обеих дам небольшую вечернюю пирушку и приглашал нас, чтобы не быть там одному и все же не отказываться от посещения дома. Мы видели, как Агнеса всегда устремляла взгляд на него, потом печально отводила глаза и снова приближалась к нему, а он заставлял себя этого не замечать, однако явно сотни раз должен был сдерживать себя, чтобы не коснуться ее дрожащей рукою. Но если ей иной раз удавалось сделать вид, будто она понимает и ценит его суховатую отеческую манеру, и при этом на минутку забыть свою руку на его плече или, как невинный ребенок, на миг прильнуть к нему, в глазах ее светилось счастье, и тогда она весь вечер оставалась довольной и скромно-молчаливой.

Такие отношения понемногу становились тягостными и а мнительными для всех, кроме матери, которая была рада оживлению своего дома и твердо верила, — именно потому, что Люс был так сдержан, — что придет день, когда он всерьез сделает предложение. Эриксон, поглощенный своими личными делами, тоже не очень беспокоился по этому поводу, а когда мы вместе покидали изящный домик, он сразу же уходил своей дорогой, между тем как мы с Люсом долго еще бродили, провожая друг друга, и часами стояли то под его дверью, то под моей, обсуждая его поведение и ожесточенно споря. Я не решался открыто призвать его к ответу по поводу его отношения к девушке; в таких вопросах он был замкнут, и чем неувереннее он себя чувствовал, тем более напускал на себя вид человека, знающего, что он делает и что должен делать. Поэтому я выбирал окольный путь метафизических прений, объединяя ветреность, в которой я его с искренней болью укорял, с присущим ему безбожием, а он, несмотря на поздний час, столь же рьяно и нелепо отстаивал свои убеждения, как я на них нападал. Иногда мы так долго и так громко разговаривали, нарушая ночную тишину, что сторожа напоминали нам о необходимости щадить сон граждан. Но однажды, в то время когда подготавливался праздник художников, Люс, отлично видя, куда клонится моя речь, вдруг прервал ее и спокойно объявил мне, что пригласил Агнесу на торжество как свою спутницу и что, смотря по исходу праздника, он решит, возникнет ли между ними постоянный союз. При таких обстоятельствах, сказал он, робкие дети

человеческие становятся смелее и решают судьбу свою легче, чем в обыкновенные дни. Для него тоже решение должно быть делом случая; при этом сила желания и боязнь ошибочного шага окажутся в полном равновесии.

Агнеса мгновенно расцвела новой надеждой, как только ее любимый обратился к ней с благой вестью. Объятая тихой печалью, она уже отказалась от мысли быть среди блеска праздничных радостей хотя бы где-нибудь поблизости от Люса. Однако, не желая играть своим счастьем, она тихо и смиренно подчинилась всем распоряжениям голландца, когда он явился к ней с пышными тканями, которые должны были обвить ее стройную фигуру и подчеркнуть ее чистую красоту. И пока он, любуясь черными волнами волос, которых хватило бы и на трех прелестных девушек, пропускал эти шелковистые пряди между пальцами и располагал по-иному, а Агнеса молча наклоняла перед ним головку, в этой самой юной головке созрело безмолвное и торжественное решение думать только о том, чтобы в надлежащий миг заключить его в свои объятия и неразрывно соединить его жизнь со своею. Такое смелое намерение могло быть порождено только по-детски простодушной натурой, которую всколыхнула страсть.



Ландшафт в духе Оссиана с дольменом.
Этюд. Масло. 1843 г.

Глава тринадцатая
ОПЯТЬ КАРНАВАЛ¹³⁶

Празднество должно было состояться в зале самого большого театра столицы. Он был ярко освещен и уже вместил оба корпуса праздничной армии — исполнителей и зрителей. В то время как на галереях и в ярусах лож собралась та часть воинства, которая готовилась созерцать другую, а пока что разглядывала свои же наряды, фойе и проходы гудели от плотно сбившихся и выстраивавшихся в боевом порядке артистов. Здесь все колыхалось и переливалось сотней красок и мерцающим блеском. Здесь каждый ощущал себя значительной личностью, и, вырастая в собственных глазах, радостно оглядывал своего соседа, который в красивой одежде теперь тоже казался внушительным и видным, чего в другое время про него никак нельзя было сказать; впрочем, ядро выступавших состояло не из тщеславных статистов и светских франтов, а из полных жизни, возвышенных гением юношей и давно выделившихся своей работой зрелых мужей, имевших законное право представлять достославных предков. Кроме живописцев и скульпторов, в шествии должны были участвовать строители, литейщики бронзы, рисовальщики по стеклу и фарфору, резчики, граверы, литографы, медальеры и многие другие представители разветвленного мира искусства. В литейных мастерских стояли предназначенные для королевского дворца и только что законченные двенадцать позолоченных фигур прежних властителей, каждая в двенадцать футов вышиной. Многочисленные статуи мирских и духовных князей, своих и чужих, конные и пешие, вместе с их скульптурными пьедесталами, были уже готовы и развезены по городу; начинались гигантские работы, и здесь, в литейных, кипела, пожалуй, такая же бурная и мощная деятельность, как некогда вокруг той литейной печи во Флоренции, где Бенвенуто¹³⁷ отливал своего Персея. Необозримые поверхности стен уже были покрыты фресками. Витражи, с дом высотой, составлялись из цветных стекол такой огненной яркости, которой единственно заслуживало возрождение этого угасшего искусства. Все редкие и незаменимые сокровища, сверкавшие в собраниях картин на недолговечном холсте, теперь с неприятным усердием переводились опытными мастерами на фарфоровые плиты и благородные сосуды для сохранения на долгие времена; при этом художники проявляли искусство, достигшее такого совершенства лишь за последние несколько лет. И особое достоинство всем большим и малым мастерам, подмастерьям и ученикам, воплощавшим этот мир художеств, придавал чистый отблеск первой юношеской зрелости эпохи; подобная жизнерадостная устремленность редко повторяется на пути одного поколения, — обычно такая эпоха уже кое-где затягивается легкими тенями извращения и вырождения. Все, даже пожилые, были еще молоды, потому что было молодо само время, и признаки одной лишь сноровки, не одушевленной сердечным увлечением, проявлялись еще редко.

Вот распахнулись двери, и среди грома звуков появились трубачи и литавристы. Своими рядами они скрывали нараставшее за ними шествие, и пришлось ждать, чтобы они, продвинувшись дальше, дали простор для развертывания пышного строя. За ними шли двое церемониймейстеров с нюрнбергским гербом, орлом на белых и красных полосах, а дальше

¹³⁶ *Глава тринадцатая. Опять карнавал.* — Описание праздничного шествия, составляющее главное содержание этой главы, основано на источнике, упоминаемом в первой редакции романа, — «Император Максимилиан Первый и Альбрехт Дюрер в Нюрнберге. Памятная книга для участников и зрителей карнавала художников в Мюнхене 17 февраля и 2 марта 1840 года. Составлена д-ром Рудольфом Марграфом» (Нюрнберг, 1840). Из этой же книги Келлер в большинстве случаев черпал материалы для описания художников и мастеров старого Нюрнберга.

¹³⁷ *Бенвенуто.* — Имеется в виду знаменитый флорентийский скульптор и ювелир Бенвенуто Челлини (1500–1571). Его наиболее известной работой является упоминаемая Келлером статуя Персея.

шагал старшина славного цеха мастерзингеров¹³⁸, легкий и стройный, с большим лиственным венком на голове и золотым жезлом в руке. Дальше шли мастерзингеры — все в венках и со своим девизом, причем впереди — молодежь, в коротких костюмах, за ней — старики, окружавшие почтенного Ганса Сакса¹³⁹ в темной меховой мантии, олицетворение удачно прожитой жизни, с солнечным сиянием вечной юности вокруг седой головы.

Но бюргерская песня была в ту пору так богата и изобильна, что без нее не обходились никакие мастера, и в особенности появившийся теперь цех цирюльников, впереди которых несли бритву и бритвенный тазик. Здесь шагал кровопускатель Ганс Розенблют, автор озорных двустиший, а также геральдических девизов, веселый горбун с огромным клистиром под мышкой. Широкими шагами поспешал за ним длинноногий Ганс Фольц из Вормса¹⁴⁰, знаменитый цирюльник и сочинитель масленичных пьес и шванков — в качестве такового соперник Розенблота и предшественник Ганса Сакса. Так два брадобрея и сапожник лелеяли молодые ростки немецкой сцены.

Богаты песнями были и все другие цехи, следовавшие теперь каждый в одежде определенного цвета и со своим знаменем: бондари и пивовары, мясники в красном с черным, отороченном лисьим мехом цеховом одеянии, пекари — в сером и белом, восколеи в ласкающих глаз костюмах, где сочетались зеленый, белый и красный цвета, и знаменитые пряничники в светло-коричневом и темно-красном; бессмертные сапожники в черном и зеленом (цвет отчаяния и цвет надежды), пестрые портные. В лице ткачей камчатных материй и ковровщиков появились уже известные мастера более высоких ремесел, ибо они выделяли роскошные ковры и скатерти, украшавшие дома богатых купцов и патрициев.

Все появлявшиеся теперь цехи представляли собой каждую настоящую республику сильных, изобретательных людей ремесла и искусства. Опытность и знание дела распространялись не только на мастеров, но и на подмастерьев, среди которых было немало талантливых парней. Уже токари могли назвать в числе подмастерьев Иеронима Гертнера¹⁴¹, который с детским благоговением вырезал во славу божию из кусочка дерева вишню, качавшуюся на своем черенке, и сидевшую на ней муху, такую нежную, что ее крылышки и ножки двигались, если дохнуть на нее, но он же был и опытным строителем водопроводов, и создателем замысловатых фонтанов.

Из толпы сменявшихся и мелькавших предо мной персонажей, — почти с каждым из них была связана прелестная легенда, — многие еще живут в моей памяти, и все-таки их запомнилось мало по сравнению с тем, какое их было великое множество. Среди кузнецов, одетых в красное и черное (цвет железа и цвет угля), шагал мастер Мельхиор, уверенной рукой ковавший большие железные кулеврины, среди оружейников — изобретательный подмастерье Ганс Даннер, который уже в те времена гнал с металлов стружки, словно под руками у него было мягкое дерево, и его брат Леонгард, придумавший осадную машину —

¹³⁸ *Мейстерзингеры* — немецкие поэты-певцы из цеховых ремесленников в средневековой Германии. Создавали певческие союзы, подобно ремесленным цехам подчинявшиеся строгому регламенту. В XIV–XVI вв. часто проводились певческие и поэтические состязания мейстерзингеров. Произведения мейстерзингеров были связаны в основном с религиозной и мифологической тематикой, но нередко в их поэзии проступали здоровые реалистические элементы, почерпнутые из окружающей действительности. Наивысшего расцвета искусство мейстерзингеров достигло в XVI в. в Нюрнберге.

¹³⁹ *Ганс Сакс* (1494–1567) — немецкий поэт-мейстерзингер, по профессии сапожник. Стоял во главе цеха мейстерзингеров в Нюрнберге. Широко известен как автор многочисленных басен, шуточных рассказов в стихах и масленичных пьес («фастнахтшпиле»). Сакс сам сочинял мелодии к своим песням.

¹⁴⁰ *Ганс Розенблют; Ганс Фольц из Вормса* — известные в XV–XVI вв. мейстерзингеры и составители шуточных народных песен, пользовавшихся большой популярностью у современников.

¹⁴¹ *Иероним Гертнер* (ум. в 1540 г.) — немецкий архитектор, гидротехник и резчик по дереву.

винт для сокрушения стен. Тут же шел и мастер Вольф Даннер, изобретатель кремневого затвора, а рядом с ним — Бехейм, глава литейщиков. Их блестящие, пышно украшенные орудийные стволы, пушки, картечницы и мортиры снискали себе славу во всем свете.

Один лишь цех шпажников и оружейных дел мастеров охватывал целый многообразный мир искусных работников по металлу. Те, кто ковал мечи, и те, кто выделывал шлемы или латы, — каждый доводил изготавливаемую им часть воинского снаряжения до высокого совершенства, постоянно подтверждая этим свое искусство. Строгое разделение по отраслям удивительным образом переходило в свободу и многосторонность, когда простые цеховые мастера вдруг совершали важнейшие изобретения и когда все могли делать всё, часто не умея ни читать, ни писать. Так, слесаря Ганса Бульмана, изготовителя больших часов с планетными системами, и Андреаса Гейнлейна, который их усовершенствовал, а также выделывал столь маленькие часики, что они помещались в набалдашнике трости, и Петера Хеле, подлинного изобретателя карманных часов, — всех их здесь награждали простым и почетным именем слесарных мастеров.

Я еще помню среди резчиков по дереву человечка в плаще на кошачьем меху, Иеронима Реша, друга кошек, в тихой рабочей камерке которого повсюду сидели и мурлыкали эти животные. А сразу же за маленьким черно-серым кошатником я вижу светлую группу чеканщиков серебра в лазурных и розовых одеждах с белой накидкой и золотых дел мастеров, одетых в алое платье с черным камчатным плащом, богато затканном золотом. Перед ними несли серебряные барельефные плиты и золотые чаши. Искусство чеканки смеялось здесь в серебряной колыбели, здесь же были истоки новорожденного искусства гравировки на меди, и оно было обособлено от гравировки на дереве, шедшей об руку с почерневшей семьей печатников.

И я вижу еще одного славного человека, легенда о котором меня особенно тронула, Себастьяна Линденаста, шагавшего среди чеканщиков по меди. Медные сосуды и чаши его работы были так искусны и богаты, что император пожаловал ему привилегию золотить свои изделия, — больше никто этого делать не смел. Как прекрасно такое общение между рабочим человеком и главою нации, как прекрасно это исключительное право возвышать простой металл, вследствие благородства приданной ему формы, в достоинство золота!

Возле них я вижу еще Фейта Штоса, человека удивительно противоречивой природы. Он резал из дерева таких прелестных мадонн и ангелочков и затем так чудесно покрывал их красками и украшал золотистыми волосами и драгоценными камнями, что тогдашние поэты вдохновенно воспели его произведения. При этом он был умеренный и тихий человек, не пил вина и прилежно трудился, создавая все новые благолепные изображения для алтарей. Но по ночам он так же усердно изготавливал фальшивые ассигнации, чтобы умножить свое добро. Когда он попался на этом, ему публично прокололи раскаленным прутом обе щеки. Отнюдь не сломленный таким позором, он спокойно дожил до девяноста пяти лет и занимался, помимо прочего, вырезанием рельефных карт местностей с городами, горами и реками, а также писал красками и гравировал на меди.

А теперь, как совершенный и классический представитель эпохи, показался, под скромным именем литейщика желтой и красной меди, Петер Фишер¹⁴² с пятью сыновьями, мастерами блестящей бронзы. С великолепной курчавой бородой, в круглой фетровой шапочке и кожаном фартуке, он напоминал самого Гефеста¹⁴³. Дружелюбный взор его больших глаз как бы возвещал, что ему удалось усыпальницей Зебальда создать себе

¹⁴² *Петер Фишер* (ок. 1460–1529) — выдающийся немецкий скульптор; в своей литейной мастерской отливал многофигурные надгробные памятники. Самым замечательным его произведением является усыпальница св. Зебальда в Нюрнберге. Фишер сыграл значительную роль в развитии искусства немецкого Возрождения.

¹⁴³ *Гефест* — древнегреческий бог огня, а впоследствии, в связи с развитием ремесел, — бог-кузнец.

нетленный памятник, свидетельство многолетних трудов — озаренное отблеском древней Греции обиталище многих скульптурных фигур, которые в светлом зале охраняют серебряный гроб святого. Так и сам мастер жил со своими пятью сыновьями и со всеми их женами и детьми в одном доме и в одной мастерской, среди блеска новых работ.

Человек, восхищавший меня едва ли в меньшей степени, шагал с отрядом каменщиков и плотников. Это был Георг Вебер, настолько огромный и могучий, что на его серую одежду потребовалось, видимо, очень много локтей сукна. Это был настоящий истребитель лесов. Вместе со своими работниками, которых он подбирал среди таких же рослых и мощных людей, как сам, вместе с этой ратью гигантов он орудовал деревьями и балками так умно и искусно, что не знал себе равных. Он был также упрямый борец за народ и во время Крестьянской войны делал повстанцам пушки из древесных стволов. За это ему в Динкельсбюле должны были отсечь голову. Однако нюрнбергский магистрат освободил его, приняв во внимание его высокое мастерство, и назначил городским плотничьим мастером. Он строил не только красивые и прочные стропила и срубы, но также мельничные постова, подъемные машины, большущие грузовые телеги, и под могучей его черепной коробкой рождались идеи, позволявшие преодолевать любое препятствие и поднимать любую тяжесть. При всем том он не умел ни читать, ни писать.

Так сменялись, представляя целую эпоху, группы выразительнейших фигур, участников подлинной жизни, ушедшей в прошлое, — пока эта часть шествия не закончилась цехом живописцев и скульпторов и появлением Альбрехта Дюрера. Перед ним выступал паж с гербом, где на голубом поле виднелись три маленьких серебряных щита. Этот герб был пожалован Максимилианом великому мастеру как представителю всего мира художеств. Сам Дюрер шел между своим учителем Вольгемутом¹⁴⁴ и Адамом Крафтом¹⁴⁵. Собственные белокурые локоны исполнителя были разделены пробором посередине и ниспадали на широкие, покрытые пушистым мехом плечи, как на известном автопортрете, и он с изящным достоинством поддерживал торжественность возложенной на него роли.

После того как прошли все, кто строит и украшает город, пред зрителями явился, можно сказать, сам город. Лихой знаменосец в сопровождении двух бородатых алебардистов пронес большое знамя. Он был в пышном костюме с прорезями и высоко держал развевавшееся полотнище, гордо упершись в бедро левой рукой, сжатой в кулак. За ним шел воинственный комендант города в красно-черном камзоле и в латах. Голова его была покрыта широким беретом, над которым колыхались перья. Позади него следовали бургомистр, синдик¹⁴⁶ и члены муниципалитета, среди них — множество уважаемых во всех немецких землях, выдающихся людей, и, наконец, праздничные ряды родовитых граждан. Шелк, золото и драгоценные камни сверкали здесь в безмерном изобилии. Торговые патриции, чьи товары плыли по всем морям, чья стойкость и доблесть проявили себя при защите города ими же отлитыми орудиями и чьи отряды принимали участие в войнах государства, превосходили среднее дворянство пышностью и богатством, равно как единокровием и достоинством осанки. Их жены и дочери двигались, шурша, как большие живые цветы, некоторые — в золотых сетках и чепцах на красиво убранных в косы волосах, другие — в шляпах с развевающимися перьями; у одних шея была окутана тончайшей тканью, у других плечи были обнажены и обрамлены дорогими мехами. В этих блестящих рядах шло несколько венецианских синьоров, а также художников, изображавших гостей и

¹⁴⁴ *Вольгемут Михаэль* (1434–1519) — немецкий художник и мастер резьбы по дереву.

¹⁴⁵ *Адам Крафт* (1455–1508) — немецкий скульптор. Его реалистические композиции свидетельствуют о влиянии на его творчество искусства итальянского Возрождения.

¹⁴⁶ *Синдик* — в Древней Греции — адвокат. В некоторых феодальных государствах Европы синдиком называли старшину гильдии, ремесленного цеха. Во французских кантонах Швейцарии синдик — мэр города.

живописно кутавшихся в иноземные плащи, пурпурные или черные. Эти фигуры возрождали в памяти славный город у лагуны и бескрайнюю даль, живописное побережье Средиземного моря.

И вот, наконец, второй широкий ряд трубачей и литавристов, над которыми высился двуглавый орел, загремел музыкой, предшествуя империи и всем, кто олицетворял храбрость и блеск, окружавшие государя. Отряд ландскнехтов с дюжим начальником во главе сразу же создал живую картину тогдашнего военного времени и тревожного, дикого, гремевшего песнями народного быта. Проникая сквозь лес копий длиной по восемнадцать футов, мысленный взор теперь воссоздавал горы и доли, леса и нивы, замки и крепости, широко простершуюся немецкую и франкскую землю, после того как раньше зрители созерцали обведенный стенами богатый город. Кучка вояк, состоявшая из молодежи и нескольких пожилых боевых петухов, так вжилась в наряды, обычаи и песни своего исторического прообраза, что от этого праздника, в слове и картине, пошла особая ландскнехтовская культура, и еще долго повсюду можно было видеть их голые, сожженные солнцем затылки, разрезные рукава с буфами и короткие мечи.

Но все стало опять торжественнее и тише. Прошли четыре пажа с гербами Бургундии, Нидерландов, Фландрии и Австрии, затем — четыре рыцаря со знаменами Штирии, Тироля, Габсбургов и с императорским штандартом, за ними — меченосец и два герольда. После личной охраны императора, вооруженной двуручными мечами, шли гурьбою пажи в коротких золотых камзолах. Они несли золотые бокалы, опережая императорского виночерпия, и так же перед старшим егермейстером шли охотники и сокольничие. Факелоносцы, чьи лица были закрыты стальной решеткой, окружали императора. В тунике и мантии из золотой ткани, прошитой черным и отороченной горностаевым мехом, в золотых латах, с королевским обручем на берете шествовал Максимилиан Первый, и в чертах его, казалось, воплощается все доблестное, рыцарственное и одухотворенное, что было присуще его эпохе. Таков был и актер, ибо для изображения императора нашелся молодой художник из самых далеких пределов тогдашней Германии, лицо и осанка которого, казалось, были созданы для этой роли.

Следом за императором шел его веселый советник Кунц фон дер Розен, но не как шут, а как пронзительный, непобедимый герой веселой мудрости. Он был одет в камзол из розового бархата, плотно прилежавший к телу, причем широкие верхние его рукава были вырезаны большими зубцами. На голове сидела голубая шапочка с венком, в котором розы чередовались с бубенцами. Но к бедру на розовой португее был подвешен широкий и длинный меч из доброй стали. Подобно своему боевому вождю и государю, он сам был скорее героической поэмой, чем поэтом.

А теперь, бряцая оружием, зашагали, облаченные в стальные доспехи, все те, что от Люнебургской степи до древнего Рима, от Пиренеев до турецкого Дуная бились и проливали свою кровь, — блестящие военные вожди государства; потомственный виночерпий и наместник императора Зигмунд фон Дитрихштейн и достигший поста временного главнокомандующего юрист Ульрих фон Шелленберг; Георг фон Фрундсберг, Эрих фон Брауншвейг, Франц фон Зиккинген, боевые друзья Роггендорф и Зальм, Андреас фон Зонненбург, Рудольф фон Ангальт и прочие, каждый со своим оруженосцем и трофееносцем, под сенью знамен с перечислением битв и осад, в сопровождении щитов со смелыми и благородными девизами. В этой сцене можно было видеть преимущественно красивые и мощные фигуры, ибо здесь заняли места главным образом те, кто, будучи кузнецами своего счастья, сумели пробиться на вершину жизни и удачи и но своим способностям во всех отношениях были этого достойны. Я немного подался вперед со своего еще скрытого места, чтобы лучше видеть всех проходивших мимо, и поглощал все глазами, словно человек, обладающий даром пронизывать взором оболочку вещей. Совсем забыв о своем участии в игре, я наслаждался великолепием зрелища. И будто сам — потомок исчезнувших союзников империи, я дышал гордой радостью, которая еще возросла, — если только это вообще было возможно, — когда среди ученых советников короля показался знаменитый Вилибальд

Пиркгеймер¹⁴⁷. Во время так называемой «швабской войны» он вел нюрнбергский корпус армии Максимилиана против швейцарцев и описал этот поход. И теперь я вдруг вспомнил о том, что этот самый рыцарственный король со всеми своими полководцами, пожелав вновь покорить мое отечество и включить его в состав империи, вынужден был спустить имперское знамя, поднятое против моих предков, и отступить без успеха, сетуя на то, что он не в силах «побить швейцарцев без помощи швейцарцев»¹⁴⁸. Так я мог беспечально предаваться национальному самодовольству, не думая о том, что чаши на весах судьбы непрестанно поднимаются и опускаются и что, несмотря на храбрость моих старых швейцарских патриотов, они были не очень-то любимы и ценимы всеми своими соседями.

И я чуть не пропустил минуту, когда окончилось длинное парадное шествие «Последнего рыцаря», и в то время как группы прошедших встречались на широком круговом пути, уже шумел приближавшийся маскарад, где всюду развернулись все те, кого артистический мир мог выставить в качестве забавных чудаков, остряков, шуток и выдумщиков.

Фантастическое шествие открывал распорядитель маскарада, восседавший на строптивом осле, а за ним бежали, приплясывая, пестрые шуты Гилиме, Пек и Гугериллис, потешные карлики Меттерши и Дувейндль и много других, — в их толпу вновь замешался и я, весьма безобидный и тихий шут. Затем появился Дионис в венке и с тирсом, ведя за собой косматый, рогатый и хвостатый оркестр. Припрыгивая и притоптывая в такт производимым звукам, парни в козлиных шкурах исполняли какую-то древнюю, странно кричащую и рычащую музыку, высвистывая и мурлыча то в октавах, то в квинтах и перескакивая с самых высоких дискантов на самые низкие басы.

С золотым тирсом, увитым листвою, шагал предводитель вакхического шествия. Венок из синего винограда осенял его пылающий лоб. С плеч до самых ног ниспадало, волнуясь, множество пестрых шелковых лент, которые, составляя его праздничное убранство, висели вокруг его стройного нагого тела. Только ноги были в золотых сандалиях. Виноградари, опоясанные фартуками не то на средневековый, не то на античный манер, сутились вокруг нескольких иудеев, которые вернулись из обетованной страны и несли на низко прогнувшейся жерди огромную гроздь винограда. А за ними следовало четверо еще более могучих мужчин, — они несли стоймя четыре сосновых ствола, между которыми висела еще куда большая виноградная гроздь. Все остальные участники вакхической суматохи с тазами, чашами и посохами тянули и толкали колесницу увенчанного плющом бога, над которым высился свод из синих виноградных гроздьев.

Перед показавшейся затем триумфальной колесницей Венеры шли служители Марса — двое нежных мальчиков с барабаном и дудочкой, одетых маленькими ландскнехтами. Шляпы висели у них за спиной, и длинные перья волочились по полу. С лукавой торжественностью исполняли они военный марш, и свирель, скорее нежная, чем бравурная,

¹⁴⁷ Вилибальд Пиркгеймер (1470–1530) — немецкий государственный деятель и ученый при императоре Максимилиане I. Сторонник реформации. Принимал участие в так называемой швабской войне (1499 г.) и написал ее историю (в результате этой войны, начатой Максимилианом I против Швейцарии, последняя окончательно вышла из «Священной Римской империи германской нации»).

¹⁴⁸ ...он не в силах «побить швейцарцев без помощи швейцарцев». — Недостаток и скудность обрабатываемых земель заставляли сельское население горных кантонов Швейцарии в поисках средств к существованию вербоваться в наемные армии других европейских государств. В средние века швейцарские наемники (ландскнехты), славившиеся своим военным искусством, нередко сражались в рядах армий враждовавших сторон. Это имело место и в более поздние времена (например, швейцарские полки защищали трон Карла X во время июльской революции 1830 г. и поддерживали монархию Бурбонов в Неаполе), до тех пор, пока в 1859 г. швейцарское правительство не вынесло решения, запрещающего службу швейцарских подданных в войсках иностранных государств.

Здесь источником Келлеру послужила книга швейцарского историка Мельхиора Шулера «Дела и нравы соотечественников», из которой писатель черпал сюжеты для своих исторических новелл.

без устали повторяла одну и ту же фразу, полную томления и страсти. Короли в коронах и со скипетрами, оборванные нищие с сумой, попы и евреи, турки и мавры, юноши и старцы тащили колесницу, на которой покоилась Венера. Ею была не кто иная, как прекрасная Розалия, откинувшаяся на розовом ложе под прозрачным шатром из цветов. Ее платье было из пурпурного шелка, но по покрою напоминало патрицианский праздничный наряд того времени, вроде тех, в каких Альбрехт Дюрер любил рисовать мифологические фигуры. Тяжелая ткань ложилась живописными складками на широких, длинных рукавах и на царственном шлейфе, а широкополая шляпа из пурпурного бархата, окаймленная белыми перьями и украшенная сверкающей золотой звездой, бросала на лицо ее легкую тень. В руке у Венеры была золотая держава, на которой сидели два голубка; они били крыльями и целовались. В числе пленников Венеры по обе стороны колесницы шли языческий философ Аристотель и христианский поэт Данте Алигьери¹⁴⁹; оба они держались с глубочайшей почтительностью и исполняли обязанности самых приближенных телохранителей и помощников. Она же то и дело посматривала назад, ибо вслед за колесницей шествовал могучий Эриксон, который, изображая дикого человека, предводительствовал свитой Дианы. Его бедра и лоб были увиты густым плющом, на плечи была наброшена медвежья шкура. За ним шли многочисленные охотники с зелеными ветвями на шляпах и шапках, их призывные рога были увиты листвой, а одежда украшена шкурками хорька, рыси, ножками серн и кабаньими клыками. Одни вели гончих и борзых, другие, с крюком альпинистов на поясе, несли на спине горных козлов или же глухарей и связки фазанов, третьи тащили на носилках черную дичь и оленей с посеребренными рогами и копытами. Потом большая группа диких людей пронесла целый лес лиственных деревьев разных пород, где карабкались белки и гнездились птицы. За стволами этих деревьев уже мерцала серебристая фигура Дианы, стройной Агнесы, которую нарядил и украсил Люс. Колесница ее со всех сторон была увешана всевозможной дичью, и головы убитых животных окружали ее голову как бы венком из золоченых рогов и пестрых перьев. Сама богиня с луком и стрелой восседала на скале, из которой бил ключ, изливаясь в ложе из сталагмитов. Дикие люди, охотники и нимфы приближались пестрой гурьбой, чтобы утолить жажду, зачерпнув воду горстью.

Агнеса была в плотно облегавшем ее одеянии из серебристой ткани, которое обрисовывало ее гибкие формы, так что они казались отлитыми из светлого металла. Маленькая чистая грудь была словно вычеканена мастером. От талии, несколько раз обвитой поясом из зеленого флера, платье ниспадало широкими складками, не покрывая, однако, маленьких ножек, обутых в серебряные сандалии и целомудренно выглядывавших из-под него. Среди черных, по-гречески причесанных волос был еле виден блестящий лунный серп, а когда богиня слегка повертывала голову, он иногда совсем скрывался в локонах. Лицо Агнесы было белым, как лунный свет, и еще бледнее обычного; глаза ее пылали темным пламенем и искали возлюбленного, а в сверкавшей серебром груди учащенно билось сердце от принятого ею смелого решения.

А Люс, ее возлюбленный, избравший охотничий костюм ассирийского царя, чтобы иметь право идти подле своей Дианы, едва лишь он увидел Венеру-Розалию, покинул свою богиню и вмешался в триумфальное шествие Венеры. Он смотрел на нее в упор, точно лунатик, и, сам того не замечая, ни на шаг не отходил от ее колесницы.

Сам же я, верный своему старому прозвищу, напялил на себя зеленый наряд шута и украсил колпак с бубенцами сплетением чертополоха и веток остролистника с красными ягодами. Увидев, как обстоят, или, вернее, как идут дела, я теперь воспользовался этой лесной одеждой, чтобы время от времени проскальзывать сквозь странствующий лес и

¹⁴⁹ Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, создатель итальянского национального литературного языка, автор «Божественной комедии», одного из величайших творений мировой литературы. В «Божественной комедии» и в других своих произведениях Данте предстает, согласно определению Ф. Энгельса, как последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени.

двигаться возле злополучной Дианы; ибо вблизи нее не было ни одного друга, а «дикий человек» Эриксон внимательно смотрел на Люса и Розалию, что, впрочем, мало нарушало его душевное равновесие.

Южные греческие картины сменились северной немецкой сказкой — началось шествие горного короля. Горы из бронзовых уступов и кристаллов были сооружены на его колеснице, и на них покоилась гигантская фигура в мантии из серого меха. Белоснежная борода и волосы рассыпались до бедер и волнами окружали их. На голове короля сверкала золотая корона с высокими зубцами. Вокруг сновали в пещерах и ходах крохотные гномы. Это были настоящие маленькие мальчики. Но горного духа, карлика, стоявшего впереди на колеснице со светящейся лампой рудокопа на голове и с молотком в руке, изображал совершенно взрослый художник, который был ростом едва ли трех пядей, но изящно сложен, с чистым, мужественным лицом, голубыми глазами и белокурой бородой клином. Этот карлик, словно вышедший из волшебной сказки, отнюдь не был какой-нибудь музейной диковинкой; нет, то был опытный, прославленный мастер, живое свидетельство того, что широкий круг деятелей искусства охватывал не только все ветви большого народа, но и все формы физического бытия.

Позади горного короля на той же колеснице стоял чеканщик, который из серебра и светлой меди отбивал небольшие жетоны на память о празднестве. Дракон выплевывал их в звонкий таз, а два пажа, по имени Золото и Серебро, бросали блестящие медальки в толпу зрителей. Наконец, позади один-одинешенек плелся шут Гюлихиш и печально потряхивал пустым кошельком.

А по пятам хромого шута двигалось в прежнем порядке все великолепное шествие: опять прошли цехи, старый Нюрнберг, император и империя, сказочный мир, во второй раз и в третий раз, и все время Люс шел подле колесницы Венеры, а позади шагал внимательный Эриксон; Агнеса же, которой в ее густом лесу не было видно, что происходит, то растерянно озиралась вокруг, то грустно опускала глаза.

Теперь все участники представления расположились тесным строем и запели звучную праздничную песню, выражая в ней свою преданность настоящему королю, власти которого подчинялся весь этот мир сновидений. Длинное шествие продефилировало перед собравшейся в ложе королевской фамилией, затем крытыми переходами направилось во дворец и проследовало по его залам и коридорам, также наполненным зрителями. Довольный и даже веселый монарх, который во всем этом шуме и блеске многоцветного празднества мог в известной мере видеть вознаграждение собственных заслуг, восседал на золотом кресле среди своей семьи и присматривался к той или иной группе проплывавшей мимо него процессии, иногда обращаясь с шуткой к отдельным участникам.

Когда я приблизился к нему, то вспомнил, что у меня с ним есть кое-какие счеты. Незадолго до того я шел в сумерках по тихой улице, чтобы, по совету пьяненького зрителя мер и весов, скромно пропустить вечерний стакан вина. Мне повстречался незнакомый худощавый человек, который шел быстрым шагом, но когда я, не обратив на него внимания, хотел пройти мимо, внезапно остановился и спросил меня, почему я не оказываю ему должную честь. Я с изумлением посмотрел на него. А он уже сорвал с моей головы шляпу, сунул мне ее в руки и сказал: «Разве вы меня не узнаете? Я король!» — после чего удалился в полумраке.

Я водворил шляпу на место, с еще большим недоумением поглядел вслед исчезавшей тени и не знал, как ко всему этому отнестись. Наконец я решил, что если это шутник, позволивший себе глупую выходку, тогда моя честь не затронута; если же это и в самом деле король, тогда — тем более. Ибо, раз королей нельзя оскорбить, то и они не могут оскорбить или унижить, поскольку их личный произвол нарушает всякую обычную связь событий.

Проходя теперь мимо него, я сразу увидел, что это и в самом деле был король. Пользуясь той свободой, которой располагают шуты, я выскочил из рядов, подошел и, подставляя ему голову, весело крикнул:

— Эй, братец король! Что ж ты не срываешь с меня шляпу?

Он пристально посмотрел на меня, очевидно, все вспомнил и сообразил, что под шляпой я подразумеваю чертополох и остролист, о которые он мог уколоться. Но он не сказал ни слова, а только с улыбкой захватил кончиками пальцев два торчавших зубца с бубенчиками на моем колпаке, тихонько поднял его так, что я опять оказался перед ним с обнаженной головой, и медленно опустил колпак на место. Тогда я увидел, что здесь больше ничего не выйдет, оставил свою затею и побрел дальше.

Спускаясь по парадным лестницам, двигаясь по сводчатым галереям и колонным залам, через площади, освещенные горячей смолой и заполненные колышавшимися толпами народа, художники везде проходили мимо своих произведений; наконец шествие закончилось в большом, предназначенном для празднеств здании, помещения которого были приготовлены и украшены для дальнейшей программы. Самый большой зал был приспособлен для банкета, игр и танцев, притом полностью в стиле изображаемого века. Для отдельных групп были предназначены ниши и комнаты, убранные наподобие садов. Когда общая трапеза уже была в полном разгаре, сразу же во всех концах начались танцы и игры. В одном из меньших залов мастерзингеры устроили при открытых дверях «школу пения». По обычаю цеха, посетители школы состязались здесь в вокальном искусстве, и певцы провозглашались мастерами. Исполнявшиеся стихотворения содержали главным образом взаимные нападки на те или иные направления в искусстве; в них авторы высмеивали высокомерие и причуды людей, сетовали на общественные пороки, а также восхваляли то, что неоспоримо, общепризнанно. Это было как бы общее сведение счетов, — каждое направление, каждая школа имели среди певцов своего представителя, владевшего заранее заготовленными формулами. В том виде, в каком преподносились живые сатирические стихи, содержание их звучало чрезвычайно странно. Певцы однообразно бубнили свои деревянные вирши, однако каждого из них вызывали отдельно, объявляя новый мотив. Тут пели на мотив страстной жалобы Орфея¹⁵⁰, на желтый мотив львиной шкуры, на черный мотив агата, на ежовый мотив, на мотив закрытого шлема, на высокий горный мотив, на мотив кривых зубцов бороны, на гладкий шелковый мотив, на мотив соломинки, на острый мотив шила, на тупой мотив кисточки, на синий берлинский мотив, на рейнский горчичный мотив, на мотив блеска церковных колоколов, на кислый лимонный мотив, на вязкий мотив меда и так далее, и каждый раз раздавался громкий хохот, когда после таких пышных возвещений все снова и снова слышалось прежнее унылое треньканье шарманки. Некоторые певцы, избирая тему, пользовались всем, что было у них перед глазами. Так, некая благородная дама, согласно исполняемой ею роли, надменно отказала сапожнику в танце, и тот отомстил ей громким восхвалением снисходительности многих высокопоставленных дам, у которых легко добиться успеха, если знать, как приступить к делу. На это отозвался дубильщик, подняв старинный вопрос о том, дерзость или скромность скорее приводит к цели. И, наконец, один свечник объявил женщин такими существами, которые всегда готовы предпочесть доступную форму общения с ними, если невозможна иная.

Госпожа Венера, которая с частью своей свиты посетила школу пения, не могла слушать столь грубые речи. С деланным негодованием она поднялась и удалилась в один из боковых покоев, где находился ее двор, включавший в свой состав еще двух или трех миловидных женщин. В соседней, увитой зеленью нише расположились охотники, и несколько юных нимф составляли свиту их богини Дианы. Но нередко нимфы оставляли ее одну, уносясь в танце со своими удалыми партнерами-охотниками. Поэтому я часто садился около Дианы и старался по возможности скрасить одиночество покинутой девушки разговором и обычными мелкими услугами, пока не произойдет желанный поворот. Эриксон

¹⁵⁰ *Орфей* — мифический поэт из Фракии. Лира Орфея издавала столь чудные звуки и сила его песнопения была такова, что дикие звери, покинув свои пещеры, следовали за ним, а скалы и деревья сдвигались со своих мест, чтобы приблизиться к нему. Спустившись в подземное царство за своей умершей женой Евридикой, Орфей растрогал жалобной песней сердца грозных богов, обещавших вернуть ему Евридику. Миф об Орфее лег в основу многих произведений мировой литературы и музыки.

приходил и уходил. Из-за своего наряда «дикого человека» он не мог ни танцевать, ни садиться слишком близко к женщинам. Роль эту ему пришлось взять на себя в самые последние дни, в силу возникшей необходимости, и он согласился на нее не слишком неохотно, — она несколько отдаляла его от Розалии, и, таким образом, их отношения не получали преждевременной огласки. Розалия была с этим согласна. Теперь он готов был пожалеть о том, что допустил такое положение, видя, как Люс то и дело подсаживается к его даме, как она смеется, шутит, сияет приветливым оживлением и подзадоривает развлекающего ее изменника милыми в своей наивности вопросами, он же, ослепленный, не замечает недосыгаемости уверенной в себе женщины. Ни он, ни Эриксон не видели как бы случайного, беглого, но довольного взгляда, которым она посреди разговора провожала фигуру «дикого человека», когда тот проходил мимо на почтительном расстоянии.

Агнеса уже давно безмолвно сидела возле меня, и медленно, но неудержимо уходили драгоценные часы этой ночи. Под напором бурных чувств, теснивших грудь девушки, она покачивала своими черными локонами и лишь изредка бросала в сторону Люса и Розалии пламенный взгляд; иногда же она смотрела на них со спокойным удивлением, но неизменно видела одну и ту же картину. Наконец замолк и я, погружившись в унылые размышления по поводу слабости друга, которого ставил так высоко. Словно некое злое явление природы, тревожило меня это жестокое непостоянство, переходившее в прямую наглость, и я страдал от ощущения, подобное которому мы испытываем, когда видим во сне безумца, бросающегося в пропасть.

Меня вернул к действительности глубокий вздох: Агнеса заметила, как Люс отправился с Розалией в расположенный по соседству главный зал, где все кипело и бурлило в танце. Неожиданно она предложила мне отвести туда и ее, чтобы потанцевать с нею. Через минуту мы уже кружились вместе с переливчато-пестрой толпой и дважды встретились с розовой Венерой, чье пурпурное одеяние, развеваясь, временами наполовину закрывало танцевавшего с нею Люса. Он приветствовал нас с радостным и довольным видом, как приветствуют детей, видя, что им как будто весело. И снова мы столкнулись под конец вальса. Прелестное дитя понравилось Розалии, и она пожелала, чтобы Агнеса осталась с нею; я же должен был принять участие в представлении шутов, которым сменились танцы.

На длинной веревке Кунц фон дер Розен провел сквозь толпу всех шутов. Каждый нес написанное на плакате своего вида глупости. От более легких веселый советник отделил девять более тяжелых и расставил их перед императором, словно кегли. Теперь перед глазами у всех стояли Спесь, Зависть, Грубость, Тщеславие, Всезнайство, Недоброжелательство, Самолюбование, Упрямство и Нерешительность. Огромным шаром, который с комическими ужимками прикатили остальные шуты, рыцари и бюргеры пытались сразить шутов, изображавших кегли, но ни один даже не зашатался, пока наконец героический король Макс, представлявший весь немецкий народ, не повалил их всех одним ударом, так что они покатались друг через друга.

После этого разгрома было показано шуточное воскрешение: Кунц, в награду победоносному королю, начал показывать ему восставшие из праха скульптуры древнего мира и прежде всего составил из павших шутов группу Ниобид¹⁵¹, которая, правда, во времена Максимилиана еще лежала в земле. Из этой трагической группы вдруг выделились три грации — то были три изящных юных шута; потом они повернулись кругом, и число их опять уменьшилось на одного — теперь они предстали обнявшимися Амуром и Психеей¹⁵²;

¹⁵¹ *Ниобиды* — в древнегреческой мифологии дети Ниобы и Амфиона, убитые Аполлоном и Артемидой. Существуют многочисленные античные и новые скульптурные группы Ниобид.

¹⁵² *...они предстали обнявшимися Амуром и Психеей...* — Амур — в римской мифологии бог любви (у греков — Эрот), изображаемый в виде крылатого мальчика с луком и стрелами; Психея — мифологическое олицетворение человеческой «души» в образе девушки. Миф о любви Амура и Психеи служил сюжетом для многих произведений литературы, живописи и скульптуры.

наконец взамен них остался один Нарцисс¹⁵³. Но и этот последний внезапно исчез, и на его месте все увидели уже упомянутого мною самого маленького карлика. Он изображал умирающего гладиатора, и притом так превосходно, что все зрители были растроганы и громко выражали свое одобрение. Тогда подбежали все шуты, подняли его и торжественно унесли вместе с перевернутым блюдом для рыбы, на котором он лежал.

Когда развеялось и это облако, стала видна группа Лаокоона¹⁵⁴, представленная Эриксоном и двумя молодыми сатирами, а две большие змеи были изготовлены из проволоки и холста. Требовалось немалое усилие, чтобы с напряженными мускулами оставаться в предписанном положении; но задача эта стала для него еще труднее, когда, судорожно откинув назад голову, он опустил глаза и на миг увидел Розалию, которую вел под руку Люс. Она с улыбкой, но лишь мимоходом обернулась в его сторону и потом, болтая со своим кавалером, затерялась в толпе. Он слышал также, как кто-то вблизи сказал:

— А прекрасная-то Венера все время ходит с этим богатым фламандцем или как его там, фрисландцем, что ли! Впрочем, малый недурен собой, и она, верно, думает: «Красив и богат молодец, — можно и впрямь под венец!»

Как только Эриксон сбросил с себя змей и освободился, он заметался по всему дому, выпрашивая у пирующих знакомых ненужные им части одежды. Весьма странно одетый не то епископом, не то охотником, не то дикарем, он искал исчезнувших и нашел их в большом кругу, в котором объединились сподвижники Вакха, свита Венеры и охотники. Он не был ревнив и стыдился даже мысли о том, что может когда-либо приревновать, — ведь всякая ревность, и обоснованная и необоснованная, равно подрывает достоинство, в котором нуждается настоящая любовь. Он знал только, что на свете все возможно и большие последствия часто проистекают от малого упущения, которое все меняет. Кроме того, он в это время еще не был уверен, проявлять ли спокойствие или тревогу, потому что не знал, какой из этих двух способов поведения скорее мог оскорбить Розалию. Ведь если она не отказывалась так открыто принимать ухаживания голландца и при этом таила особые намерения, то и Эриксон должен был потрудиться понять ее действия.

Так или иначе, спокойствие взяло верх, когда он увидел, что интересовавшая его пара сидит в мифологическом кругу. Он с равнодушным видом занял место поблизости от них, однако вскоре ему пришлось снова напрячь внимание. Люс вел речь о самых безобидных и даже безразличных вещах, но при этом обращаясь непосредственно к даме в том доверительном тоне, какой пускают в ход подобные завоеватели, чтобы заблаговременно приучить свет к неизбежному. Эриксон многое сносил в Люсе и воздерживался от того, чтобы его осуждать. Но теперь в нем все-таки зародилась мысль, не принадлежит ли его приятель к шутникам, главный фокус которых состоит в том, чтобы стянуть золотые часы или отбить у другого жену. Бывают же, думал он, среди мужчин, равно как и среди женщин, такие хищники и хамелеоны, которые счастливы лишь тогда, когда разрушат чужое счастье! Правда, они получают лишь то, что могут взять, и товар обычно стоит их самих! Но в этот раз, право, было бы жаль! И он, снова испытывая и тревогу и восхищение, приглядывался к тому, как Розалия с бесконечной обворожительностью прислушивалась к речам Люса и неотразимой улыбкой подстрекала его к остроумным и самоуверенным рассказам. Поглощенный этим, Эриксон не мог заметить того, что происходило с Агнесой, и того, как я, в качестве ее посланца, еще раз подошел к Люсу и тихо, но настойчиво просил его хоть один

¹⁵³ *Нарцисс* — в греческой мифологии прекрасный юноша, лишь самого себя считавший достойным любви. По воле богини Немезиды Нарцисс, увидев в ручье собственное отражение, влюбился в него и умер от тоски. На крови его вырос цветок нарцисс.

¹⁵⁴ *Группа Лаокоона* — знаменитая скульптурная группа работы Агесандра, Афинодора и Полидора (I в. до н. э.), изображающая троянского жреца Лаокоона, который, по греческому преданию, вместе с сыновьями был задушен гигантской змеей, высланной на него из моря богиней Афиной-Палладой.

раз потанцевать с нею. Люс, как раз сделавший маленькую паузу, встрепенулся, как вспугнутый глухарь на току, но не улетел прочь, а, понизив голос, накинулся на меня:

— Что это за поведение для молодой девушки! Танцуйте друг с другом и оставьте меня в покое!

Я ушел, чтобы, как мог, утешить и поддержать обиженную, взволнованную девушку, но меня опередил Эриксон, которому Розалия во время моего разговора с Люсом шепнула несколько слов, по-видимому подбодривших его. Он повел серебристо мерцавшую фигурку в ряды танцующих, стал кружить ее с большой силой и легкостью, и Агнеса, сама вовсе не слабая, летала с ним и вокруг него, как если бы ее стройные ножки были из стали. После того ее пригласил Франц фон Зиккинген, который вовсе не хотел доживать свой век в тесных латах. В начавшемся затем танце с фигурами она опять так выделялась своеобразным очарованием, что сам великий мастер Дюрер, подошедший ближе, не отрывал от нее глаз; оставаясь верен своей роли, он вынул маленький альбом и усердно начал рисовать. Эта славная выдумка доставила всем большое удовольствие. Танец прекратился, и собралась толпа, взрывающаяся одобрителем и почти благоговейно, словно старый мастер и в самом деле появился собственной персоной и стал рисовать на глазах у всех.

Но это еще не было вершиной тех почестей, что выпали в ту ночь на долю Агнесы. Император, прогуливаясь со своей свитой, заинтересовался этой сценой, велел представить ему стройную Диану и в милостивых словах попросил Зиккингена уступить ее на один тур. Грянул весь оркестр, и она об руку с королем праздника обошла весь зал, и везде на ее пути рыцари, благородные дамы и патрицианки склонялись перед ней, а бюргеры снимали шляпы.

Ее лицо расцвело румянцем возбуждения и надежды после такого блестящего успеха. Император торжественно передал ее Зиккингену, а тот — Эриксону, который и отвел ее на место. Однако ее любимый ничего этого не видел и даже не заметил ее возвращения. Розалия за это время сияла с себя широкополую шляпу с перьями и дала ее подержать Люсу. Теперь, когда она сидела с непокрытой головой и приводила белыми пальцами в порядок свои благоуханные волосы, ее красота с еще более ошеломляющей силой действовала на него.

Агнеса побледнела, обратилась ко мне и попросила сказать ему, что хочет вернуться домой. Он сейчас же поспешил к ней, принес ее теплый плащ, галоши и, когда она была надежно укутана, вывел девушку, кивнув мне, во двор, вложил ее руку в мою и, простившись с Агнесой в ласковом, отеческом тоне, попросил меня доставить домой целой и невредимой его маленькую подопечную.

Он пожал нам руки и тотчас же снова исчез в толпе, поднимавшейся и спускавшейся по широкой лестнице.

Мы стояли на улице. Экипажа, в котором Агнеса приехала сюда, полная решимости определить свою судьбу, нигде не было. Она печально подняла глаза на освещенное здание, где все пело и звенело, затем еще печальнее повернулась к нему спиной и пустилась под моей охраной в обратный путь по тихим улочкам, над которыми уже брезжило утро.

Головка Агнесы была низко опущена, в руке она, сама того не зная, сжимала ключ от дома, вещь старинной работы: Люс, по рассеянности, сунул его ей, вместо того чтобы дать мне. Она крепко стиснула ключ, смутно сознавая, что этот кусок холодного ржавого железа ей дал Люс. Это все-таки было от него, а ведь он нынче не слишком часто обращал на нее внимание! За праздничным ужином девушка почти ничего не ела, а позднее я ей раздобыл стакан прохладительного напитка, которым она хоть немножко освежилась.

Когда мы добрались до ее дома, она остановилась молча и не шевелилась, хотя я несколько раз спрашивал ее, дернуть ли за звонок или постучать дверным молотком с изящной наядой вместо ручки. И лишь когда я заметил в ее руке ключ, отпер дверь и предложил ей войти, она медленно обвила руками мою шею и начала сперва стонать, как во сне, а затем бороться со слезами, которые не хотели литься. Плащ сполз с ее плеч, я хотел его подхватить, но вместо этого по-братски обнял ее и стал гладить по голове и шее, потому что лицом она зарылась в мое плечо. В изящной серебряной груди, прильнувшей к моей, я

чувствовал нараставшие вздохи и слышал биение сердца. Оно напоминало бормотанье скрытого источника, которое порою слышишь в лесу, лежа на земле. Жаркое дыхание Агнесы скользило по моему виску, и мне чудилось, будто я наяву переживаю сладостную и печальную сказку, какие рассказаны в старых песнях. Невольно вздохнул и я. Наконец бедняжка расплакалась и начала горько всхлипывать. Эти естественные жалобные звуки, вовсе не красивые, но бесконечно трогательные, как горе ребенка, теснились и обрывались в ее горле, у самого моего уха. Она перебросила голову на другое мое плечо, и я бессознательным движением приблизил и свою голову, как бы подтверждая этим ее боль. Тогда листья чертополоха и остролиста на моем колпаке поцарапали ей шею и щеку, она отшатнулась, пришла в себя и вдруг поняла, с кем она. Беспомощно стояла предо мной дважды обманувшаяся девушка и, плача, смотрела в сторону. Тогда я, лишь бы чем-нибудь занять ее, повесил ей на руку плащ, осторожно подвел ее к лестнице и затем вышел, притянув за собой дверь. В доме еще все было тихо, ее мать, по-видимому, крепко спала, и я слышал лишь, как Агнеса со стоном поднималась по лестнице, спотыкаясь о ступеньки. Наконец я ушел и не спеша возвратился в праздничный зал.

Глава четырнадцатая **БОЙ ШУТОВ**

Солнце только что взошло, когда я очутился в зале. Все женщины и пожилые мужчины уже удалились. Но над толпой более молодых мужчин колыхались волны неиссякающего веселья, и многие из гостей садились в ожидавшие их экипажи, чтобы незамедлительно, без передышки выехать за город и продолжать кутеж в охотничьих домиках и увеселительных садах, раскинутых в лесах по берегам широкой горной реки.

У Розалии была в этой местности вилла, и она пригласила веселых участников маскарада собраться у нее во второй половине дня; к тому времени и сама гостеприимная хозяйка должна была прибыть туда. Она пригласила еще нескольких дам, и те сговорились, что по случаю масленицы явятся в прежнем наряде: им тоже хотелось возможно дольше наслаждаться блеском праздника.

Эриксон отправился домой переодеться; сняв маскарадный костюм, он облачился в свое повседневное платье и только проявил большую, чем обычно, тщательность. А так как несколько позже и Розалия появилась в современном туалете, который был выбран сообразно с временем года и торжественностью момента, то можно было подумать, что так условлено между ними или что ими владеет одинаковое чувство, и любопытные наблюдатели не оставили без внимания эти нехитрые признаки.

Люс тоже поспешил домой, но с противоположным намерением. В свое время он для этюда к картине с Соломоном заказал костюм древневосточного царя. Длинное одеяние было из тонкого белого батиста, ложившегося множеством складок и украшенного пурпурной, синей и золотой каймой, кистями и бахромою. Головной убор и обувь также приблизительно соответствовали тому стилю, который в древности был распространен на территории Передней Азии. Создавая картину, он своим этюдом не воспользовался. Но теперь это одеяние показалось ему годным для того, чтобы сыграть шутку и появиться при дворе богини любви в качестве вчерашнего короля охотников, облачившегося в праздничный наряд. Для этого он завил волосы и бороду, умастил их благовонными маслами, а на обнаженные руки надел причудливые запястья и кольца. Все это заняло его до полудня, после того как он, в постигшем его ослеплении страсти, вероятно, провел бессонную ночь.

Что касается меня, то я и вовсе не сомкнул глаз и уже ранним утром отправился в путь с большинством приглашенных. Огромные телеги, которые топорились копытами сидевших на них ландскнехтов, с грохотом катились впереди, а за ними тянулся длинный ряд повозок и экипажей всякого рода. Все это двигалось навстречу яркому утреннему солнцу по опушке живописного букового леса, вдоль высокого, обрывистого берега потока, который, сверкая,

шумно мчался, обходя островки, покрытые наносной галькой и кустарником.

В этот мягкий февральский день небо было безоблачно-голубым. Вскоре солнце стало пронизывать деревья, и если на них не было листвы, то тем ярче блестел нежный зеленый мох на земле и на стволах, а в глубине сверкала голубая горная вода.

Пестрая толпа растекалась по живописной группе построек, окруженных лесом и стоявших на береговом пригорке. Лесной домик, старинная гостиница и мельница у пенистого лесного ручья вскоре превратились в один веселый лагерь. Тихие обитатели были застигнуты врасплох и оглушены празднеством; они смотрели и слушали, они дивились и смеялись — бесчисленные удивительные персонажи внезапно окружили их со всех сторон. Что же касается артистов, то картины природы и пробуждающейся весны оживили в них чувства, дремавшие в самых недрах души. Свежий воздух наполнил их радостью, и если веселье минувшей ночи основывалось на заранее продуманной подготовке, то веселье этого дня хотелось срывать наугад и свободно, как плоды с дерева. Театральные костюмы вызывают самые фантастические чувства и желания, и теперь, когда они стали чем-то привычным, уже казалось, что иначе и быть не может; беспечные счастливыцы затевали все новые и новые шутки, игры, шалости — и остроумные и самые что ни на есть ребячливые. Иногда вся местность оглашалась благозвучным, уверенным пением — то оно раздавалось под кущей деревьев, то доносилось из кабачка, то — из толпы ландскнехтов, обступивших дочку мельника. Но при всем этом каждый оставался тем, чем был, и вечные человеческие переживания скользили, как легкие тени, но радостным лицам. Ворчливый при случае ворчал, озорной сердил обидчивого, беспечный вызывал придиру на легкую перебранку; неудачник вдруг вспоминал о своих заботах и глубоко вздыхал; бережливый и опасливый украдкой пересчитывал свою наличность, а ветреный, у которого карман уже опустел, удивлял и огорчал его внезапной просьбой о ссуде. Но все это пролетало и, кружась, исчезало, как порыв ветерка над зеркальной гладью вод.

Меня тоже на некоторое время покрыла тень такого облака. Следуя за мельничным ручьем, я ушел глубже в лес и умыл лицо в свежих и светлых волнах. Потом присел на бревна плотины и задумался о прошлой ночи и странном приключении у дома Агнесы. Тихое журчание воды привело меня в полудремотное состояние, и мои мысли, как во сне, унеслись на родину. Мне мерещилось, что я сижу возле покойной Анны у тихого лесного ключа, и на мне костюм персонажа из «Вильгельма Телля». Потом рядом с Анной я ехал верхом по местности, озаренной вечерним светом, и теперь я взирал на все это со спокойным сердцем, как на видение ушедших дней, как на что-то законченное и не допускающее изменения. Но вот эта картина развеялась и померкла, уступив место образу Юдифи, с которой я шел куда-то среди ночи. Потом я был в ее доме, когда его осаждали братья милосердия, видел ее во фруктовом саду, когда она выходила из осенней мглы, и, наконец, — на возу переселенцев, исчезавшем вдаль. «Где она? Что с ней стало?» — кричал во мне голос, и от тоски по ней я вдруг пробудился. В ярком свете дня я видел Юдифь — она вновь стояла и ходила передо мной, но под ее милыми ногами не было земли, и мной овладело такое чувство, будто вместе с ней у меня отняли все, будто я безвозвратно потерял самое лучшее, что у меня было и еще могло быть.

Я думал о беге неумолимого времени и, вздыхая, тихо покачивал головой; лишь теперь от звона бубенцов мои мысли совсем пробудились и пришли в порядок. Я подумал, наконец, и о матушке, правда, лишь как о чем-то таком, что само собою разумеется и что утратить невозможно, подумал как о всегда обеспеченном домашнем хлебе. Что матушка тоже когда-нибудь может исчезнуть — этого я не понимал и никогда об этом не думал. Все же я сосредоточенно размышлял об одинокой женщине, грустившей в тихой комнате; мне шел уже двадцать второй год, а я до сих пор не мог дать ей ясный отчет о моих видах на будущее, о том, как я думаю жить на свете. Быстро передвинул я наперед висевшую у меня на поясе сумочку — в ней, помимо носового платка и других предметов, лежали наличные деньги, остаток той суммы, которую, с обычной пунктуальностью, матушка недавно мне прислала. Однако подсчитывать их сейчас не имело смысла, и я передвинул сумку обратно, но не

скрыл от себя, что мое маленькое домашнее провидение не одобрило бы моего участия в празднике. Наряд шута стоил, правда, не много, — потому я главным образом и избрал его. Тем не менее мог настать час, когда я горько пожалел бы и об этой скромной затрате. Впрочем, я уже лучше матушки понимал, что необходимо и полезно молодому парню, — особенно сейчас, когда из веселого лагеря до меня как раз донеслась новая песня. Я снова покачал головой, так что зазвенели бубенцы, вскочил и убежал.

Я приятно проводил время, переходя с места на место и знакомясь с окрестностями, то в обществе других гостей, то один. Около полудня я натолкнулся на элегантного Эриксона, шедшего из города. Предметом разговора стало поведение нашего друга Люса. Эриксон пожал плечами и говорил мало, я же выражал удивление и долго распространялся о том, как, мол, не стыдно Люсу так поступать. Я порицал его самым резким образом, и к этому меня еще подзадоривала смутная мысль, что минувшей ночью я лишь случайно удержался от некоего непозволительного порыва, когда Агнеса, в смятении чувств, обвила руками мою шею. Моя добродетель казалась мне несокрушимой, ибо, благодаря проснувшимся воспоминаниям о Юдифи и сильной тоске по ней, я чувствовал достаточную уверенность в себе. И все-таки было странно, что переживания минувших дней, неподходящие и опасные для меня, теперь послужили к тому, чтобы уберечь меня от нынешних соблазнов.

— Готов поспорить, — прервал меня Эриксон, — что сегодня он обманет бедняжку и не возьмет с собой. Следовало бы сыграть с ним шутку, чтобы его образумить. Возьми экипаж и поезжай в город. Если не найдешь этого вертопраха ни дома, ни у его девушки, вези ее сразу сюда; действуй от имени Розалии, скажи, что она так распорядилась, тогда мать не станет возражать. Я за все отвечаю. А Люсу потом просто скажешь, что считал своим долгом исполнить его собственное поручение — ведь он вчера ночью с такой настойчивостью просил тебя взять на себя заботу об Агнесе!

Я нашел эту выдумку вполне приемлемой и сейчас же поехал в город. В пути я встретил Люса, который сидел один в коляске, закутанный в теплый плащ. Однако конусообразный с подвесками головной убор царя и причудливо завитая черная борода в достаточной мере выдавали запоздалого ряженого.

— Куда ты? — крикнул он мне.

— Мне поручено, — ответил я, — разыскать тебя и позаботиться о том, чтобы ты взял с собой эту милую девушку, Агнесу, если ты не подумаешь о ней сам! По-видимому, дело обстоит именно так, и если ты ничего не имеешь против, я заеду за ней, притом от твоего имени. Так хочет красивая вдова, за которой бегают Эриксон.

— Что ж, действуй, сынок! — как можно равнодушнее произнес Люс, хотя явно испытывал некоторое удивление.

Он плотнее закутался в плащ и резко приказал кучеру ехать дальше, а я вскоре остановился перед домом Агнесы. Топот копыт и дребезжанье внезапно остановившихся колес необычно прозвучали на тихой окраинной площади, и Агнеса в тот же миг с сияющими глазами очутилась у окна. Едва она увидела, что из коляски вышел я, ее взор опять омрачился, но все же, когда я вошел в комнату, она еще была полна ожидания.

Ее мать оглядела меня со всех сторон, и, продолжая смахивать старым страусовым пером пыль со своего алтаря, с висевшей над ним картины, с фарфоровых чашечек и хрустальных бокалов, а также с восковых свечей, она принялась болтать:

— Ну, вот и к нам в дом заглянул карнавал, хвала девице Марии! Что за славный шут этот господин! Но скажите, что же это такое? Что сделал господин Люс с моей дочерью? Сидит девочка все утро, не ест, не спит, не смеется и не плачет!.. Это мой портрет, сударь, такой я была двадцать лет назад! Впрочем, кажется, вы уже видели его! Слава Спасителю, мне еще не страшно на него смотреть! Скажите же мне, что с моей деткой? Наверно, господину Люсу пришлось отчитать ее. Я все время говорю: она еще слишком глупа, да и недостаточно образованна для такого важного человека! Ничему не учится и такая неловкая! Да, да, ты только посмотри, Агнеса, разве это у тебя от меня? Неужели ты не видишь по портрету, с каким достоинством я держалась, когда была молода? Разве не была я совсем как

благородная дама?

На все это я ответил приглашением, переданным от имени Люса, а также от имени госпожи Розалии; к тому же я привел всякие причины, по которым он якобы не мог явиться сам. Мать Агнесы неоднократно перебивала меня восклицаниями:

— Живей, живей, Нези! Пресвятая Мария! Какие там собрались богатые люди! Чутьочку маловата ростом, да, чутьочку маловата эта милая дама, но все-таки прелестна! Теперь ты можешь наверстать, если что вчера упустила или сделала не так. Ступай, одевайся, неблагодарная! Надень все те драгоценные вещи, что тебе подарил господин Люс! Вот валяется на ковре полумесяц! Но прежде всего нужно тебе причесать волосы, — с вашего позволения, сударь!

Агнеса уселась посреди комнаты, и щеки ее слегка зарделись от вновь зародившейся надежды. Мать причесала ее с большим искусством. Она не без грации водила гребнем, и я, рассматривая статную женщину и все еще красивые черты ее лица, должен был признать, что ее тщеславие когда-то имело свое оправдание.

Агнеса сидела с обнаженными плечами, осененными мраком ее распущенных волос, и я долго смотрел, как мать расчесывает длинные пряди, умащает и заплетает их, отступая при этом далеко назад, — это было пленительное, умиротворяющее зрелище. Она говорила без умолку, мы же с Агнесой молчали и хорошо знали почему. Из всех этих речей мне было ясно, что Агнеса даже родной матери ничего не рассказала о горе, пережитом ею минувшей ночью, и отсюда я сделал вывод о том, как жестоко должна была страдать девушка.

Наконец волосы были уложены почти так же, как вчера, и Агнеса ушла с матерью в их общую спальню, чтобы облачиться в одежду Дианы; едва справившись с этим, обе они появились снова, и туалет был закончен в моем присутствии, — старухе очень уж хотелось поболтать и узнать возможно больше подробностей о празднике и о том, как все происходило. А затем она сварила крепкий шоколад, свой излюбленный напиток, составные части которого, равно как и печенье, были заготовлены еще с утра, на случай ожидавшегося посещения ассирийского царя.

Теперь бережливая дама решила, что этот ароматный напиток вполне может заменить обед, и она усердно принялась за него, так как сварила целый котелок. Агнеса тоже выпила две чашки и съела изрядный кусок пирога. Я охотно составил им компанию, хотя отведал уже разных яств. Человеку за свою жизнь приходится сталкиваться с самыми неожиданными формами гостеприимства. Теперь мне самому трудно представить себе, что я, наряженный шутом, мирно ел и пил в изящном маленьком памятнике строительного искусства, между Дианой и старой Сивиллой.

Ввиду хорошей погоды и по просьбе старухи, желавшей похвастать перед соседями, крыша экипажа, когда мы отъезжали, была откинута; мать Агнесы, посылая нам вслед прощальные приветствия и добрые пожелания, махала платком из открытого окна. Спутница моя тайком вздыхала и немного успокоилась, лишь когда мы выехали за ворота. Она принялась болтать, ни одним словом не упоминая о происшествиях минувшей ночи. Она расспрашивала, как задумано сегодняшнее увеселение, кого мы можем встретить за городом и когда оттуда вернемся, ибо не отваживалась еще открыто высказывать свою надежду поехать обратно с Люсом, а не со мной. Я ничего не мог сказать ей по этому поводу и выразил лишь предположение, что все общество разъедется одновременно, хотя, на мой взгляд, сегодня и вовсе не следовало возвращаться домой!

Агнеса так радостно поддержала эту мысль, будто серьезно ее разделяла. Но едва мы с некоторого расстояния увидели сверкавшую белизной виллу, Агнеса снова заволновалась: она краснела и бледнела и, когда на холмике у дороги показалась часовня, пожелала выйти.

Подобрав свое серебряное одеяние, Агнеса поспешила по ступеням вверх и вошла в маленький храм. Кучер снял шляпу, положил ее рядом с собой на козлы, перекрестился и воспользовался свободной минуткой, чтобы прочесть «Отче наш». Таким образом, мне не оставалось ничего иного, как с некоторым смущением подойти к двери часовни и ждать окончания непредвиденной задержки. На дверном косяке висела под стеклом печатная

молитва, имевшая приблизительно следующий заголовок: «Молитва возлюбленной, блаженной, всеобнадеживающей святой деве Марии, матери божией, дарительнице, помощнице и заступнице. Одобрена и рекомендована его преосвященством, господином епископом, утесненным женским сердцам к благотворному употреблению», — и так далее. Было также приложено наставление к пользованию с указанием, сколько раз нужно прочесть «Ave»¹⁵⁵ и другие молитвы. Тот же текст, наклеенный на картон, лежал на нескольких старых деревянных скамьях. Кроме них, внутри часовни не было ничего, если не считать простого алтаря, завешенного поблекшим покровом фиолетового цвета. Над алтарем было изображено поклонение ангелов, написанное неискусной рукой, а впереди стояла восковая фигурка Марии в жестком шелковом кринолине с металлическими блестками всех цветов. Вокруг алтаря на стене были развешаны восковые жертвенные сердечки всевозможных размеров, украшенные самым различным образом. В одно из них был воткнут шелковый цветочек, из другого вырывался язык пламени сусального золота, третье пронизывала стрела. Какое-то сердце было целиком завернуто в красную шелковую тряпочку и обвито золотой ниткой, а еще одно было утыкано, как подушечка, большими булавками, должно быть, для изображения горькой мучки той, что его подарила. Зато сердце, выкрашенное в зеленый цвет и испещренное алыми розочками, казалось, свидетельствовало о радости по поводу достигнутого исцеления.

К сожалению, я не прочел текста самой молитвы, но я мог смотреть только на молящуюся; в своем одеянии языческой богини, с целомудренным полумесяцем над челом, она преклоняла колени на ступеньке алтаря перед восковой женской фигурой. Дрожащими губами прочла она молитву, наклеенную на картон, потом сложила руки, подняла глаза на картину и тихо пробормотала или прошептала положенное число «Ave», которое, к счастью, было невелико. Ощущая эту тишину и наблюдая это зрелище, я почувствовал взаимную связь веков, и мне даже стало казаться, будто я живу на две тысячи лет раньше и нахожусь перед маленьким храмом Венеры где-нибудь среди античного ландшафта. В то же время я считал себя стоящим бесконечно высоко над этой сценой, как трогательна она ни была, и благодарил создателя за гордое и свободное чувство, которое меня наполняло.

Наконец Агнеса, по-видимому, достаточно уверилась в помощи небесной царицы. Вздыхнув, она поднялась и подошла к висевшей неподалеку от меня кропильнице со святой водой. Тут она заметила, что я стою, прислонясь к двери, и внимательно слежу за нею, и вспомнила, что я по всему своему поведению — еретик. Испуганно опустила она кропило в сосуд, быстро направилась ко мне и крестообразными взмахами стала опрыскивать мне лицо. Так она за каких-нибудь двенадцать часов дважды оросила меня — сперва слезами, а теперь святой водой. Невольно я стал вертеть головой, так как капли влаги проникли мне за шиворот. Однако двойка мифологическая дева теперь больше не беспокоилась за возможные последствия моего вольнодумства. Она подхватила мою руку и дала отвести себя к экипажу, где наш возница давно закончил свое духовное подкрепление и готов был ехать дальше. На меня он поглядел с лукавой усмешкой, так как знал народное верование, связанное с этим скромным местом молитвы. Сам он, вероятно, принял это нежное благословение на любовь так, как заядлый пьяница иной раз по ошибке выпивает рюмку сладкого ликера, случайно стоящую перед ним.

В усадьбе, куда мы прибыли, уже царил оживление. Расположенная в широком парке, она, по смешанному характеру построек, свидетельствовала о том, что здесь раньше находилась гостиница и что еще не закончилось превращение ее в летнюю семейную резиденцию. Но было видно, что арендатор или управляющий подумал и о хозяйственных нуждах. Так, очень кстати пришлись отличные сливки, которые Розалия подавала гостям к кофе. Солнце посылало уже такое тепло, что многие наслаждались предложенным напитком на открытом воздухе, перед дверьми недавно возведенных садовых флигелей, другие же

¹⁵⁵ Начало католической молитвы «Ave Maria» («Привет тебе, Мария») (лат.). — Ред.

сидели внутри, у каминов, или в помещении старой гостиницы, у топящейся печи.

Будучи ненамного смелее моей подопечной, я медленно подвигался с нею вперед. Но красивая хозяйка, которая теперь была в изящном шелковом платье, быстро обнаружила нас и немедленно увела Агнесу внутрь дома.

— Одеяние небожителей, — сказала она, — не особенно подходит к нашему климату, особенно для нас, женщин! Пойдем в комнаты, к огню! Там уже находится царь Вавилона или Ниневии, господин Люс: здесь бы он, наверно, замерз.

Люс, с голыми руками и в батистовой тоге, действительно не выдержал холода в саду и теперь угрюмо сидел у большой печи. Даже кофе, который нам, остальным, так понравился, не рассеял забот, омрачавших его чело. Повседневная одежда, в которой он неожиданно увидел не только Венеру, но и Эриксона, была одной из причин его озабоченности; другой причиной оказалась рьяная деятельность его приятеля, который то катил по двору бочку лучшего пива, то разрезал каравай хлеба, то делал что-нибудь еще, словно он был здесь на поденной плате. При таких обстоятельствах появление Агнесы не было неприятно мрачному ассирийцу. Он сейчас же любезно предложил ей руку как подходящей партнерше на время своего одиночества или пока Розалия была занята перед домом, принимая приходящих из леса участников праздника, а также различных своих родственников и друзей (последних она тоже успела пригласить). Сама необычная бурность страсти, охватившей Люса, принуждала его, как героя на поле брани, к удвоенной осторожности. Опасная простуда, а тем более смертельное заболевание были бы ему теперь некстати, и он должен был исправлять глупость, допущенную им при выборе костюма, скромно держась на заднем плане. И тут серебряная Диана, одеяние которой он же и покупал, отлично пригодились ему для прикрытия своего промаха.

И вот она была рядом с ним, у источника своей любви, и, казалось, вступила в свои права. Но она не выказывала никакого торжества, никакой самоуверенности и только дышала свободнее, до времени замкнув в себе свой внутренний жар. За короткое время она извела слишком много горя, чтобы уже забыть его. Серьезная и сосредоточенная, прогуливалась она по комнате под руку с красивым царем, который теперь в шутку выдавал себя за старого Немврода¹⁵⁶ и утверждал, что ему всегда везло на охоте и что теперь он поймал самое богиню охоты. И лишь когда они проходили мимо большого зеркала, она лучше разглядела его измененный блестящий наряд, увидела рядом себя и заметила, что взоры присутствующих следят за удивительной, сверкающей парой. Тогда легкий, веселый румянец чуть окрасил ее белое лицо, но она держалась храбро и сохраняла невозмутимый вид, хотя была, вероятно, единственной в доме, кого причудливый наряд Люса действительно восхищал, — на других он не производил того покоряющего впечатления, на которое в своем помрачении рассчитывал Люс.

Между тем из отдаленных покоев дома донеслась манящая танцевальная музыка, вполне соответствовавшая и желаниям молодежи, и карнавальным обычаям. В бывшем зале гостиницы сохранилась маленькая эстрада для оркестра, теперь увешанная пестрыми коврами и украшенная растениями в горшках. Здесь сидели четыре молодых художника, — они захватили с собой инструменты; эти объединенные сердечной дружбой любители чистого и высокого наслаждения иногда вместе играли по вечерам. Их называли благочестивым квартетом, потому что они, частью из любви к искусству, а частью ради небольшого побочного заработка, играли по воскресеньям на хорах одной из бесчисленных городских церквей. Старшим среди них был красивый, загорелый житель берегов Рейна, небольшого роста, с веселыми глазами и доброй улыбкой, прятавшейся в курчавой бороде. В кругах художников его прозвали «боготворцем», так как он не только чеканил серебряные церковные сосуды красивой формы, но и чистенько резал из слоновой кости распятия и

¹⁵⁶ *Немврод* — мифический основатель Вавилона; в Библии характеризуется как «сильный ловец» (зверолов).

фигуры мадонн. Для усовершенствования в этом искусстве он и приехал с Рейна. Всеми любимым, он отнюдь не отличался фанатизмом и рассказывал про духовенство множество веселых историй. Таким образом, католическая вера была для него как бы старой привычкой, от которой нельзя отстать, но он об этом никогда не думал; к тому же у него всегда стоял наготове привезенный с родины бочонок вина, который он спешно отсылал для наполнения, как только тот опорожнялся.

«Боготворец» играл на виолончели, и притом в костюме виноградаря из шествия Вакха. Первой скрипкой был долговязый горный король, теперь отцепивший бороду и оказавшимся молодым скульптором. Говорили, что он уже два года лепил «несение креста», но никак не мог отойти от известного классического образца. Зато он очень хорошо управлялся со скрипкой. Двое других участников квартета были живописцами по стеклу. Они украшали церковные окна богатыми ковровыми узорами и орнаментом и были неразлучны. Сюда они попали из шествия нюрнбергских цехов, где шли среди мейстерзингеров. Я знал всю эту музыкальную компанию по дешевой харчевне, где часто обедал. Много веселого народа ежедневно сменялось там за всегда занятыми столами, но эти двое художников были единственными, кто носил деньги в кругленьких, крепко зашнурованных кожаных кошельках. Ибо они располагали скромным, но верным заработком, были бережливы и каждое воскресенье получали лишний гульден за игру в церкви.

Сегодня квартет по случаю праздника не жалел своих сил и стройными звуками призывал гостей к танцу. Вскоре несколько пар уже кружилось в просторном зале, в том числе и Агнеса с Люсом; в его объятиях девушка вновь испытывала пробуждавшееся счастье — впервые с начала праздника. Казалось, ей помогла молитва в часовне. Правда, постарались и благочестивые музыканты, а прежде всего «боготворец», который блестящими глазами следил за стройной фигуркой и каждый раз, когда она оказывалась вблизи, с особой силой и нежностью прижимал смычок к струнам виолончели, таким изысканным образом выражая свое восхищение. Я отдыхал, сидя у столика за кружкой свежего пива, с удовольствием наблюдал за музыкантом и отлично понимал, что на ваятеля и ювелира, работающего в серебре и слоновой кости, не может не действовать гонкая красота такой девушки.

А для Агнесы час-другой все шло, как она хотела. Благочестивые скрипачи были добровольцами и потому играли не слишком часто, так что никто не был утомлен и оставалось достаточно времени для спокойной беседы. Солнце клонилось к закату, и в доме начало смеркаться. Эриксон появлялся то здесь, то там, подобно церемониймейстеру дома, приказывая зажечь, повесить, расставить свечи, смотря по надобности. Потом он исчез, чтобы наладить в зале более поздней постройки простой ужин, которым жизнерадостная вдова хотела угостить приглашенных ею гостей. «На скорую руку», — как бы оправдываясь, сообщал неутомимый гигант, словно ужин этот был его личным делом.

Люс между тем то приходил, то уходил, чтобы осмотреться; потом он исчез и больше не вернулся. Мы ждали его чуть ли не целый час. Агнеса была молчалива и почти не отвечала, когда я к ней обращался. Да и с другими ей не хотелось ни разговаривать, ни танцевать. Наконец, видя, что она устала от ожидания и опять страдает, я предложил ей отправиться в другие залы и посмотреть, что там происходит. На это она согласилась, и я медленно повел ее по комнатам, в которых повсюду развлекались группы гостей, пока мы не достигли кабинета, где за двумя или тремя столиками шла спокойная карточная игра. Здесь, напротив хозяйки дома, сидел Люс, а между ними — двое пожилых мужчин. Они играли в вист. Эти мужчины принадлежали к числу родственников Розалии, желавшей, чтобы они возможно приятнее провели время, и, конечно, Люс поспешил разделить с ней эту жертву. Он был так счастлив и так углублен в свои мысли, что даже не заметил, как мы стали следить за игрой, и, кроме нас, собрались еще зрители.

Партия окончилась. Люс и Розалия выиграли у своих пожилых партнеров несколько луидоров. Это показалось неисправному Люсу благоприятным знаком и так взволновало его, что он не мог скрыть свою радость. Но Розалия собрала карты и попросила игроков, к

которым подошли те, кто сидел за другими столиками, выслушать небольшую речь.

— До сих пор, — начала она с кокетливым милым красноречием, — я была виновна перед Искусством, так как, наделенная житейскими благами, почти ничего не сделала для него! Мне еще более стыдно оттого, что я так хорошо чувствую себя среди художников, и мне кажется, что я хоть в некоторой мере уплачу свой долг благодарности за лестное для меня присутствие здесь стольких веселых питомцев муз, если хоть теперь начну что-нибудь полезное. Между тем для всех покровителей и благотворителей очень важно вербовать сторонников своего дела и действовать вширь, чтобы доброе начинание пустило корни. Так вот послушайте, дорогие друзья! Часа два назад, когда я вышла из дома и обогнула его, чтобы кликнуть слугу, я заметила в укромном уголке сада самого юного и изящного из наших гостей, пажа Золото из свиты горного короля, так великодушно рассыпавшего свои сокровища. Мальчику еще нет семнадцати лет. Он стоял со своим товарищем, пажем Серебро, держа в руке вскрытое письмо, бледный, охваченный ужасом, и отирал со своих красивых глаз тяжелые, горячие слезы. Все мы сегодня в открытом для добрых чувств и участливом расположении духа, и потому я не могла удержаться, чтобы не подойти и не осведомиться о причине такого горя. И тут я узнаю, что во вчерашних вечерних газетах было известие о большом пожаре, уже несколько дней бушующем в далеком городе, на родине этого юноши, тогда как мы среди нашей праздничной суеты не имели и понятия об этом. А сегодня паж Серебро, который на рассвете ушел домой и хорошо выспался, а в полдень пришел за своим другом (оба они воспитанники нашей академии и работают рядом), принес ему это письмо. Там сказано, что улица, где тот родился и где живет его уже немолодая мать, превратилась в пепел и мать лишилась крова. Я попросила господина Эриксона спешно навести дальнейшие справки. Юноша необыкновенно одарен. Его в необычно раннем возрасте послали сюда на самые скромные сбережения, чтобы он как можно раньше стал на ноги. — смелое предприятие, которое до сих пор, по-видимому, оправдывалось большим усердием ученика. Теперь все опять оказалось под угрозой. Прежде всего средства к существованию, быть может, навсегда похищены огнем, но, помимо этого, бедняга не может даже поспешить туда, чтобы разыскать свою матушку среди хаоса и руин, так как те несколько талеров, которые для этого нужны, он истратил на карнавал. Его уговорили участвовать потому, что непременно хотели видеть на празднике его стройную юношескую фигуру, и еще потому, что он как раз ожидал присылки из дому денег, которые теперь уже не придут. И вот он бросает себе самые горькие упреки по поводу своего мнимого легкомыслия и так осыпает себя обвинениями, словно сам зажег этот ужасный пожар! Я сейчас же велела злополучному пажу, мотовство которого имело такой печальный конец, отправляться домой и укладывать вещи. Но, мне кажется, следовало бы подумать о том, чтобы он мог вернуться и продолжать учение, после того как устроит и утешит свою матушку. Короче говоря, я хотела бы учредить для бедняги скромную стипендию, которой хватило бы года на два, и здесь же положить начало этому! Я раскладываю карты и держу банк. Признаюсь, мне пришлось познакомиться с азартной игрой на курортах, куда мне случалось сопровождать покойных родителей. Так вот: кто проиграет, должен примириться с этим. А кто выиграет, положит половину выигрыша вот сюда: здесь будет стипендиальный фонд! Участвовать в игре могут только нехудожники. Исключение я делаю для господина Люса, который, я слышала, живет не на средства от своего искусства.

С этими словами она вынула тяжелый кошелек и положила его перед собой на стол. Потом смешала карты и воскликнула:

— Милостивые государи и государыни, делайте вашу игру! Красное или черное?

Удивленное общество помедлило несколько секунд. Затем Люс по-рыцарски поставил золотой и выиграл. Розалия выплатила ему половину, а другую бросила в пустую сахарницу, стоявшую под рукой.

— Очень благодарна, господин Люс! Кто еще ставит? — весело и благосклонно произнесла она.

Пожилой человек, к которому она обратилась со словами: «Смелее, дядя!» — поставил

монету в два гульдена и тоже выиграл. Она положила в вазочку один гульден, а другой дала ему вместе с его ставкой. Три или четыре дамы, приободренные этим, все разом рискнули поставить по гульдену и проиграли. Розалия со смехом бросила в сахарницу по полгульдена на каждую. Желая, как он сказал, «отомстить за дам», Люс снова поставил луидор, после чего несколько мужчин выступили с двухталеровыми монетами, а за ними дамы опять отважились ставить кто полгульдена, а кто и целый гульден. Выигрыши и проигрыши сменялись довольно равномерно, но каждый раз что-нибудь падало в сахарницу, и «стипендиальный фонд», как его называла Розалия, рос хотя и постепенно, но все-таки заметно для глаза.

— Это подвигается слишком медленно! — крикнул вдруг Люс и поставил четыре золотых — остаток денег, бывших у него в кошельке.

— Благодарю еще раз! — сказала Розалия, выиграв ставку и бросив половину в фонд.

Трудно было понять, радуется ли Люс вместе с нею. Но он схватил стул и сел напротив красавицы, воскликнув:

— Должно пойти еще лучше!

Следуя многолетней привычке путешественника, он обычно не выходил из дому, не имея при себе более или менее значительной суммы в банкнотах. Так и теперь где-то в его одеяниях был запрятан бумажник. Люс извлек его и положил перед собой банкнот в сто рейнских гульденов. Потеряв эти деньги, он поставил на карту второй банкнот, третий и так до десятого, который был последним. Все эти ставки были сделаны в течение двух минут, не более. Поэтому Розалии хватило одной улыбки и одного сияющего взгляда, который, почти не дыша, она обратила на Люса. Его банкноты от первого до последнего она, не сняв половины, бросала в сахарницу. Молниеносная быстрота, с какой играл случай, сообщала этой сцене своеобразную прелесть и производила такое впечатление, будто розовощекая банкометша была не простой смертной, а обладала колдовской силой.

— Теперь довольно! — воскликнула она. — Тысяча гульденов, не считая звонкой монеты. Больше пятисот гульденов в год такому юнцу не требуется. Значит, мы можем поддерживать его два года и для этого внесем деньги банкиру. Но раньше мальчик должен побывать дома. Пусть завтра же выезжает!

После этого она стала описывать нам сцену предстоящей встречи между матерью, разоренной пожаром, и сыном, так неожиданно подросшим с помощью, рассказала еще раз, как этот цветущий юноша, который вдали от родного гнезда, среди веселья маскарада, был достигнут ужасной вестью, стоял, объятый отчаянием, борясь с горькими слезами. В радости своей она была так хороша, что, казалось, достигла вершины женского очарования. Отблеск ее красоты упал и на лицо Люса, когда она через стол сердечно пожала ему руку и сказала:

— Неужели и вы не радуетесь лучу солнца, которым мы вам обязаны? Без такого проявления вашего великодушия не удалось бы так скоро оказать мальчику помощь! Зато вы будете председателем нашего комитета, а сегодня поведете меня к ужину!

При этих словах ее мысли как будто приняли иное направление, она встала, попросила извинить ее и ушла. Вслед за ней через те же двери быстро вышел и Люс, словно вспомнив, что хотел ей что-то сказать. Прошло полчаса, и Розалия вернулась под руку с Эриксоном, чтобы во главе своего веселого гарнизона идти к столу. Люс больше не появлялся; говорили, что он отправился в лесной лагерь, который хотел еще как следует осмотреть, пока там кипело веселье.

О том, что произошло за эти полчаса, впоследствии стало довольно подробно известно тем, кто так или иначе был причастен к событиям. Люс с внезапной решительностью стремительно пошел следом за исчезнувшей Розалией и настиг ее в уединенной комнате, где она намеревалась обменяться несколькими словами вовсе не с ним. Схватив ее за обе руки, он объявил ей о своей глубокой и благоговейной любви и потребовал, чтобы она дала ему счастье и успокоение, ибо дать их может только она одна. Он твердил, что она — самая женственная из женщин, божественная жена, которая лишь один раз приходит в мир,

прекрасная, светлая и веселая, как звезда Венеры, умная и добрая, не имеющая себе равных. Теперь он знает, почему до сих пор жил в заблуждениях и колебаниях, предчувствуя и разыскивая самое лучшее, но не обретая его. А ныне перед ним неумолимый долг и неотъемлемое право завоевать это лучшее. Никакие соображения не помешают ему в этот решающий час перейти по шаткому, узкому мостику, отделяющему его от истинного бытия, и предложить ей цельную, не нарушаемую никакими случайностями жизнь, такую жизнь, которая сама есть необходимость, но не железная необходимость, а золотая. Ибо невозможно, чтобы какой-либо другой смертный мог так знать и чтить ее, как он. Он чувствует это как непреложную истину, она бурным пламенем пылает в его душе, и жар этот — одновременно и свет: свет понимания, который должен быть обоюдным.

Много наговорил он таких громких фраз, вовсе не свойственных ему. Но при этом он был так хорош собой и полон такого искреннего увлечения, что Розалия никак не могла отразить этот натиск просто шуткой или обидным словом, хотя даже тот костюм, в котором он нынче появился и ее доме, неприятно поразил ее.

Она в испуге отняла у него руки, отступила на шаг и воскликнула:

— Милейший господин Люс! Из ваших таинственных речей я поняла только одно: что свет и взаимное понимание, о котором вы говорили, у нас полностью отсутствуют. Я вовсе не самая женственная из женщин, избави меня боже, — иначе я была бы олицетворением слабости! Я простое и ограниченное создание и пока не ощущаю ни малейших признаков склонности к вам, да и вы так же мало можете меня знать, — ведь не прошло и суток с тех пор, как вы впервые увидели меня!

Но он прервал ее, вновь попытался завладеть ее руками и продолжал в том же духе.

О нет, заявил Люс, уж он-то хорошо ее знает, со всем ее прошлым и будущим. Именно ее прежняя жизнь в смирении и безвестности — знак того, что ей определено победоносно достигнуть яркого блеска своих прав! Ведь в том и заключен глубокий смысл стольких сказаний о богах и людях, что небесная доброта и красота нисходят во мрак для служения человеку, что они ил трогательного неведения о самих себе призываются к осознанию себя, что существенное должно освободиться из пыли несущественного.

Тут она вдруг всплеснула руками и заговорила жалобным тоном:

— Боже, какое несчастье! Если бы только я знала это неделей раньше! А теперь уже поздно! Я обручена, угадайте — с кем?

— С Эриксоном! — не без озлобления произнес он. — Я догадывался! Но это ничего не значит! Истинные решения судеб проходят над подобными препятствиями, как утренний ветер над травой! Перед сегодняшним решением должно померкнуть вчерашнее намерение — оно устарело.

— Нет, — возразила она, качая головой, словно была объята печальным сомнением. — Я принадлежу к роду, члены которого держат слово. Ничего не могу поделать; я ведь самая обыкновенная травинка!

Розалия помолчала, как будто собираясь с мыслями, он же снова начал свои настойчивые речи. Но она опять перебила его, будто ей пришла в голову удачная мысль:

— Я слышала или читала об удивительных женщинах, которые мирно жили с ничем не замечательными мужьями и при этом поддерживали с самыми выдающимися умами нежную дружбу, основанную на сродстве душ. Но для этого прежде всего необходимо расстояние; нужно, чтобы успокаивающий страсти возраст освятил подобные отношения. Говорят, что такие женщины, народив достаточное число детей и хорошо воспитав их, нередко возвышаются до полного понимания этих умов и могут жить высокими материями. Теперь вы видите, как хорошо все еще может устроиться, стоит нам только захотеть. Если во мне действительно есть что-то необыкновенное, а я уже почти готова вам поверить, то я могу пока выйти за своего ничем не замечательного Эриксона, вы же удалитесь, скажем, лет на двадцать...

Она умолкла не без тревоги, увидев, что Люс с мучительным вздохом опустил на стул и потупил взор. Он лишь теперь догадался, что обворожительная женщина им играет, и,

заметив еще на себе свой наряд, вероятно, понял, в какое скверное положение он попал по вине своей слабости. Возможно и то, что он, такая богатая и сложная натура, впервые ощутил в душе своей зияющую пустоту.

Мягкий ковер маленькой комнаты заглушил шаги Эриксона, который уже несколько минут стоял позади своего друга. Розалия вела свои лукавые речи в присутствии жениха, ничем его не выдав и даже глазом не моргнув.

— Ах ты, чудак! — сказал Эриксон, кладя руку на плечо Люса. — Разве можно выхватывать у товарища невесту?

Люс мгновенно обернулся и вскочил. Справа он увидел женщину, слева — северянина, они улыбались друг другу.

— Вот! — печально и смущенно произнес Люс с горечью, смешанной с раскаянием. — Дождался я! Вот что выходит, когда мужчина отдает всю свою душу. Теперь я знаю, каково людям, отправляющимся в изгнание! Желаю вам счастья!

Он быстро повернулся и ушел.

Когда позднее все уже сидели за столом, накрытым скорее для дружеской трапезы, нежели для парадного приема, а Люс все не появлялся, я снова с беспокойством подумал о бедной Агнесе. Перед этим она безмолвно стояла возле меня и следила за карточной игрой. Во время более продолжительных пауз она сжимала мою руку и ходила со мной, не произнося ни слова. Я не отваживался заговорить с ней о ее делах, да и не ощущал в себе такой потребности и умения утешать. Но я не мог не заметить, как взволнованно дышала ее грудь, как боролись в ней гнев и тоска и как она ежеминутно подавляла рвавшийся наружу вздох.

Я сопровождал ее к столу и сел рядом с ней. Когда Эриксон произнес теперь краткую речь, объявил о своей помолвке и закончил просьбой, чтобы собравшееся веселое общество воспользовалось случаем и помогло ему отпраздновать его счастье, я услышал, как Агнеса, среди шума всеобщего радостного удивления, звона бокалов и поздравительных возгласов, испустила глубокий вздох облегчения. Словно сбросив тяжкое бремя, она несколько минут сидела углубленная в себя. Но так как Люс все не показывался, ничто не могло ее утешить. В ходе событий, о которых она догадывалась, измена его выступала в еще более ярком свете, а ее простая душа была неспособна строить новые планы на его несчастье. Но она подавила свое горе и держалась мужественно, не выказывая желаний отправиться домой. И даже когда все поднялись с мест, чтобы пожелать счастья молодой хозяйке, она, по моему приглашению, присоединилась к длинной веренице гостей.

Розалию вначале окружили ее родные, которые, по-видимому, были не слишком обрадованы неожиданной помолвкой и строили довольно мрачные физиономии. Умная женщина воспользовалась этим днем, чтобы заманить их в ловушку и принудить к достойному участию в торжестве ее помолвки. При таком множестве гостей они были лишены возможности оказать даже самое слабое сопротивление в виде ненужных ей предостережений и советов. Тем очаровательней казалась счастливая невеста среди раздосадованных кузенов и кузин.

Теперь наступила трогательная минута, когда в пестром ряду поздравителей самого разнообразного вида подошла и Агнеса, — покинутая женщина принесла свое приветствие победоносной. Она поклонилась и поцеловала невесте руку, как смиренное горе — счастьем. Розалия смущенно взглянула на нее и затем сочувственно пожала ей руку. Она совсем забыла о молодой девушке, как уже не помнила в эту минуту о коварном Люсе, и можно было заметить, что она приняла какое-то решение. Однако уже в следующую секунду печальная Агнеса отошла от нее, а сама она вернулась к своим счастливым мыслям и радостным забавам.

После того как все гости вновь заняли свои места, воцарилось общее веселье, и его наконец разделили кузены, которые тоже были не прочь развлечься; но вскоре произошел новый перерыв. Весть о счастливом событии в судьбе одного из товарищей быстро достигла большого лагеря в лесу, где все еще шумела неутомимая молодежь. И вот, чеканя шаг, в зал

вошел отряд ландскнехтов с барабанами, флейтами и развевающимся знаменем, а через другую дверь — орава веселых членов цехов и молодых ремесленников со своим оркестром. Обе группы обошли вокруг стола, размахивая шляпами и выкрикивая приветствия, после чего с достоинством согласились осушить бокалы в честь молодой нары. Прежний порядок был нарушен, и на долю Эриксона вместе со слугами досталось немало хлопот, прежде чем разместились вновь прибывшие, которые заполнили все комнаты. Но все сопровождалось таким искренним весельем, что, казалось, только возростала торжественность этого дня.

Я спросил у Агнесы, чего она хочет: вернуться домой или остаться. Первое представлялось мне, пожалуй, более желательным, ибо, хотя затянувшаяся опека над таким невинным и прелестным созданием и казалась мне задачей приятной и почетной, меня влекло к молодым немцам, и я хотел наверстать упущенное, проведя последние часы среди себе подобных, свободным среди свободных.

Агнеса медлила со своим решением. Она тайно содрогалась перед мыслью очутиться одной дома, где никто не мог бы как следует утешить ее, а может быть, ей также не хотелось покинуть место, где еще столь недавно находился ее любимый и где она предавалась новой надежде. Поэтому я пока повел ее по различным комнатам дома, между живописных групп пирующих — повсюду, где было что-либо интересное, а неистощимая изобретательность гостей непрерывно порождала необычайные сцены, на которые стоило посмотреть.

Во время наших блужданий мы услышали благозвучный четырехголосный хор и пошли на эти звуки. В конце слабо освещенного вестибюля мы нашли пристройку типа веранды, которая, ввиду обилия окон, служила маленькой оранжереей. Здесь было около десятка апельсиновых, гранатовых и миртовых деревьев, среди которых «боготворец» и его товарищи поставили для себя столик. Над входом висел магический железный знак в виде пентаграммы¹⁵⁷, который в старину охранял вход в гостиницу от ведьм; они нашли его в каком-то углу и принесли сюда. И вот они сидели здесь, рейнский виноградарь, горный король и оба мейстерзингера, художники по стеклу, и их дружный хор служил доказательством того, что они в четырехголосном пении не менее опытные, чем в игре на смычковых инструментах. Когда мы остановились перед входом в оранжерею, чтобы послушать пение, они сейчас же заставили нас подсесть к ним, сдвинувшись для этого плотнее и принеся стулья. В те дни как раз было извлечено на свет несколько старых немецких народных песен, обработанных для хора современными композиторами. Равным образом и все, что было написано в духе таких песен Эйхендорфом¹⁵⁸, Уландом¹⁵⁹, Кернером¹⁶⁰, Гейне, Вильгельмом Мюллером¹⁶¹, клалось на более или менее грустные мелодии и исполнялось юношами, учившимися пению, прежде чем некоторые из этих песен — частью вторично — переходили в народ. Никогда еще Агнеса не слышала ничего подобного. Они только что кончили песню «За домом у колодца, где липа расцвела...» и

¹⁵⁷ *Пентаграмма* — правильный пятиугольник с построенными на каждой его стороне треугольниками равной высоты. В средние века пентаграмме придавалось магическое значение.

¹⁵⁸ *Эйхендорф* Иозеф (1788–1857) — известный немецкий поэт-романтик.

¹⁵⁹ *Уланд* Людвиг (1787–1862) — немецкий поэт-романтик и ученый-германист; автор многочисленных баллад, лирических стихотворений в драматических произведениях.

¹⁶⁰ *Кернер* Теодор (1791–1813) — немецкий поэт; участник войн против Наполеона I; убит на поле боя.

¹⁶¹ *Вильгельм Мюллер* (1794–1827) — немецкий поэт, автор лирических стихотворений; участник освободительной войны 1813 г. Воспевал борьбу греческого народа за освобождение от турецкого ига. На стихи Мюллера Шубертом написано значительное число романсов, например, романс «За домом у колодца, где липа расцвела...» («Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum»).

затянули новую: «Весенней ночью иней пал»¹⁶². Старинные песни разлуки, плачи о кончине и об ушедшем счастье, посулы весны, песни о мельничном колесе и о елке, улановское «Ах, сердце, позабудь печаль: все, все должно перемениться!..»¹⁶³ — все это они исполняли чисто и выразительно, причем «боготворец», обладавший ясным тенором, вел верхнюю партию, горный король пел басом, а художники-витражисты старательно держали середину, строго соблюдая тон и такт.

Агнеса следила за пением не отрываясь, и все, что она слышала, казалось созданным нарочно для нее и идущим из ее груди. Испуская после каждой песни вздох облегчения, она заметно успокаивалась и освобождалась от своей подавленности. Какой-то солнечный свет появился над нашим круглым столиком, наполовину скрытым за зеленью; казалось, все молча чувствуют, как угнетенное сердце сбрасывает с себя тяжкое бремя, хотя, собственно, кроме меня, никто ничего не знал. К нам заглянул обходивший дом Эрикссон. Он обнаружил нашу колонию и, узнав, чем мы занимаемся, поспешил доставить нам несколько бутылок шипучего французского вина. После этого он продолжал свой обход, во исполнение воли заботливой хозяйки дома.

Агнеса и большинство из нас никогда не пили и даже не видели шампанского, и к тому же, благодаря модным в то время высоким бокалам, в которых непрерывно поднимались жемчужинки, мы прониклись какой-то особой торжественностью. А тут пришла сама Розалия, принесла Агнесе тарелку сладкого печенья и фруктов и просила нас быть веселыми и галантными с милой Дианой.

Мы и позаботились об этом самым старательным и достойным образом. Особенно внимателен и вежлив был с ней «боготворец». Однако и другие проявляли ласковую и веселую почтительность, гордясь тем, что такое, как они говорили, прекрасное поэтическое «видение» украшает их маленькую компанию. Когда все чокнулись с ней за ее благополучие, она осушила бокал до дна, вернее искрящаяся сладость змейкой пролилась ей в горло, так что она и не заметила. Во всяком случае, «боготворец» потом уверял, что видел по ее белой шейке, где проскользнуло вино. Теперь она начала щебетать и сказала, что ей здесь хорошо, что ей кажется, будто она из зимней сырости и стужи попала в теплую комнатку. Но ей понятно: когда несколько хороших людей соберутся вместе, они сами составляют теплую комнатку, хотя бы и без печи, крыши и окна!

— За здоровье всех хороших людей! — воскликнула она и, когда все бокалы зазвенели, ударившись друг о друга, выпила свое вино до дна и прибавила: — Ах, какое чудесное вино: в нем тоже хорошая душа!

Это всем нам чрезвычайно понравилось. Четверо певцов, не сговариваясь, сразу же запели в полный голос: «На Рейне, Рейне зреют наши гроздья». Как только отзвучала эта славная застольная песня, они затянули, перейдя на более строгую мелодию и все-таки в весьма быстром темпе, другую прелестную песню Клаудиуса¹⁶⁴:

Давно ль мы были дети?
Ах, краток век людской.

¹⁶² «Весенней ночью иней пал» («Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht») — стихотворение, написанное Генрихом Гейне (цикл «Трагедия», № 2, из сборника «Новые стихотворения») по мотивам немецкой народной песни. На слова этого стихотворения написаны известные романсы Мендельсона и Шуберта.

¹⁶³ «Ах сердце, позабудь печаль: все, все должно перемениться!..» — заключительные слова романса Шуберта, написанного на текст стихотворения Уланда «Весенняя вера» («Frühlingsglaube»).

¹⁶⁴ Клаудиус Маттиас (1740–1815) — немецкий поэт-лирик и публицист умеренно-просветительского направления. Издавал литературно-дидактический журнал «Вандсбекский вестник» («Der Wandsbecker Bote»). Приведенное в тексте стихотворение Клаудиуса положено на музыку композитором Негели.

Уходит все на свете
Со всей своей красотой.

Когда пение закончилось мощным «Аллилуйя, аминь!» и у нас воцарилась внезапная тишина, из других комнат, словно издалека, донеслись к нам и слитный гул голосов, и звучавшие вперебой песни, и танцевальная музыка. Смутные волны звуков докатывались до нас при каждой нашей паузе. Но в этот миг, в силу контраста, все это показалось нам торжественным. Казалось, что, сидя в своем миртовом и апельсиновом лесочке, мы, погруженные в безмятежное созерцание, слышим шум мирской суеты. Некоторое время мы спокойно прислушивались к этому причудливому грохотанию, потом между нами завязался занимательный разговор. Мы сдвинули головы над столом, и каждый припомнил какую-нибудь веселую или печальную историю. В особенности «боготворец» оказался мастером на забавные рассказы о пречистой деве Марии; в одном из них речь шла о том, как она устроила съезд своих представительниц¹⁶⁵ в самых знаменитых местах поклонения и как там возник большой спор (да и не могло быть иначе, раз собралось вместе столько женщин) о том, как и что с ними было на пути туда и на обратном пути, о том, как одна из них путешествовала под видом государыни, окруженной расточительной роскошью, другая же — под видом скряги в потертой одежде. Эта последняя, останавливаясь на постоянных дворах, запирала своих ангелов в курятник, а утром пересчитывала их, как кур. Две другие важные дамы, тоже ездившие на собор, мать божья из Ченстохова в Польше и Мария из Эйнзидельна, вместе со своей свитой встретились на постоялом дворе и обедали в саду. Когда было подано блюдо лейпцигских жаворонков, поверх которых лежал бекас, полька сейчас же забрала блюдо себе и сказала, что, насколько ей известно, она самая знатная особа за столом, а поэтому лежащий сверху молодой аист принадлежит ей! Приняв из-за длинного клюва бекаса за аиста, она воткнула в него вилку и переложила его себе на тарелку. Швейцарка, возмущенная таким высокомерием, только свистнула: «фюить!» — и жареный бекас ожил, покрылся перьями и улетел с тарелки. После этого Мария Эйнзидельнская завладела блюдом и положила всех жаворонков себе да своим ангелам. Тогда ченстоховская дама просвистела: «тир-ли-ли!» — и жаворонки, подобно бекасу, вспорхнули и с пением исчезли в вышине. Так почтенные дамы из ревности испортили друг дружке обед, после чего им пришлось довольствоваться простоквашей, как они ни кривили над ней свои черно-коричневые лица.

Агнеса сидела между нами, как наш товарищ, облокотись о стол и подперев ладонью щеку. Однако она не могла разобраться в том, как это пресвятые Марии, которые ведь все — одно и то же, могли путешествовать в виде стольких разных лиц, собираться и даже враждовать между собой, и она откровенно высказала свое сомнение.

Виноградарь приложил к носу палец и задумчиво произнес:

— В этом-то и чудо! Здесь тайна, которой нам не разрешить своим умом!

Но горный король, который был тем красноречивее в обсуждении хитроумных вопросов, чем меньше ему в своей композиции «Несение креста» удавалось отойти от знаменитой картины Рафаэля¹⁶⁶, взял слово и сказал:

— По-моему, здесь все дело во всеобщности, вездесущности, делимости и

¹⁶⁵ ...она устроила съезд своих представительниц... — Сюжет излагаемой далее легенды почерпнут Келлером из сборника новелл второстепенного немецкого писателя Козегартена («Легенды», 1804) и предназначался первоначально для сборника «Семь легенд», работу над которым Келлер завершил за несколько лет до того, как начал готовить к печати вторую редакцию «Зеленого Генриха». В первой редакции романа эта легенда отсутствует.

¹⁶⁶ ...чем меньше ему в своей композиции «Несение креста» удавалось отойти от знаменитой картины Рафаэля... — Здесь имеется в виду картина великого итальянского художника Рафаэля Санти (1483–1520), изображающая сцену несения креста Иисусом перед казнью. Эта картина известна под названием «Lo Spasimo di Sicilia» (музей Прадо в Мадриде).

преображаемости небесной царицы. Она везде и во всем, как сама природа, и близка к ней уже как женщина, по своей бесконечной изменчивости. Ведь она любит появляться во всевозможных ликах¹⁶⁷, и ее даже видели готовым к бою солдатом. Именно в этом она проявляет черту, свойственную ее полу, по крайней мере — лучшим его представительницам — склонность одеваться в мужское платье.

Один из живописцев при этих словах рассмеялся.

— Мне приходит на память забавный случай подобного искусного переодевания, — произнес он. — В моем родном городе, где осенью бывает особенно богатый рынок, мы, мальчишки, целыми стаями сновали между лотками и подбирали скатившиеся на землю при перекладке или взвешивании яблоки, груши, сливы и другие фрукты и нередко также тащили их прямо с лотка. Среди нас всегда бегал мальчуган, которого никто не знал, но который везде поспевал первым и был проворнее всех. Наполнив карманы, он исчезал и вскоре появлялся вновь, чтобы снова их наполнить. Когда крестьяне привозили в город новое вино и нацеживали его перед домами горожан, а мы, присев на корточки под возами, тайком просовывали камышины в подставленные кадки и бадейки, чтобы высасывать слитый туда при отмеривании излишек сусла, неизвестный парнишка всегда был тут как тут, но он не глотал вино, как мы, а благоразумно выпускал все, что засосал, в бутылку и прятал ее под курткой. Мальчишка был не больше, но несколько сильнее нас, у него было странное, старообразное лицо, но он обладал звонким детским голосом, и когда мы как-то угрожающим тоном спросили у него, как его, собственно, зовут, он назвал себя Иохелем Клейном. Так вот, этот Иохель оказался «поддельным» уличным мальчишкой, а именно — низкорослой бедной вдовой из предместья. Ей нечего было есть, и она, гонимая нуждой и подстрекаемая своей изобретательностью, надела платье покойного двенадцатилетнего сына, срезала косу и в определенные часы стала выходить на улицу, где смешивалась с ватагой ребят. Когда она слишком увлеклась своим занятием, ее поймали. В той части рынка, где торговали сыром, она наблюдала, как продавцы при помощи особых трубок вырезали из швейцарских сыров, для проверки их качества на вкус, небольшие стерженьки, или пробки. Кончик спереди отламывали и пробовали, а остальную пробку вставляли назад в отверстие, благодаря чему сыр опять казался целым. И вот эта женщина обзавелась обыкновенным гвоздем, которым она водила по сыру, выискивая места, где чуть заметный кружок указывал на вставленную пробку. Улучив минуту, она втыкала туда свой гвоздь и вытягивала его назад с добычей. Таким способом она нередко уносила домой до полуфунта отличного сыра. Но так как торговцы сыром более жадно следят за своей прибылью и более нетерпимы, чем другие, она наконец попалась и была передана полиции. При этом случае и был обнаружен ее секрет. Но бедную вдову до скончания ее дней все звали Иохелем Клейном.

Агнесу позабавила наивная хитрость несчастной женщины, и она только жалела о печальном исходе ее затеи. Тут другой живописец заявил о своем желании тоже рассказать историю с переодеванием женщины, но предупредил, что история эта будет несколько мрачнее случая с вдовой в облике уличного мальчишки.

— Это старинный рассказ шестнадцатого столетия, — начал он, — и случилось это, согласно хронике, в тысяча пятьсот шестидесятом или шестьдесят втором году в городе Нимвеген, Гельдернского округа. Местного палача вызвали в местечко Граве, на реке Маас, у брабантской границы, чтобы казнить там троих преступников. Однако нимвегенский палач лежал в постели, больной и слабый, потому что слуга накормил его отравленным супом, рассчитывая занять его место. Ибо, говорит хроника, нет, должности настолько презренной, чтобы не нашелся человек, который готов добиваться ее, хотя бы ценой спасения своей души. Итак, палач сообщил магистрату в Граве, что не может явиться, но спешно посылает жену к арнгеймскому палачу, с которым он уже раньше сговорился об обоюдной помощи, и

¹⁶⁷ *Ведь она любит появляться во всевозможных ликах...* — Далее следует намек на сюжеты новелл Г. Келлера «Дева в образе рыцаря» и «Евгения» из сборника «Семь легенд».

тот своевременно прибудет на место. Жене он приказал немедленно отправиться в Арнгейм и передать известие его тамошнему приятелю. Но жена, рослая, красивая и смелая женщина, была скупа и не желала упустить такое выгодное дело. Вместо того чтобы идти в Арнгейм, она тайком надела одежду мужа, предварительно расширив на груди рубаху и куртку, надвинула его шляпу с пером на свою наскоро остриженную голову, опоясалась его широким мечом и среди ночной мглы вышла на дорогу в Граве. Она прибыла туда вовремя и явилась к бургомистру. Тот, правда, обратил внимание на ее гладкое лицо и молодой, звонкий голос и спросил, обладает ли она, или, вернее, он, мнимый палач, достаточной силой и умением для предстоящей работы. Но она нагло заверила его, что свое дело знает и не впервые за него берется. Она сейчас же ухватилась за веревку, на которой вывели первого из бедных грешников, и таким образом завладела им. Но когда потом осужденный уже сидел на табурете и она завязывала ему глаза, бедняга заерзал на месте. Она ниже нагнулась над ним, чтобы проверить, хорошо ли везде закрывает повязка, и тогда он почувствовал, как к голове его прикоснулась ее мягкая грудь. В тот же миг он закричал, что это женщина, что он не желает, чтобы его казнила женщина, и что умереть от руки мужчины — это его право! Несчастный надеялся таким способом добиться отсрочки. Возникло замешательство, а он кричал все громче, чтобы с нее сорвали одежду, тогда все увидят, что это баба. Его утверждение показалось окружающим не таким уж невероятным, и тогда помощнику палача велели убедиться в этом. Теми же ножницами, которыми он перед этим срезал осужденному волосы, он теперь распорол женщине одежду на груди и спине, сдернул ее с плеч, и обманщица предстала перед всем народом, обнаженная по пояс. Ее тут же с позором прогнали с лобного места. Преступников пришлось отвести назад, в тюрьму. Толпа, рассвирепев, хотела бросить женщину в воду, и только с трудом удалось этому воспрепятствовать. Все же хозяйки и служанки выбежали из всех домов, они со скалками и метлами преследовали удиравшую палачиху до самых городских ворот и покрыли синяками ее сверкающе-белую спину. Таким образом, переодевание окончилось плохо для отчаянной амазонки. Когда ее муж вскоре после этого умер, подлый слуга, отравивший его, действительно был назначен палачом в Нимвегене на его место, женился на вдове и, таким образом, получил жену, вполне достойную его самого.

Этой грубоватой историей наша болтовня почти перешла границу, которой мы обязаны были держаться в присутствии молодой девушки. Она в ужасе покачала головой, но, когда мы чокнулись, не преминула выпить с нами. В течение всей беседы каждый из нас крепко сжимал в руке высокий бокал, чтобы он не упал и был наготове для очередного тоста, а Агнеса, в своей непосредственности и счастливом забвении всех бед, старательно подражала нам. Неопытные холостяки, мы не знали, как в таких случаях нужно обходиться с женщиной, и наполняли все бокалы, как только они опорожнялись, радуясь тому, что милая девочка становится все более оживленной и веселой.

«Боготворец» Рейнгольд, пока велась вся эта долгая беседа, отломил от стоявшего позади Агнесы апельсинового деревца несколько цветущих веток, сплел из них венок и теперь надел ей на голову. При этом он попросил девушку доставить ему удовольствие потанцевать с ним — другие не откажутся для них сыграть.

— Нет, — воскликнула она, — сначала я одна исполню для вас народный танец, а вы сыграйте его вчетвером!

Молодые люди покорно вынули из футляров инструменты и снова настроили их. Я отодвинулся в сторону, они заиграли излюбленный местный народный танец, и Агнеса на маленьком пространстве, оставшемся между деревцами, с большой грацией плясала под медленную, грустную мелодию. Как только отзвучал последний аккорд, она еще раз пересохшими губами прильнула к пенистому бокалу и потребовала вальс, который тоже хотела танцевать одна. Бравые холостяки водили смычками изо всех сил; глаза Агнесы блестели лихорадочным блеском, и она закружилась, уперев руки в свои стройные бедра. Вдруг она взмахнула руками в воздухе, будто кого-то искала, сняла с головы венок, посмотрела на него, опять надела и пошатнулась. Я подскочил и подвел ее к стулу.

Музыканты испуганно смолкли, а бедная девушка забросила руки через стол, опрокидывая бокалы, потом упала на стол головой и зарыдала душераздирающим голосом, призывая свою мать. Она плакала и кричала так пронзительно, что сбежались другие гости, и все мы стояли вокруг нее в величайшем смятении, не зная, что делать. Попытались поднять ее, но она выскользнула у нас из рук и простерлась на полу, бледная как смерть, с дрожащими губами и руками. Вскоре она совсем перестала подавать признаки жизни, и кругом воцарилась испуганная тишина.

Наконец мы решились унести бедняжку, не подававшую признаков жизни, и поискать для нее пристанища в жилой части дома, где ей можно было бы оказать помощь. Горный король взял ее под руки, «боготворец» придерживал ноги, и так они осторожно понесли свою легкую, переливчато-серебряную ношу. Я шел впереди, а оба витражиста следовали за нами со скрипками под мышкой, так как не имели времени уложить их, а оставить боялись: это были хорошие инструменты.

На беду, Розалия уже уехала в город в сопровождении Эриксона, ни с кем не попрощавшись, чтобы не побудить этим гостей покинуть дом и не прервать их развлечений. Но, к счастью, появилась домоправительница, или экономка, и направила наше печальное шествие в свою комнату, где неподвижную Агнесу опустили на удобное ложе, устроенное при помощи принесенных подушек.

— Ничего страшного, — сказала старуха, заметив наш испуг. — Барышня захмелела, это скоро пройдет!

— Нет, у нее горе! — шепнул я экономке.

— Ну, значит, бедняжка заливала горе вином! — возразила она. — Кто же дает молодой девушке столько пить?

Тут уж мы покраснели и стояли, пристыженные и смущенные, пока славная женщина не прогнала нас, предварительно осведомившись, где живет пострадавшая.

— Экипаж хозяйки еще раз пошлют сюда на случай непредвиденной надобности, — сказала экономка, — и мы позаботимся о барышне!

Рейнгольд вызвался остаться в доме и настаивал на своем предложении. Он просил меня предоставить ему дальнейшую защиту покинутой, и я согласился, так как знал его за хорошего, достойного человека. Такова уж была судьба Агнесы — в течение всего праздника она переходила из рук в руки, как некогда попавшая в рабство царская дочь.

Я расстался со скрипачами, которым нужно было позаботиться о своих инструментах, и отправился в путь. К этому времени все гости — и здесь и в лесу — уже двинулись обратно в город, и дорога была запружена колясками и тележками. Не найдя сразу знакомых, которые подвезли бы меня, я решил идти пешком и, для того чтобы меня не сбили быстро катившиеся и обгонявшие друг друга экипажи, направился по боковой тропинке, которая тянулась по опушке вдоль дороги. Ущербный месяц слабо светил сквозь деревья, и густой подлесок местами затруднял ходьбу. Вскоре я нагнал одинокого путника; он яростно сражался с ветками боярышника и побегамии ежевики. Это был Люс, под темным плащом которого виднелась тонкая полотняная одежда, цеплявшаяся за колючки терновника.

Мы узнали друг друга, и я рассказал ему о случившемся таким тоном, что не трудно было угадать, какие я делаю выводы. Люс, сам выдерживавший большие дозы спиртного и считавший опьянение состоянием, недостойным мужчины, обозлился и начал отпускать всякие упреки по моему адресу.

— Недурная история! — воскликнул он. — Вот каковы ваши геройские подвиги: напоили неопытную девушку! Поистине, в хорошие руки я передал бедного ребенка!

— Передал! — запальчиво возразил я. — Покинул, предал — вот что ты хочешь сказать! — И я излил на него поток обвинений, далеко превышавших мои права. — Неужели так трудно, — закончил я, — обуздать свои влечения и с благодарностью удовольствоваться таким прекрасным даром божьим? Неужели ради тебя весь мир должен перевернуться и свет смениться мраком?

Меж тем Люс успел отцепиться от шипов. Видя, что не может меня запугать, он

покорился и, когда мы, шагая друг за другом, двинулись дальше, спокойно сказал:

— Оставь меня в покое, ты ничего не понимаешь! Вскипев, я ответил ему:

— Долго я уверял себя, что в твоей натуре скрыто нечто такое, чего я не могу охватить своим опытом и о чем не могу судить! Но теперь я хорошо вижу, что тобой владеет самое обыкновенное себялюбие и пренебрежение к другим. Оно бросается в глаза и вызывает отвращение. О, если бы только ты знал, как это уродует тебя и как огорчает твоих друзей, тогда бы ты из этого же самого себялюбия переломил себя и счистил это безобразное пятно!

— Говорю тебе еще раз, — возразил Люс, оборачиваясь ко мне, — ты ничего не понимаешь! И в моих глазах это лучшее извинение для твоих непозволительных речей. Эх ты, добродетельный герой! Делал ли ты за свою жизнь хоть что-нибудь, кроме того, от чего нельзя было уклониться? Ты и теперь не делаешь ничего такого и еще меньше окажешься на это способен, если у тебя будет настоящее переживание!

— По крайней мере, надеюсь, я в любое время буду в силах бросить то, что признаю дурным и недостойным.

— Ты всегда, — спокойно заметил Люс, снова отворачиваясь от меня, — ты всегда будешь бросать то, что тебе неприятно!

Я нетерпеливо хотел прервать его, но он повысил голос и продолжал:

— Если ты когда-нибудь попадешь между двух женщин, то, вероятно, и будешь бегать за обеими, если обе тебе приятны. Это проще, чем остановить свой выбор на одной! И, может быть, будешь прав! Что касается меня, то знай: глаз — зачинатель и хранитель любви или ее истребитель. Я могу решить, что буду верен, но глаз ничего не решает: он повинуется вечным законам природы. Когда Лютер¹⁶⁸ признавался, что не может взглянуть на женщину, не пожелав ее, он говорил, как обыкновенный человек. Только такая женщина, свободная от всякого своенравия, от всего болезненного и странного, женщина такого несокрушимого здоровья, такой жизнерадостности, доброты и ума, как Розалия, может привязать меня навсегда. Не без стыда вижу я теперь, с какой диковинкой в лице этой Агнесы, способной через день надоесть, готов я был связать свою судьбу! Но и ты стыдишься того, что бродишь по свету, как голая схема, как бесплотная тень! Постарайся найти наконец интерес в жизни, найти всепоглощающую страсть, вместо того чтобы надоедать другим пустой болтовней!

Слова его уязвили меня, и я несколько минут молчал. Сам того не зная, Люс, приведя пример с двумя женщинами, попал в цель, — ведь еще совсем мальчиком я был в таком положении. И все-таки мне не хотелось мириться с голландцем. Выпитое вино, а также, быть может, длившееся уже более суток возбуждение разжигали мой боевой задор, и я снова начал решительным тоном:

— Судя по этим словам, ты как будто не слишком расположен оправдать те надежды, которые легкомысленно возбудил в девушке?

— Я не возбуждал никаких надежд, — сказал Люс — Я свободен, я сам себе хозяин перед любой женщиной и перед всем светом! А впрочем, если я и могу что-либо сделать для этой девочки, то лишь одно: я готов быть ей истинным и бескорыстным другом, без рисовки и громких фраз! И скажу тебе в последний раз: не заботься о моих любовных делах, я это решительно запрещаю!

— Нет, буду! — воскликнул я. — Либо ты признаешь на этот раз долг верности и чести, либо я доберусь до самых недр твоей души и докажу тебе, что ты поступаешь дурно! И все это от безнадежного атеизма! Где нет бога, нет закона и узды!

Люс громко рассмеялся и ответил:

¹⁶⁸ Лютер Мартин (1483–1546) — вождь немецкой реформации XVI в. и основатель немецкого протестантизма, профессор богословия и философии. В 1519 г. открыто порвал с католической церковью. Однако, дав народу идеологическую основу для борьбы против феодального гнета, Лютер впоследствии отвернулся от народа и стал противником крестьянской революции 1524–1525 гг. Переводом Библии на немецкий язык Лютер положил основу образованию единого общенационального немецкого языка.

— Хвала твоему богу: я так и думал, что ты в конце концов укроешься в этой гавани блаженства! Но теперь я попрошу тебя, Зеленый Генрих, оставить боженку в стороне. Ему тут совершенно нечего делать. И уверяю тебя, что с ним я был бы точно таким же, как без него! Это зависит не от моей веры, а от моих глаз, от моего мозга, от всего моего физического существа!

— Но прежде всего — от твоего сердца! — гневно крикнул я, выходя из себя. — Скажем прямо: не голова твоя, а сердце не знает бога! Твоя вера или, скорее, твое неверие — это твои моральные принципы!

— Ну, теперь довольно! — загремел Люс и остановился напротив меня. — Хотя ты несешь вздор, который сам по себе не может быть оскорбительным, я знаю, что ты подразумеваешь, ибо мне знаком бесстыжий язык лжемудрецов и фанатиков, которого я никогда не ожидал от тебя! Сейчас же возьми назад то, что ты сказал! Я не позволяю безнаказанно задевать мои принципы!

— Ничего не возьму я назад! Посмотрим, куда заведет тебя твое безбожное бешенство!

Я выкрикнул это в безудержном задоре. Но Люс ответил мне с горечью, полным досады голосом:

— Довольно ругани! Я вызываю тебя! На рассвете будь готов с оружием в руках постоять за своего бога, которого ты так крепко защищаешь бранными словами. Найди себе секундантов; мои через два часа будут на месте, и они позаботятся об остальном.

Он назвал место, где, по предположению, всю ночь должно было продолжаться праздничное движение. Потом он повернулся и пошел вперед быстрыми шагами. Я же выскочил на дорогу, — во время нашего спора она давно опустела и затихла. Вот таков был конец прекрасного праздника! Я шагал посреди дороги, и месяц бросал передо мною мою тень, четко обрисовывая зубцы шутовского колпака. Но ничто не помогало: свет разума погас, и я спешил вперед искать пособников для своего поединка.

Лет шесть назад поляк, занимавший в нашем доме маленькую комнату, преподавал мне начатки фехтовального искусства. Это был статный, высокий военный, один из тех беглецов, что появились в разных местах после восстания 1831 года и с тех пор более или менее исчезли вновь с лица земли или, по крайней мере, из эмиграции. Знатного происхождения, бывший кавалерийский офицер, он честно боролся за свое существование, мирился с самыми скромными условиями жизни и со всякой работой, был всегда весел и любезен, кроме тех случаев, когда говорил о былых сражениях, о несчастье своего отечества, о своей ненависти к России. Верующий католик по воспитанию, он тем не менее с горечью восклицал при этом, что нет бога на небе, иначе он не отдал бы поляков в руки русских. Этот поляк был расположен ко мне; желая оказать мне любезность или сделать для меня что-нибудь полезное и не будучи в это время обременен работой, он не успокоился до тех пор, пока я не достиг под его руководством некоторого навыка в фехтовании. Он на собственный счет приобрел две шпаги, маски, а также прочие принадлежности и каждый день проводил со мной час на просторном чердаке нашего дома. Я успешно прошел первоначальное обучение, и он занимался со мной так терпеливо и так усердно, точно дело шло о добывании золота, пока неожиданный поворот в его судьбе не увлек его из наших мест. В городе, где я теперь жил, мне приходилось встречаться со студентами-земляками, у которых дома были шпаги и маски, и я изредка упражнялся с ними, видя в этом лишь некое развлечение. Одного или двух из этих молодых людей я надеялся найти теперь там, где они обычно встречались, чтобы просить их быть моими секундантами, и в самом деле застал их в весьма предприимчивом расположении духа, соответствовавшем позднему часу и моим желаниям. Молодые люди немедленно отправились туда, где их ждали доверенные моего противника.

Вскоре они вернулись и сообщили о соглашении, по которому дуэль должна была состояться в шесть часов утра на квартире у Люса. Последний подчеркнул, что живет совсем один и потому не приходится опасаться свидетелей. Кроме того, сказал Люс, если он будет ранен, то сможет лечь в постель и в тишине лечиться или умереть, противник же спокойно и не торопясь уедет. Если же пострадаю я, то меня на первое время можно будет уложить у

него, а он пока что уберется подальше.

О враче, как сообщили секунданты, они тоже уже позаботились, равно как и об оружии. Я выбрал шпагу — единственное оружие, которым я в какой-либо мере владел; к тому же мне было известно, что и Люс умел с ним обращаться.

О том, как он провел короткий остаток ночи, я так и не узнал. Что касается меня, то я остался с моими советчиками, — мы решили, что опасное приключение следует рассматривать как финал нашего фантастического праздника. Хуже было бы, если бы меня пробудили от глубокого сна и я должен был бы драться, не выспавшись и не собравшись с мыслями. Поэтому мне не пришлось даже переменить костюм, и если бы рок судил мне погибнуть, меня унесли бы в облике заколотого шута.

И все же усталость взяла свое. Я задремал, а потом и совсем заснул, положив голову на стол, тогда как прочие, вместе с приходившими и уходившими запоздалыми участниками праздника, допивали чашу горячего пунша. Как только стало светать, меня начали трясти, чтобы разбудить, и я тоже опрокинул стакан пунша, но короткий сон несколько не освежил и не отрезвил меня. Помню, словно это было во сне, как я безмолвно и угрюмо плелся по улице, сопровождаемый двумя товарищами, и как вошел в тихую квартиру Люса, где он с двумя или тремя молодыми людьми, строгий и холодный, поджидал нас.

Все мы стояли в самой просторной из его комнат перед картиной, изображавшей насмешников. В утреннем сумраке выступавшие из мрака фигуры казались живыми и как будто собирались наблюдать за тем, что должно было произойти.

Из длинного ящика достали два трехгранных, отполированных до блеска и острых, как иголка, клинка, две обвитые серебряной проволокой рукоятки и две позолоченные полушаровые гарды для защиты руки. Эти части надлежащим образом свинтили вместе. После того как нас спросили, возможно ли примирение или какое-либо взаимное объяснение и ни один из нас не шелохнулся, нам дали в руки оружие и указали каждому, где стать. Я бросил взгляд на Люса, — он был бледен и так же утомлен, как я. Всякое выражение благожелательности и дружеского расположения исчезло с наших лиц, но испарился и первоначальный гнев, и только обыкновенная человеческая глупость застыла на наших губах. И вот я стоял со стальным клинком в руке, готовый пролить кровь друга, чтобы доказать ему истинность моей веры в бога, а другу нужна была моя кровь для защиты своей чести и своих воззрений на жизнь. А ведь каждый из нас всегда ратовал за разум, свободу и гуманность. Одна несчастливая секунда, и блестящая сталь могла проскользнуть в теплое сердце!

Однако для спасительных размышлений уже не было времени. Подали знак, мы подняли шпаги в знак обычного салюта и приняли стойку, но не как опытные дуэлянты, а скорее — как не уверенные в себе ученики. Нашими руками одинаково владела дрожь, когда мы вращали острия шпаг одно около другого, готовя атаку, и первый укол, на который я отважился, так и шел под номером первым при обучении в фехтовальном зале. Люс парировал его с такой же школьной четкостью, так как задолго предвидел его. Он сделал рипост, и я ответил несколько более неуклюжим, но все-таки достаточно своевременным контррипостом. Только господь бог, за которого мы дрались, мог знать, как двое столь мирных фехтовальщиков оказались в таком опасном положении. Опасным оно было безусловно, ибо, судя хотя бы по звуку сталкивающихся клинков, бой становился живой и стремительней, а уколы и защиты уже в силу необходимости учащались и становились сильнее. Вдруг клинки и гарды наших шпаг зажглись красноватым сиянием, и одновременно мягко засветилась картина в глубине комнаты. Причиной было пылавшее облако, которое отражало блеск занявшейся утренней зари. Люс невольно бросил взгляд в сторону своей картины и увидел устремленные на нас взоры «экспертов», как он называл свои персонажи. Он опустил шпагу; я в этот миг готовил новый выпад, но мне крикнули: «Стоп!» Люс, который, кстати сказать, оставался совершенно трезвым, первый понял при этом зрелище бессмысленность нашего поведения.

— Я беру назад свой вызов, — объявил он строго, но спокойно, — я готов забыть о

случившемся без пролития крови!

Он сделал шаг мне навстречу и протянул руку.

— Пойдем спать, Генрих Лее, — сказал он, — и заодно прощай! Раз уж я приготовился к путешествию, то на некоторое время уеду.

Поклонившись присутствующим, он ушел в свою спальню. Несмотря на неожиданное примирение, мы расстались без дружеского чувства, — ведь мы, собственно, сами оскорбили себя, и в этот час каждый из нас был не в ладах с самим собою. Свидетели и врач, которые и вообще не имели ясного представления о причинах ссоры, молча распрощались перед домом, и каждый пошел своей дорогой; а я еще уносил с собою такое чувство, будто меня подавило моральное превосходство противника, которого я хотел проучить.

Когда я вошел в свое жилище, мои хозяева, сидевшие за завтраком, приветствовали в моем лице выносливого кутилу. Несмотря на утомление и изнеможение, я долго не мог забыться, а когда наконец меня сковал сон, мне приснилось, что я заколол друга, но сам, вместо него, истекаю кровью и моя плачущая мать перевязывает меня. Я боролся с рыданием, которое тоже мне снилось, и вдруг очнулся. Хотя глаза мои и подушка оказались сухими, я все же стал размышлять о том, какими могли быть последствия моих действий, пока наконец не заснул более крепко.

Глава пятнадцатая ПРИЧУДЫ

Я проспал до полудня, а придя в себя, не знал, за что взяться. Внешний мир и моя голова казались мне пустыми, словно все в них вымерло. Я подумал о конце школьных маневров из времен моего детства и о конце постановки «Телля» и сказал себе: «Если все твои праздники так кончаются, тебе лучше не ходить на подобные сборища!» Прежде всего я собрал части шутовского наряда, валявшиеся на полу, и повесил их на гвоздь в мастерской в качестве живописного аксессуара, а венок из чертополоха и остролиста возложил на череп Цвихана, стоявший на комодке моей маленькой спальни. Этим я хотел создать целительное *memento*¹⁶⁹. Жажда игры и украшения живет в нас вечно, даже когда мы прозябаем в нищете, до тех пор, пока живы мы сами, и проявляется она в самых разнообразных формах. Может быть, страсть эта составляет часть нашей совести. Ибо, подобно тому как животное не смеется, так человек, начисто лишенный совести, не играет, а если играет, то лишь из корысти.

Я был в мрачном и ленивом расположении духа, и потому мне был особенно приятен приход виноградаря и скрипача Рейнгольда, который разыскал меня, чтобы попросить о дружеской услуге. Он сообщил, что Агнеса пробыла в самом беспомощном состоянии еще несколько часов. Лишь к утру, когда уже было светло, она оправилась настолько, что он мог перевезти ее домой. Однако злостные слухи о ее распущенности, о том, что она охмелела и богатый поклонник якобы из-за этого немедленно и навсегда покинул ее, уже достигли города, и когда перед домом остановился экипаж и оттуда вышла измученная, печальная девушка, у соседей пооткрывались окна, и люди стали выглядывать отовсюду с явным презрением или, по крайней мере, неодобрением. Рейнгольд вместе с одной из служанок виллы сопровождал бедняжку и, конечно, немедленно удалился, не входя в дом. Но даже это появление нового покровителя усугубило неприятное положение, и теперь на нас лежит задача, поскольку в этом деле и мы не без упрека, защитить репутацию ни в чем не повинной девушки. Так вот у него возник план, и он сговорился со своими друзьями в этот же вечер исполнить под окном бедной Агнесы серьезную и достойную музыку, серенаду — в лучшем смысле этого слова. Чтобы избежать всяких помех и придать этому выступлению вполне солидный характер, он уже испросил разрешение властей. По окончании же серенады он

¹⁶⁹ Напоминание (*memento mori* — помни о смерти, лат.). — Ред.

намерен сразу подняться в квартиру и торжественно предложить покинутой девушке свою руку.

— О том, что было раньше, — продолжал он, — я ничего не желаю знать, что бы ни болтали языки! Такая, как она есть, с ее милым личиком, легкой фигуркой, со всем ее обаянием и несложной судьбой, она мне нравится, и я не могу жить дальше без нее! Если я и ошибаюсь, то лишь в том смысле, что она окажется еще лучше, чем я полагал! Немного солнца, немного того, что называют счастьем, иной раз — стаканчик доброго рейнского вина, и она быстро повеселеет!

— А что же требуется от меня? — спросил я удивленно, но и не без сочувствия, так как замысел этого сердечного человека казался мне лучшим выходом из беды.

— Вас я прошу, — ответил он, — под вечер пойти в этот узкий домик, в этот ларчик для драгоценностей, и задержать там женщин, чтобы они никуда не ушли и все же чтобы музыка оказалась для них сюрпризом. Далее, если это не случится само собой, вам следует незаметно направить разговор на меня, отозваться обо мне хорошо, то есть не обо мне лично, а о моем положении, о моем скромном благосостоянии, которое позволяет мне ввести в дом жену. Я хотел бы, чтобы вы заговорили об этом словно мимоходом, но как о чем-то вполне известном, не вызывающем сомнений. Такая подготовка желательна, чтобы я, придя, не должен был сам заводить об этом речь. Эти сведения существенны, а при подобных осложнениях обычно имеют даже решающее значение. И вы не солжете, если только не слишком увлечетесь, даю вам слово! Небольшого земельного владения и моего художественного ремесла хватает для скромной, но отнюдь не бедной жизни, а в будущем меня еще ждет наследство старой тетки, которая не дает мне покоя с женитьбой и уже приготовила приданое для невесты, как для единственной дочери. Кстати говоря, это обстоятельство стоит немного расписать! И вправду, добрая старушка доходит до смешного: она не перестает делать покупки, как только увидит что-нибудь пригодное для моего будущего хозяйства. Ее дом и так полная чаша, а она продолжает накапливать в нем все новые и новые запасы, и всякие мелочи, и крупные вещи... Итак, поговорите, распишите все это... Вы исполните мою просьбу? Могу вам сказать, я чувствую себя как человек, который видит брошенный дураком бриллиант и боится, как бы его не подобрал кто-нибудь другой, прежде чем он сам поспеет на место!

Я невольно посмеялся в душе этому маленькому образцу житейской мудрости, которая так мило оправдалась бы, если бы затея Рейнгольда удалась. Я охотно обещал выполнить, по мере сил и умения, его просьбу, и он, полный надежд, убежал от меня заканчивать свои приготовления.

Мне предстоял пустой и унылый день, и потому я был только рад поручению, как ни новы были для меня обязанности свахи. «После того как ты почти двое суток охранял красотку, брошенную Дон-Жуаном, — сказал я себе, — можешь взять на себя еще и такое старушечье дело; оно вполне подходит к тому, первому, а также и к твоей нелепой дуэли!»

Как только спустились сумерки, я отправился в путь и вскоре очутился у дома обеих женщин, сидевших, видимо, в полном молчании, так как до меня не доносилось ни звука. Лишь постучавшись, я услышал вялое: «Войдите!» — а когда вошел, то увидел в полутемной комнате только мать, которая сидела в кресле, подперев голову руками. На столе перед ней лежал небольшой футляр. Узнав меня, она хриплым голосом проговорила:

— Недурной вышел праздник для нас! Недурная ночь и недурной день! — И умолкла.

— Да, — смущенно пробормотал я, — была всякая чертовщина, и многие чувствовали себя как-то странно!

Она немного помолчала, потом продолжала уже более многословно:

— Ничего себе — странность! Стоит мне высунуть голову за дверь, как соседи тычут в меня пальцами! Одна кумушка за другой — из тех, кто не показывался годами, — лезли сегодня сюда, чтобы насладиться нашим позором! В самом деле: таскают ребенка две ночи туда и сюда и наконец отсылают ее пьяную домой, притом с чужими людьми! И что удивительного, если богатому кавалеру, этому почтенному господину Люсу, такое

представление не по нраву и он, откланявшись, исчезает! Теперь вы видите, что нам пришлось пережить!

Мать Агнесы взяла из-под футляра письмо и развернула его, но в комнате так стемнело, что нельзя было читать.

— Принесу свет! — устало и раздраженно сказала она.

Она вышла и вскоре вернулась со скромной кухонной лампочкой, видимо, считая, что незачем ставить лучшую перед прощельгой из той же компании. Я прочел это краткое письмо. Люс в нескольких словах сообщал, что должен уехать на неопределенное время, возможно — навсегда, сердечно благодарил за дружеское расположение, которым он пользовался, желал счастья и благополучия и просил девушку любезно принять маленькое напоминание о нем. Когда я прочел эти строки, опечаленная женщина открыла футляр, в котором сверкали довольно дорогие часы с изящной цепочкой.

— Разве этот богатый подарок не доказывает, — воскликнула она, — насколько серьезны были его намерения, если даже теперь он ведет себя так благородно, несмотря на то, что ему пришлось пережить такой стыд?

— Вы ошибаетесь, — остановил я ее. — Никто и ни в чем не виноват, и меньше всего — милая барышня! Люс с самого начала оставил вашу дочь без внимания и вздумал волочиться за другой красавицей. Получив от нее отпор, ибо теперь эта женщина — невеста его друга Эриксона, он уехал отсюда. Я точно знаю, что он был потерян для вашей дочери еще до того, как от горя и возбуждения она почувствовала себя дурно! И, наверно, большое счастье для барышни, что все обернулось именно так. У меня на этот счет нет сомнения!

Женщина уставилась на меня широко раскрытыми глазами, а из глубины узкой, но длинной комнаты послышался слабый стон. Лишь теперь я заметил, что в углу возле печки сидит Агнеса. Ее волосы были распущены и покрывали лицо и часть согбенной фигуры. На голову и плечи был наброшен платок, которым она закрывала лицо. Отвернувшись от нас, она прижималась щекой к стене и была недвижима.

— Она теперь боится сидеть у окна! — сказала мать.

Я подошел к Агнесе, желая поздороваться с ней и подать ей руку. Но она отвернулась и начала тихо плакать. Смешавшись, я отошел назад, к столу, а так как и я был морально ослаблен моими собственными приключениями, у меня тоже навернулись слезы. Это, в свою очередь, тронуло вдову, и она последовала нашему примеру, причем ее лицо исказилось, как у хнычущего ребенка. Это было весьма странное, неприятное зрелище, от которого у меня глаза сразу высохли. Но у бедной вдовы грозовой дождь тоже прошел быстро, как у детей, и только теперь она совсем другим голосом пригласила меня сесть. Потом она спросила, кто, собственно, тот незнакомец, который на рассвете проводил Агнесу домой. Не станет ли он распространять дальше злополучную историю?

— Ни в коем случае! — ответил я. — Это очень милый и почтенный человек.

И я с напускным равнодушием и необходимой осторожностью не преминул дать такую характеристику «боготворцу», а также его имущественному и общественному положению, какая должна была соответствовать его желаниям. Лишь при изображении тетки с ее страстью к покупкам, каковая лишала будущую жену племянника почти всякой возможности поместить в доме что бы то ни было, кроме самой себя, и что-либо там поставить, постлать или повесить, мой рассказ оживился, так как он забавлял меня самого.

— Кстати сказать, — закончил я, — господин Рейнгольд, с разрешения дам, этим же вечером нанесет им визит, чтобы исполнить долг приличия и осведомиться о здоровье барышни. А так как он знает, что я имею честь бывать в доме, он поручил мне испросить разрешение на приход, а затем представить его.

Это вежливое обращение отчасти вернуло матери Агнесы уверенность в себе.

— Ты слышишь, детка? — внезапно загорелась она. — У нас будет гость. Пойди оденься, причеши волосы! Ты похожа на ведьму!

Но Агнеса не шелохнулась, и когда мать подошла к ней и попыталась ласково встряхнуть ее, девушка отстранилась и сквозь слезы стала просить, чтобы ее оставили в

покое, иначе у нее разорвется сердце. Отчаявшись, ее мать начала накрывать стол и готовить чай. Она достала два или три блюда с холодными кушаньями и торт и поставила все это на стол. Уже для вчерашнего вечера, жаловалась она, у нее был припасен пакетик самого лучшего чая и кое-какие сладости, так как она надеялась, что молодые люди вернутся рано. Пусть хоть теперь это скромное угощение послужит в честь ожидаемого гостя. Еда со вчерашнего дня не испортилась.

Мы сидели, а вода в блестящем, редко употребляемом чайнике уже давно кипела, но никто не появлялся, — было еще рано. Почтенная дама начала проявлять нетерпение. Она сомневалась, придет ли в самом деле Рейнгольд. Я старался ее успокоить, и мы ждали опять довольно долго. Наконец это ей надоело, и она стала разливать чай. Мы выпили по чашке, немного поели и снова коротали время, рассеянно обмениваясь отдельными замечаниями, пока мое немногословие не довело утомленную женщину до дремоты. Теперь воцарилась глубокая тишина, и вскоре по тихому, равномерному дыханию, доносившемуся от печи, я понял, что и Агнеса забылась сном. А так как и я спал мало, глаза у меня тоже закрылись, и я уснул за компанию при свете лампочки, тускло освещавшей комнату.

Так мы дружно дремали, вероятно, с часок, когда нас вдруг разбудила полнозвучная, хотя и нежная музыка, и одновременно окно озарилось красным сиянием. Пораженная вдова поспешила к окну, и я за ней. На маленькой площади стояли перед пюпитрами восемь музыкантов, четыре мальчика высоко поднимали горящие факелы, а у входа на площадь шагали взад и вперед двое полицейских, поддерживая порядок среди быстро скопившихся слушателей. В помощь скрипачам Рейнгольд привлек еще исполнителей на валторне, гобое и флейте. Сам он сидел на складном табурете и играл на виолончели.

— Пресвятая Мария, что это? — воскликнула изумленная мать Агнесы.

— Зажгите свечи! — ответил я. — Это и есть господин Рейнгольд со своими друзьями. Он устроил серенаду для вашей дочери! Ради нее эта музыка, ей оказана такая честь перед всем светом и этим городом!

Я открыл одну из створок окна, а старая дама поспешила за подсвечниками и зажгла розовые свечи, которые теперь пришлось очень кстати. Адажио старинного итальянского композитора звучало великолепно, разносимое теплым дуновением первого весеннего ветерка.

— Детка, — зашептала мать девушке, которая начала прислушиваться, — у нас серенада, у нас серенада! Пойди выглянь-ка!

Впервые при мне она говорила со своей дочерью так радостно и с таким искренним воодушевлением — настолько велико было умиротворяющее действие музыки. Агнеса молча повернула бледное лицо к окну. Потом она медленно поднялась ж подошла ближе. Но, увидя в свете факелов множество лиц на улице и в окнах — всех соседей, она вмиг убежала на прежнее место, сложила руки на коленях и чуть склонила голову набок, чтобы не упустить ни звука прекрасной музыки. В таком положении она оставалась, пока не были исполнены три пьесы и музыка не окончилась мелодичным и веселым, почти хороводным пассажем. После этого исполнители собрались и молча ушли под громкие аплодисменты толпы на улице. Аккуратные ящики и футляры, в которых они уносили свои инструменты, также способствовали созданию у публики впечатления необычного и изысканного концерта. Медленно расходясь, люди с любопытством оглядывали удивительный дом, и мать Агнесы, стоявшая у окна, наслаждалась всем до последней минуты. Даже когда она наблюдала, как уносят пюпитры, ей казалось, что она видит самое торжественное и грандиозное в своей жизни зрелище.

Когда наконец она закрыла окно и обернулась, на пороге стоял Рейнгольд и почтительно приветствовал ее, а я сейчас же назвал его имя. Потом он попросил извинить его за то, что позволил себе так непрошено вторгнуться со своей музыкой, и отнести это выступление за счет общего карнавального веселья. Она ответила ему всевозможными комплиментами и изъявлениями благодарности, причем впала в блаженно-певучий тон, напоминавший звуки флажолета, извлекаемые из скрипки. Внезапно она прервала себя,

чтобы позвать дочь, которая, казалось ей, неприлично долго прячется в своем углу. Однако Агнесы там не было; она незаметно выскользнула вон и теперь снова вошла. На утреннее платье, в котором девушка горевала весь день, она набросила белую шаль, завязав концы на спине; черные волосы собрала и свернула на затылке большим узлом. Все это она проделала в минуту и, вероятно, не глядя в зеркало. По осанке и выражению лица она казалась теперь лет на десять старше. Даже мать смотрела на нее с таким изумлением, словно увидела призрак. Твердыми шагами Агнеса подошла к «боготворцу», спокойно и серьезно устремила на него взор и подала ему руку. Но, будь она облачена в шелка и бархат, она и тогда не могла бы так приковать взгляд Рейнгольда, как теперь своей безыскусной простотой, а у меня даже мелькнула такая мысль: «Слава богу, что Люс уехал и больше не увидит ее, иначе вся эта беда началась бы снова!»

Рейнгольд с немим благоговением созерцал дело рук своих, ибо он поистине выпрямил надломленный цветок, дав ему возможность снова жить. Честь, которую он оказал девушке, отражалась таким чистым сиянием на ее челе и в спокойных черных глазах, что он в смущении смиренно молчал, не находя слов даже тогда, когда мы все сели за стол и мать опять приготовила чай. Разговор не клеился, пока мать Агнесы не заговорила о рейнских землях, родине гостя, и не спросила его, правда ли, что его пребывание здесь подходит к концу и он возвратится домой. Это развязало ему язык, и он стал рассказывать о том, как церкви и прелаты ждут его со своими заказами и рассчитывают на успехи, достигнутые им в работе. Потом он стал выхвалять свою родину.

— Мой дом, — сказал он, — стоит за пределами старого городка, на солнечном склоне, откуда Рейн виден далеко вверх и вниз по течению. Башни и скалы плавают в голубой дымке, а внизу широко струится река. За садом поднимается в гору виноградник, а вверху стоит часовня богоматери, и ее видно издалека, когда она алеет в последних лучах вечерней зари. Почти рядом я построил небольшую дачу. Под ней вырублен в скале погребок, где всегда лежит дюжина бутылок светлого вина. Каждый раз, окончив чеканку новой чаши, я, прежде чем наносить внутреннюю позолоту, поднимаюсь туда и осушаю эту чашу раза три-четыре за здоровье всех святых и всех веселых людей. Готов признаться вам: мои работы по серебру, немножко музыки и вино — вот что было моей единственной радостью, и моими лучшими днями были светлые праздники богоматери, когда я во хвалу ей играл в окрестных церквах, а внизу, на украшенном ветками алтаре, сверкали мои чаши. И не скрою, что после этого пьяная пирушка за веселым поповским столом казалась мне вершиной земного существования. Но теперь этого больше не будет, теперь я знаю нечто лучшее...

Рейнгольд произнес эти слова с возрастающим волнением, потом запнулся, но тотчас овладел собой и, поднявшись со стула, обратился к женщинам:

— Зачем я буду бродить вокруг да около? Я здесь, чтобы предложить барышне честное сердце и все, чем я еще богат, — руку, домашний очаг, усадьбу. Короче говоря, я пришел просить ее стать моей женой! Я прошу благосклонно выслушать меня и, если мой образ действий представляется чересчур поспешным и смелым, принять во внимание, что как раз такие празднества, как то, что окончилось вчера, нередко завершаются подобными непредвиденными событиями.

Добрая вдова, привыкшая к строжайшей бережливости, только что выудила ложечкой случайно упавший в чашку кусочек сахара и незаметно положила его на блюдце, чтобы спасти то, что еще не растаяло. Она быстро и изящно облизнула ложечку, а затем, краснея от удовольствия, начала в самых благозвучных тонах воспевать оказанную им большую честь, упомянув, впрочем, и о том, что необходим некоторый срок, чтобы все обдумать и взвесить. Но дочь, казавшаяся еще бледнее, чем прежде, прервала ее:

— Нет, дорогая мама! После всего, что мы пережили и что господин Рейнгольд сделал для меня, ответ на его вопрос должен быть дан сразу, и, с твоего разрешения, я говорю «да»! Я не заслужила того горя, которое меня постигло. Тем охотнее я отблагодарю моего спасителя, избавляющего меня от одиночества и презрения!

Растроганная, со слезами на глазах, она подошла к счастливому жениху, обвила руками

его шею и прижалась к его губам своими страстно раскрытыми, еще никого не целовавшими губами.

С робкой нежностью он гладил ее щеки, не отрывая от нее глаз. Изумленная и растерянная, смотрела на них вдова, и Агнеса воскликнула, обращаясь к ней:

— Матушка, будь спокойна и довольна! Вчера лишь я молила святую деву дать моему сердцу то, на что оно имеет право. Сегодня я весь день считала, что моя молитва осталась неслышанной, а теперь стало моим то, что даст мне больше счастья, чем другое, о чем я раньше думала!

Эта минута показалась мне самой подходящей, чтобы исчезнуть, — здесь я был лишний и не знал, куда спрятать глаза. Быстро пожав всем руки, я поспешно вышел, и никто меня не удерживал. С улицы я еще раз окинул взглядом дом, где лунный свет лежал на черном изображении мадонны над входной дверью, выделяя слабым мерцанием полумесяц и венчик.

«Бог мой, что за католическая семейка!» — сказал я себе и покачал головой, раздумывая о том, какая мудреная вещь — жизнь. На рассвете того же дня я поднимал острую шпагу против безбожника, а теперь, ночью, сам смеялся над теми, кто так почитает святых.

На следующее утро, когда нужно было вновь приниматься за прерванную работу, мое настроение было уже менее смешливым. В то время как художники, в своей массе, решительно и беззаботно шагали по привычной колее, я находился в нерешительности и не знал, за что взяться. Оглядываясь вокруг, я испытывал такое ощущение, словно несколько месяцев не был в этой комнате, а мои недописанные вещи — памятники давно минувшей эпохи. Одну за другой я вытаскивал их на свет, и все они казались мне слабыми и ненужными, как жалкие любительские потуги. Я думал и думал, но не мог доискаться до причины мутной хандры, напозавшей на меня. К ней присоединилось еще чувство одиночества: Люс уехал и пропал, вероятно, не только для меня, но и для искусства, — в последнее время было ясно видно, что он скоро оставит живопись; но и Эриксон вчера, урвав в своей радости минуту для меня, доверительно сообщил, что намерен сейчас же после свадьбы бросить свое замысловатое художество и, с помощью больших средств жены, возобновить на родине судоходное дело своей семьи, чтобы вернуть ему прежний размах. Время для этого благоприятное, и он надеется в короткий срок разбогатеть сам. Теперь пошатнулся и я, и, таким образом, мы все трое, представители германских окраин, считавшие себя надежнее неисчислимой рати жителей немецких земель, рассыпались, как опилки, и ни один из нас, вероятно, никогда больше не увидит другого!

Дрожая от озноба, я, в поисках какого-либо прибежища, извлек едва начатый картон — натянутый на раму серый лист, шириной не менее восьми футов и соответствующей высоты. На этой поверхности ничего не было видно, кроме едва намеченного переднего плана и двух пострадавших от бурь сосенок по обеим сторонам будущей картины. От ее идеи я уже много месяцев назад отказался, и теперь она совершенно изгладилась из моей памяти. Чтобы хоть чем-нибудь занять себя и, быть может, оживить ход своих мыслей, я принялся вырисовывать тростниковым пером одно из этих деревьев, набросанных углем. Но, поработав едва с полчаса и наложив на две или три ветви однообразный покров из игл, я впал в состояние глубокой рассеянности и продолжал безучастно класть штрихи, как делают, пробуя перо. К этой мазне постепенно присоединялась бесконечная ткань новых штрихов; каждый день, уходя в смутные и бессодержательные думы, я ткал ее дальше, едва только меня тянуло к работе, и наконец этот хаос чудовищной серой паутины покрыл большую часть картона. Но, присмотревшись к этой путанице более внимательно, в ней можно было открыть самую похвальную связность и следы прилежания, так как она состояла из непрерывной последовательности штрихов и переходных закруглений, общей длиной в тысячи футов, образовывавших лабиринт, который можно было проследить от начальной точки и до конца. Иногда появлялась новая манера, как бы новый период в работе; выплывали новые узоры и мотивы, порою нежные и приятные, и если бы все внимание, целеустремленность и

усидчивость, необходимые для этой безумной мозаики, были затрачены на настоящую работу, я, наверно, создал бы нечто достойное. Лишь кое-где обозначались большие или меньшие задержки, как бы узлы в блуждающих ходах моей рассеянной, скорбной души, и та тщательность, с которой перо старалось выйти из затруднения, показывала, какой сетью было опутано дремавшее сознание. Так проходили дни, недели, и существование мое разнообразилось только тем, что иногда я, прижавшись лбом к окну, следил за движением облаков, наблюдая их образование, а сам в это время уносился мыслями вдаль.

Душа моя была погружена в дремоту, бодрствовал только ум. И вот однажды, когда я трудился над этой невиданной мазней, в дверь постучали. Я испугался, съезжился, но было уже поздно убирать раму: вошли Рейнгольд и Агнеса, а не успели мы обменяться приветствиями, как появились Эриксон с Розалией, уже ставшей к этому времени его женой, и меня, словно толчок, пробудили от спячки появившиеся внезапно вокруг меня веселая жизнь и красота. Каждая из этих пар поторопилась справить свою свадьбу без всякого шума, Рейнгольд — из нетерпения поскорее увезти свою любовную добычу, а Эриксон из-за того, что родственники Розалии и духовные лица еще пытались ставить религиозные препятствия. Однако Розалия тайно, при содействии влиятельных друзей, перешла в веру Эриксона, утверждая, что если в свое время Париж стоил обедни¹⁷⁰, то ее возлюбленный тем более стоит исповеди; и обряд был вскоре совершен.

— Итак, мы уже начали свадебное путешествие! — сказал Эриксон, заканчивая свой краткий отчет. — Пока по улицам этого города, завтра уже поедем по большой дороге, а немного спустя, надеюсь, поплывем на собственном корабле!

Его супруга тем временем приветствовала другую пару и беседовала со счастливой и поздоровевшей Агнесой. А Эриксон остановился перед мольбертом и с удивлением разглядывал мою последнюю работу. Потом он с озабоченным видом уставился на меня и, видя, как я смутился и покраснел, заговорил, сначала покачивая головой, а затем лукаво кивая:

— Этим значительным произведением ты, Зеленый Генрих, вступил в новую фазу — ты начал решать проблему, которая может оказать величайшее влияние на развитие немецкого искусства. В самом деле, давно уже стало невыносимо слушать, как кругом разглагольствуют о свободном, существующем лишь для себя, мире прекрасного, который нельзя омрачать никакой действительностью, никакой тенденцией, а в то же время с самой грубой непоследовательностью неизменно пользуются для своего выражения лишь людьми, животными, небом, звездами, лесом, полем и лугом и тому подобными пошлыми и обыденными вещами. Ты сделал здесь гигантский шаг вперед, все значение которого еще нельзя оценить. Ибо что такое Прекрасное? Чистая идея, представленная с целесообразностью, ясностью, удачным выполнением замысла. Миллион штрихов и штришков, легких и изящных или твердых и сочных, как у тебя, при осмысленном расположении в ландшафте, конечно, составили бы так называемую картину в старом смысле слова и тем самым служили бы обычной грубой тенденции! Отлично! Ты не стал колебаться и выкинул прочь все предметное, все убого-содержательное! Эта прилежная штриховка есть штриховка в себе, она витает в полной свободе прекрасного, она есть прилежание, целесообразность, ясность в себе, в очаровательнейшей отвлеченности! А эти узлы, из которых ты так успешно выпутался, разве это не торжествующее доказательство того, как логика и соблюдение правил искусства лишь в беспредметном празднуют свои самые громкие победы, как Ничто рождает страсти и помрачения и затем с блеском их преодолевает? Из Ничего бог создал мир! Наш мир представляет собой болезненный абсцесс этого Ничего, отпадение бога от самого себя. Прекрасное, поэтичное, божественное состоит

¹⁷⁰ ...если в свое время Париж стоил обедни.. . — «Париж стоит обедни» — слова, приписываемые Генриху Бурбонскому (1563— 1610). Эти слова были им сказаны якобы в 1593 г., когда он, отрекшись от кальвинизма, принял католичество, чем обеспечил себе вступление на французский престол (под именем Генриха IV).

именно в том, что мы из этого материального нарыва снова втягиваемся в Ничто, только это может быть искусством, зато уж настоящим!

— Дорогой мой, что ты хочешь всем этим сказать? — воскликнула госпожа Эриксон, которая насторожилась и повернулась к нам.

«Боготворец» только широко раскрыл глаза и рот: мудреные словесные выкрутасы, преподносимые и в шутку и всерьез, были одинаково непонятны и чужды его простому уму. Меня веселые шутки Эриксона немного позабавили, но я все же в смущении стоял у окна.

— Впрочем, моя похвала, — торжественно продолжал он, — должна немедленно родить порицание или, скорее, — требование дальнейшего энергичного прогресса! В твоём реформаторском опыте все же сохранена тема, которая о чем-то напоминает. Кроме того, тебе все же придется дать твоей великолепной ткани точку опоры, прикрепив ее несколькими длинными нитями к ветвям этих старых, полуиссохших, но все еще мощных сосен, иначе можно было бы опасаться, что она на наших глазах упадет от собственной тяжести. Но тем самым она опять свяжется с самой отвратительной реальностью — с выросшими из почвы деревьями, имеющими годичные кольца! Нет, любезный Генрих, так не годится! Не останавливайтесь на этом. Штрихи, располагающиеся то звездообразно, то по волнистым или извилистым линиям, то радиально, все еще образуют слишком материальный узор, напоминающий обои или набивной ситец. Долой его! Начни сверху, в углу, и клади отдельные штрихи, один за другим, одну строку под другой. Через каждые десять штрихов делай один подлиннее снизу для подрезания, через каждую сотню — то же, но сверху, через каждую тысячу — толстую отделяющую палочку. Такая десятичная система воплощает совершенную целесообразность и логику, а выведение обособленных штрихов — трудолюбие, находящее себе исход в полной свободе от тенденции, в чистом бытии. В этом опыте все еще сказывается некоторое умение. Человек неопытный, нехудожник, не мог бы сотворить эту жуткую штуку. Однако умение обладает слишком ощутимым весом и вызывает множество неясностей и несправедливостей между стремящимися к успеху. Оно дает повод для тенденциозной критики и неизменно враждебно противостоит чистому замыслу. Современный эпос открывает нам верный путь! В нем одухотворенные ясновидцы показывают нам, как незапятнанный, невинный, небесно-чистый замысел может быть проведен сквозь тонкие или толстые томы, нигде не наталкиваясь на мрачные силы земного уменья. Вечное веселое равенство с золотым обрезом царит в братстве стремящихся. Без труда и без горя тысячи строк делятся на песни и строфы, и кто измерит, насколько близко то время, когда и поэзия отбросит тяжелые словесные строки, обратится к десятичной системе легкокрылых штрихов и вступит в брак с изобразительным искусством в тождественной внешней форме? Тогда чистый творческий и поэтический дух, дремлющий в каждом бюргере и больше не скованный никакими преградами, выступит на свет дня, и когда, например, встретятся два горожанина, мы услышим приветствие: «Поэт?» — «Поэт!»; или: «Художник?» — «Художник!». Соединенный сенат из испытанных переплетчиков и позолотчиков рам на еженедельных олимпийских играх будет присуждать достоинство «роскошного переплета» и «золотой рамы». Перед этим его члены будут присягать в том, что в течение своего судейства сами не станут создавать эпосы и картины. Целые когорты издателей-штамповщиков начнут каждый час выпускать альбомы увенчанных произведений и глубокомысленно рассылать их по всей Германии в такие закоулки, что их потом сам черт не найдет!

— Муж мой, перестань! — сказала Розалия. — Я тебя не узнаю!

— Ладно! — отозвался Эриксон. — Пусть эта болтовня знаменует мое трогательное прощание с Искусством! Отныне мы бросим все это и постараемся хорошо использовать нашу жизнь!

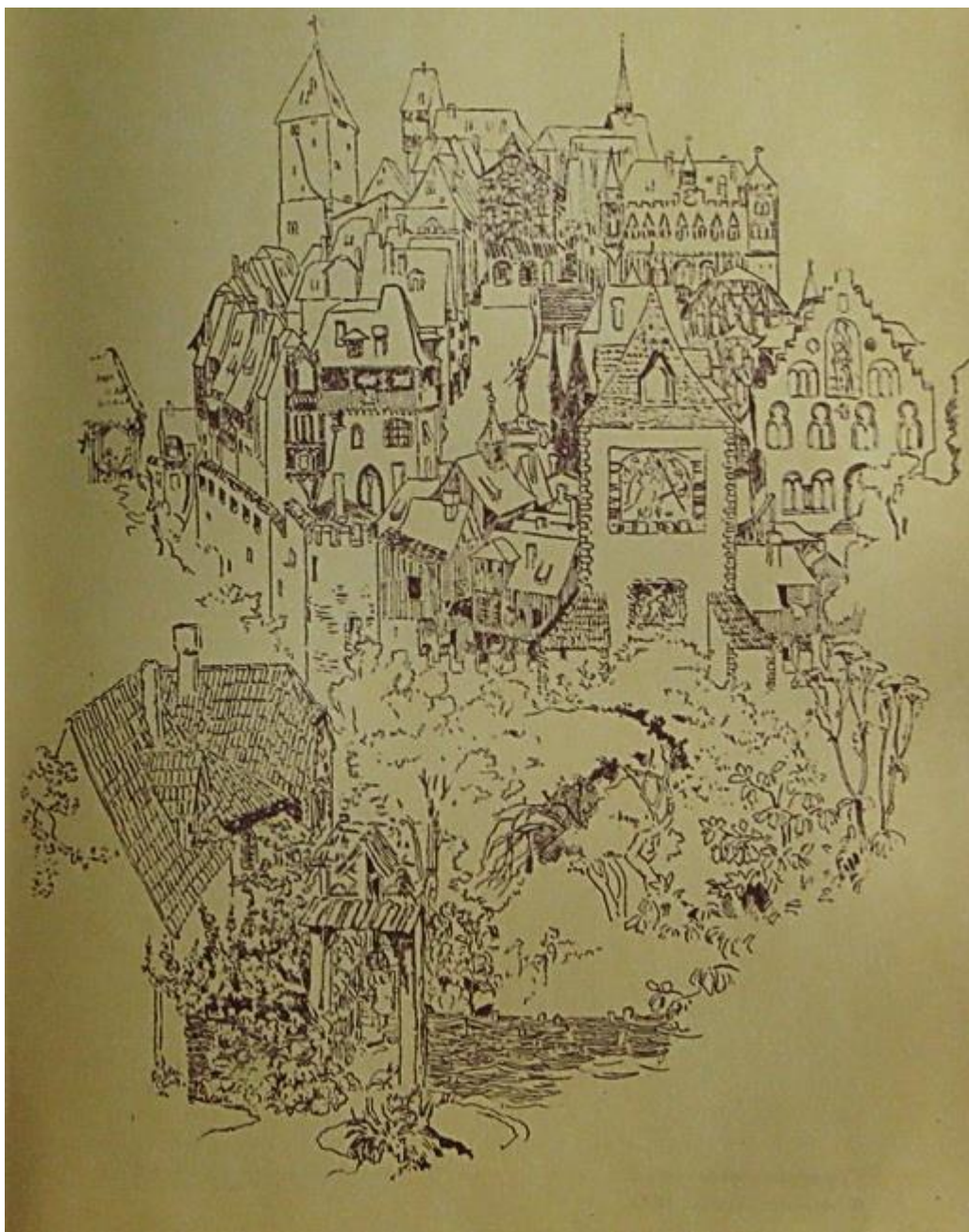
Тут он, окинув меня уже более серьезным взглядом и держа мою руку в своей, отвел меня за мою огромную паутину и тихо проговорил:

— Люс больше не вернется. По его просьбе я скатал в трубку ею картины, уложил их в ящики и отправил к нему на родину, равно как его книги и мебель. Он написал мне, что

хочет выставить свою кандидатуру в палату депутатов. От живописи он отказывается навсегда, так как «для этого нужны глаза», чего я не понял. Так он впадает из одной глупости в другую, и мне хочется плакать над ним. А теперь я прихожу сюда и застаю тебя за таким невероятным чудачеством, какого, наверно, еще не видел мир! Что значит эта пачкотня? Подбодрись, возьми себя в руки, выберись из этой проклятой сети! Вот тебе хотя бы лазейка!

С этими словами он пробил кулаком картон и разорвал его вдоль и поперек. Я с благодарностью протянул ему руку. Его слова и решительный жест доказали мне его понимание и участие.

После того как мы вышли из-за картины и осмотрели дыру спереди, все быстро попрощались, конечно, обещая друг другу когда-нибудь встретиться вновь. Но никого из этих четырех людей мне больше не довелось увидеть. Минуту спустя в моей комнате опять стояла мертвая тишина, и дверь, за которой исчезли эти красивые женщины и мужчины, белела у меня перед глазами, как полотно, с которого одним взмахом была стерта теплая картина жизни.



Средневековый город.

Фрагмент. Уголь. 1843 г.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Перевод с немецкого Н. Бутовой.

Стихи в переводе Е. Эткинда.

Глава первая **БОРГЕЗСКИЙ БОЕЦ**

В моей рабочей комнате на низенькой печке стояла гипсовая фигура «Боргезского бойца»¹⁷¹ вышиною почти в три фута. Это была отличная копия, хотя и несколько пожелтевшая от времени; принадлежала она еще прежним жильцам и переходила от одного преемника к другому. Каждый из них оставлял за собою этого доблестного воина, выплачивая известное вознаграждение хозяевам дома, и таким образом последние умудрялись время от времени извлекать некоторый доход из творения достославного Агасия спустя две тысячи лет после его смерти.

Когда Эриксон и Рейнгольд вместе со своими женами скрылись за дверь, я перевел взор на стоящую рядом с нею фигуру бойца и невольно залюбовался чудесной статуей. Я подошел к ней, словно к другу, посетившему меня в час грустного одиночества, и, может быть, впервые, внимательно взглянул на нее. Быстро убрал я картины и мольберты, придвинув их к стене, вынес фигуру на середину комнаты и поставил ее на столик, ближе к свету. Но она сама излучала еще более яркий свет, несмотря на свой потемневший вид, и казалось, в ее движении сама жизнь утверждает себя в извечном круговороте защиты и нападения. От поднятого кулака левой руки, через плечо до опущенного кулака правой, от лба до пальцев ног, от затылка до пят каждый мускул, каждая частица дышали движением, неукротимой решимостью — победить или погибнуть со славой. И какое многообразие форм! Все члены его тела, казалось, одушевлены единым порывом, словно некое содружество бойцов, движимых вперед слитною волею, чтобы защитить свой союз от уничтожения.

Непроизвольно я потянулся за чистым листом бумаги, тщательно заострил палочку угля и попытался передать на бумаге очертания некоторых деталей; когда же увидел, что у меня ничего не получается, попробовал одним стремительным штрихом передать все движение, начиная от левой руки до грудной клетки и затем спускаясь вниз, до паха. Но рука моя была еще неопытной в рисовании, и лишь когда уголь слегка притупился, линия сама по себе стала более естественной и пальцы мои более гибкими. Однако же теперь оказалось, что рука моя опережает глаз, не привыкший достаточно быстро схватывать пропорции и ракурсы человеческой фигуры; мне пришлось встать и точнее рассмотреть все границы и переходы; я уже был достаточно взрослый, чтобы не браться за дело, с которым не знаком, и потому решил сначала поразмыслить об этой натуре и ее особенностях.

Так в течение нескольких дней я с грехом пополам закончил весь рисунок, потом, повернув статую, нарисовал ее и с других сторон. Но тут, мысленно выпрямив воина, я внезапно решил нарисовать его в ненапряженном положении и таким образом как бы проверить приобретенные знания. Глядя на фигуру, безукоризненную в отношении анатомии, я отлично видел, что представляет собою кость или мышца, сухожилие или

¹⁷¹ «Боргезск ий боец» — известное скульптурное изображение сражающегося воина работы эфесского ваятеля Агасия (I в. до н. э.). Прежде эта статуя хранилась на вилле Боргезе, близ Рима (отсюда ее название), теперь находится в Луврском музее в Париже.

кровеносный сосуд; когда же мне пришлось изобразить все это в измененном ракурсе, то я почувствовал, как мне не хватает твердого знания взаимосвязи всего того, что скрыто, живет и движется под нашей кожей, а так как не могло быть и речи о том, чтобы ограничиться лишь небрежным, поверхностным наброском, да в этом и не было никакого смысла, то я был вынужден отложить уголь.

Все это случилось тогда, когда я, посвятив искусству уже не один год жизни, думал достичь в нем некоторых результатов. Я мог бы все это предвидеть, прежде чем провел первую черту, и теперь, размышляя о своем сумасбродстве, дивился тому, что не выбрал ранее призванием своим изображение людей, а не только природы, в окружении которой они живут и действуют. И, продолжая размышлять над этой роковой случайностью, я дивился снова и снова, как вообще могло случиться, что я, будучи еще на пороге неопытной юности, так легко настоял на своем желании и тем самым определил на долгие годы свой жизненный путь. Я еще не отказался от заблуждения молодости и считал, что подобное самоопределение в юном возрасте достойно наивысшей похвалы; но уже теперь во мне постепенно росло убеждение, что для становления юноши борьба со строгим и предусмотрительным отцом, взор которого провидит многое за порогом родного дома, — закалка куда более серьезная, чем чувство матери, которая любит чисто по-женски. Пожалуй, впервые на моей памяти я так ясно почувствовал, как мне не хватает отца, и это ощущение горячей волною захлестнуло все мое существо. Я представил себе, что, будь мой отец жив, я бы лишился своей ранней свободы, может быть, подвергнулся жестоким наказаниям, но зато он бы вывел меня на проторенную дорогу. И при одной мысли об этом в душе моей одновременно вспыхнули противоречивые чувства — и тоска, и незнакомое мне, но сладкое ощущение покорности, и вместе с тем упрямая жажда свободы; я пытался восстановить в памяти почти совсем угасший облик, но в смятении моих мыслей мог увидеть его лишь глазами матери, таким, каким матушка видела покойного во сне. Дело в том, что время от времени, но всегда с промежутками в несколько лет, ей снился покойный отец, два или, может быть, три раза за ночь, словно в знак того, как редко неисповедимая судьба дарит нам светлые мгновенья истинного счастья. И всякий раз она с благоговейной радостью рассказывала утром о своем сновидении, которое всегда приходило неожиданно, и описывала его во всех подробностях.

Так однажды виделось ей во сне, будто гуляет она со своим покойным супругом в воскресенье, как прежде, за городом; но вдруг она увидела, что его нет рядом с нею, как обычно, и появился он в отдалении, на уходящей вдаль проселочной дороге. Он был одет по-праздничному, но за спиной у него висел тяжелый ранец; приблизившись, он остановился, снял шляпу и отер пот со лба, затем ласково кивнул матери и произнес своим приятным голосом: «Далек мой путь, далек!» — после чего, опираясь на палку, он бодро зашагал дальше и вскоре исчез из виду. Матушка увидела своего покойного мужа не предающимся отдохновению, но отягощенным ношей и уходящим в бескрайнюю даль, и, размышляя над этим своим видением, опечалилась: она была далека от суеверий и от толкований снов, и все же у нее появилось какое-то тяжелое чувство, какое-то смутное представление о мучительных испытаниях, которым подвергается усопший.

В моей же душе воспоминания о неутомимом странствии столь дорогого мне духа по путям загадочной вечности пробудили скорее восхищение неистребимым жизнелюбием, неустанным стремлением к одной цели. Я видел, как человек этот шел вперед, как он кивнул головой, и когда эта картина постепенно потускнела в моем воспоминании и, наконец, исчезла, я решительно сказал себе: «Ничего не поделаешь! Нельзя более медлить, ты должен добыть недостающие знания!»

Итак, я решил приняться незамедлительно за изучение анатомии, во всяком случае, поскольку она необходима для понимания и изображения человеческой фигуры; я не посещал общественной школы живописи, дававшей некоторые, хотя далеко не совершенные возможности для такого изучения, а потому отыскал студента, который был моим секундантом в нелепой дуэли с Фердинандом Люсом. Этот ревнитель медицины скоро должен был кончить учение, а теперь только и делал, что ходил по клиникам и

операционным. С готовностью предоставив мне свои атласы и руководства, он собирался было повести меня в аудиторию, где изучалось строение скелета, но после некоторого размышления посоветовал мне вместе с ним посещать лекции по антропологии, которые читал выдающийся профессор¹⁷². Да и сам он, по его словам, ходил туда не из желания вернуться к давно пройденной им ступени, но из-за того, что лекции эти, превосходные по форме и глубокие по содержанию, доставляют поистине поучительное наслаждение. Впрочем, если анатома можно назвать скульптором в обратном смысле, так сказать, скульптором рассекающим, то ваятелю следует идти противоположным путем: он должен начинать не только с изучения скелета, но и с целостного взгляда на человека и на его становление; проследив зарождение чувств под оболочкой человеческой кожи, он, разумеется, не станет Микеланджело, если у него нет достаточных дарований, но это может заменить ему другие, не существующие ныне факультеты прошлых времен.

Я взглянул внимательнее на своего земляка и с трудом поверил, что это и есть тот самый человек, который несколько недель тому назад рад был помочь мне проткнуть шпагой приятеля. Когда молодые люди, подружившиеся во время веселых пирушек и среди легких забав, позднее открывают друг в друге более серьезные свойства, это неизменно доставляет им немалое удовлетворение, зачастую ведущее к тому, что один из них подпадает под определяющее влияние другого. Поэтому я, не колеблясь, последовал за своим советчиком, и мы вступили под сень университетского здания, где по лестницам и бесконечным коридорам взад и вперед сновали юные граждане различных стран. В нашей аудитории скамьи были еще пусты. Голые стены, черная доска, столы, изрезанные и закапанные чернилами, — все это живо напомнило мне школьные классы, в которые я не входил уже много лет, и на душе у меня стало тяжело. Прерванное ученье с болью напомнило о себе; мне показалось, что, если я сяду на одну из этих скамей, меня снова могут вызвать и даже пристыдить; я совсем и не думал о том, что тут всякий в течение определенного срока пользуется полнейшей свободой, что никто не обращает внимания друг на друга и что день расплаты, ожидающей каждого студента, маячит где-то в далеком, туманном будущем. Но постепенно зал наполнился, и я начал с удивлением разглядывать собравшихся. Здесь толпилось множество молодых людей моего возраста, которые бесцеремонно занимали места и спорили из-за них, однако были и люди среднего возраста, одетые побогаче или победнее, — они вели себя более сдержанно и скромно, было даже несколько почтенных седовласых старцев, известных профессоров, которые, заняв поодаль боковые места, тоже, видимо, хотели еще чему-то поучиться. Тут я невольно отдал себе отчет в своей ограниченности и понял, насколько же я был неправ, полагая, что здесь, в чертогах науки, ученье может быть для кого бы то ни было позором.

Лектора ожидало уже не менее сотни слушателей, когда он вдруг стремительно вошел в дверь и быстро поднялся на кафедру. Профессор начал с традиционного вступления, в котором набросал картину нашего организма и жизненных условий в соответствии с уровнем науки, о которой лекторы, если им верить, неизменно говорят, что именно теперь она достигла наивысшего расцвета. Но он не произносил пышных фраз, говорил спокойно и ясно; речь его текла без малейших задержек, и он вел слушателей по стройной области своей науки без торопливости, без излишних длиннот, без неожиданностей или вымученного остроумия, причем слов своих он не подчеркивал жестикующей, не сопровождал их восклицаниями.

Эта первая лекция произвела на меня такое сильное впечатление, что я даже забыл,

¹⁷² ...посоветовал... посещать лекции по антропологии, которые читал выдающийся профессор . — Этот эпизод навеян впечатлениями Келлера от лекций профессора Хенле по антропологии, которые были прочитаны в Гейдельберге в 1849 г. одновременно с публичным курсом лекций Фейербаха «О сущности религии». Лекции по антропологии помогли Келлеру усвоить фейербаховский материализм и атеизм. Герой романа, в отличие от автора, сначала слушает лекции по антропологии, а философское учение Фейербаха воспринимает значительно позднее — и не от самого философа, а от его последователей.

зачем пришел сюда, и только жадно ждал новых откровений. Больше всего меня сразу же поразила чудесная целесообразность всех частей организма; каждый новый факт казался мне доказательством мудрости господ бога и его искусства, и хотя я в течение всей своей жизни представлял себе, что мир создан по заранее обдуманному плану, однако при этом первом моем ознакомлении с наукой мне представилось, что я до сих пор, собственно говоря, ничего не знал о сотворении человека, но зато теперь с полным и глубоким убеждением в споре с кем угодно смогу отстаивать бытие и мудрость создателя. Но после того как лектор превосходно изобразил совершенство и необходимость явлений мира, он незаметно предоставил их самим себе и своим собственным изменениям, так что внимание, отвлекшееся мыслью о творце, так же незаметно вернулось в замкнутый круг фактов и снова было приковано к ним» Туда же, где оставалось что-либо непонятное, погруженное во мрак, профессор вносил яркий свет уже разъясненного им прежде и этим светом озарял темные углы, так что каждый предмет оставался до поры до времени неосвещенным и незатронутым, ожидая наступления своего срока, как дальний берег ожидает утренних лучей солнца. Даже тогда, когда приходилось отказываться от объяснения чего-либо, он отступал с убедительным указанием на то, что все совершается в полном соответствии с необходимостью и что предел, ограничивающий человеческое познание, никоим образом не означает предела для действия законов природы. При этом он не употреблял громких фраз и так же тщательно избегал богословских оборотов, как и возражений против них. Люди предубежденные ничего этого не замечали и неумоимо записывали все то, что им казалось необходимым для своих собственных целей и для будущих высказываний, в то время как беспристрастные слушатели, не думая ни о чем ином, с радостным чувством внимали глубоким мыслям учителя и проникались благоговением к чистому познанию.

У меня тоже все предвзятые и корыстные намерения вскоре отступили на задний план, и, не чувствуя, как это получилось, я всецело отдался впечатлению от фактов, простых или сложных; ведь стремление к истине никогда не включает в себе зла, оно всегда безобидно и бескорыстно; «лишь в тот момент, когда оно приходит к концу, начинается ложь и у христианина и у язычника. Я не пропускал ни одной лекции. Точно тяжелый камень свалился с моей души, когда я все-таки начал чему-то учиться; счастье познания потому и является истинным счастьем, что оно безыскусственно и безоговорочно, и когда оно рано или поздно приходит, оно всегда полностью оправдывает все надежды; оно зовет вперед, а не назад; подтверждая неизменность и вечность законов природы, оно позволяет забыть о собственной бренности.

Я преисполнился глубокой признательности к красноречивому учителю, который и не знал меня вовсе; пожалуй, это не самое дурное свойство человека, если он бывает более признателен за духовные блага, чем за материальные благодеяния, причем наша признательность тем больше, чем меньше та непосредственная реальная польза, которую приносит нам духовное благодеяние. Только если материальное благодеяние включает в себе и свидетельство духовной силы, которая становится внутренним переживанием для получателя, признательность его достигает прекрасных вершин, облагораживающих его самого. Ведь убеждение, что чистая добродетель и добро существуют на свете, — это лучшее, что может нам ниспослать судьба, и даже норок потирает от удовольствия свои незримые черные руки, когда он убеждается в том, что есть люди добродетельные и благородные,

В то время как постепенно вырисовывались контуры учения о нашей человеческой природе, я заметил не без удивления, как вещи, наряду с их осязательными формами, приняли в моей голове некий фантастический характерный облик, который, правда, обострил восприятие внешнего мира, но угрожал точному познанию. Это происходило от привычки подходить ко всему с точки зрения изобразительного искусства, которое теперь вторглось в область умозрения, тогда как умозрение стремилось занять место, по праву принадлежавшее искусству. Так, я представлял себе кровообращение как прекрасный пурпурный поток, над которым, словно туманный призрак, склонился бледный дух нервов, закутанный в плащ из

серо-белой нервной ткани, он жадно пил, глотал и набирался сил, чтобы затем, подобно Протею¹⁷³, превратиться в наши пять чувств. Или я видел миллионы сферических телец, составляющих кровь, которые столь же неисчислимы и столь же невидимы простому глазу, как полчища небесных тел; видел, как они стремятся вперед по тысячам каналов, чьи воды непрестанно озаряются молниями нервов, и эти вспышки, с точки зрения вечности вселенной, так же коротки или так же длительны, как те периоды времени, которые требуются звездам для прохождения их пути по орбитам, предназначенным судьбой. А повторяемость невероятного многообразия и единства всей космической природы в каждой отдельной жалкой черепной коробке представлялась мне в виде невероятной картины: крошечный, величиной с монаду, человек в глубине мозга и, несмотря на кажущуюся плотность окружающей его материи, направляет подзорную трубу сквозь дальние пространства, подобно астроному, исследующему мировой эфир; может быть, думалось мне, колебание нервного вещества мозга есть не что иное, как действительное путешествие частиц мыслей или понятий по пространствам полушарий. Эти и тому подобные вздорные идеи приходили мне в голову.

Однако серьезность учителя и его ровная, невозмутимая речь преодолели наконец все эти бредни и возбудили во мне внимание, уже не ослабевавшее до конца, но потом уступившее место некоторому смущению. Дело в том, что, заканчивая свое учение о развитии органов чувств и возникновении человеческого сознания, он отбросил прежнюю свою сдержанность и закончил открытым опровержением так называемой свободной воли¹⁷⁴. Он сделал это в нескольких умеренных словах, которые были произнесены мягко и мирно, безо всякого самодовольства или самолюбования; скорее в них послышался настолько непримиримый отказ от этого принципа, что я сразу же внутренне восстал против его теорий, так как юность неохотно отказывается от того, что кажется ей благодетельным и прекрасным.

Глава вторая **О СВОБОДНОЙ ВОЛЕ**

Чем выше подымался этот человек в моем уважении, тем усерднее пытался я восстановить в себе ценимую мной свободу воли, которой, как мне казалось, я издавна обладал, применяя ее на деле. В числе немногих предметов, сохранившихся с той поры, у меня лежит записная книжка, в которой содержится несколько торопливых записей, и я перечитываю теперь эти исписанные карандашом страницы, не испытывая былой самонадеянности, но и не без некоторого волнения:

«Отрицание, высказанное профессором, само по себе не пугает и не отталкивает меня. Существует выражение, что надо уметь не только разрушать, но и строить, и фразу эту часто применяют люди поверхностные, любящие свои удобства, и обычно тогда, когда они встречаются с неудобной для них деятельностью, требующей коренной перестройки. Это выражение уместно там, где что-либо отрицается легкомысленно или из случайного

¹⁷³ *Протей* — в греческой мифологии старец-предсказатель, обладавший способностью к перевоплощению; один из богов, подвластных главному морскому богу Посейдону.

¹⁷⁴ ...закончил открытым опровержением так называемой свободной воли. — Учение о свободе воли (индетерминизм) в идеалистической философии утверждает, что ход вещей в мире не подчинен закономерности, что существует так называемая свободная воля, ни от чего не зависящая. В этом смысле для метафизиков свобода и необходимость — взаимоисключающие понятия. Марксизм-ленинизм отрицает такую постановку вопроса. С точки зрения материалистической диалектической философии свобода заключается не в воображаемой независимости от законов природы, а в познании этих законов и в возможности использования их в практической деятельности людей.

влечения; в других случаях оно неразумно. Ибо люди не всегда разрушают для того, чтобы построить что-либо взамен; напротив, нередко они старательно ломают для того, чтобы дать место воздуху и свету, которые сами собой появляются там, где убирают с дороги что-либо лишнее. Если смотреть на вещи прямо и судить о них с полной откровенностью, то ничего нельзя назвать ни полностью отрицательным, ни полностью положительным, если воспользоваться этими избитыми выражениями.

Может быть, свободы воли и не существовало на низшей ступени человеческого развития и у отдельных отсталых личностей, но она должна была появиться и развиваться, как только появилась потребность в ней; может быть, клич Вольтера: «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать!»¹⁷⁵ — звучит скорее кощунством, чем «позитивным» изречением, но иначе обстоит дело со свободой воли, и здесь по праву и обязанности человек должен был бы сказать: «Давайте создадим эту свободу и даруем ее миру!»

Школу свободной воли правильнее всего сравнить с ипподромом. Скаковая дорожка — это наша жизнь на земле, и пройти ее надо хорошо; одновременно она представляет собою твердое основание материи. Стройная вышколенная лошадь — это материя, хотя и особая; всадник — воля человека, которая стремится покорить себе материю и стать свободной волею, чтобы наиболее благородным образом преодолеть грубое, материальное пространство; наконец, шталмейстер в высоких ботфортах и с бичом в руках — это нравственный закон, который всецело основан на природе и внешнем облике лошади и помимо нее вообще бы не существовал. Лошадь же не могла бы существовать, если б не было земли, по которой она может скакать, так что все звенья этой цепи взаимно обусловлены и ни одно не может существовать без другого, исключая разве только почву — материю, которая существует независимо от того, передвигается ли кто-нибудь по ней или нет. И все-таки бывают хорошие и плохие наездники, и даже не только с точки зрения физических способностей, но преимущественно в силу умения владеть собой. Доказательством тому служит первый попавшийся кавалерийский полк, который встретится нам на пути. Те солдаты, которым не приходилось выбирать, проходить ли им обучение с большим или меньшим усердием, и которых лишь железная дисциплина приучила к верховой езде, — все они почти в равной степени надежные всадники; никто из них особенно не выделяется и никто не отстает от других; обычный ход жизни определяется еще и тем, что вышколенные, привычные к строю лошади сами помогают всадникам, и то, о чем мог бы забыть наездник, делает его лошадь сама по себе. Только там, где нет принуждения и обычной рутины, этой жестокой необходимости, подчиняющей себе солдатскую массу, только среди офицерского корпуса встречаются наездники, которых можно назвать хорошими, плохими или отличными, потому что в их власти превзойти обязательные для всех условия или пренебречь ими. Рядовой совершает смелые поступки, выделяющие его среди остальных лишь в пылу битвы, под угрозой непосредственной опасности, невольно и бессознательно, офицер же изо дня в день упражняется в скачке и преодолении препятствий для своего собственного удовольствия, по доброй воле и, так сказать, теоретически; но он далек от мысли, что благодаря этому он всемогущ и что, несмотря на всю его смелость и силу, его никогда не может сбросить конь или что его норовистая лошадь не поскачет в другом направлении, чем захочет он.

И разве рулевой, — если применить другое сравнение, — только из-за случайного шторма, который отнесет корабль его в сторону, из-за того, что он зависит от

¹⁷⁵ ...клич Вольтера: «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать!»... — Виднейший французский просветитель, писатель и философ Мари-Франсуа Аруэ, прославившийся под псевдонимом Вольтер (1694—1778), в противоположность религиозно-мистическому учению о божественном откровении пытался доказать бытие бога рационалистически: существование божественного начала он видел в стройности мироздания. Хотя Вольтер выступал как борец против католицизма с его суевериями, предрассудками и фанатизмом, однако он считал религию необходимым практическим средством для сохранения «порядка».

благоприятного ветра, из-за того, что корабль его плохо оборудован и на пути встретились неожиданные рифы, из-за того, что затуманились путеводные звезды и солнце скрылось за тучами, — разве рулевой из-за всего этого скажет: «Нет науки кораблевождения»? Разве он откажется от мысли достичь намеченной цели, пользуясь своими возможностями?

Нет, как раз неотвратимость, но вместе с тем и закономерность множества взаимосвязанных условий должны пробудить в нас стремление не выпускать из рук штурвала и, по крайней мере, добиться славы отважного пловца, который переплывает стремительный поток в наиболее прямом направлении. Только двое не попадут на другой берег: тот, кто не верит в свои силы, и тот, кто похвается, что ему вовсе и не нужно, что он, дескать, собирается перелететь и лишь ожидает, когда ему заблагорассудится это сделать.

Да, в вещах живет некое существо, исполненное чувства ответственности, оно возмущает зеркальную поверхность спокойной души; самое возникновение вопроса о закономерности свободной воли есть одновременно и причина ее, и ее воплощение, и кто задает этот вопрос, тот обязуется уже тем самым морально подтвердить ее существование».

Вспоминаю тот день, когда я написал эти строки; это было в августе, в самом дальнем уголке городского парка. Не слишком подавленный их тяжестью, я не торопясь бродил по дорожкам и наткнулся на кусты диких роз, среди которых висело несколько паутинок¹⁷⁶ и деловито сновали маленькие желтые паучки. Это была целая колония крестовиков, занятых своим делом. Один из них спокойно сидел посередине искусно сплетенной сети и терпеливо выжидал жертву; другой взбирался неторопливо по окружающим нитям, исправляя то там, то здесь небольшие повреждения, в то время как третий сердито наблюдал за враждебным соседом. Ибо по краям каждой паутины, спрятавшись в листве, сидели такие же желтые, но с длинным тельцем пауки, которые не раскидывали собственных сетей, но довольствовались тем, что захватывали себе добычу искусных мастеров. Легкий ветер колыхал кустарник и вместе с ним воздушное жилище этих поселенцев, так что и здесь, в мирной тишине, обычный ход вещей вносил тревогу и будил страсти.

Я поймал муху и кинул ее в паутину, в середине которой неподвижно висел ее владелец. Сразу же он набросился на бедняжку, начал крутить ее и вертеть в своих лапах, предварительно перевязав ей крылья и лапки крепкими нитями, потом покрыл ее сплошной сетью паутины, все время с величайшей ловкостью вращая свою добычу задними лапами, подобно жаркому на вертеле; таким образом он превратил ее в удобный пакет и потащил к своему насиженному месту. Но уже хищный паук-паразит оставил свой наблюдательный пост и стремительно приближался, готовый отнять добычу у охотника, законно ею завладевшего; едва заметив врага, тот повесил свой ягдташ на решетку крепости и с быстротой молнии кинулся на нападающего. С горящими глазами и вытянутыми передними лапками они сошлись, примерились, как настоящие бойцы, и набросились друг на друга. После жаркого боя паук, который защищал свои законные права, обратил противника в бегство и вернулся к своей добыче; но ее успел за это время похитить другой разбойник, поспевший стороны и как раз в эту минуту тащивший муху в свое убежище. Так как этот более счастливый похититель уже овладел добычей, ему удалось отогнать законного владельца, который преследовал его, и ускользнуть, быстро покинув паутину. Ограбленный паук взволнованно ползал взад и вперед, штопая свою сеть там, где она была повреждена в ходе боя, и наконец снова уселся посередине.

Тогда я принес еще одну муху; паук схватил ее, как и первую; но снова к нему подобрался прежний похититель, которому голод не оставлял выбора; однако теперь, вместо того чтобы искусно обволакивать свою жертву, паук просто взял ее своими челюстями, как медведь овцу, и понес уже не на середину, а, выбравшись из сети наружу, — в укромное

¹⁷⁶ ...среди которых висело, несколько паутинок ... — Приведенными далее наблюдениями Келлер заменил чисто теоретические рассуждения о свободе воли, содержащиеся в первой редакции романа.

местечко. Ему не удалось добрести туда: враг преградил ему дорогу, и пауку пришлось искать убежища в другом месте, — он не хотел выпустить улов и потому не мог принять бой. И вот начались новые, еще более мучительные злоключения бедного паучка: ветер усилился и так раскачал сеть, что оборвалась одна из самых крепких нитей, ее главная опора. При этом муха упала, противник скрылся из глаз, и только сам паук остался на месте, продолжая выполнять свои обязанности. Как матрос во время шторма висит на снастях корабля, так и он трепещущими лапками цеплялся за раскачивающиеся нити паутины, пытаясь спасти то, что еще можно было спасти, не обращая внимания на порывы ветра, которые швыряли его туда и сюда вместе с его сооружением. Только когда я сломал ветку и смахнул всю паутину, он убежал в глубь кустарника, склонившись перед высшей властью. «Ну, на сегодня, пожалуй, с него хватит!» — подумал я и отправился дальше. Но когда через четверть часа я снова проходил мимо, паук начал ткать новую паутину, и уже были готовы радиальные опоры. Теперь он тянул более тонкие соединительные нити, — правда, уже не такие ровные и нежные, как в погибшей паутине; у него получались более широкие или, напротив, слишком узкие просветы, — тут не хватало нити, там он протягивал ее дважды. Короче говоря, он вел себя, как человек, которому пришлось пережить нечто тяжелое, мучительное, который полон своим горем и в рассеянности снова принимается за работу. Да, это было очевидно, — крохотное существо твердо решило: «Ничего не поделаешь! Придется, благословясь, все начать сначала!»

Немало я дивился этому, — ведь подобная способность к принятию решений в таком крошечном мозгу подымается почти до человеческой свободы воли, которую я отстаиваю, или низводит последнюю до степени слепого закона природы, некоего инстинкта. Чтобы избежать этого, я сразу же поднял свои нравственные требования, тем более что при создании воздушных замков уже не считаешься с большими или меньшими затратами. Удастся ли когда-нибудь построить эти воздушные замки, служат ли они хотя бы для охраны удобного среднего пути, как римские укрепления когда-то охраняли военные дороги, — это останется тайной жизненного опыта, которую редко выдает благоприобретенная скромность.

Итак, я был вооружен сверкающим мечом свободной воли, не будучи, однако, воином. О том, что первоначально я намеревался получить некоторые сведения по анатомии для лучшей передачи человеческого тела, я уже почти забыл, бросив всякие дальнейшие изыскания в этом направлении.

Не понимаю, как это случилось, но тем же летом я попал на подготовительный курс лекций по юриспруденции, причем пропустил всего лишь несколько занятий, так как вскоре мне показалось совершенно немыслимым не знать того, о чем я незадолго до этого не имел никакого понятия и чего от меня никто не требовал. Некоторые книги мне ссудили мои новые знакомые, которые теперь разъехались на каникулы, другие я приобрел сам. Я погрузился в них и читал сутки напролет, словно меня ожидал экзамен, а когда осенью снова открылись двери аудиторий, я очутился в качестве слушателя на первой же лекции по римскому праву, ни в коей мере не собираясь стать юристом, но лишь для того, чтобы проникнуть в суть этих вещей и понять их происхождение. Правда, здесь я оставался недолго, лишь до тех пор, пока не почувствовал более разумного стремления к изучению истории римского государства и народа вообще, а отсюда было уже недалеко и до греческих мифов, с жалким, сокращенным пересказом которых я должен был расстаться в середине школьного курса, когда мне пришлось оставить ученье. Я теперь держался очень тихо и смиренно; я радостно наслаждался всей этой поэзией, причем когда я слышал благозвучные древние названия, передо мною неизменно вставали живописные пейзажи Эллады, ее острова и предгорья.

Случайно я натолкнулся на несколько томов германских древностей: правовых документов, приговоров, предсказаний, легенд и мифов, которые тогда находились в расцвете своей славы; здесь все пути вели к древнейшим временам моей собственной родины, и снова, дивясь, испытал я все растущую радость при изучении права и истории

своей страны. В то время уже зарождался культ Брунгильды¹⁷⁷, вызванный стремлением возродить юность Германии, и он вытеснял тень доброй хозяйки — Туснельды¹⁷⁸, подобно тому как демоническая Медея¹⁷⁹ сильнее притягивает пресыщенные чувства, чем человеческая Ифигения¹⁸⁰. Слабосильным и хилым рыцарям особенно пришлось по сердцу отвергнутая героическая дева, окутанная облачной пеленой, и многие задним числом отдали ей свою любовь. Это сверкающее видение озарило отблеском своих лучей картины прошлого и пробудило к жизни противопоставленный ей образ Зигфрида¹⁸¹, спавший в глубине тенистых лесов.

Подобные взгляды, порожденные моей фантазией, все же быстро уступили место мыслям более трезвым, едва я ближе подошел к рассмотрению истории и, как новый Санчо Панса, в нескольких тривиальных пословицах мог выразить смысл почти любого события. Я увидел, что каждое историческое явление длится ровно столько, сколько того заслуживает его глубина и внутренняя жизнеспособность, соответственно роду своего возникновения. Я увидел, что длительность всякого успеха представляет собой лишь результат всех примененных при этом средств и испытание разумности и что в ходе истории ничто не может нарушить непрерывной цепи причин и следствий — ни надежды, ни страх, ни жалобы, ни неистовство, ни высокомерие, ни малодушие, ибо движение поступательное и попятное сменяются по определенному ритму. Я попытался поэтому обратить внимание на подобные соотношения в истории и сравнил характер событий и обстоятельств с их длительностью и последовательной их сменой: какой, например, устойчивый исторический порядок, существующий достаточно долго, обрывается неожиданно, а какой приходит к концу постепенно, или какие неожиданные, быстро следующие друг за другом события все же имеют длительный успех? Какой род движения вызывает быструю реакцию и какой — медленную, которые из них внешне обманывают и ведут к заблуждениям и какие открыто идут предначертанным путем? В каком соотношении вообще находятся совокупность нравственного содержания и ритм столетий, лет, недель и отдельных дней? Благодаря этому я полагал обрести способность определить в начале всякого движения, руководствуясь его своеобразными чертами и свойствами, в какой мере благоразумный и свободный гражданин мира должен возлагать на него надежды или встречать его опасениями. «Что посеешь, то и пожнешь!» — думал я, это и в истории, к счастью, является не только избитой фразой, а непререкаемым законом. Поэтому для современной жизни весьма полезно знание такой истины: мы должны избегать всего, что находим достойным порицания и предосудительным у наших противников, и поступать лишь так, как находим справедливым, и не только из

¹⁷⁷ *Брунгильда* — легендарная героиня произведений древнегерманского эпоса и средневековой «Песни о Нибелунгах» (XIII в), королева Исландии, впоследствии супруга Гунтера, короля Бургундии. Брунгильда отличалась богатырской силой, властолюбием и мстительностью.

¹⁷⁸ *Туснельда* — супруга Арминия, предводителя германского племени херусков. В 15 г. н. э. Туснельда была выдана римскому полководцу Германику и уведена в качестве пленницы в Рим.

¹⁷⁹ *Медея* — в греческой мифологии волшебница, дочь царя Колхиды. Чтобы отомстить покинувшему ее мужу Ясону, Медея умертвила прижитых с ним детей и убила свою соперницу. Образ Медеи неоднократно использовался в произведениях мировой литературы (Еврипид, Сенека, Корнель, Грильпарцер и др.).

¹⁸⁰ *Ифигения* — в греческой мифологии дочь царя Агамемнона, которую ахейцы собирались по велению оракула принести в жертву богам, перед тем как выступить в поход на Троию. Желая спасти Ифигению, богиня Артемида перенесла ее в Тавриду и сделала жрицей храма. Миф об Ифигении лег в основу известных драматических произведений Еврипида, Расина и Гете.

¹⁸¹ *Зигфрид* — легендарный герой многих произведений древнегерманского эпоса; основной персонаж «Песни о Нибелунгах».

склонности, но также из целесообразности и понимания исторического хода вещей.

Отныне моим любимым местопребыванием стали обиталища науки, и там я проводил время в качестве вольнослушателя, жаждущего услышать и увидеть все возможное, наподобие господского сына, который в университетах ищет лишь общего совершенствования, но отнюдь не жизненно необходимых знаний. Где бы ни объявлялись демонстрации любопытных опытов по физике, химии, зоологии или анатомии, где бы ни выступали знаменитые лекторы, я всегда был в потоке любознательных слушателей. После лекции меня неизменно можно было найти посреди толпы студентов, выпивавших традиционную предобеденную кружку пива, как полагается истинным буршам. Только теперь я стал поступать наперекор совету зрителя мер и весов — никогда не ходить в трактир раньше вечера; мне не терпелось услышать обсуждение лекции и самому высказать свое мнение. Порою, увлекшись, я начинал громогласно ораторствовать, совсем как в те времена, когда, растрачивая содержание копилки, хвастал перед мальчишками и шел навстречу беде.

Глава третья **ОБРАЗ ЖИЗНИ**

И вот оказалось, что снова имеется копилка, которая ждет лишь своего применения. На другой день после моего отъезда, — с тех пор прошло уже более трех лет, — матушка стала хозяйничать по-новому и научилась жить, почти ничего не тратя. Она изобрела своеобразное блюдо, напоминавшее похлебку спартанцев, которое она из года в год, день за днем варила себе к обеду на огне, горевшем почти без дров, так что одна вязанка держалась у нее целую вечность. Теперь она ела совсем одна и поэтому в будни не накрывала на стол, экономя не столько свои силы, сколько деньги на стирку; мисочку ставила она на простую соломенную рогожку, которая всегда оставалась чистой, и, опуская в суп свою потемневшую от времени маленькую ложку, не забывала призвать господ бога и просить его о хлебе насущном для всех людей, а в особенности для своего сына. Только по воскресеньям и праздничным дням она клала на стол чистую полотняную скатерть и готовила себе кусочек говядины, купленной в субботу. Даже и эту покупку она делала не ради своего воскресного обеда (сама она готова была и в воскресенье удовлетвориться спартанским супом, если бы так было нужно), но скорее из-за того, чтобы не потерять связь с миром и хоть раз в неделю иметь возможность показаться на старом рынке да посмотреть, что делается на свете.

С корзинкой в руке она спокойно и деловито шла сначала в мясные ряды; благоразумно и скромно стоя сзади, за толпой зажиточных хозяек и служанок, которые шумно и с дерзкими замечаниями наполняли свои корзинки, она неодобрительно наблюдала за поведением всех этих женщин и особенно сердилась на бойких, легкомысленных служанок, которые хохотали над шутками веселых мясников и не замечали, как те, за шутливыми прибаутками и смехом, накладывали на весы невероятное множество костей и пленок, — госпожа Элизабет Лее не могла равнодушно видеть такое безобразие. Если бы это были ее служанки, они бы дорого поплатились за то, что влюбленно хихикали, глядя на мясников, и, во всяком случае, им пришлось бы самим съесть хрящи и горловину, подсунутые им этими плутами. Но волею судеб деревья не вырастают до небес, и та, что была бы, пожалуй, самой строгой из всех женщин, толпившихся на базаре, могла распорядиться разве что кусочком говядины, купленным ею с осмотрительностью и терпением.

Положив мясо в корзинку, она направлялась к овощному рынку на берегу, и там взор ее тешили зеленые корешки и пестрые краски фруктов — все то, что было свезено сюда с садов и полей. Она брела от корзины к корзине и — по зыбким мосткам — от лодки к лодке, разглядывала горы зелени и, любуясь ее красотой и дешевизной, судила по всему этому о благосостоянии государства и присущей ему справедливости; при этом в памяти ее всплывали воспоминания о зеленых просторах и садах ее юности, где она сама когда-то собирала столь обильный урожай, что была в состоянии раздарить вдесятеро больше того,

что теперь с великой осмотрительностью покупала. Если бы ей приходилось сейчас располагать многочисленными запасами и вести большое хозяйство, она бы еще примирилась с тем, что уже не имела былой возможности сажать и сеять, но у нее этого утешения не было, и лишь горсточка зеленых бобов, несколько листочков шпината и две-три желтые репки, которые она в конце концов покупала, высказывая немало горьких слов по поводу дороговизны, вместе с пучком петрушки или зеленого лука, которые ей удалось выторговать в придачу, служили ей жалким символом прошлого.

Белый хлеб из городской пекарни, бывший до сего времени в ходу у нас в доме, она тоже отменила и каждую неделю покупала себе дешевый, грубого помола хлебец. Матушка так бережливо его ела, что он в конце концов превращался в камень; но, с удовлетворением грызя его, она, казалось, наслаждалась своим добровольным самоотречением.

В то же время она, чтобы избежать излишних расходов, стала скрытной и скардной, осторожной и сдержанной в отношениях с людьми; она никого не приглашала к столу, а если ей и случалось угощать кого-нибудь, то делала это так скудно, так боязливо, что могла бы прослыть скупой и нелюбезной, если бы не возмещала эту суровую бережливость удвоенной готовностью трудом собственных рук помочь людям. Она появлялась всюду, где могла быть полезной советом или делом, добрая и выносливая, она не боялась никаких трудностей, быстро справлялась со своими делами и потому много времени отдавала подобным услугам то в одной, то в другой семье, везде, где людям угрожали болезнь или смерть.

Но повсюду привносила она искусство точного распределения расходов, так что люди позавиднее, благодарно принимая ее неустанные заботы, все же часто говорили за ее спиной, что, в сущности говоря, госпожа Лее совершает грех, будучи такой боязливой, такой недоступной соблазнам, и не может или не желает предоставить судьбу свою господу богу. Она же, напротив, предоставляла божьему провидению все, что было ей непонятным, и прежде всего — все нравственные затруднения, с которыми она мало имела дела, так как никогда не искала опасных путей. Однако бог был ее всегдашней опорой и в вопросе насущного питания, но этот вопрос казался ей столь важным, что она никогда не колебалась принять сперва сама защитные меры, так что со стороны казалось, будто она полагается только на самое себя.

С железным упорством держалась она своего образа жизни; ни солнечные проблески радости, ни тягостное недомогание, ни веселость, ни тоска не могли склонить ее пойти хотя бы на малейший излишний расход. Она копила грош за грошом, складывала их вместе, и они были спрятаны надежнее, чем в ларце самого закоренелого скряги. И с терпеливостью скупца она собирала деньги, но не для услады глаз — никогда не просматривала накопленного и не пересчитывала, а тем более не представляла себе — всего, что можно за эти деньги приобрести для украшения жизни.

Я же к этому времени уже давно израсходовал все средства, которые были предназначены для моего образования. Я запутался в настоящей паутине долгов, причем попал в нее как-то само собой, благодаря общению со студентами, образ жизни которых значительно отличается от образа жизни адептов искусства. Последние с самого начала вынуждены пользоваться светом дня для непрерывного упражнения своих способностей; уже это одно требует иного хозяйственного распорядка, такого, который сродни добрым старым обычаям ремесла. Во времена моего знакомства с богатым Люсом и с Эриксоном, тоже привыкшим к беспечной жизни, мне никогда не приходилось чувствовать свою сравнительную бедность. Мы встречались обычно только по вечерам, и они проводили время, как правило, не иначе, чем могли себе позволить я и другие малосостоятельные люди; о том, чтобы толкать друг друга на опасную расточительность, не могло быть и речи, а если веселое настроение или какой-либо праздник вызывали неподвижные расходы, то это никогда надолго не нарушало равновесия,

Напротив, студент до поры до времени, вплоть до решающего дня экзаменов, живет в полном смысле слова под знаменем свободы. Будучи сам юношески доверчив, он требует беспредельного доверия; лень и отсутствие денег он не считает недостатком, мало того, оба

эти свойства прославляются в особых виршах; в старых и новых традиционных песнях студенчества восхваляется и тот, кто растранижил последние свои пожитки, и тот, кто подтрунивает над кредиторами. Хотя все это при нынешних добродетельных правах и должно понимать скорее эвфемистически, тем не менее это приметы вольностей, имеющих своей предпосылкой известную всеобщую добропорядочность

Итак, однажды утром я нежданно-негаданно оказался во власти нескольких кредиторов и, предаваясь запоздалым размышлениям об этом происшествии, следующим образом попытался разъяснить себе создавшееся положение. Случись мне давать добрые поучения своему сыну, я бы сказал ему: «Сын мой, если ты без нужды и, так сказать, для своего собственного удовольствия делаешь долги, то в моих глазах ты не только ветреник, но скорее низкий человек, и я подозреваю тебя в грязном своекорыстии, в себялюбии, которое, прикрываясь доверительной просьбой о помощи, сознательно отнимает у ближних их достояние. И если подобный человек попросит у тебя займы, откажи ему, ибо лучше ты посмеешься над ним, чем он над тобою! Но если, напротив, ты попадешь в нужду, то занимай ровно столько, сколько тебе необходимо, и, не считая, оказывай подобную же услугу друзьям, а затем старайся отвечать за свои долги, переносить без сожаления потери, а также получать обратно данное займы, не колеблясь и без унижительного спора. Ибо не только должник, выполняющий свои обязательства, но и кредитор, получающий обратно свое имущество без спора, доказывает тем самым, что он порядочный человек, обладающий чувством чести. Не проси во второй раз у того, кто уже раз отказал тебе, и не заставляй также просить себя; всегда помни, что твое доброе имя связывается с уплатой долгов, или, вернее, даже не раздумывай об этом. Не думай ни о чем, кроме того, что тебе во что бы то ни стало столько-то нужно вернуть. Но если кто-либо не сможет сдержать данного тебе обещания, не спеши дурно судить о нем, а предоставь его суду времени. Может быть, ты еще когда-нибудь будешь доволен, что он послужил тебе копилкой. По тому, как ты выполняешь свои обязательства и как требуешь их выполнения от других, измеряя при этом заключенные в тебе самой силы, будет видно, чего ты стоишь. Ты по-человечески почувствуешь, что значит зависимость нашего существования, и сумеешь распорядиться независимым богатством более благородным образом, чем тот, кто ничего не дает сам и никому не хочет быть должен. Если же ты окажешься в беде и тебе будет нужен некий образец идеального должника, вспомни испанца Сида¹⁸², который поставил перед евреями ящик, наполненный песком, и сказал, что в нем чистое серебро! Его слово стоило, правда, чистого серебра, и все же как было бы досадно, если бы кто-нибудь, из любопытства или недоверия, открыл ящик до назначенного срока! Но все-таки это был тот самый Сид, который, будучи уже безгласным трупом, схватился за меч, когда еврей хотел дернуть его за бороду».

Эти громкие слова, которыми мне пришлось заменить советы мудрого отца, все же так сильно взбудоражили мою совесть, что я решил найти выход в каком-нибудь заработке. Без долгого промедления взялся я за небольшой пейзаж, продать который мне казалось не совсем безнадежным. За основу я взял эскиз, сделанный мною еще на родине. Он представлял собой вид выкорчеванного леса в горах. Оставленные по краям дубы поднимались по склону хребта и снова спускались вниз, в долину, вдоль пенистого лесного ручья, подобно шествию великанов, которые собираются внизу, чтобы держать совет. Закончив рисунок, я испытал потребность узнать мнение товарища по искусству, чтобы не упустить ничего, что было необходимо для успеха, потому что с каждым штрихом серьезность моей задачи становилась мне все яснее.

¹⁸² *Сид* Кампеадор (настоящее имя — Родриго Диас де Бивар; ок. 1040–1099) — испанский полководец, известный своими подвигами в освободительных войнах против арабов, герой испанской эпической поэмы XII в. «Песнь о моем Сиде». Предания о Сиде не раз использовались в мировой литературе. Упомянутый Келлером эпизод, в котором рассказывается о том, как Сид перехитрил евреев-ростовщиков, оставив им в заклад сундуки с песком, содержится, в частности, в поэме Иоганна Готфрида Гердера «Сид» (романс 45), представляющей собой свободное переложение испанских народных романсов.

К счастью, я повстречал в эти дни находившегося в расцвете славы художника-пейзажиста, которого несколько раз видел в обществе Эриксона и с которым поддерживал приятельские отношения. Этот человек обладал уверенной и эффектной техникой; он, так сказать, не делал ни одного мазка больше или меньше, чем нужно, и каждый из них сверкал неодолимой силой, поэтому на его картины был всюду спрос, и он шел навстречу этим желаниям так прилежно, что уже ощущал недостаток в сюжетах и создавал картин больше, чем у него было в запасе идей. Он часто повторялся и порою испытывал затруднения, когда надо было написать облака и какой-нибудь уголок природы, — все возможные варианты он уже использовал однажды или даже по нескольку раз, хотя ему не было еще и сорока лет. У него была дородная жена и куча детей, которых нужно было прокормить, и так как он в поисках заработка попал в счастливую полосу, то теперь стремился обеспечить себе безбедное существование. «Если хочешь обеспечить свою старость, — обычно говорил он, — надо подумать об этом в молодости». К тому же, мол, невыносимо видеть своих детей в бедности; поэтому каждый должен защитить детей от нищеты и вместе с тем повлиять на них таким образом, чтобы и они впоследствии подумали о своих детях. Так все шло благополучно своим чередом благодаря решительному применению однажды установленного принципа.

Он спросил меня, чем я занимаюсь, и я воспользовался этим обстоятельством, чтобы получить у него совет. Он охотно посетил меня и не без удивления взглянул на мою работу, в особенности на тот набросок с натуры, который послужил ей основой. Деревья, остатки прежнего, ныне выкорчеванного леса, имели своеобразный, но чрезвычайно живописный вид, который не часто встретишь, и их расположение на склоне хребта было не менее оригинально. Вероятно, с тех пор и эти дубы были срублены, так что вряд ли другому художнику удалось запечатлеть этот вид, и, таким образом, самый сюжет моего этюда с натуры и начатой картины даже без всякой заслуги с моей стороны казался ценным и редким. Это обстоятельство, пожалуй, и побудило опытного пейзажиста живо заинтересоваться моим наброском. Сперва он на словах критиковал рисунок и, видя в нем много лишнего, что мешало замыслу, советовал это лишнее убрать и выделить существенное. Затем, движимый стремительным рвением, он схватил карандаш и бумагу и, продолжая разговаривать, своей уверенной рукой придал высказанному мнению столь наглядное осуществление, что не прошло и получаса, как был готов мастерский набросок, который занял бы не последнее место в любой коллекции хороших рисунков. Правда, я наблюдал с тайным сожалением, как исчезала то одна, то другая подробность, имевшая для меня глубокий смысл или символическое значение, — я бы сам ею не пожертвовал, но вместе с тем с удовлетворением отметил, что как раз благодаря этому более выпукло и ярко выступило остальное, да и написать всю картину теперь было много легче. Я радовался, что в добрый час повстречал этого человека, и уже заранее был рад предстоящей работе. Теперь нужно было сделать новый набросок, так как художник, закончив свое наставление, сложил лист со своим рисунком и, спокойно положив его в карман, приветливо простился, оставив меня преисполненным благодарным чувством.

Продолжая работу над картиной, я изо всех сил старался и прилежно, насколько умел, следовал советам мастера. Правда, мне уже потом показалось, что в композиции как будто слишком многое отброшено и это невыгодно для моих скромных красок, тем более что теперь, когда картина уже по-настоящему близилась к концу, мне не хватало основных навыков. Все же по истечении нескольких недель я взглянул не без удовлетворения на плоды своих трудов; я заказал простую раму, без всякой позолоты, — она должна была подчеркнуть серьезность художественного замысла, не стремящегося к украшательству, и к тому же она соответствовала моему положению, — и послал картину на выставку, где каждую неделю вывешивались новые произведения, предназначенные для продажи.

Итак, наступил тот день, о котором я с такой уверенностью говорил перед опекуном советом, пришло начало самостоятельного заработка. Когда я в следующее воскресенье вошел в зал, где теснилась нарядная толпа, мне отчетливо вспомнились те гордые слова, но

теперь я уже испытывал некоторую робость — слишком многое зависело от этой выставки. Еще издали завидел я мою неприметную картину, но не решался подойти поближе, — я вдруг почувствовал себя бедным ребенком, который, смастерив из клочка ваты и нескольких нитей мишуры барашка для рождественского базара, поставил его четырьмя негнушимися ножками на камень и боязливо ждет, чтобы кто-нибудь из сотен проходящих мимо бросил на него взгляд. Это было не высокомерие, но скорее ожидание счастливой случайности, которая могла бы доставить мне благосклонного покупателя для моего рождественского барашка.

Однако даже о подобной счастливой случайности не могло быть и речи; едва я вошел в следующий зал, как увидел на стене мой ландшафт, выставленный моим советчиком и блистающий всеми красками его мастерства; цена одной только рамы намного превышала ту скромную цену, которую я осмелился спросить за свою картину. Прикрепленный к ней листок извещал об уже состоявшейся продаже удачного произведения.

Группа художников беседовала, стоя перед картиной.

— Откуда он взял такой замечательный сюжет? — сказал один. — У него уже давно не появлялось ничего нового!

— Там, в том зале, — сказал другой, только что подошедший к собеседникам, — висит точно такой же ландшафт, очевидно работы какого-то новичка, который даже толком не умеет ни грунтовать холст, ни лессировать.

— Значит, он украл у того, вот жулик! — засмеялись остальные и отправились посмотреть на мою злосчастную картину. Я же остановился перед победившей меня работой и, вздыхая, подумал: «Кто смел, тот и съел!» Но когда я стал внимательно разглядывать картину, мне показалось, что все те изменения, которые внес художник, хотя и соответствуют его мастерской технике, для моей сдержанной манеры были бы, пожалуй, вредны. Так как я не владел блеском его богатой палитры, то глубокая содержательность моего первого наброска, свежая непосредственность восприятия богатой природы с ее изобилием образов и форм — все это послужило бы известным возмещением для ценителя искусства.

Когда перед уходом я задержался на мгновение перед моей одинокой картиной, я убедился, что советы мастера не сделали ее лучше, но, напротив, как бы обеднили ее содержание; это доказательство того, что и в подобных случаях нечего зяблику учиться у дрозда.

По существующим правилам я должен был держать картину на выставке восемь дней, и за это время ни одна душа не справилась о ее цене. Затем я ее забрал и до поры до времени прислонил к стене. Сделав это, я отправился в соседнюю каморку, служившую мне спальней, и уселся на свой дорожный сундук; это вошло у меня в привычку, когда мне приходилось обдумывать что-либо важное, — сундук был как бы частью родного дома. Так завершилась моя первая попытка самостоятельно заработать себе на кусок хлеба.

«Что же такое заработок и что такое работа? — спросил я себя. — Одному стоит только пожелать, и счастливый случай без труда принесет ему богатый доход, другой трудится с неустанным, неослабевающим усердием — и это похоже на настоящую работу, но лишено внутренней правды, необходимой цели, идеи. Тут называется работой, вознаграждается и возводится в добродетель то, что там считается праздностью, бесполезностью и сумасбродством. Тут приносит пользу и доход нечто лишенное искренности, а там нечто истинное и естественное никакой пользы, никакого дохода не приносит. В конце концов случай всегда является королем, посвящающим нас в рыцари. Какой-нибудь спекулянт придумывает *Revalenta arabica*¹⁸³¹⁸⁴ (так он это называет), работая затем с осторожностью и

¹⁸³ Арабский восстановитель сил (*лат.*).

¹⁸⁴ «*Revalentaarabica*» — состав, приготавливавшийся главным образом из молотых бобов, гороха и чечевицы с примесью сахара и поваренной соли; выдавался врачом-шарлатаном Барри за средство против чачотки и множества других болезней. В начале пятидесятых годов XIX в. усиленно рекламировался в

терпением; дело приобретает невероятные размеры и блестяще преуспевает; тысячи людей приходят в движение, даже сотни тысяч, зарабатывают миллионы на этом деле, хотя всякий повторяет: «Это надувательство!» Впрочем, надувательством и обманом обычно называют такие дела, от которых ждут прибыли без труда и усилий. Но никто ведь не скажет, что изготовление Revalenta не стоит никакого труда; нет сомнений, что здесь господствуют порядок и трудолюбие, старательность и предусмотрительность, как в любом почтенном торговом доме или государственном предприятии; порожденная случайной мыслью спекулянта, возникла обширная деятельность, начался настоящий труд.

Доставка смеси, изготовление банок, упаковка и рассылка занимают множество рабочих; большое число людей также занято усердной организацией широковещательной рекламы. Нет и одного города на любом континенте, где бы наборщики и печатники не кормились рекламными объявлениями; нет ни одной деревни, где бы какой-нибудь перекупщик не наживал на этом хотя бы малую толику. И все побои стекаются тысячами ручейков в сотни банкирских домов и направляются дальше почтенными бухгалтерами и немногословными кассирами создателям великой идеи. А в конторе своей с важным видом восседают авторы, погруженные в глубокомысленную деятельность; ибо им надлежит не только осуществлять ежедневное наблюдение и руководство предприятием — им надо изучать и торговую политику, чтобы проложить новые пути для молотых бобов, чтобы защитить их от угрозы конкуренции то в одной, то в другой части земного шара.

Но не всегда в этих помещениях господствует глубокая тишина делового дня, нерушимая строгость порядка; бывают дни, посвященные отдыху, удовольствиям, нравственному вознаграждению, — они приятно нарушают трудовое священнодействие. Доверие сограждан почтило главу дома должностью городского советника, и происходит приличествующее случаю угощение всех подопечных. Или празднуется свадьба старшей дочери, торжественный день для всех, кого это касается, ибо заключен вполне достойный союз с одним из виднейших семейств города; и с той и с другой стороны состояние столь соразмерно взвешено, что какое-либо нарушение супружеского счастья совершенно немыслимо. Уже накануне в дом привезли целый лес пальм и миртовых деревьев, уже развешаны гирлянды цветов; утром улица заполняется любопытными, толпа почтительно расступается перед экипажами, которые бесконечной вереницею подъезжают, отъезжают и снова возвращаются, пока гром фанфар не возвестит начало праздничной трапезы. Но вскоре наступает торжественная тишина — это посаженный отец поднимает бокал и с трогательной скромностью, чтобы не бросать вызов судьбе, описывает свой жизненный путь и воздает благодарность провидению, которое вознесло его, недостойного, так высоко, что он теперь у всех на виду. С простым странническим посохом, который еще до сего времени сохраняется в заброшенной камерке, пришел он некогда в сей достойный город и постепенно, шаг за шагом, но с неутомимой настойчивостью шел путем борьбы, одолевая нужду и заботы, порою чуть ли не теряя мужество; однако, идя об руку с доблестной супругой, матерью его детей, он снова подымал голову и направлял свой взгляд на ту единственную великую цель, которая была перед ним. Долгими одинокими ночами он мучился творческими замыслами, плоды которых теперь благодетельствовали целый мир, а заодно вознаградили его честные стремления, принесли ему скромное благосостояние и т. д.

Нечто подобное Revalenta arabica происходит и во многих других вещах, с той разницей, что это не всегда бывают безобидные молотые бобы. Но всюду мы видим такое же загадочное соединение труда и обмана, внутренней пустоты и внешнего успеха, бессмыслицы и мудрой деятельности, до той поры, пока осенний ветер времени не развеет всего этого, оставив на чистом поле здесь — остатки состояния, там — пришедший в упадок торговый дом, наследники которого не могут уже или не желают сказать, как он был основан.

Если же я захочу, — размышлял я далее, — привести пример деятельной, богатой трудами и одновременно истинной и разумной жизни, то это жизненный путь и деятельность Фридриха Шиллера. Он, вырвавшись из той среды, которую предназначали для него его семья и владетельный герцог, бросив все, что, по их мнению, должно было его осчастливить, с ранних лет встал на собственные ноги, делая лишь то, что ему казалось необходимым; он использовал историю о разбойниках, дикую, перехлестывающую все пределы благопристойности и нравственности, чтобы вырваться на простор и свет, но, едва достигнув этого, он, беспрестанно движимый внутренним чувством, облагораживался, и жизнь его была не чем иным, как выражением его внутренней сущности, вечной кристаллизацией идеала, заложенного в нем самом и в духе времени. И этот трудолюбивый образ жизни дал ему наконец все, что лично ему было нужно. Он был — да будет позволено так выразиться — ученый домосед, а потому и не стремился стать богатым и блестящим светским человеком. Допустив небольшое отклонение от своего физического и духовного существа, отклонение, которое не было бы «шиллеровским», он мог бы стать им. Но только после его смерти, можно сказать, его честная, ясная и искренняя жизнь, полная труда, стала оказывать свое влияние. Даже если не принимать во внимание все его духовное наследие, нельзя не удивляться вызванному им реальному движению, чисто материальной пользе, которую он принес благодаря преданному служению своим идеалам.

Повсюду, где звучит немецкая речь, известны его произведения: в городах редко найдешь такой дом, где не красовались бы на полках тома его сочинений, да и в деревне, по крайней мере, в двух-трех домах, найдутся они. И чем шире распространяется культура среди всей нации, тем больше они будут умножаться и, наконец, проникнут в самую бедную хижину. Сотни жадных до наживы людей выжидают только, когда окончится срок привилегий наследников¹⁸⁵, чтобы начать распространение плодов благородного жизненного труда Шиллера в таком же количестве и так же дешево, как распространяется Библия, и популярность его трудов, увеличившаяся в первой половине века, вероятно, вырастет вдвое во второй его половине. Какое множество фабрикантов бумаги, печатников, продавцов, служащих, рассыльных, кожевенных мастеров, переплетчиков заработало и заработает себе на пропитание! Движение это — противоположность распространению *Revalenta arabica*, и все же оно лишь грубая оболочка, содержащая сладкое зерно непреходящего национального богатства.

То было гармоническое, цельное существование: жизнь и мышление, труд и дух сливались воедино. Но случается, что обе стороны жизни, равно наполненные честным трудом и безмятежностью, ведут раздельное существование — так бывает, когда человек изо дня в день вершит свое скромное, незаметное дело, чтобы обеспечить себе спокойную возможность вольного мышления. Так, Спиноза шлифовал оптические стекла. Но уже у Руссо, переписывавшего ноты, это соотношение искажалось до крайности — он не искал в этом занятии покоя или мира, но скорее терзал себя и других, где бы он ни был, что бы он ни делал.

Как же быть? Где определены законы труда и достоинство заработка и где они соприкасаются друг с другом?»

Так я изошрял свои мысли о вещах, в которых у меня пока не было никакого выбора, — ведь нужда и жизненная необходимость впервые встали передо мною во весь рост. Это наконец стало мне ясно; я вспомнил того паука, который заново восстанавливал свою разорванную сеть, и сказал себе, поднявшись: «Ничего не сделаешь, надо начинать сначала!» Я огляделся, ища среди своего скарба какие-либо предметы, которые можно было бы, живописно расположив, использовать для неприятельных небольших картинок. Мне

¹⁸⁵ ...выжидают только, когда окончится срок привилегий наследников... — Постановление, согласно которому запрещалась свободная перепечатка сочинений Шиллера в пределах германских государств, было отменено 9 ноября 1867 г.

внезапно пришла в голову мысль заняться делом, которое, как я полагал, можно в любую минуту бросить. Нет, не той украшающей живописью, какой занимался художник, похитивший у меня сюжет (да я и не мог бы с ней справиться), но более низкой ступенью искусства, где начинается блеск размалеванных чайных подносов и шкатулок. Правда, я не собирался пасть так низко, но все же я полагал, что мне придется считаться с невежеством и грубым рыночным вкусом толпы и пользоваться дешевыми эффектами. Но как упорно, как судорожно ни искал я в своих папках, мне было жаль всего, что попадалось под руку, каждого листка с эскизом, каждого маленького наброска, и мне ничего не хотелось приносить в жертву, Если я не желал сам губить свои прежние проникнутые радостью творчества труды, я должен был пасть еще ниже и изобрести нечто новое, где уже нечего было терять.

Пока я так размышлял, мое намерение предстало передо мной в самом невыгодном свете; уныло опустил я листок с рисунком, который держал в руке, и снова сел на свой дорожный сундук. Неужели таков будет итог столь долгих лет учения, неужели этим завершатся столь великие надежды, столь самонадеянные речи? Неужели я сам закрою себе путь к изобразительным искусствам и бесславно исчезну во мраке, где прозябают бедняки, занимающиеся бездарной мазней? Я не подумал даже о том, что собирался было выступить с серьезной работой, но вороватый ремесленник украл у меня мой успех; я искал лишь уязвимое место в себе самом, так как был слишком самоуверен, чтобы считать себя неудачником, и кончил тем, что, не внося ясности, со вздохом разрешил себе отсрочку решения, которую уже неоднократно давал себе и раньше, но не сумел использовать, когда дело было в достижении ближайшей необходимой цели.

Так сидел я, снова опустив голову на руки, и мысли мои бродили повсюду, пока не достигли родины, откуда они мне принесли новые заботы, — мне стало казаться, что матушка догадывается о моих затруднениях и беспокоится обо мне. Обычно я писал ей регулярно, в комическом духе описывая незнакомые нравы и обычаи, которые мне приходилось наблюдать, вплетая в свой рассказ анекдоты и шутки, чтобы развеселить ее издалека, а также, пожалуй, чтобы похвалиться своей веселостью. Она отвечала мне добросовестными сообщениями о домашних делах и в ответ на мои шуточные рассказы описывала свадьбы или похороны, разорение одной семьи и подозрительное преуспеяние другой. Так я узнал о смерти дяди и о том, что дети его рассеялись по свету, разбрелись по пыльным дорогам войны, таща за собой тележки с ребятишками, подобно евреям в пустыне. Однако с некоторых пор письма мои стали реже и односложней; казалось, матушка боится спрашивать о причине моего молчания, и я был ей благодарен, так как не мог толком ответить. Уже несколько месяцев я совсем не писал, и она тоже замолчала. И вот, когда я сидел в тишине моей комнаты, послышался легкий стук в дверь, и вошел мальчик, неся в руках письмо, посланное моей матерью, как это было видно по почерку и печатке.

Она не могла более переносить неизвестность, или, вернее, страх, что со мной что-то стряслось, боялась, что не все идет, как хотелось; она желала знать мои обстоятельства и виды на будущее, тревожилась, что я наделал долгов, — ведь она не знала, зарабатываю я что-нибудь или нет, а маленькое наследство было давно истрачено. На случаи нужды, писала она, у нее есть некоторые сбережения, и я смогу ими воспользоваться, если только откровенно напишу ей обо всем.

Мальчик, который принес письмо, не успел еще уйти, — так быстро я пробежал его глазами; когда-то этот ребенок послужил мне натурщиком для моего маленького Иисуса в том христианско-мифологическом или геологическом пейзаже, я изучал на нем необходимые пропорции. Теперь, перебирая свои вещи, я случайно вынул эту картину и положил ее сверху, а мальчик очутился рядом с нею и, указывая пальцем на божественное дитя, проговорил: «Это я!» Благодаря такому трогательному совпадению, происшествие это могло показаться каким-то чудом, — маленький носитель доброй вести предстал как бы посланцем самого божественного провидения, и хотя я не верил в чудеса, даже в виде такой доброй шутки всевышнего, мне чрезвычайно понравилось это маленькое приключение, и

материнское письмо доставило мне двойную радость. Так уж случилось, что тот же персонаж, который я поместил в своей картине с целью придать ей оттенок глубокомысленной иронии, теперь вмешался в мои дела, внеся в них нечто от благочестивой притчи, облагородив их смутным намеком на вечность.

Все казалось теперь благополучным и исполнение всех надежд снова возможным, даже весьма вероятным; я ни на минуту не поколебался, принять ли предложенную мне жертву, и ответил матушке несколько смущенно, но откровенно и даже весело. При этом я не преминул сообщить ей о моих странных университетских занятиях, которые в настоящем, правда, отвлекали меня от моей основной задачи, но в будущем должны были принести известную пользу, и, наконец, я снова достиг мыса добрых надежд и обещаний.

Когда матушка получила это письмо и прочла его, она заперла дверь, открыла свой старый письменный стол и из недр его ящичков впервые извлекла на свет сбереженные сокровища. Она сложила талеры в столбики, завернула их несколько раз в плотную бумагу, завязала неуклюжий пакет бечевкой и накапала на него со всех сторон сургучом; она припечатала все это совершенно не по-деловому, да и вообще она старалась напрасно — он был достаточно прочно запакован. — но так ей казалось надежнее. Затем она сунула тяжелый пакет в свою сумочку и быстро направилась окольными путями на почту; она никого не хотела встретить, так как не собиралась говорить, куда несет деньги, если бы ее кто-нибудь об этом спросил. С трудом, дрожащими руками она высвободила тяжелый сверток из шелкового мешочка, протянула его в окно и с чувством облегчения выпустила из рук. Чиновник посмотрел на адрес, потом на отправителя, совершил все необходимые процедуры, выдал квитанцию, и она, не оглядываясь, удалилась, как будто не отдавала деньги, а, наоборот, отняла их у кого-то. Левая рука, на которой она несла эту тяжесть, устала и одеревенела, и она возвращалась домой несколько взволнованная, молчаливо пробираясь сквозь толпу равнодушных людей, которые не способны дать своим детям ни одного гульдена, чтобы не прихвастнуть этим, не пошуметь или не попричитать, не поплакаться по такому поводу. Когда мой дядя был жив и еще проповедовал, он однажды сказал: «Бог хорошо знает, какие люди тихи и скромны, а какие нет, и он любит время от времени ущемить последних, а им, конечно, невдомек, откуда это идет. Мне кажется, что ему это даже доставляет удовольствие!»

Вернувшись домой, матушка нашла крышку стола еще откинутой, ящички, теперь уже пустые, были еще выдвинуты; она заперла их и попутно открыла тот, где в маленькой чашечке лежала для ее повседневных расходов кучка монет, которая словно говорила, что уже нет больше выбора между довольством и нуждой и что теперь даже при всем желании старуха не может ничего себе позволить. Но она об этом не думала, да это и не имело для нее никакого значения. Она закрыла и этот ящик, спрятала письменные принадлежности и сургуч, заперла бюро и, чтобы отдохнуть от трудов, опустилась на свой старый табурет — прямая, как сосенка.

Меня при этом не было, но благодаря знанию ее привычек я отчетливо вижу ее такой еще и теперь — подобно тому как знаток древности по некоторым приметам и отправным точкам восстанавливает общий вид разрушенного памятника.

Глава четвертая **ЧУДО С ФЛЕЙТОЙ**

Пакет с деньгами принес не хозяйский сынишка, как то письмо, — его мне доставил в комнату сам почтальон. Неторопливые солидные шаги по лестнице, которых так давно не было слышно, подняли дух у моих хозяев, даривших меня своим нерушимым доверием; с чувством благодарности приняли они довольно большую сумму набежавшего долга, после того как я не без труда освободил деньги от многих бумаг и бечевков и быстро пробежал приложенное письмо, продиктованное матушке ее неусыпной заботой обо мне.

С удовлетворенной улыбкой расписались в получении долга и портной, и сапожник, и

прочие поставщики, изъявляя готовность к дальнейшим услугам. Мне все это доставило столько удовольствия, словно это был мой собственный заработок и я сам раздобыл эти средства для уплаты долгов. Я почти жалел, что больше нечего было оплачивать и что это великолепие так скоро пришло к концу; но мой задор быстро утих, когда я в тот же день стал отдавать добрым знакомым то, что брал у них в долг наличными, и при этом увидел, с каким полнейшим равнодушием они брали деньги. Я понял, что в их глазах я не совершил ничего особенного, и спрятал свое самодовольство в карман. Все же у меня стало легко на душе; я воспринял платежеспособность моей матери до известной степени как свою собственную и вечером отпраздновал скромное торжество освобождения, истратив на него, однако, такую сумму, на которую матушка моя могла бы существовать недели две. Вместе с приятелями я даже пел, и гораздо веселее, чем это случалось за последнее время, пел песню, полную презрения к мирским заботам, как будто для меня миновали все беды на свете.

Но уже наутро, при виде кучки талеров, которая осталась от всего моего богатства, я снова понял, что у каждой веревочки есть кончик. Теперь, когда я внимательней все вычислил и подсчитал остаток, разорвав уже начатую стопку и освободив ее от бумаги, выяснилось, что я могу прожить на это не более трех месяцев. Я немало удивился, как быстро вернулась ко мне моя забота, и даже под конец предположил, что она и не уходила вовсе, как умная ежиха, которая во времена состязания в беге с зайцем¹⁸⁶ спокойно сидела, спрятавшись в борозде, и кричала: «А я уже тут!»

Поэтому я не медлил и предпринял поиски нового заработка; по зрелом размышлении я, как мне казалось, мудро избрал проторенную дорожку и начал писать два небольших пейзажа, без претензии на оригинальность стиля или фантазию, но, наоборот, с тщательнейшим учетом вкусов публики, причем все же клал всякий раз в основу картины отобранные мною правдивые виды природы и не превращал насильственно красоту в неуклюжесть и изящные очертания в бесформенность. Я что достигну этим путем удачи, но в то же время все, к чему я стремился и чем я хотел понравиться, превращалось в моем исполнении лишь в скромный, чистенький рисунок, а вся картина приобретала снова подозрительный налет некоего художественного стиля. Этим я опять же достигал своей цели, — ведь те же люди, которые, говоря о делах обывденной жизни, любят употреблять громкие слова и высокопарные выражения, сразу же морщат нос, если почуют в искусстве что-либо похожее на художественный стиль или своеобразную форму.

Немало тщательности и внимания отдавал я этой работе, но меня беспокоили неуемный бег времени и ежедневное уменьшение моего денежного наличия; все мои помыслы были пронизаны тревогой и надеждой. Об этом кратком периоде я вспоминаю как о спокойном, мирном отрезке жизненного пути, равномерно наполненном скромными желаниями, добросовестным трудом и утешительным ожиданием неведомого успеха. Если при таком положении еще есть кусок хлеба, а мысли о будущих потребностях подстегивают душевные силы, то так можно прожить и до конца жизни. Но понимаешь это лишь тогда, когда надежды сломлены и тебе остается только мечтать о возврате прежних времен, суливших некое туманное будущее.

Как только я закончил обе парные картины, кончилась моя спокойная жизнь — снова мне нужно было их пристраивать. После того злосчастного плагиата я не мог решиться отдать их опять на открытую выставку, что, конечно, было признаком дилетантизма и неопытности; полноценный талант легко забывает подобные вещи, и его не беспокоит кучка подражателей, ссорящихся о праве собственности на его идеи и открытия.

Итак, я отправился к известному торговцу, который царил на всех аукционах и приобретал художественные коллекции, а также и новые картины, если они удостоивались милостивого внимания его клиентов — знатоков искусства или будили в нем жажду наживы

¹⁸⁶ ...умная ежиха... во время состязания в беге с зайцем... — Автор имеет в виду общеизвестную народную сказку, имеющуюся в сборнике братьев Гримм.

каким-либо иным загадочным преимуществом. Он владел красивым домом, первый этаж которого был полон так называемыми старыми мастерами, да и новыми картинами; многие из них выставлялись в окнах, но никогда он не брал вещей, подписанных неизвестным именем. Не знаю, было ли это некоторым кокетством или робостью, но я сперва пошел туда без моих картин, намереваясь предложить их торговцу в форме вопроса о том, мне ли принести ему свои произведения или он сам придет взглянуть на них. Мое появление осталось совершенно незамеченным, — владелец магазина стоял с кучкой посетителей и знатоков перед небольшой рамкой: они, сдвинув головы, разглядывали заключенное в ней полотно сквозь лупу, в то время как сам хозяин распространялся об этой редкостной вещи. Затем он, с лупой в руках, повел всю группу в соседнюю комнату, чтобы показать им еще нечто в этом же роде и, сравнивая обе картины, продолжить свои рассуждения, а я на некоторое время остался один. Наконец посетители, уже все вразброд, вернулись, оживленно продолжая разговор; они словно обсуждали некую спасительную истину, которую собирались провозгласить; очевидно, речь не шла о коммерческих делах, — это скорее всего была одна из тех конференций любителей живописи, которые имеют обыкновение собирать подобные торговцы картинами, чтобы придать своей погоне за наживой некоторый налет научного интереса. Теперь владелец магазина заметил мое присутствие и спросил, что мне угодно.

Я довольно смущенно изложил свое дело, чувствуя, что прошу о том, в чем ни один человек не обязан мне идти навстречу, и едва я высказал свое желание, как торговец, не спросив даже, кто я такой, коротко и сухо ответил мне, что моих вещей не купит, после чего он отвернулся.

Этим он дал понять, что разговор закончен, и у меня не оставалось больше предложения задержаться здесь хотя бы на минуту; через четверть часа я был уже снова дома у моих двух картинок.

В этот день я больше ничего не предпринимал, подавленный каким-то тревожным чувством досады и озабоченности. Я никак не мог примириться с тем, что поведение этого торговца ничем не отличалось от поведения других людей, которые отгоняют от себя все, что не соответствует их собственным желаниям, и пытаются обезопасить себя вечнойзеленой изгородью отрицательных ответов, ограничиваясь лишь тем, что для их же собственной пользы все-таки проникает сквозь эту ограду.

На следующий день я снова пустился в путь, но благоразумно завернул обе картины в платок и захватил их с собою, чтобы, по крайней мере, их показать. Я направился к торговцу пониже рангом, у которого торговые обороты были значительно меньше, чем у предыдущего, хотя он умел лучше разбираться в предметах искусства и даже сам чистил их, реставрировал и покрывал лаком. Я нашел его в полутемном помещении, среди горшочков и банок, за починкой старого размалеванного полотна, на котором он латал дыры. Он внимательно выслушал меня, сам поставил мои пейзажи в наиболее выгодное освещение, а затем, вытерев руки о передник и сдвинув бархатную шапочку, которая прикрывала его лысину, на лоб, подпер руками бока и сказал сразу же, не долго думая:

— Это вещи неплохие, но они списаны со старых гравюр, и даже с хороших гравюр!

Я был удивлен и раздосадован.

— Нет, — ответил я, — эти деревья я сам рисовал с натуры, и они, вероятно, стоят еще и посейчас, да и все остальное существует в действительности так, как оно показано здесь, только, может, более разбросанно!

— В таком случае мне эти картины тем более не нужны! — возразил он, отвернувшись от пейзажей и снова сдвинув ермолку, — нельзя брать в природе такие сюжеты, которые выглядят как старые гравюры! Нужно шагать в ногу с жизнью и чувствовать дух времени!

Так одной-единственной фразой были решены все вопросы стиля. Я снова завернул свои картины и, уходя, бросил печальный взгляд на собрание грубо намалеванных пустяков, которые покрывали стены, потому что считались вещами современными, или, вернее, предрекающими будущее; это были работы неудачников, не умевших обращаться с кистью;

они задешево и втемную творили то, что впоследствии выступало в свет, требуя себе места. У меня был весьма жалкий вид, когда я очутился на улице, но с гордостью обедневшего идалго я повернулся спиной к лавке и продолжал свой путь. Не решаясь еще вернуться домой, я бродил по бесконечным улицам и очутился наконец перед лавкой некоего еврея, который, будучи портным, в то же время торговал новым платьем и новыми картинами. У него одевались многие художники, и, благодаря этому, он был вынужден иногда вместо платы получать картину, а иногда брал таковую в залог; постепенно он стал владельцем небольшой картинной галереи и совершил уже не одну выгодную сделку, купив работы попавших в нужду молодых художников, которые впоследствии прославились, или, сам того не зная, случайно получив от несведущих людей ценную вещь. Я заглянул в окно его торгового помещения, где были выставлены картины, и так как меня привлекли царившие там тщательный порядок и чистота, то я вошел, чтобы сделать и ему свое предложение. Торговец тотчас же согласился посмотреть мои полотна и, оглядывая меня с нескрываемым любопытством, спросил, что, где и как, и, наконец, задал мне вопрос, действительно ли я — автор этих вещей и хорошо ли они написаны. Это был совсем не такой наивный вопрос, как могло показаться на первый взгляд, так как он в то же время внимательно вглядывался в меня, чтобы прочесть на моем лице степень справедливую или тщеславного самомнения; так он разглядывал и человека, приносившего ему золотое кольцо, спрашивая, настоящее ли оно; в последнем случае он и сам отлично видел, золото ли это, и своим вопросом хотел лишь узнать, с кем имеет дело; наоборот, в моем случае он сразу же понял, что я за человек, а наблюдая за моим поведением, хотел узнать, как отнестись к предмету продажи. Я, колеблясь, ответил, что пытался сделать эти вещи так хорошо, насколько это было в моих силах, хотя мне и не подобает их хвалить; что, очевидно, они не так уж превосходны, иначе я не стоял бы с ними здесь, но что, во всяком случае, они стоят той скромной цены, которую я прошу за них. Все это ему как будто понравилось, он стал приветлив и разговорчив, время от времени поглядывая на картины — не то нерешительно, не то благожелательно. Я уже начал лелеять надежду, что сейчас что-либо произойдет, но ничего не последовало, кроме неожиданного предложения взять картины на комиссию, выставить их в своем торговом помещении и продать как можно более выгодно и благоразумно. На этом мы и порешили, так как на что-либо большее торговец не соглашался; но его предложение было справедливым и отношение ко мне человеческим, он оставил мне надежду — и я с более легким сердцем мог вернуться к себе домой, чем если бы я снова принес обратно свои картины.

Итак, путь заработка остался опять закрытым для меня, — я словно наткнулся на стену, где не находил ни двери, ни даже малейшей лазейки, через которую могла бы пролезть кошка. Правда, во время этих трех посещений я не произнес и ста слов, но мне и сто первое не могло бы помочь; если бы Эриксон был здесь, он бы продал мои картины, потратив всего лишь несколько слов, — он просто вошел бы и сказал: «Что вы раздумываете? Вы должны их взять!» А Фердинанд Люс заставил бы меня выставить их и, пользуясь своим влиянием богатого человека, рекомендовал бы их вниманию других богачей, и я, как сотни других, выскочил бы на широкую дорогу и на ней бы остался. Но оба друга сами отошли от искусства; я даже не знал, где они живут; казалось, что они — где-то в другом мире и что издали они призывают остальных: «Оставьте и вы эту жалкую суету!»

У меня не было других так называемых полезных знакомств в мире художников, я встречался почти исключительно со студентами и начинающими учеными и как общительный вольнослушатель перенимал их словечки и образ жизни. Постепенно, приобретая новые привычки, я сперва потерял внешний, а тем почти и внутренний облик адепта искусства, в то время как собственное решение и чувство долга приковывали меня к материальному творчеству, дух мой привыкал к внутренней сосредоточенности; медлительное, почти не одушевленное больше надеждой воплощение одной какой-либо мысли в рукотворных созданиях казалось ненужным усилием, когда в это же время, на крыльях невидимых слов, мимо меня проносились тысячи образов. Это превратное

ощущение овладевало мной тем сильнее, что ведь мое участие в научных занятиях ограничивалось лишь чтением и слушанием, приобретением знаний и наслаждением ими, и я не был на деле знаком с муками научного творчества. Итак, я поворачивался, подобно тени, которая благодаря двум различным источникам света получает двойные очертания и центр которой неясен и расплывчат.

В таком душевном состоянии я, истратив свой последний талер, снова оказался в зависимом положении должника. На сей раз мне было еще труднее начинать все сызнова, так как это было печальным повторением, но дальше все шло само собой, как в тяжелом сне, пока снова не исполнились сроки и не последовало пробуждение вместе с горькой необходимостью уплаты долгов и дальнейшего существования.

Теперь наконец я решился еще раз обратиться за помощью к матери — ибо так уже повелось среди рода человеческого, что молодость, пока это возможно, ищет в трудную минуту прибежища у старости. Молодость, сознающая свои искренние намерения и добрую волю, обычно полагается в своем всеобщем доверии на долгую жизнь, забывая, что, по всему вероятно, ей придется самой справляться с трудностями жизни, и в конце концов она, по отношению и к родителям своим и к своим детям, с печалью убеждается в горькой истине народной пословицы, что скорее мать выкормит семерых детей, чем семеро детей прокормят одну мать.

Новые сбережения, которые она, без сомнения, сделала, не могли быть настолько велики, чтобы мне хватило их на уплату долгов, поэтому я решил основательно приняться за дело и предложил ей в письме, где я постарался казаться веселым и скрыл свое настоящее положение, взять закладную на дом. Это будет, так я ей писал, безобидный, спокойный долг, который можно будет легко погасить после того, как я благодаря своему усердию наконец обрету свое счастье, и в крайнем случае это будет стоить нам только немногих процентов. Получив мое письмо, матушка очень испугалась, — она нетерпеливо ожидала меня самого если и не преуспевающим удачником, то, во всяком случае, человеком, достигшим известного достатка. Она поняла, что все надежды снова отодвигаются в неведомую даль. Сбережений у нее на этот раз было немного, так как ей нанесли некоторый ущерб наши жильцы; достойный мастер из палаты мер и весов пал жертвой своих профессиональных привычек, винных проб, и умер, оставив после себя долги, а вечно недовольный чиновник в припадке возмущения тем, что к нему всегда относились пренебрежительно, опустошил небольшую кассу судебных сборов и бежал в Америку, чтобы найти там более справедливых начальников. При этом он задолжал моей матери квартирную плату за год, так что мои беды зловещим образом прибавились ко всем этим несчастным случаям. К этому же присоединилось одиночество, вызванное смертью многих близких; после дяди умер и учитель, отец Анны, многие другие старые друзья ушли из мира, — так ведь всегда бывает: пролетают годы, и из жизни одновременно уходят многие люди, чей срок исполнился. Правда, матушка и не стала бы советоваться с родственниками, если бы они были живы, но все же наступившее одиночество усиливало ее боязнь, и, чтобы заняться чем-либо и ощутить движение жизни, она пошла навстречу моим желаниям. Вскоре она отыскала дельца, который обещал ей требуемую сумму, пустив при этом в ход все возможные оговорки, пока матушка безмолвно ожидала в качестве робкой просительницы. Затем, после полученных от него указаний, она еще долго обивала пороги различных контор, пока наконец ей не вручили вексель, который она с радостью переслала мне. В своем письме она ограничилась описанием всех этих мытарств, не терзая меня наставлениями и упреками.

Но когда я писал письмо, то, боясь спросить слишком много, в последнюю минуту уменьшил необходимую мне сумму почти наполовину и думал, что сумею вывернуться. Поэтому денег, полученных по векселю, едва оказалось достаточно, чтобы уплатить все мои долги, и если я хотел обеспечить себя хотя бы на короткое время, я был вынужден просить отсрочки у наиболее состоятельных кредиторов из числа тех, кто дружески ссудил меня деньгами. По некоторым нерешительным ответам я понял, что моя просьба оказалась неожиданной, и чувство стыда заставило меня взять ее обратно. Только один из кредиторов,

видя краску смущения на моем лице, отказался на время от денег, хотя и собирался вскорости уехать. Он разрешил мне вернуть свой долг, когда мне это будет удобнее; он, по его словам, мог пока обойтись без этих денег и обещал мне при случае дать о себе знать.

Благодаря его любезности я мог спокойно пожить еще несколько недель. По этот случай пробудил во мне серьезные мысли о моем положении и о себе самом, о духовном состоянии моего «я». Задавшись целью наглядно представить себе свою сущность и становление самого себя, я, по внезапному желанию, купил несколько стоп писчей бумаги и начал описывать свою прежнюю жизнь и пережитые испытания. Но едва я погрузился в эту работу, как сразу же начисто позабыл свои критические намерения и всецело предался созерцательным воспоминаниям обо всем, что когда-то будило во мне радость или печаль, всякая забота о настоящем исчезла, я строчил с утра до вечера, день за днем, но не как человек, отягощенный заботами, — нет, я писал гак, словно сидел в собственной беседке, окруженный весенней природой, со стаканом вина по правую руку и с букетом свежих полевых цветов — по левую. В том мрачном сумраке, который давно уже обступил меня, мне начинало казаться, что у меня вовсе не было юности; и вот теперь под моим пером развернулась живая молодая жизнь, которая, несмотря на убожество всего, что было вокруг, захватила меня, приковала мое внимание и преисполняла меня то счастливыми, то покаянными чувствами.

Так я дошел до того момента, когда, будучи рекрутом, я стоял в воинском строю и, не имея возможности двинуться с места, увидел на дороге прекрасную Юдифь, отправляющуюся в Америку. Тут я отложил перо, так как все пережитое мною с той поры было слишком еще животрепещущим. Всю эту кучу исписанных листов я немедленно отнес к переплетчику, чтобы одеть рукопись в зеленый коленкор, мой излюбленный цвет, и затем спрятать книгу в стол. Через несколько дней, перед обедом, я отправился за ней. Но мастер, очевидно, не понял меня и переплел книгу так изящно и изысканно, как мне и в голову не приходило ему заказывать. Вместо коленкора он положил шелковую материю, позолотил обреш и приделал металлические застёжки. У меня были с собой все мои наличные деньги; их бы хватило еще на несколько дней жизни, теперь я должен был выложить их все до последнего пфеннига переплетчику, что я, не долго думая, и сделал, и вместо того, чтобы пойти пообедать, мне оставалось лишь отправиться домой, неся в руках самое бесполезное на свете сочинение. Впервые в жизни я не обедал и прекрасно понимал, что теперь пришел конец как займам, так и оплате их. Через несколько дней это неприятное событие, конечно, все равно бы наступило; все же оно поразило меня своей неожиданностью и спокойной, но неумолимой силой. Вторую половину дня я провел у себя в комнате и, не поев, лег в постель раньше обычного. Тут мне внезапно припомнились мудрые застольные речи матушки, когда я еще маленьким мальчиком капризничал за едой и она мне говорила, что когда-нибудь, возможно, я буду рад хотя бы такому обеду. Следующим моим ощущением было чувство почтения перед естественным порядком вещей, перед тем, как все складывается закономерно: и в самом деле, ничто не может заставить нас с такой основательностью осознать законы необходимости в жизни, как голод: человек голоден потому, что он ничего не ел, и ему нечего есть потому, что у него ничего нет, а нет у него ничего потому, что он ничего не заработал. За этими простыми и неприметными мыслями последовали другие вытекающие из них размышления, и так как мне совершенно нечего было делать и к тому же я не был обременен никакой земной пищей, я снова продумал всю свою жизнь, несмотря на лежавшую на столе книгу, переплетенную в зеленый шелк, и вспомнил все свои грехи, но голод непосредственно вызывал жалость к самому себе, а потому я и к ним испытывал мягкое снисхождение.

С этими мыслями я спокойно уснул. Проснулся я в обычное время, впервые в жизни не зная, что буду есть. С некоторых пор я отменил завтрак, считая его излишней роскошью, теперь я был бы счастлив получить его, но хозяева не должны были знать, что я голодаю, — мне было совершенно ясно, что в моем новом положении самой насущной необходимостью являлась строжайшая тайна. К этому времени я остался один, почти вся молодежь

разъехалась, и поэтому не было ни одного человека, которому я мог поверить такой необычайный факт. Ибо тот, кто, не будучи нищим, в один прекрасный день фактически лишен возможности поесть, хотя и живет в обществе, производит такое же впечатление, как собака, которой привязали к хвосту суповую ложку. Поэтому я не мог сидеть спокойно, спрятавшись за своими намалеванными на холстах лесами, и в обеденный час был вынужден выйти. На улице светило яркое весеннее солнце; люди весело обгоняли друг друга, каждый торопился к своему обеденному столу. Я спокойно проходил мимо них, не обращая на себя ничьего внимания, и при этом заметил, что мне хочется не столько хорошего обеда, сколько одного из тех свежих поджаристых хлебцев, которые я видел в витринах булочных: так в конце концов все желания и потребности свелись к этому самому простому и всеобщему средству питания, вновь подтверждая справедливость древнего изречения о хлебе насущном.

Однако теперь задача была в том, чтобы, проходя мимо булочной, ни на мгновение не задержать на ней жадною взгляда и таким образом сохранить превосходство своего духовного существа. Поэтому, вместо того чтобы бродить без цели, я быстрым шагом отправился в открытую картинную галерею, чтобы там провести время в созерцании шедевров, творцы которых тоже немало испытали в своей жизни. Мне удалось на несколько часов укротить природные силы, терзавшие меня, и позабыть о споре, развернувшемся между ними и мной. Когда музей закрылся, я вышел из города и расположился в шумящей свежей листвой рощице, на берегу реки, где и провел в относительном покое весь остаток дня дотемна. За два долгих дня я отчасти уже привык к моему мучительному состоянию, мною овладело чувство печального смирения, и мне казалось, что еще можно терпеть, лишь бы не было хуже. Я слышал, как птицы постепенно перестали щебетать и для всего живого настал ночной покой, лишь издали доносился веселый шум города. Вдруг поблизости прозвучал крик какой-то птицы, задушенной куницей или лаской, тогда я поднялся и отправился домой.

Почти так же прошел и третий день, только теперь все тело мое испытывало усталость, я медленнее переставлял ноги, и даже мои разбросанные мысли стали еще менее связными. Мной овладело равнодушное любопытство, я хотел узнать, что же будет дальше, пока наконец иод вечер, когда я сидел в городском саду довольно далеко от дома, чувство голода не возобновилось с такой силой и так мучительно, как будто бы на меня где-то в пустыне напал тигр или рыкающий лев. Я ясно понимал, что мне угрожает смерть. Но даже она в этот час самого тяжкого испытания не заставила меня отказаться от своего решения — ни к кому не обращаться за помощью. Я зашагал к себе домой твердо, насколько это мне удавалось, и в третий раз лег спать, не поев; к счастью, мне помогла мысль о том, что мое положение не хуже и не позорнее положения путника, который заблудился в горах и вынужден был прожить там три дня без пищи. Если бы не эта утешительная мысль, мне пришлось бы провести очень трудную ночь, а тут я, по крайней мере, под утро забылся призрачным сном и проснулся лишь тогда, когда солнце стояло уже высоко в небе. Правда, я теперь чувствовал себя вконец ослабевшим и больным и не знал, что же делать.

Только теперь мною по-настоящему овладела тоска, я чуть было не заплакал и вспомнил о матушке, совсем как заблудившийся ребенок. И вот, когда я подумал о ней, даровавшей мне жизнь, мне вспомнился также ее высокий покровитель и обер-провиантмейстер, всемилостивый бог, присутствие которого чувствовал всегда и я, хотя он и не был для меня управителем домашних дел. А так как в христианской религии еще не были введены беспредметные молитвы, то и я, плывя по спокойному морю жизни, давно отучился от подобных обращений. Та молитва, после которой мне сразу же встретился безумный Ремер, была на моей памяти последней.

В этот час крайней нужды мои последние жизненные силы собрались и, подобно горожанам осажденного города, чей предводитель рухнул без сил, стали держать совет. Они решили прибегнуть к чрезвычайной и давно забытой мере — обратиться непосредственно к божественному провидению. Я внимательно прислушивался, не мешал им и внезапно заметил, как на сумеречном дне моей души зарождается нечто похожее на молитву, но я не

мог разглядеть, что из этого получится — то ли рачок, то ли лягушонок. Пусть они попробуют, дай-то бог, думал я, мне это, во всяком случае, не повредит, это никогда не приносило зла. И я позволил этому нежданно народившемуся существу, созданному из вздоха, взлететь без помех к небу, не запомнив даже, какой был у него облик.

На несколько минут я закрыл глаза. «Придется все же подняться», — сказал я себе и взял себя в руки. А когда я открыл глаза и осмотрелся, то заметил в углу комнаты, чуть повыше пола какое-то слабое поблескивание, словно это было золотое кольцо. Блеск был очень странный, но и приятный, так как, кроме него, никаких источников света в комнате не было. Я встал, чтобы проверить это явление, и нашел, что это блестит металлический клапан моей флейты, которая уже несколько месяцев стояла в углу безо всякого употребления, подобно забытому посоху странника. Один-единственный солнечный луч, проникший сквозь узкую щель между задернутыми занавесями окна, упал на полированный клапан, но откуда же солнце, ведь окно выходило на запад, и в это время дня там солнца не было? Оказалось, что этот луч отражается от иглы громоотвода, которая, как золото, сверкала на солнце, возвышаясь над крышей одного из дальних домов; таким образом луч отыскал свой путь к флейте, проникнув прямо сквозь щель занавесей. Я поднял флейту и стал ее рассматривать. «Тебе она больше не нужна! — подумал я. — Если ты ее продашь, то можешь хоть раз поесть!» Это озарение словно явилось мне с неба, подобно тому солнечному лучу. Я оделся, выпил большой стакан воды, — в ней я не испытывал недостатка, — и начал разбирать флейту, тщательно стирая пыль с отдельных ее частей. Найдя немного маслиною лака, я оттер их до блеска суконной тряпочкой и смазал изнутри, чтобы инструмент лучше звучал, если его будут испытывать, белым маковым маслом (миндального масла, используемого в таких случаях, у меня не было). Затем я разыскал старый футляр, как торжественно уложил в него флейту, как будто ей были присущи таинственные чары, и без дальнейшего промедления, с такой быстротой, на какую были только способны мои ослабевшие ноги, я отправился искать покупателя для подруги моей юности.

Вскоре я в одном из темных переулков наткнулся на невзрачную лавчонку старьевщика, — в окне ее, рядом со старой фарфоровой посудой, лежал кларнет; на другом окне висело несколько пожелтевших гравюр, выгоревший миниатюрный портрет какого-то военного в старомодном мундире, а также карманные часы, на циферблате которых была нарисована сценка из пастушеской жизни. Я вошел в лавку и среди всего этого хлама увидел странного старичка, маленького, толстого, закутанного в длинный халат, сверх которого был еще повязан белый женский передник. На круглой голове у него был диковинный картуз, походивший на морскую раковину. Когда я вошел, он стоял, наклонившись над кухонной плиткой, и помешивал в каком-то горшке. Маленький старьевщик взглянул на меня и довольно приветливо спросил, что мне нужно, на что я тихим голосом отвечал, что хочу продать флейту. С любопытством он приоткрыл футляр, но сразу же отдал его со словами:

— Ну-ка, соберите эту штуку, я ведь не знаю, что это такое! Когда я сложил вместе все три составные части, он взял инструмент в руки и повертел его, рассматривая, не искривился ли он и не находит ли одна часть на другую.

— Почему же вы хотите ее продать? — спросил он, на что я ответил, что мне она больше не нужна.

— Но она хоть звучит, ваша флейта? Там вон лежит у меня кларнет, так из него нельзя извлечь ни одного звука, с ним я попался! Ну-ка, поиграйте!

Я сыграл ему гамму, но он захотел послушать какой-нибудь музыкальный отрывок; поэтому, хотя мне было совсем не до музыки, я исполнил, на ослабленном дыхании, арию из «Волшебного стрелка»¹⁸⁷:

¹⁸⁷ «Волшебный стрелок» — опера известного немецкого композитора-романтика Карла Мариа Вебера (1786–1826).

Пусть солнце скрыто облаками,
Незримое, царит оно.
Ужели, боже, править нами
Слепому случаю дано?

Это был первый музыкальный отрывок, который я выучил когда-то, много лет назад, поэтому он прежде всего пришел мне на память. Не только от слабости, но и от печального сознания моего теперешнего положения и от воспоминаний о тех беззаботных временах исполнение мое оказалось неуверенным, звук дрожал, и я мог проиграть только до десятого или двенадцатого такта. Но старьевщик потребовал продолжения, и я играл из страха, что сделка наша не состоится, ощущая жалкую унижительность этой минуты, тогда как старик не спускал с меня взгляда. На глаза мои навернулись слезы досады, и я отвернулся к окну.

И вдруг там, за стеклом, подобно солнечному восходу, появилось лицо прекрасной девушки, радостное, как весенний день, и, улыбаясь, она постучала рукой в тонкой перчатке по витрине. Это была, по-видимому, знатная дама, и старьевщик поторопился открыть окно как можно шире, насколько это позволяли разложенные на подоконнике товары.

— Дедушка, что это у вас там за концерт? — фамильярно спросила она на местном диалекте, которым пользовалась, очевидно, лишь из внимания к старику; затем, прежде чем он, застигнутый врасплох, мог вымолвить ответ, она спросила о каких-то китайских чашках, которые он ей обещал достать. Я между тем сел на ящик и, отдыхая от утомительной игры, любовался прелестной девушкой, которая быстро закончила разговор и окинула непринужденным взглядом комнату, осветив своим блеском и мою печальную особу.

— Смотрите, чтоб эти старинные чашечки у меня были! А теперь можете заниматься музыкой сколько вам угодно! — крикнула она и скрылась, приветливо махнув рукой на прощанье. Но старик был очень взволнован ее неожиданным появлением, — видимо, майское сияние этого личика согрело его и привело в наилучшее расположение духа.

— Ну что же, флейта играет совсем прилично! — сказал он мне. — Сколько вы за нее хотите?

Я не знал, какую запросить цену, и он, вытащив две новеньких блестящих монеты, гульден и полгульдена, протянул их мне. «Как, этого достаточно? — спросил он и добавил: — Не раздумывайте, деньги хорошие!» Я был доволен и, чувствуя, что спасен, торопливо и искренне поблагодарил его, что, вероятно, не часто случалось в его практике. Он добродушно похлопал меня по плечу и велел показать, как флейта разбирается на части и как она укладывается в футляр. Затем он сразу же раскрыл его и выставил в окне.

Очутившись на улице, я вновь рассмотрел обе монеты, желая еще раз убедиться, что у меня в руках и в самом деле достаточная власть, чтобы утолить голод. Светлый блеск серебра, блеск мельком увиденных, но все еще не позабытых глаз, луч солнца, показавший мне поутру, сразу же после молитвы, позабытую флейту, — все это, казалось мне, исходит от одного источника и как-то связано с потусторонним миром. Растроганный и проникнутый благодарностью, свободный от всяких жизненных забот, я дождался обеденного часа, будучи убежден, что все милостивый бог лично оказал мне помощь. «Значит, все идет как полагается, — думал я, чувствуя, как поколеблено мое гордое свободомыслие, — я могу принять это скромное чудо на свой счет и по праву возблагодарить за него господа». Уже как бы для симметрии я добавил к моей маленькой утренней молитве короткую благодарственную молитву, не желая обременять великого господина вселенной многочисленными или громкими словами.

Не медля долее, я направился в ту харчевню, где обычно столовался и где я, как мне казалось, не был уже целый год, — такими долгими показались мне эти три дня. Я съел тарелку наваристого супа, кусок говядины с доброй порцией овощей и обычный в тех местах сладкий пирог. Затем я велел подать себе кружку пива, покрытую шапкой великолепной пены, и все это показалось мне таким вкусным, как будто я сидел за самой изысканной трапезой. Знакомый врач, старый холостяк, который тоже обычно здесь обедал, заметил мне

с дружеским вниманием, что он сперва подумал даже, что я болен, — так я плохо выгляжу, но раз у меня такой хороший аппетит, болезнь моя, очевидно, не опасна. Отсюда я сделал вывод, что обладаю, по крайней мере, завидным здоровьем, на что раньше никогда не обращал внимания, и за это я также возблагодарил провидение, — для болезненного или слабого человека эти передряги могли кончиться гораздо хуже.

После обеда я отправился в кафе, чтобы там отдохнуть за чашкой черного кофе, а также почитать газеты и узнать, что делается на свете. Я ведь был эти три дня словно в пустыне, — ни с кем не разговаривал и никаких известий не слышал. Я и в самом деле обнаружил, что за это время произошли всякие мировые события и накопились разные новости; за приятным чтением ко мне в значительной степени вернулись силы, телесные и духовные, а когда я прочел, что в одну городскую церковь сбегается народ, потому что там, как говорят, образ девы Марии ворочает глазами, я смущенно вспомнил чудо, ниспосланное моей скромной особе, и после некоторого раздумья сказал себе в совершенно другом тоне, чем до еды: «Разве ты лучше, чем эти идолопоклонники? Вот уж в самом деле можно повторить: когда дьявол голоден, то он и муху съест, а Генрих Лее хватается за чудо!»

И все же я медлил, мне жаль было лишиться успокоительной веры в чью-то заботу обо мне, лишиться чувства непосредственной связи моей личности со вселенной.

Наконец, чтобы не утратить этого преимущества и одновременно совместить его с законами разума, я объяснил себе этот случай тем, что унаследованная от дедов привычка молиться заменила собой энергичное сосредоточение мыслительных сил и, благодаря достигнутому таким образом облегчению душевной деятельности, освободила силы мысли и дала им возможность найти простейшее средство спасения, которое уже существовало, или заняться поисками такового; и что как раз этот процесс — божественного происхождения, и господь, таким образом, раз и навсегда даровал людям возможность молитвы, не вмешиваясь в отдельные происшествия и не ручаясь за обязательный успех в каждом отдельном случае. Скорее всего он принял меры к тому, чтобы люди не злоупотребляли его именем, и потому устроил так, чтобы их уверенность в себе и их энергия, пока они не истощились, имели силу молитвы и венчались успехом.

Я и сегодня еще не смеюсь ни над ничтожностью моего тогдашнего горя, ни над моей мимолетной верой в чудеса, ни над педантичными расчетами, пришедшими ей на смену. Я бы ни за что не отдал этого сильного чувства голода, которое испытал однажды в жизни, этого чуда приветливого солнечного луча, блеснувшего после, молитвы, и критического объяснения чуда после телесного подкрепления. Ибо страдания, заблуждения и силы человека в борьбе с ними — это то, что, как мне кажется, придает жизни цену.



Идиллический ландшафт.
Акварель. 1849 г.

Глава пятая **ТАЙНЫ ТРУДА**

Я благоразумно распределил небольшую сумму, полученную мною за флейту, а потому ее должно было хватить и на следующий день. На этот раз я проснулся, не думая о том, что мне придется сегодня голодать, и это тоже было маленьким впервые пережитым удовольствием, так как раньше я был далек от подобных забот и только теперь ощутил разницу. Это неведомое прежде чувство уверенности, что я не умру с голоду, так мне понравилось, что я стал искать в своем скарбе, что бы такое отправить вслед за флейтой, но я не нашел ничего лишнего, кроме скромного запаса книг, который накопился за время разносторонних занятий науками и странным образом весь уцелел. Я перелистал некоторые тома и стоя читал страницу за страницей, пока не пробило одиннадцать часов и не подоспел час обеда. Тогда я со вздохом захлопнул последнюю книгу и сказал:

— Бог с ними! Теперь не время для подобной роскоши, позже мы снова будем собирать книги!

Быстро нашел я человека, который связал веревкой весь этот тюк, взвалил его на спину и понес вместе со мной к букинисту. Через полчаса я освободился от всей учености, но зато в кармане у меня звенели средства, которых было достаточно, чтобы существовать несколько недель.

Этот срок казался мне бесконечным; но и он прошел, ничего не изменив в моем

положении. Итак, я должен был дать себе новую отсрочку, чтобы дожидаться поворота к лучшему и начала счастливых дней. Есть люди, которые неизменно сохраняют целеустремленность и выдержку, не прекращая своей деятельности, даже когда у них нет почвы под ногами и определенной цели перед глазами, в то время как для других совершенно невозможно сохранять разумность и энергию, если у них нет твердой почвы и видимой цели; они именно из свойственной им целеустремленности не умеют, да и не хотят, делать что-нибудь из ничего. Высшим проявлением целеустремленности кажется им проходить мимо житейских мелочей, они отдаются течению волн «и воле ветра и каждую минуту готовы схватиться за канат, если только заметят, что он к чему-то прикреплен. Когда же они снова оказываются на твердой земле, то сразу опять становятся хозяевами положения, в то время как первые все время плавают вокруг, держась за свои маленькие доски и обломки снастей, и от нетерпения часто сами мешают себе подплыть к берегу. Что касается меня, то я не чувствовал себя титаном духа и не умел пользоваться столь благородным средством, как терпение; но в то время у меня ничего иного под руками не было, — как известно, крестьянин, в случае необходимости, подвязывает ботинки и шелковыми шнурами.

Последним, что у меня осталось, не считая картин и набросков, которых никто не покупал, — были мои папки, наполненные этюдами. В них скопились почти все труды моей юности, и они представляли собою целое богатство, так как изображали подлинные, реальные картинки природы. Я отобрал два лучших рисунка большого формата, которые закончил тогда же под открытым небом и довольно удачно раскрасил. Я выбрал именно их, желая произвести наиболее выгодное впечатление, — на этот раз я предполагал обратиться не к важным торговцам картинами, а к приветливому старичку старьевщику и уже заранее был готов продать мои этюды ниже настоящей стоимости. Подойдя к скромной лавке, я сперва заглянул в окно, где лежало всякое старье, а также кларнет, гравюры и разные картинки, но не обнаружил своего футляра с флейтой. Ободренный, я вошел к старику, который сразу же узнал меня и спросил, что я принес хорошего. Он был настроен весьма доброжелательно и сообщил мне, что флейту давно продал. Когда я развернул листы и как можно выигрышнее разложил их у него на столе, он прежде всего спросил, совсем как тот еврей, торговавший картинами и платьем, сам ли я их сделал. Но я медлил с ответом, — я был слишком горд и не желал признаваться в том, что нужда гонит меня продавать труды моих собственных рук в его лавчонку. Однако лестным отзывом сразу же заставил меня сказать правду, которой, по его словам, мне нечего было стыдиться, — скорее надо было гордиться ею; мои вещи показались ему неплохими, он заявил, что пойдет на риск и даст мне за них изрядную сумму. Старик и в самом деле уплатил мне столько денег, что их хватило на несколько дней, — мне даже стало казаться, что я неплохо заработал, хотя в свое время провел за этими рисунками несколько недель, наполненных радостным и хлопотливым трудом. Теперь я сравнивал небольшую сумму не с действительной их стоимостью, а с нуждой настоящего момента, и нищий владелец темной лавочки казался мне истинным ценителем искусства, — ведь он мог и отказать мне. Жалкие гроши, которые он давал мне, желая помочь и скрывая свою доброту за смешными ужимками, радовали меня не меньше, чем те куда большие суммы, которые бы мне могли уплатить богатые торговцы, движимые случайной прихотью и переменчивыми суждениями.

Не дождавшись моего ухода, старик повесил несчастные листы в окне, а я поторопился покинуть его лавку. С улицы я бросил беглый взгляд на витрину, где печально прощались со мной солнечные лесные поляны моей родины, пригвожденные к позорному столбу нищеты.

Тем не менее через два дня я снова направился с еще одним рисунком к моему знакомцу, встретившему меня весело и дружелюбно. Первых двух акварелей уже не было; старичок, или, вернее, господин Иозеф Шмальхефер, — так было намалевано на маленькой старой вывеске, — ни за что не хотел сказать, куда они девались, но сразу же заинтересовался, что я принес еще. Мы скоро сошлись в сумме, и я, хотя и попытался было добиться более милостивой оценки, был все же рад, что старик не утратил охоты покупать

мои вещи и даже поощрял меня приносить и в дальнейшем все, что я сделаю. Он призвал меня к сдержанности и бережливости, заметив, что, судя по скромному началу, из меня, вероятно, выйдет нечто путное. Затем он снова дружески похлопал меня по плечу и посоветовал быть веселей и общительней.

Все содержимое моих папок постепенно перекочевало в руки лавочника, всегда охотно покупавшего мои рисунки. Он больше не выставлял мои вещи в окне, а заботливо клал их между двумя картонными крышками, которые перехватывал длинным ремешком. Я обратил внимание, что мои листы, как большие, так и маленькие, исполненные как в красках, так и в карандаше, иногда накапливались некоторое время, пока наконец в один прекрасный день папка снова не пустела; но он никогда ни одним словом не выдал, куда исчезали сокровища моей юности. В остальном старик был неизменен; пока у меня еще оставались рисунки, я находил у него всегда надежную помощь; вскоре я стал заходить к нему уже без всяких коммерческих намерений, чтобы часок-другой провести с ним в приятной беседе и за ним понаблюдать. Когда я вставал, чтобы уйти, он начинал убеждать меня не бегать по трактирам, не сорить деньгами, а разделить с ним его скромную трапезу, и в конце концов ему удавалось меня уговорить. Впрочем, одинокий гном был хорошим поваром, и в запасе у него всегда находилось лакомое блюдо — то ли на очаге, то ли в печке, обогревавшей его мрачный сводчатый подвал. Иногда он жарил утку, иногда гуся; он тушил вкусные овощи с бараниной и знал секрет превращения дешевой речной рыбы в отличные постные блюда. Однажды, когда ему удалось уломать меня и оставить обедать, он вдруг открыл настежь окно, под предлогом жары, как он сказал, но на самом деле, чтобы укротить мою гордость бедняка и показать меня прохожим. Это я сразу заметил по его хитрым глазкам и по шутивным замечаниям, которые он отпускал, заметив на моем лице признаки смущения и недовольства. Я старался не попадаться больше на удочку, считая мою бедность моим собственным достоянием, которым он не имел права пользоваться. Как ни странно, но он никогда не спрашивал меня, почему или когда я так обеднел, хотя давно знал мое имя и происхождение. Причину его сдержанности я видел в том, что он хотел избежать всяких объяснений, чтобы не быть морально обязанным идти мне навстречу и предложить мне при наших сделках более человечные условия. По той же причине он никогда больше не высказывал своего мнения о том, что я приносил, и с прежним упорством скрывал, кому продает мои рисунки.

Я больше об этом и не спрашивал. В моем теперешнем положении я охотно готов был отдать все за скудный кусок хлеба, который выпал на мою долю, и получал удовлетворение, столь расточительно оплачивая его. Мне это было тем легче вообразить, что те гроши, которые мне платил старик, были первым доходом, полученным за плоды собственного труда; ибо лишь доход, приносимый работой, безупречен и успокаивает совесть, и все, что на него приобретаешь, кажется созданным своими руками, — хлеб и вино, одежда и украшения.

Так я продержался почти полгода, как мало ни платил мне старик за мои многочисленные наброски и эскизы; казалось, им не будет конца, и все же настал день, когда они иссякли. Но я не был расположен снова голодать. Поэтому я взял мои большие раскрашенные и однотонные картоны, аккуратно разрезал их на равные куски, которые положил друг на друга в папку, и отнес эти диковинные тетради, имевшие все же весьма солидный вид, господину Иозефу Шмальхеферу. Он просмотрел их с большим удивлением; действительно, они выглядели довольно необычно. Размашистый, смелый рисунок, проходящий через все куски, резкие штрихи пером и широкие пятна туши выглядели огромными на небольшом пространстве отдельных фрагментов и придавали им, как частям неизвестного целого, таинственный, как бы сказочный смысл, так что старик не сразу мог в них разобраться и все спрашивал меня, действительно ли это что-нибудь дельное. Я старался втолковать ему, что так оно и должно быть, что листы можно сложить воедино и тогда получится большая картина, но что и каждый сам по себе имеет свое значение и собственное содержание; короче говоря, я натянул ему нос шутки ради, думая при этом, что если они и

останутся у нею на шее мертвым грузом, то это будет лишь небольшой ущерб в сравнении с той прибылью, которую он получил от меня. Старьевщик смущенно потер ногу, где у него чесался лишай, но не выпустил из рук сивиллиных книг¹⁸⁸, а продал их в один прекрасный день все вместе, так и не сказав мне, куда они девались.

Израсходовав эту последнюю сумму, я снова оказался в тупике. Я зашел к торговцу, у которого были выставлены на комиссию пейзажи. Они висели на старом месте, и я спросил хозяина, не приобретет ли он их за самую скромную цену, которую сам назначит. Но он не был склонен выложить хоть сколько-нибудь наличных денег и убеждал меня потерпеть в надежде на более выгодную сделку. Я согласился, — таким образом, у меня все еще оставалась маленькая надежда. Выйдя от него, я пошел дальше и зашел к моему Шмальхеферу, чтобы пожелать ему доброго утра. Он сразу же увидел, что я иду с пустыми руками, и мне пришлось сказать ему, что продавать больше нечего.

— Держитесь, дружище, веселей! — произнес он, взяв меня за руку. — Мы сейчас начнем одну работу, которая нам даст кое-что! Теперь как раз время, и нечего бить баклуши!

С этими словами он потащил меня и втиснул в еще более темный чулан, который находился за лавкой, куда свет проникал только через узкую щель, вроде бойницы, выходящую в сырую, заплесневелую стену. После того как глаза мои привыкли к темноте, я увидел, что подвал заполнен множеством деревянных палок и шестов различной величины; новые, ровно и гладко обструганные, они стояли рядами вдоль стен. На старом кузнечном горне, оставшемся после какого-нибудь алхимика, который, наверно, хозяйничал здесь сотню лет тому назад, стояло ведро с белой клеевой краской и несколько горшков с другими красками; в каждом торчала небольшая малярная кисть.

— Через две недели, — то шептал, то выкрикивал старик, — в наш город прибудет невеста наследника престола. Все улицы будут нарядно убраны и украшены, из тысяч и сотен тысяч окон, дверей, форточек будут вывешены государственные флаги жениха и невесты; флаги любого размера будут самым ходким товаром в ближайшие две недели! Я уже несколько раз участвовал в таком деле и получил изрядные барыши. Кто первым изготовит флаги, быстрее и дешевле других начнет их продавать, тот хорошо заработает. Нечего терять время, скорей за дело! Я все предвидел и уже заготовил палки: следующая партия заказана, мы начнем кроить материал и шить. Вы же, приятель, посланы мне самим небом, чтобы раскрашивать флагштоки! Нечего ворчать! За эти, большие, я дам по крейцеру, за эти, поменьше, — полкрейцера, а эти, совсем маленькие, предназначены для мышинных нор нищих подданных, — они пойдут по четыре штуки за крейцер. Теперь смотрите, как это делается, — всему учиться надо, дружок!

Он уже приготовил несколько палочек, одни были почти совсем готовы, другие — наполовину; сперва палка покрывалась белой краской, одинаковой для обоих государств, затем ее спиралью обвивала линия другого цвета. Старик вложил одну из подготовленных палок в щель окна, придерживая ее в горизонтальном положении левой рукой, и, окуная кисть, обратил мое внимание на то, что нужно набрать краски ни слишком много, ни слишком мало — иначе не получится ровная и аккуратная черта; он стал медленно поворачивать палку и вести по ней спиральную линию небесно-голубого цвета, стараясь, чтобы палка не дрогнула и не пришлось возвращаться кистью на уже покрашенное место. Но рука его все же дрожала, отчего голубые полосы были разной ширины и находились на разном расстоянии от белого фона; он отбросил испорченную палку и воскликнул:

— Ну вот! Делать надо так! Ваша задача — лучше меня справиться с делом; вы ведь молоды!

Не долго думая, я схватил одну из палок, прислонил ее к окну и с рвением принялся за диковинную работу; вскоре я приспособился, и дело пошло на лад. Так я усердно трудился

¹⁸⁸ *Сивиллины книги* свод изречений, приписываемых легендарной сивилле (прорицательнице) из города Кумы в Греции. В Древнем Риме к этим книгам обращались в самые критические для государства моменты.

вплоть до обеда; выйдя из темного чулана, я увидел старьевщика, окруженного несколькими швеями, которым он отмерял материю для флагов и давал сотни разных наставлений: шить надо не на живую нитку, хоть и не слишком прочно — так, чтобы работа быстрее подвигалась вперед, но флаги все же держались под порывами ветра, а с другой стороны, не следует забывать, что флаги шьются не навек. Женщины смеялись, и я, проходя мимо, тоже расхохотался; старик крикнул мне вслед, чтобы я непременно вернулся не позже чем через час. Я так и сделал и целые дни безвыходно проводил за этим новым занятием.

На улице стояла безоблачная погода, над городом сияло августовское солнце, и толпы народа, более оживленные, чем в другое время года, двигались по улицам. Лавчонка мастера Иозефа была все время битком набита людьми, которые покупали или заказывали флаги, девушками, которые кроили шили, столярами, которые приносили новые палки; старик распоряжался и шумел в наилучшем расположении духа, получал деньги, отсчитывал флаги и время от времени заглядывал в мою темную дыру, где я в полном одиночестве стоял у стены, ловя скудные лучи света, падавшие сквозь узкую щель, поворачивал белую палку и выводил на ней бесконечную спираль.

Он осторожно похлопал меня по плечу и шепнул на ухо:

— Так, так, сынок! Это и есть настоящая линия жизни; если ты научишься аккуратно и быстро вести ее, ты многого достигнешь!

И в самом деле, постепенно это простое занятие приобрело для меня такую привлекательность, что дни, проведенные здесь, в темной дыре, стали казаться мне часами. Это была самая низшая ступень труда, где не требуется ни раздумий, ни соблюдения профессиональной чести, — работа идет сама по себе, и от нее ждешь только ежедневного пропитания; так путник, шагающий по дороге, берется за лопату, становится в ряд и помогает чинить эту же самую дорогу, пока ему не надоест и пока его заставляет жизненная необходимость.

Беспрерывно тянул я спиралевидную ленту, тянул быстро и все же осторожно, не делая клякс, не портя ни одного шеста и не теряя ни минуты в мечтах или в нерешительности, раскрашенные палки беспрестанно нагромождались и уносились прочь, так же быстро передо мною нагромождались новые, и все же я все время помнил, сколько сделал, и каждая палка имела свою определенную ценность. Я так поднаторел в своей работе, что изумленному Иозефу уже на третий день пришлось уплатить мне за рабочий день не менее двух талеров, — больше, чем он платил мне за самый лучший рисунок.

Сначала он запротестовал и стал кричать, что ошибся в расчетах и совершенно имел в виду, что я так много заработаю на этой ерунде. Но со мной были шутки плохи, и я настаивал на наших условиях, уверяя, что его не касается мое уменье и он должен быть только рад, если благодаря мне ему удастся сбыть так много флагов; короче говоря, я чувствовал себя в своем праве и так запугал старика, что тот быстро пошел на попятный и просил меня продолжать в том же духе, уверяя, что все в порядке.

Его флаги пользовались большим успехом, и он обеспечил ими добрую часть населения города. Я же неутомимо поворачивал палки и мысленно путешествовал вдоль бесконечно развертывавшейся голубой черты в мире воспоминаний и видов на будущее. Я не собирался погибать и все же не видел выхода, который, несомненно, можно было найти, — вера в божественный порядок, как и прежде, жила во мне, хотя я и остерегался снова забросить удочку молитвы в надежде выловить какое-нибудь маленькое чудо. В конце концов я удовлетворился сознанием уверенности, что мне есть на что прожить ближайшие дни. Я вытащил кожаный кошелек, который завел по примеру возчиком и матросов, и убедился, что скромная кучка серебряных монет, надежно запрятанная в нем, заметно увеличилась.

До сих пор я всегда носил деньги открыто, в жилетном кармане; теперь, как начинающий скупец, я решил никогда не расставаться с кошельком и стал усердно продолжать свою бесславную и спокойную работу. Вечером я отправлялся в какой-нибудь отдаленный трактир, садился посреди незнакомых людей, съедал скудный ужин и,

расплачиваясь, осмотрительно и неторопливо пересчитывал каждый грош, как человек, знающий цену деньгам.

И вот наступил наконец торжественный день. Еще в последнюю минуту прибежало несколько горожан победней или поскупей других, чтобы купить, по зрелом размышлении, один флажок или два; они шумно торговались из-за нескольких грошей, потом в лавке стало пусто и тихо, старик подсчитывал свою выручку и, углубленный в это занятие, предложил мне пойти поглядеть на торжественный въезд будущей государыни и немного развлечься.

— Вас это не интересует, а? — спросил он, когда заметил, что я не выказываю особой радости. — Видите, каким вы стали степенным и умным! Быстро же вы набрались мудрости, постояв у моего старого горна! Так всегда бывает! А все-таки пойдите-ка прогуляйтесь, приятель, хотя бы для того, чтобы подышать свежим воздухом и посмотреть на солнышко!

Я согласился с ним и пошел бродить по городу, который как-то за один миг преобразился, — все улицы блистали красками, золотом, зеленой листвой, со всех сторон все это развевалось и сверкало. На улицах колыхались неисчислимые толпы народа, к городским воротам устремлялись блестящие кавалькады всадников, пехотные части, цеха, студенческие корпорации и всякие объединения со всевозможными диковинными знаменами; там, за воротами, которые я миновал вместе с толпой, все это веселое войско направилось на равнину и слилось с толпами народа, уже занявшего эту позицию, так как из окрестностей пришло множество крестьянских общин, сельских школ и стрелковых союзов. Среди них теснились бесчисленные зрители, в том числе и я.

Вдруг раздался грохот орудий, и над широко раскинувшимся городом поплыл колокольный звон; звуки оркестра, барабанный бой и оглушительные клики толпы возвестили приближение долгожданной принцессы. В лучах полуденного солнца блеснули клинки всадников, скакавших впереди, и затем в усыпанном цветами экипаже над головами колыхавшейся толпы проплыло юное существо, — мне казалось, что девушку несет корабль, который скользит по шумящим волнам, потому что я не видел ни колес. Сначала меня обрадовал этот невероятный шум, но затем он стал мне в тягость, как нечто чуждое; во мне проснулась неприязнь республиканца к монархической власти и к строю жизни, с которым я ничего не имел общего и в котором я ничего не мог изменить, — ни приумножить, ни приуменьшить.

«Впрочем, ты для него трудился и приумножал! — заговорил во мне голос моей гражданской совести. — Ты уже несколько недель живешь на его счет, а постыдная плата за это и сейчас еще у тебя в кармане».

«Во всяком случае, я хоть не стрелял в этих его подданных, — отвечало мое чувство самосохранения, — как нередко делала швейцарская гвардия на герцогской службе; и сейчас еще целые полки стоят у подножия тронов, худших, чем тот, который прославляют здесь».

Мысль о швейцарских полках на иноземной службе¹⁸⁹ вызвала у меня новые фантастические представления; мгновенно я увидел перед собой многие тысячи раскрашенных мною флажтоков в виде необозримого забора и себя — фельдмаршалом среди этой деревянной армии, с кожаным кошельком в руках. Сравнение этого почетного положения с постом какого-нибудь усопшего швейцарского маршала во французских или испанских войсках говорило явно в мою пользу, — по крайней мере, на моих руках не было ни капли крови. Мое внутреннее «я» снова повеселело, вынесло себе оправдательный приговор, и, во главе мощного отряда моих незримых палок-духов, я зашагал вместе с медленно двигавшимися толпами обратно, в город.

Неторопливо проходил я снова по нарядным улицам и внимательно разглядывал все украшения и развлекающийся люд; потом, с наступлением вечера, я снова вышел из дому; все сады были полны танцующими, трактиры и кофейни переполнены. Я не заходил никуда, пока, уже когда взошла луна, забрел на остров, поросший столетними серебристыми

¹⁸⁹ Мысль о швейцарских полках на иноземной службе ... — См. прим. 148.

тополями, где стояло освещенное здание, из которого неслись звуки скрипок, литавр и духовых инструментов; здесь гулял и танцевал простой народ. Я собирался отыскать себе тихое местечко под деревьями, поближе к воде, у сверкавших в лунном свете плещущих волн. Но другие искали того же, и я напрасно проходил между столиками, — свободного места нигде не было; наконец я решился присесть к столу, где уже сидели люди — несколько молодых женщин со своими друзьями или родными. Под высокими деревьями царил полумрак, в котором светился пестрый бумажный фонарик, но свет этот был слишком слаб, чтобы лишить волны, озаренные луной, их очарования или чтобы ночное светило, лучи которого пронизывали листву деревьев, показалось более тусклым.

Когда я, слегка приподняв шляпу, опустился на стул, две девушки, оказавшиеся рядом со мною, стали уверять меня, лукаво улыбаясь, что для хорошего знакомого и товарища по работе всегда найдется местечко, и только теперь я признал в них швей, которых видел в лавочке Шмальхефера. Они мило принарядились, и я был приятно удивлен, встретив таких прелестных девушек, на которых почти не обращал внимания и с которыми едва здоровался, когда проходил мимо, забираясь в свою темную дыру или покидая ее. Старшая представила меня остальному обществу, состоявшему из молодых ремесленников разных профессий, как собрата по цеху; от старьевщика они уже знали мое имя. Очевидно, меня принимали за честного подмастерья маляра; молодые люди наперебой угощали меня своим пивом, но я тоже заказал себе кружку и, радуясь, что после долгого одиночества оказался вновь среди людей, принял участие в их безыскусственном веселье, не открывая своего несколько более высокого положения, что и вообще было бы некстати.

Этот маленький кружок состоял из трех влюбленных пар, — об этом было легко догадаться по тому, как они сидели, непринужденно обнявшись. Постоянно испытывая надежду и страх — надежду соединиться навеки и страх быть снова разлученными, — они не теряли времени в настоящем. Четвертая девушка казалась лишней в этой компании; она сидела рядом со мной без поклонника, может быть, потому, что была очень юной, — на вид ей казалось не больше семнадцати. Я обратил внимание на ее блестящие глазки еще в лавке старьевщика, — если кто-нибудь проходил мимо, она всегда поднимала голову. Теперь я внимательнее разглядел ее стройную фигурку, закутанную в праздничную шаль, белую и довольно тонкую; она положила на край стола маленькую изящную руку с удивительно нежными пальцами, которые, правда, были исколоты иглой и на кончиках загубели; к тому же у нее были мягкие каштановые волосы, выбивавшиеся из-под кокетливой шляпки, а когда светлый платок сдвигался по временам, то взору открывались такие бесценные прелести, скрытые во мраке нищеты, каким могли позавидовать многие осчастливленные богатством. Даже бледность ее лица, на которую я и раньше, как мне теперь казалось, обратил внимание, служила как бы фоном для игры света и теней, — на нее падал то красноватый отблеск бумажного фонарика, раскачиваемого порывом ветра, то серебристо-голубые блики освещенной луной реки, и все это вместе с улыбкой, когда она в разговоре раскрывала губки, придавало ее лицу какую-то таинственную жизнь и движение. В довершение всего ее звали Хульдой¹⁹⁰.

Я спросил девушку, в самом ли деле ее так зовут или она сама выбрала себе имя позвучнее, как это нередко бывает у работниц и находящихся в услужении женщин, к числу которых она принадлежала.

— Нет, — ответила она, — это имя, наряду с четырьмя другими, я получила при крещении от родителей. Отец мой был бедный сапожник и не мог ни устроить по случаю моего крещения достойного пиршества, ни пригласить крестных, которые одарили бы меня богатыми подарками. Но так как у родителей были все же немалые притязания, они взамен этого снабдили меня пятью именами. Но я их все отменила, за исключением самого

¹⁹⁰ Имя «Хульда» (Hulda) созвучно со словом «die Huld», одно из значений которого — прелесть, очарование. — *Ред.*

короткого, так как нашей сестре приходится часто бегать ко всяким властям и держать в порядке свои документы, а то на меня каждый раз ворчали чиновники, спрашивая, скоро ли я кончу перечислять свои имена или, может, им придется начинать новую страницу, чтобы все их записать.

— И вы сохранили себе самое красивое из пяти имен? — спросил я, улыбаясь тому серьезному виду, с которым она рассказывала эту историю.

— Нет, самое короткое! Остальные были длиннее и пышнее!.. Но вы носите слишком много денег с собою, этого не надо делать!

Я как раз положил на стол свой туго набитый кошелек, чтобы заплатить еще за одну кружку пива, которую мне только что принесли, — мне хотелось пить, а с первой я уже покончил.

— Это мой заработок от флагштоков, — сказал я, — я уж спрячу деньги подальше, когда расплачусь.

— Господи! Так много вы заработали у старика? А я едва выколотила четырнадцать гульденов!

— Я получал за каждую штуку, можно было здорово приналечь и натянуть хозяину нос!

— Послушайте-ка, друзья, — крикнула она остальным. — он получал со штуки и заработал кучу денег! А у кого вы, собственно говоря, работаете, или вы сами себе хозяин?

— Я сейчас сам по себе и думаю, если так пойдет и дальше, работать самостоятельно.

— Ну конечно, пойдет, ведь вы же прилежно трудитесь с утра до ночи, мы это заметили и часто показывали на вас друг другу. Некоторые говорили: «Если б он не был таким гордым!» А я думала, что вы скорее либо печальный, либо скучный. Скажите, вы уже поужинали?

— Нет еще! А вы?

— Тоже нет! Знаете что, так как я одна, то мы можем сложиться и поесть вместе, тогда мы тоже будем парочкой!

Мне понравилось это предложение, и я нашел его весьма разумным, я даже почувствовал приятное тепло оттого, что неожиданно так хорошо устроился. Поэтому я сказал милой Хульде, что возьму на себя заботы об ужине; но она не согласилась иначе, как в складчину, и когда принесли заказанную еду, она вынула кошелек, в котором было достаточно денег, и не успокоилась, пока не отдала мне свою долю. Непринужденно и весело принялись мы с ней за еду; только это привлекательное существо ни за что не хотело взять картофеля, заказанного мною как гарнир к карбонату, которого ей захотелось. Ей кажется, так она сказала, что у меня никогда не было милой, иначе бы я знал, что девушки-работницы не едят картофеля по праздникам, отправляясь развлекаться.

— Потому что всю неделю они и так питаются почти что одним картофелем, он им уже приедается! — объяснила она.

Я выразил свое сочувствие, не признавшись ей, что мне приходилось переживать и более трудные дни: это признание вряд ли завоевало бы мне ее уважение, по крайней мере, тогда я так думал.

Между тем остальное общество увлеклось танцами; то одна, то другая пара отправлялась в танцевальный зал, и стол наш попеременно то пустел, то снова заселялся. Вдруг две пары вернулись в высшей степени взволнованные и продолжали за столом ссору, начавшуюся, очевидно, еще в зале. Одна из девушек плакала, другая бранилась, а молодые люди пытались усмирить бурю и отразить нападки, обрушившиеся на них самих.

— Ну, опять заварилась каша! — сказала Хульда; она тесно прижалась ко мне и рассказала приглушенным голосом, что у них перекрестная любовь. — Одна из них любила сначала другого, ее теперешний ухажер гулял с ее подругой; затем они все четверо неожиданно поменялись местами, и теперь эта гуляет с любимым другой, а та гуляет с бывшим любимым этой. Но каждый праздник начинается такая перепалка, что хоть святых выноси. Такая четверная упряжка никуда не годится, это дело касается только двоих.

— Но почему же они всегда ходят вчетвером, вместо того чтобы избегать встречи?

— А бог их знает почему! Всегда они попадают в одно и то же место и сидят вместе, как околдованные!

Я был поражен этим странным случаем, а также и словами моей юной знакомой. Ссора, завязавшаяся вначале из-за непонятных и, видимо, ничтожных причин, в конце концов так разгорелась, что вмешалась третья парочка, жившая в согласии дружбе, и лишь с трудом добилась некоторого перемирия. Кружки, из которых пила каждая пара, снова наполнились. Однако ссорившиеся девушки дулись не только друг на друга, но и на своих возлюбленных. Снова пришлось вмешаться лицам незаинтересованным, и по предложению Хульды было решено так: чтобы покончить с ревностью и всяким недружелюбием, обе пары должны протанцевать еще по разу, каждая со своим прежним кавалером, и никто из них не должен дуться на это.

Так и было сделано; поменявшись, пары вернулись после танцев, — а танцевали они довольно долго, — обратно, каждая из девушек под руку со своим прежним возлюбленным; но вместо того, чтобы разделить, обе пары, в новом сочетании, забрали свои вещи и, не говоря ни слова, разошлись в разные стороны. Совершенно сбитые с толку, мы смотрели им вслед, пока они не скрылись из виду, и затем разразились громким смехом. Только Хульда сказала, покачивая головой: «Безобразники!» И действительно, во время танцев они не только не обрели ожидаемого нравственного равновесия, но, видимо, лишь еще сильнее подогрели свою неожиданную прихоть и заторопились, чтобы после столь долгой разлуки насладиться радостями возобновленного союза.

Я не успел прийти в себя от удивления, вызванного свободными нравами этих простых людей, как почувствовал на своем плече нежную руку девушки, которой наконец тоже захотелось покружиться в танце. Хотя я и не готовился к тому, чтобы провести время подобным образом, по мне пришлось пойти навстречу ее желанию, — она считала это само собой разумеющимся и поручила свою шляпу и шаль подруге, сидевшей здесь со своим парнем. Только при свете бального зала, в легком движении танца я полностью разглядел, как она хороша. Но вскоре я уже не видел ее, а только ощущал ее тонкую фигурку, легкую, как перышко, она, подобно духу, носилась в танце. Если же нам приходилось останавливаться, я видел только ласковый взгляд ее теплых глаз и радостную улыбку ее губ, когда она поправляла мне распутившийся галстук или обращала мое внимание на то, что у меня на сорочке не хватает пуговицы.

В этом деликатно сложенном создании, казалось, кипела горячая сила жизни, которая стремилась выказать свою преданную доброту всему, что ее окружало. Какая-то непонятная для меня нежность стала проявляться во всем ее существе, от глаз до кончиков пальцев, но в этом не было и тени лживой угодливости или вульгарности; нет, все ее жесты и движения дышали такой милой скромностью, что среди танцующих ни одна живая душа ничего не заметила. И все же девушка ни в малейшей степени не стремилась к осторожности.

Когда же, по неловкости некоторых присутствующих, произошла заминка в танцах и толпа прижала ко мне Хульду, она почувствовала биение моего сердца, положила руку мне на грудь, ласково кивнула и сказала:

— Дайте-ка посмотреть, есть ли у вас на самом деле сердце?

— Я думаю, да! — ответил я и удивленно взглянул на миловидное лицо, придвинувшееся совсем близко ко мне. Она еще раз кивнула, и мы собирались было снова пуститься в водоворот танцующих пар, как нас окликнула подруга Хульды и передала ей шляпу и шаль; она сообщила, что уже идет домой, — рано утром ей надо на работу.

— Да и мне к семи часам уже надо сидеть за работой! — воскликнула Хульда, смеясь, — Из-за шитья флагов я отложила свои обычные заказы, и теперь мне нужно нагонять! Но домой мне все-таки еще не хочется!

— Ну, ты можешь остаться ненадолго, — сказала ей подруга, — наш добрый знакомый не откажется проводить тебя домой. Не правда ли, вы не откажетесь ее проводить, господин палочных дел мастер?

Я охотно обещал взять на себя эту обязанность, после чех о и последняя влюбленная пара простилась с нами, а мы с Хульдой вернулись к покинутому столику. Теперь мы оказались одни под серебристыми тополями; луна стояла высоко в небе и была заметна нам лишь по серому мерцанию на верхних ветвях деревьев; внизу было довольно темно, река в этом месте тоже уже не блестела, и фонарь погас.

— Давайте немножко отдохнем и тогда отправимся, — сказала она и, не раздумывая, откинулась на мою руку, когда я обнял ее. Я хотел было освободить руку, чтобы принести стакан пунша или горячего вина, но она помешала мне и сама восстановила прежнее положение.

— Не пейте! — произнесла она тихо. — Любовь — серьезное дело, и не хочет быть хмельной, даже если она только в шутку!

— Разве вы так уж много знаете о любви? Вы же еще совсем ребенок, милый ребенок!

— Я? Мне ровно семнадцать. Вот уже пять лет, как я одна на свете. Каждый день, начиная с двенадцати лет, я честно зарабатывала себе на жизнь работой и много чему научилась. Поэтому я люблю работу, она мне отец и мать! И на свете существует только одно, что я люблю так же сильно, это — любовь. Лучше умереть, чем не любить!

— Ах ты, милая девочка! — сказал я, отыскивая розовые губки, произнесшие эти слова.

— Вы, наверно, думаете, — прошептала Хульда, — что я из того дерева, откуда добывают уксус. О нет! В моем сердце побывало уже двое возлюбленных.

— Боже мой, двое! Куда же они делись?

— Ну, первый был еще слишком молод и находился здесь в ученье; ему надо было отправляться дальше, и он мне написал потом, что у него дома есть милая, на которой он собирается жениться. Тут были слезы, но что поделаешь! Потом пришел второй, но он не хотел работать, и я должна была почти что содержать его; это мне в конце концов надоело, да и стыдно мне было за него, и я его прогнала. Потому что кто не работает, не только не должен есть, — ему и любить нельзя!

— И он околачивается здесь, в городе?

— К сожалению, нет, он попал за решетку, — он сделал что-то нехорошее, когда я перестала помогать ему. Я очень стыдилась этого и горевала, и даже целых полгода ни на кого смотреть не могла!

— А теперь все обошлось?

— Конечно! Иначе нельзя было бы жить!

Мною овладевало все большее смущение: это юное существо говорило с такой сознательностью, с такой определенностью и легкостью! Эта хрупкая, нежная девочка утверждала, что вся растворяется в работе и любви и ничего другого от жизни не требует. И все это снова показалось мне видением из мира старинных легенд, которое само, подобно диковинному цветку, несло в руке свой нравственный закон. Мне казалось, будто из воздуха возникла передо мной прекрасная фея, та самая Хульда наших древних сказок, и теперь она, теплая, живая, лежит в моих объятиях.

Наша беседа незаметно перешла в безмолвные ласки; немного спустя она шепнула мне:

— А как же вы сами? Вы свободны?

— К сожалению, да, и уже давно!

— Ну что же, тогда давайте подружиться спокойно и не торопясь и посмотрим, куда это нас приведет!

Она произнесла эти трезвые, прозаические слова, но голос ее звучал, как у девочки, прошептавшей свое первое признание, или, скорее, как у тех бессмертных существ, которые принимают вид бедной служанки, чтобы, сохраняя вечную, нетленную юность, полюбить человека. Правда, в словах ее была и уверенность в том, что, потеряв меня, она так же спокойно вернется к своим обычным делам, как это случалось с нею раньше. Я это ясно чувствовал и все же искал ее маленькую ручку и губы, открывшиеся мне навстречу и дышавшие такой небесной свежестью, чистой и душистой, как распускающаяся роза.

— Ну, а теперь пойдём! — проговорила она. — Если вы так добры, что проводите меня

до моих дверей, то увидите дом, где я живу. В субботу вы часам к девяти придете, и мы договоримся, что предпринять в воскресенье. А на неделе мы будем тихо и спокойно трудиться! О, как я люблю работу, если я могу за ней подумать о ком-то любимом и быть уверенной, что воскресенье проведу с ним вместе! А когда мы ближе познакомимся и останемся вдвоем в нашей комнатке, нам не страшны будут ни дождь, ни буря, — мы будем сидеть дома и смеяться над непогодой!

— Но откуда же ты знаешь, славная ты моя девочка, откуда ты знаешь, что все пойдет так хорошо? И что мне можно верить? Откуда ты знаешь меня?

— Ну, будь уверен, я уже знаю тебя немного, да и должно же сердце быть отважным и не упускать случая, если оно хочет жить! Если бы ты знал, что мне довелось уже увидеть и испытать в своей жизни! А если у тебя не будет работы, то я смогу тебе кое-чем помочь, я много где бываю, я слышу и вижу больше, чем ты думаешь!

Взяв меня под руку, она весело и уверенно шла рядом со мной, напевая любовную песенку и повторяя все одни и те же слова. Я не верил своим чувствам, — неужели в бедственном положении, в котором я оказался, в самой, казалось бы, мрачной глубине существования передо мной так внезапно открылось богатейшее сокровище волшебной прелести, забил источник чистейшей радости жизни, который сверкал и переливался, словно притаившись под мусором и сухим мхом!

«Черт возьми, — подумал я, — у простого народа есть настоящие заколдованные горы, о которых самый блистательный рыцарь не имеет никакого представления; кажется, надо самому стать бедняком, чтобы увидеть их великолепие!»

— О чем вы так усердно думаете? — спросила Хульда, прервав свою песенку.

— Об удивительном счастье, которое я так неожиданно обрел! Можно ведь этому немножко удивиться, правда?

— Ну, ну, что за пышные выражения! Как из хрестоматии! Но я уже заметила, что ты говоришь и ведешь себя не так, как настоящий подмастерье. Ты, наверное, видел лучшие времена и, собственно говоря, не собирался стать ремесленником?

— Да, пожалуй, что и так! Но теперь я доволен, в особенности сегодня!

— Идем, идем, — сказала она, обняла меня и поцеловала с такой нежной сердечностью, что я, как хмельной, пошел с нею дальше; путь наш был еще далек.

Я не лгал, произнося последние слова, но мысленно продолжал их:

«Почему бы тебе не уйти в эту счастливую безвестность, отречьшись от стремления к идеалам и славе? Почему тебе завтра же не поискать такую работу, какой ты занимался последние недели, стать рабочим среди работающего люда, быть уверенным в своем скромном куске хлеба на каждый день и каждый вечер находить сладостное отдохновение на этой нежной груди, которая встречает тебя пылом юности? Простая работа, светлая любовь, уверенность в хлебе насущном, чего тебе еще надо? И, может быть, из этого в конце концов получится что-нибудь еще лучшее, если только можно вообще мечтать о лучшем?»

Когда мы наконец дошли до дверей Хульды, я был убежден, что на мою долю выпало настоящее счастье, и пообещал в следующую субботу вечером непременно быть у нее. Другие запоздалые жильцы дома помешали нам проститься более нежно, и, проронив несколько вежливых слов благодарности за проводы, она вместе с остальными проскользнула в дверь.

Луна уже бледнела на небосводе. Сильный ветер шевелил на затихших улицах тысячи флагов, которые колыхались и трепетали повсюду, и внизу, и на крышах домов и башен, словно их раскачивали невидимые руки. И во мне самом, во всех моих жилах шумела и клокотала теперь проснувшаяся страсть — дико и нежно, сладостно и дерзко; одновременно росла надежда, даже уверенность, что через несколько дней я овладею сокровищем потаенного счастья, о котором несколько часов назад не смел и мечтать.

Так я вернулся в свое опустевшее жилище, в котором не был с самого раннего утра.¹⁹¹

¹⁹¹ Так я вернулся в свое опустевшее жилище, в котором не был с самого раннего утра. — Эпизод с

Глава шестая
СНЫ О РОДИНЕ

Дом, где я жил, посетила смерть, я встретился с нею, как сказать, на лестнице. Вечером у хозяйки начались роды, и вот теперь она лежала бездыханная, в еле освещенной комнате, рядом с мертвым ребенком. Мне пришлось пройти мимо открытой двери, повивальная бабка и еще одна соседка занимались уборкой и успокаивали детей, которые, плача, вышли из материнской спальни. На стуле сидел только что возвратившийся муж — он с полудня отправился следом за праздничным шествием, и весь день его нигде не могли найти. У него было какое-то ремесло, которым он занимался вне дома, и все, что он зарабатывал, он тратил большей частью на себя самого. Покойная жена была единственной опорой и кормилицей всей семьи.

Теперь этот человек сидел молча, беспомощный и подавленный нахлынувшим на него горем; лицо его, еще недавно горевшее румянцем праздничной веселости, стало совершенно бледным, и, вместо того чтобы пойти проспать, он должен был бодрствовать, хотя и не мог ничем помочь. Боязливо посматривал он на завернутое в платок безымянное существо, ушедшее из жизни среди боли и страданий, так и не увидев божьего света. В ужасе он покачал головой и взглянул на мать, она лежала неподвижно и безучастно, как это приличествует почтенной покойнице, теперь ей ни до кого не было никакого дела — ни муж, ни дети, ни соседи больше не касались ее, даже судьба ребенка, лежавшего рядом с нею, не тревожила ее, хотя она только что пожертвовала ради него жизнью.

Дети, заброшенные и забытые во время ее агонии, проголодались и, горестно плача об умершей матери, кричали и просили есть; наконец отец поднялся и дрожащими руками начал повсюду шарить, как слепой, — не оставила ли покойница где-нибудь последней приготовленной ею пищи. Он невольно оглядывался на жену, точно ждал, что она ему крикнет: «Пойди туда, там стоит молоко, тут лежит хлеб, в мельнице есть немного кофе!» Но она молчала.

Потрясенный этим горестным зрелищем, я подошел ближе и спросил, не могу ли чем-нибудь помочь. Одна из женщин сказала, что врачи настаивали на немедленном перенесении тел в покойницкую; было бы хорошо, если бы оба трупа унесли сейчас, утром, но, кроме мужа, некому сходить туда, чтобы вызвать носильщиков. Тогда я предложил свои услуги и уже десять минут спустя стучался в жилище смерти. Сообщив сторожу необходимые сведения, я заглянул сквозь стеклянную дверь в зал, где, вытянувшись, лежали они — люди всех сословий и всех возрастов, словно приехавшие на рынок крестьяне, ожидавшие утра, или переселенцы, спящие на своих пожитках в ожидании парохода. Между ними я увидел и молодую девушку, лежавшую среди цветов. Ее едва расцветшая грудь отбрасывала две бледные тени на смертный саван; тут я вспомнил все то, что пережил в эту ночь, и все свои мысли о будущем и, полный сомнений и тревоги, страха и усталости, заторопился домой, чтобы найти покой в сне.

Но сон мой был беспокойным и не дал мне ожидаемого отдыха: то меня будили приготовления, вызванные печальным происшествием, то мои собственные сновидения тревожили меня в полузабытии, причудливо переплетая события жизни и приготовления к

Хульдой был введен автором во второй редакции «Зеленого Генриха». В письме к Вильгельму Петерсену от 21 апреля 1881 г. Келлер так мотивирует включение в роман этой сцены: «Небольшой эпизод с Хульдой в четвертой части отнюдь не заимствован из действительной жизни; я придумал его, чтобы лучше закончить описание дня приезда [невесты кронпринца], то есть историю с флашшоками. Таким образом я нашел недурной предлог для того, чтобы в скрытой форме обосновать переход [Генриха] в нижние слои беспросветного, неприятельного труда не только борьбою за кусок хлеба, но и надеждою на заманчивое чувственное счастье. То обстоятельство, что девушка получилась несколько кокетливее и изящнее, чем это обычно бывает в данных слоях общества, кажется мне вполне уместным для романа».

смертному пути, страстные любовные признания и похоронные песнопения, и я свободно вздохнул, лишь когда забрезжило утро и я мог наконец собраться с мыслями.

Но и проснувшись, я тут же снова запутался в противоречиях; когда я поднялся и, приложив руку ко лбу, вспомнил все, что произошло накануне и что я собирался предпринять в ближайшее время, я заколебался. Я спрашивал себя, не отступить ли мне от задуманного, не счесть ли первые тени смерти, упавшие на меня, неким предостережением свыше? Или все же я должен следовать за призраком любви, который манил меня, приняв облик трудолюбивой бедности? Искушение одержало верх: что может быть лучше, — так мне казалось, — чем обрести утешение, доверие, да и самого себя на нежной груди молодого существа? И чем серьезнее предостерегала меня совесть от того, чтобы в подобном положении заводить любовные связи и вступать в столь сомнительный союз, тем обильнее находились доводы, говорившие о необходимости сдержать свое слово, доказать честь свою и не отступать малодушно от принятого намерения.

Я решил даже отыскать свою привлекательную спутницу уже в следующий вечер, не дожидаясь конца недели, а перед этим хотел спросить старьевщика, не сможет ли он давать мне и дальше такую же непритязательную работу, какую я только что выполнил для него.

Глаза и губы мои алкали радостей жизни, и я ушел из жилища скорби, откуда уже несколько часов назад унесли тела матери и ее последнего ребенка, Я не обратил внимания на осиротевших малышей, сидевших, тесно прижавшись друг к другу, у открытой двери.

И вот, выйдя из дому и торопливо шагая по улице, я столкнулся с молодым человеком, который вел под руку хорошенькую женщину. Оба были одеты в добротное дорожное платье и, очевидно, искали какой-то дом, справляясь с адресом по бумажке. Лицо мужчины показалось мне знакомым, но я, занятый своими мыслями, в рассеянности прошел бы мимо, если б он, взглянув на меня внимательно, не воскликнул на родном моем наречии:

— Так вот же он! Скажите, ведь вы господин Генрих Лее, которого мы как раз ищем, не так ли?

Обрадовавшись и испугавшись одновременно, я узнал его: это был сосед-ремесленник из нашего города; несколько лет назад, примерно в одно время со мной, он отправился на чужбину, давно уже возвратился домой, стал мастером, унаследовал мастерскую отца и расширил ее, а теперь совершал свадебное путешествие. При этом, однако, он имел в виду и некоторые другие, чисто деловые цели, так как его жена, которую он вел под руку, была из зажиточной семьи и принесла ему в приданое средства и возможности для новых выгодных дел.

Он передал мне привет от моей матери, которую он специально навестил перед отъездом. При его посещении она была вынуждена с некоторым смущением признаться, что даже не знает точно, где я сейчас нахожусь и живу ли еще на старом месте; тем более она стремилась получить весть обо мне. Я тоже чувствовал себя смущенным и стеснялся подробно расспрашивать о матушке, так как этим я выдавал себя, показывая, что ничего о ней не знаю; но долго я сдерживаться не мог и стал расспрашивать обо всем, что меня тревожило.

— Ну, мы еще обо всем поговорим, — сказал мой земляк, разглядывая меня внимательнее, — но вы порядочно-таки изменились, не правда ли, жена? Ты ведь тоже знала раньше господина Генриха?

— Мне кажется, я вспоминаю его, хотя я тогда была еще школьницей, — отвечала она, но мне, может быть, потому, что теперь она была взрослой женщиной, лицо ее казалось совершенно незнакомым. Между тем я чувствовал, что взгляд ее скользит по моему невзрачному костюму, который не был ни новым, ни хорошо вычищенным; впервые я ощутил, насколько унижительно быть плохо одетым, и еще более смутился, когда мой земляк предложил подняться ко мне. К счастью, смерть моей соседки послужила мне предлогом отклонить посещение; я сказал, что в доме у меня сейчас очень тяжелая обстановка и что сам я только что ушел по этой же причине.

— Так разрешите пригласить вас провести день с нами? Мы приехали еще вчера; но я

сразу занялся делами. Завтра, рано утром, мы едем дальше, так что вы не потеряете с нами много времени, — мы не хотели бы мешать вашей работе.

Добрый мой земляк и не подозревал, как больно меня задевают его слова; я постарался заверить его, что это не важно и что я не отличаюсь таким уж чрезмерным усердием. После этого мы вместе отправились на прогулку, и, походив с путешествующими супругами несколько часов по городу, я проводил их в скромную гостиницу, где они остановились, и разделил с ними обед. Давно я не слыхал родного говора и не беседовал о вещах, близких мне с детства; бутылка доброго рейнвейна распространяла свой аромат, и с ее помощью мне еще легче было забыть настоящее. Спокойно-дружелюбное поведение молодой четы, без лишних навязчивых нежностей, которыми обычно отличаются молодожены, усиливало приятное чувство уюта — оно согревало меня, словно мимолетный солнечный луч, прорвавшийся сквозь угрюмые, темные тучи.

Когда мой земляк заказал вторую бутылку и прочие постояльцы покинули обеденный стол, молодая женщина ушла к себе в комнату, сказав, что хочет немного отдохнуть. Оставшись вдвоем, мы еще больше разговорились, но вдруг добрый сосед перебил сам себя и, подыскивая наиболее доброжелательные выражения, начал так:

— Не стану скрывать от вас, господин Лее, что ваша мать очень нуждается в вашем присутствии, и я бы советовал вам вернуться домой как можно скорее; эта самоотверженная женщина пытается скрыть свое глубокое горе и тоску по сыну, но мы хорошо видим, как она тает с каждым днем и ни о чем другом не думает. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что ваши дела не столь блестящи, и полагаю, что вы находитесь на той ступени, когда господам художникам приходится пройти через многие трудности, прежде чем они достигнут победы в жизненной борьбе и приобретут известное положение. Но всему есть границы! Вам следует сделать перерыв в ваших занятиях и навестить родные места, даже если вы и вернетесь туда не победителем. Бывает так, что нужно посмотреть на вещи с другой стороны, прежде чем заново взяться за них.

Он поднял стакан и чокнулся со мной за благо родины и здоровье моей матушки, потом немного подумал и сказал:

— Нескромные и глупые сплетницы нашего города, а также и некоторые мужчины такого же склада, поймав какие-то слухи, будто ваша матушка послала вам некоторую сумму и тем значительно сократила собственные средства к жизни, вздумали резко осуждать ее за ее спиной и даже говорить ей в лицо, что она неправильно поступила и не только оказала этим плохую услугу своему сыну, но и надорвала собственные силы. Всякий, кто знает эту женщину, понимает, что это не так; но пустая болтовня до того запугала ее, что она почти ни с кем больше не встречается и живет в полном одиночестве, забывая думать о себе.

Целыми днями она сидит у окна и прядет, она прядет год за годом, как будто ей предстоит обеспечить приданым семь дочерей, и все это, как она сама объясняет, для того, чтобы за это время что-нибудь накопить и чтобы у сына и всей его семьи было, по крайней мере, достаточно холста на всю жизнь. Кажется, что всем этим полотном, которое она каждый год отдает ткать, госпожа Лее надеется приманить ваше счастье, словно в расставленные сети, чтобы обеспечить вам большое, крепкое хозяйство, — подобно тому как ученого или писателя стопа белой бумаги побуждает написать на ней хорошее произведение или как художника натянутый холст привлекает написать на нем картину.

При этом сравнении славного оратора я не мог удержаться от горькой усмешки. Видно, ему показалось, что этим я подтверждаю правильность его предположений, и он продолжал:

— Иногда она, отдыхая, опускает голову на руки и глядит, не отрываясь, вверх крыш, на дальние поля или на облака; когда же темнеет, она останавливает прялку и сидит в потемках, не зажигая света, а когда окно освещает луна или луч света падает с улицы, то всегда, как ни посмотришь, видна ее неподвижная фигура, и она все так же сидит и смотрит вдаль.

А как печально наблюдать, когда она проветривает постели! Вместо того чтобы с помощью соседей вынести их на площадь, где большой колодец, она втаскивает их на

высокую темную крышу вашего дома, раскладывает на солнечной стороне и расхаживает по покато́й крыше босиком, по самому краю, выколачивая подушки и перины, переворачивает их, выбивает и хлопочет одна-одинешенька там, под самым небом, да так отважно и смело, что за нее вчуже становится страшно, в особенности, когда она, прервав работу, прикрывает глаза рукой и, стоя на солнце, вглядывается в даль. Однажды я, стоя на дворе с моими подмастерьями, наблюдал за нею и не смог больше выдержать; я отправился к ней, влез по лестнице на чердак и, стоя у слухового окна, произнес целую речь, пытаюсь объяснить ей опасность ее затеи. Но она лишь улыбнулась в ответ и поблагодарила меня за добрый совет. Поэтому я держусь того мнения, что вам надо поехать домой, и чем скорее, тем лучше! Поедемте-ка с нами!

Но я покачал головой; я никак не мог решиться признать, что потерпел крушение, и возвратиться ни с чем. Я был намерен сам справиться со своими неудачами и, покорив судьбу, так или иначе вернуться в положенный срок. Я не пытался ни высказать слишком большую самоуверенность, ни открыть свое настоящее положение, но остаток дня занял неопределенными речами, пока уже поздним вечером не простился со своими земляками, которые хотели выехать рано утром.

И все же образ матери, глядящей вдаль, вызвал во мне такое сильное чувство тоски по дому, какое я до сею времени испытывал лишь во сне. С тех пор как я в течение дня не занимал свою фантазию и родственную ей способность творить формы и образы, ее покорные слуги оживали ночью и, действуя самостоятельно, создавали целую вереницу снов, внешне разумных и последовательных, поражающих яркими красками и причудливыми образами. Совершенно так, как мне некогда предсказывал мой сумасшедший и многоопытный учитель живописи, я теперь видел во сне то мой родной город, то деревню, знакомую, но измененную и преображенную, причем я обычно не мог туда попасть, а если я наконец оказывался там, то меня ожидало мгновенное безрадостное пробуждение. Я путешествовал по прекраснейшим местам моей родины, где никогда не бывал, видел горы, долины и реки с неслыханными и все же знакомыми названиями, которые звучали как музыка в моих ушах и все же чем-то казались смешными.

За этими разговорами с моим земляком у меня совершенно вылетели из головы вчерашняя девушка и сегодняшние утренние планы; усталый, я лег спать, и сразу же передо мной раскрылась беспокойная жизнь моих сновидений. К городу, где находился мой отчий дом, я приближался странными путями — по берегу широких потоков, в которых на каждой волне высился розовый куст, так что вода едва просвечивала сквозь этот плывущий лес роз. На берегу пахал крестьянин, причем плуг был из чистого золота, в него были впряжены белые как снег во́лы, и под копытами их расцветали большие васильки. Борозда наполнялась золотым зерном, и крестьянин, ведя одной рукой плуг, другой черпал зерна и подбрасывал их высоко в воздух, так что они осыпали меня золотым дождем. Я ловил их своей шляпой, сколько мог поймать, и заметил, к своему большому удовольствию, что они превращались в большие золотые монеты, на которых был вычеканен старый швейцарец с длинной бородой и двусторонним мечом. Я усердно их пересчитывал, не мог сосчитать и все же наполнил ими все свои карманы; те, которые уже не помещались, я снова подбрасывал в воздух. Затем этот золотой дождь превратился в чудесного золотисто-рыжего коня; он со ржанием бил копытом землю, и оттуда буйным потоком вырывался прекраснейший овес, от которого, однако, конь с пренебрежением отворачивался. Каждое зернышко овса было сладкой миндалинкой и вместе с ягодкой изюма и блестящим пфеннигом было завернуто в красный шелк, перевязанный кусочком свиной щетины, который приятно щекотал коня, когда он валялся в овсе, вскрикивая: «Овес колется!»

Я поймал золотисто-рыжего коня, вскочил на него, — благо он был уже оседлан, — и поскакал по берегу, глядя по сторонам; я увидел, что крестьянин дошел до плывущих роз и погрузился в их чашу вместе со своей упряжкой. Поток роз пришел к концу, они сбились в густые купы и уплыли вдаль, окрашивая горизонт в красные тона; река казалась теперь непрерывно бегущей лентой синеющей стали. Тем временем плуг земледельца превратился в

корабль, и он поплыл дальше, управляя золотым лемехом, словно штурвалом, и пел: «Рдение горных вершин опустилось с Альп и обходит родную страну!» После этого он проделал дыру в днище корабля, вставил в это отверстие большую трубу и стал сильно дуть в нее; она зазвучала мощно, как охотничий рог, и из нее вырвалась сверкающая струя воды, забившая на плывущем корабле фонтаном волшебной красоты. Крестьянин взял эту струю, уселся на борт корабля и стал ковать у себя на коленях правым кулаком огромный меч, так что только искры летели. Когда меч был готов, он испробовал его острие на волоске, вырванном из бороды, и вежливо протянул его сам себе, превратившись внезапно в Вильгельма Телля, которого однажды, в дни моей ранней юности, изображал дородный трактирщик во время народного праздника. Он взял меч, взмахнул им и запел мощным голосом:

Хейо, хейо, я тут опять,
Стрелу готовлюсь я спускать,
Хейо, хейо, идут года,
Но Теллю весело всегда.

Куда смотрите вы? Он здесь,
На солнце растворился весь,
Его найти не так легко,
Хейо, он пляшет высоко!

Затем толстяк Телль отхватил мечом порядочный ломоть корабельной обшивки, которая, оказывается, была жирным окороком, и торжественно отправился в каюту завтракать.

Я же все дальше скакал на золотисто-рыжем коне и неожиданно очутился посреди деревни, где жил мой дядя. Я едва узнал ее, — почти все дома были построены заново. Жители деревни сидели за светлыми окнами вокруг столов и ели; никто не глядел на пустынную улицу. Я был очень рад этому, так как только сейчас заметил, что на нарядном своем коне сидел в старой потрепанной одежде. Стараясь и далее оставаться незаметным, я поспешил к дому дяди, но никак не мог его отыскать. Наконец я узнал этот дом, весь заросший плющом и, кроме того, заслоненный старым орешником, так что не видно было ни камней, ни черепицы; лишь среди зелени то там, то тут поблескивало окошко. Я видел, как что-то двигалось за стеклом, но ничего не мог разобрать. Сад представлял собой чащу разросшихся полевых цветов, среди которых высоко раскачивались гигантские садовые и огородные растения, превратившиеся в деревья: розмарин и зонтики укропа, подсолнечники, тыквы и смородина. Рои одичавших пчел гудели в цветочных зарослях, а в пчелином улье лежало старое любовное письмо, занесенное туда давным-давно ветром, открытое, истрепавшееся от времени, и, несмотря на то, что оно не было запечатано, его так никто и не нашел за все эти годы. Я взял письмо и хотел положить его в карман, но у меня его вырвали из рук, а когда я оглянулся, Юдифь, смеясь, проскользнула за улей, поцеловав меня сквозь воздух, но так, что я губами почувствовал ее губы. Впрочем, поцелуй ее был кусочком яблочного пирога, который я съел с жадностью. Но так как он не утолил голода, который я чувствовал во сне, я понял, что, очевидно, мне все это снится и что этот пирог, вероятно, начинен теми яблоками, которые мы когда-то, целуясь, ели с Юдифью. Поэтому я счел более благоразумным войти в дом, где стол уже должен был быть накрыт. Я распаковал тяжелый портплед, очутившийся на лошади, когда я привязывал ее к полуразвалившейся изгороди сада. Из него посыпались чудесная одежда и тонкие новые рубашки, украшенные спереди красивой вышивкой из винограда и ландышей. Но когда я стал разворачивать парадную рубашку, из одной стало две, из двух — четыре, из четырех — восемь, словом, передо мной расстелилось великолепное белье, которое я напрасно пытался всунуть обратно в портплед. Рубашек становилось все больше и больше, и прочие предметы туалета покрывали всю землю вокруг меня; я испытывал великий страх перед тем, что мои родственники застанут

меня за таким странным занятием. В отчаянии я схватил наконец одну из рубашек, чтобы надеть ее, и стыдливо спрятался за ореховое дерево; но с этого места меня могли увидеть в доме, и я в смущении спрятался за другое; и так я переходил от одного дерева к другому, пока не подошел еще ближе к дому, и, спрятавшись среди плюща, торопясь и смущаясь, переделался в красивое платье, но все никак не мог справиться с ним, и когда наконец был готов, то опять очутился в большом затруднении, не зная, куда девать жалкий узелок со своей старой одеждой. Куда я его ни носил, повсюду из него вываливалась то одна, то другая дырявая вещь; наконец мне с трудом удалось забросить узел в ручей, но он никак не хотел уплыть подальше, а преспокойно кружился все на одном и том же месте. Я нашел трухлявую жердь, подпиравшую когда-то бобы, и мучился, стараясь оттолкнуть эти заколдованные тряпки на середину ручья, но жердь все ломалась и ломалась, пока в моих руках не остался один маленький кончик.

Тут щеки моей коснулось легкое дуновение, передо мной оказалась Анна, которая повела меня в дом. Рука об руку с ней я поднялся по лестнице и вошел в комнату, где собрались дядя, тетя и все мои двоюродные братья и сестры. Облегченно вздыхая, я огляделся; в знакомой комнате все было по-праздничному прибрано и так солнечно, что я никак не мог понять, как пробивается свет сквозь заросли густого плюща. Дядя и тетя были еще в расцвете сил, сестрицы и братья краше, чем когда-либо, старик учитель также был еще видным мужчиной, веселым, как юноша; Анну же я увидел девочкой четырнадцати лет, в платье с красными цветочками и хорошеньким сборчатым воротничком.

Но вот что было самым странным: все, не исключая Анны, держали в руках длинные глиняные трубки и курили какой-то благоухающий табак, и я делал то же самое. При этом они, как умершие, так и живые, ни минуты не стояли спокойно, но беспрестанно двигались по комнате взад и вперед, туда и сюда, с неизменно приветливыми, радостными лицами; тут же между ними в мирном согласии бродили охотничьи собаки, козуля, ручная куница, соколы и голуби, только звери бегали во встречном направлении, так что их пути перекрещивались и представляли собою странное сплетение.

Массивный стол орехового дерева на витых ножках был покрыт белой камчатной скатертью и уставлен дымящимися блюдами свадебного пира. У меня слюнки потекли, и я обратился к старику дяде со словами: «Да вам, видно, хорошо живется?» — на что он ответил: «Конечно!» — и все повторили: «Конечно!» — приятными звучными голосами. Вдруг дядя велел садиться за стол; все составили свои трубки пирамидками на полу, по три вместе, как солдаты ставят ружья. После того они снова как будто забыли, что хотели есть, потому что, к моему огорчению, опять стали ходить взад и вперед и тихо петь:

Мы грезим, мы грезим,
Мы грезим и медлим,
Спеша, стоим на месте,
Стоим, шагая вместе,
Мы тут и все же там,
Мы бродим по пятам.
Кто скажет, что плохи
Прекрасные стихи?

Халло! Халло!
Слава всем на земле,¹⁹² кто гуляет в зеленом обличье,
И лесам, и полям, и охотникам смелым, и дичи.

¹⁹² *Слава всем на земле...* и т. д. — Слова из стихотворения Вильгельма Мюллера «Радость охотника» («Jägers Lust»).

И мужчины и женщины пели с трогательным единодушием и удовольствием, а «халло!» мой дядя подхватил таким мощным голосом, что весь хор запел еще громче, но потом сразу потускнел, побледнел и как бы растворился в неясном тумане, в то время как я горько плакал. Я проснулся в слезах и увидел, что подушка моя совсем мокрая. С трудом я пришел в себя, и первое, о чем мне вспомнилось, был хорошо накрытый стол; потому что после излиятий моего земляка я накануне вечером ничего не мог есть и только во сне стал снова испытывать голод. Когда я подумал о том, с какой жадностью, несмотря на прикрасы необузданной фантазии, я вынужден и во сне грезить только о деньгах и богатстве, об одежде и еде, у меня опять хлынули слезы унижения, и я плакал до тех пор, пока снова не заснул.

Глава седьмая **ПРОДОЛЖЕНИЕ СНОВ**

Я очутился в большом лесу, на необыкновенно узкой дощатой перекладине, которая висела высоко над землей, среди ветвей и верхушек деревьев, — нечто вроде мостков, бесконечно вьющихся поверху, в то время как земля подо мной, куда более приспособленная для хождения, почему-то, как это часто бывает во сне, казалась далекой и недоступной. Но было очень увлекательно смотреть сверху на лесные поляны, сплошь покрытые зеленым мхом, погруженные в полумрак. Во мху росло много цветов на высоком колеблющемся стебле, с чашечкой в виде звезды, и они все время поворачивались лицом к проходившему наверху человеку; у каждого цветка стоял гномик или маленькая лесная фея и освещали цветок золотым фонариком со светящимся драгоценным камнем внутри, так что каждый цветок сверкал из глубины, как синяя или красная звездочка, и все эти цветы соединялись в чудесные созвездия и поворачивались то быстрее, то медленнее, а тем временем карлики ходили вокруг них со своими фонариками, заботливо направляя луч света на чашечку цветка. С высоты своих деревянных мостков и перекладин я наблюдал это светящееся кружение в глубине, подобное подземному небосводу, только он был зеленого цвета и звезды на нем сияли всеми красками радуги.

Восхищенный, я пошел дальше по висячим мосткам, смело пробиваясь сквозь верхушки дубов и буков и понимая, что по такой нарядной земле не должна, разумеется, ступать нога человека. Иногда мне попадались на пути группы сосен, они были более редкими; мне очень нравилось смотреть на красноватые, накаленные солнцем, сильно пахнущие ветви хвойных верхушек, и нравилось стоять под ними, — они были так искусно слажены, обточены и, казалось, украшены диковинными фигурами, хотя это были обыкновенные сучковатые ветви. Иногда мостки уводили меня в сторону от деревьев, под открытое небо, где светило солнце, и я оглядывался, держась за шаткие перила, чтобы увидеть, куда же меня ведет мой путь; но я ничего не видел, кроме бесконечного, насколько хватал глаз, моря зеленых верхушек, где сверкали горячие лучи летнего солнца и вокруг носилось множество птиц: дикие голуби, сойки, лесные вороны, дятлы и коршуны. Удивительнее всего было то, что можно было ясно различить и окраску и очертания самой далекой птицы. Когда я вдоволь налюбовался ими, я снова глянул в темную глубину, где заметил расселину среди скал, — только ее освещало солнце. На ее глубоком дне виднелся лужок у прозрачного ручья; посреди него на своем маленьком соломенном стуле сидела моя матушка в коричневом платье отшельницы, седая как лунь. Она была старенькая и сгорбленная, но несмотря на далекое расстояние, я ясно различал каждую черточку ее лица. Держа в руке зеленый прутик, она стерегла маленькую стаю серебристых фазанов, и когда один из них хотел было убежать, она легонько ударила его по крылу, отчего несколько сверкающих перьев поднялось кверху, играя на солнце. У ручья стояла ее прялка, к колесу которой были приделаны лопаточки; собственно говоря, это было маленькое мельничное колесо, и оно вращалось с быстротой молнии. Она прядла одной рукой блестящую нить, которая не наматывалась на шпульку, а ложилась крест-накрест на косогоре и сразу же

принимала вид больших кусков ослепительного полотна. И оно поднималось все выше и выше; вдруг я почувствовал огромную тяжесть на плечах и заметил, что несу забытый портплед, который битком набит тонкими рубашками. Теперь я, правда, понял, откуда они взялись. С трудом тащась дальше, я увидел, что фазаны были чудесными перинами, которые мать усердно проветривала на солнце и выколачивала. Потом она деловито собрала их и снесла одну за другой внутрь горы. Когда она снова вышла, то стала осматриваться, прикрыв рукой глаза, и тихо напевала, но я ясно слышал каждое слово:

Сынок, сынок,¹⁹³
Я сбилась с ног!
В лесу, скорбя,
Я жду тебя!

Тут она увидела меня в вышине, как бы парящего в воздухе, — я с тоскою глядел на нее. Она издала радостный возглас, скользнула, подобно духу, не касаясь земли и скал, и исчезла вдаль, тогда как я, тщетно призывая ее, спешил за нею следом, и мостки подо мной гнулись и трещали, а верхушки деревьев качались и шумели над моей головой.

И вдруг лес кончился, и я очутился на горе, которая высится против моего родного города. Но что я увидел! Река была вдесятеро шире, чем обычно, и она сверкала как зеркало; все дома были не ниже соборной церкви, и все они были красивы, как в сказке, и сверкали в лучах солнца, и каждое окно было увито множеством цветов, которые свешивались со стен, украшенных статуями. Высокие липы уходили своими вершинами в темно-синее прозрачное небо, которое казалось одним большим самоцветом, и гигантские верхушки деревьев качались взад и вперед, как будто хотели еще ровнее отполировать его, и, наконец, они вырастали в прозрачный синий хрусталь.

Среди зеленой листвы огромных, как горы, лип вздымались башни собора, а массивный каменный корпус прятался под холмами миллионов сердцевидных листьев липы; то там, то сям поблескивало пурпурно-красное или синее оконное стекло, тронутое затерявшимся солнечным лучом. Золотые короны, которыми были увенчаны башни, сверкали на фоне неба, и множество юных девушек высовывали курчавые головки сквозь готические украшения, глядя на светлый мир. И хотя мне был ясно виден каждый липовый листок, я все же не мог рассмотреть девушек и поторопился перебраться через реку, — мне очень хотелось узнать, кто были все эти мои соотечественницы.

Как раз вовремя рядом со мной появился золотисто-рыжий конь, я положил позади седла свой багаж и поскакал по крутому склону, спускавшемуся уступами к реке. Но каждый уступ представлял собою отшлифованный горный хрусталь, внутри которого лежала и, казалось, спала крохотная женщина неопишущей прелести. В то время как мой золотистый конь спускался вниз по этой головоломной дороге и каждую минуту ему грозила опасность низвергнуться вместе со всадником в бездну, я перегибался с седла то направо, то налево, пытаясь нетерпеливым взглядом проникнуть в глубь хрустальных ступеней.

— Вот тебе и на! — воскликнул я, исполненный сладострастного томления. — Что же это за прелестные существа в заколдованной лестнице?

Я нисколько не удивился, когда конь мой повернул ко мне голову и заговорил, отвечая

193

Сынок, сынок,
Я сбилась с ног!..

(Mein Sohn, mein Sohn,
O schöner Ton!)

Широко распространенная песня, являющаяся переложением стихотворения Леберехта Древета «Поутру, когда поют петухи» («Frühmorgens, wenn die Hähne krähn»).

на мой вопрос:

— Разве ты не видишь? Это добрые намерения и помыслы, которые хранит в себе родная земля, и их может извлечь из нее лишь тот, кто остается на родине и честно зарабатывает себе на жизнь.

— Черт возьми! — вскричал я. — Завтра же я приду сюда и расколю несколько ступенек!

И я не мог отвести глаз от длинной лестницы, которая позади меня блестящими уступами подымалась в гору. Но конь мой сказал, что это лишь верхний слой и что здесь вся почва полна подобными вещами. Наконец мы достигли моста. Но это был не наш старый деревянный мост, а мраморный дворец, — бесконечная колоннада, вздымавшаяся двумя ярусами, образовала невиданного великолепия мост, который вел через реку. «Как все, однако, меняется и движется вперед, стоит лишь на несколько лет уехать!» — подумал я, неторопливо въезжая на мост и с любопытством оглядывая его высокую галерею. Снаружи это сооружение было облицовано белым, красноватым и черным мрамором, но внутри стены его были покрыты бесчисленными картинами, изображавшими всю историю страны и все подвиги ее народа. Все умершие, вплоть до последнего, только что отошедшего человека, были изображены на стенах, и казалось, что они представляют собою одно целое с живыми, проходившими по этому мосту; некоторые из написанных фигур даже сходили со стен и смешивались с толпой прохожих, а кое-кто из живых переходил к написанным на стенах и там оставался. В обеих группах были воины и женщины, священники и миряне, господа и мужики, дворяне и бродяги; вход и выход с моста был открыт и не охранялся никем, и так как по нему безостановочно двигались вереницы людей и непрерывно происходил обмен между жизнью фресок и настоящей жизнью, то казалось, что на этом чудесно животворном мосту прошлое и будущее сливались в одно целое.

— Но все же мне хотелось бы знать, что это за такая веселая штука! — пробормотал я про себя, и тут же мой конь произнес в ответ:

— Это называют тождеством нации!

— О, да ты ученый конь! — воскликнул я. — Тебе действительно овес ударил в голову! Откуда у тебя подобные выражения?

— Вспомни, — ответил мне золотистый конь, — на ком ты сидишь! Разве я не возник из золота? Золото — это богатство, а богатство — это прозорливость.

При этих словах я сразу заметил, что мой портплед вместо платья переполнился до краев золотыми монетами. Я не стал задумываться над тем, откуда они так неожиданно снова появились, но почувствовал, что в высшей степени доволен, владея ими; и хотя я не совсем был согласен с мудрым конем, что богатство — это прозорливость, сам я все же, неожиданно для себя самого, стал настолько прозорливым, что, по крайней мере, ничего не ответил и спокойно поехал дальше.

— Скажи мне теперь, о мудрый Соломон, — начал я немного спустя, — называется ли тождеством этот мост, или таков народ, идущий по нему? Кого из них ты так называешь?

— Оба они вместе представляют собою тождество, иначе бы об этом не было речи!

— Нации?

— Да, нации, само собой разумеется!

— Значит, мост тоже нация?

— Ах, с каких это пор, — с досадой вскричал мой конь, — с каких пор мост, как бы он ни был прекрасен, может считаться нацией? Только люди могут составлять нацию, значит, имеются в виду изображенные здесь люди.

— Да ведь ты же сам только что сказал, что нация и этот мост вместе представляют тождество!

— Я это сказал и остаюсь при своем мнении!

— Как же это понять?

— Знай, — ответил мой конь рассудительно, расставив все четыре ноги, — знай: тот, кто сможет ответить на этот щекотливый вопрос и разрешит это противоречие, тот может

считать себя учителем и сам развивать это тождество дальше. Если б я мог гладко сформулировать правильный ответ, который вертится у меня на языке, то я не был бы конем и меня давно изобразили бы на этой стене. Впрочем, припомни, что я лишь приснившийся тебе конь, и, следовательно, весь наш разговор — всего лишь вымысел, порождение твоего собственного мозга. Поэтому ты сам можешь ответить себе на дальнейшие вопросы, так сказать, из первых рук!

— Ах ты, упрямая бестия! — крикнул я и стиснул коня пятками. — Тем более ты, неблагодарная кляча, обязана повиноваться мне во всем, раз я создал тебя из моей собственной плоти и крови и кормлю и пою тебя на протяжении всего этого сна!

— Пожалуй, ты прав, — невозмутимо сказал конь, — впрочем, весь этот разговор, да и вообще все наше ценное знакомство, длится не больше трех секунд и стоит едва одного вздоха твоего высокочтимого существа!

— Как, трех секунд? Разве не прошел, по крайней мере, час, пока мы едем по этому бесконечному мосту?

— Всего три секунды длится топот копыт ночного всадника, вызвавший в твоем мозгу мое появление; я исчезну вместе с ним, и ты снова пойдешь пешком!

— Ради бога, не теряй больше времени, иначе ты исчезнешь раньше, чем я переберусь по этому прекрасному мосту на тот берег!

— Ну, нечего торопиться! Все, что нам суждено пережить и узнать в эту минуту, вполне уложится в размеренную поступь коня, и когда правоверный псалмопевец восклицает перед лицом господина бога своего: «Тысячелетия для тебя — лишь единый миг!» — то можно повторить то же изречение, читая его наоборот, и оно также будет истиной: одно мгновение для меня, словно тысяча лет! Мы могли бы еще в тысячу раз больше увидеть и услышать в течение этого удара копытом, если бы мы сами были способны на это. Никакая спешка и никакая медлительность тут не помогут, все исполнится в свое время, и мы можем не торопиться с нашим сном, он останется тем, что есть — не более и не менее того.

Я перестал обращать внимание на слова коня, так как заметил, что со всех сторон меня приветствовали знаками почтения; то один, то другой прохожий быстрым жестом ощупывал мой туго набитый мешок, примерно так, как делает это мясник, пробуя скотину на скотном дворе или на рынке, чтобы узнать, жирная ли она, и стараясь ущипнуть ее в бедро.

— Что за странные манеры! — сказал я наконец. — Мне казалось, меня никто здесь не знает!

— Они не тебя приветствуют, — пояснил мне рыжий конь, — но твой дорожный мешок, твою набитую золотом кошелек, которая давит мне на хребет!

— Вот как! Значит, это и есть разгадка твоей таинственной проблемы тождества — эти золотые монеты? Но ведь и ты из того же материала, однако тебя никто не ощупывает!

— Гм, — произнес мой скакун, — это нельзя понимать так буквально. Во всяком случае, люди стремятся утвердить свое тождество, которое в этом случае они называют независимостью, защищая его против всякого нападения. Но они хорошо понимают, что боеспособный солдат должен быть сытым и, если этот солдат идет в бой, желудок его должен быть туго набит. Но так как этого можно достичь, лишь имея достаточно звонкой монеты в обеспечение расходов, то они смотрят на всякого, обладающего ею как на вооруженного защитника и поборника тождества и потому обращают на него внимание. Правда, нередко случается, что они свои личные интересы принимают за общественные, так как вообще, проявляя энергию на любом поприще, нелегко соблюсти меру, и потому то один, то другой напоминает жадного осла. Пусть они делают, что хотят, но тебе я советую пустить свой капитал в обращение и приумножить его. Пусть люди в общем пребывают в заблуждении, всякий волен найти свою собственную истину и сделать свое собственное положение приятным.

Я запустил руку в мешок и подбросил в воздух несколько пригоршней золотых монет, — их тотчас же схватили сотни протянутых рук и бросили дальше, причем каждый предварительно рассмотрел золото, потер его о свои собственные золотые монеты, и от этого

количество золотых удвоилось. Вскоре все мои монеты вернулись ко мне в обществе других, им подобных, и повисли на лошади; пошел настоящий золотой дождь, оседая слитками на всех ее четырех ногах, подобно тому как цветочная пыльца оседает на лапках пчелы, образуя нечто вроде штанишек, так что конь мой не мог больше сдвинуться с места. Но у него выросли большие крылья, в конце концов он стал походить на гигантскую пчелу и, поднявшись, пролетел над головами собравшегося народа. Теперь мы с ним обрушивали вниз такой ливень золота, что за нами бежала огромная толпа жаждущих обогащения. Старые и молодые, женщины и мужчины спотыкались друг о друга, чтобы подобрать золото. Воры бросались в эту толпу вместе с конвоирующими их стражниками; мальчишки, служившие рассыльными в пекарнях, бросали в реку хлеба и наполняли свои корзины золотом; священники, шедшие в церковь, чтобы произносить проповедь, подтыкали полы своей рясы, как подтыкает юбки крестьянка, собирающая бобы, и сыпали туда золото; члены городского магистрата, идя из ратуши, подкрадывались и стыдливо совали в карман откатившиеся в сторонку монеты; даже из написанного на стене судилища убежали заседавшие за столом мертвые судьи, — они оставили подсудимого и спустились, чтобы следовать за мною; наконец спрыгнул со стены и преступник, тоже требуя золота.

Совершенно возгордясь сознанием своего богатства, я в конце концов выскользнул из колоннады моста и гордо вознесся на золотой лошади-пчеле в воздух, кружась над башнями собора, подобно соколу, то спускаясь вниз, то снова поднимаясь к небу, беспредельно наслаждаясь при этом радостью полета и одновременно ездой верхом, как это бывает лишь в детских снах. Сотни белых рук тянулись из башен к моему золоту, глаза и щеки расцветали, подобно незабудкам и розам в лучах солнца.

— Теперь только выбирай, — сказал мне конь, — здесь девушки на выданье со всей страны! Самое лучшее — примерная жена!

Я действительно самодовольно и жадно заглядывался на них и уже намеревался положить предел своим блужданиям и пережитым горестям приличной свадьбой, как вдруг раздался резкий голос:

— Неужели не найдется никого, кто бы достал из воздуха этого развратителя всей страны?

— Я уже тут! — ответил толстый Вильгельм Телль; он сидел, спрятавшись в ветвях липы, прицелился из лука и пустил в меня стрелу. Подобно древнему Икару¹⁹⁴, я вместе со своим золотым конем с треском рухнул на церковную крышу и в жалком виде скатился оттуда на мостовую, отчего я проснулся, чувствуя себя разбитым, как если бы на самом деле откуда-то свалился. Голова у меня трещала, как в жару, пока я с трудом вспоминал все виденное во сне. Этот перевернутый мир, где по ночам бродил мой праздный мозг, придумывая по где-то прочитанным образцам связанные сказки и книжные аллегории, полные школьных истин и сатирических намеков, — все это уже начало не на шутку тревожить меня, как предвестие тяжелой болезни. Меня даже начал мучить, подобно призраку, страх, что таким путем подчиненные мне органы могут в конце концов выставить меня, то есть мой разум, окончательно за дверь и начать самостоятельную жизнь, где все пойдет вверх дном.

Продолжая думать над этими вещами, я понял, какая для меня опасность заключается в том, чтобы, противно своей природе и привычкам, заниматься совершенно бездуховным делом, стремясь таким образом себя прокормить, и все же я не знал, как выйти из положения. С этими мыслями я опять заснул, и сны снова одолели меня; но из них исчезла прежняя жуткая аллегоричность и остался лишь никаким законам не подчиняющийся хаос.

Теперь я гнал своего еле живого, нагруженного тяжелыми мешками коня вверх по гористой дороге, к дому моей матушки; я добирался мучительно долго, целую вечность и

¹⁹⁴ *Икар* — в греческой мифологии юноша, сын зодчего Дедала. Желая освободиться от власти царя Миноса, Икар вместе с отцом поднялся в воздух на крыльях, скрепленных воском. Взлетев слишком высоко, он приблизился к солнцу, растопившему воск, и, упав в море, погиб.

наконец достиг своей цели. Тут лошадь свалилась с ног и превратилась в самые прекрасные и драгоценные диковинки и безделушки, и много еще таких же вещей посыпалось из мешков, — вещей, которые обычно привозят в подарок из дальних странствий. А я стоял в томительном смущении возле этой горы драгоценностей, нагроможденной прямо посреди улицы, и тщетно пытался найти звонок или дверную ручку. Беспомощно и тревожно охраняя свои сокровища, я поднял глаза на дом и только теперь заметил, какой он был странный на вид. Он походил на старинный, искусной резьбы шкаф из потемневшего орехового дерева, с бесчисленными карнизами, филенками, кассетами и полочками, очень тонкой работы, отполированный до зеркального блеска. Это была, собственно говоря, вывернутая наружу внутренность дома. На карнизах и полочках стояли старинные серебряные жбаны и кубки, изделия из фарфора и мраморные статуэтки. Хрустальные оконные стекла сверкали таинственным блеском на темном фоне среди узорчатых дверей комнат и шкафов, и в замках виднелись блестящие стальные ключи. А над всем этим удивительным фасадом расстилалось темно-синее небо, и полуночное солнце отражалось в мрачной пышности орехового дерева, в серебре жбанов и хрустале окон.

Наконец я заметил, что на галереи ведут украшенные богатой резьбой лестницы, и я поднялся по ступеням, ища входа. Но, открыв одну из дверей, я увидел перед собой лишь помещение, занятое вещами различного рода. То это была библиотека, и переплетенные в кожу тома блестели позолотой; то мне попадались груды всевозможной утвари и посуды — все, чего только можно желать для жизненных удобств; там высились горы тонкого полотна, или передо мной раскрывался шкаф, сотни ящичков которого были наполнены душистыми пряностями. Одну за другой я открывал и закрывал эти двери, довольный виденным и все же испытывая страх, так как нигде не находил матушки, которая приняла бы меня посреди этого необыкновенного домашнего уюта. В поисках ее я подошел к одному из окон и поднес руку к стеклу, чтобы мне не мешал отблеск хрустального стекла; и вдруг я увидел перед собой вместо комнаты прелестный сад, раскинувшийся в солнечном сиянии, и мне показалось, что я вижу матушку в блеске молодости и красоты, — в шелковых одеждах гуляла она между цветочными клумбами. Я хотел открыть окно, крикнуть ей, но не мог найти ни задвижки, ни щеколды, — ведь я находился снаружи, хотя и смотрел на сад как бы изнутри дома. В конце концов я увидел, что стою у обшитой деревянными панелями стены на узком карнизе, на котором едва умещались мои ноги. Когда я перегнулся, чтобы посмотреть, как мне сойти с этого опасного места, я увидел внизу на улице маленького карапузика-мальчишку с серыми, тусклыми волосами, который ковырял палкой в моих богатствах.

Сразу же узнав в нем врага моей юности, того мальчика Мейерлейна, который упал с башни, я торопливо полез вниз, чтобы прогнать его. Но он начал яростно поносить меня и снова, спустя столько времени, этот ростовщик и кредитор моего детства стал мне предъявлять свои требования, прижимая руку к разбитой при падении голове. Наконец-то он получит все сполна, так он ядовито кричал мне, теперь-то он отберет у меня вещи в счет записанного за мной долга; его счета в полном порядке.

— Ты врешь, маленький негодяй! — крикнул я в ответ. — Убирайся, пока цел! — Тут он замахнулся на меня своей палкой, мы схватились врукопашную и начали немилосердно тузить друг друга. Взбешенный противник разорвал в клочья всю мою красивую одежду, и лишь когда я, в отчаянии, задыхаясь, стал душить его, он выскользнул из моих рук и оставил меня на мрачной холодной улице. Я был измучен и вдруг заметил, что стою босиком. Дом оказался действительно нашим старым домом, но уже наполовину обветшалым, с крошащейся штукатуркой, подслеповатыми окнами, в которых стояли пустые или засохшие цветочные горшки, и ставнями, которые, держась на одной петле, раскачивались и хлопали от ветра.

От моего сказочного богатства ничего не осталось, кроме каких-то раздавленных жалких остатков, валявшихся на мостовой, а в руках я держал лишь палку, доставшуюся мне после драки с моим злым недругом.

Ужаснувшись, я отступил на другую сторону улицы, и печально взглянул на

потемневшие окна, и теперь отчетливо различил мою мать, постаревшую, побледневшую и седую; я видел, как она, глубоко задумавшись, сидела за своей прялкой.

Я протянул к ней руку, но, как только матушка слегка зашевелилась, я снова спрятался за выступ стены и теперь, охваченный смутением, пытался покинуть тихий сумеречный город, скрываясь от всех. Я крался вдоль стен и вскоре очутился на проселочной дороге, уходящей в бесконечную даль; опираясь на мою ненадежную палку, я шагал в ту сторону, откуда пришел. Без отдыха, не оглядываясь, брел я все дальше и дальше. Вдали, на такой же бесконечной дороге, пересекавшей мой путь, я увидел отца — он брел мимо с тяжелым ранцем на спине.

Когда я проснулся, у меня точно камень с души свалился, — так печален был конец моего сна.

И так это продолжалось ночь за ночью, хотя порою мои приключения и были менее бурными, и мое душевное состояние во время сна иногда переходило в какую-то умиротворенность. Однажды мне приснилось, что я сижу на границе своей родины, на горе, затененной облаками, в то время как вся страна расстилалась передо мною, озаренная ярким светом. На светлых улицах и зеленых лугах толпились и расхаживали люди, они собирались на веселые празднества или обсуждали свои житейские дела, и все это я внимательно наблюдал. Когда же эти толпы или процессии проходили мимо и среди них находились люди, узнававшие меня, они бранились мимоходом, — мол, замкнувшись в своей печали, я не вижу, что творится вокруг, — и приглашали меня к ним присоединиться. Я защищался, не теряя дружелюбия, и кричал им вслед, что вижу все, что их тревожит, и во всем принимаю участие. Пусть только они теперь не заботятся обо мне, так для меня будет спокойнее.

Эту картину, очевидно, неутомимые духи моих сновидений заимствовали из следующих стихов неизвестного поэта¹⁹⁵, которые я прочел накануне вечером в разрозненных листках:

Не осуждайте, что в тоске
Лишь образ мой мне всюду мнится!
Сквозь дымку скорбных дум моих
Я вижу вас и ваши лица.

Сквозь неумолчный моря шум,
Которое несет мне муки,
В многоголосом хоре волн
Я слышу ваших песен звуки.

Как Данаида, утомясь,
Глядела, руки опуская,
Так я в волнении слежу,
Как гонит вас судьба мирская.

Глава восьмая **БЛУЖДАЮЩИЙ ЧЕРЕП**

Так проходили мои ночи. Как я проводил дни в ту пору, я едва могу себе представить сейчас; это был самый удивительный поединок терпения с судьбой, иначе говоря, с самим

¹⁹⁵ ...из следующих стихов неизвестного поэта... — В первой редакции романа говорилось, что приведенные ниже стихи сочинены самим Генрихом. Из второй редакции Келлером было исключено всякое упоминание о поэтической деятельности его героя.

собою. И, как я смутно предчувствовал, все разрешилось самым простым образом. Не прошло и нескольких дней, как оказалось, что мой овдовевший хозяин не может один справиться с хозяйством и вынужден продать дом; детей он решил отправить к родителям покойной жены и освободить помещение. Он быстро спровадил малышей, а затем ворчливо и безразлично известил меня, что я должен искать себе другое пристанище, так как он сам намеревается съехать на следующий день.

Все последние годы я провел в этом доме, и теперь, когда злая судьба развеяла все мое небольшое имущество в разные стороны, я сразу же решил вернуться на родину, вместо того чтобы искать себе новое жилье и поселиться там подобно нищему. Я не изменил своего решения даже тогда, когда после возврата долга хозяину и некоторым другим знакомым мне от всего капитала, заработанного у господина Йозефа Шмальхефера, осталось так мало, что не хватало на поездку. Я с трудом набрал бы на пешее путешествие, и то лишь в том случае, если бы разумно распределил свои деньги, день и ночь проводил под открытым небом и жил впроголодь.

Но в поношенной моей одежде я бы совсем походил на бродягу, а этого мне очень не хотелось, и я ухватился за последнее средство, а именно — я вспомнил про пейзажи, висевшие у торговца-еврея. Не теряя времени, я отправился к нему, захватив с собою и ту несколько большего размера картину, которая потерпела поражение на выставке, и спросил его, не оденет ли он меня за эти три картины в новое и добротное платье, добавив еще сколько-нибудь наличными.

На последнее, конечно, его нельзя было уговорить; но одежда, которую он, руководствуясь своими коммерческими правилами, сразу же с готовностью мне выдал, оказалась вполне подходящей; он даже снизошел до того, что великодушно предложил мне солидную крепкую шляпу, поля которой могли защитить шею от дождя. Я нашел в нем услужливого и доброго советчика и расстался с ним вполне удовлетворенный его помощью, переодевшись в задней комнате и оставив ему мое старое платье в знак признательности за человеколюбивое отношение.

На обратном пути я колебался, не следует ли навестить еще старика Шмальхефера, чтобы проститься с ним. Но я опасался, что он соблазнит меня снова какой-нибудь случайной работой, притупляющей мысли, но дающей хороший заработок; поэтому я миновал его дом, выправил у городских властей свои документы и, так как уже близился вечер, поторопился домой. Я собирался сразу же с наступлением ночи начать свое путешествие.

Мне ничего другого и не оставалось, — хозяин вывез уже всю домашнюю утварь, а также и мою кровать, не заботясь о том, где я буду спать эту последнюю ночь. Я нашел его совсем одного в нашей затихшей квартире; шаги и слова отдавались в ней с непривычной гулкостью, так как она была совершенно пуста. Только немного одежды и небольшие вещи лежали незапакованными, — у него не было ящика, куда их уложить. Я сказал ему, чтобы он воспользовался моим большим сундуком, ибо мне он в ближайшее время не понадобится. Он принял мое предложение, забыв даже поблагодарить меня, за что я впоследствии сыграл с ним шутку. Дело в том, что, зайдя к себе в комнаты, чтобы уложить в дорожный мешок остаток белья и красиво переплетенную историю моей юности, и оглядываясь, не забыл ли я чего-нибудь, я, к ужасу своему, увидел череп Альбертуса Цвихана, — это был единственный непристроенный предмет.

Потрясенный, я взял в руки этот злосчастный шар, который нигде не мог найти покоя, и почувствовал укоры совести. «Бедный Цвихан! — думал я. — Когда-то ты путешествовал из Ост-Индии в Швейцарию, оттуда в Гренландию и снова обратно, теперь сюда, и бог знает, что еще станет с тобою, несчастный друг, которого я так легкомысленно унес с кладбища».

Но ничем уже нельзя было помочь; я открыл крышку своего опустевшего сундука и положил туда старый череп, оставляя его на дальнейшее попечение готового к переезду хозяина дома, который в своем несчастье так нелюбезно обошелся со мной, — а ведь я за более чем пять лет поддержал бюджет его семьи не одним десятком звонких талеров!

Потом я надел на плечи мешок и вышел из опустевших комнат, видевших столько печали, в общие сени, быстро подал хозяину на прощанье руку и спустился вниз по лестнице. Но едва я достиг передней, как этот злодей позвал меня по имени и крикнул: «Вот возьмите его тоже с собой, это ваше!» — и вниз по длинной деревянной лестнице с шумом покатился череп, больно ударив меня по пяткам.

Я поднял его; в надвинувшихся сумерках видна была жалко свисавшая нижняя челюсть, прикрепленная проволокой; казалось, он жалобно просил меня не оставлять его.

— Ну, пойдем, — сказал я, — мы вернемся домой вместе! Это было необычайное путешествие!

С трудом втиснул я череп в свой дорожный мешок, благодаря чему он раздулся и стал бесформенным, как будто в нем лежал каравай хлеба или кочан капусты.

Теперь мне еще оставалось одно дело, небольшое, но не из легких. После того странного и неожиданного любовного приключения с Хульдой прошла уже одна суббота, которой я не воспользовался, и как раз наступила вторая. Известия, которые мне сообщил земляк, совершавший свадебное путешествие, а также мои сновидения отбили у меня охоту к осуществлению счастливых планов в духе Тангейзера¹⁹⁶; однако теплое чувство благодарности и неостывшая нежность не позволяли мне уйти без единого слова прощанья или объяснения. Я решил признаться этой прелестной и добропорядочной девушке в том, что я не ремесленник-подмастерье, а всего лишь обедневший художник, который не знает, что из него выйдет и который должен пока что покинуть этот край, и надеялся таким образом без большого труда утешить ее в потере нового возлюбленного и расстаться с нею по-хорошему. Уже собравшись в далекий путь, с мешком за плечами и палкой в руке, я направился на ту улицу, где жила она. Так как было еще рано, я зашел в трактир, чтобы в последний раз поужинать в этом городе. Затем я при свете фонарей нашел нужный дом и сел на скамеечку в тени колодца. Вскоре показалась моя девушка в рабочем платье, но она шла не одна; ее провожал стройный молодой человек, по виду студент или художник, который в чем-то убеждал ее. Приближаясь к дому, они пошли медленнее, и теперь заговорила она; я услышал знакомый мне искренний мелодичный голос, звучавший несколько печальнее или мягче, чем в тот вечер.

— Любовь — серьезное дело, — сказала она, — даже если она только в шутку! Но на свете мало верности и честности. Ну, что ж, испробуем наше знакомство, если вы хотите пригласить меня завтра на танцы; мне любопытно посмотреть, как ведут себя в таких случаях господа!

Новый воздыхатель ответил что-то, но я не расслышал его шепота: потом я услышал тихий поцелуй, и со словами «покойной ночи!» девушка исчезла за дверью, захлопнув ее за собой; юноша повернулся и быстрым шагом пошел своей дорогой.

«Ну, вот я и свободен!» — подумал я и поднялся с облегченной совестью, но все же с очень странным чувством. Не оглядываясь больше и не задерживаясь в городе ни минутой дольше, я поспешил к воротам и спустя некоторое время уже шагал темной дорогой по направлению к моей родине.

Я был доволен той ясностью и определенностью, которую теперь приняла моя судьба, и шагал без излишней торопливости, но и нигде не останавливаясь, имея перед собой лишь одну-единственную цель: скорее прийти домой, к матушке, все равно — богатым или бедным. Так я шел в течение долгих часов и не обратил внимания, что, дойдя до перекрестка, незаметно отклонился на чуть более узкую боковую дорогу, затем еще раз повторил свою ошибку и в конце концов очутился на проселочной. Но судя по расположению звезд я

¹⁹⁶ *Тангейзер* — странствующий рыцарь-миннезингер XIII в. Старинная немецкая легенда приписывает ему семилетнее пребывание в волшебном гроте богини любви Венеры. Тангейзер — герой многих литературных и музыкальных произведений, наиболее известными из которых являются стихотворение Гейне «Тангейзер» и одноименная опера Рихарда Вагнера.

примерно шел в правильном направлении и потому продолжал свой путь, считая, что без некоторых отклонений от него путнику не обойтись. Я шел лесами, по полям и лугам, мимо деревень, чьи смутные очертания или далекие огоньки виднелись в стороне от проезжей дороги. Было уже около полуночи, и глубокая тишина царила над землей, когда я проходил вдоль широких огороженных полей; тем оживленнее казались просторы неба с медленно совершающими свой путь созвездиями, — невидимые стаи перелетных птиц шумели и шуршали крыльями в вышине. Никогда еще я с такой отчетливостью не наблюдал ночные перелеты в осеннем небе.

Я вошел в лесную чащу, и темнота стала непроницаемой. Неслышно пролетела перед моими глазами сова, где-то в темноте закричал филин. Я уже совсем промерз и устал, когда у лесной просеки натолкнулся на дымящийся костер угольщика, который спал тут же, в своей землянке. Я подсел к тлеющим углям, согрелся и уснул, пока меня не разбудила пролетающая над лесом стая звонкоголосых сапсанов¹⁹⁷, чьи серебристо-голубые крылья и белые грудки сверкали в ранних лучах зари. Когда я протер глаза, то увидел, что угольщик вылезает из своей землянки ногами вперед. Как путник, только что подошедший сюда, я поздоровался и спросил, что это за местность и не заблудился ли я. Единственное, что он мог мне посоветовать, это держаться больше западного направления.

Лес кончился, и я вышел на широкую равнину, освещенную ранним осенним солнцем. Пейзаж был в чисто немецком духе. На горизонте высились темные, покрытые лесом цепи гор; по равнине вилась река, вся в красноватых отсветах, так как полнеба пылало в лучах утренней зари, и окрашенные пурпуром гряды облаков нависали над полями, холмами, селами и башнями видневшегося вдали города. Туман дымился по лесистым склонам и у подножия темных до синевы гор. Замки, городские ворота и башни церквей отсвечивали красным; к тому же в лесу раздавались шумные клики охоты, звучали рога, со всех сторон слышался звонкий собачий лай, и едва я вышел из леса, как мимо меня проскочил стройный олень.

Красный восход, — значит, дождик пойдет! Если я хотел держаться намеченного плана, мне нечего было и думать о ночлеге, — этим я лишил бы себя дневного пропитания. Поэтому я с некоторым страхом думал о предстоящем дожде и о том, что мне придется брести вторую ночь насквозь промокшим. Сырость и грязь довершают насмешку судьбы и отнимают у несчастного последнее утешение — надежду припасть к родной земле там, где его никто не видит. Повсюду неумолимая сырость встречает его пронизывающим холодом, и он вынужден все время держаться на ногах.

Уже через несколько часов серая пелена тумана закрыла солнце, и пелена эта начала медленно распадаться на мокрые нити, пока они не перешли в сплошной, равномерный дождь, который продолжался весь день. Только изредка эта однообразная холодная и мокрая сетка перемежалась с еще более сильными потоками ливня, подстегиваемого ветром; он вносил более быстрый ритм в это царство воды, заливавшей поля и дороги. Невозмутимо шагал я сквозь потоки, радуясь, что мое новое платье сделано из добротной ткани, которая выдержит это испытание. Только в полдень, не откладывая больше, я зашел в деревню и пообедал горячим супом с мясом и овощами, а также куском хлеба. Потом я часок отдохнул и снова вышел под дождь. Чтобы добраться до дому, мне нужно было не меньше недели, и я должен был строго придерживаться установленного мною самим распорядка, чтобы уложиться в этот срок, причем не имел права ни уставать, ни болеть. Только при этих условиях я мог завершить свой путь, ни от кого не завися и оставаясь до конца хозяином своей судьбы.

Спустя несколько часов я снова попал на лесную просеку, все время пытаюсь выйти на большую главную дорогу, которая постепенно вывела бы меня на правильный путь. В стороне от дороги я заметил огромный бук, покрытый еще довольно густой пожелтевшей

¹⁹⁷ *Сапсан* — хищная птица из отряда соколов.

листвою; я направился к нему и на земле, между его корнями, нашел хорошо защищенное местечко, где и прикорнул. В это время из леса вышла, ковыляя, старушка; одной рукой она придерживала жалкую вязанку хвороста, которую несла на голове, а седые волосы ее были такие жесткие и растрепанные, что их не отличить было от сухих веток; другой рукой она с трудом тащила позади себя сломанную маленькую березку. Она шла дрожащими шажками, боязливо вздыхая, и, запыхавшись от усилий, тянула через все препятствия непокорное деревцо, подобно муравью, который тащит не по силам тяжелый стебелек к своему жилищу. Сочувственно глядел я на эту бедную женщину и должен был себе признаться, что ей, наверно, приходится еще тяжелее, чем мне, а все же она не останавливается и борется за существование. И все же мне было достаточно плохо, — я даже не мог помочь или дать ей что-либо. Стыдясь своей беспомощности, я не отрывал от нее глаз, как вдруг на дороге появился лесник, пожалуй, того же возраста, как и старушка, но краснолицый, усатый, с небольшими серьгами в ушах и глупыми глазами навывкате. Он сразу же накинулся на женщину, которая, испугавшись, отпустила деревцо, и начал кричать:

— Эй ты, бродяга, опять воровала лес?

Старушка клялась всеми святыми, что она нашла эту березку на дороге и что деревцо уже было сломано. Но он продолжал кричать:

— Ты еще врешь? Подожди, я тебя прочучу!

Старый лесник схватил старуху за сморщенное ухо, которое выглядывало из-под сдвинувшегося ситцевого платка, притянул ее ближе и уже собирался так тащить за собой. Его бесчеловечность привела меня в негодование. Внезапно мне пришла в голову блестящая мысль, я вытащил из своего дорожного мешка пожелтевший череп, надел его на палку и выставил из листвы кустарника, за которым меня не было видно. Одновременно я закричал сердитым голосом:

— Отпусти старуху, негодяй! — причем я слегка потряс череп, так что зубы его застучали и зашуршала листва, откуда он выглядывал. Этим людям должно было показаться, что из-за кустов их окликает сама смерть.

Лесник обернулся в ту сторону, откуда раздался голос; он застыл, побледнев, как плохо выпеченный хлеб, и отпустил старушкино ухо. Медленно я втянул обратно привидение; лесник недвижно смотрел на это место; когда же я выставил череп из кустов немного повыше, круглые глаза лесника последовали за ним, после чего он убрался с такой быстротой, с какой только могли унести его дрожащие ноги, и больше не произнес ни звука. Только на значительном расстоянии, где дорога поворачивала в сторону, он ненадолго остановился и осторожно взглянул назад. Когда я снова покачал черепом, беглец мгновенно исчез за поворотом и больше уже не показывался. Конечно, у него не было никакого основания предполагать, что в такую погоду, да еще ради какой-то бедной нищенки кто-нибудь станет заниматься фокусами в лесной чаще, а кроме того, и серьги достаточно свидетельствовали о его суеверии. Старушка была в таком ужасе, что ничего не заметила, кроме бегства своего мучителя; не зная, что с ним приключилось, она бросила все и тоже поспешила удалиться; дрожащими руками она махала в воздухе, что-то бормоча себе под нос.

Я же сунул в мешок старый желтоватый череп, который сослужил такую хорошую службу. Забавная шутка согрела меня, и я еще немного отдохнул, подобно победителю на поле брани. Было радостно сознавать, что даже в таком трудном и, казалось бы, безвыходном положении незначительный поворот событий сделал меня на некоторое время хозяином людских судеб. Я пытался представить себе посрамленного злодея и разобраться в корнях его звериной натуры. Мысленно я видел его округлые блестящие глаза, ярко-красное, набухшее лицо, седые, тщательно распушенные усы, блестящие пуговицы его форменной куртки, и мне казалось, что причина всей этой дикой, крикливой сцены — безграничное тщеславие, которое у такого грубого и глупого человека может проявиться только так.

«Возможно, — подумал я, — что этот негодяй — заботливый отец и супруг в кругу своей семьи, добрый товарищ среди себе подобных, пока никто не препятствует его

болтливому бахвальству; он, наверно, доволен собой и по глупости своей считает себя героем, когда тащит за ухо слабую старуху. Возможно, что где-нибудь в другом месте, в церкви или на исповеди, он признает за собой некоторые погрешности; но, будучи опьянен тщеславием и самодовольством, он забывается и потворствует своим страстям. Тем яснее замечает он пороки своего начальника, а тот, в свою очередь, дурные стороны своего начальства, и так на всех ступенях общественной лестницы — каждый замечает недостатки другого, но зато дает полную волю своим собственным порокам, ни в чем не желая себя обуздывать, самозабвенно любясь своим величием. И все эти десятки тысяч людей, зависимых друг от друга, воспитывающие себя подобным образом, поглаживают седые усы и вращают глазами не от прирожденной злобы, а из ребяческого тщеславия. Они тешат свое тщеславие, когда приказывают и когда повинуются, они тщеславны в своей гордости и в своем смирении; они лгут из тщеславия и говорят правду не ради нее самой, а потому что им кажется, что это приличествует данной минуте. Зависть, алчность, жестокосердие, злословие, лень — все эти пороки можно обуздать либо усыпить; но лишь тщеславие вечно бодрствует и непрестанно впутывает человека в тысячу ложных или, во всяком случае, излишних дел, в жестокости, в большие или малые опасности, и все они в конце концов делают из этого человека совершенно иное существо, чем он хотел бы быть. И вот следствием этого является болезненное заблуждение, отклонение от своего собственного «я» вместо укрепления его, к которому стремится тщеславный.

Но так происходит лишь с более невежественной частью людей, с толпой нищих духом. Одаренные и образованные — другая, более деликатная половина человечества — не заблуждаются в самих себе, у них есть волшебная формула, которая гласит: «Невинное тщеславие — лишь безобидное украшение бытия. Это наилучшее домашнее средство для воспитания человечности и противоядие против невежественного, злобного тщеславия! Красивое тщеславие, придающее изящную завершенность и закругленность собственному существу, способствует расцвету всех ростков, заложенных в нас и делающих нас нужными и приятными для света; оно является одновременно и топким ценителем, и строгим судьей самого себя и подстегивает нас обнаружить в самой благородной форме все то истинное и прекрасное, что иначе осталось бы лежать под спудом. Сам Христос был чуточку тщеславен, так как завивал волосы и бороду свою и позволял умащать себе ноги!»

Так звучит эта прекрасная песня, и подобное тщеславие есть тот истинный Молох¹⁹⁸, чей слабый огонь съедает людей и камни. Он остается всегда самим собою, этот Молох, ничего не боится и улыбается своей железной улыбкой, в то время как пылает его ненасытное чрево. В нем сгорают и дружба, и любовь, и свобода, и отечество, словом, все прекрасные вещи, а когда ему нечего пожирать, он остывает, подобно печи, полной пепла».

Читая себе самому эту гневную проповедь, я неумоимо шагал дальше, и так как это брожение мыслей помогало мне преодолеть холод, то я и дальше продолжал размышлять на ходу. Я проверил самого себя и собственное поведение и решил оценить свое положение в тщеславном мире на тот случай, если бы я теперь или когда-нибудь оказался относительно свободным от этого порока. «Совершенно верно, — размышлял я, — что тщеславные являются рабами людей, свободных от тщеславия, так как домогаются их одобрения; но рабы восстают и делаются беспощадными, как негры в Сан-Доминго¹⁹⁹. И в том и в другом случае надлежит пройти через это или поладить с ними так, чтобы не потерпеть ущерба ни душой, ни телом. Но зачем надобно отличаться от них, подниматься выше их? Не для того

¹⁹⁸ *Мо лох* — бог солнца в финикийской и карфагенской религии, в жертву которому приносили детей; символическое обозначение необузданной силы, требующей кровавых человеческих жертв.

¹⁹⁹ ...рабы восстают и делаются беспощадными, как негры в Сан-Доминго . — В 1803 г. в Сан-Доминго (прежнее название острова Гаити) вспыхнуло восстание негритянских рабов, боровшихся против французского колониального гнета.

ли, чтобы возгордиться своим превосходством и тем самым выказать свое тщеславие?»

Я зашел в тупик и, пока искал выхода, мои умствования прервал порыв ветра, который так сильно потрянул какое-то дерево, что оно внезапно обрушило на мои плечи целые потоки воды, накопившейся в его ветвях. Я, в свою очередь, стал отряхиваться и, оглядываясь кругом, искать пристанища, которого не было и воспользоваться которым я не имел права. Все же я жаждал какого-нибудь облегчения и решил наконец избавиться от черепа Цвихана, который сильно мешал мне не столько своей тяжестью, сколько неудобной формой. Но когда я собрался было незаметно положить его в придорожные кусты, мною вдруг овладело желание и даже потребность проявить в моем положении, в котором я все делал лишь по необходимости, хоть каким-нибудь поступком свою свободную волю и таким образом хоть на йоту подняться над своим уделом. Итак, я снова уложил в мешок свою добровольную ношу и продолжал тягостное странствие, которое, в довершение всего, завело меня на заброшенные и трудные тропинки.

Глава девятая **ГРАФСКИЙ ЗАМОК**

Так это длилось вплоть до сумерек, когда усталость, озноб и общая слабость совсем одолели меня, и я спасся от полного морального крушения лишь тем, что сказал себе: «Нет, о том, чтобы погибнуть, не может быть и речи, — все печали и горести на свете преходящи». Я снова собрал последние силы и победил утомление.

Наконец я вышел из лесу и увидел перед собою широкую долину, где, по-видимому, было расположено богатое имение; вместо лесной чащи здесь высились прекрасные парковые деревья, и меж них виднелись крыши; дальше, среди полей и пастбищ, были разбросаны дома деревни. Прямо перед собой я увидел небольшую церковь, двери ее были открыты.

Я вошел внутрь; там уже было темно, и лишь неугасимая лампада, подобно мерцающей красноватым светом звезде, качалась перед алтарем. Церковь была, очевидно, очень старая, окна частично состояли из цветных стекол, стены и пол были покрыты надгробиями и памятниками.

«Здесь я проведу ночь, — подумал я, — здесь, под сенью этого храма, я отдохну».

Я уселся в исповедальне, похожей на шкаф, где лежала толстая подушка, и собрался было задернуть занавеску, чтобы сразу же уснуть, как чья-то рука удержала шелковую зеленую шторку, и я увидел кистера, неслышно следовавшего за мной в мягких туфлях. Он спросил:

— Вы что, хотите переночевать, приятель? Нет, здесь нельзя оставаться!

— Почему нельзя? — спросил я.

— Потому что я сейчас запираю церковь. Уходите отсюда! — отвечал кистер.

— Я не могу идти, — сказал я, — оставьте меня здесь всего лишь на несколько часов, божья мать не рассердится на вас за это!

— Уходите, сейчас же, — крикнул он, — здесь вам оставаться нельзя!

Огорченный, я вышел из церкви, а бдительный звонарь принялся запиравать двери. Я очутился посреди кладбища, которое походило на заботливо возделанный сад; каждая могила или несколько могил вместе представляли собою живописную цветочную клумбу; особенно прелестны были детские могилки — то они были собраны в кружок на зеленой полянке, то расположены в одиночку, в уютном, скрытом уголке под деревом, то среди могил взрослых, — так дети цепляются за фартук матери. Дорожки были посыпаны гравием и тщательно разровнены; никакой стены не было, они вели прямо под темную сень рощи, где росли клены, вязы и ясени. Дождь почти перестал; еще падали шумные капли, но на западе уже показалась полоска огненного заката, бросавшая слабые отсветы на мраморные надгробия. Невольно я опустился на садовую скамейку среди могил.

В тени деревьев показалась стройная фигура женщины, шедшей легким и

стремительным шагом; ее густые темные локоны развевал ветерок; одной рукой она придерживала на груди накидку, в другой держала зонтик, который, однако, был закрыт.

Это прелестное существо весело двигалось среди могил и, казалось, внимательно разглядывало, не пострадали ли растения от бури и дождя. Бросив легкий зонтик на дорожку, она время от времени нагибалась, подвязывала качающуюся розу или срезала блестящими ножницами астру, а затем спешила дальше. Я был измучен и, залюбовавшись очаровательным видением, скользившим передо мной, ни о чем не думал, пока опять не показался кистер.

— Здесь вам тоже нельзя оставаться, приятель! — начал он сызнава. — Это кладбище относится к имению, и посторонним здесь по ночам бродить нельзя!

Я ничего не ответил и беспомощно глядел в одну точку; мне не хватало решимости подняться на ноги.

— Ну, вы что же, не слышите? Вставайте! С богом, вставайте! — произнес он несколько громче и стал трясти меня за плечи, как будят в трактире уснувшего посетителя.

Дама подошла ближе и прервала свою беспечную прогулку, чтобы послушать наши пререкания. Она была столь прелестна в своем ребяческом любопытстве и у нее были такие красивые глаза, — насколько их можно было разглядеть в сумерках, — и глаза эти светились такой живой и естественной приветливостью, что я в тот же миг снова ожил и поднялся перед нею со шляпой в руке. Но все же мне пришлось смущенно опустить глаза, когда она стала внимательно рассматривать меня и мой промокший, грязный костюм.

Обратившись к служителю, она спросила:

— Чего вы хотите от этого человека?

— А, сударыня, — ответил кистер, — один бог знает, что это за человек! Он во что бы то ни стало хочет здесь спать; но нельзя же этого допустить! А если он нищий бродяга, то лучше ему переночевать в деревне, где-нибудь в сарае!

Молодая дама, обратясь ко мне, приветливо произнесла:

— Почему вы хотите ночевать именно здесь? Вы так любите общество мертвых?

— Сударыня, — ответил я, взглянув на нее, — я считал их единственными владельцами и хозяевами этого куска земли и был уверен, что они не прогонят усталого путника; но, я вижу, они не обладают такой властью, и намерения их подчиняются тем, кто ходит над их головами.

— Не следует говорить, — возразила девушка, улыбаясь, — что мы здесь относимся к людям хуже, чем мертвецы. Если вы только сообщите о себе хоть немного, кто вы и что вы, тогда и мы, живые, не покажемся вам бессердечными.

— Позвольте показать вам для начала мои документы!

— Они могут быть фальшивыми! Лучше расскажите о себе сами!

— Ну что же, я происхожу из порядочной семьи, и сейчас я спешу добраться до города, где родился. К сожалению, это, видимо, неосуществимо без задержки.

— Откуда же вы родом?

— Из Швейцарии. В течение нескольких лет я жил в качестве художника в вашей столице, чтобы в конце концов открыть, что вовсе не имею нужных способностей. И вот я без достаточных средств очутился на пути к дому и намеревался, никому не становясь в тягость, проделать все путешествие. Мне помешал дождь; я надеялся, никем не замеченный, провести ночь в этой церкви, а рано поутру потихоньку отправиться дальше. Если здесь есть поблизости навес или сарай, прикажите великодушно, пусть мне разрешат там отдохнуть, — я не в силах идти дальше. Не обращайтесь больше на меня внимания, а утром я, благодарный за приют, снова исчезну.

— Я вам найду лучшее пристанище, пойдемте со мной. Я возьму это на себя, пока не явится отец; он на охоте и скоро вернется.

Хотя меня, когда я стоял перед ней, трясло от холода и сырости, я все же медлил за нею последовать. Когда девушка вопросительно взглянула на меня, я извинился, сказав, что, несмотря на мое странное положение, я все же еще не нищий, а ее предложение идет вразрез

с моим намерением достичь родного дома без посторонней помощи.

— Но вы насквозь промокли и дрожите от холода, как пудель, мой гордый господин! Если вы останетесь под открытым небом, то к утру заработаете себе отличную лихорадку и тогда уж наверняка не сможете двинуться дальше без посторонней помощи и ухода. Я вас помещу временно в садовом флигеле, где я провела день и где топится камин. Не упирайтесь больше — тогда вы сможете, согласно вашему желанию, всего скорее избавить нас от своего присутствия! А вы, кистер, следуйте за нами для подмоги. Это будет вам наказанием за то, что вы так негостеприимно обошлись с благочестивым пилигримом!

— А что бы мне сказали, сударыня, — проворчал недовольно кистер, — что бы со мной сделали, если б я ночью оставил церковь открытой или запер в ней постороннего? Разве вам никогда не приходилось слышать о ночных кражах в церквях? Разве никогда не воровали подсвечников, потиров²⁰⁰, дискосов²⁰¹?

Тут я невольно рассмеялся и сказал:

— Вы что же, принимаете меня за шекспировского Бардольфа²⁰², которого повесили во Франции из-за украденной дароносицы?

— После того как он уже украл в Англии футляр от лютни, нес его двенадцать часов и продал за три крейцера? — добавила эта удивительная девушка, взглянув на меня и смеясь в ответ.

А я, со своей стороны, ответил:

— Если вы так находчивы в употреблении цитат, рисующих людей с плохой стороны, я могу рискнуть и последовать за вами; мы оба принадлежим к тайному ордену, который оправдывает свое существование тем, что члены его помогают друг другу.

— Вот видите, все на свете имеет хорошую сторону! — сказала она и пошла вперед; я присоединился; по темному парку следовал за нами кистер, полный удивления и недоверия. Вскоре среди деревьев засветились окна довольно поместительного садового флигеля; видимо, он стоял на порядочном расстоянии от жилого дома. Мы вошли в небольшой зал, который был отделен от парка лишь застекленной дверью; в камине горел яркий огонь; молодая дама пододвинула плетеное кресло и пригласила меня расположиться на отдых. Я без промедления уселся в кресло, но мой бесформенный дорожный мешок сильно мешал мне.

— Да вы снимите котомку! — сказала хозяйка дома. — Или у вас там действительно спрятан украденный футляр от лютни, с которым вы не хотите расстаться?

— Нечто в этом роде! — проговорил я в ответ и стал снимать заплечный мешок, в котором лежал череп; кистер, по знаку своей госпожи, помог мне и поставил мою ношу в угол. Он незаметно носком сапога коснулся выдававшегося закругления, чтобы проверить, не спрятана ли там хотя бы украденная дыня, так как он не мог понять, что это за футляр от лютни. Молодая девушка, которая чем-то занялась в эту минуту, снова подошла, стала передо мной и сочувственно спросила:

— Как же вас зовут? Или вы предпочитаете путешествовать инкогнито?

— Генрих Лее, — сказал я.

— Господин Лее, вам очень плохо живется? Я не совсем понимаю ваше положение. Вы ведь не настолько бедны, что вам и есть нечего?

— Это не имеет значения, но сейчас дело обстоит именно так. Если я буду есть чаще,

²⁰⁰ *Потир* — церковная чаша с поддоном для святых даров, употребляемая при обряде причастия.

²⁰¹ *Дискос* — блюдо с поддоном, один из предметов церковной утвари.

²⁰² *Бардол ьф* — персонаж из исторической хроники Шекспира «Король Генрих V» (1599). Благодаря привычке красть все, что попадало под руку, Бардольф нередко вызывал насмешки своих друзей. Похождения, упоминаемые в тексте романа, содержатся во второй сцене третьего действия пьесы.

чем раз в день, моей дорожной кассы не хватит, чтобы добраться до дому.

— Но почему вы так поступаете? Разве мыслимо подвергать себя такой нужде?

— Ну, нельзя сказать, чтобы я намеренно так поступал; но раз так получилось, я даже за это благодарен судьбе, если только можно благодарить за исполняемое по необходимости. Все в жизни может чему-то научить. Женщинам не нужны подобные навыки, они всегда делают лишь то, без чего нельзя обойтись, а для нашего брата такие наглядные уроки очень полезны. Тому, чего мы не видели и не прочувствовали сами, мы редко верим или считаем это неразумным, не стоящим внимания!

С помощью кистера она придвинула небольшой столик, на котором стояли тарелки с какой-то едой.

— Здесь, к счастью, как раз мой ужин. Подкрепитесь пока чем-нибудь, а потом вернется отец и позаботится о вас. Ступайте в дом, кистер, пусть экономка даст вам бутылку вина, слышите? Какое вино вы предпочитаете, господин Лее, белое или красное?

— Красное! — ответил я весьма неучтиво; я затруднялся подобрать нужные слова, потому что был в положении не то неведомого бродяги, нуждающегося в помощи, не то человека общества, к которому вежливо обращаются.

— Тогда пусть вам дадут столового красного! — крикнула она вслед кистеру и потянула за шнур; на звонок прибежала молодая крестьянка, которая удивленно замерла на пороге и стала разглядывать меня с любопытством. То была дочка садовника, жившего под этой крышей; как я позже убедился, она была одновременно и служанкой и поверенной своей госпожи и обращалась к ней на ты.

— Где ты пропадаешь, Розхен? — воскликнула девушка. — Быстрее зажги свет, у нас неожиданный гость, и мы пока посидим здесь!

Тем временем я взялся за нож и вилку, собираясь отрезать кусок холодного жаркого, но снова замер в смущении. Я держал в руках детский серебряный прибор; на маленькой вилке было готическим шрифтом выгравировано имя Доротей, а так как вошедшая Розхен только что назвала свою госпожу Дортхен, я понял, что передо мной был ее собственный прибор. Я положил его на место; Розхен сразу же все заметила:

— Что же ты делаешь, Дортхен? Ты ведь дала гостю свой прибор!

Слегка покраснев, девушка, которую звали Дортхен, ответила:

— Ведь и правда! Вот что получается, когда бываешь рассеянна! Извините меня, что я снабдила вас своим детским прибором! Но если вам это не противно, можете спокойно продолжать, а я буду чувствовать себя святой Елизаветой, которая кормила бедняков из собственной тарелки.

Мне нечего было ответить на эту невинную шутку. Но с едой дело не клеилось; у меня вдруг пропал аппетит, меня угнетало ощущение, что я нахожусь не на месте, мне хотелось снова очутиться на проезжей дороге, на свободе, хотя я и понимал, что из этого ничего хорошего бы не вышло. У меня на душе стало несколько спокойней, когда я выпил стакан вина, налитого мне Розхен, которая при этом окинула меня критическим взглядом. Затем я откинулся назад, наблюдая за обеими девушками. Дортхен тем временем села к большому круглому столу посреди зала, а дочка садовника стала рядом с нею. На столе были расставлены разные стаканчики и кувшинчики с цветами и многоцветными лесными растениями, пучками красных и черных ягод, созревающих осенью. Среди них были разложены необыкновенные пурпурно-красные и золотисто-желтые листья, перистые и сердцевидные, особенно красивые блестящие листья зеленого плюща, камыш, — словом, все, что было приготовлено для букета, радовало глаз даже и так, в беспорядке рассыпанное по столу. Цветы, как мне казалось, были принесены с кладбища, — я заметил, как девушка ставила в стакан со свежей водой те, что сорвала при мне сегодня. Некоторые букетики были свежими, другие завяли совсем или наполовину, и все это говорило о том, с какой любовью прекрасная девушка заботилась о покойниках. Я вспомнил легенду о святой Елизавете,²⁰³

²⁰³ Я вспомнил легенду о святой Елизавете... — Имеется в виду эпизод из сборника легенд Козегартена.

которая в детстве любила играть на могилах со своими сверстницами и беседовать о мертвых, а так как Доротея сама хорошо знала эти легенды, все это придавало ей особое очарование и заставляло догадываться о ее душевной жизни, причем она вела себя так свободно и просто, что заподозрить девушку в религиозном ханжестве было решительно невозможно.

Я наблюдал за ними обеими, погружаясь в приятную дремоту, и, полузакрыв глаза, еще некоторое время видел и слышал все, что они говорили и делали, пока не заснул по-настоящему. На стуле рядом с Доротеей лежала объемистая папка, откуда она доставала листы разного размера, прикрепляя их затем к большим листам плотной бумаги так, чтобы оставались широкие поля. Розхен подавала ей узенькие полоски бумаги и гуммиарабик.

— Надо снова нарезать бумаги, — сказала Доротея, когда запас кончился. Они сдвинули в сторону растения и кувшины, на освободившемся месте разложили новые листы, затем, взяв ножницы, начали орудовать ими так, словно перед ними лежало полотно и они кроили полотенца. Но бумагу нельзя было резать по нитке, она порой мялась и морщилась, порой ножницы шли вкось, а девушки огорчались и шутливо попрекали друг друга

— Да ты смотри, — воскликнула Доротея, — у тебя все время получают края зубчиками! Когда папа увидит нашу работу, он, наверно, будет недоволен, и ему придется все делать сначала!

— А у тебя что за глазомер! Смотри, как криво сидит этот вид! У нас с отцом получается лучше, когда мы в огороде копаем грядки!

— Да замолчи ты, я и сама вижу! Эти листы слишком большие, их никак аккуратно не приладишь! В институте мы всегда выбирали листы поменьше, когда рисовали цветы. Ну, ничего, папа возьмет карандаш и линейку и все это приведет в порядок. Главное — лишнего не обрезать, он хочет, чтобы все были одного размера. Он уже заказал для них ящик, так они будут лежать в сохранности, как в лоне Авраамовом; к тому же он заказал еще несколько деревянных рамок со стеклом для своего кабинета, чтобы поочередно вешать на стену то один лист, то другой, те, которые ему особенно нравятся. Эти рамки будут очень удобные — раздвижные...

— И что он нашел в этих штуках? Для чего они?

— Ах ты, дурочка, да просто для удовольствия! Надо в них разбираться, в этом и есть удовольствие! Разве ты не видишь, какая тут густая листва, как она весело блестит, как на ней играет солнце? Немало надо учиться, чтобы суметь все это так изобразить!

Розхен облокотилась на стол, наклонила курносое личико над каким-то местом и сказала:

— Действительно, да, вижу! Совсем зеленая воскресная куртка моего отца! Что это здесь, озеро?

— Какое же это озеро, глупенькая? Да ведь это голубое небо над деревьями! С каких пор деревья бывают внизу, а вода наверху, над ними?

— Что ты говоришь! Да ведь небо круглое, и оно как купол, а здесь голубое — как плоский четырехугольник, ну вот словно ваш большой пруд, вокруг которого хозяин велел посадить липы. Ты, наверно, наклеила эту картину вверх ногами! Поверни-ка ее еще раз, тогда вода будет внизу, а деревья, как полагается, наверху.

— Да, и будут стоять вверх ногами! Это же только кусочек неба, дурочка! Посмотри в окно, ты и там увидишь четырехугольник! Да ты и сама-то четырехугольник!

— А ты пятиугольник! — ответила Розхен и легонько хлопнула свою госпожу по спине.

Я заснул под девичье щебетанье, которое до сих пор просто ласкало мой слух и в которое я не вдумывался, но спустя несколько минут пробудился, услышав, как совсем рядом со мной чей-то приятный голос произнес мое имя. Оказывается, дочка садовника, отложив было в сторону окантованный листок, случайно заметила в уголке какое-то имя и

дату и спросила:

— А что здесь написано?

— Что там может быть написано? — ответила Доротея. — Фамилия автора этого эскиза; ведь это называется эскиз, эскиз с натуры! Его имя Генрих Лее. В этой папке лежат только его работы! — Потом она вдруг остановилась на полуслове, посмотрела в мою сторону и воскликнула: — Ну, можно ли быть такой забывчивой! Ведь папа мне говорил, что все это — виды Швейцарии!

Когда я открыл глаза, она стояла рядом со мной и держала своими тонкими пальчиками за верхние углы большой лист бумаги, подняв его вверх, как церковную хоругвь; на ее полураскрытых губах еще дрожал возглас: «Господин Генрих Лее!»

Но я уже так крепко уснул, что в первое мгновение не мог сообразить, где нахожусь. Я только видел перед собой прелестную девушку, чей сияющий и ласковый взгляд был устремлен на какую-то картину. Охваченный любопытством, я, совсем еще сонный, приподнялся и устремил взгляд на картину, как вдруг этот лесной пейзаж показался мне знакомым, и только тогда я узнал одну из моих юношеских работ. То был вид в горах — между стройными стволами деревьев просвечивали снежные вершины Гельвеции²⁰⁴. Я узнал его и по большому, широко разросшемуся болиголову, чьи белые цветы, выступавшие на фоне глубокого сумрака, были ярко освещены солнцем. Это живописное растение доставило мне много радости в те давние дни, я трудился над его изображением более усердно, чем когда бы то ни было, и наконец успешно справился со своей задачей; у меня так удачно получились его своеобразные листья, его необычные стебли, что, пока этот рисунок оставался у меня, мне не нужно было делать других эскизов болиголова. Недаром я так горевал, когда мне пришлось расстаться с ним.

Подняв глаза, я взглянул в лицо той, которая улыбалась мне поверх картины, и теперь, когда я видел его вблизи и когда оно было ярко освещено огнем, пылавшим в камине, оно тоже внезапно показалось мне давно знакомым; и все же я не мог припомнить, где мне пришлось его видеть. Я мучительно думал, уносясь в прошлое, которое тем труднее припоминалось мне, что и события настоящего были еще не вполне мною осознаны. И вдруг по приветливому выражению глаз и полуоткрытых губ я узнал ту прекрасную девушку, которая когда-то заглядывала в окно старьевщика, спрашивая про китайские чашечки; теперь я не сомневался, что сплю и снова вижу сон о возвращении на родину, и знал, что, как это бывало всегда, у него будет печальный конец; поэтому и все, что я видел, казалось мне порождением лукавого сна, а мои мысли об этом — призрачным сознанием спящего, который боится проснуться и увидеть вокруг себя прежнюю беспросветную нужду. Но так как на самом деле я не спал и мой разум работал вполне реально, то я воспринимал все окружающее с особенной отчетливостью и яркостью, и когда взгляд мой снова упал на неприятный пейзаж, где мне были знакомы каждый камешек и каждая травинка, на глазах у меня выступили слезы, и я отвернулся, чтобы сонное видение исчезло.

Даже и теперь, спустя годы, это маленькое происшествие напоминает мне, что пережитое иногда бывает не менее прекрасно, чем увиденное во сне, и притом более разумно; в конце концов, не так уж важно, сколько времени все это длится.

Доротея замолкла, с волнением и участием наблюдая за мной; она не решалась двинуться и на минуту сохранила свою полную прелести позу.

Наконец она снова повторила мое имя и сказала:

— Ну, говорите же! Вы тот, кто все это сделал?

Очнувшись от громкого звука ее голоса, я встал, взял из ее рук рисунок и стал внимательно его разглядывать.

— Конечно, это моя работа, — ответил я, — как она попала к вам? — И в тот же миг я обратил внимание на прочие рисунки, которые девушки разбирали, пока я дремал; подойдя к

²⁰⁴ *Гельвеция* — прежнее название Швейцарии.

столу, я посмотрел на лежавшие там листы, затем порылся в папке и увидел, что в ней лежат все мои рисунки и эскизы; все они были здесь, все лежали вместе, как и в те дни, когда я владел ими.

— Что за приключение! — воскликнул теперь и я в изумлении. — Никто бы не поверил, что такое может случиться! — Я снова взглянул на девушку, которая следила за моими движениями с нескрываемым и радостным любопытством, широко раскрыв удивленные глаза; затем я продолжал: — Но вас я тоже уже видел и теперь понимаю, как попали к вам эти вещи; не случилось ли вам заглядывать однажды в окно к старому Иозефу Шмальхеферу и спрашивать про старинные чашки, в то время как кто-то играл там на флейте?

— Как же, как же! — воскликнула она. — А ну-ка, дайте я посмотрю!

И она без стеснения начала меня разглядывать, положив руки мне на плечи.

— Где же сегодня были у меня глаза? — сказала она еще более удивленно. — Конечно, это так! Я видела это лицо в логове старого колдуна, как его называет отец. И вы тогда играли «Пусть солнце скрыто облаками» — не правда ли, господин Генрих... господин Генрих Лее? А как дальше?

— «Незримое, царит оно! Ужели, боже, править нами слепому случаю дано?» А как же теперь все это понимать?

— Что же, если оставаться в пределах мифологии, я скажу так: пусть уж правит нами прелестное слепое божество случая, пока оно проделывает такие милые шалости! Ему следует приносить в жертву только свежие розы и миндальное молоко, чтобы оно всегда так легко, незаметно и благотворно правило нами! Ну, а теперь вы должны быть приняты по всей форме, достойно сего замечательного события и так, как этого требуют обстоятельства! Здесь, в доме, есть скромная комната для гостей. Я сейчас же дам нужные распоряжения. — вам следует прежде всего переодеться. Остайся пока здесь, Розхен, чтобы никто не обидел бедного господина Лее! — С этими словами она быстро вышла.

Я не знал, должен ли был считать этот новый поворот в моей судьбе счастьем, и со вздохом разглядывал свои рисунки, которые столь неожиданно обрел, чтобы потерять их снова. Розина, которая быстро освоилась с радостным душевным расположением своей госпожи и, видимо, считала меня застенчивым, приветливо сказала:

— Не беспокойтесь ни о чем! Господин граф и барышня поступают всегда так, как им нравится и как они считают правильным! И то, что они делают, они делают искренне, не заботясь о том, что скажут соседи.

— Час от часу не легче! Как, неужели дом этот принадлежит графу? — спросил я, скорее испуганный, чем приятно удивленный.

— А вы разве не знаете? Графу Дитриху В...бергскому. И так, сверх всего меня ожидало новое унижение, — я ведь не умел вести себя с людьми из совершенно неведомых мне высших слоев общества; никогда в жизни я не встречался с одним так называемым графом, и у меня были фантастические представления об образе жизни и требованиях подобных господ; я питал к ним вражду, вызванную природным чувством равенства, которое свойственно швейцарскому гражданину. Потом мне пришло в голову, что, будь хозяин этого дома даже крестьянин, я в своих стоптанных и разбитых башмаках уже не мог стоять с ним на равной ноге, и я впал в полную растерянность от того оборота, который приняло мое странствование. Однако добрая девушка продолжала успокаивать меня, желая придать мне мужества:

— Господин граф, конечно очень удивится и обрадуется, встретившись с вами так неожиданно. Потому что когда он в первый раз привез из города эти рисунки и потом, когда постепенно прибывали еще и еще, господа целыми днями их рассматривали, и папка все время лежала раскрытой.

Спустя некоторое время вернулась Дортхен.

— Прошу вас, подымитесь этажом выше! — сказала она. — Розхен вам посветит, а ее отец поможет вам устроиться. Располагайтесь, как вам будет удобно, насколько это

возможно за такой короткий срок, чтобы вы могли встретить папу вполне отдохнувшим, а мне не пришлось бы получать замечания за плохое гостеприимство.

Я поднял свой дорожный мешок, но его подхватила Розен и понесла впереди меня; она со свечой в руках поднялась на второй этаж флигеля, куда я отправился, предоставив себя воле провидения. Я оказался в комнате садовника, — он сидел вместе с кистером за вечерним стаканом вина и встретил меня как человека, не вызывающего никаких сомнений, да и кистер теперь видел во мне желанного гостя, которого ждали и который, очевидно, странным своим появлением хотел лишь сыграть своеобразную шутку. Садовник повел меня несколькими ступеньками выше, в другую часть флигеля, обращенную к замку, — там была небольшая комнатка, пристроенная к домику и опиравшаяся на деревянные колонны. Этот как бы привешенный снаружи мезонин сплошь, от подножия колонн до самой крыши, зарос пурпурно-красной жимолостью; в комнате стояла кровать и было так много мебели, что здесь можно было не только провести ночь, но и жить со всеми удобствами.

На стульях меня ждало отличное платье, и садовник предложил мне переодеться. Но чтобы не делать этого, я предпочел сразу же лечь в постель, тем более что у меня закрывались глаза, и я попросил садовника, как только я лягу, взять мою мокрую одежду, чтобы ее высушили и почистили. Когда я после всего происшедшего лежал наконец в темноте, слышался шум подъезжающих экипажей и лай собак. Это, несомненно, граф возвращался домой. Но я был рад выпавшей мне отсрочке, благодаря которой я мог в этот вечер не представляться ему.



У Лунного озера.
Акварель. 1873 г.

Глава десятая **ПОВОРОТ СУДЬБЫ**

Спал я так крепко и так долго, что проснулся лишь в середине дня. Мое платье было давно приведено в порядок и неслышно принесено в комнату; когда я взглянул на него, я еще раз порадовался сделке, заключенной с любезным евреем. Так нередко в определенный момент ощущаешь особую ценность той или иной вещи. Скромный доход от моей работы в виде приличного платья показался мне в эту минуту более желанным, чем в другое время могла бы показаться вдвое или вчетверо большая сумма.

Пока я одевался, в дверь мою постучали. Я сказал: «Войдите!» Дверь широко открылась, и на пороге показался высокий красивый мужчина; не выпуская дверной ручки, он внимательно оглядел комнату и ее обитателя. У него была окладистая борода, тогда еще

редко встречавшаяся, которая, как и голова его, была слегка тронута сединой; на нем была короткая серая куртка охотника с роговыми пуговицами.

— Добрый день! Извините, прошу вас! — произнес он звучным низким голосом. — Я только хотел взглянуть, как себя чувствует мой гость.

— Я чувствую себя прекрасно, господин граф, — если в вашем лице я действительно имею честь приветствовать хозяина этого дома! — ответил я, слегка смущенный, отложил гребень, которым как раз причесывался, и поклонился, как умел.

— Пожалуйста, продолжайте заниматься своими делами и чувствуйте себя как дома! Но сперва разрешите мне приветствовать вас.

Он вошел в комнату, крепко пожал мне руку, и с этого момента моего смущения как не бывало, потому что в пожатии его руки, в его взгляде и в звуках его голоса чувствовался свободомыслящий человек, который стоит выше всяких условностей.

— Ну, а теперь скажите, — с живостью воскликнул он, садясь к открытому окну, чтобы мне не мешать, — неужели вы и вправду наш Генрих Лее, тот самый художник, именем которого подписаны все эти превосходные рисунки? Подтвердив это, вы доставили бы мне величайшее удовольствие. Знаете, в прежние годы я сам занимался подобными вещами, но у меня ничего не получалось, и я забросил это занятие. Но я очень радовался всякий раз, когда мне удавалось раздобыть настоящий рисунок с натуры, а это не часто бывает. А потому ничто не могло быть для меня более желанным, чем обладание подобным, можно сказать, богатством, — оно включает в себе весь путь развития честного художника, стремящегося к истине, и вместе с тем целую галерею явлений живой природы. Когда мы раскопали эти вещи у захолустного чудака-мецената, я сразу же позаботился, чтобы все это попало в мои руки. Я пытался также узнать, откуда у него рисунки, но старик упорно держал это в тайне!

Тем временем я вытащил из дорожного мешка сверток, в котором вместе с письмами матери лежал мой паспорт. Развернув сверток, я показал графу документ, где были указаны и скреплены печатью мое имя и звание.

— Все это в точности так, господин граф! — ответил я, весело рассмеявшись. — Романтическая судьба дает мне возможность еще раз взглянуть на скромные плоды моих юношеских трудов и убедиться в том, что они в хороших руках, прежде чем я вернусь туда, где они были созданы.

Граф взял паспорт, внимательно прочел его и извинился передо мной, сказав, что делает это отнюдь не из недоверия к моим словам, но из желания запечатлеть в своей памяти самый этот факт.

— Это замечательное совпадение, — добавил он, — но теперь, уж, во всяком случае, в ближайшие дни, не может быть и речи о дальнейшем путешествии, если мы хотим соответственно почтить нашу встречу. Меня интересует, как вы попали в такое затруднительное положение, как вообще сложилась ваша жизнь и что вы думаете делать в дальнейшем. Обо всем этом следует не торопясь, с толком побеседовать, пока вы будете отдыхать у нас, сколько потребуется.

Вдруг его удивленные глаза остановились на столе, откуда я небрежным жестом снял полотенце, чтобы вытереть руки, которые успел помыть во время нашего разговора. Дело в том, что, услышав стук в дверь, я быстро набросил полотенце на содержимое моего путевого мешка, и теперь его взгляду открылся череп, а также переплетенная рукопись истории моей молодости.

— Какой таинственный багаж! — воскликнул он, подходя к столу. — Череп мертвеца и томик in quarto в зеленом шелке на золотом замке! Вы что — заклинатель духов и искатель кладов?

— К сожалению, нет, как видите! — возразил я и в нескольких словах рассказал ему досадное происшествие с черепом. А так как веселые лучи утреннего солнца подняли мой дух и сделали меня общительным, я позабавил его вчерашней шуткой, которую сыграл с лесным сторожем. Граф пристально смотрел на меня своим внимательным и лучистым взглядом.

— А эта книга, что она представляет собой?

— Это я написал, когда не знал, что мне делать и как жить дальше; в ней содержится описание моих юных лет, которое я предпринял, желая пересмотреть всю свою жизнь. Но из этого намерения ничего не вышло, — я просто предавался удовольствию вспомнить о прошлом. А нелепый переплет — не моя вина.

Я поведал ему, как благодаря недоразумению с переплетчиком лишился последнего гульдена, как познал муки голода и благодаря чуду с флейтой попал к старьевщику.

— А, так вот когда Доротея слышала вашу игру на флейте! — воскликнул граф, от души смеясь. — Дальше, дальше! Что случилось потом?

Я добавил историю с раскрашиванием флажштоков и рассказал о мирном удовлетворении, которое принесла мне эта работа, а также о смерти хозяйки и о том, что было дальше, вплоть до рассказанного уже ранее случая с черепом, когда хозяин кинул его вдогонку. О короткой встрече с Хульдой и обо всем остальном я умолчал.

Граф взялся за книгу.

— Вы разрешите мне на нее взглянуть или, может быть, даже почитать ее? — спросил он, и я охотно разрешил, если только она ему не наскучит.

— А теперь пойдемте в дом и немного закусим, — обед будет только через три часа.

Он взял книгу, подхватил меня под руку, и мы направились к замку — так называлось главное здание, построенное, видимо, в начале прошлого столетия. Граф повел меня в свои покои, расположенные в нижнем этаже; их центром был большой светлый зал, с большими удобными столами, отведенный под библиотеку. Здесь был приготовлен завтрак, рядом лежала уже папка с моими эскизами. Граф Дитрих, по-дружески разделив со мной трапезу, открыл папку.

— Вы должны мне помочь привести все в систему, — сказал он, — надеюсь, что на ближайшие несколько дней это занятие развлечет вас. Многие рисунки не датированы; между тем манера письма и степень законченности здесь совершенно различны: тщательно доработанное и небрежное, удачно схваченное и неудачное, написанное более уверенной рукой и менее уверенной — все это так перепутано, что я не могу распределить рисунки в хронологическом порядке, как мне бы этого хотелось. Не знаю, понятна ли вам моя мысль? Вот рисунок, который свидетельствует о еще не развитых способностях; очевидно, он принадлежит к ранним вещам, и все же в нем схвачено самое главное, и он представляет собой безусловную удачу, пленяющую прелестной наивностью; а здесь, несмотря на уверенность более зрелой техники, ясно видно, что автор своей цели не достиг... Короче говоря, мне все это очень важно, и я бы хотел, чтобы вся коллекция была как можно точнее выдержана в смысле хронологии; иначе говоря, мы должны обо всем условиться и сделать все, что сочтем необходимым. Я сегодня утром много думал по этому поводу!

Я был удивлен его глубоким пониманием и тем, как он подкреплял отдельными примерами свои суждения. Потом он вытащил из шкафа еще несколько папок.

— А вот здесь я никак не могу разобраться. Эти вещи действительно тоже ваши? Я вижу разрезанные на куски рисунки, но не знаю, как их сложить.

Это были мои большие картоны. Но старьевщик перепутал разные листы, он соединил вместе цветные и монохромные, большие и меньшие, распределил их поровну в каждой папке с таким расчетом, чтобы все папки, в меру его разумения, оказались более или менее равноценными, — так он хотел внести известный порядок в эту хаотическую коллекцию. Вероятно, и граф еще не разобрался в ней как следует, и я понял, что ему было нелегко найти связь между кусками. Я начал быстро сортировать великое множество отдельных листов, затем выбрал на полу свободное место достаточных размеров и сложил там свою древнегерманскую священную рощу.

Граф молча разглядывал большой картон и наконец сказал:

— Значит, подобными вещами вы тоже занимались? Почему же эта вещь разрезана?

— Потому, что я мог ее навязать старику только в таком виде; едва ли он дал бы мне за весь этот цветной картон столько, сколько я получил за отдельные куски. К тому же,

откровенно говоря, мне не хотелось, чтобы эти огромные композиции красовались в его жалкой лавчонке и оттуда попали бог знает куда. Ведь какому-нибудь хозяину пивной могло прийти в голову украсить ими стены кегельбана, и я стал бы притчей во языцех, — ведь эти мои опыты небезызвестны в мире художников! А так это было менее вероятно!

Разобрав первую картину, я сложил «Охоту на тура», затем «Средневековый город» и остальные мои произведения.

— Ну, теперь я хоть знаю, чего вы хотели! — сказал граф. — Но вы все же варвар. Как мы сможем восстановить картины без ущерба для них?

— Надо заказать у ближайшего столяра легкий подрамник из елового дерева, натянуть на него дешевый холст и наклеить листы в прежнем порядке; будет видна сетка из едва заметных линий, но это не страшно. Что же вы хотите с ними делать, скажите на милость?

— Я повешу их здесь, над книжными шкапами. Они будут вставлены в темные рамы, и в таком виде, как они есть, не совсем законченные, они здесь будут на своем месте в качестве свидетельства пытливого изучения и усердного труда, а для меня еще и как живое воспоминание об их авторе, который жил в этом доме.

В самом деле, на высоких стенах этой комнаты оставалось еще достаточно места и над дубовыми шкапами; когда я представил себе, что эти диковинные плоды моих исканий будут здесь храниться, я не мог не обрадоваться той счастливой судьбе, которая в конце концов выпала им на долю. Над ними будет торжественно выситься сводчатый потолок большого зала, а несколько античных бюстов, глобусы и тому подобные вещи, стоящие на книжных шкапах, будут скорее украшать картины и придавать им законченность, чем заслонять или уродовать их.

Граф продолжал:

— Но я спрошу, почти как вы: что же вы думаете делать с самим собой?

— Это мне стало более или менее ясно в эту самую минуту, — теперь я вполне достойно и, так сказать, с примиренным сердцем могу сказать «прости» той половинчатой жизни, которую вел до сих пор, и в конце концов могу вернуться к тому образу жизни, который мне более подходит, хотя он и куда более скромный. Что это будет, я еще, правда, не знаю, но долго медлить я не стану.

— Не решайте ничего слишком поспешно, хотя мне кажется, что я понимаю ваши чувства! Прежде всего давайте приведем в порядок наши деловые отношения. Хотите вернуть себе ваши произведения, а если нет, то на каких условиях вы оставите их у меня?

— Но они же — ваша собственность! — сказал я удивленно.

— Какая там собственность! Не оставлю же я себе ваши папки за ту незначительную сумму, которую я за них заплатил, — тем более теперь, когда мы с вами знакомы и вы гостите у меня. Не думаете же вы, что этот старый сын взял с меня много денег! Он удовлетворился весьма скромным заработком. Или вы собираетесь все это принести мне в дар?

— Я считаю, что мои папки выполнили свое назначение и уже сослужили мне службу. В минуту нужды они поддержали мое существование; каждый грош, полученный за них, был мне дороже талера, и я расстался с ними, получив все, что мне причиталось по праву. Что пропало, того не вернешь, и говорить об этом нечего.

— Это я считал бы правильным при иных обстоятельствах. Но в нынешнем положении это ненужная щепетильность, и от нее надо отказаться. Я богат и купил бы эту коллекцию за любую подходящую цену, даже если бы вы сами ничего не получили, — значит, не считаясь с вами. Учитесь настаивать на своем праве, если вы при этом никого не ущемляете и не угнетаете, даже пусть это будет только моральное право, и примите без стеснения цену, которая вам следует; потом вы вольны сделать с деньгами все, что вам захочется! Итак, назовите цену, которую вы считаете достаточной, и я буду рад оставить эти вещи за собой!

— Что ж, хорошо — ответил я, улыбаясь и не без тайной радости, что мои дела так быстро поправились, — давайте высчитаем все совершенно точно! Здесь должно быть примерно восемьдесят полностью законченных рисунков, которые в среднем, в обычной

продаже и при добросовестной оценке, стоят по два луидора каждый, — может быть, один чуть больше, другой чуть меньше; затем должно быть около ста небольших набросков и эскизов, которые частью вообще ничего не стоят. Их можно считать на круг по гульдону, и от суммы, которая получится, отнимите ту, что вы уплатили за все это господину Шмальхеферу.

— Ну, вот видите, — сказал граф, — это разумные слова! Могу вам сразу назвать сумму: за все эти вещи, включая большие картоны, я заплатил старьевщику триста пятьдесят два гульдена сорок восемь крейцеров.

— Значит, он действительно заработал не так много, как я полагал, — заметил я, — так как примерно половину этой суммы он отдал мне.

— Это показывает, что он не слишком разбирался в этой отрасли своего цветущего предприятия! Ну, а что касается картонов, которые вы почти уничтожили, о них мы договоримся впоследствии, когда они будут восстановлены. Теперь давайте сосчитаем содержимое этой папки, чтобы вы, к тому времени, как мы сядем за стол, уже знали, сколько у вас денег, и освободились от этих забот.

Я начал раскладывать свой товар на две кучки; более ценные вещи в одну сторону и менее достойные в другую, не долго задумываясь над каждым рисунком. Граф нередко спасал тот или иной, с моей точки зрения менее удавшийся, рисунок и откладывал его к более ценным. В конце концов обе кучки были сосчитаны и оценены, после чего хозяин удалился во внутренние покои и вернулся с суммой, превышавшей полторы тысячи гульденов. Он пересчитал золотые монеты и положил их передо мной. Я поблагодарил графа с пылающим от радости лицом, вытащил свой кожаный кошелек, в котором лежали жалкие гроши на дорожные расходы, вынул их и всыпал туда золото, от которого мои кошельки сильно округлились. Теперь я был уверен, что вернусь домой при значительно лучших обстоятельствах, чем предполагал, и что смогу вернуть матушке часть того, чем она пожертвовала ради меня.

— Ну, как у вас теперь на душе? — спросил меня граф, заметив на моем лице радостное удовлетворение, когда я прятал в карман реальную пригоршню того сказочного золота, которое видел во сне. — Вы не испытываете желания отказаться от своих планов и еще некоторое время продолжать занятия живописью? Ведь после того, как на мою долю выпала честь положить такое начало, все может повернуться к лучшему и пойти по совсем другому пути!

— Нет, такого поворота не может быть! Все это неожиданное приключение носит слишком исключительный характер и повториться не может. К тому же мое решение коренится глубже, и оно не зависит от того или иного материального успеха. Я видел людей, превосходивших меня талантом, которые выполнили подобное решение и оставили щедро вознаграждавшуюся деятельность художника только потому, что у них не лежала к ней душа.

Я рассказал ему истории Эриксона и Люса. Но он покачал головой и произнес:

— Оба эти случая разнятся между собой, и оба они отличаются от вашего! Спору нет, и вы не просто невежественный пачкун, — если бы это было так, вам ничего бы не стоило бросить вашу профессию, и мы бы с вами не занимались этим разговором. Конечно, признаюсь вам, при известных обстоятельствах мне даже нравится, когда человек может бросить ремесло, которое он понимает, чувствует и знает вдоль и поперек, только потому, что оно не удовлетворяет его, — я готов считать это проявлением внутренней силы человека. Но мне кажется, вы еще недостаточно проверили себя. Именно потому, что вы еще не достигли высшей точки своего развития, не достигли уверенности тех обоих художников, о которых вы рассказывали, вы, по-моему, еще не вправе совершить этот гордый шаг отречения!

Я рассмеялся, подумав о том, во сколько бы мне обошелся подобный поступок при моих теперешних обстоятельствах, но не сказал об этом вслух и лишь заметил:

— Вы ошибаетесь, господин граф! Я уже достиг вершины своего скромного пути и,

поверьте, ничего лучшего уже не создам; даже при самых благоприятных условиях из меня выйдет в лучшем случае академический дилетант, стремящийся стать чем-то особенным и, в сущности говоря, не отвечающий требованиям ни окружающего его мира, ни эпохи.

— О нет! Повторяю вам, здоровый инстинкт не дал вам завершить то, что вы хотели. Человек, созданный для высоких целей, будет всегда плохо справляться с низменными задачами, пока он будет ставить их себе по принуждению. Ибо свободный человек, не ограниченный никакими рамками, достойно исполняет лишь наивысшее из всего, что он вообще способен сотворить, во всем остальном он будет путаться и делать глупости. Другое дело, если он из чистого задора примется снова за пустяки, — тогда он шутя и играя справится с ними. И вот это, по-моему, надо попробовать! Вам не следует обращаться в жалкое бегство, вы должны с достоинством оставить занятия вашей юности, чтобы никто не мог косо посмотреть вам вслед! Даже если мы и отрекаемся от чего-либо, мы должны отречься по свободному выбору, не так, как лисица пренебрегла виноградом.

При этих словах я отрицательно покачал головой, мысли мои были заняты лишь тем, чтобы как можно скорее направиться домой со своим негладким капиталом. Но наш разговор был внезапно прерван приходом духовного лица, местного капеллана, которого кистер успел известить о появлении удивительного гостя, и тот, воспользовавшись своим правом в любое время приходить в замок к обеду, явился, чтобы удовлетворить свое любопытство. Капеллан был в высоких начищенных до блеска сапогах и в черном, тщательно вычищенном сюртуке; в одной руке он держал шляпу и палку, а другой описал круг в воздухе и с юмористически-преувеличенным поклоном представился как посланец хозяйки замка. Она поручила ему сказать, что стол накрыт и что она ждет нас на садовой террасе.

— Ибо, — сказал он шутливо, — я не устану носить ее цепи до тех пор, пока меня за них не поднимут на небеса!

Прежде всего я был представлен этому господину, а затем мы все вместе отправились к назначенному месту. Юная хозяйка, освещенная мягким солнечным светом, прогуливалась взад и вперед по террасе. Она приветливо поздоровалась со мной, сказала, что мы не видались целую вечность, и спросила, как я поживаю. Но, не дождавшись моего ответа, она попросила капеллана дать ей руку: тот не преминул сделать это со все той же шутливой церемонностью и направился к дому, а затем вверх по широкой лестнице. Мы с графом следовали за ними и наконец вошли в столовую. Уже это небольшое шествие по величественной лестнице и длинным коридорам невольно привело мне на память трудные тропы, по которым я пробирался не далее чем сутки назад, а когда мы вчетвером сидели за круглым столом и нас обслуживал одетый в черное, неслышно ступавший лакей в белых перчатках, я чувствовал себя совершенно подавленным чудесной переменой судьбы, которая была тесно связана с работой рук моих и с ушедшими в прошлое годами моей жизни. Но наша трапеза была так далека от пышности и всяких церемоний, тон беседы был таким свободным и непринужденным, что я вскоре всецело предался спокойному довольству и отбросил все заботы. Беседу вел преимущественно капеллан, перебрасываясь с девушкой бесчисленными остротами, значение которых мне было не всегда понятно.

— Вы знаете, — обратился он вдруг ко мне, — наша милостивая госпожа избрала меня своим веселым советником, или, вернее, духовным шутком при своем дворе, и я принял эту трудную должность лишь затем, чтобы спасти все же ее неверующую душу, в чем я и надеюсь преуспеть!

— Не верьте этому, — прервала его Доротея, — его преподобие, напротив, играет со мной, считая мою душу безнадежно погибшей, как шаловливый котенок играет с бабочкой и треплет ее в лапках.

— Не заходите слишком далеко в ваших шутках, друзья! — заметил граф. — Наш гость тоже большой хитрец, он возит с собой такого шута, вместе с которым не боится вступить в спор даже с сильными мира сего.

Тут он поделился с окружающими рассказом о черепахе и лесном стороже. Удивление,

встретившее этот рассказ, и успех, выпавший на его долю, побудили меня поведать историю самого Альбертуса Цвихана в том виде, в каком я считал ее за *fable convenue*²⁰⁵, а именно — как он из-за двух красавиц, Корнелии и Афры, или, вернее, из-за своих колебаний между ними обеими, лишился и наследства и жизни. Доротея слушала меня, приоткрыв рот; вокруг цветущих губ ее играла улыбка, а короткие захлебывающиеся звуки, похожие на звон колокольчика, выдавали ее веселость, которую она, однако, пыталась скрыть.

— Ну, ему досталось поделом! — воскликнула она. — Он был подлый негодяй!

— Я не хотел бы судить о нем так жестоко, — рискнул я возразить, — по своему происхождению и воспитанию он был наполовину дикарь и с эгоизмом ребенка тянулся к каждому огоньку, который вспыхивал перед ним, не зная, что такое любовь и как можно обжечься об это пламя!

Но, высказав это мнение с видом знатока, я все же густо покраснел и сразу пожалел, что произнес эти слова: я не только заметил, какую мину скорчил капеллан, обратив к Доротее свое смешливое лицо с изувеченным носом (это было последствием сабельного удара, полученного еще в студенческие годы), но и почувствовал все слабые стороны моего собственного жизненного опыта, без чего я бы и не оказался здесь. Втайне я принял решение как можно скорее двинуться в путь, и когда после обеда зашла речь о том, как провести остаток дня, я выразил желание отыскать прежде всего мастера и заказать ему подрамники для восстанавливаемых картонов. Капеллан вызвался проводить меня к деревенскому столяру, который, как он полагал, без сомнения, мог справиться со столь несложной работой. Когда мы стали думать, где найти подходящий плотный материал, чтобы наклеить на него картоны, то выяснилось, что в церковном доме, забота о котором входила в круг обязанностей графа, как попечителя, как раз работает обойщик, живущий по соседству, и он занят оклейкой комнаты новыми обоями.

— У него достаточно бумаги, чтобы обтянуть три рамы, — сказал священник, — это длинные полосы, которые он подкладывает под обои, чтобы мне было тепло зимой!

— Это не годится, — возразил граф, — здесь надо положить крепкий холст, чтобы он продержался. Так как этот человек делает и матрацы, то он, очевидно, сумеет достать такой материал. А пока что господин Лее даст ему соответствующий заказ. Затем пусть они оба, и столяр и обойщик, придут сюда, один с уже готовыми планками, другой с холстом, и здесь, под руководством художника, изготовят рамы точно по мерке.

Радуюсь предстоящему занятию, я отправился с капелланом в близлежащую большую деревню, где находилась главная церковь новейшей постройки. Деревня носила имя графского или прежнего баронского рода, и капеллан, развлекавший меня по пути разговором, показал мне седые развалины старого родового замка на гребне горы. С его помощью я успешно завершил свое небольшое поручение и после длительной прогулки, предпринятой мною уже в одиночку, вернулся обратно в замок.

Граф куда-то уехал; спрашивать молодую хозяйку мне показалось неудобным. Поэтому я в одиночестве остался на террасе, разглядывая вечерние облака, этих приветливых спутников одинокого странника, которые без усталости меняют свое обличье и привлекают к себе усталый взор, давая ему отвлечься и отдохнуть. «Что за чудесное явление! — думал я. — Здесь слиты воедино необходимейшее средство существования с бесконечным изобилием зрительных образов, равно существующих для бедного и богатого, молодого и старого и во всех случаях жизни являющихся зеркалом чувств и незримым судьей, от которого не ускользает ни одно движение души!»

От этого мирного созерцания меня пробудили легкие шаги Доротеи, звук которых мне уже был знаком. Она быстро поднялась по ступенькам террасы, держа в руках мою красиво переплетенную зеленую книгу.

— Как, вас оставили одного? — воскликнула она, увидев меня. — А знаете ли вы,

²⁰⁵ Подходящую историю (*франц.*).

откуда я иду? С кладбища. Там я читала вашу рукопись, историю маленькой Мерет, которая не хотела молиться. Это ничего, что я читала без вашего разрешения? Надеюсь, вы мне позволите продолжать? Папа провел сегодня над нею несколько часов и потом дал мне, чтобы я прочла эту историю. Посмотрите, я вложила сюда листок плюща с детской могилки! Но теперь, когда мы встречаемся, вы должны давать мне руку, ведь мы уже с вами близко познакомились!

Глава одиннадцатая
ДОРТХЕН ШЕНФУНД

Прошло несколько дней; я привел в порядок все свои работы и закончил реставрацию больших и маленьких картонов. Еще не прибыли из города рамы, в которые должны были быть вставлены эти вещи, но граф уже повесил их на отведенное им место и теперь с удовлетворением разглядывал каждую из них. Они не претендовали на большую ценность, но в самом деле оживляли строгий библиотечный зал; а у меня, как я уже заметил раньше, было приятное сознание, что эти свидетельства моих честных исканий в живописи нашли себе достойное прибежище. К тому же граф не скупился на ободряющие слова.

— Захотите ли вы продолжать свой путь художника или нет, — говорил он, — эти картины не утратят для меня своей ценности, в первом случае как вехи вашего творческого развития, во втором — как живое воплощение истории вашей юности, которую я теперь прочитал, или как дополнение к ней. У каждого из нас есть излюбленное занятие; мне нравится наблюдать за разворачиванием жизненного пути, вот такого, как ваш. Вы — настоящий человек, но живете в мире символов, а это сулит немалые опасности, в особенности если человек так наивен, как вы. Впрочем, не стоит сейчас ломать себе голову над всем этим, по крайней мере, вам; ибо, что касается меня, я уже все равно поседел от раздумий. Моя задача сейчас — вознаградить вас за украшение моей библиотеки!

— Да ведь вы это уже сделали! — почти испуганно сказал я, боясь, что мне снова придется получать деньги, настолько подозрительным показалось мне мое непривычное счастье; и все же я церемонился не столько из ложного жеманства, а скорее потому, что действительно был смущен. Я сам был беден, и мне было неловко вводить графа в столь большие расходы.

Но в ответ он воскликнул:

— Не смущайтесь, мой друг! Разумеется, это не настоящая их стоимость, — я понимаю, что подобные вещи нелегко продать и они не всякому нужны; это скорее вопрос чести для меня, а для вас насущная необходимость. И так как наши желания совпадают, а кроме того, это достойно завершает необычное приключение, почему бы нам и не поступить по чести?

С этими словами он сунул мне в нагрудный карман конверт, наполненный банкнотами; как оказалось потом, там была сумма, равная той, какую он выплатил мне раньше, так что я оказался вдвое богаче, чем несколько дней тому назад.

— Итак, — продолжал он, — поговорим о главном, а именно — чем вы займетесь теперь? Я тоже чувствую, что вам необходимо переменить профессию; для того чтобы быть скромным пейзажистом, у вас неподходящий характер — вы слишком широкий, угловатый, противоречивый и беспокойный человек, вам нужно заняться другим делом! И вы должны это сделать не поневоле, не с отчаяния, но, как я уже говорил вам, сохраняя свое достоинство и полную свободу воли и выбора.

— Но ведь я уже отдал дань приличию благодаря тому милостивому приему, который вы оказали моим сомнительным творениям!

— Нет, не это я имел в виду! Вы должны сами себе явить доказательство ваших способностей, показать, что вы сможете если и не с блеском, то, во всяком случае, с честью, выдержать любое испытание в той области, которую избрали; и лишь тогда вы можете ее оставить! Напишите здесь, у нас, законченную вещь, собрав все свои силы, но с легким

сердцем, смело и без забот, и я готов побиться об заклад — мы продадим ее!

Я снова покачал головой, так как представил себе долгие месяцы, которых мне еще будет стоить такая затея.

— Господин граф, — сказал я, — даже если эта вещь и удастся мне, она будет не чем иным, как одним из тех символов, в мире которых я, по вашему мнению, обретаюсь, и в данном случае он обойдется мне слишком дорого! Да и ваше собственное великодушное способствовало тому, что я с нетерпением рвусь домой!

— Послушайте, вот что я вам предложу! — возразил он. — Давайте действовать без дальнейшего промедления. Оставьте окончательное решение до утра. Соберитесь в путь завтра пораньше, экипаж будет ожидать вас; и тогда, в соответствии с вашим желанием, я либо доведу вас до ближайшей почтовой станции, где проходит путь на Швейцарию, либо мы вместе отправимся в город, где у меня и без того есть дела, и вы сделаете все покупки, необходимые для вашей работы. Идет?

Я согласился, не сомневаясь, что выберу путь, ведущий на родину.

В этот день мы должны были обедать в так называемом рыцарском зале, — он был расположен в верхнем этаже, и я еще там не бывал. Доротея пришла в библиотеку, чтобы известить нас об этом.

— Зал этот выходит на солнечную сторону, и там так тепло сегодня, — сказала она, — что не нужно топить; можно будет даже открыть окна и наслаждаться чудесным осенним днем.

Я с немым восхищением смотрел на девушку, думая, что сама она похожа на солнечный июньский день. Да и граф залюбовался, глядя на нее и приятно изумленный. Она была в черном атласном платье, шею и грудь ее украшали благородные кружева, в которых тонула нить жемчуга. Сегодня тяжелая масса темных локонов была особенно круто отброшена назад, открывая взору светлые виски, и это придавало всей ее головке выражение какой-то гордой свободы.

— Что это ты так нарядилась? — спросил граф. — Или ждешь гостей, о которых я ничего не знаю?

— Да нет, — ответила она, — мне просто захотелось приодеться в честь такой славной погоды и обеда в рыцарском зале. К тому же я надеюсь порадовать взгляд нашего гостя, господина Лее, разнообразными и яркими впечатлениями; может быть, если он будет продолжать свои записки, он когда-нибудь посвятит полстраницы этой трапезе, а вместе с описанием зала в его книгу проскользнет ненароком и моя скромная особа! Да, кроме того, сегодня и в католическом и протестантском календаре день Нарцисса²⁰⁶, а значит, и нам можно предаться сегодня некоторым тщеславным удовольствиям. Не так ли, господин Генрих?

Хотя эта тирада была произнесена с милой улыбкой, в тоне сдержанной серьезности и одновременно приветливой любезности и как будто не таила в себе злого умысла, все же упоминание о Нарциссе показалось мне насмешкой над самолюбованием, которое содержалось в моей рукописи, — мне стало не по себе, и я пожалел, что показал ее. Чем бы ни были вызваны эти колкости, были они осуждением или же просто шуткой, в обоих случаях я чувствовал себя посрамленным и, покраснев, не мог найти слов для ответа. Она не обратила на это внимания и не заметила моего смущения, так что я, видимо, преувеличил серьезность ее намерения уязвить меня.

Рыцарский зал действительно оказался очень пышным и полным праздничной торжественности. По полу расстился ярко-красный ковер; стены между расписным потолком и темными деревянными панелями выше человеческого роста были увешаны портретами предков. Над черным мраморным камином громоздилось старинное оружие и рыцарские доспехи; другое оружие, более тонкой работы, поблескивало в застекленных

²⁰⁶ День Нарцисса — 29 октября.

шкафах, причем особенно выделялись драгоценные шпаги и мечи, изображения которых можно было узнать на некоторых портретах прежних владельцев. Однако тут были предметы вооружения и более далеких веков, не запечатленных на холсте. Так, небольшой треугольный щит был украшен еле видимым старинным простым гербом, — теперь он был лишь одним из двадцати полей родового герба графа Дитриха, и на его верхнем крае были поставлены четыре украшенных короною шлема, напоминающих петухов на жердочке.

Я не мог удержаться и, переходя от одного предмета к другому, с немалым любопытством разглядывал все эти прекрасные вещи; при этом граф давал мне все объяснения, а Доротея принесла ключи и открыла надежно запертые шкафчики большого буфета, в глубине которых мерцало старинное серебро. В резную обшивку стен тоже были вделаны шкафы, в них лежали рукописи на пергаменте с яркими миниатюрами, много грамот с подвешенными печатями в деревянном или серебряном футлярике, а то и без всяких футляров, — последние наполовину искрошились. Граф вытащил несколько таких грамот и развернул их; но я не мог их прочесть, — они относились к двенадцатому или даже одиннадцатому веку; то были императорские письма, в которых шла речь о том участке земли, на котором мы находились. Я не мог сдержать своего удивления перед этим обилием древних памятников и воспоминаний: подобного я никогда не видел; граф заметил, что он собрал всю фамильную рухлядь в этом зале — пусть, мол, она продолжает здесь свое существование, не путаясь под ногами у живых, а сам он получает от всего этого лишь среднее удовольствие, не более чем любой коллекционер.

— Мне кажется, — сказал я, — что столь наглядную и вполне осязаемую старину, имеющую прямое отношение к нам самим, нельзя просто отбросить и забыть, надо уметь наслаждаться ею, не допуская в то же время, чтобы она вторгалась в нашу жизнь и мешала ей.

— Да, казалось бы, так; но кто испытал это сам, тот понимает, что иногда груз шести или семи веков может быть утомителен. Я не раз испытывал желание жить в свободном правовом государстве в качестве аристократа по происхождению, причем под словом «аристократ» я, конечно, понимаю человека, возложившего на себя повышенные гражданские обязанности. Но это только мечты, которые по разным причинам неосуществимы, и потому нам, уставшим от бремени дворянского достоинства, остается лишь один выход — когда-нибудь раствориться в великом океане народа. Но и это наталкивается на немалые трудности, — нелегко осуществить такое намерение, если обстоятельства тому не благоприятствуют, — так что и в этом отношении не так просто управлять своей судьбой, как может показаться. Мой отец, который только благодаря своему происхождению оказался кавалерийским офицером, попал в армию революционной Франции, и в России его настигла жалкая гибель. Старший брат, слывший чудачком, отправился в Южную Америку, чтобы начать новую жизнь на свой лад; но там-то он и стал жертвой слепого случая и погиб молодым, ввязавшись в местные распри. О некоей иберийской²⁰⁷ дворянке, с которой он, по слухам, вступил в брак незадолго до смерти, мы никогда ничего больше не узнали. Теперь я стал владельцем майората²⁰⁸, и все это великолепие принадлежит мне, так как я последний в нашем роде. Если б у меня был сын, я уже давно отправился бы с ним в Новый Свет, чтобы погрузиться в целительные воды народной жизни и вернуть свою молодость. Затеять это путешествие одному не стоит труда, к тому же я, в общем, не испытываю недовольства жизнью. Но пойдете к столу, раз уж нашей даме хочется разыгрывать из себя владительницу родового замка.

²⁰⁷ *Иберийский* — испанский (Иберия — прежнее название Пиренейского полуострова).

²⁰⁸ *Майорат* — земельные владения и другая недвижимая собственность, наследуемая старшим сыном (а в случае его преждевременной смерти — старшим из внуков), не подлежащая разделу. Майораты возникли в эпоху феодализма как средство для сосредоточения земельных богатств в руках аристократических фамилий.

— Да, хочется! Во всяком случае, мне очень нравится в этом зале, который вызывает священный трепет! — с некоторой надменностью проговорила Доротейя, опять смутив меня, так как я не понимал ее новой прихоти и не мог поэтому ни осуждать ее, ни восхищаться ею. Между тем наша беседа в зале действительно казалась торжественной, благодаря сиянию солнца, вливавшемуся в окна, и тонкому аромату изысканных курений, которые жгли здесь перед нашим приходом. Пышные краски, окружавшие нас, стали, казалось, еще ярче и великолепнее.

После того как мы провели некоторое время в беглой беседе, переходившей с предмета на предмет, Доротейя обратилась ко мне с приветливо-снисходительным и все же более или менее равнодушным видом, совсем как светская дама, и сказала:

— Господин Лее, вы ведь тоже не безразличны к своему происхождению и, будучи представителем городского сословия, гордитесь добропорядочностью своих родителей, а в начале вашего повествования уверяете, что у вас тоже имеется тридцать два поколения достославных предков, и вы ведь гордитесь ими, даже не зная их имен?

— Конечно, — самодовольно и с кротким упрямством ответил я, — конечно, меня не подобрали на улице.

Тут она вдруг с ликованием захлопала в ладоши, снова став прежней простой и естественной девушкой, и радостно воскликнула:

— Вот я вас и поймала на слове, мой высокорожденный господин! А меня вот в самом деле подобрали на улице!

Я опешил и глядел на нее, недоумевая, что это все означает; а она все так же весело продолжала:

— Да, да, сударь, строгий хранитель безукоризненного происхождения! Я самый настоящий найденыш, и зовут меня Дортхен Шенфунд²⁰⁹, не иначе, — так окрестил меня мой добрый приемный отец!

С удивлением я взглянул на графа, тот смеялся:

— Так это и есть цель твоей шутки? Мы действительно на днях посмеялись, когда читали ваши слова, будто бы, присматриваясь к себе, вы приходите к убеждению, что у вас имеется тридцать два предка. Когда же мы стали читать дальше и дошли до места, где вы не можете удержаться, чтобы не высказать некоторых соображений о своих предках, это вот дитя надулось и стало жаловаться, что все, все — и дворяне, и мещане, и крестьяне, все гордятся своим происхождением, и только она одна должна стыдиться, что у нее нет никаких родичей. Потому что я и в самом деле нашел ее на улице, и она стала моей умной и славной приемной дочкой.

Ласково провел он рукой по ее непокорным локонам, которые стремились вернуться из своего изгнания на точеной шейке к обычному своему месту у раскрасневшихся щечек. Смущенный и взволнованный, я попросил извинить меня за то, что невольно оскорбил ее чувства. Я добавил, что вполне заслуживаю быть посрамленным, так как задумал сбить спесь с мнимой надменной графини, вместо того чтобы примириться с ее образом мыслей. Впрочем, ее происхождение все же самое знатное, — она появилась как прямой посланец господина бога, и за всем этим может скрываться необычайная и возвышенная тайна.

— Нет, — возразил граф, — не будем делать из нее заколдованной принцессы. Эта незатейливая история известна здесь всем и каждому, а то, что знает любой ребенок, можно рассказать и вам. Около двадцати лет тому назад, когда моя любимая жена умерла, я в безутешной печали много странствовал по стране. Однажды вечером я остановился в одном из наших городских домов, на австрийском берегу Дуная, там, где часто любила бывать моя незабвенная жена. Подойдя к дому, я увидел, что на каменной скамье возле ворот тихо сидит хорошенькая девочка двух или трех лет; я не обратил на нее никакого внимания. Вечером я снова вышел поглядеть на закат над широкой рекой, которым, бывало, так часто любовалась

²⁰⁹ Шенфунд (Schönfund — нем.) — буквально: «счастливая находка». — *Ред.*

покойная; ребенок спал там же. Когда я через полчаса вернулся, девочка неслышно и испуганно плакала. Я позвал управителя, но этот равнодушный человек не сумел мне ничего объяснить, а только сказал, что через город проходила группа переселенцев и, по всей видимости, ребенок принадлежит им. Я приказал взять девочку в дом и позаботиться о ней, а так как все это делалось крайне медленно и неохотно, я позвал ее к себе и накормил ужином. Переселенцы действительно здесь были, но они уже спустились на плотках и кораблях вниз по Дунаю. Согласно данным, установленным полицией, они пришли из Швабии и направлялись в южную Россию; но как на старом месте, так и на новой родине никто ничего не знал о ребенке, нигде его не хватились, нигде — ни в книгах, ни в документах переселенцев он не был записан. Цыганский табор, появившийся вблизи города, дал повод к новым розыскам. Но и там ничего не выяснилось. Короче говоря, девочка осталась у меня, как самый настоящий найденыш, — вот она перед вами! Я создал ей обеспеченное существование, объявил мою покойную жену ее крестной матерью и дал ей имя Доротея, которое носила жена. Фамилию Шенфунд я закрепил нотариальной записью, а когда убедился, что девочка растет славной и доброй, я удочерил ее по всем правилам и законам и добавил к ее фамилии название здешних мест. Так что теперь ее зовут Шенфунд-В...берг. Графиней я, правда, не мог ее сделать, но это и не обязательно!

— Ну как же, следует меня пожалеть, или мне нужно завидовать? — спросила меня красавица Доротея, слегка наклонив голову.

— Конечно, вам можно лишь завидовать, — сказал я, приходя в себя от взволнованного удивления. — Вы просто подобны новой звезде, которая неожиданно появилась из глубин неба и которой дали имя. Но звезда может снова исчезнуть, тогда как бессмертная душа, носящая теперь ваше имя, не исчезнет никогда.

Она слегка покачала головой, как бы в знак отрицания, и промолвила:

— Не будем слишком гордиться подобным утешением. Найденыш может так же незаметно исчезнуть, как появился.

Я не мог объяснить себе значения этих слов, тем более что, любуясь ее красотой, успел позабыть свои собственные слова, вызвавшие ответ девушки, и граф пояснил мне:

— Видите ли, это особенность нашей Дортхен: она не верит в бессмертие души, и не то чтобы ее научили этому кто-нибудь оказал на нее влияние — нет, она не верит сама по себе, сызмальства, так сказать с пеленок! Доротея застыдилась, как будто выдали ее сердечную тайну; она опустила голову на камчатное полотно скатерти, так что локоны ее рассыпались по столу. На меня же этот разговор произвел неотразимое впечатление. Так нас порой охватывает какой-то сладостный испуг или трепет, когда юное существо, уже вызвавшее в нас сердечную склонность, внезапно обнаруживает некое важнейшее свойство своей природы и в один миг становится нам бесконечно близким.

— Ну, так как вы теперь все знаете обо мне и видите меня насквозь, — произнесла она, неожиданно поднявшись с нежной улыбкой, — я могу удалиться и позаботиться о том, чтобы нам подали кофе в каком-нибудь уютном уголке!

Позднее, сопровождая графа во время его хозяйственных обходов по имению, — он сам следил за основными работами, — я подробнее расспросил его.

— Да, это так, — ответил он, — с той поры, как она начала хоть сколько-нибудь сознательно рассуждать и услышала об этих вещах, — я даже не припомню, с каких нор, — она со всей детской чистотой и непосредственностью говорит мне, что никак не может понять, почему люди должны быть бессмертны. Бывает, и не так редко, что добропорядочные люди всех сословий просто заимствуют это первобытное, естественное чувство бренности всего земного у нашей матери-природы и, не будучи даже по своей натуре скептиками или насмешниками, сохраняют на всю жизнь эту беспечную уверенность как нечто само собой разумеющееся. Но в такой естественной и прелестной форме, как у маленькой Доротеи, это явление мне еще не встречалось; ее невинная убежденность заставила меня, — а ведь я никогда не задумывался над понятиями бога или бессмертия, — еще раз взяться за свое философское образование, и тогда я путем размышлений и чтения

книг пришел к тому, до чего она дошла своим умом. Дортхен через мое плечо заглядывала в книги, и тут меня особенно поразило, какие формы приняло это чувство, подкрепленное зрелым сознанием. Тот, кто полагает, что без веры в бессмертие не было бы в мире ни поэзии, ни смысла жизни²¹⁰, — тот должен был бы взглянуть на эту девушку: не только природа и вся жизнь вокруг нее, но она сама как бы озарилась. Свет солнца казался ей в тысячу раз прекраснее, чем другим людям, бытие всех вещей стало для нее священным, и смерть тоже, — к ней она относится очень серьезно, но не боится ее. Она приучила себя ежечасно думать о ней, отдаваясь беззаботному веселью или испытывая безоблачное счастье. Она всегда помнит, что настанет день, когда мы всерьез и навеки должны будем уйти из жизни. Бренное бытие нашего существа, наши встречи с другими преходящими и живыми тварями или неодушевленными вещами, наш вспыхивающий молнией и быстро исчезающий полет в мировом пространстве облечен в ее глазах легким ореолом тихой грусти или нежной веселости, которая не дает почувствовать тяжести неисполненных желаний отдельного человека, ибо мир как целое продолжает существовать. А с каким благоговением и участием относится она к умирающим и мертвым! Для тех, кто лишился своей награды и должен был уйти, как она говорит, она украшает могилы, и не проходит дня, чтобы она не провела на кладбище хотя бы один час. Для нее это любимое место прогулок и уединения в часы грусти, и она возвращается оттуда то веселой и задорной, то тихой и задумчивой.

Такой привлекательный образ мыслей подходил, пожалуй, лишь для этой беззаботной, свободной от всяких печалей и утонченной жизни, для здоровой, полной сил, молодости, и все же рассказ графа усилил мое влечение к ней и мое замешательство.

— А в бога она тоже не верует? — спросил я.

— По школьным правилам, — ответил граф, — эти два вопроса неразделимы; но так как она женщина, то законы логики для нее необязательны, ибо ее понятия не укладываются в них. «Ах, боже мой, — говорит она, — могу ли я, жалкое создание, что-нибудь в этом понимать? Для бога все возможно, даже то, чтобы он существовал!» Но дальше она не заходит в своих забавных рассуждениях, даже в разговоре или чтении она не терпит слишком большой свободы или дерзости, испытывая при этом лишь неловкость, и не любит слишком грубых выпадов. Она тогда говорит, что не понимает, почему надо быть грубым и дерзким по отношению к богу, даже если человек не верит в его существование и не боится его. Это, по ее мнению, скорее низкий образ действий, нежели проявление храбрости.

Возвратясь домой после нашего обхода, я направился в свое идилическое жилище в садовом флигеле, — я упросил оставить меня там, когда речь зашла о моем переселении в замок. В своей комнатке я нашел гостей: Доротей, после своих обычных занятий в зале, поднялась вместе с дочкой садовника наверх, чтобы посмотреть, все ли у меня есть, что нужно. Войдя, я заметил, что за моим зеркалом воткнуты крест-накрест два красивых стебля тростника с пышными кустиками цветов на концах. На комод перед зеркалом, оправленным в потускневшую раму из посеребренной чеканной меди, лежал череп Цвихана, уложенный на мягкую подстилку из зеленого мха, и виски его были обвиты веночком из барвинков. Розхен стояла, опершись локтем на пузатый комод, и, наклонившись, внимательно разглядывала череп; она забавно наморщила носик и вытянула губы. Немного поодаль, сложив руки за спиной, стояла ее госпожа, погруженная, как казалось, в серьезные размышления, и созерцала дело рук своих.

— Похвалите же нас за то, что мы так убрали вашу комнату! — обернулась она ко мне. — Мы старались скрасить вашему молчаливому спутнику пребывание у нас, да и вас при этом не забыли. Но я как раз думаю о том, что пора вам расстаться с ним и дать ему

²¹⁰ *Тот, кто полагает, что без веры в бессмертие не было бы в мире ни поэзии, ни смысла жизни.. .* — Высказанные здесь и далее мысли почти дословно передают признание Келлера своему другу композитору Баумгартнеру в письме из Берлина от 27 мая 1851 г. об отказе от веры в бога и бессмертие души под влиянием философии Фейербаха.

покой. Мы при случае похороним его на нашем кладбище, я нашла для него укромное местечко под деревьями, где никогда не перекапывают землю.

Это «при случае», слетевшее с ее уст, как невесомый лепесток розы, звучало так гостеприимно, что у меня сразу же стало тепло на сердце. Но я ответил, что давно решил вернуться на родину вместе с черепом, и там я снова предаю его земле, хотя такой поступок и может показаться бессмысленным и ненужным.

— Когда же вы собираетесь в путь? — спросила Дортхен.

— Я думаю, завтра, как было решено!

— Вы не уедете, вы поступите так, как советует вам папа! Пойдемте, я покажу вам что-то интересное! — Она открыла старинный инкрустированный шкафчик, стоявший в углу, и вынула оттуда несколько настоящих китайских чашечек, очень тонких и пестрых. — Посмотрите, я их сторговала у нашего с вами чудака-старьевщика; он обещал мне достать еще, но до сих пор не сдержал слова. Мы их принесли сюда, чтобы вы могли нас как-нибудь пригласить на чашку кофе, здесь или внизу, в зале, и для того, чтобы у вас в комнате стояли красивые вещи. Смотри, Розхен, вот как господин Лее играл на флейте, когда я впервые увидела!

Она взяла мою палку, приложила ее, подобно флейте, к губам и спела при этом первые слова арии из «Волшебного стрелка»: «Пусть солнце скрыто облаками», — потом, отложив палку в сторону, она спела в убыстренном темпе последнюю фиоритуру, шаловливо скандируя ее, но таким красивым и уверенным голосом, что снова привела меня в изумление. Когда кончился этот ее минутный каприз, песня замолкла так же неожиданно, как зазвучала. Тут она увидела капеллана, проходящего под окнами, и закричала ему:

— Ваше преподобие! Поднимитесь на минутку к нам, мы тут болтаем, чтобы провести время до чая, и ухаживаем за нашим многострадальным Одиссеем. Розхен представляет собой Навсикаю, вы — священную власть, Алкиноя, благородного властителя феаков, а я — добродетельную Арету²¹¹, дочь богоподобного Рексенора!

— Тогда вы оказались бы моей супругой, милостивая язычница! — проговорил священник, отдуваясь, когда он в самом деле поднялся и вошел в комнату.

— Замечаете вы что-нибудь, о бритоголовый слуга девы священной, — засмеялась она, — той, что в эфире царит и чей трон — алтари золотые?

— Ну, этот разговор выше моего понимания! — воскликнула Розхен, пододвинув капеллану один из немногочисленных стульев, стоявших в комнате, и удалилась; он же завязал веселую беседу, продолжая воевать с Доротеей. Наконец явился граф, чтобы посмотреть, куда мы все девались, и принял участие в нашем разговоре, пока не стемнело и луна, взошедшая над деревьями парка, не бросила в комнату свои призрачные лучи. По ее виду я понял, что прошел всего лишь месяц с тех пор, как я сидел с работницами у реки под серебристыми тополями, и удивился быстрой смене событий на таком обыкновенном жизненном пути.

В замке наше маленькое общество долго не расходилось. Вначале Дортхен казалась еще возбужденной и веселой; постепенно она становилась тише, молчала и только время от времени играла на большом рояле короткие пассажи; затем она исчезла, не прощаясь.

В эту ночь я долго, почти до рассвета, не мог заснуть, но не чувствовал себя из-за этого хуже. Едва я закрыл глаза на короткое время, как меня разбудили, — близился час отъезда. В смущении я торопливо оделся и поспешил в замок. Граф уже сидел за завтраком; экипаж стоял у дверей, и кучер возился с лошадьми. Когда мы сели, граф спросил:

— Ну, куда же мы направим путь?

Доротеея не показывалась, и я не осмелился ни спросить о ней, так как уже лишился покоя, ни покинуть эти края, не простившись с нею. Поэтому, подумав немного, я в самый

²¹¹ *Алкиной, Арета* — персонажи «Одиссеи» Гомера. *Алкиной* — царь феакийцев, к которому во время своих странствий попадает Одиссей; *Арета* — жена Алкиноя.

последний момент сказал, что решил принять предложение господина графа.

— Вот и отлично, — ответил он и велел кучеру ехать по направлению к тому городу, из которого я пришел.

Глава двенадцатая **ЗАМЕРЗШИЙ ИИСУС**

В северной половине замка находилась часовня, — она выделялась особенно высоким окном. В этом столетии в ней вряд ли происходила служба; но по стенам еще висели церковные украшения и утварь, на сводчатом потолке хранились следы росписи, и только на полу, покрытом каменными плитами, ничего не было: все скамьи давно вынесли. Вместо них посреди храма была установлена железная печь, согревавшая помещение своим корпусом и трубами, а на соломенной циновке стоял мольберт, у которого я сидел, усердно работая и поглядывая в окно, где виднелись поля, покрытые пушистым снегом.

Длительный перерыв в работе, события последнего времени, мое решение отказаться от живописи, без сомнения, способствовали широте моих взглядов и обновлению моего восприятия вещей или, вернее, пробудили ото сна дремавшие мысли, и теперь все это пошло мне на пользу. Уже когда я был последний раз у графа, я совсем другими глазами взглянул на свои старые и новые картины; будто пелена спала с моих глаз. Это чувство не оставляло меня и теперь, когда я работал неумоимо, но хладнокровно, порывисто, беззаботно и вместе с тем осторожно, при каждом отдельном мазке думая о последующем, — от этой медлительности мой рабочий пыл нисколько не остывал. Порою то, что нам никак не удавалось раньше, вдруг, безо всякого предварительного упражнения, получается спустя некоторое время, — потому ли, что просто успели оправиться наши духовные силы, или потому, что изменились жизненные условия; подобные явления бывают чаще, чем обычно думают. Так и было теперь со мной, — разумеется, в тех границах, которые мне вообще поставлены природой.

Я начал одновременно две картины и благодаря ровному и светлому расположению духа продвинул их довольно далеко. Истинным источником моего творческого горения было пробудившееся во мне чувство, любовь или влюбленность, — не знаю, как назвать это состояние, его можно определить только после того, как оно испытано временем и, подобно всякой обусловленной жизнью необходимостью, становится обыденным. В свое время я учился называть сердце мускулом и механическим насосом; теперь и я оказался во власти иллюзии, и мне стало казаться, что оно — обиталище душевных движений, вызванных чувством любви; вопреки обычным шуткам над его геральдической формой, отпечатанной на пряниках и игральных картах, вопреки всем иным бытующим в народе символическим его изображениям, оно утверждало свою исконную репутацию, ибо облик Доротеи, с ее ореолом таинственного происхождения, с ее особенным отношением к жизни, красотой и образованностью, вошел и обосновался, по всей видимости, в сердце, а не в голове; последняя несла лишь службу привратника и наблюдателя в своей камерке, открытой свету и звукам, чтобы затем бросить все услышанное и увиденное под жернова темной пурпуровой мельницы страсти.

Даже разум исправно служил ей и способствовал тому, чтобы отдать ей должное. Глядя на все глазами Дортхен, я видел жизнь в ее бренности и невозвратимости, и теперь мир сверкал более яркими и лучезарными красками, — он преобразился для меня, как он был преобразен для нее. Томящее чувство счастья пронизывало все мое существо, когда я думал о возможности прожить свою краткую жизнь в этом прекрасном мире подле любимой. Поэтому я с полным безразличием слушал разговоры о бытии или небытии творца и чувствовал, как без радости и сожалений, без насмешки и без усилий рассыпаются и исчезают привитые мне с детства представления о боге и бессмертии. Правда, поводом к подобной свободе духа послужила моя полная несвобода перед лицом любви, что не вполне достойно мужчины; чувствуя это, я пытался оправдать себя серьезными доводами и

обратился за помощью к библиотеке графа. С историей философии я был знаком лишь в общих чертах, и малоопытному новичку эти крупницы знаний мало что давали для понимания основных вопросов бытия. Я ухватился за труды философа, творившего в наши дни,²¹² чьи произведения пользовались широким успехом; он разъяснял все эти вопросы своим классически однообразным, но страстным языком, доступно для всеобщего понимания, переворачивая их во все стороны, и, подобно волшебной птице, сидящей на одиноком кусте, своей песней изгонял бога из груди тысяч людей.

По складу своего ума, а отчасти и по личным склонностям граф принадлежал к числу людей, с воодушевлением распространявших культ этого философа, хотя он не разделял мнения, что подобные идеи в ближайшем будущем неизбежно приведут к политической свободе. В качестве гостеприимного хозяина он не хотел навязывать мне эти взгляды, но когда я вначале, как обычно, стал сопротивляться новым влияниям и спрашивать себя, устоят ли мои нравственные правила, началась нескончаемая болтовня на тему о существовании бога, к которой я, правда, привык с детских лет.

Граф давно уже составил себе собственное мнение об этих вещах, и поэтому он несколько нетерпеливо сказал:

— Мне совершенно безразлично, верите вы в бога или нет! Я считаю вас человеком, для которого не имеет никакого значения, в чем видеть причину своего бытия и сознания, — в себе самом или вне себя; если бы это было иначе, если бы я думал, что с верою в бога вы были бы одним человеком, а без веры — другим, я бы не испытывал к вам того доверия, которое чувствую. Задача нашего времени, которую оно призвано выполнить и вызвать к жизни, в том именно и состоит, чтобы создать полную уверенность в честности и справедливости каждого человека, придерживающегося любой религии и любых взглядов, уверенность, определяющую не только законы государства, но и личные, частные отношения людей между собой. Дело не в атеизме или свободомыслии, не в легкомыслии, разочарованности или скептицизме, — не все ли равно, какие названия люди придумали для всех этих противоестественных вещей! Дело в том, чтобы сохранить право на душевный покой, к чему бы нас ни привели размышления и исследования.

Впрочем, как говорится, век живи — век учись, и ни один человек не может с уверенностью предсказать, во что он будет верить на склоне лет. Поэтому мы стремимся к неограниченной свободе совести. Но человечество должно достичь того, чтобы с такой же невозмутимостью, с какой оно открывает неведомые дотоле законы природы или новые созвездия, принимать движение и события в сфере духовной жизни, рассматривая их беспристрастно и всегда оставаясь самим собою. Озаренное ярким светом, оно бесстрашно утверждает себя словами: «Здесь я стою и не могу иначе!»²¹³

Но прошло немного времени, и мне уже не нужны были указания свободомыслящего графа; я самостоятельно шел по тому же пути дальше, разбираясь в однообразно-вдохновенных словах великого друга божьего, если можно иронически или даже всерьез так назвать того, кто всю жизнь не расставался со своей излюбленной темой. Как все неопиты, я стал даже ревностнее других, и факел, освещавший девственный лес моих мыслей, горел особенно ярко, так как был зажжен от огня любви. Я по-прежнему занимался пустой болтовней, только в противоположном смысле, особенно в долгие вечера, когда чудаковатый капеллан, привлеченный спором, заходил в замок, чтобы на свой лад привлечь к ответственности нового вероотступника.

У этого человека было три основных свойства: он очень любил покушать и выпить,

²¹² *Я ухватился за труды философа, творившего в наши дни..* — Автор имеет в виду Людвига Фейербаха (см. вступительную статью).

²¹³ «Здесь я стою и не могу иначе!» — Начало надписи на памятнике Мартину Лютеру в Вормсе. Эти слова Лютер якобы произнес 18 апреля 1521 г. в рейхстаге в Вормсе в ответ на требование отречься от своего учения.

был большим идеалистом в религиозных вещах и еще большим любителем юмора. Последнее выражалось обычно в том, что он каждые четверть часа употреблял слово «юмор» и делал его мерилom всего, что случалось и произносилось. Все то, что он сам делал, говорил и чувствовал, он считал проникнутым чувством юмора, и хотя юмор присутствовал здесь далеко не всегда — чаще всего это были бесконечные трескучие фразы с фейерверком антитез, живописных сравнений и притч, — все же человек этот был до известной степени способен на юмор, в особенности в те вечера, когда мы сидели у камина и он невероятно словоохотливо разъяснял нам природу юмора и тот прискорбный факт, что мы совершенно лишены сего божьего дара.

Он прилежно читал все юмористические произведения, а также все труды, в которых говорилось о юморе, и построил себе настоящую систему представлений об этой стихии — влажной, текучей, эфирной, объемлющей весь мир наподобие океана (так он называл юмор), систему, которая была связана с характером его теологии. Он поминал Сервантеса так же часто, как Шекспира, причем больше всего удовольствия он получал от бесконечных потасовок, которые выпадали на долю Санчо и его господина, от всякого рода проделок, плутней и грубых шуток. Он не замечал сокровищ мудрости и благородства, вложенных автором в уста рыцаря из Ламанчи вперемежку со вспышками безумия, он не хотел или не мог заметить более тонкую издевку, в особенности если ее можно было применить к нему самому, и это представляло собой забавнейший контраст к его уверениям о присутствии у него чувства юмора. Так, в приключении в пещере Монтесиноса²¹⁴ он видел лишь чрезвычайно смешную историю. На комизм, заключенный в эпизоде с длинным канатом, который понапрасну раскручивают, в то время как рыцарь уже вначале закрывает глаза (подобно всем, кто обманывает сам себя и тем самым терроризирует других), и на то, как ведет себя потом Дон-Кихот, когда заходит речь о происшествии в пещере, — на все это капеллан не обращал никакого внимания или, читая это место, досадливо морщил нос.

Его идеализм (а он, то хвалясь этим, то как бы оправдываясь, называл себя идеалистом) состоял в том, что он считал грубым материальным навозом или прахом все вещи и события, которые его собеседники считали идеальными, причем они подразумевали под этим события и вещи, достаточно полно выражающие свою сущность и обнаруживающие таковую; напротив, идеальным он считал все невиданное, непонятное, безымянное и невыразимое, а это было все равно, что назвать Померанией пустоту небесного свода. Так, всякую дилетантскую пачкотню, из которой заведомо ничего не могло получиться, он называл идеальным стремлением, как бы она ни была нелепа и нагла; зато самоотверженную, серьезную работу в науке и искусстве, которая ведет к победам духа, он называл суетной погоней за успехом, почестями и деньгами. Архитектора, чьи колокольни обваливались, он называл идеалистом, поставленным в трагические условия, а того, чья постройка держалась прочно, материалистом, гоняющимся за земными благами.

Он был католическим священником и все же проявлял терпимость ко всяким религиозным учениям; но об этом он скромно умалчивал и не хвалился этим. Зато он с фанатическим рвением вставал на защиту просвещенного деизма²¹⁵, исповедуемого им, и защищал его более страстно, чем любой поп догматы своей религии. Он пытался оказывать поистине дьявольское давление на собеседника своими идеалистическими и юмористическими аргументами и возводил высокие костры из антитез, хромящих парабол и вымученных острот, стремясь сжечь на них разум, добрую волю и даже совесть своего

²¹⁴ *Приключение в пещере Монтесиноса* составляет содержание двадцать второй и двадцать третьей глав второй части романа Сервантеса «Дон Кихот».

²¹⁵ *Деизм* (от лат. *deus* — бог) — учение, признающее существование бога только как безличной первопричины мира. В остальном, согласно этому учению, мир подчиняется действию законов природы. Деизм как учение возник в Англии в XVI в., но особенно широкое распространение получил в XVIII в.

противника и как бы воздать подобным жертвоприношением хвалу своему собственному мнению.

Его пристрастие к этому доблестному времяпрепровождению, а также гостеприимство графа частенько приводили его в замок, и так как он был к тому же честным и верным помощником во всякого рода благотворительных предприятиях, то его присутствие не только приносило пользу, но и способствовало постоянной веселости, царившей в доме. В особенности Доротея умела с грациозной привлекательностью водить священника по лабиринтам его фантастического юмора и, поддразнивая беднягу, пролезать сквозь колючий кустарник его причудливых острот. Всякий раз трудно было постигнуть, что ею движет — доброжелательная веселость или обдуманное лукавство; так, нередко, дав капеллану возможность покрасоваться, она заманивала его тщеславие в ловушку, где остроты его ломали себе ноги.

Священник был как раз подходящим человеком, на котором я мог испытать свое новое оружие, и я делал это тем безжалостнее, что боролся против пороков, которыми страдал и сам. После первого горестного удивления по поводу моего отступничества он с удвоенной силой бросился в атаку, пытаясь положить меня на обе лопатки; но так как я, скорее по недостатку воспитания, чем из боевого задора, свойственного неопитам, беспощадно преступал все границы благоразумия, которых он привык придерживаться, и возвращал ему его нелепые выпады и юмористические уколы той же недоброкачественной монетой, он стал приходить в ярость и неоднократно лишал себя нашего общества, где всегда отдыхал от длительного чтения месс и исполнения всяческих церковных треб. Тут я, в свою очередь, пришел в смущение; я удивился, насколько человек способен измениться, и припомнил свое столкновение с Фердинандом Люсом, когда я зашел еще дальше в своем нетерпимом поведении и со шпагой в руке стоял на противоположной стороне, там, где сейчас стоял капеллан. Я принял решение умерить свой пыл и исправиться, но снова и снова впадал в прежние ошибки. Таким образом, я, как новичок в подобных спорах, нарушающих общественное спокойствие, сам нуждался в снисхождении; ощутив это, я опечалился.

Однако судьба уже позаботилась о преследуемом капеллане и послала ему неожиданную помощь. Однажды утром послышался стук колес, и перед замком остановился открытый экипаж, запряженный крестьянской ломовой лошадей. На козлах восседал деревенский кучер с трубкой в зубах, а в корытообразном ящике, как в раковине Венеры, — какой-то странный человек в большой шляпе с отвислыми полями и тоже с трубкой в зубах. Рядом с ним стоял мешок из-под зерна вышиной с человеческий рост, который так был набит множеством больших и маленьких предметов, круглых и остроугольных, что его, видимо, с большим трудом удалось завязать, — кромка была собрана в еле заметную коронку. Сидевший в экипаже человек одной рукой поддерживал мешок и больше всего тревожился, как бы его не повредили, вытаскивая из коляски. Когда багаж был наконец спущен, приезжий выскочил вслед за ним и встал рядом, продолжая поддерживать мешок, чтобы он, упаси бог, не упал на сыроватую землю. Это затруднило его последующий разговор с возницей, так как тот не желал задерживаться в ожидании платы, а путешественник начал было спор о сумме и, кроме того, требовал обождать, пока он вручит свои письма и с должным достоинством завершит церемонию своего прибытия в графский замок. Он пытался договориться с возницей, не вынимая трубки изо рта, причем не мог ни подкрепить своих слов жестами, ни достать письма, так как руки его были заняты мешком, который грозил упасть и рассыпаться. Наконец к нему вышел лакей и спросил, по какому делу он прибыл.

— Это моя поклажа, друг мой! — произнес вновь прибывший. — Поддержите-ка ее немного, а я достану рекомендательные письма к господину графу, которого прошу вызвать!

Слуга поддержал мешок. Тогда путешественник вынул из набитого бумажника несколько писем и передал их слуге, после чего тот направился в дом, и путнику снова пришлось самому держать мешок. Спустя некоторое время появился граф, неся в руке одно из писем и ища глазами прибывшего. Тот протянул ему свободную руку, придерживая

другой высокий мешок, и воскликнул:

— Приветствую вас, благородный муж и товарищ! Разве жизнь не великое счастье, как говорит Гуттен?²¹⁶

— Я имею честь видеть господина Петера Гильгуса, которого мне в этих письмах рекомендуют мои друзья? — спросил его граф Дитрих.

— Да, это я! Разве жизнь не великое счастье?

— Конечно! Но вы располагайтесь поудобнее! Не хотите ли отдать свою поклажу и войти в дом?

— Я не могу этого сделать, пока не скажу вам несколько слов!

Граф приблизился к приездему, который что-то тихо сообщил ему, после чего вознице было сказано, что все его требования будут удовлетворены, и его позвали накормить лошадь, а затем подкрепиться самому на кухне замка.

После этого двое слуг внесли мешок в дом, и граф пригласил незнакомца к себе, где продолжал начатую с ним беседу.

Господин Петер Гильгус был сбежавший из Центральной Германии школьный учитель и апостол атеизма, который отправился посмотреть белый свет и насладиться им, после того как из этого света был изгнан господь бог. Такое событие казалось ему невероятной удачей, и, куда бы ни попадал, он восклицал неудержимо: «Жизнь — это великое счастье!» Казалось, что вселенная и в самом деле освободилась от своего опаснейшего врага и угнетателя, едва лишь он, Гильгус, прочел произведения философа. Поэтому он вел себя так, будто каждый день был воскресеньем и на вертеле жарилось мясо, или как ведет себя население маленького герцогства, чей тиран бежал, или как мыши, когда кошка уходит из дому.

Вероятно, будучи школьным учителем, он не раз подвергался гонениям со стороны духовенства; так или иначе, изгнанию бога он радовался более, чем того требовала справедливость. Все снова и снова дивился он тому, как это великолепно — освободиться от губельного понятия божества и иметь возможность раз навсегда отбросить какую бы то ни было зависимость. Снова и снова потрясал он кулаком, грозя всему бесконечному прошлому, заполненному антропоморфическими богами²¹⁷; все снова поднимался он на каждый холмик, простирал руки горе и славил красоту зеленого мира, ликовал при виде безоблачной синевы неба, освобожденного от бога, и, лежа на животе, пил из ручьев и источников, вода которых никогда, казалось, не была столь чистой и свежей, как теперь. Но все это не мешало ему, едва только наступали длительные холода или затяжные дожди, приходиться в ярость и выражать свое личное недовольство при помощи древних проклятий, направленных против личности всевышнего, сотворившего эти отвратительные явления.

Пустившись в странствие, он прежде всего посетил главу школы, философа, в течение недели поклонялся ему и в конце концов взял у него в долг для своего дальнейшего путешествия всю небольшую наличность, которая нашлась в доме непритязательного мудреца, жившего в добровольной бедности. Философ дал ему также несколько писем к более состоятельным поклонникам, те, в свою очередь, послали его к своим друзьям, и так он, вот уже в течение года, путешествовал из города в город, из поместья в поместье, жил прекрасно и в полном довольстве и славил наступившую новую эру. Теперь он наконец добрался и до графа Дитриха, которому уже доводилось слышать о нем. Когда граф вышел к столу с новым гостем, он уже изрядно устал от громких разговоров и восклицаний

²¹⁶ *Разве жизнь не великое счастье, как говорит Гуттен?* — Известный немецкий гуманист Ульрих фон Гуттен (1488–1523), автор многочисленных стихотворений и памфлетов, направленных против папской церкви, восклицает в конце своего послания Вилибальду Пиркгеймеру (см. прим. к стр. 452), в котором он излагает свои жизненные планы: «О, век! О, наука! Какая радость жить!»

²¹⁷ *Антропоморфические боги* — то есть человекоподобные (*греч.*) . В древних религиях все божества, олицетворяющие различные силы природы, представлялись в человеческом образе.

неутомимого собеседника; сам же пришелец, из толстых губ которого лился нескончаемый поток слов, зачерпнул ложкой наваристого супа и воскликнул: «Жизнь — это великое счастье!»

Сразу же заподозрив во мне любимчика хозяев и нахлебника, он после обеда подошел ко мне и упросил проводить его в отведенную ему комнату; задавая мне тысячу вопросов, он начал устраиваться и распаковывать свой мешок, служивший ему дорожным чемоданом. Наряду с изрядным количеством различных предметов мужского туалета, которые, кстати, не подходили один к другому, на свет появились диковинные вещи, и каждую из них он пышно восхвалял. Вынув переплетенные в красную кожу труды учителя, каждый том которых был завернут в особый платочек, он торжественно поставил их на письменный стол. Потом он вытащил большой, в несколько локтей кусок небеленого тика, из которого он собирался заказать себе летом немецкий гимнастический костюм. После этого появились другие книги; затем выкатилось несколько десятков борддорфских яблок, подаренных ему, по его словам, одной красивой помещицей, затем — кусок солонины, завернутый в бумагу, после этого — скатанное стеганое одеяло синего цвета, а в него была заложена шерсть на новые чулки. При виде всех этих вещей нельзя было не признать, что он довольно сносно обходился без божьей помощи и сумел подумать обо всем, что ему может понадобиться в будущем. Вынув из недр мешка еще несколько вещей, в том числе и небольшие шварцвальдские часы, он залез с головой в мешок и вытащил с самого дна свернутый шлафрок в ярко-красных цветах. Развернув его, он достал большую коробку, где лежала модель человеческого глаза величиной с детскую голову.

Гильгус открыл коробку и осторожно вынул из нее глаз, желая посмотреть, не повредился ли он в дороге. Модель была из воска и стекла, и ее можно было разнимать на части, чтобы во время школьных занятий объяснять ученикам строение человеческого глаза. Отправляясь в дорогу, беглый учитель прихватил с собою этот глаз, принадлежавший к школьной коллекции по естественной истории, и поэтому, как только становилось известным его местопребывание, за ним тотчас летели официальные бумаги, преследовавшие его. Но Гильгус все же не расставался с глазом.

Бережно сдунув с него пыль, он торжественно водрузил его на письменный стол и воскликнул:

— Сие есть истинное око господне!

Разумеется, «око господне» было весьма примитивного устройства, и познания Гильгуса не выходили за рамки этой модели, но все же она должна была служить ему для того, чтобы авторитетом естествознания подкреплять радость по случаю гибели господина бога. Кроме того, он возил этот глаз с собой как бы в качестве символа всепобеждающей науки, которая, подходя к новому ряду открытий, неизменно бросает по адресу предвечного: «Эй ты, мы теперь сами знаем, как это делается».

К тому же глаз использовался в качестве секретного сейфа и сокровищницы. Когда Гильгус вынул глазное яблоко, я увидел полое пространство, содержимое которого порядком перетряслось в дороге. Из хлопьев ваты он достал золотую булавку для галстука, серебряную цепочку для часов, несколько колец и с гордостью показал мне эти драгоценности. К пачкам счетов, рецепту какого-то пунша и связке любовных писем, полученных им от служанок своих гостеприимных друзей, он отнесся довольно небрежно, зато с серьезным видом развернул лотерейный билет, как будто это была государственная облигация; правда, на нем было напечатано много цифр и среди них даже шестизначные; небольшое количество наличных денег, завернутых в бумагу, он назвал своим резервным фондом и сказал, что ни при каких обстоятельствах не дотронется до них, а потому они и хранятся здесь. Коллекцию завершал высохший букетик цветов, который, казалось, примирял его владельца с людьми, напоминая о простых человеческих чувствах.

Таково было содержание глаза; вынув его, он все уложил в пустую коробку, которую и запер в ящик стола; самое анатомическую модель он предполагал демонстрировать во время предстоящих поучительных бесед.

В первый же вечер, когда к нашему обществу присоединился капеллан, Гильгус избрал его мишенью своего апостольского рвення, и тут разгорелся шумный спор, но священник вскоре распознал в пришельце пародию на идейного противника, и тогда, лукаво прищурился, он изменил тактику и начал льстить расшумевшемуся Петеру Гильгусу, который с невероятной смелостью бросался всякими кощунственными речами. Капеллан говорил, что он счастлив приветствовать гостя и познать столь ярко выраженное и в своем роде законченное явление; абсолютные противоположности всегда сильнее притягивают друг друга, чем неопределенная половинчатость, и в конце концов они соединяются где-то в высших сферах. Страстный приверженец бога, сказал он, и страстный отрицатель бога, собственно говоря, впряжены в одно и то же ярмо, от которого первый так же не может освободиться, как и второй; поэтому он в качестве верного спутника предлагает ему свою дружбу. Такое рьяное и упорное отрицание бога является, мол, лишь иной формой скрытой богобоязни; были же в первые века такие святые, которые внешне выставляли напоказ большую греховность, чтобы, будучи отвергнуты миром, тем свободнее отдаваться восхвалению бога.²¹⁸ Гильгус, сбитый с толку, не понимал, чего от него хотят, и пытался помочь себе безудержной болтовней; но веселый капеллан обволакивал противника сотней самых льстивых шуток, успокаивал его словами о том, что господь бог уже давно приметил его и что все еще наладится; в конце концов Гильгус размяк и принял приглашение капеллана на следующий день позавтракать с ним в церковном доме. Там они возобновили словопрения, затем выпили вместе и, заключив дружбу, отправились на прогулку по полям и ближайшим трактирам. Капеллан придумывал все новые шуточки над своим новоиспеченным другом, ибо он неизменно сохранял ясность мысли и не забывал о своих злокозненных намерениях, в то время как Гильгус, стоило ему хоть немного выпить, терял способность рассуждать и, проливая жалкие слезы, начинал умиляться величию своей судьбы и грандиозности эпохи, когда «жизнь является великим счастьем». Если капеллану удавалось днем или вечером привести Гильгуса в подобном состоянии в замок, то ликованию его не было предела. Граф улыбался то весело, то хмуро. Доротей же непрерывно хохотала и с любопытством прислушивалась к разговору, — ей никогда не приходилось видеть ничего подобного; Гильгус особенно смешил ее, когда падал перед ней на колени и, плача, целовал край ее одежды; дело в том, что он сразу же бросил дочку садовника, за которой начал было волочиться, едва только узнал, что Дортхен не графиня, да и к тому же еще энергичная и свободомыслящая женщина; очевидно, он считал ее предназначенной разделить с ним его радость по поводу того, что «жизнь есть великое счастье».

Когда же после подобных выходов он снова приходил в себя, им овладевала меланхолическая грусть, и, чтобы загладить свои прегрешения, он совершал различные героические поступки. Несмотря на стужу, он купался в пруду и ручьях, так что зачастую можно было видеть то здесь, то там, как голый атеист нырял под воду или выплывал на поверхность. С посиневшим лицом и мокрыми волосами он уверял нас, что чувствует себя заново рожденным, и капеллан вместе с Дортхен и даже шаловливая Розхен ежедневно развлекались его подвигами. Капеллану даже передавали, что крестьяне собирались выловить язычника-водяного и растереть досуха соломой, и священник заранее предвкушал удовольствие от такого развлекательного зрелища.

Все эти происшествия привели не только к тому, что я оказался вынужден умерить боевой пыл и держаться спокойнее, но и к тому, что стал стыдиться соседства с этим странным субъектом и чувствовать себя таким же, как и он, гостем и авантюристом. Даже его ухаживания за прекрасной хозяйкой дома напомнили мне о том, что ведь и я влюблен в нее, — пусть даже безмолвно и не открывая своих чувств или не желая открыть их до сего

²¹⁸ ...святые, которые внешне выставляли напоказ большую греховность, чтобы... тем свободнее отдаваться восхвалению бога . — Этот мотив использован Келлером в новелле «Святой распутник Виталий» (цикл «Семь легенд»).

времени. В глубине сердца я знал, что и я всецело заслуживаю тот прелестный и беспощадный смех, который подчас вырывался у благовоспитанной Доротеи по адресу Гильгуса. Не тая правды от самого себя, я должен был признаться, что задержался только ради Доротеи, но у меня не хватало смелости обнаружить свои чувства или питать какую бы то ни было надежду. Значит, я, возможно, был еще куда глупее, чем Петер Гильгус.

Благодаря всем этим противоречивым мыслям и ощущениям я впал в какое-то оцепенение, целиком ушел в свою работу и в тихое изучение философских сочинений и не принимал больше участия в диспутах. Я по-прежнему был влюблен, однако теперь чувство мое было похоже на те растения, которые начали весной распускаться, но, застигнутые внезапным холодом, остановились в нерешительности, только приоткрыв чашечки цветов. В то же время мне было противно видеть в Гильгусе соперника, а я именно так расценивал его в связи с его отношением и к новому мировоззрению, и к девушке, причем я, конечно, понимал, что с моей стороны такое чувство неуместно и нечеловеколюбиво.

Однажды утром, когда я в глубокой сосредоточенности и суровый, как старая дева, сидел за мольбертом, Гильгус, крайне возбужденный, ворвался ко мне. На нем был щеголеватый коричневый фрак с позолоченными пуговицами и светлая дорожная шляпа, хотя на дворе стояла зима. Дело с Дортхен должно решиться, воскликнул он, союз такого человека, как он, с такой особой, как Доротея, был бы настолько подходящим, что он не может не состояться; это прямо-таки его философско-историческая обязанность, потому что освободить мир от идеи бога можно лишь путем соединения в браке свободно мыслящих личностей обоюбого пола, и так далее. Мне было и стыдно и горько от сознания того, что, разделяя с ним свою привязанность, я оказался в таком дурном обществе, и потому я даже не был в состоянии посмеяться над его глупостью. Вообще же меня нисколько этот факт не смешил, — мне казалось, что он бросает какую-то, пусть даже и самую легкую, тень на простодушную Дортхен.

Поэтому я весьма нелюбезно спросил его, не собирается ли он сделать предложение, раз уж он вырядился во фрак.

— Нет, — ответил он, — сегодня рано! Несколько дней все должны видеть, что я тщательно забочусь о своей внешности, как это подобает жениху. Идет ли мне этот фрак? Мне подарил его один банкир-атеист, большой покровитель нашего союза, который, правда, еще ходит в церковь по воскресеньям, так как ему надо считаться с общепринятыми приличиями. О, если б моя бедная матушка могла дожить до того счастья, которое меня ждет!

— Ваша матушка? А она умерла?

— Уже два года назад! Она не увидела освобождения рода человеческого. Засохшие цветы, которые я сохраняю в «оке господнем», она подарила мне в тот последний день моего рождения, который еще отпраздновала со мной! Она их купила на рынке за один крейцер!

Новый укол ранил мое сердце; этот шут говорил о любящей матери, и, вдобавок, он был лучший сын, чем я, — ведь я сидел тут и почти позабыл о матушке, хотя и знал, как она дожидается меня. Такова наша жизнь, сотканная из противоречий; мы едва еще произнесли слова, осуждающие нашего ближнего, а уже можем применить их к самим себе, прежде чем он успеет их услышать.

Спустя несколько минут после стремительного ухода Гильгуса вошла Доротея с корзиночкой чудесных груш и винограда.

— Вы теперь стали такой прилежный и так ушли в свою работу, — сказала она, — что вас и не дожدهшься, — я решила принести вам что-нибудь вкусное! Отведайте этих фруктов, а то я подумаю, что вы совсем стали сухарем! За это дайте нам добрый совет! Работайте, работайте, я немножко посижу здесь и посмотрю!

Она взяла стул и под села ко мне.

— Папа пишет письма, — продолжала она, — и хочет с ними отослать господина Гильгуса; он больше не может его видеть. Сегодня утром Гильгус произносил проповедь

перед крестьянами, пахавшими в поле, как Иона перед жителями Ниневии²¹⁹. Он уверял их, что они должны покаяться и отречься от своей языческой веры в бога. Так дальше не может продолжаться. Папа сегодня же хочет отправить его в далекий путь и дать ему рекомендательные письма, чтобы его хорошо приняли и предоставили ему подходящую работу.

— Что же я могу вам посоветовать? — спросил я.

— Скорее не посоветовать, а помочь! Вам надо уговорить его, если он будет противиться, и представить ему это путешествие как нечто необходимое и приятное. Мы приготовили несколько чемоданов, чтобы уложить в них содержимое его ужасного мешка. Раз уж вы проведете с ним последние часы перед отъездом, вы должны убедить его, что путешествовать с мешком неприлично и даже подозрительно, и как бы невзначай притащить чемоданы. Ведь может же случиться, что он заупрямится и не захочет их взять, но отец не допустит, чтобы он уехал из нашего дома с мешком из-под зерна!

У меня, правда, не было опасений, что Гильгус откажется от чемоданов, но я обещал сделать все, что в моих силах. Потом она добавила:

— Ну, а теперь, если можно, я посмотрю немного! — скрестила руки и так просидела рядом со мной минут пятнадцать; мы оба молчали.

Наконец, когда я стал стирать шпателью неудачный камень на переднем плане картины, она произнесла:

«Так! Прочь его!» — потом поднялась, поблагодарила за предоставленную аудиенцию и удалилась, попросив зайти перед обедом, чтобы сообщить, как идут дела.

Все, что задумал граф, прошло безо всяких затруднений; Гильгус уехал вполне спокойно и в благодушном настроении, заполнив экипаж своими пожитками; он выехал на ближайшую почтовую станцию, чтобы оттуда, рано утром, отправиться дальше. Когда капеллан пришел вечером к чаю, он нашел в доме такую тишину, как если б вдруг умолкло мельничное колесо. Последнее время он часто приносил с собою книги старых немецких мистиков с намерением противопоставить глубокий и смелый дух подобных мыслителей новейшему течению, которое по сути своей было так же глубоко и смело даже в искаженной передаче Гильгуса. Но капеллану больше всего нравилось то, что возбуждает воображение и выражено в иносказательной форме, и он отыскивал только такие места, а потому приводимые им строки, иногда подкреплявшие его собственные воззрения, нередко оказывались и в пользу его противников. На этот раз он выбрал Ангелуса Силезиуса²²⁰ с его «Серафическим странником» и сожалел, что с нами не было Гильгуса, — он намеревался раздражить его и в то же время покорить чтением причудливых двустижий; нас же он хотел привести в смущение.

Мы все же попросили его почитать нам вслух, и наше маленькое общество испытало подлинную радость, внимая яркому языку и поэтическому пылу мистика. Но и это не слишком пришлось по нраву капеллану; он продолжал читать все выразительнее и все старательнее, и с каждой страницей, которую он переворачивал, усиливалось наше увлечение этим живым и веселым проявлением поэтического духа, пока священник, не то рассердившись, не то утомясь, не отложил книги.

Тогда граф взял ее, полистал и сказал:

²¹⁹ ...произносил проповедь... как Иона перед жителями Ниневии. — Согласно библейскому преданию, пророк Иона в наказание за свое неповиновение богу был выброшен в море и проглочен китом, в утробе которого находился три дня. Исторгнутый затем китом, Иона направился в столицу Ассирии Ниневию и объявил ее жителям о предстоящем разрушении города.

²²⁰ Ангелус Силезиус (1624–1677) — немецкий мистик, автор духовных песен. Родившись в протестантской семье, в 1653 г. перешел в католичество. Упомянутый здесь сборник стихотворений Силезиуса «Серафический странник» (1657) впоследствии был воскрешен к новой жизни немецкими романтиками. Приведенные далее стихи Силезиуса взяты Келлером из первой части сборника.

— Это очень содержательная и своеобразная книжка! Как правдиво и выразительно звучит уже первое двустишие:

Да будет дух твой тверд, как камень или сталь,
И чист, как золото, и ясен, как хрусталь.

Можно ли более точно определить основы для всех наших рассуждений и теорий, — независимо от того, утверждают они или отрицают? Можно ли выразительнее назвать те достоинства, которыми обладать, чтобы иметь право сказать свое слово? Читая дальше, мы с удовлетворением увидим, что крайности соприкасаются и одна может легко перейти в другую. Разве не кажется, что слышишь нашего Людвиг Фейербаха, когда читаешь эти стихи:

Велик я, как господь, как я — он мал и слаб,
Он мне не господин, а я ему — не раб.

Далее:

Умру я, тотчас дух испустит божество;
Я кончусь — и конец наступит для него.

Или это:

Господь вовек блажен на небе, потому
Что всем обязан мне, не только я — ему.

Или:

Богат я, как господь, — и мне ль не быть богатым?
Делю я с господом весь мир и каждый атом.

И, наконец, даже это:

Твердят, что бог велик, но я скажу в ответ:
Дороже господа мне жизнь и правды свет.
...Куда же мне дорога?
В пустыню удалясь, я стану выше бога.

А как просто и правдиво воспета самая сущность нашего века в аллегорическом двустишии «Преодолей себя»:

Когда над временем ты духом воспаришь,
Тогда ты, человек, бессмертие узришь.

Потом «Человек — это вечность»:

Я — сам бессмертие наперекор судьбе,
Я в боге зрю себя и бога зрю в себе.

И, наконец, «Время — это вечность»:

И вечность — миг один, и вечен каждый миг,

Когда единство их ты, человек, постиг.

Когда читаешь эти строки, кажется, что добрый Ангелус мог бы свободно перенестись в нашу эпоху! Некоторые изменения во внешней судьбе, — и этот бесстрашный монах стал бы столь же бесстрашным и пылким философом нашего времени!

— Ну, это уж вы хватили! — воскликнул капеллан. — Бы забываете, что и во времена Шеффлера²²¹ были мыслители, философы и в особенности реформаторы, так что если бы в нем была хоть малейшая жилка отрицания, она имела бы множество возможностей развиться!

— Вы правы, — ответил я, — но все это не совсем так, как вам хочется. То, что удержало бы его от этого пути тогда и, по всей вероятности, удерживало бы и сейчас, это легкий элемент фривольного остроумия, которым окрашен его огненный мистицизм; несмотря на всю энергию его мысли, этот незначительный элемент удержал бы его и сейчас в лагере мистагогов²²².

— Фривольного! — воскликнул капеллан. — Час от часу не легче! Что вы хотите этим сказать?

— В подзаголовке, — возразил я, — благочестивый поэт называет свой сборник так: «Остроумные эпиграммы и заключительные двустушия». Конечно, слово «остроумный» в те времена употреблялось не совсем в нынешнем смысле; но если мы посмотрим всю книжку внимательнее, то увидим, что, с нашей точки зрения, она слишком остроумна и недостаточно простодушна, так что этот подзаголовок как бы иронически предваряет содержание книжки. Обратите внимание также и на посвящение: автор смиренно приносит свои стихи в дар господу богу, точно воспроизводя даже в расположении строк ту форму, в которой тогда было принято посвящать книги знатым господам, вплоть до подписи: «Покорно ожидающий смерти Иоганн Ангелус».

Вспомните поистине сурового поборника религии, блаженного Августина²²³, и признайтесь откровенно: допускаете ли вы, чтобы в книге, где он кровью своего сердца начертал свои думы о боге, он поместил такое иронически вычурное посвящение? Думаете ли вы, что он вообще был способен написать такую игривую книжку, как эта? В юморе у него недостатка не было, но как он строго держит его в узде там, где имеет дело с богом! Прочтите его исповедь, и вам предстанет зрелище и трогательное и поучительное. Как осторожно избегает он всякой чувственной и изощренной образности, всякого самообольщения или обмана бога красивыми словами! Выбирая самые прямые и простые слова, он обращается непосредственно к богу и пишет как бы у него на глазах, чтобы никакое неподобающее украшение, никакая иллюзия, никакие суетные побрякушки не проникли в его исповедь.

Не причисляя себя к подобным пророкам и отцам церкви, я все же могу вместе с ними почувствовать этого единого и всерьез воспринимаемого бога. Только сейчас, когда у меня его нет больше, я понимаю, что значил тот вольный и иронический тон, которым я в юности, считая себя религиозным, обычно говорил о божественных вещах. Я должен был бы задним числом обвинить и себя во фривольности, если бы не полагал, что иносказательная и шутивая форма была лишь оболочкой того полнейшего свободомыслия, которого я наконец

²²¹ *Шеффлер* Иоганн — подлинное имя Ангелуса Силезиуса.

²²² *Мистагоги* — древнегреческие жрецы, совершавшие обряды во время мистерий, тайных религиозных церемоний. Здесь употреблено в значении «мистики».

²²³ *Блаженный Августин* — Августин Аврелий (354–430), законоучитель христианской церкви, один из основоположников христианского богословия. Келлер познакомился с сочинениями Августина летом 1854 г., во время работы над четвертой частью «Зеленого Генриха». Об этом он писал Гетнеру 26 июня 1854 г.

достиг.

Здесь священник разразился хохотом:

— Вот мы опять пришли к тому же! Свободомыслие, фривольность! Рыбка болтается на длинной леске и думает, что прыгает по воздуху! Скоро она начнет задыхаться! «А черт народу невдомек!» — вот как бы я сказал, если бы речь шла не о господе боге, прости, боже, мне, грешному!

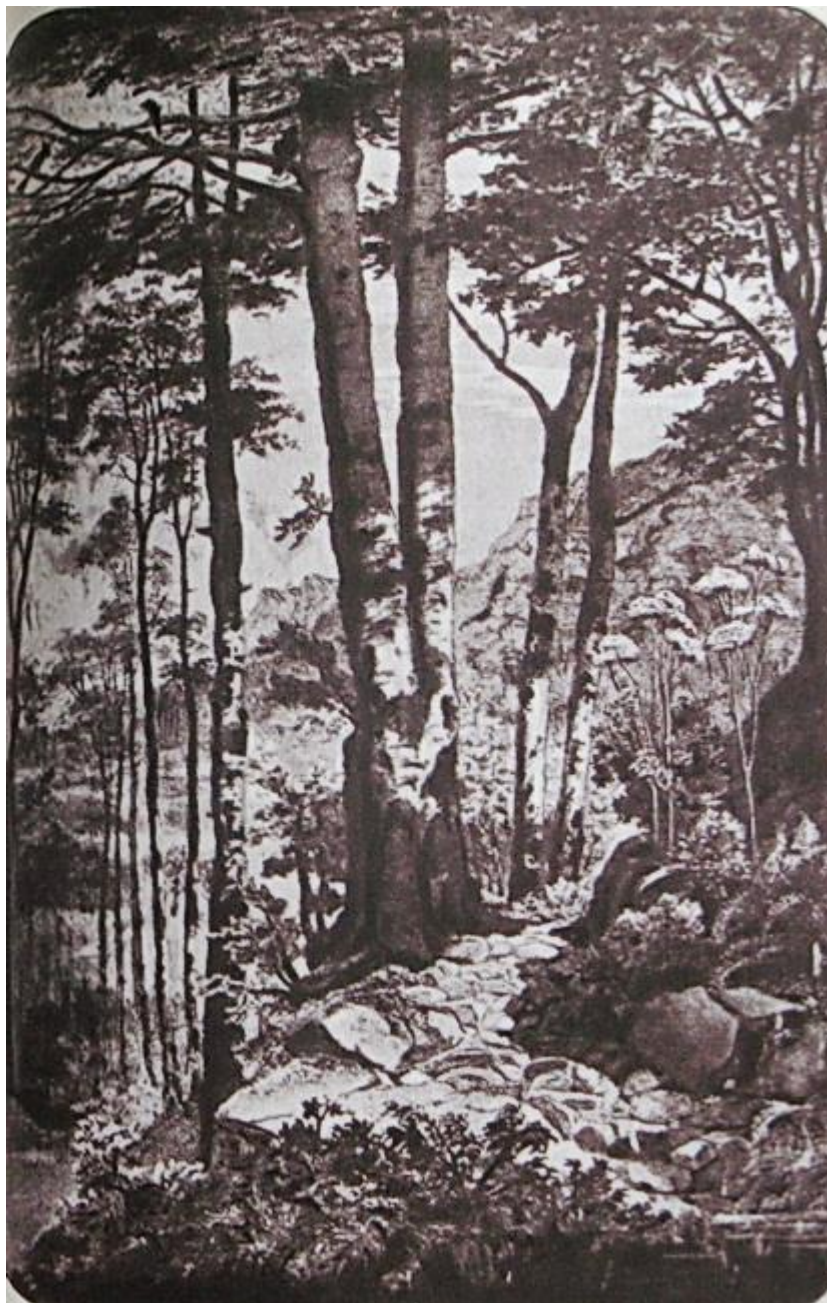
Рассердившись, что снова попал на зубок присяжному острослову, я перестал спорить и молча удалился к окну, в котором виднелась Большая Медведица, медленно совершающая свой вечный путь. Доротея перелистывала книгу. Вдруг она воскликнула:

— Да тут самая прелестная весенняя песенка, которую я когда-нибудь видела! Послушайте:

Встань, замерзший Иисусе,²²⁴
Май стучится в нашу дверь,
Будешь вечно мертвым, если
Не воскреснешь здесь, теперь!

Она подбежала к роялю, взяла несколько аккордов и запела эти слова на мотив проникнутого страстной тоской старинного хорала, и, несмотря на церковную форму напева, в ее голосе дрожало влюбленное, мирское чувство.

²²⁴ *Встань, замерзший Иисусе ...* — Стихи Ангелуса Силезиуса (часть III, № 90).



Дорога в Унтерах.
Акварель. 1873 г.

Глава тринадцатая **ЖЕЛЕЗНЫЙ ОБРАЗ**

Хотя даже рождество еще не миновало, но казалось, что, вопреки всем законам природы, действительно собирается наступить весна. Ночью, когда у меня еще звенели в ушах слова и мелодия весенней песни, которую накануне пела Дортхен, я слышал, как за окном дует южный ветер и как с крыши капает подтаявший снег; наутро не по времени теплое солнце осветило высохшие поля, а полноводные ручьи зашумели и забормотали. Не было только цветов — подснежников и ранних маргариток. И все же в душе у меня непрестанно звучало: «Май стучится в нашу дверь, будешь вечно мертвым, если не воскреснешь здесь, теперь!»

Еще вчера мне казалось, что я, со своей затаенной влюбленностью, вознесся высоко

надо всем, что когда-либо чувствовал или думал о любви, и вдруг я понял, что даже не догадался о переменах, происшедших этой ночью благодаря ложной весне.

Могущественный инстинкт проснулся во мне во всей своей первобытной силе; чувство красоты жизни и бренности ее неизмеримо усилилось, и вместе с тем мне казалось, что все блага мира заключены лишь в этих двух прекрасных глазах: но в то время как я любил ее и преклонялся перед ней из одной только благодарности за то, что она существует на свете, я был полон смирения и страха и даже в мыслях боялся докучать ей. Но и смирение и страх были ложью, — десятки раз они сменялись зыбкими надеждами, представлениями о радости и счастье, вместо того чтобы привести к единственно мудрому решению — бежать.

О работе и о покое уже нечего было и думать; как только я брался за кисть, мои глаза устремлялись вдаль и все мысли летели вслед за любимой; образ ее ни на минуту меня не покидал, он все время реял вокруг меня и в то же время, словно отлитый из железа, лежал на сердце — прекрасный, но неумолимо жестокий. И лишь присутствие Дортхен снимало с меня железное бремя; как только я больше не видел и не слышал ее, я тотчас же снова ощущал эту тяжесть и страдал от нее как телом, так и душою. Эту муку несколько не облегчало сознание того, что у меня есть гротескный товарищ по несчастью, только что изгнанный Петер Гильгус; я вообще не придерживаюсь того мнения, что физические или нравственные страдания легче переносятся, если их разделяешь с другими. Гильгус, конечно, сильно отличался от меня, и все-таки в одном мы были похожи: оба мы пришли в этот дом в поисках пристанища и оба стали мечтать о дочери его владельца.

Несвоевременная весна продлилась несколько недель; в рощах даже зацвели волчьи ягоды, так что в сочельник я мог принести к рождественскому столу охапку красных пахучих веток — другого подарка у меня не было. Собственно говоря, подарки раздавались только служащим и прислуге, да и то без всякой торжественности: граф говорил, что не годится делить с церковью только ее праздники, если не разделяешь с нею трудностей постов и молитв. Когда стол опустел и народ разошелся, на столе остался только мой букет. Доротея схватила его и сказала:

— Кому же предназначается эта прекрасная дафния? Конечно, мне, я вижу по ней!

— Если вам не слишком подозрительна эта преждевременная веша, — сказал я, — сжальтесь над этими ранними ее гонцами!

— Ну что там, надо брать все хорошее, что нам дает жизнь. Спасибо за эти веточки; мы сейчас поставим их в воду, и они будут благоухать на весь дом!

Не только в этот вечер, но и вообще в течение всех праздников Доротея была оживленна и прелестна, в особенности под Новый год, когда, впервые с тех пор, как я попал в этот дом, к праздничному столу собралось довольно большое общество. Пришли не только капеллан, но и приходский священник, доктор, окружной судья да некоторые соседи-дворяне — друзья детства, которые, несмотря на крамольные убеждения графа, оставались с ним в дружбе. К обеду прибыло несколько бойких пожилых дам и с их приездом сразу же установилась веселая вольность, или, вернее, вольная веселость, нередко свойственная пожилым дамам, которые видели лучшие дни и которым уже нечего бояться и не на что надеяться. За столом каждый говорил только то, что могли бы слышать все, и в то же время каждый рассказывал обо всем, что могло вызвать общее оживление. Каждый часто находил возможность вставить свое слово, но никто этой возможностью не злоупотреблял, ибо стоило человеку открыть рот и собратиться сказать что-нибудь остроумное и неожиданное, как оказывалось, что его уже опередили. Даже капеллан проявлял свой юмор с вежливой сдержанностью, а приходский священник, правоверный, но не рьяный католик, толстый и добродушный, с самого начала трапезы установил такие широкие границы дозволенного, что никому не приходило в голову выйти за рамки приличий и никто даже не пытался сколько-нибудь к ним приблизиться.

Несмотря на все это веселье, я счел за благо вовремя удалиться: я боялся, что, оставаясь за столом, обращу на себя внимание гостей или им помешаю. В эту минуту на душе у меня было несколько спокойнее, и я отправился в старую часовню, чтобы заняться своими

картинами, которые уже наполовину высохли.

Сидя в тишине, я вдруг вспомнил матушку, которая далеко на родине ждала меня, даже не зная, где я нахожусь, в то время как я здесь отдыхал и развлекался. Давно уже я мог бы и должен был дать ей весть о себе, тем более что обстоятельства мои так неожиданно изменились к лучшему; то, что я это откладывал со дня на день, объяснялось различными причинами, неясными и связанными между собой. Во-первых, с тех пор как я вышел из нужды, дела мои перестали мне казаться столь уже важными и стоящими внимания; потом у меня мелькала мысль заглядеть все мои прегрешения радостью неожиданного приезда, причем этот короткий промежуток времени, в сравнении с предшествующими годами, казался мне совсем незначительным; и, наконец, я был в таком душевном состоянии, что боялся дать о себе знать хотя бы одним звуком, тем более что скрытое себялюбие, несмотря на всю противоречивость моих мыслей и намерений, все же не хотело признать неисполнимость какого бы то ни было решения. Более или менее трезво разобравшись в этом хаосе, я все же решил воспользоваться выдавшейся минутой покоя и написать матери о том, где я нахожусь и как мне живется, и о том, что скоро я вернусь домой. Для этого я отправился в садовый флигель, где лежали мои книги и письменные принадлежности. По дороге туда я заметил, что все общество гуляет в парке, залитом лучами по-весеннему теплого солнца. Картина этого необычного новогоднего дня могла послужить хорошим началом для моего письма. Но едва я вошел в свою комнату, как ко мне постучали, и появилась садовница Розхен в праздничном национальном наряде изящного покроя. Было по-весеннему тепло, и потому она несла на руке шерстяную, обшитую мехом кофточку, так что корсаж из зеленого шелка с серебряными крючочками и пуговками еще лучше подчеркивал тонкую фигурку этой хорошенькой девушки. Из-под небольшого, украшенного кружевами чепца черного бархата спускались толстые золотые косы; одна коса была задорно перекинута через плечо и лежала на руке, поверх кофточки.

Розхен сказала, что послана ко мне барышней, которая велела мне тотчас же явиться к ней и провести ее на то место, где я нашел цветущие ветки волчьих ягод. Передавая поручение, девушка улыбалась с милым лукавством, — она отлично знала, что этот наряд ей к лицу. Я любовался ею, но и привлекательность служанки относил за счет госпожи, к красоте которой Розхен прибавила теперь еще одну прелестную черту. Без промедления оставил я свое намерение и, минуя вместе с девушкой деревья парка и гуляющее общество, поспешил на кладбище, где ждала Доротья.

— Куда же вы запропастились? — крикнула она, увидев меня. — Мы хотим наломать красных веток, это удастся не каждый Новый год. К тому же, кроме нас, тут молодежи нет, и мы можем повеселиться на собственный лад!

Она подхватила меня под руку, и в сопровождении Розхен мы пошли к буковой роще, до которой было минут десять ходу. Земля под деревьями была по-летнему сухая, и едва мы ступили на нее, как Дортхен запела, и запела настоящую народную песню, так, как поют в народе, наивно украшая печальную мелодию легкими импровизированными фиоритурами. Розхен тотчас начала ей вторить несколько более низким голосом, — казалось, по лесу в праздник идут две здоровые деревенские девушки. Конечно, это всё были грустные любовные истории, девушки запевали их одну за другой и благоговейно доводили до конца, причем Дортхен не выпустила моей руки, пока впереди не появился красноватый блеск и мы не увидели кусты, которые искали; заходящее солнце, пробиваясь сквозь буковую листву, касалось цветущих ветвей дафнии, — этим ботаническим термином, которого я не знал, Дортхен называла волчьи ягоды. Она радостно вскрикнула, и обе девушки побежали вперед, чтобы наломать красивых, одуряюще пахнущих ветвей; я сел на ствол сваленного дерева и, любуясь девушками, следил глазами за каждым их движением.

Когда они собрали свою жатву, Розхен пошла дальше, отыскивая новые кусты, и постепенно скрылась в роще. Доротья подошла, опустилась на дерево рядом со мной и поднесла к моему лицу цветущий букет.

— Разве здесь не красиво? — сказала она. — Неужели вы не рады, что мы вас

вытащили из вашего темного угла?

— Я собирался писать матери, — ответил я.

— Разве вы до сих пор не послали ей новогоднего поздравления?

— Я не писал ей все время, что живу здесь, она даже не знает, где я!

— Не знает? Ну можно ли так поступать?

Я посмотрел в сторону и оторвал пальцами кустик мха, выросший на серебристо-серой коре дерева. Потом я ответил, что не предвидел столь длительной задержки, а затем решил, что сделаю матери приятный сюрприз, если явлюсь без предупреждения.

— Хороши же вы! — воскликнула она. — Вы завтра же должны ей написать, я не потерплю этого дольше! У кого есть такая матушка, должен благодарить творца! А знаете, ваша книга теперь похожа на гербарий. Все странички, где мне что-нибудь понравилось или где мне захотелось прочесть вам проповедь, я заложила зеленым листком или травинкой. Она заперта в моем столе. Когда я читала о вашей матушке, я не раз думала: как бы хотелось мне забраться под крылышко такой матери, — ведь я никогда материнской ласки не знала! Да, но завтра письмо должно быть написано! Вы напишете его у меня в комнате, и я не отойду от вас, пока оно не будет готово и запечатано. А если вы станете хорошо себя вести, я сама тоже припишу ей поклон!

— Пожалуй, это будет неудобно, — сказал я.

— Почему же? О, замерзший Иисусе! Почему же неудобно? Разве я не могу послать поклон вашей матушке? Или вы не хотите ей писать?

Вместо ответа я продолжал прилежно выцарапывать кусочки мха, потому что железный образ Дортхен ворочался в моем сердце, пока я сидел рядом с его оригиналом, чего прежде никогда не бывало, и мне казалось, что своими тяжелыми руками он упирается в стены темного жилища.

Между тем она взяла меня за руку и повторила тихим голосом:

— Почему же вы не хотите? Или я должна написать за вас, как бы по вашему поручению? Нет, так не годится! Знаете что, я вам продиктую то, что, по-моему, доставит удовольствие вашей матушке, а вам придется только записывать! Ну?

Прежде чем я успел ответить, вернулась Розхен с полным фартуком подснежников, и уже настала пора возвращаться в замок. Дортхен замолкла. На обратном пути она не взяла меня под руку, но не отходила от меня ни на шаг. Вдруг она сказала:

— Розхен, дай мне твою кофточку, если тебе она не нужна! Мне что-то холодно.

Доротей была выше ростом, чем подруга, и потому кофточка, которую ей с готовностью протянула Розхен, оказалась ей мала и узка.

— Не угодно ли вам, сударыня, воспользоваться моей курткой? — неловко пошутил я, но она ответила:

— Нет, я не хочу быть в вашей шкуре, вы рыба!

Вернувшись в замок, она должна была распорядиться, чтобы гостям перед отъездом сервировали чай, а затем присутствовать при прощании с ними. Мне пришлось, подчинившись требованиям графа и капеллана, остаться с ними за стаканом пунша; Доротей пришла пожелать нам доброй ночи. Обвив рукой плечи графа, она, шутливо всхлипывая, проговорила:

— Ужасная жизнь у приемной дочери! Она не может даже поцеловать отца, прощаясь с ним перед сном!

— Что это тебе взбрело на ум, дурочка? — сказал граф, смеясь. — Это, конечно, не годится и даже было бы против приличий.

Железный образ снова повернулся в моем сердце и всю ночь мучительно меня давил. К тому же он стиснул мне горло, и я не мог дышать, пока не разразился потоком слез и горестных вздохов, — впервые в моей жизни я так страдал от любви. Недовольство этой слабостью еще усилило мое горе, кроме того, я сделал крайне неприятное открытие: оказывается, настоящая страсть (а я считал мое чувство таковым) лишает человека всякой свободы воли, всякой возможности разумно распоряжаться самим собою.

Когда настало утро, от «весны» не осталось и следа; шел мокрый снег пополам с дождем. Когда я появился в замке, Дортхен уже не вспоминала о письме, да сам я тем более не был в состоянии приняться за него. Еще одним новым открытием было мое отвращение к еде; никогда бы я не поверил, что подобные причины могут вызывать такие последствия. Мне стоило больших усилий скрыть отсутствие аппетита и связанную с этим унылость, а ведь я уже давно был не мальчик. Я очень сожалел, что столь выгодная страсть, позволяющая экономить на хлебе насущном, не овладела мной в те дни, когда я голодал, — она сослужила бы мне отличную службу. То, что я не мог поделиться этими реально-экономическими наблюдениями с Дортхен и развеселить ее, глубоко меня огорчало.

Дортхен же, напротив, казалась очень оживленной; с каждым днем она была все веселее и, видимо, не очень-то тревожилась обо мне. Она пускала волчком монеты по столу, приводила детей и возилась с ними, украшая их головки бумажными колпаками, кидала собакам во дворе поноску, и все это казалось мне необыкновенным, удивительным, полным неизъяснимой прелести, все очаровывало меня. Чем больше она бесилась и дурачилась, тем больше восхищался я ее природной прелестью и живостью духа; я видел, что в этой милой кудрявой головке сидит тысяча бесенят. Если женщина сначала покорила нас открытой и ясной сердечной добротой, тем, что принято называть женским очарованием, если мы потом в наивном изумлении открыли, что возлюбленная наша не только красива и добра, но еще и умна, то, внезапно обнаружив в ней озорную, детскую жестокость, мы окончательно лишаемся покоя и разума; вот и мной теперь овладел внезапный страх, что я уже никогда не обрету покоя, — ведь я никогда не смогу назвать моей эту веселую, привлекательную девушку. Ибо, если любовь не только прекрасное и глубокое, но и по-настоящему веселое чувство, она каждый миг нашей короткой жизни как бы обновляется, она удваивает ценность ЖИЗНИ, И НИЧТО так не удручает нас как сознание того, что счастье это возможно, но для нас недоступно; самые печальные люди те, которые готовы безудержно веселиться, но не находят никого, кто разделит бы с ними их жизнерадостный порыв, и пребывают в унынии и тоске. Так думал и чувствовал я в те дни, потому что не знал, что на свете существуют вещи более важные и более постоянные, чем эта юношеская веселость.

Оставаясь сама собою, моя любимая что ни день казалась мне другим и все более непонятным существом, так что в конце концов я потерял всякую непосредственность в общении с нею и, чтобы излечиться от моего недуга, попытался, подобно отшельнику, удалиться в чащу; я заявил, что желаю поближе познакомиться с местностью и людьми, и под этим предлогом целыми днями, независимо от погоды, бродил по окрестностям. Но больше всего часов я проводил на лесистых холмах, под старыми елями или в заброшенных хижинах угольщиков, избегая всякого общества; это было весьма разумно уже по той причине, что, занятый непрестанно одним и тем же предметом, я терял власть над собой и начинал думать вслух, жалуясь на нестерпимую боль, которая сжимала сердце и которую я сотни раз безуспешно пытался подавить.

— Значит, эта чертовщина и есть настоящая любовь? — говорил я как-то раз сам себе, сидя под деревьями и глядя вдаль. Разве я съел хотя бы одним куском меньше, когда Анна была больна? Нет! Разве я пролил хоть одну слезу, когда она умерла? Нет! И все же я так носился со своим чувством! Я клялся навеки сохранить верность умершей, но мне и в голову не приходило клясться в верности этой живой девушке, так как это само собой разумеется, и я даже не могу представить себе ничего иного! Если бы она тяжело заболела или умерла, разве бы я был в состоянии внимательно наблюдать за событиями или даже описывать их? О нет, я чувствую, это сломило бы меня и весь мир бы померк. Каким же я был трезвым юношей, когда так платонически, так рассудительно любил, а ведь я тогда был совсем еще зеленым юнцом. Как бесстыдно целовал я и молоденькую девушку, и взрослую женщину, словно выпивал чашку молока к ужину! А теперь, когда я стал старше и повидал свет, мне жутко при одной мысли о том, что, может быть, эта пленительная, сердечная девушка когда-нибудь, в далеком будущем, разрешит поцеловать себя!

Потом я снова глядел вокруг; проходило несколько минут, я с любопытством

рассматривал белые облака, или какой-нибудь предмет на горизонте, или колеблющуюся травинку у моих ног, и затем мысли мои неизменно возвращались к прежнему, потому что железный образ не позволял им надолго удаляться и бродить в отдалении. Как-то вечером я, погруженный в печальное раздумье, спускался по крутой каменистой тропинке и, внезапно оступившись, покатился кувырком по скале; не помню, как я очутился внизу; вдобавок, к стыду своему, я порядочно расшибся. В другой раз я сидел на каком-то забытом в поле плуге, посреди начатой борозды, и вид у меня был, наверно, весьма унылый и глупый, потому что деревенский парень, который, ухмыляясь каким-то своим мыслям, шел мимо с глиняным кувшином за спиной, вдруг остановился, уставился на меня и начал безудержно хохотать, вытирая рукавом нос. Даже этот несчастный кувшин, самодовольно и бесстыдно болтавшийся за спиной крестьянина (видимо, в нем была вечерняя выпивка), возбуждал мое негодование. Как можно было таскать с собой такой кувшин, как будто на свете не существовало Дортхен?

Так как этот грубиян не уходил и продолжал смеяться мне в лицо, я встал, преисполненный обиды, и, чуть не плача, так ударил его в ухо, что бедняга покачнулся; и прежде чем он мог прийти в себя, я выместил на чужой спине все свое горе, а вдобавок еще разбил кувшин, поранив себе руку до крови; парень, пожалуй, решил, что напал на самого дьявола, и поспешно удрал; лишь удалившись на некоторое расстояние, он стал бросать в меня камнями. Совершив этот «человеколюбивый» поступок, я медленно ушел, качая головой и вздыхая о том, что в мире столько скорби.

Я сам был изумлен своим поведением, но не стал изводить себя угрызениями совести, а попытался освободиться от безумия. Я рассмотрел и сопоставил все обстоятельства, стараясь убедить себя в том, что я не способен пробудить склонность в такой девушке, как Дортхен.

«Что тебе мило, то и мне дорого, и как ты ко мне, так и я к тебе», — вот две золотые истины даже в любовных делах, по крайней мере, для разумных людей, и залогом исцеления больного сердца является непреложная уверенность, что его страдания не встречают отклика. Только себялюбцы и упрямцы способны лишиться себя жизни, если их не любят те, кто им нравится. И все же мысль о том, что могло бы быть и что невозможно, делает человека несчастным, и никакое утешение не помогает, даже то, что мир велик и за горами тоже живут люди; нет, только настоящее, то, что у нас перед глазами, священно для нас и может служить утешением.

После того как я пришел к выводу, что Дортхен не думает обо мне, я стал несколько спокойнее и начал обдумывать, не открыть ли ей все мои терзания, просто в благодарность за ее доброжелательное отношение. Я думал перед отъездом, при случае, словно бы в шутку, рассказать ей, какую сумятицу она вызвала во мне, и тут же просить ее об этом не беспокоиться, потому что теперь все опять хорошо и я бодр и весел. Но, с другой стороны, у меня возникло опасение, что подобная откровенность может быть принята за хитроумное объяснение в любви; тогда я окажусь в ложном положении, а моя возлюбленная будет огорчена. Снова наступили для меня тревожные и печальные часы раздумий, — решиться на такой шаг или нет; наконец я пришел к заключению, что она заслужила это маленькое развлечение, что я со смехом и шутками, чистосердечно и непринужденно расскажу ей о буре, потрясшей меня, и тем самым верну себе утраченный покой. Я намеревался сделать это признание, не откладывая. Была суббота, ясный вечер предвещал погожий день, и я задумал воспользоваться тихим и прозрачным воскресным утром, чтобы выполнить свое дерзкое намерение, а в тот день я решил больше не показываться ей на глаза, — новые впечатления могли сбить меня с толку и заставить передумать.

Утро действительно выдалось прекрасное: лучезарное, безоблачно-чистое небо, какое бывает ранней весной, смеялось, заглядывая во все окна, и, несмотря на некоторый сладостный трепет, я был в отличном расположении духа, так как ожидал скорого избавления от позорной стесненности и воображал, что ни к чему иному не стремлюсь. Все же мое томительное волнение, заставившее меня принарядиться по-праздничному и все время придумывать новые шутки, которыми я надеялся блеснуть в предстоящем разговоре,

основывалось на самообмане: я сам скрывал от себя, что меня окрыляет лишь желание так или иначе поговорить с Дортхен о любви.

Но оказалось, что она уже в субботу уехала довольно далеко навестить подругу, оттуда отправится в город и вообще будет отсутствовать несколько недель. Все мои надежды пошли прахом, и голубое небо показалось мне черным, как ночь. Прежде всего я раз двадцать прошел по дороге от флигеля до кладбища, причем старался шагать по той стороне дороги, где обычно шла Дортхен, касаясь краем платья придорожных кустов. Но кончилось все это только тем, что старая боль вернулась с новой силой, и все мое благоразумие развеялось. Тяжесть снова легла на сердце и стеснила грудь.

Все это время граф отдавался своей единственной страсти — охоте — и потому мало бывал дома. Теперь она, казалось, несколько утомила моего гостеприимного хозяина, и он снова стал искать моего общества. Он нашел меня в часовне, так как у меня не было больше причины бродить по лесам и полям, а здесь было наиболее уединенно.

— Как же дела с картинами, маэстро Генрих? — сказал он, похлопывая меня по плечу. — Подвигаются они?

— Не слишком, — ответил я робко и смущенно.

— Ну, это не к спеху, мы рады видеть вас у себя как можно дольше! Но я вижу по вашему лицу, что вам хочется скорее покончить с этим делом.

«Ты попал не в бровь, а прямо в глаз!» — подумал я и вдруг с такой ожесточенной решимостью принялся за работу, что спустя три недели обе картины были готовы. Выставив их для просушки на воздух, я заказал столяру ящики, в которых он должен был отправить их в столицу. Потом, чтобы не сидеть без дела, я отправлялся на прогулку и как-то раз, возвратившись домой поздно вечером, увидел из сада, что окна Доротеи освещены. Снова я потерял сон, который обрел было в последнее время, посвященное напряженной работе, — а ведь я даже еще не знал, в самом ли деле она вернулась.

Утром появилась Розхен и позвала меня к завтраку: в честь прибытия Доротеи мы должны были собраться за столом. Когда я пришел в замок, ее голос звенел повсюду; она пела, как соловей в летнее утро, и все было напоено жизнью и радостью; только я один был печален и немногословен, — близилась неизбежная разлука.

Она, казалось, ничего не замечала, продолжая пускаться на всевозможные проказы, которые тревожили и смущали меня; при этом она все время обращалась к другим и постоянно использовала помощь неизменной своей подруги и спутницы Розхен, безотказно выполнявшей все ее поручения. Когда же я услышал тихий, серебристый смех маленькой садовницы, который, как мне казалось, относится ко мне и вызван моей мрачностью, я догнал девушку и одной рукой сжал ей пальцы, а другой крепко держал ее головку, заставляя смотреть мне прямо в глаза.

— Над кем ты смеешься и чего ты хочешь, стрекоза? — воскликнул я. Цветущая девушка отбивалась и старалась вырваться, но продолжала смеяться. Неожиданно она затихла и прошептала мне на ухо:

— Дайте же нам посмеяться. Моя барышня так весела и довольна, что вернулась! А знаете почему?

Когда я, смущенно покраснев, отпустил проказницу, она положила мне руку на плечо и продолжала таким же тихим шепотом:

— Она была так печальна все время, потому что влюблена! А знаете, в кого?

Я почувствовал, что у меня как бы остановилось сердце, и беззвучно спросил:

— Ну, в кого же?

— Один ротмистр в кирасирском полку, — шепнула она совсем тихо, — небесно-голубой мундир, белый как снег плащ, стальной панцирь и высокая серебряная каска с круглым гребнем. Барышня говорит, он прекрасен, как Гектор²²⁵, хотя так зовут нашу

²²⁵ *Ге ктор* — герой «Илиады» Гомера, один из сыновей троянского царя Приама, сильнейший воин; был убит в поединке с Ахиллом.

черную собаку!

С этими словами Розхен убежала следом за своей госпожой, которая исчезла еще раньше. Правда, я заметил, что все это была шутка; однако описание красавца кирасира в такой связи пришлось мне не очень-то по вкусу.

К счастью, как раз в этот момент прибыли ящики, и картины сразу же стали упаковывать. Я сам забивал гвозди в крышки, да так, что вся часовня сострясалась от сердитых ударов, потому что с каждым ударом я все тверже принимал решение уехать на следующий день, и мне казалось, что я заколачиваю собственный гроб. Но после каждого удара раздавался звонкий смех или веселое пение из коридоров и с лестниц, — девушки то и дело бегали туда и обратно, хлопая дверьми.

Это привело к тому, что я пошел в садовый флигель и сразу же уложил чемодан, который вместе со всем содержимым купил во время последней поездки в столицу. Кончив укладываться, я с тяжелым сердцем, но сосредоточенно-спокойный вышел из дому и направился в сторону кладбища; там я сел на любимую скамейку Дортхен, надеясь, что она сама, может быть, придет и я, по крайней мере, посижу с нею несколько минут, не подвергаясь насмешкам и издевкам, — просто я хотел поглядеть на нее напоследок. Минут через пятнадцать она и в самом деле пришла, но в сопровождении дочки садовника и черного Гектора. Тогда я поспешил удалиться, в надежде, что они меня не заметили, и скрылся за церковью. Но так как до меня доносились разговор и смех девушек, я в замешательстве отправился в деревню. Зайдя к капеллану, чтобы найти у него прибежище, я сделал вид, что пришел сообщить ему о своем отъезде.

Он сидел за столом, который был залит вечерним солнцем.

— Я как раз закусываю, — сказал он, — не хотите ли составить мне компанию?

— Нет, спасибо, — ответил я, — но если разрешите, я посижу и побеседую с вами!

— Ну и молодые люди пошли нынче, — ответил преподобный отец, — у них уже нет настоящего немецкого аппетита! Да и мыслят они сообразно с этим, тут и не может другого получиться: из ничего не будет ничего!

— С каких пор ваше преподобие столь материалистично?

— Не путайте существующее с несуществующим, несчастный чернокнижник, и садитесь! Глоток пива вам, во всяком случае, не повредит!

Так, беседуя со мной, он продолжал трудиться над большим блюдом, стоявшим перед ним, где лежали уши, рыльце, ножки и хвостик недавно зарезанного поросенка. Все это было только что сварено и приятно щекотало обоняние капеллана. И он отдавал должное поросенку, восхваляя его удивительную, ни с чем не сравнимую нежность и запивая мясо золотисто-коричневым пивом, которое отхлебывал из большой кружки.

Я просидел у него минут десять, когда в дверь постучали, и, сопровождаемая только красавцем Гектором, вошла Доротей; она любезно поздоровалась, хотя, казалось, была в легком смущении.

— Не буду мешать вам, господа, — сказала она, — я лишь хотела просить господина капеллана прийти к нам сегодня вечером, так как господин Лее завтра уезжает. Вы не заняты, надеюсь?

— Конечно, я приду! — ответил священник, снова садясь и принимаясь за свое приятное занятие. — Пожалуйста, дорогой мой, принесите для барышни стул!

Я выполнил это с большим рвением и поставил стул как раз напротив себя. Доротей поблагодарила меня приветливой улыбкой и, усевшись, скромно потупила взгляд. Я почувствовал, что счастлив: в комнате капеллана было уютно и солнечно, я сидел напротив нее, а она была так доброжелательна и спокойна! Капеллан продолжал есть и говорил за всех, а нам оставалось только слушать его, в то время как собака, широко раскрыв пасть, не сводила горящего взгляда с блюда, рук и рта его преподобия.

— Ах, бедная собачка, у нее слюнки текут! — проговорила Дортхен. — Вы это тоже

будете есть, господин капеллан, или разрешите дать ей?

При этом она показала на завиток хвостика, который красовался на краю блюда.

— Этот свиной хвостик? — сказал капеллан. — Нет, милая барышня, это ей дать нельзя, хвостик я съем сам. Вот постоит, здесь кое-что для нее найдется. — И он поставил перед собакой, устремившей на него умоляющий взгляд, тарелку, куда бросал косточки и хрящики. Мы с Дортхен невольно посмотрели друг на друга и не могли удержаться от улыбки: священник получал такую чистую радость от жизни в самом примитивном ее проявлении, что нам стало весело. К тому же довольное урчание собаки, которая с жадностью занялась содержимым тарелки, способствовало этому настроению. Дортхен погладила ее по голове как раз в тот момент, когда я проводил рукой по блестящей спине собаки и, увидев, что нашим пальцам грозит опасность встретиться, деликатно убрал руку; за это она быстро поблагодарила меня легкой улыбкой.

Ветерок тихо колебал занавески у открытого окна, и рой сверкающих мошек с такой стремительностью и страстью плясал в солнечном луче, как будто все они чувствовали, сколь кратко их земное существование, измеряемое, быть может, лишь каким-нибудь получасом.

В эту минуту экономка вызвала капеллана, который должен был принять некую чету, вечно ссорившуюся друг с другом; супругов пригласил к себе приходский священник, но сам он уехал.

— Вечно им надо браниться и ссориться, беда с этими семейными! — вскричал старый холостяк, огорченный такой помехой. — Уберите со стола, Тереза, потом уж я не буду есть!

С этими словами он быстро направился в приемную приходского священника, не прощаясь с нами, и потому нам пришлось остаться за столом, покрытым белой скатертью: экономка убрала лишь блюда и тарелки, а скатерть оставила. Молча глядел я на белый круг между нами, освещенный юным весенним солнцем. Слово «семейные», которое, уходя, произнес капеллан, казалось, звучало еще в воздухе, так как мы оба молчали. Ибо и Дортхен сидела безмолвно, положив руку на голову собаки, которая тоже покончила с едой. Однако это щекотливое слово не связывалось в моем восприятии с тем, что имел в виду капеллан, — оно вызывало в воображении образ счастливой пары, сидящей в своем тихом доме за столом, друг против друга. Казалось, что белый круг оживает картинами счастья, и меня охватила глубокая печаль за Дортхен: мне казалось, что лишь со мной она может быть счастлива и спокойно доживет до старости. Вздохнув, поднял я увлажненные слезами глаза и в ужасе заметил, что взгляд Дортхен с участием покоится на моем лице, что на ее плотно сжатых губах появилось выражение мягкой, приветливой серьезности, придававшей ей особую прелесть, а головка задумчиво склонилась в сторону. Даже когда я взглянул на нее, она не сразу переменила позу и выражение лица; только когда и в ее глазах появился влажный блеск, она взяла себя в руки. Это мгновение запомнилось мне навсегда, — так человек, которому однажды посчастливилось увидеть в необычно прозрачном воздухе ровное сияние неведомой звезды, никогда уже его не забудет.

Я еще судорожно искал слова, чтобы прервать молчание, а Дортхен, движимая тем же намерением, уже приоткрыла рот, как вошла экономка приходского дома и теперь не уходила, видимо, считая своей обязанностью занимать разговором молодую госпожу из замка. Вскоре возвратился и капеллан, который закончил свое дело раньше, чем сам ожидал; тут завязался какой-то хозяйственный разговор, а я, воспользовавшись удобным случаем, распростился и ушел, унося свое сердце, переполненное избытком чувств. Дортхен поглядела мне вслед и крикнула, чтобы я не слишком поздно возвращался в замок.

Побродив некоторое время, я дошел до того места, где в день моего прибытия вышел из лесу и где моим глазам предстали вечерняя равнина под дождем, раскинувшееся вдаль имение и старая церковь. Я направился к церкви и вошел в нее, но перед алтарем стояла на коленях и шептала молитвы какая-то старушка, и я пробрался в один из приделов в заброшенной части постройки; там царил полутьма, так как высокие окна романской архитектуры были наполовину замурованы. В этой части храма в течение лет

нагромоздилось множество самых различных предметов.

В середине высилось древнее надгробие из черного известняка, на котором было высечено изображение высокого рыцаря со сложенными на груди руками. Рядом с ним, на краю саркофага, стояла плотно закрытая и запаянная кружка из бронзы в виде небольшой урны искусного чекана; она была прикреплена к нагрудному панцирю каменного рыцаря тонкой бронзовой цепочкой. По преданию, в этой урне находилось забальзамированное и засушенное сердце покойного; и сосуд и цепочка позеленели от времени и тускло поблескивали в полумраке придела. Это было надгробие одного бургундского рыцаря, жившего в конце пятнадцатого века; неукротимый и непостоянный, хотя и честный по природе, он был преследуем всяческими несчастьями и женским коварством и блуждал по многим странам; у предков графа он нашел свое последнее прибежище, и здесь его сердце было в конце концов разбито последним предательством.

Это надгробие он сам заказал и сам выпросил себе это уединенное место; усыпальница графского рода была уже тогда перенесена в большую церковь, Об этом сердце, заключенном в урне, в народе ходили различные легенды; рассказывали, например, как «влюбленный бургундец» велел, чтобы его сердце было привязано к гробнице, пока, живая или мертвая, сюда не прибудет некая дама и не возьмет его на родину; если же она забудет о нем, то не найти ей никогда вечного покоя, и это так же верно, как то, что он надеется обрести этот покой; всякая другая женщина, которая осмелится взять в руки урну, должна будет трижды поцеловать ее и трижды прочесть «Отче наш», иначе «влюбленный бургундец» иссушит ей руку, или сломает колено, или сделает еще что-нибудь подобное. Эти рассказы, очевидно, были причиной того, что сосуд и цепочка так долго хранились здесь.

Я забрался в темную нишу, напротив романтического надгробия, между отслужившими свой век дарохранительницами и старинными хоругвями, и предавался грустным мыслям о предстоящей разлуке; они были тем печальнее, что я в этот последний час должен был признаться самому себе: при всей неожиданности пережитого вряд ли мне и дальше будет сопутствовать столь же необычайная удача, вряд ли судьба подарит меня еще и возможностью одержать сказочную победу, о которой я мечтаю. В этот решающий момент необходимость заставила меня прийти к этому трезвому выводу, к тому же я стыдился своего поведения; как малое дитя, я увидел блестящий предмет и сразу потянулся к нему. Борясь с подобными чувствами, я говорил себе, что уже ни на что не могу надеяться для себя самого, что думаю только о предмете любви своей и питаю отныне лишь самоотверженное умиротворенное чувство; впрочем, возможно, что под его покровом опять притаилось прежнее желание. Таким размышлениям предавался я в сумраке церковной ниши, пока не услышал из глубины церкви легкий шум шагов и женские голоса. Вслушавшись, я узнал голоса Доротей и Розхен. Девушки на этот раз не смеялись, они о чем-то советовались друг с другом. Но им скоро надоело быть серьезными; они спустились в нишу, и Доротей воскликнула:

— Идем, Розхен, давай посмотрим еще разок на влюбленного героя.

Они подошли ближе к памятнику и заглянули с любопытством в темное, честное лицо каменного рыцаря.

— Я боюсь, — прошептала Розхен и рванулась было убежать. Но Дортхен удержала ее и сказала громко:

— Почему же, дурочка? Он никого не обидит. Посмотри, какой он хороший дядя!

Тут она взяла в руки бронзовый сосуд и осторожно приподняла; потом неожиданно стала трясти его изо всех сил, так что высохшее нечто, лежавшее в нем более четырехсот лет, громко застучало внутри и к тому же зазвенела цепь. Дортхен взволнованно дышала; я видел ясно ее лицо, на которое падал луч дневного света, и заметил, как оно изменялось — розовый румянец перешел в мраморную бледность.

— Послушай-ка эту погребушку! — воскликнула она. — На, погреми, если хочешь!

Она сунула урну в руки дрожавшей от страха Розхен, но та вскрикнула и уронила

сердце; Дортхен ловко подхватила его и снова стала трясти урну.

Я же, о присутствии которого они вовсе и не подозревали, с удивлением глядел на эту игру.

«Подожди-ка! — подумал я. — Вот я тебя напугаю!»

Быстро утер я слезы, испустил глубокий вздох и произнес по-старофранцузски печальным голосом, для чего мне не пришлось даже особенно менять свой: «*Dame, s'il vous plaist, laissez cestuy cueur en repos!*»²²⁶

Двойной крик был мне ответом, и девушки, как безумные, выбежали из ниши, а затем из церкви; Дортхен, бежавшая впереди, одним махом перепрыгнула через ступени и порог церковных дверей; она была бледна как смерть, но все еще смеясь подбирала платье и, перебежав через кладбище к своей любимой скамейке, бросилась на нее; все это я мог хорошо разглядеть из окна, на которое быстро взобрался.

Дортхен, чье лицо было чуть ли не белее ее белых зубок, откинулась назад, обхватила колени руками, а Розхен воскликнула:

— Боже мой, да ведь это было привидение!

— Да, да, привидение, конечно, привидение! — сказала Дортхен и захохотала как безумная.

— Ты безбожница! Разве ты совсем не боишься? Разве твое сердце не стучит еще сильнее, чем стучало там мертвое сердце?

— Мое сердце? — ответила Дортхен. — Я говорю тебе, оно прекрасно себя чувствует!

— Что же он крикнул? — спросила Розхен, которая все время прижимала к собственному сердцу обе руки и время от времени проверяла, не потеряли ли они способность двигаться. — Что сказал этот французский призрак?

— Он сказал: сударыня, если вам хочется, возьмите это сердце и сделайте себе из него подушку для булавок! Поди назад и скажи, что мы подумаем! Поди, поди, поди!

Она вскочила, сделала вид, что хочет взаправду подтолкнуть хорошенькую служанку к церкви, но вместо этого неожиданно обняла ее и стала осыпать поцелуями. Потом они обе исчезли за деревьями.

Некоторое время спустя я тоже вылез из своего укромного уголка, чтобы закончить последние приготовления к отъезду. Я отправился в садовый флигель и проверил, все ли уложено и готово к путешествию; в самом деле, упаковывая чемодан, я забыл про череп, и мне пришлось отыскивать для него место. Наконец и он был уложен; кстати, это была единственная вещь из тех, которые я когда-то взял из дому, отправляясь на чужбину. Вот почему этот обломок прошлого был мне особенно дорог; долгие годы лежал он в земле родины, потом разделял со мной одиночество моей комнатки; этот немой свидетель видел всю мою жизнь, и с ним я возвращался домой, лишенный, по крайней мере, не всего своего имущества.

Сделав все это, я направился к графу, чтобы побеседовать с ним на прощание и провести последние часы, как того требовал долг благодарности. Но он не хотел и слышать о подобном расставании и настоял на том, чтобы снова проводить меня в город, быть свидетелем того, что я предприму со своими картинами, и узнать, как пойдут мои дела.

— Надо остерегаться, — сказал он, — сразу же после первой неудачной попытки снова попасть в руки какого-нибудь перекупщика.

— Этого не следует бояться, — ответил я, — теперь я достаточно богат, чтобы оставить эти картины пока что у себя и даже привезти их домой, где они послужат свидетельством того, как я провел все последнее время.

— Ничего подобного, — возразил он, — они должны произвести надлежащее впечатление в городе искусств, иначе предстоящее вам решение не будет иметь под собою почвы.

²²⁶ Сударыня, прошу вас, дайте покой этому сердцу (*старофранц.*).

Уйдя от графа, я направился к террасе, где и собирался провести остаток дня до нашей вечерней встречи. На столе гостиной, через которую я проходил, я увидел блюдо со сладостями, которые обычно заворачивают в пестрые бумажки, вкладывая туда какие-нибудь стишки или так называемые девизы. Доротея любила заворачивать подобные лакомства сама и вместо обычных банальных стишков надписывать остроумные эпиграммы, двустишия и строфы песен, которые она отыскивала у самых разнообразных поэтов и на разных языках. Она собирала множество таких изречений и отдавала их печатать на больших листах, которые потом можно было разрезать по мере надобности. У нее был талант подбирать каждый раз подходящие цитаты, так что за десертом общество нередко приходило в восторг от этих забавных и веселых или остроумных и язвительных намеков, которые всегда вносили оживление. Иногда она дурачилась, соединяла две строчки из разных поэтов, и всем казалось, что читаешь знакомые стихи, но неожиданное сочетание знакомого с незнакомым приобретало совершенно противоположный смысл, и это сбивало с толку читателей. У нее хранился запас подобных сладостей в плетеной серебряной корзиночке, она украшала ее цветами и сама, когда случался к этому повод, обносила ею гостей. Меня не особенно привлекала эта забава; но, как правоверный влюбленный, я считал ее если не чем-то замечательным, то все же простительной и даже милой проказой; мы ведь всегда бываем рады, находя маленькие недостатки у тех, кого любим, и не только прощаем их незамедлительно, но подчас распространяем и на них нашу любовь.

Очевидно, Доротея была занята тем, что заново наполняла свою корзиночку, но ее неожиданно позвали куда-то. После своей выходки в церкви, а также ввиду предстоящего отъезда я чувствовал себя свободней, чем обычно, и меня не смущали опасения, что хозяйка неожиданно вернется и застанет меня врасплох; поэтому я присел к столу и стал разглядывать плоды сегодняшних трудов Доротеи. В корзиночке лежало уже довольно много плиточек, завернутых в гляцевитую бумагу; когда я стал искать стишки или эпиграммы, приготовленные для них, я увидел целую пачку тонких бледно-зеленых листков, на которых было напечатано одно и то же маленькое стихотворение:

Нам надежда неверна,
Если сами неверны мы;
Верность нам хранит она,
Если мы неколебимы.
К нам надежда снизойдет
В сердце, не в открытый рот!

Когда я осторожно развернул листки (они были связаны вместе зеленой шелковой ленточкой), отовсюду глядели на меня эти простые, искренние и все же волнующие слова. Осторожно вынул я наугад из корзиночки одну готовую плиточку, потом другую, слегка раскрыл обертку и в каждой находил ту же самую зеленую песенку. Мне казалось, что я слышу успокаивающий зов перепелочки на опустевшем поле или в глубине леса нежную песенку дрозда, которая медленно нарастает и внезапно обрывается.

Насколько я знал, в этот вечер не предполагалось большого общества, поэтому Дортхен, видимо, готовила свой сюрприз для какого-то предстоящего праздника, о котором я ничего не знал. Я вдруг оставил листки и вышел на террасу, где, бросившись в кресло, провел остаток времени во вздохах и размышлениях. Спустя некоторое время появилась Дортхен с несколькими еле распустившимися бледно-алыми розами, которые она, очевидно, принесла из оранжереи; в руках у нее был подсвечник с зажженной свечой, так как сумерки уже переходили в ночь. Беззаботно принялась она за свою работу, завернула еще с полдюжины сахарных и ванильных плиточек вместе с листочками, все время напевая вполголоса две первые строчки:

Нам надежда неверна,

Если сами неверны мы,—

пока, с последней плиточкой, она не перескочила на конец:

К нам надежда снизойдет
В сердце, не в открытый рот! —

закончив неожиданной мелодией и несколько громче, на самых низких нотах, на которые был способен ее голос. Затем она спрятала неиспользованный остаток листков в карман, украсила потемневшее серебро розами и, взяв в одну руку нарядную корзиночку, в другую — свечку, покинула гостиную. Я наблюдал за ее грациозными движениями, скрытый наполовину тюлевыми занавесками высокого окна.

Раздался веселый голос капеллана, и я поспешил встретить его, спустившись по ступенькам террасы; в его обществе вошел я снова в дом, в те комнаты, где мы обычно проводили вечера. Этим искусным маневром я стремился отвести от себя подозрение Дортхен в том, что мне известна странная тайна ее корзиночки. Когда мы вчетвером сидели у стола, мне казалось, что время летит слишком быстро; мое себялюбие было польщен общей благосклонностью, благодаря которой моя особа явилась предметом этой последней беседы, и уверенность, что я в последний раз наслаждаюсь присутствием Дортхен, вдвое сокращала оставшиеся часы. Граф утверждал, что привык к моему обществу, и если б дело было в нем одном, он еще долго не отпускал бы меня; капеллан возразил ему, говоря, что я должен отправиться в путь, дабы, как он твердо надеется, благодаря перемене места и возвращению на мою прекрасную родину обрести потерянные идеалы.

Смеясь, я ответил ему, что, если верить некоторым предсказаниям моих сновидений, я, во всяком случае, обрету новые идеи, и я рассказал им о хрустальной лестнице, в ступенях которой спали идеи в образе маленьких женских фигурок. Капеллан подивился этому сну и, все более изумляясь, не сводил с меня глаз, когда я продолжал описывать странные образы сна в те несчастливые дни, так как этим я подтверждал его мнение, что в снах своих я был еще большим безумцем, то есть, по его понятиям, еще большим идеалистом, чем он — наяву. Я рассказал о мосте тождества, о золотом дожде, который я вызвал, летя на коне, о том, как я свалился кувырком с церковной крыши и, наконец, о том, как стоял, полный отчаяния, перед дверью родительского дома, после того как он чудесным образом заблестел и заискрился перед моими глазами.

За ужином мы пили крепкое вино, и оно настолько возбудило меня, что я приукрасил свое повествование множеством добавлений и выдумок и закончил, как настоящий сказочник, который пускает пыль в глаза народу, рассказывая небылицы.

— Ох, и нагородил же он — с три короба! — сказал капеллан; смущенный моим враньем, он употребил грубоватое простонародное выражение; видимо, я взялся не за свое дело и вторгся в его область, так как рассказывал действительно пережитое мною, хотя это все было ничто, пустой сон; граф, со своей стороны, заметил:

— Мы что-то до сих пор не замечали у нашего друга такой разговорчивости. Но раз он на это способен, то, я надеюсь, когда-нибудь он употребит свой дар речи и для более серьезных вещей. Давайте чокнемся за доброе будущее для всех нас!

Он снова наполнил бокалы, мы сдвинули их со звоном, но я не старался вникнуть в потаенный смысл его слов, потому что неожиданно заметил Доротею; она подошла к нам с корзиночкой, украшенной розами.

— Я тоже хочу высказать напутственное пожелание, — сказала она, подойдя ко мне, — но выбор я предоставляю случаю. Вот знакомая вам корзинка с предсказаниями, выберите себе конфету, но только одну, и будьте при этом осторожны и осмотрительны.

Я взглянул на нее удивленно и вопросительно; я ведь знал, что в каждом из всех этих изящных пакетиков лежит один и тот же стишок.

— Какой же вы мне советуете взять? — спросил я ее, охваченный глубоким волнением;

но она спокойно ответила:

— Я не могу вмешиваться, когда должен высказаться оракул!

— Может быть, взять эту?

— Не знаю!

— Или эту?

— Я ничего не скажу — ни да, ни нет!

— Тогда я выберу эту и благодарю вас за любезность! — воскликнул я, развертывая бумажку, в то время как Дортхен поспешно убрала корзинку.

— Ну, что же там написано? — спросил капеллан. Я был рад его вопросу, так как сам был не в состоянии прочесть эти стихи вслух. Я передал ему листок с просьбой прочесть его. Он продекламировал стихи с выражением.

— Прекрасное изречение! — добавил он. — Вы можете быть довольны; оно основано на благочестивой и надежной жизненной философии, которую в наши дни не часто встретишь! Ну, а теперь, милостивая государыня, дайте и мне попытать удачи, посмотрим, что ждет меня здесь!

Он требовательно протянул руку к нарядной корзиночке. Но Доротея возразила:

— В следующее воскресенье и вам что-нибудь достанется, ваше преподобие! Сегодня получает тот, кто расстается с нами! — Она поспешно отошла и заперла корзиночку в буфет.

На следующее утро, когда граф и я сидели в удобной дорожной коляске, Доротея, которая уже простилась с нами, вдруг снова подошла к экипажу и сказала:

— Все-таки вы что-то забыли! Ваша зеленая книга, господин Генрих, ведь лежит у меня! Хотите, я быстро ее принесу?

— Не нужно! — сказал мой спутник. — Это нас задержит надолго. Если он нам вскорости напишет, как мы надеемся, то мы сможем переслать ему книгу в полной сохранности. Не так ли?

Радостно вздохнув, я кивнул в знак согласия; вместе с книгой, как мне казалось, подле Дортхен остается частица меня самого.

— Я буду держать ее под надежным запором, и с нею ничего не случится! — сказала она, и в момент, когда лошади тронулись, кивнула, провожая меня дружеским взглядом. И все же я тогда видел это прелестное существо последний раз в жизни.

Глава четырнадцатая **ВОЗВРАЩЕНИЕ И AVE CAESAR**

Обе золотые рамы, заказанные заранее, оказались готовы, когда мы с графом прибыли в город, где уже однажды побывали вместе. Мой покровитель постарался сразу же употребить влияние, которого он, благодаря своему титулу и личным достоинствам, еще не лишился и которое в незначительных случаях мог использовать; поэтому мои картины уже через несколько дней висели на наиболее выгодном месте в одном из залов выставки, той самой, где я когда-то так безуспешно начинал свой путь. Они, правда, не были шедеврами, но все же содержали известный смысл; в них можно было увидеть и обещание будущего прогресса, и, быть может, известный предел, достигнутый ограниченным талантом, вечный отдых после первоначального бурного разбега, — отдых бегуна, который успокоился и, отказавшись от дальнейших попыток одержать победу, уселся на краю самой оживленной в искусстве дороги, именуемой «золотая середина».

К моему удивлению, рядом висели и те две небольшие картины, которые я отдал еврею-портному, торговавшему картинами, в обмен на поношенную одежду. Граф, помнивший об этом случае, разыскал их и перекупил из третьих рук. Теперь на них висели ярлыки с гордой надписью «продано». Эта хитрость графа пробудила благоприятное мнение, которое распространилось на все четыре картины, и в ближайшем же обзоре искусств весьма распространенной крупной газеты они были упомянуты в нескольких одобрительных строках, хотя замысел их и не был верно понят критиком. Короче говоря, через несколько

дней объявился крупный торговец произведениями искусств, объезжавший мастерские и выставки немецких художников, чтобы приобретать целые коллекции картин для продажи в глухих провинциальных городах. По милости этого покупателя, который собирался приобрести мои картины за скромную цену, мое имя получило бы дополнение в виде «художник такой-то школы», — честь, о которой я прежде не смел и мечтать. Но граф полагал, что я должен продать картины любителю, а не торговцу, и уверял, что уже имеет кого-то в виду.

Но прошло еще несколько дней, и хранитель выставки передал мне письмо, пришедшее с севера на мое имя. Оно было от Эриксона, который писал мне:

«Милый Генрих, я только что прочел в вашей газете, выписанной мною по желанию жены, что ты еще там и выставляешь четыре работы, две небольшие и две побольше. Если ты никому их не обещал, оставь мне любую пару и пришли; я буду твердо на это рассчитывать! Назначь сам приличную цену и не будь слишком щепетилен — мне живется неплохо. Я снова восстановил положение нашей фирмы, даже не трогая денег жены, и, кроме того, приобрел сбережения, а именно двух мальчишек. Старший уже намалевал на стене черта, и даже вишневым вареньем, а сделал он это после замечания матери, что не так страшен черт, как его малюют. Славный малыш, ему еще нет и трех лет. Если будешь посылать мне картины, напиши побольше о себе!»

Не колеблясь ни минуты, я решил принять это дружеское предложение; оно более всего соответствовало моему решению отказаться от занятий искусством; ведь приобретение моих картин из дружеского расположения отнюдь не было еще доказательством моего артистического призвания. Граф вынужден был согласиться со мной, хотя у меня и возникло подозрение, что его проекты продажи моих картин мало чем отличались от этого.

Я послал картины Эриксону. В письме, которое оказалось не таким подробным, как ему хотелось (видимо, из-за обилия чувств, переполнивших мое сердце), я просил переслать деньги мне на родину, куда я направляюсь; таким образом, я вез домой не только значительный капитал наличными, превосходивший все, что у меня бывало до сих пор, но и уверенность в том, что спустя некоторое время после приезда, когда первые впечатления уже сотрутся, я получу из дальних краев немалую сумму, каковое событие должно было произвести благоприятное действие на земляков.

Однако это было еще не все; казалось, что моему злополучному сну о золоте и богатстве суждено исполниться, хотя бы и в малых размерах. Когда мое новое местопребывание стало известно властям и уже близилось к концу, мне принесли повестку в суд, куда мне надлежало явиться, чтобы получить некоторые сведения. Незадолго до этого я как раз хотел навестить старого приятеля, старьевщика Иозефа Шмальхефера, но нашел его полутемную лавчонку закрытой и узнал, что бедняга несколько месяцев как умер. К моему великому удивлению, в судебной канцелярии мне сообщили, что старик, у которого не было наследников, завещал все свое довольно значительное состояние на благотворительные цели и в своем завещании упомянул мою особу, отказав мне четыре тысячи гульденов. Если я смогу удостоверить, сказали мне, что я действительно являюсь тем лицом, которое имел в виду завещатель, указанная сумма может мне быть выплачена немедленно; до сих пор меня пытались разыскать, но безуспешно. Вопрос состоит в том, я ли тот человек, который продал покойному большое количество рисунков и т. п., а также, по случаю обручения крон-принца, раскрашивал флагштоки.

Граф мог тотчас же привести исчерпывающие доказательства в отношении рисунков; что же касается остального, то судебному чиновнику оказалось вполне достаточно свидетельства графа, заверившего его, что флагштоки разрисованы также мною.

Итак, мне были вручены государственные облигации на сумму четыре тысячи гульденов; граф продал их и обменял вырученные деньги на надежные векселя, так что мое состояние было в бумагах трех различных видов: в наличных ассигнациях, векселях и

долговых обязательствах.

— Только бы теперь не появился толстый Телль со стрелами и церковная крыша! — сказал я, сидя за обедом в гостинице, где я еще продолжал пребывать гостем графа. — Мне надо поторопиться с отъездом, иначе столь необычайное счастье окажется сновидением и улетучится!

Мне и в самом деле было не по себе, и я уже начал сомневаться в фортуне.

— Зачем вы опять ломаете себе голову над глупостями? — сказал граф. — Во всем вашем состоянии, которое кажется вам столь невероятным, нет ни одного пфеннига, не заработанного вами самым добросовестным образом! И что вы такое говорите о сновидениях и удачах? Что представляют собой эти несколько гульденов в сравнении с лучшими годами вашей жизни, которые вы потеряли?

— Ну, а случай с наследством? Разве это не неожиданное счастье?

— Ничего подобного! Корни его тоже в вас! Я забыл передать вам записку, найденную мною между бумагами, когда я передавал облигации своему банкиру. Вот это письмо, которое старик оставил для вас.

Граф передал мне листок, исписанный хорошо мне знакомым неуклюжим почерком, — он был еще неразборчивее, чем обычно, по-видимому оттого, что бедняга был болен и совсем ослабел. Я прочел:

«Ты больше не пришел ко мне, сынок, и я не знаю, где найти тебя. Но я боюсь, что смерть вскорости настигнет меня посреди всего этого скарба, и мне хочется передать тебе то, чем я уже, к сожалению, не смогу пользоваться! Я так решил, потому что ты был всегда доволен тем, что я давал тебе за твою живопись, и в особенности потому, что ты так скромно и усердно работал у меня. Если в твои руки попадет это маленькое состояние, скопленное мною за долгие годы терпения и осмотрительности и ныне завещанное тебе, пользуйся им здраво и разумно; я же должен проститься со всем этим. А засим да хранит тебя господь, мой мальчик!»

— А ведь хорошо, — сказал я, испытывая еще большее удивление, — что всякий поступок ценится по-разному. То, что многие считали бы моим легкомыслием, если не беспутством, в глазах доброго старика оказывается доблестью и заслуживает награды.

— Ну что ж, чокнемся за упокой его души и за то, что он рассудил по справедливости! — ответил граф, улыбаясь. — А теперь, — продолжал он, снова наполняя стаканы, — давайте выпьем за нашу дружбу и на брудершафт, если вы ничего не имеете против!

Я чокнулся и выпил, по у меня был настолько ошеломленный и сконфуженный вид, что граф, видимо, заметил это, пожимая мне руку; разница между нами и в возрасте, и в общественном положении была слишком велика, чтобы я мог ожидать такого предложения.

— Да только не смущайся, когда придется говорить *ты!* — весело сказал он. — Для меня это большая удача — быть на ты с молодым собратом из другого государства. Следуй и ты доброму немецкому обычаю, по которому юноши, зрелые мужи и старики, идущие к одной и той же цели, вступают в братский союз. А теперь поговорим о тебе! Что ты думаешь делать, когда снова будешь на родине?

— Я думаю вернуться к изучению «Боргезского бойца», — ответил я. На его вопрос, что это значит, я вкратце рассказал, как благодаря этой статуе я подошел к науке о человеке, а теперь собираюсь сделать своим призванием не только изучение внешнего облика людей, но и их жизни в обществе. — На долю мою выпала удача, даровавшая мне время и средства для достижения этой цели, и я надеюсь быстрым и разумным путем наверстать необходимые знания, а затем посвятить себя труду на пользу общества.

— Я себе представлял нечто в этом духе, — сказал мой титулованный собрат, — но раз уж так обстоят дела, я бы не терял времени на особые занятия, тем более что у вас в стране нет иерархии, а следовательно, нет и непреодолимых ограничений. На твоём месте я бы

начал с того, что спокойно осмотрелся, а затем взял на себя какую-нибудь низшую должность, — в случае необходимости даже без оплаты, — и научился бы плавать, сразу бросившись в воду. Если ты возьмешь себе за правило каждый день посвящать несколько свободных часов чтению книг по общественным вопросам и размышлению над ними, ты в течение короткого времени станешь деятелем, обладающим и достаточными познаниями, и практическим опытом, причем с годами заполнишь все пробелы школьного образования, и в тебе окрепнет то, что составляет сущность настоящего человека. Разумеется, судебное дело и все с ним связанное я бы оставил на долю ученых юристов; я постарался бы добиться того, чтобы все в этом отношении последовало моему примеру. Главное, нужно знать, когда и где надлежит дать слово юристам, нужно обеспечить им почет и всеобщее уважение, если сами они высоко держат знамя законности и не судят по мертвой букве закона, нанося вред своему народу. К трусливым судьям ты должен быть непримирим, изгоняй их и клейми презрением...

— Постой, о граф! — остановил я моего собеседника, ибо он, увлекшись, совсем забыл о моем нынешнем положении. — Я еще не стал ни консулом, ни трибуном!

— Все равно! — воскликнул он еще громче. — А если перед тобой окажутся одновременно двое судей, из которых один будет труслив, а другой неправеден, вели обоим отрубить головы и приставь неправедному голову трусливого, а трусливому голову неправедного. Пусть тогда они судят, как могут!

Только теперь он умолк, потом выпил и продолжал:

— Таково примерно мое мнение... Ну, ты меня в общем, понимаешь!

Я еще никогда не видел, чтобы этот неизменно спокойный человек был так взволнован; мои слова о том, что я отправляюсь в республику, где собираюсь участвовать в общественной жизни страны, казалось, пробудили в нем горестные мысли о собственной стране и старое недовольство общественным устройством.

Между тем наступил наконец час прощания, и не было больше причин откладывать его. Дела мои были улажены, сам я был готов к путешествию, поэтому граф сразу же после обеда уехал, чтобы до наступления вечера достичь своего поместья, а я отправился на вокзал, который как раз в эти дни впервые открылся. Отдельные железнодорожные ветки Верхней Германии впервые оказались соединенными между собой, и новым путем я мог быстрее достичь швейцарской границы, хотя он и не шел в прямом направлении. По этим изменениям я мог судить о длительности моего отсутствия.

Переправившись через Рейн, я оказался в своей стране, — я попал в самый водоворот политических событий, завершавших превращение пятисотлетней федерации кантонов в единое союзное государство²²⁷; процесс этот был настолько бурный и многообразный, что заставил забыть о ничтожных размерах страны, ибо нет ничего, что было бы малым или великим само по себе, и богатый ячейками, полный жизни, жужжащий пчелиный улей значительно превосходит огромной кучи песка. Стояла ясная весенняя погода, улицы и трактиры были переполнены, и повсюду я слушал гневные клики, вызванные неудавшимися или удавшимися актами политического насилия. Люди жили в водовороте кровавых или бескровных переворотов, волнений по поводу выборов и законодательных изменений, которые именовались путчами, и эти шахматные ходы делались на диковинной шахматной доске Швейцарии, где каждое поле было более или менее суверенным кантоном; в одних имелось народное представительство, другие были демократическими, в одних существовало право вето, в других — нет, одни были городскими, другие — сельскими общинами, а третьи были помазаны теократическим миром, так что глаза у них были плотно закрыты.

²²⁷ ...превращение пятисотлетней федерации кантонов в единое союзное государство ... — Наряду с борьбой за демократическую конституцию в Швейцарии стало развиваться мощное движение за создание союза объединенных кантонов, которое привело наконец в 1848 г. к основанию буржуазно-демократической республики.

Я сразу же отдал багаж на почтовую станцию и решил проделать остаток пути пешком, чтобы собственными глазами все увидеть и предварительно познакомиться с положением дел. На пути моем то здесь, то там клокотало и дымилось недовольство.

И все же страна была окутана небесно-голубой дымкой, сквозь которую поблескивали серебром горные цепи, озера и потоки, и солнце играло на юной листве, покрытой капельками росы. Передо мной раскрывалось бесконечное многообразие форм моей родины: спокойные и плавные линии равнин и вод, зубчатые очертания крутых гор, под ногами — цветущая земля, а ближе к небесам — сказочная пустыня; все это непрерывно сменялось перед моим взором и повсюду, в долинах и горах, я видел бесчисленное множество поселений. С бездумной наивностью юноши или ребенка я считал красоту моей страны ее исторической и политической заслугой, своего рода патриотическим подвигом народа, подвигом, который равнозначен самой свободе, и я бодро шагал мимо католических и реформистских деревень, по местностям, вкусившим плоды просвещения, и по другим, которые упорно коснеют в невежестве...

Я представлял себе все это огромное решето, наполненное различными конституциями, вероисповеданиями, партиями, суверенными государствами и городскими общинами, решето, сквозь которое должно быть процежено определившееся и наконец установившееся мнение народного большинства, являющегося одновременно большинством силы, разума и жизнеспособного духа, и я почувствовал восторженное желание примкнуть к борьбе в качестве отдельного индивидуума и в то же время некоей составной части, выражающей целое, всю нацию. В этой борьбе я надеялся закалить свой дух и стать доблестным и деятельным гражданином, мужем совести и действия, способствующим благородному сражению за народное большинство. Но мне, входящему составной частью в это большинство нации, было не менее дорого и побежденное мною меньшинство, ибо ведь и оно плоть от плоти и кость от кости того же народа.

Но большинство, говорил я себе, это незаменимая действенная и необходимая сила в стране, осязаемая и близкая, как физическая природа, к которой мы прикованы. Сила эта — единственная надежная опора, всегда юная и всегда одинаково могучая; поэтому следует незаметно способствовать тому, чтобы она стала разумной и светлой силой там, где она еще этого не достигла. Такова наивысшая и прекраснейшая цель. Большинство нации — необходимо и неодолимо, а потому буйные головы всех крайних направлений вступают против него в борьбу, но ему неизменно принадлежит последнее слово, и оно успокаивает даже потерпевшего поражение; в то же время притягательная власть его вечной юности зовет побежденного к новой борьбе, и так оно сохраняет и вечно возобновляет собственную духовную жизнь. Оно всегда доброжелательно и желанно, и даже если оно заблуждается, то общая ответственность помогает перенести его ошибки. Когда оно признает свои заблуждения, то, пробуждаясь от них, напоминает свежее майское утро во всей его живой прелести. Оно не стыдится своих ошибок, более того — совершенные им ложные шаги едва ли вызывают у общества досаду, так как обогащают опытом и вызывают радостное стремление избавиться от дурного, а на фоне исчезающего сумрака еще ярче сверкает светлый день. Оно является задачей, при решении которой человек, связанный с ним, как частное со всеобщим, может использовать свои силы, и только на этом пути отдельный представитель нации становится настоящим человеком. Так осуществляется чудесное взаимодействие между целым и его живой частью.

Внимательно разглядывает толпа отдельного человека, который хочет указать ей путь, а он, мужественно выжидая, обнаруживает лучшие стороны своего существа и неуклонно стремится к победе. Но пусть он не думает стать господином над толпой; до него были другие, после него придут еще люди, и каждый порожден этой массой; он — ее частица, она выделила его из себя, чтобы вести с ним, своим детищем, своей собственностью, разговор, как с самой собою. Каждая истинно народная речь — лишь монолог, произносимый самим народом. Но счастлив тот, кто в своей стране может быть зеркалом своего народа, зеркалом, отражающим только жизнь нации, которая в то же время сама является и должна являться

лишь маленьким зеркалом великого живого мира.

Подобными фразами воодушевлялся я все сильнее и сильнее, чем ярче синело надо мною небо и чем ближе я подходил к родному городу.

Правда, я не мог подозревать тогда, что время и жизненный опыт не пощадят этого идиллического представления о политическом большинстве; и к тому же я не заметил, что в ту самую минуту, когда я решил стать самостоятельным деятелем, я, еще не сделав даже первого шага, позабыл все уроки истории. В ту минуту я и не думал о том, да и не знал, что огромные массы народа могут быть отравлены и погублены одним-единственным человеком, что в благодарность за это они, в свою очередь, отравляют и губят отдельных честных людей, что нередко массы, которые однажды были обмануты, продолжая коснеть во лжи, хотят быть снова обманутыми и, поднимая на щит все новых обманщиков, ведут себя так, как вел бы себя бессовестный и вполне трезвый злодей, и что, наконец, пробуждение горожанина и земледельца от общих заблуждений большинства, благодаря которым люди сами нанесли себе немалый ущерб, далеко не так уж лучезарно, ибо именно в этот час всем ясно видны произведенные разрушения.

Но даже если бы я помнил об этих теневых сторонах, все равно то неизбежное и необходимое, чем является власть большинства, без поддержки коего самый могучий властитель превращается в ничто, и благородное его величие, когда оно не испорчено, были достаточно могущественны, чтобы поддержать мои решения и сильнее возбудить мою жажду выйти на новое поле деятельности. Я шагал все отважнее и энергичнее, пока наконец не ступил на мостовую родного города; сердце мое застучало сильнее при мысли о матушке, которую мне предстояло увидеть.

Мои вещи тем временем должны были уже прийти вместе с почтой. Я направился сначала на почтовую станцию, чтобы получить коробку с моими скромными подарками; там была материя, более тонкая, чем та, которую обычно носила матушка (я надеялся, что уговорю ее сшить себе новое платье), а также ароматное и твердое немецкое печенье, которое должно было прийтись ей по вкусу.

И вот с коробкой в руке я шел по нашей старой улице; еще было светло, и улица показалась мне более оживленной, чем прежде; я заметил много новых лавок, старые закоптелые мастерские исчезли, некоторые дома были перестроены, другие заново покрашены. Только наш дом, прежде один из самых опрятных, теперь был темен, словно вымазан сажей. Я подошел к нему, взглянул наверх, на окна нашей комнаты; они были открыты, и на подоконниках стояли горшки с цветами; но в окнах появлялись и исчезали чужие детские лица. Никто не заметил и не узнал меня, когда я собрался войти в знакомую дверь, — лишь один человек, с линейкой и карандашом в руках, увидев меня с другой стороны улицы, поторопился мне навстречу. Это был тот ремесленник, что посетил меня на чужбине во время своего свадебного путешествия.

— С каких пор вы здесь, или вы только что приехали? — воскликнул он, поспешно пожимая мне руку.

— Я только что прибыл, — сказал я, и в ответ на мои слова он попросил меня на минуту зайти к нему, прежде чем я поднимусь наверх.

Я согласился и, подавляя внутреннее волнение, которое овладело мной, переступил порог богатой лавки, где в глубине у конторки сидела молодая женщина.

Она сразу же поднялась мне навстречу и сказала:

— Боже милостивый, что же вы так поздно приехали! Испуганно стоял я перед нею, еще не понимая, что могло так взволновать этих людей. Но сосед не замедлил разъяснить мне случившееся.

— Ваша матушка заболела, да так тяжело, что вам, пожалуй, не следует являться к ней внезапно и без предупреждения. С сегодняшнего утра у нас еще нет никаких сведений; я думаю, будет лучше, если жена сходит туда и узнает, как дела. А вы пока подождите здесь!

Удрученный, я безмолвно и все еще не желая верить такому печальному повороту судьбы, опустил на стул и так сидел, держа на коленях коробку. Соседка быстро

перебежала через дорогу и исчезла за дверью, которая была еще закрыта для меня, словно я был чужой. Вскоре она вернулась с глазами, полными слез, и произнесла приглушенным голосом:

— Идемте скорей! Боюсь, она не долго протянет, священник уже там! Кажется, она уже потеряла сознание!

Соседка поторопилась вперед, чтобы в случае надобности оказать мне помощь, а я шел следом, от волнения еле держась на ногах. Быстро и легко взбежала она по лестнице; на всех этажах перед своими дверьми торжественно стояли жильцы, они разговаривали тихо, как у постели умирающего. И около нашей двери стояли незнакомые люди; спутница моя, ведя меня по старому отцовскому дому, быстро прошла мимо них, и я поднялся за нею на чердак, где увидел весь наш домашний скарб, сваленный в кучу, и каморку, где жила моя мать. Соседка тихо открыла дверь; матушка лежала на своем смертном ложе, вытянув руки поверх одеяла; смертельно бледное лицо ее было неподвижно; она медленно дышала. В обострившихся чертах, казалось, гнездится глубокое горе, которое постепенно уступает место безропотному смирению. У кроватки сидел младший пастор церковной общины и читал отходную. Я неслышно вошел и не двинулся, пока он не кончил. Когда он беззвучно закрыл книгу, соседка подошла к нему и шепнула, что прибыл сын умирающей.

— В таком случае я могу удалиться, — сказал он, внимательно взглянул на меня, затем поклонился и вышел.

Соседка подошла к кровати, взяла платок и заботливо вытерла влажный лоб и губы больной; я все еще стоял недвижно, как перед судом, со шляпой в руке, с коробкой у ног, а она наклонилась и сказала как можно ласковее, чтобы не испугать страдальцу:

— Госпожа Лее! Генрих здесь!

Она произнесла эти слова очень тихо и все же так отчетливо, что даже собравшиеся у открытых дверей женщины услышали их, но матушка, казалось, не поняла, — она только перевела взгляд в сторону говорившей.

Я испытывал глубокую печаль, к тому же у меня захватывало дыхание от тяжелого, спертого воздуха, ибо неразумная сиделка, притулившись в углу, не только держала закрытым маленькое окошко, но и задернула зеленую занавеску. По этому признаку я догадался, что сегодня еще не было лекаря.

Невольно я отдернул гардину и распахнул окно. Свежий весенний воздух и ворвавшийся в комнату свет тронули застывающее суровое лицо еле заметным мерцанием жизни; слегка затрепетала кожа на впалых щеках; умирающая широко открыла глаза и взглянула на меня долгим вопрошающим взором, я схватил ее руки и нагнулся к ней. Но она уже не могла произнести то слово, которое шевелилось на ее дрожащих губах.

Соседка позвала сиделку с собой, неслышно закрыла дверь, а я с криком: «Матушка! Матушка!» — упал на колени и, плача, положил голову на одеяло. Ускорившееся хриплое дыхание заставило меня вскочить на ноги, и я увидел, как закатились ее честные глаза. Тогда я взял в руки бездыханную голову, — может быть, я впервые в жизни так держал ее. Но все уже было кончено.

Я подумал, что должен закрыть ей глаза, что для этого и нахожусь здесь, что она, может быть, почувствует, если я об этом забуду; эта горькая обязанность была для меня новой, непривычной, и робкая рука моя дрожала.

Спустя некоторое время вошли женщины и, увидев мертвое тело матушки, предложили свои услуги, для того чтобы сделать все необходимое и одеть покойную для погребения. Так как я был у себя дома, они спросили у меня указаний, во что одеть матушку. Я открыл один из шкафов, стоявших на чердаке; он был полон вполне добротной одежды, которая копилась и береглась годами и уже давно вышла из моды. Но сиделка сказала, что усопшая говорила ей о каком-то платье, приготовленном ею на случай смерти; действительно, мы нашли его на дне шкафа завернутым в белый платок. Я не знал, когда она успела его сшить.

Женщины рассказали и о том, как мало хлопот доставляла им матушка во время болезни, как тихо и терпеливо лежала она и как она никогда ни о чем для себя не просила.

Глава пятнадцатая
ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

Пока женщины приводили в порядок постель и убрали покойницу, я последовал приглашению соседки зайти к ним в дом и там отдохнуть. Прежде чем вести дальнейшую беседу, муж ее попытался осторожно выведать мои жизненные обстоятельства и переживания. Я не скрыл от него, что в дни нашей прошлой встречи мои дела были очень плохи, но затем сообщил о благоприятном повороте моей судьбы и рассказал обо всем, кроме моих любовных дел, и, как своеобразное оправдание, со слезами на глазах показал ценности, привезенные мною. Я отодвинул в сторону деньги и государственные облигации и перед этим чужим человеком зарыдал, уронив голову на стол.

Он был поражен, долго сидел безмолвно, и лишь когда я немного успокоился, выразил свое огорчение по поводу несчастного стечения обстоятельств. Не удержавшись, он изложил их мне. Мать долгое время ждала моего возвращения или хотя бы известий от меня, и однажды она, уже больная, получила приглашение явиться к полицейским властям. Оно, — как теперь можно предположить, — было, видимо, вызвано розысками моей особы немецким судом по поводу наследства Иозефа Шмальхефера. Может быть, судебные органы просто по небрежности забыли указать причину своих поисков. Так или иначе, когда матушку спросили о моем местонахождении, она не могла ничего сказать и испуганно спросила, почему меня ищут. В полиции ответили, что они не знают, что получено лишь обычное извещение с вызовом в суд: надо полагать, что я наделал долгов или еще в чем-нибудь провинился, а теперь скрываюсь. Такая версия распространилась в городе, и бедная женщина благодаря всяким намекам окончательно уверилась, что я по уши залез в долги и, обреченный на нищету, скитаюсь по белу свету.

Вскоре после этого, когда она отправилась вносить с трудом собранные ею проценты по сумме, взятой ею под залог дома, ей отказали в продлении закладной, и ко всем ее заботам и горестям прибавилась еще одна — ей пришлось искать нового займа. Но денег достать ей не удалось, так как многие хотели, отобрав у нее недвижимость, заработать на ее беде; среди этих корыстолюбцев был и разбогатевший, но все еще живший в нашем доме жестянщик, который надеялся сам заполучить дом. К тому же должна была наконец начаться постройка железной дороги; вокзал предполагали соорудить недалеко от нашей улицы, и стоимость земельных участков росла с каждым днем; мать, жившая в полной отрешенности от мира, ничего обо всем этом не знала.

Мучительные заботы, без сомнения, сократили ей жизнь, потому что день уплаты с каждой неделей придвигался все ближе.

— Если б я хоть догадывался о положении вещей, — сказал мне сосед, — я бы мог помочь советом; но замкнутость вашей матушки облегчила спекулянтам возможность держать переговоры в тайне, и только несколько дней назад я случайно услышал обо всем, когда эти господа уже считали, что добыча у них в руках. Теперь вы сами здесь, и вам достаточно десятой доли того, что лежит перед вами, чтобы погасить задолженность и выкупить дом, а сумма долга, насколько я знаю, вообще не слишком значительна. Дом может уже сейчас принести вам большую прибыль, если вы захотите его продать. Хоть он и стар и с виду непригляден, но построен крепко, и в нем много неиспользованных помещений, которые легко превратить в жилые комнаты. И вот надо же было такому случиться!

Сознание того, что причиной моего несчастья было печальное стечение обстоятельств и коварство нескольких жадных дельцов, нисколько не облегчило тяжести, обрушившейся на мою совесть таким грузом, в сравнении с которым тяжесть железного образа Доротеи показалась мне легче пушинки; или, быть может, наоборот: чувство тяжести перешло в ощущение некоей пустоты, подобно тому как высший предел холода напоминает ожог. Мне казалось, что из меня уходит мое собственное «я».

Любезные соседи предложили мне ночевать у них, но я не согласился, — я считал

невозможным оставить матушку одну. С наступлением вечерних сумерек я вернулся в наш дом. Теперь у дверей своего жилища стоял и темнолицый жестянщик. Я поздоровался с ним, он же, испытующе поглядев мне в глаза, пригласил меня остановиться у него; я отказался и только попросил дать мне свечу. Получив ее, я снова поднялся на чердак, вошел в каморку и зажег старую медную лампу, — в течение многих лет я часто представлял себе матушку, сидевшую с ней долгими зимними вечерами. Лампа была давно не чищена и потускнела, но масло в ней было налито недавно. Матушка лежала, обрета наконец покой, а я, в беспечности своей так долго медливший с возвращением, теперь находил некоторое утешение в ее безмолвном присутствии, стараясь не думать, что скоро черты ее скроются от меня навеки. Я занялся своей несчастной коробкой, открыл ее и вынул тонкую шерстяную материю, предназначавшуюся матушке на платье. Я собирался, развернув кусок, прикрыть этим легким покрывалом тело матери, чтобы хоть как-нибудь отдать ей свой подарок, но вдруг понял всю никчемность этого манерного поступка, да еще в такой серьезный час; я свернул материю и спрятал ее в коробку. Несмотря на усталость после многодневной ходьбы, я провел всю ночь на соломенном стульчике возле окна и засыпал лишь ненадолго, причем всякий раз пробуждение причиняло мне новую боль — я снова и снова убеждался в безмолвном присутствии матери.

На другой день явился агент похоронного общества, одним из основателей которого был еще мой отец, и предпринял все необходимые шаги; мне не пришлось ничего делать. Даже расходы по похоронам были давно уже покрыты аккуратными взносами матушки; позднее мне выплатили даже небольшую денежную разницу. Она и в этом отношении ушла из жизни, не доставив другим ни малейших затруднений.

Когда я отыскивал в ее вещах необходимые бумаги, мне пришлось открыть шкаф и письменный стол, где я нашел разные мелочи, припрятанные ею, которых до сих пор никогда не видел. В небольшом деревянном ящичке с металлическими украшениями лежали пожелтевшие от времени уборы ее юных лет: искусственные цветы, пара белых атласных туфелек, сложенные ленты, — они ни разу или почти ни разу не были в употреблении. Мне попало и несколько старых альманахов с обрезом, — вероятно, давно позабытые подарки, — и, то меня больше всего поразило, небольшая книжечка со списанными стихами и песенками, которые ей, видимо, нравились, она была еще девушкой. Между страницами лежал жженый листок, тоже исписанный ее тогдашним почерком, чернила выцвели, но все же можно было прочесть следующее стихотворение:

УТРАЧЕННАЯ ЧЕСТЬ,
УТРАЧЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Тот, кому удач не счесть,
Счастлив, сохраняя честь
Честный счастлив, если он
И удачей осенен.

Честь в беде — величье душ —
Сохраняет гордый муж.
Так бушующий прибой
Катит жемчуг за собой.

Судно рассекает воды,
Моряка согнули годы,
Океан застыл, велик,
Как Медузы грозный лик.

Пел моряк: «О, сколько раз,

Волны, побеждал я вас,
Смертоносный ураган
И спокойный океан.

Честь моя была со мной,
Был я властен над волной,
Ныне честь моя на дне,
И волна не служит мне.

Честь пропала без следа,
Как падучая звезда.
Кажется, что много лет
У меня уж чести нет.

Вновь поднимутся валы,
Только мне не ждать хвалы:
Честь утративший — мертвец.
В радости, в беде — конец!»

Какие мысли волновали юную девушку, если она в те далекие годы списала и сохранила это стихотворение?

Я нашел еще несколько исписанных листков, относившихся уже к недавним годам, а быть может, и к самому последнему времени. В бюварчике, где еще сохранилась тонкая пачка почтовой бумаги, лежал отдельный листок, бывший, очевидно, продолжением какого-то письма, так как строчки начинались в левом углу, с самого верха. Вот этот отрывок:

«Если богу в самом деле угодно, чтобы сын мой был несчастен и вел на чужбине бродячую жизнь, то предо мною встает вопрос: не лежит ли вина на мне, его матери, ибо я, по невежеству, не смогла дать ему твердого воспитания и, предоставляя ребенку неограниченную свободу, потакала его своеволию. Может быть, мне надо было порадеть о том, чтобы, при содействии более опытных людей, применить некоторое принуждение и направить сына на путь надежного призвания, обеспечивающего заработок, вместо того чтобы предоставить возможность ему, не знающему жизни, отдаваться своим неоправданным увлечениям, которые лишь поглотили его деньги и ни к чему не привели. Когда я вижу, как некоторые отцы, обладающие достатком, заставляют сыновей зарабатывать себе на хлеб еще до наступления совершеннолетия и как это идет на пользу таким сыновьям, на меня с удвоенной тяжестью падает горький, давно знакомый упрек; по свойственному мне простодушию я никогда не предполагала, что меня постигнет подобное разочарование. Правда, в свое время я советовалась с людьми; но когда советы не совпадали с желаниями ребенка, я перестала их спрашивать и позволила сыну поступать по его усмотрению. Этим я вышла за рамки своего сословия. Вообразив, что произвела на свет гения, я нарушила скромность и повредила сыну, так что он, может быть, никогда не оправится. Где мне искать помощи?»

Здесь письмо обрывалось; вместо следующего слова стояла лишь начальная буква. Кому послано это письмо, было ли оно отправлено с этим добавлением или ушло без него, я не знал, да и не нашел ответа на эти вопросы в сохранившихся письмах. По-видимому, матушка все же оборвала его на этом месте. Но в моих мыслях эти строки неоконченного письма слились со словами стихотворения об утраченном счастье, в котором удивительным образом подняты вопросы чести, и легли тяжелым грузом на совесть сына, единственного носителя вины.

Итак, зеркало, которое должно было отражать жизнь народа, разбилось, и тот

индивидуум, который собирался, полный надежд, расти вместе с большинством нации, утратил честь. Я уничтожил непосредственный жизненный источник, который связывал меня с народом, и потому потерял право трудиться вместе с этим народом, согласно истине: «Кто хочет исправить мир, пусть сначала подметет мусор у дверей своего дома».

После того как над гробом моей несчастной матери вырос могильный холм, я еще некоторое время жил в комнатке, где она умерла. Затем, по совету соседа, я продал дом и в самом деле выручил при продаже несколько тысяч. Вместе с тем капиталом, что я привез с собою, составилось небольшое состояние, на доход с которого я мог скромно и уединенно существовать. Я, однако, все время помнил, что стал обладателем своего маленького богатства лишь благодаря ряду случайностей, поэтому оно не доставляло мне радости, и в особенности я не мог строить себе на нем праздную жизнь; а так как человеку свойствен инстинкт самосохранения не только физического, но и нравственного, то я возобновил свои ученые занятия, как советовал граф. Я изучал науки не с целью выдвинуться, но поскольку это было необходимо для того, чтобы подготовить себя к исправлению неприятельской и тихой должности и научиться понимать государственный порядок, звеном которого она являлась. Кроме того, желая предоставить своим смущенным и подавленными мыслям некоторое вольное развлечение, я читал то более трудные, то более увлекательные книги общего характера. В то время как горечь раскаяния по отношению к матери постепенно превращалась в мрачный, но ровный и спокойно-безрадостный фон, образ Доротеи снова оживал, не внося света в мрак моей жизни.

Я все еще носил на груди, в бумажнике, стихотворение о надежде, напечатанное на зеленом листочке, и иногда перечитывал его, недоверчиво вздыхая и покачивая головой. Если даже предположить, что этим простым словам суждено сбыться и что меня ожидает счастье, я все же находился в таком положении, что должен был бояться его, подобно хвастуну, который на чужбине завоевал сердце блестящей красавицы и не смеет показать ей свою убогую хижину. Мне казалось, что я теперь не способен даже вести дружескую переписку, так как рассказать правду о себе я стеснялся, а лгать мне не хотелось. Время шуточных небылиц и игры фантазии, даже в самом невинном смысле слова, миновало навсегда.

Так прошло месяцев десять; наконец я пересилил себя и написал графу, не скрывая от него правды, но и не жалуясь на свою горькую судьбу.

Граф не оплатил мне за мою нерадивость той же монетой. Напротив, вскоре я получил от него длинное письмо; в той мере, в какой он мог судить издали, он очень внимательно разобрал мое положение и представлял его мне как обычное течение жизни, которое равно выпадает на долю дворцов и хижин, достойных и недостойных: и которое по природе своей непрерывно находится в движении и переменах.

«Что же касается нашей Дортхен, — продолжал он, — то и ей на долю выпало много различных перемен, коснувшихся вместе с нею и нас. С тех пор как ты уехал, мы сделали неожиданное открытие: она оказалась... моей кровной родственницей; не более не менее как племянницей. Я не буду здесь подробно тебе объяснять, как это случилось, но поясню в двух словах: вскоре после смерти моего брата, погибшего в Южной Америке во время мятежа, умерла и его вдова, выразив перед смертью свою последнюю волю — отправить осиротевшего ребенка к его немецким родственникам, поручив это верным людям. Но эти люди оказались ненадежными. Чтобы сохранить для себя некоторую часть состояния (впрочем, очень незначительную сумму), которую им неосмотрительно доверили, они решили отделаться от ребенка, по пути подкинув его мне. Они действительно находились среди переселенцев, отправлявшихся в южную Россию, или, вернее, присоединились к ним по дороге к Дунаю и очень хитро обставили свой обман. Никто в Америке ими не интересовался, да и прежде никто не извещал нас ни об отправке ребенка, ни о смерти матери, а потому не могло сойти безнаказанно. Лишь совсем недавно эту чету грешников под старость начала терзать совесть, или, вернее, жажда вознаграждения; они объявили

правду и привели необходимые доказательства, которые все это время хранили у себя. И вот теперь у нас, на нашей немецкой родине, стало одной графиней больше! Сколько пройдет времени, пока она стонет темой одного или многих романов, еще неизвестно; я предсказал ей несколько народных пьес и мелодрам. Но она не слушает меня, так как готовится к сочинению второй части романа. Месяц назад графиня Доротея фон В...берг (собственно говоря, ее зовут по-настоящему Изабель) обручилась с молодым бароном Теодором фон В...берг. Это красивый и добропорядочный малый из дворянской семьи, носящей нашу фамилию, но уже в течение нескольких столетий не имеющей ничего общего с нами. Ему выхлопочут графский титул, и я не буду ничего иметь против того, чтобы майорат перешел к нему. У меня столь же мало причин препятствовать продолжению нашего рода, как и способствовать сохранению его. Ко всему этому я совершенно равнодушен, если не считать радости, которую могу доставить девочке, сделав такую любезность ее жениху.

Теперь хочу сказать тебе еще об одной вещи, которая касается нас обоих, дорогой друг Генрих! Я прекрасно видел, что ты влюбился в Дортхен! Я делал вид, что ничего не замечаю, потому что не люблю вмешиваться в такие дела, где люди сами могут справиться и знают, что им надо делать. К тому же долговолосая часть человечества настолько переменчива, что не стоит без особой нужды навязывать свои советы. Она тоже была не безразлична к тебе, и даже теперь она о тебе хорошо отзывается, и дело обстоит примерно так: если бы ты воспользовался своим пребыванием здесь (а этого ты не сделал, будучи человеком, знающим границы) и если бы учел свою выгоду или, вскоре по возвращении на родину, дал о себе знать, то, я думаю, Доротея и сейчас была бы тебе верна. Но ты упустил время, и когда появился более решительный претендент, она перешагнула через эту черту; к тому же ее жених поможет ей снова занять соответствующее положение в обществе.

Но даже если отвлечься от этих вполне понятных переживаний, мы не должны строго судить ребенка за его непостоянство, если таковое и имело место. Девушки настолько часто бывают предоставлены сами себе, им так горько приходится страдать и плакать, расхлебывая заваренную ими кашу, что именно этим и можно объяснить внезапность, с которой иногда они меняют свои привязанности. Время их расцвета проходит быстро, и они не любят долгого ожидания, а если оно затягивается на неопределенный срок и не подкреплено недвусмысленным и твердым словом, они оставляют за собой право не принимать никаких решений. Если они подают надежду, но своевременно не получают должного подтверждения, они следуют дальше по своему пути; им хочется иметь детей и воспитывать их, пока они сами еще молоды, а не когда станут зрелыми матронами. Как раз самые красивые и здоровые торопятся навстречу своему призванию и часто отклоняют жениха, если тот пропустил удобный момент.

Мой собственный брак считался своего рода исключением; люди говорили: «Это потому, что поженились двое чудаков». Что касается моей персоны, то надо мной издевались за мое презрение к предрассудкам; но жена была в лучшем смысле этого слова исключением среди себе подобных; и все же наша свадьба висела на волоске, мою невесту чуть было не увел другой.

Да, друг мой, таково течение жизни».

Не нужно было даже этих ласковых слов утешения со стороны старшего друга, чтобы изгнать из моего сердца духов страсти. Одно то, что Доротея помолвлена и что ее настоящее имя Изабель, графиня фон В...берг, говорило о пропасти, лежавшей между ее жизнью и той обстановкой, куда я привел бы ее; я понимал, что не дал бы ей счастья даже в том случае, если бы она продолжала оставаться найденышем, а я вел бы себя менее сдержанно, чем раньше, и мы сочетались бы браком. Можно ли посадить большую свободную птицу в клетку сверчка? Я все время втайне боялся обрести исполнение своих заветных желаний ценою такого унижения, и теперь этот страх, словно камень, свалился с моего сердца; рядом со скорбью по матери в нем жила только тихая грусть об утрате любимой.

Это «течение жизни» обошлось мне, пожалуй, слишком дорого; остановка в графском

замке стоила мне не только матери, но и веры в свидание с нею на том свете и самой веры в бога. Впрочем, все это навсегда не исчезает из жизни и время от времени возрождается.

Глава шестнадцатая **ПРЕСТОЛ ГОСПОДЕНЬ**

Год спустя мне поручили работу в небольшой канцелярии общинной магистратуры, по соседству с той деревней, где когда-то жили мои родичи. Жизнь моя текла тихо и размеренно и была наполнена скромной, но многообразной деятельностью; я находился как бы посередине между общинными делами и государственным управлением, так что кругозор мой расширялся; я теперь знал, что делается вверху и внизу, я стал понимать, откуда тянутся нити и куда они ведут. Но все это не могло рассеять мрак моей опустошенной души; вся действительность, окружавшая меня, окрашивалась в темные тона, да и все человеческие существа, с которыми мне приходилось иметь дело, казались мне более мрачными, чем они были на самом деле. Когда я видел, что и здесь проявляется легкомысленное или безответственное отношение к своим обязанностям, что каждый старается по мере сил ловко обделывать свои делишки, что зависть и ревность, мешая общему делу, гнездятся и здесь, посреди мелких служебных интересов, я был склонен приписывать эти недостатки характеру всего народа и общинному устройству, тому, что так обманчиво привлекало меня издали и в мечтах казалось прекрасным. Но когда я вспоминал о своей обремененной совести, я умолкал, вместо того чтобы при подходящем случае открыто высказать свое мнение. Я ограничивался тем, что аккуратно и как можно более незаметно выполнял свои обязанности, стремясь скоротать время, без особых тревог, но и без надежды на более яркую жизнь. Людям это казалось образцом добросовестного ведения служебных дел, и так как они были все же лучше и благожелательнее, чем я думал, то не прошло и нескольких лет, как мне поручили руководство окружной магистратурой. Так как я занимал это место, мне невольно приходилось больше бывать среди людей и принимать участие в собраниях различного рода; повсюду я оставался тем же меланхоличным и немногословным чиновником. Теперь, когда я мог наблюдать политическую борьбу вблизи и в более крупном масштабе, я столкнулся с новым, до сих пор мне неизвестным злом, хотя, к счастью, его нельзя было считать господствующим в обществе. Я видел в моей любимой республике немало людей, превративших самое слово «республика» в пустой звук, да так с этим звуком повсюду и расхаживающих, — на манер служанок, которые отправляются на ярмарку с пустой корзинкой в руке. Для других понятия «республика», «свобода», «отечество» — лишь козы, которых они беспрестанно доят, чтобы из молока выделять головки козьего сыра для собственного употребления, и в то же время они лицемерно произносят ханжеские слова, — в точности как фарисеи²²⁸ и тартюфы²²⁹. Третьи, рабы собственных страстей, всюду чуют лишь пресмыкательство и измену, подобно несчастной собачонке, у которой нос вымазан творожным сыром и которая поэтому весь мир считает творогом. И хотя это рабское чутье приносило кое-кому некоторую пользу, но патристическое самовосхваление расценивалось гораздо выше. Все это вместе представляло собою вредную плесень; она бы погубила общинное устройство, если б распространилась дальше; однако основная масса была здоровой, и стоило ей расправить плечи, как плесень сама собою отлетала. Но я был в болезненном состоянии, вдесятеро преувеличивал опасность и все же молчал, вместо того

²²⁸ *Фарисеи* — представители религиозного течения в Иудее во II–I вв. до н. э. Занимаясь толкованием библейских законов, они стали ожесточенными гонителями первых христианских общин, пренебрежительно относились к народным массам и кичились своим благочестием. В переносном смысле — ханжи, лицемеры.

²²⁹ *Тартюф* — герой одноименной комедии Мольера, образец лицемерия и ханжества. Его имя стало нарицательным.

чтобы заткнуть рот лживым болтунам; так я не высказывал и многое из того, что могло в самом деле принести пользу.

Я чувствовал, что это существование нельзя назвать настоящей жизнью, понимал, что дальше так продолжаться не может, и стал раздумывать, как выбраться из этой новой духовной тюрьмы. Временами, и все настойчивей, меня преследовало желание вообще покончить счеты с миром.

Однажды я, в сопровождении архитектора, несколько часе в ходил по улицам округа, находившегося под моим непосредственным наблюдением, и исследовал состояние домов. Закончив дела, я распростился со своим спутником, — мне хотелось побродить в одиночестве. Я попал в долину между двумя зелеными склонами гор, где была такая тишина, что слышался шелест ветерка в листве далеких деревьев. Я узнал долину моей родной деревни, хотя все в ней было обыкновенно и ни одна постройка не попала мне на глаза.

Пройдя примерно полпути по тропе, пересекавшей долину, я бросился на зеленый холмик и предался печальным мечтам; мне вспомнилось все, на что я надеялся и что потерял, все мои блуждания и ошибки. Я даже вытащил зеленый листочек Доротеи, все еще лежавший среди страничек моей записной книжки. «Нам надежда неверна, если сами неверны мы!» — прочел я и удивился, что до сих пор ношу с собой этот фальшивый вексель. Легкий ветер проносился над разгоряченной летним солнцем землей, и я отпустил листок, который сразу же запорхал среди трав и вереска; я даже не посмотрел ему вслед.

«Самое лучшее, — сказал я себе. — лежать в этой ласковой, теплой земле и ни о чем не думать! Как здесь хорошо и спокойно отдыхать!»

После этих уже не первый раз повторявшихся вздохов я случайно взглянул на противоположный склон, где у середины горы виднелась полоса серого камня. Внезапно я заметил, что вдоль скалистой полосы движется стройная фигурка такого же серого цвета; лучи вечернего солнца освещали горный склон, и по серому камню скользила тень, как бы сопровождающая фигурку. Я знал, что вдоль каменного карниза ведет узкая тропка, и следил взглядом за неожиданно появившимся существом; легкие ритмические движения напоминали мне что-то знакомое. Когда фигурка, — а это была, несомненно, женщина, — дошла до края скалы, она повернула и пошла той же тропой обратно; казалось, что дух гор появился среди камней и разгуливает здесь в лучах вечернего солнца.

Я был рад случаю, отвлекшему меня от мрачных мыслей, и, поднявшись, направился через дорогу в лесок, росший у подошвы горы; пройдя через него, я спустя несколько минут достиг тропинки. Оттуда была видна вся долина, в глубине которой, освещенное лучами заходящего солнца, виднелось и мое обиталище. Стоя лицом к долине, я увидел незнакомку на противоположной стороне каменного пояса; она стояла неподвижно, глядя вдаль. Потом повернулась и пошла назад тем же путем, как раз мне навстречу. Она подошла ближе, и я узнал Юдифь, о которой десять лет ничего не слышал, узнал ее, несмотря на необычное платье. В последний раз, когда я видел ее, она носила полукрестьянскую одежду. Теперь на ней было городское платье из легкой серой шерсти, серая вуаль окутывала ее шляпу и была обвита вокруг шеи; она двигалась так непринужденно, с такой легкостью и так естественно ложились вокруг ее фигуры богатые и пышные складки, что, несмотря на свободную одежду, она оставалась грациозной и изящной. В ту минуту, естественно, мне было не до всех этих наблюдений; лишь позднее я попытался объяснить себе впечатление, которое произвела на меня эта неожиданная встреча.

Мне казалось, что лицо ее за эти десять лет совсем не изменилось; разве только оно стало выражать большее достоинство, а неуловимым сходством с сивиллой было скорее облагорожено, чем изуродовано. В незаметных линиях лба и губ можно было прочесть опытность и житейскую мудрость, но в глазах по-прежнему светились чистосердечие и искренность простой девушки.

Удивленно смотрел я, как она приближается и, заметив меня, слегка замедляет шаги. Видимо, я изменился больше, чем она; мне показалось, что она сейчас остановится в нерешительности, но затем она снова пошла быстрее, собираясь пройти мимо меня. Тогда я

начал было колебаться, и лишь когда она подошла вплотную и мы оказались рядом на узкой тропинке, я отбросил все сомнения и воскликнул:

— Юдифь!

В ту же минуту неподдельная, неопишимо нежная радость озарила ее милое лицо; ее теплая твердая рука крепко стиснула мою руку и, по старому народному обычаю, долго пожимала ее.

— Это вы? — сказала она, не называя меня по имени, и я тоже не решился повторить ее имя, не зная, как мне называть ее; было маловероятно, чтобы такая женщина осталась одинокой. С некоторым смущением я спросил, откуда она появилась.

— Из Америки! — ответила Юдифь. — Я уже две недели здесь!

— Здесь? В нашем селе?

— Где же еще? Я живу в гостинице, ведь у меня нет больше никого!

— Вы разве здесь одна?

— Конечно! Кому же быть со мной?

Этот ответ сделал меня счастливым, хотя я ничего и не подумал при этом; счастье молодости, родина, покой, все, казалось, вернулось ко мне вместе с Юдифью, или, вернее, неожиданно появилось из недр горы, как дух. Разговаривая, мы шли дальше, то совсем рядом, то друг за другом, — все зависело от ширины тропки.

— Знаете, где я вас видела в последний раз? — сказала она, посмотрев мне прямо в глаза. — Я на повозке ехала за границу, а вы с другими солдатами стояли в поле. Едва я заметила вас, как вы все, словно вас дернули за веревочку, повернулись, и я подумала: «Ты никогда больше его не увидишь!»

Несколько мгновений мы шли молча; потом я спросил ее, куда она направляется и нельзя ли мне немного ее проводить.

— Я гуляла, — ответила Юдифь, — и мне пора домой. Проводите меня до деревни. Это не слишком далеко для вас?

— Что вы! Я охотно пойду с вами и поужинаю в гостинице, — отвечал я, — потом попрошу у хозяина повозку, и меня отвезут домой; ведь это добрых три часа ходьбы!

— Как это мило с вашей стороны! У меня сегодня с утра было предчувствие, что случится что-то хорошее, и вот у меня в гостях Генрих Лее, мой родственник и важный чиновник!

Вскоре мы вышли на проселочную дорогу и, дружески болтая, направились в деревню; но еще прежде чем дойти до нее, мы незаметно перешли на ты, как и полагается родственникам. Первым строением на нашем пути был дом покойного дяди; но в нем уже жили чужие люди, дядюшкины дети разбрелись по свету. Незнакомые мальчишки окружили нас и кричали вслед: «Американка!» Некоторые дети протягивали ей руку, и она одаривала их мелкими монетками. Когда мы проходили мимо ее бывшего дома, мы ненадолго остановились. Теперешний владелец перестроил его, но прекрасный сад, где когда-то она собирала яблоки, остался нетронутым. Она скользнула по мне взглядом, слегка покраснела и быстро пошла вперед. И тут я понял, что эта женщина, переплыв моря и океаны, прожив в новом строящемся мире и став на десять лет старше, была еще нежнее и лучше, чем в юности, на своей тихой родине.

«Какая чистая порода, — так, наверно, сказали бы грубые любители скачек!» — подумал я, любуясь ее милым обликом.

И потом, уже в гостинице, я снова удивился тому, с каким тактом и незаметной заботой, не тратя лишних слов, она сумела заказать хорошее угощение и как внимательно, словно добрая хозяйка, она заботилась обо мне. Я решил, что в Америке она жила все время в городах и бывала в хороших домах; но, судя по ее рассказам и описаниям своих приключений, которыми она занимала во время ужина и меня, и присоединившихся к нам хозяев, ей пришлось немало бороться с нуждой; объединяя и прямо-таки воспитывая своих товарищей-переселенцев, она поневоле поднималась над ними и облагораживалась.

Когда она со своими земляками прибыла на место, где они собирались поселиться, и

когда к ним примкнули еще и другие переселенцы, среди всего этого разношерстного общества возникли всякие споры и неурядицы; в совместной жизни, столкнувшей этих людей, обнаружились и другие черты их характера, вызванные эмиграцией. Юдифь, у которой было больше средств, чем у остальных, купила довольно большой участок; но она давала его в пользование другим, а сама занялась тем, что открыла нечто вроде торговой конторы, обслуживавшей различные нужды маленькой колонии. Когда же она заметила, что ее товарищи вводят ее в убыток и ей грозит разорение, она изменила образ действий. Она снова взяла в свои руки купленную землю и наняла для ее обработки за поденную плату тех самых людей, которые были слишком ленивы, чтобы работать на себя; этим она расшевелила всех и всех привлекла к работе. Женщин она заставила образумиться, больных детей окружила заботой и принялась за воспитание здоровых, короче говоря, инстинкт самосохранения так счастливо соединялся у нее с величайшей способностью к самопожертвованию, что она смогла поддержать своих земляков и себя вместе с ними до лучших времен, пока вблизи их поселения не провели дорогу. К ним прибыли новые, энергичные люди, уже знакомые с работой; они быстро принялись за дело и подняли общее благосостояние. Все это время ей пришлось отклонять домогательства влюбленных мужчин, о чем она упоминала скорее в шутку, чем всерьез; а иногда даже, когда появлялись подозрительные авантюристы, угрожавшие ее безопасности, ей приходилось носить при себе оружие и полагаться только на самое себя.

Когда же все трудности были позади, урожай обеспечен и поселок получил имя какого-то еще до рождества Христова знаменитого города древности, она уединилась и зажила более спокойной жизнью; у нее, в сущности говоря, не было ни педагогической жилки, ни особой любви к общественной деятельности. Продав земельный участок, она смогла во много раз увеличить свое состояние, и отныне она пользовалась своей свободой, чтобы поглядеть на жизнь в столице штата и в других больших городах, или же, когда находила соответствующих попутчиков, она отправлялась по широким рекам в глубь страны, где живут дикари-индейцы.

Все это она рассказывала так живо и так занимательно, что мы без усталости слушали, тем более что каждое ее слово дышало правдой. Время пролетело незаметно, — я уже много лет не сидел за столом, испытывая ощущение такого беззаботного счастья; хозяйская одноколка, которая должна была отвезти меня домой, стояла наготове, и мне пора было отправляться, так как я назначил на утро несколько служебных дел.

Прощаясь, я поблагодарил Юдифь за гостеприимство и пригласил ее запросто побывать у меня, хотя и предупредил, что нам снова придется обедать в гостинице, так как дома я хозяйства не веду.

— В ближайшие дни я приеду, сказала она, — в этой же триумфальной колеснице и потребую угощения!

Когда я уже сидел в экипаже, она безмолвно пожала мне руку в темноте и молча стояла, пока я не уехал.

Но неожиданное счастье, наполнявшее меня, омрачилось уже поутру, когда я подумал, что должен буду поведать ей о тайне, мучившей мою совесть, и о судьбе матушки. На свете был только один строгий судья, чей приговор меня страшил, — эта простая и замечательная женщина, и вместе с тем я не представлял себе ни дружбы, ни любви между нами, если она не будет знать всего.

Поэтому я ожидал ее не только с нетерпением, но и со страхом; наконец на второй день она приехала. Некоторая подавленность омрачала радость нашей встречи, и Юдифь испытывала это чувство так же, как я. Оглядевшись в моих комнатах, она положила шляпу и накидку и сказала:

— Здесь довольно славно, в этом большом селе, почти как в городе. Я бы, пожалуй, переехала сюда, чтобы быть поближе к тебе, если только...

Она остановилась, смутившись, как молоденькая девушка, но потом продолжала:

— Видишь ли, Генрих, с тех пор как ты приехал, я уже много раз бродила по горной

тропинке, где мы повстречались, чтобы издали посмотреть на эти места, но я не решалась прийти!

— Ты не решалась! Ведь ты такая храбрая!

— Понимаешь, так получилось: ты мне понравился, и я никогда не могла тебя забыть. У каждого человека есть что-нибудь, к чему он по-настоящему привязан. И вот как-то, некоторое время назад, в нашей колонии появился земляк из нашей деревни; правда, он уже несколько лет проживал в Новом Свете. Речь зашла о делах на родине, и я невзначай спросила его, не знают ли в деревне, что с тобой; но я уже не надеялась узнать о тебе и привыкла к этой мысли. Приезжий подумал немного и сказал: «Подождите-ка, я постараюсь вспомнить. Я что-то о нем слышал!» — и он кое-что рассказал мне.

— Что же он рассказал? — грустно спросил я.

— Он слышал, что ты, обеднев, скитался на чужбине, что мать из-за тебя запуталась в долгах и в конце концов умерла с горя, что ты возвратился на родину в жалком состоянии и, зарабатывая себе на пропитание, служишь где-то маленьким писарем. Когда я узнала о твоей беде, я сразу же собралась в путь, чтобы ехать к тебе и быть с тобой.

— Юдифь, неужели ты это сделала? — воскликнул я.

— Что же ты думаешь? Разве я могла оставить тебя в горе и беде, тебя, которого я еще мальчиком так нежно любила и ласкала? Неужели я могла не прийти к тебе? Но когда я вернулась, оказалось, что все это неверно! Правда, твоя мать умерла, но ты вернулся из чужих стран состоятельным человеком, ты на государственной службе и пользуешься, как я замечаю, почетом и уважением. Иные, правда, говорят, что ты загордился и не всегда приветлив! Но и это неправда!

— Значит, ради меня ты вернулась из Америки, хотя слышала обо мне только дурное?

— Кто это сказал? Несмотря ни на что, я никогда не думала о тебе дурно, я только считала тебя несчастным!

— И все же о самом дурном в этом несчастье тебе сказали правду. Я в самом деле виноват: я принес матери только горе и вернулся лишь для того, чтобы закрыть глаза той, которую погубила забота обо мне!

— Как же это случилось? Расскажи мне все, но не думай, что я когда-нибудь отвернусь от тебя!

— Но твой приговор не имеет цены, если он зависит от твоего доброго отношения ко мне!

— Как раз мое отношение к тебе и есть самый верный приговор, и ты должен будешь его принять! Ну, рассказывай же!

Я начал подробнейший рассказ, настолько подробный, что в конце концов потерял его нить и отвлекся; ибо тяжесть, лежавшая на душе моей, вдруг исчезла, и я почувствовал, что снова свободен и выздоровел. Внезапно я оборвал свой рассказ и сказал:

— Не стоит больше поминать старое! Ты сняла с моей души тяжесть, Юдифь, и я благодарен тебе за то, что снова весел; теперь я твой до конца своей жизни!

— Вот это я рада слышать! — отвечала она; глаза ее заблестели, и радость осветила прекрасные черты ее лица. Я часто вспоминал этот миг и, смущенный, размышлял о том, что внешняя красота вещей нередко бывает обманчивой, и верить и служить только ей одной было бы ошибкой. Да, в памяти моей, как некое двойное созвездие, светится образ Дортхен, сидящей за столом в доме капеллана, и лицо Юдифи. Обе звезды равно прекрасны и все же столь различны.

— Ну, а теперь я проголодалась и хочу есть, если ты можешь что-нибудь мне предложить! — сказала Юдифь. — Но остаток дня ты должен провести со мной на вольном воздухе; под светлым небом божьим мы доведем наш разговор до конца.

Мы порешили, что после обеда я с ней поеду в деревню, но у долины, где нам привелось встретиться, мы отошлем экипаж и поднимемся на вершину горы.

Весело пообедали мы вместе в парадной комнатке трактира «Золотая звезда». Одно из окон было украшено старинным, двухсотлетней давности, витражом: он изображал гербы

некоей супружеской четы, давно превратившейся в прах. Над обоими гербами красовалась надпись: «Андреас Майер, фохт и хозяин «Золотой звезды», и Эмеренция Юдифь Холленбергер сочетались браком 1 мая 1650 года». Оба герба были на фоне садового пейзажа, и среди кустов роз пировала компания ангелочков. Разряженная пара, держа в руках перчатки, благосклонно взирала на это веселящееся общество. Внизу, наискось, по широкой ленте шла надпись в стихах:

Нам надежда неверна,
Если сами неверны мы;
Верность нам хранит она,
Если мы неколебимы.
К нам надежда снизойдет
В сердце, не в открытый рот!

Значит, оба, старый художник-витражист и барышня из графского замка, разделенные двумя столетиями, черпали из одного и того же источника, и книга эта, должно быть, была очень старой.

Меня поразила навязчивость случая, сверкнувшего мне снова из многоцветного окна, но она меня скорее испугала, чем обрадовала, и у меня защемило сердце; мне стало казаться, что слепое божество случая становится постоянным моим властителем, и я боялся, что этот стишок возвещает мне новое разочарование. Юдифь прочла его, не обратив внимания на картинку, и сказала, улыбаясь:

— Какое красивое стихотворение! Оно, несомненно, говорит правду, надо только верно истолковать его.

Итак, мы отправились в путь, у подошвы той самой невысокой горы отослали экипаж и потихоньку взобрались наверх, та перевал. Там, возвышаясь над всей местностью, росли два могучих дуба, а под ними стояли скамейка и каменный стол, заросший мохом. Еще в древние, языческие времена здесь, говорят, приносились жертвы, позднее было судилище; с тех пор, очевидно, сохранился и этот стол.

Сидя рядом на скамье, в тени широко разросшихся веток, глядели в синюю даль, открывавшуюся со всех сторон. Юдифь положила шляпу и зонтик на стол. Немного погодя, разглядывая стол и слушая мои объяснения о прошлом этих мест, она произнесла медленно и взволнованно:

— Как же это называется в странах, где есть короли, когда их у алтаря венчают на царство?

Я не сразу сообразил, что она хочет сказать, и задумался. Она не сводила глаз со старого каменного стола и даже сняла с него шляпу и зонтик, чтобы я мог яснее представить себе, что она имеет в виду; вдруг я понял и сказал:

— В таких случаях говорят: «Они принимают венец с престола господня!»

Она нежно посмотрела на меня и прошептала:

— Да, говорят так! Знаешь, и мы можем здесь принять с престола господня наше счастье, то, что люди называют счастьем, и стать мужем и женой! Но мы не будем возлагать на себя венец. Мы откажемся от венца, зато будем тем более уверены в своем счастье, которое сейчас, в эту минуту, наполняет нас. Я чувствую, что сейчас ты тоже счастлив!

Я был потрясен и не мог выговорить ни слова. Она же продолжала:

— Слушай, я думала уже об этом в море, во время шторма, когда сверкали молнии над мачтами, волны перекатывались через палубу, а я в смертельном страхе звала тебя по имени. И в последние ночи все снова и снова я думала об этом и поклялась себе: «Нет, ты не свяжешь его жизни ради своего счастья! Он должен быть свободен, и горести жизни не должны больше терзать его. Он достаточно натерпелся на своем веку».

Но я покачал головой и сказал в смущении:

— Я не хочу быть нескромным, Юдифь, но я все же представлял себе все это иначе.

Если ты в самом деле так привязана ко мне, почему тебе не жить лучше у меня, чем быть всегда одинокой, одной на свете?

— Там, где ты, там буду и я, пока ты останешься одиноким; ты еще молод, Генрих, и сам себя не знаешь. И все-таки, верь мне, пока мы оба останемся такими, как в этот час, мы будем знать, что близки друг другу, и будем счастливы. Что же нам надо еще?

Я начинал понимать, какие чувства руководят ее словами; она слишком многое видела и пережила на этом свете, чтобы поверить полному и неомраченному счастью. Я посмотрел ей в глаза и, отведя назад ее мягкие каштановые волосы, воскликнул:

— Я же сказал тебе — я твой, и все будет так, как ты захочешь!

Она пылко заключила меня в объятия и прижала к груди своей; потом нежно поцеловала в губы и тихонько промолвила:

— Теперь наш союз запечатлен! Но он не должен связывать тебя, ты и сейчас и впредь будешь свободен!

Так и сложилась наша жизнь. Она прожила еще двадцать лет; я много работал и не был больше замкнутым и молчаливым; кое-чего, что мне было по силам, я сумел достичь на своем поприще, и всегда она была рядом со мной. Я переезжал с одного места на другое, и она порою следовала за мной, порою оставалась на прежнем месте; но мы виделись с нею так часто, как нам этого хотелось. Иногда мы встречались ежедневно, иногда раз в неделю, иногда и раз в год, — смотря по тому, как складывались обстоятельства; но всякий раз, когда мы встречались, будь то каждый день или раз в год, встреча эта была для нас праздником. А если меня одолевали сомнения или душевный разлад, стоило мне только услышать ее голос, и я сразу находил успокоение, словно я слышал голос самой природы.

Она скончалась во время смертоносной детской эпидемии, охватившей жилища бедняков. Ее деятельные руки не могли остаться безучастными, и она бросилась в дом, переполненный больными детьми, презрев запреты врачей. Не случись этого, она бы прожила еще не менее двадцати лет и всегда была бы утешением и радостью моей жизни.²³⁰

Однажды я подарил Юдифи рукописную книгу о моей юности, доставив ей большую радость. Согласно ее последней воле, я после ее смерти получил свою книгу назад и добавил эту последнюю часть, чтобы еще раз пройти по старым зеленым тропинкам воспоминаний.

Примечания

«Зеленый Генрих» Готфрида Келлера принадлежит к тем немногим произведениям мировой литературы, которые, подобно «Фаусту» Гете, сопутствуют писателю на всем протяжении его творческой жизни. Достаточно сказать, что от возникновения замысла до его окончательного воплощения прошло свыше сорока лет.

В конце 1842 года, вернувшись из Мюнхена в Цюрих с решением отказаться от живописи и проверить себя на литературном поприще, Келлер задумал роман, в котором ему хотелось запечатлеть свои мюнхенские переживания. Однако работа была прервана в самом начале, так как молодой поэт считал своей обязанностью прежде всего «дать выход гражданским чувствам». Много лет спустя он восстановил первоначальный замысел в «Автобиографических заметках» (1876): «Всевозможные пережитые горести и заботы, которые я уготовил матери, не имея перед собой никакой определенной перспективы, обременяли мои мысли и мою совесть, пока рассуждения не превратились в намерение написать небольшой печальный роман о трагическом крушении карьеры молодого

²³⁰ Не случись этого, она бы прожила еще не менее двадцати лет и всегда была бы утешением и радостью моей жизни . — В письме к Петерсену от 21 октября 1881 г. Келлер так объяснял свое отношение к образу Юдифи: «Мне самому хотелось еще раз насладиться блеском этого невинного, не омраченного никакой действительностью, фантастического образа. Я с удовольствием продлил бы ее жизнь еще на несколько сцен. Однако пора было заканчивать, иначе книга получилась бы чересчур объемистой».

Е. Брандис, Б. Замарин

художника, вследствие чего погибают мать и сын. Это, как мне кажется, было моим первым писательским намерением, которое я вынашивал приблизительно в двадцатитрехлетнем возрасте. Передо мной витал образ лирико-элегической книги с яркими эпизодами и кипарисово-мрачным концом, когда все рушится и гибнет».

Первые наброски относятся к 1846 году. Спустя несколько месяцев в письме к Ф. Фрейлиграту (от 5 февраля 1847 г.) Келлер сообщил, что собирается «покончить» со своим романом, который будет называться «Зеленый Генрих». Если Келлер-поэт чутко улавливал «зовы времени», то сохранившиеся ранние наброски романа говорят о том, что Келлер-прозаик находился еще в плену обветшалых романтических представлений и традиций. За три года замысел, по-видимому, не претерпел значительных изменений. Если бы роман в те годы был написан, то появился бы запоздалый вариант распространенного в литературе немецкого романтизма «романа о художнике» (Künstlerroman). Такого рода произведения писали многие немецкие романтики, от Людвиг Тика до Эдуарда Мерики. Сохранив, как и при окончательном воплощении замысла, автобиографическую канву, Келлер подробно описывает швейцарский городок (Цюрих) и прощание героя с матерью перед отъездом в Германию.

Окончательная концепция романа сложилась в 1848–1849 годах. Гейдельбергские наброски отражают решительные изменения в сознании Келлера. Теперь Зеленый Генрих — не отрешенный от мира мечтатель, а человек, сознательно стремящийся служить своим искусством людям, приносить пользу обществу, быть достойным гражданином своего отечества. Главное внимание теперь обращено на его идейное и художественное развитие. В заметках 1849–1850 годов встречаются прямые парафразы из Фейербаха: «Изобразить бога по образу и подобию самого Генриха»; «В обезбоженном мире тем пламеннее расцветает новая любовь»; ликвидация бога, этого «произвольного, выдуманного фантома», который соответствует «конституционному монарху в действительности», должна повлечь за собой уничтожение и земного монарха и т. п.

Вопросы религиозные и философские связываются здесь с политическими еще более непосредственно, чем это найдет место в готовом романе. «Что делать богу с существом, которое мыслит и приобщается к таким понятиям, как республика и демократия?» — спрашивает Келлер и рассуждает дальше таким образом: «Республика — не искусственная форма, а изначальная сущность и сама справедливость... Монархия, напротив, утверждается как некий мистический символ и относится к республиканской доблести так же, как бумажные деньги к настоящему золоту».

Участие республиканца в гражданской жизни своего отечества расценивается как высокое этическое призвание человека. Отсюда делается вывод в духе традиций просветительского гуманизма: жертвенная смерть за республику может служить примером самопожертвования во имя всего человечества. «Добродетель настоящего человека состоит в том, что он живет и действует для блага человечества и всего мира».

Прогрессивные взгляды Келлера ярче всего выражены в отрывке, озаглавленном «Патриотизм и космополитизм». Келлеру одинаково чужд и «ограниченный, односторонний патриотизм» (мы бы сказали — шовинизм), избегающий соприкосновения с внешним миром, и космополитизм, не знающий родной почвы: «Как отдельный человек может узнать других людей, лишь познав самого себя, и только тогда до конца узнает самого себя, когда познает других; как отдельный человек может принести пользу другим, только держа себя в порядке, а может быть счастлив только тогда, когда приносит пользу другим, — так же и отдельный народ может быть действительно счастливым и свободным в том случае, если думает о благе, о свободе, о славе других народов, и может успешно проявлять свои благородные свойства лишь в том случае, если сначала наведет основательный порядок в своем собственном доме... Не доверяйте тому, кто границами страны, как досками, забил выход в остальной мир, для кого все определяется случайностью рождения среди того или иного народа, для кого весь остальной широкий мир в лучшем случае существует только затем, чтобы грабить и эксплуатировать его для блага своего отечества».

Я живу и не перестаю чувствовать себя счастливым и изумленным тем, что родился именно в этой стране, не перестаю благодарить за это случай. Это — тоже одно из свойств подлинного патриотизма. Но это прекрасное свойство должно быть очищено любовью и уважением к чужеземному; без большой, глубокой основы, без радостной веры в грядущее всемирное гражданство, патриотизм... бесплоден, пуст и мертв».

Эти прогрессивные идеи определили в конечном счете и мировоззренческую проблематику «Зеленого Генриха». На последней, высшей ступени своего духовного созревания герой романа должен был приобщиться к тому же кругу передовых, демократических идей, что и сам автор в гейдельбергский период своей деятельности.

Теперь, казалось Келлеру, когда замысел так хорошо продуман, остается самое легкое: сесть и написать роман. Весной 1850 года, незадолго до переезда в Берлин, он послал брауншвейгскому издателю Фивегу несколько пробных глав и экспозицию всего произведения. Эти материалы так заинтересовали издателя, что он поспешил заключить контракт с неизвестным ему автором, тем более что тот обещал уже к рождеству представить законченную рукопись. Работа, однако, затянулась на пять лет. Получив рукопись первого тома и тщетно ожидая присылки остальных, издатель то обращался к «нерадивому» автору с дружескими увещеваниями, то грозил юридическими санкциями, то посылал деньги, то требовал их назад, то засыпал его грозными письмами, то несколько месяцев не подавал никаких вестей. А писатель между тем ежедневно, с пяти утра до полуночи, «корпел над ритмикой человеческих душ и метрикой характеров», изнывая от сопротивления «капризного материала». Последнюю главу он «домарывал, буквально обливаясь слезами». Когда три тома были уже в наборе, а работа над четвертым только начиналась, в августе 1853 года Келлер делился своими печальями с Гетнером: «Если бы я мог переписать всю книгу заново, то сделал бы теперь из нее нечто стоящее и жизнеспособное. В ней много невыносимой напыщенности и банальных мест, а также большие формальные просчеты. Видеть все это еще до выхода книги и с таким сомнительным чувством заставлять себя писать дальше, — вряд ли еще кому-нибудь доводилось проходить через такое чистилище!»

Серия писем к историку литературы и искусствоведу Герману Гетнеру содержит подробнейший автокомментарий, который показывает, что повышенное чувство самокритичности помогало Келлеру анализировать недостатки своего романа серьезнее и придирчивее, чем это делали впоследствии — после того, как в мае 1855 года появился четвертый том — профессиональные критики. Кроме нарушения композиционного единства и неоправданно трагической развязки (см. вступительную статью), в первом варианте «Зеленого Генриха» есть и другие просчеты. Многочисленные отступления, сами по себе очень интересные и значительные, часто не вяжутся с сюжетом, так как даются автором от себя и к герою не имеют прямого отношения. Автор еще настолько субъективен, что постоянно встает между героем и читателем, то впадая в лиризм, то вдаваясь по всякому поводу в длинные рассуждения, и, сам того не желая, снижает психологическую убедительность образа Зеленого Генриха. Бросаются в глаза и неровности стиля. Все это, вместе взятое, а также запоздалый выход последнего тома помешало широкому признанию романа.

Несмотря на то, что «Зеленый Генрих» высоко оценили такие авторитетные критики, как Герман Гетнер и Фарнгаген фон Энзе, он вскоре превратился в ходячий школьный пример «неправильно построенного» произведения. Келлера не оставляла мысль о необходимости переработать свой «многогрешный роман», но выполнить эту задачу ему удалось лишь на склоне лет. Работа, начатая в 1878 году, и на этот раз отняла у него гораздо больше времени и сил, чем он предполагал, приступая к переделке «Зеленого Генриха». Заключительный, четвертый том нового издания появился лишь на исходе 1880 года.

Осуществляя вторую редакцию романа, Келлер, задался целью сделать его «более презентабельным», «написать новое вступление и другой конец», «придать целому более однородную форму» и заодно «показать теоретизирующим филистерам, что ошибки могут быть исправлены двумя-тремя штрихами».

Автор включил в свое произведение много новых эпизодов, в том числе вставную новеллу об Альбертусе Цвихане, имя которого напоминает Генриху о душевном разладе и опасности дуализма²³¹; сцену с Хульдой, историю Петера Гильгуса, не говоря уже о новом финале, придавшем всему произведению более глубокий смысл. В общем замысле романа каждая из вставных новелл еще больше должна была акцентировать значение того или иного этапа в духовном развитии героя и предстоящий в его жизни перелом (например, история Мерет, девочки-безбожницы, замученной насмерть пастором-изувером, предваряет постепенный отход Генриха от религии). Вместе с тем из романа выпали страницы, показавшиеся теперь автору неудобными по моральным, политическим или чисто художественным соображениям. В частности, исключен был многозначительный эпизод, рисующий столкновение Генриха, только что прибывшего в Мюнхен, с Людвигом Баварским, который учит непочтительного юнца «надлежащему» обхождению с королевской особой, и выпущены еще несколько мест, содержащих острую и злободневную (для пятидесятых годов) критику монархической Германии, а также особенно резкие выпады против церкви.

Кроме того, была проведена и значительная стилистическая правка. Язык романа во втором варианте в гораздо большей степени, чем в первом, дает ощущение плавности, текучести, широты и «эпического раздолья», что как нельзя лучше соответствует неторопливой, обстоятельной манере изложения с детальным описанием всех жизненных подробностей и душевного состояния героя. Автор предпочитает прямой речи косвенную, разговорам и репликам — раздумья и внутренний монолог.

Наконец, в 1884 году, готовя третье издание, Келлер последний раз тщательно пересмотрел текст всего романа и внес много исправлений. На этом и завершилась более чем сорокалетняя творческая история «Зеленого Генриха».

Е. Брандис

К иллюстрациям

Пейзажи Готфрида Келлера воспроизводятся по следующим изданиям:

Paul Schaffner, Gottfried Keller als Maler. Stuttgart, 1923.

H. F. Berlepsch, Gottfried Keller als Maler. Leipzig, 1895.

Рисунок Готфрида Келлера «Средневековый город» воспроизводится с копии Г. Берлепша.

²³¹ Цвихан (Zwiehan) — производное от немецкого корня «Zwie», образующего гнездо слов, которыми обозначаются такие понятия, как раздвоение, двойственность, разлад и т. п.